



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4100.31.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Bought with the income of
THE KELLER FUND

Bequeathed in Memory of
JASPER NEWTON KELLER
BETTY SCOTT HENSHAW KELLER
MARIAN MANDELL KELLER
RALPH HENSHAW KELLER
CARL TILDEN KELLER





ИЗЪ ИСТОРИИ
НАШЕГО
ЛИТЕРАТУРНАГО И ОБЩЕСТВЕННАГО
РАЗВИТІЯ.

МОНОГРАФИИ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

А. П. ПЯТКОВСКАГО.

Въ двухъ частяхъ.

Часть I.

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія и Хромолитографія А. Трапезова, Стремянная, № 12.
1889.

Slav 4100.31.2 (1-2)

✓

Keller fd

ОТЪ АВТОРА.

Въ предисловіи къ первому изданію моихъ монографій (5 іюня 1875 г.) я писалъ:

«Статьи, собранныя мною въ этомъ изданіи, уже были напечатаны, въ свое время, въ разныхъ журналахъ, и выражаютъ собой результатъ моихъ продолжительныхъ занятій русской исторіей и литературой. Взятые вмѣстѣ, онѣ, по крайнему моему разумѣнію, представляютъ довольно полный, не лишенный систематичности, очеркъ развитія нашей литературы и общественной жизни въ новый періодъ русской исторіи; — и вотъ причина, почему я рѣшился снова напомнить о нихъ читателямъ, заинтересованнымъ тѣмъ предметомъ, который разрабатывается, болѣе или менѣе подробно, въ предлагаемой на судъ ихъ книгѣ».

Сочувственные отзывы, которыми были встрѣчены мои книги въ различныхъ по направленію органахъ прессы («Голосъ», «Дѣло», «С.-Петербургскія Вѣдомости» и др.), а также успѣхъ изданія, разошедшагося въ двойномъ типографскомъ заводѣ и уже сдѣлавшагося достояніемъ антикварной торговли, — даютъ мнѣ право думать, что и новое, *второе* изданіе моихъ монографій найдетъ себѣ мѣсто въ бібліотекѣ русскаго образован-

наго человѣка, еще не переставшаго интересоваться историческимъ развитіемъ нашей литературы, журналистики и общественно-политической жизни.

Къ прежнимъ статьямъ мною прибавлены въ новомъ изданіи еще три: „Князь В. Ө. Одоевскій“, „О жизни и сочиненіяхъ Д. В. Веневитинова“ и „Пушкинскій праздникъ въ Москвѣ“. Эти добавленія составляютъ около одной трети всей книги.

А. Пятковскій.

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХЪ Д. И. ФОНЪ-ВИЗИНА.

I

Предки Фонъ-Визина. Дѣтскіе годы Дениса Ивановича и поступленіе въ университетскую гимназію. Поѣздка въ Петербургъ для представленія И. И. Шувалову. Первыя литературныя опыты Ф.-Визина. Поступленіе въ иностранную коллегію и служба при кабинетъ-министрѣ И. П. Елагинѣ. Переводъ „Іосифа“ и комедія „Бригадиръ“. Успѣхъ Бригадира при дворѣ и въ высшемъ петербургскомъ обществѣ. Фонъ-Визинъ въ придворной сферѣ. Порывы религіознаго скептицизма и раскаяніе. Служба при гр. Н. И. Панинѣ. Поѣздки за границу и письма изъ путешествія. „Недоросль“. Богъанъ Ф.-Визина и безуспѣшное глѣченіе. Ф.-Визинъ и Екатерина II-я. Вопросы Ф.-Визина и отвѣты на нихъ Екатерины II-й. Проектъ сатирическаго журнала: „Другъ честныхъ людей или Стародумъ“. Препятствія къ изданію. Переводъ Тацита. Предсмертный вечеръ Фонъ-Визина.

Родъ Фонъ-Визина не коренной русскій, хотя и совершенно обрусѣвшій въ нашей странѣ. Предки его были владѣтелями разныхъ городовъ въ нѣмецкихъ земляхъ, а потомъ—рыцарями братства Меченосцевъ. Только въ царствованіе Ивана Грознаго, во время войны съ Ливоніей, баронъ Петръ Фонъ-Визинъ (или, по старому правописанію, Фанъ-Фисинъ), взятый въ плѣнъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ Денисомъ, сдѣлался поневолѣ обитателемъ Руси, сохраняя однакожъ свою нѣмецкую религію. Но уже въ царствованіе Алексѣя Михайловича внукъ этого барона принялъ греко-восточное исповѣданіе и названъ въ крещеніи Аѳанасіемъ. Съ тѣхъ поръ потомки плѣннаго барона все болѣе и болѣе утрачивали черты своей нѣмецкой фізіономіи: самую частицу фонъ они стали писать слитно съ своею фамиліей, и это соединеніе удерживается, по ихъ примѣру, многими до настоящаго времени. Отецъ Дениса Ивановича, Иванъ Андреевичъ, служилъ въ ревизіонъ-коллегіи и имѣлъ собственный домъ въ Москвѣ, недалеко отъ университета. Судя по свѣдѣніямъ, сообщеннымъ о немъ въ „Чистосердечномъ признаніи“ его сына, это былъ человекъ „большаго здраваго разсудка, не имѣвшій случая просвѣтить себя уче-

ніемъ". Изъ массы тогдашнихъ чиновниковъ онъ выдѣлялся двумя качествами: независимостью своего характера, не допускавшей его до низкопоклонства и лести, и честностью по службѣ, благодаря которой онъ не прибавилъ ничего къ своему родовому, на 500 душъ, имѣнію. „Государь мой,—говорилъ онъ обыкновенно просителю, явившемуся къ нему съ подарками:—сахарная голова не есть резонъ для обвиненія вашего соперника; извольте ее отнести назадъ, а принесите законное доказательство вашего права". Иванъ Андреевичъ былъ женатъ два раза: въ первый разъ онъ женился по великодушію, чтобы имѣніемъ своей жены, 70-лѣтней старухи, выкупить промотавшагося брата, въ другой—по любви. Отъ этого втораго брака родился у него, въ 1744 г., сынъ Денисъ. Дѣтскіе годы Фонъ-Визина въ домѣ его отца не представляютъ ничего оригинальнаго: мальчикъ, какъ и всѣ его однолѣтки того времени, слушалъ сказки деревенскаго мужика, отъ которыхъ морозъ подиралъ у него по кожѣ, и увидалъ очень скоро карты съ красными задками, услаждавшія досугъ взрослыхъ людей; выучившись рано грамотѣ, онъ, во время всенощныхъ и великопостныхъ службъ на дому, читалъ священныя книги, бормоча и съ трудомъ понимая прочитанное. Иногда отецъ Дениса Ивановича, человѣкъ весьма набожный, рассказывалъ въ кругу своего семейства назидательныя исторіи, въ родѣ повѣсти о приключеніяхъ Іосифа Прекраснаго, и извлекалъ слезы чувствительности у своихъ молодыхъ слушателей. Слѣдуя обычаю того времени, отецъ рано записалъ своего Дениса въ семейный полкъ (въ 1754 г.), но будущій авторъ „Бригадира" никогда не несъ дѣйствительныхъ тягостей военной службы. Иностранныхъ учителей не было у Дениса Ивановича, потому что эта роскошь приходилась не по средствамъ его отцу; съ открытіемъ же гимназіи при московскомъ университетѣ, Иванъ Андреевичъ не замедлилъ помѣстить туда своихъ сыновей: Дениса и Павла, бывшаго впоследствии директоромъ этого самаго университета. Ученіе въ новооткрытой гимназіи шло плохо: учителя рѣдко ходили въ классы, а если и ходили, то проку отъ ихъ ученія было мало. Преподаватель Чернявскій, обучавшій ариметикѣ, пилъ смертную чашу; учитель латинскаго языка, Яремскій, воспитанникъ петербургской академіи наукъ, по нѣсколькимъ мѣсяцевъ не являлся на уроки, и докторъ, котораго посылали къ нему для освидѣтельствованія, находилъ, что онъ или пропалъ изъ дому, или былъ пьянъ съ утра. Не мудрено, что при подобныхъ наставникахъ экзамены въ гимназіи производились такъ, какъ они описаны самимъ

Фонъ-Визинъ въ его мемуарахъ: „Наканунъ экзамена, говоритъ онъ, дѣлалось приготовленіе: учитель прищелъ въ кафтанъ, на коемъ было пять пуговицъ, а на камзолѣ четыре. Удивленный сею странностью, спросилъ я учителя о причинѣ. „Пуговицы мои вамъ кажутся смѣшны, говорилъ онъ, но онѣ суть стражи вашей и моей чести, ибѣ на кафтанѣ значутъ пять склоненій, а на камзолѣ четыре спряженія; итакъ,—продолжалъ онъ, ударяя по столу рукою,—извольте слушать всѣ, что говорить стану. Когда станутъ спрашивать о какомъ нибудь имени, какого склоненія, тогда примѣчайте, за которую пуговицу я возьмусь; если за вторую, то смѣло отвѣчайте: второго склоненія. Съ спряженіями поступайте, смотря на мои камзолныя пуговицы, и никогда ошибки не сдѣлаете ¹⁾“. Вслѣдствіе догадливости учителя, экзаменъ изъ латинскаго языка сошелъ съ рукъ благополучно. Менѣе удаченъ былъ экзаменъ изъ географіи, на которомъ ни одинъ изъ учениковъ не отвѣтилъ точно на вопросъ: куда впадаетъ Волга? Кто говорилъ: въ Черное, кто — въ Бѣлое море; Фонъ-Визинъ поступилъ откровеннѣе и прямо сказалъ: не знаю. Но, не смотря на недостатокъ трудолюбивыхъ преподавателей, Фонъ-Визинъ учился, сравнительно съ другими, хорошо и успѣлъ вынести изъ гимназіи кое-какія познанія въ латинскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, а также въ словесныхъ наукахъ. Начальство отличало его, какъ способнѣйшаго ученика, то награждая медалью, то поручая произнести рѣчь на торжественномъ актѣ, на тему „щедрости и прозорливости Ея Императорскаго Величества, всецѣдой мѣзѣ основательницы и покровительницы“. Въ 1758 г. Иванъ Ивановичъ Мелиссино, тогдашній директоръ университета, задумалъ сѣздать въ Петербургъ для личныхъ объясненій съ кураторомъ — Иваномъ Ивановичемъ Шуваловымъ, и взялъ съ собою на показъ десять лучшихъ воспитанниковъ гимназіи. Въ этомъ числѣ были: Яковъ Булгаковъ, Денисъ Фонъ-Визинъ и Григорій Потемкинъ. Въ Петербургѣ Фонъ-Визинъ поселился у своего дяди и черезъ нѣсколько дней по пріѣздѣ былъ представленъ куратору, который встрѣтилъ юношей весьма ласково, а одного изъ нихъ, именно Фонъ-Визина, подвелъ къ своему знаменитому гостю, Ломоносову. Послѣ обѣда, въ тотъ же день, воспитанниковъ повезли во дворецъ, на куртажъ. Интересно впечатлѣніе, произведенное на юношу Фонъ-Визина первымъ пріѣздомъ ко двору, прославленному своимъ блескомъ и пышностью. „Призна-

¹⁾ Этимологіи латинскаго языка обучали три преподавателя: Константиновъ, Амичъ и Фразинъ. Кто изъ нихъ распорядился такъ остроумно—рѣшить нельзя.

ись искренно, говорить онъ, что я удивленъ былъ великолѣпіемъ двора нашей императрицы. Вездѣ сіяющее золото, собраніе людей въ голубыхъ и красныхъ лентахъ, множество дамъ прекрасныхъ, наконецъ огромная музыка — все сіе поразило зрѣніе и слухъ мой, а дворецъ казался мнѣ жилищемъ существа выше смертнаго. Но ничто въ Петербургѣ такъ не поразило Фонъ-Визина, какъ театральныя представленія, которыя ему случилось видѣть въ первый разъ въ жизни. Давали комедію: Генрихъ и Перилла. „Дѣйствія, произведеннаго во мнѣ театромъ — пишетъ Фонъ-Визинъ въ своемъ „Чистосердечномъ признаніи“ — почти описать не возможно: комедію, видѣнную мною, довольно глупую, считалъ я произведеніемъ величайшаго разума, а актеровъ — великими людьми, коихъ знакомство, думалъ я, составило бы мое благополучіе. Я съ ума было сошелъ отъ радости, узнавъ, что сіи комедіанты вхожи въ домъ дядюшки моего, у котораго я жилъ“. Въ домѣ своего дяди Фонъ-Визинъ познакомился съ Федоромъ Григорьевичемъ Волковымъ и Иваномъ Афанасьевичемъ Дмитревскимъ. Въ это же время, посѣщая театръ, онъ сблизился съ сыномъ одного знатнаго господина, который сначала былъ съ нимъ очень любезенъ, но потомъ, узнавъ, что новый его знакомый не говоритъ по французски, сталъ поднимать его на смѣхъ. Впрочемъ Фонъ-Визинъ скоро заставилъ его замолчать своими остротами, а чтобъ не подвергаться впередъ такому глумленію, рѣшился самъ выучиться французскому языку, что отчасти и исполнилъ въ два года, по возвращеніи въ Москву. 26 апрѣля 1759 г., въ день коронаціи Елизаветы Петровны, Фонъ-Визинъ, вмѣстѣ съ другими воспитанниками, былъ произведенъ въ студенты, при торжественномъ собраніи всѣхъ московскихъ сановниковъ. Съ тѣхъ поръ начался для него собственно университетскій курсъ, по философскому факультету, который, одинъ изъ всѣхъ трехъ (еще были открыты факультеты: медицинскій и юридическій) изобиловалъ преподавателями. Между профессорами Фонъ-Визина былъ извѣстный въ свое время Рейхель, авторъ „Исторіи о Японскомъ государствѣ“ и издатель журнала: „Собраніе лучшихъ сочиненій“. Рейхель обратилъ вниманіе на своего даровитаго слушателя и помѣстилъ въ своемъ журналѣ четыре его переводныя статьи: 1) О зеркалахъ древнихъ, 2) Торгъ семи музъ, 3) О приращеніи рисовальнаго художества и 4) О дѣйствіи и существѣ стихотворства. По рекомендаціи кого-то изъ своихъ профессоровъ, Фонъ-Визинъ добылъ себѣ заказъ отъ московскаго книгопродавца — перевести басни Гольберга, перевелъ ихъ (1761 г.) и получилъ, вмѣсто гонорара, отъ издателя на 50 руб-

лей иностранных книгъ. Книги эти, по собственному отзыву Фонъ-Визина, были „соблазнительныя и украшенныя скверными эстампами. Онѣ развратили воображеніе и возмутили душу“. Рѣзкій переходъ отъ пѣстистическихъ воззрѣній патриархальной семьи къ распущенности цинизма имѣлъ вредное вліяніе на организмъ юноши. Около того же времени Фонъ-Визинъ сталъ развязнѣе. на языкъ: острые насмѣшки и эпиграммы стали облетать всю Москву, доставляя автору ихъ репутацію „злаго и опаснаго мальчишки“. Фонъ-Визинъ самъ упоминаетъ, что въ это время онъ написал нѣсколько сатиръ, наполненныхъ „острыми ругательствами“; въ сожалѣнію эти первыя вспышки его сатирическаго ума не дошли до насъ во всей цѣлости, кромѣ басни „Лисица-кознодѣй“, которая, вѣроятно, была написана около 1762 г. Вскорѣ послѣ басенъ Гольберга, Фонъ-Визинъ, еще будучи студентомъ, началъ переводить (1762 г.) — съ нѣмецкаго перевода, а не съ французскаго оригинала, — нравоучительный романъ аббата Террассона: „Геройская добродѣтель или жизнь Сиеа, царя Египетскаго“. Окончаніе перевода сдѣлано было имъ уже въ Петербургѣ, въ 1763—68 гг. Нравоучительные романы, во вкусъ Телемака и Велизарія, были тогда въ большомъ ходу: изъ нихъ почерпала публика и нравственные правила, и политическую мудрость; они замѣняли то, что составляетъ теперь отдѣльную отрасль литературы — публицистику. Новый переводъ Фонъ-Визина былъ похваленъ Рейхелемъ въ его журналѣ; но самъ переводчикъ остался недоволенъ своимъ трудомъ и называлъ его несовсѣмъ удачнымъ. Къ университетской же эпохѣ относятся и два другіе его перевода: „Овидіевыхъ превращеній“ и „Альзиры“ Вольтера. Последний переводъ, сдѣланный стихами, произвелъ, по словамъ Фонъ-Визина, много шума въ свое время, вѣроятно, благодаря имени Вольтера; но самъ по себѣ онъ былъ очень плохъ, такъ что переводчикъ не отдалъ его ни на театръ, ни въ печать. Даже незнаніе языка обнаружилось здѣсь въ сильной степени; такъ напр., стихъ Вольтера: „les marbres impuisants en sabres façonnés“ Фонъ-Визинъ перевелъ: „бесильныя марморы, въ песокъ преобращенны“, причемъ явно смѣшалъ два сходно-звучащія французскія слова: sabre (сабля, мечъ) и sable (песокъ). По этому поводу А. С. Хвостовъ ²⁾ въ своей сатирѣ на Фонъ-

²⁾ Александръ Семеновичъ Хвостовъ (1758—1820) написалъ нѣсколько шуточныхъ стихотвореній, оставшихся въ рукописи, и Оду къ безсмертію, напечатанную въ „Собесѣдникѣ любителей Россійск. Слова“. Ему же принадлежатъ: переводъ комедій Теренція (1777), переводъ статей о Португаліи изъ всеобщей географіи Бюшнга и оригинальная комедія: „Оборотень“.

Визина, между прочимъ, говорить: „нельзя, чтобъ ты меча съ пескомъ не распозналъ“. Въ 1762 г. Фонъ-Визинъ кончилъ курсъ въ университетѣ и, вскорѣ по приѣздѣ двора въ Москву, опредѣлился на службу въ иностранную коллегію переводчикомъ съ латинскаго, французскаго и нѣмецкаго языковъ³⁾. Тогдашній канцлеръ, Мнх. Илар. Воронцовъ, поручалъ Фонъ-Визину переводъ важнѣйшихъ бумагъ, а когда пришлось отправить къ герцогинѣ шверинской пожалованный ей орденъ Св. Екатерины, то для этой поѣздки былъ избранъ также молодой переводчикъ, который и заслужилъ благосклонность самой герцогини и нашего министра при ея дворѣ. Это была первая заграничная поѣздка Фонъ-Визина; послѣ оны совершилъ ихъ еще три, въ разные мѣста, то по болѣзни жены, то самъ лѣчась отъ тяжелой болѣзни. 8 октября 1763 г. Фонъ-Визинъ, числясь на службѣ въ иностранной коллегіи, былъ прикомандированъ для нѣкоторыхъ дѣлъ къ кабинетъ-министру Ивану Перфильевичу Елагину и состоялъ при немъ болѣе шести лѣтъ. Служба при Елагинѣ осталась памятна для Фонъ-Визина лишь по однимъ неприяностямъ, перенесеннымъ имъ отъ своего сослуживца, Владимира Игнатьевича Лукина, извѣстнаго драматическаго писателя того времени. Самъ Елагинъ сначала, повидимому, былъ добръ и ласковъ къ своему подчиненному, но о его служебной карьерѣ заботился весьма мало. Потомъ они и совсѣмъ разсорились. Фонъ-Визинъ въ 1768 г. писалъ къ своимъ родителямъ: „Въ производствѣ моемъ надежды никакой нѣтъ. По крайней мѣрѣ, Иванъ Перфильевичъ о томъ, кажется, уже забылъ; напоминаніе же мое было бы излишне. Онъ меня любитъ; да вся его любовь состоитъ въ томъ, кажется, чтобы со мною обѣдать и проводить время. О счастіи же моемъ (т. е. о служебной карьерѣ) не рачитъ онъ нисколько, да и о своемъ не много помышляетъ“; а въ сентябрѣ того же года онъ совсѣмъ рѣшился оставить службу у „этого урода“, какъ писалъ своему отцу. Что

³⁾ Въ подлинномъ прошеніи, поданномъ Фонъ-Визиномъ въ гос. коллегію иностранныхъ дѣлъ (въ октябрѣ 1762 г.) объ опредѣленіи его въ эту коллегію, онъ писалъ: „Въ 1754 г. написанъ я въ оный (семеновскій) полкъ въ солдаты и отпущенъ для обученія наукъ въ имп. московскій университетъ, въ которомъ обучался латинскому, французскому и нѣмецкому языкамъ и разнымъ наукамъ, и за обученіе произведенъ въ полку по порядку до нынѣшняго моего чина, а въ университетѣ студентомъ“. Между тѣмъ, у кн. Вяземскаго въ „краткой запискѣ о службѣ Ф. В., извлеченной изъ официальныхъ бумагъ“, сказано, что онъ вступилъ въ службу въ 1755г. Это вѣрно, потому что 1754 годъ постоянно означается и въ „Спискахъ находящихся у статскихъ дѣлъ... съ показаніемъ каждаго вступленія въ службу и въ настоящій чинъ“.

было причиною ссоры Фонъ-Визина съ Лукинымъ: зависть ли Лукина къ дарованіямъ юноши, отбивавшаго у него первенство въ кабинетѣ начальника, насмѣшки ли Фонъ-Визина надъ литературными трудами обидчиваго автора?—рѣшить этотъ вопросъ довольно трудно, тѣмъ болѣе, что мы имѣемъ объ этой ссорѣ только одностороннее свидѣтельство самого Фонъ-Визина, который могъ быть и несправедливъ къ своему сопернику, если не въ литературѣ, то въ службѣ. Впрочемъ сторону Фонъ-Визина поддерживаютъ, въ этомъ случаѣ, отзывы лучшихъ сатирическихъ журналовъ екатерининскаго времени, единогласно нападавшихъ на Лукина за его необыкновенную самонадѣянность и литературное самохвалство. Какъ бы то ни было, но Фонъ-Визинъ не щадилъ красокъ для изображенія Лукина въ самомъ дурномъ и ненавистномъ видѣ. „Клянусь вамъ Богомъ—писалъ онъ ронымъ,—что невозможно представить себѣ на мысль всѣ тѣ злости, всѣ тѣ бездѣльныя хитрости, которыя употреблялъ Лукинъ къ поврежденію меня въ мысляхъ Ивана Перфильевича и всей его фамили. И дѣйствительно онъ сдѣлалъ было то, что я, не смотря ни на бѣдность свою, ни на то, что долженъ службою искать своего счастья, принужденъ былъ оставить службу“. Ко времени службы при Елагинѣ относится знакомство Фонъ-Визина съ однимъ княземъ, молодымъ писателемъ, который ввелъ его въ общество людей невѣрующихъ. Лучшее препровожденіе времени въ этомъ обществѣ состояло въ богохуленіи и кощунствѣ. „Въ первомъ,—говоритъ Фонъ-Визинъ,—не принималъ я никакого участія и содрогался, слыша ругательства безбожниковъ; а въ кощунствѣ игралъ я и самъ не послѣднюю роль... Въ сіе время сочинилъ я посланіе къ Шумилу, въ коемъ нѣкоторые стихи являютъ тогдашнее мое заблужденіе, такъ что отъ сего сочиненія у многихъ прослылъ я безбожникомъ“. Ученіе энциклопедистовъ, распространенное тогда по Европѣ, проникло и въ Россію; въ немъ замѣтны были зародыши двухъ философскихъ системъ: деистической и собственно матеріалистической, или атеизма. Вольтеръ, не будучи христианиномъ въ конфессіональномъ смыслѣ, признавалъ еще въ явленіяхъ жизни и природы высшее, регулирующее начало; другіе энциклопедисты, какъ напр., Гельвецій и Дидро, совсѣмъ отвергали деистическій принципъ. Нашъ русскій доморощенный атеизмъ ведетъ, какъ извѣстно, свою генеалогію отъ Вольтера. Кое-кто читалъ у насъ Гельвеція и читалъ съ пониманіемъ, но большинство такъ называемыхъ волтеріанцевъ придерживалось въ своемъ безбожіи острыхъ фразъ и кощунственныхъ выходокъ противъ религіи. Это было легкомысленное бреттерство,

столько же задорное въ молодости, подъ вліяніемъ горячей крови и застольныхъ бесѣдъ, сколько трусливое въ старости, подъ угрозою смертнаго часа и при нетвердой увѣренности въ отсутствіи адскихъ мукъ. Такое кощунство, отнимая у человѣка поддержку простодушныхъ вѣрованій, не давало ему взамѣнъ ничего прочнаго, на чемъ можно было бы остановиться и успокоиться; разрушая нравственные принципы, созданные преданіемъ, не внушало другихъ, которые могли бы служить имъ противовѣсомъ или замѣною. Фонъ-Визинъ, увлекался природною остротою ума, падкаго на шутки и эпиграммы, являлся въ атеистическій кружокъ и вторилъ ему, когда рѣчь заходила о религіозныхъ предметахъ; но вскорѣ, послѣ нѣсколькихъ поѣздокъ въ Москву, гдѣ не было для него поддержки въ скептической бесѣдѣ,—прежняя компанія показалась ему далеко не столь пріятной; въ душѣ воскресли и живѣе заговорили воспоминанія дѣтства, осмѣянные, но ничѣмъ основательно не разрушенные. Подъ вліяніемъ этой внутренней реакціи онъ сталъ искать душеспасительныхъ бесѣдъ, и Г. Н. Тепловъ предложилъ ему свои услуги въ „опредѣленіи системы вѣры“. По совѣту Теплова, Фонъ-Визинъ перевелъ отрывки изъ книги Самуэля Кларка: „Доказательства бытія Божія и истины христіанской вѣры“ и хотѣлъ приложить ихъ въ концѣ своего „Чистосердечнаго признанія“, которое впрочемъ осталось не оконченнымъ.

Въ Петербургѣ же, при Елагинѣ, Фонъ-Визинъ началъ, а въ Москвѣ окончилъ (1766 г.) свою оригинальную комедію „Бригадиръ“ и переводъ поэмы Витобе: „Іосифъ“. По возвращеніи изъ отпуска Фонъ-Визинъ, кажется, первому Елагину прочелъ своего „Бригадира“. Неизвѣстно, понравилась ли пьеса кабинет-министру; достовѣрно только, что не онъ первый выдвинулъ впередъ и пьесу, и автора. Какъ-то случилось Фонъ-Визину прочитать „Бригадира“ въ обществѣ А. И. Бибикова и графа Григорія Григорьевича Орлова; чтеніе понравилось имъ, и Орловъ не преминулъ сообщить объ этой пріятной новости самой императрицѣ. Приглашенный въ Петергофъ, молодой авторъ прочелъ, послѣ бала, свою пьесу государынѣ. Сконфузившись сначала, онъ, ободренный похвалами слушательницы, входилъ болѣе и болѣе въ смыслъ чтенія и, когда окончилъ, то удостоился самаго милостиваго привѣтствія. Съ этой минуты и пьеса, и ея молодой авторъ сдѣлались достояніемъ всѣхъ петербургскихъ салоновъ. Великій князь Павелъ Петровичъ, графы Панины, графы Чернышovy, графъ А. С. Строгановъ, гр. А. П. Шуваловъ, графиня М. А. Румянцова, всѣ наперерывъ желали видѣть автора и слышать

пьесу, заслужившую высочайшее одобрение. Фонъ-Визинъ не за-
рывалъ въ землю своего таланта: читая хорошо, онъ увлекалъ
всю знать своей пьесой, пока не прошла на нее мода. Не знаемъ,
какими отзывами почтили автора Чернышovy, Шуваловъ и др.;
но Н. И. Панинъ, въ послѣдствіи начальникъ Фонъ-Визина, про-
изнесъ о пьесѣ весьма дѣльное сужденіе; „я вижу,—сказалъ онъ
автору,—что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо брига-
дириша ваша всѣмъ родна; никто сказать не можетъ, что
такую же Акулину Тимофеевну не имѣть—или бабушку, или те-
тушку, или какую нибудь свойственницу“. Какъ прославленный
авторъ „Бригадира“, Фонъ-Визинъ попалъ на обѣдъ къ одному
графу, весьма знатному по чину, считавшемуся умнымъ и про-
свѣщеннымъ человѣкомъ: „Старый грѣшникъ—писалъ о немъ Фонъ-
Визинъ—отвергалъ даже бытіе Вышняго Существа. Я поѣхалъ
къ нему съ княземъ (о которомъ мы упоминали выше), надѣясь
найти въ немъ, по крайней мѣрѣ, разсуждающаго человѣка; но
поведеніе его иное мнѣ показало. Ему вздумалось за обѣдомъ
открыть свой образъ мыслей или, лучше сказать, свое безбожіе
при слугахъ. Разсужденія его были софистическія и безуміе явное,
но со всѣмъ тѣмъ поколебали душу мою“.

Вскорѣ Фонъ-Визинъ отправился за духовною помощью къ
Г. Н. Теплоу. Теплоу назвалъ Фонъ-Визину еще другаго, по-
добнаго же атеиста, къ удивленію нашему, оберъ-прокурора св.
синода: доказательство, что идеи французской философіи, хотя
поверхностно, но довольно широко захватили въ свой кругъ наше
высшее общество XVIII-го столѣтія. Этотъ оберъ-прокуроръ (Чебы-
шовъ) былъ даже такимъ рьянымъ пропагандистомъ новаго ученія,
что, при встрѣчѣ въ гостинномъ дворѣ съ унтеръ-офицеромъ гвардіи,
не преминулъ вразумить его сейчасъ же по вопросу о бытіи Божіемъ.
Насколько осмысленны были въ то время эти атеистическія бра-
вады, мы объяснили выше. Слѣдуетъ замѣтить, что, отказавшись
въ теоріи отъ религіознаго вольнодумства, Фонъ-Визинъ никогда
не покидалъ своего политическаго либерализма, что видно, напр.,
изъ переведеннаго имъ (въ 1777 г.) „Похвальнаго слова Марку
Аврелію“. До болѣзни своей, Фонъ-Визинъ и въ религіозномъ
благочестіи не заходилъ очень далеко.

Кромѣ графскихъ салоновъ, Фонъ-Визинъ посѣщалъ въ то же
время и литературныя гостинныя, какъ напр., г-жи Мятлевой, у
которой собирались по вечерамъ многіе литераторы: Херасковъ,
Майковъ, Богдановичъ и др. „Пылкость ума его, необузданное,
острое выраженіе всегда всѣхъ раздражало и бѣсило, но со всѣмъ
тѣмъ всѣ любили его“. („Фонъ-Визинъ“, соч. кн. Вяземскаго, стр.

244). Какъ находчивъ былъ Фонъ-Визинъ въ разговорѣ и какъ ловко отражалъ онъ насмѣшку, можно заключить изъ слѣдующаго разсказа: А. С. Хвостовъ, въ стихотвореніи своемъ, называлъ Фонъ-Визина к умомъ музъ. „Можетъ быть,—замѣтилъ Денисъ Ивановичъ при чтеніи этой сатиры,—только навѣрно покумился я съ музами не на крестинахъ автора“ ⁴⁾.

Придворные балы и маскарады, петербургскія увеселенія и большинство петербургскихъ знакомствъ мало привлекали къ себѣ Фонъ-Визина, не смотря на его общительность и лихорадочную подвижность ума. Въ натурѣ его всегда таилось какое-то хорошее, симпатическое начало, привлекавшее его только къ людямъ, которые имѣли съ нимъ что нибудь общее, которые могли бы достойно раздѣлять его къ нимъ привязанность. „Одинъ Богъ видѣть,—писалъ онъ къ роднымъ изъ Петербурга,—какъ мнѣ съ вами хочется увидѣться...“—„Я не лгу,—писалъ онъ въ другомъ письмѣ,—что здѣсь знакомства еще не сдѣлалъ. Съ кадетскимъ корпусомъ не очень обхожусь, затѣмъ что тамъ большая часть солдаты; а съ академіей—затѣмъ что тамъ большая часть педанты... Да, сверхъ того, слово знакомство, можетъ быть, вы не такъ понимаете, какъ я. Я хочу, чтобы оно было основаніемъ *ou de l'amitié ou de l'amour*; однако этого желанія по несчастію недостаточно и ниже тѣни къ исполненію онаго не имѣю“.

Въ декабрѣ 1769 года Фонъ-Визинъ перешелъ отъ Елагина въ иностранную коллегію, къ графу Н. И. Панину, которому сталъ извѣстенъ, живя въ Петергофѣ. Это мѣсто было самое видное во всей служебной карьерѣ Фонъ-Визина: онъ былъ, по собственнымъ словамъ, „неотлучно при своемъ благодѣтелѣ до послѣдней минуты его жизни († 31 марта 1783 г.) и, сохраняя къ нему непоколебимую преданность, удостоенъ былъ всегда полной его довѣренности“.—Не всѣ служившіе у гр. Панина были такъ честны въ отношеніи къ нему ⁵⁾; одинъ изъ нихъ „заплатилъ за всѣ благодѣянія (Панина) всю черноту души и, снѣдаемъ будучи самолюбіемъ, алчущимъ возвышенія, вредилъ положенію своего благодѣлателя столько, сколько находилъ то нужнымъ для выгоды

⁴⁾ Кстати приведемъ еще анекдотъ о Фонъ-Визинѣ. Рассказываютъ, будто, слушая чтеніе „Росслава“ Я. Б. Княжнина, Фонъ-Визинъ спросилъ наконецъ автора: „Когда же вырастетъ твой герой? Онъ все твердитъ: я—Россъ, я—Россъ! пора бы ему и перестать расти!“ Княжнинъ отвѣчалъ на это: „Мой Росславъ совершенно вырастетъ, когда твоего „Бригадира“ произведутъ въ генералы“.

⁵⁾ Кромѣ Фонъ-Визина, занимались при гр. Панинѣ: Петръ Васильевичъ Бакунинъ и Яковъ Яковлевичъ Убри.

своего положенія". Разсказывали прежде и о Фонъ-Визинѣ, что, ходя къ Потемкину, своему бывшему уиверситетскому товарищу, уже вошедшему въ силу, онъ передразнивалъ внѣшній видъ Панина и вообще старался унижить его въ глазахъ временщика; но это слѣдуетъ отнести къ разряду апокрифическихъ сказаній. Фонъ-Визинъ, правда, владѣя большимъ талантомъ, любилъ и умѣлъ подтрунить надъ смѣшными сторонами своихъ знакомыхъ, слѣдовательно, онъ могъ дозволить себѣ гдѣ нибудь шутку и насчетъ гр. Панина; но сознательнаго желанія унижить гр. Панина, чтобы подслужиться Потемкину — нельзя допустить уже потому, что первая попытка въ подобномъ смыслѣ была бы тотчасъ передана Панину услужливыми наушниками и непременно рассорила бы его съ Фонъ-Визиномъ. Къ тому же извѣстно, что въ характерѣ Фонъ-Визина совсѣмъ не было двоедушія; онъ никогда не добивался своихъ выгодъ ни посредствомъ личнаго низкопоклонства, ни путемъ своего таланта, и остается чистъ отъ всякаго подобнаго упрека. Не только предъ вельможами, но и предъ самою императрицею онъ держалъ себя независимо и, конечно, съ большимъ правомъ, чѣмъ самъ авторъ приводимыхъ стиховъ, могъ сказать о себѣ:

. сердца моего товаровъ
За деньги я не продаю.

Отношенія Панина къ Фонъ-Визину оставались всегда самыми дружелюбными съ начала и до конца служебнаго поприща Фонъ-Визина. Что касается до личности самого графа Н. И. Панина, то онъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени и очень даровитымъ государственнымъ человекомъ, искусно лавировавшимъ на дипломатическомъ полѣ. „По внутреннимъ дѣламъ—пишетъ о немъ Фонъ-Визинъ—гнушался онъ въ душѣ своею поведеніемъ тѣхъ, кои по своимъ видамъ, невѣжеству и рабству, составляютъ государственный секретъ изъ того, что въ націи благоустроенной должно быть извѣстно всѣмъ и каждому, какъ-то: количество доходовъ, причины налоговъ и проч. Не могъ онъ терпѣть, что по дѣламъ гражданскимъ и уголовнымъ учреждались самовластіемъ частныя комисіи мимо судебныхъ мѣстъ, установленныхъ защищать невинность и наказывать преступленія". Настаивая на раскрытіи финансоваго положенія страны, ея доходовъ и расходовъ, графъ Панинъ касался самой важной болѣзни екатерининскаго царствованія. Чтобы не говорить голословно, вспомнимъ скандальную исторію банкира Сутерланда, который „былъ со всѣми вельможами въ великой связи, потому что онъ имъ ссужалъ казенныя деньги, которыя принималъ изъ

государственного казначейства для перевода въ чужіе края по случавшимся тамъ министерскимъ надобностямъ" (Зап. Державина). Одному Потемкину перешло при этомъ 800,000 р., и вся эта сумма впоследствии была принята императрицею на счетъ государственной казны. Вспомнимъ другой случай въ государственномъ заемномъ банкѣ, директоры котораго „вошли между собою въ толь короткую связь, что брали казенныя деньги на покупку брилліантовъ, дабы, продавъ ихъ императрицѣ съ барышемъ, внести въ казну забранныя ими суммы и, сверхъ того, имѣть себѣ какой либо прибыльтокъ" (ibid.) Во внѣшнихъ сношеніяхъ графъ Панинъ продолжалъ традиціонную Петровскую политику—ослабленія (но не разрушенія) Польши, которая и была наконецъ раздѣлена, вопреки его видамъ, между тремя сосѣдними державами; добивалъ Турцію и стремился ограничить морской деспотизмъ Англіи. Во всѣхъ этихъ дипломатическихъ сношеніяхъ принималъ участіе и Фонъ-Визинъ, который, являясь точнымъ исполнителемъ министерскихъ приказаній, вносилъ, въ то же время, и свои мысли въ секретарскую работу, проходившую между его рукъ. Изъ частной переписки Фонъ-Визина съ нашими дипломатическими министрами того времени видно, что онъ пользовался довѣріемъ графа Н. И. Панина;—къ его помощи часто прибѣгали помянутыя лица: за полученіемъ орденовской ленты, какъ Стакельбергъ, за удовлетвореніемъ личной обиды, какъ Марковъ, за скорѣйшей высылкой денегъ, какъ Зинovieвъ (посланникъ въ Мадридѣ), за прибавкой жалованья духовнику посольства, какъ Булгаковъ. Одинъ посылаетъ ему въ подарокъ бархатный кафтанъ, другой—зубочисти; третій хочетъ „прислать вина шампанскаго", если только пожелаетъ Фонъ-Визинъ, и т. д. Даже грубый Сальдернъ (нашъ посолъ въ Варшавѣ), честившій Маркова par les épithètes diffamantes de sot et de misérable,—даже онъ любезничалъ съ Фонъ-Визиномъ въ письмахъ и спрашивалъ его мнѣнія о разныхъ политическихъ событіяхъ.—„Прошу, государь мой, писать Фонъ-Визину Обрѣсковъ,—когда праздное время излучите, посѣтитъ моихъ дѣтей, дать имъ хорошія наставленія къ ученію и поведенію, да и учителя ихъ побуждать ко всевозможному ихъ обученію". Особенно дружескій тонъ господствуетъ въ перепискѣ Фонъ-Визина съ Я. И. Булгаковымъ; сохранились также отвѣты на его письма А. И. Бибикова ⁹⁾ и, судя по нимъ, авторъ Брпа-

⁹⁾ Александръ Ильичъ Бибиновъ, генералъ-аншефъ, род. въ Москвѣ въ 1729 г. ум. въ Бугульмѣ въ 1774 г. Служба его началась съ 1746 г.; во время семилѣтней войны онъ былъ полковникомъ и отличился во многихъ сра-

диря былъ весьма близокъ къ первому покровителю своего таланта (см. у князя Вяземскаго, стр. 72—79).

Кстати замѣтить, что въ спорѣ секретаря русскаго посольства въ Варшавѣ, Маркова, съ посланникомъ Сальдерномъ Фонъ-Визинъ взялъ сторону обиженнаго, хотя Сальдернъ былъ въ то время еще очень силенъ въ мнѣніи графа Н. И. Панина. Служа при графѣ Н. И. Панинѣ, Фонъ-Визинъ вступилъ въ переписку съ братомъ его, Петромъ Ивановичемъ ¹⁾, жившимъ въ отставкѣ, въ Москвѣ, причемъ сообщалъ своему любознательному корреспонденту копии съ интересныхъ дипломатическихъ бумагъ, конечно, не безъ вѣдома самого министра иностранныхъ дѣлъ. Эти короткія отношенія продолжались и по смерти графа Н. И. Панина. Въ 1773 г. состояніе Фонъ-Визина, жившаго до тѣхъ поръ почти однимъ жалованьемъ, неожиданно увеличилось. Графъ Н. И. Панинъ, окончивъ воспитаніе наслѣдника, получилъ, между прочимъ, въ награду 9000 душъ крестьянъ въ Бѣлоруссіи и изъ этого числа уступилъ (около 4-хъ тысячъ) тремъ своимъ сотрудникамъ. Между ними Фонъ-Визину досталось при дѣлѣжѣ 1180 душъ. Около того же времени Фонъ-Визинъ познакомился со вдовой Хлоповой, рожденной Роговиковой, и въ 1774 г. женился на ней, отчасти для того, чтобы прекратить сплетни, которыя стали распускать насчетъ ихъ взаимнаго расположенія. Въ приданое за женою онъ получилъ по тѣжбѣ, имъ самимъ веденной, нѣкоторую сумму денегъ и домъ въ Галерной, цѣною въ 20,000 р. На эти средства Фонъ-Визинъ могъ предпринять три путешествія за границу и вести довольно прихотливую жизнь, которая, при дурномъ хозяйствѣ, скоро разстроила его далеко не огромное состояніе. По смерти Фонъ-Визина, жена его, оставленная всѣми зна-

женіяхъ. Въ 1766 г. костромское дворянство выбрало его депутатомъ въ комисію для составленія новаго уложенія, а въ слѣдующемъ году императрица назначила его маршаломъ этой комисіи. Съ іюня 1771 г. Бибииковъ начальствовалъ русскимъ корпусомъ въ Польшѣ, а въ концѣ 1773 г. былъ посланъ противъ Пугачева. Вскорѣ онъ заболѣлъ горячкою и умеръ, не успѣвъ подавить вооруженнаго возстанія.

¹⁾ Петръ Ивановичъ Панинъ род. въ 1721 г. ум. въ 1789. Онъ участвовалъ въ семилѣтней войнѣ и былъ главнымъ виновникомъ побѣды подъ Франкфуртомъ на Одерѣ. Въ 1769 г. онъ начальствовалъ второй арміей, назначенной противъ турокъ, а впоследствии окончательно усмирять мятежъ Пугачева, по смерти А. И. Бибиикова. Панинъ извѣстенъ былъ прямою и честностью своего характера, за что и не пользовался при дворѣ особенною пріязнью. „Я никогда не была охотница до Петра Панина“, говорила Екатерина, назначая его противъ Пугачева. Только государственная необходимость заставила императрицу рѣшиться а эту мѣру.

комыми, много бѣдствовала, выпрашивая изъ нужды денегъ по мелочамъ. О первой поѣздѣ или, точнѣе, о командировкѣ Фонъ-Визина за границу мы упоминали въ началѣ статьи; во второй разъ (собственно первое путешествіе) ѣздилъ онъ въ 1777—8 годахъ для поправленія здоровья своей жены и проѣхалъ чрезъ Варшаву, Дрезденъ, Франкфуртъ на Майнѣ, Страсбургъ, Ліонъ и Нимъ до Монпелье—цѣли своей поѣздки. Въ Монпелье пробылъ онъ около двухъ мѣсяцевъ для лѣченія жены и въ концѣ февраля 1778 г. пріѣхалъ въ Парижъ, справедливо почитавшійся центромъ умственной жизни Европы. Плодомъ этой поѣздки были извѣстныя его письма къ сестрѣ, Оедосѣ Ивановѣ (въ замужствѣ Аргамаковой) и къ графу П. И. Панину,—письма, написанныя въ разномъ тонѣ, но исполненныя повтореній, такъ какъ они касаются однихъ и тѣхъ же лицъ и событій. За границей Фонъ-Визинъ держалъ себя, какъ знатный человѣкъ, и, пользуясь, конечно, своимъ офиціальнымъ положеніемъ при графѣ Н. И. Панинѣ, водилъ знакомство съ мѣстными аристократами и русскими посланниками. Въ Варшавѣ русский посолъ сдѣлалъ визитъ его женѣ, а на другой день далъ обѣдъ, на которомъ познакомилъ своихъ гостей съ высшимъ польскимъ обществомъ. „Всякій вечеръ — писалъ Фонъ-Визинъ къ своей сестрѣ — мы званы на ассамблеи. Вчера поутру (17 сент. 1777 г.) посолъ пріѣхалъ къ намъ и сидѣлъ до обѣда, что здѣсь за величайшую отличность почитается. Онъ офиривалъ намъ домъ свой такъ, чтобы мы за нашъ собственный почитали. По пріѣздѣ королевскомъ въ первый куртажъ, посолъ ему меня представилъ. Король (Станиславъ-Августъ), подошедъ ко мнѣ, сказалъ съ видомъ весьма ласковымъ, что онъ знаетъ меня давно по репутаціи и весьма радъ видѣть меня въ своей землѣ. Потомъ спрашивалъ меня о здоровьѣ жены моей и долго ли здѣсь останемся... Посолъ нашъ всякій день звалъ меня обѣдать къ себѣ и возилъ меня съ визитами, которые мнѣ и возвращены; словомъ сказать, мы всякій день выѣзжаемъ, и время летитъ нечувствительно“. Въ Парижѣ нашъ посланникъ, Барятинскій, самъ прискакалъ верхомъ къ Фонъ-Визину и обошелся съ нимъ, „какъ съ роднымъ братомъ“. Здѣсь же Фонъ-Визинъ былъ свидѣтелемъ триумфа, устроеннаго Вольтеру, и познакомился съ кружкомъ французскихъ писателей, управлявшихъ общественнымъ мнѣніемъ Европы. Но ни Вольтеръ, ни Дидро ⁹⁾, ни Руссо не привлекли къ себѣ его сочувствія, и

⁹⁾ Дени Дидро (1713—1784 г.) можетъ быть названъ главою энциклопедистовъ на томъ основаніи, что онъ, при участіи многихъ сотрудниковъ, издавалъ

онъ отзывается о всѣхъ энциклопедистахъ съ неудержимымъ цинизмомъ, доходящимъ даже до бранныхъ выраженій въ родѣ „урода“ и „шарлатана“; въ особенности не посчастливилось д'Аламберу ⁹⁾, у котораго найдена была „премерзкая фигура и преподленькая фizioномія“. Источникъ негодованія Фонъ-Визина былъ, впрочемъ, довольно извинительный: его поразило то обстоятельство, что, по прїѣздѣ въ Парижъ брата одного изъ петербургскихъ временщиковъ, д'Аламберъ, Мармонтель и другіе писатели явились „въ передней засвидѣтельствовать свое низжайшее почтеніе“ для того, какъ несправедливо полагалъ Фонъ-Визинъ, чтобы получить подарки отъ нашего двора. „Мое душевное почтеніе, говоритъ путешественникъ, совсѣмъ истребилось послѣ такого подлаго поступка“. При этомъ строгій критикъ не сообразилъ только, что со стороны д'Аламбера, осыпаннаго любезностями русской императрицы, подобный визитъ къ брату ея приближеннаго былъ, по тогдашнимъ понятіямъ, дѣломъ простой учтивости, и что Мармонтель, котораго сочиненія жгли въ Парижѣ и переводили въ Петербургѣ, тоже могъ питать неліцемерное уваженіе къ Екатеринѣ II-й и пожелать выразить ей это уваженіе черезъ посредство близкаго лица. Таковы же были отношенія къ русскому двору Вольтера и Дидро. Окруженные знаками самаго лестнаго вниманія императрицы, они честно слали на Сѣверъ свои гимны и поощренія. Конечно, имъ доставались при этомъ небольшія выгоды (какъ напр., покупка библіотеки у Дидро, съ предоставле-

ннѣстѣ съ д'Аламберомъ „Энциклопедію“, или громадный алфавитный сборникъ статей по всѣмъ наукамъ (*Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société des gens de lettres*). Это изданіе продолжалось въ теченіе 20-ти лѣтъ (1751—1772 г.). Вольтеръ (1694—1778 г.) принималъ живѣйшее участіе въ этой „Энциклопедіи“: онъ давалъ совѣты своимъ друзьямъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, присылалъ статьи, предлагалъ перенести изданіе въ Лозанну и готовъ былъ употребить для него половину своего состоянія. Кромѣ Вольтера, въ „Энциклопедіи“ участвовали: Бюффонъ, Монтескьё, Гельвецій (1715—1771), Гольбахъ (1723—1789) и Кондильякъ (1715—1789). Три послѣдніе мыслителя принадлежатъ къ матеріалистической школѣ; ихъ философія выражается въ сочиненіяхъ: *Système de la nature* (Гольбаха), *De l'esprit* (Гельвеція), *Traité des sensations* (Кондильяка). Самъ Дидро тоже не былъ деистомъ и, если вѣрнѣе разсказать, умирая, развивалъ свои отрицательные взгляды.

⁹⁾ Д'Аламберъ род. въ Парижѣ въ 1717 г., ум. въ 1783 г. Знаменитый математикъ и философъ, редакторъ „Энциклопедіи“, для которой онъ написалъ *Discours préliminaire*. Въ 1758 г. д'Аламберъ оставилъ энциклопедію, и Дидро динъ продолжалъ вести предпріятіе. Съ 1754 г. д'Аламберъ считался членомъ французской академіи, а въ 1772 году былъ избранъ ея секретаремъ. Между энциклопедистами онъ отличался спокойствіемъ и методичностью въ изложеніи статей, а также безупречнымъ благородствомъ своего личнаго характера.

ніемъ пожизненнаго пользованія ея владѣльцу): но эти выгоды были такъ ничтожны сравнительно съ другими наградами Екатерины II-й, что трудно рѣшиться обозвать ихъ подлостью, имѣя въ виду то, чего могли бы достигнуть эти люди, еслибъ они, въ самомъ дѣлѣ, заботились объ однѣхъ своихъ личныхъ выгодахъ. Д'Аламберъ отказался даже отъ огромнаго жалованья и чести быть при русскомъ дворѣ, чтобы не поступиться нисколько своей независимостью. Къ тому же, тонкая лесть и похвалы энциклопедистовъ были не бесполезны для того дѣла, о которомъ хлопотали они. Но Фонъ-Визинъ уже мало сочувствовалъ тогда философін французскихъ энциклопедистовъ, быть можетъ, и потому, что въ его родимой землѣ расплодилось слишкомъ много Иванушекъ (см. „Бригадира“), схватившихъ въ Парижѣ однѣ вершочки европейской цивилизаціи. По нѣкоторой близорукости и дурно-направленной страсти къ пересмѣиванью, онъ не оцѣнилъ какъ должно другихъ, полезныхъ сторонъ этой пропаганды, и ея успѣхи, ея нравственныя завоеванія не были дороги для него. Тѣмъ не менѣе, Фонъ-Визинъ признавалъ отчасти заслуги энциклопедистовъ „въ искорененіи предрасудковъ“, охотно читалъ ихъ сочиненія и позаимствовался отсюда въ тѣхъ же самыхъ письмахъ изъ путешествія. Подробнѣе объ этомъ мы скажемъ во второй части нашей статьи.

Въ промежуткахъ между первымъ и вторымъ путешествіемъ Фонъ-Визинъ написалъ „Недоросля“ (1782 г.), который имѣлъ еще болѣе успѣха, чѣмъ „Бригадиръ“. Публика, по свидѣтельству современниковъ, „аплодировала эту пьесу (во время представленія) метаніемъ кошельковъ съ деньгами“; высшая знать была тоже ею очень довольна. Потемкину приписываютъ, по этому случаю, извѣстную фразу: „умри, Денисъ, или больше ничего не пиши“. И, словно повинуясь этому заклатію, Фонъ-Визинъ дѣйствительно не написалъ послѣ „Недоросля“ ничего, выходящаго изъ ряду. Драматическіе отрывки его: „Выборъ гувернера“ и др. появились послѣ „Недоросля“, но по блѣдности фигуръ кажутся или копіями съ прежнихъ комедій, или первыми черновыми набросками для серьезной работы. Второе путешествіе Фонъ-Визина за границу относится въ 1784—5 годамъ. Въ этотъ разъ онъ ѣздилъ собственно въ Италію, гдѣ пробылъ нѣсколько мѣсяцевъ и успѣлъ видѣть почти всѣ главные города. Здѣсь же купилъ онъ нѣсколько картинъ для торговаго дома Клостермана въ Петербургѣ съ которымъ вошелъ въ коммерческія дѣла, продолжавшіяся до конца его жизни. Изъ этого путешествія онъ писалъ письма къ своей сестрѣ и въ нихъ осуждалъ Италію съ такою же строгостью

какъ и Францію. Снисхожденіе оказываетъ Фонъ-Визинъ только къ художественнымъ произведеніямъ этой страны. Любуясь ея превосходными бюстами и картинами, онъ изъясняетъ опасеніе, что самъ скоро „превратится въ бюстъ“. Барскія привычки Фонъ-Визина, привившіяся къ нему волей-неволею на лонѣ крѣпостныхъ отношеній, обнаружилась какъ въ Парижѣ, такъ и въ Италіи: живя во Франціи, онъ удивлялся, что солдатъ садится рядомъ съ своимъ начальникомъ, чтобъ вмѣстѣ съ нимъ смотрѣть комедію; въ Италіи онъ страдалъ отъ „превеликихъ грубостей“ почтальоновъ, доводившихъ его до изступленія. „Еслибъ не жена,—говоритъ онъ по поводу этихъ грубостей,—которая на тотъ часъ меня собою связала, я всеконечно потерялъ бы терпѣніе и кого-нибудь застрѣлилъ бы... Англичане то и дѣло стрѣляютъ почтальоновъ“. Скромная и расчетливая жизнь итальянцевъ не понравилась туристу, привыкшему къ блеску и пышности екатерининскаго двора. „Здѣсь первая дама,—пишетъ онъ изъ Рима,—принцесса Санта-Кроче, у которой весь городъ бываетъ на конверсаци и у которой во время сѣздовъ нѣтъ на крыльцѣ ни площадки. Необходимо надобно, чтобъ гостинный лакей (т. е. слуга гостя) имѣлъ фонарь и помогалъ своему господину взлѣзать на лѣстницу. Необходимо проходить множество покоевъ или, лучше сказать, хлѣбовъ, гдѣ горитъ по лампадочкѣ масла. Гостей ничѣмъ не потчиваютъ и не только кофе или чаю, ниже воды не подносятъ“.

Оставивъ Венецію въ маѣ 1785 г., Фонъ-Визинъ возвратился въ августѣ того же года въ Москву и вскорѣ (29 авг.) пострадалъ отъ паралича, который до конца жизни отнялъ у него свободное употребленіе языка и лѣвой руки и ноги. Кажется, что первое предвѣстіе паралича почувствовалъ Фонъ-Визинъ еще въ Римѣ: по крайней мѣрѣ, въ письмѣ изъ Вѣны (май 1785 г.) онъ жалуется на „слабость нервовъ и онѣмѣніе лѣвой руки и ноги“. Уже съ цѣлью лѣчиться отъ этихъ непріятныхъ послѣдствій болѣзни проѣхалъ онъ, по совѣту вѣнскаго медика, въ Баденъ, гдѣ принималъ сѣрныя ванны. Послѣ паралича, поразившаго его въ Москвѣ, Фонъ-Визинъ сильно упалъ тѣломъ и духомъ. Куда дѣвались его прежняя бодрость въ житейскихъ невзгодахъ, насмѣшки надъ людскими глупостями, иронія надъ предрасудками! Строгихъ теоретическихъ убѣжденій никогда у него не было и, даже послѣ обращенія къ Самуэлю Кларку, его неистощимый юморъ заходилъ та предѣлы того, что самъ онъ считалъ удобнымъ и открытымъ для насмѣшки. Такъ напр., въ „Недорослѣ“ онъ глумился надъ Кутейкинымъ съ его ветхозавѣтнымъ языкомъ; а въ письмахъ изъ Франціи (къ гр. Панину) говорилъ о двухъ принцахъ королев-

скаго дома, изъ которыхъ: „одинъ имѣетъ великую претензію на царство небесное и о земныхъ вещахъ мало помышляетъ. Попы увѣрили его, что, не отрeksiсь вовсе отъ здраваго ума, нельзя никакъ понравиться Богу, и онъ дѣлаетъ все возможное, чтобъ стать угодникомъ Божиимъ. Другой побѣдилъ силу вѣры силою вина: мало людей перепить его могутъ“. Но со времени болѣзни такія вольнодумныя поползновенія, упорно сохранившіяся въ немъ отъ юныхъ лѣтъ, наконецъ стали ему казаться предосудительными, и онъ все строже и строже подавлялъ ихъ въ себѣ. Говорятъ, что, сидя въ московской университетской церкви, онъ обращался къ студентамъ съ такою рѣчью, указывая на свои разбитые члены: „Дѣти, возьмите меня въ примѣръ: я наказанъ за вольнодумство, не оскорбляйте Бога ни словами, ни мыслью!“ Преданіе это вполне достоверно: изъ исповѣди Фонъ-Визина и „разсужденій о суетной жизни человѣческой“ видно, что мѣра его самоуниженія была дѣйствительно велика. „Лишился я пораженныхъ членовъ—пишетъ онъ въ „разсужденіи“—въ самое то время, когда, возвращаясь изъ чужихъ краевъ, упоенъ былъ мечтою о моихъ знаніяхъ, когда безумное на разумъ мой надѣяніе изъ мѣръ выходило, и когда, казалось, представлялся случай къ возвышенію въ суетную знаменитость. Тогда Всевѣдецъ, зная, что таланты мои могутъ быть болѣе вредны, нежели полезны, отнялъ у меня самого способы изъясняться словесно и письменно, и просвѣтилъ меня въ „разсужденіи меня самого“. Третье путешествіе Фонъ-Визина было предпринято въ 1786 г. съ спеціальной цѣлью поправить здоровье, разстроенное параличемъ. Пробывъ въ Вѣнѣ нѣсколько мѣсяцевъ, ѣздилъ онъ въ Карлсбадъ лѣчиться цѣлебными водами; изъ Карлсбада отправился въ Тренцинъ въ Венгріи, также для пользованія водами, и возвратился въ Петербургъ въ концѣ сентября 1787 г. Лѣченіе шло неудачно, отчасти потому, что Фонъ-Визинъ частехонько выкланивалъ себѣ у докторовъ разныя льготы, которыя мѣшали успѣшности лѣченія. Въ 1789 г., тоже для возстановленія здоровья, Фонъ-Визинъ ѣздилъ въ Ригу, Балъдонъ и Митаву и, судя по его дневнику, испыталъ немало терзаній отъ докторовъ; но все было напрасно—утраченное здоровье такъ навсегда и оставило его. Жена Фонъ-Визина сопутствовала ему во всѣхъ поѣздкахъ за границу и заботливо ухаживала за больнымъ мужемъ, хотя, кажется, имѣла поводы пенять на него въ своей супружеской жизни. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1786 г. она была въ Петербургѣ съ цѣлью хлопотать о заграничной поѣздкѣ, необходимой для ея мужа; между тѣмъ Фонъ-Визину написали въ Москву, что жена его возстановляетъ

всѣхъ противъ него своими жалобами и намѣрена даже просить императрицу о разводѣ. Извѣстіе это встревожило Дениса Ивановича. „Вчера узнавъ о семъ,—писалъ онъ къ одному пріятелю своему,—я почти вовсе сталъ безъ языка“. Пріятель извѣстилъ его, что слухи совершенно ложны: Фонъ-Визинъ успокоился. Дѣйствительно, жена его, купивъ дорожную карету, немедленно пріѣхала въ Москву, и тѣмъ же лѣтомъ они отправились въ Вѣну. Грозившій призракъ скандала быстро разсѣлся; вообще брачный вѣнецъ Фонъ-Визина, не смотря на нѣкоторые случайныя непріятности, былъ для него довольно легокъ. Въ Ригу и Бальдонъ жена не сопровождала Фонъ-Визина (вѣроятно, по домашнимъ препятствіямъ) и въ его дневникѣ упоминается, какъ близкій человѣкъ, нѣкто Михаилъ Алексѣевичъ—можетъ быть, братъ или родственникъ Василя Алексѣевича Аргамакова, женатаго на сестрѣ Фонъ-Визина. Дѣтей у Дениса Ивановича не было.

По смерти гр. Н. И. Панина, Фонъ-Визинъ недолго находился на дѣйствительной службѣ и въ чинѣ статскаго совѣтника вышелъ въ отставку ¹⁰⁾. Онъ могъ бы предаться тѣмъ свободнѣе литературной дѣятельности; но на бѣду болѣзнь поразила его физическія силы и умственные способности. Въ 1788 г. талантъ Фонъ-Визина въ послѣдній разъ вспыхнулъ было новою искрой; въ головѣ его родился планъ сатирическаго журнала подъ названіемъ: „Другъ честныхъ людей или Стародумъ“. Но петербургская полиція не разрѣшила этого изданія, и оно оставилось на печатномъ объявленіи, да на нѣсколькихъ заготовленныхъ статьяхъ. Это запрещеніе полиціи показываетъ, что императрица уже вовсе перестала благоволить къ Фонъ-Визину. Мы говорили, что въ немъ не оказалось тѣхъ специфическихъ добродѣтелей придворнаго литератора, которыми владѣлъ съ избыткомъ Державинъ:—Фонъ-Визинъ былъ слишкомъ прямъ, слишкомъ угловатъ; мало кланялся и мало унижался. Онъ какъ будто требовалъ, а не выпрашивалъ уваженія къ себѣ и своему талан-

¹⁰⁾ Въ 1780 г. Фонъ-Визинъ былъ уже канцеляріи совѣтникомъ, а въ 1781 г. назначенъ членомъ „Департамента Правленія Почтовыхъ Дѣлъ“, учрежденнаго за годъ до того при иностранной коллегіи. Памятникомъ этой службы сохранился черновой собственноручный набросокъ Фонъ-Визина о почтахъ и ихъ лучшемъ устройствѣ, составляющій, повидимому, начало обширной официальной записки. Черезъ два года почтовое управленіе получило совѣтъ иное образованіе и „Департаментъ“ былъ уничтоженъ; но имени Фонъ-Визина не находится въ числѣ служащихъ лицъ еще раньше: его уже нѣтъ въ адресъ-календарѣ на 1783 г., такъ что, вѣроятно, Фонъ-Визинъ оставилъ службу тотчасъ по смерти графа Панина (31 марта 1783 г.).

ту. Сверхъ того, Фонъ-Визинъ былъ преданъ гр. Н. И. Панину, котораго императрица не любила и терпѣла при себѣ только по необходимости. „Фонъ-Визинъ, говоритъ Н. А. Добролюбовъ, не умѣлъ вполне понять великой Екатерины и, вслѣдствіе этого, онъ не пользовался расположеніемъ при дворѣ. Это былъ, конечно, одинъ изъ умнѣйшихъ и благороднѣйшихъ представителей истиннаго, здраваго направленія мыслей въ Россіи, особенно въ первое время своей литературной дѣятельности, до болѣзни; но его горячія, безкорыстныя стремленія были слишкомъ непрактичны, слишкомъ мало обѣщали существенной пользы предъ судомъ императрицы, чтобы она могла поощрять ихъ. И она сочла за лучшее не обращать на него вниманія, показавъ ему предвѣрительно, что путь, которымъ онъ идетъ, не приведетъ ни къ чему хорошему.“ Открытая размолвка вышла по поводу его смѣлыхъ „Вопросовъ“, въ которыхъ онъ мѣтилъ на слишкомъ явные и щекотливые недостатки того времени. Но еще прежде того, Фонъ-Визинъ написалъ, по порученію гр. Н. И. Панина, одно политическое разсужденіе для великаго князя, и въ немъ затронулъ основной принципъ нашего государственнаго устройства. Екатерина, узнавъ объ этомъ, сказала въ кругу своихъ приближенныхъ: „плохо мнѣ приходится жить! ужъ и г. Фонъ-Визинъ хочетъ учить меня царствовать“. Въ 1788 г. Фонъ-Визинъ получилъ отказъ въ изданіи журнала. Въ концѣ жизни онъ переводилъ или собирался переводить Тацита и писалъ по этому случаю къ государынѣ (14 февр. 1790 г.), но отвѣтъ былъ неблагоприятный...

1-го декабря 1792 г. Фонъ-Визинъ умеръ въ Петербургѣ. Вотъ какъ описываетъ И. И. Дмитриевъ свою встрѣчу съ авторомъ „Недоросля“, наканунѣ его смерти: „Черезъ Державина я сошелся съ Денисомъ Ивановичемъ Фонъ-Визиномъ. По возвращеніи его изъ бѣлорусскаго его помѣстья, онъ просилъ Гаврила Романовича познакомить его со мною. Я не знавалъ его въ лицо, какъ и онъ меня. Назначенъ былъ день свиданія. Въ шесть часовъ пополудни пріѣхалъ Фонъ-Визинъ. Увидя его въ первый разъ, я вздрогнулъ и почувствовалъ всю бѣдность и нищету человѣческую. Онъ вступилъ въ кабинетъ Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами, выпущенными изъ Шкловскаго кадетскаго корпуса и пріѣхавшими съ нимъ изъ Бѣлоруссіи. Уже онъ не могъ владѣть одною рукою; равно и одна нога одеревнѣла; обѣ пораженны были параличомъ; говорилъ съ крайнимъ усиленіемъ, и каждое слово произносилъ голосомъ охриплымъ и дикимъ; но большіе глаза его быстро сверкали. Первый, брошен-

ный на меня, взглядъ привелъ меня въ смятеніе. Разговоръ не замѣшкался. Онъ приступилъ ко мнѣ съ вопросами о своихъ сочиненіяхъ: знаю ли я Недоросля? читалъ ли Посланіе къ Шумилову, Лису-кознодѣйку, переводъ его „Похвальнаго слова Марку Аврелію“? и такъ далѣе; какъ я нахожу ихъ?—Казалось, что онъ такими вопросами хотѣлъ съ перваго раза вывѣдать свойства ума моего и характера. Наконецъ спросилъ меня и о чужомъ сочиненіи: чтѣ я думаю о „Душенькѣ“? „Она — изъ лучшихъ произведеній нашей поэзіи“, отвѣчалъ я. „Прелестна!“ подтвердилъ онъ съ выразительною улыбкою. Потомъ Фонъ-Визинъ сказалъ хозяину, что онъ привезъ ему свою комедію: Гофмейстеръ ¹¹⁾; хозяинъ и хозяйка изъявили желаніе выслушать эту новость. Онъ подаль знакъ одному изъ своихъ вожатыхъ. Тотъ прочиталъ комедію однимъ духомъ. Въ продолженіе чтенія, авторъ глазами, киваніемъ головы, движеніемъ здоровой руки поддѣрпывалъ силу тѣхъ выраженій, которыя ему самому нравились. Игривость ума не оставляла его и при болѣзненномъ состояніи тѣла. Несмотря на трудность разсказа, онъ заставлялъ насъ не однажды смѣяться. Во всемъ уѣздѣ, пока онъ жилъ въ деревнѣ, удалось ему найти одного русскаго литератора, городскаго почтмейстера. Онъ выдавалъ себя за жаркаго почитателя Ломоносова. „Которую же изъ одъ его вы признаете лучшею?“—„Ни одной не случилось читать,“—отвѣтствовалъ почтмейстеръ. Зато,—продолжалъ Фонъ-Визинъ,—доѣхавъ до Москвы, я уже не зналъ, куда дѣваться отъ молодыхъ стихотворцевъ. Отъ утра и до вечера, они вокругъ меня роились и жужжали. Однажды докладываютъ мнѣ: пріѣхалъ трагикъ. Принять его, сказалъ я, и чрезъ минуту входитъ авторъ съ пучкомъ бумагъ. Послѣ первыхъ привѣтствій и оговорокъ, онъ проситъ меня выслушать трагедію его въ новомъ вкусѣ. Нечего дѣлать, прошу его садиться и читать. Онъ предвѣщаетъ меня, что развязка драмы его будетъ самая необыкновенная; у всѣхъ трагедій оканчиваются добровольнымъ или насильственнымъ убійствомъ, а его героиня, или главное лицо, умретъ естественною смертію. И въ самомъ дѣлѣ, заключилъ Фонъ-Визинъ, героиня его отъ акта до

¹¹⁾ Князь Вяземскій полагаетъ, что эта самая пьеса названа вполнѣдствіи: „Выборъ гувернера“. Можетъ быть такъ, а можетъ быть и иначе. И. С. Фонъ-Визинъ, родственникъ покойнаго Д. И., сообщилъ намъ, что бумаги Дениса Ивановича сохранились долгое время въ селѣ Спасскомъ (Клинскаго уѣзда); но лѣтъ 15 назадъ истреблены пожаромъ. Между этими бумагами И. С. помнитъ 2 дѣйствія комедіи (не „Гофмейстеръ“ ли?) и 6 ненапечатанныхъ писемъ.

акта чахла, чахла и наконецъ издохла.—Мы разстались съ нимъ въ одиннадцать часовъ вечера, а на утро онъ былъ уже въ гробѣ“.

Перейдемъ къ оцѣнкѣ литературной дѣятельности Фонъ-Визина въ связи съ тою интересною эпохой, которой онъ служить у насъ однимъ изъ самыхъ яркихъ представителей.

II.

Развитіе европейской литературы въ новѣйшее время. Философія XVIII вѣка и ея вліяніе на русское общество. Екатерина II-я, какъ послѣдовательница французскихъ энциклопедистовъ. Ея сочиненія съ тенденціозной стороны. Общее направленіе русской литературы того времени. Педагогическіе взгляды, нравственныя и политическія убѣжденія Фонъ-Визина. Художественное достоинство его типовъ и значеніе ихъ въ связи съ характеромъ эпохи.

Русская литература находится, со временъ Петра I-го, въ такой тѣсной зависимости отъ общаго хода и развитія литературы европейской, что изучать первую, не составивъ себѣ предварительнаго понятія о послѣдней, если и возможно, то, по крайней мѣрѣ, вполнѣ бесполезно. Только изъ этой связи, соединяющей наше литературное развитіе съ движеніемъ обще-европейской мысли, можемъ мы заимствовать правильный взглядъ на многія самыя крупныя явленія въ исторіи русской словесности. Риторическое направленіе Ломоносова въ его одахъ и раціональное—въ научныхъ изслѣдованіяхъ; господство лже-классицизма въ лирикѣ, эпосѣ и драмѣ; пропаганда свободомыслія въ лучшихъ произведеніяхъ екатерининскаго вѣка и реакція ему въ разныхъ мѣропріятіяхъ и мистическихъ ученіяхъ; сентиментализмъ, романтизмъ и пр.—все это находитъ себѣ смыслъ и объясненіе въ томъ вліяніи, какое оказывало всегда на нашу литературу развитіе мысли на Западѣ Европы. Такимъ образомъ, не приступая еще къ спеціальному разсмотрѣнію литературной дѣятельности Фонъ-Визина, мы должны припомнить состояніе умовъ въ Западной Европѣ, насколько отразилось оно въ литературныхъ произведеніяхъ и философскихъ теоріяхъ того времени.

Духъ пытливости, съ котораго начинается истинная наука, сталъ развиваться почти одновременно въ Англіи и во Франціи и коснулся, первымъ дѣломъ, теологическихъ понятій, завѣщанныхъ стариною; а борьба протестанства съ католицизмомъ въ обѣихъ передовыхъ странахъ Европы много способствовала его усилению.

Для этой борьбы понадобились научныя свѣдѣнія и разумныя доводы; но разъ допустивъ ихъ, нельзя уже было остановиться на первомъ шагѣ, и естественное теченіе мыслей увлекало все дальше и дальше на этомъ заманчивомъ пути. Гукеръ (въ концѣ XIV-го столѣтія) обращался отъ преданій къ суду разума, хотя и прибивалъ, что разумъ отдѣльныхъ лицъ долженъ иногда преклоняться предъ авторитетами; Чиллингвортъ въ своемъ знаменитомъ сочиненіи: *Religion of protestants* (1637 г.) не признавалъ уже никакихъ исключеній, которыя ограничивали бы права разума. Въ то же время Бэконъ Веруламскій (1561—1626), въ борьбѣ съ схоластикой, поставилъ высшимъ научнымъ принципомъ наблюденіе и опытъ естествознанія, за что и названъ былъ отцомъ новѣйшей философіи. Томасъ Муръ (1480—1535) нарисовалъ въ своей „Утопіи“ (1516) идеалъ новаго общественнаго устройства, далеко не похожій на рутинную практику среднихъ вѣковъ. Словомъ, критическая мысль уже была пробуждена въ XVI-мъ вѣкѣ и росла незамѣтно, но послѣдовательно. Въ царствованіе Карла II-го духъ пытливости сдѣлалъ новыя и болѣе обширныя завоеванія, благодаря тому, что этотъ король не оказывалъ никакого стѣсненія умственнымъ успѣхамъ страны. Послѣ сильныхъ нападеній Томаса Гоббса на современную ортодоксію, Джонъ Локкъ систематизировалъ вполне ученіе эмпиризма въ своемъ „Опытѣ познавательной способности человѣка“ (1689 г.). Въ высшее англійское общество свободная критика, чуждая традиціонныхъ вліяній, вторглась чрезъ посредство двухъ современниковъ-писателей: Шефтсбери (1671—1713) и Болингброка (1672—1751 г.) Теологія, нравственность и отчасти политика подчинились вліянію разума, который сдѣлался единственнымъ судьей всѣхъ жизненныхъ явленій. Не отрицая высшей воли, господствующей въ мірѣ, англійскіе деисты обращались къ неизмѣннымъ законамъ природы; въ нравственности они становились на практическую точку зрѣнія, признавая нравственнымъ то, что могло приносить пользу въ человѣческомъ обществѣ; въ политикѣ осмѣивали отжившія понятія. Во Франціи реформація, послѣ Варолюмеевской ночи, какъ религіозная догма, занимала второстепенную роль въ народной жизни. Между тѣмъ и дѣя реформы и свободной критики всего существующаго развивалась въ умахъ, начиная съ Раблэ (1483—1553), продолжая Монтанемъ (1533—1593 г.), Шаррономъ и Декартомъ (1596—1650 г.). Первый изъ нихъ осмѣивалъ съ цинической рѣзкостью безпутство и праздность „аббатовъ, аббатиссъ, монашескихъ и папскихъ“, не затрогивая однако самаго принципа ихъ существованія; второй представилъ въ сво-

их *Essais* замѣчательный образчикъ не зараженной мистицизмомъ философіи житейскаго знанія; Шарронъ (въ книгѣ: *De la sagesse*) построилъ уже цѣлую систему нравственности безъ теологической примѣси: „Мы должны возвыситься, говорилъ онъ, надъ притязаніями враждебныхъ сектъ и довольствоваться практической религіей, состоящей въ исполненіи обязанностей жизни.“ Правленіе Ришелье—деспота въ политикѣ и прогрессиста въ религіи—было весьма сподручно для развитія конфессіональной терпимости. Декартъ, этотъ (по словамъ Бокля) великій разрушитель старыхъ преданій, въ своей философской системѣ, отправлялся единственно отъ разума, какъ исходнаго пункта всѣхъ человѣческихъ познаній, и съ замѣчательной твердостью высказалъ слѣдующее основное положеніе своей школы: „если мы хотимъ узнать всѣ истины, которыя можемъ знать, то прежде всего должны освободиться отъ предразсудковъ и поставить себѣ цѣлью отвергнуть до новаго испытанія все, что мы приняли прежде. Вотъ почему мы должны выводить наши мнѣнія изъ насъ самихъ. Мы не должны произносить сужденія о предметѣ, котораго не понимаемъ ясно и точно, ибо такое сужденіе, даже и правильное, есть только случайность; оно лишено прочнаго основанія, на которомъ могло бы опираться.“

Дальнѣйшее развитіе свободныхъ идей досталось на долю Франціи, находившейся еще подъ „старымъ правленіемъ“ (*ancien régime*) въ то время, когда Англія пользовалась уже сравнительно свободными учрежденіями. Этотъ гнетъ извнѣ только усиливалъ внутренній напоръ прогрессивной мысли. Въ XVIII столѣтіи скептическіе умы во Франціи взялись уже за проблему кореннаго переустройства общества: къ критикѣ факта присоединились, подъ вліяніемъ свободы мысли и политическихъ учрежденій Англіи, практическія стремленія къ преобразованію. Монтескье въ своихъ „Персидскихъ письмахъ“ подвергнулъ критикѣ разнообразныя установленія въ Европѣ, особенно во Франціи; онъ же впоследствии (*l'Esprit des lois*), увлекшись англійскою конституціей, отстаивалъ ограниченную монархію, въ противоположность порядку, существовавшему въ его отечествѣ. Одновременно съ нимъ началъ свою литературную дѣятельность Вольтеръ, имя котораго служить донинѣ знаменемъ всей „литературы освобожденія“ XVIII-го вѣка. Въ своихъ драмахъ, памфлетахъ, ученыхъ разсужденіяхъ, Вольтеръ ясно высказалъ и популяризировалъ идеи, которыя встрѣчались, въ различныхъ дозахъ, у его французскихъ и англійскихъ предшественниковъ. Никто лучше его не умѣлъ однимъ словомъ, одною язвительною насмѣшкой пошатнуть цѣлый

строй господствовавшихъ понятій; никто не стоялъ такъ высоко въ мнѣніи образованной Европы и не имѣлъ на нее такого могучаго и, во многихъ отношеніяхъ, благотѣльнаго вліянія. Не слишкомъ сильный, какъ философъ и теоретикъ, Вольтеръ бралъ верхъ надъ другими писателями разнообразіемъ и блескомъ своего таланта.—Англійская умѣренность и сдержанность мысли были забыты во Франціи: деизмъ Локка не устоялъ противъ рѣзкой діалектики французскихъ философовъ. Съ 1758 г. (когда появилась книга Гельвеція: *de l'Esprit*), атеистическій образъ мыслей сталъ быстро распространяться во Франціи. Гельвецій въ своемъ философскомъ изслѣдованіи говорить, что разница между человекомъ и животнымъ низшей породы есть результатъ различія въ ихъ внѣшней формѣ; строеніе тѣла есть единственная причина превосходства; наши мысли суть продуктъ двухъ способностей: способности получать впечатлѣнія отъ внѣшнихъ предметовъ и способности помнить полученное впечатлѣніе. Наши добродѣтели и пороки суть только результатъ нашихъ страстей, а страсти порождаются нашей физической чувствительностью къ наслажденію или страданію. Физической чувствительности обязаны люди наслажденіемъ или страданіемъ—отсюда чувство личнаго интереса (эгоизма) и стремленіе жить въ обществѣ подъ охраною и при взаимной помощи другихъ людей. Когда составилось общество, явилось понятіе объ общемъ интересѣ, безъ котораго общество не могло бы удержаться; а такъ какъ дѣйствія человѣческія бываютъ справедливы и несправедливы лишь настолько, насколько они содѣйствуютъ этому общему интересу, то установилось мѣрило, по которому отличается справедливость отъ несправедливости. Дальше Гельвецій разсматриваетъ происхожденіе изъ того же источника (*de la sensibilité physique*) всѣхъ другихъ чувствъ, управляющихъ дѣйствіями человека: такъ онъ говоритъ, что честолюбіе и дружба суть исключительно произведенія физическаго чувства, что люди стремятся къ славѣ или изъ удовольствія, которое они надѣются получить отъ обладанія ею, или какъ къ средству для послѣдовательнаго доставленія себѣ другихъ удовольствій. Эгоизмъ есть величайшій двигатель и производитель всего; даже мать, оплакивающая потерю своего ребенка, побуждается къ этому эгоизмомъ: она плачетъ оттого, что лишена удовольствія и видитъ предъ собою пустоту, которую ей трудно наполнить. Атеизмъ открыто защищался д'Аламберомъ, Дидро, Кондильякомъ, Кондорсэ, Лаландомъ, Лапласомъ, Мирабо. Въ 1764 году—рассказываетъ Дидро—англійскій писатель Юмъ прибылъ въ Парижъ и въ домѣ барона Гольбаха встрѣтилъ знаменитѣйшихъ

французскихъ ученыхъ того времени. Въ бесѣдѣ съ ними Юмъ сталъ представлять доводы противъ возможности существованія атеистовъ въ настоящемъ значеніи этого слова. „Что касается до меня, говорилъ онъ, я никогда не встрѣчалъ атеиста“.—„Вы были довольно несчастливы,—возразилъ на это Гольбахъ,—въ настоящее время вы видите ихъ здѣсь за столомъ семнадцать“.—Съ политическими вопросами случилось то же, что и съ религіозными: идеи Монтескье скоро перестали удовлетворять умы. Гельвецій нападалъ уже на мечтательность его системы; но сильнѣе вооружился противъ нея Ж. Ж. Руссо. Точно также прогрессировала во Франціи идея нормальнаго воспитанія, высказанная англійскимъ эмпирикомъ Локкомъ. Отнесясь критически ко всему существующему порядку, Локкъ обратилъ вниманіе на современныя ему школы, откуда выходили полу-невѣжественные защитники этого порядка; примѣнивъ къ нимъ требованія здраваго смысла, онъ, конечно, остался ими весьма недоволенъ. Воспитаніе въ то время, потерявъ всякое образовательное значеніе, стало равносильнымъ обученію, а обученіе почти ограничивалось усвоеніемъ формъ латинскаго языка и правильнымъ употребленіемъ его въ разговорѣ и письмѣ. Десятки лѣтъ посвящались такому притупляющему занятію. Въ извѣстномъ разговорѣ Эразма (*Ciceronianus sive de optimo dicendi genere*) Нозопонъ говоритъ, что онъ семь лѣтъ читаетъ исключительно одного Цицерона и выучиваетъ его почти наизусть, потомъ семь лѣтъ употребляетъ на подражаніе Цицерону, для чего всѣ слова изъ произведеній послѣдняго собираетъ въ алфавитномъ порядкѣ въ одинъ лексиконъ, въ другой—также въ алфавитномъ порядкѣ, всѣ фразы Цицерона, въ третій—всѣ стопы (*pedes*), которыми онъ начинаетъ и оканчиваетъ періоды и т. д. и т. д. Пренебрегая развитіемъ естественной любознательности дитяти, обращенной совсѣмъ не назадъ, въ древній міръ, а скорѣе на все окружающее его, строгіе дидаскалы прибѣгали къ принужденію и бичу, какъ къ единственному возбудителю учебнаго рвенія. Противъ этой крайности впервые возсталъ Монтанъ всею силою своего убѣжденія и остроумія. Въ его *Essais* двѣ главы (24 и 25) посвящены нападкамъ на эту дрессировку, неправильно называемую воспитаніемъ. Свобода, чуждая всякаго принужденія, и самостоятельное образованіе дитяти посредствомъ упражненія въ предметахъ, его интересующихъ—вотъ, по мнѣнію Монтаня, два важнѣйшія условія воспитанія; воспитатель долженъ не подавлять свободную дѣятельность своего питомца, а только помогать и руководить ей; отказывая дѣтямъ въ подобной дѣятельности, мы воспитываемъ въ нихъ рабство и трусость. Поэтому

Монтанъ возстаетъ противъ всѣхъ сильныхъ принудительныхъ мѣръ, особенно противъ тѣлеснаго наказанія; дѣтскіе проступки своей дочери онъ искоренялъ одними кроткими убѣжденіями. „Я не видалъ иныхъ послѣдствій отъ розогъ—говоритъ онъ—кромя робости и злобнаго упрямства; я желалъ бы кроткимъ обращеніемъ возбудить въ своихъ дѣтихъ живую любовь и непритворное расположеніе къ себѣ“. Локкъ, врачъ и практическій воспитатель, принялъ и распространилъ основные взгляды Монтаня, изложивъ ихъ въ отдѣльномъ сочиненіи, въ стройномъ порядкѣ и системѣ (*Some thoughts concerning education*). „Власть надъ дѣтьми,—говоритъ этотъ мыслитель,—будетъ тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ болѣе она основана на кротости и довѣріи“. Важнѣйшая обязанность воспитанія состоитъ въ томъ, чтобы сообщить душѣ воспитанника истинное направленіе, согласное съ разумомъ и благородствомъ человѣческой природы. Для достиженія такого результата, все воспитаніе раздѣлялось на три части: собственно обученіе, нравственное развитіе и укрѣпленіе физическихъ силъ. На первомъ мѣстѣ стояло нравственное развитіе, которое полагалось въ „умѣннѣ человѣка отказываться отъ собственныхъ желаній; дѣйствовать только соотвѣтственно рѣшенію разума, вопреки собственнымъ наклонностямъ“. Средство къ этому—пріученіе, своевременное и постепенное упражненіе ребенка. „Кто въ молодости, говоритъ Локкъ, не пріучился подчинять своей воли разуму другихъ, тому трудно будетъ впослѣдствіи подчиниться своему собственному“. Если дѣти провинятся въ дурныхъ поступкахъ, то Локкъ совѣтуетъ дѣйствовать на нихъ преимущественно стыдомъ и порицаніемъ, такъ какъ „вниманіе и презрѣніе другихъ людей суть могущественнѣйшія между всѣми возбужденіями души“. Онъ порицаетъ побои и другіе роды рабскихъ и тѣлесныхъ наказаній, бывшихъ тогда во всеобщемъ употребленіи, но дѣлаетъ впрочемъ одну уступку, позволяя прибѣгать къ розгѣ въ случаѣ упорнаго сопротивленія и упрямства. Правила физическаго воспитанія, направленные исключительно къ укрѣпленію тѣла, излагаются Локкомъ съ знаніемъ и подробностью опытнаго врача. Обученіе въ собственномъ смыслѣ поставлено Локкомъ въ самыя тѣсныя границы. „Вы удивляетесь,—пишетъ онъ въ своей книгѣ,—что я говорю о познаніяхъ въ самомъ концѣ, а удивитесь еще болѣе, если я вамъ скажу, что я считаю ихъ самымъ маловажнымъ дѣломъ... Воспитатель долженъ помнить, что его обязанность не состоитъ въ томъ, чтобы учить своего воспитанника всему, что человѣкъ можетъ знать, а скорѣе, чтобы возбудить въ немъ любовь и уваженіе ко всему достойному познанія и сообщить ему

надлежащее руководство къ приобрѣтенію познаній и дальнѣйшему образованію себя, если онъ будетъ имѣть къ тому охоту". Мысль Локка, отчасти вѣрная въ томъ отношеніи, что не слѣдуетъ загромождаѣть умъ ребенка массою непереваренныхъ фактовъ, можетъ подвергнуться серьезному возраженію въ томъ смыслѣ, что нельзя „возбудить въ ребенкѣ любовь къ наукѣ“, сообщая изъ нея только маловажныя свѣдѣнія, т. е. клочки и верхушки, связанные между собою одною предвзятою идеею. По теоріи Локка, знаніе и нравственное развитіе не имѣютъ одно съ другимъ ничего общаго; тогда какъ на самомъ дѣлѣ сумма познаній человѣка оказываетъ несравненно сильнѣйшее вліяніе на его нравственную сторону, чѣмъ всѣ голословныя, хотя бы и весьма благонамѣренныя сентенціи. Понятія о нравственности расширяются сообразно съ умственнымъ кругозоромъ каждой личности: слѣдовательно развитіе ума научными свѣдѣніями, и притомъ не поверхностными, составляетъ важнѣйшій элементъ въ истинно-человѣческомъ воспитаніи. Конечно, мы разумѣемъ здѣсь не сухую номенклатуру фактовъ, лишенныхъ всякаго разумнаго вывода, но именно трезвый взглядъ на природу и человѣка, опирающійся на возможно большее количество научныхъ данныхъ.

Педагогическая теорія Локка, попавъ во Францію, подверглась тутъ радикальному измѣненію. Локкъ, отстаивая свободу личности въ воспитаніи, считаетъ приученіе и даже изрѣдка страхъ наказанія довольно дѣйствительными воспитательными средствами; онъ не возстаетъ прямо противъ существующихъ преданій и официальной нравственности, и своими уступками примиряетъ съ собой всѣхъ враговъ рѣшительнаго переворота. Руссо, въ своемъ *Эмиль* (1762 г.), отрицаетъ уже всякое постороннее вліяніе на духовную сторону ребенка: то, что Локкъ называетъ систематическимъ приученіемъ къ житейскому порядку и извѣстному образу мыслей—въ глазахъ женеваго философа является нравственнымъ насиліемъ одного человѣка надъ другимъ. Руссо съ насмѣшкой говоритъ, что при такомъ насиліи воспитанникъ обращается въ „манежную лошадь“, что его натуру „выворачиваютъ и гнутъ на всѣ лады“. Къ воспитанію Руссо примѣнилъ свой основной взглядъ, что все выходитъ прекраснымъ изъ рукъ природы и обезображивается подъ вліяніемъ „предразсудковъ, авторитета и дурнаго примѣра“. Увлекаясь страстнымъ порывомъ къ лучшему, гениальный мечтатель осудилъ всю европейскую цивилизацію за то, что она служила, во многихъ случаяхъ, только лоскомъ для прикрытія прежняго невѣжества и алчныхъ инстинктовъ. Эти неразборчивыя нападки на всю европейскую цивили-

зацію, за ея случайныя и временныя направленія, начались еще со временъ Монтэня, который доказывалъ, что занятія науками изнѣживаютъ нравы, ослабляя мужество и бодрость духа, и подтверждалъ свою мысль примѣромъ могущественной въ то время Турецкой имперіи, въ которой цѣнилось только оружіе и презирались науки. Но такую парадоксальную мысль нельзя было доказать логическимъ и холоднымъ образомъ, потому и проповѣдь Монтэня не имѣла послѣдователей; Руссо же своимъ стремительнымъ краснорѣчіемъ увлекъ за собою многія пылкія головы и впечатлительныя сердца. Въ примѣненіи къ педагогикѣ эта мысль сослужила большую услугу, эмансипировавъ до возможныхъ предѣловъ личность воспитываемаго; слабая сторона ея заключалась въ томъ, что она не давала никакого регулятора для практическаго веденія дѣла, ибо нельзя считать опорною точкой—мечтательныя свойства дѣтской природы, изолированной отъ всего окружающаго.

Вліяніе „освободительной литературы“ XVIII-го вѣка на всю Европу было громадно. Не только частныя люди и независимые мыслители, но даже могущественные монархи и ихъ министры увлеклись новыми идеями, обѣщавшими такъ много добра человѣческому обществу. Фридрихъ II-й, Іосифъ II, Леопольдъ Тосканскій, Помбаль въ Португаліи, Аранда въ Испаніи, старались согласовать свое правленіе съ духомъ новыхъ началъ, проповѣдуемымъ французскими публицистами. Имя Вольтера окружено было почетомъ необыкновеннымъ: его Ферней сдѣлался литературнымъ дворомъ, къ которому отправляемы были почетные посланники. Фернейскій мудрецъ, наслаждаясь блескомъ своего двора, говорилъ съ гордостью возвеличеннаго таланта:

... mon ermitage
Voyait dans son enceinte arriver à grands flots
De cent divers pays les belles, les héros,
Des rimeurs, des savants, des têtes couronnées.

Екатерина II-я, смолоду зачитывавшаяся Вольтеромъ, также принадлежала къ числу поклонницъ его таланта и, вступивъ на престолъ, вошла въ прямыя сношенія какъ съ нимъ, такъ и съ другими литературными знаменитостями того времени. Приѣмъ, оказанный ею Дидро, описанъ этимъ послѣднимъ въ письмахъ къ друзьямъ. (*Mémoires, correspondances et ouvrages inédits de Diderot*, 1831). „Дверь кабинета государыни—писалъ онъ отъ 15 іюня 1774 г.—отперта для меня ежедневно отъ трехъ часовъ пополудни до пяти, а иногда и до шести. Вхожу. Меня сажаютъ, и я разговариваю также свободно, какъ съ вами. Выхода, я вы-

нужденъ сознаться, что я имѣлъ душу раба въ землѣ такъ называемыхъ свободныхъ людей, и что я позналъ въ себѣ душу свободного человѣка въ землѣ такъ называемыхъ варваровъ. Ахъ, друзья мои, что за государыня, что за необыкновенная женщина! Нельзя заподозрить похвалу мою, ибо я обвелъ щедрость ея самими тѣсными границами“. „Возвращаясь къ вамъ—пишетъ онъ въ другомъ письмѣ—обремененный почестями. Еслибы я пожелалъ черпать полными пригоршнями въ царской шкатулкѣ, то, вѣроятно, дѣло отъ меня зависѣло; но я предпочелъ заставить молчать петербургскихъ злоязычниковъ и дать вѣру въ меня парижскимъ невѣрующимъ. Всѣ мысли, наполнявшія голову мою при отъѣздѣ изъ Парижа, разсѣялись въ первую ночь приѣзда въ Петербургъ. Поведеніе мое отъ того стало честнѣе и возвышеннѣе. Ничего не надѣясь и не опасаясь, я могъ говорить, какъ мнѣ угодно было“. Щедрость Екатерины, о которой упоминаетъ Дидро, была имъ дѣйствительно „обведена довольно тѣсными границами“ и состояла въ томъ, что императрица подарила ему цвѣтное платье для придворныхъ визитовъ, шубу, подбитую богатымъ мѣхомъ, перстень съ портретомъ своимъ, и заплатила издержки его поѣздки, совершавшейся далеко „не по барски“. Но нѣтъ сомнѣнія, что императрица, не скупившаяся на награды, предлагала ему гораздо болѣе матеріальныхъ выгодъ, которыя Дидро отклонилъ отъ себя честнымъ образомъ, чтобы не возбудить дурныхъ толковъ со стороны „петербургскихъ злоязычниковъ“ и своихъ парижскихъ враговъ. Столько же любезна была императрица къ Циммерману и д'Аламберу. Управивъ д'Аламбера принять на себя воспитаніе великаго князя Павла Петровича, Екатерина писала ему: „быть рожденнымъ или призваннымъ на то, чтобы содѣйствовать благу и даже образованію цѣлаго народа, и отказаться отъ этого—значить, какъ мнѣ кажется, отказаться отъ возможности дѣлать добро, которое такъ вамъ по сердцу. Философія ваша основана на человѣколюбіи; позвольте сказать вамъ, что не соглашаться служить ему, когда служить можно—значить упускать изъ виду свою цѣль. Я такъ хорошо знаю васъ, какъ человѣка честнаго, что не могу приписать вашъ отказъ тщеславію; я знаю, что единственная его причина—любовь къ спокойствію, нужному для ученыхъ занятій и дружбы. Но что же мѣшаетъ? Приѣзжайте съ вашими друзьями: общаю вамъ всѣ удовольствія и удобства жизни, какія только отъ меня зависятъ; можетъ быть, вы найдете здѣсь болѣе покоя и свободы, нежели у васъ“. Въ письмѣ къ Циммерману (доктору и автору извѣстной въ свое время книги: „Объ уединеніи“), котораго она тоже приглашала

въ Россію, императрица высказываетъ прямо свою политическую исповѣдь: „я уважала философію (философію энциклопедистовъ), потому что въ душѣ моей была всегда отмѣнной республиканской. Признаюсь, что такое расположеніе души съ моею неограниченною властью покажется, можетъ быть, чуднымъ противорѣчіемъ; однакожь въ Россіи никто не скажетъ, чтобы я власть свою въ зло употребляла“¹²⁾. Въ началѣ своего царствованія, прежде чѣмъ французскія идеи стали получать практическое осуществленіе по инициативѣ самого народа, Екатерина II была вѣрна, хотя отчасти, высказываемымъ ею принципамъ: слѣдуя правилу, что въ законодательствѣ страны должны участвовать всѣ тѣ лица, до которыхъ оно касается, императрица созываетъ извѣстную комисію для составленія уложенія и пишетъ для нея Наказъ (1767 г.), въ который вводитъ многое изъ Беккаріи и Монтескье¹³⁾. Въ Наказѣ говорится о равенствѣ всѣхъ сословій и лицъ передъ закономъ, о безнравственности мучительныхъ казней, о пользѣ нормальнаго воспитанія, чуждаго лжи и насилія, и т. п. „Мы думаемъ — говорила Екатерина II — и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что мы сотворены для нашего народа. Боже сохрани, чтобы былъ какой народъ больше процвѣтающъ на землѣ“. „Эти законы — писала она по тому же поводу къ Вольтеру — проникнуты духомъ терпимости: они не будутъ никого преслѣдовать, убивать или сжигать на кострѣ“. Толки объ уничтоженіи крѣпостнаго права слышатся въ засѣданіяхъ созданной правительствомъ комисіи; вольное экономическое общество (основанное въ 1765 г.) поднимаетъ тотъ же вопросъ и выдаетъ премію (назначенную самою императрицею) за лучшее сочиненіе о свободномъ трудѣ. Въ то же время Бецкій (въ 1764—1767 г.) подаетъ государынѣ свои доклады о воспитаніи юношества въ духѣ современной цивилизаціи и предлагаетъ создать „новую породу“ дѣтей, отдѣливъ ее съ молодыхъ лѣтъ отъ зараженнаго предрасудками поколѣнія отцовъ. Въ комедіи: „О время!“ (1772 г.) императрица осмѣиваетъ суетѣріе, ханжество и пустоту женскаго образованія; въ сказкѣ о царевичѣ Хлорѣ (1782 г.) предохраняетъ своихъ внуковъ отъ вліянія льстивой и развратной придворной толпы; въ Инструкціи кн. Салтыкову (1784 г.) приказываетъ внушать этимъ внукамъ „благоволеніе къ роду человѣче-

¹²⁾ См. Сочин. императрицы Екатерины II, т. 3, стр. 465 (Спб. 1850).

¹³⁾ Такъ напр., § 207 главы X-ой Наказа переведенъ изъ Беккаріи (см. *Des délits et des peines*, édit. 1856, p. 89). Въ главѣ V и XIV-ой многие пункты переведены изъ книги Монтескье: *Esprit des lois*.

скому, человеколюбіе, уваженіе ближняго, почтеніе къ человѣчеству, осторожность въ поведеніи, чтобъ не пренебрегать, не презирать никого, но показывать каждому учтивость и приличное уваженіе". Это уваженіе предписывалось распространять даже на „служителей и простолюдиновъ, чтобъ съ ними не говорили повелительно и съ пренебреженіемъ или возвышая голосъ, или со спѣхъ, но съ благоволеніемъ, пристойнымъ къ человѣчеству вообще". Какъ въ своихъ политическихъ взглядахъ Екатерина II руководствовалась сочиненіями Монтескье и Беккари, такъ точно ея воспитательная теорія находится въ близкомъ сродствѣ съ идеями Монтэня и Локка. Преимущественно пользовалась она книгою Локка о воспитаніи, заимствуя впрочемъ нѣкоторыя второстепенныя указанія изъ „Эмиля" Руссо. Доклады Бецкаго составлены также подъ влияніемъ названныхъ писателей. Въ „Инструкціи князю Салтыкову" императрица, согласно мнѣнію Локка, выставляетъ на первый планъ нравственное начало въ воспитаніи, много заботится о физическомъ развитіи воспитываемыхъ и отводитъ очень мало мѣста собственно дидактической части, т. е. обогащенію ума научными познаніями. „Здоровое тѣло и умонаклоненіе къ добру составляютъ все воспитаніе", сказано во введеніи къ Инструкціи, „ученіе же или знаніе да будетъ имъ (великимъ князьямъ) единственно отвращеніемъ отъ праздности и способомъ къ спознанію естественныхъ ихъ способностей, и дабы привыкли къ труду и прилежанію". Принужденіе изгонялось императрицею изъ круга воспитательныхъ средствъ. „Отнюдь ихъ высочества — пишетъ она въ той же Инструкціи — не принуждать къ ученію, но представлять имъ, что учатся ради себя и своей пользы". Словесный выговоръ, презрительное обращеніе, съ цѣлью возбудить стыдъ въ ребенкѣ — вотъ, по ея мнѣнію, достаточныя мѣры для успѣха педагогическаго дѣла. Руководствуясь Локкомъ, она допускаетъ тѣлесное наказаніе (по крайней мѣрѣ, дѣлаетъ намекъ на него въ одномъ пунктѣ своей Инструкціи), но и то единственно въ случаѣ лжи, поддерживаемой съ упрямствомъ. Въ сказкѣ о Февеѣ (1782 г.) Екатерина II описываетъ подробно воспитаніе царевича, которое было ведено въ духѣ Инструкціи и направлено къ нравственному совершенствованію питомца. Тотъ же взглядъ на воспитаніе, какъ на средство противодѣйствовать нравственному упадку людей, отражается въ „Былахъ и небылицахъ". „Всѣ теперешніе пороки — говорится здѣсь — ничего не значуть; они схожи на стекающее полноводіе; вода же, пришедъ въ прежнія границы и берега свои, возымѣетъ теченіе естественнѣе прежняго. Берега суть воспитаніе". Въ своихъ до-

кладахъ Бецкій также жалуется на упадокъ нравственнаго элемента въ воспитаніи: „опытъ доказаль, что одинъ только украшенный или просвѣщенный разумъ не производитъ еще добраго, прямаго гражданина; напротивъ, онъ становится вреднымъ для того, у кого съ юныхъ лѣтъ не вкоренена въ сердца добродѣтель. Отъ небреженія нравственности, отъ ежедневныхъ дурныхъ примѣровъ привыкаетъ онъ къ мотовству, своевольству, безчестному лакомству и непослушанію. При такомъ недостаткѣ нравственнаго воспитанія, напрасно ласкать себя ожиданіемъ истинныхъ успѣховъ въ наукахъ и искусствахъ“. Но нравственное воспитаніе, по взгляду Екатерины и ея приближенныхъ, не было цѣлью само въ себѣ, какъ напр., въ знаменитомъ „филантропинѣ“ Базедова: гуманитарная сторона его подчинялась государственнымъ соображеніямъ; изъ этой школы должны были выходить не только люди, развитые общечеловѣческими идеями, но притомъ дѣятели извѣстнаго закала, пригодные для правительственныхъ цѣлей. Въ этомъ отношеніи педагогическая система Екатерины и Бецкаго приближается къ теоріи французскихъ фізіократовъ, которая возникла тогда же изъ педагогическаго настроенія вѣка и состояла въ томъ, что государство обязано не только управлять народомъ, но и давать ему извѣстную нравственную фізіономію. Этотъ взглядъ подробно развитъ французскимъ министромъ Тюрго въ запискѣ его, поданной Людовику XVI (1775 г.). Корень всѣхъ золъ, господствовавшихъ въ современной жизни, Тюрго полагаетъ въ отсутствіи плотнаго государственнаго состава. Чтобы уничтожить духъ разъединенія между различными классами общества, изъ которыхъ каждый преслѣдуетъ свои спеціальныя, узко-понятыя интересы, Тюрго совѣтуетъ прибѣгнуть къ новой, централизованной системѣ воспитанія и ею слить во-едино разнородные слои общества. Для этой цѣли долженъ быть учрежденъ „совѣтъ народнаго образованія“, который дѣйствовалъ бы въ извѣстномъ духѣ, по однимъ опредѣленнымъ правиламъ, завѣдуя всѣми школами въ государствѣ. Подъ его наблюденіемъ должны быть составлены учебныя руководства. Два недостатка усматривалъ Тюрго въ тогдашнемъ образованіи: развитіе спеціальнаго образованія въ ущербъ общему, гражданскому, и отсутствіе нравственнаго элемента. „У насъ — говоритъ онъ — есть методы и учрежденія для образованія геометровъ, физиковъ, живописцевъ — и нѣтъ ничего подобнаго для образованія гражданъ“. Генеральный планъ воспитанія, задуманный Екатериною II, сходенъ въ основныхъ чертахъ съ воззрѣніями фізіократовъ, хотя и не составляетъ подражанія имъ: подобно фізіократамъ, она придавала воспитанію госу-

дарственные цѣли; подобно имъ, заботилась больше о нравственномъ направленіи и гражданскомъ развитіи въ извѣстномъ смыслѣ, чѣмъ о специальной подготовкѣ къ одному опредѣленному занятію. По этому плану, заведены были у насъ закрытыя учебныя заведенія: воспитательный домъ въ Москвѣ (1763 г.), воспитательное общество благородныхъ дѣвицъ при Смольномъ монастырѣ (1764 г.) и при немъ такое же общество для дѣвицъ мѣщанскаго званія (1765 г.); при сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ учреждено училище для образованія мѣщанскихъ дѣтей (1772 г.). Правительство намѣрено было основать подобныя заведенія во всѣхъ городахъ Россіи, и, лишь за неимѣніемъ матеріальныхъ средствъ къ тому, завело открытыя народныя училища — главныя, или четырехклассныя, и малыя, или двухклассныя. По поводу званія, которое ожидало питомцевъ воспитательнаго дома, Бецкій говорилъ: „извѣстно, что въ государствѣ (русскомъ) два чина только установлено: дворяне и крѣпостные; но какъ по привилегіямъ, жалованнымъ сему учрежденію, воспитанники и потомки ихъ вольными пребудутъ, то они, слѣдовательно, составятъ третій чинъ въ государствѣ“. Правительство много хлопотало объ учрежденіи у насъ этого третьяго чина, или среднего сословія (*tiers état*), которое должно было наполнить пространство, раздѣлявшее два главные класса русскаго общества, и составить со временемъ умственную силу, интеллигенцію страны. Къ третьему чину Наказъ относитъ: 1) не дворянъ и не хлѣбопашцевъ, упражняющихся въ художествахъ, наукахъ, мореплаваніи, торговлѣ и ремеслахъ; 2) не дворянъ, вышедшихъ изъ воспитательныхъ домовъ и училищъ духовныхъ и свѣтскихъ; 3) дѣтей приказныхъ. Желаніе установить единообразное преподаваніе въ училищахъ внушило императрицѣ указъ отъ 7 сентября 1782 г., которымъ учреждалась особая комисія народныхъ училищъ для надзора за всѣми школами въ имперіи. Придавая воспитанію такой государственный характеръ, Екатерина II довершала дѣло Петра Вел., который заимствовалъ изъ Европы матеріальные плоды цивилизаціи и только отчасти заботился о нравственномъ развитіи общества посредствомъ школъ и литературныхъ произведеній. У Петра Великаго нравственныя цѣли стояли на второмъ планѣ: ему нужны были прежде всего моряки, инженеры, артиллеристы, т. е. специально подготовленные труженики реформы; Екатерина же поставила на первомъ мѣстѣ гражданское развитіе своихъ подданныхъ — опять таки въ кругѣ ея собственныхъ политическихъ предначертаній. Слѣдуя этимъ предначертаніямъ, она заимствовала изъ западной литературы не все то, что было въ ней логически-выработаннаго въ теоріи, но толь-

бо то, что можно было согласовать съ удобствами ея личной власти и съ характеромъ привилегированнаго кружка. Крѣпостное право, во всѣхъ его видахъ и развѣтвленіяхъ, такъ и осталось нетронутымъ; раздѣленіе сословій на привилегированныя и непривилегированныя удержано въ Наказѣ; къ чести, служащей, по мнѣнію Монтескьё, отличительнымъ признакомъ монархій, прибавлена добродѣтель, господствующая въ народныхъ правленіяхъ. Также и въ воспитаніи; мнѣніе Локка о бесплодности сухой морали отвергнуто Екатериною, и въ Инструкціи поставлено правоученіе, какъ особый, самостоятельный предметъ преподаванія. Когда же императрица замѣтила, что свободная мысль, которой открытъ былъ доступъ въ ея имперію, не останавливается предъ внѣшними границами, а пробуетъ заглянуть и за нихъ,—то она прибѣгла къ репрессивнымъ мѣрамъ. Для примѣра можно указать на осужденіе книги Радищева и трагедіи Княжнина, также на дѣятельность извѣстнаго Шешковскаго ¹⁴⁾.

Тѣмъ не менѣе, покровительство, оказанное императрицею философскому направленію вѣка, отразилось замѣтнымъ образомъ на всей русской литературѣ XVIII-го вѣка. Въ похвальныхъ рѣчахъ и даже въ церковныхъ проповѣдяхъ (какъ напр., у митрополита Платона) слышатся отголоски западныхъ идей; литературная дѣятельность Новикова, въ лучшемъ ея періодѣ, проникнута либеральнымъ духомъ; въ трагедіяхъ—Николева: „Сорена и Замиръ“ (предст. въ 1785 г.) и Княжнина: „Вадимъ Новгородскій“ (напеч. въ 1793 г.), наконецъ, въ извѣстной книгѣ Радищева: „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ (1790 г.) тѣ же идеи выразились, мѣстами, въ живой и увлекательной формѣ. Княгиня Дашкова сообщаетъ въ своихъ „Запискахъ“, что чтеніе энциклопедистовъ составляло съ раннихъ лѣтъ ея любимое занятіе, и что книгу Гельвеція: „De l'esprit“ она прочитала два раза съ цѣлью глубже проникнуть въ смыслъ его философіи. И. В. Лопухинъ, въ своихъ мемуарахъ, также не скрываетъ отъ насъ своихъ увлеченій французскими писателями. „Я охотно читывалъ, говоритъ онъ, Вольтеровы насмѣшки, Руссовы опроверженія и т. п. Читая извѣстную книгу *Système de la nature* (Гольбаха), съ восхищеніемъ читалъ я въ концѣ ея извлеченіе всей книги подъ именемъ устава натуры (*code de la nature*). Я перевелъ уставъ этотъ, любовался своимъ переводомъ. Напечатать его нельзя было:

¹⁴⁾ См. статью о Радищевѣ въ „Рус. Вѣстн.“ 1858 г., № 23, и статьи г. Лонгинова: „Матеріалы для исторіи русскаго просвѣщенія и литературы въ концѣ XVIII-го вѣка“ въ „Рус. Вѣстникъ“ 1858 г., №№ 4 и 15, 1859 г., № 15, и 1860 г., № 4.

я расположился разсѣивать его въ рукописяхъ". Вскорѣ потомъ Лопухинъ раскаялся, сжегъ свои тетрадки и даже написалъ опроверженіе на книгу Гельвеція, подъ названіемъ: „Разсужденіе о злоупотребленіи разума нѣкоторыми новыми писателями“ (напеч. въ 1780 г.). Это чистосердечное признаніе Лопухина сильно напоминаетъ намъ такое же точно признаніе Фонъ-Визина; оба эти факта доказываютъ съ одной стороны, что французскія идеи были весьма распространены въ тогдашнемъ образованномъ обществѣ, а съ другой, что онѣ плохо усвоивались и легко вытѣснялись идеями противоположнаго порядка. Державинъ, сначала восклававшій Екатерину II за то, что она „даетъ свободу мыслить и разумѣть себя, цѣнить“, въ стихотвореніи: «Колесница», упрекалъ французскихъ королей за „излишнюю доброту“ и потворство „просвѣщенію философовъ“. Если въ литературныхъ дѣятеляхъ того времени мы находимъ такъ мало послѣдовательности, то понятно, что въ обыденной жизни французское вліяніе порождало въ большомъ числѣ бригадирскихъ сынковъ, Иванушекъ, которые болтали неосмысленныя фразы о брактѣ и отношеніяхъ къ родителямъ, подслушанныя въ кругу лицъ, знакомыхъ съ ходячими воззрѣніями французскихъ мыслителей. Въ словахъ Иванушки объ уваженіи къ родителямъ отражается въ комической формѣ мысль Гельвеція; тотъ же Иванушка говоритъ, что онъ „зналъ fort honnetes gens, которые божбу ни во чтѣ становятъ“.

Литературная дѣятельность Фонъ-Визина относится вся къ царствованію Екатерины II-й; его лучшія произведенія появились въ цвѣтущее время этого царствованія и носятъ на себѣ явные слѣды того общаго характера, который отмѣчаетъ собой цѣлый періодъ въ развитіи русской литературы. Педагогическія и политическія воззрѣнія Фонъ-Визина, высказываемыя въ его комедіяхъ, заимствованы имъ или прямо изъ французскихъ источниковъ, или посредственно, изъ сочиненій Екатерины II-й. Представителями этихъ воззрѣній служатъ такъ называемыя моральныя лица въ его пьесахъ: Стародумъ, Правдинъ и Милонъ—въ „Недорослѣ“, Добролюбовъ въ „Бригадирѣ“, Нельстецовъ въ „Выборѣ гувернера“, Здравомысль въ „Разговорѣ у княгини Халдиной“. Стародумъ—главное лицо между ними: въ журналѣ „Другъ честныхъ людей“ отъ его имени высказываются многія весьма важныя политическія мысли, въ „Письмѣ къ Стародуму“ Фонъ-Визинъ самъ признается, что личности Стародума обязанъ отчасти „Недоросль“ своимъ успѣхомъ на сценѣ и въ печати. Очевидно, что эта роль была чисто-тенденціозной вставкой въ комедіи, и Стародумъ высказывалъ мысли, казавшіяся тогда передовыми и современными.

Это обстоятельство должно опредѣлить и нашъ взглядъ на личность Стародума. Стародумъ—не брюзга и не ретроградъ, смотрящій съ ужасомъ на умственное движеніе своего вѣка; онъ далеко не похожъ на тѣхъ питомцевъ Петровскаго времени (въ родѣ Неплюева), которые не признавали въ новыхъ людяхъ ничего путнаго. Точно также Стародумъ не напоминаетъ намъ (вопреки мнѣнію г. Галахова) „почтенную личность отца Фонъ-Визина“. Дѣло въ томъ, что отецъ Фонъ-Визина, какъ это видно изъ „Чистосердечнаго признанія“ и изъ переписки съ нимъ его сына, не имѣлъ и понятія о новомъ направленіи умовъ въ XVIII вѣкѣ; его бібліотека ограничивалась одними книгами назидательнаго содержанія, изъ которыхъ по вечерамъ читалъ онъ отрывки своимъ дѣтямъ. Онъ былъ, правда, честный и нравственный человекъ, но этими двумя чертами еще не опредѣляется вполне характеръ Стародума. Не налегая слишкомъ на этимологию слова, мы должны признать, что Стародумъ, хотя и хвалитъ старое время, но заимствовалъ сущность своихъ воззрѣній изъ тѣхъ источниковъ, которыхъ не было прежде въ наличности; ссылаясь на доблести Петровскаго вѣка, онъ говоритъ не какъ сынъ этого вѣка и защитникъ, но какъ полемизаторъ, съ цѣлью освѣтить дурныя стороны современнаго общества. Ему надо было прикрыть нападки свои авторитетомъ великаго императора, любившаго грубую простоту и безыскусственность отношеній. Но мысли Стародума о высокомъ значеніи и неприкосновенности человѣческой личности, его горячія филиппики за свободу (въ сценѣ съ Правдинымъ)—все это новыя явленія, которыя не имѣютъ корня въ Петровскомъ времени, но являются результатомъ „освободительной философіи“ XVIII вѣка. Короче сказать, Стародумъ—это самъ Фонъ-Визинъ, отчасти раздѣлявшій идеи французскихъ писателей, но ограничивавшій ихъ преимущественно съ религіозно-нравственной стороны. Выражая свою любовь къ племянницѣ, Софьѣ, Стародумъ говоритъ, что онъ „видитъ и почитаетъ въ ней добродѣтель, украшенную разсудкомъ просвѣщеннымъ“ (дѣйств. 4, явл. I); разсуждая о вліяніи новыхъ писателей на умы, онъ признаётъ, что они „искореняютъ сильно предразсудки, но воротятъ съ корня добродѣтель“, то есть не даютъ прочныхъ нравственныхъ основъ, которыми такъ дорожитъ Стародумъ.

Разсмотримъ же педагогическія, нравственные и политическія бѣжденія Стародума, или, что тоже, самого Фонъ-Визина.

Отъ воспитанія юношества Стародумъ требуетъ, прежде всего, нравственнаго воздѣйствія на природу воспитываемыхъ, чтобы бразовать въ нихъ добродѣтельныхъ и честныхъ людей и вѣр-

ныхъ слугъ своему отечеству. „Я желаю бы—говорить онъ—чтобъ при всѣхъ наукахъ не забывалась главная цѣль всѣхъ занятій человѣческихъ—благонравіе. Наука въ развращенномъ человѣкѣ есть лютое оружіе дѣлать зло. Просвѣщеніе возвышаетъ одну добродѣтельную душу. Я хотѣлъ бы, напр., чтобы при воспитаніи сына знатнаго господина наставникъ его разогнулъ ему исторію и указалъ въ ней два мѣста: въ одномъ, какъ великіе люди способствовали благу своего отечества; въ другомъ, какъ вельможа недостойный, употребившій во зло свою довѣренность и силу, съ высоты пышной своей знатности низвергся въ бездну презрѣнія и поношенія“ („Нед.“ д. V, явл. I).

„Воспитаніе,—по мнѣнію Стародума,—должно быть залогомъ государственнаго благосостоянія:—ну, что можетъ выйти изъ Митрофанушки? Оно должно имѣть цѣлью гражданское преуспѣяніе общества, а не подготовку специалистовъ: „богослововъ, живописцевъ, столяровъ“—какъ говоритъ самъ Фонъ-Визинъ въ письмѣ къ Панину (П. И.). Государственному элементу въ воспитаніи и общественной жизни Фонъ-Визинъ придавалъ большое значеніе: сторонникъ правительства, замышлявшаго многія важныя реформы, онъ склоненъ былъ расширять кругъ его вліянія и задавать ему задачи, лежащія на самомъ обществѣ при болѣе нормальныхъ отправленіяхъ общественной жизни. Обѣ комедіи Фонъ-Визина оканчиваются вишнатыствомъ власти: въ одномъ случаѣ (въ „Бригадирѣ“) „вышнее правосудіе“, къ которому прямо обратился Добролюбовъ, возвращаетъ ему отнятое имущество; въ другомъ (въ „Недорослѣ“) Правдинъ, чиновникъ изъ намѣстнической канцеляріи, прекращаетъ злоупотребленія помѣщичьей власти и отсылаетъ на службу бездѣльника-дворянина. Въ комедіи: „Выборъ гувернера“ мѣстный предводитель дворянства изгоняетъ изъ своего уѣзда самозванца-педагога. Обученію въ тѣсномъ смыслѣ, то есть развитію ума познаніями, Фонъ-Визинъ отводитъ также мало мѣста, какъ и Екатерина II-я въ своей „Инструкціи“. „На умы мода, говоритъ Стародумъ (въ „Недорослѣ“), на знанія мода, какъ на пряжки, на пуговицы... Умъ, коли онъ только умъ, самая бездѣлица. Съ пребѣглыми умами видимъ мы худыхъ мужей, худыхъ отцевъ, худыхъ гражданъ“. Объ односторонности этого направленія въ педагогикѣ, слишкомъ очевиднаго въ настоящее время, мы сказали уже нѣсколько словъ въ своемъ мѣстѣ. Изъ отношеній Стародума къ Софѣ видно также, какъ много цѣнили онъ чувство самоуваженія въ своей воспитанницѣ и какъ мягко и благотворно было его педагогическое вліяніе на нее. О принужденіи и суровыхъ мѣрахъ въ воспитаніи тутъ не можетъ быть и рѣчи.

Простирая свое вліяніе и на зрѣлый возрастъ Софьи, Стародумъ объясняетъ ей, что „въ ней самой находится твердое основаніе ея счастья“, что сознаніе своего собственного достоинства не должно покидать ее и въ супружествѣ, когда, по общему взгляду того времени, личность жены должна была ступевываться и работѣствовать предъ личностью мужа. Въ ея мужѣ онъ надѣялся увидѣть „искренняго и снисходительнаго друга, а не грубаго и развращеннаго тирана“,—человѣка достойнаго ея сердца, который могъ бы свободно овладѣть ея волей и ея помыслами. „Надобно, мой другъ, говоритъ онъ, чтобъ мужъ твой повиновался разсудку, а ты мужу, и будете оба совершенно благополучны“. Счастіе супружеской жизни не зависитъ, по его мнѣнію, ни отъ знатности, ни отъ богатства; большая часть несчастныхъ браковъ отъ того и происходитъ, что въ нихъ обращается вниманіе только на чины и матеріальныя средства, а не на сердечную склонность жениха и невесты. Не устраняя вполне въ бракѣ преобладанія мужа надъ женою, Стародумъ желаетъ, по крайней мѣрѣ, смягчить и облагородить его взаимнымъ уваженіемъ. Эта скромная попытка, конечно, заслуживаетъ вниманія въ такую пору, когда такъ часты были мужья въ родѣ Гвоздилова („Бригад.“, д. 4, явл. 2), которые, „разсерчавъ за что нибудь, а больше хмѣльные, гвоздили своихъ женъ ни дай, ни вынеси за что“. Согласно взгляду Стародума, въ комедіи „Бригадиръ“, Софья, влюбленная въ Добролюбова, „не утрущается малаго его достатка“, находя въ немъ любовь и почтеніе къ себѣ. Отстаивать полную равноправность жены съ мужемъ Фонъ-Визинъ не рѣшился, боясь войти въ слишкомъ рѣзкое противорѣчіе съ господствовавшими представленіями о бракѣ и нравственности. Нравственныя правила Фонъ-Визина, подвергнувшіяся значительной перемѣнѣ съ конца шестидесятихъ годовъ, опирались на религіозныя основанія. Сознаніе долга въ человѣкѣ есть, по мнѣнію Стародума, „тотъ священный обѣтъ, которымъ обязаны мы всѣмъ тѣмъ, съ кѣмъ живемъ и отъ кого зависимъ“. „Сколько я понимаю,—писалъ Фонъ-Визинъ въ письмѣ къ графу П. И. Панину изъ Ахена, отъ 18-го сентября 1778 г.—вся система нынѣшнихъ философъ состоитъ въ томъ, чтобы люди были добродѣтельны независимо отъ религіи; но они, которые ничему не вѣрятъ, доказываютъ ли собою возможность своей системы? Кто изъ мудрыхъ вѣка сего, побѣдивъ всѣ предразсудки, остался честнымъ человѣкомъ? Кто изъ нихъ, отрицая бытіе Божіе, не сдѣлалъ интереса единымъ божествомъ своимъ и не готовъ жертвовать ему всею моралью... Истинно нѣтъ ни-

какой нужды входить съ ними въ изъясненія, почему считаютъ они религію недостойною быть основаніемъ моральныхъ человѣческихъ дѣйствій“. Фонъ-Визинъ даже совсѣмъ изгналъ личный интересъ изъ своей нравственной системы, замѣнивъ его другимъ стимуломъ. Но, нападая на исходную точку нравственной философіи своего времени, Фонъ-Визинъ отдавалъ ей дань въ своемъ приговорѣ о вліяніи клерикальной партіи во Франціи на воспитаніе высшаго общества. „Первыя особы въ государствѣ—пишетъ онъ въ томъ же письмѣ къ графу Панину—не могутъ никогда много разниться отъ безсловесныхъ“ и объясняетъ это тѣмъ, что съ раннихъ лѣтъ „вселяются въ нихъ предразсудки, подавляющіе смыслъ младенческій“.

Въ своихъ политическихъ взглядахъ Фонъ-Визинъ болѣе сближался съ французскими мыслителями, чѣмъ въ вопросахъ религіи и нравственности. Въ письмахъ изъ Франціи къ графу Панину Фонъ-Визинъ порицаетъ королевское правительство за *lettres de cachet*, за *don gratuit*, вынуждаемый силою, за нерадѣніе о провинціяхъ. Все это вызывало уже рѣзкія нападки передовыхъ французскихъ мыслителей. „Слушай, другъ мой! говоритъ Стародумъ Правдину („Нед.“, д. V, явл. I): великій государь есть государь премудрый. Его дѣло показать людямъ прямое ихъ благо. Слава премудрости его та, чтобы править людьми, потому что управляться съ истуванами нѣтъ премудрости... Достойный престола государь стремится возвысить души своихъ подданныхъ“. Это „возвышеніе душъ“ сильно занимало Фонъ-Визина въ теченіе его жизни. Главнымъ средствомъ къ тому Фонъ-Визинъ считалъ: распространеніе въ обществѣ, по инициативѣ верховной власти, правильныхъ понятій о политическихъ правахъ и обязанностяхъ, отбѣну нѣкоторыхъ стѣснительныхъ формъ и условій государственной жизни и, наконецъ, свободу мыслить и изъясняться, при которой частные люди, то есть писатели, считали бы за долгъ „возвысить громкій голосъ противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству“, не боясь „ни одной робкой души, обитающей въ тѣлѣ знатнаго вельможи“. Разсуждая о причинахъ, препятствующихъ у насъ развитію ораторскихъ талантовъ, Стародумъ (см. „Другъ честн. людей“, письмо изъ Москвы, февр. 1788 г.) сожалеетъ, что „мы не имѣемъ тѣхъ народныхъ собраній, кои вѣтъ большую дверь къ славѣ отворяютъ, и гдѣ побѣда краснорѣчія не пустою хвалою, но претурою, архонціями и консульствами вознаграждается. Демосеенъ и Цицеронъ въ той землѣ, гдѣ даръ краснорѣчія въ однихъ похвальныхъ словахъ ограниченъ, были бы риторы не лучше Максима Тиранина, а Прокоповичъ, Ломо-

носовъ и проч. въ Аѳинахъ и Римѣ были бы Демосеены и Цицероны"... Свобода и „право повиноваться единымъ законамъ“ не исключали, по мысли Фонъ-Визина (также какъ и Екатерины II въ „Наказѣ“) раздѣленія народа на сословія, съ предпочтеніемъ одного класса другому. Полное равенство состояній казалось Фонъ-Визину праздною мечтою. „Нигдѣ и никогда,—говоритъ Нельстонецъ въ „Выборѣ гувернера“,—не бывали и быть не могутъ такіе законы, кои бы частнаго человѣка счастливымъ сдѣлали. Необходимо, чтобы одна часть подданныхъ чѣмъ нибудь жертвовала: слѣдственно, равенства состояній и быть не можетъ. Оно есть вымыселъ ложныхъ философовъ“. Дворянскому классу Фонъ-Визинъ отводилъ первое мѣсто въ государствѣ, но требовалъ отъ него особенныхъ заслугъ передъ отечествомъ и добродѣтели, затмѣвающей всѣ достоинства другихъ сословій. „Еслибъ такъ должность исполняли, какъ объ ней твердятъ—говоритъ Стародумъ—всякое состояніе людей осталось бы при своемъ любочестіи и было бы совершенно счастливо. Дворянинъ, напримѣръ, считалъ бы за первое безчестье не дѣлать ничего, когда есть ему столько дѣла: есть люди, которымъ помогать; есть отечество, которому служить. Тогда не было бы такихъ дворянъ, которыхъ благородство, можно сказать, погребено съ ихъ предками“.

Своими переводами,—изъ которыхъ три: „Похвальное слово Марку Аврелію“, „Жизнь Сиеа“ и „Торгующее дворянство“ особенно характеристичны для оцѣнки литературной дѣятельности Фонъ-Визина,—онъ развивалъ и дополнял тѣ же мысли о лучшемъ политическомъ устройствѣ. Въ первомъ изъ этихъ переводовъ, въ длинной похвальной рѣчи стоическаго философа Аполлонія, Маркъ Аврелій ставится въ образецъ государямъ за его мудрое и кроткое правленіе. По взгляду Марка Аврелія, „человѣкъ рожденъ свободнымъ, но, въ необходимости быть управляемъ, покорился законамъ, но никогда не покорялся прихотямъ государскимъ“. Въ „Жизни Сиеа“ мемфисскій жрецъ, въ своей надгробной рѣчи царицѣ, превозносилъ ее, какъ мудрую правительницу, которая „добродѣтель свою посвящала благополучію своихъ подданныхъ“, издавала премудрыя узаконенія и проч. Умершая царица „знатныхъ особъ честь сохранить старалась, но притомъ не допускала ихъ преступать предѣлы должнаго себѣ повиновенія, народныя тягости облегчала своимъ милосердіемъ. Судьи не были грабители царскаго сокровища, и всякій подданный несъ требуемую отъ него государю дань самопроизвольно, зная, что она даръ не судьямъ, но самому царю“. Въ брошюрѣ о „Торгующемъ дворянствѣ“ авторъ полемизируетъ съ „храбымъ дворяниномъ“,

маркизомъ де-Лессе, который доказывалъ, что дворянству униженно заниматься торговлею и что если дворяне сдѣлаются хоть на время купцами, то въ нихъ пропадетъ рыцарскій духъ, составляющій гордость и украшеніе Франціи. Въ своемъ отвѣтѣ авторъ говоритъ, что во Франціи гораздо больше дворянъ, чѣмъ сколько нужно ихъ для офицерскихъ мѣстъ въ арміи, слѣдовательно большая часть ихъ могла бы, безъ ущерба для государства, обратиться къ купеческой дѣятельности и содѣйствовать обогащенію страны. Бѣдный дворянинъ, для котораго нѣтъ мѣста на войнѣ, могъ бы сказать, по мнѣнію автора, своему воспитателю: „ты съ юныхъ лѣтъ сказывалъ намъ, что счастья своего должны искать мы единою войною. Уже научились мы смѣяться надъ неблагородными людьми, поднимать оружіе, обижать сосѣдей, и совершенно къ войнѣ приуготованы... Но видимъ, что съ тѣхъ поръ, какъ старшій братъ нашъ туда посланъ, терпимъ мы въ платьѣ недостатокъ, и какія трудности имѣли мы къ снисканію сего поруческаго мѣста! Можетъ быть, безъ покровительства нашего благодѣтеля мы бы и въ томъ успѣха не имѣли. Уже триста лѣтъ не посѣщаетъ счастье нашъ старый замокъ, и ожидать онаго надежды не имѣемъ. Что намъ дѣлать шпагою, когда, кромѣ голода, не имѣемъ мы другихъ непріятелей?“ Брошюра эта появилась въ то время, когда во Франціи раздавались голоса противъ феодальныхъ привилегій и среднее сословіе готовилось выступить на сцену. Толки о среднемъ состояніи, или „третьемъ чинѣ“, зашли и въ нашу литературу: въ „Наказѣ“ Екатерины, въ докладахъ Бецкаго мы видимъ упоминаніе объ немъ. Во время этихъ толковъ Фонъ-Визинъ перевелъ цѣлую книгу (оставшуюся неизданной) „О среднемъ сословіи“ и написалъ свое сужденіе о немъ. Онъ, какъ видно, желалъ возвысить и облагородить средній классъ, присоединивъ къ нему даже многія дворянскія фамиліи, не имѣющія крупной поземельной собственности. Есть основаніе думать, что, сочувствуя взглядамъ графа Н. И. Панина, пристрастнаго къ аристократическому принципу, Фонъ-Визинъ не прочь былъ бы видѣть и въ Россіи нѣчто въ родѣ англійской аристократіи ¹⁵⁾.—Въ своихъ вопросахъ Екатеринѣ II-й Фонъ-Визинъ также

¹⁵⁾ Въ запискахъ М. А. Фонъ-Визина (стр. 47—48) разсказывается, что Д. И., съ согласія и частію по указаніямъ графа Панина, составилъ проектъ новаго государственнаго устройства, по которому крѣпостное право осуждалось на постепенное уничтоженіе, предполагались различныя измѣненія въ составѣ сената и проч. Отъ этого проекта сохранилось только одно введеніе. Вѣроятно, это и было то политическое сочиненіе, о которомъ упоминаетъ князь Вяземскій въ своемъ замѣчательномъ трудѣ „о Фонъ-Визинѣ“.

затрогивалъ государственные предметы: между прочимъ, онъ говорилъ о награжденіи дворянскимъ достоинствомъ особенно отличившихся купцовъ (вопр. 4) и о той пользѣ, какую могла бы принести гласность въ судебныхъ дѣлахъ (вопр. 5). Но эта же переписка доказываетъ намъ, какъ мало было самостоятельности въ его литературныхъ требованіяхъ: стоило только напомнить Фонъ-Визину о „свободолюбіи“ и „образцовомъ послушаніи“, какъ изъ просвѣщеннаго мыслителя и критика общественныхъ явленій онъ становился подсудимымъ, обязаннымъ оправдываться. Новое направление, распространявшееся тогда у насъ, до тѣхъ поръ только пользовалось льготами, пока отъ него не отказались въ высшихъ кружкахъ нашего общества.

Что касается до художественнаго достоинства произведеній Фонъ-Визина, до полноты и жизненности типовъ, выведенныхъ имъ въ двухъ комедіяхъ — то объ этомъ такъ много говорилось въ русской литературѣ, что намъ остается только подвести краткій итогъ всему сказанному и прибавить нѣсколько словъ о разработкѣ этихъ типовъ въ другихъ современныхъ произведеніяхъ. О „моральныхъ лицахъ“ въ комедіяхъ Фонъ-Визина мы высказали уже наше мнѣніе. Слѣдуетъ прибавить, что вообще такіа лица, весьма интересныя для исторіи умственнаго развитія своего вѣка, составляютъ недостатокъ пьесы со стороны драматическаго движенія. Краснорѣчиво высказывая свои мысли и чувства, они несовсѣмъ уместны въ художественной конструкціи драмы и составляютъ какъ бы излишній придатокъ, нужный не для хода дѣйствія а для того только, чтобы познакомить публику съ воззрѣніями самого автора. Это не живыя, одушевленные фигуры, а тенденціи автора, облеченныя въ драматическій костюмъ для удобнѣйшаго вліянія на партеръ: Фонъ-Визину надо было сочинять для нихъ реальный образъ, а не брать его изъ дѣйствительности. Совсѣмъ другое дѣло — тѣ полныя комизма личности, которыя живутъ, мыслятъ по-своему и свободно движутся въ пьесахъ, доставляя и теперь большое наслажденіе читателю. Тутъ автору не приходилось выдумывать искусственныхъ образовъ: сама жизнь подсказывала ему и руководила его талантомъ. Личности эти: Простакова, Митрофанушка, Скотининъ, Еремѣвна и учителя Митрофанушки — въ „Недорослѣ“; Бригадиръ съ женой и сыномъ Иванушкой, Совѣтникъ и Совѣтница — въ „Бригадирѣ“. Не смотря на нѣкоторую шаржировку и наклонность къ карикатурѣ въ обѣихъ пьесахъ, дѣйствующія лица, названныя нами, выручаютъ ихъ въ художественномъ смыслѣ, какъ цѣльные типы, блистательно замкнутыя въ себѣ различныя проявленія тогдашней семейной и об-

щественной жизни. Воспитаніе Митрофанушки или, лучше сказать, одно питаніе, по выраженію Сорванцова въ „Разговорѣ у кн. Халдиной“, исключительныя заботы матери о томъ, чтобы сынокъ ея кушалъ какъ можно больше и учился какъ можно меньше—все это почерпнуто прямо изъ русскихъ нравовъ XVIII-го столѣтія и подтверждается десятками указаній въ сатирическихъ журналахъ, мемуарахъ и комедіяхъ того времени. Разсужденія Простаковой о бесполезности наукъ, нападки Скотинина на грамоту коренились глубоко въ русскомъ обществѣ, не вдругъ уступая мѣсто новымъ взглядамъ, проповѣдуемымъ самимъ правительствомъ. Въ комедіяхъ Екатерины II мы встрѣчаемъ лицъ, которыя недоумѣваютъ: зачѣмъ это правительство учить грамотѣ „подкидышковъ“ воспитательнаго дома; много раньше у Кантемира осмѣяны старички, толкующіе:

Живали мы прежь сего, не зная латини,
Гораздо обильнѣе, чѣмъ живемъ мы нынѣ;
Гораздо въ невѣжествѣ больше хлѣба жали;
Перенивъ чужой языкъ, свой хлѣбъ потеряли.

Уступая необходимости учить чему нибудь своего сына, Простакова нанимаетъ ему русскихъ учителей, но ей все кажется, что они замучаютъ Митрофанушку. Больше удовлетворяетъ ее нѣмецъ Вральманъ, не докучавшій барскому сынку никакою книжною премудростью. И надо сказать, что этотъ Вральманъ поступалъ весьма благоразумно: вздумай онъ принуждать или уговаривать Митрофанушку къ занятіямъ—онъ могъ бы пострадать такъ, какъ пострадалъ въ одномъ разсказѣ „Всякой Всячины“¹⁶⁾ учитель-французъ, вздумавшій прибѣгнуть къ энергическимъ мѣрамъ. Бабушка, матушка и нянюшка въ родѣ Еремѣевны чуть было не выцарапали ему глаза. Въ противоположность материнскому баловству Простаковой, встрѣчаемъ мы отеческую строгость Бригадира, который обѣщается изуродовать своего взрослого сына. Подобныя обѣщанія часто сбывались въ тѣ дни, какъ это опять видимъ мы изъ сатирическихъ журналовъ. Жестокость Простаковой въ обращеніи съ своими крестьянами („дамъ же я зорю канальямъ людямъ!“) нисколько не преувеличена Фонъ-Визиномъ. Въ доказательство приведемъ хоть мнѣніе Безразсуда (въ „Трутнѣ“) о своихъ крѣпостныхъ: „я господинъ, они мои рабы; они для того сотворены, чтобы, претерпѣвая всякія нужды, день и ночь работать и исполнять мою волю исправнымъ платежемъ оброка; они, памятуя мое и свое состояніе, должны трепетать моего взора“.

¹⁶⁾ Въ изданіи „Всякой Всячины“, еженедѣльнаго сатирическаго листка, принимала участіе сама императрица Екатерина II.

Но, кромѣ лицъ стараго покроя, упорныхъ въ своей преданности старинѣ, мы находимъ у Фонъ-Визина и новаторовъ, которые отбросили дѣдовскія привычки и вкусили кое-чего отъ плодовъ европейской цивилизаціи. Иванушка и Совѣтница въ „Бригадирѣ“ сѣтуютъ на свою судьбу за то, что они родились не въ Парижѣ и не имѣютъ возможности говорить на французскомъ діалектѣ. Это другая сторона тогдашней жизни, не уступающая первой въ своемъ комизмѣ. Если Бригадирша такъ первобытно проста и недаленовидна, что не понимаетъ „амурнаго“ объясненія Совѣтника и только тогда озлобляется, когда ей растолковываютъ просьбу влюбленнаго, — то Совѣтница, наоборотъ, такъ свѣтски развязна, что норовитъ затѣять интригу подъ носомъ у своего мужа и жалѣетъ лишь о томъ, что всѣ „сосѣди неучи и живутъ, обнавившись съ своими женами“. Бригадирша ничего не знаетъ, кромѣ хозяйства и скопленія денегъ. Совѣтница — ничего, кромѣ туалета и мотовства; одна воспитана на „Домостроѣ“, другая — на модныхъ картинкахъ. Въ наукѣ обѣ онѣ сильны одинаково. Словомъ, Совѣтница — одна изъ тѣхъ щеголихъ, на которыхъ часто нападалъ Новиковъ въ своихъ журналахъ. Въ его „Живописцѣ“ мы встрѣчаемъ такое описаніе: „Щеголиха говорить: какъ глупы тѣ люди, которые въ наукахъ самыя прекрасныя лѣта погубляютъ. Ужестъ какъ смѣшны ученые мужчины, а наши сестры ученые — о! онѣ-то совершенныя дуры. Безпримѣрно, какъ онѣ смѣшны! Не для географіи одарила насъ природа красотою лица, не для математики дано намъ острое и проникающее понятіе; не для исторіи награждены мы плѣняющимъ голосомъ, не для физики вложены въ насъ нѣжныя сердца. Для чего же одарены мы сими преимуществами? — чтобы были обожаемы. Въ словѣ: „умѣть нравиться“ всѣ наши заключаются науки“. Личность Совѣтника также вѣрна дѣйствительности. Ханжа и взяточникъ, толкующій указы на сто ладовъ, онъ есть представитель той многоглавой гидры лихоимства, противъ которой вооружилась Екатерина II въ своемъ знаменитомъ манифестѣ отъ 18-го іюля 1762 г. Изъ ея словъ видно, что „самыя малые судьи, управители и разные къ досмотрамъ приставленные командиры берутъ съ бѣдныхъ самыхъ людей не токмо за дѣла безвинныя, дѣлая привязки по силѣ будто указовъ, въ самомъ дѣлѣ во зло только ими истолкованныхъ, и разоряя за то ихъ дома и имѣнія, но и за такія, которыя не иначе, какъ нашего благоволенія и милости высочайшей достойны“ и проч.

Эти краснорѣчивыя строки находятъ себѣ оправданіе во всѣхъ литературныхъ произведеніяхъ екатерининскаго вѣка.

ОСЬМНАДЦАТЫЙ ВѢКЪ ВЪ РУССКОЙ ИСТОРИИ.

(„Осьмнадцатый вѣкъ.“ Историческій сборникъ, издаваемый Петромъ Бартеневымъ. Москва. Три книги. 1868—1869 г.).

I

Г. Бартеневъ, издатель извѣстнаго „Русскаго Архива“, выпускаетъ уже 3-й томъ особаго историческаго сборника, посвященнаго исключительно людямъ и событіямъ „петербургскаго періода“ русской исторіи. Сюда входятъ матеріалы, составляющіе, такъ сказать, избытокъ „Русскаго Архива“ — преимущественно большія статьи, неудобныя для помѣщенія въ періодическомъ изданіи, которое отличается, какъ извѣстно, нарочито-тощими размѣрами. Этотъ избытокъ г. Бартеневъ старается группировать въ порядкѣ, пригодномъ для изслѣдователя: такимъ образомъ, первый томъ наполненъ почти весь статьями и мелкими свѣдѣніями, касающимися царствованія императрицы Екатерины II-й; во второмъ томѣ собраны, за немногими исключеніями, матеріалы для исторіи Петра II-го, Анны Іоанновны и Елизаветы Петровны; третій томъ, составленный разнообразіемъ первыхъ, предлагаетъ новые любопытные документы изъ временъ Анны Іоанновны, Екатерины II-й и Павла Петровича. Кромѣ того, въ третьемъ томѣ помѣщена отдѣльная, не безынтересная статья объ Екатеринѣ I-й, заключающая въ себѣ новый для русской публики рассказъ о сближеніи Петра съ своей второю супругою. Всѣ эти данныя, — за собраніе которыхъ нельзя не выразить благодарности г. Бартеневу, хотя его личное участіе и ограничивается здѣсь одними коротенькими и не всегда умѣстными подстрочными примѣчаніями, — всѣ эти письма, рапорты, реляціи и судебные протоколы, даже напечатанные сырьемъ, безъ всякой прагматической обработки или съ обработкой крайне слабою и, мѣстами, фальшивою, заключаютъ, однако, сами въ себѣ такіа любопытныя и важныя черты нашего общественнаго и политическаго быта минув-

шаго времени, что по нимъ легко становится возсоздать себѣ точную историческую картину той мишурно-блестящей эпохи, которую Лермонтовъ запечатлѣлъ въ нашей памяти своими выразительными стихами:

Была пора, боярская пора!
Тѣснилась знать въ роскошные покои,
Была знать минувшаго двора,
Забытыхъ дѣлъ померкшіе герои.
Музыкой тамъ гремѣли вечера,
Въ Невѣ дробился блескъ высокихъ оконъ,
Напудренный мелькалъ и вился локонъ,
И часто ножка съ краснымъ каблучкомъ
Условный знакъ давала подъ столомъ,
А старикъ въ звѣздахъ и брилліантахъ
Судилъ рѣзко о тогдашнихъ франтахъ...

И франты, и старцы, и гордые красавицы съ ихъ могущественными повелителями, всѣ „забытые дѣла“ и „померкшіе герои“ очерчиваются, мало по малу, такими вѣрными и рѣзкими штрихами, что не далеко уже то время, когда къ нимъ можно будетъ относиться — съ одной стороны, безъ дионрамбической казенщины и неуклюжей марсоманіи историковъ „древляго благочестія“, а съ другой — безъ пошленькаго зубоскальства и анекдотическаго пустомельства разныхъ и о в ѣ й ш и х ъ историковъ, которые разыскиваютъ съ упорствомъ полицейскихъ сыщиковъ: въ какой церкви вѣнчалась съ Разумовскимъ Елизавета Петровна, во что ободилось ей подвѣчное платье, разыскиваютъ и излагаютъ все это съ достодожною точностью, приправляя свое изложеніе то пряными шуточками, то философскими афоризмами въ родѣ того, что яйца, дескать, курицу не учатъ. Но за этими мелочами и козявками новѣйшіе историки, совершенно обдѣленные способностью анализировать факты и обобщать идеи, не примѣчаютъ настоящаго слона, т. е. внутреннего смысла развязно повѣствуемыхъ ими событій. Какая изъ двухъ крайностей хуже: устряловскіе ли соурс d'oeil, или пикантные анекдоты въ родѣ Балакирева — выбирать довольно трудно; намъ кажется только, что обѣ онѣ отжили или, по крайней мѣрѣ, отживаютъ свой вѣкъ. Мы, конечно, не имѣемъ цѣлью, въ небольшомъ историческомъ очеркѣ, уловить и охарактеризовать всѣ существеннѣйшіе мотивы нашей исторической трагикомедіи XVIII столѣтія: такой трудъ потребовалъ бы, во всякомъ случаѣ, обширнаго спеціальнаго изслѣдованія, чтобы охватить съ приличною полнотою эпоху, богатую различными пертурбаціями; мы хотимъ только намѣтить слегка тѣ крупные пункты, на которыхъ, по нашему мнѣнію,

должно преимущественно останавливаться вниманіе историковъ-прагматистовъ.

Прежде всего, въ нашей задачѣ представляется вопросъ о власти и престолонаслѣдіи. До Петра I характеръ власти московскаго государя приближался къ патріархальному деспотизму азіатскихъ владыкъ, съ тою же сильною примѣсю теократическаго элемента. Іоаннъ Грозный недаромъ считалъ настоящими, „заправскими“ государями только себя, да турецкаго султана, а къ польскому королю, ограниченному волею народа, чувствовалъ полнѣйшее, ничѣмъ нескрываемое, пренебреженіе. Самый титулъ царя, принятый Іоанномъ, чтобы отличить себя, по объему власти, отъ великихъ князей, примѣнялся прежде къ монгольскому хану и выражалъ понятіе безусловнаго, деспотическаго господства. Въ своемъ спорѣ съ княземъ Курбскимъ, признававшимъ за Москвою только тотъ типъ власти, который сложился въ Россіи въ удѣльные времена,—Іоаннъ съ негодованіемъ отвергаетъ какъ политическое, такъ и нравственное ограниченіе своего произвола, причѣмъ ссылается, главнымъ образомъ, на перетолкованные имъ тексты св. писанія и на примѣры византійскихъ монарховъ. „Тѣмъ всѣмъ—пишетъ онъ объ иностранныхъ государяхъ въ своемъ нескладномъ и бранчивомъ посланіи—царствіи своими не владѣютъ: како имъ повелѣть работные ихъ, такъ и владѣютъ; а российское самодержавство изначала сами владѣютъ всѣми царствы, а не бояре и вельможи. И того въ своей злобѣ не могъ еси разсудити, нарицаѣя благочестіемъ, еже подъ властію нарицаемаго попа и вашего злочестія повелѣнія самодержеству быти! А се по твоему разуму нечестіе, еже отъ Бога данной намъ власти своимъ владѣти и не восхотѣхомъ подъ властію быти попа и вашего злодѣянія... Или убо сіе свѣтло: попу и прегордымъ, лукавымъ работъ владѣти, царю же токмо предсѣданіемъ и царствія честію почитенну быти, властію же ничѣмъ же лучше быти раба?“ Въ этихъ словахъ явно отразился совѣтъ, данный царю Вассіаномъ: „Аще хочеши самодержцемъ быти, не держи себѣ совѣтника ни единого мудрѣйшаго себя: понеже самъ еси всѣхъ лучше; тако будеши твердъ на царствѣ, и все имѣти будеши въ рукахъ своихъ! Аще же будеши имѣти мудрѣйшихъ близу себя, по нуждѣ будеши послушенъ имъ“. Петръ Великій, принявъ власть при другихъ обстоятельствахъ и намѣреваясь воспользоваться ею для иныхъ цѣлей, пересталъ удовлетворяться и тѣмъ теоретическимъ фундаментомъ, который подвели подъ нее иконописные московскіе государи. Сбросивъ съ себя парчевый архіерейскій нарядъ древнихъ царей, Петръ задумалъ секуляризирова-

вать и самую свою власть, поставивъ ее на другія, болѣе современныя начала. Съ этою цѣлью онъ обращался уже къ европейской литературѣ и отсюда почерпалъ необходимые для него доводы и примѣры. Изъ европейскихъ писателей того времени всѣхъ больше пользовался его сочувствіемъ Самуиль Пуффендорфъ, который, по словамъ Шерра, „впервые сдѣлалъ естественное и международное право предметомъ академическаго изученія“. Теорію государственной власти Пуффендорфъ выводилъ изъ естественныхъ законовъ человѣческаго общежитія и, давая этой власти почти безограничную юрисдикцію надъ отдѣльною личностью, требовалъ однако, чтобы правители отдавали себѣ отчетъ въ своихъ поступкахъ, направляя ихъ къ возможно большей пользѣ народа, который, въ свою очередь, хотя „съ почтеніемъ“, но вправѣ былъ—заявлять свои нужды и возражать противъ несвоевременныхъ государственныхъ мѣръ. Книги Пуффендорфа, „сладостно отъ всѣхъ чтומыя“, переводились на русскій языкъ по распоряженію самого Петра. Въ одной изъ этихъ книгъ, разсуждая о „должностяхъ человѣка и гражданина“, Пуффендорфъ касался фундаментальнаго вопроса въ естественномъ правѣ—о происхожденіи закона и о степени обязательности его для общества. „Понеже—говоритъ онъ—дѣйствія человѣческія отъ воли происходятъ, воли же каждаго человѣка не всегда себѣ подобныя, но разныхъ въ разная идутъ, того ради для благочинія и изрядства въ родѣ человѣческомъ потребно было правилу нѣкоему быти, которому бы оныя воли согласовались. Инако бы, еще бы въ таковой свободности воли и въ такой приклонности и хотѣніи различности всякъ безъ разсужденія къ извѣстному правилу, еже бы хотѣлъ—творилъ, невозможно было бы не быти великому смѣшенію и безчинію въ родѣ человѣческомъ. Правило оное именуется закономъ, который есть декретъ, или установленіе, которыми начальствующіе подчиненнаго обязываютъ, дабы по оному уставу свои дѣйствія согласовалъ“.

„Налагается же обязательство умамъ человѣческимъ—продолжаетъ онъ—собственно отъ начальствующаго, то есть такового, который не токмо имѣетъ власть нѣкое бѣдство противляющимся содѣлать, но который имѣетъ праведныя причины, для чего, по мнѣнію своему, воли нашея свободности поощетъ употреблять. Таковая бо власть, еще въ которомъ есть, когда еще изволеніе свое объявить, то подобаетъ, дабы умъ человѣческій со страхомъ и почтеніемъ къ тому присталъ: со страхомъ для власти, а съ почтеніемъ разсуждая причины, которыя бы безъ страха подвизать должны къ исполненію и воспри-

ятію воли его. Кто бы ни единой причины показать не можетъ, для чего мнѣ, и не хотящу, обязательство хочетъ наложить, кромѣ единого насилія, той мене устрашити можетъ, дабы злавящаго удаляясь, ему повиновался; но когда страхъ минуетъ, тогда все могу паче по моей волѣ, нежели по его дѣлать... причины же, для которыхъ кто праведно требовать можетъ, дабы другій былъ ему подчиненъ, сія суть: еще отъ того сему великія благодѣянія явлены; еще явится, что той благожелаетъ ему и о немъ смотрѣніе вышее имѣть, нежели бы онъ о себѣ могъ имѣти. Такжеже еще самимъ дѣломъ подъ его правленіемъ долженъ быть, и егда самъ себѣ добровольно подчинилъ и подъ правленіемъ тѣмъ быть восхотѣлъ". Если мы сопоставимъ эти взгляды съ мнѣніями Милля, который, во имя свободы и человѣческихъ правъ, доводитъ до минимума власть государства надъ личностью,—то ихъ философія, безъ сомнѣнія, покажется теперь довольно ограниченной и незамысловатой; но съ другой стороны ее невозможно и сравнивать съ недопускающей никакихъ возраженій силлогистикой московскаго царя. Такова же разница и въ политической дѣятельности Петра и Іоанна Грознаго, хотя недалъновидные анекдотисты стараются поставить ихъ на одну доску, приравнивая даже безсмысленное и звѣрское убійство сына Іоанномъ къ строго-мотивированной и весьма попятной въ государственномъ смыслѣ карѣ надъ царевичемъ Алексѣемъ. Увлекался или нѣтъ первый русскій императоръ въ своихъ преобразовательныхъ планахъ, всегда ли хороши и дѣйствительны были средства, употребленныя имъ для достиженія своихъ цѣлей?—это подлежитъ суду исторической критики; но неоспоримо то, что онъ имѣлъ болѣе или менѣе „праведныя причины“, т. е. раціональныя основанія для своихъ дѣйствій, что онъ надѣялся ими „явить благодѣянія“ своему народу и что, наконецъ, всѣ мыслящіе люди того времени были положительно на его сторонѣ, хотя онъ и не забывалъ—по ученію Пуффендорфа—„нѣкое бѣдство противляющимся содѣлать“. Пользуясь на практикѣ безграничною властью, перешедшей къ нему отъ предковъ, во всей ея обширности и нерѣдко со всѣми злоупотребленіями, ей собственными, Петръ, въ то же время, указывалъ для нея такіе мотивы и оправданія, которые не имѣютъ ничего общаго съ самоуслаждающимся тиранствомъ лже-игумена Александровской слободы. Кромѣ Пуффендорфа, Петръ пользовался краснорѣчіемъ извѣстнаго Теофана Прокоповича,—и этотъ послѣдній, защищая съ церковной катедры передъ своими слушателями нововводимыя

реформы, не ограничивался одними текстами, но присоединялъ къ нимъ научныя доказательства и соображенія здраваго разума. „Аще же—говорить онъ въ одной проповѣди о происхожденіи власти въ государствѣ—когда обрѣтаемъ нѣкое грубое народище безглавное (хотя и не весьма такое, ибо во всякомъ домовствѣ свой правитель есть) таковыхъ человѣкъ скотомъ обычнѣ уподобляемъ и описуемъ ихъ сею притчею: ни царя, ни закона. Извѣстно убо имамы, яко власть верховная отъ самаго естества начало и вину приѣмлетъ, а еже отъ естества, то отъ самого Бога, создателя естества“. Въ этихъ словахъ Прокоповичъ ссылается уже на естественное право, которое разрабатывалось въ то время Пуффендорфомъ и насаждалось въ Россіи рукой самого правительства. Замѣтимъ еще, что Екатерина, въ лучшій періодъ своей дѣятельности, справедливо считала себя продолжательницей Петрова дѣла:—какъ онъ искалъ для себя поддержки въ идеяхъ, выработанныхъ передовыми европейскими мыслителями, такъ точно и она (съ тѣми же уклоненіями на практикѣ) вдохновлялась идеями, заимствованными у французскихъ энциклопедистовъ. И тотъ, и другая внесли много хорошаго въ русскую жизнь, и оба нерѣдко измѣняли себѣ, отражая въ своей дѣятельности вліяніе обстановки, глубоко испорченной крѣпостнымъ и политическимъ рабствомъ.

Всматриваясь глубже въ характеръ и управленія государственной власти при Петрѣ I, мы найдемъ въ ней сходство—не съ азіатскимъ тиранствомъ Іоанна Грознаго, но съ безсмѣнной желѣзной диктатурой, которая возникаетъ въ исторіи въ моментъ крутаго перелома всѣхъ общественныхъ отношеній, какъ, напри- мѣръ, при Кромвелѣ или въ первую французскую революцію. О Петрѣ не безъ основанія говорятъ, что онъ произвелъ революцію— не снизу, а сверху. Своимъ государственнымъ авторитетомъ онъ пользуется только для того, чтобы смѣлѣе и глубже провести занимающую его идею, въ которой для него не существуетъ ни правды, ни спасенія; лично для себя ему ничего не нужно, кромѣ простаго кафтана, одноколки и бутылки пива. Онъ работаетъ топоромъ на верфи вовсе не для забавы, чтобы убить праздное время: у него, дѣйствительно, мозоли не сходятъ съ рукъ, и онъ влюбленъ въ морское дѣло, какъ и во всю вообще европейскую культуру, представлявшую такой рѣзкій контрастъ съ нашей отечественной дикостью. Это—настоящій фанатикъ мысли, крѣпко запавшей ему въ голову; фанатикъ пламеннаго желанія — сдвинуть Россію съ той узкой колеи, въ которую загнало ее невѣжество въ соединеніи съ ничѣмъ невозмутимымъ китайскимъ са-

модовольствомъ. Идея реформы, смутно бродившая до Петра въ немногихъ умахъ, сдѣлалась при немъ идеей воинствующей: ея опредѣлялъ преобразователь свои отношенія не только къ государству, но и къ своей собственной семьѣ. Все, что прямо противодействовало осуществленію этой идеи; все, что даже окрашивалось подозрительнымъ цвѣтомъ и могло бы послужить вывѣской или подспорьемъ противоположному направленію, получало въ глазахъ фанатическаго ревнителя видъ преступной крамолы или опаснаго зложелательства и, на этомъ основаніи, уничтожалось безъ пощады и замедленія. Не забудемъ, что вопросы, замѣшанные въ этой борьбѣ, были поставлены крайне рѣзко, и страсти напряжены до послѣдней стѣпени; никакой сдѣлки и перемирія не допускали сами враждующія стороны. Стрѣльцы для Петра были такими же представителями *ancien régime*, какими были для французскаго конвента вандейцы и ихъ приверженцы; сотрудники Петра и всѣ вообще люди, усвоившіе себѣ европейскія понятія, казались стрѣльцамъ отщепенцами и новаторами, которыхъ надо было вырвать, какъ плевелы, изъ „святорусской“ земли. Возможны ли тутъ были какія нибудь соглашенія и обоюдныя уступки? Покончивъ стрѣлцкое дѣло съ жестокостью, рекомендующей весьма крѣпкіе нервы и у казнимыхъ, и у казнившихъ, Петръ съ ужасомъ замѣтилъ, что подъ его реформы идутъ подкопы съ другой стороны, изъ-подъ защиты семейнаго крова, гдѣ пріютился царевичъ, большой любитель благочестивыхъ старцевъ, вздыхавшихъ о старинѣ, и непримиримый врагъ всѣхъ заморскихъ нововведеній. Этотъ юноша, еще не убивъ медвѣдя, собирался уже дѣлать его шкуру и мечталъ о томъ, какія рѣки млека и меда потекутъ въ Россіи, когда онъ выкурить изъ нея всякій духъ „новшества“, т. е. европейской цивилизаціи. Разгнѣванный Петръ поступилъ на этотъ разъ, какъ совершенный диктаторъ, дорожащій единственно успѣхомъ идеи, которую онъ призванъ осуществить. Не задумываясь нисколько, онъ, въ числѣ многихъ разрушенныхъ преданій, пошатнулъ даже ту традицію, въ силу которой ему самому достался престолъ, а именно объявилъ, что онъ самъ выберетъ себѣ наслѣдника, способнаго продолжать его дѣло. Обычай наслѣдственности престола по кровному родству подрѣзывался подъ корень, вопреки мнѣнію большинства, выразившемуся въ цѣлой массѣ подметныхъ или, — какъ ихъ называли тогда, — „воровскихъ“ писемъ; на мѣсто ненадежной традиціи, обманувшей Петра въ его собственномъ сынѣ, становилась воля преобразователя, болѣе застрахованная, какъ ему казалось, отъ неудачи или ошибки. И Петръ выбралъ себѣ наслѣдницу—женщину, возведенную имъ изъ

ничтожнаго званія на высшую ступень въ государствѣ, бѣдную иностранку, у которой единственной опорой былъ ея царственный мужъ и для которой, слѣдовательно, не было другой дороги, какъ держаться тѣхъ же людей и тѣхъ же цѣлей, какъ и самъ Петръ. Вѣнчая Екатерину въ 1724 г., Петръ, въ присутствіи главныхъ сановниковъ государства, говорилъ, что заслуги Екатерины передъ Россіей велики, что она раздѣляла съ нимъ его труды, отправляясь даже въ походы, и что, наконецъ, женщина, спасшая государство въ 1711 г. (въ Прутской катастрофѣ), достойна править этимъ государствомъ. Безъ сомнѣнія, Петръ сильно преувеличивалъ заслуги своего созданія; но достоверно однако то, что Екатерина нерѣдко принимала участіе въ дѣловыхъ бесѣдахъ своего мужа, и тогдашніе сановники признавались, что ея совѣты и соображенія разрѣшали подчасъ, удачнымъ образомъ, правительственные вопросы. Самъ Петръ, который могъ бы сказать о себѣ словами Чацкаго, что онъ водится съ женщинами не для умныхъ бесѣдъ, выслушивалъ снисходительно замѣчанія Екатерины по государственнымъ дѣламъ, и даже бывалъ доволенъ такимъ вмѣшательствомъ. Но всего важнѣе для него было, конечно, то обстоятельство, что Екатерина, еслибы и хотѣла, не могла измѣнить разъ введенныхъ порядковъ и должна была вести ихъ въ прежнемъ духѣ и направленіи. Сильная только своею близостью къ царю и ему всѣмъ обязанная, она руководствовалась въполнѣ и его политическою программой. Чѣмъ она была прежде и чѣмъ сдѣлалась по волѣ Петра? Вотъ вкратцѣ исторія ея возвышенія, которую г. Андреевъ рассказываетъ по иностраннымъ мемуарамъ, не особенно рѣдкимъ, но все еще недоступнымъ для нашихъ читателей.

„У Шереметева—рассказываетъ авторъ—Марту (прежнее имя Екатерины) увидалъ Меншиковъ и склонилъ фельдмаршала уступить ему плѣнницу. (Марта, какъ извѣстно, взята была въ плѣнъ въ Маріенбургѣ, ливонскомъ городѣ, гдѣ она находилась въ служеніи у пастора Глюка). Вильбоа положительно говоритъ, что Меншиковъ скоро подпалъ подъ вліяніе ея и что въ обществѣ болѣе молодого и болѣе красиваго, чѣмъ Шереметевъ, любимца Петра Марта уже не несла одной покорности рабы къ ногамъ своего властелина, а что, напротивъ, немного прошло дней, и уже нельзя было сказать, кто въ домѣ Меншикова дѣйствительный рабъ—всевластный ли любимецъ царя, или жена шведскаго драгуна Іоганна. (Марта, незадолго до того, вышла замужъ за простаго шведскаго солдата, который потомъ совершенно исчезъ изъ виду). Пріѣзжаетъ къ Меншикову Петръ. У Петра, какъ извѣстно, всег-

да былъ солидный аппетитъ, и потому всюду, куда онъ прїѣзжалъ, его ожидала закуска. О Петрѣ же его докторъ Арескинъ говаривалъ, что онъ одержимъ легиономъ духовъ сластолюбія. Имѣя это въ виду, едва ли нужно распространяться, что Петръ кушалъ у Меншикова и что, кушая, онъ замѣтилъ между подававшими кушанья Марту. Петръ расположился ночевать у Меншикова и послѣ ужина велѣлъ Мартѣ посвѣтить себѣ въ спальнѣ. Это былъ приказъ, противъ котораго не было апелляціи. Чтѣ же дѣлаетъ Меншиковъ? Онъ покорно склоняетъ голову въ знакъ согласія. — Петръ при прощаніи всовываетъ золотой дукатъ (два тогдашнихъ рубля, полъ луидора) Мартѣ въ руку. Едва уѣхалъ Петръ, Марта показала Меншикову, чтѣ она думаетъ о немъ, и виновный долженъ былъ вынести справедливую кару. Прїѣзжаетъ опять къ Меншикову Петръ, опять кушаетъ. Между прислуживающими нѣтъ однако Марты: вѣрно упреки ея не были забыты. Но и Петръ не забылъ ея. „Гдѣ же Марта?“ Это вопросъ—приказаніе, и опять на него нѣтъ апелляціи. Марта явилась. Петръ начинаетъ опять шутки, какъ и въ первый разъ. Но что же это значить? Марта сдержана, задумчива... Смолкаютъ и шутки Петра, и онъ въ задумчивости наклоняется къ своей тарелкѣ. Веселая бесѣда стихла. Что такое съ Петромъ? Чтѣ запало въ это сердце, которому до того чужды были тревоги болѣе слабаго человѣчества? Не онъ ли гордился прежде тѣмъ, что женщина въ глазахъ его игрушка? Неужели задумчивость эстонской дѣвушки отразилась въ задумчивости гордаго монарха? Или тотъ внутренній человѣкъ напомнилъ монарху, что есть что-то, чего не прїобрѣтешь всѣми приказами повелителя, не знающаго прекословія, и не купишь всѣми дукатами царства? Петру, въ концѣ ужина, подають рюмку водки на подносѣ. Онъ поднимаетъ глаза: подноситъ та же, по неволѣ обязанная прислуживать, Марта. Но уже Петръ пришелъ въ себя. „Я увожу ее съ собою“, сказалъ онъ Меншикову, вставъ изъ-за ужина и уходя къ себѣ. На этотъ разъ онъ остановился не у Меншикова въ домѣ. Онъ взялъ Марту подъ руку и вышелъ. На слѣдующій день царь видитъ Меншикова, но ни слова ему о Мартѣ. Только на третій день, когда было переговорено о дѣловомъ, Петръ зоветъ уходившаго Меншикова и говоритъ ему, что у Марты нѣтъ ничего изъ платья, и что нужно ее „оснастить“ какъ слѣдуетъ. Александру Даниловичу не надобно было дважды повторять словъ Петра. Онъ понималъ, чтѣ это значить. Онъ отправляется домой, самъ собираетъ въ два узла всѣ пожитки Марты и посылаетъ узлы съ двумя дѣвушками, бывшими у него въ домѣ, на послугахъ у Марты, къ

ней въ домъ, гдѣ остановился Петръ. Ловкій царедворецъ не упустилъ при этомъ благоприятнаго случая. Онъ угадывалъ, что ждетъ Марту въ будущемъ, и спѣшилъ начать принимать свои мѣры. У любимицы Меншикова могло быть два узла пожитковъ и двѣ горничныя для услугъ, но у любимицы Петра отчего не быть и ящичку съ драгоценностями между имуществомъ? Ящичекъ съ драгоценными кольцами и т. п. на сумму до 5,000 руб. кладется въ одинъ изъ узловъ, и узлы отправлены.— Марта въ комнатахъ Петра. Горничныя, принесшія узлы, не найдя ея въ комнатѣ, не смотря на то, раскладываютъ принесенное. Скоро комната принимаетъ другой видъ. Возвращается Марта. Она удивлена, но ей не нужно пояснять, въ чемъ дѣло. Съ находчивостью, заставлявшею предполагать, что она начинала чувствовать себя здѣсь, какъ дома, она, обратясь къ Петру, сказала: „Я довольно долго была на вашей половинѣ, теперь пожалуйста на мою“. Петръ идетъ за нею. Марта въ волненіи перебираетъ присланныя вещи. А это что? Ящикъ для зубочистки? Нѣтъ! Довольно было открыть ящичекъ, добавленный Меншиковымъ къ имуществу Марты, чтобы бѣдной эстонской дѣвушкѣ, не выдавшей себя никогда обладательницею такого количества золота и дорогихъ каменьевъ, прійти въ смущеніе. „Это не мое!“ съ рѣшимостью говоритъ она. „Если это отъ моего прежняго господина, я возвращаю ему его драгоценности. Это кольцо (она указала при этомъ на недорогое кольцо на рукѣ ея) не меньше напомнить мнѣ обо всемъ, что онъ сдѣлалъ для меня. Если же это отъ моего новаго господина — возвращаю ящикъ ему: мнѣ нужно отъ него то, что дороже заключающагося въ этомъ ящикѣ“. Петръ улыбается, общается сосчитаться съ Меншиковымъ, а Мартѣ, смущенной и въ слезахъ отъ всего происшедшаго, подали поддерживающую рюмку венгерскаго. Вильбоа, современникъ Петра и человѣкъ приближенный къ нему, передаетъ подробности о жизни Марты со словъ дамы, у которой Марта, посланная въ Москву, долго жила послѣ въ домѣ. Сцена перваго впечатлѣнія, произведеннаго на Марту рѣшеніемъ Петра оставить ее у себя, была бы неизвѣстна потомству, еслибы свидѣтелемъ ея, кромѣ стоявшихъ тутъ двухъ дѣвушекъ, не былъ гвардейскій капитанъ, котораго Петръ, не ожидавшій сцены, привелъ съ собою. Съ этого времени Марта остается у Петра, но Петръ вида не показываетъ, что она у него. Значить, не мимолетна была тѣнь задумчивости, упавшая на лицо его на памятномъ ужинѣ у Меншикова. Посылая Марту въ Москву съ довѣреннымъ гвардейскимъ офицеромъ, Петръ поручилъ ему заботиться, чтобы все было въ услу-

гамъ ея, чтобы поѣздка ея оставалась въ тайнѣ, и ему ежедневно посылали рапорты о состояніи ея здоровья. Безъ огласки пріѣхала Марта въ Москву. Провожатый привезъ ее къ дамѣ, у которой хотѣлъ помѣстить ее Петръ. Съ этого времени она жила въ одной изъ уединенныхъ мѣстностей Москвы, въ домѣ скромномъ снаружи и щедро снабженномъ внутри. Въ первое время Петръ ѣздилъ къ ней безъ огласки. Только нѣсколько времени спустя... Но, нѣсколько времени спустя, маріенбургская плѣнница Марта превратилась уже въ государыню Екатерину Алексѣевну. Есть однако основаніе полагать, что и по рожденіи старшей дочери (Анны) она продолжала называться Катериною Василевскою, живя въ Петербургѣ въ 1708 г."

Г. Андреевъ, для красоты слога, отчасти идеализируетъ отношенія Петра къ Екатеринѣ (изъ интимныхъ Петровыхъ писемъ мы знаемъ, что онъ смотрѣлъ вовсе не платонически на эту связь); но можно думать однако, что впоследствии она сумѣла сдѣлаться необходимою для Петра не одними физическими наслажденіями. Она примѣнилась до мелочей къ характеру своего повелителя, сжилась съ его привычками и взглядами, — и всѣмъ этимъ привязала къ себѣ, въ значительной степени, непостояннаго мужа. Вліяніе ея на Петра было не бесполезно. Съ Петромъ дѣлались иногда припадки, которые, по словамъ Бассевича, происходили отъ яда, будто бы даннаго ему въ дѣтствѣ сестрою его Софьею. Этими припадками, по всей вѣроятности, объясняются многіе его поступки. Наступленіе припадка узнавали по особенному судорожному подергиванію рта. Въ эти минуты Петръ, и безъ того суровый, бывалъ страшенъ: гнѣвъ его обрушивался на окружающихъ, въ которыхъ онъ начиналъ видѣть враговъ, собирающихся посягнуть на его жизнь. Сильная головная боль въ теченіе трехъ дней была слѣдствіемъ припадка. „Такъ было до сближенія его съ Екатериною“, рассказываетъ авторъ статьи. „Послѣ, едва замѣчали у Петра судорожныя движенія рта, какъ давали знать Екатеринѣ. Та приходила, начинала говорить съ нимъ. Звуки голоса ея производили на него какъ бы магическое дѣйствіе. Припадокъ ослабѣвалъ, и Петръ засыпалъ часа на три на ея груди. Все это время она оставалась неподвижною, чтобы не разбудить его. Петръ просыпался свѣжимъ и бодрымъ, и головной боли послѣ какъ бы не бывало“. За всѣ эти услуги Петръ щедро вознаградилъ Екатерину: сначала произвелъ ее во фрейлины, потомъ въ царицы, а наконецъ, съ большою помпой, вѣнчалъ ее императрицею. Исторія съ камергеромъ Монсомъ, случившаяся вскорѣ послѣ этого коронованія, чуть было не погубила Екатерину, но она и

здѣсь, съ своимъ обычнымъ тактомъ, съумѣла выпутаться изъ нея. Рассказываютъ, что Петръ стоялъ какъ-то съ Екатериною, послѣ казни Монса, во дворцѣ у окна. „Ты видишь—сказалъ онъ ей—это венеціанское стекло. Оно сдѣлано изъ простыхъ матеріаловъ; но, благодаря искусству, стало украшеніемъ дворца. Я могу возвратить его въ прежнее ничтожество“. Съ этими словами онъ разбилъ стекло въ дребезги. Екатерина поняла эту нехитрую аллегорію, за которой могло бы сейчасъ же послѣдовать практическое истолкованіе,—поняла, но не потеряла присутствія духа.—„Вы можете это сдѣлать—отвѣчала она—но достойно ли это васъ, государь? И развѣ оттого, что вы разбили стекло, дворецъ вашъ сдѣлался красивѣе?“ Этотъ умный и простой отвѣтъ обезоружилъ Петра. Недолго прожилъ послѣ того Петръ, и умеръ, не назначивъ себѣ преемника. Говорятъ, что передъ смертію онъ былъ уже противъ кандидатуры Екатерины; но иностранцы, которымъ пришлось бы плохо въ случаѣ поворота въ управленіи, а также русскіе, выбившіеся впередъ своими личными заслугами, вспомнили о коронованіи императрицы и, опираясь на прежнюю волю Петра, провозгласили Екатерину самодержицей всероссійской.

II.

Тутъ-то и началась длинная вереница придворныхъ пертурбацій, тянувшихся вплоть до восшествія на престолъ Александра I. Прочности въ положеніяхъ не было никакой: человѣкъ, заснувшій, *de facto* или по имени, повелителемъ, могъ проснуться въ казематѣ Петропавловской крѣпости или по дорогѣ въ Березовъ; люди, трепетавшіе передъ нимъ наканунѣ и униженно готовые исполнять его малѣйшую прихоть, становились его неумолимыми тюремщиками и сторицей вознаграждали себя за прежнее раболѣпство. Вотъ источникъ нашего „временщичества“ и фаворитизма, вотъ настоящая причина безцеремоннаго обращенія съ государственной казной и государственными интересами. Всякій, добившійся власти или случайнаго возвышенія при дворѣ, „ловилъ фортуна за зубъ“ (по выраженію Разумовскаго) и требовалъ отъ нея, какъ извѣстный мужикъ отъ золотой рыбки, и денегъ, и лентъ, и крѣпостныхъ душъ; а позднѣе — неслыханнаго, чудовищнаго великолѣпія въ житейской обстановкѣ. *Après nous le déluge!* думалъ одинъ; „сегодня панъ—завтра пропаль!“ вторилъ ему про себя другой—и это море случайностей вздувалось еще пуще, грозя поглотить разомъ всѣхъ неосторож-

но выдвинувшихся сыновъ фортуны. Беселая, разгульная жизнь тою времени, которая соблазняетъ донинѣ своимъ наивнымъ пафосомъ любителей старины, походила на оргію у подошвы вулкана или, еще вѣрнѣе, на „пиръ во время чумы“. Каждый участникъ безумнаго пиршества, чувствуя всю эфемерность своего счастья, могъ бы смѣло провозгласить, вмѣсто тоста, эту высокохудожественную пѣснь:

Когда могучая зима,
Какъ добрый вождь, ведетъ сама
На насъ косматя дружини
Своихъ морозовъ и снѣговъ,
На встрѣчу ей трещать камини —
И веселъ зимній жаръ пировъ.
Царица грозная чума
Теперь идетъ на насъ сама
И льстится жатвою богатой,
И къ намъ въ окошко день и ночь
Стучитъ могильною лопатою...
Что дѣлать намъ и чѣмъ помочь?
Какъ отъ проказы — зими,
Запремся такъ же отъ чумы!
Зажжемъ огни, нальемъ бокалы,
Утопимъ весело умы —
И, заваривъ пиръ да балы,
Возславимъ царствіе чумы!

Лучшей характеристики невозможно придумать для того безпечнаго „срыванія цѣтовъ жизни“, которое проходитъ рѣзкою чертою черезъ весь почти XVIII вѣкъ нашей исторіи. Основаніе московскаго университета, созваніе комисіи для составленія уложенія и еще два-три утѣшительныхъ факта мало измѣняютъ господствующій характеръ эпохи. Только одни военные успѣхи льстятъ самолюбію страны, и по этой части мы дѣйствительно отличаемся: предѣлы государства раздвигаются съ непомиѣрною быстротою, но въ немъ нѣтъ политической жизни, которая могла бы сплотить эту громаду въ одно стройное цѣлое. Различныя окраины государства, превосходя образованіемъ и культурою свою метрополію, занимаютъ даже въ ней привилегированное положеніе, въ ущербъ массамъ номинально господствующаго племени. Культурная сила этого племени еще такъ слаба, что не можетъ переварить и ассимилировать татарскія и финскія орды, сидящія внутри страны; въ центрѣ государства скоплены горячіе матеріалы, въ видѣ раскола и крѣпостнаго права, которые могутъ ежеминутно произвести страшный взрывъ — и дѣйствительно производить его во дни пугачевщины; народное образованіе стоитъ

ниже нуля; въ судахъ лихоимствуютъ, и грабятъ въ администраціи, — такъ что приходится издавать противъ взяточниковъ особые указы. Въмѣсто правильно-организованнаго общественнаго мнѣнія страны, на государственную власть имѣютъ непосредственное вліяніе только лица, близко къ ней стоящія, — а между ними на первомъ планѣ гвардейскіе офицеры, которыхъ англійскій резидентъ Финчъ называлъ русскими янычарами. Вотъ почему служба въ гвардіи такъ долго сохраняла у насъ свое обаяніе, что даже во времена Грибоѣдова можно было сказать про московскихъ дамъ, что онѣ

— Любимцамъ гвардіи, гвардейцамъ, гвардіонцамъ,
Ихъ золоту, шитью дивятся будто солнцамъ.

Временщикъ — это alter ego самой власти; онъ — ея ревностнѣйшій блюститель въ спокойное время и отчаянный защитникъ въ случаѣ невзгоды. Временщиковъ можно было мѣнять съ упороченіемъ власти; можно было придавать имъ болѣе или менѣе интимный характеръ (т. е. дѣлать ихъ фаворитами въ тѣсномъ смыслѣ); но обойтись безъ нихъ совсѣмъ — почти не предстояло возможности: — такъ тѣсно сплелось ихъ существованіе съ условіями эпохи, ихъ породившей. Смотри по тому, какая черта господствовала въ характерѣ сильнаго вельможи — подозрительность или безпечное „срываніе цвѣтовъ“ жизни, а также и по тому, какого рода услуги требовались отъ него, — временщики подраздѣлялись на два различныхъ типа: временщиковъ подозрительныхъ, выискивающихъ и высматривающихъ опасности, и временщиковъ просто роскошествующихъ, т. е. сорящихъ направо и налево легко пріобрѣтаемые дары судьбы. Временщики послѣдняго сорта пользуются у насъ наибольшею извѣстностью, благодаря тому, что стоустая молва далеко разносила имъ имена, и даже поэзія восхваляла ихъ пиршества, на которыхъ — по живописному выраженію одного такого пѣвца — цѣлые океаны, „тряся челами (вѣроятно, отъ страха), держали рѣдкихъ рыбъ“, а прекрасная Нева, уподобляясь служанкѣ, „носила по гостямъ чужія питья, снѣди“. Къ этому типу принадлежали, кромѣ „великолѣпнаго князя Тавриды“, и оба графа Разумовскіе, о которыхъ обширная статья напечатана во II томѣ „Осьмнадцатаго вѣка“. Мы позаимствуемъ изъ этой статьи нѣкоторые интересныя свѣдѣнія. — Алексѣй Григорьевичъ Разумъ родился въ Черниговской губерніи, въ деревнѣ Лемешахъ, въ 1709 г. Онъ принадлежалъ къ простой казацкой семьѣ и былъ сначала „пастыремъ стадъ непорочныхъ“; но его привлекательная наружность и пріятный голосъ скоро обратили на него вниманіе мѣстнаго духовенства. Причтъ села

Чемеры, къ приходу котораго принадлежали Лемеша, взявъ мальчика на свое попеченіе, и здѣсь выучился Розумъ грамотѣ и церковному пѣнію. Въ началѣ января 1731 г., въ праздничный день, проѣзжалъ черезъ Чемеры полковникъ Вишневскій, возвращавшійся изъ Венгріи, куда онъ ѣздилъ покупать венгерскія вина для императрицы Анны Іоанновны. (Венгерское вино было тогда въ большомъ употребленіи и замѣняло шампанское при провозглашеніи тостовъ). Полковникъ этотъ зашелъ въ церковь, обратилъ сейчасъ же вниманіе на голосъ и наружность молодого пѣвчаго и уговорилъ мать его отпустить съ нимъ сына въ Петербургъ. Тамъ Розумъ былъ опредѣленъ графомъ Левенвольдомъ въ придворную пѣвческую капеллу. Однажды Елизаветѣ Петровнѣ (тогда еще цесаревнѣ) случилось быть въ придворной церкви, и она была поражена голосомъ Розума. Представленный ей, по окончаніи литургіи, пѣвецъ поразилъ ее еще больше своей наружностью. Высокій, стройный, нѣсколько смуглый, съ выразительными черными глазами и черными же дугообразными бровями, Розумъ былъ настоящій красавецъ. Вскорѣ послѣ того онъ считался уже пѣвчимъ цесаревны и получилъ прозваніе Разумовскаго. Голосъ его однако началъ спадать, и изъ пѣвчаго онъ былъ переименованъ въ придворные бандуристы. Но по мѣрѣ того, какъ падалъ его голосъ, возвышалось и крѣпло его придворное значеніе. Изъ бандуристовъ Разумовскій произведенъ былъ въ управляющіе одного изъ цесаревнинныхъ имѣній; мало по малу и другія недвижимыя имущества и весь небольшой дворъ принцессы попали подъ его вѣдѣніе, а въ правленіе Анны Леопольдовны мы видимъ уже его камеръ-юнкеромъ при цесаревнѣ. Въ ночь переворота съ 24-го на 25-е ноября 1741 г., въ то время какъ Елизавета Петровна, въ сопровожденіи Лестока, Воронцова, Шувалова и Шварца, объѣзжала казармы и занимала большой дворецъ, Разумовскій оставался наблюдать за порядкомъ въ домѣ цесаревны на Царицыномъ лугу, куда и переезжала сама Елизавета, въ саняхъ, павшую правительницу, вмѣстѣ съ императоромъ Іоанномъ Антоновичемъ и новорожденною его сестрою. Въ день восшествія на престолъ его покровительницы, Разумовскій пожалованъ въ дѣйствительные камергеры и поручики лейбъ-компаніи, въ чинѣ генераль-лейтенанта, а затѣмъ посыпались на него чины, ленты и богатства. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ получилъ высшій орденъ Андрея Первозваннаго, чинъ егермейстера, и пожалованъ множествомъ вотчинъ. 1-го концъ своего царствованія, Елизавета сдѣлала его фельдмаршаломъ, хотя онъ сроду не служилъ въ военной службѣ и не командовалъ ни однимъ солдатомъ. „Государыня—сказалъ ей п

этомъ скромный малороссъ—ты можешь меня назвать фельдмаршаломъ, но никогда не сдѣлаешь изъ меня даже порядочнаго полковника^а. Богатство Разумовскаго было такъ велико, что съ восшествіемъ на престолъ Петра III, въ день переѣзда государя въ новый зимній дворецъ, онъ поднесъ ему въ подарокъ драгоценную трость, а въ придачу къ ней—ни больше, ни меньше,—какъ миллионъ рублей! (Т. II, стр. 572). Когда Разумовскій, не любившій считать денегъ, садился играть въ банкъ, то этотъ случай былъ настоящимъ праздникомъ для всѣхъ придворныхъ особъ. Порошинъ рассказываетъ, что въ это время—„статсъ-дама Настасья Михайловна Измайлова (рожденная Нарышкина) и другіе по просту изъ банка крадывали у него деньги... За дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ, княземъ Иваномъ Васильевичемъ Одоевскимъ, александровскимъ кавалеромъ и президентомъ вѣдѣнной коллегіи (можно представить себѣ, какое безкорыстіе царствовало въ этой коллегіи!) одинъ разъ подмѣтили, что онъ тысячи полторы (значить, и мелочами не брезгалъ) въ шляпѣ перетаскалъ и въ сѣняхъ отдавалъ слугѣ своему“. Роскошь и великолѣпіе обстановки Разумовскаго соотвѣтствовали его положенію при дворѣ, прославленному своею пышностью. „Дворъ въ это время—повѣствуетъ намъ князь Щербатовъ—подражая или, лучше сказать, угождая императрицѣ, въ златотканныя одежды облакался; вельможи изыскивали въ одѣяніи все, что есть богатѣе, въ столѣ—все, что есть драгоценнѣе, въ питъѣ все, что есть рѣже, въ услугахъ—возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили къ оной пышность въ одѣяніи ихъ. Экипажи возблистали златомъ, дорогія лошади, не столь для нужды удобныя, какъ единственно для виду, учинались нужны для воженія позлащенныхъ каретъ. Дома стали украшаться позолотою, шолковыми обоими во всѣхъ комнатахъ, дорогими мебелями, зеркалами. Все сіе составляло удовольствіе самимъ хозяевамъ, вкусъ умножался, подражаніе роскошнѣйшимъ народамъ возрастало, и человѣкъ дѣлался почитителенъ (т. е. заслуживалъ почтенія) по мѣрѣ великолѣпности его житія и уборовъ“. При дворѣ были безпрестанные банкеты, куртаги, балы, маскарады, комедіи французская и русская, итальянская опера и пр. Всѣ увеселенія дѣлились на разныя категоріи; каждый разъ опредѣлялось, въ какомъ именно быть костюмѣ: въ робахъ, шлафорахъ или самарахъ—для дамъ, въ цвѣтномъ или богатомъ платьѣ—для мужчинъ. Костюмы осыпались брилліантами и украшались чистѣйшимъ золотомъ и серебромъ, такъ какъ употребленіе мишуры и хрусталя для убранства запрещалось придворными правилами. Какъ часто приходи-

лось мѣнять при дворѣ наряды—видно изъ того, что во время пожара въ Москвѣ, въ 1753 г., у императрицы сгорѣло 4,000 платьевъ; а по смерти ея найдено 15,000 платьевъ, одинъ разъ надѣванныхъ или вовсе не ношенныхъ, 2 сундука шелковыхъ чулокъ; лентъ, башмаковъ и туфель нѣсколько тысячъ, болѣе сотни неразрѣзанныхъ французскихъ матерій и пр. и пр. Сколько провизіи истреблялось ежедневно придворнымъ штатомъ и какая масса перевозочныхъ средствъ нужна была для него—объ этомъ трудно составить себѣ даже приблизительное понятіе. Такъ, напр., во время поѣздки императрицы въ Кіевъ, малороссійскіе генеральныя старшины заготовили было 4,000 лошадей; но Разумовскій написалъ, что всѣхъ лошадей понадобится 23,000 (!) и ихъ принуждены были собрать съ обывателей. Каждый старшина обязывался выставить, для продовольствія двора, цѣлый погребецъ, куда входили: вина воложскаго 2 ведра, крымскаго 2, телятъ 2, ягнятъ 8, курчатъ 50, поросятъ 8, утокъ 20, яицъ 500, водки двойной 10 ведеръ, муки пшеничной четверть и пр. и пр. Зато кіевляне были вознаграждены, при въѣздѣ императрицы въ Кіевъ, слѣдующимъ зрѣлищемъ: „Воспитанники духовной академіи ожидали Елизавету Петровну въ видѣ греческихъ боговъ, героевъ и даже миеологическихъ животныхъ. Съ помощью машинъ, частію выписанныхъ, частію собственнаго изобрѣтенія, произведены были разныя удивительныя явленія. Такъ, между прочимъ, выѣхалъ за городъ сѣдовласый старикъ въ богатой древней одеждѣ, украшенный короной и жезломъ. Онъ представлялъ князя кіевскаго Владиміра; онъ привѣтствовалъ государыню и, какъ свою наслѣдницу, приглашалъ ее въ городъ и поручалъ ей весь русскій народъ“. Эти роскошныя зати, житье на широкую ногу и вообще весь блескъ петербургскаго двора,—которому удивлялись даже французы, привыкшіе видѣть все это у себя въ Версали,—конечно, не оправдывались экономическимъ положеніемъ страны. Сквозь этотъ блескъ и красивую внѣшность, нѣтъ-нѣтъ, да и проступить, бывало, неприглядная русская дѣйствительность. „За этимъ внѣшнимъ блескомъ, за этими румянами, фижмами и брилліантами—разсказываетъ авторъ біографіи Разумовскихъ—крылись вполне азіятская неопрятность и неряшество. Во время путешествія государыни, свиту и даже великаго князя и великую княгиню помѣщали кое-какъ въ людскихъ и палаткахъ; иногда въ комнатахъ великой княгини была по колѣно вода, иногда печи въ ея спальнѣ имѣли огромныя щели. Вдобавокъ, при дворѣ бывалъ такой недостатокъ въ мебели (не смотря, стало быть, на то, что на нее тратились огромныя деньги), что зеркала, постели,

стулья, столы и комоды перевозились изъ зимняго дворца въ лѣтній, оттуда въ Петергофъ, Царское Село и даже въ Москву. При этихъ переездахъ все ломалось и билось, и безъ всякой починки становилось въ комнатахъ. Для каждой незначительной поправки требовалось именное приказаніе императрицы, добратся до которой было очень мудрено или же совсѣмъ невозможно. Въ богатыхъ домахъ, вмѣстѣ съ гайдуками, гусарами, скороходами въ великолѣпныхъ ливреяхъ, сновала безпрестанно босоногая челядь въ лохмотьяхъ. Въ спальнѣ комнатъ Елизаветы Петровны спалъ на тюфячкѣ ея бывшій лакей Чулковъ; близъ спальни великой княгини, въ небольшомъ покоѣ, во время томящаго зноя, жило 17 человекъ разной прислуги, которые не имѣли иного выхода, какъ черезъ комнаты самой Екатерины" (стр. 428). За пышнымъ дворомъ тянулись и всѣ значительнѣйшіе вельможи. Оставляя въ неряшествѣ свою домашнюю жизнь и въ полномъ пренебреженіи судьбу своей „босоногой челяди“, они изумляли всѣхъ великолѣпіемъ своихъ парадныхъ пріемовъ, баловъ, выходовъ и выѣздовъ. Особенной роскошью отличались: великій канцлеръ Бестужевъ и Степанъ Ѳеодоровичъ Апраксинъ—оба пріатели графа Разумовскаго. Первый изъ нихъ имѣлъ винный погребъ „толь великій—по словамъ кн. Щербатова,—что онъ знатный капиталъ составилъ, когда послѣ смерти его былъ проданъ графамъ Орловымъ“; второй всегда возилъ съ собой гардеробъ, состоявшій изъ многихъ сотъ богатыхъ кафтановъ, и въ семилѣтнюю войну доставлялъ себѣ на бивакахъ „всѣ спокойствія, всѣ удовольствія, какія можно было имѣть въ цвѣтущемъ торговлею градѣ“. Не отставалъ отъ нихъ и графъ Разумовскій: онъ первый сталъ носить брилліантовыя пуговицы на камзолѣ и задавалъ баснословныя пиршества въ своихъ имѣніяхъ: Перовѣ и Гостилицѣ, и въ своемъ аничковскомъ дворцѣ, въ Петербургѣ. Въ Перовѣ часто проводила время Елизавета въ соколиной и псовой охотѣ, а также любуясь „играми и хороводами простолюдиновъ“. Хозяинъ онъ былъ гостепріимный и радушный; но когда хмѣль попадалъ ему въ голову—чего ни предвидѣть, ни избѣгнуть не было никакой возможности,—то онъ становился грозой для друзей и недруговъ; нерѣдко въ такія минуты его сотоварищи по псовой охотѣ, какъ, напримѣръ, Петръ Ивановичъ Шуваловъ, были „отъ него сѣчены батожемъ“. Тотъ вѣсь, которымъ пользовался Разумовскій при дворѣ, дѣлалъ невозможными жалобы на него. Тайный супругъ императрицы Елизаветы, принимавшій иногда ее и ея приближенныхъ въ парчевомъ шлафроктѣ, могъ бы позволять себѣ безнаказанно и боль-

шія неистовства, еслибъ его не воздерживало отъ нихъ природное добродушіе. Что касается до самой таинственной свадьбы, то авторъ не сообщаетъ о ней ничего новаго и ограничивается только указаніемъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя способствовали этой *marriage de conscience*. По его мнѣнію, Бестужевъ, одиноко поставленный при дворѣ, задумалъ создать себѣ сильную поддержку въ Разумовскомъ, и съ этою цѣлью постарался сдѣлать еще тѣснѣе узы, соединявшія государыню съ фаворитомъ. Сторону Бестужева охотно взяло духовенство изъ числа послѣдователей „Камня вѣры“, надѣясь чрезъ Разумовскаго найти у государыни „по ихъ домогательствамъ и прошеніямъ всевозможныя представительства и заступленія“. Тотъ же приѣмъ употребилъ впослѣдствіи Бестужевъ при возвышеніи графа Григорія Орлова и представилъ Екатеринѣ формальное прошеніе, чтобы она избрала себѣ супруга. Между лицами, подписавшимися подъ этимъ актомъ, по свидѣтельству французскаго посланника, барона де-Бретеля, главную роль играло опять таки духовенство; но на этотъ разъ уловки стараго интригана не удались и только доставили случай Екатеринѣ, подъ предлогомъ дарованія Разумовскому титула высочества, извлечь у него изъ секретной шкатулки какія-то формальныя доказательства его брака (стр. 577 — 579).

Вслѣдъ за возвышеніемъ Алексѣя Разумовскаго, была приближена къ престолу и вся его родня. Немедленно по восшествіи на престолъ Елизаветы, отправленъ былъ въ Малороссію офицеръ, съ каретами, богатыми уборами и собольими шубами, за семействомъ новаго камергера. Въ отвѣтъ на разспросы офицера, по приѣздѣ въ Лемешы, о томъ, гдѣ живетъ госпожа Разумовская, удивленные малороссіяне, какъ гласитъ преданіе, отвѣчали: „Въ насъ зъ роду не було такой пани; а е, коли божаєте, хата Розумихи—вдовы“. Не смотря на петербургскій „фаворъ“ своего старшаго сына, мать его, Наталья Демьяновна, продолжала слыть между сосѣдами только Розумихой и, по прежнему, содержала въ Лемешахъ корчму. Захваченная врасплохъ, старуха не хотѣла вѣрить словамъ офицера и говорила ему: „Пане ясновельможный! Ты хлопецъ добрый, не глазуй зъ мене, що я тоби подіяла?“ Но хлопецъ передалъ царское повелѣніе, и Наталья Розумиха собралась въ путь-дорогу съ своимъ младшимъ сыномъ, дочерью, внукомъ и внучками, родными и двоюродными. Въ Петербургѣ старуху прежде всего напудрили, нарумянили и нарядили въ модное платье, такъ какъ „непристойныя деревенскіе“ костюмы запрещались во дворцѣ даже въ маскарадахъ. Потомъ повезли ее во дворецъ, предупредивъ, что она должна пасть на колѣна предъ

государыней. Едва простая корчемница вступила въ залы дворцовыя, какъ очутилась передъ большимъ зеркаломъ во всю вышину стѣны; не выдавъ ничего подобнаго отъ роду, она второпяхъ не разглядѣла своей фигуры и, принявъ себя за императрицу, поспѣшила пасть на колѣна. Всевозможныя почести оказывались Натальѣ Демьяновнѣ, и—по мнѣнію автора статьи — она, въ первый же пріѣздъ свой въ Петербургъ; была пожалована въ статскыя дамы. Ея младшій сынъ, Кириллъ Григорьевичъ, и всѣ внуки и внучки (Закревскіе, Стрѣшенцовы, Дараганы) приняты одинъ за другимъ на попеченіе двора и старшаго Разумовскаго. Съ ними обращались ласково и внимательно, почти какъ съ принцами крови, и эта близость ихъ ко двору подала поводъ къ сочиненію баснословной исторіи о принцахъ и принцессахъ Таракановыхъ—исторіи, достаточно воздѣланной нашими анекдотистами. Авторъ біографіи Разумовскихъ, г. А. Васильчиковъ, доказываетъ — и на нашъ взглядъ весьма убѣдительно—что слухъ о князьяхъ Таракановыхъ и ихъ воспитаніи за границею возникъ чисто внѣшнимъ образомъ изъ факта заграничнаго воспитанія племянниковъ графа Алексѣя Разумовскаго, между которыми были и Дараганы. Дѣло началось съ того, что въ камеръ-фурьерскихъ журналахъ, въ которыхъ записывается все, происходящее при дворѣ, перекрестили этихъ Дарагановъ въ Дарагановыхъ, а затѣмъ въ обществѣ стали называть безразлично этимъ именемъ всѣхъ племянниковъ графа Алексѣя Григорьевича, жившихъ при дворѣ. Нѣмцы же, которыхъ было довольно при Елизаветѣ, не смотря на упадокъ нѣмецкой партіи, по свойству своего произношенія, обративъ наши твердыя согласныя въ мягкія, сдѣлали изъ Дарагановыхъ — Таракановыхъ. Что нѣмцы именно такъ выговаривали фамилію малороссійскихъ родичей Разумовскаго, распространяя ее на всѣхъ племянниковъ фаворита, причемъ, для пущей важности, придавали имъ графскій титулъ — это выводитъ авторъ, безъ всякой натяжки, изъ сопоставленія одного мѣста Шлецеровскихъ мемуаровъ съ частнымъ письмомъ къ Разумовскому отъ его племянниковъ. Въ запискахъ Шлецера, бывшаго наставникомъ дѣтей графа Разумовскаго, встрѣчается слѣдующее извѣстіе: „Разъ обѣдали у насъ 4 сына императрицы Елизаветы, поэтому двоюродные братья нашихъ графовъ, подъ или съ именемъ графовъ Т—въ (von—Tv), вмѣстѣ съ ихъ наставникомъ—нѣмцемъ, по имени Д—ль (D—l), который выдавалъ себя за полковника и даже носилъ военный мундиръ. Они только что возвратились изъ Швейцаріи, гдѣ провели 6 лѣтъ и въ это время проучили, т. е. проѣли 36,000 р. Они остались полнѣйшими невѣждами — и не по

своей винѣ, а благодаря наставнику* и пр. Сблизивъ это мѣсто съ письмомъ Закревскихъ и Дарагановъ изъ Женева, г. Васильчиковъ нашелъ, что Т—вы или Таракановы (потому что пропущенныя буквы легко восстанавливаются), суть никто другіе, какъ именно они, племянники гр. Разумовскаго, а мнимый полковникъ, сопровождавшій ихъ,—нѣмецъ Дитцель, ихъ неудачный гувернеръ. Ничего нѣтъ мудренаго, прибавляетъ авторъ, что этотъ же Дитцель, самозванно величавшій себя полковникомъ, пустилъ за границей въ ходъ молву, что онъ состоитъ при дѣлахъ императрицы Елизаветы, „графахъ von Такапанов“, странствующихъ подъ строгимъ инкогнито. Басня, часто повторяемая, получила, наконецъ, право гражданства въ Европѣ, а оттуда вернулась на Русь, гдѣ, какъ на грѣхъ, къ ней пристроились разныя „историки“, которымъ ужъ такъ Богъ велѣлъ—рыться, до скончанія дней, въ чужихъ родословныхъ... Графъ Кириллъ Разумовскій, родной братъ фаворита, также побывалъ за границею, и хотя не вернулся оттуда „полнѣйшимъ невѣждою“, какъ его племянники, но тоже не вынесъ особенно солидныхъ познаній. Тѣмъ не менѣе, два года заграничной жизни прославили его чуть не ученымъ человѣкомъ, и онъ, 22-хъ лѣтъ отроду, былъ назначенъ президентомъ академіи наукъ. Императрица сама выбрала ему невѣсту—Екатерину Ивановну Нарышкину, возвела въ графское достоинство въ одно время со старшимъ братомъ (въ 1744 г.), и сдѣлала дѣйствительнымъ камергеромъ. Въ довершеніе почестей, 26-ти-лѣтній Кириллъ Разумовскій былъ избранъ, по прямому указанію петербургскихъ властей, малороссійскимъ гетманомъ, что равнялось высшему военному чину генералъ-фельдмаршала. Авторъ біографіи Разумовскихъ, вообще пристрастный къ обоимъ братьямъ, съ особеннымъ умиленіемъ рассказываетъ о служебныхъ и иныхъ успѣхахъ графа Кирилла Григорьевича. Нельзя, конечно, отрицать, что графъ Разумовскій-младшій былъ отъ природы весьма неглупый человѣкъ съ оттѣнкомъ малороссійскаго юмора, не зазнавался черезчуръ и былъ довольно доступенъ въ обращеніи (хотя нѣкоторыя просьбы и приходилось подавать ему не въ руки, а просовывать въ дверную щель); но поводовъ къ умиленію мы еще тутъ не видимъ никакихъ. Какую службу сослужилъ Разумовскій отечеству и чѣмъ отблагодарилъ его за тѣ почести и богатства, которыми пользовался? Государственныя заслуги его опираются на двухъ фактахъ: на президентствѣ въ академіи наукъ и на управленіи Малороссіей въ санѣ гетмана. Но можно ли говорить серьезно о его дѣятельности въ академіи, предоставленной имъ въ безусловное распоряженіе Теплова? На свое же гетманство самъ

Разумовскій не смотрѣлъ, какъ на дѣйствительный выборъ народа, и, какъ только могъ, отлынивалъ отъ своихъ обязанностей. „Старые казаки—говоритъ самъ г. Васильчиковъ—вздыхая, покачивали головами (при выборѣ гетмана) и чуяли, что настали времена другія, что прошла невозвратно эпоха Сагайдачнаго и Хмѣльницкаго, при избраніи которыхъ и на умъ никому не приходили всѣ эти процессіи, возвышенія, обитыя алымъ сукномъ, и богатые кареты, заложеныя цугами,—тѣ простыя, но вольныя времена, когда громада казаковъ собиралась на площади и шапками забрасывала любимаго избранника“. Разумовскій живетъ царькомъ въ Глуховѣ, пишетъ въ своихъ универсалахъ: мы, намъ, данъ въ Глуховѣ, и пр.; заводитъ придворный штатъ; но ему здѣсь смертельно скучно, потому что онъ ничѣмъ не связанъ съ интересами края и пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ удрать отсюда въ Петербургъ, гдѣ его привлекаютъ больше придворные куртаги и затаенная борьба брата съ Шуваловыми. Въ числѣ поводовъ къ отлучкѣ онъ выставляетъ, напримѣръ, желаніе пользоваться осенью въ Петербургѣ „лучшимъ воздухомъ“ (!). Г. Васильчиковъ указываетъ, какъ на заслуги Разумовскаго, на уничтоженіе таможенныхъ заставъ между Малороссіей и великорусскими губерніями, на судебную реформу и проч., но если первая мѣра имѣла еще нѣкоторую цѣну, то вторая была не больше, какъ переименованіе. Объ ограниченіи свободнаго перехода крестьянъ, состоявшемся при Разумовскомъ, авторъ говоритъ мелко и даже похваливаетъ это рѣшеніе за то, что имъ „уменьшено бродяжничество“. Вѣроятно, по его мнѣнію, съ окончательнымъ введеніемъ крѣпостнаго права въ Малороссію, бродяжничество совсѣмъ прекратилось и страна процвѣла, аки кринъ сельный? Вообще гетманство Разумовскаго, данное ему, какъ синекура за услуги брата, имѣло весьма печальный видъ заигрыванья съ народомъ, клонившагося въ сущности къ полному его поработенію. Такъ понимали дѣло и умнѣйшіе малороссы, смотрѣвшіе на дѣянія графа „съ темнымъ и непонятнымъ чувствомъ“. Въ денежныхъ дѣлахъ графъ Разумовскій тоже былъ нехорошъ и все домогался у правительства разныхъ наградъ и милостей. Имѣя 100,000 гетманскаго дохода и получивъ за женой 44 тысячи душъ крестьянъ въ приданое, онъ не стыдился жаловаться на „крайнюю недостаточность“ своихъ средствъ и просилъ имѣній, просилъ денегъ взаймы и безъ отдачи (стр. 500). Правда, что Разумовскій не бралъ на себя казенныхъ подрядовъ и не захватывалъ разныхъ торговыхъ монополій, подобно Петру Ивановичу Шувалову; но надо же быть воздержнымъ въ восхваленіи

людей за то только, что они не принесли всего того зла, которое могли бы принести.

Графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ, упомянутый нами, былъ тоже сильный міра сего и, подобно Кириллу Разумовскому, выдвинулся впередъ, благодаря близости своего брата,—только не роднаго, а двоюроднаго,—Ивана Ивановича, къ Елизаветѣ Петровнѣ. Но насколько графъ Разумовскій былъ любимъ въ петербургскомъ обществѣ за нѣкоторыя привлекательныя стороны своего характера, настолько же Шуваловъ былъ ненавидимъ всѣми за нестерпимую гордость и самонадѣянность. Это былъ временщикъ подозрительный, выискивающій и высматривающій; онъ и держался только тѣмъ, что возбуждалъ въ императрицѣ всякаго рода страхи и опасенія. „Безпрестанные недуги—говорить г. Васильчиковъ—проводя выгодную для Разумовскаго параллель между нимъ и Шуваловымъ—ослабили нервы императрицы: ей постоянно приходила на умъ первая ночь ея царствованія, и она опасалась, чтобы съ нею не поступили точно такъ, какъ нѣкогда поступила она сама съ несчастной Анной Леопольдовной. Этимъ настроеніемъ воспользовался гр. П. Шуваловъ. Онъ старался еще болѣе усилить боязнъ государыни, увѣрялъ ее, что она окружена тайными врагами, готовыми на всякое преступленіе, и наконецъ ему удалось вполне убѣдить больную и слабѣющую императрицу въ томъ, что одинъ онъ въ состояніи оградить ее отъ дѣйствія скрытыхъ враговъ. Въ этомъ состояла главная сила его при дворѣ. Безъ всякой подготовки къ дѣламъ государственнымъ, лишенный образованія и познаній, крайне самонадѣянный, Шуваловъ на самомъ дѣлѣ способенъ былъ только къ однимъ мелкимъ придворнымъ интригамъ; но, слишкомъ тщеславный и честолюбивый, онъ, не смотря на свою несостоятельность, стремился къ достиженію исключительнаго вліянія на дѣла и хотѣлъ стать во главѣ управленія. Не имѣя никакой опытности въ вопросахъ дипломатическихъ, незнакомый съ тайными пружинами европейскихъ кабинетовъ, никогда не бывшій на войнѣ и кое-какъ знавшій службу, онъ однако ни передъ чѣмъ не останавливался: брался и за составленіе новаго уложенія, и за финансовыя вопросы, и за управленіе политикой русскаго двора, и за выдумку гаубицъ, и за учрежденіе военнаго строя. Достигнувъ почти исключительнаго вліянія, онъ, еще недавно съ покорностью сгибающій спину подъ батогами всемогущаго Разумовскаго, сдѣлался теперь самымъ гордымъ временщикомъ двора Елизаветы. Даже многочисленные его кліенты, запрудившіе всѣ отрасли управленія, были надменности невыно-

симою... Падкій къ деньгамъ, Шуваловъ набивалъ свои карманы трудовой копѣйкой народа". Чтобы дѣйствовать на императрицу страхомъ, Шуваловъ имѣлъ вѣрнаго союзника въ братѣ своемъ, Александрѣ Ивановичѣ, который былъ въ то время начальникомъ страшной тайной канцеляріи; чтобы устранять отъ Ивана Шувалова всѣхъ соперниковъ по интимнымъ дѣламъ, онъ не останавливался передъ самыми гнусными средствами, изобрѣталъ ихъ вдвоемъ съ супругою, Маврою Егоровною, знаменитою наперсницею Елизаветы. Такъ, вдвоемъ, погубили они несчастнаго юношу Бекетова, виновнаго только въ томъ, что онъ, по своему благообразію, приглянулся императрицѣ и грозилъ замѣнить при дворѣ Ивана Ивановича Шувалова, который—хотя не всегда и не во всемъ—тянулъ однако сторону шуваловской партіи. Этотъ Бекетовъ любилъ литературу (не менѣе Ивана Ивановича Шувалова, извѣстнаго покровителя наукъ и искусствъ), самъ занимался ею вмѣстѣ съ другомъ своимъ Елагинимъ и однажды вздумалъ перелагать стихи свои на музыку. Пѣсни, имъ сочиняемыя, распѣвали у него молоденькіе придворные пѣвчіе. Нѣкоторыхъ изъ нихъ Бекетовъ полюбилъ за ихъ прекрасные голоса и гулялъ съ ними запросто по петергофскимъ садамъ. Шуваловы ухватились за это и поспѣшили истолковать прогулки Бекетова самымъ зазорнымъ образомъ. Но эта сплетня не погубила молодого любимца, и надобно было придумать что нибудь другое. Тогда Петръ Ивановичъ Шуваловъ искусно вкрался въ довѣренность неопытнаго юноши, выхвалялъ, какъ лисица въ баснѣ, красоту его, чрезвычайную бѣлизну лица и для сохранения всегдашней свѣжести кожи презентовалъ ему баночку съ притираниемъ. Довѣрчивый Бекетовъ, не медля, воспользовался чудотворной мастикой и... и карьера его была покончена. Притиранье оказалось дѣйствительнымъ, но не для сохранения бѣлизны лица, а для произведенія на немъ угрей и сыпи. Между тѣмъ графиня Мавра Егоровна не дремала: обративъ вниманіе кого слѣдуетъ на „зеркало души“ Бекетова, т. е. на его прыщеватое лицо, она объяснила перемѣну нѣкоторой секретной болѣзни и присовѣтовала удалить Бекетова отъ двора. Ударъ былъ вѣренъ: государыня переѣхала тотчасъ-же въ Царское Село и запретила слѣдовать за собою любимцу. Несчастный юноша, пораженный, какъ громомъ, этимъ запретомъ, заболѣлъ горячкой, которая чуть было не свела его въ могилу. Когда онъ оправился, его удалили отъ двора. Шуваловы восторжествовали... За всѣ эти качества и дѣянія, шуваловская партія успѣла нажить себѣ много недоброжелателей и, прежде всего, въ лицѣ великой кня-

гини Екатерины, которая на каждом шагу выказывала глубочайшее презрѣніе къ обоимъ братьямъ, отыскивала ихъ смѣшныя стороны и преслѣдовала сарказмами, распространявшимися мгновенно по всему городу (П т., стр. 481 и 517).

III.

Таковы были русскіе временщики XVIII-го столѣтія—и беззавѣтно роскошествующіе, и скрытно зложелательные.—Мы погрѣшили бы однако противъ исторической точности, еслибы стали утверждать, что подобный порядокъ дѣлъ считался всѣми безусловно-нормальнымъ, и что не было никакихъ попытокъ придать другое направленіе нашей государственной жизни. Нѣтъ! протестъ выражался по временамъ довольно открыто, какъ въ литературѣ, такъ и въ правительственныхъ сферахъ. Въ литературѣ онъ вызвалъ два направленія, существенно различныя одно отъ другаго. Представитель перваго направленія, князь Щербатовъ, нападалъ на современный ему порядокъ съ точки зрѣнія моралиста и защитника старины; сѣтуя объ упадкѣ нравственности въ русскихъ людяхъ, онъ радушно предлагалъ имъ образцы добродѣтели въ древней допетровской жизни. Но Россія того времени страдала не избыткомъ, а недостаткомъ европейскихъ идей, и помогать бѣдѣ надо было—не возвращеніемъ вспять, на старую брошенную колею, а быстрымъ прогрессивнымъ движеніемъ по вновь избранному пути. Наше сближеніе съ Европою началось не по прихоти Петра Великаго: оно было прямымъ слѣдствіемъ умственного превосходства нашихъ западныхъ сосѣдей, и стоило только прорвать искусственную плотину, отдѣлявшую насъ отъ цивилизованнаго міра, какъ патріархальный бытъ древней Руси сталъ разваливаться самъ собою, подъ давленіемъ новыхъ понятій, обычаевъ и учрежденій. Крутость Петра только ускоряла дѣло, неизбежное по самой своей сущности. Нѣтъ спора, что вмѣстѣ съ „плодами“ европейской цивилизаціи мы нахватывали столько же, если не больше, мусору и пустоцвѣту; не подлежитъ сомнѣнію, что многіе новые порядки не измѣняли, а лишь прикрывали приличнымъ жостюмомъ прежнія безобразія; но выйти изъ этого положенія можно было—не чураясь европейскихъ идей, а, напротивъ, внимательно присматриваясь къ нимъ и отдѣлая въ нихъ вредное отъ полезнаго, питательные элементы отъ ядовитыхъ примѣсей. Словомъ, чтобы избавиться отъ европейскихъ недуговъ,

необходимо было намъ самимъ сдѣлаться европейцами и принять сознательное участіе въ умственной жизни Запада. Защитникомъ европейской науки и европейскаго общежитія, въ лучшемъ значеніи этихъ словъ, является Александръ Николаевичъ Радищевъ, честная дѣятельность котораго еще такъ мало оцѣнена историками нашей литературы, что г. Галаховъ, напримѣръ, распространяясь на десятеѣ страницъ о Державинѣ, не считъ нужнымъ сказать о Радищевѣ ничего больше, кромѣ того, что онъ „пріобрѣлъ себѣ печальную извѣстность своей книгой: „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“. Радищевъ, также какъ и Щербатовъ, относился критически къ современному строю вещей; но онъ осуждалъ его не на основаніи старозавѣтныхъ понятій сомнительнаго достоинства, а на основаніи новыхъ, лучшихъ идей, добытыхъ западною наукой и болѣе развитой общественной жизнью. Съ невольнымъ удовольствіемъ останавливаешься на его „Житіи Ѳедора Васильевича Ушакова“, въ которомъ онъ знакомитъ насъ съ замѣчательной личностью своего друга и товарища по заграничному обученію, и при этомъ раскрываетъ свой собственный образъ мыслей, солидарный со взглядами Ушакова. Въ началѣ этого житія (II т. стр. 296—320) Радищевъ говоритъ: „нерѣдко въ изображеніяхъ умершаго найдешь черты въ живыхъ еще сущаго“. И дѣйствительно: біографія Ушакова есть столько же біографія самого Радищева, высказавшаго тутъ свои задушевнѣйшія убѣжденія и свои искреннія симпатіи. Біографическія свѣдѣнія о другѣ Радищева немногосложны. Ушаковъ служилъ сначала секретаремъ при Тепловѣ и могъ бы рассчитывать на выгодную карьеру, такъ какъ онъ пользовался довѣріемъ своего начальника и уже вкусилъ „обращеніе въ большое свѣтъ“ со всѣми его удобствами, а также съ его растлѣвающими вліяніями. Но служебные успѣхи не плѣняли его, и, бросивъ начатую карьеру, онъ поѣхалъ за границу учиться, на казенный счетъ, вмѣстѣ съ Радищевымъ, Кутузовымъ и др. Съ молодыми людьми отправились, для наблюденія за ними и для нравственнаго ихъ назиданія, два лица: нѣкто Бокумъ, ихъ наставникъ или „гофмейстеръ“, и инокъ Павелъ. Оба они не внушали къ себѣ никакого уваженія въ воспитанникахъ. Первый изъ нихъ, т. е. Бокумъ, обращался со взрослою молодежью, какъ со школьниками, дурно кормилъ ихъ и, наконецъ, такъ ожесточилъ противъ себя, что они въ Лейпцигѣ устроили ему домашнюю революцію. Объ умственныхъ способностяхъ Бокума и о томъ вліяніи, какое онъ могъ имѣть на воспитанниковъ,—даетъ полное понятіе слѣдующій анекдотъ. Пріѣхалъ въ Лейпцигъ русскій генераль-поручикъ

съ своимъ шуриномъ, гвардейскимъ офицеромъ, большимъ насмѣшникомъ, который любилъ выискивать глупцовъ и потѣшаться надъ ними. „Совершенно такого глупца—пишетъ Радищевъ—нашелъ онъ въ нашемъ гофмейстерѣ. Онъ, пользуясь пристрастіемъ его къ хвастовству, вывелъ его, по пословицѣ, на свѣжую воду. До того времени не вѣдали мы, что гофмейстеръ нашъ за похвалу себѣ вмѣнялъ прослыть богатыремъ.. Помянутый гвардіи офицеръ, подстрекая самолюбіе Бокума, довелъ его до того, что онъ, для доказательства своихъ тѣлесныхъ силъ, выпивалъ, по его приказаніямъ, разомъ по нѣскольку бутылокъ воды или пива, давалъ себя толкать многимъ лакеямъ вдругъ, упирался противъ ихъ усилія совлечь его съ мѣста, а симъ приказано было не жалѣть своихъ толчковъ. Онъ его заставлялъ ворочать всякія тяжести, подымать стулья, столы, платя ему за то, не умѣрая и не скрывая своего смѣха: „Ну, Бокумъ!“ Бокумъ доведенъ былъ до того, что согласился вытерпывать удары довольно сильнаго электрическаго орудія.“ Въ то время какъ Бокумъ занимался удачными опытами надъ своими тѣлесными силами, инокъ Павелъ съ меньшимъ успѣхомъ дѣйствовалъ на религиозныя чувства юношей. Найдя ихъ всѣхъ недостаточно твердыми въ религіи, онъ началъ ихъ исправленіе съ того, что заставлялъ пѣть при утреннихъ и вечернихъ молитвахъ. „Если вспомнить—говорить, по прошествіи многихъ лѣтъ, уже пожилой въ то время авторъ біографіи—сколь нестройный, несогласный и шумный у насъ былъ концертъ, то и теперь еще улыбнешься. Иной тянулъ очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной черезчуръ кудраво, и наконецъ устроенное на пріученіе ко благоговѣнію превратилось постепенно въ шутку и посмѣхалище.“ Кромѣ того, инокъ Павелъ былъ самъ чрезвычайно смѣшливъ и, чтобы не разсмѣяться во время богослуженія, онъ всегда совершалъ его съ зажмуренными глазами. Эта черта была живо подмѣчена и подала поводъ къ такой сценѣ: „Икона, передъ которой совершался нашъ молитвенный напѣвъ, стояла въ верху довольно пространнаго стола, на которомъ раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. М. У. (Михаилъ Ушаковъ) взялъ легонько одну изъ перчатокъ, на столѣ лежавшихъ, и, согнувъ персты ея образомъ смѣшнаго кукиша, положилъ оную возвышенно, прямо предъ поющаго нашего духовника. При дѣланіи поясныхъ поклоновъ, растворилъ онъ зажмуренные глаза свои—и первая представилась ему сложенная перчатка. Не могъ онъ воздержаться, захохоталъ громко, и мы всѣ за нимъ. Отецъ Павелъ, не привыкнувъ еще къ нашимъ проказамъ, обрѣталъ въ

нихъ болѣе, нежели простыя и юношескія шутки. Оборотясь, наименовалъ онъ насъ богоотступниками, непотребными и пр.; сдѣлавшаго же вину смѣха называлъ, не грамматикально, можетъ быть, мошенникомъ, да и того хуже. При первыхъ же словахъ, М. У., будучи же весьма вспыльчивъ, восколебался и столь же смѣшными дѣяніями, какъ сей неприличными словами, представили намъ позорище, какого ни на какомъ театрѣ за рубль купить не можно. М. У., схвативъ висящую на стѣнѣ шпагу и привѣсивъ ее къ бедрѣ своей, бодро приступилъ къ чернецу; показывая ему эфесъ съ темлякомъ, говорилъ ему, немного заикаясь отъ природы, „забылъ развѣ, батюшка, что я кирасирскій офицеръ“. Въ такомъ вкусѣ было продолженіе сего дѣйствія, которое для насъ кончилось смѣхомъ, для М. У. мнимой побѣдою, а для отца Павла отбитіемъ съ негодованіемъ въ свою комнату“. Бокумъ съ первой же встрѣчи возненавидѣлъ Федора Ушакова „за твердость мыслей и вольное оныхъ изреченіе“. Но Ушаковъ мало этимъ огорчился и скоро нашелъ себѣ другое утѣшеніе. Въ Европѣ шла въ это время горячая, талантливая борьба литературы съ общественными предразсудками и устарѣвшими политическими порядками. Ушаковъ увлекся ею, сталъ изучать корифеевъ этой литературы, и его философское развитіе пошло быстро. Онъ пишетъ большое сочиненіе о смертной казни, въ которомъ отвергаетъ ее рядомъ рациональныхъ доводовъ, задается серьезными психологическими вопросами: о происхожденіи душевныхъ способностей, о необходимости страстей, о добродѣтели, причѣмъ старается разрѣшать ихъ логическимъ путемъ, а не „велегласными словами метафизики“. Замѣчательно, что съ книгой Гельвеція «О разумѣ» его познакомилъ одинъ русскій сановникъ, который, въ бытность свою въ Лейпцигѣ, сблизился съ Ушаковымъ, проводилъ съ нимъ въ разговорахъ цѣлые вечера и даже общалъ ему свое покровительство. Вернувшись въ Петербургъ, этотъ „мечтанный покровитель учености“ однако одумался и не отвѣчалъ уже на письма своего заграничнаго друга. „Или ему низко было—размышляетъ Радищевъ—вступить въ переписку съ неравнымъ ему состояніемъ; или благодарить надлежитъ за то наукамъ, что, среди обиталища ихъ, различіе состояній нечувствительно и взоровъ природнаго равенства не тягчить, и для того въ Лейпцигѣ О. обходился съ Федоромъ Васильевичемъ, какъ съ равнымъ себѣ. И по истинѣ равенъ онъ былъ тебѣ, ирразная душа, силами разума, но далеко превышалъ тебя добротою сердца“. Ушакову не суждено было вернуться въ Россію (и, можетъ быть, къ его счастію, такъ какъ его легко могла бы

постигнуть участь Радищева): онъ умеръ за границей отъ тяжелой болѣзни, усиленной непрерывными трудами и умственнымъ напряженіемъ. Но и въ дверяхъ могилы онъ не потерялъ философскаго спокойствія духа и предупредилъ доктора: „не мни, что, возвѣщая мнѣ смерть, растревожишь меня безвременно“. Передъ смертью онъ обратился къ Радищеву съ этими простыми, но трогательными словами: „Прости теперь въ послѣдній разъ; помни, что я тебя любилъ; помни, что нужно въ жизни имѣть правило, чтобы быть блаженнымъ, и что должно быть твердо въ мысляхъ, чтобы умирать безтрепетно“. „Слезы и рыданіе—заканчиваетъ авторъ свой рассказъ—были ему въ отвѣтъ, но слова его громко раздались въ моей душѣ и неизгладимую чертою ознаменовались на памяти. Поживуть они всецѣло, докогда дыханіе въ груди моей не исчезнетъ, и не охладѣетъ въ жилахъ кровь. Дажь небо, да мысль присутственна мнѣ будетъ въ преддверіи гроба и да возмогу важное сынамъ моимъ оставить наслѣдіе—послѣднее завѣщаніе умирающаго вождя моей юности“. И Радищевъ доказалъ всю свою жизнь, что онъ не забылъ честнаго завѣщанія друга... «Житіе Ушакова» появилось въ печати, безъ имени автора, годомъ раньше извѣстнаго «Путешествія». Тонъ его нѣсколько сдержаннѣе послѣдняго сочиненія; но и здѣсь видно уже, сколько справедливой горечи накопѣло въ душѣ Радищева, и какъ вѣрно понималъ онъ болѣзнь стороны тогдашняго общества. „Чтобы быть употреблену съ похвалою въ дѣлахъ министерскихъ—замѣчаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ—надобенъ умъ, а честности мало. Коварство, пронырство, искусство выситъ и низитъ по обстоятельствамъ могутъ сдѣлать отличнаго министра, но добраго гражданина николи“. Переходя въ частности къ русскимъ начальникамъ, онъ говоритъ про нихъ: „каждый начальникъ мыслить, что, пользуясь удѣломъ власти безпредѣльной, онъ такой же властитель въ частномъ, какъ государь въ общемъ. И сіе столь справедливо, что нерѣдко правиломъ пріемлется, что противорѣчіе власти начальника есть оскорбленіе верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящихъ отечество гражданъ заключающая въ темницу и предающая ихъ смерти, тѣснящая духъ и разумъ, и на мѣстѣ величія водворяющая робость, рабство и замѣшательство, подъ личиною устройства и покоя“. Въ этому же сильному мѣсту авторъ дѣлаетъ еще слѣдующее примѣчаніе: „Съ вѣроятностью, корень сего правила о непрекословномъ повиновеніи найти можемъ въ воинскихъ законоположеніяхъ и въ смѣшеніи гражданскихъ чиновниковъ съ военными. Бѣлая часть у насъ начальниковъ, въ гражданскомъ званіи,

начали обращеніе свое въ службѣ отечеству съ военного состоянія и, привыкнувъ давать подчиненнымъ своимъ приказы, на которые возраженія не терпитъ воинское повиновеніе, вступаютъ въ гражданскую службу съ приобретенными въ военной мысли. Имъ кажется вездѣ строй; кричитъ въ судѣ: на караулъ! и опредѣленіе нерѣдко подписываетъ палкою". Не видя никакого выхода изъ этого заколдованнаго круга, Радищевъ успокоивался наконецъ на слѣдующемъ отдаленномъ соображеніи: „Человѣкъ много можетъ сносить непріятностей, удрученій и оскорбленій. Доказательствомъ сему служатъ всѣ единоначальства. Гладъ, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогаютъ. Не доводи его тою до крайности. Но сего-то притѣснители частные и общіе, по счастью человѣчества, не разумѣютъ и, простирая повсемѣстную тяготу,—предѣль оныя, на коемъ отчаяніе бодрственную возноситъ главу, зрятъ всегда въ отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человѣка мглою. Не вѣдаютъ мучители—и даждь Господи, да въ невѣдѣніи своемъ пребудутъ ослѣпленными навсегда!—не вѣдаютъ, что составляющее несносную печаль сему—другому не причиняетъ ниже единого скорбнаго мгновенія, да и наоборотъ: то, что въ одномъ сердцѣ ни малѣйшаго не произведетъ содроганія, во стѣ (т. е. сотнѣ) другихъ родитъ отчаяніе и изступленіе. Пробуди благое невѣдѣніе всецѣло, пробуди нерушимо до скончанія вѣка: въ тебѣ почилъ сохранность страждущаго общества“ (см. II т., стр. 308—309). Пугачевскій бунтъ могъ уже служить въ то время историческимъ подтвержденіемъ этой мысли объ отчаяніи и изступленіи, которыя, наконецъ, „возносятъ бодрственную главу“, служа единственнымъ признакомъ жизни въ „страждущемъ обществѣ“...

Въ государственной сферѣ было двѣ крупныхъ попытки измѣнить теченіе дѣлъ. Первая изъ нихъ вышла изъ среды вельможъ, окружавшихъ тронъ, и относится къ царствованію Анны Іоанновны. Свѣдѣнія о ней мы находимъ въ „Письмахъ о Россіи¹⁾ дукъ де-Лиріи“, испанскаго посланника, прибывшаго въ Петер-

¹⁾ Существуютъ еще Записки дукъ Лирійскаго, которыя были переведены въ 1845 г., съ французскаго языка, г. Языковымъ. Но этотъ переводъ неполонъ; кромѣ того, французскія записки дукъ, написанныя послѣ, представляютъ многія обстоятельства въ сглаженномъ видѣ, тогда какъ въ своихъ депешахъ и письмахъ (на испанскомъ языкѣ) онъ записываетъ ихъ по свѣжимъ впечатлѣніямъ, но только что полученнымъ извѣстіямъ. Переводъ этихъ писемъ принадлежит г. Кустодіеву.

бургъ при Петрѣ II, отъ имени короля Филиппа V (см. II и III томы „Осьмнадцатаго вѣка“).

Дукъ де-Лирія попалъ въ Россію по чистому недоразумѣнію и, во все время своего посольства, плакался на свою судьбу, на русскій морозъ, истребившій у него запасъ токайскаго вина, на русскихъ варваровъ, „хитрыхъ и лукавыхъ“, какъ никто въ мірѣ, и, наконецъ, на испанское казначейство, которое съ такою акуратностью высылало ему свои платежи, что бѣдный посланникъ принужденъ былъ отдать въ закладъ даже свой орденъ Золотого Руна. Недоразумѣніе, привлечшее дукъ съ гостепріимнаго юга на суровый сѣверъ, состояло въ томъ, что Филиппъ V, заключивъ союзъ съ Австріей противъ Англіи, надѣялся, на случай войны, воспользоваться русскими кораблями и ими сокрушить морское могущество англичанъ. Надежда эта, сама по себѣ призрачная, потому что русскій флотъ вовсе не былъ въ состояніи выдержать борьбу съ англійскимъ, парализировалась совершенно тѣмъ обстоятельствомъ, что, во время посланничества дукъ, политическія отношенія радикально перемѣнились, и Англія сдѣлалась изъ враговъ союзницей Испаніи. Кромѣ того, при Петрѣ II, русскій дворъ выражалъ намѣреніе навсегда остаться въ Москвѣ, а тогда—говоритъ самъ дукъ де-Лирія—„я не далъ бы и четырехъ плевковъ за его союзъ, и пускай его себѣ возится съ персами и татарами: вѣдь государствамъ Европы тогда онъ не можетъ сдѣлать ни добра, ни зла“. Но если путешествіе дукъ не принесло пользы его странѣ, то въ его письмахъ и депешахъ къ испанскому правительству сохранилось зато много интересныхъ фактовъ о положеніи дѣлъ въ Россіи и объ отношеніи придворныхъ партій въ царствованіе Петра II и въ началѣ царствованія Анны Іоанновны. Положеніе партій при Петрѣ II дукъ де-Лирія представляетъ въ слѣдующихъ чертахъ: „Чтобы лучше понять настоящее положеніе здѣшняго двора, нужно знать, что здѣсь существуютъ двѣ партіи. Первая—царская, къ которой принадлежать всѣ тѣ русскіе, которые желаютъ выгнать отсюда всѣхъ иностранцевъ. Она подраздѣляется на двѣ: одну составляютъ Голицыны, другую—Долгорукіе. Вторая партія есть партія великой княжны, царской сестры, и къ ней принадлежать: баронъ Остерманъ, графъ Левенвольдъ и всѣ иностранцы. Цѣль послѣдней партіи состоитъ въ томъ, чтобы поддержать себя противъ русскихъ милостію и покровительствомъ великой княжны (Натали Алексѣвны), которую царь пока весьма много уважаетъ. Левенвольда ненавидятъ не только русскіе, но и всѣ честные люди.. Но больше всѣхъ царь довѣряетъ принцессѣ Елизаветѣ, своей теткѣ, которая отли

чается необыкновенною красотою; я думаю, что его расположеніе къ ней имѣетъ весь характеръ любви. Впрочемъ, она ведетъ себя благоразумно и осторожно; она уважаетъ Остермана и живетъ съ нимъ въ согласіи. Его величество также любитъ молодого князя Долгорукаго, который, какъ молодой человѣкъ, угождаетъ ему во всемъ. Принцесса Елазавета, такимъ образомъ, нѣсколько отстраняется отъ царя, и нѣтъ сомнѣнія, если Долгорукій сдѣлается полнымъ фаворитомъ, принцессѣ и Остерману грозитъ гибель. Дѣлаютъ все возможное, чтобы отстранить этого Долгорукаго (Ивана Алексѣевича), но пока безъ успѣха. Онъ—сынъ князя Долгорукаго, втораго воспитателя царя, служить камергеромъ и пользуется такою довѣренностью, что не оставляетъ царя ни на минуту, даже спитъ съ нимъ въ одной комнатѣ. Отецъ его, въ свою очередь, старается доставить царю разныя удовольствія. Они удалили бы уже Остермана, еслибы русскіе вельможи были между собою въ согласіи. Голицыны и Долгорукіе—первые и сильнѣйшіе изъ всѣхъ русскихъ бояръ; но съ нѣкотораго времени они во враждѣ между собою: если одна сторона указываетъ для какаго нибудь важнаго поста одного изъ своихъ друзей, другая никакъ не хочетъ уступить.“ Въ другихъ депешахъ онъ дѣлаетъ характеристику всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Наибольшую симпатію высказываетъ онъ къ великой княжнѣ Натальѣ Алексѣевнѣ, вѣроятно, въ благодарность за ту поддержку, которую находили въ ней иностранцы. „Доброжелательность, умъ, благородство, разсудительность, любовь къ иностранцамъ“—вотъ ея отличительныя качества. Всего рѣзче отзывается онъ о принцессѣ Елизаветѣ, хотя впоследствии, разойдясь съ Остерманомъ, значительно смягчаетъ о ней свои отзывы. Характеръ Елизаветы, по его мнѣнію, совершенно противоположенъ характеру великой княжны Натальи. „Красота ея физическая—говоритъ онъ—это чудо (magavilla), грація ея неописанна, но она лжива, безнравственна и крайне честолюбива. Еще при жизни своей матери она хотѣла быть преемницей престола предпочтительно предъ настоящимъ царемъ, но какъ божественная правда не восхотѣла этого, то она задумала взойти на тронъ, выйдя замужъ за своего племянника; но и этого не могла добиться, во-первыхъ, потому, что своимъ дурнымъ поведеніемъ она потеряла благоволеніе царя. Послѣ всего этого, теперь она живетъ, скрывая свои мысли, заискивая у всѣхъ вообще, а особенно у старыхъ русскихъ, которые чувствуютъ себя оскорбленными въ своихъ обычаяхъ“. Успѣхи Голицыныхъ при дворѣ тревожатъ даже еще больше, чѣмъ вліяніе красоты Елизаветы; онъ думаетъ,

что если эта фамилія войдетъ окончательно въ милость у царя, то въ правительствѣ произойдетъ совершенная революція, и „всѣ иностранцы должны считать себя погибшими, потому что Голицыны всѣ вообще ненавидятъ ихъ“. Но значеніе Голицыныхъ предвидится только въ перспективѣ; въ настоящемъ же растетъ чрезмѣрная власть дома Долгорукихъ, которые „управляютъ всѣмъ и съ крайнимъ произволомъ“. Говоря порознь о князьяхъ Долгорукихъ, дукъ де-Лирія относится довольно снисходительно къ самому фавориту и признаетъ въ немъ даже умъ и „отвращеніе къ придворнымъ интригамъ“. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сообщаетъ, что въ приближенномъ семействѣ нѣтъ внутренняго согласія, такъ что отецъ фаворита завидуетъ успѣхамъ сына, а родная сестра его, нареченная невѣста Петра, „ненавидитъ брата и поклялась погубить его“. Къ этимъ извѣстіямъ, которыя могли бы показаться странными и невѣроятными, дукъ де-Лирія прибавляетъ, что въ Россіи „никто не хочетъ знать никакого закона: каждый добивается своей цѣли, а для достиженія ея пожертвуетъ отцомъ, матерью, дѣтьми, родными и друзьями“ (Т. II., стр. 157). Объ Остерманѣ, стоявшемъ во главѣ иностранной партіи, де-Лирія говоритъ, какъ о самомъ способномъ и опытномъ русскомъ министрѣ, хотя, въ откровенныя минуты, и замѣчаетъ, что это—человѣкъ безъ религіи и правилъ. Изъ всѣхъ этихъ данныхъ возникла и развивалась придворная борьба, подъ перекрестнымъ огнемъ которой пришлось стоять испанскому посланнику, сондируя тамъ и сямъ, обращаясь то къ тому, то къ другому, и попадая ежеминутно, по его выраженію, „на подводные камни“. Русская партія, въ которой многіе члены желали восстановленія допетровской старины, включая сюда и патріаршество, переселила царя въ Москву, чтобы удобнѣе окружить его тамъ соответствующими вліяніями; иностранцы же, въ томъ числѣ и де-Лирія, усиливались возвратить его въ Петербургъ, гдѣ самая почва подсказывала другія мысли и направляла иначе политику. Работая въ пользу своей цѣли, послѣдніе не затрудняются даже подлогомъ, и дукъ де-Лирія, вдвоемъ съ австрійскимъ посланникомъ, графомъ Вратиславскимъ, преспокойно дѣлаютъ къ письму принца Евгенія приписку собственнаго сочиненія, въ которой говорится, что австрійскій цезарь проситъ настойчиво хлопотать о возвращеніи двора въ Петербургъ (стр. 125). Самъ царь сначала высказывается протівъ жизни въ Москвѣ, гдѣ ему докучаютъ наставленіями и постоянной опекой (стр. 45); но мало по малу онъ такъ подчиняется Долгорукимъ, преимущественно отцу фаворита, князю Алексѣю, что толки о Петербургѣ стихаютъ, и наконецъ де-Лирія

долженъ признаться самому себѣ, что „надежда на возвращеніе въ Петербургъ исчезла совершенно, и нѣтъ никакихъ способовъ убѣдить тѣхъ, которые бы своимъ вліяніемъ могли подѣйствовать на предпріятіе этого путешествія». Это случилось вскорѣ по смерти великой княжны, покровительницы иностранцевъ. Овладевъ царемъ, Долгорукіе удалили отъ него Елизавету, къ которой присватался было, но безуспѣшно, князь Иванъ. Вслѣдъ затѣмъ, отецъ фаворита сталъ подготавливать женитьбу царя на княжнѣ Долгорукой, и успѣлъ бы въ этомъ, еслибы замыслы его не прервала смерть Петра, здоровьемъ котораго слишкомъ неосторожно рисковалъ увлекшійся временщикъ. Въ этотъ періодъ жизни Петра, несчастный мальчикъ - государь, каждое утро, едва одѣвшись, садился въ сани и ѣхалъ въ подмосковную съ княземъ Алексѣемъ Долгорукимъ, который изобрѣталъ для него все новыя и новыя потѣхи, не желая выпускать изъ своихъ рукъ и удаляя по возможности отъ Елизаветы и Остермана. Фаворитъ не одобрялъ дѣйствій отца, но по слабости характера не рѣшался противостать имъ. Государственные дѣла, всѣми заброшенные, приходили окончательно въ упадокъ. „Что касается дѣйствіаго управленія—пишетъ дукъ де-Лирія—все идетъ дурно: царь не занимается дѣлами, да и не думаетъ заниматься; денегъ никому не платятъ, и Богъ знаетъ, до чего дойдутъ финансы его царскаго величества; каждый воруетъ, сколько можетъ. Всѣ члены верховнаго совѣта нездоровы, и потому этотъ трибуналъ, душа дѣйствіаго управленія, вовсе не собирается. Всѣ подчиненныя вѣдомства тоже остановили свои дѣла. Жалобъ бездна; каждый дѣлаетъ то, что ему набредетъ на умъ“. Наконецъ, совершилось обрученіе царя съ нелюбимою имъ невѣстою. При этомъ приняты были всѣ мѣры на случай безпорядка или сопротивленія недовольныхъ: цѣлый батальонъ гвардіи (въ 1,200 человекъ) держалъ караулъ во дворцѣ; сто гренадеръ, подъ командою фаворита, вошли въ залу, гдѣ производилась церемонія, съ заряженными ружьями. Счастье было „такъ близко, такъ возможно“. Но вдругъ, чрезъ полтора мѣсяца, Петръ умираетъ, не вступивши въ законный бракъ, къ ужасу Долгорукихъ, на половину породнившихся съ нимъ. Надлежало замѣстить вакантный престолъ—и тогда-то зародилась въ нѣкоторыхъ умахъ мысль о политической реформѣ, упомянутая нами. Прежде всего на виду стояли: сынъ герцога Голштинскаго, —имѣвшій наибольшее право на престолъ, еслибы онъ переходилъ легальнымъ порядкомъ,—и принцесса Елизавета, у которой уже въ то время были свои сторонники. Дукъ де-Лирія упоминаетъ также, въ

числѣ кандидатовъ на тронъ, царицу-бабку Петра и княжну Долгорукую, невѣсту покойнаго царя. Но случилось то, чего онъ вовсе не ожидалъ, а именно: на престолъ была призвана Анна Іоанновна, дочь номинально царствовавшаго Іоанна Алексѣевича, никогда и не мечтавшая о русской коронѣ. Что за странный поворотъ дѣла, и какъ объяснить его? Многіе наши историки, повѣствовавшіе объ этомъ событіи, объясняютъ его не больше, какъ коварствомъ царедворцевъ, которые добивались своихъ личныхъ выгодъ, и потому предложили тронъ герцогинѣ Курляндской, ограничивъ предварительно ея власть. Безъ сомнѣнія, личныя выгоды, болѣе или менѣе широко понимаемыя, руководятъ всѣми дѣйствіями смертныхъ, но однимъ указаніемъ на нихъ врядъ ли исчерпывается смыслъ какого бы то ни было политическаго событія. Можно думать, что и Анна Іоанновна, разрывая подписанныя ею пункты, также не забывала своихъ личныхъ интересовъ; слѣдовательно, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мотивъ дѣйствія будетъ совершенно одинаковъ. Но отъ этой общей побудительной причины перейдемъ къ дальнѣйшимъ соображеніямъ. Насколько члены верховнаго совѣта, ограничивая власть избираемой ими государыни, имѣли въ виду интересы страны, или, пожалуй, насколько государственные интересы совпадали съ ихъ личными выгодами? Пересмотрѣвъ внимательно всѣ документы, относящіеся къ этому дѣлу, мы не рѣшимся сказать, чтобы государственные интересы тутъ совершенно отсутствовали, и чтобы реформаторы руководились исключительно своими личными расчетами. Они, правда, понимали эти интересы слишкомъ узко и хотѣли ограничить представительство однимъ сословіемъ, то есть сравнительно ничтожнымъ кружкомъ народа; но въ то время, въ цѣлой Европѣ, народныя массы нигдѣ не призывались еще къ политической жизни, и, такимъ образомъ, грѣхъ нашихъ верховниковъ имѣть за себя, по крайней мѣрѣ, *circonstances atténuantes*. Говорятъ еще, что верховники, избирая на извѣстныхъ условіяхъ Анну Іоанновну, желали уничтожить Петровы преобразованія и отодвинуть Россію ко временамъ Гостомысла; но и это предположеніе падаетъ само собою, въ виду того, что съ такою цѣлью сообразнѣе было бы—возвести на престолъ бабу Петра II-го, которую дукъ де-Лирія упоминаетъ въ числѣ претендентокъ. Люди, распоряжавшіеся трономъ, могли сдѣлать это также свободно, какъ и предлагая корону герцогинѣ Курляндской. Но дѣло въ томъ, что партія тупыхъ и невѣжественныхъ ретроградовъ была не причемъ въ моментъ избранія Анны. Кредитъ Ивана и Алексѣя Долгорукихъ упалъ сейчасъ же по смерти царя (этимъ об-

ясняется и падение кандидатуры царской невесты), и главным дѣтелемъ въ сношеніяхъ съ Анною Іоанновною становится князь Василій Лукичъ Долгорукій, бывшій русскимъ посланникомъ въ Швецію, Польшу, Даніи и Франціи—человѣкъ безспорно умный и образованный. Пребываніе въ этихъ странахъ (стр. 62), вѣроятно, внушило ему тѣ новыя понятія о государственной власти, которыя онъ вознамѣрился приложить къ своему отечеству; а потому нельзя и допустить, чтобы онъ, достигнувъ успѣха, оправдалъ опасенія де-Лиріи и сталъ безъ толку „выгонять всѣхъ иностранцевъ“ изъ Россіи. Вѣришь, что онъ своимъ вліяніемъ удержалъ бы отъ такой затѣи своихъ родичей и союзниковъ, еслибы она пришла имъ въ голову. Поочистить же Россію отъ нѣкоторыхъ продажныхъ авантюристовъ, дѣйствительно, не мѣшало... По депешамъ дука де-Лиріи можно прослѣдить весь краткій періодъ преобразовательныхъ стремленій того времени. „Во-первыхъ, хотятъ—писать дуку въ депешѣ отъ 31-го января нов. ст. 1730 г.—чтобы она (герцогиня Курляндская) не выходила замужъ, во-вторыхъ, чтобы ея руководствовалъ совѣтъ, назначаемый націей. (Въ глазахъ дука, какъ и всѣхъ политическихъ людей его времени, одинъ только высшій классъ слылъ подъ именемъ націи.) Идея та, чтобы считать царицу лицомъ, которому они отдають корону какъ бы на храненіе, чтобы въ продолженіе ея жизни составить свой планъ управленія на будущее время. Они имѣють три идеи объ управленіи, въ которыхъ еще не согласились: первая—слѣдовать примѣру Англіи, въ которой король ничего не можетъ дѣлать безъ парламента. Вторая—взять примѣръ съ управленія Польши, имѣя выборнаго монарха, котораго бы руки были связаны республикой. И третья—учредить республику во всей формѣ, безъ монарха. Какой изъ этихъ трехъ идей они будутъ слѣдовать—еще неизвѣстно“ (стр. 30, III т.). Далѣе, въ депешѣ отъ 6-го февраля того же года, дуку сообщаетъ: „Планъ управленія, которое хотятъ установить здѣсь, отнимаетъ у ея царскаго величества всякую власть. Она не будетъ имѣть никакой власти надъ войскомъ, которымъ будутъ распоряжаться фельдмаршалы, давая во всемъ отчетъ верховному совѣту, и царица будетъ имѣть въ своемъ распоряженіи только ту гвардію, которая будетъ на дѣйствительной службѣ во дворцѣ; она не будетъ имѣть ни одного слуги, который бы по формѣ не былъ утвержденъ верховнымъ совѣтомъ. Послѣдній будетъ составленъ изъ 12 членовъ, и всѣ дѣла будутъ восходить къ этому трибуналу. Сенатъ будетъ составленъ изъ 30 лицъ, и онъ будетъ заниматься дѣлами судебными. Кромѣ этихъ двухъ трибуналовъ, будетъ еще одинъ, изъ

200 лицъ мелкаго дворянства, въ родѣ нижней палаты“. Затѣмъ (15-го февраля), верховный совѣтъ пригласилъ высшее дворянство — „содѣйствовать наибольшимъ пользамъ имперіи и представить свои идеи“. Дворяне не замедлили воспользоваться благимъ предложеніемъ, и проекты посыпались одинъ за другимъ. Князь Черкасскій выставилъ свои „артикулы“, по которымъ число членовъ верховнаго совѣта увеличивалось до 21-го; члены совѣта и сената должны были выбираться генералами и дворянствомъ по большинству голосовъ, и притомъ такъ, чтобы „изъ каждой фамиліи могъ быть выбранъ только одинъ“ (пунктъ, направленный противъ родственной стачки въ правительствѣ); законы должны быть обсуждаемы въ совѣтѣ и сенатѣ при участіи генералитета и дворянства (не намекъ ли это на особую нижнюю палату изъ мелкихъ дворянъ, о которой говорится выше?). Кромѣ того, въ проектъ Черкасскаго внесены нѣкоторыя льготы для всѣхъ сословій: такъ, на примѣръ, дворянство освобождалось отъ обязательной службы, духовенство и купечество — отъ постоя солдатъ, а крестьянамъ „возможно облегчались налоги“. За проектомъ Черкасскаго появилось еще два — генерала Матюшкина и князя Куракина, которыхъ содержаніе неизвѣстно; но кажется, что эти проекты направлялись гласнымъ образомъ противъ сильной власти, захваченной верховнымъ совѣтомъ. Члены совѣта увидѣли, что нужно сдѣлать нѣкоторыя уступки, — и сдѣлали ихъ (см. статью „Русск. генералитетъ“, стр. 174). По этому поводу дукъ де-Лирія писалъ отъ 20-го февраля нов. стиля: „Теперь всѣ заняты составленіемъ проектовъ, но еще не остановились ни на одномъ, и эти господа магнаты такъ раздѣлены между собою, что невозможно сказать что нибудь положительное объ ихъ системѣ. Повидимому, съ пріѣздомъ царицы примутъ какое нибудь рѣшеніе, но какое — угадать трудно. Я могу легко обмануться; но мнѣ кажется, что теперь не согласятся между собою тѣ, которые думаютъ переменить форму правленія, и что мы увидимъ царицу такую же неограниченную, какими были ея предшественники; но въ продолженіе ея царствованія они будутъ образовывать и совершенствовать свою систему, чтобы установить ее послѣ ея смерти“. Дукъ де-Лирія ошибся только въ послѣднемъ: въ царствованіе Анны Іоанновны, которое было, собственно говоря, царствованіемъ Бирона и его елевретовъ, не произошло никакихъ измѣненій и усовершенствованій въ правительственной системѣ... Теперь посмотримъ, что дѣлалось на противоположной сторонѣ. Въ Митавѣ Анна Іоанновна покорно подписала пункты, предложенные ей верховнымъ совѣтомъ. Пункты

эти гласили слѣдующее: „1) Она во всемъ руководится мнѣніемъ верховнаго совѣта. 2) Не будетъ предпринимать никакой войны. 3) Не можетъ заключать никакого мира. 4) Не можетъ налагать никакого налога. 5) Не можетъ предоставлять никакой значительной должности. 6) Не можетъ объявлять ни сентенціи, и никакого наказанія кому либо изъ дворянства безъ формальнаго процесса. 7) Не можетъ конфисковать имущества ни одного дворянина, по крайней мѣрѣ, если это не будетъ вызвано какимъ нибудь важнымъ преступленіемъ. 8) Не можетъ отчуждать ни имущества, ни земли, принадлежащихъ коронѣ“. Нельзя, конечно, сказать, чтобы эти пункты были направлены противъ злоупотреблений не существующихъ: всѣ знали, сколько послѣдовало казней и ссылокъ, не мотивированныхъ никакимъ опредѣленнымъ преступленіемъ; всѣ помнили хорошо, сколько казеннаго имущества раздарено фаворитамъ. Но вотъ въ Митаву же приходитъ къ Аннѣ секретное письмо отъ Ягужинскаго, въ которомъ этотъ генералъ пишетъ, чтобы она ни въ какомъ случаѣ не принимала предлагаемыхъ ей условий, что ея выборъ былъ единодушенъ (но гдѣ? въ верховномъ же совѣтѣ?) что пусть только она обнаружитъ твердость и скорѣе пріѣдетъ въ Москву, а ужъ онъ и его приверженцы станутъ на ея сторону. Покуда новая императрица была въ Митавѣ, ей неудобно было ссориться съ верховнымъ совѣтомъ, и письмо Ягужинскаго, быть можетъ, „по причинѣ измѣны самой царицы“ (какъ предполагаетъ де-Лиріа) попало въ руки Василя Долгорукаго, присланнаго отъ имени совѣта; авторъ же посланія арестованъ и посаженъ въ кремль. Но обстоятельства скоро склонились въ пользу Анны. Въ то время какъ генералитетъ и дворянство, не привыкшіе къ самостоятельной политической жизни, сочиняли проекты и контръ-проекты, не умѣя остановиться ни на одномъ опредѣленномъ рѣшеніи— „офицеры гвардіи (отданные подъ начальство верховнаго совѣта) открыто говорили, что они-де желаютъ лучше быть рабами одного монарха, чѣмъ покоряться столькимъ главамъ, тиранія которыхъ будетъ невыносима“ (т. III, стр. 36). Съ пріѣздомъ государыни въ Москву, это движеніе усилилось въ чаяніи близкихъ наградъ, и дѣло кончилось тѣмъ, что генералъ Салтыковъ, родственникъ императрицы, провозгласилъ ее, во главѣ гвардіи, неограниченной государыней. Генералитетъ и дворянство смалодушествовали при этомъ самымъ постыднымъ образомъ, сваливъ всю вину на умѣйшаго изъ своей среды, Василя Долгорукаго, который и былъ объявленъ „измѣнникомъ и предателемъ“. Впрочемъ, многіе вельможи, еще до развязки всей этой исторіи, когда нельзя было

навѣрное предсказать конецъ, поступали чрезвычайно умно и находчиво: такъ, на примѣръ, генералъ Колтовской, графъ Ѳ. Апраксинъ, князь И. Трубецкой подписывались съ одинаковымъ удовольствіемъ и подъ жалобами на верховниковъ, и подъ отвѣтами на эти жалобы. Иные подписывались сами подъ отказомъ верховнаго совѣта, а сыновей заставляли писать протестъ, уподобляясь той богомольной старушкѣ, которая ставила разомъ двѣ свѣчи—и Богу, и сатанѣ. „Неизвѣстно еще, гдѣ придется быть“, говорила предусмотрительная старушка. Но исторія наказала таки вѣроломную толпу: 9-го мая (новаго стиля) 1730 г. Биронъ былъ сдѣланъ оберъ-камергеромъ двора, а затѣмъ начались и всѣ ужасы бироновщины. Февральскія и мартовскія событія пошли въ прокъ: они показали, что съ такими людьми, дѣйствительно, нечего церемониться...

IV.

Другая, еще болѣе замѣчательная, попытка реформировать нашъ государственный строй и влить въ него новыя, свѣжіе соки — произведена самою представительницею верховной власти, Екатериной II. Мы говоримъ о знаменитомъ „Наказѣ“ и о созваніи выборныхъ депутатовъ для составленія новаго уложенія. Время, въ которое жила императрица Екатерина, сильно отличается отъ глухой поры Аннинскаго царствованія. Это было время, когда философскія идеи, выработанныя новымъ направленіемъ умовъ, начали уже переходить изъ теоріи въ практику, осуществляясь вначалѣ руками самихъ привилегированныхъ сословій, противъ которыхъ онѣ были направлены; когда сильные государи записывались въ ряды философовъ, выставляя на своемъ политическомъ знамени: освобожденіе отъ предрасудковъ, ограниченіе власти духовенства, религіозную терпимость, развитіе просвѣщенія въ народѣ, смягченіе наказаній, равенство передъ закономъ, и проч. и проч.; когда либерализмъ мысли считался обязательнымъ для каждаго просвѣщеннаго человѣка, переходя нерѣдко въ *sensiblerie déclamatoire* — особенную болѣзнь вѣка. Еще въ дѣтствѣ Екатерины, когда она жила съ своею матерью въ Гамбургѣ, графъ Гилленбургъ замѣчалъ у нея „философское расположеніе ума“; познѣ эта умственная пытливость развилась въ ней окончательно подъ вліяніемъ чтенія Бейля, Монтескье, Вольтера и всѣхъ энциклопедистовъ. Въ религіозныхъ вопросахъ она держалась просвѣщенной вѣротерпимости, въ сферѣ правовыхъ отношеній отстаива

равенство передъ закономъ и возможно полную свободу личности, а свои политическія симпатіи опредѣляла (уже въ 1789 году) такимъ рѣшительнымъ образомъ: „Я уважала философію—пишетъ она доктору Циммерману—потому что въ душѣ моей была всегда отиѣнной республиканкой. Признаюсь, что такое расположеніе души моей покажется, можетъ быть, чуднымъ противорѣчіемъ съ моей неограниченной властью, однакожъ въ Россіи никто не скажетъ, чтобы я власть свою во зло употребляла“. Взойдя на престолъ, она заводитъ прямыя сношенія съ французскими писателями, предлагаетъ имъ перевести въ Петербургъ изданіе „Энциклопедіи“, гонимой духовенствомъ, гордится похвалами Вольтера, приглашаетъ къ себѣ Дидро (о Дидро см. статью въ I т. „Осьмнадц. вѣка“) и, какъ покорная ученица, выслушиваетъ его пламенные, краснорѣчивыя бесѣды,—про себя соображая, впрочемъ, что смѣлыя теоріи философа удобнѣе выражаются въ салонѣ, чѣмъ проводятся въ политической жизни. Словомъ, она—философски образованная женщина, и огромною властью своею пользуется, въ самомъ дѣлѣ, умѣренно, чѣмъ вызываетъ уже слишкомъ неумѣренныя похвалы отечественныхъ бардовъ. Но личной кротости и воздержанія отъ злоупотребленій еще недостаточно для управленія государствомъ; нужно знать, прежде всего, потребности народа и слышать непосредственно голосъ имъ избранныхъ представителей. Законы должны возникать изъ жизни народа и контролироваться народною волею. Чтобы исполнить эту существенную обязанность правительницы, Екатерина созываетъ комисію изъ народныхъ представителей, пишетъ для нея свой человеколюбивый „Наказъ“ и, являясь инкогнито въ засѣданія комисіи, съ удовольствіемъ прислушивается къ свободно-сдержанному говору свободныхъ людей. При выборѣ депутатовъ, сами правительственные лица совѣтуютъ выбирать не знатныхъ, а людей, знающихъ нужды народа. Право выбора дается по очень невысокому цензу, что рѣзко отличаетъ Екатерининскую мѣру отъ конституціонно-аристократическихъ попытокъ князя Долгорукаго. Всѣ депутаты остаются довольны мудрыми словами „Наказа“ и безтрепетно высказываютъ свои предложенія; а маршалъ Библиковъ, съ достоинствомъ, какъ настоящій президентъ парламента, руководить преніями собранія. (Всѣ эти пренія напечатаны въ IV томѣ „Сборника Русс. Истор. Общества“, изданія, представляющаго большой интересъ для науки.) Но есть, однако, и недовольные комисіей. Лифляндскіе и эстляндскіе депутаты, боясь за ненарушимость своихъ „привилегій“, желаютъ устроить себя отъ засѣданій комисіи. Тогда Екатерина пишетъ громовое письмо въ князю Вяземскому: „Велите, кому вы заблагоразсудите, подать

голосъ, составленный изъ слѣдующихъ мотивовъ. Что онъ (то есть будущій авторъ „голоса“) съ великимъ удивленіемъ услышалъ торжественное предохраненіе (устраненіе) господъ лифляндскихъ депутатовъ, для того, что, какъ бы то ни были совершенны ихъ узаконенія теперешнія,—не выведены изъ такихъ человѣколюбивыхъ правилъ, какъ въ „Наказѣ“ ея величества предписано для составленія законовъ... Если же противу комисіи они торжественно предохранились, то онъ почитаетъ, что въ томъ они протестовали сами противъ себя: ибо, бывъ наряду со всѣми депутатами во всѣхъ частныхъ комисіяхъ, они сочиняють проекты. Если же въ сихъ проектахъ они не внесли части себѣ приличныя и коими они сами недовольны быть могутъ, какъ въ томъ ихъ присяга обязала, и потомъ протестуютъ, то неизвѣстно по какой причинѣ. Чтобъ же лифляндскіе законы лучше были, нежели наши будутъ, тому статья нельзя; ибо наши правила само человѣколюбіе писало, а они правилъ показывать не могутъ, и, сверхъ того, иныя ихъ узаконенія наполнены невѣжествами и варварствами. Итакъ, предохраняя себя, торжественно они просятъ: мы хотимъ, чтобы насъ смертію казнили, мы просимъ пытокъ, мы просимъ, чтобы отъ непрерывной ябеды наши суды никогда не были окончены; мы торжественно предохраняемъ противорѣчія и темноты нашихъ узаконеній“ (т. III, стр. 388—89). Вотъ какъ высоко ставила, въ то время, Екатерина гуманныя правила своего „Наказа“ и какъ презрительно относилась она къ тупому противодѣйствію злонамѣренности или невѣжства. „Кто жъ велѣлъ вамъ—говоритъ она нѣмецкимъ „піонерамъ цивилизаціи“, жадно ухватившимся за свой средневѣковый хламъ,—не принимать участія въ работахъ комисіи и не вносить „частей себѣ приличныхъ?“ Мы посмотрѣли бы, чьи проекты и мнѣнія разумнѣй и полезнѣй для общества“. Она не сомнѣвается, что русскіе законы выйдутъ лучше тѣхъ, которые въ оны дни диктовались варварствомъ и невѣжествомъ. И нужно сказать правду: мнѣнія въ комисіи подавались совершенно непринужденно, и депутаты коснулись почти всѣхъ важнѣйшихъ вопросовъ государственнаго управленія. Крѣпостное право, котораго заразительное вліяніе проникло во всѣ поры русской жизни, подвергалось осужденію въ комисіи, и Екатерина сочувствовала этимъ, изрѣдка вырывавшимся, справедливымъ приговорамъ. Извѣстны также ея саркастическіе отвѣты Сумарокову, вздумавшему вступить за безчеловѣчное право. Много лѣтъ спустя, въ письмѣ, которое

г. Бартеневъ относитъ къ 1775 г., Екатерина, коснувшись одного нелѣпаго сенатскаго указа, пишетъ слѣдующее: „Я всячески различить стараюсь преступленія и наказанія, а сенатъ конфондируетъ (смѣшиваетъ) убійство съ необороной хозяина и хочетъ, чтобы смертоубійцы сравнены были съ необоронителями; но великая разниа между убіеніемъ, знаніемъ о убіеніи и препятствіемъ или не препятствіемъ убіенію. Пророчествовать можно, что если за жизнь одного помѣщика въ отвѣтъ и въ наказаніе будутъ истреблять цѣлыя деревни, то бунтъ всѣхъ крѣпостныхъ крестьянъ воспослѣдуетъ. Положеніе помѣщичьихъ крестьянъ таково критическое, что, окромѣ тишины и человѣколюбивыми учрежденіями, ничѣмъ избѣгнуть не можно. Генеральнаго освобожденія неслоснаго и жестокаго ига не воспослѣдуетъ, ибо, не имѣвъ обороны ни въ законахъ и нигдѣ, слѣдовательно всякая малость можетъ ихъ привести въ отчаяніе; болѣе паче мстительный такой законъ, какъ сенатъ вздумалъ нестати и не къ ладу издать. Итакъ, прошу быть весьма осторожна въ подобныхъ случаяхъ, дабы не ускорить и безъ того довольно грозящую бѣду, если въ новомъ узаконеніи не будутъ взяты мѣры къ пресѣченію сихъ опасныхъ слѣдствій. Ибо, если мы не согласимся на уменьшеніе жестокости и умѣреніе человѣческому роду нестерпимаго положенія, то и противъ нашей воли сами оную возьмутъ рано или поздно. Ваше сіятельство (письмо адресовано къ князю Вяземскому, генераль-прокурору сената) изъ сихъ строкъ можете сдѣлать такое употребленіе, какъ вы сами для пользы имперіи заблагоразсудите. Ибо не безнужно, чтобы не я одна сіе только чувствовала, но и другіе оглянулись въ своихъ предубѣжденіяхъ (т. III, стр. 390—91). Кажется, нельзя рѣшительнѣе заклеить владѣніе живою собственностью и благоразумнѣе предвидѣть могущія произойти отъ того послѣдствія!

И все таки крестьяне не были освобождены, и все таки наша политическая жизнь, обновленная на короткій срокъ, повлеклась по прежнему руслу, устѣянному „подводными камнями“, о которыхъ говорилъ дукъ де-Лирія. Въ концѣ царствованія Екатерины, мы видимъ ее даже въ прямой враждѣ съ принципами, выраженными въ ея собственномъ „Наказѣ“. *L'égalité* — говоритъ она Храповицкому — *est un monstre, qui veut être roi*“. Но и прежде французскихъ событій, взволновавшихъ понятнымъ образомъ всѣхъ коронованныхъ особъ, мы замѣчаемъ въ Екатеринѣ

какую-то странную двойственность, какую-то робость и уклончивость передъ логическими выводами изъ ея же основныхъ взглядовъ. Еще отстаивая въ теоріи свободу мысли, она выхваляетъ на практикѣ „образцовое послушаніе“; сторонница честной и откровенной политики, она нисходитъ до совѣта — „имѣть лисій хвостъ и волчій ротъ“ (т. III, стр. 597). Интересны, въ этомъ смыслѣ, ея письма къ князю Волконскому (т. I, стр. 52, 162). Тутъ выступаетъ, уже, по временамъ, дѣятельность тайной экспедиціи, и Екатерина, взволнованная какими-то сплетнями въ Москвѣ, предписываетъ Волконскому — „не пропускать вракъ безъ изслѣдованія, но какъ нынѣ на Москвѣ вранья было безъ конца и безъ счету, того для, если вы усмотрите, что врани не унимаются, прикажите враня-другаго, по изслѣдованію (черезъ тайную экспедицію) того, что врани, высѣчь плетью публично“ (стр. 63). Для допроса Наталіи Пассекъ, въ 1784 году, ѣдетъ въ Москву благонадежный Шешковский и разными пытками вымучиваетъ отъ нея показаніе, что, во время московскаго мятежа въ 1771 году, Петръ Панинъ хотѣлъ возвести на престолъ Павла Петровича (стр. 81). Впослѣдствіи этотъ же Шешковский такъ успѣшно развивъ свою инквизиціонную практику, что Потемкинъ, при встрѣчѣ съ нимъ, всегда спрашивалъ: „Каково нынче кнутобойничаешь?“ и скромный инквизиторъ отвѣтствовалъ обыкновенно: „помаленьку, ваша свѣтлость!“ Нѣкоторые изъ писемъ Екатерины относятся къ пугачевскому бунту, и въ нихъ замѣчательно то, что, браня на чемъ свѣтъ стоитъ „воровъ, каналій и злодѣевъ“, которые надумались, наконецъ, „сами взять себѣ волю“ (см. выше письмо къ князю Вяземскому), императрица ни однимъ словомъ не обмолвливается о фатальныхъ причинахъ, неизбежно повлекшихъ за собой это прискорбное явленіе. Въ перепискѣ съ французскими энциклопедистами она также говоритъ о Пугачевѣ мелькомъ, какъ о фактѣ, недостойномъ развлекать ея философское вниманіе; а по укрощеніи мятежа не только не принимаетъ мѣръ противъ помѣщичьяго произвола, но заводитъ еще крѣпостное право въ Малороссіи. Разгадка всѣхъ этихъ уклоненій, несообразностей и грубыхъ ошибокъ едва ли не заключается въ громадномъ, рѣзкомъ противорѣчій между взглядами Екатерины II и ея обстановкой, — положеніемъ, которое создала для нея судьба. Трудно было ей сохранить всецѣло уваженіе къ человѣческой личности, когда ее окружала толпа низкихъ льстецовъ, нисколько себя не уважавшихъ и готовыхъ „отважно жертвовать затылкомъ“, чтобы только сорвать улыбку съ ея устъ. Въ одномъ письмѣ къ г-жѣ Жоффренъ (напечатанномъ въ I томѣ „Сборника Русскаго Историческаго

Общества“) Екатерина жалуется, что ей даже не съ кѣмъ поговорить по душѣ, такъ какъ придворные, при ея появленіи, „столбѣются, какъ при видѣ медузиной головы“. Одинъ только Бецкій, какъ это видно изъ другихъ писемъ, умѣлъ вести съ ней искреннюю и умную бесѣду о серьезныхъ вопросахъ, не столбѣя передъ ней и не унижаясь до нуля. Сначала Екатерина, по ея собственному выраженію, „кричала, какъ орелъ“, противъ этого обычая; но со временемъ она, кажется, примирилась съ нимъ. Не мудрено было, наконецъ, потерять вкусъ къ литературѣ и наукѣ, когда въ русскомъ обществѣ процвѣтала истинно одна наука — „наука страсти нѣжной, которую воспѣлъ Навонъ“. Были, правда, въ Россіи того времени поэты и ученые (поэты плодились даже въ большомъ количествѣ); но походили ли они сколько нибудь на тѣхъ европейскихъ дѣятелей литературы и науки, которые по праву внушали къ себѣ уваженіе Екатерины? Одинъ поэтъ, „потомокъ Багрима“, самъ смотрѣлъ на свою поэзію, какъ на развлеченіе, какъ „на вкусный лимонадъ лѣтомъ“, и дорожилъ всего болѣе своими чиновничьими успѣхами. Другой поэтъ — и даже первый драматургъ — Сумароковъ, проживалъ въ то время въ Москвѣ, и объ немъ постоянно доходили до Екатерины самыя курьезныя слухи. То вдругъ слышно, что „на Москвѣ Сумароковъ чрезвычайно шалитъ и озорничаетъ, и будто на рынокъ и близь его дома ходить съ дубьемъ и разбиваетъ горшки и всякія продажныя вещи“. Въ другой разъ онъ отличается еще лучше. „Пришедъ ко мнѣ — пишетъ его встревоженная мать къ императрицѣ — отъ злобы совсѣмъ изступившій, началъ онъ въ глаза меня такими непристойными и поносительными злорѣчить словами, которыхъ я теперь уже и вспомнить не могу, крича и угрожая неоднократно изъ дому меня выгнать вонъ, называя его своимъ, потому что онъ между нами еще не раздѣленъ, отъ котораго страху бывшіе у меня тогда гости тотчасъ разѣхались; а я принуждена была, съ дочерьми моими ушедъ, запереться въ особливую палату. А напоследокъ, выбѣжавъ на дворъ и вынувъ шпагу, неоднократно къ людямъ моимъ прибѣгалъ, хотя ихъ приколоть... Оное же его бѣшенство и озорничество нѣсколько часовъ продолжалось, такъ что находящійся подлѣ моего дома переулокъ весь зрителями на такое ужасное и необыкновенное позорище наполнился“ (т. I, стр. 61). Появился въ концѣ царствованія Екатерины политически развитый и глубоко убѣжденный писатель, но это „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ попало на глаза императрицѣ уже въ тѣ минуты, когда она опасалась „французской заразы“ и съ испугу чаяла у себя дома революціи. Впро-

чемъ, Радищевъ стоялъ такъ одиноко въ русскомъ обществѣ, что объ его ссылкѣ пожалѣли немногіе, а Державинъ даже сочинилъ такой куплетецъ:

Взда твоя въ Москву со истинною сходна,
Некстати лишь дерзка, смѣла и сумасбродна;
Я слышу, на коней ямщикъ кричитъ: вирь-вирь!
Знать, русскій Мирабо, поѣхалъ ты въ Сибирь.

Политическія реформы Екатерины тормозились противъ ея воли въ значительной степени. Она сочувствовала народу, который расплачивался и своими боками, и своею сумою (ибо денежнаго кошелька не было) за такое положеніе дѣлъ, желала бы она въ дуплѣ помочь угнетеннымъ, но между ею и народомъ создалась вѣками цѣлая непроницаемая стѣна. Если ужъ Сумароковъ, одинъ изъ представителей русской интеллигенціи,—какова бы она тамъ ни была, — съ благороднымъ дерзновеніемъ защищалъ крѣпостное право, то можно представить себѣ, какъ взирало на этотъ предметъ большинство русскихъ помѣщиковъ. Всѣ эти обстоятельства служатъ если не къ оправданію, то, по крайней мѣрѣ, къ объясненію той нерѣшительности и непоследовательности, какая обнаруживается въ политической программѣ Екатерины; но ея заслуга—изданіе „Наказа“—принадлежитъ лично ей, и немногіе русскіе въ состояніи были, какъ слѣдуетъ, понимать смыслъ этого великаго законодательнаго акта. Изданіе „Наказа“ можно назвать самымъ крупнымъ и утѣшительнымъ фактомъ въ русской исторіи XVIII вѣка.

НАШИ КЛАССИКИ ВЪ ХАРАКТЕРИСТИКАХЪ Г. ГАЛАХОВА.

(„Исторія русской словесности древней и новой“. Сочиненіе А. Галахова. Т. II.
(первая половина). С.-Петербургъ, 1868 г.)

I.

Мы живемъ въ такое счастливое время, когда писать исторію литературы, „преимущественно русской“, почитается многими дѣломъ до-нельзя простымъ и доступнымъ даже для едва грамотнаго человѣка, а составленіе учебниковъ по этому предмету кажется настолько соблазнительнымъ для предприимчивыхъ педагоговъ, что не проходитъ и одного года безъ того, чтобы книжныя лавки не обогатились какимъ нибудь новымъ издѣліемъ по этой части. Да и какъ не соблазниться, въ самомъ дѣлѣ, завлекательной легкостью труда, въ особенности при томъ условіи, что наскоро со-стрипанной книжкѣ предстоитъ нерѣдко отличный сбытъ по всѣмъ учебнымъ заведеніямъ нашего пространнаго отечества? Отдѣльныя статьи историко-литературнаго содержанія (хотя бы онѣ принадлежали самому бездарному перу) все еще требуютъ нѣкотораго самостоятельнаго изученія избранной авторомъ эпохи, нѣкоторой критической сноровки въ опредѣленіи свойствъ того или другаго литературнаго таланта; учебники же, по общепринятому обычаю, пользуются не только готовыми фактами, которые нужно лишь связать грамматическими періодами, но даже и готовыми фразами, однажды навсегда отчеканенными по казенному образцу. Помнится, что еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, слѣдовательно въ періодъ паденія Зеленецкаго и временнаго торжества прогрессивныхъ идей, появились у насъ послѣдовательно, одинъ за другимъ, и вдобавокъ одинъ хуже другаго, три учебныхъ курса русской литературы,—гг. Петраченки, Вульфа и Петрова,—изъ которыхъ послѣдній учебникъ достигнулъ, къ удивленію нашему, четвертаго или пятаго изданія, мирно расходясь по рукамъ нашей учащейся молодежи... Съ тѣхъ поръ, къ ихъ числу присоединились новыя, не ступающія имъ по достоинству издѣлія Кирпичникова, Тимофеева, ураковского е tutti quanti, и усердные компиляторы, конечно,

вправѣ надѣяться, что судьба улыбнется имъ также, какъ улыбалась уже она ихъ достойнымъ предшественникамъ.—Этотъ печальный наплывъ и еще болѣе печальный успѣхъ дешевыхъ компиляцій доказываютъ намъ, что если появленіе подобныхъ книгъ строго осуждается нынѣ въ сознаниі развитой части русскаго общества—въ тѣхъ немногочисленныхъ кружкахъ его, для которыхъ не прошла безслѣдно дѣятельность лучшихъ нашихъ критиковъ,—то, съ другой стороны, у насъ существуютъ и упорно держатся причины, позволяющія смотрѣть на исторію литературы, какъ на случайный и безцѣльный сбродъ личныхъ именъ, цифръ и главній литературныхъ произведеній. Можно сказать даже больше: по нѣкоторымъ признакамъ, всѣ рѣзче и рѣзче обнаруживающимся въ нашемъ учебномъ мірѣ, позволительно думать, что въ то время, когда въ печати будутъ вырабатываться новыя, болѣе зрѣлыя и правильныя взгляды на исторію литературы, какъ науку и какъ предметъ школьнаго обученія,—въ педагогической сферѣ движеніе пойдетъ совершенно противоположнымъ путемъ, и не впередъ, а назадъ, къ допотопнымъ формаціямъ Зеленецкаго, Греча и Копанскаго. На эту мысль наводятъ насъ, по крайней мѣрѣ, послѣднія программы гимназій министерства народнаго просвѣщенія, въ которыхъ, рядомъ съ торжествомъ классицизма и языкоученія съ его внѣшней, формально-грамматической стороны, идетъ паразитическое оскуднѣніе въ количествѣ и качествѣ собственно литературныхъ произведеній, обязательно разбираемыхъ преподавателемъ въ классѣ. Замѣчается желаніе—ограничить курсъ литературы однимъ знакомствомъ съ фабулой художественнаго произведенія и, пожалуй, съ такъ называемыми „эстетическими красотами“ его, отбросить въ сторону общественный смыслъ разбираемаго сочиненія, ту неразрывную историческую связь, которая соединяетъ его съ умственной жизнью извѣстной эпохи, съ идеалами и стремленіями нашихъ предковъ; наконецъ—стѣснить, почти выбросить совсѣмъ оцѣнку сатирическихъ произведеній, при которой невозможно было бы преподавателю удержаться на своихъ эстетическихъ ходуляхъ, но пришлось бы спуститься въ самый центръ описываемой жизни и войти въ разбирательство различныхъ умственныхъ направленій и житейскихъ событій. А этого-то именно и не нужно; это-то и составляетъ запретный плодъ, ведущій прямо, по мнѣнію опытныхъ людей, къ педагогическому грѣхопаденію. „Къ чему—говорятъ эти опытные люди—вносить страстность и раздраженіе въ незлобивое сердце юношей? Зачѣмъ поднимать въ ихъ умѣ тревожные вопросы, на которые ихъ легко можетъ натолкнуть излишняя словоохотливость учителя?“ Опытнымъ людямъ, повиदि-

тому, не приходитъ въ голову, что умственная работа начинается въ ученикахъ не потому только, что этого хочется или не хочется учителю, не потому, что это нравится или не нравится начальству, но въ силу другихъ, болѣе существенныхъ законовъ человѣческой природы, и что вѣрнѣйшее средство отдѣлаться отъ всѣхъ мучительныхъ вопросовъ—это пойти имъ на встрѣчу, овладѣть ими при помощи знанія и трезвой мысли. Если школа не захочетъ помочь своему ученику въ его трудной психической работѣ, то послѣдній найдетъ, конечно, возможность удовлетворить иначе своимъ естественнымъ стремленіямъ; но обманутый или грубо оттолкнутый своими наставниками, онъ уже непремѣнно потеряетъ къ нимъ все прежнее довѣріе и уваженіе. Славный результатъ для послѣдователей теории: *tant pis, tant mieux*, къ которымъ опытные люди едва ли причисляютъ себя! При такомъ мнимобезстрастномъ и мнимо-объективномъ направленіи (подъ этой кажущейся безстрастностью и объективностью скрываются, въ сущности, самыя пылкія вожделѣнія и самая злокачественная тенденціозность, направленныя къ охранѣ всего отжившаго и гнилаго), при такомъ ясномъ и нисколько не скрываемомъ желаніи парализовать всякую живую струю въ учебномъ дѣлѣ, обративъ его, по прежнему, въ сухую, ни къ чему не ведущую схоластику,—взгляды Бѣлинскаго на цѣль и значеніе исторіи литературы, а также и его талантливыя, меткія характеристики русскихъ писателей стали казаться подозрительными и вольнодумными въ глазахъ черезчуръ ревностныхъ блюстителей критическаго благочинія и благоустройства. Къ сожалѣнію, эти ревнители получили сильную поддержку, на которую, въ началѣ 60-хъ годовъ, они никакъ не могли бы рассчитывать. На помощь имъ пришелъ ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія, который, въ одномъ своемъ отзывѣ, по поводу втораго изданія хрестоматіи г. Филонова, положилъ слѣдующую, весьма любопытную и заслуживающую особеннаго вниманія, резолюцію. „Такъ какъ—пишетъ неизвѣстный рецензентъ—при второмъ изданіи составитель (то есть составитель хрестоматіи, г. Филоновъ) сдѣлалъ нѣкоторыя перемены въ пользу внутренняго достоинства своей книги, то мы считаемъ обязанностью указать: въ чемъ именно заключается произведенное имъ улучшеніе. Учебникъ, главнѣйшимъ образомъ, улучшается очищеніемъ его отъ ярыхъ педагогическихъ недосмотровъ. Г. Филоновъ, не оставивъ безъ вниманія высказанныхъ ему замѣчаній, исключилъ изъ своей книги многое, что могло только запутывать и учителя, и учащихся... Остались только (какъ

жалы!!) слова Бѣлинскаго о трагическомъ и слова Арбузова о значеніи хоровъ греческой трагедіи, выписанныя изъ его стихотвореній 1856 г. Г. Филоновъ поступилъ бы еще лучше, еслибы сужденія этихъ лицъ замѣнилъ сужденіями другихъ авторитетовъ менѣе сомнительнаго качества... Не встрѣчается больше толкованіе мѣла о Прометѣѣ, находившееся въ 3-мъ томѣ, выписанное изъ сочиненій Бѣлинскаго. Но, въ сожалѣнію, въ темахъ все таки осталась задача: „показать заслуги Прометея“. (Замѣтимъ въ скобкахъ, что эта тема совершенно необходима, если только учитель прочиталъ въ классѣ тотъ отрывокъ, къ которому она относится. Прометей самъ говоритъ о своихъ заслугахъ человечеству; слѣдовательно, не разъяснить ихъ и было бы, дѣйствительно, „яркимъ педагогическимъ недосмотромъ“). „Какимъ образомъ—гнѣвно вопрошаетъ рецензентъ—и въ какомъ классѣ гимназіи будутъ рѣшать эту тему ученики? (Какимъ образомъ? объ этомъ могъ бы догадаться самъ рецензентъ, прочтя «Прикованнаго Прометея», а въ какомъ классѣ?—это вопросъ, не стоющій отвѣта, такъ какъ рецензенту, безъ сомнѣнія, извѣстно: въ какихъ именно классахъ гимназіи проходятся теорія и исторія словесности.) Зато другихъ темъ, столь же трудныхъ или, по крайней мѣрѣ, странныхъ, находившихся въ прежнемъ изданіи:—напримѣръ, характеръ дѣятельности „знаменитаго критика Бѣлинскаго“ на основаніи стихотворенія Некрасова „Памяти пріятеля“, характеристика капрала на основаніи пѣсни Беранже—въ новомъ изданіи нѣтъ, и прекрасно“. (См. „Сборникъ мнѣній ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія объ учебныхъ руководствахъ и пособіяхъ, одобренныхъ для гимназій“. Спб. 1869 г.).

Читатель, вѣроятно, согласится съ нами, что эта резолюція сама заслуживаетъ быть помѣщенной въ какой нибудь хрестоматіи, какъ образчикъ педагогическихъ взглядовъ нашего времени... Читая ее, не знаешь, чему болѣе удивляться:—благодушной ли уступчивости г. Филонова, готоваго выбросить лучшія страницы изъ своей книги „въ пользу внутренняго ея достоинства“, или неумытнотой строгости ученаго комитета, который ставитъ на одну доску Бѣлинскаго и Арбузова (ужъ не тотъ ли это г. Арбузовъ, который прославился на мировомъ судѣ изобрѣтеніемъ новой клички э н г е л и с т а?), для котораго авторитетъ Бѣлинскаго есть „авторитетъ сомнительнаго качества“, и который, хладнокровною рукою, вычеркиваетъ изъ книги всякое упоминаніе этого неприличнаго имени? Мы не станемъ, конечно, оскорблять неумѣстной за-

щитой великую тѣнь геніальнаго критика, достаточно вынесшаго въ своей жизни, достаточно перестрадавшаго въ душѣ за всю тупость и косность современнаго ему поколѣнія. Мы не намѣрены также разяснять, по этому поводу, огромныхъ заслугъ писателя, создавшаго въ Россіи истинно-европейскую, раціональную критику и публицистику, оцѣнившего в п е р в ы е, но съ поразительной вѣрностью, таланты: Пушкина, Гоголя, Кольцова, Лермонтова, Герцена, Гончарова, Тургенева, Достоевскаго и др. Тѣмъ не менѣе, мы дали себѣ трудъ заглянуть въ адресъ-календарь, чтобы узнать съ точностью: какіе-такіе Лессинги засѣдаютъ въ этомъ комитетѣ, что для нихъ даже и Бѣлинскій (какъ Наполеонъ для расходившагося прапорщика въ извѣстномъ стихотвореніи Давыдова) есть нѣчто „въ родѣ бородавки“. По справкѣ оказалось ¹⁾, что ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія состоитъ, подъ предсѣдательствомъ г. Фойгта, изъ гг. членовъ: Благовѣщенскаго, Штейнмана, Чебышева, Ходнева, Георгіевскаго, Весселя—и Галахова, къ которымъ поступаютъ на разсмотрѣніе всѣ учебныя книги и руководства, предназначаемыя для класснаго употребленія въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Кому изъ гг. членовъ принадлежитъ цитированный нами отзывъ—на это нѣтъ указаній въ печатномъ сборникѣ ихъ мнѣній; но, во всякомъ случаѣ, его невозможно приписывать ни гг. Штейнману и Благовѣщенскому—спеціалистамъ по древнимъ литературамъ, ни г. Чебышеву—математику, ни г. Ходневу—химику. Затѣмъ остаются гг. Георгіевскій, Вессель и Галаховъ, изъ которыхъ первый написалъ, кажется, магистерскую диссертацию по предмету политической исторіи; второй извѣстенъ своимъ быстрымъ перерожденіемъ изъ педагога-реалиста въ педагога-классика и, вѣроятно, является судьей по вопросамъ педагогики и дидактики; слѣдовательно, / хрестоматіи, служащія пособіемъ къ изученію теоріи и исторіи словесности, должны находиться въ исключительномъ вѣдѣніи г. Галахова, какъ единственнаго лица въ комитетѣ, пріобрѣвшаго извѣстность именно по этимъ отраслямъ знанія. Впрочемъ, предоставляемъ самому г. Галахову категорически опровергнуть или подтвердить наши предположенія. Если же такого отвѣта не воспослѣдуетъ, то, по пословицѣ: „молчаніе есть знакъ согласія“, г. Галаховъ долженъ считаться отнынѣ творцомъ приведеннаго отзыва.—Какъ бы то ни (шло, но и ученый комитетъ, выпустившій подъ своимъ именемъ) на своей нравственной отвѣтственности такую странную ре-

¹⁾ Статья писана въ 1870 г.

заклюцію, дѣлается по неволѣ солидарнымъ съ ней, и мы, на основаніи одного этого факта (другихъ фактовъ мы покуда не приводимъ), можемъ уже составить себѣ понятіе о характерѣ вліянія, какое оказываетъ почтенный трибуналъ на нашу учебную литературу послѣдняго времени. Не только Бѣлинскій трактуется имъ съ полнѣйшимъ пренебреженіемъ, предъ судомъ заподозрѣнъ въ неблагонамѣренности даже классикъ Эсхилъ, котораго „Прометей“ можетъ внушить вольнодумныя мысли юношеству, побудить къ неповиновенію и къ открытому бунту противъ властей предержавныхъ. Въ самомъ дѣлѣ — наглый бунтъ, враждуетъ съ Юпитеромъ, который составляетъ для него, такъ сказать, ближайшее и непосредственное начальство; прикованный къ скалѣ за свою строптивость (въ педагогикѣ эта мѣра соответствуетъ тѣлесному наказанію, или „энергическимъ мотивамъ жизни“ г. Юркевича), онъ всетаки не унимается, но гремитъ своими цѣпями и посылаетъ проклятія къ небу; наконецъ, непослушаніе этого тѣлесно-наказаннаго буяна соблазняетъ даже скромныхъ океанидъ, получившихъ образованіе въ строгомъ интернатѣ, на самомъ днѣ моря. Чтò тутъ хорошаго съ точки зрѣнія людей, смотрящихъ на литературу, какъ на обширную управу благочинія, гдѣ не должно быть мѣста никакимъ нарушеніямъ разъ заведеннаго порядка, гдѣ добродѣтель должна торжествовать, а порокъ предаваться унынію? Если ужъ гоголевскій генералъ, въ „Театральномъ Разъѣздѣ“, утверждалъ не безъ основанія, что юный канцеляристъ, побывавшій въ театрѣ на „Ревизорѣ“, на другой же день согрубитъ своему столоначальнику, то кольки паче подобный результатъ можетъ получиться вслѣдствіе прилежнаго чтенія мальчиками „Прикованнаго Прометея“. Прилично ли говорить о „заслугахъ Прометея“, когда, наоборотъ, слѣдуетъ указать и осудить его порочную гордыню? „Старый капралъ“ Беранже, отвѣтившій офицеру оскорбленіемъ на оскорбленіе, также, и по тѣмъ же причинамъ, не годится въ руководители юношамъ. Идя дальше по этому пути и возлагая на Прокрустово ложе всѣхъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей, мы дойдемъ, наконецъ, до того, что единственнымъ безспорнымъ матеріаломъ для помѣщенія въ хрестоматіи — явятся, въ нашихъ глазахъ, нравственные вирши Бориса Федорова и нравственные повѣствованія г-жи Зонтагъ. Ни Гоголю, мастерски изображавшему, по его словамъ, „все бѣдность да бѣдность, да не совершенства человеческой жизни“, ни Грибоѣдову и Лермонтову, отрицавшимъ еще прямѣе и рѣзче господствовавшій строй вещей и понятій, не найдется мѣста даже на оберткѣ образцово!

христоматіи... Мудрено ли, послѣ этого, что составители новѣйшихъ учебниковъ по исторіи литературы просто не знаютъ, какъ имъ быть съ нашими писателями, начиная съ Пушкина. До Пушкина еще туда-сюда, и дѣло идетъ у нихъ какъ по маслу: за „Россіаду“ Хераскова уже никто нынѣ не ломаетъ копій; „уязвленіе“ Державина не грозитъ серьезной опасностью; въ разборѣ оды Ломоносова почти невозможно обмолвиться какимъ нибудь неосторожнымъ словомъ. Но Пушкинъ, Грибоѣдовъ, даже отчасти Карамзинъ, составляютъ западню, въ которую уловляются неопытные умы; говоря о нихъ, придется волей-неволей коснуться такихъ вещей, которыя и теперь не утратили своей пикантности, и теперь продолжаютъ волновать и ссорить наши микроскопическія общественныя партіи. Попробуй-ка тутъ сказать что-нибудь лишнее или произвести фигуру умолчанія тамъ, гдѣ этого не полагается! И вотъ, во избѣжаніе бѣды, г. Кирпичниковъ доводитъ исторію литературы только до Пушкина, а чтобы пробѣгъ этотъ не показался страннымъ, то заявляетъ въ своемъ предисловіи: „Въ настоящее время, взглядъ на этихъ (то есть на новыхъ) писателей еще не установился или, лучше сказать, существуетъ нѣсколько самыхъ разнородныхъ взглядовъ, а учебникъ никогда не долженъ обращаться въ полемическую статью. Кромѣ того, ходъ идей новаго времени, по самой его близости къ намъ, не ясенъ, и вмѣсто исторіи литературы здѣсь можетъ существовать только критика. Имѣя въ виду составить учебникъ, мы исключили изъ нашей книги все сомнительное, неясное, всѣ предположенія и мнѣнія, и оставили только факты“.

Едва ли возможно выразить яснѣе и наивнѣе ту панику, которая обуяла гг. преподавателей по отношенію къ литературнымъ вопросамъ сколько нибудь живаго и реального характера. Факты и факты изъ жизни писателя (родился, молъ, тамъ-то, умеръ тогда-то, написалъ то-то)—вотъ надежная броня, могущая приукрыть душу преподавателя отъ всякаго проникательнаго усмотрѣнія; прочъ мнѣнія, предположенія, критическія попытки: они не доведутъ до добра. Нѣтъ спора, что, при подобныхъ обстоятельствахъ, трудъ составленія учебника чрезвычайно сокращается, ибо не идетъ далѣе „царя Гороха“, но есть основаніе думать, что у насъ несовсѣмъ еще перевелись люди, для которыхъ это насильственное самовоздержаніе и самоограниченіе тяжелѣе и противнѣе самаго обременительнаго труда... Невыгодныя условія отразились и на послѣднемъ сочиненіи г. Стоюнина: „Руководство для историческаго изученія замѣчательнѣйшихъ произведе-

— 108 —

на русской литературе. В историческом отношении литература наша имеет много общего с литературой западных стран. Но в то же время она имеет и свои особенности. Эти особенности заключаются в том, что наша литература, начиная с XVIII века, была тесно связана с общественной жизнью страны. Она была не только отражением жизни, но и средством ее изменения. Этой особенностью наша литература отличается от литературы западных стран, где литература была в большей степени отделена от жизни. Эта особенность нашей литературы является ее силой и ее слабостью. Сила ее заключается в том, что она была всегда на стороне прогресса, она была всегда боролась за свободу, за справедливость, за счастье народа. Ее слабость заключается в том, что она была всегда слишком тесно связана с жизнью, она была всегда слишком подвержена влиянию общественного мнения. Но несмотря на эти недостатки, наша литература является великим достоянием нашей страны. Она является источником нашей культуры, нашей истории, нашей философии. Она является источником нашей гордости и нашей славы. Она является источником нашей надежды и нашей веры. Она является источником нашей любви и нашей дружбы. Она является источником нашей жизни и нашей смерти. Она является источником нашей радости и нашей печали. Она является источником нашей жизни и нашей смерти. Она является источником нашей радости и нашей печали.

ила бы по душѣ прямая и откровенная постановка вопроса юридическомъ значеніи литературныхъ дѣятелей. Должно бы, что, судя по нѣкоторымъ частямъ его труда, г. Галаховъ могъ бы выполнить съ тактомъ и умѣньемъ подобную работу и самый учебникъ только выигралъ бы въ полнотѣ законченности.

Но же касается до „малаго времени, назначеннаго для литературы въ учебныхъ заведеніяхъ“—то здѣсь г. Столетовъ совершенно правъ и можетъ сослаться, въ подтвержденіе своихъ словъ, на любую учебную программу за послѣдніе годы. Большая часть времени въ гимназіяхъ поглощается, дѣйствительно, классическими языками, и мы надѣемся, что не далеко уже отъ насъ та радостная минута, когда о каждомъ російскомъ гимназистѣ можно будетъ выразиться стихами Батюшкова:

Подъ сѣвернымъ родился небомъ,
Но будто въ Атикѣ рождень.

Или же Мада и Римъ такъ сильно заняли насъ, что намъ некогда было думать о дикой Скиѣи, которая, мимоходомъ сказать, отъ такого небреженія можетъ одичать еще больше.

II.

По всемъ этимъ даннымъ, нельзя не признать, что новый трудъ г. Галахова появляется какъ нельзя болѣе своевременно и заслуживаетъ внимательнаго и отчетливаго разбора. Къ сожалѣнію, хотя этого труда вышелъ уже второй томъ, но и первый, изданный въ 1863 году, не вызвалъ, сколько помнится, ни одной обстоятельной критики; замѣчанія ограничивались стереотипными похвалами трудолюбію г. Галахова да кое-какими коротостепенными указаніями чисто библиографическаго свойства. Теперь интересъ труда г. Галахова еще болѣе увеличился, такъ какъ въ промежутокъ времени отъ 1863 г. до нашихъ дней произошло много разныхъ перемѣнъ и во взглядахъ на литературу на этотъ предметъ, и въ настроеніи учебной администраціи. При изданіи перваго тома своей исторіи словесности, авторъ предназначалъ ее для класснаго употребленія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и съ этою цѣлью ввелъ въ нее два шрифта, крупный и мелкій, печатая первымъ существенныя части учебнаго курса, а вторымъ—менѣе значительныя подробности, которыя могутъ быть опускаемы по соображенію учителя. Исторію сло-

вности г. Галаховъ опредѣлялъ самымъ широкимъ образомъ, какъ изложеніе постепеннаго развитія литературы отъ ея начала до настоящаго времени въ связи съ общественною жизнью. „Словесность—говорилъ онъ—принимая въ значеніи литературы, обнимаетъ всѣ словесныя произведенія, изображающія жизнь и характеръ народа. Такъ какъ это изображеніе преимущественно является въ краснорѣчьи и поэзи, то исторія краснорѣчья и поэзи занимаетъ главнѣйшее, но не единственное мѣсто въ исторіи литературы. Всѣ другія сочиненія, не смотря на то, что въ нихъ преобладаютъ или научныя, или практическія цѣли, также разсматриваются исторіею литературы по отношенію ихъ къ народной жизни и народному характеру, или по вліянію на развитіе краснорѣчья и поэзи, или по изящной формѣ, въ которую облечено ихъ содержаніе. Такимъ образомъ, объемъ литературы есть объемъ всѣхъ отраслей духовной дѣятельности; выражаемыхъ словомъ... Литература состоитъ въ тѣсной связи съ жизнью народа, какъ внѣшней, такъ и внутренней. Въ ней выражаются и факты общественнаго быта, и сознаніе этихъ фактовъ... Отношеніе литературныхъ произведеній къ общественной жизни двоякаго рода: въ однихъ видно прямое выраженіе дѣйствительности съ ея мѣстными и временными отличіями; въ другихъ раскрывается духовное настроеніе эпохи, идеи и потребности общества, общественное сознаніе, хотя при этомъ можетъ и не быть прямого указанія на дѣйствительность, вѣрнаго воспроизведенія событій и характеровъ. Исторія литературы обязана разъяснить оба отношенія. Чѣмъ сильнѣе въ словесномъ произведеніи выразилось направленіе жизни, чѣмъ яснѣе въ немъ раскрылась какая нибудь сторона народнаго духа, тѣмъ оно значительнѣе. Важность его, въ этомъ смыслѣ, опредѣляется не столько литературнымъ достоинствомъ, сколько степенью отношенія къ общественной жизни“. Чтобы не оставить никакого недоразумѣнія насчетъ смысла употребляемыхъ имъ словъ: „общество“ и „общественная жизнь“, г. Галаховъ присовокупилъ особое примѣчаніе, въ которомъ говоритъ, что общество состоитъ изъ разнообразныхъ круговъ большаго или меньшаго объема, и словесное выраженіе духа каждаго изъ нихъ принадлежитъ къ литературѣ,—„потому что дѣло здѣсь не въ величинѣ круга, а въ томъ, что этотъ кругъ дѣйствительно существуетъ и что онъ своимъ появленіемъ и бытіемъ обязанъ историческому развитію“. „Авторъ по своему образованію—продолжаетъ развивать эту мысль г. Галаховъ—можетъ принадлежать

къ лучшей, избранной части общества, можетъ и возвышаться надъ цѣлымъ обществомъ, сознавая такія потребности жизни, которыя другимъ не являются даже въ видѣ темныхъ предчувствій. Если онъ въ твореніяхъ своихъ представитъ образъ этого избраннаго, хотя и малочисленнаго общества, или изобразитъ свои идеальныя стремленія, то его творенія займутъ законное мѣсто въ литературѣ, какъ выраженіе того, что въ большей или меньшей степени выработалось развитіемъ гражданственности, ходомъ исторіи" (Т. I, стр. 1—2), Придавая такое огромное значеніе развитію общественныхъ понятій и выработкѣ общественныхъ идеаловъ, начиная съ ихъ первой ячейки, то есть съ зарожденія ихъ въ сознаніи избраннаго, интеллигентнаго кружка или даже въ смѣломъ, далеко опережающемъ толпу, порывѣ мыслящей единицы, — авторъ естественно долженъ былъ обратить особенное вниманіе на цивилизующую силу литературы, на тѣ ея стороны, которыми она соприкасается ближайшимъ образомъ и съ умственной жизнью цѣлой эпохи, и съ исторически-сложившимся общественнымъ бытомъ извѣстнаго народа. „Согласно двумъ сторонамъ словесныхъ произведеній — извѣщать насъ г. Галаховъ еще въ своемъ „предисловіи“ — послѣднія разсматриваются мною съ двухъ точекъ зрѣнія: исторической и литературной. Читатель увидитъ, что книга моя даетъ перевѣсъ первой точкѣ зрѣнія, особенно въ новомъ періодѣ словесности, которымъ я больше занимался. Критика историческая, опредѣляющая дѣятельность автора по ея отношенію ко времени, въ которое она имѣла мѣсто, гораздо любопытнѣе и плодотворнѣе. Главное ея вниманіе обращено на взаимодѣйствіе литературы и современной эпохи, она показывается — какъ эта эпоха отражается въ литературѣ, и какъ литература, въ свою очередь, дѣйствуетъ на понятія эпохи. Въ словесныхъ произведеніяхъ она по преимуществу цѣнитъ ихъ образовательную силу, тѣ понятія и убѣжденія, которыя были ими вносимы въ оборотъ жизни, и посредствомъ которыхъ возвышался умственный уровень общества. Авторское достоинство измѣряетъ она не одною степенью литературнаго искусства, но качествомъ образа мыслей, который сообщаетъ сочиненіямъ извѣстное направленіе. Она требуетъ, чтобы явленія слова, удовлетворяя эстетическому чувству, въ то же время содѣйствовали распространенію идей истины и правды, чтобы художественная форма соединялась въ нихъ съ просвѣтительнымъ содержаніемъ. На основаніи этого, я даль больше простора изложенію отечественной литературы двухъ по-

слѣднихъ столѣтій: въ это время виднѣе, чѣмъ когда либо, она была орудіемъ культуры, усвоивая и передавая русскому обществу начала западно-европейской цивилизаціи". Нельзя не согласиться съ справедливостью этихъ взглядовъ, высказанныхъ г. Галаховымъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ: съ научной точки зрѣнія противъ нихъ едва ли что можно возразить, и еслибы покойный Бѣлинскій, столь гонимый нынѣ ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія, возсталъ какимъ нибудь чудомъ изъ своей страдальческой могилы, онъ навѣрно утѣшился бы тѣмъ, что его дѣятельность полезно повліяла на современныхъ писателей и установила надолго надлежащій отправный пунктъ въ литературной критикѣ. Онъ ли не преслѣдовалъ, всю свою жизнь, тѣхъ бездарныхъ риторовъ, которые обратили поэзію, по выраженію Веневитинова, въ „орудіе умственнаго безсилія“; онъ ли не хлопоталъ о томъ, чтобы русская публика перестала видѣть въ поэтическомъ одушевленіи какое-то „нравственное опьяненіе, какъ бы отъ приѣма опиума или дѣйствія виннаго хмѣля, изступленіе чувствъ, горячку страсти, которыя заставляютъ непризваннаго поэта изображать предметы въ какомъ-то безумномъ круженіи, выражаться дикими, натянутыми фразами“ и пр. (см. Сочиненія Бѣлинскаго, т. IV, стр. 249); не онъ ли же представилъ первый опытъ критической исторіи русской литературы (см. въ VIII томѣ разборъ сочиненій Пушкина), гдѣ достоинство писателей опредѣляется именно суммою полезныхъ идей, внесенныхъ ими въ общественное обращеніе? „Неистощимость и разнообразіе всякой поэзіи—поучалъ Бѣлинскій къ 1840 г.—зависать отъ объема ея содержанія, и чѣмъ глубже, шире, универсальнѣе идеи, одушевляющія поэта и составляющія пафосъ его жизни, тѣмъ, естественно, разнообразнѣе и многочисленнѣе его произведенія: тучная, богатая растительными силами почва не истощается одною богатою жатвою, а сухая и песчаная не дастъ и одной порядочной жатвы“. „Чѣмъ выше поэтъ—говорилъ онъ въ томъ же году, опредѣляя отношеніе литературы къ общественной жизни—тѣмъ больше принадлежитъ онъ къ обществу; среди котораго родился, тѣмъ яснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества... Литература есть сознаніе народа: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражается его духъ и жизнь; въ ней, какъ въ фокусѣ, видно назначеніе народа, мѣсто, занимаемое имъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, моментъ всемірно-историческаго развитія человѣческаго духа, который онъ выражаетъ своимъ существованіемъ. Источникомъ литературы народа

можетъ быть не какое нибудь внѣшнее побужденіе или внѣшній толчокъ, но только міросозерцаніе народа... Міросозерцаніе есть источникъ и основа литературы; это фонъ, на которомъ рисуются ея картины, канва, по которой вышиваются ея узоры* (т. VIII. стр. 15; т. IV, стр. 206 и 281). Эти мысли, заимствованныя нами съ первыхъ раскрывшихся страницъ сочиненій Бѣлинскаго, развивались имъ послѣдовательно со времени переѣзда въ Петербургъ, и если знаменитый критикъ соблазнялся иногда эстетическою внѣшностью, забывая или снисходительно прощая, ради ея, скудость внутренняго содержанія, то эти промахи показываютъ только, что и онъ былъ сыномъ своего времени и немогъ отрѣшиться вполне отъ узкихъ эстетическихъ традицій тогдашняго образованнаго общества. Но чѣмъ дальше, тѣмъ больше укрѣплялся Бѣлинскій въ своемъ реалистическомъ взглядѣ на литературу, и въ статьяхъ, написанныхъ имъ въ послѣдніе годы его жизни, не встрѣчается уже никакихъ намѣренныхъ или ненамѣренныхъ уступокъ господствовавшимъ предразсудкамъ. Внутренній смыслъ художественнаго произведенія, міросозерцаніе автора, идеи, на которыя наводитъ подборъ поэтическихъ картинъ—вотъ на что устремилась, въ этотъ періодъ, критическая проницательность Бѣлинскаго. Въ разборѣ сочиненій Пушкина, благоговѣя предъ эстетическою красотою его поэзіи, Бѣлинскій пользовался уже всякимъ случаемъ перейти отъ художественной оцѣнки къ разсмотрѣнію живыхъ сторонъ общественной жизни, коснуться такъ или иначе, если не прямо, — что не всегда было удобно, — то хоть какимъ нибудь замаскированнымъ намекомъ, тѣхъ кровныхъ интересовъ цивилизаціи, которые затрогивались художественнымъ изображеніемъ; въ томъ же разборѣ онъ опредѣлилъ и слабую сторону пушкинской поэзіи—ея теоретическій индифферентизмъ, а позднѣе даже высокомерное пренебреженіе ко всѣмъ задачамъ и вопросамъ, насильственно врывающимся въ міръ спокойнаго, отвлеченнаго творчества. „Такъ какъ поэзія Пушкина—говоритъ Бѣлинскій—заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцаніи міра и такъ какъ она безусловно признаетъ его настоящее положеніе если не всегда утѣшительнымъ, то всегда необходимо разумнымъ, поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, высказывается болѣе какъ чувство или какъ созрцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ, какъ бы признавая ихъ роковую неизбѣжность и не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствитель-

ности и вѣры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекаетъ уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ онъ изящною елейностью, кротостью, глубиною и возвышенностью своей поэзіи, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но по своему возрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора миновала уже совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго“ (т. VIII, стр. 397—98).

Мы—повторяемъ это—не имѣемъ здѣсь въ виду входить въ историческую оцѣнку замѣчательной дѣятельности Бѣлинскаго; но всѣ эти извлеченія понадобились намъ единственно затѣмъ, чтобы читатель самъ убѣдился: до какой степени не новы взгляды, изложенные г. Галаховымъ въ первомъ томѣ его книги, и какъ близко повторяютъ они то, что высказано Бѣлинскимъ за тридцать лѣтъ до нашего времени. „Просвѣтительное содержаніе“ литературы, на которое такъ сильно налегаетъ г. Галаховъ, жертвуя ему даже эстетической формой, „направленіе жизни“ и „идеальныя стремленія“ развитыхъ личностей, отражающіяся въ литературной сферѣ—все это не больше, какъ прозрачная перефразировка „народнаго міросозерцанія“ и „универсальныхъ идей“ Бѣлинскаго. Сущность дѣла, т. е. отношеніе къ предмету—у обоихъ авторовъ одно и то же, а такъ какъ г. Галаховъ, безъ сомнѣнія, хорошо знакомъ съ сочиненіями Бѣлинскаго, то одинаковость взглядовъ, на сей разъ, не объясняется французской половицей, что „прекрасные умы встрѣчаются—де въ своихъ мысляхъ“... Само собой разумѣется, что мы нисколько не осуждаемъ г. Галахова за такія заимствованія, и даже радуемся тому, что его книга благополучно избѣжала рецензій ученаго комитета: не всякому писателю суждено внести въ литературу что нибудь свое, оригинальное; хорошо, если мысли, завшъщанныя первоклассными дѣятелями, воспринимаются и пропагандируются дѣятелями второстепенными... Сожалѣть можно только объ одномъ: г. Галаховъ, усвоивъ себѣ вѣрный, раціональный взглядъ на исторію литературы, не справился, какъ слѣдуетъ, съ его педагогическимъ приложеніемъ, упустивъ изъ виду, что одно дѣло—развивать теоре-

тическія воззрѣнія предъ взрослыми читателями, и другое дѣло—вводить ихъ въ сознаніе юношей, примѣнительно къ потребностямъ и складу неполнѣ зрѣлаго мышленія. Тутъ обнаружилось, что г. Галаховъ очень плохой педагогъ, и что книга его, назначенная служить учебникомъ въ гимназіяхъ, по сухости слога и обилію ненужныхъ подробностей, можетъ быть осилена развѣ только любознательными студентами старшихъ курсовъ университета. Гимназистъ же очутится въ ней, какъ въ лѣсу, и запутается въ массѣ фактовъ, характеристикъ, дѣленій и подраздѣленій всякаго рода. Различіе шрифтовъ, сдѣланное съ цѣлью облегчить занятія учениковъ, нисколько не помогаетъ этой трудности, такъ какъ шрифтъ крупный ежеминутно, измѣнительнымъ образомъ, покидаетъ цѣлыя страницы у шрифта мелкаго. Но, не смотря на этотъ существенный педагогическій недостатокъ, мы все таки предпочитаемъ прежняго г. Галахова нынѣшнему рецензенту ученаго комитета—и вотъ по какой причинѣ. Г. Галаховъ погрѣшалъ, правда, противъ объема и характера учебнаго курса, но онъ не порицалъ педагогической важности самого предмета, который въ нашихъ школахъ служитъ главнымъ звеномъ, соединяющимъ учебное дѣло съ интересами общественной жизни; ему не казалось нелѣпнымъ и предосудительнымъ—возбуждать въ ученикахъ критическую способность, приучая ихъ задумываться надъ сложными явленіями индивидуальной психологіи и общественнаго организма; его не пугало стремленіе учителя захватывать въ своихъ урокахъ какъ можно больше живаго матеріала, полезно занимающаго умственные силы класса и нѣсколько разнообразящаго монотонную схоластику отвлеченнаго преподаванія. Въ этомъ случаѣ онъ, какъ мы видѣли, даже хваталъ черезъ край, углубляясь въ тонкости, врядъ ли доступныя для мало развитаго ума; но важно то, что при такой постановкѣ учебнаго предмета, не пропадало совсѣмъ образовательное его значеніе, и отъ искусства преподавателя зависѣло — воспользоваться имъ, направить все дѣло въ дурную или хорошую сторону. Теперь же, въ очень короткий срокъ, исторія литературы признана предметомъ ехиднымъ и крайне опаснымъ въ рукахъ вольнодумства, а ученики поглупѣли настолько, что не могутъ взять въ толкъ самаго простѣншаго стихотворенія, самой нехитрой прозаической статейки! То заставляли ихъ толковать о высшихъ вопросахъ цивилизаціи, причемъ учитель выходилъ дальше, чѣмъ слѣдовало, изъ рамокъ разбираемаго произведенія, то считаютъ ихъ такими кретинами, что даже вопросъ о „заслугахъ Прометея“ становится для нихъ непосильнымъ бременемъ. Впрочемъ, касательно учениковъ

нынешній тонъ обыкновенно раздвѣивается: иногда они представляются „скорбными главами“ юношами, которые, по недостатку смысла, не въ силахъ слѣдить за объясненіями учителя; иногда же они рассматриваются, какъ бомбы, начиненныя пороховъ:—прикоснись только къ нимъ зажженнымъ фитилемъ, они сейчасъ вспыхнутъ и произведутъ страшный взрывъ. Но что за фатальныя событія произошли въ Россіи? какіе громадныя успѣхи сдѣлало у насъ якобинство? и нужно ли стѣснять и задерживать шаги просвѣщенія только потому, что два-три ученика (на семьдесятъ-то милліоновъ народу!) поняли какъ нибудь превратно фразу учителя? Напротивъ, въ учебномъ-то мірѣ и господствуютъ по преимуществу тишь да гладь, да Божья благодать, такъ что грамматика Алябьева была, въ послѣднее время, едва ли не единственнымъ „краснымъ призракомъ“ педагогическаго вольнодумства. Эти быстрые переходы отъ одной крайности къ другой, эти внезапныя скачки то впередъ, то назадъ, смотря по тому, откуда подулъ вѣтеръ, наводятъ насъ на очень печальныя размышленія... И не однихъ насъ. Не такъ давно г. Ушипскій,—котораго, вѣроятно, никто не упрекнетъ въ излишнемъ пессимизмѣ,—наблюдая надъ тѣмъ же фактомъ, не поскупился на энергическія выраженія, чтобы заклеймить весь вредъ, происходящій отъ такой неустойчивости системъ для правильныхъ успѣховъ народнаго образованія въ Россіи. „Вотъ уже около 20-ти лѣтъ — пишетъ онъ въ одномъ специально педагогическомъ журналѣ,—какъ мы болѣе или менѣе вращаемся въ кругу административныхъ распоряженій по дѣлу образованія. И какихъ только перемѣнъ въ этихъ направленіяхъ не насмотрѣлись мы! Почти не прошло, не то что одного пятилѣтія, но даже двухъ-трехъ лѣтъ, чтобы выдерживалось одно и то же направленіе, а направленіе, только что принятое съ возложеніемъ на него великихъ ожиданій, не смѣнялось новымъ, которое, по большей части, съ ужасомъ смотрѣло на прежнее, и опять подавало новыя великія надежды. Эта комедія направленій была довольно длинна и пестра, чтобы наконецъ не опротивѣть окончательно всякому мыслящему человѣку, не забывающему, при крикахъ сегодняшняго торжества, точно такихъ же криковъ торжества вчерашняго. Не дай Боже, чтобы эта бесплодная игра въ направленіе была приложена и къ дѣлу народной школы, къ этому только что начинающемуся дѣлу, и отъ котораго, по нашему твердому убѣжденію, зависитъ вся будущность Россіи. Если мы начнемъ и нашу народную школу также водить по разнымъ направленіямъ, то не быть пути и изъ этого великаго дѣла; оно

не подвинется ни на шагъ впередъ, и тогда въ какія нибудь сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ мы можемъ стать въ болѣе отсталое положеніе въ отношеніи образованныхъ государствъ Европы, чѣмъ то, въ которомъ стояли при началѣ реформы Петра Великаго; а отсталость, на современномъ языкѣ, есть нищенство, безсиліе, зависимость, экономическое и политическое ничтожество“. („Народн. Школа“, 1870 года, № 5-й). Все это очень справедливо, и „комедія направленій“, распространяясь сверху до низу, можетъ повлечь за собой трагедію всеобщаго помраченія и быстрого упадка нашихъ высшихъ, среднихъ и низшихъ школъ.

Итакъ, мы оставимъ въ сторонѣ педагогическіе недостатки, которые дѣлають книгу г. Галахова неудовлетворительнымъ учебникомъ для среднихъ школъ, и рассмотримъ ее съ чисто научной точки зрѣнія, какъ сводъ извѣстныхъ понятій и взглядовъ на историческое развитіе русской литературы. При этомъ мы займемся преимущественно, почти исключительно, вторымъ томомъ „Исторіи русской словесности“, обращаясь къ первому тому лишь настолько, насколько это нужно для пониманія общаго плана всего сочиненія, а также и для полноты характеристики новыхъ писателей, дѣятельности которыхъ посвященъ второй (еще неоконченный) томъ труда г. Галахова. Предпочтеніе, оказываемое нами новымъ писателямъ, объясняется, во-первыхъ, тѣмъ, что толки о древней литературѣ представляютъ немного интереса для современныхъ читателей, а, во-вторыхъ, и тѣмъ, что мы вообще больше согласны съ г. Галаховымъ въ его отзывахъ о Максимѣ Грекѣ, Ломоносовѣ и даже о писателяхъ Екатерининскаго времени, чѣмъ въ мнѣніяхъ о Карамзинѣ, Жуковскомъ и другихъ дѣтеляхъ новаго періода русской словесности. Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы говорить о предметахъ, слишкомъ отдаленныхъ отъ насъ, или повторять мнѣнія, болѣе или менѣе установившіяся въ литературной критикѣ, мы коснемся лицъ и вопросовъ, донинѣ не потерявшихъ нѣкотораго, хотя не особенно близкаго, отношенія къ современности, и оцѣниваемыхъ различно, смотря по различію литературныхъ и общественныхъ симпатій самихъ рецензентовъ.

Приглядываясь съ этой точки зрѣнія къ „Исторіи русской словесности“, мы находимъ прежде всего, что авторъ не соблюдъ, въ продолженіи своего труда, тѣхъ обѣщаній, которыя далъ намъ въ предисловіи къ первому тому. Онъ обѣщаль,—какъ помнитъ читатель,—разсматривать литературныя явленія въ связи съ общественными условіями, вызвавшими ихъ къ жизни, подвергать ихъ преимущественно исторической критикѣ, указывая взаимодѣйствіе

между культурными и политическими фактами съ одной стороны и отраженіемъ ихъ въ народномъ сознаніи, въ литературѣ, съ другой. Такъ онъ и поступалъ, когда рѣчь шла, напримѣръ, о произведеніяхъ такъ-называемаго народнаго „двоевѣрія“, о схоластикахъ кievскихъ ученыхъ, о реформѣ Петра Великаго и наконецъ о литературныхъ памятникахъ Екатерининскаго вѣка. Говоря о Прокоповичѣ и Кантемирѣ — этихъ наиболѣе выдающихся пропагандистахъ идей реформы — г. Галаховъ вдавался подробно въ отчетъ о двухъ направленіяхъ, боровшихся при Петрѣ, изъ которыхъ первое опиралось на традицію и грубое невѣжество старины, а другое на силу науки и, главнымъ образомъ, на личную волю просвѣщеннаго монарха. Еще болѣе распространился онъ о преобразовательныхъ намѣреніяхъ Екатерины II, о движеніи мысли въ литературѣ, возникшемъ подъ влияніемъ и покровительствомъ высшей власти, о типахъ, выхваченныхъ прямо изъ общественной жизни и осмѣянныхъ сатирою. Но, переходя во второмъ томѣ къ эпохѣ Александра I, г. Галаховъ мгновенно отбрасываетъ этотъ обычный приѣмъ: не считаетъ болѣе нужнымъ обращаться отъ литературы къ общественной жизни — съ тѣмъ чтобы найти правильную разгадку и оцѣнку умственныхъ направленій, волновавшихся на поверхности общества, и обходитъ молчаніемъ — нисколько не вынужденнымъ при нынѣшнихъ условіяхъ прессы — весьма крупные факты какъ въ самой литературѣ, такъ и въ политической обстановкѣ того времени. Такое умолчаніе, затушевывая многія существенныя стороны дѣла, лишаетъ и остальные факты надлежащаго освѣщенія, такъ что благоразумный читатель, для котораго не составляютъ секрета опущенныя данныя, долженъ сначала возстановить ихъ въ своемъ воображеніи, а уже потомъ — произносить свой судъ надъ литературными дѣятелями Александровскаго періода. Безъ этой необходимой коррекціи онъ рискуетъ заблудиться и попасть въ большой просакъ. Александровское время было временемъ довольно сильнаго умственнаго броженія въ образованныхъ кругахъ русскаго общества, и необходимо знать: чьи именно интересы представляли и защищали такой-то писатель, въ чью руку дѣйствовалъ онъ, — чтобы судить безпристрастно о „просвѣтительномъ содержаніи“ его сочиненій. Г. Галаховъ распорядился бы гораздо лучше, еслибы, не помѣщая въ видѣ образцоваго отрывка передовой статьи Московскихъ Вѣдомостей ²⁾ (см. „Дополненіе

²⁾ Статья эта написана г. Катковимъ въ 1866 г., въ то время, когда ему приходилось плохо, и онъ задумалъ притануть Карамзина къ участію въ своихъ

ко II тому", стр. III), онъ сберегъ побольше мѣста для историческихъ разъясненій той незавидной роли, которую разыгралъ Карамзинъ въ общемъ походѣ на Сперанскаго...

III.

Карамзинымъ кончается первый томъ „Исторіи русской словесности“ и нѣмъ же начинается второй ея томъ, наполненный, почти на двѣ третью, подробной характеристикой этого писателя. Слишкомъ сто страницъ посвятилъ г. Галаховъ этому любопытному предмету, и можно бы надѣяться, что послѣ такого тщательнаго разсмотрѣнія (мы уже не хотимъ и вспоминать, что, по плану автора, всю эту сотню страницъ должны были поглотить и переработать семнадцатилѣтніе гимназисты!) послѣ такой исчерпывающей обработки деталей,—и личность, и литературныя заслуги Карамзина освѣтятся передъ нами со всѣхъ своихъ наиболѣе рельефныхъ, выдающихся сторонъ. Но, отдавая полную справедливость той добросовѣстности, съ которою г. Галаховъ изучилъ сочиненія Карамзина, также какъ и многихъ другихъ его современниковъ, нельзя не сказать однако, что въ разбираемой нами книгѣ встрѣчаются важные пропуски и невѣрные толкованія, затеняющія истинный смыслъ дѣла. Главное же, что въ особенности непріятно поражаетъ читателя, это—панегиристическій тонъ г. Галахова, его чересчуръ замѣтное желаніе выгородить и возвеличить Карамзина даже въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится касаться несовсѣмъ благовидныхъ мыслей пресловутаго историка государства Россійскаго. Чтобы нашъ приговоръ не показался рѣзкимъ и неосновательнымъ, мы намѣрены сначала представить *in extenso* всѣ мнѣнія и выводы г. Галахова, а затѣмъ, заручившись хорошими данными для спора, выскажемъ и наше собственное воззрѣніе на Карамзина, которое во многомъ пойдетъ въ разрѣзъ съ преувеличенными похвалами снисходительной критики.

подвигахъ. Здѣсь Карамзинъ рисуется красками, какими хотѣлось бы г. Каткову изобразить себя самого. А г. Галаховъ, не разобравъ въ чемъ дѣло, и смѣшая такимъ образомъ Карамзина съ Катковымъ (ошибка непростительная для панегириста Карамзина!) принялъ статью за настоящую историческую характеристику. Зовѣтуемъ г. Галахову, если ужъ статья такъ понравилась ему, перемѣстить ее въ свою хрестоматію, какъ образецъ ловкаго самовосхваленія новѣйшаго Нариса. Г. Катковъ не Прометей, и ученый комитетъ не вооружится противъ него.

Отъ Карамзина мы перейдемъ, такимъ же порядкомъ, къ Жуковскому и Крылову.

Въ образованіи характера Карамзина и его взглядовъ на вещи участвовали, по мнѣнію г. Галахова, различныя силы и обстоятельства. Первое мѣсто принадлежитъ природѣ, надѣлившей его рѣдкой чувствительностью, которая обнаруживалась въ немъ съ дѣтства и не покидала до смерти. Въ юношествѣ онъ былъ чувствителенъ, какъ младенецъ; на склонѣ лѣтъ любилъ предаваться меланхолии и, читая романы, нерѣдко плакать. „Онъ не стыдился—говорить г. Галаховъ—своего врожденнаго дара, хотя и придавалъ ему иногда патологическое значеніе“ (стр. 2). Преобладающая наклонность природы развилась потомъ подъ вліяніемъ романовъ сентиментальнаго содержанія. Вторымъ періодомъ образованія Карамзина надобно считать его ученіе въ пансіонѣ московскаго профессора Шадена, гдѣ онъ обучался иностраннымъ языкамъ, слушалъ уроки нравственной философіи, которую преподавалъ самъ Шаденъ, и вмѣстѣ съ другими пансіонерами посѣщалъ лекціи университетскихъ профессоровъ. По выходѣ изъ пансіона, Карамзинъ, чувствуя неудовлетворительность своихъ познаній, намѣревался довершить свое образованіе за границей, въ лейпцигскомъ университетѣ; но судьба столкнула его съ Новиковымъ, и въ масонскомъ кружкѣ прошелъ третій, весьма важный періодъ умственнаго развитія Карамзина. О масонствѣ г. Галаховъ говорилъ много въ концѣ своего перваго тома и, для выясненія этого вліянія, мы обратимся нѣсколько назадъ. Масонское общество, по словамъ автора, не могло возбуждать сочувствія въ послѣдователяхъ той философіи, которая, во имя разума, какъ своего краеугольнаго камня, отвергала все, несовмѣстимое съ его положеніями, которая стремилась къ положительному и естественному, разумѣя подъ „тайною“ единственно явленія, еще не поддавшіяся изслѣдованію науки или сужденію здраваго смысла.... Прочитавъ книгу (С. Мартена): „О заблужденіяхъ и истинѣ“, Вольтеръ писалъ Даламберу: „Je ne crois pas qu'on ait jamais rien imprimé de plus absurde, de plus obscur, de plus fou et de plus sot“. Мнѣніе Вольтера раздѣляла и Екатерина II, сама воспитанная на скептической философіи XVIII вѣка; она не уважала людей, отвергавшихъ „школьную мудрость“, то есть всю европейскую науку, вѣрившихъ въ таинства алхиміи и астрологіи. „Помню—писала она Циммерману—что въ 1740 году головы мнѣ всего философскія хотѣли быть философами; по крайней мѣрѣ, въ такомъ случаѣ разсудокъ и общій смыслъ (sens commun) не теряли своей силы. Но сіи новыя заблужденія принудили у насъ

сдурачиться такимъ людямъ, которые прежде сего не были дураками". Къ чувству неуваженія присоединилось у нея послѣдствіи недовѣріе, возбужденное таинственными сходками масоновъ и, всего болѣе, ихъ сношеніями съ наслѣдникомъ престола. Это послѣднее подозрѣніе и боязнь какой нибудь политической манифестаціи въ пользу Павла Петровича были, впрочемъ, ни на чемъ не основаны: масоны прилагали свои заботы въ внутреннему совершенствованію человѣка, а о политическихъ вопросахъ нисколько и не думали, считая ихъ пустяками, не заслуживающими вниманія „свободнаго каменщика". На самомъ дѣлѣ, это были кротчайшіе люди, смиреннѣйшіе вѣрнопопуданіе, простиравшіе свой политическій индифферентизмъ гораздо далѣе той границы, какая, вообще, можетъ быть желательна для самаго осторожнаго правительства. При полномъ равнодушіи въ государственной жизни и политическимъ направленіямъ, масоны отличались благотворительностью и тонко развитымъ гуманнымъ чувствомъ:—въ этомъ заключалась ихъ сильная, симпатическая сторона, которая и првлекала къ нимъ расположеніе общества. Вліяніе масонства на Карамзина очерчивается довольно неопредѣленно г. Галаховымъ. Мы узнаемъ, что Карамзинъ былъ членомъ новиковскаго кружка, что онъ работалъ въ новиковскихъ изданіяхъ (перевелъ драму „Аркадскій памятникъ" для „Дѣтскаго чтенія" и пр. и пр.), но главной черты этого вліянія г. Галаховъ, какъ намъ кажется, не уловилъ вовсе. Единственнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ служатъ у него слѣдующія загадочныя строки: „Дѣйствительность вліянія, произведеннаго на Карамзина обществомъ Новикова, не подлежитъ сомнѣнію. Существенная его польза состояла въ прочномъ закалѣ мысли, державшейся на серьезныхъ занятіяхъ (на чтеніи „Химической псалтири" и „Магазина свободно-каменщическаго?"), на обсужденіи предметовъ, которые по своей важности (какъ, наприимѣръ, рецептъ для дѣланія золота?) всегда обращаютъ на себя вниманіе даровитой любознательности. Въ тотъ періодъ жизни, когда умъ, большею частію, истощаетъ свои силы на трудахъ маловажныхъ или безъ надежнаго руководства переходитъ отъ одной дѣятельности къ другой, останавливаясь на каждой поверхностно и ни къ одной не привязываясь искренно,—въ этотъ самый періодъ Карамзину была указана достойная сфера человѣческаго знанія (какая?). Карамзинъ охотно вошелъ въ нее и неспрадно оставался въ ней, хотя потомъ и сдѣлался ея отщепенцемъ, такъ какъ она рѣшительно не подходила ни къ характеру его чувства (почему же? элементъ чувства, а именно любви къ ближнему, былъ самой почтенной сторо-

ном масонства), ни къ складу его познавательной способности (но вѣдь выше было сказано, что въ масонствѣ-то и закалилась мысль Карамзина?) не любившей ни въ чемъ темноты" (т. II, стр. 5). Затѣмъ слѣдуетъ поѣздка Карамзина за границу, во время которой онъ освободился (по нашему мнѣнію, несомнѣнно) отъ масонскаго вліянія и подчинился на время взглядамъ французской философіи XVIII вѣка. Руссо сдѣлался его кумиромъ, хотя, — замѣтимъ мы отъ себя, — революціонная логика этого мыслителя была какъ-то очень своеобразно и сентиментально понята русскимъ прозелитомъ. Новое настроеніе выразилось въ „Письмахъ русскаго путешественника" и нѣкоторыхъ другихъ прозаическихъ разсужденіяхъ и стихотворныхъ думахъ Карамзина. Г. Галаховъ останавливается со вниманіемъ на первомъ произведеніи, и уже здѣсь начинаетъ пробиваться его особенное пристрастіе къ Карамзину. Дѣло въ томъ, что нѣкоторые критики, сравнивая письма изъ-за границы Фонъ-Визина и Карамзина, справедливо замѣчали, что Фонъ-Визинъ гораздо глубже взглянулъ на политическое состояніе французскаго общества и еще за нѣсколько лѣтъ до революціи предвидѣлъ неизбежность тяжелаго кризиса, тогда какъ Карамзинъ, стоя въ самомъ центрѣ восколыхнувшихся страстей, говоритъ о нихъ нехотя и мелькомъ, словно о бездѣлицѣ. На это замѣчаніе г. Галаховъ возражаетъ, что такое сравненіе неумѣстно, ибо письма Карамзина адресовались къ семейству Плещеевыхъ, имѣли совершенно интимный характеръ, и потому странно было бы требовать отъ нихъ глубокомысленнаго, серьезнаго содержанія. „Объяснить молчаніе Карамзина о французской революціи — говоритъ онъ — тѣмъ, что Карамзинъ не замѣчалъ или не понималъ ея, также странно, какъ, напримѣръ, маловажность его долготѣйшей переписки съ братомъ объяснять тѣмъ, что онъ, въ теченіе всего этого времени, не обращалъ своей мысли ни на что серьезное. Мудрецы литературной механики могли бы проще открыть ларчикъ. Ни съ семействомъ Плещеевыхъ, ни съ братомъ своимъ Карамзинъ не имѣлъ намѣренія входить въ сужденія о важныхъ матеріяхъ — вотъ и все. Важное держалъ онъ про себя, а съ иными знакомыми и родными бесѣдовалъ о неважномъ" (стр. 10). Но тутъ есть одно обстоятельство, за которое не преминутъ ухватиться „мудрецы литературной механики": вѣдь долготѣйшая переписка съ братомъ не назначалась Карамзинымъ для печати, слѣдовательно, важность или неважность ея не можетъ быть вопросомъ для публики; письма же къ Плещеевымъ, литературно обработанныя, появились въ журналѣ, — стало быть, авторъ :

ходили содержаніе ихъ исполнѣ значительнымъ для того, чтобы заинтересовать имъ всѣхъ образованныхъ читателей. Тутъ дѣло мѣняется, и критики получаютъ полное право сравнивать письма Карамзина и Фонъ-Визина, если еще только поклонники послѣдняго не вступятся за него, ссылаясь на то, что къ частной перепискѣ Фонъ-Визина, напечатанной послѣ его смерти и безъ его желанія, невозможно прилагать тотъ же строгій критерій, какъ къ литературному произведенію Карамзина. Г. Галахову будетъ стоять немалого труда уговорить ихъ на податливость и, въ концѣ концовъ, онъ вмѣсто того, чтобы защитить Карамзина, самъ же подведетъ его подъ обухъ. А между тѣмъ вся бѣда произошла прямо отъ недосмотра: почтенный авторъ не замѣтилъ, что Карамзинъ умалчиваетъ о революціи не потому, чтобы онъ считалъ именно Плещеевыхъ неспособными къ такой серьезной бесѣдѣ и „держалъ про себя“ (по выраженію г. Галахова) свои мысли о такихъ серьезныхъ вещахъ. Причина кроется здѣсь гораздо глубже и на нее намекаетъ, — но только въ другомъ мѣстѣ и по совершенно другому поводу, — самъ г. Галаховъ. Это — тотъ политическій индифферентизмъ, то глубокое равнодушіе къ „бреннымъ формамъ“ государственной жизни, съ которымъ Карамзинъ смотрѣлъ въ юности на французскую революцію, а въ старости — на конституціонное движеніе, вызванное наполеоновскими войнами. Эту черту унаслѣдовалъ онъ отъ масонскихъ кружковъ, и ее, конечно, не могла стереть, изгладить изъ его души недолговременная платоническая любовь къ республикѣ.

Новое настроеніе, овладѣвшее Карамзинымъ со времени поездки за границу, г. Галаховъ характеризуетъ именемъ оптимизма и сближаетъ его съ воззрѣніями, выраженными Вольтеромъ въ „Разсужденіи о человѣкѣ“. Сущность этой доктрины состоитъ въ слѣдующемъ. Природа—любящая мать всего живущаго: она дала намъ разумъ, чтобы выбирать лучшія наслажденія, вложила въ насъ страсти, необходимыя для дѣятельности въ физическомъ и нравственномъ мірѣ. Страсти въ своихъ границахъ благотѣльны, внѣ границъ пагубны, и разумъ долженъ ограничивать ихъ. Человѣку даны свобода и право выбора: отъ него зависитъ, разнуздавъ свои страсти, погибнуть въ заблужденіяхъ, или, слѣдуя мудрымъ законамъ природы, сдѣлаться творцомъ своего благополучія, то есть привести страсти въ истинное равновѣсіе и образовать вкусъ для истинныхъ наслажденій. Каждый можетъ достигнуть такого счастья, и истинныя удовольствія равняютъ людей. Но это равенство счастья состоитъ не въ равной

суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, съ которыми наслаждается каждый данною ему долею блага. „Быть счастливымъ — говорить Филалетъ въ „Разговорѣ о счастіи“ — есть быть вѣрнымъ исполнителемъ естественныхъ мудрыхъ законовъ; а такъ какъ эти законы основаны на общемъ добрѣ, то быть счастливымъ есть быть добрымъ“. Эта радужная доктрина, въ основѣ которой лежало то же предвзятое отношеніе къ природѣ, какъ и въ масонствѣ, господствовала въ Европѣ задолго до поѣздки Карамзина; но, не устоявъ предъ напоромъ раціонализма и истинно-философской пытливости, была уже давно осмѣяна Вольтеромъ въ его Кандидѣ (1759 г.). Ходячая формула оптимизма: „все идетъ къ лучшему въ этомъ наилучшемъ изъ міровъ“ получила сильнѣйшій ударъ отъ руки того же писателя, который самъ нѣкогда исповѣдывалъ ее. Тѣмъ не менѣе, она пришлась какъ разъ впору умственному развитію Карамзина, и въ особенности совпала съ личнымъ расположеніемъ его духа. „Карамзинъ — говоритъ г. Галаховъ — не смотря на свою молодость, пользовался рѣдкою литературною извѣстностью, занималъ счастливое положеніе въ свѣтѣ, видѣлъ искреннее уваженіе въ себѣ и привязанность многихъ. Завѣтные желанія его исполнились: онъ совершилъ путешествіе за границу; по возвращеніи, посвятилъ себя литературѣ, согласно наклонностямъ сердца и убѣжденію просвѣщеннаго гражданина; въ обществѣ знакомыхъ нашелъ онъ удовлетвореніе и дружбу, и любви. Все въ немъ и вокругъ него устроилось хорошо и пріятно; будущее могло обѣщать еще лучшее и пріятнѣйшее“ (стр. 23). Къ этому времени относятся и всѣ свободолюбивыя стремленія Карамзина: его сочувствіе къ республиканской Швейцаріи (г. Галаховъ утверждаетъ даже, что Карамзинъ всегда „по чувству склонялся къ республикѣ“), его уваженіе къ дѣятелямъ конца XVIII вѣка и къ гуманно-космополитической цивилизации вообще; наконецъ, его сострадательный взглядъ на крѣпостное иго крестьянъ. „Конецъ нашего вѣка — говорилъ онъ тогда — почитали мы концомъ главнѣйшихъ бѣдствій человѣчества, и думали, что въ немъ послѣдуетъ важное, общее соединеніе теоріи съ практикою, умозрѣнія съ дѣятельностію; что люди, увѣрясь въ изыщности законовъ чистаго разума, начнутъ исполнять ихъ во всей точности, и подѣ сѣнію мира, въ кровѣ тишины и спокойствія, насладятся истинными благами жизни“. Осьмнадцатый вѣкъ не подтвердилъ оптимистическихъ надеждъ Карамзина; оказалось, что изъ феодальнаго лѣса нельзя выбраться, не поваливъ сотни — другой деревьевъ и не расчистивъ такимъ образомъ дальнѣйшаго пути; свобода, реализируясь въ

дѣйствительности, не могла рассчитывать на одни „изящные завоны разума“, и ей понадобились для того иныя, болѣе грубыя средства, взятые изъ грубой дѣйствительности. Это обстоятельство оттолкнуло Карамзина и внушило ему какой-то суевѣрный страхъ ко всѣмъ народнымъ движеніямъ. „Вѣкъ просвѣщенія—воскликнулъ онъ—не узнаю тебя! въ крови и пламени не узнаю тебя! среди убійствъ и разрушеній не узнаю тебя!“ Переставъ узнавать свои же идеи въ той суровой формѣ, въ которой воплощались онѣ въ политическомъ быту, Карамзинъ скоро почувствовалъ къ нимъ полнѣйшую антипатію и завелъ свои опасенія даже такъ далеко, что и въ людяхъ, окружавшихъ Александра Павловича, началъ видѣть Грегуаровъ, Карно и проч. и проч. (стр. 113). Идеи же ихъ казались ему „саранчею, вылѣзшею изъ сѣмянъ революціи“. Сочувствіе къ освобожденію крестьянъ скоро замѣнилось у Карамзина защитою рабства: вмѣсто умѣреннаго обрѣза, который онъ наложилъ было на своихъ крестьянъ, руководясь либеральнымъ образомъ мыслей, онъ ввелъ снова барщину, которую „требовала истинная филантропія“ (стр. 35). Философскій оптимизмъ колеблется и уступаетъ мѣсто другому, противоположному воззрѣнію: отъ убѣжденія, что „жизнь есть первое счастье“, что „въ мірѣ все прекрасно“, Карамзинъ переходитъ къ убѣжденію, что „здѣшній міръ есть училище терпѣнія“, что „вездѣ и во всемъ окружаютъ насъ недостатки“. Поводомъ къ такой переимѣнѣ въ мысляхъ послужила для Карамзина потеря первой его супруги—обстоятельство чисто личнаго свойства, въ противоположность тому общественному бѣдствію, которое, внушивъ поэму: „Разрушеніе Лиссабона“, съ тѣмъ вмѣстѣ побудило Вольтера отказаться отъ своего прежняго образа мыслей. Этотъ личный мотивъ, всегда служившій у Карамзина сильнѣйшимъ двигателемъ его внутренней жизни, кажется „любопытнымъ“ г. Галахову, но онъ и характеризуетъ—слѣдовало бы прибавить къ этому. „Замѣтимъ—продолжаетъ авторъ—что переимѣна воззрѣній, произведенная печальными обстоятельствами жизни, не противорѣчила постоянно доброму настроенію души Карамзина.. Ни благодушіе его не пострадало отъ новаго взгляда, ни новый взглядъ не потревожилъ благодушной его природы.. Несчастія могли усилить въ немъ меланхолію, къ которой онъ имѣлъ естественную склонность, но не могли поколебать вѣру въ совершенствованіе человека, въ неизбежное торжество добрыхъ началъ надъ злыми. Пессимистомъ онъ не могъ быть и никогда не былъ; всю жизнь свою онъ былъ оптимистомъ. Всегда и вездѣ сопровождало его утѣшеніе, только онъ прибѣгалъ за нимъ не къ системѣ Попа, а къ религіи, не къ

ученію деистовъ, а къ ученію собственно христіанскому^а. Но это окончательное отступленіе отъ деизма произошло уже гораздо позднѣе; къ концу же перваго періода литературной дѣятельности Карамзина, убѣжденія его формулируются въ такомъ видѣ: „По своему взгляду на міровое устройство, онъ былъ оптимистъ, усвоившій нѣкоторые положенія деизма. По своимъ понятіямъ объ основахъ и способахъ науки, онъ, въ противоположность мистикомасонамъ, требовалъ раціональности, которая, въ области знанія, допускаетъ лишь то, что можетъ быть изслѣдовано и воспринято умомъ, а не другими способностями духа. По понятіямъ о судьбѣ человѣчества, онъ былъ убѣжденъ въ предопредѣленномъ и, слѣдовательно, непреложномъ его совершенствованіи. Поступательный ходъ человѣческаго развитія измѣрялъ онъ поступательнымъ, спокойнымъ ходомъ просвѣщенія, разливаемого по всѣмъ классамъ, и доброй нравственности, его дѣйствіемъ образуемой. Только при этихъ двухъ условіяхъ (просвѣщенія и нравственности) законы и учрежденія могутъ приносить пользу; безъ нихъ же какъ тѣ, такъ и другіе, не смотря на либеральный просторъ свой, теряютъ значеніе и остаются втунѣ. Государственныя преобразованія должны совершаться мирнымъ путемъ, обходя всякіе поводы къ потрясеніямъ и насильственнымъ мѣрамъ, и относясь съ уваженіемъ къ исторіи народа. Европеизмъ, какъ высшая ступень человѣческаго развитія, служитъ неизбѣжнымъ, единственнымъ образцомъ для каждаго народа, выступающаго на историческое поприще: отсюда благоговѣніе предъ гениемъ Петра и оправданіе его реформы. Любовь къ добру и человѣчеству есть душа правленія, животворная его сила. Наилучшую его форму представляетъ монархія, надежнѣйшимъ способомъ устрояющая и внѣшнее величіе государства, и внутреннее благосостояніе гражданъ. Отношенія между добрымъ, челоуколюбивымъ монархомъ и его подданными должны быть обязательнымъ примѣромъ для отношеній между помѣщиками и крестьянами, своего рода уставомъ крѣпостнаго состоянія“ (стр. 141). Мудрено сформулировать мягче, эластичнѣе и благовиднѣе сущность общественной философіи Карамзина. Тутъ есть и „просвѣщеніе, разливаемое по всѣмъ классамъ народа“, и „государственныя преобразованія“ и проч. и проч. Но когда мы вспомнимъ, что это просвѣщеніе мирилось съ крѣпостнымъ состояніемъ народа, что это „непреложное совершенствованіе“ не должно было касаться самыхъ существенныхъ основъ гражданскаго и политическаго быта (въ этомъ послѣднемъ случаѣ совершенствованіе

называлось уже „насильственными мѣрами“); когда мы вникнемъ, наконецъ, въ печальный смыслъ послѣднихъ строкъ этого *profession de foi*, то наше сочувствіе къ Карамзину замѣтно умалится. Къ тому же, и въ этой умѣренной программѣ скоро произошло измѣненіе; изъ нея улетучилось „благоевѣніе передъ геніемъ Петра“, „оправданіе его реформы“,—и идеаломъ Карамзина становится Іоаннъ III, который „не обгонялъ умомъ настоящаго порядка вещей, не дѣйствовалъ воображеніемъ и не терялся мыслями въ возможностяхъ будущаго“. При такомъ условіи, „непреложное совершенствованіе“ человѣческаго рода должно уже было пойти такими микроскопическими шагами, что, въ сравненіи съ ними, и ползаніе черепахи могло бы показаться орлинымъ полетомъ.

IV.

Всѣ перемѣны и превращенія, совершавшіяся довольно быстро въ образѣ мыслей Карамзина, г. Галаховъ великодушно беретъ подъ свою защиту и, не объясняя ихъ коренными недостатками въ мышленіи этого писателя, заботится только о томъ, чтобы навязать читателю убѣжденіе, что все это хорошо, справедливо, послѣдовательно, и что Карамзину даже невозможно было прійти къ какимъ нибудь другимъ выводамъ. Словомъ, оптимизмъ Карамзина заразилъ и его адвоката, г. Галахова. При этомъ авторъ „Исторіи русской словесности“ не изображаетъ факты и мнѣнія объективно, какъ онъ это думаетъ, „ставя тѣ и другія среди современныхъ имъ данныхъ и не перемѣщая въ сферу данныхъ позднѣйшей эпохи“ (стр. 36):—совсѣмъ не такой смыслъ имѣютъ его горячія апологіи въ честь возлюбленнаго публициста-историка, въ дѣятельности котораго онъ видитъ не просто литературный фактъ, обладающій хорошими и дурными сторонами, но какъ бы нѣкій „священный“ завѣтъ для потомства, обязаннаго относиться къ этому завѣту не иначе, какъ съ чувствомъ умиленія и благоговѣнія. Не разбирая въ подробности воззрѣній Карамзина на французскій переворотъ XVIII столѣтія, замѣтимъ, что г. Галаховъ напрасно затушевываетъ приличными выраженіями настоящія мысли Карамзина, напрасно старается провести разграничительную черту между реформой и революціей съ цѣлью доказать, что сочувствія нашего историка не исключали перемѣнъ и улучшеній въ политическомъ строѣ государства; на дѣлѣ оказывается, что эта черта существуетъ только въ воображеніи

г. Галахова, Карамзинъ же постоянно переступалъ ее, трактуя, какъ революціонныя дѣйствія, ведущія къ гибели отечества, самыя полезныя попытки общественныхъ реформъ. Напуганный революціонными событіями, которыя, по словамъ г. Галахова, „относились къ ученіямъ XVIII вѣка, какъ крайній выводъ къ первоначальной посылкѣ“, Карамзинъ скоро отказался отъ своихъ мимолетныхъ симпатій къ этимъ ученіямъ, и шагнулъ въ другую крайность даже не консервативнаго, а чисто ретрограднаго свойства. Прежде онъ мечталъ о „соединеніи теоріи (то есть теоріи французскихъ энциклопедистовъ) съ практикой“, а впоследствии началъ преслѣдовать самую эту теорію, не разбирая уже формы, въ какой воплוצалась она въ дѣйствительности. Г. Галаховъ не ограничился тѣмъ, что отмѣтилъ этотъ переходъ, но пожелалъ объяснить его рациональнымъ образомъ, къ выгодѣ Карамзина. Также благовидно представляетъ намъ авторъ отступленіе Карамзина отъ своего первоначальнаго взгляда на крѣпостное состояніе крестьянъ. Причиной этого отступленія былъ, дескать, собственный опытъ филантропическаго помѣщика: онъ обложилъ крестьянъ умѣреннымъ оброкомъ, предоставивъ имъ самимъ распоряжаться собственными дѣлами, а они, въ награду за эту милость, спились съ круга, раззорились въ пухъ и наконецъ разочаровали барина въ его либерализмъ. Затянувъ послѣ того бразды правленія, онъ увидѣлъ плоды своего домоостроительства: „прежде крестьяне лѣнились, пили и терпѣли во всемъ недостатки: теперь они сдѣлались рачительными, трезвыми и зажиточными“. Послѣ такого опыта Карамзинъ, по мнѣнію г. Галахова, естественно пришелъ къ выводу, что „связь народа съ его главою, основанная на любви и признательности, должна скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ“ (стр. 35). При этомъ г. Галаховъ, хотя и не рѣшается прямо, изъ преданности къ Карамзину, перейти въ лагерь крѣпостниковъ (крѣпостное право нынѣ отмѣнено, и говорить противъ него можно); но придумываетъ однако всевозможныя средства—смягчить и облагородить крѣпостническія тенденціи автора „Бѣдной Лизы“. Первый приемъ его защиты состоитъ въ томъ, что Карамзинъ честно и искренно измѣнилъ свои прежнія понятія; никакія нечистыя побужденія не имѣли здѣсь мѣста, и кто станетъ предполагать ихъ,—„тотъ выкажетъ или узкость историческаго пониманія, которая не въ силахъ оцѣнивать разновременныя явленія, каждое въ средѣ своихъ условій, или предосудительную подозрительность, которая во всѣхъ и каждомъ чувствуетъ свое собственное больное мѣсто“. „Какъ будто при двухъ различныхъ убѣжденіяхъ—патетически восклицаетъ г. Галаховъ—

вся честность принадлежит одному и вся безчестность непременно стоит на сторонѣ другаго! какъ будто они оба не могутъ быть честны или безчестны!" Мы не будемъ пускаться въ объясненія, насколько тысяча душъ, принадлежавшая Карамзину, могла располагать его къ отстаиванью крѣпостнаго права, и много ли, мало ли эгоистическаго интереса сквозить въ тѣхъ его письмахъ, въ которыхъ онъ, напримѣръ, жалуется на невзность оброка крестьянами, на худое ихъ послушаніе, бранить своихъ дворовыхъ людей, отправленныхъ имъ въ полицію для наказанія, и рѣшается даже просить у государя „военнаго человѣка, чтобы послать его въ имѣнье и образумить крестьянъ“ (См. „Письма Карамзина къ И. И. Дмитріеву“, стр. 278, 375 и 396). Для біографа Карамзина все это, конечно, факты любопытные и, къ тому же, совершенно упущенные изъ виду г. Галаховымъ; но для насъ важнѣе знать не степень личной честности и искренности Карамзина, а степень его умственной силы и публицистическаго такта. На эти вопросы г. Галаховъ не отвѣчаетъ прямо, а пользуется уловкою. Именно онъ доказываетъ, что Карамзинъ и на этомъ пунктѣ стоялъ въ уровень съ лучшими мыслителями, что подобно ему смотрѣли на крестьянскій вопросъ Лопухинъ, Державинъ и... и Жанъ-Жакъ Руссо. Сопоставленіе именъ Державина и Руссо вызываетъ невольную улыбку, но мы постараемся воздержаться отъ нея и будемъ говорить серьезно. Что Гавріилъ Романовичъ Державинъ, объяснявшій французскую революцію „развращеніемъ философовъ“ (въ томъ числѣ и Руссо) и „лишнюю царскою добротою“, смотрѣлъ и на крестьянскій вопросъ одинаково съ Карамзинымъ—это не подлежитъ сомнѣнію и спору; что Лопухинъ, какъ масонъ, не возвысился въ этомъ случаѣ надъ догмой своего ученія, гласившаго, что для нравственнаго совершенствованія ничтожны всѣ, хотя бы самыя стѣснительныя, общественныя и государственныя формы,—это тоже не удивительно; но чтобы авторъ *Contrat social*, при всей своей парадоксальности, выходилъ изъ одного принципа съ Карамзинымъ,—въ этомъ позволительно усомниться, тѣмъ болѣе, что г. Галаховъ беретъ изъ его сочиненій только небольшую цитату, лишенную всякой связи съ общимъ смысломъ философіи Руссо. Женевскаго оракула спросили когда-то: нужно ли освобождать крестьянъ? и онъ отвѣчалъ на это: „Освобождайте! освобожденіе крестьянъ есть дѣло прекрасное и великое, но вмѣстѣ смѣлое и опасное; приступать къ нему нужно не кое-какъ, но съ соблюденіемъ извѣстныхъ предосторожностей“. Предосторожности, указанныя Руссо и состоявшія въ томъ, что общественный голосъ, строго провѣряемый,

долженъ назначать къ свободѣ только тѣхъ крестьянъ, которые отличились своимъ поведеніемъ, добрыми правами и достаточнымъ образованіемъ, причемъ даръ свободы вручается имъ торжественно, съ подобающею церемоніею, — эти предосторожности, невыполнимыя практически и даже ошибочныя по своему замыслу, могли подвергнуться самымъ основательнымъ возраженіямъ; но отсюда еще нельзя заключать, чтобы Руссо, сторонникъ безграничнаго развитія личности, признавалъ, какъ нормальный фактъ, угнетеніе и порабощеніе одного человѣка другимъ. Такой мысли нѣтъ у Руссо въ цитатѣ, приведенной г. Галаховымъ, тогда какъ Карамзинъ, отступившись отъ своего сочувствія къ ученіямъ XVIII-го вѣка, признавалъ крѣпостное право столь же неизбѣжнымъ и законнымъ явленіемъ, какъ монархическое устройство государства. „Связь народа съ его главою“ (т. е. съ монархомъ) — какъ сказано выше — должна скрѣплять и отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ“. Категорическое это утвержденіе едва ли можетъ быть поставлено рядомъ съ искусственными „предосторожностями“ Руссо. Да и вообще Карамзинъ не разъ высказывался въ томъ смыслѣ, что безумно возставать противъ социальныхъ перегородокъ и социального зла, протекающаго изъ неравенства общественныхъ положеній, изъ деспотизма власти и богатства, изъ господства грубой силы надъ правомъ и разумомъ. „Основаніе гражданскихъ обществъ — писалъ онъ въ послѣдніе годы своей жизни — неизмѣнно: можете низъ поставить наверху, но будетъ всегда низъ и верхъ, воля и неволя, богатство и бѣдность, удовольствіе и страданіе. Для существа нравственнаго нѣтъ блага безъ свободы; но эту свободу даетъ не государь, не парламентъ, а каждый изъ насъ самому себѣ съ помощію божіею. Свободу мы должны завоевать въ своемъ сердцѣ миромъ совѣсти и довѣренностью къ Провидѣнію“ (Неиздан. сочин., стр. 195). Итакъ, должно „завоевывать свободу въ своемъ сердцѣ“, не вооружаясь противъ внѣшнихъ условій, мѣшающихъ выйти наружу этому свободному чувству; ну, а затѣмъ, все можетъ остаться по старому — и крѣпостное право, и лихоимство судей, и гнетъ бюрократіи. Мало того: всякая попытка искоренить вѣковое наследственное зло, разрушить обветшавшія общественныя формы, является, по этому взгляду, какъ бы кощунствомъ надъ Провидѣніемъ, которое не даромъ же установило тотъ или другой порядокъ и сберегло обломки различныхъ историческихъ эпохъ. Это археологическое почтеніе къ старинѣ въ особенности разлилось у Карамзина съ тѣхъ поръ, какъ онъ получилъ титулъ „исторіографа“ Россійской Имперіи и погрузился съ особеннымъ усер-

діємъ въ изученіе той жизни, въ которой свободныя традиціи были вырваны съ корнемъ московскими князьями, а политическій застой возведенъ ими же на степень непреложнаго догмата. Отсюда почерпнулъ исторіографъ и новыя аргументы для своей вражды къ преобразованіямъ, и свѣжее негодованіе противъ всѣхъ реформаторовъ вообще. Негодованіе это излилось бурнымъ потокомъ въ извѣстной „Запискѣ о древней и новой Россіи“. „Всякая несправедливость въ государственномъ порядкѣ—писалъ Карамзинъ — есть зло, къ коему надобно прибѣгать только по необходимости, ибо мы болѣе уважаемъ то, что давно уважаемъ, и все дѣлаемъ лучше отъ привычки... Мудрые законодатели, принужденные измѣнять уставы политическіе, старались какъ можно менѣе отходить отъ старыхъ... Требуемъ болѣе мудрости охранительной, нежели творческой... Гораздо легче отмѣнить новое, нежели старое. Новости ведутъ къ новостямъ и благопріятствуютъ необузданностямъ произвола“ (стр. 101). Вотъ вѣнецъ политической мудрости Карамзина, предъ которою умиляется г. Галаховъ и заставляетъ насъ умиляться также; вотъ послѣднее слово того умственного поворота, который, начавшись съ отвращенія къ революціи и пройдя недолгій путь туманнаго поклоненія европеизму, какъ „высшей ступени человѣческаго развитія“, ударился подъ конецъ въ глухія дебри азіатскаго застоя и неподвижности. Въ странѣ, преисполненной всяческаго старовѣрства и грубыхъ, окаменѣлыхъ предразсудковъ, Карамзинъ толковалъ о превосходствѣ „охранительной“ силы предъ силою творческою и организующею; народу, задыхавшемуся подъ тяжестью вѣковаго гнета, онъ рекомендовалъ — избѣгать „новостей въ государственномъ порядкѣ“ и страшиться „необузданностей произвола“. Какъ много во всемъ этомъ умственной зрѣлости, публицистическаго такта и здраваго пониманія настоящихъ потребностей эпохи!

Съ такимъ-то образомъ мыслей, съ такими симпатіями и антипатіями, вошелъ Карамзинъ въ кругъ высшаго русскаго общества, въ которомъ, подъ прямымъ вліяніемъ самого государя, составила довольно сильная фракція людей честныхъ и образованныхъ, готовыхъ на важныя уступки либеральнымъ стремленіямъ вѣка. Какое положеніе занялъ въ этомъ обществѣ Карамзинъ? какъ отнесся онъ къ борьбѣ идей, происходившей въ правительствѣ и отчасти въ литературныхъ кружкахъ? Чью программу взялся онъ поддерживать и на что устремилъ стрѣлы своей діалектики? Въ 1811 г., при личномъ знакомствѣ съ Александромъ Павловичемъ, онъ дебютируетъ „Запиской о древней и но-

вой Россіи“, изъ которой мы привели уже такую характеристи-ческую цитату. Цѣль записки состояла въ томъ, чтобы подорвать кредитъ Сперанскаго и внушить государю, отличающемуся своей подозрительностью, недовѣріе и даже опасеніе ко всѣмъ преобразовательнымъ мѣрамъ, предложеннымъ его умнымъ и энергичнымъ совѣтникомъ. „Рѣзкая, хотя и благонамѣренная, критика того, что было совершено въ Россіи въ первое десятилѣтіе XIX вѣка, не понравилась государю“, говоритъ г. Галаховъ. Но Карамзинъ не унывалъ и настойчиво продолжалъ свою агитацію, поддерживаемый всѣми ретроградными элементами въ правительствѣ. Когда онъ, въ 1816 г., пріѣхалъ въ Петербургъ съ первыми томами своей исторіи, либералы отъ него отшатнулись, а враги Сперанскаго встрѣтили его дружески, какъ стараго союзника; самъ графъ Аракчеевъ обласкалъ его и замолвилъ за него слово государю,—то вѣское слово, которое имѣло рѣшительное вліяніе какъ на ускореніе печатанія исторіи, такъ и на награду, данную ея автору. „Литераторы и правительственные лица—читаемъ мы у г. Галахова—съ разными чувствами встрѣтили москвича, который хотя не имѣлъ никакого участія въ администраціи, но понималъ, что дѣлалось въ Россіи и судилъ о томъ откровенно, съ известной точки зрѣнія. Если многіе изъ первыхъ видѣли въ немъ либеральнаго нововводителя, то нѣкоторые между вторыми разумѣли его, какъ сторонника антилиберальныхъ идей въ политикѣ. Самого Сперанскаго, противъ котораго главнѣйшимъ образомъ направлена „Записка о древней и новой Россіи“, не было въ столицѣ, но были другіе, на глаза которыхъ реформаторъ въ словесности отсталъ отъ вѣка по своимъ понятіямъ о реформахъ государственныхъ“. Откуда вышли эти разныя чувства, съ которыми Карамзинъ былъ встрѣченъ въ Петербургѣ? справедливо ли упрекали его въ отсталости понятій о реформахъ государственныхъ?—на все это г. Галаховъ отвѣчаетъ весьма уклончиво и опять таки старается представить дѣло въ благопріятномъ свѣтѣ для Карамзина. Прежде всего онъ пробуетъ уравновѣсить нападки Карамзина на Сперанскаго съ тѣми осужденіями, которыя находилъ самъ Карамзинъ въ лагерѣ доносчиковъ, подобныхъ Кутузову:—если Карамзинъ возставалъ противъ тогдашнихъ реформаторовъ за то, что они стремились слишкомъ далеко впередъ, то, съ другой стороны, въ русскомъ обществѣ встрѣчалось не мало лицъ, полагавшихъ, что и самого Карамзина слѣдуетъ, для пользы отечества, осадить нѣсколько назадъ. Шишковъ съ компаніей увѣрили, напримѣръ, что реформа литературнаго слога, произведенная Карамзинымъ и его послѣдователями, скрывала подъ собою

неблагонамѣренное направленіе мысли и чувства; различіе между языками славянскимъ и русскимъ, установленное этою реформою, объяснялось суровымъ славянофиломъ, какъ результатъ злостнаго желанія отдѣлить духовныя книги отъ свѣтскихъ и привлечь умъ и сердце читателей къ однимъ свѣтскимъ писаніямъ, гдѣ столько разставлено сѣтей къ „помраченію ума и уловленію нравственности“. „Языкъ—провозглашалъ Шишковъ, дѣлалъ въ своихъ противниковъ—есть душа народа, зеркало нравовъ, показатель просвѣщенія, неумолчный проповѣдникъ дѣлъ. Возвышается народъ,—возвышается языкъ: благонравенъ народъ,—благонравенъ языкъ. Никогда безбожникъ не можетъ говорить языкомъ Давида: слава небесъ не открывается ползающему въ землѣ червь. Никогда развратный не можетъ говорить языкомъ Соломона: свѣтъ мудрости не озаряетъ утопающаго въ страстяхъ и порокахъ... Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, тамъ нѣтъ въ языкѣ благочестія. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованій, тамъ въ языкѣ не возсіяетъ истина; тамъ въ наглыхъ и невѣжественныхъ писаніяхъ господствуетъ одинъ только развратъ и ложь“ (стр. 76). Это обращеніе *ad hominem* — приемъ, донинѣ весьма употребительный между нашими „патріотическими“ публицистами—высказывалось, по крайней мѣрѣ, гласно, въ печати, и допускало публичное же возраженіе со стороны обвиняемыхъ лицъ; но не всѣ враги Карамзина довольствовались этимъ не вполне надежнымъ средствомъ вредить ему. Между ними же нашелся одинъ, а именно Кутузовъ, кураторъ московскаго университета, который, при каждомъ возвышеніи Карамзина, громилъ его еще негласными доносами, адресованными то къ тому, то къ другому изъ высокопоставленныхъ лицъ. Такъ, напримѣръ, по случаю пожалованія Карамзину ордена Владимира 3-й степени въ 1810 году, Кутузовъ, возмущенный до глубины души этимъ отличіемъ, писалъ къ министру народнаго просвѣщенія, графу А. К. Разумовскому: „Не могу равнодушно глядѣть на распространяющееся у насъ уваженіе къ сочиненіямъ г. Карамзина. Вы знаете, что оныя исполнены вольнодумческаго и якобинческаго яда... Карамзинъ явно (!!) проповѣдуетъ безбожіе и безначаліе. Не орденъ ему надобно бы дать, давно бы пора его запереть... Ваше есть дѣло открыть государю глаза и показать Карамзина во всей его гнусной наготѣ, яко врага Божія и яко орудіе тьмы“ (Письма К-на къ Дмитріеву). По выраженію: „вы знаете“, употребленному Кутузовымъ въ этомъ доносѣ, можно думать, что и графъ Разумовскій, преклонявшій, какъ извѣстно, свой слухъ къ внушеніямъ извѣстнаго клерикала

и обскуранта Жозефа де-Местра, былъ тоже не прочь подмѣтнуть въ сочиненіяхъ Карамзина разныя „сумнительныя мѣста“. Отсюда видно, что Карамзинъ, уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ, отказавшись отъ своихъ либеральныхъ стремленій, все еще возбуждалъ противъ себя подозрительность невѣжества кое-какими приемами мысли и оборотами рѣчи, сохранившимися у него отъ прежнихъ вліяній, и еслибы г. Галаховъ ограничился указаніемъ превосходства Карамзина надъ Кутузовымъ, Шишковымъ и другими подобными же дѣателями, то мы ни на одну минуту не стали бы противорѣчить ему и почли бы несправедливымъ охлаждать его симпатію, совершенно законную въ этихъ предѣлахъ. Мы сказали бы: да, Карамзинъ, какъ реформаторъ слога, какъ издатель журналовъ, приучившихъ публику къ этого рода чтенію; наконецъ, какъ человѣкъ европейски-образованный, стоялъ цѣлою головою выше тупыхъ неучей и злонамѣренныхъ доносчиковъ, способныхъ задушить самую невинную мысль и затравить ни за что, ни про что кротчайшаго въ мірѣ индивидуума:—защитникъ золотой середины, онъ не одобрялъ, напримѣръ, ни „министерства затмѣнія“, руководимаго Шишковымъ, ни страшныхъ военныхъ поселеній, введенныхъ Аракчеевымъ, ни губительной цензуры, стоявшей, по его выраженію, „какъ черный медвѣдь“, на дорогѣ писателя; въ немъ нашлось столько трезвости мысли и стойкости убѣжденій, чтобы не поддаться мистическому повѣтрію, которое, во второй половинѣ царствованія Александра Павловича, повѣяло у насъ сильнѣе и вреднѣе, чѣмъ при своемъ появленіи, въ послѣдней четверти XVIII столѣтія. Всего этого, однако, слишкомъ недостаточно для того, чтобы посадить Карамзина на такомъ высокомъ пьедесталѣ, какой усиливается создать ему г. Галаховъ. Дальше этой золотой середины Карамзинъ никогда не пошелъ, и коль скоро поднималась рѣчь не о паллятивныхъ только средствахъ къ ограниченію зла, а о совершенномъ его искорененіи путемъ широкихъ и послѣдовательныхъ реформъ, то онъ сейчасъ же начиналъ защищать *statu quo*, обнаруживая свои точки соприкосновенія съ наиболѣе отсталыми партіями въ обществѣ и правительствѣ. Такъ дѣйствовалъ онъ по отношенію къ Сперанскому и вообще ко всѣмъ либеральнымъ представителямъ тогдашней администраціи, оказывая вольную или невольную услугу тому самому мракобѣсію, противъ излишествъ котораго онъ же впоследствии поднималъ свой голосъ—конечно, лишь при удобномъ случаѣ и, большею частію, по секрету. На этомъ основаніи баронъ Корфъ имѣлъ полное право сказать о Карамзинѣ, что „современная публика нашла въ его запискѣ (о древней и новой Россіи) свое

собственное темное неудовольствіе, облеченное въ форму нязичной рѣчи“, и что записка эта „представляетъ собою итогъ толковъ тогдашней консервативной оппозиціи и тѣхъ массъ, которыя, обетшавъ, требовали обновленія“. Онъ же полагаетъ, что изъ сужденій Карамзина о Сперанскомъ „впослѣдствіи образовались важнѣйшія обвиненія противъ государственнаго секретаря и, частію, самыя пружины, употребленныя къ его низверженію“. („Жизнь графа Сперанскаго“, томъ I, стр. 132, 142—3). Г. Галахову извѣстны факты, изложенные въ книгѣ барона Корфа, и онъ даже соглашается, повидимому, съ нѣкоторыми мнѣніями біографа Сперанскаго; но его собственные выводы мало выигрываютъ отъ этого, а историческая критика остается, по прежнему, одностороннею и пристрастною въ пользу одного изъ обсуждаемыхъ направленій. Баронъ Корфъ, напримѣръ, называетъ Карамзина органомъ „консервативной оппозиціи“ и темнаго неудовольствія „обетшавшихъ массъ“, а г. Галаховъ беретъ изъ этой характеристики только одно первое слово и объявляетъ, что оно справедливо, такъ какъ Карамзинъ выражалъ, дѣйствительно, „консервативное мнѣніе о работахъ Сперанскаго“ (стр. 100). Дальнѣйшія же поясненія онъ опускаетъ совсѣмъ, и выходитъ, какъ будто бы баронъ Корфъ говоритъ то же самое, что и г. Галаховъ. Между тѣмъ разница въ ихъ мнѣніяхъ слишкомъ замѣтна, и въ то время, какъ г. Галаховъ признаетъ Карамзина „консерваторомъ въ разумномъ смыслѣ этого слова“ (стр. 99), баронъ Корфъ иронически замѣчаетъ: „чего именно желалъ Карамзинъ, то остается, по крайней мѣрѣ, для насъ неразгаданнымъ... въ запискѣ—только критика новаго, но нѣтъ ни критики стараго, ни окончательнаго вывода, въ которомъ выразилось бы положительное заключеніе сочинителя“. Для г. Галахова, напротивъ, совершенно понятно, чего хотѣлъ Карамзинъ: онъ хотѣлъ, изволите видѣть, „утвердить систему государственныхъ улучшеній на историческомъ подножіи, т. е. допускалъ поступательное движеніе народа впередъ не иначе, какъ на условіяхъ прошедшей и настоящей его жизни, на соображеніяхъ съ дѣйствительными его потребностями“. Опять туманныя фразы, отводящія глаза читателю; опять шифрованная грамота, къ которой невозможно подобрать ключа! Какъ можетъ совершиться поступательное движеніе при сохраненіи всѣхъ условій настоящей жизни? Кто сказалъ г. Галахову, что дѣйствительныя потребности народа, быть можетъ, неясно имъ сознаваемыя, были поняты Сперанскимъ хуже, чѣмъ Карамзинымъ? Впрочемъ, скажемъ спасибо автору и за то уже, что онъ не рѣшился перенести дѣликомъ въ свою исторію словесности тѣхъ рѣзкихъ фи-

липпикъ противъ русскаго либерализма, которыми онъ украсилъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, свою статью, написанную по поводу столѣтней годовщины рожденія Карамзина. „Своими сочувствіями — писалъ тогда г. Галаховъ — Карамзинъ стоялъ по ту сторону революціи, не допуская внутренней связи между нею и вѣкомъ просвѣщенія, то есть XVIII вѣкомъ до 1789 г.; либералы, напротивъ, стояли по эту сторону революціи съ такими мнѣніями и требованіями, которыя Карамзинъ уподоблялъ саранчѣ, вышедшей изъ оставленныхъ ею (то есть революціею) сѣмянъ. Согласіе между нимъ и ими оказывалось невозможнымъ... Карамзина трудно было сбить на этомъ пунктѣ, потому что, надобно сказать правду, онъ былъ умнѣе либералистовъ и не въ примѣръ ихъ здравомысленнѣе... Независимо отъ разногласія въ мнѣніяхъ, либералисты представляли для Карамзина еще другую слабую сторону. Онъ умѣлъ бы почтить противоположный образъ мыслей, еслибы эти мысли относились къ искреннимъ убѣжденіямъ, еслибы онъ были не только сознательно восприняты умомъ, ищущимъ истины, но и прочно приняты сердцемъ, желающимъ употребить истину на служеніе людямъ... Въ либералистахъ, какъ видно, онъ не замѣчалъ требуемой имъ нравственной самостоятельности“. („Журн. Министер. Народн. Просв.“ 1867 г., № 1). Отдѣлавъ гуртомъ всѣхъ „либералистовъ“ за недостатокъ здравомыслія и искренности убѣжденій, г. Галаховъ одобрялъ Карамзина за его презрительный отзывъ о статьяхъ Куницына и находилъ похвальнымъ его равнодушіе къ такимъ капитальнымъ литературнымъ явленіямъ, каковымъ была, въ свое время, книга Н. Тургенева: „Опытъ теоріи налоговъ“. О Сперанскомъ г. Галаховъ не говорилъ прямо; но такъ какъ, по его словамъ, „организаціонныя работы Сперанскаго производились въ томъ же либеральномъ направленіи“, то, понятно, что и послѣдній подпадалъ, наряду съ Куницынымъ и Тургеневымъ, огульному осужденію г. Галахова. Нынѣ г. Галаховъ не такъ строгъ къ нашимъ политическимъ теоретикамъ александровскаго времени и, обвиняя ихъ (словами Карамзина) „въ излишнемъ уваженіи формъ государственности“, въ ущербъ духу, наполняющему эти формы, съ тѣмъ вмѣстѣ считаетъ и Карамзина несвободнымъ отъ упрека въ излишнемъ пренебреженіи къ государственному строю, въ излишней увѣренности, что индивидуальное развитіе возможно и безъ хорошихъ учреждений. Но упрекъ, мимоходомъ брошенный, не нарушаетъ общаго хвалебнаго тона книги, и г. Галаховъ, даже высказывая его, пользуется случаемъ сослаться на одну цитату, отрывъ имъ въ „Исторіи государства Россій-

скаго" (103). Что же касается до этого послѣдняго произведенія, то, въ разборѣ его, г. Галаховъ находитъ множество поводовъ отнестись сочувственно къ образу мыслей Карамзина. „Исторію государства Россійскаго“ онъ разсматриваетъ въ связи съ „Запиской о древней и новой Россіи“, и уже по этому одному обстоятельству можно предвидѣть, какъ снисходительно отнесется онъ къ ея недостаткамъ и какъ старательно выставитъ впередъ всѣ ея достоинства, даже очень спорныя и сомнительныя. Исторію Карамзина, также какъ и его „Записку“, г. Галаховъ признаетъ сочиненіемъ тенденціознымъ, то есть имѣющимъ цѣлью не только познакомить насъ съ событіями минувшаго, но и расположить ихъ по личному идеалу историка, навести читателя, преднамѣренному ихъ группировкою, на практическіе выводы, приложимые къ современной жизни. Рассказывая историческія происшествія, слѣдя за возникновеніемъ и развитіемъ Московскаго государства, Карамзинъ всегда имѣетъ въ виду вопросы, возбужденные современностью, и нерѣдко выходитъ самъ изъ-за кулисъ повѣствованія, чтобы провести какую нибудь параллель или выдвинуть начало, ему любезное. Въ своемъ предисловіи къ „Исторіи“ Карамзинъ пишетъ: „должно знать, какъ искони мятежныя страсти волновали мятежное общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала ихъ бурныя стремленія, чтобы учредить порядокъ, согласить выгоды людей и даровать имъ возможное на землѣ счастье“. Хотя въ этихъ строкахъ нѣтъ прямого указанія на французскую революцію, но, по мнѣнію г. Галахова, оно безспорно подразумѣвается, тѣмъ болѣе, что позднѣе, въ характеристикѣ Іоанна Грознаго, Карамзинъ выискивалъ такіе случаи упомянуть прямо о „дикихъ страстяхъ“, свирѣпствовавшихъ во время французской революціи. „Исторія“, наряду съ „Запиской“, отстаиваетъ крѣпостное право, и Карамзинъ не только не осуждаетъ Годунова за прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ, но еще, напротивъ, видитъ въ этомъ законѣ добродѣтельное желаніе утвердить между владѣльцами и сельскими работниками „союзъ неизмѣнный, какъ бы семейственный, основанный на единствѣ выгодъ, на благосостояніи общемъ“. Въ „Запискѣ“ Карамзинъ нападалъ на Сперанскаго за его разрушительныя стремленія, за его намѣренія—пошатнуть или, по крайней мѣрѣ, видоизмѣнить установившійся вѣками строй государственной жизни; въ „Исторіи“ онъ идеализируетъ и этотъ строй, типъ власти, способствовавшій его установленію. Соотвѣтственно этому коренному началу построены и весь планъ „Исторіи государства Россійскаго“. Не мудрено, что, при такомъ взглядѣ

на развитіе нашей исторической жизни, Карамзинъ проглядѣлъ участіе въ ней народа, который всегда представляется у него тупою и безличною массою, только напрасно мѣшающею грандіозному шестію гусударственнаго идеала. Не будь этого народа, этой темной толпы, ни на что не нужной,—и російская исторія получила бы еще болѣе величія и назидательности, сосредоточившись безраздѣльно въ біографіяхъ двухъ-трехъ лицъ, заправлявшихъ ея судьбами. Г. Галаховъ самъ замѣчаетъ, что такой историческій взглядъ противорѣчитъ въ конецъ всѣмъ современнымъ требованіямъ науки; но, какъ усердный адвокатъ, онъ старается перемѣстить центръ тяжести возраженій на ту точку, на которой они были бы менѣе серьезны и опасны для историка государства Россійскаго. „Карамзина—говоритъ онъ—упрекали въ томъ, что онъ изображеніе внутренней жизни народа не вставлялъ въ самый рассказъ, а помѣщалъ его въ отдѣльныя главы, примыкая ихъ, какъ бы дополненіе, къ концу каждаго періода,—упрекъ, по моему, незаслуженный, отзывающійся педантизмомъ. Не все ли равно, гдѣ бы ни стояло описаніе внутренняго быта, лишь бы оно было надлежащее?“ Какъ будто упреки Карамзину касаются, дѣйствительно, только выбора мѣста для описанія внутренней жизни народа, а не того, что эта жизнь совершенно пренебрежена имъ и разсматривается, какъ лишній, механическій придатокъ къ исторіи государства. Какъ будто въ этомъ мѣстѣ заключается вся сила, и нужно только переплести нѣскольکو иначе главы Карамзинскаго труда, то есть поставить первыя послѣдними и послѣднія первыми, чтобы легкомысленные упреки упали сами собою. Главная же суть обвиненія—бездушность идеала писателя и невѣрность историческихъ характеристикъ, искаженныхъ съ умысломъ или безъ умысла, ради предвзятой узкой теоріи—оставляется г. Галаховымъ совсѣмъ безъ отвѣта. „Не наше—говоритъ онъ—дѣло объяснять, вѣрны ли въ историческомъ смыслѣ характеристики лицъ у Карамзина, то есть согласны ли онѣ съ дѣйствительными ихъ образами въ лѣтописяхъ и иныхъ памятникахъ“; не его же дѣло опредѣлить и степень „просвѣтительнаго содержанія“ въ самомъ идеалѣ Карамзина. Устранивъ себя отъ прямаго сужденія объ этихъ предметахъ, обязательнаго для историка просвѣтительныхъ идей, г. Галаховъ не уберется, однако, отъ слѣдующей патріотической тирады: „какъ бы ни отзывалась критика о научномъ значеніи „Исторіи государства Россійскаго“—но по важности и благородству идеаловъ (?), по искусству, съ какимъ они проведены, по силѣ патріотическаго чувства,

равно по искусству постройки и красотѣ внѣшней формы, трудъ Карамзина есть твердый памятникъ, воздвигнутый во славу родной земли и въ свою собственную славу: онъ будетъ говорить потомству о своемъ творцѣ до тѣхъ поръ, пока, выражаясь словами поэта, „есть у насъ отечество!“ (стр. 110). Громко, но не убѣдительно.

V.

Мы пишемъ не курсъ литературы, а рецензію на книгу, и находимся, слѣдовательно, въ нѣкоторой невольной зависимости отъ ея автора. О чемъ онъ говоритъ подробно и доказательно, о томъ мы должны упоминать лишь вскользь, съ единственной цѣлью — не пройти молчаніемъ хорошихъ сторонъ разбираемаго труда; но то, что упущено авторомъ изъ виду или истолковано неправильнымъ образомъ, то и должно составить предметъ нашего особеннаго вниманія. По этимъ соображеніямъ, мы не распространялись о качествахъ литературнаго слога Карамзина, о борьбѣ, возникшей изъ-за него между поклонниками славянщины и адептами новой литературной школы, между „Бесѣдой“ и „Арзамасомъ“; мы не останавливались также на специальныхъ особенностяхъ того сентиментальнаго направленія, которое, появившись до Карамзина, достигло при немъ наибольшаго развитія; подробное разсмотрѣніе журнальной дѣятельности Карамзина также не входило въ наши расчеты. Всѣмъ этимъ занялся старательно г. Галаховъ, и его объясненія, поскольку они касаются второстепенныхъ сторонъ дѣла и поддерживаются обширной начитанностью автора, могутъ быть признаны удовлетворительными. Изъ этихъ объясненій видно довольно ясно: какое измѣненіе внесено Карамзинымъ въ строй русскаго языка, откуда занесены къ намъ первыя сѣмена сентиментализма въ драмѣ и въ повѣсти, и въ какомъ духѣ относились журналы Карамзина къ политическимъ событіямъ въ Европѣ и къ дѣятельности правительства въ нашемъ отечествѣ. Знакомство съ литературою предмета обнаружено въ достаточной степени; цитатъ разнаго сорта — множество. Но начитанность не замѣняетъ таланта, и узкость понятій еще ярче сквозитъ между фактическими знаніями. Покуда рѣчь идетъ о слогахъ карамзинистовъ и пишкенистовъ, г. Галаховъ совершенно на своемъ мѣстѣ; содержаніе „Марѣи Посадницы“ и разныхъ статей, помѣщенныхъ въ „Московскомъ Журналѣ“ и въ „Вѣстникѣ Европы“, онъ изучилъ также весьма изрядно; о крайностяхъ

сентиментализма, проявившагося, съ легкой руки Карамзина, въ русскихъ чувствительныхъ путешествіяхъ, онъ подаетъ мнѣнія далеко не безъосновательныя. Когда же автору приходится высказывать приговоръ надъ сущностью взглядовъ, выражаемыхъ изящнымъ слогомъ, надъ общественнымъ значеніемъ литературной роли Карамзина, — онъ постоянно хитритъ, перетолковываетъ свои же данныя, впадаетъ въ дионирамбъ вмѣсто критики и преднамѣренно умалчиваетъ обо всемъ, что могло бы бросить иной свѣтъ на вопросы, имъ обсуждаемые. Образчики всего этого мы представляли уже выше нашимъ читателямъ; но мы исполнили бы только половину нашей задачи, еслибы, рядомъ съ радужнымъ изображеніемъ Карамзина, не поставили его настоящей исторической обликъ въ томъ видѣ, въ какомъ рисуется онъ по историческимъ свѣдѣніямъ и по собственнымъ сочиненіямъ этого писателя. При этомъ мы воспользуемся и фактами, приведенными у г. Галахова, но сгруппируемъ ихъ нѣсколько иначе, подъ другимъ угломъ зрѣнія, и дополнимъ тѣми необходимыми комментаріями, которыхъ не пожелалъ дать намъ авторъ „Исторіи русской словесности“.

Литературная дѣятельность Карамзина началась съ осьмидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, и первый періодъ ея прошелъ подъ вліяніемъ того мистицизма, который появился въ Европѣ, какъ противодѣйствіе сильно распространявшемуся ученію французскихъ энциклопедистовъ. Этотъ мистицизмъ, извѣстный подъ именемъ масонства, имѣлъ нѣкоторое сродство съ деистической философіей, и масоны, также какъ и деисты, послѣдователи Локка, стремились осуществить въ практической жизни „религію ума“, или „натуральную религію“, чуждую догматизма и конфессіональной розни. Но это тожество основнаго принципа касалось только сферы религіозныхъ вопросовъ, да и тутъ еще масонство прихватило съ теченіемъ времени столько наносныхъ элементовъ, что, благодаря имъ, „естественная религія“ обратилась въ какой-то своеобразный культъ, замѣнившій старую обрядность новыми манипуляціями. Въ вопросахъ же науки и политической жизни масонство отошло еще дальше отъ своего первоначальнаго источника, — и въ то время, какъ деисты раціональнаго толка расширяли область научной критики и проповѣдывали политическую свободу, европейскіе мистики пытались воскресить элевзинскія таинства въ наукѣ и относились съ пренебреженіемъ къ правильному развитію гражданскихъ и политическихъ формъ. Только немногочисленная фракція масонскаго ордена примкнула къ политической оппозиціи и организовали изъ себя тайныя общества, имѣвшія цѣлью при образованіе государственнаго строя; эти-то уклоненія и возбудили

въ правительствахъ недовѣріе къ масонскимъ ложа́мъ вообще. Въ русскомъ масонствѣ не было совсѣмъ политически-оппозиціоннаго характера, который проникнулъ отчасти въ западныя масонскія ложи, и наши мистики, погружаясь съ большою охотою въ отысканіе философскаго камня, мало интересовались недостатками общественной организаціи, какъ бы ни были они крупны и возмутительны для человѣческаго чувства. Нравственное совершенствованіе, которое озабочивало собой русскихъ масоновъ, могло уживаться, по ихъ мнѣнію, со всякой общественной формой, со всякимъ политическимъ устройствомъ; поэтому дѣятельность ихъ ограничивалась филантропическими подвигами,—правда, весьма почтенными, но слишкомъ недостаточными, чтобы произвести серьезное измѣненіе къ лучшему,—да пропагандой „нравоученія и высокомыслія“, въ противоположность „низкому любомудрію“ новѣйшихъ философовъ. „Развратъ въ наукахъ—твердили масоны—происходитъ отъ незнанія источника, изъ котораго онѣ истекали, и отъ незнанія предмета, куда онѣ текутъ. Науки суть плодъ созрѣвшаго безсмертнаго человѣческаго духа. Если человѣкъ цѣлую жизнь упражняется въ томъ же, въ чемъ и животныя, то наука разума не только ему бесполезна, но и пагубна. Когда же человѣкъ имѣетъ главною своею цѣлью совершенство, состоящее въ познаніи безсмертныхъ истинъ, то наука разума приноситъ ему пользу“. Подъ этимъ „упражненіемъ въ томъ же, въ чемъ упражняются и животныя“, масоны разумѣли послѣдованіе той философской школѣ, которая не проклинала человѣческихъ страстей и склонностей, но, признавая ихъ за благодѣтельный даръ природы, учила не искоренять ихъ, а только сдерживать въ извѣстныхъ границахъ и направлять къ хорошимъ цѣлямъ.

Что же касалось до политическихъ преобразованій, то они вовсе исключались изъ программы „Дружескаго Общества“. Лопухинъ, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ членовъ этого кружка, объясняя разницу между русскимъ и западно-европейскимъ масонствомъ, прямо говоритъ: „нашего общества предметъ былъ добродѣтель и стараніе, исправляя себя, достигать ея совершенства при сердечномъ убѣжденіи въ совершенномъ ея въ насъ недостаткѣ; а система наша: что Христосъ—начало и конецъ всякаго блаженства“. Тайныя же политическія общества, по мнѣнію Лопухина, основаны на томъ, чтобы—„отвергать Христа, а обществъ оныхъ предметъ: заговоръ буйства, побуждаемаго глупымъ стремленіемъ къ необузданности и неестественному равенству“. Въ своемъ масонскомъ катехизисѣ Лопухинъ предписываетъ правовѣрному масону чтить правительство и „во всякомъ страхѣ повиноваться

ему, не только доброму и кроткому, но и строптивому". Нельзя рѣзче осудить всѣ реформаторскія попытки, выходящія изъ среды самого общества, помимо или противъ желанія вліятельныхъ лицъ; нельзя выразить болѣе терпѣливой готовности сносить ошибки и притѣсненія силы. Масоны не только чуждались политическихъ замисловъ, но и ихъ религіозное вольнодумство,—противъ котораго несовѣсть безъ основанія витѣйствовали хранители ортодоксіи,—будучи въ сущности отрицаніемъ конфессіональныхъ распрей, прекрасно уживалось, однако, съ формальнымъ, исключительнымъ догматизмомъ господствующаго вѣроученія. Филантропическое настроеніе масоновъ также не было настолько сильно, чтобы оттолкнуть ихъ отъ самаго негуманнаго учрежденія—крѣпостнаго права,—и тотъ же Лопухинъ, желая видѣть крестьянъ благоденствующими, съ тѣмъ вмѣстѣ, отстаивалъ крѣпостное право, нужное, по его мнѣнію, „для обузданія народа". Пробывъ около трехъ лѣтъ въ новиковскомъ кружкѣ, Карамзинъ надолго сохранилъ въ себѣ нѣкоторыя черты его вліянія. Отъ природы склонный къ меланхоліи и самоуглубленію, одаренный сильной фантазіей и чувствительностью, болѣзненно развившейся отъ чтенія сентиментальной беллетристики, Карамзинъ легко поддавался ученію, которое требовало отъ человѣка внутренней работы надъ самимъ собою, сулило въ отдаленной перспективѣ возвращеніе золотого вѣка и, узаконяя гуманный взглядъ на человѣческую личность, не смущало однако своихъ адептовъ необходимостью опасной борьбы противъ учреждений, противорѣчащихъ этому гуманному взгляду. Словомъ, всѣ выдающіяся стороны натуры Карамзина находили себѣ удовлетвореніе въ „Дружескомъ Обществѣ"; умственное же развитіе его, видимо, не возмущалось крайнимъ невѣжествомъ людей, отрицавшихъ всѣ новѣйшія пріобрѣтенія науки. Между тѣмъ первыя впечатлѣнія молодости сильно ложатся на воспримчивую душу—и вотъ мы замѣчаемъ, что, даже отрѣшившись въ послѣдствіи отъ мистическихъ бредней своихъ бывшихъ друзей, Карамзинъ навсегда остался масономъ по многимъ существеннымъ пунктамъ своихъ политическихъ и нравственныхъ убѣжденій. Уваженіе въ личности человѣка, независимо отъ ея социальнаго вѣса и значенія, твердое сознаніе, что и внѣ государственной службы, одною частною дѣятельностью, можно принести пользу обществу, полнѣйшая вѣротерпимость, блистательно проявившаяся у Лопухина во время производства имъ слѣдствія надъ духоборцами—все это хорошія черты масонскаго вліянія, и ими Карамзинъ обязанъ своему трехлѣтнему пребыванію въ кругу людей, отличавшихся своею общественною благотворительностью и

гуманностью личного характера, пренебрегавшихъ чинами и почестями, и смотрѣвшихъ безъ фанатизма на различіе религиозныхъ понятій и исповѣданій. Уже много лѣтъ спустя по выходѣ изъ масонскаго общества, Карамзинъ отзывается равнодушно о чиновничьей карьерѣ и, не выражая къ ней никакой зависти, остается вполне доволенъ своимъ скромнымъ, но независимымъ призваніемъ литератора. Въ одномъ стихотвореніи, написанномъ вскорѣ по возвращеніи изъ-за границы, Карамзинъ говорить:

Прости! твой другъ умеръ тебя достойнымъ,
Послушнымъ истинѣ, въ душѣ своей покойнымъ.
Не скажутъ вѣкъ объ немъ, чтобъ онъ чиновъ искалъ,
Чтобъ знатнымъ подлецамъ когда нибудь ласкалъ.
(Соч. Карамзина, изд. 1848 г., стр. 49).

И тотъ же взглядъ высказываетъ онъ черезъ шесть лѣтъ въ письмѣ къ И. И. Дмитріеву изъ Москвы. „Видно — пишетъ онъ своему другу, который, вѣроятно, жаловался на какихъ-нибудь „знатныхъ подлецовъ“ — что приказныя хлопоты не свойственны душѣ твоей, когда онѣ такъ тревожатъ и гнетутъ ее. Слѣдственно, дорого платишь ты за свое оберъ-прокурорство. (Дмитріевъ служилъ тогда оберъ-прокуроромъ въ сенатѣ). Для такихъ упражненій надобно имѣть самую холодную и песчаную душу: иначе бѣдная пропадетъ съ грусти. Лѣнливый верблюдъ проходитъ благополучно по мертвой степи Каменистой Аравіи; гордый, пламенный конь томится, сохнетъ и умираетъ среди песчаныхъ ея морей“. („Письма Карамзина къ Дмитріеву“, стр. 96). Въ бытность свою при дворѣ, онъ выражался не менѣе рѣзко объ интригахъ и проискахъ, происходившихъ предъ его глазами: „Мнѣ гадки — писалъ онъ къ тому же лицу — и низкіе честолюбцы, и низкіе корыстолюбцы. Дворъ не возвыситъ меня. Люблю только любить государя. Къ нему не лѣзу и не полѣзу“ (Ibid., стр. 248). Свою литературную профессію Карамзинъ ставилъ чрезвычайно высоко и не давалъ ей въ обиду передъ чиновническими притязаніями: талантливый писатель могъ быть, по его мнѣнію, столько же полезенъ отечеству, какъ и самый важный государственный сановникъ. Говоря въ одномъ своемъ стихотвореніи о вліяніи изящныхъ искусствъ на развитіе человѣческихъ обществъ, онъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ значеніе поэтовъ и художниковъ, которыхъ называетъ любимцами Феба:

Они безъ власти, безъ короны,
Даютъ умамъ своимъ законъ;
Ихъ кисть, рѣзецъ, струна и гласъ
Играютъ нѣжными душами,

Улыбкой, вздохами, слезами,
И чувства возвышаютъ въ насъ.

(Соч. Карамзина, стр. 143).

Это довѣріе къ умственной власти, высказанное еще въ концѣ прошлаго столѣтія, заслуживаетъ, конечно, всякой похвалы, и примѣръ Карамзина, доказавшаго возможность прочнаго положенія, пріобрѣтеннаго одними литературными заслугами, не прошелъ безслѣдно для русскаго общества. Въ его лицѣ литература и наука впервые поднялись на ту высоту, на которую прежде ставились у насъ только крупный чинъ или знатное происхожденіе; не имѣя никакого громкаго титула, ни значительнаго officialнаго мѣста, русскій историкъ входилъ, „не стыдась“, въ высшій кругъ генераловъ и министровъ, и „смотрѣлъ имъ смѣло въ глаза“. По этой причинѣ Николай Тургеневъ, современникъ Карамзина, далеко не раздѣлявшій его взглядовъ на вещи, относился къ нему съ уваженіемъ и называлъ его „литераторомъ въ самомъ широкомъ и прекрасномъ значеніи этого слова“ (La Russie et les Russes, I, стр. 325). Карамзинъ, по увѣренію Тургенева, никогда и не хотѣлъ быть ничѣмъ другимъ: императоръ Александръ предлагалъ ему нѣсколько разъ портфель министра народнаго просвѣщенія, но чуждый тщеславія писатель постоянно отказывался отъ этой чести, довольствуясь званіемъ исторіографа и личнымъ расположеніемъ государя. Отсутствие фанатизма и разумная терпимость ко всѣмъ религіознымъ убѣжденіямъ также должны быть поставлены въ заслугу Карамзину; усвоивъ себѣ этотъ взглядъ въ масонскомъ обществѣ, онъ никогда уже не отказывался отъ него и выхвалялъ Вольтера преимущественно за то, что „онъ распространилъ взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамилъ гнусное лжевѣріе, которому еще въ началѣ XVIII вѣка приносились кровавыя жертвы въ Европѣ“. Не забудемъ упомянуть и о филантропическихъ чувствахъ Карамзина, объ его готовности помочь человѣку въ бѣдѣ или въ опасности (извѣстно, что его ходатайство спасло Пушкина отъ монастырскаго заключенія), о той благосклонной мягкости въ житейскихъ отношеніяхъ, которую Карамзинъ требовалъ отъ cadaго, считая ее „цвѣтомъ общежитія, своего рода добродѣтелью, слѣдствіемъ утонченнаго человѣколюбія, которое составляетъ себѣ въ обязанность и малыми знаками, и ласковымъ словомъ, пріятливымъ взоромъ — оказывать ближнему благорасположеніе“. Не преувеличивая важности этихъ житейскихъ добродѣтелей, — притомъ же ограниченныхъ въ своемъ дѣйствіи только кружкомъ лицъ, близкихъ къ

Карамзину и принадлежавшихъ къ одному съ нимъ общественному слою,—можно однако сказать, что онѣ составляли утѣшительное явленіе въ той средѣ, гдѣ грубость нравовъ пустила глубокіе корни, гдѣ гуманное обращеніе съ людьми казалось ненужною поблажкою, а въ официальныхъ сферахъ—даже „бездѣйствіемъ власти“, забывающей свое прямое назначеніе вселять повсюду страхъ и трепетъ.

Но этими хорошими сторонами не исчерпывалось вліяніе масонства на Карамзина. Проповѣдуя любовь къ ближнимъ, масоны нисколько не цѣнили тѣхъ общественныхъ учрежденій, которыя могли бы гарантировать людямъ торжество справедливости и человѣколюбія; выставляя „нравственное совершенствованіе“, какъ альфу и омегу своего ученія, они не понимали: въ какой тѣсной связи находится это совершенствованіе какъ съ умственнымъ развитіемъ отдѣльнаго человѣка, такъ и съ политическимъ прогрессомъ цѣлаго общества. Это непониманіе перешло къ Карамзину и зашло въ немъ плотно,—такъ плотно, что ни заграничная поѣздка, ни разнообразное чтеніе, ни событія, проходившія предъ его умственнымъ взоромъ, не прояснили этого тумана, не разбили этого камня преткновенія.

Если мы прибавимъ къ этому крайнюю слабость отвлеченнаго мышленія вообще и даже какую-то боязнь предъ строгой логической послѣдовательностью, не допускающей ни бездоказательныхъ посылокъ, ни трансцендентальныхъ полу-рѣшеній и квазі-отвѣтовъ на вопросы,—то мы найдемъ ключъ къ разгадкѣ всего нравственнаго содержанія личности Карамзина. Мы поймемъ тогда, почему Карамзинъ, разставшись съ масонами и вступивъ на точку зрѣнія философскаго деизма, ограничился мелковатымъ восхваленіемъ всего сущаго и не пошелъ дальше по дорогѣ, предложенной другими деистами: этому помѣшала метафизическая закваска, заимствованная отъ масоновъ и постоянно бродившая въ душѣ у Карамзина. Теорія благотворности страстей, которую проповѣдывалъ Карамзинъ въ отпоръ масонской доктринѣ, вызвавшей къ нимъ аскетическому умерщвленію,—составляла, конечно, значительный шагъ впередъ; но фикція „мудрой и любящей природы“, лежавшая въ основаніи этой теоріи, не была уже и въ то время послѣднимъ словомъ въ рациональномъ развитіи европейской мысли. Лучшимъ доказательствомъ того, какъ узко и ограниченно понималъ Карамзинъ европейскихъ авторитетовъ, служить его извѣстное увлеченіе Ж.-Жакомъ Руссо. „Чувствительный и добродушный философ“, стоявшій тверже другихъ на своей абсолютно-моральной точкѣ зрѣнія, былъ, понятнымъ обра-

зомъ, ближе и симпатичнѣе Карамзину, который любилъ цитировать его изреченія. Но вѣдь не эта чувствительность придавала обаяніе пламенной проповѣди Руссо: она была только формой, подъ которой скрывалось глубоко-полемическое и страстно-отрицательное отношеніе ко всѣмъ общественнымъ порядкамъ, тяготившимъ сознание развитыхъ людей. Естественныя права человѣка, отнятыя у него деспотическимъ воспитаніемъ, извращенной цивилизаціей и несправедливымъ общественнымъ устройствомъ — вотъ всегдашняя цѣль стремленій Руссо, вотъ движущій стимулъ его литературной дѣятельности. Но эта полемическая струя, этотъ рѣзкій и горячій протестъ не оставили никакого слѣда въ холодно-резонерскомъ и чуждомъ всякой страстности умственномъ темпераментѣ Карамзина, и изъ всей философіи Руссо на виду остались, въ „Письмахъ русскаго путешественника“, только безпрестанные гимны пастушескому быту, да еще метафизическія размышленія на тему: „кто засыпаетъ на рукахъ отца, тотъ не заботится о своемъ пробужденіи“. Соціальная сторона ученія Руссо улетучилась цѣликомъ въ сантиментальной передѣлкѣ Карамзина. Здѣсь уже, кромѣ общей слабости теоретическаго развитія Карамзина, дѣйствовала и другая, болѣе частная и специальная причина,—а именно тотъ недостатокъ общественнаго, политическаго смысла, на который мы указывали выше. Въ своей оптимистической доктринѣ, составлявшей крайній предѣлъ его либерализма, Карамзинъ утверждалъ, что „равенство счастья состоитъ не въ равной суммѣ благъ, данныхъ каждому человѣку, а въ равенствѣ чувства, съ которымъ наслаждается каждый данною ему долею блага“. При такой постановкѣ вопроса, заботы о лучшемъ распредѣленіи общественныхъ благъ, которыя составляютъ сущность всякаго политическаго движенія, уже изгонялись изъ круга интересовъ образованной личности, и хотя молодость Карамзина, а также настроеніе среды, его окружавшей, парализировали вначалѣ полное примѣненіе этой эгоистической теоріи; но можно было предвидѣть, что она, со временемъ, возьметъ тани свое, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше будетъ отталкивать Карамзина отъ господствовавшихъ стремленій его эпохи. По стихотвореніямъ Карамзина нетрудно прослѣдить, какъ умственный темпераментъ, поддержанный ма-сонскимъ вліяніемъ, постепенно бралъ въ немъ перевѣсъ надъ мимолетными увлеченіями молодости. Въ одномъ стихотвореніи, относящемся къ 1793 году, Карамзинъ рассказываетъ, что и онъ „обольщался мечтами“, любилъ горячо людей, какъ своихъ братьевъ, желалъ имъ добра всею душою и даже готовъ былъ „по-

жертвовать для ихъ счастья своею кровью". Но — продолжаетъ онъ —

... время, опытъ разрушаютъ
Воздушный замокъ юныхъ лѣтъ;
Краснѣ волшебства исчезаютъ,
Теперь иной я вижу свѣтъ,—
И вижу ясно, что съ Платономъ
Республикѣ намъ не учредить,
Съ Пифагоромъ, Фалесомъ, Зенономъ
Сердечъ жестокихъ не смирить.
.....
Гордецъ не любить наставленья,
Глупецъ не терпитъ просвѣщенья—
Итакъ, лампаду угасимъ,
Желая доброй ночи имъ.

Затѣмъ, отыскивая поддержку и утѣшеніе въ жизни, Карамзинъ говоритъ, что нужно „построить себѣ тихій кровъ, куда бы злые и невѣжды не нашли дороги“, и въ этомъ кровѣ наслаждаться любовью и дружбой. Личное и, пожалуй, семейное счастье становится идеаломъ Карамзина, и ему приносить онъ въ жертву свои „волшебныя мечты“ и „воздушныя замки юныхъ лѣтъ“. Понятно послѣ этого, почему личныя и семейныя обстоятельства отражаются такъ сильно въ исторіи умственной жизни Карамзина. Когда (по словамъ г. Галахова) „вокругъ него все устроилось хорошо и пріятно, а будущее могло обѣщать еще лучшее и пріятнѣйшее“, — Карамзинъ исповѣдывалъ радужную доктрину оптимизма; умерла у него жена—и міръ, изъ прекраснаго храма, воздвигнутаго любящею матерью-природой, обратился въ „училище терпѣнія“ и въ безобразную кучу недостатковъ всякаго рода. Попавши разъ на этотъ путь личнаго и семейнаго эгоизма, предпочтя всему на свѣтѣ филистерское счастье по пословицѣ: „моя хата съ краю, ничего не знаю“, Карамзинъ естественно не ограничился однимъ лишь безмолвнымъ отстраненіемъ себя отъ тревогъ и опасностей общественной пропаганды. Сначала онъ намѣревался только „угасить“ свою собственную лампаду, чтобы не разгнѣвать какихъ-то глупцовъ, не терпящихъ свѣта; но это—первая стадія въ развитіи филистерскаго идеала. Затѣмъ начинается вторая. За усталостью и опасеніемъ непріятностей неизбежно слѣдуетъ желаніе успокоиться совершенно, заткнуть себѣ уши отъ тревожнаго шума, набѣгающаго извнѣ, уединиться навсегда въ пріятной и хорошо обогрѣтой семейной раковинѣ. Но общественныя движенія и катастрофы нарушаютъ этотъ привольный и теплый покой; они назойливо врываются въ самое святилище домашняго очага и требуютъ жертвъ, волненій,

борьбы. Въ семейной раковинѣ раздается шумъ и гулъ происходящей снаружи битвы; побѣдители оглашаютъ воздухъ грозными криками, побѣжденные молятъ о пощадѣ. Личное счастье филистера ежеминутно подвергается ставкѣ, и банкометъ—судьба можетъ холодно провозгласить: „ваша карта убита; не угодно-ль другую?“ Какое-жъ тутъ спокойствіе, какая „тихая жизнь“?! И вотъ филистеръ начинаетъ съ озлобленіемъ смотрѣть на этихъ волнующихся людей, которые бѣгаютъ и шумятъ вокругъ его жилища, не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, что онъ, филистеръ, уже надѣлъ свой ночной колпаекъ и, прочтя молитву на сонъ грядущій, уткнулъ голову въ подушки. Въ концѣ концовъ филистеръ восклицаетъ:

Въ правленіяхъ новое опасно,
А безначаліе ужасно.
Какъ трудно общество создать!
Оно устроено вѣками;
Гораздо легче разрушать
Безумцу съ дерзкими руками.
Не вымышляйте новыхъ бѣдъ:
Въ семь мірѣ совершенства нѣтъ!

(Соч. К.—на, т. I, стр. 253).

Подозрительность филистера усиливается послѣ этого до *plus ultra*: среди бѣла дня ему мерещатся привидѣнія; легкій стукъ за дверью, шорохъ подъ окномъ кажутся предвѣстіемъ грабежа и насилія. „Нѣтъ, ужъ пусть лучше все идетъ по старому—шепчетъ онъ про себя, смежая очи, — и если я останусь безъ политической свободы, о которой, по правдѣ сказать, я никогда серьезно не заботился, зато мой носовой платокъ несомнѣнно останется въ карманѣ“. И съ этими тихими мыслями засыпаетъ...

Идеалъ семейнаго счастья, гармоническаго сліянія двухъ „любящихся душъ,“ конечно, имѣетъ свою цѣну, если онъ не идетъ въ разрѣзъ съ понятіемъ объ общественной солидарности, о взаимности интересовъ, связывающихъ въ одно цѣлое разнообразныя человѣческія ассоціаціи; въ такомъ видѣ идеалъ этотъ существуетъ у всѣхъ образованныхъ націй и воспѣвается поэтами, у которыхъ преданность общему благу не враждуетъ съ ихъ личными привязанностями. Семья,—кружокъ близкихъ и единомыслящихъ людей,—является тогда какъ бы азиломъ, въ которомъ вырабатываются новыя силы, выходящія потомъ на общественную арену. Но другое дѣло, когда семья является замѣною общества, когда она, подобно трясиной, засасываетъ въ себя цѣлаго человѣка, убиваетъ въ немъ всякую энергію, суживаетъ кругозоръ его понятій,

дѣлаетъ мелкимъ и трусливымъ эгоистомъ, готовымъ отдать все, поступиться самыми завѣтными стремленіями за чечевичную похлебку у домашняго очага. Проповѣдывать такой идеалъ, и притомъ въ обществѣ молодомъ, разрозненномъ и не усвоившемъ себѣ даже первыхъ понятій о соціальной связи, значило—не двигать его впередъ, а оставлять, по малой мѣрѣ, на одной и той же точкѣ развитія.

Философія квіэтизма, эгоистическаго равнодушія къ интересамъ ближняго такъ сродна и присуща всякому дурно-организованному обществу, что ее слѣдовало бы, кажется, не поощрять и поддерживать посредствомъ искусной замаскировки вредныхъ ея сторонъ, а, напротивъ того, изгонять и преслѣдовать всѣми возможными средствами. Карамзинъ же поступалъ какъ разъ наоборотъ, и не только способствовалъ общественному усыпленію своими радужно-сентиментально-патріотическими иллюзіями, но, не довольствуясь этимъ, вошелъ наконецъ въ открытую борьбу съ зачинавшимся умственнымъ движеніемъ противоположнаго свойства.

Это новое направленіе, противъ котораго возсталъ Карамзинъ всѣми остатками своей угасавшей энергіи, всѣмъ запасомъ своего литературнаго таланта, нисколько не угрожало существующему политическому устройству общества, оставляло его даже по виду неизмѣннымъ, но вносило въ него въ сущности идеи иного лучшаго порядка, которыя могли бы, при добросовѣстномъ выполненіи, значительно умѣрить дурныя послѣдствія старыхъ традицій. Отсюда пошли толки объ „основныхъ законахъ“ страны, о „государственныхъ сословіяхъ“ или учрежденіяхъ, призванныхъ выражать законныя требованія націи. Еслибы Карамзинъ не отстаивалъ отъ развитія своего вѣка, еслибы онъ усвоилъ себѣ глубоко и искренно ту теорію, которую нѣкогда хотѣлъ „примѣнить къ практикѣ“, то для него въ этихъ новыхъ стремленіяхъ не нашлось бы ничего ужаснаго и анархическаго. Люди желали воспользоваться грозными уроками исторіи, надѣялись устранить своими комбинаціями возможность повторенія народныхъ вспышекъ, шумъ которыхъ еще стоялъ, такъ сказать, въ воздухѣ. Этотъ политическій либерализмъ не миновалъ и Россіи, и даже пользовался, въ первой половинѣ царствованія Александра Павловича, ильною поддержкою въ высшихъ сферахъ русскаго правительства. Извѣстны слова, сказанныя самимъ Александромъ 1-мъ. Подъ руководствомъ государя и по его настоянію составлялся у насъ огромный проектъ, долженствовавшій обновить всю нашу политическую жизнь „отъ волостнаго правленія до кабинета

государева". Въ этомъ проэктѣ Сперанскій, касаясь смѣшенія и путаницы въ нашихъ гражданскихъ законахъ, а также смутнаго недовольства общества, проистекающаго изъ такого положенія дѣлъ, спрашивалъ: „Но гдѣ средства улучшить эти законы, ввести въ нихъ желаемый порядокъ, когда мы не имѣемъ законовъ политическихъ? Къ чему служатъ законы, опредѣляющіе права собственности каждаго, когда сама эта собственность не имѣетъ никакого прочнаго и опредѣленнаго основанія? Къ чему гражданскіе законы, когда ихъ таблицы могутъ каждый день разбиться? Жалуются на беспорядокъ въ финансахъ; но можно ли устроить хорошо финансы тамъ, гдѣ нѣтъ публичнаго кредита, гдѣ не существуетъ никакого политическаго учрежденія, которое могло бы обеспечивать его прочность? Жалуются на медленность, съ какой распространяются просвѣщеніе, промышленность; но гдѣ принципъ, который могъ бы оживотворить ихъ? Къ чему стараться просвѣщать раба, если просвѣщеніе не должно имѣть на него другаго дѣйствія, кромѣ того, что оно заставитъ его еще болѣе почувствовать тягость своего положенія? Наконецъ, это общее недовольство, эта склонность все критиковать суть ничто иное, какъ выраженіе скуки отъ нынѣшняго порядка вещей... Умы находятъ въ тягостномъ безпокойствѣ; а это безпокойство можно объяснить только полнымъ измѣненіемъ, происшедшимъ въ мнѣніяхъ, только желаніемъ другаго управленія, желаніемъ, пожалуй, неопредѣленнымъ, но, тѣмъ не менѣе, живымъ. Все это доказываетъ, что существующая система управленія не соответствуетъ болѣе состоянію общественнаго мнѣнія, и что пришло время замѣнить эту систему другою". О крѣпостномъ правѣ Сперанскій выражался такимъ образомъ: „Какія бы трудности не могло представить освобожденіе (крестьянъ), крѣпостное право есть вещь, столь противорѣчащая здравому смыслу, что его нельзя считать иначе, какъ временнымъ зломъ, которое неминуемо должно имѣть свой конецъ". Сторонникамъ мысли, что крестьянъ нельзя освобождать, не давши имъ напередъ просвѣщенія, Сперанскій возражалъ рѣзко и основательно: „Что такое образованіе, знаніе для народа несвободнаго, какъ не средство живѣе почувствовать бѣдственность своего положенія, источникъ волненій, которыя могутъ только способствовать къ большему его порабощенію, или могутъ навлечь на страну ужасы безначалія. Изъ человеколюбія столько же, сколько изъ политики, слѣдуетъ оставить рабовъ въ невѣжествѣ, если не хотятъ дать имъ свободы". Идеи, выраженные Сперанскимъ, не составляли секрета для читающей русской публики: онѣ находили отголосокъ въ нашей литературѣ того

времени, и сила этого отголоска напрасно уменьшается, съ зад-ней цѣлью, нѣкоторыми историками русской мысли. Конечно, цензурныя условія не дозволяли этимъ идеямъ высказываться въ печати также широко и опредѣленно, какъ высказывались онѣ въ законодательномъ прозектѣ Операнскаго; но читающая публика, безъ сомнѣнія, совершенно ясно понимала, на какіе именно вопросы намекается въ подцензурной прессѣ. Въ 1818 году (22-го марта) С. С. Уваровъ произнесъ рѣчь въ торжественномъ собраніи главнаго педагогическаго института, въ которой коснулся политическаго направленія того времени. „По примѣру Европы—говорить онѣ—мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ. Политическая свобода, по словамъ знаменитаго оратора нашего вѣка, есть послѣдній и прекраснѣйшій даръ Бога; но сей даръ пріобрѣтается медленно, сохраняется неусыпною твердостью; онѣ сопряженъ съ большими жертвами, съ большими утратами. Въ опасностяхъ, въ буряхъ, сопровождающихъ политическую свободу, находится вѣрнѣйшій признакъ всѣхъ великихъ и полезныхъ явленій одушевленнаго и бездушнаго міра, и мы должны, по совѣту того же оратора, или не страшиться опасностей, или вовсе отказаться отъ сихъ великихъ даровъ природы“. Разбирая эту рѣчь, извѣстный профессоръ А. П. Куніцынъ останавливается, между прочимъ, на фразѣ: „мы начинаемъ помышлять о свободныхъ понятіяхъ“ и говоритъ: „Конечно, такъ; но мы давно о нихъ помышляли: никогда не были они чужды руссiйскому народу. Вѣча, боярскія думы, третейскій и совѣстный судъ, разбирательство дѣлъ при посредничествѣ присяжныхъ, равныхъ званіемъ подсудимому, были еще въ древности существенными принадлежностями образа правленія въ нашемъ отечествѣ. Въ важныхъ происшествіяхъ государства обыкновенно всѣ сословія принимали участіе и дѣйствовали единодушно. Отраженіе нашествія враговъ, постановленіе общихъ законовъ, избраніе достойнаго поколѣнія для занятія руссiйскаго престола обыкновенно составляли предметъ совѣщанія и согласнаго рѣшенія всѣхъ государственныхъ чино-состояній. Иностранныя народы прежде насъ дали непремѣнныя формы государственному правленію, но не позже ихъ мы о томъ помышляли“ („Сынъ Отеч.“ 1818 г., т. XXIII). Въ томъ же 1818 году, черезъ нѣсколько дней послѣ рѣчи гр. Уварова, произнесена была въ Варшавѣ самимъ императоромъ Александромъ другая рѣчь, еще болѣе замѣчательная, еще болѣе надѣлавшая шуму въ русскомъ обществѣ. „Образованіе, существовавшее въ нашемъ краѣ—говорилъ Александръ польскимъ депутатамъ—дозво-ляло мнѣ ввести немедленно то, что я вамъ даровалъ, руководству-

ясь правилами законно-свободныхъ учреждений, бывшихъ предметомъ моихъ помышлений, и которыхъ спасительное вліяніе, надѣюсь я, при помощи Божіей, распространить и на всѣ страны, Провидѣніемъ попеченію моему ввѣренныя. Такимъ образомъ, вы мнѣ подали средства явить моему отечеству то, что я уже съ давнихъ лѣтъ ему приготавливаю, и чѣмъ оно воспользуется, когда начала столь важнаго дѣла достигнутъ надлежащей зрѣлости. Вы призваны дать великій примѣръ Европѣ, устремляющей на васъ свои взоры. Докажите своимъ современникамъ, что законно-свободныя постановленія, коихъ священныя начала смѣшиваютъ съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожавшимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; но что, напротивъ, таковыя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благосостояніе народовъ. Вамъ предлежитъ нынѣ явить на опытъ сію великую и спасительную истину". (См. „Духъ Журналовъ“ 1818 г., № 14). „Варшавскія рѣчи—писалъ по этому поводу Карамзинъ къ Дмитріеву—сильно отозвались въ молодыхъ сердцахъ; спать и видать конституцію; судятъ, рядятъ; начинаютъ и писать—въ „Сынѣ Отечества“, въ разборѣ рѣчи Уварова; иное уже вышло, другое готовится. И смѣшно, и жалко! Но будетъ, чему быть. Знаю, что государь ревностно желаетъ добра; все зависитъ отъ Провидѣнія—и слава Богу! Не перестаю наслаждаться своимъ образомъ мыслей или, лучше сказать, сердечнымъ удостовѣреніемъ, что мы такъ, а Богъ по своему. Въ сей системѣ какой покой для ума зрителей, т. е. для нашей братіи! Пусть молодежь ярится: мы улыбаемся". (Письмо К—на къ Дмитріеву, стр. 236—7). Но молодежь не переставала ярится и не находила особеннаго наслажденія въ „спокойной системѣ“ Карамзина; даже другъ его, князь Петръ Андреевичъ Вяземскій, бывший тогда въ Варшавѣ, „пылалъ свободомысліемъ“ (ibid., стр. 253) и притомъ такъ честно и искренно, что потерялъ изъ-за этого мѣсто по службѣ, будучи приглашенъ удалиться изъ польской столицы. Русскіе журналы перепечатали рѣчь государя. Куницынъ разобралъ ее въ „Сынѣ Отечества“, въ особой статьѣ. „Ужасы революціи—говорить онъ—миновались; умы начинаютъ дѣйствовать свободно; причины сего политическаго переворота открываются. Несчастія Франціи произошли не отъ того, что она желала свободнаго, неизбежнаго постановленія, но отъ стремленія учредить образъ правленія ей

несвойственный и для всякаго европейскаго народа неудобный".
Дальше доказывалось, что республиканскій образъ правленія, испробованный Франціею, могъ быть умѣстенъ только въ древнихъ государствахъ—городахъ, которыхъ ограниченныя территоріи позволяли всѣмъ жителямъ свободно собираться на площадяхъ для совѣщанія о дѣлахъ общественныхъ; жители же новѣйшихъ государствъ не имѣютъ этого удобства по большому пространству, ихъ раздѣляющему. Кромѣ того, въ древнихъ республикахъ существовали рабы, которые исполняли разныя хозяйственныя работы, занимались ремеслами и даже изящными искусствами и, такимъ образомъ, обезпечивали свободнымъ гражданамъ досугъ порѣшати исключительно государственные вопросы. „Потому—продолжалъ Куницынъ—граждане древнихъ республикъ могли проводить время на публичныхъ площадяхъ, въ слушаніи ораторовъ, въ преніяхъ о постановленіи и отмѣнѣ законовъ, въ обличеніи и судѣ безпорядочныхъ чиновниковъ. Когда и сихъ дѣлъ не доставало, то они переходили къ воинскимъ упражненіямъ и публичнымъ играмъ. Нынѣ другія времена, другіе обычаи. Городская и сельская промышленность, по причинѣ вліянія на общее благосостояніе, возпили на степень уваженія, ей приличную. Люди свободнаго состоянія считаютъ прибыточныя упражненія похвальными, а праздность и безпечность о дѣлахъ хозяйственныхъ—постыднымъ препровожденіемъ времени. Граждане древнихъ республикъ полагали свободу въ томъ, чтобы повиноваться тѣмъ только законамъ, которые они сами постановили или допустили; жители новѣйшихъ государствъ не желаютъ сего права, крайне для нихъ убыточнаго по причинѣ многотрудныхъ и нескончаемыхъ государственныхъ занятій. Нынѣ мирный гражданинъ желаетъ только того, чтобы законы были для него справедливы, чтобы никакая сила не могла тѣснить лица его ненаказанно, чтобы никто не воспользовался его собственностью безъ замѣны и вознагражденія, чтобы никто, кромѣ закона, не смѣлъ остановить его дѣятельность и учинить труды его бесполезными, а ожиданія тщетными. Потому жители нынѣшнихъ государствъ, вопреки духу древнихъ республиканцевъ, не желая сами быть законодателями, хотятъ только имѣть при лицѣ верховнаго властителя своихъ представителей, которые бы его, яко отца народа, извѣщали о нуждахъ общественныхъ, умоляли о принятіи мѣръ противъ золъ, существующихъ въ обществѣ, и съ благонадежностью могли испрашивать у его правосудія законовъ, для всѣхъ равно благотѣльныхъ. Слѣдовательно, желанія новѣйшихъ народовъ стремятся только къ тому, чтобы верховная власть имѣла всю возможность къ открытію об-

пественныхъ безпорядковъ и всю силу, потребную къ прекращенію оныхъ. Такое устройство государствъ служить залогомъ безопасности подданныхъ и величія трона. Сочетавая волю верховнаго властителя съ волею общею, оно совокупляетъ ихъ неразрывными узами. Никому не можетъ оно внушить опасенія, ибо оставляетъ каждого на своемъ мѣстѣ и со всѣми правами, каковыя только въ обществѣ благоустроенномъ допущены быть могутъ“ („Сынъ Отеч.“, 1818 г., № XVIII). „Духъ Журналовъ“, опираясь на мысли, усиленные авторитетомъ самого императора, печаталъ цѣликомъ, въ томъ же году, баварскую конституцію съ такимъ примѣчаніемъ отъ редакціи: „1818 годъ останется навсегда незабвеннымъ въ лѣтописяхъ Баваріи: въ семъ году баварцы получили отъ короля своего государственное уложеніе (конституцію), на правилахъ законной свободы, политической и гражданской, основанное. Актъ сей есть толікой важности, что мы нужнымъ считаемъ сообщить оный вполнѣ“. Въ слѣдующемъ же году, въ первой своей книжкѣ, „Духъ Журналовъ“ откликнулся на жгучій вопросъ еще рѣшительнѣе, въ статьѣ подъ громкимъ заглавіемъ: „Чего требуетъ духъ времени? Чего желаютъ народы“? „Народы—отвѣчаетъ авторъ на этотъ вопросъ—желаютъ владычества законовъ—коренныхъ, неизмѣнныхъ, опредѣляющихъ права и обязанности каждого, равно обязательныхъ и для властей, и для подвластныхъ, при которыхъ самовластіе мѣста имѣть не можетъ, и которыхъ столь же невозможно было бы ниспровергнуть, какъ и уклониться отъ нихъ. Спросите всѣхъ христіанскіе народы, во всѣхъ частяхъ свѣта: они другаго желанія не имѣютъ. Сіе одно имѣли въ виду въ продолжительныхъ войнахъ; для сего проливали кровь, терпѣли столько бѣдствій, перенесли неслыханныя тягости,—чтобы дѣти ихъ, внуки и правнуки блаженствовали подъ сѣнію владычества законовъ. Вотъ духъ времени, цѣль всеобщихъ желаній, не всѣми ясно понимаемая, но истинная, единственная цѣль... Сами государи восчувствовали необходимость поставить владычество законовъ на неизблемомъ основаніи, они сами одинъ передъ другимъ ревнуютъ (особенной-то ревности, впрочемъ, не было замѣтно) даровать народамъ своимъ сей залогъ отеческаго о нихъ попеченія, сей памятникъ мудрости своей и надежнѣйшее ручательство будущаго ихъ благоденствія—государственное уложеніе. Но уложеніе на бумагѣ есть только мертвая буква: оно также можетъ быть устранено, перетолковано, брошено, какъ тысячи другихъ узаконеній. Чтобъ оно было всегда въ силѣ, для сего необходимо нужно дать ему самостоятельное бытіе и учредить при немъ

блюстителей. Многочисленными опытами дознано, что всякое словіе, подъ вліяніемъ правительства состоящее, не можетъ быть надежнымъ охранителемъ государственнаго уложенія. Природные блюстители онаго суть народные представители. Они суть вѣрные охранители его неприкосновенности, преслѣдователи нарушителей его, совѣтники государей и соучастники въ законодательствѣ; безъ нихъ никакой новый законъ не можетъ быть изданъ, никакой налогъ наложенъ, никакое важное предпріятіе предпринято. Чрезъ нихъ народъ имѣетъ свой голосъ, который есть тогда по истинѣ гласъ Божій; при нихъ личность и собственность каждаго останется неприкосновенною, при нихъ никакое злоупотребленіе власти не укроется, никакое нарушеніе правъ не останется безнаказаннымъ; при нихъ правосудіе недреманно, сильный не смѣетъ положить на вѣсы руки своей, ниже богатый—злата, чтобы наклонить ихъ къ обвиненію невиннаго: все тогда дѣлается гласно и предъ очами всѣхъ, ибо правда и доброе дѣло не имѣютъ нужды скрываться въ тайнѣ. Такое устройство сильно укрѣпляетъ духъ народный и ускоряетъ преуспѣяніе всего истинно полезнаго. А что всего важнѣе: вся машина государственнаго управленія, сообразно потребностямъ времени, легко поправляется и совершенствуется безъ внезапныхъ потрясеній, никогда не препинается въ ходѣ, но всякій разъ, когда нужно, заводится вновь и идетъ всегда ровно, единообразно и благоустройно. И вотъ чего требуетъ духъ времени, чего желаютъ народы—и въ чемъ сами государи предупреждаютъ ихъ желанія. Кромѣ общихъ политическихъ вопросовъ, въ русской журналистикѣ обсуждались довольно свободно и нѣкоторыя частныя явленія нашей государственной жизни. Крѣпостное право,—не смотря на перемежающуюся строгость цензуры или, лучше сказать, благодаря тому, что эта строгость не всегда поддерживалась съ одинаковымъ рвеніемъ,—подвергалось не разъ открытому нападенію, которое сильно озабочивало собой защитниковъ рабства. Органомъ этихъ дебатовъ служили попеременно различныя изданія. Такъ, напримѣръ, „Духъ Журналовъ“ далъ у себя мѣсто статьѣ Правдина (быть можетъ, псевдонимъ какого нибудь вліятельнаго лица), въ которой сравнивается положеніе крестьянъ въ Россіи и за границей, и отсюда дѣлаются разныя, благопріятныя для крѣпостнаго права, выводы. Правдинъ находитъ, что крѣпостное состояніе русскихъ крестьянъ обезпечиваетъ имъ, по крайней мѣрѣ, кусокъ насущнаго хлѣба, тогда какъ заграничные пролетаріи, принужденные скитаться отъ одного землевладѣльца къ другому, умираютъ съ голоду, впадаютъ въ преступленія или выселяются толпами въ Аме-

рику и Россію. Всѣ эти разсужденія пересыпаются возгласами о человѣколюбіи русскихъ помѣщиковъ, объ ихъ отеческой нѣжности къ своимъ крестьянамъ и пр. и пр. Апологія крѣпостничества не осталась безъ возраженія, и въ „Сынѣ Отечества“ появилась противъ нея рѣзкая статья, гдѣ всѣ доводы Правдина разбирались поодиночкѣ, сопровождаемые остроумнымъ глумленіемъ надъ этимъ доморощеннымъ философомъ.

„Первое важнѣйшее право иностраннаго крестьянина—читаемъ въ „Сынѣ Отечества“—состоитъ въ томъ, что онъ самъ себѣ принадлежитъ и не переходитъ изъ рукъ въ руки посредствомъ мѣны, продажи, дара, наслѣдства и другихъ сдѣлокъ, но всегда остается своимъ господиномъ, и сіе право такъ драгоцѣнно, что, еслибы захотѣли присвоить и продать частно или съ аукціона самого сочинителя Правдина, то бы онъ вѣрно на сію перемѣну состоянія не согласился, хотя бы покупщикъ самому ему равенъ былъ въ человѣколюбіи. Хорошо тамъ, гдѣ насъ нѣтъ; легко проповѣдывать благополучіе неволи на чужой счетъ и рекомендовать оную другимъ, какъ райское состояніе, а самому навсегда оставаться при худой свободѣ. Второе важное право иностраннаго крестьянина состоитъ въ томъ, что сына его никто не возьметъ невольно въ личное услуженіе, какъ-то въ конюхи, лакеи, псаря и т. п. Дочь его также не будетъ взята въ кухарки, поломойки, горничныя и проч., но останется при родителяхъ своихъ до замужества, а потомъ вступить въ бракъ только по собственной селонности и по родительскому благословенію. Словомъ сказать, бракъ сей совершится по точному смыслу постановленій церкви, а не такъ, какъ оный происходитъ часто между крѣпостными: парню приказываютъ жениться на такой-то дѣвкѣ, а сей—непремѣнно за него выйти, а если кто изъ нихъ окажется преслушнымъ, тотъ непремѣнно будетъ наказанъ. Третье важное право иностраннаго крестьянина состоитъ въ томъ, что онъ занимается дѣлами, къ его пользѣ относящимися, по собственному усмотрѣнію: нанимаетъ землю у кого хочетъ и такую, какая ему нужна; платитъ за нее оброкъ, на какой срокъ добровольно согласится. Зато всѣ плоды его трудолюбія принадлежатъ ему неотъемлемо. Работу исправляетъ онъ по собственному побужденію, а не по наказу, и трудится прилежно, имѣя несомнѣнную надежду улучшить свое состояніе. Никто не накажетъ его произвольно и пристрастно, ибо никто не имѣетъ къ тому ни права, ни побужденія“. Далѣе авторъ доказываетъ, что экономическое положеніе иностранныхъ крестьянъ нельзя и сравнивать съ бытомъ нашихъ ободранныхъ крѣпостныхъ, что количество преступленій,

падающихъ въ Западной Европѣ на низшій классъ, кажется намъ громаднымъ только потому, что у насъ все шито да крыто, тогда какъ тамъ судъ производится публично и процессы печатаются въ газетахъ; переселеніе же крестьянъ въ Америку и въ наше „благословенное отечество“ объясняется не свободою, а другими причинами, не имѣющими съ нею ничего общаго. „Знаетъ ли г. Правдинъ—продолжаетъ его оппонентъ—откуда переселились въ Россію колонисты? Изъ Баваріи, гдѣ феодальныя права помѣщиковъ на крестьянъ, живущихъ въ ихъ помѣстьяхъ, еще отчасти не уничтожены, гдѣ правительство, по географическому положенію своей страны, принимаетъ великое участіе въ политическихъ связяхъ Европы. Какая война между Франціей и Германіей не обращалась въ тягость Баварскому королевству? Къ тому же переселились къ намъ баварцы не католическаго, но лютеранскаго закона, слѣдовательно люди, исповѣдующіе не господствующую религію въ Баваріи. Правда, что правительство не преслѣдуетъ ихъ, какъ Юліанъ Богоотступникъ христіанъ преслѣдовалъ, но ихъ тѣснить духъ партій и ненависть католиковъ. Потому не свобода гонить ихъ въ Россію, а притѣсненія; не она виновна въ ихъ бѣдности, а другія причины. Свобода вѣроисповѣданія привела къ намъ гернгутеровъ нѣмецкихъ и шотландскихъ. Къ намъ переселились также въ разныя времена жители Эльзаса. Пусть г. авторъ вспомнить, каково было состояніе сей страны со временъ Людовика XIV и по 1818 годъ. Ихъ участь была такая же, каковую терпятъ молдаване, валахи и сербы со временъ Петра I. Здѣсь же надобно припомнить, что иностранные крестьяне приходятъ къ намъ не для того, чтобы поступать въ крѣпостные, но чтобы свободно заниматься земледѣліемъ и пріобрѣтать посильный достатокъ для себя, а не для другихъ. Пусть любопытный прочитаетъ манифесты объ иностранныхъ поселенцахъ, изданные императрицею Екатериною II и благополучно царствующимъ императоромъ. Въ правахъ, предоставленныхъ симъ иностранцамъ, найдетъ онъ также причину ихъ благосостоянія. Если они, какъ увѣряетъ авторъ, бѣжали отъ свободы, то почему до сихъ поръ не подали еще просьбы объ укрѣпленіи ихъ за какимъ либо благотѣльнымъ помѣщикомъ? Нѣкоторыя колоніи существуютъ уже 30 и 40 лѣтъ въ Россіи и до сихъ поръ еще не увѣрились въ преимуществѣ закрѣпощенія передъ свободою. Пусть же г. авторъ напишетъ объявленіе въ иностранныхъ газетахъ о намереніи укрѣпить за собою нѣсколько душъ крестьянъ и пригласить желающихъ воспользоваться симъ случаемъ поступить къ нему въ собственность. Но онъ долженъ изъяснить притомъ всѣ права

свои и обязанности крестьянъ:—посмотримъ, много ли явится къ нему желающихъ?“ („Сынъ Отеч.“ 1818 г., № 17). Въ другихъ случаяхъ, тотъ же „Духъ Журналовъ“, съ которымъ полемизировалъ „Сынъ Отечества“ по крестьянскому вопросу, относился сочувственно къ несчастному положенію низшихъ классовъ, какъ, напримѣръ, въ статьяхъ: о сохранныхъ кассахъ (1819 г., № 2), о винномъ откупѣ (1817 г., № 3) и пр. Самый вопросъ о крѣпостномъ правѣ былъ возбужденъ редакціею этого журнала въ видѣ письма отъ посторонняго лица и оставленъ открытымъ для обсуждения. Вообще говоря, крестьянскій вопросъ постоянно затрогивался въ нашей литературѣ, во все время царствованія Александра Павловича, начиная съ книги Пнина и кончая статьей, напечатанной въ „Историческомъ журналѣ“ за 1820 годъ, и мыслящіе люди находили возможность, хоть изрѣдка, урывками, взглянуть на этотъ предметъ тѣмъ же прямымъ и просвѣщеннымъ взглядомъ, какимъ смотрѣли они на различныя формы политическаго устройства. Одновременно съ журнальными статьями, трактовавшими о представительномъ правленіи, крѣпостномъ правѣ, свободѣ печати и гласномъ судопроизводствѣ, появились у насъ два замѣчательныя ученныя изслѣдованія, которые обратили бы на себя вниманіе даже въ болѣе богатыхъ европейскихъ литературахъ. Мы разумѣемъ „Естественное право“ Куницына и „Опытъ теоріи налоговъ“ Н. И. Тургенева. Въ первой изъ этихъ книгъ талантливый авторъ, слѣдуя ученію Руссо и Канта, разсматривалъ государственный союзъ, какъ свободный договоръ, заключенный между верховной властью и ея подданными, и съ большою логической силой и смѣлостью примѣнялъ этотъ основной принципъ ко всѣмъ рѣшительно проявленіямъ государственной жизни. „Если исполнитель закона—говоритъ Куницынъ—поставляетъ на мѣсто онаго свою волю, то подданные имѣютъ право ему противиться; ибо кто требуетъ не того, что законы повелѣваютъ, тотъ незаконно присвоиваетъ себѣ власть законодателя. Власть можетъ быть передана только по согласію всѣхъ членовъ общества, ибо въ договорѣ соединенія нѣтъ условія, обязывающаго частнаго члена повиноваться произволу другихъ... Всѣ подданные одинъ другому равны, но равенство состоитъ въ томъ, что всѣ они равно могутъ быть принуждаемы властителемъ соблюдать взаимныя права, ибо властитель обязанъ защищать права всѣхъ членовъ государства равною силою. Слѣдовательно, ненаказанность одного, строжайшее наказаніе другаго въ одинаковыхъ случаяхъ и за равныя преступленія не могутъ быть допущены по началамъ права. Равенство нарушается, когда одному предоставлена свобода при-

обрѣтать такое право, которое воспрещено другимъ. Если не противно цѣли общества, когда одинъ кто либо располагаетъ извѣстнымъ правомъ, то и другой на томъ же основаніи располагать онымъ можетъ“ („Право естеств.“ Ч. II, стр. 65, 78, 108). Предоставляя властямъ право собирать свѣдѣнія объ имуществѣ, силахъ и поступкахъ подданныхъ, авторъ прибавляетъ: „Но властитель не можетъ употреблять для того средства, несовмѣстныя съ свободою и честью гражданъ, ибо, по договору подданства, граждане передали властителю право охранять всѣ свои права, слѣдовательно также и право на честь. Ни одинъ изъ подданныхъ не можетъ принять такого порученія, которое противно свободѣ его согражданъ, ибо, по договору соединенія, граждане общали не нарушать взаимныхъ правъ. Посему каждый согладаясь есть врагъ общества, ибо онъ нарушаетъ свободу частныхъ людей, которую граждане государства обязались защищать совокупными силами. Итакъ, освѣдомленіе о поведеніи подданныхъ не должно нарушать частной свободы“. Когда же найдутся основательныя причины подозрѣвать извѣстное лицо въ опасномъ намѣреніи, то и „тутъ самое подозрѣніе должно составлять актъ законный, судьей совершенный, ибо, по договору подданства, каждый обязался отвѣчать за свои дѣйствія закону, а не частному произволу. Изысканіе подозрѣнія, падающаго на какое либо лицо, состоитъ только въ точномъ разсмотрѣніи причинъ, къ оправданію или обличенію онаго служащихъ; слѣдовательно никакое насиліе причинено оному быть не можетъ. Подозрѣваемый въ преступленіи не есть еще преступникъ дѣйствительный. слѣдовательно пытка и всякое истязаніе суть дѣйствія незаконныя“ (стр. 88—91). Обязательность этихъ правилъ, по мнѣнію автора, не должна нарушаться ради, такъ называемыхъ, государственныхъ причинъ (*raisons d'état*) — „которыми въ практикѣ прикрываются несправедливые поступки и которыя не могутъ быть допущены правомъ естественнымъ. Сія темныя выраженія употребляются для отвращенія соблазна, который необходимо происходитъ въ народѣ отъ совершенія неправоты, публичною властію причиняемой или допускаемой“. Вторую книгу, т. е. сочиненіе Тургенева, Куницынъ же съ восторгомъ привѣтствовалъ, какъ предвѣстіе новаго фазиса въ развитіи русской литературы. „Просвѣщеніе Россіи — писалъ въ своемъ разборѣ чуткій и умный рецензентъ—не смотря на мѣстные обстоятельства, распространяется по тѣмъ же правиламъ, по которымъ оно распространялось въ другихъ государствахъ. Петръ I воинъ и зажителъ, хотѣлъ укоренить въ Россіи прежде науки математическія и физическія; но вмѣсто оныхъ большаго совер-

шенства донинѣ у насъ достигли науки словесныя. Намъ—такъ же какъ и другимъ народамъ, надлежало написать множество стиховъ, сочинить и перевести съ иностранныхъ языковъ множество романовъ—въ чемъ и нынѣ рачительно упражняемся—надлежало прежде долго обучаться всему у другихъ народовъ, и потомъ уже могли мы получить смѣлость писать о предметахъ важныхъ и общепользныхъ. Такимъ образомъ, съ начала текущаго столѣтія, мы занялись, съ большимъ прилежаніемъ и успѣхами, науками точными... Мы имѣемъ, наконецъ, отечественныхъ сочинителей по части сельскаго хозяйства, математики и физики, по части законовѣдѣнія теоретическаго и практическаго, по части управленія государства вообще. Исторія и статистика руссiйскаго государства нынѣ обрабатываются не одними иностранцами, но и природными руссiянами.... Наука финансовъ есть новая вѣтвь образованія въ нашемъ отечествѣ. До перевода сочиненія гр. Верри, мы ничего на русскомъ языкѣ не читали о государственномъ хозяйствѣ; до перевода творенія Адама Смита, мы ничего не могли знать о налогахъ изъ русскихъ сочиненій, и искусство опредѣлять и собирать подати почитали непринадлежащимъ къ кругу свѣдѣній частнаго человѣка. То, что непосредственно насъ касается, почитали мы дѣломъ чуждымъ и отдаленнымъ отъ нашихъ выгодъ; то, что составляетъ общій предметъ нашего вниманія, мы признавали собственностью нѣкотораго только класса людей. Нынѣ другое получаемъ понятіе о финансахъ: дѣло общее становится предметомъ общаго разсужденія. Мы не станемъ распространяться о томъ значеніи, какое имѣла, въ свое время, книга Тургенева; достаточно сказать, что онъ первый заговорилъ объ источникахъ государственныхъ доходовъ, о распредѣленіи налоговъ „между всѣми гражданами въ одинаковой соразмѣрности, безъ исключеній, вредныхъ для общества“, объ ихъ опредѣленности, которая должна быть независима отъ власти собирателей (стр. 32—34), о собираніи налоговъ въ удобнѣйшую для плательщика пору, причемъ авторъ находилъ не только безполезными, но и противными цѣли тѣлесныя наказанія, а также аресты и тюремныя заключенія, на томъ основаніи, что „если плательщикъ не имѣетъ средствъ удовлетворить требованіе казны, то чрезъ понесенное наказаніе не сдѣлается къ тому способнѣе; если же онъ имѣетъ собственность, то, въ крайнемъ случаѣ, она только можетъ подлежать продажѣ и вычету налога“ (стр. 232—34). Онъ говорилъ также о налогѣ съ наслѣдства, о бумажныхъ деньгахъ, какъ о налогѣ, и—по справедливому замѣчанію Куницына—изложилъ свои мысли такъ ясно и подробно, что книга его можетъ

быть полезна и для тѣхъ, которые, безъ предварительнаго наставленія, сами собою хотятъ пріобрѣсти свѣдѣнія объ этой важной части государственнаго управленія („Сынъ От.“ 1818 г., № 50 и 51). Тотъ же Тургеневъ стоялъ, какъ извѣстно, за освобожденіе крестьянъ съ землею, и этою мѣрою подсѣкалъ въ корни возраженіе сторонниковъ рабства, что крестьяне, внезапно освобожденные и не имѣющіе никакой собственности, останутся безъ куска хлѣба...

VI.

Мы не хотимъ преувеличивать важности направленія, вѣратцѣ очерченнаго нами; но не имѣемъ также никакихъ причинъ ослаблять и унижать его значеніе въ пользу тенденцій, лишенныхъ всякаго достоинства и проникнутыхъ духомъ вражды или недо-вѣрія ко всему молодому, новому, свѣжему, только что зачинавшемуся въ общественной жизни. Конечно, либерализмъ русской литературы 20-хъ годовъ не отличался особенной глубиною и рѣшительностью; конечно, можно возразить многое, и съ теоретической, и съ практической стороны, противъ различныхъ мѣръ, предложенныхъ въ законодательномъ проектѣ Сперанскаго; но, во-первыхъ, не слѣдуетъ забывать, что наша литература не могла высказываться вполне ясно и опредѣленно, и движеніе, происходившее въ обществѣ, только до нѣкоторой степени прорывалось въ печати; во-вторыхъ, всѣ эти возраженія законны и убѣдительны вовсе не съ той точки зрѣнія, на какой стояли наши „клас-сическіе“ писатели въ родѣ Карамзина. Сперанскому можно было возразить, что его государственной реформѣ должна была предшествовать реформа крестьянская; защитникамъ освобожденія крестьянъ полезно было напомнить (какъ то и дѣлалъ Н. И. Тургеневъ), что личная свобода должна основываться на свободѣ экономической; но развѣ то самое говорили Карамзинъ и его союзники? Развѣ они устраняли недостатки проектируемыхъ реформъ, а не отпихивали ихъ цѣликомъ, во имя нелѣпныхъ понятій объ интересахъ государства и правахъ личности? Развѣ все послѣдующее развитіе русской мысли приближалось къ идеаламъ Карамзина, а не отходило отъ нихъ на болѣе и болѣе значительное разстояніе? Развѣ, наконецъ, великое слово, разрѣшившее въ наши дни крѣпостныя узы народа и давшее ему равный для всѣхъ гласный судъ—развѣ это слово находится въ болѣе гармоніи со взглядами Карамзина, чѣмъ съ идеями Сперанскаго, Тургенева и Куницына? Нѣтъ и нѣтъ! Въ томъ-то и сила, что

Карамзинъ понималъ современныя ему явленія, какъ человѣкъ отсталый и безъ толку раздраженный, не умѣя ни спорить логически, ни понимать надлежащимъ образомъ возраженія своихъ противниковъ. А противниками этими были всѣ передовые люди русскаго общества. Борьба Карамзина со Сперанскимъ уже показала, чего можно ожидать отъ сентиментальнаго панегириста „Марѣ Посадницы“. Самъ Сперанскій, возвратясь изъ ссылки, избѣгалъ даже встрѣчи съ Карамзинымъ. „Сперанскій холоденъ со мною, какъ ледъ—писалъ въ 1821 г. историкъ государства русскаго—едва говорить, и то уже въ случаѣ необходимости; къ намъ не ходить, и я къ нему не хожу“ (Письма къ Дмитріеву, стр. 313). Да и что могъ чувствовать Сперанскій, кромѣ неуваженія, къ одному изъ представителей ретроградной партіи, отъ противо-дѣйствія которой пали въ прахъ всѣ его лучшія надежды и стремленія? Не съ большимъ уваженіемъ отнесся къ Карамзину, по выходѣ его исторіи, и молодой Пушкинъ. Недовольство людей, считавшихъ непригодными историческіе взгляды Карамзина, не могло свободно выражаться въ тогдашней прессѣ, но изъ записки Н. Муравьева, напечатанной г. Погодинымъ, видно, въ чемъ состояло это недовольство и какія именно мысли знаменитаго „предисловія“ вызывали сильнѣйшую оппозицію въ либеральной части русскаго общества. Карамзинъ, напримѣръ, писалъ въ своемъ предисловіи, что „исторія представляетъ намъ, какъ благотворная власть обуздывала бурное стремленіе мятежныхъ страстей“. А Муравьевъ замѣчалъ на это: „Согласимся, что сіи примѣры рѣдки. Обыкновенно страстямъ противятся другія же страсти; борьба начинается, способности душевныя и умственныя съ обѣихъ сторонъ пріобрѣтають наибольшую силу. Наконецъ, противники утомляются, познають общую выгоду, и примиреніе заключается благоразумною опытностью. Вообще, весьма трудно малому числу людей быть выше страстей народовъ, къ которымъ принадлежать они сами, быть благоразумнѣе вѣка и удерживать стремленіе цѣлыхъ обществъ. Слабы соображенія наши противъ естественнаго хода вещей. И даже тогда, когда мы воображаемъ, что дѣйствуемъ по собственному произволу, и тогда мы повинемся прошедшему—дополняемъ то, что сдѣлано, то, чего требуетъ отъ насъ общее мнѣніе... Вообще, отъ самыхъ первыхъ временъ одни и тѣ же явленія. Отъ времени до времени рождаются новыя понятія, новыя мысли; онѣ долго маются, созрѣвають, потомъ быстро распространяются и производятъ долговременныя явленія, за которыми слѣдуетъ новый порядокъ вещей, новая нравственная

система". Здѣсь, какъ видитъ читатель, столкнулись два совершенно противоположныхъ взгляда на вещи: Карамзинъ видѣлъ въ исторіи два ряда явленій, не имѣющихъ между собою ничего общаго—съ одной стороны мятежныя страсти народовъ, а съ другой благотворныя дѣйствія власти;—Муравьевъ же полагалъ, что мятежныя страсти господствуютъ какъ на той, такъ и на другой сторонѣ, и задача правительствъ состоитъ не въ томъ только, чтобы „обуздывать“ желанія народа, но въ томъ, чтобы сообразоваться съ „общимъ мнѣніемъ“ и дѣлать своевременныя уступки новымъ понятіямъ. Далѣе Карамзинъ требуетъ, чтобы изученіе исторіи „мирilo насъ съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ“; а Муравьевъ говоритъ: „Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищъ всего земнаго: но исторія должна ли только мирить насъ съ несовершенствомъ, должна ли погружать насъ въ нравственный сонъ квіэтизма? Въ томъ ли состоитъ гражданская добродѣтель, которую народное бытописание воспламенять обязано? Не миръ, но брань вѣчная должна существовать между зломъ и благомъ; добродѣтельные граждане должны быть въ вѣчномъ союзѣ противъ заблужденій и пороковъ. Не примиреніе наше съ несовершенствомъ, не удовлетвореніе суетнаго любопытства, не пища чувствительности, не забавы праздности составляютъ предметъ исторіи. Она возжигаетъ соревнованіе вѣковъ, пробуждаетъ душевныя силы наши и устремляетъ къ тому совершенству, которое суждено на землѣ. Священными устами исторіи праотцы призываютъ къ намъ: „не посрамите земли русскія“. Несовершенство видимаго порядка вещей есть, безъ сомнѣнія, обыкновенное явленіе во всѣхъ вѣкахъ, но есть различіе между несовершенствами. Кто сравнитъ несовершенства вѣка Фабриціевъ или Антониновъ съ несовершенствами вѣка Нерона или гнуснаго Геліогабала, когда честь, жизнь и самыя нравы гражданъ зависѣли отъ произвола развращеннаго отрока, когда владыки міра, римляне, уподоблялись безсмысленнымъ тварямъ?“ Точно также остался неудовлетворенъ „предисловіемъ“ Карамзина извѣстный Лелевель, напечатавшій свой разборъ въ „Сѣверномъ Архивѣ“ за 1822 годъ (№ 23); а черезъ нѣсколько лѣтъ по смерти Карамзина Н. А. Полевой рискнулъ, наконецъ, высказать прямое и откровенное мнѣніе о всей литературной дѣятельности сошедшаго съ поприща писателя. „Хронологическій взглядъ на литературное поприще Карамзина—писалъ онъ—показываетъ намъ, что онъ былъ литераторъ, философъ, историкъ прошедшаго вѣка; прежняго, не нашего поко-

лѣнія. Это весьма важно для насъ во всѣхъ отношеніяхъ, ибо симъ вѣрно оцѣняются достоинства Карамзина, его заслуги и слава... Онъ былъ, безъ сомнѣнія, первый литераторъ своего народа въ концѣ прошедшаго столѣтія, былъ, можетъ быть, самый просвѣщенный изъ русскихъ, современныхъ ему, писателей. Между тѣмъ вѣкъ двигался съ неслыханною до того времени быстротою. Никогда не было открыто, изъяснено, обдуманно столь много, какъ въ Европѣ въ послѣднія 25 лѣтъ. Все измѣнилось и въ политическомъ, и въ литературномъ мірѣ. Философія, теорія словесности, поэзія, исторія, знанія политическія—все преобразовалось. Но когда начался сей новый періодъ измѣненій, Карамзинъ уже кончилъ свои подвиги вообще въ литературѣ; онъ не былъ дѣйствующимъ лицомъ; одна мысль занимала его—исторія отечества... Безъ него развилась новая русская поэзія, началось изученіе философіи, исторіи, политическихъ знаній сообразно новымъ идеямъ, новымъ понятіямъ нѣмцевъ, англичанъ, французовъ, перекаленныхъ (*retrempés*, какъ они сами говорятъ) въ страшной бурѣ, и обновленныхъ на новую жизнь“. Объ исторіи Карамзина Полевой отзывался слѣдующимъ образомъ: „Жизнь Россіи остается для читателя неизвѣстною, хотя его утомляютъ подробностями неважными, ничтожными, занимаютъ, трогаютъ картинами великими, ужасными, выводятъ передъ нимъ толпу людей, до излишества огромную. Карамзинъ нигдѣ не представляетъ вамъ духа народнаго, не изображаетъ многочисленныхъ переходовъ его отъ варяжскаго феодализма до деспотическаго правленія Іоанна и до самобытнаго возрожденія при Мининѣ. Вы видите стройную, продолжительную галерею портретовъ, поставленныхъ въ одинакія рамки, нарисованныхъ не съ натуры, но по волѣ художника, и одѣтыхъ также по его волѣ. Это—лѣтопись, написанная мастерски, а не исторія“ („Моск. Телегр.“ 1829 года, № 12).

Бѣлинскій, отдавая справедливость многимъ заслугамъ Карамзина, уже просто подтрунивалъ надъ людьми, которые „живутъ памятью сердца и не могутъ выйти изъ убѣжденія, что Карамзинъ былъ великій гений, и что его творенія вѣчны и равно свѣжи для настоящаго и будущаго, какъ они были для прошедшаго“ (т. VIII, стр. 139). А г. Галаховъ до сихъ поръ не хочетъ знать этихъ отзывовъ и, воскуря фиміамъ, священнодѣйствуетъ и старинному на могилѣ Карамзина, какъ будто бы вокругъ не стоятъ князья Шаликовы, Макаровы и другіе сверстники авторъ „Вѣдной Лизы“, какъ будто бы въ цѣлой подлунной не произошло ничего новаго послѣ бесѣды Филалета съ Мелодоромъ...

Время и мѣсто не позволяютъ намъ останавливаться на Жуковскомъ и Крыловѣ съ тою же подробностью, съ какою остановились мы на Карамзинѣ; но все сказанное нами относится въ полной мѣрѣ къ Жуковскому и отчасти къ Крылову. Жуковский — при всѣхъ симпатичныхъ сторонахъ своей личности и своего таланта — не лучше Карамзина понималъ духъ вѣка, не съ большимъ сочувствіемъ относился къ нему, и его литературная карьера только тѣмъ отличается отъ карамзинской, что онъ началъ съ того, чѣмъ кончилъ Карамзинъ. У послѣдняго былъ короткий періодъ увлеченія свободной философіей; онъ идеализировалъ Марѳу Посадницу, увлекался швейцарской республикой и уважалъ даже Робеспьера; Жуковский же прямо началъ съ идеализаціи кроткихъ семейныхъ добродѣтелей, съ проповѣди общественнаго застоя, и никогда не сворачивалъ съ этой дороги. Въ началѣ своей дѣятельности онъ пѣлъ:

Друзья, любите снѣгъ родительскаго крова!
Гдѣ жъ счастье, какъ не здѣсь, на лонѣ тишины,
Съ забвеніемъ суетъ, съ безпечностью свободы?
О, блага чистыя, о, сладкій даръ природы!
Гдѣ вы, мои поля? Гдѣ вы, любовь весны?
Страна, гдѣ я разцвѣлъ въ тѣни уединенья,
Гдѣ сладость тайная во грудь мою лилась и пр. и пр.

А въ концѣ поприща, пройдя безучастно среди умственныхъ тревогъ и волненій александровскаго времени, онъ успокоился въ томъ же семейномъ кругу, который воспѣвалъ съ юныхъ лѣтъ:

И нинѣ тихо, безъ волненія льется
Потокъ моей уединенной жизни.
Смотря въ лицо подруги, данной Богомъ,
На осязанье сердца моего,
Смотри, какъ спитъ своѣмъ ангела на лонѣ
У матери младенецъ мой прекрасный,
Я чувствую глубоко тотъ покой,
Котораго такъ жадно здѣсь мы ищемъ...

Даже издавая журналъ, Жуковский вносилъ въ свою программу такую обязанность: „имѣй въ виду семейство, въ которомъ со временемъ, на самомъ дѣлѣ, ты могъ бы исполнить всѣ лучшія мечты, озаряющія твою душу въ часы уединеннаго размышленія; сими сладостнымъ ожиданіемъ разсѣивай скуку временнаго одиночества, воображая, что дѣйствуешь въ глазахъ избраннаго, достойнаго любви, привязаннаго къ тебѣ существа“ (Соч. Ж.—го, изд. 1869 г., т. VI). Къ общественнымъ движеніямъ, къ попыткамъ политическихъ реформъ Жуковский относился съ такой же безпоощадной строгостью, какъ и Карамзинъ. Такъ, въ одномъ

своемъ письмѣ, онъ порицаетъ происшествія 1848 года въ Германіи; въ другомъ прозаическомъ очеркѣ, по поводу того же возникновенія представительныхъ правительствъ въ Германіи, Жуковский пророчитъ: „представительная система сама себя въ своемъ развитіи уничтожить, уступивъ, наконецъ, мѣсто чистой монархіи, опирающейся на государственные штаты“. У насъ, до сихъ поръ, считаютъ Карамзина родоначальникомъ сантиментальнаго направленія, а Жуковского—представителемъ романтизма въ русской литературѣ; но если мы перестанемъ гоняться за словами, то увидимъ, что въ стремленіяхъ и идеалахъ обоихъ этихъ писателей существуетъ полнѣйшая солидарность, слегка оттъняемая нѣкоторыми личными свойствами ихъ характеровъ. У Жуковского больше теплоты и сердечности, у Карамзина—холодности и резонерства; Жуковский, какъ мистикъ и мечтатель, больше тянется въ облакамъ, Карамзинъ же гораздо положительнѣе его. Но чуть лишь Жуковский вступилъ въ земную юдоль,—онъ смотритъ на все глазами Карамзина. Семейный кружокъ является для него, также какъ и для Карамзина, апоэозой земнаго счастья; патриархальныя условія общественной жизни кажутся ему такою же точно святыней, до которой не должна касаться ничья продерзостная рука. Обоихъ писателей можно назвать одинаково проповѣдниками общественнаго квіэтизма (черта, усмотрѣнная въ Карамзинѣ Муравьевымъ) и узенькаго благополучія въ домашней сферѣ. Съ словомъ же „романтизмъ“ нужно обращаться крайне осторожно, такъ какъ оно производило въ тѣ дни такую же путаницу въ умахъ, какую производитъ въ наше время пресловутая кличка нигилизма. Подъ романтизмомъ понимали вообще уклоненіе отъ старыхъ школьныхъ правилъ, выработанныхъ псевдо-классическими пѣтиками, и этимъ отрицательнымъ названіемъ, которое, собственно говоря, ничего не опредѣляло, окрестили людей различнаго направленія, сходящихся въ противодѣйствіи мерзляковской риторикѣ. Такимъ образомъ, подъ это названіе подошли и Жуковский, и Пушкинъ, и Веневитиновъ, и Рылѣевъ, хотя каждый изъ нихъ вносилъ въ литературу совершенно особые элементы, весьма мало похожіе одинъ на другой. Какое сходство, напримѣръ, между „добрымъ и счастливымъ человекомъ“ Жуковского, который ищетъ „лучшихъ наслажденій и драгоценныхъ наградъ въ нѣдрѣ семейства“, и тѣмъ вѣчно-тревожнымъ, самоотверженнымъ общественнымъ дѣятелемъ, который сказалъ о себѣ:

Еще отъ самой колибели
Къ свободѣ страсть жила во мнѣ;

Мнѣ мать и сестры пѣсни пѣли
О незабвенной старинѣ!

Столь же мало общаго между Теонотъ, усѣвшимися мирно у гроба своей возлюбленной въ ожиданіи будущей съ нею встрѣчи. и пушкинскимъ Алеко, который мечется изъ шатра въ шатеръ подѣ влияніемъ байроновскаго скептицизма и разочарованія. Веневитиновъ стоитъ также особнякомъ въ этой группѣ, съ своимъ разностороннимъ образованіемъ, съ своей философской пытливостью, наложившей рѣзкій отпечатокъ на всю его поэзію. А между тѣмъ всѣ названныя лица зачислялись современниками подѣ одно общее знамя романтизма. — Г. Галаховъ, возвеличивая Карамзина, не упустилъ случая умилиться и предѣ Жуковскимъ, и это, по крайней мѣрѣ, послѣдовательно съ его стороны. «Не трудно оспаривать—говоритъ онъ—положеніе автора, ставящаго семейство на первомъ планѣ, впереди отечества и всего рода человѣческаго; но онъ думалъ такъ, и его мнѣніе имѣло для него силу искренняго убѣжденія. Кто усвоивалъ его образъ мыслей, тому было ясно, что семейство дѣйствительно заключаетъ въ себѣ всѣ особенности идеала, достойнаго сдѣлаться цѣлью исканій каждаго».

Ну а тѣ, кто не усвоилъ себѣ этого образа мыслей—что же вы объ нихъ-то умалчиваете, г. Галаховъ? правы они или нѣтъ, и трудно ли ихъ оспаривать? Впрочемъ, г. Галаховъ не умалчиваетъ о нихъ и черезъ двѣ страницы даже вступаетъ съ ними въ полемику. «Обвиняютъ Жуковскаго — такъ возвращается онъ à ses moutons,—что своими заоблачными идеалами, своимъ стремленіемъ къ незримому и таинственному, онъ наводилъ на современныхъ читателей, преимущественно на молодежь, праздную мечтательность, созерцательную вѣсность, не только не пригодную, но даже вредную для дѣятельной жизни. Нужно было укрѣплять наши силы въ виду борьбы, предстоящей каждому человѣку въ обществѣ—укоряли его—а онъ разслаблялъ насъ. Но такое обвиненіе, если оно и справедливо (?) падаетъ не на одного Жуковскаго, а на многихъ поэтовъ-идеалистовъ христіанскаго міра. Одно изъ двухъ: или надобно доказать внутреннюю несостоятельность поэтическаго идеализма вообще (что невозможно), или, видя въ немъ не случайное и фальшивое явленіе и признавъ за нимъ за *raison d'être*, признать съ тѣмъ вмѣстѣ, что онъ настраивалъ сердца къ благороднымъ и возвышеннымъ движеніямъ, которымъ не было причины оставаться безплодными и въ семействѣ, и въ обществѣ. Идеализмъ есть не только необходимая стадія въ развитіи поэзіи; но

и необходимая, существенная ея принадлежность, безъ различія времени и народовъ. А если ужъ каждому поэту непременно слѣдуетъ быть Тиртеемъ борьбы въ жизни и для жизни, то притязательные критики могутъ успокоиться: Жуковский также проповѣдовалъ войну—войну души съ нечистыми помыслами и дѣяніями» и пр. Здѣсь г. Галяховъ начинаетъ уже иронизировать; но надъ кѣмъ или надъ чѣмъ иронизируетъ онъ? Что идеализмъ Жуковского отривалъ умы людей отъ дѣйствительной жизни, что онъ напечатывалъ имъ пренебреженіе къ общественнымъ связямъ и обязанностямъ, ставя выше всего любовь къ женщинѣ, а, по смерти ея, «стремленіе въ онѣй таинственный свѣтъ», куда никто не знаетъ дороги; что онъ тормозилъ довольно долго наклонность къ реальному мышленію—въ этомъ едва ли можно сомнѣваться. Какимъ же чудомъ этотъ идеализмъ сдѣлался «необходимой, существенной принадлежностью поэзіи, безъ различія времени и народовъ»? Не смѣшиваетъ ли, по просту, авторъ творческую идеализацію, дѣйствительно необходимую поэту для осмысливанія и комбинированія наблюдаемыхъ фактовъ, съ идеализмомъ, какъ нравственною системою, слишкомъ извѣстной по своимъ характеристическимъ признакамъ? Если такъ, то пусть онъ посмѣется надъ самимъ собою, а не надъ «притязательными критиками», которые, по всей вѣроятности, лучше его понимаютъ эту разницу.

VII.

До сихъ поръ мы одобряли автора за «последовательность» въ хвалебномъ настроеніи его пера; но теперь пришла минута, когда мы должны сильно ограничить или даже совсѣмъ отобрать назадъ и этотъ комплиментъ. Въ отношеніи къ Жуковскому г. Галяховъ стоитъ еще твердо и не даетъ его въ обиду разнымъ придирчивымъ критикамъ, но вотъ зашла рѣчь о Крыловѣ—и картина быстро мѣняется. Г. Галяховъ забываетъ вдругъ всѣ уловки и извороты, всѣ *circumstances atténuantes*, которыми любилъ угостить читателя во славу своихъ любимцевъ; онъ самъ дѣлается на этотъ разъ, строгъ и притязателенъ, и пробуетъ на бѣдномъ баснописцѣ всю мощь своего критическаго анализа. Мы бы соотвѣстно ничего не возразили противъ такой требовательности еслибы она примѣнялась равномѣрно ко всѣмъ богамъ русскаго Олимпа; но, обрушиваясь въ частности на одного Крылова, онъ

побуждает невольно вступить за него—по крайней мѣрѣ, «для сравненія его съ сверстниками». Крыловъ, на примѣръ, осуждалъ, подобно Карамзину, либерализмъ александровской эпохи, называлъ ослами, забравшимися на Парнасъ, первыхъ совѣтниковъ государя и даже—по мнѣнію г. Кеневича—не пощадилъ и Сперанскаго въ баснѣ: «Орелъ и паукъ», представивъ его въ видѣ паука, который «безъ ума и трудовъ» взлетѣлъ высоко на орлиномъ хвостѣ. Последнее толкованіе г. Кеневича, правда, подвергается сомнѣнію, но общій неодобрительный тонъ Крылова по отношенію къ современному ему политическому свободомыслию не нуждается въ доказательствахъ. Казалось бы, что г. Галахову, потратившему немало краснорѣчія на защиту Карамзина, слѣдовало также отстаивать и Крылова—и, пожалуй, отстаивать съ бѣльшимъ азартомъ, такъ какъ аллегорическія картинки дѣдушки-баснописца легче поддаются объясненію въ ту или другую сторону. Такъ мы и ждали, но—какъ сказано—обманулись. За Сперанскаго г. Галаховъ стоитъ горой; къ свободѣ мысли изъясняетъ платоническое влеченіе и за недостатокъ этого влеченія въ Крыловѣ обзываетъ его—словами Сперанскаго—«порядочнымъ невѣждой». Онъ даже ссорится, въ нѣсколькихъ мѣстахъ, съ г. Кеневичемъ за его неисправимое пристрастіе къ своему идеалу—Крылову. Вотъ, на примѣръ, какому разбору подвергаетъ г. Галаховъ басню Крылова «Водолазы»:

«Съ какой стороны ни судить о притчѣ—пишетъ нашъ строгій критикъ—она оказывается несостоятельною, построенною на такомъ сравненіи, которое, по французской поговоркѣ, ничего не доказываетъ. Алчность къ приобрѣтенію матеріальныхъ богатствъ нельзя уподоблять жаднѣ умственныхъ изслѣдованій, глубинѣ знанія. Въ стремленіи къ истинѣ умъ не можетъ остановиться на серединѣ. Врожденная, совершенно законная пытливость духа влечетъ человѣка нескончаемо и безгранично, хотя бы за это влеченіе онъ жертвовалъ жизнью (Боже, какой пагостъ!) или навсегда утрачивалъ счастье, какъ юноша въ Шиллеровомъ стихотвореніи: «Покрытый истуканъ въ Саисѣ». Эта пытливость есть столько же прирожденное намъ свойство, сколько и необходимое условіе нашего совершенствованія, почему и нельзя сказать, будто водолазъ Крылова «погибаетъ оттого, что рѣшился на дѣло, противное природѣ человѣка». (Это сказано г. Кеневичемъ въ одномъ изъ его безчисленныхъ и на половину не нужныхъ примѣчаній). Если же на притчу смотрѣть по отношенію ко времени ея появленія, то ее, по малой мѣрѣ, слѣдуетъ назвать несвоевременною и неумѣст-

пою. Мы и теперь еще не можем похвалиться успѣхами въ любомудріи: если любомудріе — зло, то оно и теперь у насъ въ большомъ недостаткѣ, а не въ большомъ излишкѣ. Разумѣется, и предки наши, въ первую половину царствованія Александра I-го, не до такой степени погружались въ знанія, чтобы слѣдовало удерживать ихъ рвеніе; напротивъ, было бы благоразумнѣе и патріотичнѣе возбуждать въ нихъ охоту къ умственнымъ трудамъ, которыми очень немногіе посвящали свое время. Мнѣніе, что Крыловъ, по существу отличію своего таланта, ко всему относился не иначе, какъ критически (это опять мнѣніе г. Кеневича), можетъ оправдывать другаго писателя, а не нашего, который такъ высоко цѣнилъ правоучительные выводы, и пѣлью авторской дѣятельности ставилъ пользу согражданъ. Такой писатель, и при выборѣ предметовъ для сатиры, и въ самой сатирѣ, обязанъ руководствоваться не естественнымъ позывомъ таланта, но и взглядомъ на литературу, имъ же самимъ высказаннымъ. Въ неумѣннѣ на первыхъ порахъ приняться за хорошее дѣло или въ неловкости, съ какою принимаются за него новички, и въ происходящихъ отсюда комическихъ сценахъ, онъ не дозволитъ себѣ видѣть уже крайность зла и не замѣчать начала добра: иначе сатира нанесетъ вредъ самымъ уважительнымъ стремленіямъ общества. Настроеніе сатирика сообщится читателямъ, которые, ради нелѣпостей и неудачъ, обнаруживаемыхъ при вступленіи въ неизвѣданныя дотолѣ области, сочтутъ и послѣднія нелѣпостью. Къ числу такихъ областей принадлежала въ нашемъ обществѣ наука» (стр. 311—12). Въ другомъ мѣстѣ, разобравъ еще нѣкоторыя басни Крылова, направленные противъ вольнодумства и философіи («Сочинитель и разбойникъ»; «Огородникъ и философъ» и др.), г. Гадаховъ снова настойчиво замѣчаетъ: «Общественное значеніе литературныхъ произведеній опредѣляется какъ подборомъ ихъ предметовъ, такъ и взглядами, въ нихъ выражаемыми. И предметы, и взгляды пріобрѣтаютъ большую или меньшую важность, смотря по ихъ отношенію къ мѣсту и времени. Чтò хорошо и кстати въ одну эпоху, то непригодно и даже вредно для другой. Съ этой точки зрѣнія, басни Крылова, о которыхъ мы говорили, подлежатъ осужденію. Дѣйствительно, баснописецъ долженъ былъ подумать: чѣмъ болѣе страдало современное ему русское общество—привычкою ли видѣть то, чего нельзя не видѣть, чтò по величинѣ своей бросается въ глаза каждому (см. басню «Любопытный»), или неумѣньемъ замѣчать такія вещи, которыя, кромѣ глазъ, требуютъ умственного зрѣнія и вниманія? поклоненіемъ л

навыку, державшему легионы въ вѣрности у себя зависимости, или педантическимъ стремленіемъ замѣнить безсознательный навывъ сознательнымъ образомъ мыслей,—желаніемъ, которое заявляли единицы и десятки? довѣріемъ ли къ наукѣ и страстію рыться и погибать въ ея глубинахъ, или, наоборотъ, мелкимъ плаваніемъ по знанію?... Развивалась ли на виду у баснописца литература съ безнравственнымъ направленіемъ? гдѣ сочинители, отравлявшіе ядомъ своихъ твореній общество, или философы—наставники, заражавшіе ядовитымъ ученіемъ юношество? Если отвѣты на эти вопросы легки и ясны, то непонятна случайность, по которой человѣкъ такого ума и таланта, какъ Крыловъ, обходилъ большинство явленій наиболѣе тяжкихъ, будто ихъ вовсе не существовало, и выбиралъ предметомъ своей сатиры меньшинство противоположныхъ явленій, какъ будто въ нихъ сосредоточивалась вся сила народнаго зла?... Почему и какъ баснописецъ преслѣдовалъ мошекъ и букашекъ и не замѣчалъ слона?» Отсюда г. Галаховъ дѣлаетъ выводъ, что образованіе баснописца было мелко и ограничено, что онъ чувствовалъ полнѣйшее равнодушіе къ знанію независимо отъ ближайшихъ и практическихъ въ немъ надобностей, что онъ не имѣлъ никакого положительнаго образа мыслей, и его «идеалъ заключался въ покоѣ безстрастія». Говоря откровенно, мы находимъ такой приговоръ слишкомъ рѣзкимъ и одно-стороннимъ, такъ какъ трезвый и практическій умъ Крылова нерѣдко указывалъ ему на дѣйствительно-важные недостатки русскаго общества (вспомнимъ басни: «Свинья подъ дубомъ», «Рыбы пляски», «Мірская сходка», «Листы и корни», «Слонъ на воеводствѣ»); но въ примѣненіи къ разобраннымъ баснямъ критическій приѣмъ г. Галахова совершенно вѣренъ. Мы недоумѣваемъ только: почему г. Галаховъ опрокинулся съ такою строгостью на Крылова, у котораго вредное вліяніе одной басни часто парализировалось несомнѣнно хорошимъ вліяніемъ другой, и не испробовалъ своего критическаго приѣма на всей дѣятельности Карамзина, начиная съ «Записки о древней и новой Россіи»? Поживы ему было бы гораздо больше, и онъ могъ бы закидать своего излюбленнаго писателя такими вопросами: «неужели въ русскомъ обществѣ Александровскаго времени политическій либерализмъ былъ самою зловредною чертою, наиболѣе заслуживающей полемики? неужели въ немъ не было никакого другаго, болѣе сильнаго и живучаго зла? считались ли у насъ тысячами люди, интересовавшіеся общественными событіями, или, наоборотъ, нашу инерцію, нашу безпечность

въ этомъ отношеніи нужно было будить героическими средствами? гдѣ скрывались, наконецъ, наши Дантоны, и Мараты, которыми Карамзинъ страдалъ пугливый народъ»? и пр. и пр. Если бы г. Га-лаховъ захотѣлъ быть справедливымъ, то на эти вопросы онъ отвѣ-тилъ бы еще рѣзче, чѣмъ на вопросы, заданные имъ скромному баснописцу, который уже тѣмъ выше Карамзина, что, по собствен-ному выраженію, «не пускался въ открытое море», чувствуя не-достаточность своихъ силъ, и не брался служить для цѣлаго го-сударства мужемъ разума и совѣта.

О НОВѢЙШЕМЪ ПРЕПОДАВАНІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТОВЪ.

(О преподаваніи русской литературы». Соч. Владиміра Стоюнина. Курсъ общей педагогикѣ, г. Юркевича).

I.

Преподаваніе теоріи и исторіи словесности представляется, до сихъ поръ, крайне неудовлетворительнымъ въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Это хорошо извѣстно всѣмъ практическимъ педагогамъ, всѣмъ лицамъ, сколько-нибудь заинтересованнымъ въ этомъ дѣлѣ. Объясненія для этого факта представляются различными. Иные, напр., относя все къ личности преподавателя, умѣющаго или неумѣющаго осмыслить и изложить свой учебный предметъ, склонны находить причину явленія въ плохой подготовкѣ учителей, изъ которыхъ далеко не всѣ прошли «серьезную филологическую школу», то есть, воспитали себя на чтеніи и изученіи классическихъ авторовъ. Повидимому съ цѣлью помочь этой бѣдѣ, основанъ здѣсь историко-филологическій институтъ, питомцы котораго должны будутъ преподавать намъ образцы надлежащаго пониманія задачъ и требованій современной науки въ ея примѣненіи къ педагогическимъ условіямъ среднихъ общеобразовательныхъ школъ... Мы желаемъ всякихъ успѣховъ новому разсаднику филологическихъ познаній въ Россіи; но думаемъ, что дѣятельность его врядъ ли принесетъ замѣтную пользу, если во времени перваго выпуска его «дорогихъ» слушателей (несомнѣнно, что они стоятъ казнѣ очень дорого, такъ какъ въ институтѣ совсѣмъ нѣтъ своихъ коштныхъ воспитанниковъ, и классическую древность признано полезнымъ изучать только на казенный счетъ),—если къ этому великому дѣлу не измѣнятся нисколько господствующіе нынѣ взгляды на преподаваніе словесныхъ наукъ. Личность преподавателя, его познанія и педагогическій тактъ, безъ сомнѣнія, много значатъ для успѣха преподаванія; но самая-то личность несетъ на себѣ вліянія общихъ условій, которыя не всегда удобно и не всегда возможно устранить. Какъ ни будь свѣдущъ и талантливъ препода-

даватель, но если его связать по рукамъ и по ногамъ обязательной программой, односторонней и схоластической,—то врядъ ли онъ можетъ выпутаться совершенно невредимо изъ этихъ крѣпкихъ тенетъ, врядъ ли не загубить въ нихъ большую часть своихъ познаній и горячаго рвенія къ дѣлу. Къ сожалѣнiю, въ нашихъ вліятельныхъ педагогическихъ сферахъ, откуда излетаютъ всевозможные «проекты» и программы—все, повидимому, съ цѣлью усовершенствовать,—никакъ не можетъ установиться и окрѣпнуть правильный взглядъ на задачу и объемъ преподаванія словесности. Въ былые дни мы изучали «по Зеленецкому» всѣ роды и виды поэзіи и прозы, всѣ риторическія украшенія рѣчи; обогащали свою память бездною тонкихъ, отвлеченныхъ опредѣленій романа, драмы, комедіи и пр., не прочтя толкомъ ни одного порядочнаго автора; бойко сдавали, наконецъ, свой выпускной экзаменъ и, уже много лѣтъ спустя, при первомъ запросѣ на дѣйствительныя познанія, на серьезную критическую оцѣнку литературнаго произведенія, убѣждались, что зазубрить по книжкѣ теоретическое опредѣленіе—не значить еще умѣть примѣнить его къ живому литературному образцу. Такъ научались мы по Зеленецкому теоріи словесности. По тому же курсу (но по другой книжкѣ) знакомились мы съ прогрессивнымъ движеніемъ русской литературы. Тутъ узнавали мы имена и отчества почти всѣхъ сочинителей, когда либо воздѣлывавшихъ вертоградъ російской словесности, запоминали годъ ихъ рожденія и смерти, чины и знаки отличія, полученные ими (буде сочинители состояли въ государственной службѣ), заучивали неукоснительно всѣ заглавія никогда не прочтенныхъ нами поэмъ, драмъ, и, въ заключеніе всего, начинивъ себя различными фразами о сентиментальности Карамзина, народности Пушкина и юморѣ Гоголя, получали право сказать, что мы-де знаемъ исторію русской литературы. Схоластика Зеленецкаго рухнула и, послѣ нѣсколькихъ попытокъ рациональнаго веденія дѣла, мы снова пришли къ другой, не менѣе вредной крайности. Многіе педагоги (и притомъ изъ вліятельныхъ), осудивъ Зеленецкаго за обиліе отвлеченной мудрости, вообразили, что теорія и исторія словесности не могутъ быть ничѣмъ инымъ, какъ звонкими, безсодержательными фразами, нимало непонятными для учениковъ; ссылаясь на плохой результатъ обученія «по Зеленецкому», они стали увѣрять, что вообще критика литературныхъ произведеній съ выводомъ изъ нея основныхъ теоретическихъ различій (т. е., того, что составляетъ въ здоровомъ преподаваніи теорію словесности) недоступна ученику средняго учебнаго заведенія—такъ точно, какъ недоступно ему

связное систематическое изложенеіе постепеннаго развитія и смѣны понятій и идеаловъ въ исторіи словесности. Оба предмета, взаимно дополняющіе одинъ другой, исчезали такимъ образомъ изъ гимназическаго курса, а чтобы замѣстить чѣмъ нибудь этотъ пробѣлъ, новыя педанты предлагали особенно налечь на исторію языка. Какъ будто историческое изученеіе языка—дѣло немногихъ специалистовъ—болѣе доступно пониманію юношества, болѣе своевременно и плодотворно, чѣмъ изученеіе литературныхъ произведеній въ достаточно широкой, разъясняющей ихъ исторической обстановкѣ; какъ будто, наконецъ, раціональная исторія языка возможна безъ исторіи мысли, выражавшейся въ немъ! Въ духѣ этой филологической односторонности составлены всѣ новѣйшія программы по исторіи русской словесности, въ которыхъ видно желаніе расширить, сколько возможно, филологическій матеріалъ и сжать до послѣдней степени исторію мысли въ литературныхъ произведеніяхъ. Такимъ образомъ, число авторовъ и количество сочиненій, обязательныхъ для разбора въ старшихъ классахъ гимназій, убавляется съ каждымъ годомъ: изъ Фонъ-Визина нынѣ рекомендуется только одинъ «Недоросль», котораго нельзя ни понять, ни оцѣнить, не сопоставивъ его съ другими произведеніями того же писателя и современныхъ ему авторовъ; изъ лирическихъ стихотвореній Пушкина берутся только «Бородинская годовщина» и «Клеветникамъ Россіи»; за Грибоѣдовымъ, кажется, совсѣмъ не признано права просвѣщать русское юношество, и т. д. Зато филологія процвѣтаетъ!

Но въ то время, какъ официальные программы обнаруживаютъ попытку обойтись совсѣмъ безъ теоріи и исторіи литературы, ограничившись одними лингвистическими упражненіями,—въ нашей педагогической литературѣ разрабатываются съ большимъ толкомъ новыя методы преподаванія обоихъ изгоняемыхъ предметовъ. Одному изъ нихъ посвящена полезная книга г. Водовозова: «Словесность въ образцахъ и разборахъ, съ объясненіемъ общихъ свойствъ сочиненія и главныхъ родовъ поэзіи и прозы». Здѣсь авторъ сдѣлалъ довольно удачный опытъ — вывести главнѣйшія правила, такъ называемой, теоріи словесности изъ внимательнаго критическаго разбора самихъ литературныхъ произведеній, устраняя всѣ схоластическіе приемы, донныя употреблявшіеся при этомъ случаѣ. Такъ, напримѣръ, г. Водовозовъ сличаетъ весьма подробно «Капитанскую дочку» съ историческимъ описаніемъ пугачевского бунта и затѣмъ, уже послѣ долгихъ объясненій и выводовъ, приступаетъ къ характеристикѣ поэзіи вообще. Также точно, родовыя свойства эпоса, отличитель-

ныя черты народнаго творчества, общія свойства драмы, трагическое и комическое въ искусствѣ—ислѣдуются у автора чисто-индуктивнымъ путемъ, и теоретическія обобщенія даются имъ, какъ результатъ точнаго и дробнаго анализа. Свойства образнаго слога (то, что въ старыхъ риторикахъ называлось тропами и фигурами) указывались г. Водовозовымъ тоже на примѣрахъ, и притомъ безъ лишняго употребленія терминовъ. Въ своемъ критическомъ разборѣ литературныхъ произведеній авторъ книги такъ мало скупился на анализъ всѣхъ, даже незначительныхъ подробностей, такъ добросовѣстно углублялся во всѣ изгибы поэтической мысли, что вызвалъ справедливый упрекъ въ излишествѣ мелочныхъ критическихъ наблюдений и въ недостаткѣ синтеза, то есть обобщающихъ выводовъ. Тѣмъ не менѣе, книга его составляетъ приобрѣтеніе для педагогической литературы. Въ такомъ видѣ теорія словесности перестаетъ быть пугаломъ для учениковъ и дѣлается средствомъ для полезныхъ умственныхъ занятій, естественнымъ продолженіемъ и завершеніемъ высшаго грамматическаго курса.. Отъ изученія языка, какъ формы, въ которой выражается человѣческая мысль, такъ просто и необходимо перейти къ анализу самой этой мысли, къ отысканію тѣхъ общихъ правилъ, по которымъ создаются литературныя произведенія и обогащаютъ языкъ новыми образами, выраженіями и оборотами рѣчи. Сколько бы ни говорили педанты о томъ, что подобная критическая работа приходится будто бы не по силамъ учениковъ въ старшихъ классахъ гимназій,—педагогическій опытъ всегда будетъ свидѣтельствовать противное и покажетъ яснымъ образомъ, что за этимъ собоулзнованіемъ о слабыхъ силахъ юношей скрываются какія нибудь другія, болѣе искреннія и болѣе внушительныя соображенія въ родѣ тѣхъ, которыя высказаны были довольно откровенно въ одномъ отчетѣ о преподаваніи словесности въ гимназіяхъ здѣшняго учебнаго округа. Въ этомъ отчетѣ говорилось, напримѣръ (и, помнится, именно по поводу преподаванія г. Водовозова), что ученики не должны-де критически относиться къ с а м о у Карамзину, что такое отношеніе разовѣетъ въ нихъ гордость, фразерство, самоувѣренныя претензіи и т. п., тогда какъ въ ихъ нѣжномъ возрастѣ полезнѣе внимать безпрекословно хвалебнымъ характеристикамъ, которыя услышать они съ кафедры учителя (конечно, вельми благонамѣреннаго) и прочтутъ въ учебникахъ (конечно, одобренныхъ начальствомъ). При такомъ оригинальномъ взглядѣ на значеніе критическаго анализа въ воспитаніи, преподаваніе словесности можетъ, дѣйствительно, превратиться въ пустую, самодовольную, не допускаю-

щую возражений, догматику съ одной стороны и въ безсмысленное заучиванье фразъ учителя или учебника—съ другой. Такого рода словесность, дѣйствительно, бесполезна, и мы за нее не стоимъ... Но зачѣмъ же сваливать свою вину на другихъ и обвинять въ подготовленіи фразеровъ именно тѣхъ людей, которые, развивая въ ученикахъ способность критической оцѣнки предметовъ, тѣмъ самымъ отучаютъ ихъ отъ рабскаго, неосмысленнаго повторенія чужихъ фразъ? Зачѣмъ отказываться отъ логическихъ послѣдствій своего собственного мнѣнія? Il faut avoir courage de son opinion...

Если книга г. Водовозова полезна для рациональнаго преподаванія теоріи словесности, то книга г. Стоюнина, заглавіе которой приведено выше, въ той же мѣрѣ полезна для преподаванія исторіи русской литературы. Она выдержала уже нѣсколько изданій и вполне заслуживаетъ своего успѣха, такъ какъ, не смотря на нѣкоторые чувствительные недостатки, она представляетъ единственный или, по крайней мѣрѣ, лучший образецъ примѣненія литературнаго курса въ потребностямъ среднихъ учебныхъ заведеній. Г. Стоюнинъ не имѣлъ въ виду написать цѣлый курсъ исторіи русской литературы въ строгой связи и послѣдовательности; цѣль его была преимущественно педагогическая, а именно онъ вознамѣрился, по поводу нѣкоторыхъ книгъ, употребительныхъ въ преподаваніи русской словесности (какъ-то: «Исторіи словесности» г. Галахова и хрестоматій гг. Буслаева и Филонова), изложить свои мысли о томъ, чѣмъ должна быть исторія литературы въ гимназическомъ курсѣ, какъ нужно готовить учениковъ къ ея слушанію и на какія именно стороны литературныхъ произведеній, древнихъ и новыхъ, слѣдуетъ обращать вниманіе при классномъ разборѣ. Такимъ образомъ, книга г. Стоюнина распадается на нѣсколько частей, недостаточно связанныхъ между собою. Прежде всего, авторъ опредѣляетъ педагогическую цѣль въ преподаваніи словесности (разумѣя здѣсь какъ теорію, такъ и исторію предмета) и указываетъ средства, какими можетъ быть достигнута эта цѣль; далѣе онъ обращается къ книгѣ г. Водовозова и высказываетъ свое мнѣніе, вполне добросовѣстное, о степени ея педагогической пригодности; затѣмъ переходитъ собственно къ исторіи литературы и останавливается подробно, въ связи съ разбираемыми имъ книгами, на самыхъ важныхъ моментахъ въ развитіи русской литературы — на тѣхъ моментахъ, на которыхъ долженъ сосредоточиваться, по его мнѣнію, весь интересъ и смыслъ преподаванія. Въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ авторъ обращаетъ всего больше вниманія на развитіе на-

родныхъ «идеаловъ», понимая подъ этимъ словомъ образное представление народа о политической власти, о религіозныхъ, общественныхъ и семейныхъ обязанностяхъ человѣка. Здѣсь мы находимъ вѣрное пониманіе многихъ, весьма важныхъ литературныхъ вопросовъ; кромѣ того, встрѣчается нѣсколько сдержанныхъ, но вѣскихъ и справедливыхъ возраженій г. Галахову. Только уже въ 21-й главѣ своей книги авторъ представляетъ образцы разборовъ по теоріи словесности, хотя эти разборы были бы уместнѣе въ началѣ книги: вѣдь теорія словесности должна предшествовать исторіи, а не наоборотъ. Изъ этого краткаго перечня содержанія главъ видно, что книга г. Стоюнина страдаетъ недостаткомъ правильнаго и опредѣленнаго плана. Авторъ желалъ соизмѣстить въ своемъ трудѣ, по малой мѣрѣ, три разнородныя задачи: во-первыхъ, написать критическій разборъ на нѣсколько книгъ (гг. Галахова, Водовозова, Вуслаева и Филонова); во-вторыхъ, представить пробный курсъ по теоріи словесности и, наконецъ, въ-третьихъ, прослѣдить всѣ главнѣйшіе моменты въ развитіи русской литературы и общества. Между тѣмъ, для каждой изъ этихъ задачъ, чтобы исчерпать ее вполне, понадобилось бы написать особую книгу, какъ это и сдѣлалъ г. Водовозовъ исключительно для теоріи словесности. Вслѣдствіе этой разрозненности плана, г. Стоюнинъ не успѣлъ высказать вполне своихъ взглядовъ на развитіе русской литературы, такъ какъ первый томъ «Исторія словесности» Галахова, на который онъ писалъ свой разборъ, доведенъ только до появленія Карамзина, и это обстоятельство стѣснило замѣтно г. Стоюнина, ограничившагося обязанностью рецензента. По той же причинѣ, курсъ теоріи словесности, вошедшій въ книгу въ видѣ пробныхъ уроковъ, оказался черезчуръ сжатъ и не представляетъ отвѣта на многіе крупныя теоретическіе вопросы, неизбежно являющіеся при оцѣнѣ литературныхъ произведеній. Г. Стоюнинъ, пожалуй, возразить намъ, что онъ считаетъ теорію и исторію словесности одинымъ предметомъ, а потому и говоритъ объ нихъ въ одной книгѣ; но этимъ возраженіемъ врядъ ли возможно удовлетвориться. Какъ бы ни были шатки теоретическія основанія литературной критики, составляющія то, что называется на учебномъ языкѣ «теоріей словесности», какъ бы мало ни соотвѣтствовала современная эстетика названію науки (мы не будемъ спорить съ г. Стоюнинымъ, что такого названія она покуда и не заслуживаетъ); но несомнѣнно, однако, то, что, приступая къ чтенію и оцѣнѣ литературныхъ произведеній, необходимо установить эстетическія начала въ томъ или другомъ видѣ, примѣняясь, конечно, къ потребно

стижъ и пониманію учениковъ. Итакъ, одно дѣло—изучать литературу съ цѣлью: указать общіе признаки, по которымъ словесныя произведенія группируются подъ рубрики драмы, эпоса и лирики, а также найти критическія требованія, одинаково приложимыя къ цѣлому роду произведеній, и другое дѣло—коснуться спеціально исторіи литературы своего только народа, чтобы показать существенныя черты народнаго духа и постепенное измѣненіе народныхъ идеаловъ. Въ первомъ случаѣ, возможно и даже должно заимствовать подходящіе примѣры и доказательства изъ всѣхъ европейскихъ литературъ; во второмъ случаѣ, преподаватель ограниченъ исторіей одного народа, и чѣмъ больше захватить онъ въ свой курсъ реальныхъ, бытовыхъ и историческихъ чертъ, тѣмъ полезнѣе будетъ для его учениковъ. Выяснять критическія начала, растолковывать ходячіе литературные термины тутъ уже поздно: это дѣло должно быть сдѣлано ранѣе. Нужно только сравнить двѣ половины книги г. Стоюнина — историческую и эстетическую.—чтобы увидѣть, что и самъ онъ преслѣдуетъ въ обоихъ случаяхъ разныя цѣли.—При всемъ томъ книга г. Стоюнина заключаетъ въ себѣ много хорошихъ сторонъ: сюда относимъ мы всѣ педагогическія разсужденія его, обнаруживающія въ немъ опытнаго и здравомыслящаго педагога, и большую часть его историко-литературныхъ взглядовъ, за исключеніемъ, напримѣръ, преувеличенныхъ похвалъ Кантемиру, изъ всѣхъ сатиръ котораго только одна сатира «Къ уму моему» заслуживаетъ, на нашъ взглядъ, разбора съ учениками. да и то не сама по себѣ, а какъ удобный предлогъ для характеристики петровскаго времени. Педагогическая цѣль преподаванія словесности опредѣлена у г. Стоюнина совершенно правильно, и съ этимъ опредѣленіемъ стоить познакомить нашихъ читателей. По мнѣнію г. Стоюнина, каждый преподаватель долженъ найти въ своемъ учебномъ предметѣ три живыя силы, которыя благотѣльно дѣйствовали бы на учащихся: 1) онъ долженъ сообщать имъ истинныя познанія, касающіяся природы и человѣка; 2) развивать ихъ и 3) приучать къ труду. Примѣняя эти требованія къ преподавателямъ словесности, авторъ находитъ, что только немногіе изъ нихъ удовлетворяютъ всѣмъ нужнымъ условіямъ, большинство же гонится за однимъ изъ нихъ, забывая остальные. «Есть такіе преподаватели—пишетъ г. Стоюнинъ—которые исключительно заботятся о количествѣ знаній; чѣмъ больше, тѣмъ лучше—говорятъ они—и, дѣйствительно, передаютъ много фактовъ и даже разсужденій, рассчитывая на силу памяти, которая на извѣстное время можетъ удержать все

переданное. Про ихъ учениковъ можно сказать, что они выучили предметъ, но нельзя сказать, что они правильно развивались на этомъ предметѣ, а тѣмъ болѣе, что они разумно надъ нимъ работали и слѣдственно привыкали къ труду. Они только учили на память, считая это занятіе утомительнымъ трудомъ, къ которому трудно почувствовать расположеніе. Есть другіе преподаватели, которые на первомъ планѣ ставятъ развитіе, и основываютъ его на занимательности или интересности передаваемыхъ познаній. Необходимо овладѣть вниманіемъ ученика—говорить они,—чтобы онъ слушалъ васъ съ большимъ интересомъ; только при такомъ условіи онъ безъ всякаго труда, легко и скоро, будетъ запоминать ваши уроки и, конечно, будетъ развиваться вашими бесѣдами съ нимъ. Такіе преподаватели, дѣйствительно, рассказываютъ чрезвычайно интересно. Ученики слушаютъ ихъ очень внимательно, спрашиваютъ ихъ съ удовольствіемъ, а они еще съ большимъ удовольствіемъ распространяются въ подробностяхъ на ихъ вопросы. Все это очень хорошо, потому что въ такихъ бесѣдахъ много жизни, есть живая связь между наставниками и учениками; но нѣтъ одного очень важнаго обстоятельства: заботясь о всевозможныхъ облегченіяхъ, наставникъ нисколько не думаетъ о трудѣ. Его ученики легко воспринимаютъ все, что онъ имъ рассказываетъ, показываетъ и объясняетъ; такъ какъ онъ знаетъ во всемъ мѣру, то они не утомляются, а всегда бодры, свѣжи и радуютъ его, пересказывая его рассказы и объясненія, убѣждая при этомъ, что любознательность дѣйствительно возбуждена въ нихъ. И это хорошо; но тутъ мы видимъ только страдательное, пассивное воспринятіе. Оно доставляетъ ученику большое удовольствіе, раскрывая ему новый міръ, сообщая много новыхъ понятій; самому ему (ученику) трудиться не надъ чѣмъ. А между тѣмъ впереди ждетъ его жизнь, главное значеніе которой должно быть въ трудѣ. Если воспитаніе готовить человѣка для жизни, то большая ошибка со стороны воспитателя—не обращать вниманія на возбужденіе труда, не заставлять трудиться такъ, чтобы ученикъ увидѣлъ, наконецъ, въ трудѣ нравственную пользу, независимо отъ матеріальной, чтобы трудъ сталъ его потребностью». Наконецъ, есть третій сортъ педагоговъ, которые, вообразивъ, по словамъ г. Стоюнина, что «мука и трудъ одно и то же, съ намѣреніемъ дѣлаютъ разныя трудности, лишь бы только помучить ученика надъ работою». Г. Стоюнинъ совершенно правъ въ теоретическомъ опредѣленіи достоинствъ педагога; но такъ какъ совершенства на землѣ нѣтъ (что давно извѣстно даже не учившимся въ семинаріи), то мы

думаемъ, что изъ всѣхъ представленныхъ имъ односторонностей самая терпимая и—скажемъ больше—самая желательная при настоящихъ условіяхъ, это, именно, вторая односторонность. Пусть существуетъ «живая связь между наставниками и учениками», пусть ученики слушаютъ съ наслажденіемъ учителя и, такъ сказать, влюбляются въ науку въ его разсказахъ; положимъ, что это будетъ «пассивный трудъ», какъ выражается г. Стоюнинъ, и самостоятельной умственной работы, къ которой должна приучать школа, здѣсь не окажется; но добрыя сѣмена все таки западутъ въ молодую душу, и если ученикъ не попадетъ потомъ въ особенно душную атмосферу, то принесутъ непремѣнно хорошіе плоды. Любви и привычки къ усидчивому труду они не дали, но не поселили, по крайней мѣрѣ, отвращенія къ нему, и мальчикъ, выходя изъ школы, не вспомнить съ ненавистью своихъ наставниковъ и не бросить съ озлобленіемъ въ печку свои книги и тетради. Такой результатъ былъ бы еще сносенъ; но у насъ, къ сожалѣнію, стать развиваться въ послѣднее время третій сортъ педагоговъ, которые «дѣлаютъ различныя трудности, чтобы только помучить ученика надъ работою»; иначе чѣмъ же бы объяснить непомѣрное усиленіе въ гимназіяхъ латини и греческаго языка, противъ котораго начинаютъ уже протестовать разумнѣйшіе изъ «классиковъ»? Чтобы сообщить при изученіи словесности истинныя познанія ученикамъ и дать имъ при этомъ удобный матеріалъ для самостоятельной разработки по вопросамъ, указаннымъ преподавателемъ, г. Стоюнинъ дѣлаетъ строгій выборъ произведеній, полезныхъ для чтенія въ классѣ. «Въ каждой литературѣ—говоритъ онъ—есть столько прекрасныхъ произведеній, что нѣтъ возможности перечитать въ классѣ ихъ всѣ; слѣдственно, необходимо опредѣлить, чего держаться при выборѣ ихъ для чтенія и изученія въ классѣ, а съ этимъ вмѣстѣ и обсудить достоинство тѣхъ познаній, которыя будутъ сообщать они. Разумѣется, эстетическимъ и народнымъ произведеніямъ литературы должно дать предпочтеніе передъ всѣми прочими уже потому, что они развиваютъ эстетическое чувство; это въ педагогическомъ дѣлѣ есть ихъ специальность, такъ какъ всѣ другіе учебные предметы не имѣютъ въ виду этой стороны развитія. Впрочемъ, указывая на изящныя произведенія, мы никакъ не хотимъ ограничиться одною эстетикой, чтобы носиться въ ваоблачномъ мірѣ безусловно и вѣчно прекраснаго и восхищаться одними возвышенными идеями. Нѣтъ, здѣсь мы имѣемъ въ виду еще другія условія. Каждое истинно-эстетическое произведеніе отражаетъ въ себѣ жизнь, дѣйствительность, съ которою связывается много нравственныхъ

и другихъ вопросовъ. Разбирая такое произведеніе, мы необходимо должны подробно обсудить его содержаніе, безъ чего невозможно даже и одна эстетическая оцѣнка, слѣдственно, должны имѣть дѣло съ разнообразными вопросами жизни: коснемся ли разбора фактовъ, или личностей и ихъ характеровъ, или отношенія ихъ между собою, или идеаловъ самого поэта и пр., все будетъ наводить насъ на вопросы близкіе и интересные каждому, вопросы житейскіе, а съ ними вмѣстѣ будутъ разясняться и самыя понятія—нравственныя, семейныя, общественныя;—понятія, которыя у учениковъ обыкновенно бывають слишкомъ туманны, неопредѣленны и сбивчивы, такъ какъ имъ рѣдко приходится задумываться надъ ними. Въ этомъ туманѣ они нерѣдко остаются и по выходѣ изъ школы, а иной и всю жизнь... Умъ ученика, безпрестанно возбуждаемый вопросами, близкими къ жизни и, слѣдовательно, живо интересующими, а не отвлеченными, не будетъ принимать пассивно познанія, а, напротивъ, самъ будетъ пріобрѣтать ихъ изъ наблюденія надъ даннымъ матеріаломъ. Заботиться только о томъ, чтобы ученикъ умѣлъ пересказать одно содержаніе литературнаго произведенія—значить, хлопотать о знаніяхъ безполезныхъ. Они займутъ свое мѣсто въ памяти, но не объяснятъ ни природы, ни жизни, ни человѣка». Подвергая такой всесторонней критической оцѣнкѣ читаемыя въ классѣ произведенія, г. Стоюнинъ невольно встрѣтился съ моднымъ нынѣ вопросомъ: будетъ ли полезно развивать въ ученикахъ критическій анализъ, и не поведетъ ли это къ фразерству, нигилизму и неповиновенію старшимъ? Съ своей обычной сдержанностью (переходящей иногда въ уклончивость) онъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ слѣдующимъ образомъ: «Нѣкоторыхъ педагоговъ пугаетъ слово: критическое изученіе предмета, чего мы рѣшительно не понимаемъ. Вѣроятно, подъ именемъ критики мы разумѣемъ совсѣмъ не то, что они. Обстоятельно обсудить съ учениками прочитанное сочиненіе, найти въ немъ отвѣты на многіе вопросы, которые изъ него вытекають, указать на достоинства и, вмѣстѣ съ тѣмъ, доказать, почему они считаются достоинствами, и равнымъ образомъ замѣтить недостатки: неужели это можетъ развивать въ ученикѣ фразерство и самонадѣянность, какъ иные предполагають? Намъ кажется, напротивъ, такіе пріемы передадутъ ученику нѣсколько критическихъ пріемовъ, которые не позволяютъ ему судить о сочиненіи вкривъ и вкось, а пріучають вникать въ дѣло и убѣждать, что нельзя произносить своего рѣшительнаго суда безъ многихъ опредѣленныхъ доказательствъ. Фразерство развиваетъ не критика, а голословныя сужденія безъ всякихъ данныхъ, общія характеристики

предметовъ, съ которыми ученикъ не успѣлъ познакомиться, когда его заставляютъ высказывать свой судъ, не давъ возможности собрать наблюденія. Но неужели же это критика? По нашему мнѣнію, критика есть судъ, на основаніи многихъ собранныхъ признаковъ. Приучать собирать признаки и строго обсуживать ихъ, значить, приучать къ строгому мышленію и къ осторожному суду. Тамъ фразерства быть не можетъ, гдѣ судъ составляютъ выводы изъ опредѣленныхъ данныхъ; могутъ быть ошибки, но ошибки еще далеко не фразерство. Мы даже не знаемъ, какимъ образомъ можно избѣжать критики, еслибы даже ограничиться объяснительнымъ чтеніемъ съ полнѣйшимъ усвоеніемъ содержанія произведенія. Вѣдь можетъ случиться, что ученикъ будетъ несогласенъ съ тою или другою мыслью изучаемаго сочиненія или ему не понравится какая либо сцена и даже цѣлое произведеніе? Что же тутъ будетъ дѣлать учитель, опасующійся критики? Заставить вѣрить на слово, что эта мысль вѣрна, а эта сцена прекрасна? Что же это за педагогическое средство убѣждать? Итакъ, по нашему мнѣнію, критики нечего бояться при изученіи литературнаго произведенія: она часто бываетъ неизбѣжна, вызываемая самими учениками, и всегда полезна, потому что не допускаетъ никакихъ голословныхъ опредѣленій».

Еслибы нѣсколько лѣтъ тому назадъ подобное сомнѣніе въ пользѣ критическаго начала было высказано въ литературѣ, то врядъ ли нашли бы даже охотники возражать на него: до такой степени оно показалось бы страннымъ, нелѣпымъ и не заслуживающимъ опроверженія. Но теперь, при измѣнившихся обстоятельствахъ, мы рекомендуемъ отвѣтъ г. Стоюнина всѣмъ педагогамъ, которыхъ смущаетъ не гамлетовскій, а молчалинскій вопросъ: «Да можно-ль смѣть свое сужденіе имѣть?» Надѣмся, что такихъ педагоговъ наберется достаточное количество, и, слѣдовательно, мы не безъ пользы привели мнѣніе почтеннаго автора.

II.

Что молчалинскій вопросъ дѣйствительно смущаетъ нашихъ педагоговъ, и что есть между ними такіе теоретики, которые весьма категорически запрещаютъ имѣть «свое сужденіе»,—въ этомъ можно вполне убѣдиться, прочтя «Курсъ общей педагогики» г. Юркевича. Прежде всего, эта книга наводитъ насъ невольно на одно сравненіе...

Изъ послѣдняго романа Виктора Гюго (*L'homme qui rit*) многие

русскіе читатели узнали впервые, что въ XVII-мъ вѣкѣ существовало и даже процвѣтало въ Европѣ цѣлое общество людей, занимавшихся спеціально — не избіеніемъ, но изуродованіемъ младенцевъ, смотря по надобностямъ султановъ, папъ, англійскихъ лордовъ и тому подобныхъ заказчиковъ человѣческаго тѣла. Одному нужны были карлики, другому — вѣчно-смѣющіеся люди съ застывшею улыбкою на обезображенномъ лицѣ, третій искалъ человѣческаго горла, способнаго крнчать по пѣтушьи (обычай, долго существовавшій при англійскомъ дворѣ), четвертый, наконецъ, нуждался въ евнухахъ для охраненія цѣломудрія своихъ женъ — и всѣмъ этимъ многообразнымъ потребностямъ удовлетворяло знаменитое братство. «Требованіе на уродовъ — говоритъ Гюго (не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести его подлинныя слова) — положило начало особенному искусству. Были воспитатели или, вѣрнѣе, образователи карликовъ. Брали человѣка и дѣлали изъ него недоноска; брали лицо и дѣлали изъ него мордочку. Останавливали ростъ, комкали человѣческій образъ. Искусственное производство уродливостей имѣло свои правила; это была цѣлая наука. Представьте себѣ искусство сохранять натуральныя формы человѣческаго тѣла и исправлять ихъ, если онѣ повреждены, въ обратномъ смыслѣ. Тамъ, гдѣ Богъ далъ прямой глазъ, искусство замѣняло его косиною; тамъ, гдѣ Богъ далъ гармонію, это искусство вносило уродство... Нѣкоторые анатомисты того времени умѣли очень удачно стереть съ человѣческаго образа божественный отпечатокъ... Дѣтопокупатели (по испански: *компрахикосы*) обладали талантомъ обезображивать, и этотъ талантъ служилъ имъ рекомендаціей для политики. Обезобразить гораздо лучше, чѣмъ убить. Была, правда, желѣзная маска, но это уже средство чрезвычайное. Нельзя населить Европу желѣзными масками, между тѣмъ какъ изуродованные фигляры бѣгаютъ по улицамъ безъ всякаго стѣсненія; и потомъ желѣзную маску можно сорвать, тѣлесную — нельзя. Навѣкъ васъ замаскировать вашимъ же собственнымъ лицомъ — это преостроумная вещь. Дѣтопокупатели обдѣлывали человѣка, какъ китайцы обдѣлываютъ дерево. У нихъ были секреты этого искусства, у нихъ были станки. Утраченное искусство! Изъ ихъ рукъ выходило что-то невзрачное, хилое, чудное... Они съ такимъ умѣньемъ, съ такимъ умомъ обдѣлывали маленькое существо, что даже родной отецъ не могъ его узнать. Иногда они не трогали спиннаго хребта и оставляли его прямымъ, но преображали лицо. Они, такъ сказать, снимали съ ребенка его мѣтку, какъ спарываютъ мѣтку съ платка... Дѣтопокупатели не только отнимали фізіономію у ребенка, они

него отнимали и память. Ребенокъ вовсе не сознавалъ, что подвергся изуродованію. Эта странная хирургія оставляла слѣды на его лицѣ, но въ его умѣ слѣда не оставалось. Самое болѣе, что онъ могъ припомнить, было то, что онъ разъ былъ схваченъ какими-то людьми, потомъ уснулъ, потомъ его вылѣчили. Вылѣчили отъ чего? Онъ не помнилъ прижиганій сѣрой, ни надрѣзовъ желѣзомъ. Дѣтопокупатели, во время операций, усыпляли маленькаго пациента посредствомъ одуряющаго порошка, который слылъ за волшебный, и утишалъ, уничтожалъ боль». Читатели, прочтя эту меткую характеристику, можетъ быть, воскликнуть вмѣстѣ съ авторомъ: «утраченное искусство!» Совершенно напрасно. Нѣтъ, господа, искусство это не утрачено, не забыто — по крайней мѣрѣ, въ нашей литературѣ и практикѣ; оно только измѣнило свое названіе и отбросило нѣкоторые, слишкомъ варварскіе приемы; но сущность дѣла осталась возмутительною, какъ прежде. Современные компахикосы величаютъ себя педагогами, современныхъ красавцевъ, вышедшихъ изъ ихъ педагогическихъ станковъ, титулуютъ они «благовоспитанными и хорошо дисциплинированными юношами»; прижиганіе сѣрой и надрѣзы желѣзомъ замѣняютъ они побоями, розгами или «предостереженіями», «внушеніями», «увѣщаніями» и другими «нравственными средствами», которыя, какъ бурсацкіе канчуки въ повѣсти Вій, «будучи употреблены въ большомъ количествѣ, дѣлаются вещью нестерпимою». Подобно прежнимъ компахикосамъ, современные (преимущественно московскіе) педагоги пользуются разными научными средствами для достиженія своихъ цѣлей, съ тою, однако, разницею, что компахикосы дѣйствовали только на тѣло, а педагоги стараются извратить самую душу своихъ питомцевъ и наложить на нее свое патентованное клеймо. Нужно еще замѣтить—и это замѣчаніе клонится къ чести дѣтопокупателей—что они, по чувству естественной стыдливости, скрывали свои настоящія цѣли и приемы, употребляемые ими, тогда какъ современные педагоги, съ ихъ московскимъ оракуломъ во главѣ, пререзвизно утверждаютъ, что «нікола есть дисциплина»—и ничего больше, то есть должна заботиться не о развитіи дѣтскаго ума, а объ удержаніи его на короткой уздѣ окаменѣвшихъ и безмысленныхъ привычекъ и поведеній...

Книга г. Юркевича, которая навела насъ на предыдущія мысли, служитъ весьма подробнымъ и безцеремоннымъ кодексомъ всѣхъ явныхъ и тайныхъ поползновеній современныхъ... компахикосовъ. Авторъ нисколько не скрываетъ своей цѣли—выдѣлать изъ дѣтей послушныхъ куколъ, безжизненныхъ автоматовъ, которые всегда и

во всемъ непрекословно повиновались бы лицамъ, призваннымъ водворять между ними дисциплину. Книга эта дѣлится, для виду, на множество главъ съ мнимо-научными названіями: «идея воспитанія», «воспитательныя мѣры», «общая теорія обученія», «методика» и т. д., но сущность ея состоитъ вовсе не въ идеяхъ, а въ кое-какихъ практическихъ цѣляхъ, къ которымъ должна быть направлена дѣятельность ловкихъ педагоговъ. Главное зло, съ которымъ долженъ бороться педагогъ, сформулировано у г. Юркевича слѣдующимъ образомъ: «это есть та к р и т и к а, которая все подрываетъ, во всемъ сомнѣвается, то и дѣло роется внутри человѣка, зондируетъ, переворачиваетъ, перестраиваетъ, то есть извѣстный нигилизмъ, признакъ моральной порчи человѣка». Если устранить изъ этой тирады столь извѣзженный нигилизмъ, который сохраняетъ еще у насъ значеніе «жупела», пугавшаго до обморока сердобольную купчиху Островскаго, — то ея смыслъ будетъ до нельзя простъ и очевиденъ: «воспитывайте дѣтей такъ, чтобы они ни въ чемъ не сомнѣвались, вѣрили на слово всякому добродушному человѣку, взявшему на себя трудъ поучать ихъ, чтобы ни въ какомъ случаѣ не относились критически къ своимъ поступкамъ и не требовали отъ себя тѣхъ пустяковъ, которые называются на человѣческомъ языкѣ самостоятельностью и честностью убѣжденій». Намъ скажутъ, пожалуй, что мы невѣрно комментируемъ мысли автора. Но никто не въ правѣ сказать это: мы только придали идеямъ Юркевича ихъ настоящій и естественный колоритъ, упростили форму ихъ выраженія. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ отсутствіе критическаго начала не есть моральное холопство и развѣ человѣкъ, лишенный способности «рыться внутри себя», не будетъ весь вѣкъ свой рыться въ навозѣ, даже безъ надежды найти въ немъ когда нибудь жемчужное зерно? Будьте справедливы, читатель, и согласитесь, что наша фраза вѣрно и характерно передаетъ взятую мысль. Опредѣливъ такимъ образомъ отправную точку педагога, г. Юркевичъ подгоняетъ къ ней всѣ другія части своей системы. Собственно о б у ч е н і е, которое могло бы развить умъ дитяти и расширить его нравственный горизонтъ, авторъ «Педагогики» не цѣнитъ ни въ грошъ, такъ какъ, по его мнѣнію, самое обученіе «должно быть религіознымъ», т.-е. ученикъ обязанъ вѣрить научнымъ истинамъ, а не убѣждаться въ нихъ путемъ повѣрки и анализа. Особенно недоброжелательствуетъ г. Юркевичъ естественнымъ наукамъ (это любимый конекъ всѣхъ московскихъ компрахисовъ), особенно вооружается противъ ихъ критическаго метода, способнаго эманципировать нравственную личность питомца. По его категорическому мнѣнію, юноша, обо

гащенный свѣдѣніями изъ біологіи, знаетъ только «какія пилюли нужно употреблять противъ пагубныхъ послѣдствій дурной страсти, какія злокачественныя язвы уничтожаются цѣлительною мазью» (стр. 35). Вслѣдствіе этого, г. Юркевичъ ставитъ на первомъ мѣстѣ въ воспитаніи «нравственное вліяніе» воспитателя, которое въ его глазахъ все исчерпывается строжайшею дисциплиною. При этомъ онъ оказываетъ большое вниманіе «дѣтямъ народа». «Если—говоритъ онъ—воспитаніе имѣетъ цѣлью напечатлѣть въ душѣ воспитанника готовое законодательство, то дисциплина принимаетъ обширныя размѣры и опирается на тяжелыя понудительныя мѣры. Воспитатель, въ этомъ случаѣ, можетъ сказать по совѣсти (хороша, должна быть, совѣсть у такого воспитателя!): щадяй жезлъ, ненавидитъ сына. Сообразно съ этимъ, воспитаніе дѣтей народа, которыя не имѣютъ ни времени, ни средствъ къ глубокому внутреннему образованію, должно быть по преимуществу дисциплинарное. Самое обученіе должно не столько обогащать ихъ свѣдѣніями, сколько дисциплинировать ихъ разумъ, какъ бы приковывая его (?) къ немногимъ, но очень твердымъ истинамъ» (стр. 96). Но авторъ немного любезнѣе и къ дѣтямъ другихъ сословій. Отвергая гуманность, на которую «въ новѣйшее время стали указывать, какъ на путеводную звѣзду для воспитателя» (стр. 19), г. Юркевичъ полагаетъ, что такую звѣзду должна быть дисциплина, которая «не можетъ быть не строгой» (стр. 95), и вся разница въ воспитаніи «дѣтей народа» и «дѣтей благородныхъ» сводится только къ большому или меньшему количеству пинковъ и розогъ, отпускаемыхъ педагогами. Въ дисциплину г. Юркевичъ просто влюбленъ и смотритъ на нее глазами знаменитаго исправника, который хвастался тѣмъ, что если онъ пошлетъ вмѣсто себя свою палку, то и ей крестьяне будутъ кланяться и передъ ней будутъ снимать шапки. Покуда рѣчь идетъ о біологіи, гуманности и т. п. «скучныхъ матеріяхъ», г. Юркевичъ вялъ и невразумителенъ; но какъ только доходитъ дѣло до дисциплины и тѣлесныхъ наказаній, прозванныхъ нѣкогда тѣмъ же авторомъ «энергическими мотивами жизни», г. Юркевичъ моментально оживляется и, какъ гоголевскій Пѣтухъ при заказываніи любимыхъ блюдъ, «и губами причмокиваетъ, и присасываетъ»—словомъ, получаетъ полнѣйшее удовольствіе. Самый стиль его крѣпнетъ и впадаетъ въ тонъ полицейскаго приказа. «Требованія—пишетъ онъ подъ рубрикою «дисциплины»—представляются воспитаннику въ отвлеченныхъ правилахъ, которыя устанавливаютъ порядокъ для его жизни и дѣятельности. Правила должны быть исполняемы. Этимъ предполагаются мѣры и учрежденія, которыя содѣйствуютъ исполненію правилъ и затрудняютъ ихъ

нарушеніе. Совокупность такихъ правилъ, мѣръ и учрежденій называется дисциплиной» и проч. Г. Юркевичъ глумится надъ педагогической теоріей, которая «унижаетъ высокое значеніе дисциплины» (стр. 95). Строгій и неослабный надзоръ воспитателя долженъ простирается на все: «какое мѣсто занимаетъ ученикъ въ классѣ, на какомъ мѣстѣ онъ оставляетъ свои книги и свою одежду; воспитатель долженъ дисциплинировать взоръ и голосъ ученика» (стр. 101),—до тѣхъ поръ, конечно, повуда ученикъ не заоретъ благимъ матомъ и не убѣжитъ вонъ, куда глаза глядятъ, изъ такого милаго учебнаго заведенія... Изъ всѣхъ качествъ, необходимыхъ для педагога, г. Юркевичъ цѣнитъ выше всего «искусство пригрозить (курсивъ въ подлинникѣ) рѣшительною переменою голоса или выраженія глазъ» (стр. 141). Такъ какъ въ основу нравственнаго вліянія воспитателя г. Юркевичъ кладетъ страхъ, или, какъ онъ выражается, «холодъ страха», задаваемого питомцамъ, то понятно отсюда, что для автора «Педагогики» наиболѣе устрашающія средства будутъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и наиболѣе дѣйствительными въ воспитаніи. «Строгость—говоритъ онъ—закаляетъ воспитанника въ вѣрности и преданности идеалу» (какому?). Чтобы меньше стѣснять воспитателя въ выборѣ строгихъ мѣръ, г. Юркевичъ настаиваетъ на томъ, чтобы законъ предоставилъ каждому педагогу «такъ называемое отеческое право, то есть право отвѣчать за-принятую карательную мѣру только передъ своею совѣстью и передъ Богомъ» (стр. 184). Надо думать однако, что такое ходатайство передъ закономъ останется не уваженнымъ, ибо въ противномъ случаѣ компрахибсы, выдрессированные авторомъ «Педагогики»,дохнуть не дадутъ своимъ несчастнымъ воспитанникамъ, да, кромѣ того, истребятъ на розги большую часть отечественныхъ мѣсовъ, которые приказано уже беречь даже и въ Троицынъ день. Тѣмъ не менѣе, г. Юркевичъ полагаетъ, что воспитателя не слѣдуетъ стѣснять въ правѣ пресѣкать зло, въ самомъ началѣ, вспышкой гнѣва, угрозой и «импровизированнымъ наказаніемъ» (стр. 185), и тутъ же замѣчаетъ, что тѣлесныя наказанія напрасно считаются щекотливыми въ наше время. Можно представить себѣ, что было бы въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, еслибы какая-нибудь волшебная фея взялась удовлетворить требованіямъ г. Юркевича. Сцены могли бы произойти ужаснѣе той, которая разыгралась совѣтѣ московскаго университета по случаю забаллотирован г. Леонтьева.

Тѣлеснымъ наказаніямъ, или «энергическимъ мотивамъ жизни г. Юркевичъ посвящаетъ даже особый параграфъ. Мы выпи-

ваемъ эти золотыя строки: «Склонность прибѣгать къ средствамъ чувственнымъ прежде, чѣмъ истощены средства моральныя, свойственна учителямъ, какъ и всѣмъ людямъ; итакъ здѣсь очень близка опасность злоупотребленій. Но воспитателю подобаетъ довѣріе; если онъ вообще не заслуживаетъ его, то онъ недостойнъ своего званія... Для успокоенія тѣхъ, которые желаютъ лишить воспитателя самаго права прибѣгать къ тѣлеснымъ наказаніямъ, замѣтимъ, что когда обнаруживается педагогическое варварство въ примѣненіи тѣлесныхъ наказаній, то оно будетъ обнаруживаться и во всѣхъ отношеніяхъ воспитателя къ воспитанникамъ (хорошо успокоеніе!). Духъ народа, дѣйствующій сознательно и безсознательно въ мнѣніяхъ и чувствахъ воспитателя, производитъ и съ своей стороны вліяніе на выборъ и тяжесть наказаній. Если римляне наказывали мальчика за одно невниманіе плетью, хлыстомъ, палкой, розгой и «выдѣлкой кожи», то ничего подобнаго этому варварскому реестру наказаній не представляетъ воспитаніе греческое. Даже китайское воспитаніе болѣе снисходительно: ученика ставятъ на колѣни передъ его товарищами или онъ стоитъ столбомъ у дверей школы, или получаетъ отъ 8 до 10 ударовъ вдоль по тѣлу, причемъ онъ лежитъ ничкомъ на длинной, узкой скамьѣ, которая имѣется въ каждой школѣ». Китайское наказаніе, повидимому, особенно нравится московскому компрахикосу, и его-то сулитъ онъ россійскимъ юношамъ, буде начальство соблаговолитъ на его всепокорнѣйшія представленія.

Мы хотѣли было кончить наши замѣтки, но вспомнили, что книга г. Юркевича произошла, какъ онъ самъ говоритъ, «изъ развитія записокъ, которыя были выданы для руководства молодымъ педагогамъ, приготовляющимся къ своему званію въ учительской семинаріи военнаго вѣдомства въ Москвѣ». Если это правда (а сомнѣваться кажется, невозможно), то намъ остается только пожалѣть бѣдныхъ молодыхъ педагоговъ «военнаго вѣдомства», обязанныхъ руководствоваться такими принципами. Впрочемъ, къ счастью, подобныя зерна не всегда находятъ для себя благодарную почву, и намъ утѣшительно думать это къ чести будущихъ воспитателей, выходящихъ или уже вышедшихъ изъ педагогическихъ «станковъ» г. Юркевича. Въ противномъ же случаѣ, никакому преподаванію не будетъ мѣста, и оно живо замѣнится «выдѣлкой кожи» учениковъ, хотя бы и не тѣмъ варварскимъ способомъ, какъ производилось это у древнихъ римлянъ.

НОВАЯ ПЕРЕДЕЛКА КАРАМЗИНСКОЙ ТЕОРИИ.

(«О влияніи общества на организацію государства въ царскій періодъ русской исторіи». Соч. Н. Хлѣбникова. С.-Петербургъ, 1869 г.).

I.

Наша историческая литература, еще не такъ давно занимавшаяся кропотливыми изслѣдованіями о древне-русской бородѣ, о сребрѣ ярославлѣ, о миеологическомъ значеніи русскаго ухвата и т. п. интересныхъ и вызывающихъ на размышленіе предметахъ,—нынѣ обнаруживаетъ наклонность перейти отъ мелочныхъ фактическихъ изысканій къ обобщающимъ взглядамъ и прагматическому осмысливанію добытыхъ и разработанныхъ фактовъ. Подобныя же попытки—подбирать факты къ извѣстнымъ теоретическимъ рубрикамъ—производились, конечно, и прежде; но приемы нашихъ прежнихъ теоретиковъ были до крайности просты и не хитры; а самыя ихъ теоріи, почерпнутыя изъ тѣхъ временъ, «когда свободно рыскалъ звѣрь, а человекъ бродилъ пугливо»,—не имѣли ничего общаго съ наукою. Выставить, бывало, русскій теоретикъ величественную аксіому: «народы дикіе любятъ независимость, народы образованные—порядокъ», а затѣмъ для него уже прояснялась мгновенно вся масса историческихъ фактовъ, такъ что ее легко было растасовать и приурочить либо къ дикой независимости, либо къ образованному порядку. Дѣйствительно ли внѣшній порядокъ, водворяемый притомъ варварскими средствами, совпадаетъ съ идеей цивилизаціи, а любовь къ независимости, хотя бы и въ грубой формѣ, съ дикостью и варварствомъ?—объ этомъ ужъ не задумывался отечественный Кифа Мокиевичъ и преспокойно распредѣлялъ свой историческій матеріалъ, относя къ дикости новгородскую свободу, а къ порядку—«собираніе земли русской» посредствомъ подкуповъ и насильствъ всякаго рода. Но не смотря на свою кажущуюся неблаговидность, мудрованія эти имѣли за собой то отрицательное достоинство, что ихъ шаткость и бездоказательность лишали ихъ возможности утвердиться надолго въ литературѣ, тѣмъ болѣе, что и сами наши

«первоучители» не налегали вовсе на теоретическую разработку своих доктринъ, ограничиваясь почти одною художественною стороною въ исторіи. Какъ только художественный элементъ исчезъ, за отсутствіемъ сильныхъ талантовъ, изъ нашей исторической литературы, его смѣнила сейчасъ же археологія, которая совсѣмъ уже не рисковала пускаться въ отвлеченныя измышленія...

Но старыя понятія живучи и, кромѣ того, одарены способностью превращенія въ такой сильной степени, что поверхностный наблюдатель не сразу и замѣтитъ: какую форму выбрала для себя, въ данную минуту, традиціонная идея. Бываетъ даже, что послѣдователи традиціоннаго старовѣрства вступаютъ въ борьбу съ его родоначальниками и прежними корифеями; но борьба эта происходитъ или по недоразумѣнію, которое вскорѣ разъясняется, или вслѣдствіе умысла, чтобы отвести глаза легковѣрнымъ людямъ и увѣрить ихъ, что подмалеванная старина—вовсе не старина, но получена на дняхъ изъ Парижа вмѣстѣ съ послѣдними модными картинками; или же, наконецъ, борьба касается не сущности оспариваемой идеи, а какихъ нибудь второстепенныхъ ея аксессуаровъ, безъ которыхъ идея эта можетъ не только существовать, но процвѣтать и благоденствовать на бѣломъ свѣтѣ. Способностью горячиться и вступать въ споръ по недоразумѣнію отличался, какъ извѣстно, М. П. Погодинъ. Сколько разъ поднималъ онъ шумъ въ литературѣ, усматривая неблагонамѣренность то въ томъ, то въ другомъ сочинителѣ, и сколько разъ посрамлялся и признавалъ своими друзьями—людьми, ошибочно принятыхъ за враговъ. Что же касается до умѣнья перечекивать, такъ сказать, старыя идеи, кладя ни нихъ новый, болѣе современный штемпель, то по этой части весьма полезенъ г. Борисъ Чичеринъ, который, заимствовавъ у своихъ предшественниковъ драгоцѣнную мысль о несовмѣстимости порядка съ свободою и о преимуществѣ перваго надъ послѣдней, умудрился придать ей нѣкоторый приличный видъ и пустилъ снова въ ходъ подъ именемъ «государственной централизаціи». Штука, какъ видите, не особенно хитрая, но на нее поддаются многіе: «на ловца и звѣрь бѣжитъ», говоритъ пословица.

Наше общество до настоящаго времени такъ богато напоено и пропитано элементами допетровскаго и даже домостроевскаго склада жизни, что было бы странно, еслибы указанные нами мастера не находили поклонниковъ и хвалителей своимъ издѣліямъ между разною умственною ветошью нашего общества. Но бываетъ

жаль смотрѣть, когда они въ сѣти своихъ философствованій изловляютъ людей молодыхъ, и въ особенности способныхъ. Мы никакъ не можемъ отказать г. Хлѣбникову въ дарованіи. Не часто случается прочесть такое толковое изложеніе нашей древней исторіи, какое встрѣчаемъ у него. У автора есть свѣтъ въ головѣ; онъ не подавляется грудю своего матеріала, какъ то обыкновенно бываетъ съ чернорабочими историками; онъ умѣетъ владѣть имъ и придавать ему, гдѣ нужно, извѣстный колоритъ, умѣетъ постоянно поддерживать интересъ читателя; у него немало наблюдательности, есть даже способность къ широкимъ обобщеніямъ,—однимъ словомъ, есть всѣ задатки, чтобы дать хорошее историческое сочиненіе. И тѣмъ не менѣе мы должны сказать, что книга его, по сущности основныхъ своихъ тезисовъ, должна быть зачислена въ разрядъ неудачныхъ и запоздалыхъ попытокъ—реставрировать знакомую намъ идею о неизбѣжности государственнаго деспотизма въ древней Руси. Доказывая это основное положеніе своей книги, авторъ обращается за помощью къ Гней-сту, Гизо, Макиавелли и даже Огюсту Конту, но при внимательномъ разсмотрѣніи его доводовъ легко убѣдиться, что бѣльшая часть ихъ навѣяна никѣмъ инымъ, какъ «многоуважаемымъ» (по аттестаціи г. Хлѣбникова) профессоромъ Чичеринымъ. Разница состоитъ только въ томъ, что «многоуважаемый профессоръ», видя въ государственной централизаціи наилучшую политическую форму, привѣтствовалъ появленіе ея въ Московскомъ великомъ княжествѣ, тогда какъ г. Хлѣбниковъ допускаетъ ее съ соболѣзнованіемъ, какъ необходимое, фатальное послѣдствіе экономической и политической несостоятельности удѣльно-вѣчевыхъ порядковъ. Экономизмъ нынче въ модѣ, и г. Хлѣбниковъ пользуется имъ съ цѣлью утвердить на болѣе прочномъ фундаментѣ обветшавшую мысль нашихъ прежнихъ историковъ и юристовъ. Съ этою цѣлью, социально-экономическое положеніе различныхъ классовъ русскаго общества изображается имъ самыми мрачными красками, такъ какъ именно въ этой мрачности онъ надѣется найти оправданіе и для государственнаго деспотизма, и для упадка самоуправленія, и даже для крѣпостнаго права, которое, по мнѣнію автора, «рѣшительно необходимо въ нѣкоторыя эпохи, чтобы приучить народъ къ труду (какъ будто собственныя потребности человѣка недостаточны приучаютъ его къ этому!), образовать богатое и образованное (ну, образованье-то у насъ не слишкомъ развилось при крѣпостномъ правѣ) сословіе, которое такъ необходимо въ государствѣ» (стр. 190). Въ своей экономической характеристикѣ авторъ н

чинаеть съ высшаго сословія — съ боярскаго класса. Сильная аристократія не могла, по его мнѣнію, образоваться у насъ до Іоанна III по двумъ причинамъ: во-первыхъ, дружина наша сохраняла всегда подвижной характеръ, вслѣдствіе удѣльной системы, и переходила вмѣстѣ съ своими князьями; во-вторыхъ, земли, при ихъ огромныхъ пространствахъ и при малочисленности населенія, не имѣли никакой цѣны и не могли доставить точки опоры своимъ владѣльцамъ. Впослѣдствіи же, когда дворъ московскаго царя сдѣлался центромъ національной жизни, аристократія обратилась въ военно-придворное сословіе, которое, и по своему положенію въ администраціи, и по своимъ матеріальнымъ средствамъ, вполне зависѣло отъ верховной власти. Къ тому же низшій слой придворной аристократіи — дѣти боярскія — находились въ постоянной враждѣ съ боярами, такъ какъ послѣдніе нерѣдко грабили и обирали первыхъ при назначеніи имъ помѣстій и денегъ за службу. Только прикрѣпленіе крестьянъ, по мнѣнію автора, дало опорную точку нашей аристократіи, и тогда она проникнулась корпоративнымъ духомъ, почувствовала себя сословіемъ, имѣющимъ общіе интересы. Въ смутное время, напримѣръ, она дѣйствуетъ уже, какъ твердая, сплошная корпорація (стр. 33). Но въ началѣ царскаго періода русской исторіи наша аристократія была бѣдна, слаба и руководствовалась одними личными эгоистическими цѣлями. Сравнивая русскую аристократію съ англійской въ соотвѣтствующій періодъ времени, г. Хлѣбниковъ приходитъ къ выводу, что нашъ первѣйшій богачъ едва ли равнялся, по значительности матеріальныхъ средствъ, съ какимъ нибудь второстепеннымъ англійскимъ барономъ. Такимъ образомъ, наша аристократія не могла служить сдерживающимъ началомъ для крайностей деспотизма, а, напротивъ, сама старалась поживиться отъ него, гдѣ можно и какъ можно, лакомыми кусочками. Однимъ изъ такихъ лакомыхъ кусковъ было, между прочимъ, и прикрѣпленіе крестьянъ, которое повлекло за собой постепенный переходъ дворянскихъ помѣстій, — раздаваемыхъ за службу и только на время службы, — въ вотчины, т. е. въ наслѣдственную поземельную собственность. Къ этому прикрѣпленію крестьянъ г. Хлѣбниковъ относится какъ-то двойственно и неопредѣленно. Съ одной стороны, — какъ мы уже видѣли это, — онъ желаетъ доказать, что закрѣпощеніе массы народа способствуетъ развитію въ ней любви и привычки къ труду; съ другой стороны, историческая добросовѣстность заставляетъ его признать, что экономическое положеніе крестьянъ, разумѣется, не могло сдѣлаться лучшимъ съ

прикрѣпленіемъ крестьянъ, чѣмъ до этого прикрѣпленія» (стр. 260);—стало быть, рабство весьма мало поощряетъ развитіе трудолюбія. Образованнаго и богатаго сословія, которое должно было воспитаться, по плану г. Хлѣбникова, на народныхъ харчахъ, тоже не оказывается въ концѣ книги, и рабство, разоривъ до-гладу массу народа, не содѣйствовало скопленію богатствъ и въ привилегированной его части. При этомъ остается недоказанной и другая мысль г. Хлѣбникова, что «монархія болѣе благопріятствуетъ равноправности гражданъ, а господство аристократіи почти неизбѣжно ведетъ къ образованію рабства» (стр. 45). Напротивъ, изъ его собственнаго изслѣдованія видно, что Іоаннъ III, настоящій основатель Московской монархіи, первый вводитъ нѣкоторыя препятствія въ полному и свободному переходу крестьянъ (стр. 47), что Іоаннъ IV, не сдѣлавъ ничего путнаго въ пользу крестьянъ, только ограбилъ и передумшилъ ихъ помѣщиковъ, и что, наконецъ, со временъ Бориса Годунова вплоть до царя Алексѣя Михайловича, московскіе монархи дѣйствовали въ постоянномъ союзѣ съ аристократическими классами, въ ущербъ интересамъ большинства народа, который и заявилъ свой протестъ бунтомъ Стеньки Разина. Правда, г. Хлѣбниковъ старается убѣдить насъ, что возстаніе Разина произошло главнымъ образомъ отъ введенія низкопробной мѣдной монеты при Алексѣѣ Михайловичѣ; но коренная причина этого народного взрыва слишкомъ ясна для каждого, кто прочиталъ съ толкомъ даже одно разсужденіе г. Хлѣбникова и незнакомъ ни съ какими другими данными для рѣшенія вопроса. Борисъ Годуновъ, взоидя на тронъ, ищетъ опоры не въ цѣломъ народѣ, а въ духовенствѣ и служиломъ сословіи, которыя вручили ему власть. На соборѣ, избравшемъ въ цари Бориса, было 86 духовныхъ лицъ, 38 бояръ и окольничихъ, 198 мелкихъ поземельныхъ владѣльцевъ, 23 горожанина—и только 4 крестьянина! Естественно, что это крестьянство и было принесено въ жертву правящимъ классамъ. Только въ 1601 году, усомнившись въ надежности прежней поддержки, Борисъ вздумалъ—да и то нерѣшительно—опереться на народъ, дозволить переходъ крестьянъ изъ имѣній мелкопомѣстныхъ. Но эта полумѣра, удержавъ въ силѣ прежнее запрещеніе крестьянамъ переходить изъ имѣній крупныхъ владѣльцевъ, какъ-то: бояръ, монастырей и самого царя,—не принесла пользы Борису: крестьяне были недовольны ею, потому что конкуренція однихъ мелкопомѣстныхъ между собою не могла довести аренду земли до слишкомъ низкаго уровня, какъ могла бы это сдѣлать конку-

ренція мелкихъ владѣльцевъ съ боярами; дѣти же боярскія, которыхъ новый указъ задѣлъ чувствительно по карману, конечно, отвесились къ нему съ затаенною злобою. Быть крестьянъ мало выигралъ отъ этой попытки улучшенія.—Василій Шуйскій былъ еще больше, чѣмъ Борисъ Годуновъ, въ зависимости отъ аристократіи: въ избраніи его даже не участвовала земская дума, а дѣйствовала только одна боярская партія, которая и ограничила, по отношенію къ себѣ, извѣстною договорною грамотой, власть своего ставленника (стр. 204). По низверженіи Василя, сила бояръ не уменьшилась, и они заставили присягнуть себѣ народъ—«во всемъ ихъ бояръ слушати и судъ ихъ любить» (стр. 216). Когда же королевичъ Владиславъ провозглашенъ былъ русскимъ царемъ, то боярство, среди общаго разгрома страны, бомбардировало его только просьбами о помѣстьяхъ, съ предательскими совѣтами о томъ, какъ подавить возстаніе въ непокорной части народа. Бояринъ Михаилъ Салтыковъ,—глава приверженцевъ Владислава,—поссорился съ Гонсевскимъ, представителемъ королевича, за то, что послѣдній допустилъ въ думу торговаго мужика Андропова, скоро получившаго огромный вѣсъ и значеніе; всѣ другіе бояре обидѣлись вмѣстѣ съ Салтыковымъ. «Эта единодушная борьба бояръ — иронически замѣчаетъ г. Хлѣбниковъ—борьба противъ одного только мужика, достигшаго власти, уже ясно обнаруживаетъ, какъ эгоистически смотрѣло это сословіе на государство».

II.

Ироническое замѣчаніе г. Хлѣбникова совершенно вѣрно, и мы не имѣемъ ни малѣйшаго желанія вступаться за гражданскія доблести того сословія, которое, не имѣя ни одного изъ благихъ свойствъ западно-европейской аристократіи, сосредоточило въ себѣ исключительно дурныя ея стороны. Но не слѣдуетъ забывать, что, съ возвышеніемъ Москвы, эти дурныя стороны не только не исчезли, но сообщились самой центральной власти, которая также (за исключеніемъ Минина) не пускала въ свою верховную думу торговыхъ мужиковъ. При избраніи Михаила Федоровича боярская партія опять разыграла свою роль, и мы имѣемъ извѣстіе, что юный царь, вступая на тронъ, былъ также ограниченъ въ своихъ правахъ, относительно боярскаго класса, какъ и Василій Шуйскій. «Во все царствованіе Михаила—говоритъ г. Хлѣбниковъ—принадлежность всѣхъ важнѣйшихъ государственныхъ должностей знатымъ родамъ не

была оспариваема». Какъ мало даже земскія услуги государству значили передъ важностью длиннаго ряда предковъ—это видно уже по тому факту, что знаменитый Пожарскій, очистившій Михаилу дорогу къ трону, былъ выданъ головой за мѣстническій споръ съ знатымъ родомъ Салтыковыхъ. Мининъ, попавши въ боярскую думу, повидимому, былъ совершенно затертъ въ ней: онъ словно въ воду канулъ съ своимъ умомъ и желѣзною волей, поставившей на ноги, въ критическую минуту, всю Россію. Крестьянамъ и посадскимъ людямъ не стало легче отъ усиленія центральной власти и при Алексѣѣ Михайловичѣ. Въ 1646 г. посланы были писцы, чтобы переписать всѣхъ живущихъ крестьянъ, и было постановлено, что бѣдные крестьяне, принятые къмъ нибудь послѣ этой описи, будутъ отобраны и возвращены старымъ помѣщикамъ со всѣмъ своимъ имуществомъ, и, кромѣ того, на нихъ же взыщутся государевы и помѣщичьи подати за всѣ годы, которые они провели въ бѣгахъ. Въ 1647 г. десятилѣтній срокъ для отысканія бѣглыхъ былъ измѣненъ въ пятнадцатилѣтній; наконецъ, на земскомъ соборѣ 1649 г. срокъ сыска со всѣмъ отмѣненъ, и крестьянинъ окончательно прикрѣпился къ землѣ. Какъ быстро падало въ «царскій періодъ» русской исторіи благосостояніе крестьянскаго населенія—это нетрудно вывести изъ сличенія слѣдующихъ фактовъ. Въ XVI-мъ столѣтіи, такъ называемые черносомные (т. е. тягловые государственные) крестьяне испытывали самую прискорбную участь: при незначительности дохода (простиравшагося среднимъ числомъ отъ 2 до 4 рублей въ годъ) на нихъ лежали громадною тяжестью государственныя и общественныя повинности. Всѣ подати и повинности этого времени можно раздѣлить на три разряда. Къ первому разряду относятся повинности, предназначенныя на защиту государства: городовое дѣло, т. е., строеніе городскихъ стѣнъ и башенъ; пищальныя деньги, (на покупку оружія, на содержаніе ратныхъ людей); посонная служба, т. е. выставленіе рекрута; зеленое дѣло, т. е. приготовленіе пороха; засѣчное дѣло—устройство засѣкъ, чтобы помѣшать вступленію непріятелей. Ко второму разряду повинностей принадлежатъ сборы на содержаніе областного управленія: жалованье чиновникамъ мѣстнаго управленія и судебныя пошлины; дѣячія писчія пошлины, примѣтъ или прибавка къ ямскимъ доходамъ, кромѣ содержанія самого яма и ямщиковъ; подмога ямскимъ охотникамъ; сюда же относится натуральная повинность—строеніе и починка мостовъ. Третій разрядъ—это подати, употребляемыя на содержаніе двора: оброкъ съ помещиковъ, поплужная пошлина, соколій оброкъ, поминочные черные соб-

Эти налоги, по снисходительному расчисленію г. Хлѣбникова, обходились въ 1555 г. не менѣе 3 р. съ черной обжи (обжа равнялась 15-ти десятинамъ); слѣдовательно, крестьянинъ, владѣвшій обыкновенно одною третью обжи, т.-е. пятью десятинами, уплачивалъ отъ $\frac{3}{4}$ до 1 рубля налоговъ, что равнялось, по крайней мѣрѣ, половинѣ его дохода. Натуральныя повинности, отъекавшія крестьянина отъ его собственнаго дѣла, совсѣмъ не входятъ въ этотъ расчетъ. Понятно, что черносомные крестьяне, обираемые до-нага и заваленные непосильной работою, рвались, что ни есть мочи, съ своихъ черныхъ земель въ имѣнья монастырскія и боярскія; ихъ судьбѣ могли позавидовать только крестьяне, жившіе на земляхъ дѣтей боярскихъ, которымъ приходилось еще хуже (стр. 50—51). Въ XVII-мъ же столѣтіи эта картина мѣняется: помѣщичьи крестьяне приближаются, мало по малу, къ положенію холоповъ, такъ что въ 1647 году совершается продажа крестьянъ безъ земли, и правительство не обращаетъ на это вниманія, явно показывая, что крестьяне столько же прикрѣпляются къ землѣ, сколько и къ личности землевладѣльца. Но это покуда исключительные факты; въ концѣ же царствованія Алексѣя Михайловича (въ 1675 г.) правительство разрѣшаетъ формально продажу крестьянъ порознь, какъ вьючнаго скота (стр. 273). Съ перемѣной обстоятельствъ, быть черносомныхъ крестьянъ, не утратившихъ ни личной свободы, ни общиннаго самоуправленія, дѣлается даже предметомъ зависти для крѣпостныхъ.

Таково было у насъ положеніе сельскаго класса; но и городское населеніе было поставлено отнюдь не въ лучшія условія. Торговля стѣснялась для посадскихъ людей: во-первыхъ, откупамъ, къ которымъ московское правительство было очень склонно, создавая монополію даже изъ торговли квасомъ, сусломъ, овсяною трухою и пр.; во-вторыхъ—конкуренціей иностранныхъ капиталистовъ, стрѣльцовъ и другихъ лицъ, которыя, не платя тяжелыхъ податей и не исправляя городскихъ службъ, могли, съ выгодой для себя, соперничать съ отягощенными посадскими. Городская служба, которую несли посадскіе по сбору и продажѣ монополизированныхъ товаровъ, была въ высшей степени тяжела для нихъ. Всѣ торговыя пошлины или отдавались на откупъ, или собирались на вѣру, т. е. сами горожане выбирали лицъ, которыя бы взимали пошлины и отдавали въ казну. Трудно сказать, какой порядокъ вещей былъ болѣе обременителенъ для горожанъ. И ли отдачѣ на откупъ случались удивительные безпорядки, благодаря произволу откупщиковъ и не смотря на внимательство цѣ-

ловальниковъ, обязанныхъ смотрѣть, чтобы монополистъ не бралъ пошлинъ выше опредѣленныхъ грамотами. При отдачѣ таможенныхъ сборовъ на вѣру, городу также было не легче, потому что за недоборъ отвѣчали сначала сборщики, а потомъ и всѣ ихъ избиратели. Такъ, на примѣръ, въ 1618 г. съ бѣлоозерцевъ взыскивались таможенные недоборныя деньги съ такой безпощадной строгостью, что «многіе лутчіе (люди) съ правезовъ разбѣглися безвѣстно съ женами и съ дѣтьми, покиня дома свои пусты». Одинъ сборщикъ податей даже хвастался тѣмъ, что онъ «царскіе доходы правилъ нещадно — по бивалъ на смерть». Кромѣ городскихъ службъ, посадскіе люди отбывали еще разныя, чрезвычайныя и обыкновенныя налоги: уплачивали извѣстную часть имущества, вносили оброкъ, полоняночныя деньги (на выкупъ плѣнныхъ) и пр. Во все время царствованія Михаила и Алексѣя Михайловича посадскіе, доведенные до окончательнаго раззоренія, старались удрать изъ своихъ посадовъ и «заложиться» за влостей, за монастыри — словомъ, всюду; шли даже въ кабальныя холопы. Всякій выходъ посадскихъ, всякій «объленный» (т. е. свободный отъ податей) дворъ ложился новой тягостью на остальныхъ посадскихъ, такъ какъ правительство и не думало убавлять службъ, если горожанъ становилось меньше. Пришлось, наконецъ, угрожать посадскимъ смертною казнью за оставленіе посада! (стр. 292).

Принципъ крѣпостнаго права проведенъ былъ послѣдовательно во всѣхъ сферахъ русской жизни: крестьяне прикрѣплялись къ землѣ или, вѣрнѣе сказать, къ ея владѣльцу, городскіе жители — къ городу, высшіе классы — ко двору. «Для личности — такъ заключаетъ г. Хлѣбниковъ свою характеристику «царскаго періода» — не существовало никакого обезпеченія въ судѣ, въ случаѣ преступленій или проступковъ, кромѣ важной гарантіи (?), заключавшейся въ мягкости характера двухъ благочестивыхъ царей (т. е. Михаила и Алексѣя). Отъ наказанія кнута и батогами обычай и законъ началъ освобождать бояръ и думныхъ людей, но всѣ другіе подвергались ему за всякія преступленія... Отсутствіе законнаго суда, обезпечивающаго личность, заставляло людей прибѣгать къ лицемѣрію, къ двуличности и пр. Боязнь произвола сильныхъ вынуждала слабыхъ прятать деньги и жить въ грязныхъ и дымныхъ лачугахъ, спать на скамьяхъ безъ постеле носить грязное платьѣ и бѣлье; все это дѣлалось съ тою цѣлю чтобы не подать подозрѣнія въ богатствѣ» (стр. 249). Корыстлюбивое духовенство, овладѣвъ огромными богатствами, не сдѣйствовало нисколько умственному и нравственному развитію :

рода; напротивъ, оно старалось освободиться отъ всякихъ обязательныхъ отношеній къ государству и, по возможности, устраивало себѣ рай въ здѣшней жизни. Всегда раболѣпное передъ свѣтскою властью, которая распоряжалась мірскими благами, духовенство наше, за немногими исключеніями, вступалось ревниве всего за свои матеріальные интересы. Когда же оно пробовало выйти изъ сферы матеріальныхъ расчетовъ въ широкую область государственной жизни, его сочувствія принадлежали застою и косности, а не движенію, не прогрессу.

Читатель видитъ, что картина, нарисованная нами по матеріаламъ г. Хлѣбникова, не отличается привлекательностью, и нужно имѣть «нарочито-острое» воображеніе, чтобы представить себѣ что нибудь худшее. Тѣмъ не менѣе, г. Хлѣбниковъ стоитъ на томъ, что безъ благодѣтельной помощи московской централизаціи, мы просто сгинули бы со свѣту съ нашими старыми вѣчами и городскими республиками. Тутъ есть, очевидно, какое-то крупное недоразумѣніе, какая-то недомолвка, которую слѣдуетъ найти и указать автору. Постараемся сдѣлать это кратко, такъ какъ картина, изображенная выше, краснорѣчиво говоритъ сама за себя и избавляетъ насъ отъ пространныхъ объясненій.

Географическія условія, способствующія, по мнѣнію г. Хлѣбникова, развитію деспотизма, существовали у насъ и прежде, въ эпоху, напр., Владиміра Мономаха; границы были также мало обезпечены отъ нападеній враговъ: съ юга—половцевъ, съ запада—пѣщевъ, поляковъ и венгровъ; но отчего же Владиміръ Мономахъ, по характеру своей власти и дѣятельности, такъ мало похожъ на царя опричниковъ? Возьмите «Поученіе» Владиміра Мономаха. Вы видите, что дѣятельный князь большую часть своей жизни провелъ въ походахъ; но онъ находилъ время и совѣщаться съ дружиною, и заботиться о своемъ собственномъ образованіи. Человѣческій образъ «излюбленнаго князя» русской земли просвѣчиваетъ въ каждой строкѣ его поученія: онъ совѣтуетъ заботиться о бѣдныхъ, защищать слабыхъ, водить дружбу съ иностранными гостями, исполнять по духу, а не по буквѣ, предписанія религіи. Есть ли тутъ сходство съ дикою бранью, изливаемой Іоанномъ Грознымъ на князя Курбскаго—за то только, что строптивый воевода отказался «принять вѣнецъ мученическій»? Могла ли вмѣститься въ головѣ Мономаха несчастная мысль—сдѣлаться мучителемъ своего народа, да и потерялъ ли бы самый народъ такого мучителя? Новгородцы не менѣе киевлянъ вынуждены были заботиться объ отраженіи непріятеля и слѣдовательно—по теоріи г. Хлѣбникова—у нихъ прежде всего должна

бы развиться сильная диктатура; но это не мешало новгородцам ежеминутно изгонять своих князей: одного за то, что «не блюдет смердъ», другого за то, что овладеваетъ частною и общественною собственностью, а также «выводить иноземцевъ», поселившихся въ городѣ, и т. д. Отсюда видно, что географическія условія и необходимость самозащиты далеко еще не ведутъ къ водворенію опричнины. Такъ же мало повела бы къ этому идея объединенія Россіи, еслибы народъ имѣлъ полный просторъ и свободу—выбрать для этой идеи соотвѣтствующую форму. Общерусскій патріотизмъ, сознаніе единства и нераздѣльности русской земли, пробивается уже сильной струей въ «Словѣ о полку Игоревѣ»; то же сознаніе, безъ всякой примѣси крѣпостническихъ замысловъ, видимъ мы въ дѣйствіяхъ лучшихъ князей удѣльно-вѣчеваго періода,—и странно утверждать, что единственнымъ исходомъ для русскаго патріотизма была именно московская централизація, закрѣпостившая народъ сверху до низу, лишившая его и политическихъ правъ, и сознанія необходимости пользоваться ими. Поголовныя народныя вѣча—сколько бы ни говорили противъ нихъ узкіе защитники порядка *quand même*—имѣли ту неоспоримую заслугу, что, привлекая каждого къ участию въ политической и общественной жизни, они строго соблюдали интересы народа и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вкореняли въ немъ здоровое понятіе о связи личныхъ, индивидуальныхъ правъ и выгодъ съ правами и выгодами цѣлаго гражданскаго общества. Московская централизація только эксплуатировала въ свою пользу хорошіе результаты обогащенія и заселенія Руси, добытые прежней свободной жизнью народа. Г. Хлѣбниковъ самъ говоритъ: «Образованіе удѣловъ, раздробивши Россію на маленькія независимыя области, не давало возможности всеобщаго и одновременнаго прикрѣпленія крестьянъ, а частные законы въ отдѣльныхъ княжествахъ повели бы за собою ихъ обезлюдѣніе, такъ какъ сосѣди воспользовались бы ими, чтобы сманить прикрѣпленныхъ крестьянъ. Земель было много, а работниковъ мало, а потому всѣ удѣльные князья не только не старались закрѣпить крестьянъ, но каждый наперерывъ старался давать льготы крестьянамъ, переманеннымъ изъ чужихъ удѣловъ» (стр. 46). Въ другомъ мѣстѣ г. Хлѣбниковъ признаетъ, что раздѣленіе государства на множество независимыхъ владѣній было всегда «очень полезно для развитія городовъ» (стр. 70). Такимъ образомъ, отправляясь отъ собственныхъ словъ г. Хлѣбникова, легко доказать, что ели нашъ удѣльно-вѣчевой періодъ способствовалъ благосостоянію крестьянъ и развитію городовъ, то онъ сослужилъ этимъ одну

огромную службу Россіи, и его дѣло только было испорчено послѣдующею правительственною системою. Торговое богатство Новгорода, его умственное и политическое развитіе, весьма высокое сравнительно съ Москвою—это факты, которые невозможно отрицать или заподозривать: по свидѣтельству всѣхъ историческихъ документовъ новгородцы были богаче, честнѣе, нравственнѣе и умственнѣе москвичей. При болѣе благоприятныхъ историческихъ условіяхъ, новгородское устройство могло бы распространиться во всей Россіи, соединивъ ее не крѣпостными цѣпями, но вольною, общенародною связью политическихъ, торговыхъ и промышленныхъ интересовъ. Г. Хлѣбниковъ напрасно измышляетъ: какую именно форму выбралъ бы для себя свободный союзъ русскихъ земель?—вопросъ этотъ уже разрѣшенъ самой исторіей Новгорода, и отдѣленіе Пскова, а также вятской общины отъ своей метрополии показываетъ намъ, что опредѣленіе правильныхъ политическихъ отношеній между первенствующимъ городомъ и его колоніями вовсе не представляло непреоборимыхъ трудностей. Правда, что зависть между Псковомъ и Новгородомъ всегда существовала; но съ другой стороны они живо чувствовали солидарность своихъ политическихъ стремленій, и недаромъ у нихъ сложилась пословица: «душа на Волховѣ, сердце на Великой». Что же касается до экономической безурядицы, которую г. Хлѣбниковъ приводитъ въ числѣ главныхъ причинъ возвышенія центральной власти,—то изъ его собственнаго изложенія видно, что наше всеобщее разореніе было не причиной, а слѣдствіемъ московскаго деспотизма.

Итакъ, по нашему мнѣнію, удѣльно-вѣчевой порядокъ палъ не вслѣдствіе своей внутренней несостоятельности и не потому, чтобы на смѣну его шелъ новый, болѣе совершенный политическій режимъ, но по другой причинѣ, которая пришла извнѣ и раздавила въ зародышѣхъ начатки свободной политической жизни. Эту причину указываетъ мелькомъ г. Хлѣбниковъ, но не останавливается на ней съ должнымъ вниманіемъ и явно желаетъ навязать вѣчевому устройству то зло, которое не имѣетъ съ нимъ никакой органической связи. Татарское иго—вотъ пропасть, лежащая между Владиміромъ Мономахомъ и Иваномъ Грознымъ, и въ этой пропасти погибли и вѣча, и новгородская свобода, и естественное развитіе русскаго народа.

ОПЫТЪ ФИЛОСОФСКОЙ РАЗРАБОТКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ.

(„Соціально-педагогическія условія умственнаго развитія русскаго народа“. Соч. Аванасія Щапова. С.-Петербургъ. Изданіе Н. Полякова. 1870 г.).

I.

Между современными изслѣдователями русской исторіи г. Щаповъ занимаетъ совершенно особое мѣсто, рѣзко отличаясь, по складу мысли и направленію своей дѣятельности, какъ отъ московскихъ теоретиковъ, подгоняющихъ всѣ факты подъ идею государственнаго интереса и государственной цѣлости, такъ и отъ петербургскихъ анекдотистовъ, которые не задаются въ своихъ трудахъ ужъ ровно никакою идеею и тискаютъ въ печатныя статьи нимаю не осмысленные матеріалы, отрытые гдѣ нибудь въ казенныхъ архивахъ или въ частныхъ запискахъ. Г. Щаповъ уже давно обратилъ на себя вниманіе именно своею способностью—отыскивать въ грудѣ разрозненныхъ фактовъ одну, обобщающую ихъ, идею; смотрѣть не поверхностно, но осмысленно и глубоко въ самую, такъ сказать, подпочву развѣтвляющихся историческихъ событій, не обманываясь ихъ призрачной вѣщностью или выпуклой художественной стороною и не ограничиваясь при этомъ какимъ нибудь узенькимъ традиціоннымъ міровоззрѣніемъ, пропитаннымъ старовѣрствомъ, при полномъ отсутствіи истинно-научнаго, критическаго анализа. Въ такомъ, по крайней мѣрѣ, духѣ были написаны всѣ его послѣднія статьи, въ которыхъ авторъ, отрѣшившись отъ своихъ прежнихъ, нѣсколько мистическихъ и преувеличенныхъ восхищеній нашимъ земскимъ, народнымъ геніемъ, сталъ на спокойную точку зрѣнія рационалиста-историка, относящагося съ одинаковымъ безпристрастіемъ и къ прогрессивной роли правительства (въ тѣхъ случаяхъ, когда таковая роль дѣйствительно выпадала на его долю), и къ повальному «недоумству» народной массы, легко объясняемому ея безправнымъ состояніемъ и долговременной умственною забитостью. Исторія русскаго интеллекта, русской мыслящей силы,

двигавшейся впередъ сквозь тысячи препятствій, полагаемыхъ ей какъ природою и климатомъ страны, такъ и всей соціально-воспитывающей обстановкой, возникшей изъ осложненныхъ физическихъ и психологическихъ причинъ—вотъ главная задача послѣднихъ работъ г. Шапова. При выполненіи этой задачи г. Шаповъ пользуется приемами и методомъ, уже указанными Боклемъ въ его «Исторіи цивилизаціи Англіи»; но, заимствуя у Бокля тѣ положенія, которыя одинаково примѣнимы къ исторіи умственного развитія всѣхъ народовъ, онъ видоизмѣняетъ или ограничиваетъ другіе боклевскіе тезисы, которые варьируются такъ или иначе, смотря по особымъ, характернымъ условіямъ исторической жизни каждаго народа. Такъ, напримѣръ, ставя на первый планъ, подобно Боклю, вліяніе природы на образованіе народнаго характера и признавая, вмѣстѣ съ нимъ, развитіе скептицизма начальнымъ шагомъ въ приобрѣтеніи истинныхъ познаній, г. Шаповъ не могъ, въ виду великаго прогрессивнаго значенія петровской реформы, отнести съ боклевской строгостію ко всѣмъ рѣшительно проявленіямъ правительственной инициативы, хотя и не забылъ отмѣтить яркими красками дурныя послѣдствія господствовавшей у насъ государственной опеки и регламентаціи. Также точно—и по той же причинѣ—значенію личности Петра отведено у г. Шапова гораздо болѣе мѣста, чѣмъ сколько представляетъ его Бокль другимъ, подобнымъ же, вліятельнымъ лицамъ западноевропейской исторіи. Все это показываетъ намъ, что г. Шаповъ занимается не просто пересадкою къ намъ готовыхъ воззрѣній передовыхъ европейскихъ писателей; но что онъ, сознательно вооружившись новымъ научнымъ методомъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, настолько изучилъ свой фактический матеріалъ, что его выводы не предшествуютъ фактамъ, не навязываются имъ со стороны, но свободно вытекаютъ изъ нихъ, какъ болѣе или менѣе правильное, логическое заключеніе.

Книга г. Шапова — представляетъ собой, кажется, первую у насъ попытку обозрѣть въ связномъ, философски - обдуманномъ очеркѣ всю сумму общественно-воспитательныхъ, или соціально-педагогическихъ вліяній, подъ которыми суждено было развиваться русской мысли отъ основанія государства вплоть до нашихъ дней. Вліяніе природы, т.-е. физическихъ условій страны, на характеръ и склонности русскаго народа указывается здѣсь только мимоходомъ; главнѣйшимъ же образомъ г. Шаповъ рассматриваетъ въ своей книгѣ ту соціальную обстановку, которая, въ формѣ религіозныхъ представленій и государственныхъ «мѣропріятій», могущественно дѣйствовала на складъ, силу и направ-

леніе русской мысли. Странно было бы требовать, чтобы въ этомъ едва ли не первомъ опытѣ почтенный авторъ избѣжалъ всякихъ ошибокъ, упущеній или даже недостатковъ въ самомъ планѣ работы: подобныя требованія были бы равносильны фантастическому желанію—видѣть цѣлую науку выходящей вполнѣ обработанною изъ головы одного человѣка; но, несмотря на то, что г. Шаповъ даетъ поводъ возразить себѣ по многимъ пунктамъ, мы все таки должны признать его трудъ весьма замѣтнымъ вкладомъ въ современную русско-историческую литературу.

II.

Мы передадимъ сначала въ общихъ чертахъ содержаніе книги г. Шапова, а затѣмъ укажемъ тѣ ея мѣста, которыя, по нашему мнѣнію, требуютъ выясненія, дополненій или даже переработки въ извѣстномъ смыслѣ.

Сравнивая, въ началѣ своего труда, исторію умственного развитія въ Россіи и въ Европѣ, г. Шаповъ говоритъ, что въ то время, какъ въ Европѣ теоретическая мысль и философская самостоятельность развивались генеративно-последовательно и образовали, наконецъ, въ XV вѣкѣ, цѣлую школу свободныхъ мыслителей, служившую выраженіемъ (по словамъ Гизо) умственной революціи,—въ исторіи умственного развитія русскаго народа не замѣтно было последовательнаго, философскаго изощренія мыслительной силы, и потому много вѣковъ совсѣмъ не было особаго класса, который посвятилъ бы себя культурѣ мысли. Племена, вошедшія въ составъ русскаго народа при основаніи государства, стояли еще на самой низкой, примитивной степени своего интеллектуальнаго развитія. Краниологическія изслѣдованія послѣдняго времени показываютъ, что къ какому бы племени ни принадлежало, напримѣръ, московское курганное поколѣніе, въ средѣ котораго зарождалось московское государство, во всякомъ случаѣ краниологическое развитіе его не показываетъ присутствія сколько нибудь выработанной способности мышленія. Сжатый черепъ, длинный и узкій, сильное развитіе затылочной его части, низкій приплюснутый лобъ, малый лобной уголъ—вотъ краниологическія черты этого племени, весьма напоминающія характеристическія формы череповъ каменнаго вѣка и басковъ (стр. 5). Такое племя, очевидно, не могло само собою, собственными интеллектуальными силами, начать могучую умственную самостоятельность; во главѣ его не могъ выдвинуться самостоятельный мыслящій и руководящій классъ. Оно необходимо должно было

подчиниться, во-первыхъ, интеллектуальному вліянiю и господству скандинаво-германскихъ, варяжскихъ князей и дружинниковъ, имѣвшихъ больше возможности умственно развиваться при условіи обширныхъ морскихъ походовъ, морской торговли и пр.; во-вторыхъ, интеллектуальному перевѣсу византійской церковно-учительной іерархіи, сильной и вліятельной, если не физико-математическимъ ученіемъ Аристотелей, Эвклидовъ, Архимедовъ, то догматикой Златоустовъ, Назіанзиновъ, Дамаскиныхъ и пр. И дѣйствительно, если мы, послѣ разсмотрѣнія череповъ, заглянемъ въ доисторическій, міеологическій періодъ славяно-русскаго интеллекта, то не найдемъ въ немъ никакихъ яркихъ зачатковъ высшаго разсудочнаго процесса. Славяне не могли еще возвыситься, силою отвлеченнаго мышленія, до идеи божества и обобщенной системы религіи: они только созерцали, ощущали и поклонялись непосредственно—по свидѣтельству Нестора и византійскихъ писателей — такимъ физическимъ типамъ и предметамъ природы, какъ, напримѣръ, рѣки, колодези, болота, деревья, камни и т. п. Передъ временемъ водворенія на Руси христіанства, сенсуальная воспримчивость славянскихъ племенъ коснѣла еще на степени дикарскаго, звѣроловческаго, зооморфическаго міросозерцанія, такъ какъ многія племена славянскія жили еще, по словамъ лѣтописи, въ лѣсахъ, звѣринскимъ образомъ, и приносили въ жертву богамъ не только звѣрей, но и «сыны своя и дщери». Вслѣдствіе общей неразвитости умственныхъ способностей, при отсутствіи вполнѣ организованной, обобщенной догматической и обрядовой стороны религіи, при полной замѣтѣ, наконецъ, жреческой касты родовымъ значеніемъ отцовъ, семействъ или старшихъ въ родѣ—классъ славянскихъ вѣдуновъ или знахарей не успѣлъ organized, во главѣ славянскихъ племенъ, въ замкнутую и умственно-владычествующую жреческую касту или іерархію. Тѣмъ болѣе знахарство это не могло положить начала раціонально-мыслящему классу народа, что оно само основывалось не на здравыхъ выводахъ мышленія и знанія, но на совершенно ложныхъ міеическихъ представленіяхъ и сенсуальныхъ галлюцинаціяхъ. По всѣмъ этимъ причинамъ умственная сила и вліятельность вѣдуновъ и волхвовъ никогда не могла устоять въ борьбѣ съ византійской, строго выработанной, доктриной и съ византійскимъ елерикально-педагогическимъ классомъ. Наконецъ, и въ историческія уже времена, въ эпоху колонизаціи и земскаго строенія — вѣковая, исключительно-физическая работа нашего народа въ области природы, обуславливая одну лишь первобытную, натуральную воспримчивость, въ то же

время почти совершенно исключала возможность развитія высшего теоретическаго мышленія. Эта вѣковая работа колонизаціи, напрягая одни вѣдшія чувства и способствуя накопленію однихъ лишь элементарныхъ, конкретныхъ впечатлѣній, не давала досуга народу мысленно обсуждать, сравнивать и обобщать всѣ разсѣянные, безсвязныя чувственныя воспріятія, а также вырабатывать изъ нихъ своимъ мышленіемъ какіе нибудь логическіе выводы или заключенія. Итакъ, славяно-русскій народъ, еще только выступая на поприще исторіи, подчинился, въ самомъ воспитаніи своей мыслительной силы, византійскому клерикальному классу, который явился на Руси сначала въ лицѣ византійскихъ грековъ, составлявшихъ первоначальную іерархію новосозданной русской церкви, а затѣмъ, будучи свободенъ отъ черныхъ работъ и обезпеченъ жалованными десятинами, землями и работами народными, организовался мало по малу въ самобытный славянскій церковно-учительный классъ, ставшій надолго во главѣ умственнаго воспитанія и направленія русскаго народа. Кромѣ того, славянскія племена, испытавши во времена родовой рѣзни и междоусобицъ недостаточность своего земскаго устройства и примирительнаго вліянія родоначальниковъ и старшинъ, подчинились сами, вмѣстѣ съ финскими племенами, интеллектуальному вліянію и власти скандинаво-германскаго, или варяжскаго, княжескаго рода, который потомъ, обрусѣвши и вѣнчавшись византійской монаховою діадемою, возвысился въ наслѣдственный домъ самодержцевъ всероссійскихъ и сдѣлался главнымъ, самодержавнымъ регуляторомъ всей умственной жизни русскаго народа (стр. 10 — 12). Оцѣнивая вліяніе на русскую жизнь религіознаго начала, заимствованнаго изъ Византіи, г. Шаповъ говоритъ: «Восточно-византійская доктрина имѣла своей задачей не интеллектуальное, не научно-мыслительное развитіе русскаго народа, а одно нравственно-религіозное воспитаніе. Все главное ея назначеніе состояло въ развитіи греко-восточнаго христіанскаго устроенія, греко-восточной христіанской вѣры и нравственности. Поэтому въ программу ея не входило ни возбужденіе всеобщей самодѣятельности мышленія, разума, ни распространеніе такихъ способовъ развитія мыслительныхъ способностей народа, какъ классическая литература и наука. Отсюда происходили двѣ характеристическія особенности умственной жизни древней Руси отразившіяся въ устроеніи новой Россіи: 1) совершенно преобладаніе восточно-византійскаго теологическаго начала надъ классико-космологическимъ и 2) совершенное преобладаніе вѣры и нравственности надъ разумомъ и мыслью». Этотъ выводъ г. Ша

повъ подтверждаетъ многими фактами и соображеніями. Византія, въ то время, когда мы заимствовали оттуда религіозное ученіе, находилась сама въ глубокомъ упадкѣ: наука, преподаваемая въ ея школахъ, не заслуживала нисколько этого имени. «Творческій духъ грековъ,—по справедливому замѣчанію одного русскаго изслѣдователя,—ослабѣвалъ постепенно, и истинно-христіанское начало стѣснялось одностороннею догмой. Наука не имѣла жизненности, внутренней силы, свѣжести, не обращалась въ жизнь и сама не питалась жизнью; облеченная въ отвлеченныя, сухія формы, она существовала отдѣльно, почти не касаясь живыхъ, современныхъ интересовъ общества. Утонченная діалектика въ области богословія, искусственныя и пустыя умозрѣнія въ философіи, декламація вмѣсто истиннаго краснорѣчія—вотъ что, болѣе всего, составляло ученые занятія византійскихъ грековъ». При такой выродившейся жалкой наукѣ, Византія, очевидно, не могла возбудить въ русскомъ народѣ развитія научной мыслительности. Въ самомъ христіанскомъ ученіи Византія, въ длинный періодъ схоластико-догматическихъ словопреній, почти нисколько не развивала умственно-образовательныхъ идей христіанства о человѣкѣ, объ общественныхъ отношеніяхъ, о началахъ любви и братства и т. п. Въ это время она только выработала и твердо, неподвижно установила догматъ о трехъ ипостасяхъ божества, о поклоненіи св. иконамъ, о почитаніи Богородицы и святыхъ, и разработала въ восточномъ духѣ церковную архитектуру, церковное богослуженіе, церковное пѣніе и церковную обрядность. Все это Византія передала и Россіи. Порабощенная и угнетенная потомъ турками, она и вовсе поступилась тѣми умственно-образовательными средствами, какія заключались въ твореніяхъ Аристотеля, Эвклида, Гиппократы и другихъ классическихъ геніевъ. Всѣ ея древнія рукописи достались не Россіи, а Западу. Такимъ образомъ, западные умы, предвосхитивши произведенія греческаго генія, были возбуждены ихъ идеями къ могучему умственному развитію, а Россія лишилась и этого образовательнаго импульса, и отстала отъ Запада. На Западѣ, какъ извѣстно, и монастыри служили проводниками не однихъ догматическихъ, но и классическихъ научныхъ идей. Такъ, напримѣръ, въ аббатствѣ Кройлэндскомъ, въ концѣ XI вѣка, было до 3,000 книгъ и въ томъ числѣ множество сочиненій римскихъ классиковъ; въ аббатствѣ Гластонберійскомъ библіотека заключала въ себѣ, въ 1248 году, 400 томовъ, и между ними, болѣею частію, встрѣчались древне-классическія произведенія. Въ нашихъ же монастыряхъ, въ массѣ библейскихъ, святоотеческихъ и богослужеб-

ныхъ книгъ (какъ, напримѣръ, въ Соловецкомъ, Сергіевомъ, Кирилло-Бѣлозерскомъ и другихъ книгохранилищахъ) не находилось иногда ни одной древне-греческой или римской рукописи. Наконецъ, если такія рукописи попадали къ намъ и переводились на русскій языкъ, то и тутъ предпочтеніе оказывалось авторамъ въ родѣ, напримѣръ, Козьмы Индикоплавта, который, въ своей «Книгѣ міра», доказывалъ, что земля четырехугольна, небо, въ видѣ полукруга, прикрѣплено къ краямъ ея, и что окрестъ всей земли океанъ. «Такимъ образомъ—говорить г. Щаповъ въ заключеніе своей характеристики византійскаго вліянія—**к л а с с и ц и з м ъ** не былъ историческимъ началомъ интеллектуальнаго развитія въ Россіи, какимъ былъ на Западѣ. Онъ не былъ у насъ, какъ на Западѣ, предварительнымъ горниломъ испытанія мыслительности, не былъ предуготовительной школой возбужденія и воспитанія пытливой мысли и духа изслѣдованія... Русскому народу, такъ сказать, родившемуся уже на зарѣ новой исторіи человѣчества,—когда преимущественно-историческій круговоротъ идей цивилизаціи долженъ уже исходить для всѣхъ новыхъ народовъ не только не съ востока дряхлаго, нѣкогда импульсировавшаго мыслительность древнихъ грековъ, но даже и не изъ классическаго міра, Эллады и Рима, а съ запада Европы — русскому народу, закономъ всемірной исторіи, суждено было возбуждаться, импульсироваться къ умственной жизни уже новымъ, западно-европейскимъ завѣтомъ великихъ мировыхъ идей и открытій, а не ветхимъ завѣтомъ зачаточныхъ знаній классическаго міра... Поэтому, съ XVIII вѣка, съ вѣка Ньютона, Эйлера, и друг. уже поздно было почерпнуть умственно-образовательныя средства въ произведеніяхъ Аристотеля, Платона, Птолемея и др. Съ XVIII вѣка классицизмъ въ училищахъ русскаго народа былъ уже анахронизмомъ и мертвою буквою». Русскій умъ, покорно воспринимавшій въ себя византійскую доктрину, долгое время оставался глухъ ко всѣмъ вопросамъ и возбужденіямъ классицизма. Въмѣсто философіи и наукъ, въ древней Россіи заповѣдывалось учиться только смиренномудрію и каноническимъ книгамъ. Въ тѣ времена говорили: «Братія, не высокоумствуйте, но во смиреніи пребывайте, посему же и прочая разумѣвайте. Аще кто ти речеть: вѣси ли всю философію? И ты ему рцы: эллинскихъ борзостей не текохъ, ни риторскихъ астрономъ не читалъ ни съ мудрыми философы не бывахъ; учусь книгамъ благодатнаго закона, аще бо мощно моя грѣшная душа очистити отъ грѣхъ». Эта же боязнь сомнѣнія и трезваго изученія природы зашла изъ древней и въ новую Русь, и даже въ наши дни не перестаетъ

смущать благочестивыя души разныхъ публицистовъ. Уже въ 1720 году, т. е. въ концѣ царствованія Петра I, силившася пробудить русскую мысль, нѣкій іеромонахъ Кохановскій поучалъ: «аще бо и великостепенный человѣкъ училъ отъ своего мозга, не слушай и не приѣмля». Когда извѣстнаго профессора Рихмана, во время производства громоотводныхъ опытовъ, убило молніей, то публику объялъ такой суевѣрный страхъ, что Ломоносовъ боялся, чтобы этотъ случай не былъ перетолкованъ противъ естественныхъ наукъ. И дѣйствительно, современникъ этого событія, В. А. Нащокинъ, выразившій, конечно, мнѣнія большинства, отзывался объ опытѣ Рихмана, какъ о нелѣпой и самонадѣянной попыткѣ—вырвать у природы ея секреты, передъ которыми нужно только безмолвствовать и слѣпо имъ подчиняться. «Профессоръ Рихманъ—говорить насмѣшливо Нащокинъ въ своихъ запискахъ—машиною старался объ удержаніи грома и молніи, дабы отъ идущаго грома людей спасти; но съ нимъ прежде всѣхъ случилось при той самой сдѣланной машинѣ, съ нимъ, Рихманомъ, о мудрованіи сходно произошло въ древности, какъ Эсхилъ тоже черезъ астрономію позналъ убіеніе себя верженіемъ сверху: орелъ съ высоты опустилъ желвь (черепаху) и разбилъ лысую голову Эсхила». Даже по учрежденіи физико-математическихъ факультетовъ въ университетахъ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, профессора естественныхъ и математическихъ наукъ должны еще были, подобно Ломоносову, доказывать, что знаніе силъ природы не подрываетъ религіи, а, напротивъ, приводитъ къ ней и пр. и пр. Еслибы г. Щаповъ довелъ свое изслѣдованіе до нашихъ дней, то онъ долженъ былъ бы занести подъ ту же рубрику нелѣпыя возгласы новѣйшихъ «спасителей отечества» (выраженіе, принадлежащее г. Тургеневу) противъ всякаго живаго научнаго слова, не укладывающагося на прокрустовомъ ложѣ благонамѣренно-полицейскихъ тенденцій.

III.

Какъ въ сферѣ нравственно-религіознаго міросозерцанія русскій народъ всецѣло подчинился вліянію византійской доктрины, такъ въ умственномъ образованіи своемъ онъ, вслѣдствіе того же отсутствія мыслящаго, руководящаго класса, поддался исключительно-государственной системѣ опеки и воспитанія, и его мыслительность, въ своемъ направленіи и развитіи, руководилась постоянно инициативой правительства. Занятый вѣковой «борьбой за существованіе» среди доставшейся ему на долю суровой сѣвер-

ной природы, скупой на дары, — народъ нашъ естественно, въ періодъ своей колонизаціонной дѣятельности, не имѣлъ достаточно досуга обдумывать и размышлять, а потому всякія умственные дѣла и заботы долженъ былъ устранить отъ себя на много вѣковъ и уступить, предоставить ихъ думѣ правительственной — царской думѣ. Въ то время, когда народъ былъ весь погруженъ въ колонизаторскую работу и съ топоромъ, косой и сохой бродилъ врознь по великорусской и сибирской землѣ, въ «черныхъ дикихъ лѣсахъ», отыскивая только, по свидѣтельству историческихъ актовъ, «теплыхъ и родимыхъ мѣстъ и корма или животвъ и промысловъ» — въ то время думѣ царской легко было «думать свою думу» за весь народъ и развить полную государственную систему приказной опеки, централизаціи и уставности или регламентовъ. Поэтому, еще въ XVII вѣкѣ, задолго до Петра Великаго, когда земскіе люди собирались на соборы или земскія думы, они обыкновенно единогласно отвѣчали на тотъ или другой земскій вопросъ: «въ томъ какъ тебя, государя, Богъ вразумить и твоя государева мысль и воля: то наши рѣчи». Экономія русской природы была трудно доступна, а народъ, въ разработкѣ ея, руководился только поверхностнымъ указаніемъ пяти чувствъ; ему не сопутствовала могучая раціональная мысль, съ нимъ не было ни «рудознатцевъ», ни книгъ о разныхъ произведеніяхъ природы. Вотъ это-то неразуміе, это умственное безсиліе или неумѣнье народа справиться собственными средствами съ природой родной страны и было у насъ, по мнѣнію автора, основною, существенною причиною господства государственной опеки. «Въ русскомъ государствѣ — говоритъ Юрій Крыжаничъ — необходима казенная дума. Первое: ибо нашего народа люди суть коснаго разума и неудобно сами что выдумаютъ, если имъ не будетъ показано. Второе: ибо у насъ нѣтъ никакихъ книгъ объ земледѣліи и объ иныхъ промыслахъ, какія есть у другихъ народовъ. Третье: ибо нашъ народъ лѣнивъ и непромышленъ, и сами себѣ не хотятъ сдѣлать добра, если не будутъ принуждены какою либо силою. Четвертое: ибо здѣсь есть совершенное самовладство, и повелѣніемъ царскимъ можетъ учиниться по всей землѣ всякая поправка, гдѣ что будетъ полезно и потребно ввести въ обычай». Правительство, увидя, съ одной стороны, открытыя народомъ богатства природы, съ другой — умственное безсиліе самого народа въ обладаніи ими, призвало ученыхъ нѣмцевъ, и, вооружившись такимъ образомъ европейской интеллигенціей, неизбѣжно стало во главѣ умственной дѣятельности въ Россіи. Вслѣдствіе этого, физико-математическія и другія науки при-

илось вводить въ Россіи по указу и по повелѣніямъ царя— Петра Великаго. О необходимости петровской реформы г. Шаповъ выражается слѣдующимъ образомъ: «Для того, чтобы въ умахъ русскихъ развить способность и возбудить любовь къ математическому и естественно-научному мышленію и знанію, надобно было, во-первыхъ, явиться во главѣ русскаго народа генію, образовавшемуся подъ вліяніемъ западнаго разума, и энергично предпринять систематическое ученіе молодыхъ поколѣній математикѣ и естественнымъ наукамъ; во-вторыхъ, необходимо было начинать, такъ сказать, съ азбуки математики и естествознанія и все, относящееся къ этимъ наукамъ, начиная съ ариметики и кончая астрономіей, заимствовать на Западѣ, гдѣ геніи Коперниковъ, Декартовъ, Кеплеровъ, Ньютоновъ и Лейбницевъ давно обогатили естественныя и математическія науки великими открытіями и воспитали уже цѣлыя поколѣнія естествоиспытателей и математиковъ. И вотъ Петръ Великій является первымъ нововводителемъ въ дѣлѣ реальнаго, естественно-научнаго воспитанія и развитія молодыхъ поколѣній въ Россіи... Желая просвѣтить народъ рабочій, практический, Петръ Великій и съ Запада заимствовалъ такія реальныя, математическія и естественныя науки, которыя преимущественно возбуждаютъ и воспитываютъ реалистическое умонастроеніе и относятся прямо или косвенно къ реальнымъ, физическимъ работамъ народа, къ народному и государственному хозяйству. На естествознаніе онъ больше смотрѣлъ съ утилитарной точки зрѣнія». Петръ Великій основалъ въ Россіи первыя свѣтскія училища съ реально-практическимъ характеромъ, а затѣмъ, смотря по развитію народныхъ потребностей, открывались у насъ и другія учебныя заведенія—гимназіи, университеты, собственно народныя школы, и все это становилось дѣломъ разныхъ комисій, комитетовъ и регламентовъ правительства, которое постоянно думало за народъ, представляло собой его голову, его интеллигенцію. Отдавая должную справедливость просвѣтительной роли государства въ дѣлѣ введенія у насъ европейскихъ наукъ и устройства школъ, г. Шаповъ находитъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что излишнее вліяніе правительственной опеки было весьма невыгодно для самостоятельнаго развитія и проявленія русской мысли. Во-первыхъ, задачей этой опеки было не свободное развитіе русской мысли, а направленіе ея по частнымъ видамъ правительства; по этой причинѣ общество русское, положившись на заботы правительства, само уже никогда не думало и не заботилось о лучшихъ способахъ и свободномъ направленіи своего умственнаго образованія. Отсюда развились (точнѣе ска-

зять: удержались на долгое время) умственное рабство и умственная безпечность народа въ вопросахъ, близко касающихся его собственного благополучія. «Еслибы—говоритъ авторъ—отъ времени до времени не выходили новые указы, новыя учрежденія, умственная жизнь нашего общества, кажется, и вовсе не возбуждалась бы ничѣмъ. Недаромъ, въ современныхъ газетахъ нашихъ, мы часто читаемъ такія жалобы: общественная жизнь наша такъ безцвѣтна и однообразна, что еслибы не новыя, напримѣръ, судебныя учрежденія, общество совершенно, кажется, уснуло бы. Благодаря только выдающимся изъ обыденнаго уровня судебнымъ процессамъ, отъ времени до времени появляющимся въ печати, общество оживляется, становится дѣятельнѣе, высказывается... Воспитываясь и получая направленіе въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ, по казеннымъ программамъ, общественная мысль носитъ на себѣ отпечатокъ казенный, легальный, указно-регламентарный, уставный. Общественное міросозерцаніе не вырабатывается трудомъ раціональнаго общественного ученія и научнаго мышленія, энергической и постоянной самодѣятельностью общественной мысли, не почерпается изъ наукъ, изъ самодѣятельности разума, а цѣликомъ заимствуется только изъ свода законовъ... Вслѣдствіе вѣковой привычки къ умственной опецѣ, вѣковаго подчиненія умственно-образовательнымъ идеямъ, указамъ и учрежденіямъ правительства, въ обществѣ нашемъ нѣтъ даже привычки думать, жить и работать мыслью. Ничто такъ не чуждо нашему обществу, какъ элементъ раціональной и критической самодѣятельности мышленія». «Множество аномалій — говоритъ въ другомъ мѣстѣ г. Щаповъ—множество умственныхъ и нравственныхъ болѣзней разѣдаетъ нашъ общественный организмъ, множество вопіющихъ недостатковъ въ нашемъ социальномъ строѣ. И общество словно не чувствуетъ этихъ болѣзней, не сознаетъ этихъ аномалій и недостатковъ. Оно ждетъ сознанія и лѣченія ихъ со стороны правительства, или съ восточно-азиатскимъ фатализмомъ предоставляетъ излѣченіе ихъ на произволъ судьбы. Еще не такъ давно даже передовые выразители общественной мысли, въ родѣ, напримѣръ, Тютчева, взывали къ обществу, чтобы оно не думало, не разсуждало, а съ азиатскою фаталистическою безпечностью уповало, что всѣ его социальныя раны заживутъ сами собою, во время его глубокаго умственнаго сна и безъ всякаго живительнаго лѣкарства просвѣщенія. Они проповѣдывали обществу:

„Не разсуждай, не хлопочи:

Безумство янеть, глупость судить;

Дневныя раны сномъ лѣчи.

А завтра быть тому, что будетъ“. (Стр. 59).

Во-вторыхъ, успѣшности государственной опеки препятствовали непостоянныя, измѣнчивыя направленія въ самомъ правительствѣ, хроническія реакціи, слишкомъ памятыя въ исторіи русской мысли. Еслибы ровно и послѣдовательно развивались у насъ только такія попеченія правительства, какъ, на примѣръ, заботы Петра о распространеніи европейскихъ наукъ или мѣры Александра Павловича къ развитію просвѣщенія въ первую половину его царствованія, то, безъ сомнѣнія, и мысль русская развивалась бы также непрерывно-послѣдовательно, безъ остановокъ и болѣзненныхъ кризисовъ. Но въ томъ-то и бѣда, что въ историческомъ развитіи правительственной опеки не было правильного прогрессивнаго движенія, а, напротивъ, часто выпадали продолжительные періоды застоя и суровой реакціи. Такъ, на примѣръ, съ конца XVIII-го столѣтія, т.-е. со времени французской революціи, а потомъ послѣ 1815 года, послѣ заключенія священнаго союза, въ правительствѣ нашемъ, вмѣсто прежняго безбоязненнаго умственного влеченія къ Западу, высказавшагося въ дѣятельности Петра I-го, сталъ развиваться робкій, боязливый взглядъ на успѣхи науки и разума въ Западной Европѣ. Этой боязнью, этимъ поворотомъ назадъ объясняются гоненія на литературу въ концѣ царствованія Екатерины II-й, репрессивный характеръ павловскаго времени и, наконецъ, незабвенные подвиги Магницкаго и Рунича, лавры которыхъ донынѣ не даютъ спать многимъ общественнымъ дѣятелямъ. Неодинаковыя личныя взгляды императоровъ Павла и Александра различно регулировали развитіе и направленіе русской мысли. Первый изъ нихъ, уstraшенный событіями 90-хъ годовъ во Франціи, запретилъ совершенно привозъ изъ-за границы всякихъ книгъ и даже музыкальных нотъ. Этотъ указъ сейчасъ же послужилъ камертономъ для тогдашней публицистики. Панегиристы времени Павла стали говорить въ духѣ этого государя: «Мудрую прозорливость свою императоръ Павелъ доказалъ въ споспѣшествованіи истинному преуспѣянію наукъ чрезъ учрежденіе строгой и бдѣщей цензуры книжной. Познаніе и такъ называемое просвѣщеніе часто употреблено во зло чрезъ обольстительныя нѣмѣшныя сиренѣ напѣвы вольности и чрезъ обманчивыя призраки мнимаго счастья. Европейскія правительства, спокойно взиравшія на сей развратъ, возымѣли, наконецъ, правильную причину сожалѣть о своемъ равнодушіи. Сколь счастливо почитать себя должна Россія потому, что ученость въ ней благопріятными ограниченіями и охраняется отъ всегубительной язвы возникающаго всюду лжеученія» и пр. и пр. Александръ I-й, не находя осо-

бенно «благопріятными» для науки эти ограниченія, отмѣнили ихъ сейчасъ же по вступленіи своемъ на престолъ и повелъ Россію совершенно противоположной дорогой. Реформаторскіе планы роились въ головѣ молодого государя и его приближенныхъ совѣтниковъ; прежній способъ управленія признанъ вреднымъ для нашего отечества; между разными реформами, готовившимися для Россіи, рѣчь заходила и о конституціи, которая должна была «увѣнчать» преобразованное и упроченное государственное зданіе. Учрежденіе министерствъ было только первымъ шагомъ на новомъ пути. Сообразно съ этимъ, измѣнился взглядъ на просвѣщеніе и проводниковъ его—литературу и общественныя училища; всѣ говорили о свободѣ прессы, о свободѣ преподаванія и изслѣдованія. М. Н. Муравьевъ, товарищъ министра народнаго просвѣщенія, провозглашалъ, что залогъ успѣховъ цивилизаціи и нравственности заключается въ свободѣ научнаго изслѣдованія, и указывалъ въ примѣръ на умственное превосходство протестантской Германіи надъ католическою. «Въ различныхъ областяхъ одного народа—писалъ Муравьевъ—примѣчается великое противоположеніе въ поведеніи и общежитіи людей, по мѣрѣ того, какъ просвѣщеніе покровительствуется или утѣсняется. Между тѣмъ какъ въ католическихъ областяхъ нѣмецкой земли понятія народныя омрачены грубостью суевѣрія и невѣжества, протестантскія земли, гдѣ царствуетъ разумная свобода въ разбирательствѣ мнѣній, отличаются общимъ распространеніемъ просвѣщенія и благонравія». Но послѣ 1810, и особенно послѣ 1815 г., декораціи снова перемѣнились. Сочувствіе къ просвѣщенію и къ университетамъ протестантской Германіи поколебалось, и въ правительствѣ начали появляться защитники католической системы образованія, предвѣщавшіе приближеніе временъ Фотія, Магницкаго и Рунича. Іезуиты завладѣли общественнымъ воспитаніемъ, вербуя своихъ питомцевъ преимущественно въ богатыхъ и знатныхъ семействахъ. Министру народнаго просвѣщенія, А. К. Разумовскому, доказывали, что любовь къ наукамъ и забота о нихъ есть опасная ошибка; въ учебныхъ заведеніяхъ, которыя учреждены были съ такими свѣтлыми надеждами во всѣхъ концахъ Россіи, стали видѣть скопище полужнаекъ, самоувѣренныхъ и заносчивыхъ, проникнутыхъ самыми разрушительными намѣреніями. Совѣтникомъ и руководителемъ Разумовскаго сдѣлался извѣстный въ литературномъ мѣрѣ графъ Жозефъ де-Местръ, сардинскій посланникъ при русскомъ дворѣ—врагъ естественныхъ и политическихъ наукъ, проповѣдникъ библейскихъ принциповъ въ геологіи, правовѣдѣніи и пр. Наконецъ толки о конституціи замѣнились толками о военныхъ поселеніяхъ

и о «богодуховенныхъ» пророчествахъ разныхъ, ополоумѣвшихъ отъ изувѣрства, ханжей и пустосвѣтовъ. Кромѣ хроническихъ реакціонныхъ дѣйствій, правительственная опека имѣла въ своихъ рукахъ еще одно постоянное учрежденіе или специально-регулятивное орудіе—цензуру, которая во время реакцій тоже, съ своей стороны, становилась реакціонерною. Заботы о предохраненіи русской мысли отъ соблазновъ начались еще съ тѣхъ поръ, какъ въ Россіи появился изъ Византіи церковно-іерархическій классъ, и мыслительность народная подчинилась авторитету византійскаго номоканона, догмата и преданія. Эти сдержки свободного проявленія мыслительной силы особенно развились съ тѣхъ поръ, какъ стали возникать въ Россіи различныя ереси. Уже въ Стоглавѣ, въ 1555 г., между многими правилами положено было: «книги списывать съ добрыхъ переводовъ да справлять; переписчикъ неисправныхъ книгъ подвергается великому запрещенію; покупающій не можетъ пользоваться такими книгами, а продающій лишается самихъ книгъ». Сверхъ того, соборъ просилъ царя «запретить великимъ запрещеніемъ, чтобы христіане не читали и не держали у себя книгъ еретическихъ». Съ XIV-го вѣка до 1644 г. постоянно переписывалось въ сборникахъ и потомъ напечатано было въ руководство грамотному люду—«правило о книгахъ, ихъ же подобаетъ чести и внимати, и ихъ же ни внимати, ни чести не подобаетъ». Одинъ соборъ въ XVII-мъ вѣкѣ запретилъ продавать книги «со мною ложью» и положилъ «чинить смиреніе» писателямъ. Но собственно цензура, или предварительный просмотръ рукописей, появляется у насъ только съ 1720 г. по поводу изданія черниговскою и кіевопечерскою типографіями книгъ «со многими противностями восточной церкви». Указомъ 20-го марта 1721 г. запрещалось продавать «книги писанныя и печатанныя безъ дозволенія, подъ страхомъ жестокаго отвѣта и безпощаднаго штрафованія». Далѣе вышло запрещеніе вывозить книги изъ-за границы безъ разсмотрѣнія. Потомъ различными указами предписывалось, чтобы всѣ книги гражданскаго и богословскаго содержанія пересматривались въ академіи наукъ или въ губернскихъ правительственныхъ мѣстахъ. Наконецъ, указомъ 3-го ноября 1751 г. установлена цензура относительно газетъ. Болѣе же полное изложеніе началъ цензуры, какъ учрежденія, дѣйствующаго отдѣльно и независимо отъ законовъ уголовныхъ, принадлежитъ указу 1776 г., августа 22-го. При Александрѣ I, цензированіе печатныхъ книгъ окончательно замѣнилось предварительнымъ просмотромъ рукописей, и—въ литературѣ, по выраженію одного писателя, образовались свои «атакомбы» (стр. 74). Въ періодъ полного господства строгой цензуры,

въ области русской науки и литературы появился особый необъятный отдѣлъ предметовъ и вопросовъ, такъ называемыхъ, нецензурныхъ, преимущественно въ социологіи и естественныхъ наукахъ. Въ естественныхъ наукахъ, напимѣръ, нецензурны были вопросы о физическомъ образованіи земли, о происхожденіи видовъ, о древности человѣка, о различныхъ явленіяхъ въ нервной фیزیологіи, о значеніи въ природѣ силы и матеріи и пр. и пр. Въ области социальныхъ наукъ нецензурными считались вопросы о естественныхъ основахъ социального устройства и вообще о естественныхъ законахъ общежитія, о происхожденіи власти, о сословномъ и имущественномъ неравенствѣ людей и пр. и пр. Чѣмъ для развитія научной и литературной мысли была цензура — тѣмъ, для развитія народной мыслительности, было строгое ограниченіе массы народа въ ея умственныхъ правахъ. Простой рабочій народъ исторически былъ обреченъ на одну страдную, физическую работу, и потому не имѣлъ досуга и возможности самостоятельно додуматься до научно-интеллектуальной работы. А потомъ, особенно съ XVII и въ началѣ XVIII вѣка, онъ обремененъ былъ государственными работами, податями и повинностями, и потому не могъ принять участія въ усвоеніи европейскихъ наукъ съ самаго начала умственно-образовательной реформы Петра Великаго. Дальнѣйшая же его исторія, отъ тираніи бироновщины до пугачевщины, еще болѣе не благопріятствовала его интеллектуальному развитію. Во-первыхъ, съ возрастающимъ преобладаніемъ и усложненіемъ матеріальныхъ потребностей огромной имперіи — военныхъ, податныхъ и проч. — въ правительствѣ преобладалъ и увеличивался запросъ не на интеллектуальныя, а на матеріально-производительныя, физическія силы народа; съ развитіемъ же сословности и табели о рангахъ установился взглядъ на простой рабочій народъ, какъ исключительно на податное и государственно-рабочее сословіе, которому вовсе не нужно высшее интеллектуальное развитіе, какъ дворянству. Во-вторыхъ, съ усиленіемъ сословныхъ претензій и крѣпостническихъ тенденцій въ средѣ самого дворянства, а также съ началомъ правительственныхъ реакцій, высшее научное развитіе рабочаго народа, или низшихъ классовъ, признавалось не только ненужнымъ, но даже невыгоднымъ и опаснымъ для государства. Въ началѣ XIX столѣтія, въ русской литературѣ болѣе всего высказывалась идея сословнаго ограниченія умственныхъ правъ, причемъ нѣкоторые писатели, даже либеральнаго направленія, отводили для низшихъ классовъ самую тѣсную долю научнаго знанія (стр. 82—83). Малая подготовленность народа къ воспріятію идей цивилизаціи

была также причиной того, что у насъ долго не могъ установиться (и до сихъ поръ еще не установился съ должною прочностью) истинный методъ научнаго изысканія. «Во всѣхъ сферахъ мышленія и знанія—говорить Кондорсэ—познаніе метода, употребляемаго для изысканія истинъ, гораздо важнѣе познанія самыхъ истинъ, такъ какъ въ немъ заключается зародышъ всего того, что остается еще открыть». И на Западѣ этотъ истинный методъ умственнаго изслѣдованія открытъ давно, впервые указанъ еще въ «*Novum Organon*» Бэкона, въ «*Discours sur la methode*» Декарта, и потомъ утвержденъ всей новой исторіей интеллектуальнаго развитія Европы. Но неразвитый умъ, вслѣдствіе вѣковаго преобладанія низшихъ интеллектуальныхъ способностей надъ высшими мыслительными силами, не могъ додуматься до истинно-научнаго метода изслѣдованія и, такимъ образомъ, не могъ стать на настоящую дорогу умственнаго движенія и прогресса. вмѣсто положительно-философскаго, индуктивнаго, метода мышленія, во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ нашихъ, даже въ университетахъ, долгое время преобладалъ методъ дедуктивно-идеалистическій и даже мистико-фантастическій; вмѣсто развитія научнаго, раціональнаго знанія, университетское обученіе долгое время обременяло собой только память учащихся или дѣйствовало на ихъ воображеніе, отвлекая его отъ производительной научной почвы. Въ университетахъ господствовали науки археологическія, историко-филологическія, этико-юридическія, эстетическія, развивавшія больше память, воображеніе и произвольно-измѣнчивое метафизическое міросозерцаніе. Самыя естественныя науки излагались у насъ теоретически, идеально, безъ опытовъ и наблюденій, да притомъ нерѣдко съ сильной закваской отвлеченно-философскаго и даже мистическаго духа. Такъ, напримѣръ, въ московскомъ университетѣ и медико-хирургической академіи, анатомія и хирургія преподавались безъ операций и разсѣченія труповъ, вдали отъ больныхъ и анатомическаго театра; профессоръ кіевскаго университета, Зеновичъ, въ теоретической части органической химіи, находилъ умѣстнымъ доказывать, что «мудрость, или знаніе прошедшаго, настоящаго и будущаго, происходитъ отъ дѣйствія одной души, инстинктъ—отъ дѣйствія одного органическаго духа (?), а умъ происходитъ отъ совокупнаго ихъ дѣйствія» и пр. Профессоръ анатоміи Оедоровъ «сквозь видимое небо созерцалъ небо невидимое, духовное»; профессоръ физики Абламовичъ, уже въ 1834 г., преподавалъ съ кафедръ, по выраженію г. Шульгина, — «больше разный сѹмбуръ болтовни и городскихъ сплетенъ, чѣмъ физику». Даже въ лучшемъ случаѣ, преподаваніе естественныхъ

наукъ ограничивалось накопленіемъ «раритетовъ» и «натуралій» въ одну безобразную кучу, и поверхностными «обсерваціями», мало привлекавшими серьезную естественно-научную любознательность (стр. 205, 242—244). Въ самомъ обществѣ, независимо отъ правительственныхъ гоненій, возникали анти-реалистическія реакціи, объясняемыя только полнѣйшимъ отсутствіемъ того духа сомнѣнія, скептицизма, который всегда служитъ предшественникомъ истиннаго познанія. Такъ, напр., извѣстный Новиковъ, одинъ изъ лучшихъ русскихъ людей XVIII столѣтія, гораздо раньше самой Екатерины, вооружился противъ «умствованій вольномыслящихъ мудрецовъ» и, отрицая открытія Лавуазье, Коперника и Кеплера, думалъ воскресить «химическую псалтырь» Парацельса и всѣ средневѣковыя, астрологическія и алхимическія бредни. Пробужденіе скептицизма было у насъ, по словамъ г. Щапова, «злополучно-несчастливо» и сопровождалось патологическими умственными явленіями. Скептическое настроеніе зародилось у насъ еще въ XVIII столѣтіи, но было задавлено наплывомъ обскурантныхъ и реакціонныхъ идей — и притомъ задавлено почти безъ борьбы, такъ какъ, само по себѣ, настроеніе это было до крайности слабо и, за небольшими исключеніями, ограничивалось одними кощунственными фразами, заимствованными у Вольтера. Въ 1815—16 годахъ, послѣ заграничной кампаніи, вслѣдствіе невольнаго сравненія невозмутимой и праздної русской жизни съ дѣятельной и шумной жизнью западныхъ обществъ, всколыхнутыхъ политическимъ движеніемъ, — скептицизмъ снова возродился у насъ въ видѣ безпокойнаго разочарованія, которое не удовлетворялось ни тогдашнимъ строемъ общественной жизни, ни «либеральными принципами» администраціи. Это вторичное скептическое движеніе было гораздо глубже перваго, но и оно замыкалось, въ большинствѣ случаевъ, въ бесплодную оппозицію, въ неопредѣленное онѣгинское отрицаніе, не признававшее ясно сферы отрицанія и идеала. Были, конечно, въ ту пору люди, которые знали, что осуждали, и стремились къ твердо-обозначеннымъ цѣлямъ; но объ этихъ людяхъ г. Щаповъ, по причинамъ понятнымъ, умалчиваетъ. Холодный, резонирующий скептицизмъ Сенковского, имѣвшій своею подкладкою полнѣйшее равнодушіе ко всѣмъ теоріямъ и убѣжденіямъ на свѣтѣ; его безразличный легкомысленный смѣхъ на всѣмъ, что попадалось ему подъ руку — строго осуждены г. Щаповымъ. «Публика російская — говоритъ г. Щаповъ — какъ забавное дитя, не знавшее мукъ сомнѣнія и борьбы, предводительствовала надрывала свои животы отъ безразличныхъ смѣхотворныхъ остротъ брамбеусовскаго скептицизма и преспокойно, крѣпко засыпала».

И спасенье русской мысли и литературѣ, что скоро явился Бѣлинскій и зажегъ въ ней дѣйствительную, жгучую искру истиннаго реально-критическаго скептицизма» (стр. 304 — 307). Предѣлы статьи не позволяютъ намъ приводить съ бѣльшею подробностью интересныя наблюденія и выводы г. Шапова; но изъ нашего сжатаго очерка читатели видятъ уже, какъ богата содержаніемъ его книга, какихъ важныхъ историческихъ вопросовъ касается она, и съ какимъ искусствомъ группируетъ авторъ все, наибѣлье выдающіяся, явленія нашей общественной и государственной жизни. Мы, не обинуясь, скажемъ, что въ новомъ трудѣ г. Шапова, иногда одною меткою страницей, цѣлые періоды русской исторіи объясняются удачнѣе, чѣмъ въ какомъ нибудь спеціальномъ трактатѣ, преисполненномъ *de fond en comble* сухихъ фактовъ и безплодной учености. Но книга г. Шапова имѣетъ также и свои слабыя стороны, на которыя мы сейчасъ укажемъ безъ всякаго стѣсненія, чтобы не подвергнуться упреку въ пристрастіи и не поднять кредита ярыхъ нападокъ, посылавшихся на автора изъ противоположнаго лагеря...

IV.

Прежде всего, что бросается въ глаза даже при поверхностномъ чтеніи книги—это ея разбросанность, утомительныя длинноты и частыя повторенія, которыя, конечно, парализуютъ вниманіе читателя. Авторъ подчасъ словно забываетъ, что онъ уже говорилъ о такомъ-то вопросѣ, говорилъ подробно и доказательно, и снова возвращается къ нему почти въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ и на цѣлыхъ страницахъ. Это происходитъ, повидимому, оттого, что книга составилаь изъ соединенія разныхъ статей, напечатанныхъ г. Шаповымъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, въ петербургскихъ журналахъ — статей, въ которыхъ говорилось нерѣдко объ однихъ и тѣхъ же предметахъ или, по крайней мѣрѣ, проводилась одна и та же руководящая мысль. Статьи эти слѣдовало бы внимательно пересмотрѣть съизнова, сократить ненужныя повторенія, развить мало-доказательные тезисы, и стройнѣе систематизировать въ одно цѣлое; но авторъ произвелъ эту работу только въ очень слабой степени, и потому не избѣгъ недостатка, указанного нами. Въмѣсто такой необходимой передѣлки, г. Шаповъ ограничился тѣмъ, что установилъ въ прежнихъ статьяхъ многія выпущенныя мѣста, добавилъ кое-гдѣ нѣсколько новыхъ страницъ (эти добавки, какъ мы увидимъ, сдѣланы по преимуществу въ концѣ книги) и, чтобы сна-

ять плотнѣе отдѣльныя части своей книги, придумалъ для нея искусственную схему, которая несполнѣ удачно охватываетъ собой богатое содержаніе его труда. Оказывается, напримѣръ, что, благодаря схематическому построению, одни и тѣ же факты приводятся г. Щаповымъ—то какъ причины, производящія извѣстные слѣдствія, то какъ слѣдствія, вытекающія изъ этихъ же самыхъ причинъ. Такимъ образомъ, въ началѣ книги, господство религіозной и государственной опеки объясняется, какъ результатъ отсутствія въ нашемъ народѣ самодѣтельности мышленія, организованнаго мыслящаго класса, а въ концѣ—то же отсутствіе мыслящаго класса является уже результатомъ продолжительнаго государственнаго и церковнаго тяготѣнія надъ умственной дѣятельностью въ Россіи. Магницкій является въ разныхъ мѣстахъ книги—то какъ органъ правительственнаго давленія на умы, то какъ продуктъ общественной анти-натуралистической реакціи въ третьемъ послѣ-петровскомъ поколѣніи. Здѣсь уже кроется не одна схематическая ошибка, но, вмѣстѣ съ нею, и чисто историческій промахъ. Личности въ родѣ Магницкаго не имѣютъ никакихъ собственныхъ, хотя бы и ложныхъ, убѣжденій; они всегда сторонники силы, и служатъ съ одинаковымъ рвеніемъ Сперанскому, Гѣлицыну, Фотію и Аракчееву, смотря по тому, куда клонится перевѣсъ и кто можетъ лучше вознаградить усердное рвеніе. Невозможно разсматривать этихъ людей, какъ самостоятельныя мыслящія единицы: они могутъ быть ничѣмъ инымъ, какъ орудіемъ въ рукахъ господствующей силы; поэтому-то они всегда и прилаживались у насъ къ правительству, которое своими инструкціями и предписаніями замѣняло для нихъ и совѣсть, и личныя мнѣнія. Новиковъ, Невзоровъ, Лабзинъ—вотъ дѣйствительно общественные дѣятели, выражавшіе собой цѣлую полосу въ направленіи русской мысли; но Магницкому нѣтъ мѣста въ ихъ компаніи, такъ какъ для него въ сущности было все равно: кощунствовать ли въ свѣтскихъ обществахъ на французскій ладъ, или биться лбомъ въ душную молебель,—лишь бы то и другое занятіе оплачивалось приличнымъ образомъ, получало достодолжное вознагражденіе.—Рядомъ съ длиннотами и повтореніями встрѣчаются у г. Щапова крупныя пробѣлы и опущенія, которые тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ шире логическая посылка, выставленная авторомъ. Такъ, въ ряду фактовъ, имѣвшихъ вліяніе на складъ и направленіе русской мысли, г. Щаповъ совсѣмъ не упоминаетъ о татарскомъ игѣ и послѣдствіяхъ, оставленныхъ имъ въ нашей жизни, хотя, безъ сомнѣнія, не отрицаетъ громадной важности двухсотлѣтняго гнета завоевательной орды—гнѣз,

пріучившаго Россію къ безусловной покорности, измѣнившаго глубоко и понятіе о власти, и отношеніе этой власти къ народу. Унизительныя прогулки князей къ ханской ставкѣ, звѣрское обращеніе ханскихъ баскаковъ съ подвластнымъ народомъ — всѣ эти картины азіатскаго раболѣпія, безмолвія или жестокости не могли проходить, и дѣйствительно не прошли безслѣдно для нравственнаго чувства покореннаго племени. Страхъ передъ силою, нимало не стѣснявшейся въ своихъ грубыхъ проявленіяхъ, заглушалъ чувство собственнаго достоинства и не давалъ развиваться ему. Это—нравственная, и притомъ отрицательная, сторона татарскаго вліянія, но была въ немъ и положительная политическая сторона. Татарское иго сдѣлало жизненнымъ и неотразимо важнымъ для насъ вопросъ объ усиленіи государственной власти, которая одна могла поставить оплотъ противъ варварскаго гнета; оно же указывало образецъ этой власти въ своихъ ханахъ и баскакахъ. Въ то же время развивалось значеніе духовенства, которое давало народу единственно-возможное утѣшеніе. Слова пророка Исаи: «кто дастъ на расхищеніе Іакова и на разграбленіе Израиля? не Богъ ли? ему же согрѣшили, не хотѣли ходить въ путяхъ его, ни слушать закона его, и навелъ онъ на нихъ гнѣвъ своей ярости»—эти слова приводятся въ одномъ поученіи московскаго митрополита Алексѣя, какъ побѣдоносное доказательство неизбѣжности монгольскаго иго, ниспосланнаго на Россію свыше, чтобы наказать ее за прежніе грѣхи и затѣмъ вывести на путь благочестія. Тотъ же митрополитъ Алексѣй на вопросъ: всякій ли царь или князь, или епископъ отъ Бога поставляется? отвѣтствовалъ слѣдующимъ образомъ: «нѣкоторые изъ царей или князей поставляются достойными такой чести отъ Бога, а недостойные поставляются противъ достоинства людей, по Божью попущенію и хотѣнію», въ доказательство чего приводятся два примѣра—мучителя Ѳоки въ Царьградѣ и одного недостойнаго епископа Ѳиваиды. «Итакъ — заключаетъ митрополитъ—когда видишь недостойнаго, злаго царя и князя или епископа, не дивися, ни Божіа промысла оглаголуй, но научися и вѣруй, что по беззаконью такимъ мучителямъ предаемъся». (См. Творенія св. отцовъ, изд. моск. духовн. академіи, годъ шестой, кн. I). Двѣ эти силы — духовная и мірская—дружно соединившись для достиженія одной цѣли, безъ труда забрали въ свои руки всѣ умственные и матеріальныя средства мало развитой и небогатой страны. Замѣтимъ, что и въ Западной Европѣ не вездѣ природа щедро вознаграждаетъ труды рабочаго населенія (весь Скандинавскій полу-

островъ не больше насъ надѣленъ естественными богатствами); вспомнимъ, что и тамъ были обстоятельства, способствовавшія усиленію государственной власти, ибо мыслящіе люди также сосредоточивались, долгое время, въ правительствѣ и духовномъ классѣ; но развитіе Запада пошло однако другимъ путемъ, — именно потому, что свѣтская и духовная власть не дѣйствовали тамъ заодно противъ общаго варварскаго давленія, и своей взаимной враждою, своимъ постояннымъ соперничествомъ давали возможность установиться въ обществѣ различнымъ политическимъ партіямъ и умственнымъ направленіямъ. Вообще, надо замѣтить, авторъ слишкомъ рѣдко проводитъ параллель между русской и западно-европейской исторіей, а это умолчаніе оставляетъ неразъясненными многія важныя стороны разсматриваемаго предмета. Желательно было бы, чтобы авторъ не упустилъ этого изъ виду въ своемъ обширномъ изслѣдованіи объ «умственномъ развитіи русскаго народа», часть котораго составляетъ разбираемая нами книга. Также точно, въ новой русской исторіи, г. Щаповъ очень мало говоритъ о педагогической реформѣ Бецкаго, тогда какъ, въ нашихъ глазахъ, эта реформа да еще изданіе «Наказа» составляютъ самые крупные и плодотворные факты за весь періодъ екатерининскаго царствованія. Авторъ даже ошибочно, въ одномъ мѣстѣ (стр. 27—28), считаетъ толки о «нравственности», возбужденные Бецкимъ, какъ бы продолженіемъ тѣхъ же толковъ, служившихъ въ древности признакомъ умственной апатіи и господства неподвижныхъ догматическихъ началъ. Но та нравственность, которую проповѣдовалъ Бецкій въ своихъ уставахъ, а Екатерина въ своихъ педагогическихъ сочиненіяхъ и также въ инструкціи Н. И. Салтыкову, — не есть догматическая формула нашихъ древнихъ книжниковъ, и имѣетъ съ нею столь же мало общаго, какъ мало общаго у Монтэня, Локка и Руссо съ Максимомъ Грекомъ, Ниломъ Сорскимъ и философомъ Сковородою. «Добродѣтель—говорилъ Бецкій—есть не иное что, какъ полезныя и пріятныя дѣла, творимыя нами для себя самихъ и для ближняго»; лучшее средство научить такой добродѣтели, это—примѣръ самихъ воспитателей, имѣющихъ «мысли вольныя, нравъ къ раболѣпству непреклонный». Здѣсь, очевидно, нравственность поставлена, такъ сказать, на общественную почву и отдѣлена отъ своей прежней теологической основы. Такое мнѣніе высказалъ впервые Шарронъ въ своей книгѣ: «*De la sagesse*», и его же развивали впослѣдствіи французскіе энциклопедисты. Нравственность, понимаемая такимъ образомъ, вела къ «практическому исполненію обязанностей жизни

(выраженіе Шаррона), къ полнѣйшей вѣротерпимости, къ признанію солидарности отдѣльной личности со всѣмъ человѣческимъ родомъ. Бецкій предписывалъ внушать своимъ питомцамъ, что «каждый особливо и мы всѣ вообще принимаемъ участіе въ злоключеніи, отъ котораго страдаютъ ближніе наши сосѣди и единоземцы, не меньше же и въ томъ несчастіи, которому подвергаются чужія государства... Хотя не прямо подвергаемся мы симъ несчастіямъ, но въ послѣдующее время, по обстоятельствамъ, взаимно сопрягающимся, и мы принимаемъ участіе въ семъ разореніи и ущербѣ». Впрочемъ, въ другихъ мѣстахъ своей книги, г. Щаповъ относится къ Бецкому, какъ къ одному изъ передовыхъ дѣятелей своего времени, и приведенную нами неправильную сопостановку понятій можно, пожалуй, считать за *lapsus linguae*. Гораздо сильнѣе возраженія должны мы сдѣлать по поводу преувеличеннаго восторга, которому предается г. Щаповъ, мечтая о повсемѣстномъ учрежденіи школъ, въ которыхъ обучали бы однимъ естественнымъ наукамъ—химіи, ботаникѣ, минералогіи—съ исключеніемъ всѣхъ другихъ отраслей человѣческаго знанія. Въ началѣ своей книги г. Щаповъ, говоря объ успѣхахъ естественныхъ наукъ, придавалъ (и совершенно справедливо) наибольшую важность тому индуктивному, экспериментальному методу, который свилъ себѣ прочное гнѣздо въ этой области, и отсюда устремляетъ свои набѣги во всѣ другія сферы человѣческаго познанія; но чѣмъ дальше, тѣмъ больше суживаетъ авторъ этотъ правильный взглядъ. Въ началѣ своей книги онъ цитируетъ, какъ вполне основательное, мнѣніе А. Гумбольдта, который говорилъ: «То, что придало эпохѣ Колумба особенный характеръ, — характеръ непрерывнаго и успѣшнаго стремленія къ открытіямъ въ пространствѣ, къ умноженію познаній о землѣ,—было предуготовлено медленно и различными путями: какъ, напримѣръ, небольшимъ числомъ смѣлыхъ мужей,—прежде того появившихся и возбуждавшихъ, въ одно время, и къ всеобщей самодѣятельности мышленія, и къ изслѣдованію отдѣльных явленій природы;—вліяніемъ, которое имѣло на глубочайшіе источники духовной жизни, возобновленное въ Италіи, знакомство съ произведеніями греческой литературы; изобрѣтеніемъ типографскаго искусства, давшимъ мышленію крылья и прочное существованіе и пр. Когда платонизмъ вытѣсненъ былъ аристотелевой философіей, то эта послѣдняя начала оказывать самое рѣшительное вліяніе на умственное движеніе, и именно въ одно время по двумъ направленіямъ: въ изслѣдованіяхъ умозрительной философіи и въ философской обра-

боткѣ эмпирическаго естествознанія. Первое изъ этихъ направленій уже потому не можетъ быть пройдено молчаніемъ, что оно, посреди схоластической діалектики, привело нѣсколько благородныхъ, высоко-одаренныхъ мужей къ независимому мышленію въ различныхъ областяхъ знанія. Величественное физическое міросозерцаніе нуждается не въ одномъ только обиліи наблюденій, служащихъ основаніемъ для обобщенія идей: для него еще необходимо предварительное укрѣпленіе разума, духа мыслящаго, дабы въ вѣчной борьбѣ между знаніемъ и вѣрованіемъ не страшиться грозныхъ образовъ, которые до настоящаго времени являлись у входовъ въ извѣстныя области опытныхъ наукъ и заграждали эти входы. Не должно разрознивать того, что въ постепенномъ развитіи человѣчества равномерно оживляло и чувство человѣческаго призванія къ научной свободѣ, и долго неудовлетворяемое стремленіе къ открытіямъ въ отдаленныхъ пространствахъ. Отсюда ясно, что не одно естествознаніе, какъ сумма физическихъ наблюденій надъ природою, но и всѣ другія отрасли знанія, руководимыя «самодѣятельностью мышленія», при условіяхъ научной свободы и рационально-философской обработки, способствуютъ въ равной мѣрѣ развитію человѣчества. Но г. Щаповъ какъ бы забываетъ въслѣдствіи эту справедливую мысль Гумбольдта и наконецъ увлекается до того, что считаетъ обязательнымъ для cadaго деревенскаго парня сдѣлаться ученымъ огородникомъ, зоологомъ, минералогомъ, механикомъ и проч. и проч. (стр. 320—321). Авторъ даже упрекаетъ археографа Калайдовича за то, что онъ посвятилъ свои труды не спеціальному естествознанію, но разработкѣ русской исторіи и археологіи (стр. 529), хотя черезъ нѣсколько страницъ самъ замѣчаетъ, что недостатокъ серьезной умственной пытливости и, вслѣдствіе того, погоня за мелочными фактами, курьезами и раритетами одинаково парализировали дѣятельность нашихъ ученыхъ какъ въ области соціальныхъ познаній, такъ и въ кругѣ естественныхъ наукъ. Слѣдовательно, если Калайдовичъ интересовался часто ненужными мелочами въ исторіи, то онъ перенесъ бы такое же точно умонстроеніе и въ естественныя науки; если же онъ, при всемъ томъ, принесъ пользу въ своей спеціальности, то и незачѣмъ было ему избирать другой родъ занятій. Вѣдь историческіе факты, собранные нашей, положимъ, небогатой и односторонней наукой, дали однако возможность г. Щапову написать свою книгу, а мы думаемъ, что появленіе этой книги не менѣе полезно, чѣмъ какойнибудь новый курсъ геогно-

зи или механики. Умственное развитіе достигается не однимъ изученіемъ матеріальной природы, не однимъ обращеніемъ съ микроскопомъ и ретортою; къ нему ведетъ не менѣе прочнымъ образомъ изученіе условій и законовъ индивидуально-психологической и общественной жизни—словомъ, того, что составляетъ предметъ психологическихъ, соціальныхъ наукъ. Недаромъ Контъ поставилъ соціологію, или науку о проявленіяхъ личности въ обществѣ, на верхней ступени человѣческаго познанія, такъ какъ знаніе ея подразумѣваетъ собой знакомство съ низшими отраслями наукъ, но далеко не исчерпывается ими. Мы не споримъ, что современная философія, исторія, юриспруденція, психологія, эстетика не удовлетворяютъ требованіямъ точной, рациональной критики, но онѣ еще менѣе будутъ удовлетворять имъ, если мы ихъ оставимъ окончательно въ забросѣ и ограничимъ нашу умственную дѣятельность одними огородами, фабриками и лабораторіями. Хорошіе садовники и минералогіи ни въ какомъ случаѣ не замѣнятъ намъ людей съ хорошимъ знаніемъ и пониманіемъ общественной жизни. Скажемъ, наконецъ, что авторъ, придавая большое значеніе природѣ страны въ развитіи національнаго характера, почти вовсе не касается этого предмета въ своей книгѣ.

Мы хотѣли еще замѣтить о нѣкоторыхъ фактическихъ ошибкахъ или, точнѣе, недосмотрахъ г. Щапова, а также о странной стилистической манерѣ его (въ которой особенно непріятно выдается охота громоздить множество эпитетовъ одинъ на другой); но остановились, прочтя рецензію нѣкоего Вареоломея Кочнева въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Всѣ эти промахи и словечки тщательно собраны здѣсь, расцвѣчены особаго сорта юморомъ, почерпнутымъ изъ покойнаго «Весельчака» или «Рододендрона», и приподнесены публикѣ въ видѣ «нигилистическаго букета», къ которому надлежитъ—понятно!—питать отвращеніе. Статейка эта доказываетъ неопровержимымъ образомъ... что г. Щаповъ, живя въ Иркутскѣ, не имѣетъ такого удобства, какъ г. Кочневъ, пользоваться справочными книжками императорской публичной бібліотеки и румянцевскаго музея; но никакого другаго вывода, болѣе лестнаго для г. Кочнева и его научныхъ познаній, изъ статейки сдѣлать невозможно. Г. Щаповъ, не роняя себя, можетъ воспользоваться нѣкоторыми фактическими указаніями «Русскаго Вѣстника», но азбучную философію онъ, всеконечно, оставитъ для домашняго употребленія редакціи. Мы понимаемъ озлобленіе «Русскаго Вѣстника»: какъ! вмѣсто ликеевъ и атенеевъ съ двумя древними языками, намъ пушно заводить «химическія и ботаническія школы?»

Что жъ станется съ ликеемъ, воздвигнутымъ недавно въ нашей первопрестольной столицѣ? Но ужъ если пошло на выборъ крайностей, то мы, не задумываясь, предпочтемъ крайность, въ которую впадаетъ г. Щаповъ, ибо въ ней есть все таки чутье настоящихъ жизненныхъ потребностей, а не бездушное, упрямое старовѣрство.

ИДЕЯ ГРАЖДАНСКАГО БРАКА ВЪ РУССКОМЪ РАСКОЛѢ.

(«Историческій очеркъ раскольниковскаго учения о бракѣ. (Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ). Выпускъ I. (Отъ начала раскола до царствованія императора Николая I»). Экстраординарнаго профессора С.-Петербургской Духовной Академіи И. Нильскаго. С.-Петербургъ. 1869 г.).

I.

Въ числѣ народныхъ «бѣдъ», потрясавшихъ собой нашу тысячелѣтнюю, но небогатую внутреннимъ смысломъ историческую жизнь, не послѣднее мѣсто занимаетъ церковный расколъ, который, начавшись съ мелкихъ обрядностей, дошелъ въ нѣкоторыхъ своихъ сектахъ до выработки замѣчательныхъ взглядовъ на религіозные вопросы и общественныя отношенія. Исторія раскола тѣмъ именно и поучительна, что по ней можно прослѣдить, какъ созрѣвало и крѣпло, независимо отъ государственной опеки и часто даже наперекоръ ей, самостоятельное мышленіе русскаго народа. Какой, въ самомъ дѣлѣ, долгій путь скептическаго анализа надлежало пройти этому народу, чтобы отъ внѣшняго, формальнаго пониманія религіи, какъ оно обнаружилось въ спорахъ о двуперстномъ знаменіи, хожденіи пѣсолона и т. п. — прійти къ тому стойкому рационализму, который явственно сказывается въ религіозномъ мышленіи духоборцевъ и молоканъ? Съ другой стороны, какая бездна безсмыслия и дикаго изувѣрства отдѣляетъ этихъ самихъ молоканъ отъ хлыстовъ, скопцовъ и т. п. фанатиковъ, тоже вышедшихъ изъ народа подъ вліяніемъ другихъ, тяжелыхъ условій русской жизни. Связать воедино всѣ эти, по виду, разрозненные факты, обнять мыслью и логическій путь, и ненормальныя отъ него уклоненія въ расколъ — вотъ прямая обязанность писателей, которыхъ пытливый умъ не ограничивается въ исторіи одной ея археологическою или курьезной стороною. Надо сказать правду, что въ послѣднее время, благодаря сравнительно льготнымъ условіямъ русской прессы, исторія раскола сдѣлалась болѣе доступна критической обработкѣ; но мы все таки далеко не можемъ утверждать, чтобы въ нашей литературѣ выяснились окончательно даже крупнѣйшіе фазисы религіознаго разномыслия на

Руси. Объ иныхъ вопросахъ не говорится совсѣмъ, о другихъ говорится — но двусмысленно и уклончиво: цѣльнаго взгляда на расколъ еще не высказано нигдѣ, хотя матеріаловъ для него накопилось уже достаточно. Исслѣдованіе г. Нильскаго, лежащее передъ нами, не обогащаетъ литературы раскола никакими новыми идеями; но вопросъ, взятый имъ, такъ интересенъ самъ по себѣ, что даже въ сухомъ изложеніи, преисполненномъ длинныхъ, неудобочитаемыхъ цитатъ, онъ можетъ расшевелить любознательность читателя. Какъ сложилась семейная жизнь въ русскомъ расколѣ? Какія формы выработала она для себя, оторвавшись отъ традиціонной почвы?—вопрошаетъ г. Нильскій, и отвѣчаетъ на это пространнымъ трактатомъ, въ которомъ факты говорятъ гораздо краснорѣчивѣе авторскихъ размышленій. Мы воспользуемся прежде этими фактами, а потомъ скажемъ нѣсколько словъ объ отношеніи автора къ своему предмету.

Извѣстно, что на первыхъ порахъ ~~послѣ~~ ^{послѣдствіяхъ} возставшія противъ церковныхъ преобразованій Никона и получившія, по соборному постановленію 1666—7 года, названіе раскольниковъ, ~~не имѣли~~ въ виду устроить свою религіозную жизнь на какихънибудь новыхъ началахъ, но хотѣли только спасти «древнее благочестіе», удерживая безъ малѣйшей перемѣны ту церковную практику, которую признавали, какъ правильную, предшественники Никона. Къ этому мы прибавимъ съ своей стороны, что раскольники смотрѣли на дѣло совершенно также, какъ какойнибудь крутицкій митрополитъ Іона (и даже самъ патріархъ Филаретъ) въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, во время исправленія «Потребника». Ученыхъ справщиковъ этой книги, по приказанію Іоны, требовали къ отвѣту, обвиняли въ еретичествѣ и засадили въ тюрьму за то, что они вычеркнули изъ «Потребника» ненужную поправку: и огнемъ въ молитвѣ водоосвященія: «пріиди, Господи, и освяти воду сію Духомъ твоимъ и огнемъ». Отсюда возникли противъ нихъ обвиненія, что они — «Духа святаго не исповѣдаютъ, яко огонь есть». За это одного изъ справщиковъ, а именно архимандрита Діонисія, отказавшагося дать взятку въ 500 руб., душили «дымомъ на палатахъ», морили голодомъ и выводили въ кандалахъ на площадь, гдѣ народъ забрасывалъ его грязью, какъ еретика. Страданія мнимыхъ еретиковъ продолжались цѣлый годъ и кончились, только благодаря вмѣшательству іерусалимскаго патріарха Ѳеофана, который, прибывъ въ Москву для сбора милостыни, не безъ труда убѣдилъ Филарета, уже патріарха, въ ненужности прибавки: «и огнемъ». (См. «Русскіе исповѣдники просвѣщенія», статья г. Соловьева, «Рус. Вѣстн.» 1857 г. № 17).

Такое невѣжественное упорство въ сохраненіи буквы священнаго писанія,—и притомъ буквы, искаженной переписчиками,—объясняется очень просто повальной безграмотностью и непроходимой тупостью, господствовавшей въ допетровское время. Митрополитъ газскій, Паисій Лигаридъ, занимавшійся, по порученію Алексѣя Михайловича, опроверженіемъ «Челобитной» соловецкаго монастыря (между русскими іерархами не нашлось человѣка, способнаго на такой трудъ), недаромъ говорилъ, что все это «наводненіе ересей истекало и возрастало на общую пагубу отъ лишенія и немѣня народныхъ учителей». Понятно, что, коренясь въ слѣпой приверженности къ старинѣ, расколъ, и въ ученѣ о бракѣ, не отходилъ сначала слишкомъ далеко отъ мнѣній и обычаевъ, принятыхъ въ господствующей церкви. Вся разница состояла въ томъ, что, по мнѣнію раскольниковъ, слѣдовало употреблять при обрядѣ вѣнчанія не новыя, а старопечатныя книги и благословлять брачующихся двуперстнымъ знаменіемъ. Такъ шло дѣло до тѣхъ поръ, покуда живы были «истинные іереи», т. е. рукоположенные до Никона, у которыхъ раскольники могли вѣнчаться, не нарушая старыхъ церковныхъ правилъ. Но положеніе это должно было измѣниться, когда правительство рѣшилось твердо преслѣдовать расколъ, а число священниковъ, вѣрныхъ преданію, стало быстро убывать какъ по причинѣ естественной смерти, такъ и вслѣдствіе гоненій, воздвигнутыхъ на нихъ духовной и свѣтской властями. Тогда появились новые, роковые вопросы: откуда достать священниковъ, поставленныхъ по «древнему чину», и можно ли вѣнчаться въ «еретическихъ» церквахъ по исправленнымъ книгамъ и съ нарушеніемъ прежнихъ обрядовъ? Между духовенствомъ, возставшимъ противъ церковныхъ распоряженій Никона, былъ только одинъ епископъ, Павелъ Коломенскій, который могъ, нѣкоторое время, пополнять законнымъ образомъ раскольничью іерархію; но и онъ умеръ въ самомъ началѣ раскола; слѣдовательно, сторонникамъ древняго благочестія, рано или поздно, угрожала опасность остаться совсѣмъ безъ священниковъ и безъ церковныхъ таинствъ. Это предвидѣли раскольники и однажды спросили самого Павла Коломенскаго: какъ имъ быть въ случаѣ прекращенія правильной іерархіи? Отвѣтъ Павла передается различно раскольниками, смотря по сектѣ, къ которой принадлежать они. Такъ, поповцы, въ оправданіе своего обычая принимать бѣглыхъ поповъ, совершая надъ ними мѣропомазаніе, утверждаютъ, что Павелъ Коломенскій указалъ именно на это средство для сохраненія благодати за «новорокоположенными» священниками; безпоповцы же, отвергающіе церковную іерархію

по причинѣ «оскудѣнія священной руки», говорятъ, что коломенскій архіерей запретилъ своимъ послѣдователямъ всякое общеніе съ православною церковью и заповѣдалъ совершать нѣкоторыя таинства, какъ, напр., крещеніе и покаяніе, самимъ мірянамъ. На сторонѣ безпоповцевъ стоитъ и такой авторитетъ, какъ знаменитый протопопъ Аввакумъ, который внушалъ раскольникамъ непримиримую ненависть къ новопоставленному духовенству. «А съ водою какъ онъ (т. е. никоніанскій священникъ) придетъ въ домъ твой — писалъ раздраженный протопопъ къ своимъ духовнымъ чадамъ—а въ дому бывъ, водою намочить, и ты послѣ его вымети метлою, а робятамъ вели по запечью отъ него спрятаться, а самъ съ женою ходи тутъ и виномъ его пой, а самъ говори: «прости, бачка, нечисты... и не оказивались, недостойны къ кресту». Онъ кропитъ, а ты рожу-то въ уголь вороти, или въ мощну въ тѣ поры полѣзай да деньги ему добывай. А жена за домашними дѣлами поди да говори ему, раба Христова: «бачка, какой ты человекъ! аль по своей попадѣ не разумѣешь? не время мнѣ!» Да какъ нибудь отживите его. А хотя и омочить водою тою, душа бы твоя не хотѣла». Вслѣдствіе этой ненависти къ новой церковной іерархіи, доходившей до комическаго «отворачиванья рожі» отъ православнаго священника, значительная часть въ расколѣ отказалась совсѣмъ отъ совершенія таинствъ, допуская только тѣ изъ нихъ, которыя, по завѣту Павла Коломенскаго, могли поддерживаться и мірскими людьми. Затѣмъ безпоповщинскій расколъ, оторвавшись отъ всякой традиціонной связи съ господствующей церковью, пошелъ своей особой дорогою, и въ немъ образовалось скоро новое разномысліе относительно брака, о которомъ раскольники не могли почерпнуть изъ преданія никакого категорическаго рѣшенія. До этого рѣшенія имъ приходилось добираться самимъ, посредствомъ разныхъ доводовъ и соображеній, которые, конечно, измѣнялись, смотря по развитію личности, бравшейся за самостоятельную разработку спорнаго вопроса. Здѣсь-то и обнаружилась та внутренняя органическая сила, о присутствіи которой въ расколѣ наша публика имѣетъ еще, до сихъ поръ, весьма слабое понятіе. Въ первое время по образованіи раскола, идея безбрачія, вслѣдствіе невозможности «правильнаго» совершенія брачнаго таинства, получила, повидимому, господство въ массѣ раскольниковъ, чему способствовали многія обстоятельства, изъ которыхъ одно—именно вражда къ господствующей церковной іерархіи—уже упомянутъ нами. Эта вражда вызвала у протопопа Аввакума прямое запрещеніе раскольникамъ—вѣнчаться въ православныхъ церквахъ

«Аще вѣнчаеми бывають у нихъ, то не браки, а прелюбодѣющіи; аще ли имуть истинныхъ іереевъ, да вѣнчаются снова. Аще кто не имать іереевъ да живетъ просто». Эту послѣднюю фразу: «да живетъ просто» нужно, по всей вѣроятности, понимать, какъ требованіе безбрачной жизни, потому что самъ Аввакумъ былъ усерднымъ ея защитникомъ и часто «унималъ другихъ отъ блуда»; но справедливо также и мнѣніе г. Щапова (противъ котораго polemизируетъ однако г. Нильскій), что эта фраза, растолкованная въ извѣстномъ смыслѣ, пришлась какъ нельзя болѣе кстати для распущенности нравовъ, составлявшей типическую черту въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ. Едва ли возможно сомнѣваться, что широкое удовлетвореніе половыхъ страстей, которое такъ прилично и удобно прикрывалось обѣтомъ вынужденнаго безбрачія, было не послѣднею причиною того, что пропаганда брака, въ видѣ гражданскаго сожитія мужа съ одною женою, находила сильный отпоръ въ раскольниковъ средѣ. Подобное стѣсненіе, конечно, не нравилось тѣмъ благочестивымъ людямъ, которые скоро привыкли къ тому, чтобы ихъ духовныя сестры приносили имъ (говоря раскольниковымъ языкомъ) «пустынныя плоды своего чрева»; уклоняясь отъ брака подъ благовиднымъ предлогомъ, они сохраняли за собой право имѣть сколько угодно «странухъ» и «посестрій»; но лицемѣрный декорумъ былъ при этомъ соблюденъ, и имъ оставалось только искусно прятать концы своихъ любовныхъ связей. Впрочемъ, нѣкоторыя секты (какъ напр., стефановщина) мало обращали вниманія даже на соблюденіе этого декорума, и—по словамъ, приводимымъ у самого г. Нильскаго—ихъ наставники частенько жили «въ кельяхъ на уединеніи съ зазорными лицами и съ духовными дочерьми». И такое явленіе нисколько не удивительно: формальное благочестіе древней Руси, передъ которымъ такъ умиляются наши любители старины, ничего другаго и не могло скрывать подъ собою, кромѣ животной разнузданности, плохо замаскированной лицемѣрными обрядами. Извѣстенъ, напр., обычай нашихъ предковъ занавѣшивать образа въ комнатѣ, приготовляясь къ нѣкоторому грѣховному дѣлу... Лики угодниковъ не видѣли грѣха, и совѣсть грѣшника была успокоена. Счастливыя исключенія, разумѣется, встрѣчались всегда, но они не измѣняли общаго характера нашего религіознаго благочестія, крайне узкаго, односторонняго, поглощеннаго одною виѣшностью и обрядностью. Кромѣ того, на помощь нравственной распущенности, пришли и другія обстоятельства, которыхъ также не слѣдуетъ терять изъ виду. Первое изъ нихъ заключалось въ томъ, что, по общему мнѣнію раскольниковъ, вслѣдъ за упадкомъ древней вѣрмы, на-

станетъ въ кратчайшій срокъ царство антихриста; слѣдовательно истиннымъ христіанамъ нечего было и хлопотать о женѣ и дѣтяхъ. Тотъ же Аввакумъ, много подвизавшійся по части распространенія раскола, удостоился первый видѣть народившагося антихриста. «Я, братія мои,—сообщаетъ онъ въ одномъ изъ своихъ посланій—видѣлъ антихриста, собаку бѣшеную право видѣлъ. Плоть у него вся смрадъ и зѣло дурна, огнемъ пышетъ изъ рта, а изъ ноздрей и изъ ушей пламя смрадное исходитъ». А въ 1669 году, по всему пространству необъятной Россіи, раскольники, бросивъ всѣ свои обычныя занятія, бѣгутъ цѣлыми семействами изъ домовъ въ лѣса и пустыни, и тамъ, собравшись толпами, постятся, молятся, приносятъ другъ другу покаяніе въ грѣхахъ, пріобщаются старинными дарами и, надѣвъ чистыя рубахи и саваны, ложатся въ заранѣе приготовленные гробы. Изъ этихъ гробовъ, въ ожиданіи трубы архангела, раздается заунывный напѣвъ:

Древянь гробъ сосновый
Ради меня строень;
Въ немъ буду лежать,
Труба гласа ждати.
Ангелы вострубить,
Изъ гробовъ возбудятъ.
Я, хотя и грѣшенъ,
Пойду къ Богу на судъ и пр. и пр.

На сей разъ ангелы однако не вострубили, и пришествіе антихриста откладывалось потомъ на различные сроки. Такъ, напримѣръ, его ожидали въ 1691 г., затѣмъ въ 1699 году, наконецъ, въ 1702 г. Этотъ послѣдній срокъ, среди начавшихся реформъ Петра Великаго, казавшихся большинству неправославными, антихристіанскими, представлялся до того вѣроятнымъ, что мысль о наступленіи царства антихристовъ въ началѣ XVIII-го вѣка сдѣлалась достояніемъ не только раскольниковъ, но и многихъ изъ православныхъ, и проповѣдь Талицкаго, возвѣщавшаго близкое разрушеніе міра, выслушивалась съ одинаковымъ страхомъ какъ самимъ народомъ, такъ и высшими лицами изъ духовенства и бояръ. Вслѣдствіе этого, безпоповщинскіе учителя, какъ это видно изъ ихъ сочиненій, требуя отъ своихъ послѣдователей безбрачной жизни, никогда не упускали случая, для болѣе убѣдительности своихъ словъ, указывать на скорое появленіе антихриста, какъ на неизбѣжное событіе, которое дѣлаетъ излишними долговременныя житейскія связи. Второе обстоятельство, также повліявшее на отрицаніе брака, по крайней мѣрѣ, въ извѣстный періодъ времени, кроется въ тѣхъ звѣрскихъ гоненіяхъ, которыя подняты

были на раскольниковъ, начиная съ 1684 г., ихъ прежней покровительницей, Софьей Алексѣвной. Внезапно, въ этомъ году, появилось противъ раскола постановленіе, узаконявшее пытки и «огненную смерть» для тѣхъ, кто «не принесетъ покоренія св. церкви», сулившее жестокое наказаніе тѣмъ изъ православныхъ, которые скрывали у себя раскольниковъ и не доносили объ нихъ, осуждавшее «на смерть безъ всякаго милосердія» раскольниковыхъ перекрещивателей, хотя бы они раскаивались и «св. таинъ причаститися желали истинно», подвергавшее кнуту всѣхъ перекрещивавшихся у раскольниковъ, даже и въ томъ случаѣ, если они «учнутъ винитися безъ всякаго противности», и наконецъ отсылавшее подъ кнутъ даже тѣхъ раскольниковъ, которые, «отъ неразумѣнія или въ малыхъ лѣтахъ, стояли въ упрямствѣ въ новоисправленныхъ книгахъ» и пр. и пр. Вслѣдъ затѣмъ начались военныя экзекуціи, которыя распространили еще болѣе ужасъ въ раскольниковомъ населеніи. «Лютое нападеніе, — по выраженію раскольниковъ, — суровое свирѣпство, звѣриная наглость» храбрыхъ воиновъ, посылаемыхъ для этой междоусобной рѣзни, наводили панику на цѣлыя области и заставляли подумать о средствахъ избавиться отъ мученій. Менѣе фанатическіе ревнители старой вѣры спасались бѣгствомъ въ сосѣднія страны — въ Польшу, Швецію, Турцію, Пруссію и на Кавказъ. При этомъ поголовномъ бѣгствѣ положено было основаніе знаменитой слободѣ Вѣткѣ на землѣ пана Халецкаго, и «мнози течаху въ оная прославляемая мѣста». Яростные же фанатики, предвидя «нашествіе мучителей и ихъ наѣздъ съ оружіемъ и съ пушками», сжигали себя сами, цѣлыми массами, для полученія царствія небеснаго. Въ 1687 г. раскольники, въ числѣ 2,700 человекъ, сожглись въ Палеостровскомъ монастырѣ; въ томъ же монастырѣ, въ 1689 г., сгорѣло до 500 раскольниковъ. Въ 1693 г., въ одной деревнѣ Новгородской губерніи, сожглось до 800 раскольниковъ, а въ 1709 г., по донесенію іеромонаха Игнатія св. Дмитрію Ростовскому, въ одномъ его приходѣ — «сожглось душъ обоего пола и всякаго возраста 1,920, кромѣ иныхъ окрестныхъ селъ и деревень, въ коихъ безчисленное множество народа пожглось», такъ что «наполняшеся воздухъ, отъ труповъ сгорающихъ, смрадной вони на многи дни». Св. Дмитрій Ростовскій, какъ извѣстно, не ослабно наблюдалъ за раскольниками... Вообще, вслѣдствіе узаконенія 1684 г., у насъ погибла не одна тысяча народа. Въ такое суровое время народу некогда было думать объ утѣхахъ семейной жизни, и вопросъ о бракѣ, естественно, устранился на задній планъ. Даже

поповщинская секта,—рѣшившаяся принимать къ себѣ бѣглыхъ поповъ «новаго поставленія», при помощи которыхъ можно было бы безпрепятственно совершать браки,—даже и она воздерживалась въ это время отъ семейной жизни, предъ ежеминутной грозою смертной казни или мучительныхъ пытокъ.

II.

Но поголовныя избіенія раскольниковъ—собственно за ихъ религіозное несогласіе—прекратились со вступленіемъ на престолъ Петра I. Суровый указъ 1684 г. продолжалъ еще существовать въ качествѣ неотмѣненного закона, но практическое приложеніе его, съ самаго начала царствованія Петра, сдѣлалось мягче, снисходительнѣе, хотя раскольники являлись, въ большинствѣ случаевъ, личными врагами молодого царя. Правда, и при Петрѣ, въ первые же годы, было немало случаевъ преслѣдованія раскольниковъ; но эти преслѣдованія были больше дѣломъ личнаго усердія второстепенныхъ властей (какъ, напримѣръ, Питерима, прозваннаго Петромъ въ шутку «равноапостольнымъ»), нежели слѣдствіемъ внушеній самого государя. Терпимость и даже индифферентизмъ Петра къ конфессіональнымъ распрямъ достаточно извѣстны изъ исторіи, и отсюда безошибочно опредѣляется его отношеніе къ расколу, какъ къ религіозному толку. Насмѣшливый реформаторъ и раціоналистъ, устраивавшій публичныя пародіи на муфтіевъ и патріарховъ, подъ именемъ «всешутѣйшаго собора», не могъ враждовать серьезно съ двуперстнымъ знаменіемъ и хожденіемъ посылонь. Больше не нравились ему борода и стариннаго покроя платье, какъ вывѣски грубаго суетвѣрія и невѣжества — и за нихъ раскольники должны были расплачиваться особымъ штрафомъ. Въ 1702 г. Петръ все-народно объявилъ, что онъ «совѣсти человѣческой приневоливать не желаетъ и охотно предоставляетъ каждому христіанину, на его отвѣтственность, пешихъ о блаженствѣ души своей», и общалъ при этомъ «крѣпко смотрѣть, чтобы никто, какъ въ своемъ публичномъ, такъ и въ частномъ отправленіи богослуженія, безпокоенъ не былъ». Въ томъ же году случилось Петру переходить изъ Архангельска въ Повѣнецъ черезъ извѣстную рѣку Выгъ (по имени которой названа безпоповщинская Выговская пустыня), и ему было доложено, что на этой рѣкѣ живутъ раскольники. «Пукай живутъ!»—отвѣчалъ онъ по свидѣтельству историка Выговской пустыни—и поѣхалъ смирно, яко отецъ отечества благоутробнѣйшій». Вскорѣ послѣ этого (въ 1705 г.) Петръ, чрезъ своего лю

бѣнца Мекшикова, входилъ даже въ прямыя сношенія съ обитателями «пустыни»—бывшей главнымъ притономъ тогдашней безпоповщины—и, въ награду за согласіе ихъ работать на повѣнечныхъ заводахъ, даетъ имъ указомъ право на открытое, свободное отправленіе богослуженія по старопечатнымъ книгамъ. Поручая въ 1706 г. Питериму заняться обращеніемъ раскольниковъ въ Нижегородской губерніи, Петръ внушалъ ему: «съ противниками церкви съ кротостію и разумомъ поступать, по апостолу: быхъ беззаконнымъ, яко беззаконенъ, да беззаконныхъ приобращу, быхъ всѣмъ вся да всяко нѣкіе спасу—а не такъ, какъ нынѣ, жестокими словами и отчужденіемъ». Въ 1708 г., когда Карлъ XII вступилъ въ Малороссію и достигъ стародубскаго края, нѣкоторые изъ стародубскихъ раскольниковъ напали на непріятеля, нѣсколько сотенъ побили, а живыхъ привели плѣнниками къ государю, бывшему тогда въ Стародубѣ. За такой патріотизмъ Петръ тогда же приказалъ переписать всѣхъ стародубскихъ раскольниковъ и утвердилъ ихъ лично за собою «съ тѣмъ чтобъ впредь оными никто не могъ владѣть». Въ 1714 г. Петръ торжественно даруетъ раскольникамъ право, наравнѣ со всѣми другими подданными, жить въ селеніяхъ и городахъ «безо всякаго сомнѣнія и страха», лишь бы только они объявляли о себѣ въ приказѣ церковныхъ дѣлъ и записывались въ платежъ двойнаго оклада. Дальше, указами 1719, 1720 и 1722 годовъ, позволено было раскольникамъ не ходить на исповѣдь, вѣнчаться не у церкви, носить бороду и платье стараго покроя, съ условіемъ только платить за всѣ эти льготы опредѣленную денежную пеню. Всѣми этими мѣрами Петръ показаль, что, не видя серьезной опасности въ религіозномъ «пререканіи» раскольниковъ съ государственной церковью, онъ подводитъ его подъ разрядъ обыкновенныхъ полицейскихъ провинностей, за которыя достаточно брать, въ видѣ штрафа, усиленный подушный окладъ. Штрафъ же этотъ обращался на заведеніе флота, на прорытіе каналовъ, на устройство школъ и тому подобныя потребности реформы. Только въ самомъ концѣ своего царствованія, убѣдившись изъ дѣла царевича Алексѣя и многихъ другихъ частныхъ случаевъ, что раскольники ведутъ подкогъ — не противъ одной лишь церковной обрядности, но и противъ всѣхъ европейскихъ нововведеній, Петръ причислилъ раскольниковъ дѣла «къ злодѣйственнымъ» и снова обратился, хотя далеко не съ прежней жестокостію—къ тому уголовному арсеналу, который былъ у него подъ руками. Лично раздраженный и лично ненавидимый раскольниками, спасая отъ разрушенія свое любимое дѣло, Петръ забылъ уже тутъ свою прежнюю умѣренность и просвѣщенные взгляды на расколъ.

Тѣмъ не менѣе, раскольники, въ царствованіе Петра, чувствовали себя гораздо спокойнѣе и безопаснѣе, чѣмъ прежде, а главный пріютъ безпоповщины—Выговская пустыня, гдѣ умный и хитрый настоятель Андрей Денисовъ успѣлъ убѣдить своихъ единовѣрцевъ въ возможности соединенія истиннаго христіанства съ подданствомъ Петру,—разбогатѣлъ до такой степени, что обитатели его, нѣкогда сами терпѣвшіе голодъ, нашли возможнымъ помогать изъ своихъ средствъ не только раскольникамъ, бывшимъ въ зависимости отъ монастыря, но и постороннимъ лицамъ, разумѣется, съ тайною цѣлью привлечь ихъ въ свои ряды. Фанатизмъ Выговскихъ скитовъ, выражавшійся прежде въ открытой враждѣ къ власти и въ покушеніяхъ къ самосожигательству, сталъ теперь, мало по малу, слабѣть, а вслѣдъ затѣмъ началъ колебаться и ихъ прежній аскетизмъ. Проповѣдники суроваго житія, проводившіе прежде сами строгую жизнь,—теперь, среди всеобщаго изобилія и довольства, стали позволять себѣ такіа утѣхи въ жизни, которыя ясно показывали, что ревнители иноческаго подвижничества далеко не прочь и отъ наслажденія благами міра сего. «Пустынныя плоды чрева инокинѣ» приносились все чаще и чаще, и самъ Андрей Денисовъ, доказывавшій необходимость безбрачной жизни, началъ снисходительнѣе смотрѣть на брачное сожитіе раскольниковъ, видя въ немъ средство избавиться отъ переменнаго разврата. Если прибавить къ этому, что ученіе о близкой кончинѣ міра, также служившее препятствіемъ къ брачнымъ союзамъ, хотя и продолжало существовать въ Выговскомъ скиту, но уже только въ одной теоріи, и плохо мирясь со спокойнымъ, обезпеченнымъ положеніемъ раскольниковъ,—то мы легко поймемъ, что удовольствія правильно-организованной семейной жизни снова стали рисоваться въ воображеніи людей, отдохнувшихъ отъ преслѣдованій. Къ тому же, въ ихъ средѣ уже перевелись тѣ выходцы изъ разныхъ монастырей, которые хотѣли весь раскольниковый міръ превратить въ одну громадную монастырскую общину. Тогда-то и обнаружилось въ безпоповщинскомъ расколѣ сильное движеніе въ пользу брака, которое повело сначала къ литературной полемикѣ, а потомъ и къ распаденію самого раскола на двѣ враждебныя партіи. Первымъ раскольниковъ, признавшимъ, что бракъ, заключенный въ православной церкви, слѣдуетъ считать законнымъ и не расторгать,—былъ Θεодосій Васильевъ, который вздумалъ, въ концѣ XVII вѣка, основать отдѣльное раскольниковое общество, съ тѣмъ чтобы самому стать во главѣ его. Съ этою цѣлью Θεодосій оставилъ Новгородъ, убѣжалъ со всею семьей въ Польшу и здѣсь положилъ основаніе особому раскольниковому толку, получившему, по его

имени, названіе еедосѣвщины. Своимъ ученіемъ о бракѣ Θεодосій сталъ въ противорѣчіе съ своими прежними единомышленниками—поморцами, и это дало поводъ къ спорамъ между ними, окончившимся не въ пользу брака. Θεодосій, какъ видно, слишкомъ слабо мотивировалъ свое уклоненіе отъ прежнихъ взглядовъ, и потому, хотя онъ самъ устоялъ до конца жизни въ своемъ противорѣчій, но послѣдователи его, замѣтивъ недостаточность его доказательствъ, признали нужнымъ, вскорѣ послѣ его смерти, разводить всѣхъ повѣнчанныхъ до перехода въ расколъ — «на чистое житіе». Гораздо стойче и рѣшительнѣе была поддержка, оказанная браку Иваномъ Алексѣевымъ — однимъ изъ стародубскихъ раскольниковъ, попавшимъ въ упомянутую нами переписку при Петрѣ. Это былъ весьма умный и энергическій человѣкъ, очень начитанный и наблюдательный, не закрывавшій глазъ на недостатки своего общества. Наставниковъ еедосѣвскихъ онъ безъ церемоніи сравнивалъ, за ихъ невѣжество и умственную слѣпоту, съ «нѣкими нетопырями темными, кои зрящихъ истинно досаждаютъ», и открыто нападалъ на тотъ безшабашный развратъ, которому предавались эти наставники, прикрытые благовидной ширмой иноческаго житія. Долго думая надъ вопросами о бракѣ, Алексѣевъ пришелъ къ тому заключенію, что вынужденное безбрачіе безпоповцевъ имѣло нѣкогда историческое оправданіе—въ отсутствіи правильного священства и въ строгомъ аскетизмѣ первоначальныхъ безпоповцевъ, жившихъ, по стеченію неблагопріятныхъ обстоятельствъ, въ лѣсахъ и пустыняхъ; — но что теперь второе изъ этихъ условій замѣнилось полнѣйшей физической разнузданностью, а о чистотѣ нравовъ нѣтъ и помину. Что же касается до перваго условія, которое Алексѣевъ, какъ вѣрный раскольникъ, обязывался признавать съ прежней рѣзкостью, — то онъ постарался обойти его совсѣмъ въ этомъ вопросѣ, доказывая, что священникъ есть только простой свидѣтель при совершеніи брака и что самый бракъ есть тайна, но не въ смыслѣ таинства, какъ понимаетъ его православная церковь—таинства, въ которомъ чрезъ пресвитерское вѣнчаніе и благословеніе сообщается брачующимся особенная благодать св. Духа, — а въ смыслѣ таинственного значенія супружеской любви, какъ образа любви Христа къ церкви. Продолжая развивать свой взглядъ на бракъ, Алексѣевъ говорилъ, что бракъ установленъ самимъ Богомъ еще при созданіи первыхъ людей, что основаніемъ его служитъ благословеніе, данное Богомъ Адаму и Евѣ, а чрезъ нихъ и всѣмъ ихъ потомкамъ, и что поэтому, для заключенія брака, не требуется особенная благодать, исходящая отъ іерея, но должны

быть соблюдены только слѣдующія три правила: во-первыхъ, согласіе вѣнчающихся на бракъ, при взаимной любви; во-вторыхъ, «общенародное» выраженіе этого согласія передъ свидѣтелями (къ числу которыхъ принадлежить и священникъ); наконецъ, въ третьихъ—согласіе родителей, необходимое для того, чтобы выразить въ немъ законную родительскую власть надъ дѣтьми, а также, чтобъ не допустить въ бракъ какихъ либо злоупотребленій, на примѣръ, близкаго родства, дурнаго выбора жениха или невѣсты и пр. Но что же послѣ этого значить церковное вѣнчаніе брака, принятое во всѣхъ христіанскихъ церквяхъ? Это, по словамъ Алексѣева, не больше, какъ «общенародный христіанскій обычай», не имѣющій прямаго отношенія къ существу брака; введено же церковью вѣнчаніе для того, чтобы имъ отличить законное сопряженіе брачующихся лицъ отъ блуднаго сожитія, въ соотвѣтствіе «нѣкоему чину», употреблявшемуся при заключеніи браковъ еще въ ветхомъ завѣтѣ между іудеями, и «общенародному обычаю», существовавшему въ древности въ разныхъ формахъ и существующему доннѣ между язычниками. Отсюда Алексѣевъ дѣлаетъ выводъ, что, при неизмѣннѣ православнаго священства, можно вѣнчаться и въ церкви еретической. Христіанскій общенародный обычай чрезъ это будетъ соблюденъ, а благодать, необходимая для брака, которой еретики не имѣютъ, зависить не отъ вѣнчанія, а отъ первоначальнаго Божія благословенія. «Очевидно—присовокупляетъ г. Нильскій,—что Алексѣевъ смотритъ на бракъ съ естественной, а не съ христіанской точки зрѣнія, и разумѣетъ собственно бракъ, такъ называемый, гражданскій» (стр. 122). Для подкрѣпленія этого гражданскаго брака, Алексѣевъ заимствовалъ свои аргументы и изъ Большаго катихизиса, и изъ Кормчей книги, и изъ церковной исторіи, причемъ выказалъ замѣчательную богословскую эрудицію и ловкую діалектику, съ которой не всегда удачно борется г. экстраординарный профессоръ духовной академіи. Прежде всего Алексѣевъ выбралъ изъ Большаго катихизиса и изъ Кормчей книги такіа опредѣленія брака, въ которыхъ—по словамъ г. Нильскаго—«п о в и д и м о у, подается та мысль, что единственнымъ основаніемъ брака служить первоначальное Божіе благословеніе, данное въ лицѣ Адама и Евы всѣмъ ихъ потомкамъ, и затѣмъ—взаимное согласіе желающихъ вступить въ бракъ, выраженное словами передъ свидѣтелемъ». Такъ, на примѣръ, въ Большомъ катихизисѣ, на вопросъ: что есть бракъ? дается такой отвѣтъ: «бракъ есть тайна, ею же женихъ и невѣста отъ чистыя любви своея въ сердцѣ своемъ усердно себѣ изволятъ и согласіе между собою, и обѣтъ сотворять, яко произволительно, по благосло-

венію Божію, въ общее и нераздѣльное житіе сопрягаются: яко же Адамъ и Ева прежде паденія и безплотскаго смѣшенія правъ и истинный бракъ имѣста; а на вопросъ: «кто есть дѣйственикъ тайны брака?» говорится, что это—во-первыхъ, Богъ, сказавшій: «раститесь и множитесь», а, во-вторыхъ, сами брачущіеся, давшіе другъ другу обѣты вѣрности. Объ участіи священника не упоминается совсѣмъ. Въ Коринчей же книгѣ сказано: «форма, или образъ совершенія брака, суть словеса совокупляющихся, изволеніе ихъ внутреннее предъ іереемъ извѣщающая», и это выраженіе: предъ іереемъ привело Алексѣева къ той мысли, что священникъ, участвующій въ заключеніи брака, есть не больше, какъ одинъ изъ свидѣтелей взаимнаго согласія жениха и невѣсты на вступленіе въ брачный союзъ, но отнюдь не совершитель этого священнодѣянія. Далѣе, изучая библейскую и «многія другія исторіи», Алексѣевъ замѣтилъ, что было время, когда браки заключались въ обществѣ человѣческомъ безъ всякаго «священнословія», т.-е. безъ всякаго внѣшняго обряда, по одному взаимному согласію лицъ, желавшихъ вступить въ бракъ, съ дозволенія родителей брачавшихся. Такъ, по словамъ Алексѣева, — «по Адамъ сущіи народы на единомъ любовномъ основаніи брака начало и конецъ творяху: начало сего—благохотѣніе взаимное, конецъ же—словеса общаго хотѣнія родителей жениха и невѣсты и самихъ жениха и невѣсты». Такъ заключались браки въ «естественномъ законѣ, даже до закона писаннаго», и не только между язычниками, но и между іудеями. Въ примѣръ подобныхъ браковъ между послѣдними Алексѣевъ указываетъ на бракъ Исаака съ Ревеккою. Въ послѣдствіи времени, говоритъ Алексѣевъ, у язычниковъ браки стали совершаться въ капищахъ, у іудеевъ же установился обрядъ приведенія брачующихся въ храмъ. Но такъ какъ этотъ обрядъ явился уже въ законѣ писанномъ, а браки заключались прежде и считались законными, то очевидно—говоритъ раскольничій учитель — что заключеніе браковъ въ храмахъ и капищахъ было учреждено не потому, чтобы безъ этого брачныя сопряженія не имѣли законности и силы, но единственно для того, чтобы, кромѣ согласія родителей, а также жениха и невѣсты, дать мѣсто еще и «согласію общенародному» и тѣмъ, съ одной стороны, сдѣлать бракъ формально болѣе твердымъ, а съ другой—предохранить вступившихъ въ него отъ разнаго рода нареканій, показавъ всѣмъ и каждому, что они начали свое сожитіе не «яко тати», какъ дѣлаютъ блудники, а «подобательнымъ путемъ», т.-е. открыто, черезъ бракъ. Переходя затѣмъ къ исторіи

новозавѣтной, Алексѣевъ и въ ней нашелъ основанія думать, что церковное вѣнчаніе не имѣетъ существеннаго значенія для брака. Такъ, онъ говоритъ, что и въ церкви христіанской «пер-
вѣе было бракъ, сему же послѣдоваша церковное дѣйство», и въ подтвержденіе своихъ словъ указываетъ на книгу Діонисія Ареопагита «о церковномъ священноначаліи», изъ которой будто бы видно, что при апостолахъ не было еще обычая совершать браки въ церкви, такъ какъ Діонисій, перечисляя разные таинства, не говоритъ ничего о вѣнчаніи брака. Алексѣевъ ссылается также и на другое обстоятельство изъ практики первенствующей церкви, — именно на то, что, при обращеніи язычниковъ къ вѣрѣ христовой, церковь совершала надъ ними крещеніе, муропомазаніе и др. таинства, но никогда не совершала надъ ними брака, если они находились до обращенія въ брачномъ сожитіи, а позволяла имъ жить по прежнему, какъ мужу и женѣ. Точно также, продолжаетъ Алексѣевъ, поступала церковь и съ еретиками, и притомъ не только съ такими, которыхъ принимали чрезъ одно отреченіе отъ ереси, но и съ такими, надъ которыми, при приѣмѣ ихъ, совершалось крещеніе. Наконецъ, Алексѣевъ указываетъ на то, что церковь православная никогда не перевѣнчивала лицъ православныхъ же, но вступавшихъ въ бракъ, по какимъ либо обстоятельствамъ, въ церквахъ еретическихъ. Всѣ эти разсужденія, вкратцѣ приведенныя нами, быть можетъ, ошибочны съ догматической точки зрѣнія; но они имѣютъ огромную важность для историка, наглядно показывая, что нашъ расколъ — по крайней мѣрѣ, въ лицѣ наиболѣе развитыхъ его представителей — не удовольствовался однимъ формализмомъ и религіозною казуистикой, но затронулъ, въ нѣкоторыхъ сектахъ, весьма крупныя вопросы, имѣющіе ближайшее отношеніе къ общественной жизни. Стоитъ замѣтить, что простой раскольникъ-крестьянинъ, не бывшій ни въ какихъ школахъ и академіяхъ, одною силою умственной пытливости дошелъ до того, что могъ совершенно перенести вопросъ о бракѣ съ церковной на гражданскую почву, то есть сдѣлать изъ брака тотъ общественный договоръ, который только очень недавно въ Европѣ приобрѣлъ положеніе равноправное съ церковною формою брака. Врядъ ли послѣ этого можно отрицать въ расколѣ присутствіе дѣятельной мысли и внутреннее прогрессивное движеніе, только замедляемое внѣшними препятствіями.

Доводы Алексѣева въ пользу брака нашли себѣ много приверженцевъ и служатъ до настоящаго времени опорною точкой для поморцевъ, вступающихъ въ бракъ. Но оеде-

сѣвцы отвергнули ихъ, какъ еретичество, забывъ, что въ такомъ случаѣ самъ основатель ихъ секты былъ упорнымъ еретикомъ. Роли перемѣнились: поморцы, прежде нападавшіе на бракъ, сдѣлались его сторонниками, а еедосѣвцы, которыми приличнѣе было бы съ самаго начала не противиться этому нововведенію, стали озлобленно нападать на «новоженовъ», рѣшавшихся войти хоть на полчаса, для совершенія брака, въ православную церковь. Началась ожесточенная борьба, продолжавшаяся довольно открыто въ царствованіе Екатерины и Александра, такъ какъ въ это время, — особенно при Александрѣ, — расколъ пользовался уже значительнѣйшими, противъ прежняго, послабленіями и льготами. На сторонѣ брака, какъ гражданскаго обряда, который возможно совершать даже и при отсутствіи священника, стояли: Емельяновъ, одинъ изъ настоятелей Покровской часовни въ Москвѣ, и Павелъ Любопытный, извѣстный раскольникій писатель. Противъ брака вооружались: знаменитый основатель преображенскаго московскаго кладбища, купецъ Ковылинъ, названный «отличнымъ бракорборцемъ», и бѣглый заводскій крестьянинъ, Гусинъ, — «семиименная особа» (по выраженію Павла Любопытнаго), разгуливавшая по Россіи подъ семью различными именами. Аргументы Алексѣева въ защиту брака дополнялись и развивались его послѣдователями — и въ этой переработкѣ раскольникій бракъ сдѣлался окончательно гражданскимъ актомъ, такъ что въ Покровской часовнѣ, гдѣ совершались подобные браки, вошло даже въ обычай составлять особые свадебные контракты, подписываемые женихомъ и невестой (стр. 339).

Нельзя не поблагодарить г. Нильскаго за трудолюбивое собираніе всѣхъ этихъ свѣдѣній, бросающихъ новый свѣтъ на исторію нашего раскола; но нельзя не указать также и на пристрастный тонъ, съ которымъ относится онъ къ нѣкоторымъ мнѣніямъ и даже къ фактамъ, имъ излагаемымъ. Такъ, напримѣръ, ему очень хочется доказать, что раскольникіи гражданскіе браки никогда не признавались нашимъ правительствомъ законными, а между тѣмъ изъ его доказательствъ выходитъ только то, что правительство часто колебалось въ своемъ взглядѣ на этотъ вопросъ, и что св. синодъ нерѣдко пользовался случаемъ, чтобы расторгать такіе браки. Но въ дѣлѣ, приведенномъ у Павла Любопытнаго (стр. 343), а именно въ дѣлѣ раскольника Мони́на, женившагося по обряду поморской церкви, митрополитъ Платонъ, а за нимъ и весь святѣйшій синодъ, рѣшили этотъ вопросъ въ пользу Мони́на. Въ другой разъ тульская духовная консисторія привлекла къ отвѣтственности одного безпоповца за его бракъ, но св. си-

нодь, принявъ во вниманіе гражданскія узаконенія, на которыя сослался отвѣтчикъ, приказалъ преслѣдованіе это прекратить (стр. 403). Стало быть, были гражданскіе законы, служившіе, такъ сказать, щитомъ для раскольниковъ. Они, дѣйствительно, приводятся у самого г. Нильскаго. Первый законъ, на который ссылались раскольники, изданъ Петромъ въ 1719 г. и упомянутъ Екатериной II въ 1762 г. при вызовѣ бѣглыхъ раскольниковъ изъ-за границы; онъ состоитъ въ томъ, что раскольниковы браки, совершенные «не у церкви, безъ вѣчныхъ памятей» — не расторгались, но только оплачивались извѣстнымъ штрафомъ также, какъ, напримѣръ, ношеніе бороды. Второй законъ — это высочайше утвержденное мнѣніе государственнаго совѣта (по дѣлу поручика Шелковникова о разводѣ его съ женою), въ которомъ говорится: «для охраненія твердости брачныхъ союзовъ постановить правиломъ, чтобы никакія въ гражданскомъ управленіи мѣста и лица не допускали и не утверждали между супругами обязательствъ и другихъ актовъ, въ коихъ будетъ заключаться условіе жить имъ въ разлученіи или какое либо другое произвольное ихъ желаніе, клонящееся къ разрыву супружескаго союза». Постановленіе это распространялось «на всѣ христіанскія исповѣданія, т.-е. какъ на тѣ, въ коихъ брачный союзъ почитается таинствомъ, такъ и на тѣ, въ коихъ онъ принимается за гражданскій актъ». Раскольники сейчасъ же причислили свои браки къ числу гражданскихъ актовъ, допускаемыхъ закономъ, и министерство внутреннихъ дѣлъ, повидимому, согласилось съ этою ихъ претензіею. По крайней мѣрѣ, въ томъ же 1819 г., министерство внутреннихъ дѣлъ не утвердило тѣхъ положеній комитета войска донскаго, которыми браки раскольниковъ, совершенные внѣ церкви, признавались не дѣйствительными, а совершители такихъ браковъ предавались суду наравнѣ съ учителями раскола. Положенія эти были найдены «противными правиламъ кротости и служащими, съ одной стороны, поводомъ къ ожесточенію раскольниковъ, а съ другой — побужденіемъ прибѣгать къ средствамъ обмана и подлога» (стр. 405). Такая резолюція министерства показываетъ, что не одинъ московскій магистратъ смотрѣлъ на «брачную книгу» Покровской часовни, какъ на officialный документъ, подтверждающій раскольниковы браки, но что этого же взгляда придерживались и разумные люди въ нашемъ высшемъ правительствѣ.

ЦЕНЗУРНЫЙ ПРОЭКТ МАГНИЦКАГО.

(Изъ исторіи цензуры въ Россіи).

I.

Русская литература, — за небольшимъ исключеніемъ книгъ, издаваемыхъ университетами и учеными обществами на ихъ собственной отвѣтственности, — находилась нѣсколько десятковъ лѣтъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ администраціи, и только съ ея дозволенія, выраженного красными чернилами цензора, могла бряцать на лирахъ, философствовать о природѣ и размышлять о предметахъ «общественнаго благоустройства». Это прямое вліяніе и руководство официальныхъ стражей надъ печатнымъ словомъ бывало по временамъ довольно снисходительно къ свободѣ мысли, допуская ее настолько, насколько требовала развитая часть самого общества; но гораздо чаще оно же ложилось тяжкимъ гнетомъ надъ развитіемъ литературы, произвольно стѣсняя, урѣзывая и даже подавляя совсѣмъ тревожную мысль, не умѣвшую подладиться къ существующимъ требованіямъ. Легко понять, какъ безгранично было въ послѣднемъ случаѣ давленіе цензуры и какъ больно отражалось оно въ сознаніи мыслящихъ писателей, искренно убѣжденныхъ и дорожившихъ правильнымъ, неискаженнымъ выраженіемъ своей мысли. Тогда цѣлыя отрасли литературы становились невозможными, такъ какъ въ нихъ самовластно распоряжалось «благочиніе» цензора, навязывая писателю не только казенныя, рутинныя мысли, но и казенный способъ ихъ выраженія. Была ли возможность, напримѣръ, при такихъ условіяхъ, развитъ стройную философскую систему, освѣтить правильнымъ взглядомъ рядъ историческихъ фактовъ, опѣнить всестороннимъ образомъ какое нибудь крупное явленіе современной общественной жизни? Философія и исторія могли существовать только въ жалкомъ видѣ; публицистика становилась почти совсѣмъ невозможною. Конечно, велика изобрѣтательность человѣческаго ума, и за недостаткомъ прямыхъ путей для выраженія мыслей существуютъ еще пути окольные;

но въ этихъ уловкахъ и стремленіяхъ обойти цензурные рифы, тратилось задаромъ много силъ, а результатъ все таки выходилъ неудовлетворительный. Литература мельчала и начинала удаляться отъ серьезныхъ вопросовъ, предпочитая бесѣдовать съ любителями о погодѣ, лунѣ и дѣвѣ; вмѣсто философскаго направленія, въ ней появлялось ребяческое легкомысліе или трусливое двоедушіе; самый языкъ ея становился блѣднымъ, темнымъ, лишеннымъ красокъ, силы и энергіи. Въ серьезныхъ сочиненіяхъ установилась особая, условная азбука, и публика научилась читать не только по строкамъ, но и между строками, понимая нѣкоторыя выраженія въ обратномъ смыслѣ, разумѣя подъ одними предметами другіе. Такъ, напримѣръ, Турція и Австрія (меттерниховскаго закала) постоянно, въ теченіе долгаго времени, отдувались за Россію. Въ публицистическихъ статьяхъ появились уклончивые приемы, состоявшіе въ неясныхъ намекахъ, въ нѣкоторомъ, такъ сказать, киваньи и подмигиваньи читателю; мимоходомъ вставлялись фразы и даже страницы, повидимому, противорѣчившія основной мысли, но которыя понаторѣлый читатель безошибочно объяснялъ «обстоятельствами, отъ редакціи независящими». Упадокъ литературы подъ вліяніемъ строгаго административнаго надзора былъ уже давно замѣчаемъ мыслящими людьми, хотя, по особымъ обстоятельствамъ, замѣчанія эти и не могли, до послѣдняго времени, попадать въ русскую печать.

«Истинные сыны отечества—писалъ въ 1801 г. въ негласной запискѣ одинъ образованный человѣкъ того времени, видѣвшій, что и правительство благопріятствовало свободѣ печати,—ждутъ уничтоженія цензуры, какъ послѣдняго оплота, удерживающаго ходъ просвѣщенія тяжкими оковами и связывающаго истину рабскими узами. Свобода писать въ настоящемъ философскомъ вѣкѣ не можетъ казаться путемъ къ развращенію и вреду государства. Цензура нужна была въ прошедшихъ столѣтіяхъ, нужна была фанатизму невѣжества, покрывавшаго Европу густымъ мракомъ, когда варварскіе законы государственные, догматы невѣжествомъ искаженной вѣры и деспотизмъ самый безчеловѣчный утѣсняли свободу людей, и когда мыслить—было преступленіе... Словесность наша всегда была подъ гнетомъ цензуры. Сто лѣтъ, какъ она составляетъ отдѣлъ въ исторіи ума человѣческаго и его произведеній: мы имѣемъ много хорошихъ поэтовъ, прозаиковъ, видимъ на нашемъ языкѣ сочиненія математическія, физическія и др., но философіи—нѣтъ и слѣда! Можетъ быть, скажутъ, что у насъ есть переводы философскихъ твореній. Это правда, но всѣ наши пе

реводы содержать только отрывки своих подлинников: рука цензора съумѣла убить ихъ духъ... Цензоръ и простой гражданинъ смотрятъ на книги не одинаково. Простой просвѣщенный гражданинъ видитъ въ общихъ философскихъ положеніяхъ истины или заблужденія, одни признаетъ полезными, другія вредными, но вредными болѣе для самого писателя, показывающаго слабость своихъ умственныхъ способностей. Цензоръ же, напротивъ того, въ самыхъ важныхъ и общихъ истинахъ, чуждыхъ всякихъ частныхъ и личностей, видитъ опасность и расположенъ толковать ихъ въ худую сторону, увлекаясь или честолюбіемъ, или своеправіемъ, или боязнью потерять свое мѣсто». Отражая ходячій упрекъ, что свобода печати произвела будто бы французскую революцію, неизвѣстный авторъ высказывалъ слѣдующую, замѣчательно вѣрную мысль: «Если Сена послужила могилою для цѣлыхъ семействъ, бросившихся въ нее отъ голода; если улицы Парижа наполнены были день и ночь грабителями и убійцами; если кредитъ окончательно упалъ и во всемъ былъ страшный недостатокъ, то писатели въ этомъ отнюдь неповинны. Если я спокоенъ и счастливъ, говори мнѣ философъ, что угодно, я не пожертвую своимъ настоящимъ благосостояніемъ для неизвѣстнаго будущаго: такъ думаетъ народъ» ¹⁾. Голосъ анонимнаго автора, такъ горячо вступившагося за свободу печатнаго слова, не былъ одинокимъ въ русскомъ обществѣ: недовольство цензурными порядками, не ограничиваясь негласнымъ ихъ порицаніемъ, прощальзовало, хотя изрѣдка, и въ печатныя книги, сквозь стѣснительныя рогатки, мѣшавшія откровенному обсужденію этого щекотливаго вопроса. Такъ, напримѣръ, Радищевъ говорилъ въ своей извѣстной книгѣ: «Теперь свобода имѣть всякому орудія печатанія; но то, что печатать можно, состоитъ подъ опекою. Цензура сдѣлана нянькою разсудка, остроумія, воображенія, всего великаго и изящнаго. Но гдѣ есть няньки, то слѣдуетъ, что есть ребята, которыя ходятъ на помочахъ, отчего у нихъ бываютъ нерѣдко кривыя ноги. Гдѣ есть опекуны, слѣдуетъ, что есть малолѣтніе, незрѣлые разумы, которые собою править не могутъ. Если же всегда пребудутъ няньки и опекуны, то ребенокъ долженъ ходить на помочахъ, и совершенный на возрастѣ будетъ калѣка». Здѣсь же разсказывается случай, какъ въ управу благочинія (занявавшуюся тогда цензурованіемъ книгъ) принесенъ былъ для пропуска переводъ романа: «переводчикъ, слѣдуя автору, назвалъ

¹⁾ «Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ Россіи въ царствованіи Александра I». М. Сухомлинова, стр. 19—20.

любовь лукавымъ богомъ; мундирный цензоръ, исполненный духа благочестія, почернилъ сіе выраженіе, говоря: неприлично божеству называться лукавымъ». Еще замѣчательнѣе осужденіе цензуры, произнесенное Пнинимъ — уже по выходѣ перваго цензурнаго устава — въ «Журналъ Россійской Словесности» (1805 г.). Статья его имѣетъ форму діалога между сочинителемъ и цензоромъ, и названа авторомъ — вѣроятно, для успокоенія совѣсти лица, пропускавшаго ее — «переводомъ съ манчжурскаго». Сочинитель приноситъ къ цензору рукопись подъ заглавіемъ: «Истина», прося разсмотрѣть и дозволить ее къ печати. Цензоръ поражается прежде всего дерзкимъ заглавіемъ, и, углубившись въ чтеніе тетради, находитъ въ ней подозрительныя мысли въ такомъ родѣ: «не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу» и т. п. Остановившись на нѣкоторыхъ, наиболѣе сомнительныхъ мѣстахъ, цензоръ требуетъ ихъ исключенія, и между нимъ и авторомъ завязывается назидательный споръ. «Вы—говоритъ авторъ своему литературному стражу—отнимая душу у моей «Истины», лишаете всѣхъ ея красотъ, хотите, чтобы я согласился, въ угожденіе вамъ, обезобразить ее, сдѣлавъ ее нелѣпою? Нѣтъ, г. цензоръ, ваше требованіе безчеловѣчно: виновать ли я, что истина моя вамъ не нравится, и вы не понимаете ея?... Познаніе истины ведетъ къ благополучію. Лишать человѣка сего познанія—значитъ, препятствовать ему въ его благополучіи, значитъ, лишать его способовъ сдѣлаться счастливымъ. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо истины между собою составляютъ непрерывную цѣпь. Исключить изъ нихъ одну—значитъ, отнять изъ цѣпи звено и его разрушить. Притомъ же истинно великій мужъ не опасается слушать истину, не требуетъ, чтобы ему слѣпо вѣрили, но желаетъ, чтобы его понимали». При этомъ авторъ отстаиваетъ свое право, какъ совершеннолѣтняго, «отвѣчать самому за свой образъ мыслей и за дѣла свои». «Я уже не дитя—говоритъ онъ — и не имѣю нужды въ дядькѣ». Кроме того, по мнѣнію автора, цензорская подпись не дѣйствительна даже и для того, чтобы успокоить литературнаго дѣтеля насчетъ судьбы его книги. «Ваше засвидѣтельствованіе—замѣчаетъ онъ цензору — можно назвать ничего не значущимъ, ибо опытъ показываетъ, что оно нисколько не обезпечиваетъ ни книги, ни автора». Подъ этимъ опытомъ авторъ діалога, безъ сомнѣнія, подразумѣвалъ несчастную судьбу книги Радищева, пропущенной полцейскою цензурой, а также запрещеніе своего собственного этюдъ: «Опытъ о просвѣщеніи», дозволеннаго гражданскимъ губернаторомъ.

ромъ и остановленнаго въ продажѣ цензурнымъ комитетомъ. Дальнѣйшая исторія русской прессы могла бы представить на этотъ случай много не менѣе сильныхъ примѣровъ... Наконецъ, Пнинъ указываетъ и на принципъ собственности, попираемый произволомъ административнаго лица. «Моя истина—защищается выведенный имъ писатель — стоила мнѣ величайшихъ трудовъ: я не щадила для нея моего здоровья, просиживать дни и ночи—словомъ, книга моя есть моя собственность. А стѣснять собственность никогда не должно, ибо чрезъ сіе нарушается справедливость и порядокъ» ¹⁾. Но на всѣ эти резоны цензоръ отвѣчаетъ холодною фразой: «я не позволяю, и, слѣдовательно, это непозволительно», такъ что автору остается только одно, не слишкомъ большое утѣшеніе, что его «истина пребудетъ неизмѣнно въ его сердцѣ, исполненномъ любви къ человѣчеству, которое не имѣетъ нужды ни въ какихъ свидѣтельствахъ, кромѣ собственной своей совѣсти».

Всѣ приведенные примѣры показываютъ намъ, что подчиненное положеніе русской литературы никогда не принималось ею безропотно и не удовлетворяло вполне дѣйствительному захвату русской мысли; напротивъ того, стѣснительныя рамки, насильственно суживавшія наше литературное развитіе, вызывали по временамъ, насколько это было возможно, рѣзкіе протесты, удачно мотивированные съ различныхъ точекъ зрѣнія. Права разсудка, науки, литературной собственности, необходимость нести каждому юридическую отвѣтственность за себя—все это противопоставлялось произвольной опеке, надававшей цѣпи на интеллектуальную жизнь развитыхъ личностей, лишавшей ихъ свободнаго слова для выраженія насущныхъ потребностей или невольнаго еще сознанныхъ, но вѣрныхъ инстинктовъ цѣлаго общества. Скрытая по необходимости, но упорная борьба съ этой опекой становилась задачей передовыхъ писателей, и хотя много зрѣлыхъ мыслей и обдуманыхъ произведеній погибало цѣликомъ въ неравномъ бою, но, тѣмъ не менѣе, и цензурныя рамки, переполненные до краевъ литературнымъ содержаніемъ, раздвигались до нѣкоторой степени, уступая давленію, ежедневно повторяющихся настоячивыхъ попытокъ. Извѣстно, напримѣръ, что «Мертвыя Души», потерпѣвъ крушеніе въ одной цензурной инстанціи, пробили таки себѣ дорогу въ печать, впрочемъ, съ измѣненіемъ главы о капиталѣ Колѣйкинѣ. Въ послѣдніе годы существованія предварительной цензуры или, правильнѣе сказать, незадолго до введенія новаго закона о печати (такъ какъ предварительная цензура не

¹⁾ «Журн. Россійской Словесности» 1805 г. № 12.

отмѣнена этимъ закономъ окончательно, и продолжаетъ дѣйствовать въ ограниченныхъ размѣрахъ)—въ эти тревожные годы возникновенія разныхъ «вопросовъ», напоръ литературныхъ силъ и, соотвѣтствовавшая ему, невольная уступчивость административнаго контроля чувствовались уже въ такой сильной степени, что понадобилось регулировать иначе самыя отношенія прессы къ администраціи. Словомъ, понадобилось (какъ это и выражено въ законѣ 6-го апрѣля) «облегчить» незавидную участь литературы, то есть дать ей нѣкоторыя права въ обсужденіи общественныхъ вопросовъ, въ пропагандѣ теоретическихъ мнѣній, и затѣмъ перенести отвѣтственность за все напечатанное—съ цензоровъ на авторовъ и редакторовъ періодическихъ изданій.

Этотъ тяжелый путь, пройденный нашею литературою,—тяжелый въ особенности для періодической прессы, какъ такой ея вѣтви, которая соприкасается ближайшимъ образомъ съ общественными интересами, а также и со всѣми случайными колебаніями въ правительственныхъ намѣреніяхъ,—путь, усыпанный далеко не розами и отразившійся на самыхъ свойствахъ нашего печатнаго слова, знакомъ по слухамъ русской публикѣ; но знакомство это едва ли не ограничивается, до сихъ поръ, нѣсколькими анекдотами о цензорахъ, преимущественно сороковыхъ годовъ, которые, страшась повсюду либерализма, вымарывали изъ корректуръ, въ кухонныхъ книгахъ, выраженія въ родѣ «вольнаго духа». Довольно распространены также анекдоты о цензорѣ Красовскомъ, который, въ двадцатыхъ годахъ, творилъ невозбранно чудеса въ русской литературѣ.

Конечно, и эти анекдотическія подробности не лишены своего значенія, показывая до какихъ геркулесовыхъ столбовъ могла доходить придирчивость усерднаго цензора; но, не поставленные въ связь съ дѣйствовавшимъ законодательствомъ и со взглядами высшаго правительства, онѣ получаютъ характеръ отрывочный и невразумительный, тогда какъ, на самомъ дѣлѣ, наиболѣе курьезныя цензурныя запрещенія всегда совпадали или съ буквой закона о печати, или съ настроеніемъ, господствовавшимъ въ правительственныхъ сферахъ. Въ равной мѣрѣ и развитіе литературы, объемъ и сила идей, въ ней выражаемыхъ, находились въ тѣсной зависимости отъ тѣхъ ограниченій, которыя налагались на нее цензурной практикой. Опредѣлить точнѣе эту зависимость, выяснить на фактахъ взаимодѣйствіе между интенсивностью мысли (каково бы ни былъ ея относительное значеніе) и упругостью преградъ, для нея поставленныхъ,—принадлежитъ настоящему времени, когда многіе цензурные документы, обнародованные самимъ правительствомъ

или найденные въ архивахъ частными изыскателями, проливаютъ новый свѣтъ на ту затаенную борьбу литературы съ репрессією, которая то затихала, то поднималась съ новою силою въ предѣлахъ цензурнаго вѣдомства. Изслѣдованіе этого предмета составить, со временемъ, любопытный отдѣлъ въ исторіи русской литературы и, быть можетъ, повѣѣснить изъ нея формулярные списки авторовъ, спитые на бѣлую нитку и пересыпанные эстетическими разглагольствіями о величіи державинскаго стиха и сладости карамзинской прозы... Будемъ ждать; а покуда познакомимъ нашихъ читателей съ однимъ важнымъ моментомъ въ исторіи цензурныхъ постановленій. Но прежде, чѣмъ перейти собственно къ предмету нашей статьи, т. е. къ цензурному прозекту Магницкаго, мы должны объяснить происхожденіе предварительной цензуры и характеръ ея въ началѣ царствованія Александра I-го. Это сопоставленіе начала и конца «цензурнаго періода» представить контрастъ, не лишенный занимательности.

II.

Наше правительство, съ тѣхъ поръ какъ появился на Руси первый печатный станокъ, никогда не отказывало себѣ въ правѣ наблюдать за содержаніемъ выпускаемыхъ книгъ, соображаясь съ собственными видами и намѣреніями. Правильнѣе сказать, печатный станокъ введенъ въ Россію правительствомъ, чтобы прекратить распространеніе въ народѣ рукописей священнаго писанія, искаженныхъ по невѣжеству или небрежности переписчиковъ. Такимъ образомъ, первыя печатныя книги входили у насъ въ обращеніе по приказанію царя Іоанна IV, а само общество не только не пользовалось типографскимъ искусствомъ, но даже смотрѣло на него, какъ на орудіе нечистой силы. Преслѣдованіе и истребленіе книгъ по ихъ напечатанію началось гораздо позже, а именно со времени богословскихъ распрей между кіевскимъ и московскимъ духовенствомъ; при этомъ сочиненія кіевскихъ ученыхъ, зараженныхъ латинскою ересью, предавались сожженію. О преслѣдованіи свѣтской литературы не могло быть и рѣчи. Чисто свѣтская литература началась у насъ при Петрѣ I-мъ, и опять таки по инициативѣ самого государя, которому приходилось еще развивать въ нашемъ грамотномъ людѣ охоту къ чтенію подобныхъ книгъ. Наиболѣе развитые люди этого царствованія, способные къ литературной работѣ, раздѣляли вполне стремленія преобразователя и, при такой полной солидарности правительства съ мыслящею частью общества, для репрессивныхъ мѣръ не представ-

лялось никакого достаточного повода. Разногласіе это встрѣчается только во второй половинѣ екатерининскаго правленія, когда въ русскомъ обществѣ появилась уже нѣкоторая самодѣятельность мысли, не всегда отвѣчавшая, по своему характеру, желаніямъ правительства. Сначала Новиковъ, а потомъ Радищевъ возбуждаютъ противъ себя гоненія властей, заподозрившихъ въ ихъ литературныхъ трудахъ сокровенную и притомъ враждебную для правительства политическую цѣль. Новиковъ и всѣ масоны подозрѣвались въ тайныхъ связяхъ съ наслѣдникомъ престола; книга же Радищева была принята Екатериною, какъ сигналъ для какого-то, впрочемъ несостоявшагося, политическаго бунта въ духѣ французской революціи. На этотъ разъ печатный станокъ былъ признанъ средствомъ, столько же удобнымъ для поддержки правительственныхъ плановъ, какъ и для противодѣйствія имъ. Отсюда начинается стремленіе правительства замѣнить ненадежный полицейскій контроль надъ напечатанными уже книгами—системой предварительнаго просмотра и одобренія рукописей, предназначенныхъ къ напечатанію. Такъ, напр., въ 1802 г.,—т. е. въ то время, когда дѣйствовалъ указъ о «свидѣтельствovanіи печатныхъ книгъ», а уставъ предварительной цензуры не былъ еще составленъ,—на дѣлѣ уже господствовалъ обычай представлять рукописи для предварительнаго просмотра, и нѣкто Августъ Видманъ жаловался министру на запрещеніе петербургской цензурой представленнаго такимъ порядкомъ сочиненія. Это первое запрещеніе предварительно-просмотрѣнной книги было мотивировано тѣмъ, что «ему (т. е. Видману) не слѣдуетъ писать о таковыхъ матеріяхъ и что сіе принадлежитъ однимъ знатымъ особамъ». (Истор. свѣд. о ценз. стр. 12). Также точно въ 1803 г. Новосильцевъ препровождалъ къ гр. Завадовскому (первому министру народнаго просвѣщенія) сообщенную ему рукопись подъ названіемъ «Траянъ и Александръ», прося—«приказать разсмотрѣть оную цензурѣ для одобренія къ напечатанію». Повидимому, авторы и издатели, напуганные прежними арестами и конфискаціями отпечатанныхъ книгъ, сами предпочли—искать предварительнаго одобренія, чтобы сколько нибудь застраховать себя отъ бѣды. «Обстоятельство это—справедливо замѣчаетъ авторъ исторической записки о цензурѣ въ Россіи, изданной въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ въ 1862 г.—не покажется удивительнымъ, если сообразить, что лишь при извѣстной силѣ общественнаго мнѣнія и при извѣстныхъ условіяхъ юридическаго развитія государства, такъ называемая карательная система цензуры представляетъ для писателя достаточныя гарантіи; послѣдствіи,

къ которымъ приводитъ предварительное цензурованіе, мудрено было въ то время предвидѣть, и многимъ, если не всѣмъ, безопаснѣе должно было казаться: знать напередъ мнѣніе правительства о своемъ сочиненіи, нежели рисковать, что оно будетъ конфисковано, а самъ авторъ подвергнется преслѣдованію». Наконецъ, въ 1804 г., вышелъ первый уставъ предварительной цензуры. Обстоятельства, при которыхъ возникъ онъ, были весьма благопріятны для развитія литературы. Молодой императоръ, окруженный либеральными совѣтниками, состоявшими, вчетверомъ, такъ называемый *comité du salut public*, готовъ былъ на всевозможныя уступки въ пользу свободы мысли и слова. Когда вопросъ о печати былъ поставленъ на очередь для обсужденія, то одинъ изъ членовъ этого интимнаго комитета Н. Н. Новосильцевъ, попечитель петербургскаго учебнаго округа, предложилъ ввести у насъ датскій уставъ о свободномъ книгопечатаніи, и главное правленіе училищъ сильно склонялось на сторону этого проекта. Датскій уставъ, который, при нѣкоторыхъ перемѣнахъ, казался Новосильцеву достаточной гарантіей для свободы слова, равно какъ достаточной охраной противъ злоупотребленій ею, былъ изданъ королемъ Христіаномъ VII (1766 — 1808) подъ вліяніемъ графа Струэнзе, извѣстнаго поклонника либеральныхъ идей, и сопровождался манифестомъ слѣдующаго содержанія: «Находя въ высшей степени вреднымъ для безпристрастнаго изслѣдованія истины и открытія закоренѣлыхъ предразсудковъ и заблужденій—запрещеніе гражданамъ, одушевленнымъ любовью къ отечеству и общему благу, свободно высказывать свои убѣжденія и обличать злоупотребленія и предразсудки, мы рѣшились дать неограниченную свободу книгопечатанію и окончательно уничтожить всякаго рода цензуру». Это рѣшеніе датскаго короля привело, въ свое время, въ восторгъ всѣхъ европейскихъ писателей, и Вольтеръ откликнулся на него хвалебнымъ посланіемъ, въ которомъ краснорѣчиво доказывалъ, что печать никогда не приносила вреда для общества и что если въ народѣ составлялись заговоры и разыгрывались мятежи, то не вслѣдствіе появленія той или другой книги, а вслѣдствіе иныхъ, болѣе существенныхъ политическихъ причинъ. Но съ паденіемъ Струэнзе, поднявшаго противъ себя своими энергическими мѣрами множество тайныхъ и явныхъ враговъ, измѣнилось и либеральное настроеніе датскаго правительства. Различныя новыя постановленія были направлены къ тому, чтобы ограничить свободу слова и дать правительству болѣе средствъ бороться съ оппозиціонной печатью. Признавалось нужнымъ выдѣлить и опредѣлить особый разрядъ

преступлений по дѣламъ печати, приче́мъ внима́ніе суда должно было обращаться не только на фактическую часть книги, но также на ея духъ и направленіе. Причины такой строгости объясняются въ манифестѣ короля отъ 1799 г. Отсюда узнаемъ мы, что «книгопечатаніе сдѣлалось, къ несчастію, орудіемъ страстей самыхъ низкихъ и произвело слѣдствія самыя пагубныя какъ для общественнаго спокойствія, такъ и для безопасности частной», что нѣкоторые «злоумышленные люди съ соблазнительною и достойною кары дерзостью ежедневно нападаютъ на все, что во всякомъ благоустроенномъ государствѣ должно быть драгоцѣнно и священно для цѣлаго общества (?), не перестаютъ распространять самыя ложныя понятія о вещахъ и стараются разсѣвать неправильныя мнѣнія о предметахъ самыхъ важныхъ для человѣка и гражданина, чрезъ что малосвѣдущая и невольнѣ образованная часть народа, особенно же неопытное юношество, можетъ удобно развращаться и впадать въ заблужденіе». «Нѣтъ сомнѣнія—говорилось далѣе—что развратъ сей можно было бы всего надежнѣе предупредить, подвергнувъ разсмотрѣнію правительства всѣ книги, назначаемыя къ печати. Но какъ этому сопутствуетъ принужденіе, непріятное всякому благомыслящему и просвѣщенному человѣку, желающему быть полезнымъ чрезъ сообщеніе другимъ своихъ свѣдѣній, то мы и не желаемъ употребить подобное средство. Вмѣсто же сего вознамѣрились мы опредѣлить и утвердить положительнымъ закономъ, сколько возможно, предѣлы свободнаго книгопечатанія, назначить также и соразмѣрное наказаніе для тѣхъ, которые дерзнутъ преступать наши отеческія и благонамѣренныя повелѣнія». Законъ, возникшій по такимъ соображеніямъ, отличался далеко не отеческой строгостью и особенно преслѣдовалъ анонимныя сочиненія, признавая ихъ «вопіющимъ зломъ, безнравственнымъ орудіемъ для оскорбленія священнѣйшихъ правъ гражданина». Вслѣдствіе этого, на каждой печатной книгѣ требовалось выставленіе именъ: автора, издателя и типографщика. Въ числѣ самостоятельныхъ преступлений печати, кромѣ клеветы, ложныхъ извѣстій, оскорбительныхъ или неприличныхъ выраженій, поименовывались и такія, въ преслѣдованіи которыхъ судья уже явнымъ образомъ переставалъ быть судьей и становился послушнымъ орудіемъ въ рукахъ административной власти: до такой степени произвольно и субъективно было здѣсь опредѣленіе «преступности» печатнаго слова. Сюда относятся: «насмѣшки надъ государственными учрежденіями, возбужденіе ненависти противъ своего правительства, презрительныя отзывы о дружественныхъ державахъ, не

выгодные слухи о королѣ» и пр. Между тѣмъ, за каждое изъ такихъ неясныхъ, но тягучихъ преступленій виновные авторы подвергались весьма чувствительнымъ наказаніямъ, начиная отъ срочнаго тюремнаго заключенія и кончая вѣчной каторжной работой въ цѣпяхъ. Авторъ же книги, «заключаящей въ себѣ со- вѣты и внушенія произвести перемѣну въ правленіи, установлен- номъ государственными законами, и сдѣлать возмущеніе противъ короля, повиненъ былъ смертной казни». Представляя въ главное правленіе училищъ переводъ датскаго манифеста, Новосильцевъ считалъ невозможнымъ переносить его цѣликомъ на нашу почву и предложилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, свои видоизмѣненія — съ цѣлью смягчить суровость датскихъ постановленій и сдѣлать удобнымъ примѣненіе ихъ къ Россіи. Вотъ пункты, предложенные имъ:

1) Требованіе датскаго правительства—печатать имя каждого автора и переводчика—особенно тягостно для молодыхъ литераторовъ, впервые выступающихъ на поприще словесности и изъ скромности скрывающихъ свои имена. Можно бы предоставить свободу печатать книги и безъ означенія имени автора или переводчика. Для отвращенія же злоупотребленій не бесполезно средство, отчасти принимаемое датскимъ законодательствомъ, хотя и по другому поводу. Если кто либо изъ сочинителей или переводчиковъ пожелаетъ, чтобы имя его не было поставлено на издаваемой книгѣ, въ такомъ случаѣ двое или трое изъ гражданъ, имѣющихъ гдѣ либо постоянное пребываніе, должны дать типограф- щикъ письменное обязательство въ томъ, что въ случаѣ надобности они объявятъ имя автора.

2) Взысканія за нарушеніе цензурныхъ правилъ, принятыя въ Даніи и не соотвѣтствующія русскимъ законамъ и обычаямъ, должны быть замѣнены другими, сообразными съ русскимъ законодатель- ствомъ.

3) Датскимъ постановленіемъ требуется, чтобы одинъ экзем- пларъ каждого періодическаго изданія, журнала, газеты и каж- дой книги, до выпуска въ свѣтъ, былъ представляемъ копен- гагенскому полицмейстеру. Если полицмейстеръ найдетъ въ книгѣ что либо предосудительное или неблагопристойное, то не- медленно долженъ запретить ея продажу, опечатать всѣ экзе- мпляры и препроводить задержанную книгу въ королевскую кан- целярію. Въ Россіи право конфискаціи подозрительныхъ книгъ удобнѣе предоставить не полиціи, а университетамъ и академіямъ, съ тѣмъ чтобы они, увѣдомивъ мѣстное начальство, представляли мнѣнія свои, вмѣстѣ съ экземпляромъ книги, въ главное правле- ніе училищъ.

4) Обвиняемый въ сочиненіи или изданіи предосудительной книги обыкновеннымъ ли порядкомъ долженъ быть судимъ, или же нужно учредить особый родъ суда и разбирательства? Если дѣла печати предоставить обыкновеннымъ судамъ, въ которыхъ часто засѣдаютъ чиновники, не имѣющіе научныхъ познаній, то могутъ произойти пагубныя для подсудимыхъ писателей слѣдствія, для отвращенія которыхъ слѣдовало бы учредить особый родъ суда. Главное правленіе училищъ составить списокъ государственныхъ чиновниковъ, имѣющихъ требуемыя свѣдѣнія и пользующихся уваженіемъ въ обществѣ. Въ случаѣ обвиненія въ изданіи вредной книги, правленіе назначить изъ помѣщенныхъ въ списокъ лицъ опредѣленное число (четыре, шесть или восемь) посредниковъ, живущихъ въ томъ городѣ, гдѣ находится обвиняемый. Для скорѣйшаго теченія дѣлъ и для избѣжанія переписки можно предоставить и университетамъ право назначить посредниковъ изъ лицъ, внесенныхъ въ списокъ въ главномъ правленіи. Если обвиняемый будетъ оправданъ посредниками, то онъ освободится отъ всякаго суда, а книга его отъ запрещенія и конфискаціи; обвинитель же подвергается взысканію на основаніи законовъ.

5) Постановленіе о свободномъ книгопечатаніи не должно касаться цензуры книгъ духовныхъ, наблюденіе за которыми вполнѣ предоставлено св. синоду.

Нельзя не замѣтить, съ перваго разу, того доброжелательства и уваженія къ печатному слову, которое выражается въ предложенныхъ Новосильцевымъ переимѣнахъ. Личность писателя и судьба его мнѣніи гарантируются особымъ судомъ, составленнымъ изъ лицъ по выбору главнаго правленія училищъ (которое, въ то время, было расположено покровительствовать литературѣ); право конфискаціи подозрительныхъ книгъ переходитъ отъ полиціи къ университетамъ; наконецъ, и самъ обвинитель приглашается быть осмотрительнѣе, такъ какъ, въ случаѣ несправедливаго обвиненія, онъ отвѣчаетъ передъ судомъ. Но проекту Новосильцева не суждено было перейти въ практику, хотя соображенія, выставленныя противъ него, показываютъ, что и противоположное мнѣніе руководствовалось отнюдь не враждебнымъ чувствомъ къ литературѣ. Озерецковскій и Фустъ—также члены главнаго правленія училищъ,—которымъ предоставлено было окончательное рѣшеніе вопроса: какой цензурный порядокъ болѣе соотвѣтствуетъ нашей странѣ, нашли, что учрежденіе предварительной цензуры будетъ цѣлесообразнѣе, во-первыхъ, потому что «предохранитъ совершенно общество отъ злоупотребленія свободой слова», а, в

вторыхъ, потому, что «предохранить самую литературу отъ давленія пристрастныхъ и некомпетентныхъ судовъ». На 4-й пунктъ Новосильцевскихъ предложеній Озерецковскій и Фусъ возражаютъ такимъ образомъ: «великое неудобство было бы предавать авторовъ обыкновенному суду; но чрезвычайно затруднитель также и выборъ посредниковъ, вполне способныхъ оцѣнить степень виновности писателя, проникнутыхъ истинно либеральными мыслями и чуждыхъ пристрастия и всякаго рода предразсудковъ. Какъ бы ни разграничивали преступленія и постепенность наказаній,—тонкость и неуловимость отгѣнковъ въ нарушеніи закона, различіе въ воззрѣніи и требовательности судей, способъ толкованія намековъ и мѣстъ, имѣющихъ двоякій смыслъ и т. п., дѣлаютъ въ высшей степени затруднительнымъ приговоръ надъ книгами и авторами». Съ другой стороны, Озерецковскій и Фусъ не скрывали неудобствъ и стѣсненій предварительной цензуры: «сочиненіе — говорили они—исполненное полезнѣйшихъ истинъ, но поражающихъ своею новизною и смѣлостью, можетъ подвергнуться запрещенію мнительнаго и робкаго цензора». Но, чтобы оградить литературу отъ такой робости официальныхъ ея стражей, они считали достаточнымъ составить «подробныя наставленія цензорамъ въ духѣ терпимости и любви къ просвѣщенію».—Эти возраженія, сдѣланныя составителями перваго цензурнаго устава противъ свободной печати, не могутъ быть объясняемы какимъ либо скрытымъ нерасположеніемъ къ литературѣ: напротивъ, Фусъ, въ самыя горькія времена цензурнаго террора, былъ единственнымъ, хотя и не особенно энергическимъ защитникомъ русской печати. Вѣрнѣе думать, что оба члена главнаго правленія училищъ желили пользы литературѣ и въ самомъ дѣлѣ смущались и отступали передъ мыслью—подвергать авторовъ уголовной отвѣтственности по нашимъ строгимъ законамъ. Ихъ замѣчаніе о невозможности учредить правильный судъ надъ литературою совершенно справедливо въ томъ отношеніи, что духъ, т. е. направленіе книги—преслѣдованіе котораго не устранялось прозектомъ Новосильцева—дѣйствительно не подлежитъ судебной юрисдикціи, и тутъ всегда пойдутъ въ ходъ чисто личныя, произвольныя мнѣнія судей. Направленіе сочиненія есть то же, что фizioномія у человѣка; возможно ли судить кого нибудь за фizioномію? Другое дѣло—тѣ простыя, матеріальныя факты (какъ, напр., клевета, вредящая лично человѣку, призывъ къ употребленію физической силы и т. п.), которые легко поддаются судебному опредѣленію и не требуютъ для себя особаго уголовного кодекса. Но нетрудно

доказать, что такимъ простымъ дѣломъ не захотѣлъ бы ограничиваться нашъ прежній судъ, если ужъ имъ не ограничивается и нынѣшній. Способъ толкованія намековъ и мѣсть, имѣющихъ двоякій смыслъ,—тотъ способъ, котораго въ особенности боялись Озерецковскій и Фусъ, — могъ бы повредить немало только что становившейся на ноги литературѣ. Къ чести перваго цензурнаго устава слѣдуетъ замѣтить, что это выискиваніе преступнаго смысла было строго осуждено имъ. «Цензура — гласилъ 21-й параграфъ этого устава—въ запрещеніи печатанія и пропуска книгъ и сочиненій (периодическихъ) руководствуется благоразумнымъ снисхожденіемъ, удаляясь всякаго пристрастнаго толкованія сочиненій или мѣсть въ оныхъ, которыя по какимъ либо мнимымъ причинамъ кажутся подлежащими запрещенію. Когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двоякій смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать». Либеральное направленіе составителей устава всего яснѣе видно изъ ихъ доклада объ учрежденіи цензуры. «Разумная свобода книгопечатанія — читаемъ мы въ прозѣтѣ доклада, написанномъ рукою самого Фуса—обѣщаетъ слѣдствія благія и прочныя; злоупотребленіе же ея приноситъ вредъ только случайный и скоропреходящій. Поэтому нельзя не сожалѣть, что правительства, самыя либеральныя по своимъ принципамъ, находятся иногда въ необходимости ограничивать свободу слова, побуждаясь къ тому примѣромъ, стеченіемъ обстоятельствъ, неотразимымъ вліяніемъ духа времени. Сожалѣніе усиливается при мысли, что такое ограниченіе трудно удержать въ надлежащихъ предѣлахъ, и что оно, будучи доведено до крайности, становится положительно вреднымъ. Неоспоримо, что строгость цензуры всегда влечетъ за собой пагубныя послѣдствія: истребляетъ искренность, подавляетъ умы и, погашая священный огонь любви къ истинѣ, задерживаетъ развитіе просвѣщенія. Неоспоримо и то, что свобода мыслить и писать есть одно изъ сильнѣйшихъ средствъ къ возвышенію народнаго духа, и что даже свободное высказываніе ложной мысли ведетъ только къ большому торжеству истины: едва заблужденіе отважится заговорить во всеуслышаніе, множество умовъ готово будетъ вступить съ нимъ въ гибельную для него борьбу. Наконецъ, нѣтъ сомнѣнія, что истиннаго успѣха въ просвѣщеніи, прямого и прочнаго стремленія къ достижимому для человѣчества совершенству можно ожидать только тамъ, гдѣ безпрепятственное употреб-

леніе всѣхъ душевныхъ силъ даетъ свободу умамъ, гдѣ дозволяется открыто разсуждать о важнѣйшихъ интересахъ человѣчества, объ истинахъ, наиболѣе дорогихъ для человѣка и гражданина». Такимъ образомъ, предварительная цензура допускалась съ сожалѣніемъ, какъ необходимое зло, размѣры котораго должны быть, по возможности, ограничены ¹⁾. Цензурный уставъ, нтекшій изъ такихъ прецедентовъ, естественно отразилъ на себѣ благопріятное для литературы настроеніе правительства. «Скромное и благоразумное изслѣдованіе всякой истины, относящейся до вѣры, человѣчества,—сказано въ уставѣ—не только не подлежитъ и самой умѣренной строгости цензуры, но пользуется совершенной свободой печати, возвышающей успѣхи просвѣщенія». Для боязливыхъ цензоровъ существовало вышеприведенное правило о толкованіи сомнительныхъ мѣстъ. Словомъ, въ уставѣ нѣтъ никакого желанія поймать и сократить всякій порывъ свободной мысли, и, руководясь имъ добросовѣстно, можно было отчасти замѣнить для литературы полную свободу книгопечатанія. На первыхъ порахъ дѣло поведено было, дѣйствительно, на широкихъ основаніяхъ, и русскіе журналы, расплодившіеся во множествѣ, получили право и возможность касаться такихъ предметовъ, о которыхъ они никогда не говорили прежде. Толки объ освобожденіи крестьянъ, о гласномъ судѣ, о конституціи, наконецъ, даже о вредѣ предварительной цензуры, которая, не смотря на свою снисходительность, не удовлетворяла нѣкоторыхъ писателей—все это стало появляться на страницахъ нашихъ періодическихъ изданій, возбуждая участіе и вызывая различныя мнѣнія въ публикѣ. Между заявленіями тогдашнихъ «неумѣренныхъ» прогрессистовъ слышались сдерживающіе голоса умѣренной партіи; раздавалось по временамъ и злобное, но покуда безвредное шипѣніе враговъ просвѣщенія и политическаго развитія. Всѣ оттѣнки общественныхъ направленій были добросовѣстно представлены прессою, съ преобладаніемъ, конечно, либеральнаго элемента, и правительству не предстояло особеннаго труда соразмѣрять свои дѣйствія съ требованіями той или другой стороны, не подавляя самаго выраженія этихъ требованій и мнѣній. Но, къ сожалѣнію, принципъ непосредственной опеки надъ народной жизнью и канцелярскаго управленія ею такъ проникъ въ сердце нашей администраціи, что она, видя быстрое развитіе общественной самодѣятельности, отнеслась къ нему не съ сочувствіемъ, какъ бы слѣдовало, но сначала съ недовѣріемъ, а потомъ и съ

¹⁾ «Матер. для истор. просвѣщ.», стр. 13—71.

явнымъ неудовольствіемъ. Сообразно съ этимъ измѣнялось и направление въ цензурѣ; надъ нею начало сбываться предсказаніе Фуса, что ограниченіе, наложенное на литературу, «трудно удержать въ надлежащихъ предѣлахъ». Административная машина такъ устроена, что малѣйшее давленіе сверху сейчасъ же отражается внизу іерархической лѣстницы: какъ бы ни былъ либераленъ и просвѣщенъ отдѣльный цензоръ, онъ не можетъ устоять противъ этого давленія, и, дорожа своимъ мѣстомъ, охотно или неохотно подчиняется общему лозунгу. Покуда государь сочувствовалъ свободѣ мысли, бюрократическая опека дѣлала ей значительныя уступки; но вотъ рѣзкая перемѣна произошла въ самомъ Александрѣ, и онъ отвернулся, съ какою-то грустью и неудовлетвореннымъ чувствомъ, отъ своихъ прежнихъ идеаловъ и задушевныхъ мечтаній, сохраняя, однако, въ душѣ ихъ слабыя слѣды. «Привязанность—по наблюденію Шишкова—или какъ бы нѣкая страсть его къ прежнимъ своимъ дѣяніямъ и образу мыслей, не взирая на силу опытовъ и убѣжденій, не могли въ немъ истребиться, такъ что, казалось, онъ, самъ съ собою борясь, увлекался попеременно то тѣми, то другими мыслями» ¹⁾. Здѣсь коренится та двойственность въ политикѣ, которая отмѣчаетъ собой вторую половину царствованія Александра. Эта же двойственность отразилась и въ положеніи русской литературы.

III.

При измѣнившихся политическихъ обстоятельствахъ, цензурный уставъ 1804 года пересталъ удовлетворять требованіямъ правительства, и явилась мысль — основать наблюденіе за литературою на новыхъ реакціонныхъ началахъ, которыя уже врывались широкой струей въ нашу внутреннюю жизнь. Съ этою цѣлью, въ средѣ главнаго правленія училищъ, образовался особый комитетъ, который, начавъ свои дѣйствія въ іюнѣ 1820 г., выработалъ проектъ устава, въ окончательной редакціи, въ маѣ 1823 г. Въ составленіи новаго устава принялъ дѣятельное участіе знаменитый Магницкій, и одно это имя, столь памятное въ лѣтописяхъ русскаго просвѣщенія, уже достаточно ручается за угрожающій смыслъ цѣлаго законодательнаго акта. Дѣло началось съ того, что Магницкій изложилъ предварительно, въ особой запискѣ, свое мнѣніе о цензурѣ вообще и о началахъ, на которыхъ она должна быть устроена въ Россіи, а затѣмъ, принявъ въ с

¹⁾ Записки А. С. Шишкова, стр. 111.

ображеніе кое-какія (весьма немногія) замѣчанія своихъ сочленовъ, представилъ проектъ новаго устава и секретной инструкціи цензурному комитету. Какъ самый уставъ, такъ, въ особенности, инструкция—предназначались специально для того, чтобы противо-дѣйствовать духу времени, предупреждать «всѣ его уловки и извороты», насколько обнаружатся они въ отдѣльныхъ книгахъ и въ журнальныхъ статьяхъ. Пояснительная записка, предшествовавшая, какъ мы сказали, самому уставу, состояла изъ четырехъ раздѣловъ. Вотъ какимъ путемъ приходилъ Магницкій къ сознанию необходимости усилить у насъ строгость цензуры.

Въ первомъ раздѣлѣ записки мы находимъ краткое обозрѣніе происхожденія и устройства цензурныхъ установленій въ Европѣ. Здѣсь авторъ, коснувшись вкратцѣ положенія древнихъ римскихъ цензоровъ, обязанныхъ наказывать «преступленія, гражданскимъ правосудіемъ недосягаемыя», говорить, что въ христіанскомъ обществѣ учрежденіе это оказалось сначала совершенно излишнимъ, что и доказывается исторіей первыхъ вѣковъ христіанства. «Но—продолжаетъ онъ — когда вѣра ослабла, когда наконецъ сдѣлалась она въ массѣ европейскихъ народовъ, въ лицахъ и сословіяхъ, ими управляющихъ, нѣкоторымъ только званіемъ, тогда старались замѣнить и ее, и цензоровъ римскихъ (!!) такъ называемой честью и даже обществомъ, исключительно сію честь ограждавшимъ (рыцари). Но и отъ него вскорѣ остались только нѣкоторыя права и наименованія, т. е. дворянство и ордены кавалерскіе». Не стоить опровергать это невѣжественное мнѣніе: всѣ привыкли думать, что эпоха рыцарства, — монашескихъ орденовъ и крестовыхъ походовъ, — была временемъ наивысшаго развитія религіозныхъ инстинктовъ, а по словамъ Магницкаго выходило, что въ это-то именно время, когда люди жертвовали и своей жизнью, и своимъ достояніемъ, во имя отвлеченныхъ христіанскихъ идеаловъ,—религія «ослабла», и ее пришлось поддерживать искусственными мѣрами. «Между тѣмъ—нашептывалъ дальше лукавый ренегатъ—люди, управлявшіе народами, увидѣли, что развратъ сердца и мысли, не насыщаясь собственными порочными удовольствіями, находитъ наслажденіе въ распространеніи своего круга и въ заразѣ не только современниковъ, но и будущихъ поколѣній (а признано всѣми, и тѣми даже, кои отвергали ученіе евангельское, что государства на одной только нравственности могутъ стоять надежно); то и старались изъ развалинъ Рима воскресить цензоровъ, переодѣвъ ихъ прилично новѣйшему образу правленій. Установлены цензоры для удержанія вредныхъ вѣтрѣ, законной власти и нравственности

книгъ». Такимъ образомъ возникла цензура, въ до-революціонный періодъ, во всѣхъ европейскихъ государствахъ. Исключеніе составляли только немногія государства, о которыхъ Магницкій произносилъ самый нелестный приговоръ. Въ Швейцаріи, напри-мѣръ,—конечно, не безъ участія бѣсовской силы, которою объ-яснялись въ системѣ нашихъ изувѣровъ міровыя событія—«всѣ безбожныя книги, запрещенныя во Франціи, могли невозбранно появляться, благодаря свободѣ книгопечатанія»; въ Даніи же предварительная цензура отмѣнена извѣстнымъ министромъ Стру-энзе, «самовластно управлявшимъ молодымъ государемъ». (Нельзя же было не кольнуть, при сей вѣрной okazji, либеральнаго ми-нистра, тѣмъ болѣе, что гнусный намекъ этотъ могъ относиться и къ нѣкоторымъ русскимъ дѣятелямъ въ началѣ царствованія Александра). Тѣмъ не менѣе—присовокупляетъ Магницкій, желая ослабить значеніе приводимыхъ фактовъ—«въ Даніи и въ Англіи свобода книгопечатанія гораздо строже цензуры, ибо подвергаетъ сочинителя уголовному суду, и когда, напримѣръ, кто напеча-таетъ что либо оскорбительное противъ короля, его судятъ въ оскорбленіи величества и, слѣдовательно, подвергаютъ смерти». Во второмъ раздѣлѣ записки авторъ переходитъ къ Россіи и, раз-сказавъ вкратцѣ исторію цензуры съ 1783 г., говоритъ въ заклю-ченіе, что правительство наше сочло нужнымъ, «сообразуясь съ опаснымъ движеніемъ умовъ въ Европѣ, обозрѣть предметъ цен-зуры во всей его обширности и сдѣлать для него установленія, сообразнѣйшія прежнихъ съ обстоятельствами и временемъ». Тре-тій отдѣлъ посвященъ разсмотрѣнію того переворота въ образѣ мыслей, который произошелъ въ Европѣ за послѣдніе годы и от-разился у насъ, по увѣренію Магницкаго. Здѣсь встрѣчаются пространныя разсужденія въ такомъ родѣ: «тотъ духъ, который скрывался у Вольтера и Руссо подъ скромнымъ плащомъ филан-тропіи, у Робеспьера подъ шапкою свободы, у Бонапарта подъ трехцвѣтнымъ перомъ консула и, наконецъ, подъ короною импе-ратора, — есть тотъ самый духъ, который нынѣ, съ трактатами философіи и хартіями конституцій въ рукѣ, поставилъ престолъ свой на Западѣ и хочетъ быть равенъ Богу». Наконецъ, въ чет-вертомъ и послѣднемъ отдѣлѣ раскрываются главныя начала, на которыхъ должна быть учреждена цензура въ Россіи. Эти начала суть слѣдующія: 1) Всякое сочиненіе, въ которомъ прямо или косвенно отвергается, ослабляется или представляется сомнитель-нымъ ученіе откровенія, отвергать и запрещать безъ пощады 2) Всякое сочиненіе, не только возмутительное противъ властей предержащихъ, но и ослабляющее, въ какомъ либо отно-

шеніи, должное къ нимъ почтеніе, запрещать. 3) Всякое сочиненіе, заключающее въ себѣ какой-либо духъ сектаторства или смѣшивающее чистое ученіе вѣры евангельской съ древними подложными ученіями, либо съ такъ называемой магіей, кабалистикой и масонствомъ—запрещать. 4) Запрещать равнымъ образомъ всѣ тѣ сочиненія, въ коихъ своевольство разума человѣческаго усиливается разъяснить и доказать философски недоступныя для него таинства вѣры. 5) Запрещать все противное добрымъ нравамъ, благопристойности и свѣтскимъ приличіямъ, чести народной и личной». Съ особенной строгостью относился Магницкій къ медицинѣ и вообще къ естественнымъ наукамъ, и въ этомъ случаѣ предупредить во многомъ нашихъ современныхъ противниковъ реализма. «Въ настоящее время—писалъ онъ—когда науки математическія и даже географія несутъ часто на себѣ отпечатокъ невѣрія, могутъ ли не подлежать строжайшему надзору творенія медицинскія, въ коихъ разсужденія о дѣйствіяхъ души на органы тѣлесныя и о возбужденіи въ тѣлѣ различныхъ страстей подають обильные способы къ утвержденію матеріализма самымъ косвеннымъ и тонкимъ образомъ». Въ томъ же отдѣлѣ предполагается разграничить, ясно и положительно, «часто смѣшиваемую цензуру министерства просвѣщенія и министерства полиціи». Дѣйствіе первой цензуры—по мнѣнію автора записки—есть нравственное и ученое, дѣйствіе второй—только вспомогательное и внѣшнее, а потому министерство полиціи и должно ограничиться: 1) надзоромъ за тѣмъ, чтобы книги не печатались и не продавались безъ разрѣшенія цензуры, и 2) просмотромъ афишъ и другаго рода публичныхъ объявленій. Эти руководящія начала, изложенныя Магницкимъ въ его запискѣ, вызвали нѣсколько замѣчаній со стороны членовъ ученаго комитета. Одинъ изъ нихъ (академикъ Фусъ) вступился за математику, обвиненную въ духѣ невѣрія, и счелъ нужнымъ—вѣроятно, для избавленія себя отъ какихъ нибудь заглазныхъ нареканій—засвидѣтельствовать тутъ же, что онъ, «занимаясь болѣе пятидесяти лѣтъ математикою, перечиталъ нѣсколько тысячъ математическихъ книгъ, но вѣра его осталась непоколебимою». Но другой членъ, гр. Лаваль, до того вошелъ во вкусъ инквизиціонныхъ подозрѣній, что предложилъ внести въ уставъ особый параграфъ, запрещающій «всякія колкія осужденія правительствъ и государей, находящихся съ нашимъ дворомъ въ дружествѣ, союзѣ или родствѣ» и, кромѣ того, посоветовалъ запретить во всѣхъ журналахъ, за исключеніемъ двухъ или трехъ, печатаніе и оцѣнку политическихъ событій. Вскорѣ послѣ того, Магницкій, поощренный сочувствіемъ большинства своихъ сослуживцевъ, представилъ самый проектъ устава

и секретную инструкцію для руководства цензурнымъ комитетамъ. Необходимость подобной инструкціи объяснялась, по его словамъ, тѣмъ, что «невозможно выразить краткими положеніями и слогомъ закона всѣ подробности, для руководства цензурнаго комитета нужны», а между тѣмъ цензорамъ полезно знать «начала, послужившія основаніемъ новому уставу о цензурѣ». Это назначеніе—обнаруживать сокровенныя мысли и намѣренія законодателей—инструкція исполняетъ превосходно: въ ней дѣйствительно отражается, какъ въ фокусѣ, тотъ начальный моментъ нашей государственной жизни, когда не одна какая нибудь наука, не та или другая личность, а вообще человѣческій интеллектъ, съ его естественнымъ стремленіемъ къ познанію—въ наукѣ—и къ усовершенствованіямъ—въ общественной жизни—былъ заподозрѣнъ въ попыткѣ ниспровергнуть до корня всякій гражданскій порядокъ. «Съ седьмого на десять вѣка—гласитъ инструкція—духъ времени явно возсталъ въ Европѣ на Бога ученіями матеріализма, потомъ адскими поруганіями надъ св. библіею и, наконецъ, отверженіемъ искупителя и личнымъ (?) на него остервененіемъ. Тогда явились первыя разрушительныя начала теорій права естественнаго. (Это право, дававшее возможность выводить политическія формы изъ нормальныхъ условій человѣческаго общежитія, помимо всѣхъ метафизическихъ построеній, вызывало противъ себя всю злобу Магницкаго). За ними послѣдовало въ Франціи низверженіе алтарей христовыхъ и законныхъ властей. Нынѣ, когда вѣншіе враги утихли, системы невѣрія, дотолѣ Англію и Францію только обтекавшія, со всею хитростью духа злобы явились подъ новою личиною въ Германіи. Безъ открытаго уже опроверженія библіи, въ молчаніи объ искупителѣ, подъ именемъ чистаго разума, въ совершеннѣйшихъ противъ прежняго системахъ наукъ философскихъ, естественныхъ, историческихъ, и въ произведеніяхъ изящной словесности, разливается нынѣ ядъ опаснѣйшаго всѣхъ прежнихъ временъ невѣрія. Подобно новому Пилату, разумъ человѣческій, со всею правильностью умозрительныхъ формъ своихъ, осуждаетъ и предаетъ на пропятіе богочеловѣка». Противъ этого-то духа времени, якобы охватывающаго собой всѣ рѣшительно проявленія мыслящей силы, и должна быть направлена дѣятельность цензурнаго комитета. Замѣчательно, что, по смыслу этой инструкціи, цензоръ уже переставалъ быть чиновникомъ, признаннымъ къ охраненію закона и ограниченнымъ въ своей дѣятельности извѣстными легальными формами:—нѣтъ! цензурный комитетъ рисовался Магницкому въ образѣ инквизиціоннаго трибунала, который не тольг охраняетъ религію и гражданскій порядокъ, но самъ, во всеор,

жи власти и по непосредственному «благословенію господнему», нападаетъ на ихъ мнимыхъ или дѣйствительныхъ враговъ и одерживаетъ побѣду тѣмъ успѣшнѣе, что противная сторона совершенно лишена всякихъ способовъ къ защитѣ. Законъ, какъ точное указаніе дозволенной границы, пригодное и для нападенія, и для защиты, не долженъ отнынѣ стѣснять служебную задачу цензоровъ, и пресловутая инструкция выражается на этотъ счетъ съ такимъ поразительнымъ цинизмомъ, который былъ бы невозможенъ для обнародованнаго правительствомъ документа. Въ ней прямо говорится, что къ запрещенію книги всегда можно найти предлогъ — если не въ чемъ другомъ, то въ неисправности слога и т. п. Явный смыслъ фразы тоже нисколько не ограждаетъ авторовъ. Къ числу книгъ, порицающихъ администрацію и правительство—предусмотрительно замѣчаетъ инструкция—«можно отнести сочиненія, въ которыхъ хотя бы и не заключалось явной хулы на настоящій образъ нашего правительства, но подразумѣвалась бы она въ излишнихъ похвалахъ какимъ либо конституціямъ, силою народа и войскъ у законныхъ государей исторгнутымъ». Изученіе исторіи, какъ науки, значительно затруднялось запрещеніемъ книгъ, въ которыхъ порицаются особы отечественныхъ государей, въ Бозѣ почивающихъ. Противъ этого запрещенія, выраженнаго притомъ въ неопределенныхъ словахъ, возсталъ даже гр. Лаваль, хотя онъ относился сочувственно къ основнымъ началамъ инструкции, и предложилъ, — какъ мы видѣли, — внести въ уставъ особый пунктъ, запрещающій колкія «осужденія правительствъ и государей, находящихся съ нашимъ дворомъ въ дружествѣ». Но запретить такое осужденіе правительственныхъ лицъ возможно было, по его мнѣнію, только въ настоящемъ; что же касается до прошедшаго времени, то это было бы — «все равно, что запретить изученіе исторіи, сего верховнаго судилища, на которомъ разбираются добрыя и худыя дѣла: ни одна историческая книга во Франціи не умолчала ни о жестокостяхъ Людовика XI, ни о фанатизмѣ Карла IX, стрѣлявшаго въ своихъ подданныхъ — протестантовъ; во всѣхъ историческихъ запискахъ того времени ясно изображено, какимъ образомъ Марія Медичи заставляла партизановъ своихъ дѣйствовать для вооруженія руки Равальяка противъ Генриха IV». Но Лаваль могъ утѣшиться и тѣмъ, что его мысль о вредѣ политическихъ разсужденій въ русскихъ журналахъ не была пропущена Магницкимъ мимо ушей. «Хотя особое будетъ сдѣлано распоряженіе — говорилось въ инструкціи — въ разсужденіи того, чтобы всѣ политическія вѣдомости почерпали сообщаемыя ими заграничныя из-

вѣстія изъ одного офіціального источника; но комитету, и за сею мѣрою, наблюсти должно, чтобы ничто противное уставу въ нравственномъ отношеніи появиться въ публичныхъ листахъ не могло. Таковъ, напримѣръ, процессъ англійской королевы. Краткое извѣстіе о немъ могло быть напечатано, но подробности и слова ея обвинителей, изъ почтенія къ высотности ея сана, изъ уваженія даже къ ея полу и къ добрымъ правамъ, должны были бы, по правиламъ нынѣ изданнаго устава, быть пройдены въ молчаніи». Направленіе русской литературы представлялось Магницкому въ такой степени рѣзкимъ и враждебнымъ правительству, что онъ счелъ нужнымъ подмалевать и пустить въ дѣло тотъ, никогда не примѣнявшійся, параграфъ прежняго устава, по которому цензора обязывались доносить на авторовъ сочиненій, явно возмутительныхъ, отвергающихъ бытіе Бога, оскорбляющихъ верховную власть и т. п. Въ передѣлкѣ Магницкаго, этотъ параграфъ принялъ такую форму, болѣе удобную для преслѣдованія личности негласнымъ путемъ: «Извѣщеніе министра (просвѣщенія) о сочинителѣ опасной книги (самое выраженіе: «опасная книга» уже крайне эластично) должно быть учиняемо немедленно и тайно, дабы, до сообщенія онаго министру внутреннихъ дѣлъ, не могъ онъ укрыться отъ полиціи и закона. Посему каждый цензоръ, не ожидая въ сихъ случаяхъ засѣданія комитета, остановленную рукопись съ своими примѣчаніями обязанъ представить министру духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія. Въ первомъ засѣданіи комитета долженъ онъ объявить сіе собранію, которое до разрѣшенія и хранить дѣло въ тайнѣ». Исполненіе всѣхъ этихъ обязанностей называлось въ инструкціи — «служеніемъ Царству Божію по прямому разумѣнію и по чистой совѣсти, вѣрою освѣщаемымъ»; сами исполнители должны были смотрѣть на себя, какъ на «стражей, охраняющихъ вѣру Христову, нравы отечественныя и самый языкъ нашъ, не оскверненный еще ни богохуленіями, ни разрушительными воплями противъ власти царской, ни нечистотами разврата и сладострастія». Одновременно съ инструкціей былъ представленъ и проектъ устава, проникнутый, конечно, тѣмъ же духомъ нетерпимости и вражды къ просвѣщенію. Ни въ комѣ изъ членовъ комитета эти проекты не возбудили такого теплаго участія, какъ въ извѣстномъ сподвижникѣ Магницкаго—Руничѣ. Этотъ послѣдній нашелъ ихъ вполне, пѣлесообразными, но для выщаго усовершенствованія совѣтовалъ распространять списокъ книгъ, осуждаемыхъ цензурою, нѣсколькими новыми подраздѣленіями. Такъ, напримѣръ, по его мнѣнію, сюда должны быть отнесены: «1) книги, какого бы рода ни были, не ведущія къ исти

ной высокой цѣли—къ водворенію въ составѣ общества постояннаго и спасительнаго согласія между вѣрою, вѣдѣніемъ и закононою властію; 2) книги, въ коихъ описаны частныя видѣнія, откровенія, внутреннія ощущенія, частныя и общія прорицанія, и всякаго рода сочиненія, за вдохновенныя выдаваемыя; 3) книги о нравственной философіи и умозрительномъ законодательствѣ (то есть естественномъ правѣ), въ коихъ отдѣляется нравственность отъ вѣры» (подчеркнутая фраза буквально внесена Магницкимъ въ новый уставъ, не смотря на свой до нельзя туманный смыслъ) и пр. и пр. Къ книгамъ естественно-научнаго содержанія, и безъ того осужденнымъ Магницкимъ,—по мнѣнію Рунича,—слѣдовало еще прибавить: «сочиненія, называемыя историческими, философическими и филологическими, безъ всякой связи и цѣли представляющія безпорядочный сборъ матерій, умствованій и умозрѣній, противныхъ не только евангельскому ученію, но и здравому смыслу» (?). Откровенный Руничъ, не видѣвшій никакой надобности церемониться съ общественнымъ мнѣніемъ, потребовалъ даже, чтобы первые пункты его запретительнаго реестра были введены не въ инструкцію, но въ самый уставъ; «потому что уставъ — говорилъ онъ—какъ коренное законоположеніе, не подлежитъ измѣненіямъ, инструкція же, напротивъ того, по обстоятельствамъ и духу времени, можетъ онымъ подвергнуться; по наименованію же секретной и не дойдетъ до всеобщаго свѣдѣнія». А ему бы хотѣлось увѣковѣчить свою выдумку, застраховать ее отъ всякихъ перемѣнъ и безбоязненно «довести до всеобщаго свѣдѣнія» публики, суда которой, по причинамъ понятнымъ, избѣгалъ даже Магницкій! Вмѣстѣ съ проектомъ Магницкаго разсматривался въ комитетѣ другой проектъ цензурнаго устава, составленный Стурдзою. Но такъ какъ послѣдній уставъ все еще отличался нѣкоторой мягкостью сравнительно съ первымъ, то и рѣшено было оставить его безъ вниманія. Иначе взглянулъ комитетъ на цензурныя правила Царства Польскаго, духъ и цѣль которыхъ были, по его мнѣнію, совершенно одинаковы съ принятымъ имъ проектомъ. По опредѣленію комитета, изъ этихъ правилъ слѣдовало заимствовать нѣсколько запретительныхъ параграфовъ.

Во-первыхъ, «запрещается всякое сочиненіе, въ которомъ заключаются прямыя или косвенныя нападенія на ту непреложную истину, что монархическій образъ правленія, въ началѣ обществъ, данъ въ примѣръ самимъ Богомъ и составляетъ единое твердое, законное и благотворное ихъ основаніе». Во-вторыхъ, «запрещается всякое сочиненіе, прямо или косвенно устремленное про-

тивъ той царственной думы, коей ввѣрено свыше охраненіе и благоденствіе всего христіанскаго міра, верховная стража алтарей божіихъ и престоловъ помазанниковъ, и которая наименована союзомъ священнымъ». Подлежало также заимствованію и указаніе тѣхъ литературныхъ средствъ, «которымъ пользуется нечестивое скопище любителей переворотовъ». Къ числу подобныхъ средствъ цензурный уставъ Царства Польскаго относилъ, между прочимъ: «разказы, очерки, характеристики, взятые изъ временъ и странъ отдаленныхъ; искусныя и тонкія аллегоріи; искаженныя историческія событія; возмутительныя и по большей части вымышленныя картины, въ которыхъ изображены дѣйствія фанатизма или тираніи; выписки изъ рѣчей, проникнутыхъ революціоннымъ духомъ, искусство ловко напоминать блистательныя явленія въ эпоху народныхъ смутъ и волненій (по этому пункту можно было бы запретить цѣликомъ «Марю Посадницу» Карамзина, такъ какъ въ ней «ловко напоминаются блистательныя явленія въ эпоху народныхъ смутъ»); коварное опроверженіе безнравственныхъ идей, посредствомъ котораго онѣ еще сильнѣе укореняются въ умѣ читателя; лукавыя разборы нечестивыхъ сочиненій (сюда можно было подвести самое невинное изложеніе философскихъ и политическихъ системъ, несогласныхъ съ нашею доморожденною политикою и философіей); ложные слухи, распространяемые и дополняемые для смущенія умовъ; остроты и сатирическія выходки, изъ которыхъ секта энциклопедистовъ, предводимая Вольтеромъ, сдѣлала себѣ орудіе противъ началъ здраваго смысла» (?).

IV.

Цензурный уставъ, вышедшій изъ рукъ Магницкаго и дополненный сотрудничествомъ разныхъ друзей русскаго просвѣщенія, естественнымъ образомъ, совмѣстилъ въ себѣ весь «здравый смыслъ» и все благоуханіе тѣхъ «началъ», которыя положены были въ основу официальнаго наблюденія за литературою. Что не попало въ уставъ, то вошло въ инструкцію—конечно, въ болѣе сжатой формѣ (ибо для вмѣщенія всего краснорѣчія Рунича и комп. не хватило бы цѣлаго кодекса), но съ сохраненіемъ существеннаго смысла. Читать между строками и перетолковывать въ худую сторону смыслъ читаемаго—становилось уже прямою обязанностью цензора.

Для политическихъ мнѣній устанавливалась разъ навсегда одна казенная мѣрка, философія замѣнялась теософическими мечтаніями, лишенными почвы и доказательствъ; даже порядокъ дѣл

въ союзныхъ государствахъ принимался подѣ обязательную защиту русскихъ цензурныхъ комитетовъ. Все это завершалось драконовскими угрозами содержателямъ типографій и книгопродавцамъ. Не вошли въ уставъ только замѣчанія о масонствѣ, сектаторствѣ и «мнимо-вдохновенныхъ» книгахъ, потому что министромъ просвѣщенія все еще былъ князь Голицынъ, извѣстный своей наклонностью къ мистицизму, и невозможно было нападать открыто на предметъ его слабости. Взамѣнъ этого, въ уставъ вошелъ другой параграфъ, навѣянный духомъ библейскихъ обществъ: «всякое твореніе, въ которомъ, подѣ предлогомъ защиты или оправданія одной изъ церквей христіанскихъ, порицается другая, яко нарушающее союзъ любви, всѣхъ христіанъ единымъ духомъ во Христѣ связующей, подвергается запрещенію». Роль общей полиціи въ дѣлахъ печати, по одному изъ параграфовъ новаго устава, ограничивалась «наблюденіемъ за непремѣннымъ исполненіемъ» цензурныхъ правилъ; но въ слѣдующемъ затѣмъ параграфѣ роль эта значительно расширялась и, министерство внутреннихъ дѣлъ получало право извлекать изъ продажи «не токмо запрещенныя цензурою или безъ ея одобренія напечатанныя книги, но и книги, до изданія сего устава напечатанныя и противныя его правиламъ». Хотя окончательное запрещеніе такихъ книгъ оставалось все таки за министерствомъ народнаго просвѣщенія; но, тѣмъ не менѣе, полиція могла бы, по силѣ этого постановленія, привязаться каждую минуту къ книгопродавцу, арестовать любую книгу, какъ «противную правиламъ» новаго устава, и тѣмъ убить окончательно книжную торговлю, и безъ того мало привлекательную для капитала. Кромѣ того, министерство народнаго просвѣщенія снабжалось неслыханнымъ полномочіемъ—придавать закону обратное дѣйствіе, что противорѣчитъ уже самымъ элементарнымъ юридическимъ понятіямъ. Но составители новаго устава смотрѣли на него, какъ пушкинскій Пименъ на свою лѣтопись, то есть какъ на «долгъ, завѣщанный отъ Бога»; оканчивая свои занятія, они выразили надежду, что трудъ ихъ предохранить надолго вѣру, правительство и народные нравы отъ преступнаго на нихъ посягательства. Къ счастью для литературы, этому уставу не пришлось дѣйствовать и предохранять отечество въ томъ видѣ, въ какомъ былъ онъ составленъ: внесенный на обсужденіе главнаго правленія училищъ въ 1823 году, онъ былъ задержанъ вслѣдствіе того, что одновременно съ нимъ вырабатывался св. синодомъ новый уставъ духовной цензуры и, по сличеніи ихъ, оказалось, что оба

устава касаются, въ нѣкоторыхъ статьяхъ, однихъ и тѣхъ же предметовъ. Поэтому признано необходимымъ распредѣлить болѣе точнымъ образомъ обязанности свѣтской и духовной цензуры ¹⁾. Дѣло снова затянулось...

Здѣсь стоить остановиться и подумать о томъ: насколько своевременны были, особенно въ двадцатыхъ годахъ, суровыя мѣры противъ литературы, предпринятыя нашими бездарными администраторами въ родѣ Магницкаго и Рунича. Припомнимъ, что въ это время въ нашемъ обществѣ, вслѣдствіе частыхъ и непосредственныхъ сношеній съ Европою, шла тревожная и открытая борьба старыхъ понятій съ новыми идеями, заносимыми къ намъ съ Запада: жизнь требовала улучшеній; всѣ вопіали противъ разныхъ стѣснительныхъ порядковъ, и этотъ либеральный протестъ, по признанію Греча, былъ такъ великъ и громогласенъ, что даже ему съ Булгаринымъ приходилось поддавливаться подъ общій тонъ. Такое напряженное состояніе общества требовало, по возможности, широкой литературной борьбы, въ которой могли бы выясниться какъ хорошія, такъ и дурныя стороны предлагаемыхъ нововведеній:—умѣстно ли было въ эту именно минуту прекратить возможность публичнаго обсужденія вопросовъ, которые у всѣхъ были на языкѣ?! Самые вопросы не исчезали отъ этого, а тревожное состояніе общества усиливалось и, не находя себѣ выраженія и оцѣнки въ литературѣ, порождало тайныя сходы, которыхъ дѣятельность слишкомъ извѣстна и памятна...

Проектъ Магницкаго не погибъ: онъ былъ препровожденъ обратно въ ученый комитетъ, и, уже подъ непосредственнымъ наблюденіемъ новаго министра Шишкова, цензурный уставъ переработанъ и утвержденъ 10 іюня 1826 г. Но литературѣ немного стало легче отъ этой передѣлки: Шишковъ принадлежалъ къ тѣмъ невѣжественнымъ противникамъ либеральныхъ реформъ, которые съ особенной настойчивостью и при каждомъ удобномъ случаѣ указывали на потрясеніе государственныхъ основъ, какъ на неизбѣжное слѣдствіе распространявшагося вольнодумства. Литература и школа — главные проводники вредныхъ идей — требовали, по его мнѣнію, скорого и рѣшительнаго обузданія. Еще въ 1815 г. Шишковъ два раза читалъ въ государственномъ совѣтѣ свое мнѣніе, въ которомъ развивалась мысль, что «цензура должна быть учреждена на лучшемъ и надежнѣйшемъ основаніи», что безъ этого условія, при старомъ неполномъ и неопредѣленномъ уставѣ, въ издаваемыхъ книгахъ всегда будутъ

¹⁾ Матер. для истор. русск. просв. Сухомлинова, стр. 82.

появляться «умышленные и неумышленные худости, служащія къ воспламененію умовъ и къ распространенію заблужденій».

Въ 1822 г., по дѣлу о профессорахъ петербургскаго университета, обвиненныхъ чуть не въ якобинствѣ за нѣсколько весьма нехитрыхъ мыслей (въ родѣ того, напримѣръ, что «крѣпостное сословіе земледѣльцевъ есть великая преграда для улучшенія земледѣлія») — Шишковъ вспомнилъ свое прежнее мнѣніе и похвастался своею прозорливостію. «Нынѣшняя исторія съ профессорами — писалъ онъ по этому поводу — показываетъ, что я не безъ основанія называлъ сѣмена сіи плодовитыми, и что способы къ искорененію ихъ становятся тѣмъ труднѣе, чѣмъ долѣ росли. Учители, пріучась сами думать и писать обо всемъ свободно, или лучше сказать, разсуждать и умствовать дерзко, не соображаясь ни съ какими общими правилами, ниже съ правоученіями вѣры, тому же научаютъ и учениковъ своихъ». Средствомъ противъ этого зла, Шишковъ опять выставялъ «благоразумную и наблюдающую свою должность цензуру». Цензура была, какъ видно, любимымъ конькомъ суроваго славянофила, и ея слабостію готовъ онъ былъ объяснить всякое несчастье въ государствѣ. Далеко не всѣ профессора писали и печатали свои труды, но и въ ихъ образѣ мыслей оказалась виновною снисходительная цензура. При такомъ рвеніи къ цензурному благочинію, Шишковъ, сдѣлавшись министромъ, позаботился прежде всего о томъ, чтобы расширить и упрочить officialный контроль надъ литературою. Для этой цѣли отлично пригодился цензурный проектъ, сочиненный при помощи Магницкаго, тѣмъ болѣе, что и самъ Магницкій, отстранившись во-время отъ партіи Голицына, сохранилъ свое видное положеніе въ министерствѣ. Секретная инструкция цензорамъ осталась неутвержденною (утвержденіе ея равнялось бы положительному изгнанію литературы изъ государства), но отличительныя черты прежняго проекта перешли и въ новый уставъ. Перетолкованіе статей въ невыгодномъ для авторовъ смыслѣ освящено закономъ. «Не позволяется пропускать къ печатанію — гласитъ § 151 новаго устава — мѣста въ сочиненіяхъ и переводахъ, имѣющія двоякій смыслъ, ежели одинъ изъ нихъ противенъ цензурнымъ правиламъ»; запрещено обнаруживать цензурныя помарки выставленіемъ точекъ въ печатныхъ книгахъ. Отъ критики требовалось безпристрастіе, степень котораго опредѣлялась цензурою. Сочиненія, въ которыхъ была нарушена чистота русскаго языка, не допускались къ печати. Не забудемъ при этомъ, что подобнымъ нарушеніемъ для Шишкова была даже карамзинская реформа литературнаго слога. Всякая инициатива литературы

въ правительственныхъ вопросахъ безусловно запрещалась. Сочиненія по исторіи, философіи и логикѣ должны были обращать на себя особенно-строгое вниманіе. Кромѣ взысканій съ цензоровъ за упущенія, узаконялось также взысканіе съ самихъ авторовъ, на томъ странномъ основаніи, что «цензурный уставъ имъ долженъ быть извѣстенъ», какъ будто толкованіе этого устава не зависѣло отъ разныхъ случайностей, которыя невозможно было ни знать, ни предвидѣть частному человѣку. Въ случаѣ отобранія вреднаго сочиненія, пропущеннаго по недосмотру цензуры, издателю предоставлено было право взыскивать убытокъ съ автора (?!). Наконецъ, хотя секретная инструкція по цензурѣ не удостоилась офиціальнаго утвержденія, какъ постоянная форма цензурныхъ требованій; но она замѣнялась до нѣкоторой степени особыми, на каждый случай, секретными наставленіями отъ министерства.

Это и былъ тотъ знаменитый чугунный уставъ, просуществовавшій только два года, о которомъ цензоръ Глинка говорилъ, что, руководствуясь имъ, «можно и «Отче нашъ» перетолковать яковинскимъ нарѣчіемъ».

ПУШКИНСКІЙ ПРАЗДНИКЪ ВЪ МОСКВѢ.

I.

Пока любовью мы горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ! отчизнѣ посвятимъ
Души прекрасные порывы.

Свободы сѣятель пустынный,
Я рано вышелъ—до звѣзды,—
Рукою чистой и безвинной
Въ поработенныя бразды
Бросалъ живительное сѣмя...

Начнемъ съ историческаго воспоминанія,—съ контраста, рѣзко, но отрадно бросающагося въ глаза. Отодвинемся для этого на 43 года назадъ, подойдемъ къ могилѣ Пушкина, вырытой руками коварныхъ друзей и явныхъ предателей.

Въ первые дни послѣ гибели Пушкина, русское образованное общество было потрясено неожиданною, страшною потерей; подъ влияніемъ этой неожиданности и трагическихъ обстоятельствъ его кончины, всѣ прежнія симпатіи къ великому поэту пробудились съ новой, восторженной силой, и толпы людей разнаго званія кинулись отдать послѣдній долгъ тому, кто въ теченіе многихъ лѣтъ будилъ умы и сердца къ сознательной человѣческой жизни, кто былъ «властителемъ думъ» и чувствъ цѣлаго поколѣнія. Подозрительность нѣкоторыхъ блюстителей общественнаго спокойствія была даже смущена опасеніемъ какихъ-то безпорядковъ и взрыва народной мести противъ убійцы Пушкина. Тѣло поэта было почти тайкомъ вывезено изъ Петербурга; убійцу выслали за предѣлы Россіи.

Но въ то время, какъ русское общество волновалось, шумѣло и проливало горькія слезы—выразительница общественнаго мнѣнія, наша печать, какъ бы совершенно онѣмѣла: до того силенъ былъ гнетъ надъ нею различныхъ своеправныхъ опекуновъ. Цензура сама трепетала предъ этою опекою и страшилась вызвать неудовольствіе тогдашняго шефа жандармовъ, графа Бенкендорфа, за пропускъ въ печати сочувственныхъ словъ о Пушкинѣ. Въ одной

лишь газетъ (Литературныя прибавленія къ «Русскому Инвалиду») А. А. Краевскій—редакторъ этихъ прибавленій—осмѣлился помѣстить нѣсколько теплыхъ, глубоко прочувствованныхъ строкъ. Вотъ онѣ въ томъ самомъ видѣ, какъ явились на послѣдней страницѣ этой газеты (1837 г. № 5): «Солнце нашей поэзіи закатилось! Пушкинъ скончался,—скончался во цвѣтѣ лѣтъ, въ срединѣ своего великаго поприща!.. Болѣе говорить о семъ не имѣемъ силы, да и не нужно; всякое русское сердце знаетъ всю цѣну этой невозвратимой потери и всякое русское сердце будетъ растерзано. Пушкинъ! нашъ поэтъ, наша радость, наша народная слава! Неужели, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ уже у насъ Пушкина? Къ этой мысли нельзя привыкнуть!»

Этотъ некрологъ былъ помѣщенъ, нужно прибавить, въ траурной каемкѣ.

На другой же день по выходѣ этого номера газеты, редакторъ ея былъ приглашенъ «для объясненій» къ попечителю с.-петербургскаго учебнаго округа, князю М. А. Дондукову-Корсакову, который былъ также и предсѣдателемъ цензурнаго комитета. Необходимо замѣтить, что г. Краевскій состоялъ тогда на службѣ въ министерствѣ народнаго просвѣщенія и что цензура находилась въ вѣдѣніи того же министерства.

— Я долженъ вамъ передать,—сказалъ попечитель г. Краевскому,—что министръ (Сергѣй Семеновичъ Уваровъ) крайне, крайне недоволенъ вами. Къ чему эта публикація о Пушкинѣ? Что это за черная рамка вокругъ извѣстія о кончинѣ человѣка не чиновнаго, не занимавшаго никакого положенія на государственной службѣ? Ну, да это еще куда бы ни шло. Но что за выраженія! «Солнце поэзіи!!» помилуйте, за что такая честь? «Пушкинъ скончался въ срединѣ своего великаго поприща?» Какое это такое поприще? Сергѣй Семеновичъ именно замѣтилъ: развѣ Пушкинъ былъ полководецъ, военачальникъ, министръ, государственный мужъ? Наконецъ, онъ умеръ безъ малаго сорока лѣтъ. Писать стишки не значить еще, какъ выразился Сергѣй Семеновичъ, проходить великое поприще. Министръ поручилъ мнѣ сдѣлать вамъ строгое замѣчаніе и напомнить, что вамъ, какъ чиновнику министерства народнаго просвѣщенія, особенно слѣдовало бы воздержаться отъ такихъ публикацій («Русск. Старина» 1880 г. № 7).

Нѣсколько раньше этого эпизода, тотъ же министръ, упрекалъ г. Краевскаго за напечатаніе въ его газетѣ одного изъ прелестнѣйшихъ стихотвореній Пушкина, замѣтилъ, что Пушкинъ отличается «вреднымъ образомъ мыслей» и что вступать въ сношенія съ та-

кимъ писателемъ предосудительно для служащихъ по вѣдомству народнаго просвѣщенія.

И такой суровый приговоръ надъ личностью и дѣятельностью Пушкина произносилъ одинъ изъ лучшихъ министровъ своего времени,—человѣкъ высоко образованный, даже ученый, обладавшій замѣчательными государственными способностями. Какъ же смотрѣли, послѣ этого, на литературныя занятія люди, менѣе Уварова просвѣщенные и даровитые? Какое значеніе могли бы имѣть для нихъ «стишки» нечиновнаго риемоплета? Время, однако, беретъ свое, и освобожденная Россія, въ одно царствованіе Александра II-го выросшая на цѣлое столѣтіе, за эти самые стихи воздвигаетъ памятникъ и всенародно чествуетъ имя великаго поэта,—перваго могучаго провозвѣстника общественной и личной свободы. Новый же министръ народнаго просвѣщенія, сознавая глубокій смыслъ этого національнаго торжества, ѣдетъ лично въ Москву—присутствовать на открытіи памятника. Сбывается пламенное желаніе другаго поэта (Лыкова):

Но слава времени, когда
И мирный гражданинъ, подвижникъ незабвенный
На полѣ книжнаго труда,
Вѣнчанный славой—и гордый воевода,
Герой счастливый на войнѣ,
Стоять торжественно передъ лицомъ народа
Уже на равной вышинѣ!

Такое сопоставленіе двухъ историческихъ моментовъ ободрительно дѣйствуетъ на всякаго мыслящаго человѣка и наглядно убѣждаетъ насъ въ томъ, что на пути общественнаго прогресса могутъ быть препятствія, остановки и даже уклоненія въ сторону, но что, въ концѣ концовъ, этотъ путь все таки приводитъ къ желанной цѣли, и «живительное сѣмя», бросаемое притомъ «чистою рукою» на почву народной жизни, рано или поздно, даетъ обильный всходъ...

II.

Мысль о памятникѣ великому поэту—по свидѣтельству академика Грота—въ первый разъ была пущена въ ходъ изъ среды бывшихъ воспитанниковъ царскосельскаго лицея, по поводу приготовленій, въ 1860 году, къ празднованію 50-ти-лѣтняго юбилея его, причѣмъ мѣсто будущему монументу предназначено было въ Царскомъ Селѣ, въ саду, нѣкогда принадлежавшемъ лицу. Сборъ пожертвованій по подпискѣ, съ высочайшаго разрѣшенія,

тогда же открытой по представлению директора лицея Н. И. Миллера, въ немногіе годы доставилъ 13,359 руб. Въ то же время художниками Лаверецкимъ и Бахманомъ составленъ былъ проектъ памятника, осуществленный Лаверецкимъ въ модели довольно обширныхъ размѣровъ, помѣщенной въ залѣ александровскаго лицея. Мало по малу, однако, притокъ пожертвованій сталъ оскудѣвать и вскорѣ совершенно прекратился. Въ такомъ положеніи было дѣло, когда на обычномъ лицейскомъ обѣдѣ, 19-го октября 1870 года, одинъ изъ участниковъ его воспользовался случаемъ возобновить вопросъ о памятникѣ нашему поэту. Предложеніе это встрѣтило большое сочувствіе, и тутъ же, по мысли Я. Б. Грота, задумано было учредить, для дальнѣйшаго веденія дѣла, комитетъ изъ воспитанниковъ первыхъ выпусковъ лицея. По ходатайству августѣйшаго попечителя его, принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, предположеніе это удостоилось одобренія государя императора и, такимъ образомъ, въ февралѣ 1871 года, составленъ, подъ главнымъ вѣдѣніемъ его высочества, комитетъ для сооруженія памятника Пушкину, изъ семи лицъ, бывшихъ воспитанниковъ лицея. Въ исторіи пушкинскаго монумента членъ комитета адмиралъ Ф. Ф. Матюшкинъ памятенъ тѣмъ, что онъ первый подалъ мысль избрать Москву мѣстомъ сооруженія памятника. Первоначально рѣшено было поставить памятникъ въ царскосельскомъ лицейскомъ саду; но комитетъ, находя это мѣсто слишкомъ уединеннымъ, считалъ необходимымъ присмотрѣть другой, болѣе отвѣчающій цѣли, пунктъ. Въ Петербургѣ, уже богатымъ памятниками царственныхъ особъ и знаменитыхъ полководцевъ, мало было надежды найти достойное поэта и достаточно открытое и почетное мѣсто. Между тѣмъ, нельзя было не согласиться съ Матюшкинымъ, что постановка памятника Пушкину въ Москвѣ, гдѣ безпрестанно толпятся, смѣняясь, уроженцы всѣхъ странъ Россіи, особенно была бы способна придать ему значеніе вполне народнаго достоянія. Съ другой стороны, связи Пушкина съ Москвою были нисколько не слабѣе, если еще не сильнѣе тѣхъ, которыя родили его въ Петербургѣ. Въ Москвѣ онъ родился и до 12-ти-лѣтняго возраста прожилъ, частью въ самомъ городѣ, частью въ подмосковномъ селѣ Захаровѣ. Здѣсь онъ ознакомился съ народнымъ бытомъ и языкомъ, сблизился съ самимъ народомъ; здѣсь нашелъ онъ могучее противодѣйствіе тому французскому воспитанію, которое онъ, по долгу времени, получалъ въ родительскомъ домѣ; въ деревнѣ ему полюбилися крестьянскія пѣсни, хоробы и пляски. Въ сосѣднемъ съ Захаровымъ историческомъ селѣ Вяземахъ онъ слышалъ прѣ-

данія, впервые пробудившія въ немъ любовь къ русской старинѣ. По родственнымъ и дружескимъ связямъ своего отца, онъ съ дѣтства вступилъ въ кругъ московскихъ литераторовъ, къ которому, кромѣ дяди его, Василя Львовича, принадлежали: Карамзинъ, Дмитріевъ, Тургеневъ и Жуковскій. Понятно, какъ общество этихъ людей должно было дѣйствовать на развитіе литературныхъ вкусовъ и авторскаго направленія въ отрокѣ. Послѣ своего помѣщенія въ лицей, Пушкинъ долго не былъ въ Москвѣ. По окончаніи шестилѣтняго воспитанія въ этомъ заведеніи, онъ не пробылъ въ Петербургѣ и трехъ полныхъ лѣтъ, а затѣмъ наступилъ періодъ его страннической жизни, продолжавшійся опять шесть лѣтъ. Но въ Москвѣ же, съ новымъ царствованіемъ, началось его общественное возрожденіе, когда императоръ Николай, послѣ коронаціи, вызвалъ его изъ деревни, милостиво положилъ конецъ его изгнанію и объявилъ себя его цензоромъ. Наконецъ, въ Москвѣ же произошла и женитьба Пушкина. Около этого времени и въ немногіе остальные годы жизни своей, онъ часто бывалъ въ Москвѣ и принималъ дѣятельное участіе въ ея литературномъ движеніи. Есть мнѣніе, будто онъ не любилъ своего роднаго города; можетъ быть, увлекаясь остроуміемъ, онъ иногда дѣйствительно подшучивалъ надъ Москвою, точно такъ, какъ въ другія минуты бранилъ Петербургъ, видя въ немъ «скуку, холодъ и гранитъ». Но нигдѣ въ сочиненіяхъ его мы не находимъ слѣдовъ серьезнаго нерасположенія къ Москвѣ. Напротивъ, въ нихъ часто выражается сочувствіе къ ней. Въ примѣрѣ этого можно привести особенно 7-ю главу «Евгенія Онегина», предъ которою онъ помѣстилъ нѣсколько эпиграфовъ изъ разныхъ поэтовъ въ похвалу Москвѣ, а потомъ самъ, съ горячею любовью, обращается къ ней, называя ее своею. «Благослови Москву, Россія», сказалъ онъ въ стихотвореніи «Наполеонъ».

Празднымъ дѣломъ было бы—по мнѣнію академика Грота—хотѣть сравнительно опредѣлить, которая изъ столицъ имѣла болѣе правъ на памятникъ Пушкину; но изъ сказаннаго достаточно видно, до какой степени Москва была близка поэту и какъ много было основаній избрать въ настоящемъ дѣлѣ древнюю столицу. По всеподданнѣйшему докладу принца Ольденбургскаго, государь императоръ, 20-го марта 1871 года, повелѣлъ поставить памятникъ въ Москвѣ, мѣстѣ рожденія поэта, «гдѣ монументъ получить вполнѣ національное значеніе». Затѣмъ комитетъ рѣшилъ, съ согласія общей думы, поставить памятникъ въ концѣ Тверскаго бульвара, на чтѣ послѣдовало высочайшее утвержденіе. Далѣе, комитету предстояло составить новый проектъ памятника.

такъ какъ для выполненія прежняго требовалась такая сумма (именно 89,000 руб.), на полученіе которой комитетъ въ то время не могъ разсчитывать. Притомъ, по замыслу, проэктъ этотъ не-
 выполнѣ отвѣчалъ тому идеалу простоты и единства созданія, ко-
 торый желательно было видѣть осуществленнымъ въ памятникѣ
 поэта, столь отличавшагося именно этими чертами творчества въ
 своихъ произведеніяхъ. Желая, въ то же время, послужить рус-
 скому искусству вызовомъ наличныхъ представителей его къ уча-
 стію въ этомъ патріотическомъ дѣлѣ, комитетъ, въ 1872 году,
 открылъ восьмимѣсячный конкурсъ, предлагая всѣмъ русскимъ
 паятелямъ представить скульптурныя модели обѣихъ частей па-
 мятника: пьедестала и статуи поэта, причемъ за наиболѣе удовле-
 творительные проэкты назначено было шесть премій различныхъ
 размѣровъ. Въ отвѣтъ на этотъ вызовъ, въ мартѣ 1873 года,
 явилось пятнадцать моделей, которыя были выставлены на обще-
 ственный судъ въ залѣ опекунскаго совѣта. Для оцѣнки ихъ и
 для составленія программы конкурса моделей, комитетъ пригла-
 шалъ къ совмѣстнымъ съ нимъ совѣщаніямъ извѣстнѣйшихъ ху-
 дожниковъ изъ среды не только скульпторовъ, но и живописцевъ.
 Организованная, такимъ образомъ, комисія присяжныхъ нашла,
 что хотя ни одна изъ представленныхъ моделей не удовлетворяетъ
 всѣмъ требованіямъ программы, однако нѣкоторыя изъ нихъ, по
 относительнымъ достоинствамъ, заслуживаютъ награды. Премій
 присуждено на 3,500 руб. слѣдующимъ художникамъ: Опекушину,
 Забѣлѣ, Шредеру, Боку и Ильенко; потомъ признано было нуж-
 нымъ учредить новый конкурсъ, который состоялся тѣмъ же спо-
 собомъ и на тѣхъ же главныхъ основаніяхъ. Представленнымъ,
 въ мартѣ 1874 года, 19-ти моделямъ устроена была опять пуб-
 личная выставка въ залѣ академіи наукъ. Приглашеніе для
 обсужденія ихъ, вмѣстѣ съ комитетомъ, эксперты изъ художни-
 ковъ и литераторовъ и теперь не признали ни одной модели до-
 стойною полного одобренія, но присудили, по произведенной балло-
 тировкѣ, второстепенныя премія, всего на 2,000 руб., тремъ
 скульпторамъ: Опекушину, Забѣлѣ и Боку. Такъ какъ послѣ
 двухъ не приведшихъ къ цѣли конкурсовъ учреждать преміи ка-
 залось бесполезнымъ, то вмѣсто того предложено было двумъ со-
 ставителямъ наиболѣе удавшихся моделей, Опекушину и Забѣлѣ
 изготовить въ увеличенномъ размѣрѣ двѣ новыя модели, испр-
 вивъ прежнія по указаніямъ небольшой комисіи экспертовъ
 составленной, подъ предсѣдательствомъ архитектора, профессора
 Гримма, изъ художниковъ по скульптурной части: Лавереца
 Келлера и Крамскаго. Представленные, вслѣдствіе того, въ м.

1875 года, двѣ модели выставлены были въ помѣщеніи постоянной художественной выставки. Комитетъ, по обсужденіи ихъ съ экспертами, находилъ въ обѣихъ положительныхъ достоинства, но, въ виду необходимости рѣшить въ пользу одной изъ нихъ, отдалъ предпочтеніе модели Опекушина, какъ соединявшей въ себѣ съ простотою, непринужденностью и спокойствіемъ позы, типъ, наиболѣе подходящий къ характеру и наружности поэта. Вылѣпленная по этой модели колоссальная статуя, еще разъ усовершенствованная по замѣчаніямъ экспертизы, представлена была принцемъ Ольденбургскимъ на воззрѣніе государя императора и, удостоенная высочайшаго одобренія, отлита изъ бронзы на заводѣ покойнаго Кохуна, въ Петербургѣ.

Когда комитетъ началъ свою дѣятельность, имѣвшаяся въ распоряженіи его сумма, вмѣстѣ съ накопившимися процентами, составляла 18,000 руб. съ небольшимъ. Для возобновленія сбора пожертвованій напечатано было въ газетахъ приглашеніе и, вслѣдъ затѣмъ, приступлено къ раздачѣ подписныхъ книжекъ. Но, прежде всего, слѣдуетъ съ почтительною признательностью упомянуть о милостивомъ участіи, какое въ этой подпискѣ соизволили принять августѣйшіе члены императорскаго семейства. Частныя приношенія начали поступать со всѣхъ сторонъ. Кромѣ множества отдѣльныхъ лицъ, успѣшному сбору значительно содѣйствовали редакціи главныхъ періодическихъ изданій и нѣкоторые книгопродавцы. Комитетъ положилъ въ основаніе своихъ дѣйствій два коренныя начала: полную гласность и строгую отчетность. Вскорѣ онъ сталъ печатать въ газетахъ свѣдѣнія о постепенномъ приращеніи средствъ. Мало по малу собранная сумма возросла до 83,922 р., а впослѣдствіи итогъ всей суммы, съ накопившимися процентами, составилъ 106,575 руб. Расходы по сооруженію памятника составили 87,510 руб.; затѣмъ, въ распоряженіи комитета осталось 19,064 р. Имѣющей въ остаткѣ суммѣ должно быть изыскано назначеніе, возможно болѣе согласное съ желаніями жертвователей и близкое къ главной цѣли сбора, что и будетъ предметомъ обсужденія комитета, какъ скоро онъ найдетъ возможность собраться въ болѣе полномъ составѣ.

Вообще же изъ этого очерка видно, что пушкинскій комитетъ заслуживаетъ полной благодарности русскаго общества, довершивъ свое дѣло исключительно по частному почину, безъ всякой примѣси бюрократическаго или приказнаго характера, безъ дополнительныхъ пособій отъ казны и, притомъ, со сбереженіемъ довольно значительной суммы.

III.

Открытие памятника, какъ извѣстно, замедлилось по разнымъ причинамъ и окончательно назначено было на 6-е іюня. Но чествованіе памяти Пушкина началось еще наканунѣ. 5-го іюня, въ 10 часовъ утра, открылась «пушкинская выставка», а въ два часа пополудни состоялся пріемъ депутатовъ, которыхъ собралось въ Москву свыше 200 человекъ. Всѣ эти депутаты, присланные различными обществами, учеными учрежденіями, редакціями журналовъ, земствомъ и дворянствомъ, приняты хлѣбосольною Москвою въ качествѣ почетныхъ гостей и размѣщены на городской счетъ въ двухъ лучшихъ гостинницахъ. Пушкинская выставка умѣстилась въ небольшихъ залахъ благороднаго собранія. Въ первой комнатѣ помѣщены были, въ особыхъ витринахъ, всѣ изданія полного собранія сочиненій Пушкина и отдѣльныхъ его произведеній; рукописи, черновые наброски стихотвореній, рисунки перомъ, лубочныя картинки къ пушкинскимъ стихамъ, какъ, напримеръ, къ «Черной шали», къ «Сказкѣ о рыбацкѣ и рыбѣ» и др. По стѣнамъ развѣшены портреты Пушкина: писанные масляными красками Кипренскимъ и Тропининымъ, копія съ нихъ, сдѣланныя пастелью, много портретовъ, рѣзанныхъ на стали, виды Михайловскаго, подмосковнаго имѣнія Захарова, принадлежавшаго родителямъ поэта, виды любимыхъ поэтомъ окрестностей Тифлиса и, вообще, рисунки, напоминающіе въ томъ или другомъ отношеніи Пушкина.

Во второй комнатѣ, по стѣнамъ развѣшены портреты современниковъ поэта—Жуковского, князя Шаховскаго, Гнѣдича, князя В. Ѳ. Одоевскаго, гр. Соллогуба, Крылова и Языкова. Тутъ же семейные портреты Ганнибаловъ (предковъ поэта), большой масляный портретъ Натальи Николаевны Пушкиной, жены поэта; миниатюры семейства Гончаровыхъ, преимущественно дамъ, нѣсколько портретовъ Сергѣя Львовича, отца Пушкина; портретъ г-жи Гекернъ, сестры его жены; большой, рисованный карандашемъ, рисунокъ могилы поэта въ Святогорскомъ монастырѣ, работы профессора Саврасова, и проч. Въ витринахъ, расположенныхъ въ этой второй комнатѣ, помѣщены вещи, принадлежавшія Пушкину. Здѣсь, между прочимъ, находятся: перстень съ большимъ изумрудомъ, доставшійся по раздѣлу, послѣ смерти Пушкина, Владиміру Ивановичу Далю; другой перстень, подаренный поэту въ Тифлисѣ недавно скончавшеюся княгиней Воронцовой—это тотъ именно перстень, который вдохновилъ Пушкина написать прелестное стихотвореніе «Талисманъ» и который поэтъ, умирая, подарилъ Жуковскому; по наслѣдству перстень перешелъ :

сыну Жуковского, а отъ него къ Ивану Сергѣевичу Тургеневу.

Прострѣленного на дуэли сюртука Пушкина на выставкѣ не нѣбѣтся. Дѣло въ томъ, что сюртукъ этотъ достался, по раздѣлу, тоже Далю, у котораго выпросилъ его Погодинъ; у Погодина сюртукъ хранился въ кабинетѣ, въ незапиравшейся на замокъ тумбѣ, на которой стоялъ бюстъ Пушкина; тумба помѣщалась насупротивъ другой тумбы съ бюстомъ Гоголя. Въ день смерти Погодина, въ домѣ переполохъ—двери были, по русскому обычаю, для всѣхъ открыты, массы публики и народа входили и выходили; когда же, нѣсколько дней спустя, хватились сюртука, его уже успѣли украсть. Семья и друзья Погодина переплатили сыскной полиціи нѣсколько сотъ рублей, но поиски оказались тщетными.

При осмотрѣ рукописей Пушкина, внимательный посѣтитель могъ убѣдиться: какой изумительной художественной отдѣлкѣ подвергалъ нашъ поэтъ каждый свой стихъ, вылетавшій, казалось бы, такъ легко и свободно изъ его творческой головы. Перечеркнутыя слова и строки, приписки и надписки сверху, сбоку и во всѣхъ направленіяхъ даютъ отчетливое понятіе о томъ процессѣ авторской работы, которому подвергались всѣ, безъ исключенія, пушкинскія пьесы. Металлическій звучный стихъ буквально выковывался гениальнымъ мастеромъ изъ груды представлявшагося ему словеснаго матеріала...

Пріемъ депутацій происходилъ въ большой залѣ думы. Зала на этотъ разъ совершенно преобразилась и ее невозможно было узнать—только лѣвной потолокъ остался въ прежнемъ видѣ, но даже мраморныя стѣны задрапированы отчасти портретами, зеленью и статуею поэта.

На одной стѣнѣ—портретъ государя императора во весь ростъ; по обѣимъ сторонамъ—портреты императоровъ Александра I-го и Николая I-го, какъ государей, въ царствованіе которыхъ поэтъ родился, жилъ и умеръ. Всѣ три портрета роскошно убраны зеленью, отъ пола до потолка.

На противоположной стѣнѣ—высоко поднятый отъ пола колоссальный бюстъ поэта, нѣсколько отодвинутый отъ стѣны, такъ что образовался проходъ. Весь бюстъ украшенъ пальмами, платанами, миртами, лаврами—цѣлымъ лѣсомъ зелени. Голова поэта—задумчиво склоненная. Онъ какъ бы царитъ надъ толпой, пришедшей чествовать его. Большой лавровый вѣнокъ скрываетъ постаментъ фигуры. Залы городской думы полны депутатами, между которыми есть и дамы. Всѣ въ траурѣ. Депутаты носятъ въ петлицахъ бѣлыя атласныя кокарды съ буквами: А. П. Военныхъ мало; все больше

фраки и бѣлые галстуки; но мелькають и камергерскіе мундиры, и ленты черезъ плечо. У подножія бюста столъ; покрытый краснымъ сукномъ съ золотыми шнурами и кистями. За столомъ сидятъ: генералъ - губернаторъ Москвы, князь В. А. Долгоруковъ, члены комитета по открытію памятника: статсъ-секретарь Ѳ. П. Борниловъ, академикъ Я. К. Гротъ и государственный контролеръ Д. М. Сольскій, пріѣхавшій въ Москву по просьбѣ нашего наместаго канцлера, князя А. М. Горчакова (лицейскаго товарища Пушкина), какъ его представитель на праздникъ. Ровно въ два часа, въ залу вошелъ его высочество принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій и занялъ предсѣдательское мѣсто. Первые гости Москвы на пушкинскомъ праздникѣ—дѣти Александра Сергѣевича Пушкина: графиня Меренбергъ, г-жа Гартунгъ, Александръ Александровичъ Пушкинъ, командиръ гусарскаго нарвскаго полка, и Григорій Александровичъ Пушкинъ, владѣлецъ Болдина, гдѣ нѣкогда проживалъ его отецъ. Имъ,—дочерямъ и сыновьямъ поэта,—первое мѣсто близъ почетнаго стола.

Депутациі, собравшіяся въ сосѣдней залѣ, вызываются поочередно, представляютъ адреса и, произнеся привѣтствіе, занимають назначенныя имъ мѣста. Привѣтствій и адресовъ почти не слышно—все произносятъ ихъ взволнованнымъ голосомъ, такъ что до публики долетаютъ лишь отрывочныя фразы. Мы, вообще, не мастера говорить публично да и практики у насъ было мало... Общій смыслъ привѣтствій слѣдующій: чествуемый поэтъ—гордость и слава Россіи; привѣтъ Москвѣ, родинѣ поэта, чествующей память геніальнаго дѣятеля русской мысли, творца литературнаго языка, пробудителя общественнаго сознанія. Привѣтъ ректора университета, г. Тихонравова, слышенъ хорошо; онъ громко, твердымъ голосомъ произноситъ нѣсколько словъ и заканчиваетъ ихъ пожеланіемъ, произведшимъ сильное впечатлѣніе: «Да крѣпнеть русская мысль, да развивается мощь русской науки, созидающей дѣятелей мысли!»

По окончаніи представленія депутаций, академикъ Гротъ прочелъ отчетъ по сооруженію памятника (изъ котораго мы и заимствовали вышеприведенныя свѣдѣнія) и сообщилъ содержаніе поздравительныхъ телеграммъ, полученныхъ изъ-за границы и изъ разныхъ мѣстностей Россіи.

При пріемѣ депутаций отъ различныхъ народностей, учреждений и лицъ, всѣми было замѣчено и произвело впечатлѣніе отсутствіе депутатовъ отъ иностранныхъ обществъ, не только ученыхъ но даже чисто литературныхъ. За исключеніемъ черногорцевъ словаковъ, ни одно славянское племя не вспомнило о всенародномъ русскомъ празднествѣ! Тѣмъ ярче и пріятнѣе выдвинулось

присутствіе на пушкинскомъ торжествѣ представителя Франціи, истинной носительницы міровой культуры. Президентъ французской республики не только командировалъ депутата отъ французскаго правительства, но и выказалъ особое вниманіе къ нашему празднику, приславъ предсѣдателю «общества російской словесности», С. А. Юрьеву, золотой знакъ *officier de l'instruction*, даваемый обыкновенно за заслуги по распространенію образованія.

Среди привѣтствій, чтенія адресовъ и телеграммъ, когда общее вниманіе было поглощено воспоминаніями о Пушкинѣ, въ залу вошелъ почти неслышными шагами, едва передвигая ноги, старичокъ въ желтомъ поношенномъ пиджакѣ. Это былъ камердинеръ поэта, прослужившій у него два года, до женитьбы, — Никифоръ Ѳеодоровичъ Емельяновъ. Когда засѣданіе окончилось, словоохотливый старикъ, на разспросы окружавшихъ, подробно рассказывалъ о нѣкоторыхъ домашнихъ привычкахъ своего знаменитаго барина и, между прочимъ, удостовѣрялъ, что Пушкинъ (вопреки ходившимъ о немъ сплетнямъ) никогда не злоупотреблялъ спиртными напитками, хотя и любилъ иногда распить съ пріятелями бутылку—другую вина. Во время же литературной работы онъ не пилъ ни капли вина, но истреблялъ въ большомъ количествѣ освежающій лимонадъ, который и припасался для него заблаговременно услужливымъ камердинеромъ.

Мы сказали уже, что памятникъ поставленъ въ концѣ Тверскаго бульвара, при соединеніи его съ Страстной площадью. Это очень бойкое, оживленное и просторное мѣсто. Длинный и прямой Тверской бульваръ, украшенный пріятною для глаза перспективою зеленыхъ аллей, постепенно поднимаясь въ гору, входитъ на большую и, относительно, возвышенную площадь. На этомъ самомъ пунктѣ и красуется памятникъ, обращенный лицевою стороною къ великолѣпной громадѣ стариннаго церковнаго зодчества. Стоя у памятника, вы имѣете передъ собою Страстную монастырь, съ его причудливыми куполами въ отдаленіи, съ огромною башнею, какъ бы опирающеюся на двѣ боковыхъ, съ низенькими, глубокими, въковыми воротами и длинною, бѣлою монастырскою стѣною на первомъ, ближайшемъ планѣ. Высокая остроконечная башня словно бѣжитъ къ голубому небу, а почернѣвшій ликъ Богородицы кротко обрисовывается въ выси, на башенномъ фронтонѣ. Съ двухъ сторонъ площади устроены обычныя мѣста для публки. Изъ-за этихъ досчатыхъ переплетовъ почти не видно сосѣднихъ домовъ.

Нельзя сказать, чтобы громада памятника, закутанная накануне торжества въ полотно, какъ въ бѣлый саванъ, представляла

собою изящный видъ. Приѣхавшіе депутаты, поторопившіеся хоть издали взглянуть на статую поэта, были достаточно наказаны за свое нетерпѣніе: обмотанная веревками, мѣдная фигура напомнила имъ скорѣе пушкинскаго «утопленника», чѣмъ самого Пушкина.....

IV.

День открытія памятника начался торжественною службою въ Страстномъ монастырѣ. Къ десяти часамъ утра густыя толпы народа двинулись къ площади монастыря и заняли все свободное пространство передъ памятникомъ. Движеніе экипажей по Тверскому бульвару и по улицамъ, ведущимъ къ площади, прекращено съ утра. Стояла холодная вѣтряная погода. Монастырская церковь быстро наполнилась почитателями поэта, хотя въпускъ былъ по билетамъ. Въ половинѣ службы приѣхалъ принцъ Ольденбургскій, къ концу обѣдни—А. А. Сабуровъ, министръ народнаго просвѣщенія. Заупокойную литургію совершалъ московскій митрополитъ, высокопреосвященный Макарій, въ сослуженіи двухъ своихъ викаріевъ и множества духовенства. По окончаніи панихиды, митрополитъ произнесъ слово о Пушкинѣ.

Слово преосвященнѣйшаго Макарія—образецъ ораторскаго краснорѣчія. Это не священникъ произносилъ проповѣдь, а ученый и литераторъ, просвѣщеннѣйшій другъ науки, говорилъ рѣчь о значеніи Пушкина. Онъ говорилъ на текстъ послѣдняго, пропѣтаго клиромъ, стиха: и сотвори ему вѣчную память. Едва умолкли голоса пѣвчихъ, митрополитъ остановился на амвонѣ, оперся на посохъ и началъ свою блестящую импровизацію. Черты лица его преобразились внутреннимъ чувствомъ, и вдохновенное слово полилось неудержимо. Онъ говорилъ о великомъ значеніи поэзіи Пушкина, о созданіи имъ простой, обаятельной своею прелестью русской рѣчи, о несравненной музыкальности вдохновеннаго стиха, какого Россія не знала до него.

Его рѣчь была такъ хороша и искренна, что мы позволимъ себѣ привести здѣсь наибольшую часть ея. «Нынѣ—сказалъ митрополитъ—свѣтлый праздникъ русской поэзіи и русскаго слова. Россія чувствуетъ торжественно знаменитѣйшаго изъ своихъ поэтовъ открытіемъ ему памятника. А церковь отечественная, освящая это торжество особымъ священнослуженіемъ и молитвами о вѣчномъ упокоеніи души чествуемаго поэта, возглашаетъ ему вѣчную память. Всѣ, кому дорого родное слово и родная поэзія, на всѣхъ пространствахъ Россіи, безъ сомнѣнія участвуютъ сердцемъ въ настоящемъ торжествѣ и какъ бы при

сутствуютъ здѣсь въ лицѣ васъ, достопочтенные представители и любители отечественной словесности, науки и искусства! А тебѣ, Москва, градъ первопрестольный, естественно ликовать нынѣ бо-
лѣе всѣхъ: ты была родиною нашего славнаго поэта; на одной изъ твоихъ возвышенностей воздвигнуть въ честь его достойный памятникъ, и подъ твоимъ гостепріимнымъ кровомъ совершается нынѣ сынами Россіи, стекшимися къ тебѣ со всѣхъ сторонъ, настоящее торжество».

«Мы чествуемъ человѣка-избранника, котораго самъ Творецъ отличилъ и возвысилъ посреди насъ необыкновенными талантами, и которому указалъ этими самыми талантами особенное призваніе въ области русской поэзіи. Чествуемъ нашего величайшаго поэта, который понялъ и вполнѣ созналъ свое призваніе; не зарылъ въ землю талантовъ, данныхъ ему отъ Бога, а употребилъ ихъ на то самое дѣло, на которое былъ избранъ и посланъ, и совершилъ для русской поэзіи столько, сколько не совершилъ никто. Онъ поставилъ ее на такую высоту, на которой она никогда не стояла и надъ которою не поднялась доселѣ. Онъ сообщилъ русскому слову въ своихъ твореніяхъ такую естественность, простоту и вѣстѣ такую обаятельную художественность, какихъ мы напрасно стали бы искать у прежнихъ нашихъ писателей. Онъ создалъ для русскихъ такой стихъ, какого до того времени не слыхала Россія, стихъ въ высшей степени гармоническій, который поражалъ, изумлялъ, восхищалъ современниковъ и доставлялъ имъ невыразимое эстетическое наслажденіе, и который надолго останется образцовымъ для русскихъ поэтовъ. Мы чествуемъ не только величайшаго нашего поэта, но и поэта нашего народнаго, какимъ явился онъ если не во всѣхъ, то въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ. Онъ отозвался своимъ чуткою душой на всѣ преданія русской старины и русской исторіи, на всѣ своеобразныя проявленія русской жизни. Онъ глубоко проникся русскимъ духомъ и все, воспринятое имъ отъ русскаго народа, перетворивъ своимъ гениальнымъ умомъ, воплотилъ и передалъ тому же народу въ сладкозвучныхъ пѣсняхъ своей лиры, которыми и услаждалъ соотечественниковъ, и незамѣтно укрѣплялъ въ чувствахъ патріотизма и любви ко всему родному. Мы воздвигли памятникъ нашему великому народному поэту, потому что еще прежде онъ самъ воздвигъ себѣ «памятникъ нерукотворный» въ своихъ безсмертныхъ созданіяхъ, и въ этомъ памятникѣ воздвигъ памятникъ и для насъ, для всей Россіи, который никогда не потеряетъ для нея своей цѣны и къ которому, потому, «не заростетъ народная тропа». Къ нему

будутъ приходить и отдаленные потомки, какъ приходимъ мы и какъ приходили современники».

Вскорѣ послѣ полудня, процессія вышла изъ церкви, впрочемъ безъ участія духовенства, и направилась къ памятнику. Площадь представляла живописное зрѣлище: десятки тысячъ народа, голубыя, красныя и бѣлыя знамена, шитыя золотомъ и серебромъ, значки цеховъ, и рядомъ—съ монументомъ—обширное возвышеніе, покрытое краснымъ сукномъ для членовъ комитета и высокопоставленныхъ лицъ. Всѣ головы обнажены. Раздались звуки музыки; солнце на нѣсколько мгновеній показалось изъ-за тучъ и облило площадь золотистымъ свѣтомъ. Когда всѣ заняли свои мѣста, музыка заиграла народный гимнъ. Потомъ принцъ Ольденбургскій поднялся съ мѣста, встали и всѣ окружавшіе его, и началась церемонія передачи памятника городу. Членъ комитета, статсъ-секретарь Корниловъ, обратился къ представителямъ городского управленія съ краткою рѣчью слѣдующаго содержанія:

«Геній великаго Пушкина есть лучшее, прекраснѣйшее олицетвореніе русскаго народнаго духа и мысли. Заслуги Пушкина родному слову и правѣ его на признательность потомства сознаны не только Россіей, но и всѣмъ образованнымъ міромъ. Государственный вождь и отецъ русскаго народа, государь императоръ, разрѣшилъ подписку на сооруженіе памятника народному поэту, и пожертвованія стеклись со всѣхъ концовъ Россіи. Высочайше учрежденный, подъ главнымъ наблюденіемъ принца Ольденбургскаго, комитетъ потрудился съ любовью. Непосредственными исполнителями порученнаго комитету дѣла были русскіе люди: ваятель академикъ Опекушинъ, строитель академикъ Богомоловъ и мастеръ каменнаго дѣла Бариновъ. Нынѣ, представляя на судъ Россіи оконченный сооруженіемъ памятникъ, комитетъ счастливъ, что ввѣряетъ охраненіе этого народнаго достоянія заботливости городского управленія древнепрестольной Москвы златоверхой. Да здравствуетъ на многія лѣта государь, верховный цѣнитель заслугъ русскихъ людей! Да процвѣтаетъ и благоденствуетъ святая Русь и да множатся русскіе люди, составляющіе славу и гордость своего отечества!»

По произнесеніи рѣчи, статсъ-секретарь Корниловъ вынулъ изъ футляра переплетенную въ зеленый бархатъ тетрадь съ золотою надписью: «Актъ передачи памятника Пушкину въ вѣдѣніи московскаго городского управленія» и громко прочелъ слѣдующее: «Высочайше учрежденный комитетъ для сооруженія памятника Пушкину, по исполненіи возложеннаго на него волею государя императора порученія и по открытіи нынѣ памятника сег

въ присутствіи его императорскаго высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургскаго, его сіятельства господина московскаго генераль-губернатора, князя Владиміра Андреевича Долгорукова, городскихъ властей и собравшихся изъ многихъ мѣстностей депутацій отъ различныхъ вѣдомствъ, учреждений и обществъ, симъ передаетъ означенный памятникъ въ вѣдѣніе московской городской думы. Составивъ, въ удостовѣреніе того, настоящій актъ и прилагая къ оному чертежъ и планъ памятника, комитетъ поручаетъ это драгоцѣнное народное достояніе просвѣщенной заботливости городского управленія первоначальной столицы, бывшей колыбелью великаго поэта. Москва, 6-го іюня 1880 года». Подписали: принцъ Ольденбургскій, члены комитета: статсъ-секретарь Корниловъ и академикъ Гротъ. Принявъ изъ рукъ статсъ-секретаря Корнилова футляръ съ означеннымъ актомъ, московскій городской голова произнесъ слѣдующую рѣчь: «Отъ лица московской городской думы, имѣю счастье выразить глубокую благодарность вашему императорскому высочеству и высочайше учрежденному комитету за исходатайствованіе державной воли воздвигнуть памятникъ Александру Сергѣевичу Пушкину въ нашей первопрестольной столицѣ, мѣстѣ его рожденія. Принявъ этотъ памятникъ въ свое вѣдѣніе, Москва будетъ хранить его, какъ драгоцѣнное достояніе народа, и да воодушевляетъ изображеніе великаго поэта насъ и грядущія поколѣнія на все доброе, честное, славное!»

Въ это мгновеніе, предъ обнаженными головами многотысячной толпы упала закрывавшая памятникъ пелена; публика, бывшая всюду, откуда только могъ видѣть глазъ—на окружающихъ улицахъ, въ окнахъ, на крышахъ домовъ—на минуту какъ бы замерла. То была, дѣйствительно, высокая минута, когда колоссальная фигура поэта, во всей ея красѣ и во всемъ величіи, предстала, какъ эмблема славы дорогой намъ всѣмъ родины.

Знакомый намъ только по рисункамъ и гипсовымъ изваяніямъ, памятникъ оказался удивительно грандіознымъ, эффектнымъ. Черты лица поэта переданы замѣчательно вѣрно, съ тою именно печатью думы, которая свойственна гению. Поза непринужденная, простая, полная внутренняго движенія. Кажется, какъ будто поэтъ, углубившись въ себя, обдумываетъ одно изъ наиболѣе зрѣлыхъ своихъ произведеній.

Прошло мгновеніе, и громкое «ура», перекатившееся кругомъ всей площади, возвѣстило, что открытіе памятника совершилось. Отнынѣ онъ—достояніе Москвы; твердо стоитъ онъ на своемъ ранитномъ пьедесталѣ, и никакая буря не въ состояніи поко-

лебать его, потому что онъ—созданіе русскаго народа. Депутатѣи окружили памятникъ и возложили на него перевитые лентами вѣнки.

Такъ какъ «отъ великаго до смѣшнаго одинъ только шагъ», то этому смѣшному удалось проникнуть и на пушкинскій праздникъ, именно въ распредѣленіи депутацій по группамъ. Чья-то волшебная капельмейстерская палочка смѣшала въ одну группу и помѣстила подъ одно знамя: депутатовъ отъ городскихъ больницъ съ депутатами отъ варшавскаго и дерптскаго университетовъ, присяжныхъ повѣренныхъ съ трактирною депутаціею и съ еврейскимъ обществомъ; петербургскихъ журналистовъ придвинули къ желѣзнодорожникамъ, а частныя гимназіи къ обществу прикащиковъ. Сосѣдство, по малой мѣрѣ, неожиданное!

Вѣнки клались къ подножію памятника. Одинъ любопытный вздумалъ сосчитать ихъ, но, досчитавъ до 68, потерялъ счетъ, а между тѣмъ передъ нимъ была еще безконечная лента подходящихъ съ вѣнками лицъ. Подносились вѣнки не только отъ депутацій, но также и отъ отдѣльныхъ лицъ, отъ множества учебныхъ заведеній, кстати сказать, расположенныхъ полукругомъ сзади памятника. Какъ на лучшіе, наиболѣе богатые вѣнки, мы укажемъ: на вѣнокъ отъ города, отъ «общества любителей російской словесности», отъ литературнаго фонда; масса вѣнковъ—отъ редакцій московскихъ и петербургскихъ газетъ, отъ совѣта присяжныхъ повѣренныхъ, отъ французской колоніи, кажется, единственной изъ иностранныхъ колоній, которая откликнулась на русское народное торжество, отъ консерваторіи и т. д. Это были самые богатые вѣнки; но кто же станетъ сомнѣваться, что и тѣ, которые были побѣднѣе, положены къ подножію поэта отъ всей души, искренно, не лукаво! Рѣчей, въ офиціальномъ смыслѣ этого слова, не было произнесено; но сколько хорошихъ, теплыхъ, радостныхъ мыслей высказано было между собою, въ отдѣльныхъ группахъ, гдѣ поминутно являлись восторженные, пламенные ораторы! Сколькими искренними рукопожатіями, хорошими честными поцѣлуями обмѣнялись здѣсь люди, иной разъ даже и незнакомые между собою! Нѣсколько теплыхъ, дорогихъ словъ сказали собравшимся около него воспитанникамъ учебныхъ заведеній и нашъ новый, уважаемый министръ народнаго просвѣщенія, г. Сабуровъ.

Сплошныя массы окружили памятникъ поэта, просторное подножіе котораго исчезало подъ прикрытіемъ цвѣтовъ и вѣнковъ.

Собравшіеся толпились у памятника, чтобы ближе взглянуть на дорогія, милыя черты, чтобы поклониться поэту, взять цвѣ-

тогда на память объ этомъ торжественномъ днѣ. Когда, послѣ удаленія депутацій, къ памятнику были допущены стоявшіе за канатомъ зрители, то можно было наблюсти нѣсколько трогательныхъ сценъ. Простые, сѣрые люди подходили къ памятнику и, кланаясь, бросали къ подножію его небольшіе букеты живыхъ полевыхъ цвѣтовъ, которые въ изобиліи продавались по всѣмъ улицамъ.

V.

Съ той минуты, какъ пелена, закрывавшая памятникъ Пушкина, упала съ него подъ звонъ колоколовъ, при звукахъ музыки и радостныхъ кликахъ всѣхъ участниковъ и зрителей торжества, — общественный пульсъ въ Москвѣ началъ биться все сильнѣе и страстнѣе, и ускоренное бѣненіе его невольно сообщалось каждому, даже самому равнодушному къ литературѣ, человѣку. Приливъ восторга быстро подымался до девятаго своего вала, и не было силъ — да и желанія не являлось — сопротивляться этому, почти стихійному, влеченію. Есть что-то въ полной мѣрѣ заразительное и покоряющее въ движеніяхъ общественной массы, проникнутой одною мыслью, согрѣтой однимъ чувствомъ. Въ такія именно минуты воспитывается въ людяхъ сознательный, стойкій патріотизмъ. Это — образованная Россія впервые собралась воздать все-народную хвалу своему величайшему поэту, носителю лучшихъ думъ и благороднѣйшихъ свойствъ русскаго народа, и можно ли было устоять противъ обаятельнаго вліянія такого небывалаго у насъ событія? Можно ли было даже не преувеличить его значенія? Въдѣ надеждами и живетъ человѣческое сердце...

Московский университетъ, какъ умственный центръ бѣлокаменной столицы, какъ старѣйшій между своими собратьями — университетами въ нашемъ отечествѣ, конечно, не могъ не принять ближайшаго участія въ пушкинскомъ праздникѣ. Въ день открытія памятника, въ два часа пополудни, въ большой университетской залѣ состоялся торжественный актъ въ присутствіи принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, московскаго генераль-губернатора кн. В. А. Долгорукова, управляющаго министерствомъ народнаго просвѣщенія статсъ-секретаря А. А. Сабурова, многихъ другихъ высокопоставленныхъ лицъ и всѣхъ прибывшихъ въ Москву депутацій. Портреты Екатерины II, Александра I и нынѣ царствующаго государя императора были убраны зеленью и цвѣтами. Хоры тѣсно заняты студентами университета. Засѣданіе открылось заявленіемъ ректора Н. С. Тихонравова объ избраніи въ

почетные члены университета: академика Я. К. Грота, известнаго писателя П. В. Анненкова, — автора наиболѣе полной біографіи Пушкина, — и знаменитаго романиста И. С. Тургенева. Имя Тургенева вызвало самую шумную и сочувственную овацію: вся зала буквально задрожала отъ рукоплесканій и возгласовъ публики, когда г. Тихонравовъ, мотивируя университетскій выборъ, ска- залъ, что въ лицѣ Ивана Сергѣевича воздается справедливая честь тому современному беллетристу, который унаслѣдовалъ, такъ сказать, мелодію и прелесть пушкинскаго языка. Статс- секретарь Сабуровъ поднялся съ своего мѣста и на виду у всѣхъ, при новыхъ аплодисментахъ, троекратно поцѣловался съ масти- тымъ избранникомъ московскаго университета. Вообще Тургеневъ былъ самымъ любимымъ гостемъ Москвы на пушкинскомъ празд- никѣ; ему заживо устраивался апофеозъ отъ его многочисленныхъ почитателей, и на всѣхъ происходившихъ торжествахъ взоры публики упрямо искали эту крупную, характерную фигуру съ не- обыкновенно-добрымъ, симпатичнымъ лицомъ въ рамкѣ сѣдыхъ, до бѣлизны снѣга, и густыхъ волосъ. Еще при самомъ открытіи памятника, на площади предъ Страстнымъ монастыремъ, гдѣ только ни показывался Тургеневъ, всюду онъ былъ встрѣчаемъ восторженными привѣтами, въ особенности со стороны молодежи, видѣвшей въ немъ какъ бы живое олицетвореніе въ настоя- щемъ той русской поэзіи, которая почтена въ прошломъ открытіемъ памятника.

Когда волненіе публики нѣсколько улеглось, г. Тихонравовъ произнесъ свою весьма содержательную, рѣчь о значеніи Пуш- кина въ исторіи русской поэзіи. Упомянувъ о томъ переворотѣ, который послѣдовалъ за наполеоновскимъ погромомъ въ западно- европейской литературѣ, гдѣ старый «лже-классицизмъ» уступилъ мѣсто «романтизму», приведшему въ свою очередь къ сознанію національности, г. Тихонравовъ перешелъ къ разсмотрѣнію тѣхъ вліяній, подъ которыми созрѣвалъ геній Пушкина, начиная съ перваго дѣтства и юности. Сначала образцами для Пушкина служили французскіе поэты; въ первыхъ своихъ произведеніяхъ онъ еще придерживался приемовъ и преданій литературнаго классицизма и благоговѣлъ передъ Державиннымъ и другими стихотворцами екатерининской эпохи. Но этотъ подражательный періодъ продолжался у Пушкина не далѣе лицейской скамьи даже въ нѣкоторыхъ его лицейскихъ стихотвореніяхъ проби- вается иная струна, слышится иное вѣяніе. Мало по малу, онъ уже начинаетъ относиться къ Державину критически и видѣтъ въ немъ недостатки, которыхъ не замѣчалъ прежде. Переросши

узкія требованія классицизма, Пушкинъ является выразителемъ новыхъ идей и стремленій, отчасти политическаго характера, проникшихъ въ русское общество въ первую, либеральную, половину царствованія Александра I-го. Но отдавая дань байронизму, онъ не увлекается имъ вполне и остается все таки истиннымъ русскимъ поэтомъ, заимствуя изъ новаго направленія только то, что могло содѣйствовать развитію русскаго общества, и создавая въ то же время новыя перлы изящной русской рѣчи. По мѣрѣ развитія своего таланта, Пушкинъ становился все болѣе и болѣе на народную почву, сталъ почерпнуть сюжеты своихъ произведеній изъ родной исторіи и жизни, выказывая при разработкѣ ихъ глубокое пониманіе русскаго духа, русской національности. Пушкинъ же первый оцѣнилъ Гоголя и указалъ значеніе «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки»; онъ былъ, можно сказать, ближайшимъ и непосредственнымъ предшественникомъ Гоголя, который безъ него не могъ бы явиться. Присяжные критики того времени долго не могли оцѣнить поэзію Пушкина, и только Бѣлинскій раскрылъ великія заслуги поэта, оказавъ тѣмъ самымъ могущественное вліяніе на развитіе въ нашемъ обществѣ настоящаго пониманія искусства. Въ заключеніе, г. Тихонравовъ, указавши на то, что поэты не старѣются подобно ученымъ, и что ихъ произведенія остаются вѣчными, выразилъ мысль, что воспитательное вліяніе поэзіи Пушкина еще долго будетъ освѣщать своими лучами наше дальнѣйшее умственное движеніе.

Вслѣдъ за ректоромъ университета, профессоръ русской исторіи (преемникъ по кафедрѣ знаменитаго Соловьева) В. О. Ключевскій выяснилъ и освѣтилъ историческій элементъ пушкинскаго творчества. Основное положеніе лектора отличалось оригинальностью, которая и привлекла къ его чтенію вниманіе публики. Г. Ключевскій не усматривалъ серьезнаго историческаго значенія въ тѣхъ произведеніяхъ Пушкина, сюжетъ которыхъ былъ заимствованъ поэтомъ цѣликомъ изъ исторіи. Въ «Полтавѣ», «Борисѣ Годуновѣ» историкъ былъ отодвинутъ на второй планъ вдохновеннымъ пѣвцомъ; факты здѣсь приносились въ жертву поэтическимъ картинамъ. Но зато въ повѣсти, написанной бѣгло, между дѣломъ, безъ всякихъ претензій изслѣдователя,—въ «Капитанской дочкѣ»,—Пушкинъ, по мнѣнію г. Ключевского, сталъ на такую историческо-описательную высоту, что его же спеціальнѣйшій трактатъ по этому предмету—«Исторія Пугачевского бунта»—можетъ быть разсматриваемъ только какъ подробное примѣчаніе къ «Капитанской дочкѣ». Далѣе г. Ключевскій выставилъ длинную галерею пушкинскихъ типовъ, остроумно приведя ихъ въ

связь съ личностью Онѣгина и опредѣлить драгоцѣнное значеніе для исторіи, какъ науки, этихъ художественныхъ образчиковъ своего времени.

«Между этими типами—сказалъ г. Ключевскій—есть одинъ,— можетъ быть, самое своеобразное явленіе общественной физиологій. Онъ зародился лѣтъ 200 назадъ и, вѣроятно, долго проживетъ послѣ насъ. Ему трудно дать простое и точное названіе: въ разныя поколѣнія онъ являлся въ чрезвычайно разнообразныхъ формахъ. Достаточно указать на два имени въ его генеалогіи, чтобы видѣть степень его измѣнчивости. Едва ли не первымъ блестящимъ образчикомъ этого типа былъ администраторъ и дипломатъ XVII в. — Ординъ-Нащокинъ. Но скучающій отъ бездѣлья Евгеній Онѣгинъ былъ, въ прямой нисходящей, поэтическимъ потомкомъ этого историческаго дѣльца. Дадимъ этому типу имя сложное, какъ и онъ самъ: это—русскій человекъ, который выросъ въ убѣжденіи, что онъ родился не европейцемъ, но обязанъ стать имъ. Вотъ уже 200 лѣтъ этотъ типъ господствуетъ надъ остальными и по вліянію на наше общество, и по своему интересу для историка. Безъ его біографіи пустѣетъ исторія нашего общества послѣднихъ двухъ столѣтій. Около него сосредоточиваются, иногда отъ него исходятъ самыя важныя умственные, а подчасъ и политическія движенія».

При всей видимой измѣнчивости, основныя черты этого типа,— по словамъ г. Ключевскаго, — остаются однѣ и тѣ же во всѣхъ фазахъ его развитія. Слѣдя за нимъ, удивляешься не тому, что отцы и дѣти выходятъ не похожи другъ на друга, а тому, что столь не похожіе другъ на друга люди — все таки отцы и дѣти. Разнообразіе видовъ одного типа происходятъ отъ различныхъ способовъ рѣшенія культурнаго вопроса, который лежитъ въ самой его сущности: родившись русскимъ, рѣшивъ, что русскій — не европейецъ, какъ сдѣлаться европейцемъ? Первое поколѣніе этого типа вообще склонялось къ той мысли, что все русское надобно дѣлать по западно-европейски. Второе уже думало, что все русское хорошо было бы передѣлать въ западно-европейское. Чувствуя свое невѣжество, иногда находили, что надобно заимствовать съ Запада свѣтъ знанія, но безъ огня, которымъ можно обжечься; а въ другое время брала верхъ увѣренность, что можно взять этотъ свѣтъ цѣликомъ, только не слѣдуетъ подносить его близко къ глазамъ, чтобы не обжечься. Дале, одни думали, что можно стать европейцемъ, оставаясь русскимъ; другіе настаивали, что необходимо для этого перестат.

быть русскимъ, что вся тайна европеизаціи для насъ заключается въ совлеченіи съ себя всего національнаго... Этотъ типъ нельзя упрекнуть въ упрямствѣ и застоѣ: въ немъ, напротивъ, слишкомъ много нравственной гибкости и умственного движенія. Все это затрудняетъ его историческое изученіе, научную классификацію его разновидностей. Пушкинъ интересовался этимъ типомъ и любилъ нѣкоторыя его проявленія. Онъ и самъ представлялъ одну изъ его разновидностей—даровитую, воспримчивую, блестящую. Его наблюдалъ онъ вокругъ себя и изъ этихъ наблюденій создалъ своего Евгенія Онегина. Сознательно или нѣтъ, на разновременныхъ вариантахъ этого типа съ особенною любовью останавливался онъ и въ преданіяхъ прошедшаго. Этимъ онъ и помогъ много историку въ изученіи любопытнаго типа. Въ длинномъ рядѣ эскизовъ и повѣстей, конченныхъ и неконченныхъ, въ «Арапъ Петра Великаго», въ «Дубровскомъ», въ «Капитанской дочкѣ» и др., передъ читателемъ проходятъ разнохарактерныя фигуры этого типа, появлявшіяся на пространствахъ слишкомъ ста лѣтъ.

«Пушкинъ—такъ заключилъ г. Ключевскій свою характеристику—не мемуаристъ и не историкъ; но для историка большая находка, когда между собой и мемуаристомъ онъ встрѣчаетъ—художника. Въ томъ—значеніе Пушкина для нашей исторіографіи, по крайней мѣрѣ, главное и ближайшее значеніе». Слушатели наградили даровитаго профессора сочувственными рукоплесканіями.

VI.

Торжество 6 іюня шло, не прерываясь и все напрягая нервы участниковъ до послѣдней степени воспримчивости. Какъ только окончился университетскій актъ, приглашенныя лица съѣхались въ благородное собраніе на обѣдъ, устроенный для встрѣчи своихъ гостей московскимъ городскимъ обществомъ. Въ числѣ этихъ лицъ можно было видѣть весь цвѣтъ русскаго интеллигентнаго общества. Излишнимъ будетъ говорить, что самый обѣдъ отличался всею роскошью, какая только была доступна радушнымъ и глѣбосольнымъ хозяевамъ города. Первый тостъ за здоровье государя императора провозглашенъ былъ статсъ-секретаремъ Сауровымъ, приблизительно, въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

«За здоровье того, кто радуется всякою русскою радостью, скорбитъ всякимъ русскимъ горемъ, и чье имя произносится съ благоговѣніемъ на всемъ пространствѣ русской земли». Восторженное «ура» покрыло эти слова и слилось съ звуками народнаго

гимна. Второй тостъ провозгласилъ городской голова С. М. Третьяковъ: за здоровье отсутствовавшего принца Ольденбургскаго; имъ же поднять бокаль за членовъ семьи великаго поэта, изъ которыхъ старшій, командиръ нарвскаго гусарскаго полка, флигель-адъютантъ Александръ Александровичъ Пушкинъ, въ нѣсколькихъ словахъ, выразилъ общую ихъ признательность Москвѣ за любезное гостепримство и радушіе.

Затѣмъ поднялся съ своего мѣста И. С. Аксаковъ, «первый человекъ неофіціальной Москвы». Г. Аксаковъ слыветъ блестящимъ ораторомъ, и въ самомъ дѣлѣ онъ обладаетъ данными для ораторскаго успѣха: его выразительная фигура, хотя и при маломъ ростѣ, звучный голосъ, смѣлый тонъ рѣчи и искренность чувства—все это производитъ сильное впечатлѣніе на слушателя, даже не раздѣляющаго въ душѣ «славянофильскихъ» убѣжденій оратора. Зала притихла, и г. Аксаковъ отчетливо произнесъ:

«Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой»,—сказалъ Пушкинъ незадолго до смерти, въ справедливомъ сознаніи совершеннаго имъ подвига. И со всей Руси великой, отъ всѣхъ концовъ ея, съ верховныхъ высотъ власти и со всѣхъ общественныхъ ступеней, сошлись сюда вы, послы и представители всенароднаго мнѣнія, чтобы, предъ лицомъ всего міра, всею Россіей поклониться великому, во истину русскому поэту. Не мѣсто и не время пускаться здѣсь въ разсужденія о правахъ Пушкина на такое высокое наименованіе. Да и нѣтъ въ томъ надобности. Настоящимъ торжествомъ, принявшимъ такіе неожиданные, небывалые размѣры, превывсившіе всѣ первоначальныя программы, воочію, всевластно объявилось дѣйствительное, доселѣ, можетъ быть, многимъ сокрытое значеніе Пушкина для русской земли. Длиннень, мучителенъ русскому народу былъ переходъ отъ эпическаго творчества къ высшимъ формамъ искусства. Долга была ночь отрицанія, лжи, умственнаго и духовнаго рабства... Будто днемъ озарило Россію поэзіей Пушкина, и оправдалась наша народность, по крайней мѣрѣ, хоть въ сферѣ искусства. На немъ печать высшихъ даровъ нашего народнаго духа. Настоящее торжество—это побѣдное торжество, впервые въ лицѣ Пушкина расторгшаго свой плѣнъ и воспарившаго смѣлымъ свободнымъ полетомъ, народнаго поэтическаго генія. Настоящее торжество—это радостный благовѣстъ нашего мужающаго наконецъ самосознанія.

«Пушкинъ—это народность и просвѣщеніе; Пушкинъ—это: логъ чаемаго примиренія прошлаго съ настоящимъ; это—звекъ

органически связующее, хотя бы еще только въ области поэзіи, два періода нашей исторіи.

«Не случайно поэтому, а глубокий историческій смыслъ сказался въ томъ, что именно въ Москвѣ, въ древней исторической столицѣ русскаго народа, признаваемой и теперь средоточіемъ его духа, воздвиглась мѣдная хвала первому истинно русскому, истинно великому народному поэту... (мы опускаемъ процитированные г. Аксаковымъ стихи Лыкова, приведенные уже въ первой главѣ нашей статьи).

«Отъ имени Москвы, по уполномочію ея представителей, подымаю бокалъ—не въ память отъ насъ отшедшаго, но во славу неумирающаго, вѣчно живущаго межъ насъ поэта!»

Съ одушевленіемъ произнесенная, рѣчь эта вызвала не разъ громкое «браво» присутствующихъ. Г. Аксаковъ одушевлялъ торжество, придавъ ему широкое значеніе національнаго праздника, въ смыслѣ примиренія прошедшаго съ настоящимъ, и кстати польстилъ гордости Москвы, какъ «древней исторической столицы».

Говорившій вслѣдъ за Аксаковымъ, г. Катковъ не произвелъ и десятой доли того впечатлѣнія, которое выпало на долю его предшественника. Надо сказать правду: редакторъ «Московскихъ Вѣдомостей», отличающійся замѣчательнымъ публицистическимъ талантомъ, вовсе не надѣленъ отъ природы ораторскими качествами. Мутный, полупогасшій взглядъ, хриплый голосъ, и ни малѣйшей выразительности въ манерахъ и въ дикціи! Онъ говорилъ точно по тетрадѣ, заминаясь и путаясь на первыхъ словахъ, и только въ серединѣ рѣчи нѣсколько оживился. По странной прони судбѣ, г. Каткову, обзывавшему своихъ журнальныхъ собратьевъ «мошенниками пера и разбойниками печати» и еще очень недавно позволившему себѣ назвать Тургенева «опозореннымъ старикомъ»,—пришлось на пушкинскомъ праздникѣ явиться вѣстникомъ примиренія и простереть къ этимъ самымъ «разбойникамъ» и «опозореннымъ» людямъ свои дружескія объятія, отъ которыхъ они почли долгомъ уклониться. «На праздникѣ Пушкина—говорилъ г. Катковъ—предъ его памятникомъ собрались лица разныхъ мнѣній, быть можетъ, несогласныхъ, быть можетъ, непріязненныхъ. Вѣрно однако то, что всѣ собрались добровольно, стало быть, съ искреннимъ желаніемъ почтить дорогую всѣмъ память.

«Я говорю подъ сѣнію памятника Пушкина и надѣюсь, что мое искреннее слово будетъ принято въ добромъ смыслѣ всѣми, всѣми безъ исключенія. Кто бы мы ни были и откуда бы ни пришли, и какъ бы мы ни разнились во всемъ прочемъ, но въ этотъ

день, на этомъ торжествѣ, мы всѣ, я надѣюсь, единомышленники и союзники. И кто знаетъ, быть можетъ, это минутное сближеніе послужитъ для многихъ залогомъ болѣе прочнаго сближенія въ будущемъ и поведетъ къ замиренію, по крайней мѣрѣ, къ смягченію вражды между враждующими.

«Буду еще смѣлѣе. На русской почвѣ люди, также искренно желающіе добра, какъ искренно сошлись мы всѣ на праздникъ Пушкина, могутъ сталкиваться и враждовать между собою въ общемъ дѣлѣ только по недоразумѣнію. Къ сожалѣнію, недоразумѣнія составляютъ силу очень серьезную, которая не легко уступаетъ. Сила эта питается человѣческими слабостями...»

Впрочемъ, примирительное обращеніе г. Каткова было встрѣчено собраніемъ не безъ удовольствія, и многіе выразили надежду, что самъ ораторъ смягчитъ на будущее время свои «враждебныя» выходки и отучится отъ «слабости» — видѣть во всякомъ независимомъ мнѣніи измѣну и предательство. Тогда, можетъ быть, «благодатный миръ» и водворится, по зову оратора, въ русской печати, и безъ того не избалованной своимъ настоящимъ положеніемъ, а потому нуждающейся во внутреннемъ спокойствіи.

Преосвященный Амвросій (викарій московскаго митрополита), напомнивъ содержаніе рѣчи г. Ключевскаго, — который указалъ, какъ мы видѣли, на различные типы русскихъ людей, складывавшіеся въ духѣ подражанія Западу, — замѣтилъ съ своей стороны, что въ Пушкинѣ было затаенное желаніе, чтобы русскіе со временемъ стали сами собою, то есть настоящими русскими. Въ заключеніе, преосвященный провозгласилъ тостъ за объединеніе въ воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ всѣхъ русскихъ людей.

Словомъ, весь обѣдъ прошелъ въ самомъ добромъ, примирительномъ настроеніи, не оправдавъ предсказаній нѣкоторыхъ вѣстовщиковъ, что на этомъ обѣдѣ готовятся чуть не кровавыя демонстраціи. Всѣ, кромѣ самихъ вѣстовщиковъ, разблаговѣстившихъ свои сплетни въ нѣкоторыхъ газетахъ, поняли отлично, что на такомъ праздникѣ, какъ пушкинскій, совсѣмъ не мѣсто сводить личные счеты или пускать фейерверкъ задорнаго краснорѣчія.

VII.

«Общество любителей россійской словесности», издавна существующее въ Москвѣ, приняло ближайшее участіе въ пушкинскомъ празднествѣ и устроило по этому поводу два торжественныхъ «собранія» утромъ и два «вечера», посвященныхъ памяти

великаго поэта. Въ этихъ собраніяхъ наши лучшіе современные писатели и поэты произносили свои рѣчи и стихи въ честь Пушкина, а по вечерамъ они же читали публично избранныя его произведенія. Мы не имѣемъ, къ сожалѣнію, достаточно мѣста и времени, чтобы передать со всею подробностью содержаніе этихъ интересныхъ рѣчей; остановимся только на самыхъ выдающихся, да и то въ сжатомъ извлеченіи.

Первое торжественное засѣданіе «Общества любителей русской словесности» происходило въ благородномъ собраніи, которое любезно предоставило все свое обширное помѣщеніе къ услугамъ распорядителей праздника. Въ концѣ залы устроена была небольшая сцена и на ней бюстъ Пушкина, окруженный зеленью. 7-го іюня, къ часу пополудни, самая зала, мѣста за колоннами и хоры были уже переполнены депутатами и публикою. Нѣкоторыя изъ депутацій принесли вѣнки, которые и были помѣщены вокругъ и около бюста. Особенное вниманіе обратили на себя вѣнки: московскаго земства, народныхъ школъ московскаго уѣзда, частной гимназіи Поливанова и др. Засѣданіе открылъ предсѣдатель «общества» г. Юрьевъ, указавшій въ своей вступительной рѣчи на высокое значеніе настоящаго торжества въ честь ума и таланта. Затѣмъ, изъ международной любезности, слово было предоставлено иностранному гостю (единственному изъ пушкинскомъ праздникѣ)—депутату французской республики, профессору Луи Лежэ, появленіе котораго на кафедрѣ было встрѣчено знаками всеобщаго одобренія. Г. Лежэ, съ иностраннымъ акцентомъ, но совершенно внятно и правильно, на русскомъ языкѣ, сказалъ приблизительно слѣдующее привѣтствіе: «Посылая делегата на ваше литературное торжество, министерство народнаго просвѣщенія французской республики имѣло цѣлью выразить свою горячую симпатію къ умственному движенію, охватившему Россію, и засвидѣтельствовать свое удивленіе славному имени Пушкина. Имя Пушкина знакомо во Франціи наравнѣ съ именами Байрона и Гёте».

«Мы чувствуемъ себя счастливыми, что можемъ выразить на этомъ торжествѣ,—которое, къ сожалѣнію, было отерочено вслѣдствіе понесенной вами утраты, нашедшей живой отголосокъ и въ сердцахъ гражданъ Франціи (кончины государыни императрицы)—то горячее и неизмѣнное сочувствіе, съ которымъ мы слѣдимъ за судьбами русской литературы. Въ настоящее время, существуетъ во Франціи цѣлая группа людей, которая съ любовью изучаетъ произведенія русской литературы, съ такимъ же живымъ интересомъ, съ какимъ прежде изучались творенія классиковъ. Отъ имени этой группы я обращаю къ вамъ мое при-

вѣтственное слово и искренно заявляю, что честь представлять въ настоящую минуту французскую націю будетъ однимъ изъ отраднѣйшихъ воспоминаній моей жизни». «Не намъ говорить о Пушкинѣ, продолжалъ г. Лежэ. Мы здѣсь затѣмъ, чтобы слушать васъ, чтобы учиться и благодарить за тотъ истинно — братскій пріемъ, который мы нашли въ Россіи».

Академикъ Сухомлиновъ, характеризуя смыслъ и направленіе литературной дѣятельности Пушкина, сказалъ: «Пушкинъ исповѣдывалъ и проповѣдывалъ свободу поэтического творчества. Давно уже повторяется, какъ неоспоримая истина, что поэтъ долженъ чуждаться узкой исключительности и нетерпимости, что свѣтъ поэзіи, какъ и свѣтъ солнца, свѣтитъ на праведныхъ и неправедныхъ, и что объективное изображеніе жизни, во всей ея полнотѣ, составляетъ какъ бы нравственную обязанность поэта. Обинимая всѣ стороны человѣческой жизни, поэзія пріобрѣтаетъ внутреннюю силу и вліяніе, которое раньше или позже обнаруживается въ обществѣ и оставляетъ въ немъ неизгладимые слѣды... На поэзію Пушкинъ смотрѣлъ, какъ на святыню, и въ этомъ его историческая заслуга передъ русскою литературою. Подобно тому, какъ Ломоносовъ, доказывая, что занятіе науками, изученіе природы — свято, открывалъ путь для научныхъ изслѣдованій, вопреки невѣжеству и лицемерію, такъ и Пушкинъ, признавая поэзію святыней и требуя нравственнаго достоинства отъ ея служителей, завоевалъ ей право гражданства въ тогдашнемъ обществѣ, въ которомъ также господствовали предрасудки. Выше всего цѣня свою свободу, поэтъ, какъ понималъ его Пушкинъ, не жертвуетъ своими убѣжденіями для житейскихъ выгодъ, не требуетъ награды за свой благородный подвигъ, не падаетъ къ ногамъ того или другаго кумира, — ни передъ кѣмъ и ни передъ чѣмъ

не гнетъ ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи.

Не ту же ли мысль выражаетъ Гёте, заставляя своего пѣвца отказаться отъ золотой цѣпи, предложенной ему въ награду?.. Поэзія была для Пушкина не праздною забавой, а дѣломъ жизни, которому отдавалъ онъ свои лучшія силы и для котораго работалъ неутомимо. Да, именно работалъ. Онъ постоянно читалъ, изучалъ свои источники, дѣлалъ выписки, замѣтки и т. п.»

При своемъ высокомъ художественномъ достоинствѣ, поэтическія творенія Пушкина проникнуты сознаніемъ человѣческаго достоинства и сочувствіемъ къ лучшимъ движеніямъ человѣческой души; они имѣютъ то высокое нравственное значеніе, которое — по словамъ оратора — «яси

сознавали наиболѣе чуткіе изъ современниковъ поэта и самые даровитые критики послѣдующихъ поколѣній». «Гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ и истины», говорилъ Пушкинъ. Правдѣ своей на любовь и память народа онъ видѣлъ въ томъ, что въ стихахъ своихъ онъ пробуждалъ добрыя чувства и «милость къ падшимъ призывалъ». Особенное значеніе въ жизни Петра Великаго Пушкинъ придавалъ той, увѣковѣченной имъ, прекрасной минутѣ, когда всемогущій царь—

... съ подданнымъ мирится,
Виноватому вину
Отпуская, веселится,
Чашу пѣвнѣ съ нимъ одну.

Изъ сонма героевъ, покрывшихъ себя славою на ратномъ полѣ, Пушкина привлекалъ всего сильнѣе величественный образъ Барклая-де-Толли, въ которомъ воинская доблесть сливалась съ глубоко-нравственнымъ подвигомъ самоотверженія: для блага отвергнувшаго его народа великодушный вождь 1812 года пожертвовалъ собою, безмолвно уступая и свой лавровый вѣнецъ,

И власть, и замысль, обдуманную глубоко,
И въ полковыхъ рядахъ сокрылся одиноко.

Не слава побѣдъ, рѣшившихъ судьбу Европы, плѣняла Пушкина и въ Наполеонѣ — другомъ «властитель его думъ» — а та нравственная побѣда знаменитаго завоевателя надъ самимъ собою, когда, забывая опасность, онъ входилъ—какъ утверждала тогдашняя легенда — къ зачумленнымъ и подкрѣплялъ страдальцевъ словомъ участія. Въ заключеніе своей рѣчи, вызвавшей большое сочувствіе публики, г. Сухомлиновъ коснулся гражданской честности Пушкина и его прогрессивныхъ общественныхъ стремленій. Пушкину суждено было пережить тяжелую пору для нашей научной и литературной дѣятельности,—а именно конецъ царствованія императора Александра I-го. «Какой то злобный демонъ—по выраженію г. Сухомлинова — духъ разрушенія и гибели, парилъ надъ русскими университетами, изгоняя изъ нихъ служителей истиннаго Бога—Бога свѣта и знанія. Тотъ же духъ недовѣрія и преслѣдованія тяготѣлъ и надъ литературой. Писатели должны были умолкать на полусловѣ, и вслѣдствіе этого происходило то, что обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: недосказанная правда казалась ложью, а недосказанная ложь казалась правдою. (Взрывъ рукоплесканій прервалъ г. Сухомлинова на этихъ вѣрныхъ и меткихъ словахъ). Совершенную противоположность представляетъ эпоха предшествовавшая—начало XIX-го столѣтія, бывшее, вмѣстѣ съ тѣмъ, и нача-

ломъ царствованія императора Александра Павловича. Тогда люди государственные, участвовавшіе въ составленіи университетскаго устава, доказывали необходимость свободы изслѣдованія и преподаванія. Тогда составители цензурнаго устава открыто и прямо говорили противъ всякихъ стѣсненій печатнаго слова и добивались для него возможно-большой свободы. На чью же сторону склонялся Пушкинъ? Что говорили ему его свѣтлый умъ, его чистая совѣсть?—Пушкинъ выразилъ свой взглядъ самымъ опредѣленнымъ образомъ, и слова его должны сдѣлаться достояніемъ исторіи и девизомъ всѣхъ русскихъ университетовъ, всѣхъ истинныхъ друзей науки, литературы и просвѣщенія:

На попріящѣ ума нельзя намъ отступать».

Послѣ нѣсколькихъ минутъ перерыва, на кафедре вступилъ И. С. Тургеневъ. Дружные, неумолкаемые аплодисменты долго не давали говорить любимому романисту.

«Сооруженіе памятника поэту — такъ началъ г. Тургеневъ — сооруженіе, на праздникъ котораго сошлись представители всѣхъ русскихъ обществъ, всѣхъ учреждений, должно быть отмѣчено особымъ вниманіемъ. Любовь къ поэту привела сюда всѣхъ этихъ представителей, а сознаніе того, что Пушкинъ былъ первымъ русскимъ художникомъ — поэтомъ, — сплотило ихъ. Художественное воспроизведеніе идеала лежитъ въ основѣ жизни и у первобытныхъ народовъ, представляетъ одно изъ коренныхъ свойствъ ихъ. Оно является въ самые ранніе періоды развитія. Уже въ «каменный періодъ», когда первобытный человѣкъ начертилъ на каменномъ осколкѣ грубое изображеніе медвѣдя, онъ пересталъ быть дикаремъ. Когда же творческая сила сіяетъ выраженіемъ своего искусства, тогда народъ получаетъ мѣсто въ исторіи человѣческихъ обществъ и вступаетъ въ братскій обмѣнъ съ другими. Физиономію народу даетъ только искусство, — его душа, неумиравшая и переживающая существованіе самого народа. Что осталось намъ отъ Греціи, отъ древней Греціи? Ея душа: поэзія ея перваго поэта Гомера, ея искусство. Пушкинъ—нашъ первый поэтъ».

Переходя къ существу заслугъ, оказанныхъ Пушкинымъ русской литературѣ, Тургеневъ выразилъ мнѣніе, что нашимъ потомкамъ еще долго придется слѣдовать по пути, проложенному Пушкинымъ, у котораго свойства поэзіи вполне совпадаютъ съ свѣтлою личностью. «Сила пушкинскаго языка, прямота, правдивою искренностью и честность поражаютъ даже иностранцевъ. Сужденіе этихъ послѣднихъ для насъ драгоцѣнно, такъ какъ мы свободны отъ увлеченія; ихъ не подкупаетъ общее поклоненіе.

сѣдѣя съ Меримэ (извѣстнымъ французскимъ писателемъ, который много способствовалъ ознакомленію своихъ соотечественниковъ съ нашимъ поэтомъ), я услышалъ отъ него слѣдующее: «Ваша поэзія ищетъ прежде всего правды, а красота является сама собою. Не то — другіе поэты, гонящіеся за эффектами и красотой: тѣ бываютъ правдивыми только тогда, когда правда повернется имъ сама подъ руку. У Пушкина красота рождается изъ трезвой правды». Когда Меримэ прочиталъ «Анчаръ» и остановился на послѣднихъ стихахъ, онъ сказалъ: «а вотъ наши поэты не удержались бы отъ комментаріевъ». Меримэ поражала способность Пушкина подходить близко къ явленіямъ, брать ихъ, такъ сказать, «за рога», и образъ пушкинскаго Донъ-Жуана увлекалъ французскаго ученаго. Пушкинъ былъ центральнымъ художникомъ. Самое присвоеніе чужихъ формъ совершалось имъ съ самобытностью, хотя, къ сожалѣнію, иностранцы не хотятъ въ насъ признавать этого качества, называя его ассимиляціей (или способностью подражанія, переимчивости). Лучшимъ доказательствомъ противнаго служить «Скупой рыцарь». Это такая смѣна страстей, такіа строки, подъ которыми съ гордостью подписался бы Шекспиръ». «Но, бывши центральнымъ, всемірнымъ художникомъ — спрашивалъ далѣе г. Тургеневъ — былъ ли Пушкинъ народнымъ поэтомъ? По совѣсти, не могу дать ему этого названія, хотя и не дерзаю отнять его... Пушкину приходилось сдѣлать слишкомъ много; онъ одинъ исполнилъ двѣ работы: установилъ языкъ и создалъ литературу». Такой осторожный, уклончивый отвѣтъ г. Тургенева на вопросъ о «народности» пушкинской поэзіи объясняется тою неопредѣленностью, которою вообще страдаетъ этотъ терминъ, въ особенности у насъ, какъ у народа все еще молодаго, слабо развитаго и до сихъ поръ еще не выразившаго своей національной фізіономіи въ строго опредѣленныхъ чертахъ...

Упомянувъ наконецъ о томъ, какъ цѣнили Пушкина современники и какъ охладѣвало къ его поэзіи наше общество шестидесятыхъ годовъ, г. Тургеневъ такъ охарактеризовалъ это послѣднее явленіе:

«Къ Пушкину были несправедливы послѣдующія поколѣнія: они охладѣли, но охлажденіе это имѣетъ причину въ судьбѣ народа, въ его историческомъ развитіи. Настало новое время; появились неожиданныя, небывалыя потребности; намъ стало не до художественности... Чувства Пушкина сдѣлались въ такую минуту анахронизмомъ. Общество пошло на торжище; нужна была метла, чтобы вымести художественность, и центральный художникъ смѣнился «поэтомъ мести и печали»... Многіе хотѣли видѣть въ этомъ временномъ отклоненіи упадокъ литературы. Неправда! Падаетъ

только мертвое, неорганическое, а все живое лишь измѣняется. Россія растеть; всѣ ея кризисы и противорѣчія доказываютъ только жизнь; а исторія и наука говорятъ, что жизнь невозможна безъ борьбы. Оплакивать старое время, желать во чтобы то ни стало повернуть общество къ старому могутъ только близорукіе люди. Общество идетъ впередъ, и вотъ черезъ нѣкоторое время отклоненіе съ пути исправляется, и общество возвращается на тропу, указанную Пушкинымъ. Еслибы то событіе, которое совершилось вчера, еслибы открытіе памятника произошло 15 лѣтъ тому назадъ, оно было бы справедливою данью заслугамъ поэта, но между нами не было бы такого единодушія, какъ теперь. Нѣсколько поколѣній прошло послѣ Пушкина, для которыхъ его имя было только имя, но теперь къ поэту возвращается и юность, не разочарованная неудачами, и люди зрѣлаго возраста. Пушкинъ далъ очень много, и вся послѣдующая литература заняла у него слишкомъ много, а законы искусства вѣчны. Знамя его поэзіи на время затемнила пыль, поднятая житейской борьбою, но теперь опять засіялъ побѣдный стягъ. Сіи же и гласи русскому народу о правѣ его называться великимъ народомъ! Пускай у памятника Пушкина остановится всякій и скажетъ, что ему онъ обязанъ свободой, свободой нравственной. Пускай сыновья народа будутъ сознательно произносить имя Пушкина, чтобы оно не было въ устахъ пустымъ звукомъ и чтобы каждый, читая на памятникѣ подпись—«Пушкину», думалъ, что она значитъ—учителю».

Какъ бы въ подтвержденіе того, что имя Пушкина становится дѣйствительно народнымъ достояніемъ и, путемъ образованія, проникаетъ все глубже и глубже въ массу народа, до самыхъ низшихъ слоевъ его, — въ томъ же засѣданіи общества любителей россійской словесности прочтенъ былъ весьма толково составленный адресъ отъ крестьянъ Тверской губерніи, въ которомъ говорится, что нынѣшній свободный русскій народъ «понимаетъ значеніе великаго дѣятеля въ творчествѣ божьяго слова», и проводится параллель между эпохою крѣпостнаго права и нашимъ временемъ—«временемъ свободного народнаго труда, когда великій поэтъ становится доступенъ этому народу».

Провожали Тургенева также восторженно, какъ и встрѣчали, и вообще онъ былъ настоящимъ героемъ этого утра. Второе засѣданіе «общества», послѣдовавшее на другой день (8 іюня), выдвинуло впередъ новаго героя и властителя праздника—Фед. Ми. Достоевскаго. Очевидецъ впечатлѣнія, произведеннаго этимъ ораторомъ, я могу засвидѣтельствовать, что оно было громадное, потрясающее,—такое, какого не приходилось видѣть мнѣ и испи

тивать самому: сдержанные, пожилые мужчины плакали, дамы и юноши впадали въ истерическое состояніе. Передъ нами воочию раскрывалось могущество и обаяніе страстнаго слова. Но, перечитывая теперь въ печати «историческую» рѣчь г. Достоевскаго, я съ трудомъ уже понимаю восторгъ, возбужденный ею. Въ ней много противорѣчій, недодѣланности, даже фальши, которая теперь кидается просто въ глаза, но которую я только смутно замѣчалъ въ моментъ произнесенія рѣчи. Характеристика Алеко, какъ русскаго человѣка, который только что задумался надъ общественными вопросами, но «еще не умѣетъ правильно высказать тоски своей: у него все это какъ-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природѣ, жалобы на свѣтское общество, міровыя стремленія, плачь о потерянной гдѣ-то и кѣмъ-то правдѣ, которую онъ никакъ отыскать не можетъ» — эта характеристика была бы превосходна, еслибъ тутъ же не высказывалась мысль, что общественныя учрежденія — ничто, что «правда находится внутри человѣка» и что какъ бы ни были тяжелы тогдашнія общественныя формы (крѣпостное право, судебная тайна, произволъ надъ личностью во всѣхъ его видахъ) — все таки Алеко не изъ чего было волноваться, и едва ли онъ не съ жиру бѣсился. «Не въ вещахъ эта правда — восклицалъ г. Достоевскій — не внѣ тебя и не за моремъ гдѣ нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя (кажется, ужъ во времена-то Алеко всѣ были усмирены достаточно!) — и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себя, и начнешь великое дѣло, и другихъ свободными сдѣлаешь (т. е. свободными только внутри себя, безъ права заявить эту свободу въ пространствѣ и времени), и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконецъ народъ свой и святую правду его». Слыхали мы давно, г. Достоевскій, эти рѣчи: ихъ проповѣдуютъ всѣ искренніе или притворные аскеты, которые хотятъ замкнуть человѣка въ его внутреннемъ мірѣ, забывая, что большая часть психическихъ впечатлѣній получается нами извнѣ, отъ людей и окружающей природы, а не рождается произвольно въ нашихъ головахъ. Оставьте человѣка дурными, несправедливыми общественными учрежденіями, подавите его съ дѣтства впечатлѣніями зла и глумленія надъ правомъ — и какой-такой свободный внутренній міръ образуется, подъ этими вліяніями, въ его душѣ?! Мы говоримъ, конечно, о среднемъ человѣкѣ, о простомъ смертномъ, наполняющемъ вселенную, а не о великанахъ мысли и дѣла, которые умѣютъ подчинять

себѣ и людей, и даже природу. Но исключенія не отрицають, а, наоборотъ, подтверждаютъ общее правило.

Очеркъ Татьяны сдѣланъ г. Достоевскимъ великолѣпно, мастерскою рукою художника, хотя, можетъ быть, и пристрастною кистью; но Онѣгинъ — этотъ «русскій скиталецъ, скиталецъ до нашихъ дней», этотъ второй Алеко, — опять таки слишкомъ униженъ передъ нею. Онъ буквально брошенъ ей подъ ноги. Это даже и не разсчитливо, потому что въ концѣ своей рѣчи г. Достоевскій, вольнымъ пируэтомъ мысли, пришелъ таки къ тому выводу, что наша «всемирная отзывчивость», наша тоска по идеалѣ, наша способность «перевоплощенія своего духа въ духъ чужихъ народовъ» (т. е. тѣ самыя качества, которыми болѣютъ и гордятся наши скитальцы) и составляютъ высшія типическія черты русскаго народа, открывающія ему широкій путь общечеловѣческаго развитія.

Но всѣ эти прорѣхи, недосказанности и противорѣчія блистательно покрывались страстнымъ увлеченіемъ оратора, его крупнымъ художественнымъ талантомъ, его горячею, мистическою вѣрою въ высокую судьбу своего отечества, — и патріотически настроенная публика поддалась вполне очарованію этой страсти и вѣры.

Изъ поэтическихъ произведеній, посвященныхъ личности Пушкина, наибольшимъ сочувствіемъ встрѣчены были прекрасные стихи А. Н. Плещеева, которые мы и позволимъ себѣ привести здѣсь цѣликомъ:

Памяти Пушкина.

Мы чтить тебя привыкли съ дѣтскихъ лѣтъ,
И дорогъ намъ твой образъ благородный.
Ты рано смолкъ, но въ памяти народной
Ты не умрешь, возлюбленный поэтъ.

Безсмертенъ тотъ, чья муза до конца
Добру и красотѣ не измѣняла,
Кто волновать умѣлъ людей сердца
И въ нихъ будить стремленье къ идеалу.

Кто сердцемъ чистъ средь пошлости людской,
Средь лжи — кто вѣренъ правдѣ оставался,
И кто берегъ ревниво свѣточъ свой,
Когда на міръ унылый мракъ спускался.

И все еще горятъ намъ свѣточъ тотъ,
Все гений твой пути намъ освѣщаетъ...

Чтобъ духомъ мы не пали средь невзгодъ,
О красотѣ и правдѣ онъ вѣщаетъ.

Всѣ лучшіе порывы посвящать
Отчизнѣ ты зовешь насъ изъ могилы;
Въ продажный вѣкъ, вѣкъ лжи и грубой силы,
Зовешь добру и истинѣ служить.

Вотъ почему неизгладимый слѣдъ
Тобой оставленъ въ памяти народной;
Вотъ почему, возлюбленный поэтъ,
Такъ дорогъ намъ твой образъ благородный.

VIII.

Были и еще рѣчи, произносились и еще стихи во славу великаго поэта - гражданина. Но мы не будемъ приводить ихъ, такъ какъ и того, что заимствовано нами, уже вполне довольно, чтобы составить себѣ понятіе какъ объ общемъ характерѣ праздника, такъ и о тѣхъ сторонахъ литературной дѣятельности Пушкина, которыя возбудили къ себѣ наибольшую симпатію современнаго русскаго общества.

Но почему же пушкинскій праздникъ прошелъ съ такимъ небывалымъ у насъ блескомъ, восторгомъ и единодушіемъ? почему онъ «превысилъ (по выраженію г. Аксакова) всѣ первоначальныя программы и принялъ такіе неожиданные размѣры»? Что особеннаго приурочилось къ этому торжеству, чтобы сдѣлать изъ него не только литературное, но и политическое событіе?

Отвѣтъ на это уже данъ всѣми органами русскаго общественнаго мнѣнія, нашими журналами и газетами, — данъ откровенно, прямо, съ достоинствомъ сознающей себя и свою власть умственной силы. На пушкинскомъ праздникѣ присутствовала возросшая и окрѣпшая общественная мысль, готовая ко всякой широкой дѣятельности и только жаждущая для себя новыхъ путей и законныхъ огражденій. Надежды и стремленія нашей интеллигенціи чувались всюду: во всѣхъ рѣчахъ и тостахъ, во всѣхъ адресахъ и телеграммахъ; они скользили въ частныхъ бесѣдахъ, и имъ же оглушительно рукоплескала публика, слыша ихъ съ кафедръ. Эти стремленія и надежды громогласно говорили, что русское образованное общество — не миѳъ и не безформенная, рыхлая масса, что оно заслужило себѣ аттестатъ зрѣлости, въ которомъ ему отказываютъ только реакціонеры и злонамѣренные люди, что его направленіе патріотично въ лучшемъ смыслѣ этого слова — въ смыслѣ честнаго, сознательнаго служенія интересамъ добра,

правды и просвѣщенія въ родной странѣ. Но для того, чтобы это патріотическое направленіе могло развиваться и крѣпнуть на пользу общую, ему нужно освободиться отъ всякихъ подозрѣній и недовѣрія, отъ разныхъ преградъ и пеленокъ; ему приличествуютъ и большій просторъ мысли и слова, и большія права въ общественной самодѣтельности.

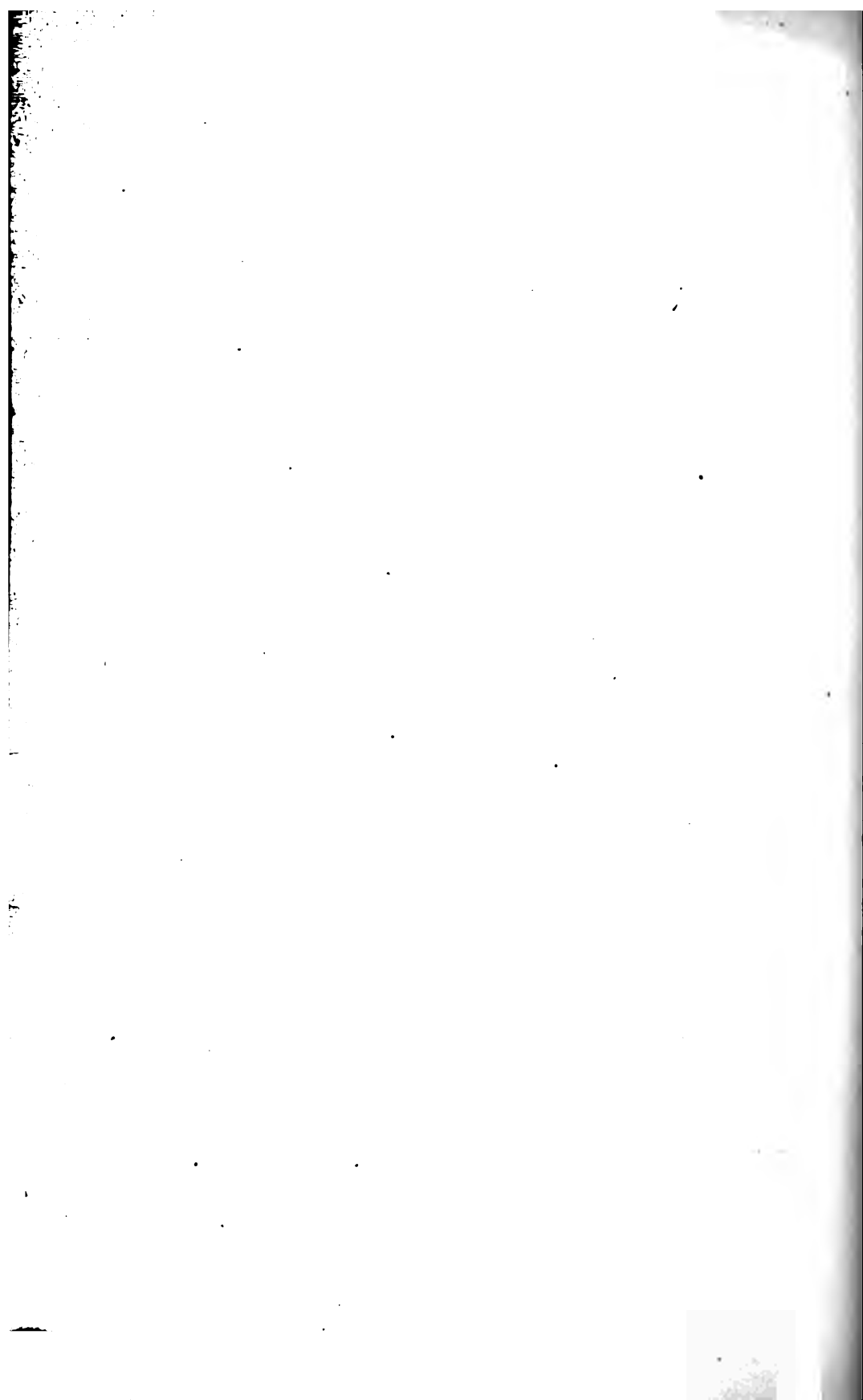
Чѣмъ же знамя справедливѣе было поставить надъ этимъ общественнымъ движеніемъ, какъ не знамя великаго поэта—«свѣтеля свободы», проповѣдника уваженія къ человѣческой личности?



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

	СТРАН.
Отъ автора	3
1. О жизни и сочиненіяхъ Фонъ-Визина. I—II	5
2. Осьмнадцатый вѣкъ въ русской исторіи. I—IV	50
3. Наши классики въ характеристикахъ г. Галахова. I—VII	95
4. О новѣйшемъ преподаваніи русской литературы и др. предметовъ. I—II	167
5. Новая передѣлка карамзинской теоріи. I—II	184
6. Опытъ философской разработки русской исторіи. I—IV	196
7. Идея гражданского брака въ русскомъ расколѣ. I—II	221
8. Цензурный проэктъ Магницкаго. I—IV	237
9. Пушкинскій праздникъ въ Москвѣ	265



ИЗЪ ИСТОРИИ
НАШЕГО
ЛИТЕРАТУРНАГО И ОБЩЕСТВЕННАГО
РАЗВИТІЯ.

МОНОГРАФІИ И КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ

А. П. ПЯТКОВСКАГО.

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

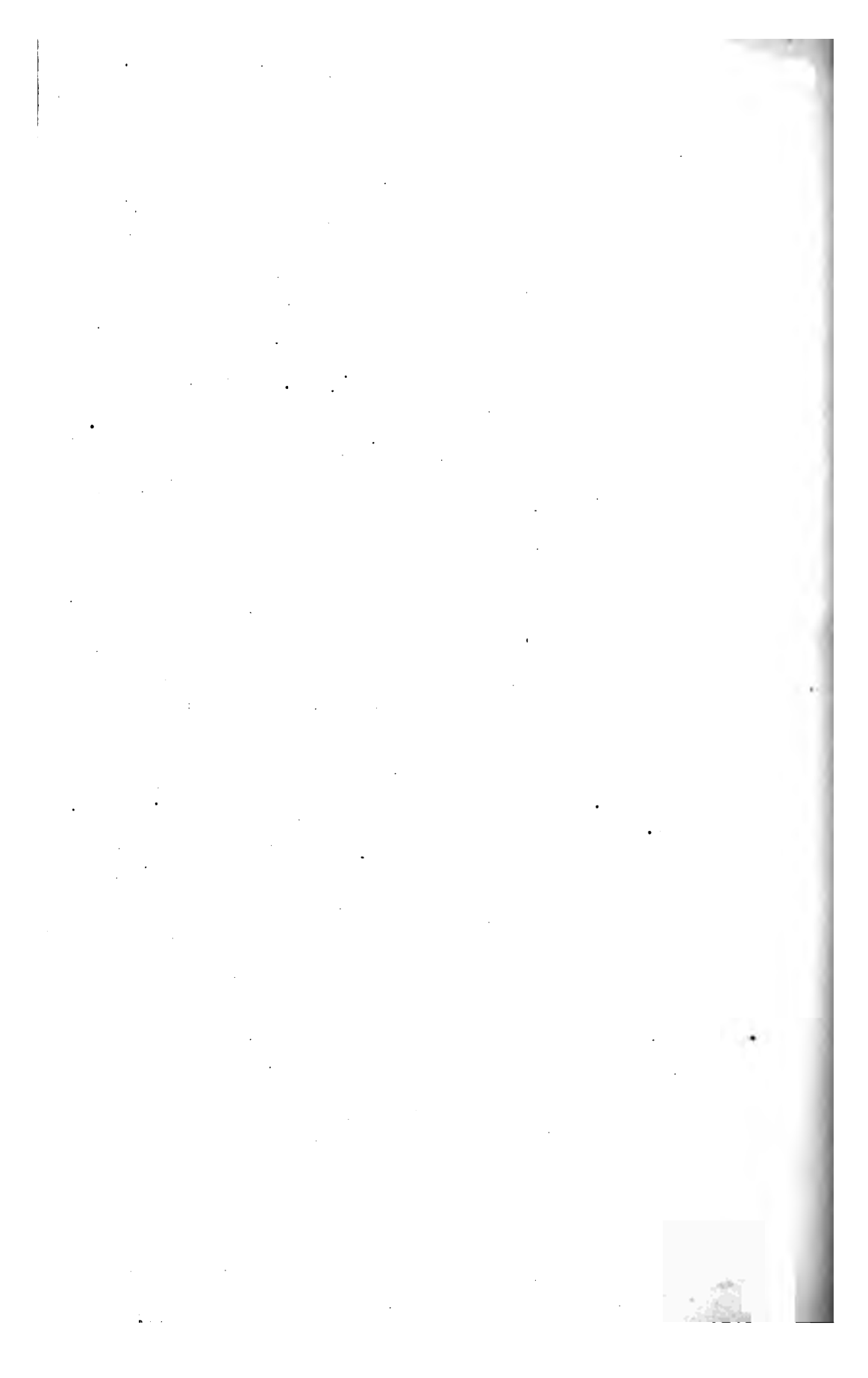
ЧАСТЬ II.

ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ С. ДОБРОВОДОВА, КОВЕНСКІЙ ИЕР., СОБСТВ. ДОМЪ, № 14.
1888.



ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ.

I.

Взглядъ Петра Великаго на значеніе прессы.—Русская типографія въ Амстердамѣ; переводъ иностранныхъ книгъ политическаго содержанія на русскій языкъ.—Подкупъ иностранныхъ журналовъ; полемика Гюйссена съ Нейгебауэромъ.—Феофанъ Прокоповичъ.—Значеніе древнихъ курантовъ.—Первыя русскія „Вѣдомости“ 1703 г.; ихъ содержаніе и характеръ ¹⁾).

Съ тѣхъ поръ какъ Россія XVIII-го столѣтія была вдвинута волей-неволей въ кругъ европейскихъ державъ,—ей понадобились и всѣ атрибуты, всѣ матеріальныя и нравственныя поддержки европейской цивилизаціи. Самъ гениальный преобразователь понималъ это очень хорошо и спѣшилъ перенести въ Россію, прежде всего, тѣ практическіе плоды европейской науки, которые, въ видѣ военнаго, морскаго и инженернаго дѣла, были такъ необходимы вновь сформировавшемуся на европейскій ладъ государству, окруженному сильными и небезопасными сосѣдями. Заведены были: регулярная армія, флотъ, инженерное и морское училища; все это пригодилось намъ въ послѣдующихъ войнахъ. Но Европа, въ то время, была уже богата не одними внѣшними плодами цивили-

¹⁾ Въ предлагаемыхъ очеркахъ мы намѣрены представить, въ нѣкоторой связи, явленія русской журналистики,—начиная съ того момента, когда Петръ I-й самъ сталъ пользоваться печатью для своихъ государственныхъ цѣлей, и кончая второй половиной царствованія Александра I, когда правительство сочло уже нужнымъ наложить на эту печать серьезныя ограниченія. Въ большія библиографическія подробности мы вдаваться не будемъ; явленія мелкія и неинтересныя совсѣмъ не войдутъ въ наши статьи; но за нитью развитія, опредѣляющей всѣ измѣненія въ характерѣ прессы,—мы будемъ слѣдить внимательно и укажемъ ее, гдѣ нужно, или прямо, или же подборомъ фактовъ. Статья „Журнальный Триумфъ“ можетъ служить продолженіемъ очерковъ.

лизации, не одной технической стороною знанія: въ ней понемногу развивалась и крѣпла другая сила, сила общественнаго мнѣнія, руководимаго политической печатью. На эту силу также обратилъ вниманіе Петръ I, и задумалъ воспользоваться ею для своихъ преобразовательныхъ плановъ; печатный станокъ, выпускавшій до него почти исключительно книги богословскаго содержания, съ примѣсю полу-свѣтскихъ, полу-духовныхъ произведеній кievской учености,—теперь началъ помогать дѣлу реформы распространеніемъ научныхъ свѣдѣній и политическихъ взглядовъ въ европейскомъ духѣ. При Петрѣ появились и первыя русскія «Вѣдомости».

Какимъ же именно образомъ практиковалъ Петръ Великій научную и политическую пропаганду посредствомъ печатнаго станка? Его личные взгляды имѣютъ, конечно, при этомъ большую важность, и наша исторія была бы далеко неполна безъ знанія тѣхъ общихъ условій, въ которыхъ находились, въ извѣстное время, всѣ произведенія научно-политическаго свойства.

Изъ грамоты Яну Тессингу, подписанной въ 1700 г., видно, что она дана была по его просьбѣ «за учиненныя имъ великому посольству (русскому) службы» съ тѣмъ чтобы онъ, Тессингъ, завелъ въ Амстердамѣ типографію и печаталъ въ ней земныя и морскія картины, и чертежи, и листы, и персоны, и математическія, и архитектурныя, и городостроительныя и всякія ратныя и художественныя книги на славянскомъ и латинскомъ языкахъ вмѣстѣ, тако и славянскомъ и голландскомъ языкомъ по особну, отъ чего бѣ русскіе подданные много службы и прибыли могли получать и обучатися во всякихъ художествахъ и вѣдѣніяхъ». Напечатанные Тессингомъ чертежи и книги дозволялось ему привозить къ Архангельску, а также и въ другіе города «повольною торговлею, съ платежемъ указанныхъ пошлинъ». Продавцы книгъ изъ другихъ типографій, въ Россіи, подвергались штрафу въ 300 сѣмковъ, изъ которыхъ третья часть шла въ пользу Тессинга; самыя же книги конфисковывались. Духъ и направленіе книгъ, напечатанныхъ въ типографіи Тессинга, опредѣлялись слѣдующими словами грамоты: «чтобъ тѣ чертежи и книги напечатаны были къ славѣ великаго государя межъ европейскими монархи и ко общей народной пользѣ и прибытку, пониженія бѣ нашего царскаго величества пръ высокой чести и государства нашего въ славѣ и тѣхъ чертежахъ и книгахъ не было». Упорно стремясь къ своей цѣли—цивилизовать русскій народъ хотя бы и крутыми, унаследованными отъ прежнихъ вѣковъ, мѣрами,—Петръ I-й не с

навливался ни передъ какими препятствіями и не смутился тѣмъ обстоятельствомъ, что на первыхъ порахъ книги, напечатанныя въ амстердамской типографіи, расходились весьма плохо, а въ 1703 г. одинъ голландскій купецъ, торговавшій этимъ товаромъ, писалъ къ царю, что онъ въ своей торговлѣ понесъ убытокъ, «понеже купцовъ и охотниковъ въ земляхъ вашего царскаго величества зѣло мало». Но охота учиться, вмѣстѣ со вкусомъ къ чтенію, распространялась мало по малу въ верхнихъ слояхъ народа. Желая видѣть въ изданіяхъ амстердамской типографіи только то, что могло бы служить «къ славѣ великаго государя и навѣвающей похвалѣ всему російскому царствію», правительство очень обезпokoилось, когда славянскій шрифтъ попалъ (около 1708 г.) въ руки шведовъ, и они стали печатать имъ различныя воззванія, какъ напр., къ малороссамъ. Вѣрно было «такимъ людямъ ловить и разспрашивать, гдѣ кто такіа письма (т. е. прокламаціи) взялъ, и на кого скажутъ, и тѣхъ людей сыскивать со всякимъ вѣрликимъ прилежаніемъ». Кромѣ книгъ чисто ученаго содержанія, Петръ приказалъ переводить и такіа сочиненія, въ которыхъ, на основаніи началъ, добытыхъ развитіемъ науки и политической жизни, излагались новыя взгляды на общественныя отношенія или сообщались свѣдѣнія о политическомъ устройствѣ иноземныхъ государствъ, ихъ законахъ и современномъ состояніи. Къ такимъ переводамъ относятся: Пуффендорфа—«Введеніе въ исторію европейскую» и «О должностяхъ челоѣка и гражданина»; Гуго Гроція—«О законахъ естества и народовъ» и пр. и пр. Особенно цѣнилъ Петръ сочиненія Пуффендорфа, называя его «мудрымъ законознателемъ». Ученый этотъ былъ послѣдователемъ Гуго-Гроція и Гоббса. Онъ первый началъ читать въ Гейдельбергѣ народное и естественное право, онъ также первый осмѣлился указывать на недостатки и несообразности современнаго ему устройства Германіи. Его книга: «De statu reipublicae germanicae» надѣлала въ свое время много шума, и Пуффендорфъ до самой смерти не отрывалъ псевдонима (Мозамбана), подъ которымъ онъ выпустилъ ее въ свѣтъ. Исторію Пуффендорфъ излагалъ съ политической точки зрѣнія и свое «Введеніе» къ исторіи замѣчательнѣйшихъ европейскихъ государствъ предназначалъ, какъ руководство государственнымъ людямъ. Здѣсь откинута прежняя рутина, бесполезныя филологическія тонкости, и вниманіе обращено на внутреннее состояніе государствъ, на обстоятельства, служившія причинами возвышенія и упадка ихъ. Рассказываютъ при этомъ, что Бужинскій, переводчикъ Пуффендорфа, выпустилъ одно рѣзкое мѣсто въ его исторіи, но Петръ назвалъ его за это

глупомъ и приказалъ перевести ¹⁾. Въ другомъ же своемъ сочиненіи: «О должностяхъ челоѣка и гражданина» Пуффендорфъ стремился опредѣлить, на началахъ естественнаго права, роль каждаго гражданина въ государствѣ, причину возникновенія законовъ, ихъ значеніе и степень нравственной обязательности для общества. Отъ закона, издаваемаго правительственною властью, авторъ требуетъ уже внутренней, покоряющей себѣ силы, требуетъ логики, убѣдительно для каждаго здравомыслящаго челоѣка. «Кто бы ни единой причины показать не можетъ, для чего мнѣ, и не хотящу, обязательство хочеть наложить, кромѣ единого насилія, той мене устрашить можетъ, дабы, зля вянцаго удаляясь, ему повиновался. Но когда страхъ минуетъ, тогда все могу паче по моей волѣ, нежели по его дѣлать» (§ 5, II гл.). Итакъ, страхъ наказанія признается Пуффендорфомъ недостаточной гарантіей для исполненія закона; безъ разсудительныхъ новодовъ и подкрѣпленный «единымъ насиліемъ», законъ есть только личная прихоть власти ²⁾. Само собой разумѣется, что въ петровское время подобное пониманіе закона не всегда переходило въ дѣйствительность; но, тѣмъ не менѣе, новыя понятія объ общественныхъ правахъ и обязанностяхъ западали въ умы по инициативѣ самой верховной власти.

Сближаясь для своихъ государственныхъ цѣлей съ Западною Европою, русскій царь дорожилъ толками о себѣ, возбуждавшими въ европейской печати. «Петръ Великій—пишетъ г. Пекарскій въ своемъ изслѣдованіи ³⁾, — понималъ очень хорошо силу и значеніе общественнаго мнѣнія въ Европѣ и сознавалъ то вліяніе, которое имѣли на него, даже и въ началѣ XVIII-го сто-

¹⁾ Вотъ что, между прочимъ, говорится въ этомъ мѣстѣ: „Зазорныя же (русскіе) и невоздержательны суть, свирѣпы и кровежаждущіе челоѣки, въ вещѣхъ благополучныхъ безчинно и нестерпимую гордостію возносятся; въ противныхъ же вещѣхъ низложеннаго ума и сокрушеннаго... ко прибыли и лихвѣ, хитростію собираемой, никій же народъ паче удебенъ есть. Рабскій народъ рабски смиряется, и жестокостію власти воздержатися въ повиновеніи любятъ, и якоже всѣ игры въ бояхъ и равныхъ у нихъ состоятся, тако бичевъ и плетей у нихъ частое есть употребленіе“. Бужинскій, хоть, можетъ быть, и отливывался, но все таки перевелъ эту тираду. — Слѣдуетъ однако замѣтить, что Петръ I-й былъ болѣе щекотливъ, когда критика касалась его правленія, нежели когда она поражала недостатки управляемаго имъ народа.

²⁾ Любопытно, что переводъ исторіи Пуффендорфа былъ запрещенъ въ продажѣ при Аникѣ Іоанновнѣ—вѣроятно, за „опасный“ либерализмъ—но черезъ нѣсколько лѣтъ опала была снята съ него.

³⁾ «Наука и литер. при Петрѣ В.» Т. I, стр. 90—91.

лѣтія, журналистика и различныя политическія изданія. О Россіи петровскихъ временъ европейскіе журналы и публицисты говорили или съ насмѣшками, когда дѣло шло объ умственномъ состояніи страны, или съ опасеніями, похожими на страхъ римлянъ при слухахъ о варварахъ, когда получались извѣстія о воинскихъ успѣхахъ русскаго царя. Видя это, Петръ желалъ, чтобы журналисты и издатели были на его сторонѣ, т. е. они должны были увѣрять европейскую читающую публику, что въ Россіи не такъ все плохо, какъ это обыкновенно принято думать, что, напротивъ, тамъ происходитъ много примѣчательнаго по волѣ царя и вслѣдствіе распоряженій его министровъ, которые, всѣ безъ исключенія, отличнѣйшіе, образованнѣйшіе люди и т. д. Чтобы имѣть такіе печатные отзывы, полагали въ тѣ времена достаточнымъ казнить съ десятокъ голодныхъ журналистовъ и писателей, которые и обязывались писать статьи о Россіи въ извѣстномъ направленіи, сообразномъ съ видами правительства. Адвокатовъ за Россію изъ европейскихъ журналистовъ и писателей вербовали во всѣхъ государствахъ — и это было спеціальностью барона Гюйсена. Послѣ Петра, у насъ не хлопотали о томъ, что будутъ писать о Россіи за границей, а потому и нашего агента по этой части предали забвенію, и онъ, когда фонъ-Гавенъ (датск. путешественникъ 1736 — 1740 г.) былъ въ Россіи, — вынужденнымъ напедся напомнить о себѣ въ подробной запискѣ, гдѣ не пропущено ни одного учено-литературнаго путешествія барона въ Германію на пользу Россіи. Этотъ Гюйсенъ, первый офиціальный въ Россіи публицистъ, былъ прежде совѣтникомъ при княжескомъ домѣ Вальдекъ; но потомъ, вызванный въ Россію Паткулемъ, посвятилъ свой литературный талантъ новому отечеству. Въ условіяхъ, заключенныхъ имъ съ Петромъ, онъ бралъ на себя, между прочимъ, слѣдующія обязанности: 1) переводить, печатать и распространять царскія постановленія, издаваемые для устройства военной части въ Россіи; 2) склонять голландскихъ, германскихъ и другихъ странъ ученыхъ, чтобы они посвящали царю или членамъ его семейства, или наконецъ царскимъ министрамъ замѣчательныя изъ своихъ произведеній, преимущественно касающіяся исторіи, политики и механики; также, чтобы эти ученые писали статьи къ прославленію Россіи. Этотъ литературный контрактъ напоминаетъ собой грамоту, выданную Тессингу: и тутъ, и тамъ выражается одинаково заботливость о прославленіи царя и Россіи: Худой молвы Петръ Великій вообще боялся, и если вѣрить Нейгебауэру, о которомъ мы будемъ сейчасъ говорить, изъ Россіи того времени нелегко

выпускали иностранцевъ-офицеровъ, именно по боязни, чтобы они не стали разглашать въ Европѣ разныхъ невыгодныхъ для насъ слуховъ. Гюйссенъ добросовѣстно исполнялъ свои порученія: входилъ въ сношенія съ вліятельнымъ журналомъ «*Europäische Fauna*», издававшимся подъ редакцію Рабенера, сочинялъ для Паткули многія бумаги и перевелъ на разные языки письмо царя къ польскому королю Августу. По старанію Гюйсена, въ «Европейской Молвѣ»¹⁾ печатались хвалебныя статьи о Россіи; въ нихъ Петра сравнивали съ «солнцемъ, которое не пребываетъ на одномъ мѣстѣ, но всѣхъ подданныхъ веселитъ своимъ присутствіемъ». Онъ просилъ также Гинца, издававшего въ Парижѣ на французскомъ языкѣ описаніе походовъ Карла XII, воздержаться отъ неприличныхъ, по его мнѣнію, выраженій, причемъ указать ошибочныя свѣдѣнія, которыя и были исправлены Гинцемъ во 2-ой части его труда. Онъ же убѣдилъ римскаго профессора Гравину напечатать похвальное слово Петру и пригласилъ Лейбница на свиданіе съ царемъ въ Торгау. Много хлопотъ испытывалъ Гюйссенъ ради ложныхъ извѣстій о Россіи со стороны шведовъ; но всего болѣе усердствовалъ онъ въ полемикѣ съ Нейгебауэромъ, и книга, написанная имъ по этому поводу, «отъ государева двора въ двухъ грамотахъ апробована была, да тысячу рублей за почесть и трудъ общано», хотя послѣднее общаніе и не было сдержано. Полемика съ Нейгебауэромъ чрезвычайно интересна; она возникла по слѣдующему поводу. Въ 1699 году пріѣзжалъ въ Москву, съ цѣлью переговоровъ, отъ саксонскаго курфюрста, генералъ Карловичъ, съ которымъ Петръ намѣревался отправить за границу, для обученія, царевича Алексѣя. Предположеніе это не сбылось за смертью Карловича. Въ свитѣ посла²⁾ прибылъ въ Россію и сынъ одного данцигскаго бюргера, Нейгебауэръ, слушавшій лекціи въ Лейпцигскомъ университетѣ. По отзыву одного лица, удостовѣрившаго, что Нейгебауэръ былъ человѣкъ «нарочитой остроты», этотъ иностранецъ опредѣленъ наставникомъ (или, какъ онъ себя называлъ, гофмейстеромъ) къ царевичу Алексѣю. Но уже въ концѣ 1701 г. обнаружился неудовольствіе между нѣмцемъ и русскими, состоявшими при царевичѣ. Нейгебауэръ настаивалъ, чтобы ему подчинили этихъ лицъ, «понеже если всякій изъ нихъ будетъ дѣлать что хочетъ, то невозможно царевича изряднымъ правамъ

¹⁾ Въ царствованіе Екатерины II-ой такое же значеніе имѣлъ „Политическій Портфель“, издававшійся въ Венеціи.

²⁾ По другимъ извѣстіямъ, Нейгебауэръ былъ вызванъ въ Москву изъ-за границы и пріѣзжалъ въ іюнь 1701 г.

и порядочному житію научити, зане нѣкоторые. отъ злости, всѣ труды его портить будутъ». Далѣе онъ просилъ и совѣмъ удалить нѣкоторыхъ приближенныхъ царевича, въ томъ числѣ особенно не нравившагося ему русскаго учителя, Никифора Вяземскаго,—на томъ основаніи, что эти люди «неудобны быть у царевича, котораго зѣло воздерживать надлежитъ». Просьбы Нейгебауэра не исполнялись, и 23-го мая 1702 г. въ Архангельскѣ, за обѣдомъ у царевича, произошла крупная ссора между учителями, нѣмцемъ и русскимъ. Нейгебауэръ былъ выведенъ изъ себя тѣмъ, что Вяземскій и Нарышкинъ говорили тихо и смѣялись съ царевичемъ, который терпѣть не могъ Нейгебауэра. Учитель замѣтилъ, что царевичу неприлично, при постороннихъ, говорить тихо съ своими приближенными. Нарышкинъ и Вяземскій оспаривали это замѣчаніе съ насмѣшками. Вскорѣ Алексѣй Петровичъ, по совѣту Вяземскаго, положилъ было на блюдо обглоданную кость. Нейгебауэръ снова замѣтилъ, что обглоданныя кости оставляются на тарелкѣ, а кость ихъ на блюдо, съ котораго берутъ другіе, невѣжливо. По этому случаю учителя начали между собою споръ, перешедшій въ сильную брань: Вяземскій называлъ Нейгебауэра собакой, а тотъ величалъ своихъ противниковъ варварами. Производился розыскъ, и Нейгебауэръ былъ сначала удаленъ отъ должности учителя царевича, а потомъ (въ 1704 г.) высланъ и совѣмъ изъ Россіи на гамбургскомъ кораблѣ. За границей онъ далъ полную волю своему раздраженію, и въ 1704 г. появилась въ Германіи презлая брошюра: «Письмо знатнаго нѣмецкаго офицера къ тайному совѣтнику одного высокаго владѣтеля». Подъ именемъ нѣмецкаго офицера, повѣствующаго о русскихъ дѣлахъ, скрывался, конечно, самъ Нейгебауэръ. Въ этой брошюрѣ обиженный педагогъ, хорошо знавшій, чѣмъ можно насолить своимъ противникамъ, совѣтуетъ всѣмъ иностранцамъ не вѣрить обѣщаніямъ русскаго правительства и не ѣхать въ Россію, «въ эту варварскую страну, гдѣ будутъ обращаться съ ними безъ всякаго состраданія». Затѣмъ авторъ рассказываетъ разные случаи дурнаго обращенія не только съ простыми офицерами, но даже съ посланниками иностранныхъ державъ. Случаи подобраны въ такомъ родѣ: «польскій генералъ и посланникъ, баронъ Ланге, былъ пожалованъ отъ царя собственноручно ударами... майора Кирхена царь передъ полкомъ называлъ поноснымъ словомъ и, плюнувъ ему въ глаза, вырвалъ у него шпагу... капитанъ Форбусъ былъ наказанъ пшипутеномъ, а передъ тѣмъ генералъ изъ русскихъ, сказавъ: «я хочу опельмовать тебя!» далъ ему пощечину... Меншиковъ зостно поступаетъ съ нѣмками, а потомъ навязываетъ ихъ нѣ-

мецкимъ офицерамъ... полковникъ Реннъ давно былъ бы наказанъ кнутомъ, еслибъ его жена благо разумно не вмѣшалась въ дѣло». Насколько вѣрны всѣ эти факты—разбирать не наше дѣло; но ихъ ловкій и правдоподобный выборъ, дѣйствительно, могъ отбить охоту у иностранцевъ, вообще косо смотрѣвшихъ на Россію, поступать къ царю на службу. Брошюра Нейгебауэра была запрещена въ Пруссіи и Саксоніи; шведы же старались распространять ее всѣми способами. Тогда-то Гюйссенъ написалъ отвѣтъ, гдѣ прямо говоритъ о «гофмейстерѣ» Нейгебауэрѣ: обвиняетъ его въ надменныхъ замашкахъ, въ желаніи стать выше всѣхъ, въ плохомъ обученіи наслѣдника, и опровергаетъ факты, приводимые въ «Письмѣ нѣмецкаго офицера». Такимъ образомъ. Гюйссенъ защищаетъ Меншикова отъ несправедливыхъ будто бы обвиненій Нейгебауэра, причеиъ сочиняетъ для «Данилыча» новую родословную, производя его отъ хорошей литовской фамиліи; разказываетъ по-своему случай съ барономъ Ланге, исторію дѣвицы Монсъ и т. д. Приведа ссору Нейгебауэра съ царевичемъ, увлек-

йся защитникъ Петра совѣтуетъ своему земляку радоваться, что онъ благополучно убрался восвояси, ибо «въ другихъ государствахъ его засадили бы въ Бастилію или другую какую крѣпость на многіе годы, не спрашивая, что онъ сдѣлалъ дурнаго, какъ это дѣлается и съ высокими министрами, которые, не смотря на прежнія свои вѣрныя службы, не имѣли счастья понравиться государю или его приближеннымъ». Досаду на Нейгебауэра за подробное описаніе употребленія батоговъ и не имѣя въ запасѣ никакихъ существенныхъ возраженій, Гюйссенъ съ пасмѣшкою говоритъ: «можно думать, что авторъ часто видѣлъ все это своими глазами и увеселялъ свои нѣжныя чувства подобными спектаклями. По всей справедливости можно пожелать таковыхъ наказаній, какъ заслуженную награду, всѣмъ пасквилянтамъ, особенно тѣмъ изъ нихъ, которые нападаютъ грубымъ образомъ на коронованныхъ особъ». Въ другихъ мѣстахъ своей діатрибы Гюйссенъ называетъ Нейгебауэра «архи-шельмою» (erz-schelm), похитителемъ чести и клеветникомъ». Нейгебауэръ не остался въ долгу и, въ отвѣтъ на пространное обличеніе, написалъ «Kurtze Gegenantwort auf des saarischen Pasquillanten», гдѣ онъ снова возвращается къ Меншикову и объясняетъ весьма недвусмысленно причину его возвышенія при царскомъ дворѣ. На грубыхъ выходы Нейгебауэръ также не скупится: «Что же негодяй—говоритъ онъ—намаралъ о поведеніи гофмейстера въ Москвѣ, то это не заслуживаетъ никакого отвѣта, потому что основу для своихъ разказней онъ могъ найти только въ своемъ воровскомъ мозгу. Пускай подлег-

описываетъ прекрасно русскихъ по своей волѣ и возможности, но свѣтъ и особенно дворы, императорскій и королевскіе, знаютъ уже, что это за раки такіе». О личности Гюйсена раздраженный антагонистъ его отзывается, что баронъ «имѣетъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ литературѣ и что онъ малый не безъ способностей; но обратилъ хорошее, что въ немъ есть, на пользу варварскихъ тирановъ, и на стыдъ и посрамленіе своихъ честныхъ соотечественниковъ».

Предоставивъ барону Гюйсену вѣдаться съ иностранными публицистами, Петръ заботился и о томъ, чтобы побивать внутри государства понятія и предразсудки, завѣщанные стариной и поднимавшіеся въ отпоръ его реформаціоннымъ стремленіямъ. Большую помощь оказывалъ ему въ этомъ случаѣ Теофанъ Прокоповичъ. Оставляя въ сторонѣ личныя качества этого замѣчательнаго челоѣка, его двоедушіе и склонность къ интригѣ, отчасти оправдываемыя духомъ времени и его шаткимъ положеніемъ въ средѣ духовенства, нельзя не признать, что онъ былъ способный и дѣльный пропагандистъ реформы, очень много послужившій Петру и своимъ краснорѣчіемъ, какъ проповѣдникъ, и своимъ перомъ, какъ авторъ «Регламента» синоду и «Перваго ученія отрокомъ». Живымъ словомъ, откликавшимся на всѣ важнѣйшіе современные вопросы, Прокоповичъ положительно замѣнилъ Петру правительственную газету, и не меньше Гюйсена, хотя въ иномъ духѣ, полемизировалъ съ врагами своего государя. Публика, слушавшая и читавшая Прокоповича (проповѣди его печатались вскорѣ по произнесеніи), была не та, что у Гюйсена, и средства для ея вразумленія употреблялись тоже другія. Въмѣсто отвлеченнаго схоластическаго витійства, Прокоповичъ, именемъ церкви, развивалъ въ своихъ проповѣдяхъ политическія идеи и этимъ безконечно превосходилъ своихъ индифферентныхъ предшественниковъ. Такъ, напр., по возвращеніи государя изъ чужихъ краевъ, Прокоповичъ произнесъ два слова, въ которыхъ доказывалъ законность и государственную пользу путешествій, въ особенности для правителей царствъ; морская побѣда, одержанная надъ шведами кн. Голицынымъ, дала ему поводъ сказать похвальное слово нашему зарождавшемуся флоту и объяснить значеніе для Россіи морскихъ силъ. Возставая противъ замкнутого національнаго быта, подкрѣпляемаго азіатскими предразсудками, Прокоповичъ ссылался на Шестодневъ Василя Великаго и доказывалъ, что самъ Богъ предписываетъ необходимость взаимнаго «друголюбія челоѣковъ». «Понеже—говоритъ онъ—невозможно было людямъ имѣть коммуникацію земнымъ путемъ отъ ко-

нецъ до конецъ міра сего, того ради промыслъ Божій про-
ліялъ промежъ селенія человѣческая водное естество, взаимно-
му всѣхъ странъ сообществу послужить могущее». Въ «Словѣ
о баталіи полтавской», сказанномъ въ годовщину этой битвы,
въ 1717 г., Прокоповичъ говорилъ: «Нѣчто было (въ древней
Россіи), чего не завидѣли намъ сосѣди, и было нѣчто, о чемъ
боялися, дабы не было. Не была еще регула воинская (т. е.
регулярная армія), не были искусства инженерныя, не были
обоего чина архитекторы, не былъ флотъ, не была сила на
морѣ». Замѣчательно въ высшей степени его «Слово о власти и
чести царской», вызванное участіемъ нѣкоторыхъ духовныхъ
лицъ въ дѣлѣ царевича Алексѣя Петровича. Слово это про-
изнесено въ томъ же году (1718 г., 6 апрѣля), какъ начался
судъ надъ царевичемъ; въ немъ Прокоповичъ говоритъ о «про-
тивствѣ верховной власти, открывшемся въ нынѣшнія времена»,
о «грѣхѣ, въ Россіи приключившемся». Противниковъ верховной
власти ораторъ раздѣляетъ на нѣсколько группъ: одни изъ нихъ—
«свободолюбцы, слышаще бо, яко свободу приобрѣте намъ Христосъ»;
другіе — поклонники папства и теократіи; третьи, наконецъ, —
«нѣкіе мудрецы, кои тайнымъ образомъ лѣстиміи или меланхоліей
помрачаеми», думаютъ, что все «якоже есть высоко въ человѣ-
цѣхъ, мерзость есть передъ Богомъ». Затѣмъ авторъ «Слова»,
свидѣтельствомъ апостоловъ и примѣрами изъ св. исторіи, опро-
вергаетъ такихъ мерзослововъ; онъ надѣется, что и всякій
«чистосердечный человѣкъ поплюетъ ихъ мнѣніе о властехъ», какъ
о явленіи, происшедшемъ отъ «промысла просто человѣческаго или
отъ превозмогшей силы» ¹⁾. Всего болѣе достается тутъ «невѣж-
дамъ, кои богословствуютъ отъ писанія, да такъ, какъ то лета-
ютъ пружи (саранча), животное окрылатѣлое, но что чревище ве-
ликое, а крыльця малыя и не по мѣрѣ тѣла, вздоймется поле-
тѣтъ, да тотчасъ и на землю падаетъ: тако и они суще книгочѣи,
аки бы крылатые, покушаются богословствовати, аки бы летати,
да за грубость мозга бусловцами являються, не разумѣюще писа-
нія, ни силы божія». Не трудно понять, кого разумѣетъ Проко-
повичъ подъ именемъ невѣждъ; но онъ устраняетъ всякое со-
мнѣніе и прямо называетъ ихъ духовными лицами и монахами.
Оппозиція «невѣждъ» петровской реформы была очень сильна, и
противъ нихъ Прокоповичъ дѣйствовалъ ихъ же оружіемъ, т. е.
богословскими аргументами и ссылками, причемъ извѣстный
текстъ: «всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется» со-

¹⁾ См. «Ееф. Прокоп. слова и рѣчи», изд. 1760 г. ч. 1, стр. 149.

ставлялъ одно изъ сильнѣйшихъ доказательствъ. Но между слушателями и читателями Прокоповича могли уже найтись и такіе, которые потребовали бы отъ писателя-проповѣдника не однихъ религіозныхъ, но и научныхъ доказательствъ. Для нихъ Прокоповичъ приводитъ историческія свидѣтельства о необходимости сильной власти въ народѣ; между прочимъ, онъ упоминаетъ слова Вайдевута, перваго жмудскаго владетеля, обращенныя къ народу, просившему его совѣтовъ: «вы глушіе отъ пчелъ; яко пчелы, малыя и безсловесныя мухи, имѣютъ царя, вы же не имѣете». «Извѣстно убо имама—говоритъ онъ далѣе—яко власть верховная отъ самаго естества начало и вину приѣмлетъ, а еже отъ естества, то отъ самого Бога, создателя естества». Въ послѣднихъ строкахъ Прокоповичъ ссылается уже на естественное право, которое, по его мнѣнію, тождественно съ правомъ божественнымъ. Идея естественнаго права, развиваемая Пуффендорфомъ, была, повидимому, не чужда Прокоповичу и даже приняла у него религіозную саніцію. Нельзя сказать, чтобы всѣ проповѣди Теофана Прокоповича были настолько же исполнены духомъ реформы и свободны отъ прежнихъ рутинныхъ формъ краснорѣчія, какъ «Слово о власти и чести царской». Во многихъ изъ его рѣчей мы замѣчаемъ, въ сожалѣнію, въ достаточномъ обиліи и риторизмъ, и символику, украшавшіе собой всѣ произведенія «кіевской школы»; но лучшія его проповѣди, дѣйствительно, отличаются какъ силой мысли, такъ и счастливою образностью выраженія. Если въ своихъ проповѣдяхъ Прокоповичъ являлся нерѣдко искуснымъ ораторомъ, умѣвшимъ дѣйствовать на умы слушателей и излагать съ церковной кафедры политическую программу, то въ духовномъ «Регламентѣ» и въ «Первомъ ученіи отрокомъ» онъ также усердно служилъ реформѣ, какъ администраторъ и народный наставникъ. Въ предисловіи къ «Ученію отрокомъ» Прокоповичъ нападалъ такъ же, какъ и въ своихъ проповѣдяхъ, на тѣхъ «чтецовъ въ книгъ, которые обращаютъ свое искусство въ орудіе злобы и дерзаютъ вымышлять плевеельныя, мнимо-богословскія ученія». Эти нападки вызвали даже противъ автора доносъ извѣстнаго въ свое время ревнителя благочестія, Маркелла Родышевскаго, который находилъ въ «Ученіи отрокомъ» несогласныя съ православіемъ «примрачныя мѣста». Въ «Регламентѣ» мы тоже встрѣчаемъ совершенно-полемическія тирады, касающіяся ханжества и религіознаго формализма «мнимыхъ мудрецовъ». Съ полнымъ самоотрицаніемъ нападалъ Прокоповичъ на недостатки и притязанія своего сословія, и въ «Розыскѣ историческомъ» снова подвергнулъ осужденію по-

пытки духовенства создать теократическое государство въ государствѣ...

Изъ немногаго сказаннаго нами достаточно ясно, что печать петровскихъ временъ была только служебнымъ органомъ государственной власти и даже не изъявляла попытокъ уклониться отъ своего officialнаго характера. Сила реформы и смѣлость преобразователя еще держали умы лучшихъ людей въ искренней зависимости отъ видовъ правительства. Случай съ Бужинскимъ, выкинувшимъ самое рѣзкое мѣсто въ своемъ переводѣ, доказываетъ, что Петръ Великій предоставлялъ печати больше свободы, чѣмъ даже искали его литературные сотрудники. Объ инициативѣ общества, даже объ отдѣльныхъ порывахъ далеко шагнувшей личной мысли, тутъ не можетъ быть и рѣчи. Въ числѣ разныхъ европейскихъ изобрѣтеній, печать пригодилась у насъ для политической реформы — и кругъ ея дѣятельности былъ опредѣленъ самой этой задачей.

Не ограничиваясь изданіемъ книгъ и брошюръ съ учено-политическимъ содержаніемъ, Петръ I положилъ начало и нашей періодической литературѣ. Еще за границей Петръ видѣлъ, какое значеніе имѣютъ періодическіе листки, сообщающіе публикѣ различныя извѣстія изъ жизни своего и чужихъ государствъ; онъ пожелалъ завести нѣчто подобное у себя, чтобы имѣть возможность распространять быстрѣйшимъ образомъ полезныя свѣдѣнія и знакомить всѣхъ интересующихся русскихъ съ ходомъ вѣкъ нашихъ, такъ и западно-европейскихъ дѣлъ. Съ этой цѣлью онъ замѣнилъ газетами прежніе куранты. Что такое куранты — слѣдуетъ объяснить. — И до Петра Великаго предки наши не оставались въ совершенномъ невѣжествѣ насчетъ того, что происходило за предѣлами ихъ собственнаго отечества. Великокняжескіе и царскіе гонцы, отправлявшіеся по дѣламъ государства въ Грецію, Польшу, Германію и въ другія мѣста, привозили оттуда разныя свѣдѣнія о состояніи тамошнихъ дѣлъ. Съ послами отправлялись подъячіе, цѣловальники, крестовые попы и «люди» пословъ. Всѣ они, по возвращеніи своемъ въ Россію, къ кругу родныхъ и друзей, рассказывали о томъ, что они видѣли или слышали въ чужихъ земляхъ. Эти заграничныя вѣсти, изустно или письменно распространяемыя въ народѣ, гласили, напримеръ, что «отъ Рима до Кольскаго острога нѣтъ нигдѣ благочестія», что у королей и г р а н д у к о в ѣ — «стоны аспидные, писаны золотомъ травы», что «кирки или мечети зѣло стройны», что «въ Амстердамѣ безъ мѣры людно, а трехъ вещей нѣтъ: хлѣба, воды и дровъ». Немного дошло до насъ образчиковъ подобныхъ вѣдомостей

(въ «путешествіяхъ русскихъ людей въ чужія земли», изъ которыхъ одни изданы въ свѣтъ, другія же остаются въ рукописяхъ); но нельзя сомнѣваться, что эти домашнія записки нерѣдко велись и въ давнее время. Съ 1621 г. вѣдомости изъ-за границы становятся извѣстными подъ именемъ курантовъ ¹⁾). Куранты содержали въ себѣ свѣдѣнія о разныхъ въ Европѣ военныхъ дѣйствіяхъ и мирныхъ постановленіяхъ. Составленіемъ этихъ курантовъ занимались въ посольскомъ приказѣ: тамъ, изъ донесеній отъ разныхъ заграничныхъ агентовъ, дѣлали нужныя извлеченія; а впослѣдствіи, когда стали появляться въ Россіи печатныя иностранныя вѣдомости (съ 1631 г.), то переводили изъ нихъ любопытнѣйшія статьи, текстъ переписывали на нѣсколькихъ листахъ склеенной бумаги (столбцами) и въ обычной формѣ свитковъ представляли эти куранты для прочтенія царю и нѣкоторымъ приближеннымъ людямъ. Посредствомъ этого рода вѣдомостей посольскій приказъ слѣдилъ изо дня въ день за ходомъ современной политики. Кильбургеръ говоритъ: «по приходѣ почтъ, газеты тотчасъ посылаются въ замокъ (Кремль), въ посольскій приказъ, и тамъ распечатываются, для того чтобъ ни одинъ частный человекъ не узналъ прежде двора того, что происходитъ внутри государства и за границей, а болѣе для того, чтобы каждый остерегался писать что нибудь непозволительное и для государства вредное. Съ почтою ежедневно получаютъ всѣ голландскія и гамбургскія, кенигсбергскія и др., какъ печатныя, такъ и письменныя вѣдомости. Онѣ всегда переводятся на русскій языкъ и читаются царю». Это продолжалось до конца 1702 г., когда (16 декабря) послѣдовало именное повелѣніе Петра I-го о печатаніи газетъ, слѣдующаго содержанія: «Великій государь указалъ — по вѣдомостямъ о воинскихъ и о всякихъ дѣлахъ, которыя надлежатъ для объявленія московскаго и окрестнаго государствъ людямъ, печатать куранты, а, для печатанія тѣхъ курантовъ, вѣдомости, въ которыхъ приказахъ о чемъ нынѣ какія есть и впредь будутъ, присылать изъ тѣхъ приказовъ въ монастырскій приказъ». (Полн. Собр. Зак. IV, 1921).

Первый номеръ этихъ «Вѣдомостей» появился въ Москвѣ 2 января 1703 г., но еще раньше указъ царя былъ исполненъ

¹⁾ Отъ слова *currere* — текущій, бѣгущій. Слово это употреблялось для означенія передаваемыхъ вѣстей. Предполагали, что куранты введены въ употребленіе Ординымъ-Нащокинымъ, но этотъ послѣдній управлялъ посольскимъ приказомъ при Алексѣѣ Михайловичѣ, а куранты появились гораздо ранѣе.

(27 декабря 1702 г.), напечатаніемъ «юнала о Нотебургѣ» ¹⁾. Относительно появленія петровскихъ вѣдомостей было высказано много библиографическихъ неточностей и противорѣчій: академикъ Георги говорилъ, что онѣ «воспріяли свое начало въ 1708 г., Сопиковъ — что онѣ стали издаваться съ 1728 г. ²⁾; г. Гречъ сби-вался и указывалъ цѣлые три года—1705, 1708 и 1714-й. Теперь несомнѣнно, что русскія «Вѣдомости» стали выходить съ начала 1703 г., и съ того времени изданіе ихъ продолжалось без-прерывно до 1728 г. Онѣ печатались въ осьмую долю листа, церковными буквами, по 1711-й годъ въ одной Москвѣ, а съ этого года въ Москвѣ и Петербургѣ ³⁾ поочередно, гражданскими и церковными буквами. Съ 1717 г. церковный шрифтъ исчезаетъ и замѣняется навсегда гражданскимъ, но издаются вѣдомости по прежнему, то въ Петербургѣ, то въ Москвѣ, до 1728 г. Выхо-дили же онѣ не всегда въ опредѣленный срокъ (всѣхъ номеровъ за 1703 г. вышло 39), съ экстраординарными по обстоятельствамъ прибавленіями, объемомъ отъ 2 до 7 листовъ въ каждомъ номерѣ. «Вѣдомости» печатались въ количествѣ 1000 экземпляровъ и, по-видимому, читались усердно; по крайней мѣрѣ, нѣкоторые отдѣль-ные номера вѣдомостей вошли цѣликомъ въ рукописные сборники того времени. Петръ имѣлъ на этотъ разъ болѣе удачи, чѣмъ въ распространеніи амстердамскихъ изданій, и ему удалось такъ распеvelить любознательность своей публики. Содержаніе этихъ вѣдомостей было, по своему времени, разнообразно и заниматель-но. Свѣдѣнія, относившіяся до Россіи, помѣщались прежде из-вѣстій иностранныхъ, которыя заимствовались, вѣроятно, изъ двухъ газетъ, получавшихся тогда въ посольской канцеляріи: «Breslauer Nouvelles» и «Reichs-Post-Reiter». Кромѣ того, гр. Матвѣ-евъ, тогдашній посланникъ нашъ въ Голландіи, прислалъ царю, какъ отдѣльные номера газетъ, издававшихся въ этой странѣ, такъ и любопытныя выписки изъ газетъ, выходившихъ въ дру-гихъ государствахъ. Все это, вполне или въ экстрактѣ, помѣща-лось въ вѣдомостяхъ, и въ нѣкоторыхъ номерахъ, въ оглавленіи иностранныхъ извѣстій, напечатано крупнымъ шрифтомъ: «Вѣдо-

¹⁾ Юналь, или поденная роспись, чтò въ мимошедшую осаду подъ крѣпостью Нотебургомъ чинилось сентября съ 26 числа въ 1702 г.. По-дробное же названіе петровскихъ «Вѣдомостей» было слѣдующее: «Вѣдо-мости о военныхъ и иныхъ дѣлахъ, достойныхъ знанія и памяти, случив-шихся въ московскомъ государствѣ и въ иныхъ окрестныхъ странахъ».

²⁾ Сопиковъ, очевидно, смѣшалъ ихъ съ «Петербургскими (академиче-скими) вѣдомостями», которыя стали выходить съ 1728 г.

³⁾ Первый № этихъ вѣдомостей въ Петербургѣ выпалъ 11 мая 1711 г.

мости изъ Гаги». Кто занимался, ближайшимъ образомъ, редакціей «Вѣдомостей» — съ точностію неизвѣстно; думаютъ, что это былъ графъ Ѳ. А. Головинъ. Но Петръ I и самъ часто отмѣчалъ для перевода статьи изъ иностранныхъ газетъ и вообще пристально слѣдилъ за ходомъ этого дѣла, прочитывая даже корректуру перваго номера. Можно сказать поэтому, что великій преобразователь Россіи былъ также и ея первымъ журналистомъ.

Чтобы читатели могли наглядно познакомиться съ характеромъ и содержаніемъ петровскихъ вѣдомостей, мы приводимъ здѣсь, въ сокращеніи, первый ихъ номеръ, состоявшій изъ двухъ листовъ. При этомъ, для удобства чтенія, мы нѣсколько измѣняемъ сбивчивую ореографію подлинника:

«В ѣ д о м о с т и».

«На Москвѣ вновь нынѣ пушекъ мѣдныхъ, гоубицъ и мартировъ вылито 400. Тѣ пушки ядромъ по 24, по 18 и по 12 фунтовъ; гоубицы бомбомъ пудовые и полупудовые; мартиръ бомбомъ девяти, трехъ и дву-пудовые и меньше. И еще много формъ готовыхъ, великихъ и среднихъ, къ литью пушекъ, гоубицъ и мартировъ. А мѣди нынѣ на пушечномъ дворѣ, которая пригтовлена къ новому литью, болѣе 40,000 пудъ лежитъ.

Повелѣніемъ его величества московскія школы умножаются, и 45 человекъ слушаютъ философію и уже діалектику окончили.

Въ математической штурманской школѣ болѣе 300 человекъ учатся и добръ науку приемяютъ.

Въ Москвѣ, ноябрю съ 24 числа по 24 декабря, родилось мужскаго и женскаго полу 386 человекъ.

Изъ Персиды пишутъ: индѣйскій царь послалъ въ дарахъ великому государю нашему слона и иныхъ вещей не мало. Изъ града Шемахи отпущенъ онъ въ Астрахань сухимъ путемъ.

Изъ Казани пишутъ: на рѣкѣ Соку нашли много нефти и мѣдной руды; изъ той руды мѣдь выплавили изрядну, отчего чають не малую быть прибыль московскому государству.

Изъ Сибири пишутъ: въ китайскомъ государствѣ езуитовъ весьма не стали любить за ихъ лукавство, а иные изъ нихъ и смертію казнены.

Изъ Олонца пишутъ: города Олонца попъ Иванъ Окуловъ, собравъ охотниковъ пѣшихъ съ тысячу человекъ, ходилъ за рубежъ въ свѣйскую границу и разбилъ свѣйскіе — ругозенскую и гишпонскую, и сумерскую, и керисурскую заставы. А на тѣхъ заставахъ шведовъ побилъ многое число... и соловскую мызу сжегъ, и около соловской многіе мызы и деревни, дворовъ съ тысячу, пожегъ же...

Изъ Львова пишутъ, декабря въ 14 день: силы казацкія подъ полковникомъ Самусемъ ежедневно умножаются; выруба въ Немировѣ коменданта, съ своими ратными людьми городъ овладѣли, и уже намѣренъ есть Бѣлую церковь добывать, и чаютъ, что и тѣмъ городкомъ овладѣть, какъ Палей съ нимъ соединится съ своими войски...

Изъ Ніена, въ ингерманландской землѣ, октября въ 16 день. Мы здѣсь живемъ въ бѣдномъ постановленіи, понеже Москва въ здѣшней землѣ не добро поступаетъ, и для того многіе люди отъ страха отселъ выбуркъ ¹⁾ и въ еіцляндскую землю уходятъ, взявъ лучшіе пожитки съ собою.

Крѣпость Орѣшекъ—высокая, кругомъ глубокою водою обята, —въ 40 верстахъ отселъ, крѣпко отъ московскихъ войскъ ~~осажена~~, и уже болѣе 4000 выстрѣловъ изъ пушекъ, вдругъ по 20 выстрѣловъ, ~~было~~, и уже болѣе 1500 бомбъ выбросано, но по сіе время не великій убытокъ ~~учинили~~, а еще много трудовъ имѣти будутъ, покамѣстъ ту крѣпость ~~овладѣютъ~~...

Изъ Амстердама, ноября въ 10 день: Отъ Архангельскаго города пишутъ, сентября въ 20 день, что какъ его царское величество войска свои въ различныхъ корабляхъ на Бѣломъ морѣ заправлялъ, оттолѣ далѣе пошелъ и корабли паки назадъ къ Архангельскому городу прислалъ, и обрѣтаются тамо 15,000 чиншвѣкъ солдатъ, и на новой крѣпости, на Двинкѣ нарѣченной, ежедневно 600 чиншвѣкъ работаютъ ²⁾

На Москвѣ 1703 г., генваря во 2 день.

Читатель видитъ, что содержаніе петровскихъ «Вѣдомостей» было, по преимуществу, фактическое; политическихъ взглядовъ, намековъ, даже выразительнаго подбора фактовъ мы почти не встрѣчаемъ. Только въ польскихъ дѣлахъ, которыя всегда сильно интересовали Петра, можно заподозрить этотъ преднамѣренный выборъ извѣстій. Тутъ описывались довольно подробно стычки поляковъ съ саксонскими войсками, волненія на сеймахъ и пр. и пр. «Польша—говорится въ одномъ номерѣ «Вѣдомостей»—отъ шведовъ, саксонцевъ и польскихъ (т. е. своихъ собственныхъ) войскъ и казаковъ досажденіе пріемлетъ». Въ другомъ мѣстѣ находимъ: «на сеймѣ стали противность чинить, и паки всѣ разошлись, ничего не договорясь». Есть даже насмѣшливый

¹⁾ Т. е. въ Выборгъ.

²⁾ Получивъ извѣстіе, что шведы готовятся напасть на Архангельскъ, Петръ укрѣпилъ устье Двины батареями, а на взморьѣ заложилъ новую крѣпость, назвавъ ее «Двинкою».

каламбуръ: «указы о люблинскомъ сеймѣ объявлены здѣсь (въ Варшавѣ), но не всѣмъ любимы стали» ¹⁾).

Въ «Вѣдомостяхъ» нѣтъ еще правильнаго раздѣленія извѣстій по рубрикамъ: политическія новости чередуются съ разными явлениями природы; ничтожное событіе стоитъ рядомъ съ крупнымъ и даже излагается подробнѣе его. Такъ, напр., вслѣдъ за политическими извѣстіями изъ Парижа («Вѣдом.» 1724 г.) попадаетъ новость: «Одна бѣдная жонка родила дочь съ четырьмя руками, съ четырьмя ногами, съ двумя фундаментами и пр. Послѣ смерти потрошили ее и нашли въ тѣлѣ два сердца, два легкіе, два пузыря и четыре почки». Редакція «Вѣдомостей», желая распространить свое изданіе въ возможно большемъ кругу читателей, очевидно рассчитывала, что запасъ новыхъ и разнообразныхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ ею, расшевелитъ апатію грамотныхъ людей и возбудитъ въ нихъ интересъ къ тому, что совершалось за предѣлами ихъ домашняго очага. Для достиженія этой цѣли полезны были и курьезы, въ родѣ приведеннаго, весьма интересовавшіе тогдашнюю публику. Политическія разсужденія Петръ вполнѣ предоставлялъ книгамъ и брошюрамъ, а вѣдомости предназначалъ для скорѣйшаго распространенія извѣстій о европейскихъ дѣлахъ и о своихъ собственныхъ распоряженіяхъ.

Съ теченіемъ времени, измѣнялись и совершенствовались петровскія вѣдомости. Усовершенствованіе началось съ внѣшней стороны: гражданскій шрифтъ вытѣснилъ (съ 1717 г.) прежній церковно-славянскій; въ 1711 г. появляется, въ первый разъ, на вѣдомостяхъ виньетка съ изображеніемъ Невы, а въ 1723 г. всѣ послѣдніе 19 номеровъ вышли съ таковыми же виньетками, рѣзанными на деревѣ. Чтеніе вѣдомостей распространялось, мало по малу, въ разныхъ классахъ народа; но какъ географическія свѣдѣнія были у насъ очень скудны да и то заключались въ тѣсномъ кругу высшаго сословія или лицъ, получившихъ образованіе въ духовныхъ училищахъ,—то, чтобы сдѣлать газету доступнѣе разумнѣю каждому читателю, редакція, съ конца 1723 г., стала помѣщать въ газетныхъ номерахъ краткія свѣдѣнія о замѣчательнѣйшихъ мѣстахъ въ разныхъ странахъ свѣта. Напр., «Версалія — село и забавный домъ короля французскаго, близко Парижа»; «Гага — въ Голландіи городъ или, лучше сказать, село самое хорошее, порядочно строенное и увеселительнѣйшее во всей Европѣ», и т. п. Въ 1725 г. пять послѣднихъ номеровъ озаглавлены уже такъ: «Россійскія Вѣдомости»; номера отмѣчаются цифрами, чего прежде

¹⁾ См. «Вѣдомости» 1703 г., № 18.

не было. Послѣ смерти Петра I-го, изданіе его вѣдомостей продолжалось по 1728-ой годъ. Въ этомъ же году, въ силу регламента, академія наукъ стала издавать (со 2-го января) свою газету подъ названіемъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», и печатать ее въ академической типографіи. Не лишнимъ будетъ замѣтить, что эти «академическія» вѣдомости не могутъ считаться въ журнальномъ смыслѣ (какъ хотѣлось нѣкоторымъ) продолженіемъ «Россійскихъ Вѣдомостей», ибо въ такомъ случаѣ и «Московскія Вѣдомости» могутъ претендовать (и дѣйствительно претендовали) на эту честь, — даже съ болѣею основательностью, такъ какъ на нѣкоторыхъ номерахъ петровской газеты (1708 г.) стоитъ почти тоже заглавіе: «Вѣдомости московскіе». Но тогда — чего добраго! — и «Русскія Вѣдомости», нынѣ издающіяся въ Москвѣ, потанутся за ними... Итакъ, москвичамъ полезно помнить, что ихъ университетская газета издается только съ 1756 г., а редакція «Петербургскихъ Вѣдомостей» тоже должна знать, что названіе, форматъ и, отчасти, характеръ этого изданія совершенно отличаютъ его отъ прежнихъ вѣдомостей, и слѣдовательно генеалогія его не восходитъ раньше 1728 г. Значить, напрасно обѣ почтенныя газеты стали бы гоняться за древностію лѣтъ и оспаривать другъ у друга пальму библиографическаго первенства...

II.

Герардъ-Фридрихъ Миллеръ, какъ редакторъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ и „Историческихъ примѣчаній“ къ нимъ. Борьба съ суевѣріемъ. Политическая сторона въ газетѣ. Вопросъ о правѣ частныхъ людей обсуждать политическія событія. Взглядъ Ломоносова на призваніе журналистики. „Ежемесячныя сочиненія“. Характеръ тогдашней сатиры. Развитие журналистики при императрицѣ Екатеринѣ II-й и репрессивныя мѣры противъ нея. „Политическій журналъ“. Мѣры императора Павла I.

«С.-Петербургскія (академическія) вѣдомости» выходили дважды въ недѣлю (дни выхода измѣнялись въ разные года) съ историческими, генеалогическими и географическими примѣчаніями ¹⁾, тѣ и другія въ 4^о, иногда съ чертежами предметовъ по части астрономіи, механики и пр. Редакторомъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» (съ 1728 до половины 1730 г.) и «Историческихъ примѣчаній» къ нимъ сдѣлался извѣстный академикъ Миллеръ, о которомъ мы считаемъ себя вправе погово-

¹⁾ Эти „примѣчанія“ продолжались по 1742 г.

рять нѣсколько подробнѣе, какъ о первомъ русскомъ журналистѣ, чуждомъ исключительно-официальнаго характера петровской прессы.

Герардъ-Фридрихъ Миллеръ родился 18-го октября 1705 г. въ Герфордѣ, маленькомъ вестфальскомъ городѣ. Отецъ его занималъ должность директора на Герфордской гимназiи. По словамъ Бюшинга (біографа Миллера), въ Герфордѣ сохранилось преданіе, что во время проѣзда Петра Великаго черезъ этотъ городъ, любопытный мальчикъ выбѣжалъ къ нему на встрѣчу безъ башмаковъ, которые спряталъ его отецъ, желая удержать его дома. Этотъ случай былъ растолкованъ друзьями его семейства, какъ предзнаменованіе предстоявшей ему поѣздки въ Россію. Въ 1722 г., семнадцати лѣтъ отъ роду, Миллеръ поступилъ уже въ Рингельсскій университетъ, изъ котораго черезъ годъ перешелъ въ Лейпцигскій. Здѣсь главными его наставниками были профессора Готшедъ и Менкенъ, изъ которыхъ послѣдній доставилъ ему мѣсто въ Россіи. Менкенъ былъ корреспондентомъ только что учрежденной въ то время С.-Петербургской Академіи Наукъ, и по просьбѣ Блюментроста (перваго президента Академіи), вызывавшаго ученыхъ изъ-за границы, рекомендовалъ ему Миллера на мѣсто адъюнкта по исторической каедрѣ. Такимъ образомъ Миллеръ, съ согласія своего отца, отправился въ Петербургъ, куда и прибылъ 5 ноября 1725 г. По первоначальному плану, Академія Наукъ была не только академіей, въ нынѣшнемъ ея значеніи, но и первымъ въ Россіи высшимъ учебнымъ заведеніемъ. Миллеръ, немедленно по пріѣздѣ, сталъ преподавать въ высшихъ классахъ академической гимназiи латинскій языкъ, исторію и географію. Обязанность эту онъ исправлялъ постоянно, въ теченіе 1726 и 1727 г. Трудолюбіе и добросовѣстность отличали собой всю ученую карьеру Миллера. Не смотря на разныя житейскія невзгоды, на разныя канцелярскія каверзы, которыми запутывалъ его (начиная съ 1739 г.) его недругъ Шумахеръ, этотъ честный человекъ шелъ неуклонно по своей дорогѣ и обогатилъ нашу литературу огромною массою историческихъ, географическихъ и статистическихъ свѣдѣній, собранныхъ имъ—какъ во время десятилѣтняго странствованія по Сибири (съ 1733—до 1744 г.), вмѣстѣ съ Гмелинымъ и Делиемъ, такъ и во время управленія московскимъ архивомъ иностранной коллегіи (съ 1766 г. до самой смерти Миллера, въ 1793 г.). Нельзя сказать, чтобы Миллеръ равнялся, по природной даровитости, съ другимъ своимъ соотечественникомъ, Шлецеромъ, или съ нашимъ «поморцемъ» Ломоносовымъ, но онъ, во всякомъ случаѣ, употребилъ свои способности самымъ

полезнымъ образомъ и сдѣлать все, что можно было требовать отъ ученаго съ его размѣромъ умственныхъ силъ. Достойно сожалѣнія, что болѣе даровитый Ломоносовъ, по своему взгляду на разработку русской исторіи, стоялъ гораздо ниже этого ученаго нѣмца и ожесточенно преслѣдовалъ его за обидное будто бы для русскихъ мнѣніе о скандинавскомъ происхожденіи нашихъ первыхъ князей. При этомъ Ломоносовъ,—какъ гонитель Миллера,—оказывался даже въ одной фалангѣ съ ненавистнымъ Шумахеромъ, который насолилъ, кажется, въ равной степени обонимъ академикамъ...

Журнальная дѣятельность Миллера началась съ 1728 года, когда онъ принялъ на себя редакцію «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» и сталъ выдавать къ нимъ особое прибавленіе подъ вышеприведеннымъ названіемъ. Начиная это прибавленіе къ «Вѣдомостямъ», Миллеръ желалъ преимущественно испытать, какъ будетъ оно встрѣчено читателями. Успѣхъ превзошелъ его ожиданія: публика съ охотою читала его листки, и многіе члены Академіи поддерживали его своимъ сотрудничествомъ ¹⁾. Въ 1729 г., въ «Письмѣ къ благосклонному читателю», Миллеръ самъ объявилъ, что до его примѣчаній «нашлись многіе охотники» и онъ, вслѣдствіе этого, нашелся вынужденнымъ участить срокъ ихъ выпуска. Съ этого времени «Примѣчанія» выходили не только на русскомъ, но и на нѣмецкомъ языкахъ, по полу-листу въ каждый почтовый день. Если попадались въ «Вѣдомостяхъ» фразы, непонятныя для читателей, то Миллеръ дѣлалъ на нихъ свои примѣчанія—сначала только историческаго и географическаго содержанія; но въ 1729 г. было уже извѣщено: «Мы (т. е. редакція) намѣрены такъ распространить примѣчанія, что не токмо, какъ въ прочемъ обыкновенно, новую политическую исторію, генеалогію и географію изъяснять, но и о всемъ прочемъ наше мнѣніе объявлять будемъ. Такжеже не оставимъ, при данномъ случаѣ, изъ разныхъ частей натуральной, церковной и ученой исторіи многое прибавлять». Эти примѣчанія, зародышъ которыхъ мы находимъ въ петровскихъ вѣдомостяхъ 1723 г. (въ объясненіи географическихъ именъ), Миллеръ почерпалъ, преимущественно изъ иностранныхъ періодическихъ изданій, какъ напр., изъ англійскихъ—«Зрителя» и «Опекуна». Характеръ примѣчаній былъ чисто академическій: публикѣ, не имѣвшей въ рукахъ почти никакихъ учебныхъ пособій, но уже приученной Петромъ

¹⁾ Успѣхъ „примѣчаній“ доказывается, между прочимъ, тѣмъ, что въ 1765 г., въ Москвѣ, они были напечатаны вторымъ изданіемъ.

къ чтенію вѣдомостей, Миллеръ предлагалъ свѣдѣнія по самымъ разнообразнымъ предметамъ и тѣмъ подготовлялъ ее къ сознательному воспринятію читаннаго. Въ «писъмѣ къ благосклонному читателю», о которомъ мы сейчасъ упомянули (Примѣч. 1729 г., № 1), Миллеръ разсказалъ вкратцѣ исторію возникновенія вѣдомостей въ Европѣ, причемъ отдалъ «итальянцамъ первое благодареніе за вымышленіе такъ пріятнаго и полезнаго дѣла». Развиваясь въ Европѣ, — у французовъ, голландцевъ и нѣмцевъ, — «сія мода, напослѣдокъ, въ здѣшнія сѣверныя провинціи произошла». Строка «Вѣдомостей» о римскихъ кардиналахъ вызвала слѣдующее примѣчаніе: «Кардинальскій чинъ зѣло отъ древнихъ временъ въ римской церкви въ употребленіи былъ. Нынѣ разумѣются подъ симъ званіемъ знатнѣйшія папскаго духовнаго чина особы, которыхъ коллегіумъ въ 70-ти особахъ состоитъ, которое число не всегда въ комплектѣ... они требуютъ рангъ въ равенствѣ съ королями и князьями и имѣютъ совершенное первенство предъ ихъ посланниками и титулъ эминенціи (свѣтлости)». Далѣе разсказывается самый обрядъ избранія кардиналовъ. Въ примѣчаніяхъ видна забота и о насущной пользѣ читателей: въ статьѣ о «моровомъ повѣтріи» (Примѣч. 1729 г., № X) объясняются причины, симптомы и врачеваніе этой болѣзни; говоря о камнѣ извѣстѣ, — находимомъ у насъ въ Сибири, — изъ котораго выдѣлывалось негорючее полотно, Миллеръ также имѣлъ въ виду возможность практическихъ результатовъ. Не забывалъ онъ нападать на суевѣрія, господствовавшія въ русскомъ обществѣ. Такъ напр., извѣстіе о появленіи кометы въ Анконѣ было имъ коментировано слѣдующимъ образомъ: «При семъ случаѣ намѣрены мы о кометахъ и прочихъ небесныхъ знакахъ нѣчто упомянуть, дабы чрезъ то благочестнаго читателя, которому таковыя бы необычныя видѣнія соблазнѣнію быть могли, изъ сомнѣнія вывести. Комета есть чрезвычайная звѣзда на небеси, которая свое собственное движеніе имѣетъ и токмо въ нѣкоторыя времена видима бываетъ. Она является, почитай всегда, или съ краткимъ, или съ долгимъ, свѣтлымъ хвостомъ, о чемъ слѣдующій резонъ дается: понеже кометы обыкновенно вкругъ мгловатымъ кругомъ окружены бываютъ, въ которомъ отъ онаго назадъ сіяющіе лучи солнечные на противу стоящей сторонѣ зѣло явно и ясно видѣть можно... Изъ сего описанія, которое въ примѣчаніяхъ знатнѣйшихъ астрономовъ подтверждается, выразишь можно, что кометы — натуральныя, отъ Бога сотворенныя, твари суть, которыми, по учрежденіямъ ихъ движенія, въ нѣкоторыя времена, конечно, явля-

тисл надлежитъ, и тако оныя никоимъ образомъ за признаки несчастія сочтены быть не могутъ, хотя временемъ незапно учинилось, что какое несчастливое посѣщеніе на земли въ тое же время приключилось, какъ комета на небеси видима была.—Приключались часто злыя и несчастливныя времена безъ явленія кометъ, а напротивъ того примѣчено, что при явленіи разныхъ кометъ болѣе счастливыхъ, какъ несчастливыхъ случаевъ приключилось (?). И тако не надлежитъ о такихъ, хотя чрезвычайныхъ звѣздахъ, какіе сумнѣнія имѣть, ниже оный хвостъ, какъ простой народъ разсуждаетъ, за метлу какую признавать, яко бы Богъ оную при наказаніи какой земли употреблять хотѣлъ... Изъ Анконы увѣдомлено нынѣ, что пять дней по явленіи оной кометы, еще другая звѣзда въ образѣ креста видима была, и потому молодой человекъ, на лошади сидящій, на шляпѣ перо имѣя, усмотрѣвъ. И можетъ быть, что въ облакахъ или на небеси нѣкоторые ясные лучи разныхъ видовъ являлись, и тако онымъ (т. е. наблюдателямъ) отъ премѣненія оныхъ (лучей) такія фигуры въ мысли показались¹⁾. Конечно, Миллеръ не былъ особенно бдителенъ въ преслѣдованіи разныхъ суевѣрій и нерѣдко печаталъ, безъ всякой оговорки, извѣстія въ такомъ родѣ, что «нѣкоторая дамская персона имѣла, на сихъ дняхъ, съ духомъ нѣкотораго кавалера особый случай»... (т. е. свиданіе съ умершимъ)²⁾. Нѣкоторыя иностранныя слова въ «Примѣчаніяхъ» объясняются: при словѣ *фабула* ставится въ скобкахъ — «басня», при словѣ *матерія* — «вещество» и т. п.

Что касается «С.-Петербур. Вѣдомостей», издававшихся подъ редакціей Миллера, то онѣ въ одномъ только отношеніи измѣнились, — и, прибавимъ, къ худшему, — противъ петровскихъ вѣдомостей: извѣстія о нашихъ внутреннихъ дѣлахъ сообщались въ нихъ крайне скудныя, и, большею частію, припечатывались въ концѣ газетнаго нумера. (Такъ продолжалось вплоть до 1758 г.). Въ этихъ скудныхъ извѣстіяхъ говорилось только о разныхъ торжествахъ, смотрахъ и чинопроизводствахъ. Иногда появляются замѣтки о погодѣ, напр.: «воздухъ въ здѣшнихъ околичностяхъ (въ окрестностяхъ Петербурга) уже такъ легокъ и пріятенъ сталъ, какъ только оный пожеланъ быть можетъ. 27 дня сего мѣсяца (марта) прошелъ ледъ рѣки Невы, и уже на оной на суда ѣздить можно»³⁾. Но иностранныя извѣстія были, по прежней

¹⁾ «Примѣч.» 1728 г., № 2.

²⁾ «Примѣч.» 1728 г., № 5.

³⁾ «Примѣч.» 1728 г., № 2.

обильны и разнообразны, хотя также слѣдовали одно за другимъ, безъ всякаго раздѣленія ихъ по родамъ и по степени важности. Приведемъ образчики подобныхъ извѣстій:

«Изъ Рима, ноября отъ 29 дня. Графъ фонъ-Ламбергъ имѣетъ, яко цесарскій посланникъ, сюда прибыть. Нѣкоторый церковный служитель здѣшняго собора Санктъ-Іоанна фонъ-Латерана вѣять подѣ караулъ, понеже онъ кости звѣрей за мощи святыхъ продавалъ и чрезъ нѣкоторые вымысленныя буллы другихъ обманывать вспомошествовалъ». (1728 г. № 1).

«Изъ Дублина, въ Ирландіи, отъ 9 дня декабря. Сего дня начался парламентъ, а нижній совѣтъ выбралъ господина Вильгельма Конолла въ ихъ шпехеры (предлагатели о дѣлахъ ¹⁾). Вицерой, Милордъ Картеретъ, былъ въ верховномъ совѣтѣ и говорилъ предъ обѣма Парламентами слѣдующую рѣчь ²⁾. (Затѣмъ приводится самая рѣчь. Приводились также рѣчи англійскаго короля къ своему парламенту).

«Изъ Лондона, отъ 1 дня генваря. Здѣсь еще сумѣваются о счастливомъ послѣдствіи трактатовъ между нашимъ и гишпанскимъ дворами ³⁾, ибо хотя слухъ вездѣ разсѣянъ былъ, что король гишпанскій прелиминарные артикулы къ предбудущему общему миру подтвердилъ, то однакожъ извѣстны мы здѣсь, что сіе токмо подъ нѣкоторыми кондиціями учинилось, которые нашему двору отъ Гишпаніи предложены». (id. № 6).

«Изъ Рима, отъ 14 дня февраля. Во вторникъ къ вечеру окончены карнавальскія увеселенія, ко удовольствію всякаго, при пусканіи лошадей въ запуски въ Алкорѣ. (Сіа есть одна изъ красивѣйшихъ улицъ здѣсь, гдѣ варварскіе ⁴⁾ лошади въ запуски бѣгаютъ, и знатнѣйшіе особы въ Воскресные и праздничные дни гуляютъ) ⁵⁾. (id. № 21).

«Изъ Штрасбурга пишутъ, что нѣкоторая особа женскаго полу, не бывъ за мужемъ, въ 60 году отъ рожденія ея, 23 дня прошлаго мѣсяца февраля, умерла, у которой нижняя часть чрева отъ времени до времени великая стала, которая однакожъ весьма никакой болѣзни не чувствовала, и какъ тамошніе медики, хотя они при лѣченіи ея всякіе лѣкарства употребляли, ей никакой

¹⁾ Пригѣчаніе редакціи «Петерб. Вѣдомостей».

²⁾ «Пригѣч.» 1728 г., № 3.

³⁾ Здѣсь говорится о Суассонскихъ конференціяхъ.

⁴⁾ Т. е. варварійскія.

⁵⁾ Миллеръ, и въ самомъ текстѣ «С.-Петербург. Вѣдомостей», часто дѣлалъ подобныя объясненія.

пользу учинить не могли, то стали они оную по смерти ея анатомировать, дабы имъ причину такой необыкновенной болѣзни открыть, и нашли внутри чрева ея великую змѣю». ¹⁾ (id. № 22).

При передачѣ политическихъ извѣстій, Миллеръ не позволялъ себѣ быть ихъ судьей и держался только фактовъ, которые почерпалъ изъ самыхъ достовѣрныхъ иностранныхъ газетъ. Какъ смотрѣли въ то время на участіе «непризванныхъ лицъ» въ рѣшеніи политическихъ вопросовъ — покажетъ намъ «копія съ письма изъ Амстердама», напечатанная въ № 88 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» за 1728 г. Здѣсь идетъ рѣчь объ одной юмористической статьѣ или брошюрѣ, — напечатанной, какъ видно, во Франціи, — гдѣ «мирныя дѣла» (т. е. конференціи въ Суассонѣ) «представлены, яко картеная (карточная) игра, и 20 и большее число персонъ въ одной квадриллѣ представляются». По словамъ корреспондента, это «безобразное ума разсужденіе принято у многихъ за благо», и онъ очень беспокоится, чтобы эта насмѣшка и въ Петербургѣ «не была такимъ же образомъ принята». Коснувшись вообще права частныхъ лицъ обсуждать политическія дѣла, корреспондентъ отзывается такъ: «Воинскихъ и мирныхъ дѣлъ основательно разсуждать суть, по моему мнѣнію, токмо тѣ достойны, которые случаи имѣютъ съ знатными министрами обходиться и которые о ихъ тайныхъ дѣлахъ извѣстны. Нѣкоторые принуждены скорлупами довольствоваться вмѣсто того, что сіи ядра находятъ; и когда такой, который сіе счастье не имѣетъ, думаетъ, что онъ подлинно прицѣпился, то находится часто, что онъ въ средину цѣли не потрафилъ».

«Что есть страннѣе — продолжаетъ нашъ авторъ — яко то, когда кто дѣйствительныя и важныя дѣла смѣшно изображаетъ? Что худшѣе, яко то, когда кто 20 и большее число персонъ въ одной квадриллѣ представляетъ? что есть обыкновеннымъ правиламъ въ разсужденіи противнѣе, яко то, когда кто склоненіямъ нрава (т. е. своей прихоти) надъ мудростью власть даетъ и въ самомъ началѣ измѣняетъ, къ какой партіи онъ склоняется? и что напоследокъ безразумнѣе, яко то, когда кто такіе персоны въ игру (т. е. въ игру картежную) вмѣняетъ, которые до оной весьма не касаются».

«Разсудите сами — заключаетъ корреспондентъ — ежели сіе жесточайшаго разсмотрѣнія не стоить. Я оное письмо того ради къ вамъ посылаю, дабы вы со мною о слабости издателя сожалѣли...

¹⁾ Вѣроятно — солитеръ.

Воздержность издателя да защищается такъ, какъ можетъ; такъ именуемое благое разсужденіе, которымъ французскій народъ хвалится (статья появилась во Франціи) изъ него не узнавается, или, ежели оное отъ прежнихъ временъ такъ изъ порядка вышло, то бѣ хорошо было, когда бѣ особое собраніе учредить, котораго члены постарались бѣ, чтобъ оное въ прежнее состояніе, чисто и безъ фальши, привести. Но находится мало таковыхъ людей въ свѣтѣ, которые основательнаго и добраго разсужденія суть».

Итакъ, по мнѣнію амстердамскаго корреспондента—лица, по видимому, принадлежавшаго къ вліятельному кругу,—сообщеніе публикѣ политическихъ извѣстій лежитъ на обязанности свѣдущихъ людей, близкихъ къ министрамъ, и нужно даже учредить «особое собраніе», которое бы имѣло своей специальной задачей: заботиться о приведеніи этихъ извѣстій «въ чистоту и безъ фальши», — если ужъ они разъ искажены несвѣдущею рукою.

Подобный же немудреный взглядъ на журналистику, какъ на officialный отчетъ о дѣятельности officialныхъ собраній, высказываетъ и Ломоносовъ, не возвысившійся въ этомъ случаѣ надъ уровнемъ обыденныхъ воззрѣній. Разница состоитъ только въ томъ, что Ломоносовъ совсѣмъ даже изгоняетъ современную политику изъ круга журнальныхъ обсужденій и ограничиваетъ этотъ кругъ одними резонированными выборками изъ академическихъ изданій и мемуаровъ. Взглядъ этотъ высказанъ былъ Ломоносовымъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Въ 1754 г., въ одномъ лейпцигскомъ журналѣ (*Commentaria de rebus in scientia naturali et medicina gestis*) появилась очень злая рецензія на ученныя работы нашего знаменитаго академика, особенно нападавшая на его новыя теоріи о теплотѣ и стужѣ, о химическихъ растворахъ и объ упругости воздуха. Рецензія эта принадлежала, кажется, лейпцигскому профессору Кестнеру, извѣстному въ то время математику и сатирику, который, по выраженію Эйлера—«не умѣлъ держать въ уздѣ своего сатирическаго духа», и своими колкими насмѣшками возстановилъ противъ себя почти всѣхъ своихъ ученыхъ современниковъ. Ломоносовъ,—крайне самолюбивый и всегда раздражительный, если дѣло касалось его ученой дѣятельности,—не оставилъ, конечно, безъ возраженія упомянутую рецензію и отвѣтилъ противъ нея цѣлой диссертацией, въ которой для насъ интересны: какъ предисловіе, заключающее

въ себѣ разсужденіе «о должности журналистовъ», такъ и конечные выводы или совѣты автора ¹⁾).

«Всякій знаетъ—говоритъ Ломоносовъ въ началѣ своего разсужденія—какъ стали значительны и быстры успѣхи наукъ съ тѣхъ поръ, какъ было сброшено иго рабства, и мѣсто его заступила свобода сужденія. Но нельзя не знать также, что злоупотребленіе этой свободы было причиною весьма ощутительныхъ золъ, число которыхъ однакожь далеко не было бы такъ велико, еслибъ большая часть пишущихъ не смотрѣли на свое авторство, какъ на ремесло и на средство къ пропитанію, вмѣсто того, чтобы имѣть въ виду точное и основательное изслѣдованіе истины. Оттого-то происходитъ столько излишне-смѣлыхъ выводовъ, столько странныхъ системъ, столько противорѣчивыхъ мнѣній, столько заблужденій и нелѣпостей, что науки были бы давно подавлены этою грудю хлама, еслибъ ученныя общества не старались соединенными силами противоdѣйствовать такому бѣдствію. Только что люди замѣтили, что въ потокѣ литературы смѣшаны истина съ ложью, вѣрное съ невѣрнымъ, и что наука подвергается опасности лишиться всякаго dѣйствія, если она не будетъ выведена изъ этого положенія,—образовались общества ученыхъ и учреждены были какъ бы литературныя судилища для оцѣнки сочиненій, съ тѣмъ чтобы отдавать каждому автору справедливость на основаніи самыхъ точныхъ началъ естественнаго права. Таково (въ равной мѣрѣ) происхожденіе академій и обществъ, завѣдывающихъ изданіемъ журналовъ. Первые наблюдаютъ, чтобы, до выхода въ свѣтъ, сочиненія ихъ членовъ подвергались строгому разсмотрѣнію, которое не допускало бы примѣси заблужденія къ истинѣ, не позволяло бы выдавать однихъ гипотезъ за достовѣрные положенія и старое за новое. Что касается до журналовъ, то они обязаны представлять самыя точныя и вѣрныя сокращенія появляющихся сочиненій, съ присоединеніемъ къ нимъ иногда справедливаго сужденія либо о самомъ содержаніи, либо о какихъ нибудь обстоятельствахъ, относящихся къ выполненію. Цѣль и польза такихъ извлеченій состоятъ въ томъ, чтобы

¹⁾ Диссертация эта, написанная на латинскомъ языкѣ, была, по ходатайству Эйлера, переведена Формеемъ на французскій языкъ для журнала: «Bibliothèque Germanique» и тамъ напечатана въ 1755 г. Мы пользуемся русскимъ переводомъ ея, сдѣланнымъ г. Кунникомъ въ «Сборникѣ матеріаловъ для исторіи импер. академій наукъ въ XVIII вѣкѣ». (Слб. 1865 г.).

быстрѣе распространять въ ученомъ мірѣ знакомство съ новыми книгами».

Сближивъ и даже отождествивъ такимъ образомъ задачи ученыхъ обществъ и журналистики, Ломоносовъ замѣчаетъ далѣе, что «излишне было бы указывать: сколько услугъ академіи оказали наукамъ своими прилежными трудами и учеными мемуарами, какъ усилился и распространился свѣтъ истины съ тѣхъ поръ, какъ возникли эти полезныя учрежденія». Но гораздо менѣе доволенъ онъ результатами быстрого развитія журналистики. «Журналы — по его мнѣнію — также могли бы много способствовать къ приращенію человѣческихъ знаній, еслибъ издатели были въ состояніи точно выполнить задачу, которую на себя приняли, и оставались въ настоящихъ предѣлахъ, предписываемыхъ имъ этой задачей. Способность и воля — вотъ чего отъ нихъ требуютъ. Способность нужна для того, чтобы основательно и съ знаніемъ дѣла обсуждать ту массу разнородныхъ предметовъ, которая входитъ въ ихъ планъ; воля, — чтобы, не имѣя въ виду ничего инаго, кромѣ истины, нисколько не поддаваться предразсудкамъ и страстямъ. Тѣ, которые присвоили себѣ званіе журналистовъ безъ такого дарованія и расположенія, не сдѣлали бы этого, еслибъ, — какъ было ужъ замѣчено, — ихъ не подстрекнулъ къ тому голодъ и не заставилъ ихъ судить и рѣдить о томъ, чего они не разумѣютъ. Дѣло дошло до того, что нѣтъ столь дурнаго сочиненія, котораго бы не расхвалили и не превознесъ какой нибудь журналъ, и, наоборотъ, какъ бы превосходенъ ни былъ трудъ, его непременно очернить и растерзаетъ какой нибудь ничего не знающій или несправедливый критикъ. Послѣ того, количество журналовъ такъ умножилось, что уже некогда было бы читать книги полезныя и нужныя или самому думать и трудиться, еслибъ кто захотѣлъ собирать у себя и только перелистывать Эфемериды, Ученныя газеты, Литературныя записки, Библіотеки, Коментаріи и другія періодическія изданія этого рода. Потому разсудительные читатели и держатся только такихъ журналовъ, которые признаны за лучшіе, и оставляютъ въ сторонѣ тѣ жалкія компіляціи, которыя только переписываютъ или искажаютъ сказанное другими, и которыхъ вся заслуга въ томъ, что онѣ, не стѣсняясь ничѣмъ, расточаютъ желчь и ядъ. Журналистъ свѣдущій, проникательный, справедливый и скромный сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ феникса».

Выразивъ далѣе сожалѣніе о томъ, что журнальная критика «вредитъ репутаціи ученыхъ, уничтожаетъ истину» и угрожаетъ

«погубить совершенно свободу разсужденія» (?)—Ломоносовъ, въ заключеніе своей диссертациі, находитъ необходимымъ «предписать такимъ критикамъ точныя границы, въ которыхъ имъ слѣдуетъ оставаться», и тутъ же указываетъ эти границы въ семи пунктахъ, совѣтуя «затвердить ихъ хорошенько» какъ лейпцигскому журналисту, такъ и всѣмъ его собратьямъ:

«1. Кто берется сообщать публикѣ содержаніе новыхъ сочиненій, долженъ напередъ взвѣсить свои силы, ибо онъ предпринимаетъ трудъ тяжелый и весьма сложный, котораго цѣль не въ томъ, чтобы передавать вещи извѣстныя и истины общія; но чтобы умѣть схватить новое и существенное въ сочиненіяхъ, принадлежащихъ иногда людямъ самымъ гениальнымъ (кажется, скромный намекъ на самого автора диссертациі). Говорить о нихъ невѣрно и неразумительно—значитъ подвергать себя презрѣнію и посмѣянію, значить уподобляться карлу, который захотѣлъ бы поднять на своихъ плечахъ горы».

«2. Чтобы быть въ состояніи произнести приговоръ искренній и справедливый, надобно освободить свой умъ отъ всякаго предразсудка, отъ всякаго предубѣжденія, и не требовать, чтобы авторы, которыхъ мы беремся судить, рабски подчинялись идеямъ, господствующимъ надъ нами (*soient servilement astreints aux idées qui nous dominent*), считая и безъ того этихъ писателей нашими истинными врагами, съ которыми мы призваны вести открытую войну».

«3. Сочиненія, о которыхъ отдается отчетъ, должны быть раздѣлены на два разряда: къ первому принадлежатъ сочиненія одного автора, писавшаго ихъ, какъ частное лицо; ко второму — труды, издаваемые цѣлыми корпораціями съ общаго согласія, по тщательномъ ихъ разсмотрѣніи. И тѣ, и другіе заслуживаютъ, конечно, всякаго вниманія и уваженія со стороны критики: нѣтъ такого сочиненія, которое не требовало бы соблюденія естественныхъ законовъ справедливости и приличія. Нельзя однакожъ не согласиться, что нужно вдвое болѣе осторожности, когда дѣло идетъ о сочиненіяхъ, уже носящихъ на себѣ печать уважительнаго одобренія (*qui portent déjà le sceau d'une approbation respectable*), просмотрѣнныхъ и признанныхъ достойными изданія отъ лицъ, которыхъ совокупныя знанія естественно превосходятъ свѣдѣнія журналиста, и прежде, нежели онъ рѣшится указывать недостатки и осуждать, онъ долженъ неоднократно взвѣсить то, что намѣренъ сказать, для того чтобы быть въ состояніи поддержать и оправдать свои слова, если въ томъ встрѣтится надобность. Такъ какъ

сочиненія этого рода бываютъ обыкновенно тщательно обработаны, и предметы въ нихъ разсматриваются систематически, то малѣйшіе пропуски или неточности могутъ подать поводъ къ опрометчивымъ сужденіямъ, которыя уже и сами по себѣ постыдны, но становятся такими еще болѣе, когда въ нихъ ясно высказываются небрежность, невѣжество, поспѣшность, духъ партій и недобросовѣстность».

«4. Журналистъ не долженъ торопиться порицать гипотезы. Онѣ позволительны въ предметахъ философскихъ, и это даже единственный путь, которымъ величайшіе люди успѣли открыть истины самыя важныя. Это какъ бы порывы, доставляющіе имъ возможность достигнуть знаній, до которыхъ умы низкіе и пресмыкающіеся въ пыли (*les esprits objects et rampants dans la poussière*) никогда обратиться не могутъ».

«5. Особенно же пусть журналистъ запомнить, что всего безчестнѣе для него красть у кого либо изъ собратьевъ высказываемыя имъ мысли и сужденія и присвоивать ихъ себѣ, какъ будто бы онъ самъ придумывалъ ихъ, тогда какъ ему извѣстны едва заглавія книгъ, которыя онъ уничтожаетъ. Такъ бываетъ часто съ наглымъ рецензентомъ, который отваживается дѣлать извлеченія изъ книгъ физическихъ и медицинскихъ».

«6. Журналисту позволяется опровергнуть то, что, по его мнѣнію, заслуживаетъ того въ новыхъ сочиненіяхъ, хотя это вовсе не настоящее его дѣло и не прямое его призваніе (*quoique ce ne soit pas son objet direct et sa vocation proprement dite*). Но кто уже разъ беретъ за то, (тотъ) долженъ вполне ознакомиться съ мыслями автора, разобрать всѣ его доказательства и противопоставить имъ дѣйствительныя возраженія и основательныя доводы, прежде нежели онъ присвоитъ себѣ право осуждать другаго. Одни сомнѣнія и произвольные вопросы не даютъ этого права, ибо нѣтъ такого невѣжды, который не могъ бы предложить гораздо болѣе вопросовъ, нежели сколько самый свѣдущій человѣкъ въ состояніи рѣшить. Журналистъ не долженъ особенно воображать, что непонятное и необъяснимое для него — таково же и для автора, который могъ имѣть свои причины (?) къ тому, чтобы сократить или опустить нѣкоторыя обстоятельства».

«7. Наконецъ, онъ никогда не долженъ имѣть слишкомъ высокаго мнѣнія о своемъ превосходствѣ, о своемъ авторитетѣ и о достоинствѣ своихъ сужденій. Выполняемое имъ дѣло само по себѣ уже непріятно для самолюбія тѣхъ, кого онъ затрагиваетъ (*la fonction qu'il*

exerce étant déjà par elle-même désagréable à l'amour propre de ceux qui en sont objet): было бы, съ его стороны, очень неблагоприятно оскорблять ихъ намѣренно и вынуждать къ обнаруженію его бессилія (désobliger volontairement et de les forcer à mettre au grand jour son insuffisance)».

Нельзя не замѣтить, что, помимо добрыхъ совѣтовъ, полезныхъ въ равной мѣрѣ какъ для журналистовъ, такъ и для академиковъ (какъ напр., совѣтъ «не имѣть слишкомъ высокаго мнѣнія о своемъ превосходствѣ и авторитетѣ»), диссертация эта больше выражаетъ собой негодованіе уязвленнаго автора, чѣмъ достаточное пониманіе той «должности журналиста», о которой взялся разсуждать онъ. Недобросовѣстные и невѣжественные люди, — берущіеся не за свое дѣло и вносящіеся въ него элементы разложенія, — встрѣчаются, конечно, во всѣхъ сферахъ общественной дѣятельности; но едва ли основательно было со стороны Ломоносова видѣть ихъ почти исключительно въ журналистикѣ, гдѣ, будто бы, нельзя и найти «свѣдущаго, проникательнаго и справедливаго» человѣка. Прямое опроверженіе этому взгляду представилось сейчасъ же въ лицѣ того журналиста, который отнесся вполне уважительно къ претензіи Ломоносова и далъ ей возможность публично же высказаться, не смотря на то, что раздраженный ученый клеймилъ смаху все сословіе, къ которому принадлежалъ, между прочимъ, и этотъ «справедливый» журналистъ. Но, независимо отъ вопроса о большей или меньшей личной порядочности тогдашнихъ журнальныхъ дѣятелей, — самый взглядъ Ломоносова на задачу и характеръ журнальнаго дѣла никакъ не можетъ быть признанъ правильнымъ, ибо въ немъ упущена цѣликомъ изъ виду вся общественно-политическая роль журналистики. Учебная книга, академическій мемуаръ дѣлаютъ излишнимъ, по этому взгляду, всякое періодическое изданіе, а взрослая публика трактуется авторомъ диссертации, какъ учащееся юношество.

Ломоносовъ едва разрѣшаетъ журналисту «опровергать въ разбираемыхъ сочиненіяхъ то, что заслуживаетъ опроверженія», и обязываетъ его только передавать ихъ содержаніе, съ соблюденіемъ особой почтительности, — равняющейся подобострастію, — къ коллективнымъ трудамъ ученыхъ корпорацій. Насколько журналисты вѣтряны, необразованы и корыстны, настолько же члены «ученыхъ корпорацій» солидны, свѣдущи и руководимы только одними высшими научными интересами. Такимъ образомъ, патентованная ученость, которая и безъ того склонна застыть въ своемъ неподвижномъ величіи, являлась сама себѣ судьей и по-

лучала безпредѣльное право вѣзать и рѣшить всѣ научные и литературные вопросы. Совершенно аналогическая мысль, — только перенесенная въ область политики, — мысль о необходимости «особливыхъ собраній», соотвѣтствующихъ ученымъ корпораціямъ Ломоносова, была высказана и въ цитированномъ нами письмѣ амстердамскаго корреспондента «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей».

Успѣхъ «Примѣчаній» внушилъ Миллеру намѣреніе заняться изданіемъ ежемѣсячнаго учено-литературнаго журнала, съ цѣлью распространить въ русской публикѣ серьезныя научныя познанія, относящіяся главнымъ образомъ къ прошедшему и настоящему быту Россіи. Назначенный въ началѣ 1754 г. конференцъ-секретаремъ академіи, Миллеръ немедленно предложилъ ей приступить къ такому изданію, а вмѣстѣ съ тѣмъ составилъ подробную программу журнала и принялъ на себя его редакцію, подъ наблюдениемъ особаго академическаго комитета. Изданіе появилось въ 1755 г. подъ именемъ «Ежемѣсячныхъ Сочиненій», но въ теченіе десятилѣтняго своего существованія оно три раза мѣняло это первоначальное названіе. На первомъ планѣ стояли здѣсь ученныя изысканія самого Миллера по русской исторіи; но въ журналъ были введены также и другаго рода статьи, безъ раздѣленія ихъ на особыя рубрики (которыя появились, въ первый разъ, въ карамзинскихъ журналахъ), — введены уже не для «пользы», а для «увеселенія» читателей. Въ предисловіи къ журналу говорилось: «Предлагаемы будутъ здѣсь всякія сочиненія, какія только обществу полезны быть могутъ: не одни только разсужденія о собственно такъ называемыхъ наукахъ, но и такія, которыя въ экономіи, въ купечествѣ, въ рудокопныхъ дѣлахъ и пр. къ поправленію чего нибудь поводъ подать могутъ... Для сохраненія благопристойности и для отвращенія противныхъ слѣдствій вносятся не будутъ сюда никакіе явные споры или чувствительныя возраженія на сочиненія другихъ, ниже иное что, съ обидою написанное на кого бы то ни было... Мы равномѣрно желаемъ, чтобъ и стихотворцы сочиненія свои намъ сообщали, между которыми могутъ быть и забавныя; то мы надѣемся, что сочинители оныхъ ни до кого персонально касаться не будутъ». Такимъ образомъ, въ журналъ печатались правоучительныя притчи, сны, повѣсти — оригинальныя и переводныя изъ англійскихъ и нѣмецкихъ журналовъ. Характеръ этихъ правоученій и сатиръ былъ еще не таковъ, какимъ онъ сталъ въ позднѣйшее время: Миллеръ очень опасался всякихъ «персональныхъ указаній» и «противныхъ слѣдствій» поле-

мики, потому и въ сатирахъ его журнала развивались только однѣ общія идеи, въ самой отвлеченной и безобидной формѣ. Форма аллегорій считалась самой удобной для такого кроткаго исправленія нравовъ; нравственные идеи, пересыпанныя нападками на общечеловѣческіе пороки, излагались въ видѣ сновъ, разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ и т. п. Для пущаго обличенія зла, авторъ бралъ названіе какого нибудь ходячаго порока и рассказывалъ его исторію, какъ-то: союзъ съ другими пороками и вражду съ добродѣтелью. Въ подобномъ родѣ есть, напримѣръ, одна «Аллегорія», въ которой рассказывается о гордости, что она «родилась отъ упрямства и презорства; ненависть и зависть были дѣдъ и бабка съ отцовской, а безуміе и самолюбіе—съ материнской стороны». Гордость вступаетъ потомъ въ бракъ съ честолюбіемъ, губить мужа и сама погибаетъ. Въ другихъ беллетристическихъ произведеніяхъ развивается мысль, что «благость и милосердіе потребны героямъ», что «монаршее имя любовью къ подданнымъ безсмертіе пріобрѣтаетъ» и т. п. По части серьезныхъ статей съ научнымъ характеромъ, Миллеръ переводилъ изслѣдованія Бюффона, Линнея, статьи медицинскаго содержанія и пр. и пр. Современныя извѣстія оставались въ окончательномъ пренебреженіи: они ограничивались, и то рѣдко, описаніемъ фейерверковъ, придворныхъ церемоній, приѣма пословъ и т. п. Критика была еще въ зародышѣ и не считалась необходимой принадлежностью журнала. Поэтому «Ежемѣсячныя Сочиненія» представили, за первые 8 лѣтъ своего существованія, только двѣ критическія статьи, изъ которыхъ въ одной разбиралась трагедія Сумарокова: «Синавъ и Труворъ». Но зато съ 1763 г. появляется въ журналѣ постоянная библіографія русскихъ и иностранныхъ книгъ.

Съ 1756 г. стали выходить въ Москвѣ, при университетѣ, «Московскія Вѣдомости» (дважды въ недѣлю) по образцу Петербургскихъ, въ томъ видѣ, какъ онѣ издавались при Миллерѣ. Первыми редакторами ихъ были Поповскій и Барсовъ. Здѣсь также, какъ и въ академическихъ вѣдомостяхъ, печатались преимущественно иностранныя политическія извѣстія, безъ всякой тенденціи, а также новости собственно московскія: описаніе университетскихъ празднествъ, объявленія отъ университета и присутственныхъ мѣстъ.

Итакъ, кромѣ элементарно-поучительнаго характера, въ изданіяхъ Миллера впервые пробилась и сатирическая струя, скованная первоначально своей аллегорической формой. Но этой слабой струѣ предстояло скоро разростись въ довольно широкій потокъ. Въ 1759 г. одинъ изъ сотрудниковъ «Ежемѣсячныхъ Со-

чиненій», сатирикъ и драматургъ Сумароковъ, открылъ свой собственный журналъ, подъ названіемъ «Трудолюбивой Пчелы», въ которомъ сатирѣ отводилось уже болѣе мѣста и значенія, чѣмъ въ «Ежемесячныхъ Сочиненіяхъ». Сумароковъ осмѣивалъ не пороки вообще, а пороки русскаго общества въ частности. Еще полнѣе выразилось это сатирическое направленіе въ цѣломъ рядѣ журналовъ, возникшихъ при Екатеринѣ II. — Извѣстно, что въ первое время своего царствованія Екатерина II, торжественно осудивъ своего предшественника за «развращеніе всего того, что Петръ Великій въ Россіи установилъ», дала обѣщаніе заботиться единственно о благосостояніи своего государства, «дабы вывести усердныхъ сыновъ Россіи изъ унынія и оскорбленія». Императрица издала, одинъ за другимъ, нѣсколько указовъ, или облегчавшихъ народныя тягости, или осуждавшихъ рѣзко и безпощадно весь прежній порядокъ дѣлъ. Сюда относятся: указъ объ уничтоженіи ненавистой всѣмъ тайной канцеляріи и другой — о лихоимствѣ — гдѣ съ замѣчательной прямою было раскрыто все зло, господствовавшее въ то время въ нашихъ судахъ. Либеральное настроеніе императрицы, желавшей прослыть «россійской Минервой», отразилось и въ тогдашней литературѣ. Понимая, подобно Петру I, значеніе печати для успѣшнаго проведенія въ общество извѣстныхъ взглядовъ, Екатерина сама прибѣгала къ литературнымъ средствамъ и охотно позволяла другимъ пользоваться свободой слова, — поскольку это не противорѣчило ея государственнымъ видамъ и тѣмъ особеннымъ, полузависимымъ отношеніямъ, въ которыя историческая судьба поставила ее къ правящимъ классамъ русскаго народа.

Вслѣдствіе этого, положеніе тогдашнихъ журналовъ было не очень завидное; при всей своей невинности, они получали право нападать только на то, что было уже и безъ нихъ осуждено высшею властью. Писатели, которые пробовали распространить свои критическія наблюденія нѣсколько дальше обычной мѣрки, встрѣтились съ самыми затруднительными препятствіями, которыхъ, конечно, они не могли преодолѣть. Исторія притѣсненій, которымъ подверглись въ это время наши сатирическіе журналы, достаточно знакома публикѣ, и мы только напомнимъ ее въ главныхъ чертахъ. Въ 1769 г. появился еженедѣльный сатирическій листокъ «Всякая Всячина», въ изданіи котораго принимала непосредственное участіе сама императрица (см. «Матеріалы для исторіи журн. и литер. дѣятельности Екатерины II»; Зап. Ак. Н., прил. къ III т., № 6). Направленіе этого листка было умѣренно-либеральное; въ немъ вліятельный кружокъ развивалъ инкогнито

свои мысли по разнымъ вопросамъ, занимавшимъ тогда общественное мнѣніе. Примѣръ «Всякой Всячины» увлекъ на это поприще и другихъ писателей: вслѣдъ за ней появился въ томъ же году рядъ новыхъ изданій: «И то, и се», «Ни то, ни се» (Рубана), «Поденщина» (Тузова), «Смѣсь», «Трутень» (Новикова) и «Адская почта» (Эмина). Кромѣ того, полгода выходило «Полезное съ Пріятнымъ». Но всѣ эти изданія прекратились въ концѣ года; только два изъ нихъ: «Барышокъ Всякія Всячины» (т. е. остатокъ прошлагоднихъ статей) и «Трутень» перешли на слѣдующій 1770 годъ. Самымъ смѣлымъ изъ этихъ журналовъ былъ, конечно, «Трутень» Новикова. Въ первыхъ же листахъ своего еженедѣльнаго изданія смѣлый писатель напалъ съ такимъ ожесточеніемъ на взяточниковъ и ихъ покровителей, что осторожная «Всякая Всячина» сочла нужнымъ тогда же напечатать отповѣдь, въ которой вина неправосудія слагалась съ чиновниковъ на общество, давно привыкшее къ ябедѣ и сутажничеству. При этомъ «Всякая Всячина» удостовѣряла, что, «можетъ быть, никогда и нигдѣ какое бы то ни было правленіе не имѣло болѣе попеченія о своихъ подданныхъ, какъ нынѣ царствующая монархія», и что «ей, великой государынѣ, пріятно правосудіе, что она сама справедлива и желаетъ въ самомъ дѣлѣ видѣти справедливость и правосудіе въ дѣйствіи во всей ея области». Вопросъ о взяточничествѣ ставился здѣсь такимъ образомъ, что излишняя горячность въ преслѣдованіи его могла быть растолкована, какъ обида для верховной власти. Подобная постановка вопроса повела къ тому, что въ началѣ 1770 г. «Трутень» всѣ свои нападки на взяточниковъ помѣчалъ заднимъ числомъ, т. е. относя ихъ къ неустройству прежняго управленія,—тогда какъ въ первый годъ изданія онъ смотрѣлъ далеко не такъ благодушно на процвѣтаніе правосудія въ нашемъ отечествѣ. «Скажи, пожалуй—спрашивалъ, во 2-мъ листѣ «Трутня» (1769 г.), взяточникъ-дядя своего племянника—для чего ты не хочешь идти въ приказную (службу)? Почему она тебѣ противна? Ежели ты думаешь, что она по нынѣшнимъ указамъ, не наживна, такъ ты въ этомъ, другъ мой, ошибаешься. Правда, въ нынѣшнія времена противъ прежняго не придетъ и десятой доли; но со всѣмъ тѣмъ годовъ въ десятокъ можно нажить хорошую деревеньку». Только одни прокуроры (должность, только что учрежденная въ то время) мѣшаютъ воровству, по пословицѣ: «новая метла чисто мететъ», стараются замѣнить закономъ—беззаконіе. «Нажилъ бы я еще и не то—сѣтуетъ взяточникъ—ежели бы прокуроръ со мною былъ несогласнѣе; и

за грѣхи мои наказалъ меня Господь такимъ неговорчивымъ, что, какъ его ни уговаривай, только онъ, какъ козьи рога, въ мѣхъ не лѣзетъ... Прокуроръ нашъ человѣкъ молодой и, сказываютъ, что ученый, только я этого не примѣтилъ. Развѣ потому, что онъ, въ бытность его въ Петербургѣ, накупилъ себѣ премножество книгъ, а пути нѣтъ ни въ одной. Я одинажды перебиралъ ихъ всѣ, только ни въ одной не нашелъ, котораго святаго въ тотъ день празднуется память,—такъ куда онѣ годятся? Я на всѣ его книги святцовъ своихъ не промѣняю». Но и эти неожиданные враги, по мнѣнію взяточника, ненадолго остановятъ разгулъ корысти. «Научился (прокуроръ) дѣлать в и р ш и—иронически замѣчаетъ онъ—которыми думалъ насъ оплетать; только самъ онъ чаще попадаетъ въ наши верши (т. е. сѣти). Мы его частехонько за носъ поваживаемъ. Онъ думаетъ, что всѣ дѣла надлежитъ вершить по наукамъ, а у насъ въ приказныхъ дѣлахъ какія науки? кто правъ, такъ тотъ и безъ наукъ правъ, лишь бы тольکو была у него догадка, какъ принятыся за дѣло, а судейская наука вся въ томъ состоитъ, чтобы умѣть искусненько пригибать указы по своему желанію, въ чемъ и секретари много намъ помогаютъ». Изъ этихъ словъ выходитъ уже, что прокурорскій надзоръ,—не смотря на то, что онъ досаждалъ по временамъ судьямъ,—не въ силахъ былъ улучшить дѣла, имѣвшаго глубокіе органическіе недостатки: въ отсутствіи гласности, въ «гибкости» закона, въ общемъ невѣжествѣ и т. п. Еще больше утѣшаетъ взяточника та пріятная надежда, что его племянникъ, благодаря протекціи «знатныхъ господъ», можетъ и самъ попасть въ прокуроры, а затѣмъ stacked съ дядюшкой и вдвоемъ обирать народъ такъ искусно, что на нихъ «и просить нельзя будетъ». Но такіа зловѣщія пророчества, разумѣется, не нравились императрицѣ...

Еще рѣзче оборвали Новикова, когда онъ вздумалъ коснуться, въ прозрачныхъ обличеніяхъ, разныхъ высоко-поставленныхъ лицъ, или тѣхъ—по его словамъ—«большихъ бояръ, которые угнетаютъ истину, правосудіе, честь, добродѣтель и человѣчество, и съ которыми хуже имѣть дѣло, чѣмъ съ лютымъ тигромъ». Вслѣдъ за появленіемъ подобныхъ статей, издатель «Трутня» получилъ письмо отъ одного изъ своихъ доброжелательныхъ читателей, въ которомъ его предостерегали, что статьи такого содержанія дурно принимаются при дворѣ. Между прочимъ, авторъ письма приводитъ весьма выразительныя слова одного «придворнаго господчика», сказанныя имъ про издателя «Трутня»: «Не въ свои-де этотъ ав-

торъ садится сани. Онъ-де зачинаетъ писать сатиры на придворныхъ господъ, знатныхъ бояръ, дамъ («Трутенъ» помѣстилъ въ IV-мъ листѣ разсказъ о томъ, какъ одна знатная барыня украла изъ гостиннаго двора два мотка золотыхъ и серебряныхъ сѣтокъ), на судей именитыхъ и на всѣхъ. Такая-де смѣлость ничто иное есть, какъ дерзновение. Полно-де его недавно отпирала «Всякая Всячина» очень хорошо; это еще ничего: въ старыя времена послали бы-де его потрудиться для пользы государственной описывать нравы какого ни на есть царства русскаго владѣнія (т. е. въ Сибирь, по объясненію г. Пекарскаго); но нынче-де дали волю писать и пересмѣхать знатныхъ, и за такія сатиры не наказываютъ. Вѣдь-де знатный господинъ—не простой дворянинъ, что на немъ тоже взмскивать, что и на простолюдинахъ. Кто-де не имѣетъ почтенія и подобострастія къ знатымъ особамъ, тотъ уже худой слуга. Знать, что-де онъ не слыхивалъ, что были на Руси сатирики и не въ его пору, но и тѣмъ рога посломали». («Трутенъ» въ изданіи П. А. Ефремова, л. VIII, стр. 51). Письмо оканчивается благимъ совѣтомъ — «не наводитъ зеркала на лица знатныхъ бояръ и боярынь».

Нападки на «Трутенъ» со стороны «Всякой Всячины», — которыми такъ восхищается «придворный господчикъ», — дѣйствительно заслуживаютъ вниманія по своему принципиальному характеру. Война возгорѣлась по поводу того, что наши сатирическіе журналы увлеклись, по мнѣнію «Всякой Всячины», своими обличительными стремленіями и начали слишкомъ явственно «дѣлать на особъ» вмѣсто того, чтобы имѣть въ виду одни лишь пороки. Словомъ, «Всякая Всячина» выразила желаніе держаться въ предѣлахъ той отвлеченной, туманно-аллегорической сатиры, которую мы встрѣчаемъ въ «Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ» Миллера, и также опасалась всякихъ «персональных указаній» и «чувствительныхъ возраженій», несовмѣстимыхъ съ кроткимъ, безобиднымъ характеромъ подобной сатиры. Не раздѣляя обличительной строгости своего «плодовитаго потомства», бабушка русской сатиры (какъ называла себя «Всякая Всячина») выставила на видъ такую программу: 1) не называть слабостей пороками, 2) хранить во всякомъ случаѣ человѣколюбіе и 3) не думать, чтобы кто могъ быть совершеннымъ. Но «Трутенъ» не рѣшился принять рекомендуемую программу и возразилъ на нее въ очень вѣской и сдержанной статьѣ. «Я самъ того мнѣнія—говоритъ Правдобовъ въ V-мъ листѣ «Трутня» за 1769 г.,—что слабости человѣческія сожалѣнія достойны; однакожь не похвалъ, и никогда того не подумаю; чтобы на сей разъ не покривила своею мыслію и

душою госпожа ваша прабабка, давъ знать, что похвальнѣе снисходить порокамъ, нежели исправлять оныя. Многіе, слабой совѣсти, люди никогда не упоминаютъ имя порока, не прибавивъ къ оному челоѣколюбія. Они говорятъ, что слабости челоѣческія обыкновенны, и что должно оныя прикрывать челоѣколюбіемъ: слѣдовательно, они порокамъ сшили изъ челоѣколюбія кафтанъ, но такихъ людей челоѣколюбіе приличнѣе называть пороколюбіемъ. По моему мнѣнію, больше челоѣколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, который онымъ снисходитъ или (сказать по русски) потакать... Не понравилось мнѣ первое правило упомянутой госпожи, то есть, чтобъ отнюдь не называть слабости порокомъ, будто Іоаннъ и Иванъ—не все одно. О слабости тѣла челоѣческаго мы разсуждать не станемъ, ибо я не лѣкарь, а она не повивальная бабушка, но душа слабая и гибкая въ каждую сторону покривиться можетъ. Да и я не знаю, что, по мнѣнію сей госпожи, значить слабость. Нынѣ обыкновенно слабостью называется: въ кого нибудь по уши влюбиться, т. е. въ чужую жену или дочь; а изъ сей мнимой слабости выходитъ—обезчестить домъ, въ который мы ходимъ, и поссорить мужа съ женою или отца съ дѣтьми; и это будто не порокъ?.. Любить деньги есть также слабость, почему слабому челоѣку простибельно брать взятки и набогатѣться грабежами. Пьянствовать также слабость, или еще привычка; однако пьяному можно жену и дѣтей прибить до полусмерти и подраться съ вѣрнымъ своимъ другомъ. Словомъ сказать, я какъ въ слабости, такъ въ пороки не вижу ни добра, ни различія».

Возраженія эти крайне не понравились «Всякой Всячинѣ»; и она, назвавъ ихъ несправедливо «ругательствами», обвинила «Трутеня» въ томъ, что онъ «исключаетъ снисхожденіе, истребляетъ милосердіе» и даже требуетъ будто бы «за все да про все кнутомъ съечь». Вообразивъ себѣ все это, «Всякая Всячина» не затруднилась уже дать «Трутню» челоѣколюбивый совѣтъ поучиться,—«дабы черныя пары и желчь не оказывались даже и на бумагѣ, до коей онъ дотрогивается». Правдолюбовъ, однако, не смолчалъ. «Госпожа «Всякая Всячина» — пишетъ онъ въ отвѣтъ на гнѣвную реплику—на насъ прогнѣвалась, и наши правоучительныя разсужденія называетъ ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думалъ. Вся ея вина состоитъ въ томъ, что на русскомъ языкѣ изъясняться не умѣетъ и русскихъ писаній обстоятельно разумѣть не можетъ... Въ пятомъ листѣ «Трутня» ничего не

писано, какъ думаетъ госпожа «Всякая Всячина», ни противу милосердія, ни противу снисхожденія, и публика, на которую я ссылаюсь, то разобрать можетъ. Ежели я написалъ, что больше челоуѣколюбивъ тотъ, кто исправляетъ пороки, нежели тотъ, кто онымъ потакаетъ, то не знаю, какъ такимъ изъясненіемъ я могъ тронуть милосердіе? Видно, что госпожа «Всякая Всячина» такъ похвалами избалована, что теперь и то почитаетъ за преступленіе, если кто ее не похвалить. Не знаю, почему она мое письмо называетъ ругательствомъ? Ругательство есть брань, гнусными словами выраженная, но въ моемъ прежнемъ письмѣ, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нѣтъ ни кнутовъ, ни висѣлицъ, ни прочихъ слуху противныхъ рѣчей, которыя въ изданіи ея находятся... Она утверждаетъ, что я имѣю дурное сердце, потому что, по ея мнѣнію, исключая моими разсужденіями снисхожденіе и милосердіе. Кажется, я ясно написалъ, что слабости челоуѣческія сожалѣнія достойны, но что требуютъ исправленія, а не потачки; и такъ думаю, что сіе мое изреченіе знающему руссійскій языкъ и правду не покажется противнымъ ни справедливости, ни милосердію. Совѣтъ ея, чтобы мнѣ лѣчиться, не знаю—мнѣ ли больше приличенъ, или сей госпожѣ? Она, сказавъ, что на пятый листъ «Трутня» отвѣтствовать не хочетъ, отвѣчала на оный всѣмъ своимъ сердцемъ и умомъ, и вся ея желчь въ ономъ письмѣ сдѣлалась видна. Когда жъ она забывается и такъ мокротлива, что часто не туда цѣлетъ, куда надлежитъ, то, кажется, для очищенія ея мыслей и внутренности, небезполезно ей и полѣчиться».

Въ журнальной полемикѣ приняли участіе и другіе сатирическіе листки: «Смѣсь» и «Адская Почта» стали на сторону «Трутня»; журналъ «И то, и се» вступился за «Всякую Всячину»¹⁾. Съ особенной ѣдкостью отзывалась «Смѣсь» о литературныхъ претензіяхъ «Всякой Всячины» и отрекивалась отъ всякаго родства съ нею. «Я вижу въ городѣ—читаемъ мы въ этомъ жур-

¹⁾ «Адская Почта» издавалась ежемѣсячно О. А. Эминымъ во второй половинѣ 1769 г., а издателемъ «И то, и се» (еженедѣльн. журналъ) былъ М. Д. Чулковъ; что же касается до «Смѣси», выходившей еженедѣльно съ 1 апр. 1769 г., то имя ея издателя осталось, до сихъ поръ, неизвѣстнымъ. Приписывали это изданіе Новикову, — вѣроятно, основываясь на бойкости сатиры и солидарности направленія съ «Трутнемъ», — но по мнѣнію А. Н. Аванасьева, такое предположеніе «едва ли справедливо». (См. «Русскіе сатирич. журналы», изслѣдов. Аванасьева, стр. 26—61). По прекращеніи журнала, издатель «Смѣси» обращался въ редакцію «Трутня» для объясненій съ своими прежними читателями. («Трутень» 1770 г., л. XI и XII).

нагѣ — такую бабушку, которая всѣхъ писателей журналовъ включаетъ въ свое племя и всегда ворчитъ на нихъ сквозъ зубы: изъ чего заключаю, что они не отъ нея происходятъ, а она сама на нихъ клеветъ. Но почто же называться роднею? Или она уже выжила изъ ума? Сомнѣніе мое часъ отъ часу умножается. Я разсматривалъ ея труды и послѣ слѣчалъ съ ея потомствомъ, однако не находилъ ни малыхъ слѣдовъ, чтобъ она была способна къ такому дѣторожденію, ибо послѣдніе ея внучата поразумнѣе бабушки; въ нихъ я не вижу такихъ противорѣчій, въ какихъ она запуталась. Бабушка въ добрый часъ намѣрется исправлять пороки, а въ блаженной—даетъ имъ послабленіе. Она говоритъ, что подьячихъ искушаютъ, и для того они берутъ взятки, а это такъ на правду походить, какъ то, что чортъ искушаетъ людей и велитъ имъ дѣлать злое. Сія же старушка совѣтуетъ: чтобы не таскаться по приказнымъ крючкамъ, то должно мириться и раздѣлываться добровольно; всякій сіе знаетъ, и, конечно, попусту тягаться не сыщется охотниковъ. Вѣрно, еслибъ всѣ были совѣстны и наблюдали законы, то не надобно бы было и судовъ, и приказовъ, и подьячимъ бы не шло государево жалованье. Но когда сіе необходимо, то для чего ей защищать подьячихъ? Знать, что они-то истинное ея поколѣніе». Подтрунивая далѣе надъ самохвалствомъ «Всякой Всячины», остроумный противникъ ея говорилъ: «Знаете ли, почему она увѣнчана толикими похвалами, въ листкахъ ея видными? Я вамъ скажу. Во-первыхъ скажу, потому что многія похвалы сама себѣ сплетаетъ; потомъ по причинѣ той, что разгласила, будто въ ея собраніи многіе знатные господа находятся; итакъ, нѣкоторые можетъ статься, думая хваленіемъ ихъ сочиненій войти въ ихъ милость, засыпали похвалами «Всякую Всячину».

Былъ ли прямой, личный умыселъ въ нѣкоторыхъ колкостяхъ, приведенныхъ нами—трудно рѣшить, хотя участіе, принимаемое императрицею въ изданіи «Всякой Всячины» и могло быть извѣстно въ тогдашнемъ литературномъ кругу; но нельзя не замѣтить, что ниня изъ этихъ колкихъ остротъ должны были показаться Екатеринѣ направленными прямо по ея адресу (какъ напр., плохое знаніе русскаго языка), и что это обстоятельство, въ придаatokъ къ другимъ, также могло отразиться на судьбѣ русской журналистики. И дѣйствительно «Трутенъ», въ скоромъ времени, весьма понизилъ свой тонъ. Въ послѣдующихъ статьяхъ уже ясно видно, что перо сатирика удерживалось боязнью сказать больше, чѣмъ слѣдовало, попасть не въ тонъ вліятельнаго кружка и под-

вергнуться зато прямому или косвенному порицанию. Съ такою именно опасливостью затрогивался у Новикова крестьянский вопросъ. Въ XIV листѣ «Трутеня» за 1769 г. мы встречаемъ характеристику помѣщика Безразсуда, который «болеетъ мнѣніемъ, что крестьяне не суть человѣки, но крестьяне; а что такое крестьяне, о томъ знаетъ онъ только потому, что они крѣпостные его рабы». Безразсудъ думаетъ, что крестьяне «для того и созданы, чтобы, претерпѣвая всякія нужды, и день и ночь работать и исполнять его волю исправнымъ платежемъ оброка», — и этою крѣпостническою философіею вызываетъ слѣдующее внутреннее сатирика: «Вообрази рабовъ твоихъ состояніе; оно и безъ отягощенія тягостно; когда жъ ты гнушаешься тѣми, которые для удовольствованія страстей твоихъ трудятся почти безъ отдохновенія, они и не смѣютъ и мыслить, что они человѣки, но считаютъ себя осужденными за грѣхи отецъ своихъ, видя, что прочая ихъ братія у помѣщиковъ-отцовъ наслаждаются вожделѣннымъ спокойствіемъ, не завидуя никакому на свѣтѣ счастью (?) ради того, что они въ своемъ званіи благополучны» и пр. Этому помѣщику, для излѣченія болѣзни, авторъ совѣтуетъ: «всякій день по два раза разсматривать кости господскія и крестьянскія до тѣхъ поръ, пока найдешь онъ различіе между господиномъ и крестьяниномъ». Очевидно, у автора была на умѣ мысль о несправедливости крѣпостныхъ отношеній, и эту мысль онъ выставилъ довольно прозрачно подъ видомъ сравненія помѣщичьихъ и крестьянскихъ костей; но логическаго вывода, прямого отрицанія крѣпостнаго права и тутъ нѣтъ, — потому ли, что Екатерина не находила удобнымъ отнимать у многихъ вельможъ только что пожалованнымъ крестьянъ, за содѣйствіе къ возведенію ея на тронъ, или, можетъ быть, потому, что самъ Новиковъ стоялъ исключительно на филантропической точкѣ зрѣнія и, подобно многимъ образованнымъ людямъ того времени, хлопоталъ не объ униженіи, а только о смягченіи крѣпостнаго ига. Тѣмъ не менѣе, и скромныя нападки на коренное зло тогдашней общественной жизни коробили ревностныхъ защитниковъ дворянскихъ правъ.

Вслѣдствіе вышшняго давленія, «Трутень» постепенно падалъ въ 1770 г.; издатель боялся печатать самыя рѣзкія статьи, при-
смыкаемыя къ нему, или печаталъ ихъ съ уродливыми передѣлками; сотрудники и подписчики одинаково жаловались, что журналъ за этотъ годъ сталъ «нерадивѣе» прошлогодняго. По причинѣ вынужденныхъ редакторскихъ поправокъ, случалось, что—

Въ смущеніи творецъ труды свои читаетъ

И зря, что самъ писалъ, того не понимаетъ...

Въ оправданіе свое издатель говорилъ, что не знаетъ, какъ угождать публикѣ: что въ 1769 г. всѣ бранили «Трутенъ» за «ругательства и подлыя мысли, печатаемыя въ немъ»; а въ 1770 г. снова бранять, уже за то, что въ журналѣ ничего такого нѣтъ, и онъ сталъ тише воды, ниже травы. Новиковъ, конечно, понималъ, что бранили его изданіе не одни и тѣ же лица...

Въ томъ же году прекратился «Трутенъ», не вызвавъ, по словамъ Новикова, соболѣзнованія въ читателяхъ, уже давно недовольныхъ имъ.

Въ 1772 г. Новиковъ опять выступаетъ на журнальное поприще съ новымъ еженедѣльникомъ — «Живописецъ». Къ этой дѣятельности вызвало его появленіе комедіи: «О, время!» авторъ которой — сама императрица — осмѣивалъ довольно рѣзко ханжество, роскошь и невѣжество современнаго общества. Новиковъ сталъ подъ защиту этой комедіи и свой журналъ посвятилъ «неизвѣстному сочинителю» ея, въ такихъ восторженныхъ словахъ: «Вы первый сочинили комедію точно въ нашихъ нравахъ, вы первый съ такимъ искусствомъ и острою заставили слушать ѣдкость сатиры съ пріятностію и удовольствіемъ; вы первый съ такою благородною смѣлостію напали на пороки, въ Россіи господствовавшіе... Продолжайте, государь мой, къ славлъ Россіи, къ чести своего имени и къ великому удовольствію разумныхъ единомышленниковъ вашихъ; продолжайте, говорю, прославлять себя вашими сочиненіями: перо ваше достойно равенства съ Мольеровымъ. Слѣдуйте его примѣру: взгляните безпристрастнымъ окомъ на пороки наши, закоренѣлые худые обычаи, злоупотребленія, и на всѣ развратныя наши поступки; вы найдете толпы людей, достойныхъ вашего осмѣянія, и вы увидите, какое еще пространное поле къ прославленію вашему осталось. Истребите изъ сердца своего всякое пристрастіе; не взирайте на лица: порочный человѣкъ въ всякомъ званіи равно достоинъ презрѣнія. Низкостепенный порочный человѣкъ, видя осмѣиваемаго себя купно съ превосходительнымъ, не будетъ имѣть причины роптать, что пороки въ бѣдности только одной перомъ вашимъ угнетаются. А превосходительство, удрученное пороками, въ первый разъ въ жизни своей восчувствуетъ равенство съ низкостепенными. Вы первый достойны показать, что дарованная вольность умамъ российскимъ употребляется въ пользу отечества». Съ тѣмъ вѣстѣмъ Новиковъ сѣтовалъ, что авторъ комедіи скрываетъ свое имя, «достойное всеобщей благодарности», и не видѣлъ никакой

достаточной къ тому причины. «Неужели — спрашивалъ онъ — оскорбля столь жестоко пороки и вооружа противъ себя порочныхъ, опасаетесь ихъ злословія? Нѣтъ, такая слабость никогда не можетъ имѣть мѣста въ вашемъ сердцѣ. И можетъ ли какая благородная смѣлость опасаться угнетенія въ то время, когда, ко счастію Россіи и ко благоденствію человѣческаго рода, владичествуетъ нами премудрая Екатерина? Ея удовольствіе, оказанное въ представленіи вашей комедіи, удостовѣряетъ о покровительствѣ ея такимъ, какъ вы, писателямъ. Чего жъ оставалось вамъ страшиться?» Но восторженные похвалы не увлекли собой автора комедіи, и онъ, разглядѣвъ въ нихъ возбужденіе прежняго вопроса о преслѣдованіи порочныхъ людей, скромнымъ отвѣтомъ своимъ далъ понять, что онъ вовсе не стоитъ на одной точкѣ зрѣнія съ издателемъ «Живописца». «Никогда не думалъ я — писалъ авторъ комедіи къ своему хвалителю, — чтобъ сочиненная мною комедія: «О, время!» таковой имѣла успѣхъ, каковымъ вы меня увѣряете, а тѣмъ паче не воображалъ себѣ той чести, которую вы, приписаніемъ еженедѣльныхъ вашихъ листовъ мнѣ сдѣлали... При сочиненіи оной, не бралъ я находящихся въ ней умоначертаній ни откуда, кромѣ собственной моей семьи: слѣдовательно, не выходя изъ дому своего, нашелъ въ ономъ одномъ къ составленію забавнаго позорища довольно обширное поле для искуснѣйшаго пера, а не для такого, каковымъ я свое почитаю. Что до меня касается, я никакихъ ни требованій, ни желаній не имѣю. Пишу я для собственной своей забавы, и если малая сочиненія мои приобрѣтутъ успѣхъ и принесутъ удовольствіе разумнымъ людямъ, то тѣмъ я весьма награжденъ буду. Напротивъ того, если услышу, что нѣтъ въ нихъ никому увеселенія, то хотя тѣмъ, ненавида пражность, отъ писанія и не воздержуся, однако же выдавать ихъ болѣе не стану. Имени своего я не скрываю, но и не напишу его, дабы въ первый разъ не явилось оно въ свѣтъ въ заглавіи комедіи, что для меня самого было бы комедіею, а прибыли въ томъ никому нѣтъ — Карпомъ ли, или Сидоромъ меня зовутъ». Такимъ образомъ, издатель «Живописца», видѣвшій въ появленіи комедіи новую эру для рускаго прогресса, новую, могущественную поддержку для смѣлой сатиры, долженъ былъ удивляться изъ отвѣта «сочинителя», что послѣдній далеко не радѣляетъ его толкованій на свою пьесу, и что «собственная забава» и исцеленіе «увеселенія» отнюдь не совпадаютъ съ тѣми обличительными мотивами, которыхъ искалъ и жаждетъ найти Н-

никовъ въ замѣслахъ автора. Но издатель «Живописца» не хотѣлъ замѣчать этого противорѣчія и продолжалъ въ своемъ журналѣ прежнія нападенія на «порочныхъ людей», прикрываясь, однако, очень часто лъстивыми одами, какъ, напримѣръ, «на пріобрѣтеніе Бѣлоруссіи», «на день коронаванія» и т. п.

Въ V-мъ листѣ «Живописца» помѣщенъ замѣчательный «Отрывокъ изъ путешествія», въ которомъ мы снова встрѣчаемся съ картинами крѣпостнаго права.

«Бѣдность и рабство — пишетъ путешественникъ — повсюду встрѣчались со мною во образѣ крестьянъ. Непашенныя поля, худой урожай хлѣба возвыщали мнѣ: какое помѣщики тѣхъ мѣстъ о земледѣліи прилагали раченіе. Маленькія, покрытыя соломой, хижинны изъ тонкаго заборника, дворы, огороженные плетнями, небольшія одонья хлѣба, весьма малое число лошадей и рогатаго скота подтверждали, сколь велики недостатки тѣхъ бѣдныхъ тварей, которыя богатство и величество цѣлаго государства составлять должны. Не пропускалъ я ни одного селенія, чтобы не разспрашивать о причинахъ бѣдности крестьянской. И, слушая ихъ отвѣты, къ великому огорченію всегда находилъ, что помѣщики ихъ сами тому были виною». Затѣмъ слѣдуетъ весьма подробное описаніе деревни Раззоренной, гдѣ самый зажиточный мужикъ имѣлъ только одну корову, а несчастныя дѣти до того были застрашены именемъ барина, что боялись и подойти къ коляскѣ путешественника. Положеніе грудныхъ младенцевъ въ особенности растрогало автора. «Я вошелъ въ избу — пишетъ онъ — растворенными настежь дверями. Заразительный духъ отъ всякой нечистоты, чрезвычайный жаръ и жужжанье безчисленнаго множества мухъ оттуда меня выгоняли, а вопль трехъ оставленныхъ младенцевъ (деревня описывается въ лѣтнее время) удерживалъ въ оной. Я спѣшилъ подать помощь симъ несчастнымъ тварямъ. Пришедъ къ лукошкамъ, прицѣпленнымъ веревками къ шестамъ, въ которыхъ лежали безъ всякаго призрѣнія оставленные младенцы, увидѣлъ я, что у одного упалъ сосокъ съ молокомъ; я его поправилъ, и онъ успокоился. Другаго нашелъ, обернувшася лицомъ къ подушонѣ изъ самой толстой холстины, набитой соломой; я тотчасъ его оборотилъ и увидѣлъ, что безъ скорой помощи лишился бы онъ жизни, ибо онъ не только что посинѣлъ, но, и почернѣвъ, былъ уже въ рукахъ смерти; скоро и этотъ успокоился. Подошедъ къ третьему, увидѣлъ, что онъ былъ распеленанъ, множество мухъ покрывали лицо его и тѣло, и немилосердно мучили сего ребенка; солома на которой онъ лежалъ, также его колола, и онъ произносилъ

пронзающій крикъ. Я оказалъ и этому услугу, согналъ всѣхъ мухъ, спеленалъ его другими, хотя нечистыми, но однакожъ сухими пеленками, которыя въ избѣ тогда развѣшаны были; поправилъ соломѣ, которую онъ, барахтаясь, ногами взбилъ: замолчалъ и этотъ. Смотри на сихъ младенцевъ и входя въ бѣдность состоянія сихъ людей, вскричалъ я: жестокосердый тиранъ, отъемлющій у крестьянъ насущный хлѣбъ и послѣднее спокойство,—посмотри, чего требуютъ сіи младенцы? У одного связаны руки и ноги: приноситъ ли онъ о томъ жалобу? Нѣтъ, онъ спокойно взираетъ на свои оковы. Чего же требуетъ онъ? Необходимо-нужнаго для пропитанія. Другой произносилъ вопль о томъ, чтобы только не отнимали у него жизнь. Третій вонялъ къ человѣчеству, чтобы его не мучили. Кричите, бѣдныя твари, сказалъ я, проливая слезы; произносите жалобы свои! наслаждайтесь послѣднимъ симъ удовольствіемъ въ младенчествѣ: когда возмужаете, тогда и сего утѣшенія лишитесь. О, солнце!.. призри сихъ несчастныхъ!» ¹⁾.

Но чтобы эта возмутительная картина не была слишкомъ обобщена и не подала повода къ новымъ нареканіямъ на журналъ, издатель «Живописца» счелъ необходимымъ, въ XIII-омъ листѣ, объяснить устами какого-то «почтеннаго превосходительства», что подобныя описанія не имѣютъ виду оскорблять цѣлый «дворянскій корпусъ» и что они не только не «огорчаютъ дворянъ, украшенныхъ добродѣтелью и знающихъ человѣчество, но паче еще и превозносятъ ихъ». Тѣмъ не менѣе, «превосходительство» предупреждаетъ издателя, что онъ уже нажилъ себѣ враговъ помѣщеніемъ такой статьи: «Бранили васъ надменные дворянствомъ люди, которые думаютъ, что дворяне ничего не дѣлаютъ неблагороднаго, что подлости одной (низшему классу) свойственно утопать въ порокахъ, и что, наконецъ, хотя нѣкоторые дворяне и имѣютъ слабость забывать честь и человѣчество, однакожъ, будто они, яко благородные люди, отъ порицанія всегда

¹⁾ Незадолго до освобожденія крестьянъ, въ московскомъ журналѣ «Молва» появилось стихотвореніе, въ которомъ авторъ также собогъновалъ несчастнымъ младенцамъ, брошеннымъ на живы въ страдный день. Но ожиданіе близкой реформы внушило уже и другое чувство автору:

Не плачьте горько такъ, невинные младенцы,

Юнѣйшіе земли родимой поселенцы:

Надъ вашей младостью не дремлетъ ночи тѣнь;

Вамъ брезжетъ вольный свѣтъ, вамъ всходитъ новый день!

должны быть свободны. Сіи гордые люди утверждаютъ, что будто точно сказано о крестьянахъ: «накажу ихъ жезломъ беззаконія» — и подлинно они часто наказываются беззаконіемъ¹⁾.

Подьячихъ и вѣточниковъ-судей «Живописецъ» также не оставлялъ въ покоѣ, и на эту тему, въ V-мъ листѣ за 1772 г. (ч. II), помѣстилъ чрезвычайно-остроумное и ѣдкое письмо, будто бы полученное имъ отъ одного изъ такихъ лицъ:

«Слушай-ка, братъ Живописецъ! на шутку что ли я тебѣ достался! Не на такого ты наскочилъ. Развѣ ты не знаешь приказныхъ, такъ отвѣдай, потягайся. Вѣдомо тебѣ буди, что я передъ Владимірской поклялся, и снялъ ее матушку со стѣны въ томъ, что какъ скоро пріѣду я въ Петербургъ, то подамъ на тебя челобитье въ безчестьѣ. Знаешь ли ты, молокососъ, что я имѣю патентъ, которымъ повелѣвается признавать меня и почитать за добраго, вѣрнаго и честнаго титулярнаго совѣтника; вѣдаешь ли ты, что и въ подлости есть пословица: не пойманъ, не воръ, не поднята, не.... А ты, забывъ законы духовные, воинскіе и гражданскіе, осмѣлился назвать меня якобы воромъ. Чѣмъ ты это докажешь? Я хотя и отрѣшенъ отъ дѣлъ, однакожъ не за воровство, а за взятки; а взятки—ничто иное, какъ акциденція. Воръ тотъ, который грабитъ на проѣзжей дорогѣ, а я биралъ взятки у себя дома, а дѣла вершилъ въ судебномъ мѣстѣ: кто себѣ добра не захочетъ? А къ тому же я никого до смерти не убилъ: правда, согрѣшилъ передъ Богомъ и передъ государемъ, многихъ пустилъ по міру, да это дѣло постороннее, и тебѣ до него нужды нѣтъ. Какъ передъ Богомъ не согрѣшить? какъ царя не обмануть? какъ у него не украсть? Грѣшно украсть изъ кармана своего брата... Глупый человѣкъ, да это и указами за воровство не почитается, а называется «похищеніемъ казеннаго интереса». А похищеніе и воровство не одно: первое ничто иное, какъ утайка, а другое — преступленіе противъ законовъ и достойно кнута и висѣлицы. Правда, бывали и такіе примѣры, что и за утайку сѣкали кнутомъ... Но нынѣ, благодаря Бога, люди стали разсудительнѣе и за реченную утайку сѣкутъ только тѣхъ, которые малое число утаятъ: да это и дѣльно; не заводи дѣла изъ бездѣлицы. А прочихъ, которые причисляются въ утайкѣ большихъ суммъ, отпускаютъ жить въ свои деревни».

Никакая литературная тактика, никакіе приемы восхваленія

¹⁾ Далѣе слѣдуетъ фраза, прерванная у автора двумя рядами точекъ. (Изд. П. А. Ефремова, стр. 81).

сильныхъ не помогли однако «Живописцу», и онъ едва дотянулъ свое существованіе до половины 1773 г. Въ 1774 г. выходилъ только одинъ «Кошелекъ», издаваемый тѣмъ же Новиковымъ, а въ слѣдующемъ 1775 г. сатирическая журналистика совсѣмъ замолкла.

Спустя нѣсколько лѣтъ, принявшися за изданіе «Утренняго Свѣта» (1777—1780 г.), Новиковъ и самъ уже, подъ вліяніемъ масонства, пришелъ къ убѣжденію, нѣкогда высказанному «Всякою Всячиной», что «бичемъ сатиры» слѣдуетъ поражать не самихъ порочныхъ субъектовъ, а только отвлеченныя понятія пороковъ. «Порокъ и человѣкъ — говоритъ онъ въ «предувѣдомленіи» къ I-й части изданія—подобны двумъ параллельнымъ линіямъ, которыя вѣчно одна другой прикоснуться не могутъ». Нападки Новикова, въ это время, направлялись исключительно на «французскую моду», подъ которой онъ сталъ подразумѣвать все цивилизующее вліяніе западно-европейской науки и общественной жизни, а, взамѣнъ яркихъ указаній на наше домашнее зло, читатели «Утренняго Свѣта» приглашались довольствоваться астрологическими соображеніями о вліяніи планетъ на землю, въ такомъ, напр., родѣ: «Венера умѣренно холодна и влажна, а по своей натурѣ благопріятна»; «Сатурнъ холоденъ и влаженъ; вліяніе его почитается недобрымъ» и пр. и пр.

Сатирическое направленіе проявилось впоследствии въ «Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова» (1783—1784 г.), въ которомъ главное участіе принадлежало княгинѣ Дашковой; но уже близко было время полицейскихъ преслѣдованій за неправившееся императрицѣ «свободоязычіе». Въ 1785 г. наряжено было слѣдствіе надъ Новиковымъ за напечатаніе книгъ, «наполненныхъ странными мудрствованіями». По поводу этихъ изданій, императрица сама написала письмо московскому митрополиту Платону: «призовите помянутаго Новикова къ себѣ и прикажите испытать его въ законѣ (Божьемъ), равно и книги его типографія освидѣтельствовать: не скрывается ли въ нихъ умствованій, несходныхъ съ простыми и чистыми правилами вѣры нашей». И митрополитъ Платонъ, дѣйствительно, произвелъ Новикову экзаменъ изъ православнаго катихизиса. Въ 1790 г., сентября 4, данъ былъ указъ о ссылкѣ въ Сибирь Радищева «за изданіе книги («Путешествіе изъ Петербурга въ Москву»), наполненной самыми вредными умствованіями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властямъ уваженіе, стремящимися къ тому, чтобы произвести въ народѣ негодованіе противу начальниковъ и начальства, и, наконецъ,

оскорбительными и неистовыми изразженіями противу сана и власти царской».

Замѣчательно, что въ томъ же году проф. Сохацкій началъ издавать въ Москвѣ «Политическій журналъ съ показаніемъ ученыхъ и другихъ вещей», въ которомъ описывались подробно всѣ политическія событія во Франціи и даже печатались рѣчи тогдашнихъ ораторовъ. Въ первомъ номерѣ этого журнала (1790 г.) говорилось: «Въ 1789 г. весь свѣтъ потрясенъ былъ столь сильно, что вездѣ открылись чрезвычайныя движенія, и произошло въ Европѣ начало новой эпохи человѣческаго рода. (Курсивъ въ подлинникѣ). Послѣ многихъ столѣтій, 1789 годъ есть самый достопамятный. Со временъ крестовыхъ походовъ никогда еще не было такой эпохи, какъ сія, въ которой бы политическое мнѣніе распространилось и промчалось чрезъ всю Европу съ толикою живостью и соучаствованіемъ. Духъ свободы учинился воинственнымъ при концѣ XVIII, такъ какъ духъ религіи при концѣ XI вѣка. Тогда вооруженною рукою возвращали святую землю, нынѣ святую свободу. Тогда ратовали противъ Саладиновъ, нынѣ противъ своихъ собственныхъ государей. Французы брали тогда крѣпости у невѣрныхъ королей, нынѣ брали они ихъ у христіаннѣйшаго. Какъ тогда, такъ и теперь энтузіазмъ превратился во многихъ головахъ въ круженіе и фанатизмъ. Отсѣкали людямъ головы, грабительствовали и разрушали дома и крѣпости, дабы показать права человѣчества... Но при сильныхъ превращеніяхъ невозможно избѣгнуть буйныхъ излишествъ». Затѣмъ, исчисливъ всѣ политическія реформы въ разныхъ странахъ Европы, авторъ статьи продолжаетъ: «При всѣхъ оныхъ безпокойныхъ народныхъ движеніяхъ произошло, какъ выше замѣчено, начало новой эпохи человѣческаго рода,—эпоха поправленія судьбы такъ называемыхъ низкихъ состояній,—угнетеніе самопроизвольной власти, ограниченіе министерскаго и подминистерскаго деспотизма, владычества аристократовъ, или вельможъ, возлѣ престоловъ». Журналъ этотъ переводился съ нѣмецкаго и, вѣроятно, по малому числу подписчиковъ, не обратилъ на себя вниманія литературныхъ аргусовъ. Хотя въ немъ проводились взгляды умѣренной конституціонной партіи, но такая умѣренность у насъ принимала уже видъ непростительнаго вольнодумства, за которымъ, въ эту именно пору, начинали зорко смотрѣть.

Въ 1793 г. разразилась гроза надъ... прахомъ Княжнина за трагедію «Вадимъ Новгородскій», причеиъ даровитый авторъ только по случаю своей смерти не попалъ въ руки надежнаго сы-

щика Пешковского, — замѣнившаго въ «тайной экспедиціи» прежнихъ дѣателей упраздненной «тайной канцеляріи». Наконецъ, въ 1796 г. послѣдовалъ именной указъ сенату «объ ограниченіи свободы книгопечатанія и ввоза иностранныхъ книгъ, объ учрежденіи на сей конецъ цензуръ и объ упраздненіи частныхъ типографій». Постановленія о предварительной цензурѣ были развиты и организованы въ царствованіе Павла I, сдѣлавшаго, между прочимъ, слѣдующее распоряженіе: «Такъ какъ чрезъ ввозимыя изъ-за границы разныя книги наносится развратъ вѣры, гражданскаго закона и благонравія, то отнынѣ, впредь до указа, повелѣваемъ запретить впускъ изъ-за границы всякаго рода книгъ, на какомъ бы языкѣ оныя ни были, безъ изыятія, въ государство наше, равномѣрно и музыку». Музыкальныя ноты подвергались остракизму изъ опасенія революціонныхъ напѣвовъ, которые могли бы проникнуть къ намъ этимъ путемъ. (Полн. Собр. Зак. Т. XXVI, № 19,387).

Это распоряженіе было отмѣнено Александромъ I, во времени котораго мы и переходимъ.

III.

Зависимое положеніе русской журналистики вообще. Характеръ первой половины царствованія Александра I-го. Мѣры и предположенія правительства. Comité du salut public. Взглядъ Новосильцева на свободу книгопечатанія. Цензурный уставъ 1804 г. Проектъ правительственнаго журнала, отвергнутый Завадовскимъ.

Мы видѣли, что происхожденіе русской журналистики относится къ тому времени, когда государственная власть, реформируя внутренній бытъ страны, — далеко отставшей въ своемъ развитіи отъ другихъ европейскихъ державъ, — прибѣгнула къ прессѣ, какъ къ удобному орудію для политической пропаганды въ извѣстномъ смыслѣ. Петръ Великій, суровый преобразователь Россіи, былъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ея первымъ журналистомъ: подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ издавался въ Москвѣ, а потомъ въ Петербургѣ, первый газетный листокъ, предназначенный возбуждать политическое любопытство русскихъ грамотѣевъ. Такое происхожденіе нашей журналистики обусловило въ значительной степени и всю ея дальнѣйшую судьбу: мѣнялась власть, заправлявшая такъ или иначе политическимъ бытомъ страны, мало того, мѣнялись только приемы и отношенія этой власти къ разнымъ общественнымъ вопросамъ, какъ уже вся журналистика

подчинялась волей-неволей новому камертону, выходившему из правительственных сферъ. Такъ, напр., въ началѣ царствованія Екатерины II-й журналистика наша, отражая на себѣ взгляды самой императрицы, настроилась было въ очень гуманномъ тонѣ; но даже и въ это цвѣтущее время предѣлы литературнаго вліянія строго ограничивались правительственными видами, и новиковскій журналъ («Трутенъ»), перешедшій эти предѣлы, долженъ былъ замолчать на другой годъ своего существованія. «Не въ свои-де этотъ авторъ садится сани; онъ-де зачинаетъ писать сатиры на придворныхъ господъ, бояръ, дамъ; такая-де смѣлость ничто иное есть, какъ дерзновеніе»:—вотъ приговоръ, высказанный вліятельнымъ кружкомъ о журнальной дѣятельности Новикова. Въ слѣдующее затѣмъ царствованіе, при существованіи указа о невывозѣ «изъ-за границы всякаго рода книгъ, на какомъ бы языкѣ оныя ни были», дѣятельность журналиста въ Россіи оказалась еще болѣе затруднительной. Обстоятельства снова измѣнились при восшествіи на престолъ Александра I-го. Юный монархъ получилъ весьма тщательное и рациональное воспитаніе подъ руководствомъ швейцарскаго гражданина Лагарпа, нимало не скрывавшаго свой либеральный образъ мыслей; въ его доброй, впечатлительной душѣ были возбуждены смолodu и благородныя чувства, и великодушныя стремленія. Находясь, по обязанностямъ своего сана, при самомъ, такъ сказать, источникѣ правительственныхъ системъ, молодой внукъ Екатерины II-й не раздѣлялъ тревожныхъ опасеній, выразившихся въ цѣломъ рядѣ репрессивныхъ мѣръ; задушевные симпатіи влекли его на сторону прогресса и истинно человѣческаго развитія. Еще меньше онъ могъ быть доволенъ тѣми личностями, которыя выдвинулись впередъ въ концѣ царствованія Екатерины II-й. Это недовольство, какъ системой администраціи, такъ и личностями, приводившими ее въ исполненіе, долго накоплялось въ душѣ Александра и приводило его, по временамъ, къ тяжкому разочарованію, къ сознанію своего безсилія — исправить все зло, допущенное прежними блюстителями закона. «Мое положеніе — писалъ онъ, въ одинъ изъ такихъ тяжелыхъ моментовъ, князю Кочубею—меня вовсе не удовлетворяетъ. Оно слишкомъ блистательно для моего характера, которому нравятся исключительно тишина и спокойствіе. Придворная жизнь не для меня создана... Я каждый разъ страдаю, когда долженъ являться на придворную сцену, и кровь портится во мнѣ при видѣ низостей, совершаемыхъ другими на каждомъ шагѣ для полученія вѣнскихъ отличій, не стоящихъ въ моихъ глазахъ мѣднаго гроша. Я чувствую себя несчастнымъ въ обществѣ та-

кихъ людей, которыхъ не желалъ бы имѣть у себя лакеями... Въ нашихъ дѣлахъ господствуетъ неимоверный безпорядокъ; грабятъ со всѣхъ сторонъ; всѣ части управляются дурно; порядокъ, кажется, изгнанъ отовсюду, а имперія, не смотря на то, стремится лишь къ расширенію своихъ предѣловъ. При такомъ ходѣ вещей, возможно ли одному человѣку управлять государствомъ, а тѣмъ болѣе исправить укоренившіяся въ немъ злоупотребленія? это выше силъ не только человѣка, одареннаго, подобно мнѣ, обыкновенными способностями, но даже и генія, а я постоянно держался правила, что лучше совсѣмъ не браться за дѣло, чѣмъ исполнять его дурно. Слѣдуя этому правилу, я и принялъ то рѣшеніе, о которомъ сказалъ вамъ. Мой планъ состоитъ въ томъ, чтобы, по отреченіи отъ этого труднаго поприща, поселиться съ женою на берегахъ Рейна, гдѣ буду жить спокойно, частнымъ человѣкомъ, полагая мое счастье въ обществѣ друзей и въ изученіи природы». (См. «Восшествіе на престолъ импер. Николая I», соч. барона Корфа). Идиллическое намѣреніе отказаться отъ власти не устояло, конечно, предъ обаяніями новаго блистательнаго поприща, и Александръ I-й вступилъ на престолъ къ радости всѣхъ мыслящихъ и образованныхъ людей того времени. Впечатлѣніе, произведенное этимъ событіемъ, было громадно, въ особенности благодаря тому контрасту, который представляла молва между характеромъ ближайшаго царствованія и направленіемъ новаго государя. «Для Россіи—говорить г. Ковалевскій—воцареніе императора Александра I-го было зарею пробужденія. Трудно представить себѣ государя и человѣка, такъ щедро одареннаго природой и съ такимъ блестящимъ образованіемъ, какъ Александръ I. Современники свидѣтельствуютъ, что, при извѣстіи о его воцареніи, на улицахъ люди, незнакомые между собою, другъ друга обнимали и поздравляли. Въ манифестѣ своемъ онъ объявилъ, что будетъ править Богомъ врученнымъ ему народомъ по законамъ и по сердцу премудрой бабки своей Екатерины II-й, и первымъ дѣйствіемъ его было освобожденіе всѣхъ содержащихся по дѣламъ тайной экспедиціи въ крѣпостяхъ и сосланныхъ въ Сибирь или въ отдаленные города и деревни Россіи подъ надзоръ мѣстныхъ властей, и уничтоженіе самой тайной экспедиціи. Разсказываютъ, будто Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, выходя изъ Петропавловской крѣпости, написалъ на стѣнѣ: «свободна отъ постоя», а государь, узнавши объ этомъ, сказалъ: «желаю, чтобы навсегда». Во время коронаціи, по словамъ того же автора: «въ лицѣ государя было болѣе задумчивости, робости, чѣмъ смѣлости; онъ какъ бы чувствовалъ всю важность, всю тягость цар-

свой власти, которую принималъ; не съ самонадѣянностью и гордымъ величіемъ шелъ онъ, не страхъ внушали его взгляды кроткіе, привѣтливые... Каждый мысленно ободрялъ его: «смѣлѣе, смѣлѣе! вѣрь, что господство дикой власти менѣе надежно, чѣмъ господство разума, что проявленіе благотворнаго добра въ нравственной жизни народа также необходимо, какъ проявленіе солнечной теплоты въ царствѣ растительномъ» ¹⁾).

Около престола группируются люди, извѣстные своей склонностью къ конституціоннымъ учрежденіямъ Англіи — Чарторижскій, Новосильцевъ, Строгановъ;—учреждаются министерства, которыя должны были впослѣдствіи привести къ отвѣтственности исполнительной власти; открыты новые университеты въ Казани, Харьковѣ и Петербургѣ, заведены гимназіи и уѣздныя училища, съ цѣлью положить прочныя основы просвѣщенію страны. «Александръ I-й, — по справедливому замѣчанію одного иностраннаго историка, — зналъ другое честолюбіе, кромѣ военнаго, другое величіе, кромѣ величія воина, попирающаго трупы разбитой арміи; жизнь солдата не имѣла для него никакой прелести; въ противоположность своимъ предшественникамъ, онъ даже предпочиталъ простой гражданскій костюмъ блеску военнаго мундира». Въ публичной рѣчи, при открытіи харьковскаго университета, графъ Северинъ Потоцкій прямо выразился, что это высшее учебное заведеніе основано «для совершеннѣйшаго образованія благородныхъ молодыхъ людей, приготовляющихся занимать нѣкогда первыя государственныя мѣста, на подобіе оксфордскаго и кембриджскаго университетовъ, въ кои сыны первыхъ англійскихъ лордовъ пріѣзжаютъ учиться защищать въ парламентѣ права своей страны». Почти въ то же время, въ засѣданіи академіи наукъ, президентъ ея, Н. Н. Новосильцевъ, сказалъ: «чувствительнаго пагубнаго мнѣнія, которое къ стыду прѣжнихъ временъ, заставляя мрачное невѣжество предпочитать успѣхамъ наукъ и художествъ, заграждало пути къ распространенію коныхъ, и увѣренъ будучи, что познаніе истинъ въ естественномъ ихъ порядкѣ и въ надлежащемъ между собою отношеніи, предметъ всѣхъ наукъ составляющее, обогащаетъ и украшаетъ разумъ, возвышаетъ духъ чувствованія и добродѣтели челоуѣка, и оубѣжденіемъ въ собственную пользу побуждаетъ чтить законы, любить отечество, быть вѣрнымъ подданнымъ и добрымъ гражданиномъ—мудрый монархъ начерталъ правила народнаго просвѣщенія». («Сѣверн. Вѣстникъ», 1804 г. № 1 и 10).

¹⁾ См. Графъ Блудовъ и его время, стр. 23—24.

Но въ то время, когда развитые люди встрѣчали съ такимъ сочувствіемъ воцареніе новаго императора и первые шаги его на державномъ поприщѣ, — кружокъ отсталыхъ личностей, съ небольшою горячностью, хотя и не такъ открыто, занимался порицаніемъ его привычекъ и образа мыслей. Г. Богдановичъ сообщаетъ въ своихъ любопытныхъ матеріалахъ, что нѣкоторые похвальныя качества государя, включая сюда его отвращеніе отъ всякаго этикета и вѣшняго блеска, подвергались самымъ превратнымъ толкамъ. Говорили, что русскій дворъ утратилъ все достолюбезное величіе свое, что одна лишь вдовствующая императрица умѣетъ поддерживать старинныя дворцовыя преданія. Любители «форменныхъ отличекъ» находили предосудительнымъ, что государь ничѣмъ не отличался отъ своихъ подданныхъ въ одеждѣ и образѣ жизни, что не приглашалъ дипломатическій корпусъ на большіе церемоніальные обѣды и пр. Осуждали также императора за то, что въ одномъ изъ манифестовъ онъ изъяснилъ благодарность своимъ подданнымъ за услуги, оказанныя родинѣ, назвавъ ихъ сынами отечества и повторивъ нѣсколько разъ слово: «отечество». Удивлялись также пристрастію самодержавнаго владыки къ американцамъ, гражданамъ республики. Жозефъ де-Местръ, проповѣдывавшій молодому государю свою реакціонную мудрость, вначалѣ принятую очень холодно, удивлялся, что Александръ былъ ласковъ къ бостонскому негоціанту. Пуансэ, который «не смѣлъ бы показаться ни въ какомъ изъ домовъ высшего туринскаго общества». Графиня Шуазель-Гуфье отзывалась объ Александрѣ тономъ ироніи: «Въ немъ замѣтна преувеличенная простота обхожденія, выказывающая его отвращеніе къ державному церемоніалу; можно сказать, что въ этомъ отношеніи онъ хочетъ быть императоромъ какъ можно менѣе. Это придворный, какъ будто лишній при дворѣ». ¹⁾

Сочувствіе мыслящихъ людей, негодованіе ретроградовъ, своихъ и иноземныхъ, все предвѣщало прекрасный путь новому царствованію, и еслибы молодой монархъ отличался столько же энергіей и настойчивостью въ исполненіи своихъ мыслей, сколько благородствомъ своихъ намѣреній, то во внутреннемъ быту нашего отечества произошелъ бы, безъ всякаго сомнѣнія, крутой и полезный переворотъ. Къ сожалѣнію, недостатокъ энергіи и, кромѣ того, нѣкоторая наткостъ и неопредѣленность преобразовательныхъ плановъ, — слѣдствіе плохаго знакомства съ государственнымъ

¹⁾ «Первая эпоха преобразованій импер. Александра I.», «Вѣсти.Евр.» 1866 г., т. I.

практикой,—произвели то, что на первых же порахъ, въ ближайшемъ, интимномъ совѣтѣ государя, послышались весьма серьезныя разногласія по вопросамъ самой капитальной важности, и Александръ часто оставался въ нерѣшимости: чью сторону взять въ данномъ случаѣ? Интимный совѣтъ государя, прозванный имъ въ шутку *Comité du salut public*, состоялъ, какъ извѣстно, изъ четырехъ лицъ: кн. Чарторижскаго, Кочубея, Новосильцева и Строганова, и между ними-то обсуждались всѣ важнѣйшія внутреннія реформы. Изъ рукописныхъ протоколовъ этого комитета, (веденныхъ гр. Строгановымъ ¹⁾), видно, что на разсмотрѣніе его вносились такіе крупные вопросы, какъ, напр., о преобразованіи сената въ законодательный корпусъ, объ уничтоженіи крѣпостнаго права, о введеніи *habeas corpus* и т. п. Разсуждая о дворянской грамотѣ, государь выразился, что онъ подписываетъ эту грамоту противъ своей воли, «вслѣдствіе исключительности ея правъ, которая ему была всегда противна». При этомъ Александръ отвергалъ однако всѣ мѣры, которыя могли бы сразу покончить съ признаннымъ уже зломъ, и охотнѣе избиралъ паллятивныя средства, ведущія къ цѣли окольной дорогою. Такъ было въ комитетѣ съ крестьянскимъ вопросомъ. Напрасно энергическій Строгановъ убѣждалъ государя не слушать преувеличенныхъ опасеній, выходившихъ изъ противоположнаго лагеря и приступить къ немедленному освобожденію крестьянъ; дѣло кончилось тѣмъ, что запрещена была личная продажа крѣпостныхъ людей (безъ земли), а мѣщанамъ и казеннымъ крестьянамъ дозволено пріобрѣтать недвижимую собственность. Доводы графа Строганова заслуживаютъ особеннаго вниманія; они были, повидимому, довольно распространены въ лучшей части тогдашняго общества и выражались прямо или косвенно въ печати.

Изъ историческаго факта крестьянскаго движенія во времена Стеньки Разина и Пугачева, гр. Строгановъ выводилъ заключеніе, что если съ чьей стороны опасно неудовольствіе, и затѣмъ вооруженное возстаніе, то, по всѣмъ вѣроятіямъ, со стороны крестьянъ, а не дворянъ. Александръ Павловичъ не согласился, какъ уже сказано, съ этими доводами, но личное чувство всегда внушало ему отвращеніе къ рабству и, въ теченіе своего продолжительнаго царствованія, онъ не закрѣпостилъ, по крайней мѣрѣ, ни одного вольнаго человѣка, опередивъ въ этомъ случаѣ свою знаменитую бабу. На письмо одного государственнаго сановника, желавшаго получить въ награду населенное имѣніе, государь от-

¹⁾ См. статью г. Богдановича, стр. 172—194.

вѣчалъ: «Русскіе крестьяне, болѣею частію, принадлежать помѣщикамъ; считаю излишнимъ доказывать униженіе и бѣдствіе такого состоянія. И потому я далъ обѣтъ не увеличивать числа этихъ несчастныхъ и принялъ за правило не давать никому въ собственность крестьянъ. Имѣніе, о которомъ вы просите, будетъ пожаловано въ аренду вамъ и вашимъ наслѣдникамъ; слѣдовательно, вы получите желаемое, но только съ тѣмъ, чтобы крестьяне не могли быть продаваемы, подобно безсловеснымъ животнымъ». Не довольствуясь этимъ, Александръ поощрялъ добровольное освобожденіе крестьянъ помѣщиками, и нѣкоторые знатныя лица, стоявшія близко ко двору, спѣшили исполнить задушевное желаніе императора. Такимъ образомъ, появился у насъ новый разрядъ крестьянъ, названныхъ «свободными хлѣбопашцами».

Между разными вопросами, обсуждавшимися въ первую половину царствованія Александра Павловича, ближайшее отношеніе къ нашему предмету имѣетъ вопросъ о свободномъ книгопечатаніи. Заботясь,—подобно Екатеринѣ, въ эпоху ея дружбы съ французскими энциклопедистами,—объ успѣхахъ умственного развитія, молодой государь пожелалъ освободить литературную дѣятельность въ Россіи отъ тяжелыхъ оковъ, наложенныхъ на нее вслѣдствіе невѣжества и безразсудной боязливости, не оправдываемой никакими политическими соображеніями. Какъ только зашла рѣчь объ этой свободѣ, то на видъ представился выборъ между цензурою предупредительною и личной отвѣтственностью авторовъ за напечатанныя ими сочиненія. Одинъ изъ членовъ интимнаго комитета, а именно Н. Н. Новосильцевъ, пугнулся датскимъ уставомъ свободнаго книгопечатанія и предложилъ ввести его въ Россіи съ нѣкоторыми передѣлками, соответствующими нашему законодательству. Уставъ, на который ссылался Новосильцевъ, возникъ при знаменательныхъ событіяхъ. Датскій король, Христіанъ VII (1766—1808), вступилъ на престолъ семнадцатилѣтнимъ юношей и въ первое время, подъ вліяніемъ графа Струэнзе, защитника либеральныхъ идей, уничтожилъ цензуру, находя ее «въ высшей степени вредной для безпристрастнаго изслѣдованія истины и открытія закоренѣлыхъ предразсудковъ и заблужденій». Съ паденіемъ Струэнзе, оклеветаннаго врагами, обнаружился поворотъ въ регрессивномъ смыслѣ — и результатомъ его было изгнаніе изъ государства многихъ писателей. Датское правительство пыталось даже возобновить предупредительную цензуру, забывъ прекрасные стихи Вольтера, обращенные нѣкогда къ королю Христіану:

Hélas! dans un état l'art de l'imprimerie

Ne fut en aucun temps fatal à la patrie...

Les romans de Scarron n'ont pas troublé le monde;

Chapelain ne fit point la guerre de la fronde...

Non, lorsqu'aux factions un peuple entier se livre,

Quand nous nous égorgeons, ce n'est pas pour un livre ¹⁾.

Но свобода печатнаго слова настолько вошла уже въ привычки народа, что замѣнить ее прямо прежнимъ порядкомъ сочли неудобнымъ сами противники прессы. По этой причинѣ, не возстановляя цензуры, датское правительство ограничилось изданіемъ очень строгаго устава книгопечатанія, по которому, за нима важныя преступленія, назначалась даже смертная казнь. Новосильцевъ находилъ полезнымъ сдѣлать въ датскомъ уставѣ нѣкоторыя измѣненія въ смыслѣ благопріятномъ для литературы. Такъ, напр., онъ намѣревался предоставить въ Россіи право конфискаціи подозрительныхъ книгъ не полиціи, а университетамъ и академіямъ, съ тѣмъ чтобы они, увѣдомивъ мѣстное начальство, представляли мнѣнія свои, вмѣстѣ съ экземпляромъ книги, въ главное правленіе училищъ. Кромѣ того, обвиняемый въ изданіи предосудительной книги долженъ былъ судиться не обыкновеннымъ судомъ, но особымъ трибуналомъ, составленнымъ изъ лицъ образованныхъ и пользующихся уваженіемъ въ обществѣ. Требованіе датскаго правительства—печатать непременно на книгѣ имя автора или переводчика—было также отмѣнено Новосильцевымъ, изъ уваженія къ «скромности литераторовъ, впервые выступающихъ на поприще словесности». Постановленіе о свободномъ книгопечатаніи не должно было, впрочемъ, касаться цензуры книгъ духовныхъ, которая оставалась вполнѣ въ рукахъ св. синода. Въ то время какъ въ главномъ правленіи училищъ шло обсужденіе столь близкаго для литературы вопроса, изъ среды общества раздавались голоса въ пользу полнаго простора для слова и мысли. Въ главное правленіе прислана была анонимнымъ авторомъ любопытная записка, доказывавшая необходимость скорѣйшаго освобожденія печати ²⁾.

Но наши первые цензурные законодатели были искренно убѣждены, что полная свобода печати, въ соединеніи съ строгой отвѣтственностью по суду, убьетъ русскую литературу въ самомъ зародышѣ, и многія личности совѣмъ не рискнуть выйти на

¹⁾ Т. е. «книгопечатаніе никогда не было гибельно для отечества. Романы Скаррона не взволновали свѣта, и Шаппенъ не былъ виновникомъ фронды... Когда народъ поднимаетъ мятежъ, и люди душатъ другъ друга—не книга бываетъ тому причиною».

²⁾ См. «Матер. для исторіи просвѣщенія», стр. 18—19.

литературную арену подъ такими тяжелыми, грозящими условіями. Проектъ доклада о цензурѣ, написанный рукой самого Фуса, показываетъ ясно, что этотъ почтенный академикъ не отвергалъ въ принципѣ свободной прессы, понимать вредъ цензурныхъ стѣсненій, и только по особымъ обстоятельствамъ нашего литературнаго развитія рѣшился замѣнить правомѣрную строгость закона измѣнчивой опекой «либеральныхъ» цензоровъ.

Сдѣлавъ, въ своихъ заключеніяхъ, переходъ къ необходимости и пользѣ предварительной цензуры, Фусъ заканчиваетъ свой проектъ слѣдующими словами: «Утверждая новый порядокъ цензуры, мы (т. е. верховная власть) желаемъ устранить отъ этой мѣры все то, что могло бы препятствовать невинному пользованію правомъ мыслить и писать. Мы объявляемъ, что только злоупотребленія свободной печати, возможные со стороны писателей злонамѣренныхъ, безнравственныхъ будутъ нами предупреждаемы».

Послѣ всѣхъ толковъ и предположеній, частію одобренныхъ, частію отвергнутыхъ высшимъ правительствомъ, составленъ, наконецъ, цензурный уставъ 1804 г. Либеральный характеръ времени коснулся, въ значительной степени, этого законодательнаго акта: первый цензурный уставъ немногословенъ, и въ немъ незамѣтно желанія уловить и предупредить всякій порывъ свободной мысли; напротивъ того, нѣкоторые пункты его даютъ достаточно простора для литературной критики. Послѣдствія показали однако, что самыя широкія и льготныя цензурныя правила легко суживаются и даже совсѣмъ видоизмѣняются подъ вліяніемъ случайныхъ обстоятельствъ: политическаго переворота въ западной Европѣ, личнаго взгляда главы министерства, претензій и жалобъ частныхъ лицъ.—Въ то время, когда составляли цензурный уставъ и нѣсколько лѣтъ спустя по введеніи его въ дѣйствіе, правительство молодого государя не только не опасалось свободной мысли, но вызывало ее на обсужденіе разныхъ государственныхъ вопросовъ; задумывая рядъ послѣдовательныхъ политическихъ преобразованій, оно нуждалось въ сочувствіи и поддержкѣ мыслящихъ людей, которые могли бы растолковать обществу, путемъ печатнаго слова, все значеніе мѣръ, предпринимаемыхъ для обновленія внутренней жизни Россіи. Подъ защитой такого настроенія легко было развиваться литературѣ; реформаціонныя планы зарождались сами собою въ пытливыхъ головахъ, увлеченныхъ общимъ движеніемъ, и если не могли появиться въ печати, то представляемы были, въ видѣ проектовъ, правительству. Въ одномъ изъ такихъ проектовъ проводится любопытная мысль

о необходимости обширнаго періодическаго изданія, которое предполагалось назвать «Правительственнымъ журналомъ».

«Въ семъ «Правительственномъ журналѣ» — писалъ авторъ проэкта, Баккаревичъ,—помѣщаемы будутъ всѣ государственные акты и бумаги, каковыя только благоразуміе правительства посчитать за благо обнародовать, какъ-то: высочайшіе манифесты, рескрипты, журналы всѣхъ высочайшихъ путешествій, бывшихъ или имѣющихъ быть; всѣ новыя узаконенія и уставы, если они не слишкомъ обширны; реляціи министровъ и полководцевъ, описанія военныхъ экспедицій, сраженій и побѣдъ, и разные трактаты съ иностранными дворами; примѣчательнѣйшія письма къ имп. величеству или къ знаменитымъ государственнымъ особамъ: голоса и мнѣнія какъ гг. сенаторовъ, такъ и другихъ верховныхъ чиновниковъ относительно къ важнымъ дѣламъ; примѣчательнѣйшія тяжбы, достопамятнѣйшія уголовныя дѣла, рѣшенныя или въ правительствующемъ сенатѣ, или въ палатахъ, или въ другихъ присутственныхъ мѣстахъ, съ показаніемъ ихъ теченія и производства. Далѣе помѣщаемы будутъ краткія описанія жизни и дѣяній великихъ російскихъ патріотовъ и героевъ, прославившихъ или спасшихъ отечество. Помѣщаемы будутъ всѣ новыя одобренныя проэкта, писанныя яснымъ и чистымъ слогомъ; всѣ новыя полезныя открытія, въ какомъ бы то родѣ ни было, всѣ основательныя разсужденія, относительныя къ общественной пользѣ: о законодательствѣ, напр., о земледѣліи, торговлѣ, пчеловодствѣ (?), о воспитаніи юношества; также всякія патріотическія мысли, всякія характеристическія черты російскаго народа, всякіе примѣры добродѣтели; словомъ, это будетъ хранилище всѣхъ домашнихъ, такъ сказать, важнѣйшихъ государственныхъ происшествій».

По мнѣнію Баккаревича, такое изданіе должно было сдѣлаться архивомъ необходимыхъ для отечественной исторіи матеріаловъ. «Родится—патетически восклицалъ онъ—россійскій Тацитъ, — російскій Робертсонъ и найдетъ въ семъ обширномъ хранилищѣ богатый запасъ драгоцѣнныхъ матеріаловъ, недостатокъ которыхъ и составляетъ существенную причину невозможности написать исторію Россіи». На этомъ основаніи авторъ проэкта полагалъ предоставить редактору «Правительственнаго журнала» званіе исторіографа російской имперіи. Всѣ матеріалы, предназначенныя для этого журнала, обязывались сообщать въ редакцію министры и главноуправляющіе отдѣльными вѣдомствами. Баккаревичъ представилъ свой проэктъ министру народнаго просвѣщенія чрезъ Н. Н. Новосельцева, подъ наблюденіемъ котораго должно было выходить въ свѣтъ новое изданіе.

Но графъ Завадовскій (министръ народнаго просвѣщенія) смотрѣлъ иначе, чѣмъ Новосильцевъ, на потребность гласности въ правительственныхъ дѣйствіяхъ и не особенно заботился о томъ, чтобы доставить «россійскимъ Робертсонамъ» должное количество историческихъ матеріаловъ. Онъ представилъ государю, что въ замышляемое изданіе войдутъ такія статьи, которыя «едва ли можно позволить издавать въ свѣтъ частному человѣку», каковы манифесты, рескрипты и прочіе документы, которые, будучи напечатаны неисправно, могутъ подать поводъ къ недоразумѣніямъ. Кромѣ того, министръ полагалъ, что слишкомъ трудно найти людей, довольно способныхъ и просвѣщенныхъ для составленія редакціи подобнаго изданія, и что, наконецъ, еслибъ такіе люди и нашлись, то потребовали бы слишкомъ большаго вознагражденія за свой трудъ, а потому и самое изданіе едва ли могло бы окупиться. Эти причины, открыто приведенныя гр. Завадовскимъ противъ проэкта Баккаревича, очевидно, несущественны и позволяютъ догадываться, что имъ же были представлены въ свое время другія, болѣе уважительныя, секретныя соображенія, рѣшившія дѣло не въ пользу проекутируемаго изданія. Повидимому, мысль о допущеніи гласности въ правительственныхъ дѣлахъ встрѣчала сильное противодѣйствіе со стороны многихъ, заинтересованныхъ въ томъ, правительственныхъ лицъ: новое доказательство, какъ мало было единодушія и твердой, опредѣленной системы взглядовъ въ высшихъ сферахъ тогдашней администраціи. (См. «Историч. свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи», стр. 12). Предположеніе о правительственномъ журналѣ осуществилось нѣсколько позже, и только отчасти, въ изданіи «Сѣверной Почты», которая стала выходить съ 3-го ноября 1809 г. (два раза въ недѣлю) при почтовомъ департаментѣ, принадлежавшемъ тогда къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Газета издавалась подъ руководствомъ товарища министра (впослѣдствіи министра) внутреннихъ дѣлъ О. П. Козодавлева; въ ней печатались корреспонденціи изъ самыхъ отдаленныхъ провинціальныхъ городовъ, политическія извѣстія, литературныя и общественныя слухи, и цѣлыя разсужденія, посвященныя преимущественно торговымъ и промышленнымъ вопросамъ. Были также статьи историческаго и этнографическаго содержанія, какъ, напр., объ устройствѣ почтъ, объ историческомъ прошломъ г. Феодосіи, о рыбной ловлѣ на Уралѣ и пр. Время отъ времени, здѣсь сообщались, на особыхъ таблицахъ, продажныя цѣны на хлѣбъ во всѣхъ губернскихъ городахъ. Общественныя новости, сообщаемыя въ газетѣ, вызывали иногда въ публикѣ дополненія и опроверженія, которыя печатались

самой газетѣ. Въ одномъ изъ нумеровъ «Сѣв. Почты» за 1810 г. есть интересное извѣстіе, что министерство внутреннихъ дѣлъ послало въ Липецкъ для пользы публики, гостившей на водахъ, бібліотеку, составленную изъ тысячи томовъ разныхъ авторовъ: такъ заботливо относилось это вѣдомство къ интересамъ образованія.

Въ первое время по введеніи устава, цензурные комитеты дѣйствовали вообще въ либеральномъ духѣ и примѣняли часто къ литературѣ снисходительные пункты устава; но тогда уже обнаруживалось, насколько условно бываетъ между разными лицами пониманіе «свободы печати, возвышающей успѣхи просвѣщенія». Неопредѣленность правительственной программы въ цензурномъ вопросѣ, постоянное столкновеніе между требованіями правительственной опеки и свободой общественнаго развитія, уже заявлявшаго свои права; наконецъ, неизбѣжное свойство предварительной цензуры, легко видоизмѣняющейся, при неблагоприятныхъ обстоятельствахъ, въ стѣснительную преграду для свободы мысли—все это сказалось полно и наглядно въ прискорбномъ случаѣ съ книгой И. П. Пнина.

Мы расскажем, по возможности подробно, этотъ замѣчательный случай.

IV.

И. П. Пнинъ, какъ писатель и журнальный дѣятель. Его книга: «Опытъ о просвѣщеніи». Печальная судьба этой книги. Общее настроеніе цензуры. Взглядъ Россійской Академіи на свободу мысли и слова. Мнѣніе Каченовскаго о новомъ цензурномъ уставѣ.

Иванъ Петровичъ Пнинъ (1773—1805 г.) принадлежитъ къ числу замѣчательныхъ журнальныхъ дѣятелей конца XVIII-го и начала XIX вѣка. Его имя не блещитъ въ ряду славныхъ именъ, знакомыхъ намъ съ дѣтства изъ различныхъ хрестоматій и безцвѣтныхъ курсовъ русской литературы; его благородная дѣятельность на пользу просвѣщенія и общественнаго развитія не влечетъ къ себѣ присяжныхъ панегиристовъ всяческаго успѣха... Но все это показываетъ только, что мы до сихъ поръ, въ оцѣнѣ литературной дѣятельности, неидемъ дальше гуртовыхъ увлеченій массы, раздающей свои вѣнцы, всего чаще, за рутинность мысли и за «художественность» формы, т. е. за гладкую прилизанность рифмованныхъ и нерифмованныхъ строчекъ.—Біографическія свѣдѣнія объ этой выдающейся личности весьма неполны, такъ что

мы, при всемъ желаніи сообщить объ ней больше нашимъ читателямъ, должны ограничиться лишь простымъ перечнемъ фактовъ.

И. П. Пнинъ обучался первоначально въ благородномъ пансіонѣ московскаго университета, а потомъ въ кадетскомъ корпусѣ. Во время шведской войны онъ былъ офицеромъ артиллеріи и служилъ во флотилии. Въ 1801 г. вступилъ въ канцелярію вновь учрежденнаго государственнаго совѣта, а въ 1802 г., при основаніи министерствъ, опредѣленъ экспедиторомъ въ департаментъ министерства народнаго просвѣщенія, директоромъ котораго былъ назначенъ въ то же время другой извѣстный журналистъ—И. П. Мартыновъ ¹⁾. Въ 1805 г., вслѣдствіе сильной простуды, онъ заболѣлъ чахоткой, которая быстро изнурила его силы и заставила выйти въ отставку съ пенсіей и чиномъ коллежскаго совѣтника. 17 сентября того же года онъ уже скончался на рукахъ многихъ друзей, — членовъ «Вольнаго общества любителей наукъ, словесности и художествъ», которые собрали подписку на сооруженіе ему надгробнаго памятника. На этомъ памятникѣ, по предложенію Востокова, была вырѣзана краткая надпись: «Друзья—Пнину».

Вотъ все, что знаемъ мы о жизни Пнина.

Литературная дѣятельность его была непродолжительна, но зато отмѣчена характеромъ безупречной честности и послѣдовательности въ проведеніи своихъ мыслей. Онъ былъ сторонникомъ чловѣколюбивой философіи XVIII-го вѣка, служилъ ей искренно, преданно, и притомъ не только въ литературѣ, но и въ жизни. «Будучи весьма не богатъ—говоритъ его біографъ—онъ любилъ помогать несчастнымъ. Съ жаромъ друга чловѣчества, всякую скорбь угнетеннаго людьми или судьбою чловѣка бралъ онъ близко къ сердцу своему и не щадилъ ни трудовъ, ни покоя, ни изживенія для облегченія судьбы несчастныхъ». Въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, въ оригинальныхъ статьяхъ, въ переводахъ, даже въ стихахъ—Пнинъ, высказывалъ занимавшія его мысли о наилучшемъ политическомъ устройствѣ и, насколько позволяли внѣшніе препятствія, дѣлалъ болѣе или менѣе прозрачныя намеки на современное ему положеніе Россіи. Въ періодическомъ изданіи Пнина,

¹⁾ Свѣдѣнія эти мы заимствуемъ изъ похвальнаго слова въ честь Пнина, произнесеннаго въ Обществѣ любителей наукъ и словесности другомъ его Брусиловымъ, издателемъ Журнала Россійск. Словесности (1805 г., № 10). Въ похвальной рѣчи сказано, что Пнинъ «умеръ, едва достигнувъ тридцатилѣтняго возраста»; но въ Матеріалахъ для исторіи просвѣщенія г. Сухомлинова находится болѣе точное указаніе его лѣтъ.

выходившемъ въ 1798 г., подъ названіемъ «Петербургскаго журнала», печатались, вмѣстѣ со стихами и баснями, статьи политическаго и экономическаго содержанія, какъ, напр., отрывки изъ Монтескье съ замѣчаніями на *L'esprit des lois*, извлеченіе изъ книги графа Верри, сотрудника Беккари: объ умноженіи и уменьшеніи государственнаго богатства, о главныхъ побужденіяхъ торговли и первоначальныхъ основаніяхъ цѣнъ, о купеческихъ и художническихъ обществахъ; подробное изложеніе «политической экономіи» Жака Стюарта и т. п. На смерть Радищева Пнинъ написалъ очень трогательное и задушевное стихотвореніе, которое не будетъ лишнимъ привести цѣликомъ:

Итакъ, Радищева не стало!
Мой другъ, уже во гробѣ онъ...
То сердце, что добромъ дышало,
Постигъ ничтожества законъ.
Уста, что истину вѣдали,
Уста навѣки замолчали,
И пламенникъ ума погасъ...
Кто къ счастью вѣлъ путемъ свободы
Навѣкъ, навѣкъ оставилъ насъ.
Оставилъ—и прешелъ къ покою...
Благословимъ его мы прахъ.
Кто столько жертвовалъ собою
Не для своихъ, но общихъ благъ,
Кто былъ отечеству сынъ вѣрный,
Былъ гражданинъ, отецъ примѣрный,
И смѣло правду говорилъ,
Кто ни предъ кѣмъ не изгиба лся,
До гроба лестію гнушался —
Я чаю, тотъ довольно жилъ!

Немногіе изъ русскихъ литераторовъ того времени относились такъ сочувственно къ несчастному страдальцу; извѣстно, что корифей тогдашней поэзіи, столь прославленный «потомокъ Багрима», не нашелъ для Радищева иныхъ словъ поощренія, кромѣ слѣдующаго четверостишія:

Бѣда твоя въ Москву со истиною сходна,
Некстати лишь смѣла, дерзка и сумасбродна;
Я слышу, на коней ямщикъ кричитъ: «вирь, вирь»!
Знать, русскій Мирабо, похвалъ ты въ Сибирь ¹⁾.

Весьма понятно, что съ восшествіемъ на престолъ Александра I, всѣ личности, подобныя Пнину, не утратившія въ тя-

¹⁾ См. «Русск. Вѣстникъ» 1858 г., 23. «Александръ Никол. Радищевъ», по воспоминаніямъ сына.

желую годину ни силы мысли, ни достоинства характера, должны были почувствовать себя какъ бы окрыленными и отдаться, со всѣмъ пыломъ неостывшей энергіи, на служеніе либеральнымъ идеямъ, моментально получившимъ у насъ довольно широкое право гражданства. Дѣйствительно, Пнинъ оживился духомъ въ это счастливое время, и мы видимъ его въ самомъ разгарѣ литературной производительности. Онъ предполагаетъ издавать по очень обширной программѣ новый журналъ: «Народный Вѣстникъ», писать «Опытъ о просвѣщеніи», «Воплъ невинности, отвергаемой закономъ», «О возбужденіи патріотизма»; оканчиваетъ первое дѣйствіе исторической драмы «Велизарій» и задумываетъ собрать свои стихотворенія подъ названіемъ: «Моя лира». Ранняя смерть его не дала осуществиться всѣмъ этимъ предпріятіямъ: планъ журнала остался невыполненнымъ, драма не кончена, стихотворенія не собраны. Но, «склонясь на просьбы журналистовъ» (по выраженію Брусилова), печаталъ онъ свои стихи въ ихъ журналахъ: такъ, напр., нѣсколько его стихотвореній помѣщено въ «Журналѣ Россійской Словесности». Избранный президентомъ Общества любителей наукъ и словесности, 15 іюля 1805 г., онъ намѣревался произвести въ немъ какія-то реформы «для чести общества и для пользы словесности»; но и это не удалось ему.

Изъ сочиненій Пнина, перечисленныхъ выше, одно, — а именно: «Опытъ о просвѣщеніи», — надѣлало много шума и послужило поводомъ къ преслѣдованію со стороны вновь образовавшагося петербургскаго цензурнаго комитета. Книга эта вышла въ свѣтъ въ 1804 г., по дозволенію петербургскаго гражданскаго губернатора (цензурные комитеты не начинали еще тогда своего дѣйствія) съ двумя эпиграфами: одинъ на первой страницѣ — «l'instruction doit être modifiée selon la nature du gouvernement qui régit le peuple»¹⁾, а другой на оборотѣ: «блаженны тѣ государи и тѣ страны, гдѣ гражданинъ, имѣя свободу мыслить, можетъ безбоязненно сообщать истины, заключающія въ себѣ благо общественное». Изъ этихъ эпиграфовъ, которыми авторъ прикрывалъ, какъ щитомъ, свое разсужденіе, видно уже, что онъ не только не думалъ переступать границъ дозволенной закономъ свободы слова, «возвышающей успѣхи просвѣщенія», но еще надѣялся принести пользу обществу, высказывая печатно свои мысли, не противорѣчившія ни основному характеру правленія, ни гласно выраженнымъ желаніямъ верховной власти. Руководствуясь отчасти «предваритель-

¹⁾ Т. е. „просвѣщеніе должно сообразоваться съ характеромъ власти, господствующей въ народѣ“.

ними правилами народнаго просвѣщенія», опубликованными во всеобщее свѣдѣніе самимъ правительствомъ, Пнинъ изложилъ свои взгляды на то: въ чемъ должно состоять просвѣщеніе, что можетъ наиболѣе ему способствовать, и въ одинаковой ли степени оно должно быть распространяемо между всѣми слоями русскаго общества ¹⁾. Признавая тѣснѣйшую связь просвѣщенія народа съ его политическимъ состояніемъ (какъ это можно усмотрѣть изъ перваго эпиграфа къ книгѣ) авторъ полагаетъ, что успѣхи образованности нельзя измѣрять числомъ ученыхъ и литераторовъ: — по его понятію, истинное просвѣщеніе состоитъ въ равновѣсіи общественныхъ силъ, въ непреложномъ исполненіи долга, лежащаго на каждомъ членѣ государственнаго организма. Но какъ ни различны законы, управляющіе государствомъ, они должны стремиться къ одной цѣли — охраненію правъ собственности и личной безопасности гражданъ. Гдѣ нѣтъ собственности, тамъ всѣ законы существуютъ только на бумагѣ. «Собственность—говоритъ авторъ — священное право, душа общежитія, источникъ законовъ! Гдѣ ты уважаена, гдѣ ты неприкосновенна, тамъ только спокоенъ и благополученъ гражданинъ. Но ты бѣжишь отъ звука цѣпей, ты чуждаешься невольниковъ. Права твои не могутъ существовать ни въ рабствѣ, ни въ безначаліи: ты обитаешь только въ царствѣ законовъ». Право собственности даетъ твердую опору законамъ; законы же произошли отъ гражданскихъ обществъ, а общества явились вслѣдствіе неравенства силъ человѣческихъ. Этимъ неравенствомъ опредѣляется различіе сословій и различіе потребностей каждаго изъ сословій: земледѣльческаго, мѣщанскаго, дворянскаго и духовнаго. Въ этомъ планѣ исчислены подробно всѣ науки, которыя могутъ быть достояніемъ извѣстнаго класса общества: земледѣльцевъ надлежитъ обучать только чтенію, письму, первымъ дѣйствіямъ ариметики, сельской механикѣ (?), скотоводству, обработкѣ полей и проч. Мѣщане могутъ взять въ толкъ грамматику, географію, введеніе во всеобщую исторію и главныя эпохи русской исторіи, геометрію и даже тригонометрію, естественную исторію, технологию, физику и практическія знанія, полезныя для промышленности. Въ купеческомъ сословіи, къ этимъ предметамъ присоединяются нѣкоторыя другіе, какъ, напримѣръ, англійскій языкъ, алгебра, простая и двойная бухгалтерія, исторія комерціи, товаровѣдѣніе и проч., но вся роскошь познанія приберегается для дворянскаго

¹⁾ См. «Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ царствованіе Александра І». «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1866 г.

класса, которому, сверхъ многихъ названныхъ предметовъ, доволительно изощрять свои умственные способности изученіемъ юридическихъ наукъ. Читатель видитъ, что въ этомъ случаѣ Пнинъ отдалъ полную дань сословнымъ предразсудкамъ своего времени и остался позади правительства, которое и не думало дѣлать такого спеціального различія въ приобрѣтеніи познаній между мѣщаниномъ, купцомъ и дворяниномъ, открывая для всѣхъ одинаково двери общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній. Но въ одномъ пунктѣ авторъ высказался энергичнѣе и послѣдовательнѣе правительства, не дожидаясь, покуда оно, смущенное разнорѣчивыми взглядами либераловъ и зловѣщими запугиваньями консерваторовъ, рѣшится, наконецъ, дѣйствовать въ какомъ нибудь опредѣленномъ смыслѣ. Этотъ пунктъ—фатальный крестьянскій вопросъ, разрѣшеніе котораго представлялось столь сложнымъ и затрагивающимъ основные вопросы государственнаго устройства, что Александръ I-й, не смотря на свою хорошо извѣстную антипатію къ рабству, недоумѣвалъ и колебался вырвать это зло съ корнемъ.

Назвавъ русскія сословія, Пнинъ замѣчаетъ, что одно изъ нихъ, именно земледѣльческое, находится въ страдательномъ состояніи, будучи отдано во власть рабовладѣльцевъ, поступающихъ съ подвластными людьми хуже, чѣмъ со скотомъ. Важнѣйшая забота законодателя должна состоять, по его мнѣнію, въ огражденіи правъ собственности земледѣльческаго класса: только этимъ путемъ можно распространить истинное просвѣщеніе въ народѣ. Рисуя печальную картину крестьянскаго быта, авторъ порицаетъ многія явленія въ жизни другихъ сословій, не щадитъ и системы управленія во всѣхъ ея отрасляхъ. О купцахъ говорится, что они не поддерживаютъ другъ друга въ несчастныхъ случаяхъ; богатый купецъ, видя неудачу и гибель своего собрата, не только не подаетъ ему руку помощи, но еще спѣшитъ приѣснить его, чтобы воспользоваться его несчастіемъ. Въ службу гражданскую, по словамъ автора, опредѣляютъ безъ всякаго разбора; чины и мѣста раздаютъ людямъ, едва умѣющимъ читать и подписывать свое имя; люди же достойные избѣгаютъ службы, опасаясь попасть подъ начальство господъ, заслуживающихъ не почета, а презрѣнія и т. д.

Книга Пнина, изданная въ 1804 г., имѣла такой успѣхъ въ публикѣ, что въ томъ же году понадобилось новое ея изданіе. и она была представлена въ цензурный комитетъ съ рукописными дополненіями, сдѣланными, — какъ объясняетъ авторъ, — по волѣ монарха. Но не всѣ читатели прочли «Опытъ о просвѣ-

щеніи» съ одинаковымъ удовольствіемъ: нашелся между ними одинъ благонамѣренный гражданинъ, который, предвидя отъ этой книги ущербъ для славы отечества, донесъ на нее, какъ на крайне вредную и исполненную разрушительныхъ правилъ ¹⁾. Ама-теръ-доносчикъ былъ нѣкто Гавріилъ Гераковъ, извѣстный уже въ то время своими патріотическими произведеніями въ родѣ: «Герои русскіе за 400 лѣтъ», «Твердость духа нѣкоторыхъ Россіянъ» и т. п., и еще болѣе прославившійся впослѣдствіи изда-ніемъ «Россійскихъ историческихъ отрывковъ», не принятыхъ ни Жуковскимъ, ни Каченовскимъ въ «Вѣстникъ Европы» ²⁾. На этого же Геракова написана была Маринимъ слѣдующая эпи-грамма:

Будешь, будешь сочинитель
И читателей тиранъ,
Будешь корпусный учитель,
Будешь вѣчный капитанъ.
Будешь—такъ судьбы гласилъ—
Ростомъ двухъ аршинъ съ вершкомъ,
Будешь,—греки подтвердили,—
Будешь вѣкъ ходить пѣшкомъ.

Въ объясненіе предпослѣднаго стиха нужно замѣтить, что Гераковъ былъ родомъ грекъ и проникнулся русскимъ патріотиз-момъ, подобно Булгарину, въ чаяніи поправить нѣсколько свои запутанныя дѣлишки. Доносъ жалкаго писака былъ услышанъ цензурными властями: новое изданіе книги не было разрѣшено, а экземпляры перваго изданія, еще оставшіеся въ продажѣ, пред-писано отобрать изъ книжныхъ лавокъ. вмѣстѣ съ книгою были отвергнуты цензурнымъ комитетомъ и рукописныя къ ней допол-ненія, причемъ комитетъ постарался мотивировать свой отказъ. Приведа слова автора: «насилъство и невѣжество, составляя ха-рактеръ правленія Турціи, не имѣя ничего для себя священнаго, губять взаимно гражданъ, не разбирая жертвъ», цензоръ при-бавляетъ отъ себя: «хочу вѣрить, что эту мрачную картину спи-саль авторъ съ Турціи, а не съ Россіи, какъ то иному легко по-казаться можетъ; но и для турецкаго правленія это язвительная клевета, будто народъ сей не имѣетъ для себя ничего священ-наго и губить себя взаимно, не разбирая жертвъ». Главный до-водъ, приводимый противъ книги Пнина, заключается въ томъ, что «авторъ съ жаромъ и энтузіазмомъ жалуется на злосчастное состояніе русскихъ крестьянъ, коихъ собственность, свобода и даже самая жизнь, по мнѣнію его, находится въ рукахъ какого

¹⁾ См. «Русск. Вѣстн.» 1858 г. № 23.

²⁾ См. по каталогу Смирдина №№ 2709, 2943 и 2924.

нибудь капризнаго паши», «Хотя бы то и справедливо было,—разсуждаетъ officialный рецензентъ,—что русскіе крестьяне не имѣютъ собственности, ни гражданской свободы, однако зло сіе есть зло, вѣками укоренившееся, и требуетъ осторожнаго и повременнаго исправленія. Мудрые наши монархи усмотрѣли его давно; но зная, что сильный переломъ всегда разрушаетъ машину правленія, не хотѣли вдругъ искоренить сіе зло, дабы не навлечь чрезъ то еще большаго бѣдствія. Правительство дѣйствуетъ въ семь случаевъ подобно искусному врачу; мѣры его кротки и медленны, но, тѣмъ не менѣе, безопасны и спасительны. Еслибы сочинитель нашелъ или думалъ найти какое нибудь новое средство, дабы достигнуть скорѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ безопаснѣе предполагаемой имъ цѣли, т. е. истребленія рабства въ Россіи, то приличнѣе было бы предложить оное проэктомъ правительству. А разгорячать умы, воспалять страсти въ сердцахъ такого класса людей, каковы наши крестьяне, это значить въ самомъ дѣлѣ собирать надъ Россіей черную губительную тучу». Приговоръ цензуры вызвалъ протестъ со стороны автора. Въ объясненіи своемъ, представленномъ въ главное правленіе училищъ, Пнинъ говоритъ: «Всякій писатель, пишущій о предметахъ государственныхъ, никогда не долженъ терять изъ виду будущее. Ибо цѣлый народъ никогда не умираетъ, ибо государство, какимъ бы оно ни было подвержено сильнымъ потрясеніямъ, переимѣняетъ только видъ свой, но вовсе никогда не истребляется. И потому сочинитель обязанъ истинѣ, имъ предусматриваемыя, представлять такъ, какъ онъ находитъ ихъ. Онъ долженъ въ семь случаевъ послѣдовать искусному живописцу, ко- его картина тѣмъ совершеннѣе бываетъ, чѣмъ краски, имъ употребляемыя, соотвѣтственнѣе предметамъ, имъ изображаемымъ. Впрочемъ, все сказанное мною о необходимости крестьянской собственности, всѣ истинны, къ сему предмету относящіяся, почерпнулъ я изъ премудраго наказа Великія Екатерины. Она внушила мнѣ оныя. Она возбудила во мнѣ тотъ жаръ и энтузіазмъ, который цензоръ ставитъ мнѣ въ преступленіе. Рукописное дополненіе, сдѣланное мною по волѣ монарха, заключаетъ въ себѣ опредѣленіе крестьянской собственности, прихвѣненное мною къ настоящему положенію вещей».

Изъ этого столкновенія видно уже, какъ тѣсны оказались цензурныя рамки для начинавшагося развитія свободной мысли. Пнинъ выставляетъ на видъ идеалъ европейскаго писателя; онъ отстаиваетъ право свободнаго мыслителя касаться всѣхъ «государственныхъ предметовъ», отъ которыхъ зависитъ будущее стра-

ны; онъ пробуетъ также примкнуть къ либеральному направленію, поскольку проявлялось оно въ дѣйствіяхъ самого правительства, и на все это получаетъ одинъ холодный отвѣтъ, что «хотя крестьянской собственности нѣтъ, однако зло сіе вѣками укоренено» (какъ будто въ этой фразѣ есть какая нибудь логика, и зло долговременное перестаетъ уже быть зломъ), что свободная мысль можетъ быть полезна государству, но не въ печати, не гласно высказанная, а въ формѣ проэкта, поданнаго куда слѣдуетъ. Либеральная цензура сочувствуетъ даже «истребленію рабства въ Россіи»; но выразить это сочувствіе пропускомъ книги не рѣшается, потому что правительство, сознавая зло въ принципѣ, начало дѣйствовать противъ него «мѣрами кроткими и медленными». Мы не хотимъ сказать, чтобы судъ надъ печатью, организованный въ прежнее время, отнесся снисходительнѣе къ свободной мысли; ничего нѣтъ мудренаго, что этотъ судъ, составленный изъ лицъ, столько же зависимыхъ по своему положенію, какъ были зависимы и чиновники-цензоры, присудилъ бы книгу къ запрещенію, а сочинителя, кромѣ того, къ уголовному заточенію, и вторая бѣда была бы горше первой: — трудно утверждать что нибудь въ пользу тогдашняго суда, т. е. иной системы наблюденія за печатью; — но намъ необходимо указать ту границу, которая, даже въ самый либеральный моментъ, была поставлена неумѣреннымъ порывамъ критической мысли.

Случай, рассказанный нами, объясняетъ, въ какую сторону могло измѣниться направленіе предварительной цензуры. Осуждая книгу Пнина, цензоръ говоритъ, что не желалъ бы узнавать Россію подъ именемъ Турціи; конечно, онъ руководствовался при этомъ снисходительнымъ пунктомъ устава, по которому «мѣсто, подверженное сомнѣнію и имѣющее двоякій смыслъ, лучше истолковать выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать». Но съ теченіемъ времени произволъ цензуры въ толкованіи этихъ сомнительныхъ мѣстъ расширялся все болѣе и болѣе, такъ что въ 1825 году, при министрѣ народнаго просвѣщенія Шишковѣ, запрещено было выставлять въ печатныхъ книгахъ тайнственныя точки, подъ которыми многіе проникательные читатели усматривали прерванную мысль заманчиваго свойства. Съ тѣмъ виѣстѣ служивалось пониманіе втораго, пятнадцатаго и осьмнадцатаго параграфовъ устава, изъ которыхъ—въ первомъ требовалось удалять книги и сочиненія, не ведущія къ истинному просвѣщенію ума и образованію нравовъ, а двумя другими запрещались произведенія «противныя правительству (т. е. политическому устройству

страны), нравственности, благопристойности, закону Божію и личной чести гражданъ». При боязливомъ примѣненіи этихъ послѣднихъ пунктовъ, оказалось возможнымъ запретить даже такую невинную вещь, какъ «Смальгольмскій баронъ» Вальтеръ-Скотта въ переводѣ Жуковского.

Тѣмъ не менѣе, общее настроеніе правительства, отъ котораго такъ много зависитъ характеръ предварительной цензуры,— было въ то время благопріятнѣе, чѣмъ когда либо, для успѣшнаго развитія литературы.

Если въ высшемъ правительствѣ встрѣчались лица (большее частію завѣщанныя новому времени прежнимъ поколѣніемъ государственныхъ дѣятелей), которыя вѣроуверенно смотрѣли на свободу прессы, то въ немъ же находимъ мы и другихъ людей, не желавшихъ стѣснять успѣхи русскаго просвѣщенія. Самъ государь часто держалъ сторону своихъ молодыхъ и либеральныхъ совѣтниковъ, и его личныя симпатіи отражались выгоднымъ образомъ на дѣйствіяхъ предварительной цензуры. Такъ, напр., еще до учрежденія цензурныхъ комитетовъ, московскій генералъ-губернаторъ, гр. Салтыковъ, опечатавъ сочиненіе «Кумъ Матвѣй», переведенное съ французскаго и дозволенное для продажи московскимъ гражданскимъ губернаторомъ, а книгопродавцевъ, у которыхъ оно продавалось, арестовалъ. Это распоряженіе слишкомъ ревностнаго начальника не было одобрено въ Петербургѣ; арестованныхъ книгопродавцевъ государь приказалъ освободить, а министръ внутреннихъ дѣлъ, графъ Кочубей, увѣдомилъ о томъ одного изъ нихъ вѣжливымъ письмомъ; въ послѣдствіи и убытки, понесенныя частными лицами отъ распоряженія графа Салтыкова, были вознаграждены изъ суммъ кабинета. Въ то же время, по ходатайству Н. Н. Новосильцева, печаталось сочиненіе объ англійской конституціи. Вообще цензурныхъ дѣлъ за періодъ времени отъ 1804—1811 г. сохранилось немного, и тѣ, которыя сохранились, почти исключительно касаются конфискаціи политическихъ книгъ, переведенныхъ съ иностраннаго языка. Въ сентябрѣ 1807 г. было отобрано болѣе 5,000 экземпляровъ сочиненія: «Тайная исторія новаго французскаго двора», переведеннаго съ нѣмецкаго, съ дозволенія петербургскаго цензурнаго комитета. Все изданіе было «истреблено огнемъ» по предписанію петербургскаго военнаго генералъ-губернатора, князя Лобанова-Ростовскаго, но издатель былъ удовлетворенъ за убытки, и притомъ крупною суммою въ 6,500 р. изъ кабинета его величества¹⁾. Общій духъ перваго цензурнаго

¹⁾ «Историч. свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи», стр. 13—19.

устава почти не стѣснялъ литературной дѣятельности, какъ можно судить по количеству и по содержанію книгъ, вышедшихъ въ это время; исполнителями же устава выбирались люди просвѣщенные и, насколько возможно, либеральные. Дѣла по книгопечатанію, до своего окончательнаго рѣшенія, переходили три инстанціи, и рѣдко случалось, чтобы сочиненіе или переводъ отвергаемы были всѣми тремя степенями цензурнаго вѣдомства, т.-е. цензоромъ, читавшимъ рукопись, цензурнымъ комитетомъ и, наконецъ, главнымъ правленіемъ училищъ. «Обыкновенно бывало,—говоритъ г. Сухомлиновъ, имѣвшій возможность пересмотрѣть много старыхъ цензурныхъ дѣлъ,—что или сами цензоры давали ходъ книгѣ на основаніи благопріятныхъ для литературы постановленій устава, или же цензурные комитеты, и еще чаще главное управленіе училищъ, разрѣшали сомнѣнія цензуры въ смыслѣ наиболѣе выгодномъ для авторовъ и переводчиковъ». Что цензоры далеко не всегда относились придирчиво къ свободной мысли, но, напротивъ, больше склонялись дѣйствовать въ либеральномъ духѣ—можно доказать двумя, очень разительными примѣрами. Въ 1807 г. была переведена на русскій языкъ книга: «*De la souveraineté ou connaissance des vrais principes du gouvernement des peuples*» которую многіе осуждали за новыя правила, противныя основаніямъ доброй нравственности, вѣры и политики. Но вотъ резолюція цензурнаго комитета: «Въ книгѣ хотя и содержатся многія смѣлыя и оригинальныя мысли, которыя, будучи взяты въ отдѣльности, могутъ показаться предосудительными; но, соображая ихъ съ общимъ духомъ книги, нельзя не признать, что авторъ, разрушая, повидимому, общепринятія мнѣнія о добродѣтели, нравственности, религіи и правахъ человѣчества, тѣмъ не менѣе утверждаетъ ихъ на новомъ основаніи. Въ такомъ вѣкѣ, когда потрясены всѣ древнія опоры алтарей и троновъ, небезполезно противопоставить опытъ Маккіавелева ученія, смягченнаго и приуроченнаго къ духу настоящаго времени. Будучи наполнена отвлеченными и глубокомысленными изысканіями, книга «*De la souveraineté*» обратитъ на себя вниманіе только людей ученыхъ и просвѣщенныхъ, которые, безъ сомнѣнія, прочтутъ ее съ пользою, и если не согласятся съ мнѣніемъ автора, то, по крайней мѣрѣ, доведены будутъ до разысканія многихъ полезныхъ истинъ, хотя бы то было и къ опроверженію самого автора. Что же касается до читателей недалекovidныхъ, для которыхъ книга эта могла бы послужить соблазномъ, то, кажется, утвердительно

можно сказать, что они не захотятъ принять на себя трудъ входить въ лабиринтъ глубокомысленныхъ изслѣдованій автора».

Мотивы, приведенные здѣсь, не мѣшаютъ свободной критикѣ обращаться на самые важные вопросы человѣческаго общежитія: польза, которая проистекаетъ изъ этого, превосходить, по мнѣнію цензурнаго комитета, случайный соблазнъ и недоразумѣнія «недальновидныхъ» читателей. Таковую же просвѣщенную терпимость къ мнѣніямъ писателей обнаружилъ въ 1819 г. цензоръ Яценковъ (онъ же редакторъ «Духа журналовъ»), допуская къ печати, въ «Журналѣ древней и новой словесности», извѣстное письмо Ломоносова: «О размноженіи и сохраненіи русскаго народа». Письмо это не понравилось однако двумъ министрамъ (народнаго просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ), которые нашли въ немъ «мысли предосудительныя, несправедливыя, противныя православной церкви и оскорбляющія честь нашего духовенства». Отъ цензора потребовали объясненія, и онъ не замедлилъ его представить. «Не входя въ изслѣдованіе о томъ—пишетъ Яценковъ—справедливы ли разсужденія Ломоносова, въ письмѣ семь изображенныя, осмѣливаюсь объяснить только слѣдующее. Статья сія имѣетъ совсѣмъ другую цѣну и должна быть разсматриваема совсѣмъ съ другой стороны. Она есть ни богословская:—ибо кто станетъ искать въ Ломоносовѣ разрѣшенія богословскихъ вопросовъ?—ни медицинская, ниже политико-экономическая, хотя въ семь дѣлъ всѣ лучшіе врачи и многіе государственные мужи отдадутъ Ломоносову справедливость. Она есть ничто иное, какъ новая черта къ портрету Ломоносова, дополненіе къ исторіи жизни и многочисленнымъ ученымъ занятіямъ сего великаго мужа. До сихъ поръ мы знали и почитали Ломоносова, какъ неподражаемаго поэта, какъ великаго математика, физика, астронома, химика; отнынѣ будемъ знать и почитать его еще и какъ глубокомысленнаго государственнаго мужа, какъ ревностнѣйшаго споспѣшника народной силы, богатства и величія нашего отечества. Онъ могъ ошибаться въ мнѣніяхъ своихъ о предметахъ богословскихъ и политико-экономическихъ; но одно усердіе его къ споспѣшествованію общей пользѣ даетъ уже ему право на всеобщую признательность. Будущій историкъ жизни Ломоносова не пропуститъ и сей черты, вмѣстѣ со многими другими, изображающими величественный образъ сего необыкновеннаго человѣка. И сія есть одна истинная точка, съ которой цензоръ считалъ себя въ обязанности разсматривать статью сію. Запретивши оную, онъ бы выкинулъ одну изъ любопытнѣйшихъ страницъ въ похваль-

номъ словѣ Ломоносову». Взглядъ многихъ цензоровъ на свободу мнѣній оказывался даже гораздо просвѣщеннѣе и дѣльнѣе, чѣмъ взглядъ на тотъ же предметъ Россійской Академіи. По поводу рецензій на академическую грамматику, напечатанную въ «Сынѣ Отечества» въ 1819 г., эта почтенная академія пришла въ такой азартъ, что ходатайствовала особою запиской о преслѣдованіи цензора и автора. Въ засѣданіи академіи былъ поднятъ вопросъ: «имѣютъ ли журналисты право объ издаваемыхъ академіею книгахъ извѣщать публику съ своими о нихъ сужденіями и оцѣнкою»,—и академики отвѣчали на него отрицательно. «Цѣлая академія—говорится въ академической жалобѣ—не можетъ быть безграмотною; журналистъ легко можетъ быть безграмотенъ, ибо всякій можетъ быть журналистомъ. Въ цѣлой академіи предполагается болѣе знаній, нежели въ одномъ журналистѣ. Академія можетъ погрѣшати, но журналистъ еще больше. Итакъ, по здравому разсудку (!!) нѣтъ никакой пользы ни для нравовъ, ни для просвѣщенія и словесности, чтобы изданія отъ академіи, и слѣдовательно оцѣненныя уже ею сочиненія, были вновь переоцѣниваемы журналистами. Въ государственныхъ постановленіяхъ также нигдѣ не сказано, что журналисты могутъ публиковать и оцѣнивать академическія книги, какъ имъ угодно. Посему ясно (?), что издатель журнала, подъ названіемъ «Сынъ Отечества», присвоилъ самъ это право. Поступокъ его не подлежитъ суду академіи, но суду правительства». Жалобы академіи и претензіи ея на авторитетъ палатской непогрѣшимости не были уважены главнымъ правленіемъ училищъ, которое нашло, что «дѣланіе замѣчаній на всякую издаваемую книгу, а тѣмъ болѣе на грамматику, не можетъ быть никому возбранено, и, въ случаѣ неосновательности замѣчаній, критикъ подвергается стыду передъ публикою и опроверженію своихъ мыслей тѣмъ же способомъ, какимъ доведены они до всеобщаго свѣдѣнія»; но самая возможность появленія такой жалобы составляетъ уже грустный и назидательный фактъ: отсюда ясно, какъ мало наклонны были даже ученые собранія, прикрытыя хоть кончиномъ officialнаго плаща, подвергать свои дѣйствія суду публики, и какъ ревниво отстаивали они свои чрезмѣрные притязанія...

Желаніе полной свободы печати, высказанное немногими передовыми личностями александровскаго времени, далеко обгоняло развитіе русскаго общества, не привыкшаго видѣть въ литературномъ мнѣніи самостоятельную, независимую силу; большин-

ство же образованныхъ людей, не исключая литераторовъ и журналистовъ, вполне удовольствовалося тою долей свободы, какую предоставлялъ русской литературѣ новый цензурный уставъ. Это мнѣніе большинства было выражено Каченовскимъ въ «Вѣстникѣ Европы», вскорѣ по выходѣ устава. Мы приведемъ его цѣликомъ, — тѣмъ болѣе, что оно, по своей краткости, не утомить нашихъ читателей. «Критика ученая и безпристрастная — пишетъ Каченовскій въ статьѣ подъ названіемъ: «О книжной цензурѣ въ Россіи» — выставляя погрѣшности сочиненій, удерживаетъ неопытныхъ людей отъ смѣлыхъ предпріятій; цензура, налагая узду на дерзость и буйство, искореняетъ зло при самомъ его началѣ. Истинный талантъ не боится критики; писатель благонамѣренный уважаетъ постановленія мудраго правительства и благоговѣетъ въ душѣ своей предъ спасительными узаконеніями, которыми нѣ мало не стѣсняется свобода мыслить и писать (курсивъ въ подлинникѣ) и которыя суть ничто иное, какъ только необходимыя мѣры, принятыя противъ злоупотребленій сей свободы. Для чего нужны книги? Умъ и дарованія образуются подъ руководствомъ содержащихся въ нихъ полезныхъ правилъ и наставленій; сынъ церкви и отечества черпаетъ изъ книгъ понятія о своихъ обязанностяхъ; гражданинъ узнаетъ изъ нихъ права свои; человѣка онѣ научаютъ чувствовать цѣну его достоинства и иногда, въ часы свободныя, доставляютъ ему пріятное занятіе. Но всякая ли книга соотвѣтствуетъ симъ важнымъ назначеніямъ? Вольтеръ хотѣлъ, чтобы дозволено было писать все безъ изыятія, утверждая, что благо и спокойствіе общества не зависятъ отъ напечатанной книги. Постыдный для челоуѣчества примѣръ неистовыхъ революцій доказалъ неосновательность Вольтерова мнѣнія. Появленіе дерзкихъ сочиненій, сопровождаемое всеобщимъ одобреніемъ, означаетъ послѣднюю степень развращенія и необузданности, до которой государство достигаетъ. Еслибъ всѣ верховныя власти заблаговременно пеклись о доставленіи обществу книгъ, способствующихъ къ истинному просвѣщенію ума и къ образованію нравовъ, еслибъ онѣ удаляли сочиненія противныя сему намѣренію, то французы не посрамили бы своего имени предъ лицомъ свѣта и потомства, не обагрили бы рукъ своихъ кровію законнаго своего государя, не пресмыкались бы у ногъ хитраго чужестранца. Нынішніе законодатели французскаго Парнасса (аббатъ Жоффруа, издатели французскаго Меркурія и пр.), уstraшенные плачевными слѣдствіями легкомыслія своихъ соотечественниковъ, принимаютъ крайнія мѣры, совершенно противо-

положныя первымъ, т. е., выбравшись изъ одной пропасти, низвергаются въ другую; они теперь выхваляютъ блаженное состояніе невѣжества и скорыми шагами обратно отступаютъ къ четырнадцатому вѣку. Южная Германія и всѣ итальянскія государства, по долгу зависимости отъ Франціи и соображаясь съ модою лицемѣрной набожности, господствующей при дворѣ Наполеономъ, шествуютъ по слѣдамъ своей путеводительницы. Въ Испаніи пламенники святой инквизиціи истребляютъ творенія великихъ геніевъ, писанныя для безсмертія, для пользы и славы человѣческаго рода. Въ Австріи запрещенъ ввозъ всѣхъ иностранныхъ сочиненій. Въ то время, когда въ южной Европѣ воздвигаютъ алтари невѣжеству, въ любезномъ отечествѣ нашемъ законы всячески ободраютъ успѣхи просвѣщенія, охраняя вѣру, святость власти, нравственность и личную честь гражданина. И кто не чувствуетъ, сколь драгоценны сіи залоговѣ благоденствія общественнаго и частнаго? Какой здравомыслящій гражданинъ предпочтетъ имъ произведенія ума буйнаго и строitivaго, прикрашеннаго ложнымъ блескомъ мнимаго краснорѣчія, мгновенно исчезающимъ при свѣтилникѣ здоровой логики?»

«Никогда не были взяты мѣры лучшія и надежнѣйшія для успѣховъ народнаго просвѣщенія; никогда правительство столько не пеклось о томъ, чтобы волю свою сдѣлать извѣстною всѣмъ гражданамъ. Цензура въ запрещеніи печатанія или пропуска книгъ руководствуется благоразумнымъ снисхожденіемъ, удаляясь всякаго пристрастнаго толкованія сочиненій или мѣсть въ оныхъ, которыя, по какимъ либо мнимымъ причинамъ, кажутся подлежащими запрещенію. Когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двоякій смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать». Какое поощреніе для зрѣющаго таланта! какая твердая подпора для писателя опытнаго, который предпринимаетъ подвигъ отважный и многотрудный! Екатерина Великая начертала вѣрное средство осчастливить людей. Если хотите сдѣлать народъ благополучнымъ, говорить безсмертная законодательница къ органамъ народа, распространите просвѣщеніе въ государствѣ. Человѣколюбивый Александръ, довершающій великія предпріятія своей прародительницы, желаетъ и требуетъ, чтобы скромное и благоразумное изслѣдованіе всякой истины, относящейся до вѣры, человѣчества, гражданскаго состоянія, законоположенія, управленія государственнаго или какой бы то ни было отрасли правленія, «не только не подлежало и самой умѣренной строгости цензуры, но пользовалось бы совер-

шенною свободою тисненія, возвышающей успѣхи просвѣщенія». Если всѣ члены общества будутъ исполнять съ такою правотою и ревностью священный долгъ свой, съ какою мудростью августѣйшій обладатель сѣвера предписываетъ спасительныя средства для истиннаго счастья своего народа, то еще нѣсколько лѣтъ—и поле россійской словесности обогатится памятниками изящнаго вкуса и учености». (См. «Вѣстн. Евр.» 1805 г. № 3).

На этой благоразумной серединѣ примирялись всѣ, кто не желалъ «дерзостей» и излишествъ печати, осуждалъ «умы буйные и строптивые», но, вмѣстѣ съ тѣмъ, находилъ вредными крайнія репрессивныя мѣры, отодвигающія общество «къ четырнадцатому столѣтію».

V.

Отличительный характеръ русскаго масонства и вліяніе его на Карамзина.—Освобожденіе Карамзина отъ этого вліянія.—Изданіе «Московского Журнала» и литературныхъ сборниковъ.—Политическія взгляды и симпатіи Карамзина.—Отдѣлъ критики въ «Московскомъ Журналѣ».

Поворотъ въ нашей государственной жизни отразился благоприятно на журналистикѣ. Первымъ представителемъ этого новаго движенія въ нашей литературѣ, по всей справедливости, считается Карамзинъ. Но такъ какъ дѣятельность этого писателя началась еще въ концѣ царствованія Екатерины II-й, то мы должны будемъ обратиться нѣсколько назадъ.

Въ философскомъ движеніи XVIII-го вѣка опредѣлились довольно ясно двѣ струи, два различныя міровоззрѣнія: — рационально-деистическое и собственно матеріалистическое, или сенсуализмъ. Первое примыкало къ англійскому школѣ Локка, другое нашло своихъ представителей во французскихъ энциклопедистахъ. Масонство, зашедшее въ XVIII в. и къ намъ, приближалось въ основныхъ началахъ своихъ къ школѣ деистическихъ философовъ, т. е. масоны старались перенести въ практическую жизнь ту «религію разума», или «естественную религію», которая требовала отъ человѣка высокой нравственности, полезной дѣятельности, отвергая всякій догматизмъ и фанатическую нетерпимость. Скоро оно вступило въ борьбу съ распространявшимся атеизмомъ. Въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи въ Европѣ, масонство соприкасалось одной своей стороною—съ политической сектой иллюминатовъ, другой—съ мистической теософіей Бема, Штиллинга и др. Въ русскомъ масонствѣ не было политическаго оппозиціоннаго

оттѣнка, который встрѣчался въ западныхъ масонскихъ ложахъ; все лучшее, что было въ немъ, уходило только на филантропическую дѣятельность, чуждую какого бы то ни было политическаго новаторства. Лопухинъ, одинъ изъ лучшихъ людей «Дружескаго общества», говоря о различіи между западнымъ и русскимъ масонствомъ, чистосердечно признается: «нашего общества предметъ былъ—добродѣтель и стараніе, исправляя себя, достигать ея совершенства при сердечномъ убѣжденіи о совершенномъ ея въ насъ недостаткѣ; а система наша, что Христосъ—начало и конецъ всякаго блаженства». Тайныя же политическія общества, по мнѣнію Лопухина, основаны на томъ, «чтобы отвергать Христа, а обществъ оныхъ предметъ: заговоръ буйства, побуждаемаго глупымъ стремленіемъ къ необузданности и неестественному равенству». Въ своемъ масонскомъ катехизисѣ Лопухинъ прямо говоритъ, что «масонъ долженъ царя чтить и во всякомъ страхѣ повиноваться ему, не только доброму и кроткому, но и строптивому». Впослѣдствіи, подѣ влияніемъ Лабзина, масонство утратило и свой филантропическій характеръ, обратившись въ одно отвлеченное, мистико-религіозное созерцаніе. Карамзинъ, какъ извѣстно, вышелъ изъ масонскаго кружка и сохранилъ на себѣ отпечатокъ его влиянія ¹⁾. Уваженіе къ человѣческой личности, независимо отъ ея общественнаго положенія и вѣса, отсутствіе религіознаго фанатизма—вотъ хорошія черты этого влиянія; но были также и дурныя. Живя въ Москвѣ, Карамзинъ занимался переводами книгъ въ мистическомъ духѣ для новиковскихъ изданій, мечталъ о потерянномъ золотомъ вѣкѣ и, несо всѣмъ отрезвившись отъ этого настроенія, отправился путешествовать по Европѣ. Возвратясь изъ путешествія, Карамзинъ принялся за изданіе ежемѣсячнаго «Московского Журнала» (1791—1792 г.). Появленіе этого журнала было очень важно для своего времени: послѣ сатирическихъ листковъ Новикова, это было первое живое слово въ тогдашнемъ литературномъ за-тишѣ. Въ предувѣдомленіи къ журналу Карамзинъ говорилъ: «Вотъ начало. Издатель употребитъ всѣ свои силы, чтобъ продолженіе было лучше и лучше. Журналъ выдавать не шутка—я это знаю, — однакожь чего не дѣлаетъ охота и прилежность? Множество иностранныхъ журналовъ лежитъ у меня передъ глазами; ни одного изъ нихъ не возьму я за точный образецъ, но всѣми буду пользоваться». И въ самомъ дѣлѣ издатель искусно выби-

¹⁾ Объ этомъ влияніи см. въ 1-ой части, въ статьѣ: «Наши классики въ характеристикахъ г. Галахова».

расть статьи для своей публики: тутъ были «Письма русскаго путешественника», знакомившія, хотя поверхностно, съ умственнымъ жизнью Европы, съ личностями ея знаменитыхъ мыслителей, свѣдѣнія объ иностранныхъ и русскихъ книгахъ, переводныя и оригинальныя повѣсти, и статьи о театрахъ. Строгаго, опредѣленнаго направленія здѣсь не было, да его и не могло быть въ то время; публикѣ нужны были хоть какія нибудь, не то чтобы систематическія познанія, хоть какое нибудь чтеніе, которое бы приучало ее размышлять объ окружающемъ, видѣть въ книгѣ пріятнаго собесѣдника, а не кошмаръ, созданный для устрашенія школьниковъ. Успѣху журнала немало способствовалъ и легкій литературный языкъ, которымъ писалъ Карамзинъ; доступность его изложенія значительно раздвинула кругъ дѣйствія періодической печати. Утомившись изданіемъ журнала, который приходилось вести почти одному (послѣдняя книжка «Московского Журнала» сильно запоздала, а въ 1791 г., вслѣдствіе двукратной отлучки издателя изъ Москвы, даже нѣсколько номеровъ журнала вышли не въ свое время), Карамзинъ предпочелъ дѣйствовать на публику посредствомъ литературныхъ сборниковъ: *Аглая* (1794 г., двѣ книжки) и *Аониды* (1796 — 1799 г., три книжки). По своему составу, «Аглая» есть какъ бы продолженіе «Московского Журнала»; «Аониды» же представляютъ сборникъ стихотвореній самого Карамзина и другихъ современныхъ поэтовъ. Мы не будемъ распространяться о значеніи сентиментальности, впервые внесенной къ намъ карамзинскою беллетристикой; скажемъ только, что, по сравненію съ ходульными произведеніями прежнихъ поэтовъ, воспѣвавшихъ битвы, барскія милости, иллюминаціи и фейерверки, переходъ къ простымъ сюжетамъ, заимствованнымъ изъ близкой и всѣмъ знакомой жизни, былъ самъ по себѣ признакомъ развитія литературы. «Поэзія, — говорилъ Карамзинъ въ предисловіи ко 2-й книжкѣ «Аонидъ» (1797 г.), — состоитъ не въ надумомъ описаніи ужасныхъ сценъ натуры, но въ живости мыслей и чувствъ. Если стихотворецъ пишетъ не о томъ, что подлинно занимаетъ его душу, если онъ не рабъ, а тиранъ своего воображенія, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, несвойственными ему идеями... то въ произведеніяхъ его не будетъ никогда живости, истины. Не надобно думать, что одни великіе предметы могутъ воспламенять стихотворца и служить доказательствомъ дарованій его: напротивъ, истинный поэтъ находитъ въ самыхъ обыкновенныхъ вещахъ поэтическую сторону». Намъ больше интересуется взглядъ Карамзина на общественный и политическій строй Европы, его отношеніе къ различнымъ философскимъ системамъ, господствующій характеръ его изданій.

Въ «Московскомъ Журналѣ» еще очень замѣтно соединились отголоски прежняго масонскаго вліянія и новыя впечатлѣнія, на- вѣяныя на Карамзина путешествіемъ по Европѣ. Филантропиче- ское благодушіе сказывается во многихъ мѣстахъ знаменитыхъ «Писемъ»; но оно далеко отъ того, чтобы рѣзо осуждать несов- мѣстный съ гуманизмомъ порядокъ вещей. «Я вездѣ видѣлъ— пишетъ Карамзинъ изъ Мейссена—благоденствіе, счастье и миръ. Птички, которыя порхали и плавали по чистому воздуху надъ головою моею, казались мнѣ блаженными тварями... въ каждомъ поселянинѣ, идущемъ по лугу, видѣлъ я благополучнаго смерт- наго, имѣющаго съ избыткомъ все то, что потребно человѣку. Онъ здоровъ трудами, думалъ я, веселъ и счастливъ въ часъ от-дохновенія, будучи окруженъ мирнымъ своимъ семействомъ, сидя подлѣ вѣрной своей жены и смотря на играющихъ дѣтей своихъ». Но, радуясь этому благоденствію, Карамзинъ не забывалъ сѣто- вать, что «въ Лифляндіи или въ Эстляндіи мужикъ приноситъ господину вчетверо болѣе нашего казанскаго или симбирскаго». Лопухинъ, какъ извѣстно, тоже отстаивалъ въ принципѣ вѣ- рное право, нужное, по его мнѣнію, «для обузданія народа», хотя и желалъ видѣть крестьянъ благоденствующими. Мечты о золотомъ вѣкѣ, оставшемся назади,—соединеніе Руссо съ Юнгомъ Штиллингомъ,—также замѣтны въ «Письмахъ». «Ахъ, милые друзья мои!—восклидалъ нашъ путешественникъ, выпивая воду, поданную ему пастухомъ,—для чего не родились мы въ тѣ вре- мена, когда всѣ люди были пастухами и братьями? Я съ радостью отказался бы отъ многихъ удобностей жизни, которыми обязаны мы просвѣщенію дней нашихъ, чтобъ возвратиться въ первобыт- ное состояніе человѣка». Сюда же относятся идиллическія поже- ланія автора: «построить себѣ хижину на голубой Юрѣ» и уда- литься отъ суетнаго человѣческаго общества. На вопросъ Ви- ланда, къ которому нашъ туристъ ворвался почти насильно и былъ встрѣченъ сначала весьма сухо,—на вопросъ этого поэта: «скажите,—потому что я начинаю вами интересоваться,—что у васъ въ виду?» Карамзинъ отвѣчалъ: «тихая жизнь!» Но, рядомъ съ остатками піэтистическаго взгляда на вещи, мы замѣчаемъ въ Ка- рамзинѣ и новыя стремленія, уже не укладывавшіяся въ рамки масонскихъ требованій. Любовь къ европейскому просвѣщенію, вѣра въ мысль и почти страстное ея обожаніе въ лицѣ тогдаш- нихъ представителей науки и поэтическаго творчества—это черта новая, которую Карамзинъ не могъ заимствовать изъ общества масоновъ, невѣжественно отвергавшихъ всѣ новѣйшія открытія въ химіи и астрономіи. Съ точки зрѣнія масона было бы предо-

судительно хвалить переводъ естественной исторіи Бюффона и рекомендовать вообще строгое изученіе законовъ природы, какъ это дѣлалъ Карамзинъ въ своемъ журналѣ. Правда, что въ то же время онъ печаталъ статьи изъ «Психологическаго магазина» Морица, въ родѣ «Чуднаго Сна» и т. п., но эта непоследовательность показываетъ только, что человѣку не легко отказаться отъ прежнихъ убѣжденій, привитыхъ въ молодости. Скоро послѣ того Карамзинъ отрекся и отъ своей утопіи о золотомъ вѣкѣ, который обходился, будто бы, безъ науки и развитой общественной жизни. Противъ религіознаго фанатизма Карамзинъ высказываетъ мысль, что главная заслуга Вольтера въ томъ и состоитъ, что «онъ распространилъ взаимную терпимость въ вѣрахъ, которая сдѣлалась характеромъ нашихъ временъ, и наиболѣе посрамила гнусное лжевѣріе, которому еще въ началѣ XVIII-го вѣка приносились кровавыя жертвы въ Европѣ». Но въ политическихъ вопросахъ Карамзинъ мало отошелъ отъ мнѣній масонскаго кружка, хотя и тутъ прорывались у него новыя взгляды или, лучше сказать, новыя симпатіи, весьма отличныя отъ прежнихъ.

Когда въ «Московскомъ Журналѣ» приходилось высказывать прямыя политическія мнѣнія, то издатель, не задумываясь, предпочиталъ всему абсолютную форму правленія, какъ это видно изъ разбора повѣсти Хераскова: «Кадмъ и Гармонія» (№ 1). Въ этой повѣсти замѣчательна въ политическомъ отношеніи рѣчь Кадма къ ессалійскому народу о лучшемъ образѣ правленія. Кадмъ одинаково осуждаетъ и аристократію, и демократію въ управленіи государствомъ: «Вы предпріимаете,—говоритъ онъ,—составить единый ликъ царя изъ разныхъ членовъ нашего общества; уничтожая царя,—царскую силу и мощь изъ разныхъ частицъ слѣпить покушаетесь: трудное и едва ли возможное предпріятіе. Сліяніе разныхъ веществъ въ единую груду рѣдко твердымъ и прочнымъ тѣломъ бываетъ... Вы многихъ мучителей, а не единодушныхъ отцовъ и защитниковъ народныхъ устроите... Ежели немногое число избранныхъ вельможей вашихъ, о, ессалійцы, отечеству вредно, то какимъ злосчастьемъ угрожается ваше царство, всѣмъ народамъ управляемое... Кто ваше благоденствіе устроить будетъ? Вы сами! Какому суду поработитесь чаете? Собственному своему! Кто вами будетъ начальствовать и кто начальникамъ вашимъ покоряться? Вы сами и начальниками, и виновующимися быть должныствуете! Станный образъ правленія. Но я изъясню мои мысли простыми ради васъ изреченіями. Вообразите, ежели бы земля наша, отвергнувъ солнечное сіяніе, сама себя освѣщать восхотѣла: въ какой бы мракъ она погру-

лась? Еслибы члены наши, отрекшись отъ назначеннаго природой имъ долга, всѣ купно господствовать восхотѣли: долго ли бы тѣло наше въ цѣлости пребыть могло? Скоро бы оно разрушилось, а съ нимъ и члены его купно бы погибли. Каждое царство есть цѣлое тѣло, главу для управленія и прочіе члены для служенія имѣть долженствующее... Сія-то глава есть царь, самодержавствующій подданными. О, ессалійцы! почто не избираете царя самодержавнаго?» Къ этой тирадѣ рецензентомъ сдѣлано примѣчаніе: «кто не почувствуетъ убѣдительности сихъ разсужденій?» Но въ другихъ случаяхъ Карамзинъ увлекался юношескою впечатлительностью и нѣсколько бравировалъ установившіяся у насъ понятія о политической жизни. Къ Швейцаріи онъ чувствовалъ особенное пристрастіе. «Счастливые швейцары!—восклицалъ онъ торжественно—всякій ли день, всякій ли часъ благодарите вы небо за свое счастье? При всякомъ ли бѣненіи пульса благословляете вы свою долю, живя въ объятіяхъ прелестной природы, подъ благодѣтельными законами братскаго союза, въ простотѣ нравовъ, и предъ однимъ Богомъ наклоня гордую выю свою? Вся жизнь ваша есть пріятное сновидѣніе, и самая роковая стрѣла (т. е. стрѣла смерти) должна вротко влетать въ грудь вашу, не возмущаемую тиранскими стремленіями» ¹⁾. Къ числу либеральныхъ бутадъ принадлежит и слѣдующая эпитафія «Истинѣ», напечатанная въ № 5 «Московск. Журнала» за 1791 г.: «здѣсь лежитъ истина, дочь царя царей, суевѣріемъ, соблазномъ и чувственностью, злоупотребленіемъ власти, лѣнностью жрецовъ и хитростью политиковъ, легкомысліемъ историковъ, педантствомъ ученыхъ и глупостью народа умерщвленная и здѣсь, въ нечистотѣхъ лжей, погребенная». Мы называемъ это бутадами, потому что платоническая любовь къ свободѣ, выраженная здѣсь, скоро улетучилась въ авторѣ, да и въ самое это время не простиралась далѣе словъ. Нельзя забыть, что на глазахъ Карамзина разыгрывалась во Франціи революціонная драма; онъ видѣлъ даже участниковъ этой драмы, но нисколько не понималъ ея основныхъ мотивовъ. Въ одномъ и томъ же письмѣ (изъ Франкфурта, 29 іюля) онъ вихвалялъ республиканскій героизмъ Фіэски, главнаго дѣйствующаго лица въ трагедіи Шиллера, и отзывался съ пренебреженіемъ о «парижскихъ сценахъ». Сущность переворота: недовольство народа, порывъ къ свободѣ цивилизованныхъ клас-

¹⁾ Впослѣдствіи, при отдѣльномъ изданіи своихъ сочиненій, Карамзинъ замѣнилъ эту фразу другою, болѣе мягкой: «роковая стрѣла должна вротко влетать въ грудь вашу, не возмущаемую свирѣпыми страстями».

совѣ были непонятны для любознательнаго путешественника, который о бархатной шапочкѣ Лафатера говорилъ съ большою охотой и подробностью, чѣмъ о событіи міровой важности, совершившемся, такъ сказать, у него на глазахъ. «Вездѣ въ Эльзасѣ,—пишетъ Карамзинъ,—примѣтно волненіе. Цѣлыя деревни вооружаются, и поселяне пришиваютъ кокарды къ шляпамъ. Почтмейстеры, почталыоны, бабы говорятъ о революціи. А въ Страсбургѣ начинается новый бунтъ. Весь здѣшній гарнизонъ взволновался. Солдаты не слушаются офицеровъ, пьютъ въ трактирахъ даромъ, бѣгаютъ съ шумомъ по улицамъ, ругаютъ своихъ начальниковъ и пр. Въ глазахъ моихъ толпа пьяныхъ солдатъ остановила ѣхавшаго въ каретѣ прелата и принудила его пить пиво изъ одной кружки съ его кучеромъ за здоровье націи. Прелатъ поблѣднѣлъ отъ страха и трепещущимъ голосомъ повторялъ: *mes amis, mes amis!*—*Oui, nous sommes vos amis*, кричали солдаты: пей же съ нами! Крикъ на улицахъ продолжается почти непрерывно. Но жители затыкаютъ уши и спокойно отправляютъ свои дѣла». Однажды случилось ему наткнуться на одного эмигранта, кавалера св. Людовика, выгнаннаго изъ помѣстья «бунтующими поселянами»;—не заботясь составить себѣ понятіе о цѣломъ ходѣ событій и о томъ, что такое были тогда французскіе «поселяне», онъ находитъ здѣсь только случай для сантиментальныхъ изліяній о «кавалерѣ»... Но, проѣзжая изъ Берна въ Лозанну, недалеко отъ городка Муртена, Карамзинъ увидѣлъ памятникъ побѣды швейцарцевъ надъ Карломъ Смѣлымъ. Сочувствуя угнетеннымъ, онъ рассказываетъ историческое событіе, какъ «кровожаждущій тиранъ вознамѣрился покорить жителей Гельвеціи и гордость независимыхъ смирить желѣзнымъ скипетромъ тиранства», и выражаетъ сожалѣніе лишь о томъ, что трофей побѣды такъ дорого обошелся человѣчеству ¹⁾. «Сокройте, сокройте,—говорилъ нашъ туристъ,—сей памятникъ варварства! Гордясь именемъ швейцара, не забывайте благороднѣйшаго своего имени — имени человѣка».

Человѣческое достоинство, независимо отъ случайностей происхожденія, общественнаго положенія, даже національности, само по себѣ имѣло цѣну для Карамзина; создавъ себѣ космополитическій идеалъ человѣка, просвѣщеннаго единою, общею всѣмъ наукою, онъ оправдывалъ европеизмъ петровской реформы написавъ даже слѣдующую замѣчательную филиппику проти

¹⁾ Этотъ памятникъ состоялъ изъ костей убитыхъ воиновъ, обнесшихъ желѣзною рѣшеткою.

невѣжества древней Руси: «Мы не таковы, какъ брадатые предки наши—тѣмъ лучше. Грубость наружная и внутренняя, праздность, скука были ихъ долею и въ самомъ высшемъ состояніи: для насъ открыты всѣ пути къ утонченію разума и благороднымъ душевнымъ удовольствіямъ. Все народное ничто предъ человѣческимъ. Главное дѣло быть людьми, а не славянами. Чтѣ хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ, и чтѣ англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣка, то мое, ибо я человѣкъ». Извѣстно, какъ далеко Кааамзинъ отступилъ отъ этого взгляда въ послѣдствіи, въ своей статьѣ: «О древней и новой Россіи», и какъ строго осудилъ онъ Петра за крутость реформы, будто бы лишившей Россію самобытности національнаго развитія.

Отдѣлъ критики, хотя онъ и былъ въ «Московскомъ Журналь», и въ немъ попадались статьи, рѣзко выдѣлявшіяся своимъ здравымъ взглядомъ на искусство (какъ, напр., статья о драмѣ Лессинга: «Эмилія Галотти»), въ сущности не имѣлъ однако того значенія, какое онъ приобрѣлъ позднѣе, при болѣе послѣдовательныхъ и выдержанныхъ направленіяхъ журналистики. Самое существованіе такого отдѣла было до нѣкоторой степени контрбандою, ибо, по взгляду того времени, критическія статьи «п о п р а в и л а м ъ ч е с т и (!) должны быть сообщаемы писателямъ прежде изданія въ свѣтъ ихъ сочиненій, а не тогда уже, когда правительство терпитъ ихъ печатаніе» (см. проэктъ Богдановича о «заведеніи общества россійскихъ писателей»). Занимательное столкновеніе произошло по поводу разбора книги Ѳ. Туманскаго: «Палефатовы сказанія». Этотъ Туманскій, самъ писатель и журналистъ (въ 1792 г. онъ издавалъ «Россійскій магазинъ», а прежде того «Зеркало свѣта» и «Лѣкарство отъ скуки и заботъ»), перевелъ Палефатовы коментаріи къ мифамъ классической древности и присовокупилъ къ нимъ свои собственныя примѣчанія въ такомъ родѣ: «волокиста Юпитеръ, онъ же и божокъ, прошелъ сквозь потолокъ золотымъ дождемъ — ай деньги! не божеской ли вы крови?» и т. п. Безтолковыя прибавки, тяжелый слогъ, испещренный славянскими словами, были ему указаны рецензентомъ, скрывшимся подъ буквами В. П. (кажется, Подшиваловъ). Туманскій обидѣлся этою рецензіей и въ своей антикритикѣ говоритъ: «Судей есть два рода: отъ властей опредѣляемые или избираемые (авторъ былъ избранъ депутатомъ отъ петербургскаго дворянства при составленіи родословной книги). Не принадлежащіе къ симъ двумъ суть самозванцы. Не судите, да не судимы будете. Въ разсужденіи выдаваемыхъ сочиненій и

переводовъ, въ разныхъ государствахъ нѣкоторые ученые общества согласились объявлять публикѣ свои мнѣнія. Собраніе ученыхъ, конечно, здравѣе судить можетъ, нежели одинъ человѣкъ, обуреваемый страстію гордости, самолюбія, зависти и пр. Но и самыя сіи общества весьма часто ошибаются въ ихъ сужденіяхъ, какъ то опытъ разныхъ вѣковъ доказалъ. Частныхъ людей сужденія, въ газетахъ, журналахъ и пр. сообщаемыя, никогда отъ людей умныхъ уважаемы не были; извѣстно, что они за подарки истощеваютъ хвалы; по страстію, самолюбію, личной ссорѣ или зависти выискиваютъ всѣ способы унизить труды чуждые... Умные, не для самолюбія, но для пользы наукъ трудящіеся (люди) чтутъ сотрудниковъ товарищами и стараются ихъ погрѣшности исправлять или сообщеніемъ своихъ примѣчаній въ письмахъ, или въ сочиненіяхъ печатныхъ, о которыхъ они увѣрены, что будутъ въ рукахъ того, чьего они желаютъ исправленія, или съ кѣмъ въ недоумѣніяхъ объясниться хотятъ, и все сіе дѣлаютъ съ наблюденіемъ учтивости». Съ мнѣніемъ Туманскаго, — которое сильно напоминаетъ мнѣніе Ломоносова «о должности журналистовъ», — Карамзинъ, конечно, не согласился, и въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ этой антикритикѣ доказываетъ, что не всѣ же рецензенты «за подарки истощеваютъ хвалы», что Лессингъ и Мендельсонъ, бесспорно замѣчательные люди, честно судили о книгахъ, что критика много содѣйствовала развитію нѣмецкой литературы, что, наконецъ, никакой неучливости нѣтъ въ рецензій «Московского Журнала». Но всѣ эти доводы врядъ ли убѣдили раздраженного переводчика, осуждавшего съ такимъ апломбомъ самую возможность литературной критики.

VI.

Карамзинъ, какъ издатель «Вѣстника Европы». — Политическіе взгляды этого журнала: осужденіе французской революціи, похвалы Бонапарту и т. п. — Отношеніе Карамзина къ Швейцаріи, Англіи и Америкѣ. — Оцѣнка внутреннихъ событій. — Взглядъ на обязанности критики. — Значеніе «Вѣстника Европы» въ исторіи русской журналистики.

Издавъ послѣднюю книжку «Аонидъ», Карамзинъ оставался нѣкоторое время въ бездѣйствіи, пока измѣнившіеся обстоятельства не расширили опять въ Россіи круга литературной дѣятельности. Мудрено было бы ему, въ самомъ дѣлѣ, издавать журналъ или даже литературный сборникъ въ то время, когда дѣй-

ствовалъ указъ 18 апрѣля 1800 г. о невывозѣ изъ-за границы не только книгъ, но даже и нотъ. Но въ 1802 г. Карамзинъ увлекся потокомъ новыхъ событій, давшихъ сильный толчокъ русской мысли, и снова вступилъ на журнальное поприще съ «Вѣстникомъ Европы» (выход. въ Москвѣ 2 раза въ мѣсяцъ). Въ этомъ журналѣ появился впервые правильный «политическій отдѣлъ», въ которомъ издатель рассказывалъ связно и подѣ извѣстными угломъ зрѣнія вѣдѣнія политическія событія, а также иногда касался, въ подробныхъ статьяхъ, происходившихъ внутри государства перемѣнъ. Кромѣ политическаго отдѣла, въ журналѣ помѣщались беллетристическія произведенія съ прежнимъ сентиментальнымъ оттѣнкомъ, къ которому примѣшивается частица назидательности (какъ, напр., въ повѣсти: «Вольнодумство и набожность»), разные анекдоты, почерпнутые изъ иностранныхъ журналовъ, преимущественно политическаго содержанія, біографическія статьи о Вольтерѣ, Дидро и пр. Чтобы уяснить себѣ политическіе взгляды «Вѣстника Европы», припомнимъ нѣсколько строй европейскихъ событій того времени. Франція, подчинившись игу военного деспотизма, начала понемногу и въ другой формѣ воскрешать то, что было убито въ ней широко развившейся революціонною пропагандой: возстановленіе католической религіи, пожизненное консульство Бонапарта и новая конституція, о которой Неккеръ въ своей брошюрѣ сказалъ, что она скоро замѣнится другою, новѣйшею; стѣсненіе свободной печати, начинавшаяся полицейская карьера Фушэ — вотъ новые факты, внесенные въ европейскій политическій міръ возникавшимъ господствомъ Наполеона. Политическія событія въ Франціи, о которыхъ приходилось говорить Карамзину, были очень разнообразны: устройство цизальпинской республики, междоусобія швейцарскихъ кантоновъ, возстаніе Туссенъ-Лувертюра въ Сентъ-Доминго (по этому случаю рассказана біографія знаменитаго негра), паденіе Венеціанской республики и пр. пр. На всѣ эти событія Карамзинъ проводитъ взглядъ, который можно резюмировать слѣдующимъ образомъ: издатель «Вѣстника Европы» цѣнилъ выше всего сохраненіе *statu quo*, покорную преданность закону и власти; онъ допускаетъ общественный прогрессъ, развитіе мысли только въ этихъ опредѣленныхъ рамкахъ, не одобряя никакихъ радикальныхъ перемѣнъ. «Революція—говоритъ Карамзинъ въ статьѣ «Пріятные виды, надежды и желанія нынѣшняго времени»—объяснила идеи: мы увидѣли, что гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мѣстныхъ или случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не тиранство, а

защита отъ тиранства; что, разбивая сію благодѣтельную эгиду, народъ дѣлается жертвою ужасныхъ бѣдствій, которыя несравненно злѣе всѣхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти... Съ половины XVIII вѣка всѣ необыкновенные умы страстно желали великихъ переменъ и новостей въ учрежденіи обществъ; всѣ они были въ нѣкоторомъ смыслѣ врагами настоящаго, теряясь въ лестныхъ мечтахъ воображенія. Вездѣ обнаруживалось какое-то внутреннее неудовольствіе; люди скучали и жаловались отъ скуки; видѣли одно зло и не чувствовали цѣны блага. Проницательные наблюдатели ожидали бури; Руссо и другіе предсказали ее съ разительною точностью; громъ грянулъ изъ Франціи... мы видѣли издали ужасы пожара, и всякій изъ насъ возвратился домой благодарить небо за цѣлость крова нашего и быть разсудительнымъ. Теперь всѣ лучшіе умы стоятъ подъ знаменами властителей и готовы только способствовать успѣхамъ настоящаго порядка вещей, не думая о новостяхъ. Никогда согласіе ихъ не бывало столь явнымъ, искреннимъ и надежнымъ. Съ другой стороны, правительства чувствуютъ важность сего союза и общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія. Почти на всѣхъ тронахъ Европы видимъ юныхъ государей, дѣятельныхъ и ревностныхъ къ общему благу. Революція была злословіемъ свободы; правительства, не хвалясь именемъ, дозволяютъ гражданамъ пользоваться всѣми ея выгодами, согласными съ основаніемъ и порядкомъ общества. Революція обѣщала равенство состояній; государи, вмѣсто сей химеры, стараются, чтобы гражданинъ во всякомъ состояніи былъ доволенъ, чтобы ни которое не было презрительнымъ или угнетеннымъ. Будемъ справедливы: гдѣ теперь добрый человѣкъ не можетъ наслаждаться безопасностью? Свирѣпствуетъ ли гдѣ нибудь тиранство въ Европѣ, если исключимъ Турцію? Не вездѣ ли обѣщаютъ наукамъ покровительство? Не вездѣ ли начальства желаютъ способствовать успѣхамъ воспитанія и просвѣщенія, которое есть не только источникъ многихъ удовольствій въ жизни, но и самой благородной нравственности, которое образуетъ мудрыхъ министровъ, достойныхъ орудій правосудія, сыновъ отечества въ семействахъ, рождая чувства патріотизма, чести, народной гордости, и безъ котораго люди служатъ только одному идолу подлой корысти. Государи, вмѣсто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, склоняютъ его на свою сторону». Въ другой статьѣ читаемъ: «Уже прошли тѣ блаженные и вѣчной памяти достойныя времена, когда чтеніе книгъ было исключительнымъ правомъ нѣкоторыхъ людей; ужъ дѣятельный разумъ во всѣхъ состояніяхъ, во всѣхъ земляхъ чу

ствуешь нужду въ познаніяхъ и требуетъ новыхъ, лучшихъ идей; уже всѣ монархи въ Европѣ считаютъ за долгъ и славу быть покровителями ученія. Министры стараются слогомъ своимъ угождать вкусу просвѣщенныхъ людей. Придворный хочетъ слыть любителемъ литературы; судья читаетъ и стыдится прежняго непонятнаго языка Оемиды; молодой свѣтскій человѣкъ желаетъ имѣть знанія, чтобы говорить съ пріятностью въ обществѣ и даже при случаѣ философствовать» («Письмо къ издателю», № 1). Тутъ Карамзинъ, съ одной стороны, осуждаетъ революцію, а съ другой—признаетъ косвенную пользу отъ нея въ созданіи того «общаго мнѣнія», которому подчиняются даже государи, въ выработкѣ тѣхъ «новыхъ, лучшихъ идей», которыя пущены ею въ общественный оборотъ. Но эта косвенная польза признается имъ неохотно и болѣе вытекаетъ изъ его словъ по соображенію упомянутыхъ обстоятельствъ, нежели выставляется имъ на видъ; въ примѣхъ же выраженіяхъ Карамзинъ только осуждаетъ, и притомъ очень строго, всѣ рѣзкія общественныя движенія и слишкомъ уже преувеличиваетъ достоинства «порядка», каковъ бы онъ ни былъ. «Бонапарте—говоритъ онъ, напр.,—заслуживаетъ признательность французовъ и почтеніе всѣхъ людей, умѣющихъ цѣнить чрезвычайныя дѣйствія геройства и разума. Его внѣшняя политика и внутреннее управленіе достойны удивленія не менѣе маренгской побѣды. Франція, осыпанная дарами щедрой природы, земля столь многолюдная и богатая промышленностью своихъ жителей, конечно, скоро загладитъ бѣдственные слѣды революціи, наслаждаясь тишиною подъ эгидою дѣятельнаго и благоразумнаго правленія, которое печется о мудрой системѣ гражданскихъ законовъ, о воспитаніи, объ успѣхѣ наукъ, художествъ, торговли, слѣдовательно о важнѣйшихъ частяхъ государственнаго благополучія. Французы хотѣли прежде мечтательнаго равенства, которое дѣлало ихъ всѣхъ равно несчастливými; теперь, разрушивъ мечты, возстановивъ религію, столь нужную для сердца въ мірѣ превратностей, не менѣе нужную и для благоденствія государствъ, отличивъ достойнѣйшихъ гражданъ важнымъ правомъ избранія въ республиканскія должности (*par les listes de notabilité*) и чрезъ то уничтоживъ вредную для Франціи демократію, монархъ-консулъ оправдываетъ дѣло судьбы, которая возвела его изъ праха на такую степень величія».

Въ первой же книжкѣ «Вѣстника Европы» напечатаны были, съ цѣлью порицанія народныхъ движеній и восхваленія порядка, — двѣ переводныя статьи: «Письмо Альцибіада къ Периклу» и «Исторія французской революціи, избранная изъ латинскихъ писате-

лей». Въ первой статьѣ Алкивіадъ, въ письмѣ къ своему родственнику Периклу, описываетъ свой сонъ: «Дорога раздѣлилась... Тамъ нѣсколько человѣкъ съ великимъ трудомъ всходили на крутую гору; тутъ безчисленное множество людей бѣжало по гладкому и широкому пути. «Куда?» спросилъ я у заднихъ. «Не знаемъ», отвѣчали они: «мы бѣжимъ за передними; другіе побѣгутъ за нами». Какое-то тайное движеніе сердца заставило меня идти вслѣдъ за ними. Вдругъ раздался голосъ: «здѣсь путь истины и свѣта!» Я бросился въ ту сторону; но неизвѣстный человѣкъ схватилъ меня за руку, сказать повелительнымъ голосомъ: «поди за мною!» и мы очутились въ дремучемъ лѣсу. Дорога исчезла. На каждомъ шагѣ встрѣчались намъ бѣдные странники, подобно намъ не знающіе пути. У нихъ также были вожатые, которые, не зная куда вести, съ гора дрались между собою. Изъ ихъ факеловъ сыпались искры; но онѣ болѣе освѣщали, нежели освѣщали насъ. Я слѣдовалъ то за однимъ, то за другимъ, и всякимъ былъ обманутъ. Одинъ говорилъ: «нашъ путь ведетъ къ безсмертію!» и мы, черезъ минуту, оба падали въ яму. Другой кричалъ: «со мной пройдеши всюду», и мы ударались лбомъ въ мѣдную стѣну. Одинъ безпрестанно славилъ мнѣ пріятности златаго вѣка и совершеннаго равенства между людьми въ то самое время, когда я умиралъ отъ усталости, жажды и голода. Другой восклицалъ: «какъ блаженна независимость!» и требовалъ отъ меня слѣпаго повиновенія. Я лишился терпѣнія, отчаяніе овладѣло мною... Но Сократъ явился, и душа моя воскресла. «Ты видѣлъ часть нашихъ софистовъ», сказалъ онъ мнѣ съ улыбкою: «они не любятъ меня, ибо я люблю правду». Затѣмъ слѣдуетъ объясненіе различій между софистами и философами: «Имѣя умъ ограниченный, софисты говорятъ, что безконечное есть одна мечта. Не разумѣя таинствъ природы, дерзостно отвергаютъ бытіе творца ея. Родясь въ недостаткѣ и бѣдности, проповѣдуютъ общественность имѣній... Философъ любитъ человѣчество и добродѣтель. Софистъ только хвалитъ добродѣтель и человѣчество. Философъ полагаетъ счастье въ томъ, чтобы служить отечеству, друзьямъ и родственникамъ; софистъ жертвуетъ родственниками, друзьями и отечествомъ для утвержденія имѣній своихъ. Философъ думаетъ, что религіи благотѣльны и что въ Индіи должно обожать Брамѹ, въ Эгбатанѣ — Оромацеса, въ Финикіи — Адоная, въ Греціи — Зевса; софистъ говоритъ, что религіи вредны, и, забывая, въ чемъ онѣ состоятъ, доказываетъ только вредъ грубаго суевѣрія. Философъ думаетъ, что быть хорошимъ гражданиномъ есть быть хорошимъ отцомъ, супругомъ, сыномъ. Софистъ утверждаетъ, что

патріотизмъ долженъ истребить всѣприродныя склонности. Часто кричатъ софисты: «погибни міръ, но торжествуй система!» Философъ говоритъ: «еслибы всѣ истины были у меня въ рукѣ, то я побоялся бы разжать ее». Надобно угождать народу, безпрестанно твердятъ софисты; надобно сдѣлать его благополучнымъ—говорятъ философы. Послушай софистовъ: Периклъ—тиранъ своего отечества. Послушай философовъ: Периклъ есть герой-благодѣтель народа своего. Послушай софистовъ: нѣтъ вольности безъ демократіи; послушай философовъ: нѣтъ демократіи безъ смятеній». Сократъ предупреждаетъ своего ученика, что слѣдуетъ «отличать людей отъ словъ ихъ, а софистовъ отъ философовъ, дабы возвратить философіи ту честь и славу, которую ложные мудрецы хотѣли у нея навѣкъ похитить». Въ «Исторіи французской революціи», написанной нѣсколькими французскими учеными, событія французской революціи описывались фразами, заимствованными изъ Тита Ливія, Патеркула и другихъ латинскихъ писателей. Въ этой странной мозаикѣ событія представлены въ самомъ мрачномъ и отталкивающемъ видѣ. Приступъ народа въ Тюльери описывается слѣдующимъ образомъ: «Всѣ ознаменованные безчестіемъ и стыдомъ; всѣ расточители отцовскаго наслѣдія; всѣ, выгнанные за гнусные пороки изъ отечества, стекались въ безпокойную столицу. Они произвели мятежъ и, не имѣя начальника, устремились ко дворцу монарха. Вездѣ слышны были угрозы и стукъ оружія. Мятежники ворвались во дворецъ и умертвили внѣшнюю стражу. Между тѣмъ другіе хотятъ защитить царское жилище и съ новою ревностью сражаются; хотятъ поддержать слабыхъ числомъ, но сильныхъ мужествомъ. Народъ остается свидѣтелемъ битвы и, какъ будто веселясь театральнымъ позорищемъ, ободряетъ то однихъ, то другихъ своими восклицаніями. Видя побѣжденныхъ, онъ съ великимъ крикомъ требовалъ, чтобы бѣгущіе преданы были смерти, и присвоивалъ себѣ добычу, оставляемую воинами, которые съ яростью занимались убійствомъ. Столица представляла ужасное зрѣлище» и т. д.

Въ своихъ взглядахъ на политическое значеніе французскаго переворота Карамзинъ видѣлъ не дальше другихъ рутинныхъ политиковъ своего времени. Подобные же взгляды высказывались въ то время и въ «Политическомъ журналѣ» Сохацкаго и Гаврилова. Тонъ этого изданія значительно измѣнился противъ первыхъ книжекъ 1790 года: прежде революція разсматривалась, какъ «крестовый походъ за свободу», теперь говорилось (1802 г. № 1): «Защитники французскаго переворота, при самомъ началѣ мнимой

республики, обѣщались распространить свои анархическія правила по всѣмъ государствамъ. Ихъ приверженцы наводнили цѣлый свѣтъ, даже до Индіи, новымъ фанатизмомъ и магическими словами: волюность и равенство. Противъ сей пагуби рода человѣческаго вооружились европейскія державы, и не прежде заключенъ первый миръ, какъ по ниспроверженіи чудовища» и т. д. Статьи этого рода заимствовались преимущественно, какъ въ «Вѣстникѣ Европы», такъ и въ «Политическомъ журналѣ»,—изъ Архенгольцевой «Минервы».

Восхваляя Наполеона за рѣшительность, съ которой онъ подавилъ зачатки народной свободы, «Вѣстникъ Европы» не благоволилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, ни къ свободной Америкѣ, ни къ Швейцаріи и Англіи. «Гордые британцы, въ чувствѣ своего величія, употребляютъ во зло превосходство своихъ силъ»; «сей деспотизмъ оскорблялъ всѣ народы въ теченіе послѣдней войны»—такія фразы часто мелькаютъ въ политическихъ приговорахъ объ Англіи. Въ № 15 «Вѣстника Европы» 1802 г., къ статьѣ: «Выборъ парламентскихъ членовъ въ Лондонѣ», сдѣлано примѣчаніе, что она «даетъ идею о порядкѣ избранія и забавныхъ сдѣлахъ, которыя бывають при семъ случаѣ». Забавность состояла въ томъ, что у лорда Гарднера и Фокса оказался соперникомъ на выборахъ въ Вестминстерѣ—обойщикъ Граамъ. Этотъ Граамъ произнесъ очень неглупую рѣчь, надъ которой и насмѣялись вдоволь приверженцы Фокса. При описаніи швейцарскихъ смутъ, возникшихъ изъ нежеланія мелкихъ кантоновъ подчиниться конституціи, предписанной Наполеономъ, сказано: «Сія несчастная земля представляетъ теперь всѣ ужасы междоусобной войны, которая есть дѣйствіе личныхъ страстей, злобнаго и безумнаго эгоизма. Такъ исчезаютъ народныя добродѣтели! Онѣ, подобно людямъ, отживають свой вѣкъ въ государствахъ, а безъ высокой народной добродѣтели республика стоять не можетъ. Вотъ почему монархическое правленіе гораздо счастливѣе и надежнѣе; оно не требуетъ отъ гражданъ чрезвычайностей и можетъ возвышаться на той степени ответственности, на которой республики падаютъ». Упадокъ Швейцаріи объясняется двумя причинами: 1) швейцарцы стали за деньги служить другимъ державамъ; 2) духъ торговли истощилъ въ нихъ гордую, исключительную любовь къ независимости. Въ № 1 (1802 г.) «Вѣстникъ» отчасти вступился за свободу Швейцаріи по поводу ареста Рединга, президента швейцарскаго сейма, но при этомъ онъ отстаивалъ право Бонапарта вводить войско гельветическую республику «для сохраненія порядка и обуздания черни». Что касается американцевъ, то «Вѣстникъ Европы» уп

каетъ ихъ за духъ торговли (уже погубившій, по его мнѣнію, швейцарскую свободу), за страсть къ наживательству, за обманчивыя ласки, эгоистически оказываемыя полезнымъ людямъ, и еще за неумѣніе вести жизнь пріятно и весело. «Главное удовольствіе американцевъ—читаемъ здѣсь (1802 г. № 24)—есть сидѣть долго за столомъ по англійскому обычаю, ѣсть и не говорить ни слова до самой той минуты, какъ принесутъ на столъ бутылки. Женщины удаляются, и важные республиканцы, краснѣя отъ вина, дѣлаются краснорѣчивыми». О Вашингтонѣ говорится, что онъ «не умѣлъ (будучи президентомъ) пріятнымъ образомъ занимать людей, былъ сухъ и холоденъ, и походилъ своею важностью на какого нибудь азіатскаго царя». Въ повѣсти «Марѳа Посадница» (1803 г. № 1) Карамзинъ задумалъ опоэтизировать судьбу новгородцевъ, но и тутъ остановился на полдорогѣ, придѣлавъ къ повѣсти,—кромѣ знаменитой рѣчи князя Холмскаго, въ которой говорится, что «народы дикіе любятъ необузданность, народы образованные—порядокъ»,—еще и такое предисловіе: «Мудрый Іоаннъ долженъ былъ для славы и силы отечества присоединить область новгородскую къ своей державѣ: хвала ему! Однакожь сопротивленіе новгородцевъ не есть бунтъ: они сражались за древніе свои уставы и права, данныя имъ отчасти самими великими князьями, напр., Ярославомъ, утвердителемъ ихъ вольности. Они поступили только безразсудно: имъ должно было предвидѣть, что сопротивленіе обратится въ гибель Новгороду, и благоразуміе требовало отъ нихъ охотной жертвы». Такой оговоркой авторъ отнялъ у своей повѣсти всякій оппозиціонный оттѣнокъ и обратилъ ее въ идиллическое мечтаніе о свободѣ,—совершенно пустое и безсодержательное.

Событія изъ внутренней жизни Россіи Карамзинъ разсматривалъ съ точки зрѣнія патріотической, выдвигая на видъ наиболѣе утѣшительныя изъ нихъ и ступшевыя или совсѣмъ опуская изъ виду тѣ, которыя могли бы дать менѣе розовыя понятія о дѣйствительности. «Наши гражданскія учрежденія—читаемъ въ статьѣ: «О любви къ отечеству и народной гордости» (1802 г. № 4)—мудростью своею равняются учрежденіямъ другихъ государствъ, которыя нѣсколько вѣковъ просвѣщаются. Наша людскость, тонъ общества, вкусъ въ жизни удивляютъ иностранцевъ». «Россія сильна въ политическомъ отношеніи, писалъ Карамзинъ въ другой статьѣ (№ 11); ея внутреннее состояніе тоже удовлетворительно. Свѣтъ ума болѣе и болѣе стѣсняетъ темную область невѣжества въ Россіи; благородныя, истинно-человѣческія идеи болѣе и болѣе дѣйствуютъ въ умахъ; разсудокъ утверждаетъ права свои,

и духъ россіянъ возвышается. Не только въ столицахъ, но и въ самыхъ отдаленныхъ губерніяхъ находимъ между благородными (т. е. между дворянами) достойныхъ членовъ государства, знающихъ его потребности, судящихъ справедливо о людяхъ и дѣйствіяхъ. Наше среднее состояніе успѣваетъ не только въ искусствѣ торговли; но многіе изъ купцовъ спорятъ съ дворянами и въ самыхъ общественныхъ свѣдѣніяхъ. Кто изъ насъ не имѣлъ случая удивляться ихъ любопытству, здравому разсудку и патріотическимъ идеямъ». Переходя къ положенію крестьянскаго класса, Карамзинъ, не зачинаясь, говоритъ: «Сельское трудолюбіе награждается нынѣ щедрѣе прежняго въ Россіи, и чужестранные писатели, которые безпрестанно кричатъ, что земледѣльцы у насъ несчастливы, удивились бы, еслибъ они могли видѣть такъ называемыхъ рабовъ, входящихъ въ самыя торговныя предпріятія, имѣющихъ довѣренность купечества и свято исполняющихъ свои коммерческія обязательства! Просвѣщеніе истребляетъ злоупотребленіе государственной власти, которая и по самымъ нашимъ законамъ не есть тиранская и неограниченная. Россійскій дворянинъ даетъ нужную землю крестьянамъ своимъ, бываетъ ихъ защитникомъ въ гражданскихъ отношеніяхъ, помощникомъ въ бѣдствіяхъ случая и натурн: вотъ его обязанности! Зато онъ требуетъ отъ нихъ половины рабочихъ дней въ недѣлѣ: вотъ его права!» Далѣе Карамзинъ, чтобы не заслужить, по его собственнымъ словамъ, упрека въ преувеличиваніи хорошаго, указываетъ и на то, что должно еще сдѣлать мудрое правительство: 1) издать полное, методическое собраніе гражданскихъ законовъ; 2) позаботиться о воспитаніи юношества. То и другое было уже въ виду у правительства, и «Вѣстникъ Европы» съ восторженнымъ чувствомъ встрѣтилъ указъ о заведеніи гимназій и народныхъ училищъ. Восхваляя новыя уставы народнаго образованія, Карамзинъ высказывалъ, между прочимъ, вѣрную мысль, что учрежденіе сельскихъ школъ для низшаго класса народа несравненно полезнѣе всѣхъ лицеевъ и послужить «истиннымъ основаніемъ государственнаго просвѣщенія». При этомъ онъ забывалъ только или не хотѣлъ понять, въ какомъ противорѣчій находится столь желаемое имъ просвѣщеніе народа съ принципомъ крѣпостнаго права. По случаю заведенія благородныхъ пансіоновъ въ Россіи, въ «Вѣстникѣ Европы» (1802 г. № 8) напечатано было письмо изъ Т., въ которомъ говорилось: «Душа правленія нигдѣ такъ быстъ не дѣйствуетъ, нигдѣ благотворныя его намѣренія такъ скоро исполняются, какъ въ монархіяхъ. Едва Александръ I объявилъ желаніе, достойное прекрасной души его, — желаніе способство-

просвѣщенію въ Россіи и спасительнымъ успѣхамъ воспитанія, — уже во всѣхъ главныхъ городахъ нашихъ видимъ заводимыя благородныя училища съ тою ревностью, которая всегда отличала счастливыхъ подданныхъ добродѣтельнаго государя». Здѣсь же разсказывается характерный случай, какъ бѣдная мать-дворянка, одѣтая въ крестьянское платье, явилась къ губернатору, прося принять въ училище двухъ дѣтей ея. Губернаторъ «плакалъ отъ чувствительности», и мальчики были приняты. Затѣмъ «благородныя дѣти (которые до открытія училища жили у губернатора) окружили своихъ новыхъ товарищей и смотрѣли на нихъ дико; но услышавъ, что они, подобно имъ, дворяне, и несчастливы своею бѣдностію, бросились цѣловать ихъ и непременно хотѣли раздѣлить съ ними все, что имѣли». Въ этой же статьѣ изыскиваются мѣры, какъ бы замѣнить иностранныхъ учителей мѣщанскими дѣтьми, воспитанными (по плану Екатерины II) въ кадетскихъ корпусахъ, ибо порядочныхъ иностранцевъ совсѣмъ нѣтъ, за исключеніемъ тѣхъ легитимистовъ, которые «выброшены къ намъ волнами революціи»; всѣ же остальные — предатели и, уѣхавъ изъ Россіи, бранятъ ее. Авторъ хотѣлъ было даже сдѣлать выписку изъ одного сочиненія, въ которомъ русскіе обруганы заѣзжимъ иностранцемъ; но, вспомнивъ, вѣроятно, что чтеніе запрещенныхъ книгъ непозволительно само по себѣ, добавляетъ: «мнѣ совѣстно, что я имѣлъ любопытство читать такую книгу, и не хочу въ нее снова заглядывать».

Манифестъ объ образованіи министерствъ и указъ «о правахъ и должностяхъ сената» были встрѣчены въ «Вѣстникѣ» съ неменьшимъ сочувствіемъ. «Кто не увѣренъ — говорилось при этомъ — въ патріотической ревности сихъ достойныхъ мужей, возвеличенныхъ именемъ министровъ Россіи, державы, которая никогда не была столь близка къ исключительному первенству въ цѣломъ свѣтѣ, какъ нынѣ!.. Славный путь дѣятельности отрывается для всякаго изъ нихъ! Способствовать утвержденію мудрой политической системы въ Европѣ, торжеству святаго правосудія внутри имперіи, благоустройству во всѣхъ частяхъ ея, мирнымъ искусствамъ гражданственности и народному просвѣщенію, котораго одно имя столь любезно душѣ благородной и безъ котораго нѣтъ ни славы, ни величія, ни морали въ государствахъ — какія обязанности! Не одна Франція должна вѣчно хвалиться Сюллиями и Кольбертами, не одна Данія должна прославлять своихъ Бернсдорфовъ — министровъ, которые считали свои кабинеты за преддверіе храма славы и, подписывая бумаги, думали, что они подписываютъ общественный приговоръ въ су-

дѣлишь исторіи: ибо мудрые и ревностные министры раздѣляютъ безсмертіе съ великими государями. Здѣсь любовь и почтеніе согражданъ, а тамъ славное имя. Уже прошло то время въ Россіи, когда одна милость государева, одна мирная совѣсть могли быть наградой добродѣтельнаго министра въ теченіе его жизни: умы созрѣли въ счастливый вѣкъ Екатерины II, и россияне чувствуютъ достоинство знаменитыхъ патріотовъ, цѣну ихъ усердія къ отечеству и монарху, цѣну чистой добродѣтели; теперь лестно и славно заслужить, вмѣстѣ съ милостью государя, и любовь просвѣщенныхъ россиянъ. Читая указъ о правахъ и должностяхъ сената, россиянинъ благоговѣетъ въ душѣ своей предъ симъ верховнымъ мѣстомъ имперіи, которое никакому правительству въ мірѣ не можетъ завидовать въ величій, будучи храмомъ вышняго правосудія и блюстителемъ законовъ, столь священныхъ нынѣ въ Россіи. Сей указъ напоминаетъ намъ славное начало сената, когда первый императоръ Россіи, побѣдивъ Швецію и приготовляясь къ новой, не менѣе опасной войнѣ, основалъ его, какъ спасительный колоссъ власти въ столицѣ государства, и съ торжественными обрядами самъ повелѣ сенаторовъ къ алтарю Всевышняго клясться предъ лицомъ Россіи, что они будутъ вѣрными государю и государству, правдѣ и совѣсти «до послѣдняго издыханія силы, памятуя будущій престолъ и на немъ сидящаго въ день страшнаго испытанія»:—клятва великая и святая, которою сенаторъ навсегда обрекается быть живымъ органомъ государственной добродѣтели и дѣлается въ глазахъ каждаго россиянина истинно-знаменитымъ сыномъ отечества, ибо великія обязанности дѣлаютъ человека знаменитымъ, предполагая въ немъ особенную силу или добродѣтель для ихъ выполненія.

Вѣроятно, не безъ задней мысли, черезъ нѣсколько книжекъ по напечатаніи статьи о министерствахъ, появилась въ «Вѣстникѣ Европы» слѣдующая басенка (И. И. Дмитріева). Одинъ царь размышлялъ о трудности правленія, о препятствіяхъ, отовсюду поставляемыхъ его благимъ дѣламъ:

Нѣтъ хуже нашего, онъ мыслить, ремесла!
Желаю бы дѣлать то, а дѣлаешь другое:

Я всей душой хочу, чтобъ у меня цвѣла
Торговля, чтобъ народъ мой ликовалъ въ покое—
А принужденъ вести войну,

Чтобъ защищать мою страну.

Я подданныхъ люблю (свидѣтели въ томъ боги!)
А долженъ прибавлять еще на нихъ налоги;

Хочу знать правду—всѣ мнѣ агутъ!
Бояре лишь чины берутъ,
Народъ мой стонетъ, я страдаю,
Совѣтуюсь, тружусь—никакъ не успѣваю!
Посвѣта властелинъ, не веселюсь ничѣмъ!

Въ такихъ размышленіяхъ встрѣчаетъ онъ пастуха, который выбивается изъ силъ, чтобы охранить свое стадо отъ волковъ, тогда какъ сытые псы спокойно лежатъ подъ тѣнью.

Вотъ точный образъ мой! сказалъ самовластитель.
Итакъ, и смиреннѣйшихъ животныхъ охранитель
Таковыми жъ, какъ и мы, напастями окруженъ,
И онъ, какъ царь, порабоченъ.

Увидавъ другое стадо, охраняемое вѣрными собаками, царь спрашиваетъ у пастуха: какъ могъ онъ уберечь свое стадо, когда лѣса полны волковъ? и получаетъ въ отвѣтъ: «тутъ хитрости не надо:—я выбралъ добрыхъ псовъ» («Вѣстн. Евр.» 1802 г., № 23).

Сочувствуя уничтоженію «тайной экспедиціи», прославленной подвигами Шешковского, Карамзинъ напечаталъ, — тоже не безъ умысла, — въ № 6 «Вѣстника Европы» 1803 г. статью о тайной канцеляріи, въ которой опровергается мнѣніе Татищева и Шлецера, что такая канцелярія (въ смыслѣ инквизиціонномъ) была впервые устроена при Алексѣѣ Михайловичѣ. Секретная канцелярія дѣйствительно существовала, но это была частная (privée) канцелярія, управлявшая имѣніями царя. При этомъ авторъ доказываетъ, что Алексѣй Михайловичъ и не нуждался въ инквизиціи: «Какъ! царь Алексѣй Михайловичъ, добрый и человеколюбивый, основалъ страшное судилище? и для чего? какія чрезвычайныя опасности и заговоры могли оправдать сіе учрежденіе? Въ царствованіе славное и кроткое подняло голову чудовище? при государѣ, котораго бояре русскіе окружали съ любовью и почтеніемъ, ибо онъ не казнилъ и не душилъ ихъ, подобно Ивану Васильевичу, не боялся ихъ, подобно Годунову?» По мнѣнію автора, тайная канцелярія, какъ пыточный застѣнокъ, устроена была Петромъ I, котораго «жестокія обстоятельства (именно противодѣйствіе заговорщиковъ) заставили прибѣгнуть къ жестокому средству». «Я видѣлъ, продолжаетъ авторъ, глубокія ямы, гдѣ сидѣли несчастные; видѣлъ желѣзныя рѣшотки въ маленькихъ окнахъ, сквозь которыя проходилъ свѣтъ и воздухъ для сихъ государственныхъ преступниковъ. Воспоминаніе, конечно, горестное; но въ ту же самую минуту вы произносите имя Александра, и

сердце ваше отдыхает! Еслибы кто нибудь въ царствованіе Александра могъ быть еще недоволенъ (но мы для одной риторической фигуры предполагаемъ сію возможность),—то я желалъ бы въ лѣтній вечеръ сводить его въ Преображенское».

Критическаго отдѣла совсѣмъ не было въ «Вѣстникѣ Европы»: кажется, что, наученный опытомъ «Московского Журнала», Карамзинъ исключилъ рецензіи, какъ слишкомъ хлопотливое и неблагодарное дѣло. Кромѣ того, онъ могъ имѣть въ виду, что отсутствіе подобныхъ статей не будетъ потерей для большинства читателей, смотрѣвшихъ на критику, какъ на пустое пересмѣиванье и зубоскальство. Въ «Письмѣ къ издателю» (№ 1) и въ статьѣ «О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи» (№ 9) проводится даже мысль, что нечего осуждать и плохую книгу при ограниченномъ количествѣ всѣхъ выходящихъ книгъ, что бездарная книга—ничтожное зло, и что нужно поощрять у насъ литературную дѣятельность, а не запугивать писателей жестокими приговорами. «Кто плѣняется Никаноромъ, злѣе счастливымъ дворяниномъ, — говорится во второй изъ этихъ статей, — тотъ на лѣстницѣ умственнаго и моральнаго образованія стоитъ еще ниже его автора и хорошо дѣлаетъ, что читаетъ сей романъ, ибо, безъ всякаго сомнѣнія, чему нибудь научится или въ мысляхъ, или въ ихъ выраженіи. Какъ скоро между авторомъ и читателемъ великоеразстояніе, то первый не можетъ сильно дѣйствовать на послѣдняго, какъ бы онъ уменъ ни былъ. Надобно всякому что нибудь поближе: одному Ж. Ж. Руссо, другому—Никанора. Какъ вкусъ физическій увѣдомляетъ о согласіи пищи съ нашею потребностью, такъ вкусъ моральный открываетъ человѣку аналогію предмета съ его душою».

Журналы Карамзина, преимущественно «Вѣстникъ Европы», играли важную роль въ исторіи русской журналистики. Объ этой роли нельзя судить съ точки зрѣнія настоящаго: тѣ непослѣдовательности и невѣрные взгляды, которые такъ бросаются намъ теперь въ глаза, не были сознаны и отжиты; многое, что теперь кажется уже отсталостью, полвѣка тому назадъ было значительнымъ прогрессомъ. До Карамзина у насъ, вмѣсто настоящей журналистики, въ принятомъ смыслѣ этого слова, были: officialныя изданія, академическіе сборники, имѣвшіе характеръ скорѣе учениковъ, чѣмъ общественныхъ органовъ; наконецъ, болѣе или нѣе выдающіеся сатирическіе листки, возстававшіе, — и то с чайно и мелко, — на отдѣльные недостатки русской жизни. Карамзинъ же былъ первымъ журналистомъ, подводившимъ къ

русскія, такъ и иностранцы охотнѣе шли къ нему, чѣмъ къ какому-либо другому воззрѣнію, и потому частію чужеземцы, частію русскіе, шли по этому пути, и въ самомъ дѣлѣ на ту пору, безъ официальной поддержки и казны (и въ то же время) въ немъ не было ни одного русскаго историка. Карамзинъ съ почетомъ пользовался на свои журналы и на свои политическіе государству министры народного просвѣщенія, и въ нѣмѣхъ его политическаго таланта (и писат. рублей) была, что публики считали его не только нравственную, но и интеллектуальную поддержку — въ томъ, какъ велика-важный въ исторіи развитія журналистики¹⁾. Нѣтъ сомнѣнія, что взгляды Карамзина были реально доказаны, а его органы гораздо скромнѣе нѣмъ рѣзкихъ обличеній литературы славянофильскаго періода; но не надо забывать, что эти взгляды были вѣданы къ умственному уровню публики. Его нѣтъ было истинно искреннѣе того задорнаго, но нѣтъ воодушевленнаго, образчикъ котораго мы находимъ въ разсказѣ Фонъ-Визина о двухъ убитыхъ офицерахъ гвардіи, ссорившихся въ гостиницѣхъ дворѣ о битвѣ Божіею (см. «Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ моихъ и моихъ дѣланіяхъ»). Можно прямо сказать, что въ журналахъ Карамзина тогдашніе образованные люди находили не только тѣ факты, которые ихъ интересовали, но и тѣ воззрѣнія, которыя были имъ всего больше по вкусу. Все это излагалось притомъ легкимъ, простымъ языкомъ, понятнымъ для каждаго безъ особенныхъ усилій. Эта доступность воззрѣній Карамзина, эта золотая умирность, при всѣхъ своихъ теоретическихъ недостаткахъ, способствовала тому, что всѣ читатели невольно мирились на его журналѣ, и ни одного изъ нихъ не отталкивало онъ отъ себя суровымъ словомъ или крайнимъ, строго выработаннымъ міросозерцаніемъ. «Какъ скоро между авторомъ и читателемъ — справедливо говорится въ статьѣ о книжной торговлѣ — великое разстояніе, то первый не можетъ сильно дѣйствовать на послѣдняго». Между Карамзинымъ и его читателями не было такой разъединяющей пропасти, а потому его изданія пошли хорошо и повлекли за собою цѣлую плеяду журналовъ съ различными направленіями и оттѣнками. Мнѣнія Карамзина, добавимъ это, не были крайнія и рѣзкія, но ихъ далеко нельзя было назвать въ ту пору ретроградными: по своей эластичности они не становились еще въ разрѣзъ съ умственнымъ движеніемъ эпохи, даже, наоборотъ, спо-

¹⁾ Въ первый годъ «Московского Журнала» у него было только 300 подписчиковъ, и врядъ ли даже онъ приносилъ барышъ издателю. У «Вѣстника Европы» подписчиковъ было уже гораздо больше.

собствовали этому движенію, поддерживая любовь къ наукѣ и уваженіе къ человѣческой личности. Хотя и уклончиво, но издатель «Вѣстника» осмѣливался высказывать «свое сужденіе» о вопросахъ, занимавшихъ публику, о важнѣйшихъ правительственныхъ мѣрахъ, и тѣмъ способствовалъ развитію общественнаго мнѣнія. Уваженіе къ наукѣ и къ правамъ личности, всегда выражаемое Карамзинымъ, сильно не нравилось литературнымъ его врагамъ, во главѣ которыхъ стоялъ извѣстный адмиралъ Шишковъ, написавшій книгу: «О старомъ и новомъ слоgѣ русскаго языка». Въ возникшей отсюда полемикѣ, между Шишковымъ и карамзинской школой, филологическій интересъ былъ далеко не главнымъ: къ нему замѣтно примѣшивалась борьба разнородныхъ политическихъ тенденцій, различныхъ нравственныхъ идеаловъ. Шишкову съ соизнниками столько же не нравилось примѣшиваніе французскихъ словъ къ нашему языку, сколько и примѣшиваніе французскихъ понятій: посредствомъ стараго слога имъ хотѣлось вернуть общество и къ старымъ понятіямъ. Объ этомъ противодѣйствіи новымъ идеямъ со стороны закоренѣлыхъ ретроградовъ мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ. Теперь же поговоримъ о вліяніи карамзинскихъ журналовъ на печать.

VII.

Довѣрчивое отношеніе писателей къ видамъ правительства. — Развитие журналистики подъ вліяніемъ «Вѣстника Европы». — «Патріотическій журналъ» В. Измайлова. — Взглядъ его на значеніе воспитанія. — Пledge сантиментальныхъ журналовъ. — Служеніе женщинъ въ «Московскомъ Меркуріѣ». — Эротическія шалости «Журнала для милыхъ». — Жалоба дворянина на «чуждую перемену» въ мысляхъ. — Упадокъ сатиры.

Не одинъ Карамзинъ находилъ, что «теперь всѣ лучшіе умы стоятъ подъ знаменами властителей и готовы только способствовать успѣхамъ настоящаго порядка вещей». Вся наша литература, всѣ журналы наперерывъ, одинъ за другимъ, воздавали хвалу правительству за льготы, оказываемыя имъ печатному слову, и не отставали въ этомъ случаѣ отъ изданій официальныхъ. «Мы не имѣемъ нужды—говорится въ «Новостяхъ русской литературы» за 1804 г.—читать похвалу нашего монарха во всѣхъ иностранныхъ журналахъ, чтобы чувствовать цѣну его благотворительности и своего счастья. Александръ даетъ умамъ свободу, необходимо нужную для просвѣщенія и моральнаго достоинства человѣка. Скоро откроется величіе русскихъ въ радости патріо-

товъ; скоро поле учености не будетъ горестною пустынею, мертвымъ уединеніемъ, но оживится соревнованіемъ блестящихъ талантовъ. Слава и хвала распространителю просвѣщенія!.. Падемъ на колѣна съ сердечнымъ умиленіемъ, возблагодаримъ управляющаго судьбою царей и народовъ» и пр. и пр. Въ томъ же журналѣ (изд. въ Москвѣ съ 1802 г. по іюль 1805 г.) неизвѣстный пѣить восклицаетъ:

Что взоръ мой восхищенный зрить?—
Тамъ зрю изъ праха вознесенный
Градъ и селъ несчетный рядъ,
Расцвѣтшій, вновь обогащенный
Науку священный вертоградъ...
Вездѣ мнѣ зрится совершенство,
Все веселитъ собою духъ;
Всякъ чувствуетъ свое блаженство —
Вельможа, воинъ и пастухъ.
Но передъ кѣмъ все оживаетъ?
Кто общей радости виной?
Чье имя всякъ благословляетъ?
Кто вѣкъ даритъ всѣмъ золотой? —
Се ты, о Александръ нашъ славный!
Се ты, краса земныхъ царей! и пр.

Почти тѣ же похвалы, но съ бѣльшимъ тактомъ и умѣренностью, высказывались въ «Періодическомъ изданіи объ успѣхахъ народнаго просвѣщенія»,—журналѣ, издававшемся при главномъ правленіи училищъ, съ 1803 по 1818 г., подъ редакціей Озерецковскаго и Фуса. «Ты сопрягаешь съ самодержавною властью—читаемъ мы здѣсь, въ латинскомъ гимнѣ императору—скромный образъ добраго гражданина, и съ царскимъ вѣнцомъ сближаешь гражданскія обязанности. Кто жъ паче возлюбитъ благомыслящихъ гражданъ? Кто болѣе можетъ защищать градскія права, промышленность и искусства? Кто? кромѣ самого тебя, монархъ-патріотъ? Кто жъ, неправъ судящій о простомъ народѣ, презритъ земледѣльца, къ которому ты обращаешь кроткій взоръ, котораго ты, монархъ, ободришь своимъ привѣтствіемъ? Обременяемый жестокостью рока, иставившій отъ глада, въ болѣзни, въ нищетѣ — побуждаютъ тебя неуспѣшно бдѣть о содѣланіи ихъ благополучными» (1803 г., № 3). Словомъ, надеждамъ и ликованіямъ не было конца....

Любовь къ наукамъ появилась чрезвычайная. «Благоденствіе государствъ—восклицалъ директоръ Захарыинъ при открытіи пензенской гимназіи—зависитъ отъ просвѣщенія. По мѣрѣ распространенія наукъ возрастаетъ общественное благо; торговля цвѣтетъ, а съ нею и богатства лютуютъ рѣкою; искусства и руко-

дѣлія приходятъ въ совершенство; истина открывается и образуетъ законы; добродѣтель, воцаряясь въ сердцахъ, сѣетъ благо-правіе и подавляетъ пороки. Сколько заблужденій представляетъ намъ исторія тѣхъ мрачныхъ временъ, въ которыя невѣжество владычествовало надъ умомъ и сердцемъ человѣка! Нелѣпыя мнѣнія, производя предразсужденія, были пріемлемы за истину; зло почиталось благомъ, человѣкъ обманывалъ самого себя; словомъ, смертные были сами себѣ врагами» (См. «Періодич. изд.» 1804 г. № 4). Даже гимназисты, въ той же гимназіи, распѣвали такіе, не очень складные, канты:

Кто какъ грубымъ ни родится,
Мракъ исчезнетъ, будетъ свѣтъ:
Въ храмъ наукъ лишь водворится,
Чувства, разумъ расцвѣтеть и пр.

Понятно, что, въ соотвѣтствіе такому довѣрчивому настроенію общества и благимъ намѣреніямъ власти, наиболѣе развитые люди охотно выступали на литературное поприще, надѣясь этимъ путемъ содѣйствовать «преуспѣянію» отечества. Вслѣдъ за появленіемъ «Вѣстника Европы»,—впервые указавшаго на новый, заманчивый путь,—русская журналистика стала быстро развиваться, и въ ней обнаруживаются тѣ же литературныя свойства, какими отличались изданія Карамзина:—и его преувеличенная сентиментальность, и ревнивый патріотизмъ, и попытки, или, по крайней мѣрѣ, поползновенія къ европейскому взгляду на вещи. Въмѣстѣ съ тѣмъ находятъ себѣ приверженцевъ и заступниковъ старый псевдо-классицизмъ, съ которымъ соединилось впоследствии и всякое другое старовѣрство. Къ журналамъ, особенно отличавшимся сентиментальнымъ характеромъ, принадлежатъ: «Московскій Меркурій» (1803 г.), «Журналъ для милыхъ» (1804 г.), «Московскій Зритель» (1806 г.), «Журналъ для сердца и ума» (1810 г.) и др.—«Русскій Вѣстникъ» (1808 г.), «Сынъ Отечества» (1812 г.), «Пантеонъ славныхъ російскихъ мужей» (1816 г.) и др. были извѣстны своими особенно патріотическими наклонностями, о которыхъ свидѣтельствовали самыя заглавія этихъ изданій. Другіе, наиболѣе извѣстные журналы того времени,—между прочимъ, защитники псевдо-классической теоріи,—были: «Сѣверный Вѣстникъ» (1804 г.), «Цвѣтникъ» (1809 г.), «Амфіонъ» (1815 г.) и «Вѣстникъ Европы» подъ редакціею Каченовскаго. Въ сторонѣ отъ этихъ главныхъ изданій стояли: «Патріотъ», В. Измайлова, возникшій изъ педагогическихъ тенденцій «Вѣстника Европы», и «Сатирическій театръ» (1808 г.)—бездарное продолженіе литературныхъ пріемовъ временъ Екатерины. «Патріотъ» Измайлова (бывшаго сотрудника

«Вѣстника Европы») выходилъ въ Москвѣ ежемѣсячно и раздѣлялся на три отдѣла: первый, для воспитателей, заключалъ въ себѣ общія правила воспитанія и практическіе способы преподаванія разныхъ предметовъ; во второмъ печатались дѣтскія повѣсти и разсказы; третій отдѣлъ, предназначавшійся для взрослыхъ молодыхъ людей, состоялъ изъ общепонятнаго изложенія моральныхъ и философскихъ вопросовъ въ примѣненіи къ общественной жизни (см. «Патріотъ» 1804 г., № 1). Журналъ стремился—основать воспитаніе на началахъ «раціональной философіи», и для этого переводилъ статьи изъ Ж. Ж. Руссо, Песталоцци, Бернардена-де-Сенъ-Пьера и неизбѣжной г-жи Жанлисъ. О Карамзинѣ, по выходѣ его сочиненій, «Патріотъ» отзывался, какъ объ «авторѣ съ отличнымиъ талантомъ, обогащенномъ геніемъ науки и вкусомъ свѣта». Взглядъ Измайлова на воспитаніе вообще, насколько онъ высказывается въ выборѣ переводныхъ статей для журнала, отличался значительной по тому времени широтою и смѣлостью, «Многіе—говорилось въ одной статьѣ «Патріота» — обвиняють новую методу (воспитанія) въ томъ, что она образуетъ младенца, во первыхъ, для состоянія человѣка, а потомъ для состоянія гражданина. Сіе обвиненіе есть лучшая похвала нашего педагогическаго вѣка. Гораздо опаснѣе были покушенія нѣкоторыхъ деспотовъ, завоевателей, понтифовъ, даже философовъ отнять у одной части людей ихъ естественныя права. Чрезъ то самое видѣли мы человѣчество, иногда погруженное въ бездну варварства, иногда доведенное притѣсненіемъ до крайности отчаянія, котораго жертвою сдѣлалась тьма невинныхъ. Итакъ, когда воспитаніе дастъ почувствовать истинное равенство людей, вселивъ въ состоянія вышнія уваженіе къ человѣчеству, а въ нижніе классы чувство ихъ благороднаго существа: тогда не только просвѣщеніе распространится, но всѣ правительства сдѣлаются гораздо кротче, и всѣ состоянія гораздо счастливѣе» (№ 10). Воспитаніе дѣлится на умственное, эстетическое и нравственное, и для каждой стороны въ воспитаніи сообщаются особые правила. Въ первомъ возрастѣ воспитаніе принадлежитъ матерямъ. «Нѣтъ и не будетъ надежды къ счастію нравовъ—говорится въ I № «Патріота» — пока женщины не возвратятся къ домашней жизни, пока не позволятъ имъ слѣдовать сердцу въ выборѣ друга. Какъ много ни писали сатиръ на ихъ счетъ, онѣ не такъ виноваты, какъ мы. Ихъ пороки произошли отъ насъ... Женщины! спасите человѣчество, обративъ насъ къ добронравію! Цѣлое общество людей возвратится къ дол-

жностямъ своимъ, если вы возвратите одного человѣка къ порядку естественному».

Самымъ замѣтнымъ журналомъ sentimentalнаго стиля былъ «Московскій Меркурій» П. Макарова, выходившій ежемѣсячно, съ модами. Журналъ этотъ возникъ подъ прямымъ вліяніемъ карамзинскихъ изданій, но ближе подходилъ къ «Московскому Журналу», чѣмъ къ «Вѣстнику Европы». Его цѣль—развитіе гуманныхъ идей въ духѣ первоначальной дѣятельности Карамзина, безъ той приторной чувствительности, какой прославился извѣстный князь Шаликовъ. Критическій отдѣлъ въ журналѣ былъ веденъ хорошо; въ особенности бездарныя книжонки «въ Радклифиномъ вкусѣ», съ убійствами, пытками, похищеніями и пр., наводившія нашу литературу, предавались тутъ посмѣянію ¹⁾. Какъ сторонникъ реформы въ языкѣ, произведенной Карамзинымъ, «Московскій Меркурій» защищалъ новый слогъ отъ нападеній Шипкова (№ 12) и при разборѣ книгъ, написанныхъ тяжелымъ полуславянскимъ, полу-русскимъ нарѣчіемъ, глумился надъ литературнымъ старовѣрствомъ. Но въ противоположность Карамзину, въ юный періодъ его дѣятельности, Макаровъ не увлекался мечтами Руссо, что «лучше скитаться нагому по лѣсамъ и горамъ во всякую дурную погоду, нежели сидѣть зимою въ теплой, а лѣтомъ — въ прохладной комнатѣ съ добрыми пріятелями, и что лучше жить одному, въ безпрестанномъ страхѣ быть умерщвлену первымъ, кто посильнѣе, нежели находится подъ защитою общества, котораго единственная цѣль состоитъ въ томъ, чтобы успокоить, обезопасить всякаго члена своего» (№ 8). Въ «Московскомъ Меркуріи» была одна сторона, которая придавала ему отчасти своеобразный характеръ—это именно служеніе женщинамъ, которое потомъ было доведено до крайняго комизма въ «Журналѣ для милыхъ». Въ передовой статьѣ своего журнала (№ 1) Макаровъ высказываетъ свой взглядъ на общественное значеніе женщины и требуетъ отъ нея ума, познаній и благотѣльнаго вліянія на мужчину. Желая сдѣлать знанія «необходимой потребностью въ обществѣ», авторъ припоминаетъ, что во Франціи салоны дамъ привлекали къ себѣ первоклассныхъ ученыхъ и

1) Какъ строгій критикъ, Макаровъ былъ такъ страшенъ авторамъ, что на эту тему въ «Московскомъ Зрителѣ» была напечатана (№ 1) слѣдующая эпиграмма:

Когда услышалъ нашъ Бездаровъ,
Что умеръ журналистъ Макаровъ,
«Ну, слава богу, онъ сказалъ:
Могу печатать все, что прежде ни писалъ!»

служили лучшими школами просвѣщенія. «Еслибы,—продолжаетъ онъ,—наши дамы вздумали подражать сему примѣру, то нѣтъ сомнѣнія, онѣ заставили бы всякаго учиться. Сколько предметовъ открылось бы для ихъ честолюбія! сколько пищи для желанія блистать! Мы знаемъ женщинъ: умѣренность не ихъ порокъ; чего онѣ захотятъ, къ тому онѣ стремятся всѣми силами. Овладевъ однажды полемъ литературы, онѣ пошли бы самыми скорыми шагами, повлекли бы всѣхъ за собою и въ короткое время сдѣлались бы нашими учительницами. Перенеся тронъ философіи въ свои будуары, создавъ себѣ новое удовольствіе, украсясь новыми пріятностями, употребляя науку на пользу забавъ, а забавы на пользу наукъ, онѣ пріобрѣли бы для себя очень много; а соотечественникамъ оказали бы истинное благодѣяніе. Тогда-то доподлинно воздвигли бы имъ алтари, тогда-то слово обожать получило бы естественный свой смыслъ и, можетъ быть, къ счастью человѣчества, возвратились бы на землю тѣ золотые вѣка, когда одинъ взглядъ, одинъ поцѣлуй руки награждалъ десятилѣтніе подвиги героевъ... Кто не желаетъ женщинамъ просвѣщенія, тотъ врагъ ихъ, эгоистъ — любовникъ ли онъ, или мужъ,—тотъ хочетъ удержать себѣ право сказать нѣкогда женѣ своей (въ которой онъ искалъ ключницу или няньку): я тебя умнѣе! Имперія красоты не имѣетъ предѣловъ; но красота скоро вынеть, молодость летитъ, и когда холодная рука времени обезобразитъ ангельскія, милыя черты: что будетъ съ женщиной, привыкшей видѣть все у ногъ своихъ, если она заблаговременно не поселитъ пріятностей въ каждой морщинкѣ лица своего, если не заготовитъ себѣ утѣшеній на старость? И почему бы ей не быть столько же ученою, сколько и мужчиной... Что подумать о людяхъ, которые дѣйствительно увѣрены, что женщина не иначе пріобрѣтаетъ знанія, какъ теряя всѣ пріятности пола своего, и которые, вслѣдствіе такого мнѣнія, желаютъ, чтобы цѣлая (и лучшая) половина рода человѣческаго ничему не училась? Читали ли они когда нибудь исторію? помнятъ ли имена великихъ женщинъ, которыми древняя Греція почти столько же гордилась, сколько и Сократами, Платонами» и пр. и пр. Дальше говорится о значеніи женщинъ въ эпоху рыцарства и въ новѣйшія времена, когда «блистаютъ имена Ментенонъ, Гортензіи, Манчини и единственной Нинонъ Ланкло (?) съ которою ни одна женщина не сравняется любезностью, но которую правила ея, нѣсколько свободныя, дѣлаютъ опаснымъ образцомъ для подражанія». Въ Меркуріѣ помѣщена была

и біографія Ланкло. Печатавъ разборъ книги Сегюра о женщинахъ, Макаровъ дѣлаетъ, между прочимъ, такое примѣчаніе: «прекрасная женщина видитъ міръ у ногъ своихъ! мужчина всегда будетъ рабомъ ея! и тотъ не знаетъ полного блаженства, кто не понимаетъ сладости жить подъ властію столь милою!»

Какъ лицо человѣческое отражается въ кривомъ зеркалѣ, такъ карамзинскій сентиментализмъ и макаровское «служеніе женщинамъ» отразились въ изданіи другаго Макарова (М. Н.): «Журналъ для милыхъ». Журналъ этого издавался въ Москвѣ въ 1804 г. ежемѣсячно, съ эпиграфомъ: «прелести нашихъ милыхъ читательницъ защитятъ (насъ) отъ злыхъ насмѣшекъ критики» и съ шарадами въ такомъ родѣ: «*jeune et puit je pense à vous*», «въ разлукѣ сердце стонетъ» и т. п. Шарады эти сопровождались рисунками. Милыми назывались собственно дамы, читательницы журнала; ихъ желанія были закономъ для издателя; такъ, письмо одной дамы (№ 4) оканчивается словами: «Помѣстите, милостивый государь мой, это письмо мое. Я женщина, ваша читательница, — и вы обязаны мнѣ повиноваться». Иногда стихи, ради галломаніи милыхъ, печатались на французскомъ языкѣ. Сентиментальность, введенная въ моду Карамзинымъ, развилась въ «Журналѣ для милыхъ» до уродливости: имя Лизы сдѣлалось нарицательнымъ и упоминается на каждомъ шагѣ; къ этому имени писались и стихи, и прозаическіе диіамбы. Стихи писались даже къ цвѣточку, который авторъ видѣлъ въ покоѣ Лизы (№ 3). «Чувствованія» выражались только по поводу мотылька, розы, пѣночки, ключика къ сердцу милой и т. п. Въ № 7 журнала напечатаны стихи къ г-жѣ А. Х., «пославши ей букашку изъ сургуча». Посылка сдѣлана съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы букашка

... тебѣ въ ушко всегда жужжала,
Что я люблю, горю, томлюсь,
Чтобъ ты черезъ нее узнала
То—самъ сказать чего боюсь.

Не всегда, впрочемъ, сентиментальные авторы были такъ скромны въ своихъ сюжетахъ. Такъ, напр., въ одномъ стихотвореніи читаетъ:

Однажды я Лизету,
Зефирами раздѣту,
Забвенну сномъ, зрѣлъ здѣсь.
На ту красу взирая,
Я таялъ, обмирая,
И....—еслибы не честь....

Рядъ точекъ прерывалъ эротическія изліянія стихоплета.

Въ томъ же журналѣ напечатана была сельская повѣсть «А -

нушка», въ которой дочь довольно богатаго дворянина, «тринадцатилѣтняя, но уже полногрудая милушка», начитавшись Фоблаза и др. книгъ, бывшихъ въ библіотекѣ ея' отца, прельстилась шестнадцатилѣтнимъ юношей, Англантиномъ, «зараженнымъ моднымъ воздухомъ и испытаннымъ важнѣйшее въ свѣтѣ блаженство». Разъ Аннушка, взявъ въ руки *Philosophie de Théogène*, сидѣла на берегу Москвы рѣки (дѣйствіе происходитъ въ подмосковной деревнѣ) и увидѣла купающагося бога-амура. «Онъ купался, плавалъ, нырялъ и не видалъ Аннушки, которая при семъ случаѣ легла въ густую траву и свѣрляла со вниманіемъ его прелести съ написанными въ книжкѣ. Нашла въ натурѣ ихъ лучше, восхитительнѣй, такъ что у бѣдной дѣвушки хотѣло вылетѣть сердце. Молодой человекъ вышелъ на ея берегъ, и дѣвушка познала въ немъ истиннаго Англантина. Онъ въ восхищеніи сказалъ: «Ахъ, кабы мнѣ теперь представилась моя любезная Аннушка!» Невинная дѣвушка не дышала; молодой купидонъ вспрыгнулъ, повернулся, хотѣлъ плыть, броситься въ рѣку; но нечаянно зацѣпился за дѣвушку и упалъ: «Фи! что за диковинка... Это Психея. Это вы, сударыня?» «Я... я... отвѣчала дѣвушка: мы давно были для меня милы, а нынѣ я удостоилась видѣть». «Такъ, мой ангелъ, не угодно ли закрѣпить явномъ печатью наше сверхъестественное свиданіе?» «Воля ваша!» сказала поблѣднѣвшая дѣвушка, и... рѣзвый Адонисъ и несравненная Венера скинули съ себя одежду, закрывающую предѣсти отъ глазъ смертныхъ. Они купались въ струистой рѣчкѣ, ныряли, плескались; можетъ быть, чтó и еще происходило; но романисты закрываютъ такія приключенія на пять минутъ тонкою дымкою и молчатъ¹⁾. Аннушка одѣлась, сердце въ ней сильно билось, щоки пламенѣли, и дѣвушка говорила: «Милый Англантинъ! какъ несправедливы люди, что находятъ различіе между двумя полами; оба они созданы на то, чтобы совершенствоваться взаимно себя». «Такъ, это правда!» отвѣтствовалъ онъ, далъ ей пламенный поцалуй и скрылся. Аннушка поклялась имѣть подобныя свиданія, благословляла свою любезную книжку и не могла ее оцѣнить». Хотя

¹⁾ У Карамзина, въ повѣсти «Рыцарь нашего времени» («Вѣстн. Евр.» 1803 г., № 14) описывается подобное же приключеніе, а именно: Леонъ подсматриваетъ у него купающуюся графиню Эмилию, но сдержанный писатель не входилъ въ такія пикантныя подробности. «Читатель—говорить онъ—ожидаетъ отъ меня картины во вкусѣ золотого вѣка: ошибается! дѣта научаютъ скромности; пусть одни молодые авторы сказываютъ публикѣ за новостъ, что у женщины есть руки и ноги. Мы, старики, все знаемъ, чтó можно видѣть, но должны молчать».

повѣсть кончается законнымъ бракомъ, потому что Англантинъ боялся «худой славы»; но выписанный эпизодъ очень не понравился многимъ, и «Сѣверный Вѣстникъ» отозвался такъ: «Мы не совѣтуемъ брать этотъ журналъ и мѣстъ, ибо онъ оскорбляетъ ихъ стыдливость, первое украшеніе милыхъ... Его не надо брать, потому что въ немъ напечатаны: «Побѣда надъ нимфами» ¹⁾, «Аннушка» — повѣсти неблагопристойныя». Оправдываясь отъ этихъ обвиненій (особ. прибавл. къ № 12), издатель говоритъ: «Кажется, при такомъ благоустройствѣ, каковое сохраняется въ нынѣшнія времена въ нашей имперіи, неблагопристойность со-всѣмъ истреблена, особливо въ литературѣ: на это учреждена въ Москвѣ цензура, которая строго разсматриваетъ все и вѣрно въ публику ничего неблагопристойнаго не выпуститъ. Р. С. Аннушка можетъ быть хорошимъ примѣромъ. Читая слѣдствія развратности, видя сущность оныхъ злую, — не есть ли это лучшая картина для молодыхъ людей? Вѣрно никто не будетъ Аннушкой, прочитавъ «Аннушку», но постарается избѣгать пороковъ ея».

Не лучше «Журнала для милыхъ» былъ и «Московский Зритель» (1806 г.) князя Шаликова. Въ «Письмѣ къ издателю журнала», помѣщенномъ въ первой книжкѣ (выход. ежемѣсячно), говорится: «Мнѣ хотѣлось бы видѣть въ вашемъ журналѣ болѣе подлинниковъ, чѣмъ переводовъ, болѣе мѣстнаго; хотѣлось бы, чтобъ издатель его, какъ ревностный патріотъ, съ пламеннымъ сердцемъ и смѣлою рукой принялся за перо—единственно для пользы земляковъ своихъ... Вы живете въ столицѣ, гдѣ болѣе разнообразія, болѣе игры страстей, болѣе условныхъ законовъ, болѣе предубѣжденій и, слѣдственно, болѣе случаевъ къ замѣчаніямъ. Здѣсь одно слово старика или молодой женщины подадутъ поводъ къ сочиненію цѣлаго моральнаго трактата. Часто разговоры двухъ простолюдиновъ на улицѣ откроютъ наблюдателю черту народнаго характера или степень нынѣшней нравственности. Пускай журналъ вашъ будетъ хранилищемъ таковыхъ наблюденій. Дайте знать молодымъ умникамъ, что гражданину отнюдь не предосудительно, какъ они думаютъ, носить знакъ отличія, полученный за службу; что пріятнѣе щеголять имъ, нежели шолковымъ черезъ плечо шнуркомъ съ прицѣпленнымъ къ нему лорнетомъ... скажите вашу мысль и о новыхъ русскихъ

¹⁾ Въ «Побѣдѣ надъ нимфами» рассказываются на чистоту, подъ мѣткими оологическими образами, всѣ подробности любви. Подобныя произведенія показываютъ, сколько дряблага, старческаго сластолюбія скрывается иногда за приличными сентиментальностями.

эмигрантахъ: я говорю о тѣхъ, которые отбѣзжаютъ на житье въ чужія края подъ предлогомъ, что тамъ жить дешевле... Можете иногда сказать слова два и о состояніи въ отечествѣ нашемъ художествъ. Статья эта была бы не бесполезна: сколько мы видимъ здѣсь колоннъ, которыя ничего не подпираютъ, или полукруглыхъ оконъ и въ верхнемъ, и въ нижнемъ жилѣ, или разрисованныхъ деревянныхъ домовъ и заборовъ!.. Чтѣ скажетъ просвѣщенный иностранецъ о нашемъ вкусѣ?.. Я желаю, чтобы критика была непремѣнно въ вашемъ журналѣ: старайтесь только быть истиннымъ критикомъ, будьте судьей безпристрастнымъ».

Этой программѣ Шаликовъ былъ вѣренъ: патріотизмъ, весьма мелкій, и чувствительность были отличительными чертами его журнала. Патріотизмъ выражался, напр., въ описаніи торжественнаго обѣда въ московскомъ клубѣ и драки двухъ простолюдиновъ-атлетовъ, которые, поколотивъ другъ друга, поцѣловались: доказательство славянскаго добродушія. Чувствительность—преобладающее свойство журнала—господствовала въ беллетристическѣ, гдѣ также, какъ и въ «Журналѣ для милыхъ», печатались стишки къ Лизетамъ, Эльвирамъ, къ резедѣ, голубку и ошейнику эльвириной собачки. Эротическій элементъ свирѣпствовалъ здѣсь меньше, чѣмъ въ «Журналѣ для милыхъ», а стихи къ женщинамъ и къ амуру были уже гораздо сдержаннѣе и скромнѣе. Въ «Зрителѣ», напротивъ, есть даже повѣсть: «Злоупотребленіе свободы въ молодости» (№ 5), въ которой разсказывается, какъ «сластолюбіе сдѣлалось пѣлюю юноши, и истощеніе силъ послѣдовало за расточеніемъ жизненныхъ соковъ». Истощеніе было такъ велико, что юношѣ пришлось пользоваться кавказскими водами. Воспитаніе также занимало кн. Шаликова: въ статьѣ объ этомъ предметѣ (№ 11) говорится, что родители должны наставлять смолоду дѣтей своихъ въ добродѣтели и притомъ въ національномъ духѣ, не допуская «наемщиковъ-чужестранцевъ внушать имъ презрѣніе къ русскому языку и къ русской націи». Слѣдя за успѣхами воспитанія, Шаликовъ восхвалялъ московскій екатерининскій институтъ (№ 7), гдѣ воспитываются «любезнѣйшія существа природы—притомъ воспитываются прекрасно. Все плѣняло князя: и рѣчь, сказанная священникомъ, «наставляющая воспитанницъ въ законѣ и добродѣтеляхъ», и здоровая пища въ столовой, и порядокъ и чистота въ дортуарахъ.

Любопытно во многихъ отношеніяхъ «Письмо сельскаго дворянина къ издателю» (№ 4). «Удостоите выслушать—пишетъ этотъ огорченный дворянинъ—отца жалобу, которую нельзя принести ни въ какомъ присутственномъ мѣ-

стѣ, и будьте посредникомъ между мною и обществомъ, единственнымъ судьей въ подобныхъ случаяхъ. Съ нѣкотораго времени, у дворянъ нашей губерніи произошла чудная перемѣна въ мысляхъ и правилахъ. Многіе молодые люди и пожилые вдовцы женятся на бывшихъ своихъ челядинкахъ и наемницахъ. Одинъ вводитъ крестьянку въ сообщество благовоспитанныхъ сестеръ своихъ; другой заставляетъ дѣтей цѣловать руки у рабыни покойной ихъ матери. Тутъ слезы дочери, тамъ упреки сына—и гремитъ отцовское проклятіе! Раздоры въ семействахъ, ссоры и тяжбы между родственниками, соблазны и пересуды въ бесѣдахъ, и грусть, тяжкая грусть нашему брату, привязанному еще къ дворянскимъ предразсудкамъ своего дѣда. Къ чему я теперь буду воспитывать дочь мою, если крестьянская или горничная дѣвка предпочтется ей? Чѣмъ вознаградятся попеченія мои объ украшеніи ума ея и сердца, ежели она должна остаться навсегда въ одиночествѣ? Не щадя ничего на образованіе моей дочери, я думалъ, что готовлю ее для мужа, который будетъ цѣнить ея достоинства, составитъ счастье жены и ея родителей: отправляя на службу отечества сына, я думалъ, что зять мой заступитъ мѣсто его, будетъ опорой старости моей и утѣшеніемъ семейства; думалъ, что существо мое возобновится въ малыхъ внучатахъ, которые возрастутъ на моихъ колѣняхъ и примутъ послѣдній вздохъ мой. Такія пріятныя мысли, такія утѣшительныя надежды служатъ истинною наградою за труды и жертвы родительскія. Ахъ, не горестно ли обмануться въ счастливѣйшей предувѣренности? Не имѣетъ ли права сердце отцовское жаловаться на то, что лишаетъ его лучшихъ радостей въ жизни. Не растерзаетъ ли душу нѣжной матери взоръ на унылые дни ея дочери? Съ другой стороны, не прискорбно ли отцу, матери, брату и сестрѣ благовоспитанному видѣть въ семействѣ своемъ грубую, необразованную крестьянку или смѣшную обезьяну бывшей госпожи своей,—то есть горничную дѣвку?» и т. д.

Изъ этого письма видно, что чувствительные авторы, плакавшіе о судьбѣ бѣдной Лизы, сильно порицали *mésalliance*, когда эти Лизы выходили замужъ за своихъ соблазнительей. Замѣчательно также сопоставленіе журнала съ присутственнымъ мѣстомъ: оно показываетъ, что журналистика расширилась въ такой степени, что разстроенные граждане, въ родѣ сейчасъ упомянутого считали уже книжку журнала удобнымъ средствомъ выразити

свои печали и надѣялись даже этимъ путемъ—оказать сопротивление «чудной переменѣ въ мысляхъ» у другихъ согражданъ.

Сантиментальное настроеніе господствуетъ и въ «Журналѣ для сердца и ума», издававшемся ежемѣсячно въ Петербургѣ И. Шелеховымъ (1810 г.), и выражалось опять посланіями къ Лилѣ, Нинѣ, Лаурѣ и т. п.

При томъ направленіи, какое распространилось въ журналистикѣ подъ вліяніемъ Карамзина, весьма понятенъ упадокъ сатиры, которая всего менѣе должна была сходиться съ сантиментально-патріотическимъ настроеніемъ умовъ. Конечно, находились еще сатирики, переводившіе Геллерта, Рабенера и т. п., «находя въ оныхъ истину, во всемъ ея величествѣ созерцаемую», но едва ли въ этой истинѣ могло таиться много смысла для русскихъ читателей. Переводы перелагались впрочемъ и на русскіе нравы, и въ переводную сатиру вставлялись обличенія пьянства помѣщиковъ и псовой охоты; но сатира становилась оттого еще нелѣпѣе; она не повторила съ прежней силой даже сатирическихъ мотивовъ екатерининскаго времени.

Въ «Демокритѣ» (1815 г.) характеръ этой сатиры становится даже довольно гнуснымъ, какъ это, напр., обнаруживается въ «Пѣснѣ Демокрита». Смѣяться надо всѣмъ: надъ трудомъ ученаго, потому что это «сухая матерія», надъ суетливой дѣятельностью другихъ людей, надъ кровавыми битвами—вотъ девизъ Демокрита. Но что всего лучше:

Пусть несчастные томятся,
Коль судьба для нихъ строга;
Моя участь—лишь смѣяться:
Ха-ха-ха! ха-ха-ха! (№ 2).

Въ другомъ стихотвореніи (№ 4) осмѣивается поэтъ, мерзнущій въ своей комнатѣ и «бьющій тактъ зубами». Этотъ поэтъ жалуется на своего сосѣда, «валдайскаго боярина», который открываетъ заслонку въ печкѣ и выпускаетъ все тепло, благо у него есть и тулупъ, и шуба. Однажды сатирикъ заикнулся было о неправедныхъ судіяхъ (№ 4); но тутъ же остановился, сказавъ самому себѣ: «не все ври, что знаешь».

VIII.

«Другъ просвѣщенія» и его сбивчивый тонъ.—«Журналъ Россійской Словесности».—Либеральныя оды И. П. Пнина.—Беседа «сочинителя съ цензоромъ».—«Островъ подлецовъ».—«Сѣверный Вѣстникъ».—Вопросъ о развитіи просвѣщенія и о свободѣ преподаванія.—Политическія и общественныя идеи въ «Сѣв. Вѣстникѣ».—Проектъ преобразованія на англійскій ладъ.—Литературная критика въ «Сѣв. Вѣстникѣ» и «Лицѣ».

Изъ новыхъ журналовъ, возникшихъ вслѣдъ за «Вѣстникомъ Европы» Карамзина, наибольшаго вниманія заслуживаютъ петербургскіе журналы, наименьшаго—московскіе, которые разработывали только одну сантиментально-патріотическую сторону своего первообраза. Политическая струйка зашла, впрочемъ, и въ нихъ изъ «Вѣстника Европы». Такъ, напр., въ «Другѣ просвѣщенія» (1801—1806 г.) мы находимъ «Письмо Людовика XVI-го къ одному аббату и нѣсколько мыслей, писанныхъ имъ собственноручно». Въ этомъ письмѣ французскій король говоритъ о воспитаніи дофина въ духѣ кротости, религіи и любви къ народу; онъ не желаетъ, чтобы воинская слава кружила ему голову, а ласкательство придворныхъ производило въ немъ своеправіе. «Первый долгъ государя, говоритъ король, есть тотъ, чтобы сдѣлать народъ счастливымъ. Законы суть столпы трона: если государь ихъ нарушитъ, то и народъ сочтетъ себя свободнымъ отъ ихъ обязательствъ». Изъ мыслей Людовика, набросанныхъ имъ собственноручно, замѣчательны слѣдующія: «Королю, царствующему правосудіемъ, вся земля служитъ храмомъ. Дѣлать добро и терпѣливо слушать злословіе о себѣ—вотъ добродѣтели царскія. Сочиненіе, написанное безъ свободы, должно быть посредственно и худо» и пр. Все это могло имѣть нѣкоторое примѣненіе къ тогдашней русской жизни. Въ стихотвореніи П. Кутузова: «Ода на правосудіе» также высказывается надежда, что на престолѣ рускомъ вмѣстѣ съ Александромъ «возсядутъ милость и правый, нелицепріятный судъ» ¹⁾. Но, рядомъ съ блѣднымъ отраженіемъ новыхъ идей, въ этомъ невыдержанномъ изданіи печатались вирши на старый ладъ, въ родѣ «Колесницы» Державина и стиховъ А. С. Шишкова. Въ «Колесницѣ», написанной по поводу французской революціи, авторъ рекомендуетъ правительству ежовыя рукавицы въ политикѣ, чтобы «раздраженные буцефалы», воспользовавшись

¹⁾ Эта надежда не сбылась, однако, Кутузову писать негласные допросы на Карамзина и въ нихъ совѣтовать—запереть его куда-то безъ суда и слѣдствія.

дремотою властей, не столкнули ихъ въ ровъ. Обращаясь къ Франціи, Державинъ говоритъ:

Отъ философовъ просвѣщеня,
Отъ лишней царской доброты,
Ты пала въ хаосъ развращенья
И въ бездну вѣчной срамоты.

Къ счастью, эти поклонники ежовыхъ рукавицъ не могли остановить развитія новыхъ идей, покуда лица повыше ихъ, не смущаясь прямыми и косвенными намеками «на излишнюю доброту», сами способствовали прогрессу своимъ сочувствіемъ и поддержкою.

Гораздо замѣчательнѣе были петербургскіе журналы, въ которыхъ либеральное направленіе нашло себѣ усердныхъ проводниковъ и защитниковъ. Сюда относится «Журналъ Россійской Словесности», изданный Н. Брусиловымъ (1805 г.) при участіи И. П. Пнина. Въ первой же книжкѣ своего изданія Брусиловъ напечаталъ оду Пнина: «Человѣкъ» — довольно смѣлый гимнъ свободѣ, въ отпоръ унижительнымъ взглядамъ на права мыслящей личности. Авторъ говоритъ, обращаясь къ человѣку:

Какой умъ слабый, униженный
Тебѣ дать имя червя смѣлъ?
То рабъ несчастный, заключенный,
Который чувства не имѣлъ;
Въ оковахъ тяжкихъ пресмыкался,
И съ червемъ подлинно равнялся,
Давимый сильною рукой,
Сначала въ горести признался,
Потомъ въ сихъ мысляхъ вѣкъ остался,
Что человѣкъ есть червь земной.
Прочь мысль презрѣнная! ты сродна
Душамъ преподахъ лишь рабовъ,
У коихъ вѣкъ мысль благородна
Не озаряла мракъ умовъ.

Въ какомъ пространствѣ зрю ужасномъ
Рабъ отъ человѣка я:
Одинъ — какъ солнце въ небѣ ясномъ,
Другой такъ мраченъ, какъ земля.
Одинъ есть все, другой — ничтожность.
Когда бъ позналъ свою рабъ должность,
Спросилъ природу, разсмотрѣлъ:
Кто бѣдствій всѣхъ его виною?
Тогда бы тою же рукою
Сорвалъ онъ дѣли, что надѣлъ.

Желая, повидимому, ограничить эту свободу, — чтобы она не переходила въ анархію и открытое возстаніе, пугавшія умы, —

издатель, вслѣдъ затѣмъ (№ 2 и 4), напечаталъ оду: «На безначаліе» и басню: «Зябликъ», въ которыхъ представляются въ дурномъ свѣтѣ своеволие и крайнее вольнодумство. Это вольнодумство ведетъ къ тому, что народъ (французскій), низвергну царя, создаетъ себѣ другаго—«изъ праха», а зябликъ попадаетъ въ когти къ коршуну. Вообще беллетристическія произведенія, — если исключить изъ нихъ сантиментальныя, служившія прямой связью журнала съ карамзинскими изданіями, — выбирались Брусиловымъ не безъ цѣли, и каждое изъ нихъ служило какъ бы дополненіемъ и разъясненіемъ къ другому. Въ баснѣ: «Истина во дворцѣ» (соч. А. Измайлова) рассказывается, какъ истина вошла во дворецъ и была приговорена къ ссылке въ рудники; но потомъ, перерядившись въ вымыселъ, сказала шуткою все, что было нужно, и ее выслушали съ благосклонностью. Конецъ басни таковъ:

Счастлива та страна, въ которой кроткій царь
Правдиво говорить себѣ не запрещаетъ!
Счастливей мы стократъ: нашъ ангель-государь
Не только истину въ чертогъ къ себѣ впускаетъ,
Но даже ищетъ самъ ее.

Въ № 5-омъ помѣщена также басня, въ которой хозяинъ, за вѣрную службу дворняшки, даритъ ей ошейникъ, и ничего больше; въ № 7 другая—«Царь и придворный», гдѣ проводится мысль, «что блескъ царскаго величія» ничто безъ поддержки народа. Въ повѣстяхъ изъ восточной жизни (эти повѣсти часто попадаютъ въ тогдашнихъ журналахъ), какъ, напр., «Истина» и «Перстень», доказывается, что правда, хотя она и не нравится придворнымъ щеголямъ, щеголихамъ, судьямъ и пр., должна быть не только терпима въ государствѣ, но и поставлена выше «угожденія царю». Въ первой изъ этихъ повѣстей багдадскій кади «въ ярости разбиваетъ чубукомъ зеркало истины», и вотъ на всемъ пространствѣ багдадскихъ владѣній царедворцы лстятъ, кади грабятъ, слезы несчастныхъ льются рѣкою; во второй—мудрый персидскій шахъ рѣшаетъ, что истина всего нужнѣе ему, и Персія при немъ «была счастлива и наслаждалась тишиною». Далѣе Пнинъ воспѣвалъ «правосудіе» (№ 10), которое одинаково казаетъ «рабовъ и вельможъ».

Гдѣ ты—тамъ вопль не раздается
Несчастныхъ, брошенныхъ сиротъ:
Всѣмъ нужна помощь подается,
Не работаетъ народъ.
Тамъ земледѣлецъ не страшится,

Чтобы насильствомъ могъ лишиться
Имъ въ потѣ собранныхъ плодовъ;
Любуется, смотря на ниву;
Въ ней видя жизнь свою счастливу,
Благословляетъ твой покровъ...
Гдѣ ты—тамъ геній просвѣщенья,
Лучами мудрости своей,
Отрывъ зловредны заблужденья,
Ведетъ на путь прямой людей.
Науки храмы тамъ имѣютъ,
Художества, искусства зрѣютъ,
Торговля богатитъ народъ,
Тамъ духъ зиждительной свободы,
Проникнувъ таинства природы,
Сторичный собираетъ плодъ.
.....
Гдѣ нѣтъ тебя—тамъ всѣ несчастны,
Отъ земледѣльца до царя;
Законы дремлютъ и безгласны,
Тамъ всякъ живетъ лишь для себя.
Нѣтъ ни родства, союза, вѣры;
Тамъ видны лишь злодѣйствъ примѣры;
Шипать пороки и язвать;
Тамъ выгодъ нѣтъ быть добрымъ, честнымъ.
Быть другомъ искреннимъ, неслепымъ,
Тамъ чашу смерти пьетъ Сократъ и пр.

Между разными общественными явленіями, препятствующими строгому дѣйствию правосудія, Пнинъ указывалъ, по горькому опыту, и предварительную цензуру, въ которой произволъ административнаго лица могъ лишить человѣка его собственности и его нравственныхъ правъ. Эту мысль Пнинъ выразилъ въ видѣ сцены между сочинителемъ и цензоромъ, сцены, будто бы переведенной съ манчжурскаго языка. Мы приведемъ ее цѣликомъ для ознакомленія читателей съ тою формою, въ которую пришло у же и тогда облекать подобныя идеи.

Сочинитель и цензоръ.

(Переводъ съ манчжурскаго).

Сочинитель. Я имѣю, государь мой, сочиненіе, которое желаю напечатать.

Цензоръ. Его должно напередъ разсмотрѣть. А подъ какимъ оно названіемъ?

Сочинитель. Истина, государь мой.

Цензоръ. Истина? о! ее должно разсмотрѣть и строго разсмотрѣть.

Сочинитель. Вы, мнѣ кажется, излишній берете на себя трудъ. Разсматривать истину? что это значить? Я вамъ скажу, государь мой, что она не моя и что она существуетъ уже нѣсколько тысячъ лѣтъ. Божественный Кунъ (Конфуцій) начерталъ оную въ премудрыхъ своихъ законахъ. Такъ говоритъ онъ: «смертные! любите другъ друга, не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу, ибо она есть основаніе общежитія, душа порядка и, слѣдовательно, необходима для вашего благополучія». Вотъ содержаніе сего сочиненія.

Цензоръ. «Не отнимайте ничего другъ у друга, просвѣщайте другъ друга, храните справедливость другъ къ другу»!... Государь мой, сочиненіе ваше непременно разсмотрѣть должно. (Съ живостью.) Покажите мнѣ его скорѣе.

Сочинитель. Вотъ оно.

Цензоръ. (Развертывая тетрадь и пробѣгая глазами листы). Да... ну... это еще можно... и это позволить можно... но этого никакъ пропустить нельзя (указывая на мѣсто въ книгѣ).

Сочинитель. Для чего же, смѣю спросить.

Цензоръ. Для того, что я не позволяю — и, слѣдовательно, это непозволительно.

Сочинитель. Да развѣ вы больше, г. цензоръ, имѣете права не позволить печатать мою «Истину», нежели я предлагать оную?

Цензоръ. Конечно, потому что я отвѣчаю за нее.

Сочинитель. Какъ? Вы должны отвѣчать за мою книгу? А я развѣ самъ не могу отвѣчать за мою «Истину». Вы присвоиваете себѣ, государь мой, совсѣмъ не принадлежащее вамъ право. Вы не можете отвѣчать ни за образъ мыслей моихъ, ни за дѣла мои. Я уже не дитя и не имѣю нужды въ дядькѣ.

Цензоръ. Но вы можете заблуждаться.

Сочинитель. А вы, г. цензоръ, не можете заблуждаться?

Цензоръ. Нѣтъ, ибо я знаю, что должно и чего не должно позволить.

Сочинитель. А намъ развѣ это знать запрещается? Развѣ это какая нибудь тайна? Я очень хорошо знаю, что я дѣлаю.

Цензоръ. Если вы согласитесь (показывая на книгу) выбрать сіи мѣста, то вы можете книгу вашу издать въ свѣтъ.

Сочинитель. Вы, отнимая душу у моей «Истины», лишая всѣхъ ея красотъ, хотите, чтобы я согласился въ угожденіе вамъ обезобразить ее, сдѣлать ее нелѣпою? Нѣтъ, г. цензоръ, ваше требованіе безчеловѣчно; виновать ли я, что истина моя вамъ не нравится, и вы не понимаете ея?

Цензоръ. Не всякая истина должна быть напечатана.

Сочинитель. Почему же? Познаніе истины ведетъ къ благополучію. Лишать человѣка сего познанія, значитъ—препятствовать ему въ его благополучіи, значитъ—лишать его способовъ сдѣлаться счастливымъ. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо истины между собою составляютъ непрерывную цѣпь. Исключить изъ нихъ одну, значитъ, отнять изъ цѣпи звено и ее разрушить. Притомъ же истинно великій мужъ не опасается слушать истину, не требуетъ, чтобъ ему слѣпо вѣрили, но желаетъ, чтобъ его понимали.

Цензоръ. Я вамъ говорю, государь мой, что книга ваша, безъ моего засвидѣтельствованія, есть и будетъ ничто, потому что безъ онаго не можетъ она быть напечатана.

Сочинитель. Г. цензоръ! позвольте сказать вамъ, что истина моя стоила мнѣ величайшихъ трудовъ; я не падалъ для нея моего здоровья, просиживалъ для нея дни и ночи: словомъ, книга моя есть моя собственность. А стѣснять собственность, какъ говоритъ премудрый Кунъ, никогда не должно, ибо чрезъ сіе нарушается справедливость и порядокъ. Впрочемъ, вѣрнѣе, засвидѣтельствованіе ваше можно назвать ничего не значущимъ, ибо опытъ показываетъ, что оно нисколько не обезпечиваетъ ни книги, ни сочинителя. Притомъ, г. цензоръ, вы изъясняетесь слишкомъ непозволительно.

Цензоръ (гордо). Я говорю съ вами, какъ цензоръ съ сочинителемъ.

Сочинитель (съ благороднымъ чувствомъ). А я говорю съ вами, какъ гражданинъ съ гражданиномъ.

Цензоръ. Какая дерзость!

Сочинитель. О, Кунъ, благодѣтельный Кунъ! Еслибы ты слышалъ разговоръ сей, еслибы ты видѣлъ, какъ исполняютъ твои законы; еслибы ты видѣлъ, какъ наблюдаютъ справедливость, еслибы ты видѣлъ, какъ споспѣшествуютъ въ твоихъ божественныхъ намѣреніяхъ, тогда бы... тогда бы справедливый гнѣвъ твой... Но прощайте, г. цензоръ, я такъ съ вами заговорился, что потерялъ уже охоту печатать свою книгу. Знайте, однакожъ, что «Истина» моя пребудетъ неизмѣнно въ сердцѣ моемъ, исполненномъ любви къ человѣчеству, и которое не имѣетъ нужды ни въ какихъ свидѣтельствахъ, кромѣ собственной моей совѣсти. (См. «Журн. Рос. Сл.» № 12).

Отстаивая истину, право и свободу мысли отъ покушеній на нихъ со стороны судей, придворныхъ и цензоровъ, Брусиловъ осмѣивалъ не безъ ѣдкости,—хотя, по старому преданію, въ ал-

легорической формѣ,—враждебный ему лагерь, бравшій подъ свою защиту всѣ ненормальныя условія общественной жизни. Въ образчикѣ подобнаго осмѣянія, мы возьмемъ отрывокъ изъ «Путешествія на островъ подлецовъ», принадлежащаго перу самого издателя журнала. Авторъ рассказываетъ, что будто онъ, возвращаясь изъ Америки, попалъ совсѣмъ въ другую сторону, по причинѣ бури, и очутился недалеко отъ острова подлецовъ. Любопытство видѣть эту неизвѣстную страну побудило его отпроситься у капитана въ шляпѣ на островъ, съ условіемъ вернуться вечеромъ же на корабль. «Островъ подлецовъ есть наибогатѣйшій въ мірѣ. Онъ лежитъ подъ самымъ почти полюсомъ и окруженъ океаномъ коварства, весьма опаснымъ для мореплавателей. Земля неплодотворна и производитъ только плоды хитрости и пронырства, весьма вкусныя для жителей, но впрочемъ горькіе для всякаго честнаго человѣка. Я спѣшилъ скорѣе въ главный городъ сего острова. Онъ называется Лестъ, весьма пріятенъ по своему мѣстоположенію и стоитъ на рѣкѣ низкихъ поклоновъ, которая течетъ иногда тихо, иногда быстро, смотря по обстоятельствамъ. Жителей на семъ островѣ много, и сказываютъ, что въ годъ родится въ десять разъ болѣе, нежели умираетъ. Жители всѣ блѣдны, худы, но въ богатыхъ кафтанахъ и живутъ хорошо, ибо много добываютъ чрезъ подлость. Они столь низки духомъ, что даже и въ дурную погоду ходятъ по улицамъ безъ шляпъ и кланяются всякому богачу, а особливо путешественникамъ, отъ которыхъ надѣются поживиться. Передъ тѣмъ же, кто мало значить въ свѣтѣ или бѣденъ, честенъ и добръ—передъ тѣми они горды, и вотъ одинъ только случай, когда они надѣваются шляпы... Я остановился въ лучшемъ трактирѣ. Трактирщикъ выбѣжалъ ко мнѣ и сказалъ, что онъ уже нѣсколько дней меня ожидалъ и очистилъ для меня лучшіе покои. «Мой другъ,—сказалъ я съ удивленіемъ,—я пріѣхалъ сюда нечаянно и не думаю, чтобъ ты могъ знать прежде о моемъ пріѣздѣ». — «Милостивый государь, отвѣчалъ онъ, мы люди малые и единственнымъ счастіемъ нашимъ поставляемъ предупредить намѣренія и волю людей вашихъ достоинствъ». Въ самое время нашего разговора подошелъ къ нему бѣднякъ и просилъ дать уголокъ въ его домѣ; но трактирщикъ оттолкнулъ его съ гордостью и, показавъ всю мѣру презрѣнія богатаго гордеца къ бѣдному, велѣлъ ему удалиться. Я удивился такой скорой переменѣ. «Милостивый государь! сказалъ трактирщикъ принявъ опять униженный видъ; что жъ было бы въ нашей жизни еслибъ, ползая весь вѣкъ передъ богачами, не имѣли мы удо

вольствія гордиться предъ бѣдными». Тутъ узналъ я великую истину, что подлецъ есть самое горделивое твореніе въ мірѣ. Не успѣлъ я отдохнуть послѣ трудной дороги, какъ вдругъ явилась ко мнѣ толпа жителей сей страны. Всякій кланялся мнѣ въ поясъ; иной называлъ меня своимъ благодѣтелемъ, хотя я отъ роду въ первый разъ его видѣлъ, иной подносилъ мнѣ стихи на день моего рожденія; иной—эпиграмму на мой приѣздъ. Въ сихъ стихахъ уподобляли меня Сенека въ мудрости, Оемистоклу въ храбрости, Лукуллу въ благотворительности; иной просилъ позволенія списать мой портретъ и поставить его рядомъ съ Адонисомъ; иной говорилъ, что добродѣтель Аристиды ничто передъ моею; иной, узнавъ, что я люблю словесность, увѣрялъ меня, что Платонъ, Виргилій, Демосеенъ не могутъ равняться со мною въ краснорѣчіи; тотъ читалъ мнѣ съ восхищеніемъ наизусть оду, которой я отъ роду не писывалъ; иной, повалясь мнѣ въ ноги, лизалъ пыль съ моихъ сапоговъ; словомъ, всѣ прилагали стараніе выманить у меня по нѣскольку копѣекъ,—обыкновенное желаніе подлыхъ душъ! Послѣ сихъ учтивостей пошелъ я обѣдать. За столомъ сидѣло человѣкъ пятьдесятъ. Всѣ они сидѣли смирно, говорили шепотомъ и, браня тѣхъ, предъ которыми за четверть часа предъ тѣмъ ползали и которыхъ, превознося до небесъ, называли своими благодѣтелями,—помянуто оглядывались то на ту, то на другую сторону, боясь, чтобы ихъ не подслушали. Въ сей залѣ нашелъ я одного англичанина, который въ городѣ Лестіи живетъ уже нѣсколько недѣль. «Я приѣхалъ сюда, сказалъ мнѣ прямодушный британецъ, нарочно за тѣмъ, чтобы увидѣть разницу между человѣкомъ и подлецомъ». Онъ мнѣ много рассказывалъ о семъ чудномъ островѣ. «Здѣсь деньги есть всемогущій металлъ, говорилъ онъ, и человѣкъ безъ денегъ есть жалкая тварь. Здѣсь почти ежедневно бываютъ тому слишкомъ ясныя доказательства».

Еще замѣчательнѣе были журналы И. И. Мартынова—одного изъ честнѣйшихъ официальныхъ дѣятелей первой половины царствованія Александра Павловича ¹⁾. Въ 1791 г. Мартыновъ издавалъ литературный журналъ «Муза» и по прекращеніи его (въ томъ же году) занимался переводами и преподаваніемъ исторіи

¹⁾ Служба Мартынова продолжалась и позже, но его успѣхи въ ней относятся именно къ началу царствованія Александра I. Въ 1817 г. онъ уже сошелъ съ видной сцены, оставаясь впрочемъ до самой смерти (въ 1833 г.) членомъ главнаго правленія училищъ. (См. о немъ статью въ «Современникѣ» 1856 г., №№ 3 и 4).

и словесности въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ 1802 г. вышелъ указъ о министерствахъ, и незначительный чиновникъ, уже приобрѣвшій извѣстность въ литературномъ мірѣ, сдѣлался сразу, благодаря ей, директоромъ департамента народнаго просвѣщенія. Небольшой чинъ его не послужилъ, какъ видно, препятствіемъ къ занятію важнаго административнаго поста. Въ 1804 — 5 гг. Мартыновъ, управляя департаментомъ, находилъ время и для изданія журнала «Сѣверный Вѣстникъ» (выход. помѣсячно), при ежегодномъ пособіи отъ казны въ три тысячи рублей. Прекративъ изданіе «Сѣв. Вѣстника», онъ въ 1806 г. началъ издавать «Лицей» почти по той же программѣ и въ томъ же духѣ, какъ предъидущій журналъ. Въ обоихъ этихъ изданіяхъ Мартыновъ высказывалъ тѣ мысли, которыя были въ ходу въ нашихъ вліятельныхъ сферахъ, и разрабатывалъ вопросы, занимавшіе всѣ лучшіе умы, не только не тормозя при этомъ общественнаго сознанія, но во многомъ даже опережая его. Такимъ образомъ, интересъ его журналовъ увеличивается по связи ихъ съ идеями самого правительства, довѣрчиво относившагося къ развитію народнаго смысла. Хотя «Сѣверный Вѣстникъ» не имѣлъ собственно политической рубрики, но въ отдѣлѣ науки и критики онъ часто затрогивалъ политическіе вопросы и рѣшалъ ихъ въ смыслѣ достаточно свободномъ для своего времени. Онъ защищалъ не только новый слогъ противъ нападеній Шишкова, но и новыя понятія о наукѣ, воспитаніи и государственномъ устройствѣ.

Двѣ главныя задачи выставлялись на видъ «Сѣвернымъ Вѣстникомъ»: 1) усовершенствованіе воспитанія и 2) начертаніе новаго уложенія законовъ. По первому вопросу Мартыновъ сходилъ съ Пнинымъ, т. е. требовалъ, чтобы воспитаніе и обученіе сообразовались съ потребностями различныхъ классовъ народа. Крестьянину, по его мнѣнію, нужно было давать въ общественныхъ училищахъ только такія познанія, которыя сопряжены съ его отношеніями и нуждами его состоянія: «поправить соху, употребить простое механическое средство къ уменьшенію числа рукъ въ работѣ есть для него неопытное приобретеніе». «Но — продолжаетъ авторъ — поселянинъ долженъ пользоваться только практическимъ приведеніемъ въ дѣйствіе и выгодною изобрѣтенія: изученіе же ведущихъ къ тому математическихъ истинъ сопряженное съ многочисленными предварительными свѣдѣніями не должно лишать его времени, столь нужнаго для воздѣлыванія земли. Вообще, всякій человѣкъ, снискивающій себѣ пропитаніе тяжелой работой, выходитъ изъ своего состоянія, если возбу-

дается въ немъ наклонность къ умственнымъ упражненіямъ». «Сѣверный Вѣстникъ» хвалилъ книгу Гельмана, въ которой границы народнаго образованія опредѣлялись слѣдующимъ образомъ: «Не всѣ состоянія народа должны получать одинаковое просвѣщеніе. Науки, такъ называемыя свободныя искусства и всѣ тѣ наставленія, которыя составляютъ воспитаніе человѣка государственнаго, совсѣмъ неприличны для черни и даже вредны въ отношеніи къ общественному благоденствію. Сохрани насъ Богъ, если весь народъ будетъ состоять изъ ученыхъ, діалектиковъ, замысловатыхъ головъ. Но крайне несправедливо было бы отказывать народу въ пособіяхъ начальнаго образованія». Читатель спроситъ, можетъ быть, съ недоумѣніемъ: въ чемъ же заключается заслуга Мартынова, отстаивавшаго подобныя мысли о народномъ просвѣщеніи? Чтобы понять и эту заслугу, и относительный либерализмъ «Сѣвернаго Вѣстника», нужно вспомнить, что говорила въ то время противная сторона; иначе, по сравненію съ современнымъ взглядомъ на тотъ же предметъ, идеи Мартынова покажутся чистѣйшимъ обскурантизмомъ. Самъ Гельманъ говоритъ, что не всѣ писатели согласны съ его мнѣніями, и что многіе изъ нихъ «смотрятъ на просвѣщеніе, какъ на опасное орудіе въ рукахъ народа». Эти злонамѣренные писатели (какъ, напр., Жозефъ-де-Местръ и др.) нападали на первый базисъ науки — на тотъ скептицизмъ и критическое отношеніе къ дѣйствительности, отъ которыхъ рождаются, по ихъ словамъ, гордость и самомнѣніе въ человѣкѣ, и стремятся «вредить обществу», т. е. сословнымъ привилегіямъ, религіознымъ предразсудкамъ, политическому застою. Обскуранты предлагали держать, что называется, въ черномъ тѣлѣ не только рабочій, трудящійся классъ народа, но и все среднее сословіе: не давать имъ ни одной крупинки просвѣщенія, какъ бы ни была эта крупинка мала и ничтожна сама по себѣ. Важно то, что, разъ выступивъ на эту дорогу, дозволивъ народу отвѣдать «древа познанія», правительство, по ихъ мнѣнію, не будетъ уже въ силахъ остановиться, когда захочетъ, и естественное стремленіе освобожденныхъ умовъ повлечетъ его дальше и дальше. Политическая реакція въ Европѣ составила настоящій заговоръ противъ успѣховъ человѣческаго ума и не отступала ни передъ какими гнусными и іезуитскими средствами къ достиженію своей цѣли. На революцію указывали, какъ на неизбежный результатъ умственнаго развитія народа; чтобы избѣжать ея, совѣтовали, прежде всего, видѣть въ народѣ естественнаго врага своихъ правительствъ. Для правителя, слѣдовательно, сочинялась такая дилемма: или будъ обс-

курантомъ и наслаждайся мирно всѣми выгодами своего положенія, или заботься о просвѣщеніи, но сиди на вулканѣ. Подобные взгляды проникали уже къ намъ раньше и, безъ отпора со стороны самого безгласнаго общества, гнули и тѣснили его по произволу, приписывая ему такіе вредные, революціонные замыслы, о которыхъ оно и помыслить не смѣло. Вспомнимъ, какой переполохъ произвели у насъ весьма невинныя по мысли масонскія изданія Новикова; вспомнимъ, что Радищевъ уподоблялся, по своей вредности, Пугачеву... Александра I также запугивали перспективою разврата, разливающагося изъ заведенныхъ имъ университетовъ и гимназій. Въ приведенныхъ нами стихахъ Державинъ говорилъ, что просвѣщеніе и лишняя доброта царя повели во Франціи къ взрыву буйныхъ страстей; Шишковъ, въ свою очередь, напиралъ на упадокъ нравственности и религіознаго благочестія, какъ на слѣдствіе школьнаго обученія и вредныхъ книгъ. Рядомъ съ этими мнѣніями поставимъ другое, нашедшее себѣ пріютъ и защиту въ журналѣ Мартынова: «Привыкли уже мы слышать нареканіе, что просвѣщеніе въ наши времена произвело на Западѣ страшныя неустройства. Не оно, а невниманіе къ нему. Сто лѣтъ уже, какъ оно, развиваясь естественно въ народахъ, просило тамъ правителей пожалѣть о человѣчествѣ и примѣняться постепенно къ духу вѣка своего; оно просило, ему не внимали, его презирали, тѣснили, терзали; симъ самымъ оно укрѣпилось, сорвало личину съ предрасудковъ, злоупотребленій и лести, и умоляло; но неправды и своенравіе въ закоренѣлости своей торжествовали надъ народомъ безпечно и безстыдно. Оно издали предвѣщало громовыя тучи и нимало уже не виновно въ томъ злѣ, которое учинено буйствомъ ожесточеннымъ. Но какъ можно любить науки? всякій захочетъ быть умнѣе и съ достоинствомъ, и чѣмъ избранные только отличались, то будетъ не въ рѣдкости; онѣ не позволяютъ обманывать и обольщать людей: обманъ легко вскроется; не даютъ обидѣть сосѣда: сосѣдъ умѣетъ защитить свое право! мѣшаютъ жить на счетъ общаго добра: всѣ за него вступятся! Онѣ смѣлы и страшны, пресѣдуютъ злодѣя въ самую его душу — какъ можно не сердиться на нихъ? Онѣ обличаютъ тунеядца празднаго, который жигъ, гдѣ не сѣтъ, — и смѣются, если величается родомъ отъ златныхъ предковъ и пустотою поведенія, и богатствомъ, которое скоро разсыплется. Жестокія, онѣ такъ язвительно смѣются и такъ самонадежны и довольны! Юдлинно, въ самолюбіи человѣческомъ столь много есть причинъ, ю-

буждающихъ чуждаться наукъ, не признавать добра, отъ нихъ получаемаго, и не желать ихъ распространенія. Однако, просвѣщеніе никакою силою остановить невозможно, когда оно воспріяло ходъ свой; оно, какъ Протей, въ разныхъ видахъ повсюду возникаетъ. Остается заблаговременно усматривать необходимость и важность ученія по мѣрѣ надобностей вѣка: дабы правительство не оставалось позади успѣховъ народнаго смысла и всегда имѣло достаточное число людей всякаго званія для своихъ дѣйствій во благо народа». (См. «Сѣв. Вѣстн.» 1805 г. № XII; рѣчь при открытіи гимназій въ землѣ Войска Донскаго).

Сблизивъ между собою два эти мнѣнія, мы поймемъ безъ труда заслугу Мартынова. Рядомъ съ защитою просвѣщенія, въ первыхъ же нумерахъ «Сѣвернаго Вѣстника» за 1804 г. открылась горячая полемика между двумя противоположными взглядами на систему школьнаго обученія. Враги умственного развитія народа, примиряясь съ наукой, какъ съ необходимымъ зломъ, желали обезсилить ее, по крайней мѣрѣ, учебною формалистичею, строгою регламентаціей, которая не допустила бы въ школу ни одной свободной мысли, не подходящей подъ рубрики установленной программы.

Съ этою мыслью нѣкто Б. С. прислалъ въ редакцію «Сѣвернаго Вѣстника» свой проектъ школьнаго преподаванія, въ которомъ важны и любопытны слѣдующіе пункты: 1) Для очищенія всякаго рода ученія, тѣмъ болѣе правоучительнаго, отъ злоупотребленій, для достиженія надежнѣйшихъ успѣховъ въ ученіи—предложить награжденія за сочиненія на разныхъ языкахъ плановъ, заключающихъ въ себѣ удобнѣйшій порядокъ обученія всякой той наукѣ, которой можно обучать единообразно, и всякому языку, сколько то возможно, съ раздѣленіемъ ученія на ежедневныя уроки; 2) полученныя пособія, разсмотрѣнныя ученѣйшими и искуснѣйшими (людьми), кому поручено будетъ отъ главнаго правленія училищъ, и представленныя съ мнѣніями о каждомъ, подали бы случай одобрить и удостоить награжденія только одинъ (?) для всякаго ученія лучшій. 3) Какъ удивляютъ всѣхъ зрителей скорые и хорошіе успѣхи въ военныхъ акзерциціяхъ отъ того, что всякому обучающемуся солдату предписана единообразная и непремѣнная метода, такъ равномѣрно можно ожидать скорыхъ и хорошихъ успѣховъ въ наукахъ и языкахъ, единообразно преподаваемыхъ. 4) Надзираніе за учителями потребитѣ, нежели за учениками, дабы они

не теряли времени, на обученіе опредѣленнаго. Для надежнѣйшихъ успѣховъ потребно еженедѣльное испытаніе учениковъ чрезъ опредѣленнаго на то посторонняго воспитателя. 5) Посредствомъ печатныхъ методъ всякій отецъ или воспитатель и всякій посторонній можетъ испытывать всякаго ученика: знаетъ ли то, что долженъ узнать. 6) Сей способъ удобнѣе можетъ избавить Россію не токмо отъ ненужнаго и безполезнаго ученія разныхъ предметовъ, на которые теряютъ драгоцѣнное время, но и отъ многоразличныхъ въ наукахъ заблужденій, коими зараженные въ разныхъ государствахъ отъ обучающихся по своей волѣ, увлекаемы сами, и другихъ увлекаютъ въ развратнѣйшія мысли и дѣянія, даже въ самоубійство. Во многихъ сочиненіяхъ славнѣйшихъ древнихъ и новыхъ учителей можно найти опасныя заблужденія, которыя весьма нужно предупреждать предписанными методами и ученіями, дабы не было въ Россіи такого постыднаго въ наукахъ разномыслія, каковое посрамляетъ ученѣйшихъ въ другихъ европейскихъ областяхъ, гдѣ позволено учить отроковъ и юношей какъ кто хочетъ. 7) Споры между учеными происходятъ отъ несогласія съ одинаковою для всѣхъ правдою. 8) Отчего въ англійскомъ парламентѣ бѣольшая часть узаконеній всегда почти бываетъ оспариваема? Отчего между судьями объ одномъ дѣлѣ и по однимъ законамъ бываютъ разныя мнѣнія? Отчего между учеными объ одной наукѣ разныя утвержденія? Главная сему причина — недостатокъ единообразнаго обученія отъ разномысленныхъ учителей». — Печатаемая этотъ скалозубовскій проектъ, предлагавшій, задолго до Грибоѣдова, «фельдфебеля въ Вольтеры», — издатель, въ примѣчаніи къ нему, оставилъ за собой право сдѣлать на него возраженія. Возраженія появились въ слѣдующей книжкѣ. (См. № 2 «Сѣв. Вѣст.» 1804 г.). Здѣсь отдается честь автору за его «желаніе быть полезнымъ отечеству», но самый проектъ рѣшительно отвергается. Издатель говоритъ, что, въ силу этого проекта, «умы людей должны дѣйствовать не иначе, какъ по флигельману», и вооружается противъ него мнѣніемъ Шаптала, высказаннымъ по поводу однороднаго предложенія — завести во Франціи учебники, обязательные для всѣхъ профессоровъ и учителей. «Свобода въ способахъ ученія — говоритъ Шапталъ, — столько же естественна и полезна, какъ и свобода самаго ученія. Ограничить оное общими методами и заключить въ предѣлахъ, предписанныхъ властью, значило бы истребить наилучшее свойство онаго — независимость. Когда хотятъ все предвидѣть, все предписывать

уставами, то пренятствуютъ тѣмъ счастливымъ развитіямъ, тѣмъ неисчерпаемымъ пособіямъ, которыя служатъ плодомъ воображенія и отличныхъ талантовъ, свободныхъ отъ всякаго принужденія... Способъ обученія долженъ перемѣняться не только по разнымъ способностямъ учителей, но и учениковъ. Назначить каждому учителю родъ науки, которой онъ долженъ обучать, опредѣлить ему время для преподаванія оной есть долгъ правительства; но предписать ходъ идеямъ, положить предѣлы мысли и средства къ раскрытію оной есть самый несноснѣйшій родъ тиранства».

Взглядъ на политику и государственное устройство выражается, въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», въ тенденціозныхъ переводахъ изъ Тацита, Гиббона, Монтескьё, Гольбаха и др. писателей. Изъ Тацита брались обыкновенно рѣзкія филиппики противъ тирановъ; изъ Гольбаха переведена почти цѣликомъ «*La politique naturelle*». Цѣль этой книги—поставить политическія науки на здравыя начала, откинувъ «отвлеченныя и метафизическія понятія». Источникомъ общественной жизни полагается въ ней чувство общенія, свойственное каждому человѣку, укрѣпляемое привычкою и совершенствуемое разумомъ. Изъ чувства общенія возникаетъ любовь къ обществу. «Для собственныхъ своихъ выгодъ люди вступаютъ въ общество, и общество обязано доставить человѣку благосостояніе или содержать такой порядокъ, чтобъ каждый членъ общества пользовался всѣми выгодами, какія совмѣстны съ намѣреніемъ общенія». Человѣкъ даромъ, безъ замѣны, никогда не налагаетъ на себя ига зависимости. Когда же общество, или управляющіе имъ, вмѣсто того, чтобы доставить членамъ его всѣ возможные блага, угнетаютъ ихъ волю, принуждаютъ дѣлать «безполезныя и горестныя пожертвованія», стѣсняютъ ихъ трудолюбіе и промышленность, не доставляя даже простой безопасности—тогда человѣкъ не имѣетъ никакой нужды въ общеніи; онъ бѣжитъ отъ него: привязанность его къ обществу умираетъ. Онъ отдѣляется отъ общества, дѣлается ему врагомъ и ищетъ своего благополучія средствами, вредными его сочленамъ. Въ обществѣ, худо управляемомъ, почти всѣ люди бываютъ другъ другу врагами. Тогда человѣкъ для человѣка дѣлается з в ѣ р е м ѣ. Нормальная власть основывается единственно на своей способности творить добро, покровительствовать, руководствовать и доставлять благополучіе. Неравенство же природныхъ способностей не можетъ быть причиною зла; оно, напротивъ, есть истинное основаніе благополучія. Каждый приноситъ обществу

свою долю пользы, смотря по силамъ, и то, чего недостаетъ ему, требуетъ и получаетъ отъ другихъ. Изъ этихъ коренныхъ понятій Гольбахъ выводилъ всѣ дальнѣйшія политическія функціи. Такъ какъ потребности общества измѣняются, смотря по степени его развитія, то отсюда слѣдуетъ, что «законы гражданственныя», примѣненные къ обстоятельствамъ и нуждамъ общества, должны измѣняться вмѣстѣ съ ними. «Общества человѣческія, подобно тѣламъ естественнымъ, подвержены переменамъ; слѣдовательно, одни и тѣ же законы не могутъ причисляться имъ въ разныхъ обстоятельствахъ». Но законы гражданскіе не слѣдуетъ смѣшивать съ «законами естественными», т. е. съ естественнымъ правомъ человѣка на свободу и благополучіе, которое не можетъ быть отмѣнено никакими законами и, по существу своему, должно оставаться неизмѣннымъ. Тому же естественному регулятиву подчиняются и права человѣческихъ массъ, т. е. народовъ; ихъ взаимными отношеніями также долженъ руководить принципъ пользы, извлекаемой изъ мирнаго общежитія. Тѣмъ не менѣе цѣлому народу дозволяется, по ошибочному взгляду, грубое насиліе, потому что «одна сила рѣшаетъ всѣ ихъ распри: самовольныя ихъ дѣянія смѣшали съ правомъ и изъ того заключили, что существа, которымъ ничто не можетъ противиться, должны имѣть особое произвольное уложеніе».

Объ этихъ военныхъ расприхъ народовъ, рѣшаемыхъ силой, говорится въ разборѣ книги: «Разсужденіе о мирѣ и войнѣ», вышедшей въ Петербургѣ въ 1803 г. и составленной по сочиненію Б. Сень-Пьера: «Projet de paix perpetuelle». Рецензентъ «Сѣвернаго Вѣстника» начинаетъ свой разборъ сожалѣніемъ, что у насъ «очень рѣдко заглядываютъ въ такія книги; предубѣжденіе, или собственно недоразумѣніе, причиною того, что всякій навѣрно полагаетъ: если книга философическая, то она скучна и къ тому же невнятно и тяжелымъ слогомъ писана». Рецензентъ дѣлаетъ изъ этой книги пространныя извлеченія и добавляетъ къ нимъ свои собственныя примѣчанія, по большей части, въ хвалебномъ тонѣ. Но иногда онъ рѣшается и возражать.

Такъ, напр., авторъ «Разсужденія» говоритъ: «Привычка дѣлаетъ насъ ко всему равнодушными. Ослѣплены оною, мы не чувствуемъ всей лютости войны... Время намъ оставить сіе заблужденіе и истребить зло, подкрѣпленное всего болѣе невѣжествомъ «Если мы къ чему нибудь привыкли,—замѣчаетъ рецензентъ,—то отъ онаго можемъ со временемъ отвыкнуть. Привыкли мы къ войнѣ отъ невѣжества, отвыкнуть отъ нея должны съ истиннымъ просвѣщеніемъ».

Затѣмъ авторъ книги опровергаетъ разные доводы въ пользу войны и исчисляетъ происходящія отъ нея бѣдствія. Его рѣзкія осужденія всѣ выписаны рецензентомъ. «Войны,—говорится въ книгѣ,—начались въ тѣ несчастныя времена, когда родъ человѣческій сталъ развращенъ, когда люди оставили природную невинность, когда они пришли въ то несчастнѣйшее природы состояніе, въ коемъ, не довольствуясь малымъ, захотѣли имѣть всего и не знали другого права, кромѣ права гибельнѣйшаго,—права, лишающаго человѣка всѣхъ правъ—права разбойниковъ и грабителей... Праздныя толпы монаховъ, которыхъ благоденствіе зависѣло отъ невѣжества народовъ, питали оное, и большая часть людей воздавали нелѣпое почтеніе тѣмъ роскошнѣйшимъ и богатѣйшимъ монахамъ (т. е. папамъ), которые сдѣлали бога мира богомъ войны и обратили священный его законъ въ орудіе своихъ страстей». Что касается бѣдствій войны, то авторъ обращаетъ особенное вниманіе на экономическую ихъ сторону: «Правленія думаютъ, что довольно для бѣдныхъ завести милостинныя учрежденія, но они суть слабая вспомошествованія умножающейся бѣдности. Сіи учрежденія сдѣланы для нищихъ; но не одни тѣ нищіе, которые просятъ; цѣлыя провинціи и знатная часть жителей большихъ городовъ страдаютъ отъ бѣдности... Если люди преданы пьянству, если они грабятъ и убиваютъ, то не поношенія, а сожалѣнія и слезы они достойны; крайность ихъ побуждаетъ къ злодѣйству, бѣдность и нужда приводятъ ихъ въ отчаяніе и искореняютъ въ нихъ челоуѣколюбіе и стыдъ». Но отъ такого радикализма отказывается уже, однако, и самъ рецензентъ, которому почудилась, на этотъ разъ, чуть ли не пропаганда разбоя и грабежа. Онъ наставительно замѣчаетъ: «однако же, не взирая на сожалѣнія и слезы состраждущихъ о такихъ людяхъ, они должны, для спокойствія общественнаго, быть наказываемы или удержаны въ своихъ распутствахъ попеченіемъ правительства; вотъ что слѣдовало бы г. сочинителю тутъ прибавить». Впрочемъ, вся книга, въ главныхъ своихъ чертахъ, признана въ высшей степени полезнаю для русской публики, которая, на самомъ дѣлѣ, была очень склонна увлекаться подвигами «екатерининскихъ орловъ» и считать военный успѣхъ—верхомъ государственнаго величія.

Свобода печати была также предметомъ симпатіи «Сѣвернаго Вѣстника».

Въ № 8-мъ 1804 г. напечатано, съ одобрительною замѣткою, «Мнѣніе короля шведскаго Густава III-го». Король говоритъ: «Чтобы не попасть опять въ прежнія ужасныя времена, должно, чтобъ подкрѣпляемая и покровительствуемая свобода книго-

печатанія употреблена была для показанія всему обществу истиннаго его блага и для открытія государю мнѣнія народа. Еслибы таковая свобода позволяла была въ предыдущихъ вѣкахъ, чтобъ дать познать государю истинныя его пользы, находящіяся въ благосостояніи его подданныхъ, то король Карлъ XI, вѣроятно, не издалъ бы повелѣній насчетъ всеобщаго благосостоянія. Сія указы привели въ омерзѣніе королевскую власть и приготовили слѣды къ тому раздору, который похитилъ у королевства области въ царствованіе Карла XII-го, — къ раздору, коего горькими плодами были всѣ недавно прекращенныя безпорядки. Еслибы свобода книгопечатанія могла научить Карла XII, въ чемъ состояла его истинная слава, то сей великодушный государь предпочелъ бы управлять счастливымъ народомъ и не пожелалъ бы царствовать въ пространномъ, но безлюдномъ государствѣ. Въ Англіи свобода книгопечатанія запрещена была, когда Карлъ I былъ обезглавленъ, и когда укрывавшійся Яковъ II оставилъ престолъ предковъ своему любочестивому зятю. Сей народъ законно пользовался такимъ правомъ при концѣ царствованія Вильгельма III-го, или въ началѣ царствованія ганноверскаго дома, который владѣетъ теперь англійскимъ престоломъ съ болѣею славою и безопасностью, нежели всѣ предшествовавшіе ему. Хотя Вильгельмъ и произвелъ нѣкоторыя мятежныя движенія, но ихъ должно приписать болѣе неблагоразумному вниманію, оказанному правительствомъ его твореніямъ, нежели происшедшему отъ нихъ минутному чувствованію, которое оставило впечатлѣніе непродолжительнѣе того, которое оставляютъ и другія сего рода сочиненія... Знаніе всего производства дѣлъ въ присутственныхъ мѣстахъ, всѣхъ приговоровъ и того, что относится вообще къ судьямъ, должно быть неотъемлемо позволено публикѣ.

Эту рѣчь шведскаго короля, произнесенную въ засѣданіи сената (18 апрѣля 1774 г.), переводчикъ называетъ «достопримѣчательною» ¹⁾. Насчетъ печатанія судебныхъ рѣшеній переводчикъ говоритъ въ выноскѣ, что и у насъ положено тому начало указомъ 8 сѣнтября 1802 г., повелѣвшимъ, чтобы въ вѣдомостяхъ кратко объявлялись рѣшенія въ сенатѣ дѣла. Но онъ находитъ

¹⁾ Большая часть переводовъ и важнѣйшія изъ оригинальныхъ статей журналовъ принадлежатъ, вѣроятно, самому Мартынову: въ то время въ редакціяхъ было мало постоянныхъ сотрудниковъ, и редакторъ (онъ же обыкновенно, издатель) былъ заваленъ работою, часто не по силамъ. Н эту тяжесть журнальнаго труда печатно указывалъ Карамзинъ.

это недостаточнымъ и предлагаеъ печатать всѣ судебныя приговоры, а такъ какъ для этого не нашлось бы мѣста въ вѣдомостяхъ, то переводчикъ проэктируетъ особое изданіе подъ именемъ: «Памятникъ россійскаго правосудія».

«Судья,—говоритъ онъ,—подписывающій рѣшеніе судьбы равнаго, а часто высшаго его степенью согражданина, подвергнувшагося суду, съ трепетомъ и съ чистою совѣстью принимался бы за перо, зная, что дѣло его, вмѣсто того, чтобъ быть въ забвеніи въ архивѣ, извѣстно будетъ свѣту и потомству».

Къ Великобританіи и ея государственному устройству «Сѣверный Вѣстникъ» чувствовалъ гораздо больше уваженія, чѣмъ «Вѣстникъ Европы». Онъ даже напечаталъ проэктъ преобразованія (присланный въ редакцію постороннимъ лицомъ), по которому на русскую почву могли бы быть пересажены англійскія общественныя учрежденія. «Никакой народъ—говоритъ авторъ проэкта—въ наше время не заслуживаетъ большаго вниманія, какъ народъ великобританскій. Въ составъ правленія его введены всѣ благотворныя слѣдствія замѣчаній тысячи вѣковъ: введено положительное знаніе о человѣкѣ. Великобританія есть монархія но не видимъ мы въ ней вредныхъ неудобствъ власти цесарей; Великобританія есть аристократія, но не видимъ мы въ ней угнетательной гордости патриціевъ; Великобританія есть въ то же время и демократія, но не потрясается она буйствомъ наиболѣе многочисленнаго отдѣленія народа». Патріотизмъ возвысилъ, по мнѣнію автора, эту страну на высокую степень развитія—патріотизмъ, который проистекаетъ изъ любви къ свободнымъ учрежденіямъ, гарантирующимъ человѣку его естественныя права.

«Британецъ привязанъ къ государю своему, потому что онъ участвуетъ съ нимъ въ постановленіи законовъ... Британецъ любитъ своихъ перовъ, или преимущественныхъ главъ дворянскихъ семействъ, потому что они раздѣляютъ съ нимъ трудъ въ народныхъ постановленіяхъ, потому что существуетъ одинъ законъ для всѣхъ состояній, и потому что перъ благороднымъ своимъ имуществомъ отлично роскошествуетъ въ ободреніи ремесла и, слѣдовательно, питаетъ многихъ полезныхъ согражданъ». Но если патріотизмъ такъ силенъ и плодотворенъ въ Англіи, то отчего же не приноситъ ему подобной же пользы и въ Россіи?

Для этого авторъ проэкта даетъ совѣтъ: «Чтобъ какое либо государство могло возвести себя на нѣкоторую степень сравненія

съ Великобританіей,—правленію надлежитъ принимать не робкія, но дальновидныя и великодушныя мѣры; преимущественно дворянское отдѣленіе народа да содѣлается имущимъ и чрезъ то значащимъ и могущимъ заслуживать уваженіе всѣхъ прочихъ состояній. Для сего правленіе должно положить преграды пагубному размноженію дворянства... Постановивъ дворянское достоинство наградою за самую отличную или весьма долговременную службу отечеству, положится нѣкоторая преграда размноженію дворянства; я сказалъ бы, что необходимо нужно и далѣе положить преграды размноженію дворянъ даже въ самыхъ семействахъ ихъ (подразумѣвается майоратъ), ежели бы не видѣлъ чрезвычайныхъ, для приведенія сего вдругъ въ дѣйство, трудностей. Между симъ постановленіемъ и первымъ требуется нѣкоторое пространство времени. Чрезъ таковое учрежденіе государство увеличить свое среднее состояніе людей, усиленно клонящееся къ принятію какого нибудь постоянного ремесла... Дѣти всякаго чиновника, не имѣя права напыщаться дворянскимъ сословіемъ, не нашли бы другого средства отличить себя отъ простолюдиновъ, какъ чрезъ науки, изящныя искусства и художества... Дворянство само, чрезъ бѣольшую исключительность правъ своихъ, начало бы уважать свое состояніе и пецись рачительнѣе о собственности семействъ своихъ. Слѣдовательно, невѣжливая (sic) роскошь уменьшилась бы: благородныя имущества остепенились бы и пр. и пр. Итакъ, первая мѣра должна коснуться дворянства, постепенно вводя его въ рамки англійской аристократіи. Далѣе, авторъ проекта требуетъ законовъ, равныхъ для всѣхъ сословій... Объ уничтоженіи крѣпостнаго права говорится намекомъ: «рогатый скоть, овцы, лошади и прочіе (курсивъ въ подлинникѣ), находясь въ чьемъ либо исключительномъ владѣніи, препятствуютъ свободному употребленію и развитію произведеній». Чтобы уничтожить эти препятствія къ развитію народнаго богатства, но вмѣстѣ съ тѣмъ не нарушить привилегій, «злоупотребленіемъ постановленныхъ, временемъ утвержденныхъ». авторъ предлагаетъ вознаградить за потерю ихъ казенными землями, которыя остаются необработанными и не приносятъ никому пользы.

«Пусть правленіе—говоритъ онъ—по справедливости соблюдая сокровища государственныхъ, щедро раздастъ тѣ бесполезныя ему земли въ промѣнъ за вышеупомянутые предмѣты (выше упоминаются привилегированные торги, заводы и крѣпостные люди), которые оно, приобрѣвъ, по свойству каждаго изъ нихъ, или присвоить въ особенности себѣ (здѣсь разумѣются крестьяне), или

снабдить оными прилежныхъ, но скудныхъ землевладѣльцевъ». (См. «Сѣв. Вѣстн.» 1805 г. №№ 2 и 3).

Во всемъ этомъ проэктѣ ярко выразилось то самое либеральное направленіе съ англоманскимъ оттѣнкомъ, котораго держался Новосильцевъ и другіе приближенные молодого императора; можно думать даже, что проэктъ и былъ написанъ кѣмъ нибудь изъ вліятельныхъ лицъ. На это указываетъ, между прочимъ, поползновеніе къ аристократизму, желаніе учредить на Руси нѣчто въ родѣ англійскаго пэрства, которому приписывалась волшебная сила—создавать разомъ политическую свободу въ странѣ. Стоить только завести пэровъ—и «дворянскія имущества остепенятся», среднее сословіе устремится къ наукѣ, патріотизмъ разовьется въ Россіи; словомъ, господняя весъ слетитъ на землю. Не смотря на свою явную несостоятельность и противорѣчіе основному духу русской исторіи, подобная попытка пересадить къ намъ типическую форму англійскаго быта гнѣздилась долго въ извѣстныхъ кружкахъ и до сихъ поръ составляетъ предметъ тайныхъ воздыханій нѣкоторыхъ нашихъ крѣпостниковъ. Но въ оны дни это англоманство вязалось еще со многими хорошими стремленіями и не противорѣчило въ такой степени, какъ нынѣ, общественному развитію.

Впрочемъ, не всѣ литературные дѣятели—какъ мы увидимъ ниже—раздѣляли эту мысль о совершенномъ изолированіи дворянства, о вознесеніи его надъ всѣми остальными классами народа.

По части литературной критики, «Сѣверный Вѣстникъ» ввелъ окончательно въ моду ссылки на Франсуа Лагарпа, съ которымъ русская публика познакомилась, кажется, впервые изъ «Вѣстника Европы» (См. «Вѣстн. Евр.» 1803 г. №№ 3 и 6). Въ то время, къ сожалѣнію, не привилась въ Россіи другая, стройно-созданная критическая система—Лессинга,—и Мартыновъ, какъ въ своемъ журналѣ, такъ и въ профессорскихъ лекціяхъ въ педагогическомъ институтѣ, руководствовался правилами тщедушной эстетики, выросшей во французскомъ псевдо-классицизмѣ. Впрочемъ, въ его рукахъ псевдо-классическая теорія не сдѣлалась еще орудіемъ литературнаго застоя: не каждую мысль Лагарпа ¹⁾ бралъ онъ съ безусловною вѣрою, а въ своемъ «Лицеѣ» даже прямо напалъ на него за безцеремонное обращеніе съ литературой XVIII-го

¹⁾ Этого Лагарпа (1754—1803), драматическаго писателя и представителя ложно-классической теоріи, не слѣдуетъ смѣшивать съ Фредерикомъ-Сезаромъ Лагарпомъ (1754—1838), воспитателемъ имп. Александра Павловича.

столѣтія. «Смерть — сказано въ этомъ журналѣ — воспрепятствовала Лагарпу обругать Вольтера, Ж. Ж. Руссо и Кондорса, а любопытно было бы видѣть, какъ бы онъ сталъ управляться на поединкѣ съ сими тремя колоссами. Въ томъ, что время дозволило ему докончить, онъ весьма часто говоритъ объ нихъ; это рядъ ошибокъ передъ большимъ сраженіемъ. По легкимъ войскамъ, впередъ имъ посланнымъ, можно заключить, каковъ бы былъ главный корпусъ: одни кривыя толкованія, недоразумѣнія и оскорбленія». Возраженія противъ Гельвеція слѣдовало писать, по мнѣнію «Лицея», другимъ слогомъ, т. е. съ большимъ уваженіемъ къ философской мысли; насчетъ же приемовъ Лагарпа въ восхваленіи Кондильяка рецензентъ выражается такъ: «метода Лагарпа состоитъ въ томъ, чтобы пользоваться Локкомъ для удержанія Кондильяка всякій разъ, когда онъ пойдетъ далѣе его, и Кондильякомъ для удержанія философовъ, его учениковъ и продолжателей его открытій, какъ скоро они, хотя на шагъ, пойдутъ далѣе своего учителя. Сомнительно, чтобы сія система была очень благопріятна для успѣховъ ума человѣческаго». Намъ извѣстно также, что и позднѣе, при болѣе живомъ направленіи русской поэзіи, Мартыновъ не становился ему поперекъ дороги и сочувствовалъ дѣятельности Пушкина. При этомъ онъ говорилъ, что не принадлежитъ къ тѣмъ «сухимъ педантамъ», которые «въ смѣлыхъ порывахъ зрятъ дерзкое стремленіе», и которымъ «новый блескъ» омрачаетъ глаза. Это не то, что Каченовскій, нападавшій до изступленія на пушкинскаго «Руслана» за его литературный либерализмъ.—Въ программѣ «Лицея» 1806 г. мы видимъ новый отдѣлъ—политику, которая ограничивалась впрочемъ краткимъ перечнемъ текущихъ событій.

IX.

„Періодическое изданіе Общества любителей словесности“.—Теорія общественнаго воспитанія, изложенная въ немъ.—Политическія статьи въ „Геніи времени“.—Перемѣна въ отзывахъ русской прессы о Наполеонѣ.—„С.-Петербургскій Вѣстникъ“.—Толки объ освобожденіи крестьянъ въ правительственныхъ сферахъ и въ печати.—Осужденіе трансцендентальной философіи.—Воинственный отголосокъ 1812 года.

Англоманская попытка обособить дворянство въ средѣ другихъ сословій, снабдивъ его новыми привилегіями, представляла только извѣстную струю, но не господствующее направленіе въ русской журналистикѣ. Одновременно съ нею мы встрѣ-

чаемъ другое, болѣе раціональное стремленіе — объединить, путемъ воспитанія, интересы различныхъ классовъ народа, уничтожить вредный эгоизмъ, семейный или сословный, идущій въ разрѣзъ съ требованіями общенародной пользы. Въ такомъ духѣ написана статья В. Попугаева, занимающая видное мѣсто въ «Періодическомъ изданіи Общества любителей словесности» на 1804 годѣ. Статья состоитъ изъ пяти главъ, подъ особыми названіями, въ которыхъ говорится о политическомъ развитіи вообще, о необходимости политическаго воспитанія и объ «ученыхъ предметахъ», могущихъ служить къ развитію общественнаго духа въ воспитанникахъ. Авторъ, прежде всего, отстаиваетъ общественное воспитаніе въ противоположность семейному. «Правда — говоритъ онъ — общественное воспитаніе, въ дѣтствѣ, сколько въѣдряетъ въ сердце наше изящныхъ добродѣтелей, сколько способствуетъ къ развитію силъ душевныхъ и тѣлесныхъ, столько часто, — если пренебреженъ будетъ строгій присмотръ за правами, — даетъ сильно распространяться порокамъ, кои, подобно пламени, находящему богатую пищу между дѣтскими юнными и пылкими, вдругъ пожираютъ множество поколѣній и распространяютъ оное еще на многія. Сія точка есть одна изъ важнѣйшихъ, гдѣ око законодателя и его исполнителей должно быть наиболѣе предвидящее. Добрые нравы въ гражданахъ необходимѣ самого просвѣщенія, но безъ просвѣщенія добрые нравы рѣдки; по крайней мѣрѣ, оныя не имѣютъ полезнаго направленія. Многіе утверждаютъ, что семейственное воспитаніе сохраняетъ чистоту нравовъ и непорочность юныхъ сердецъ: — нѣтъ ничего истиннѣе, но токмо тогда, когда дѣти имѣютъ добродѣтельныхъ, просвѣщенныхъ родителей, а сіе столь рѣдко, что когда дѣло идетъ о цѣлости народа (т.-е. о цѣломъ народѣ) — въ основное положеніе не пріемлется. Но положимъ, еслибъ сему было и противное, то самыя семейственныя предубѣжденія достаточны исказить самую благоразумную нравственность. Даже и тогда, когда бы просвѣщеніе было удѣломъ цѣлости народовъ, семейственное воспитаніе можетъ научить токмо людей быть добрыми отцами, супругами, родственниками, но никогда совершенными гражданами. Эгоизмъ, — удѣлъ всѣхъ людей, и, можетъ, не токмо необходимый, но и полезный въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, — будетъ ихъ всегда отдалять отъ чувства общности. Ибо люди, воспитанные въ семействахъ, почитаютъ себя обществу ничѣмъ не одолженными; привычка къ выгодамъ общественнымъ дѣлаетъ имъ непріятнымъ благо, неотвѣнной связью гражданскихъ выгодъ на нихъ изли-

ваемое; они видятъ во всемъ одни условія ¹⁾ и нисколько не думаютъ: сколько вѣковъ и сколь напряженія геніевъ стоило природѣ, дабы образовать связь благодѣтельную сообщества и потому, какимъ пожертвованіемъ сіе каждого обязываетъ къ пользѣ онаго. Одно общественное воспитаніе, одно такое воспитаніе, направленное къ моральной цѣли, даетъ гражданину чувствовать, съ самаго его младенчества, что государственное общество печется о его благѣ, что оно ему не менѣе благодѣлствуетъ, но еще болѣе, какъ самые родители, ибо первые показываютъ ему токмо выгоды семейственныя, кои сами оснуются на выгодахъ общественныхъ, — въ то время, когда такое воспитаніе показываетъ ему все назначеніе, коимъ онъ обязанъ къ согражданамъ за тѣ блага, кои соединеніе ихъ (т. е. гражданъ) на него изливаетъ». Это общественное воспитаніе, кромѣ элемента моральнаго, требуетъ еще направленія политическаго, которое состоитъ въ томъ, чтобы объяснить каждому воспитаннику причину его обязанностей къ обществу, указать благо, соединенное съ исполненіемъ этихъ обязанностей, и научить средствамъ служить обществу съ наибольшею пользою для гражданъ и себя самого. Такое направленіе можетъ существовать, по понятію автора, только въ томъ случаѣ, когда государство возьметъ на себя обязанность просвѣтить весь народъ, безъ различія, въ духѣ одинаковыхъ правилъ общежитія. Противъ односторонности воспитанія, приноровленнаго исключительно къ потребностямъ высшаго класса, авторъ возстаетъ очень сильно и призываетъ себя на помощь наказъ Екатерины II. «Сіе влечетъ за собою—говорится во второй главѣ статьи—предубѣжденіе знатности, гордость породы и презрѣніе къ низкимъ классамъ. Онѣя образуютъ духъ дворянства и сѣютъ въ гражданскихъ классахъ взаимную, такъ сказать, антипатію. Во Франціи, въ старомъ правленіи, презрѣніе дворянства къ простолюдинамъ возросло до удивительной степени; дворянинъ почиталъ за самый великій стыдъ не токмо входить въ какія либо связи съ простымъ гражданиномъ, но даже быть въ одномъ мѣстѣ; въ Германіи, во время Іосифа II, дворянство требовало имѣть даже особія гульбища отъ народа. Въ Англіи одинъ знаменитый писатель находилъ, что безсмертный авторскій талантъ и его творенія были предосудительны еи знатности. Великая Екатерина, вмѣстѣ съ Петромъ Великимъ, столько содѣйствовавшая къ утвержде-

¹⁾ Т. е. условія, уже данныя временемъ, въ которое они живутъ.

нію въ Россіи смѣшаннаго монархическаго правленія, мудро предвидѣла и долженствующее необходимо укорениться въ ономъ раздѣленіе состоянія гражданъ, на основаніи безсмертнаго Монтескьё необходимаго; предвидѣла и предубѣжденія, вполнѣдствіи содѣйствовавшія къ разрушенію сильной монархіи Бурбоновъ, и предупредила то: безсмертный законъ, — лишающій дворянина всѣхъ правъ на почтеніе и даже голоса въ дворянскомъ обществѣ, если онъ не заслужилъ дворянское состояніе въ государственной гражданской или военной службѣ, — направилъ умы дворянства не къ чести породы, но къ службѣ отечеству; а какъ сей путь не загражденъ ни которому состоянію, то дворянство, научась уважать службу, научилось уважать вмѣстѣ и достоинства во всѣхъ состояніяхъ. Нынѣ уже не спрашиваютъ, въ обществахъ нашихъ, дворянинъ ли онъ, простираются ли его предки до праотца Ноя и проч., но спрашиваютъ, какимъ достоинствомъ уважило отечество его заслуги. Одни провинціалы наши, въ своихъ степныхъ изгородахъ, гордятся своимъ дворянствомъ передъ крестьянами. Всѣ образованные, достойные дворяне стыдятся это одно поставить себѣ въ достоинство. Слава Екатеринѣ, безсмертіе ея имени... (Тутъ въ подлинникѣ стоятъ въ нѣсколько рядовъ точки, означающія, вѣроятно, руку цензора). Итакъ, когда столь счастливое вліяніе геній Екатерины имѣлъ на наши нравы мудрыми своими уставами, монархи, ея наслѣдники, сохранять ея законы и особенно тотъ, о коемъ говорится, какъ святыню. Но гдѣ средства храненію?—Въ общественномъ воспитаніи. Правда, невозможно, всѣхъ воспитать въ такой обширной имперіи въ единомъ обществѣ и особенно содержать; ибо положимъ, что просвѣщеніе дворянства, нынѣ столь распространившееся, попустить, чтобъ благородное юношество обучалось вмѣстѣ съ мѣщанскимъ, но богачъ никогда не согласится, чтобъ сынъ его довольствовался тою же умѣренной пищею, которою довольствуется сынъ обыкновеннаго гражданина, а государство для всѣхъ иногда дать не можетъ; но есть предубѣжденія въ народахъ и классахъ оныхъ, которыя законодателямъ уважать должно, особенно тогда, когда оныя такого рода, что нарушеніе оныхъ можетъ имѣть худыя слѣдствія, а оставленіе не влечетъ за собою примѣтнаго вреда. Сіе послѣднее есть одно изъ подобныхъ. Слѣдственно, не каснувшись онаго, верховная власть мудро сдѣлаетъ, если, учинивъ просвѣщеніе необходимымъ, заставить всѣхъ гражданъ жить, какъ

имъ угодно, но просвѣщаться въ однихъ. правленіемъ признанныхъ и утвержденныхъ, мѣстахъ».

Авторъ считаетъ необходимой строгую постепенность въ учебныхъ курсахъ казенныхъ училищъ—высшихъ и низшихъ—но эта постепенность опредѣляется у него не сословными соображеніями, а степенью развитія и потребностями самихъ воспитанниковъ; онъ очень заботится о томъ, чтобы «умы чрезвычайные», которые могутъ встрѣтиться во всякомъ сословіи, на всякой ступени общественной лѣстницы, имѣли свободный доступъ къ высокимъ гражданскимъ должностямъ. «Несчастье—восклицаетъ онъ—если государство, отечество сихъ геніевъ, стоитъ на такой ногѣ, что кругъ ихъ дѣйствій (на пользу общества) опредѣленъ состояніями, и гдѣ чрезвычайный умъ, со всеѣмъ своимъ напряженіемъ, дѣлаетъ тщетныя усилія, дабы взойти на мѣсто, ему самую природою предназначенное; тогда самый порывъ сей, самый чрезвычайный умъ сей совращается съ пути, ему назначеннаго, и внушаетъ ему желаніе опроверженія того, что препятствуетъ ему въ ходѣ. Если онъ таковъ, что силы его достаточны и обстоятельства благоуспѣшны, то онъ побѣждаетъ препоны и преобразуетъ погрѣшности. Но если противное, то тщетныя покушенія возбуждаютъ мятежъ и беспокойства въ государствѣ, и служатъ къ гибели или перваго, или послѣдняго». На этомъ основаніи, чтобы не закрывать ни для кого дороги къ государственной дѣятельности, авторъ считаетъ нужнымъ ввести во всѣ училища преподаваніе исторіи законовѣдѣнія. «Надлежитъ—по его мнѣнію—чтобы курсъ законовъ, къ степени училища и нуждъ обучающихся приноровленный, былъ важнѣйшимъ предметомъ, поелику каждому гражданину необходимо знать свои права въ гражданскомъ кругу. Тамъ, гдѣ сіе, покрыто неизвѣстностью, гражданинъ не можетъ наслаждаться гражданской свободою и спокойствіемъ, не зная: гдѣ, когда и какъ надлежитъ ему дѣйствовать. Онъ живетъ всегда между страхомъ и надеждою, и потому состояніе его есть состояніе мучительное; онъ всегда трепещетъ, когда дѣйствуетъ, не зная, сообразны ли дѣйствія его съ волею законовъ. Самое имя законовъ, которое во всякомъ благоустроенномъ обществѣ должно быть произносимо гражданами съ сердечнымъ умиленіемъ и гордостью, дѣлается ему ужасно и произносится имъ съ внутреннимъ содроганіемъ, будучи для него покрыто таинственною завѣсою неизвѣстности. Самыя мѣста правительства, коимъ поручается храненіе законовъ, дѣлаются для него мѣстомъ, въ которое онъ вступаетъ всегда неохотно и робкимъ шагомъ, ибо ему представляется мысль, что,

можетъ быть, въ невѣдѣніи онъ преступилъ законы, за кои въ оныхъ готовится ему наказаніе. Тогда граждане въ правленіи не видятъ болѣе благодѣтельствъ, но строгаго судью, котораго мечъ всегда обнаженъ и разить прибѣгнувшихъ къ его справедливости неожиданно и прежде, нежели ему извѣстна причина. Въ такомъ гражданскомъ кругу, между такими гражданами, судья, если къ несчастію сіе мѣсто занято будетъ злодѣемъ, легко можетъ свирѣпствовать и угнетать согражданъ, легко можетъ содѣлать самое правосудіе продажнымъ, и въ то время—гдѣ искать гражданского благосостоянія и безопасности? Въ благоустроенномъ правленіи надлежитъ, чтобъ законы всѣмъ извѣстны были, чтобъ всякій гражданинъ, впадая въ преступленіе, зналъ, противу какого закона онъ преступилъ, прежде нежели то возвѣстится ему судьей; чтобъ дѣло судьи было ему доказать, что онъ преступилъ законъ, уже ему извѣстный, и чтобъ самая сентенція виновному гражданину была извѣстна прежде, нежели онъ услышитъ гласъ исполнителя законовъ, его осуждающаго.

Преподаваніе исторіи должно быть ведено наиболѣе развивающимъ способомъ, и историческіе факты должны быть сгруппированы такъ, чтобы по нимъ можно было прослѣдить постепенное созрѣваніе общественной мысли и измѣненіе къ лучшему политическихъ формъ. «Исторія—такъ развиваетъ авторъ свою мысль—написанная въ философическомъ духѣ и не какъ лѣтописи, кои показываютъ только рядъ происшествій и поколѣній, но предлагающая не токмо чрезвычайные случаи и измѣненія народовъ, но вмѣстѣ причины всѣхъ, примѣчанія заслуживающихъ, происшествій и побужденія, заставляющія стремиться необыкновенныхъ мужей къ цѣли ихъ дѣйствій—есть истинно наука, долженствующая въ общественномъ воспитаніи, во всѣхъ онаго отдѣленіяхъ, быть необходимою: не для того, чтобы оная дѣйствительно была необходима всѣмъ гражданамъ. Нѣтъ! если брать вообще, то она полезна для гражданъ единою нравственностью, кою всегда лучше, съ нарочно извлеченными правилами, преподавать особенно (?). Гражданину, который не назначаетъ себя служить въ правленіи отечеству, оная не нужна: обыкновенный человѣкъ всегда входитъ въ кругъ, уже предуготовленный, онъ никогда не думаетъ объ измѣненіи онаго, онъ пользуется только его выгодами, дабы посредствомъ оныхъ обезпечить свое состояніе и доставить то дѣтямъ. Но оная нужна людямъ чрезвычайнымъ, дабы умѣрить безпокойный порывъ ихъ, за предѣлъ возможнаго дѣйствія стремящійся, который часто губить или ихъ самихъ, или народъ, между которыми они родились, дабы показать имъ примѣрами самаго

имъ угодно, но просвѣщаться въ однихъ, и думать не можетъ, что
ныхъ и утвержденныхъ, мѣстахъ».

Авторъ считаетъ необходимой строгою похвалою отъ него требуется,
ныхъ курсахъ казенныхъ училищъ — *самъ* извѣстное, нужное напри-
постепенность опредѣляется у него *необходимости* съ Фабіемъ, мудрой дѣя-
а степенью развитія и потреб- *необходимости* съ Сократомъ и Ка-
онъ очень заботится о томъ *общему* съ Деціемъ и проч. Вотъ
рые могутъ встрѣтиться въ *необходима* исторія; но поелику ученію
общественной лѣстницы, *то* время, когда самые гении весьма
гражданскимъ должно *людей* отличаются, — то требуется
государство, отечест- *людей* пренебрежены не были, содѣлать
кругъ ихъ дѣйствіи *всѣмъ* гражданамъ». Переходя къ
ми, и гдѣ чрезъ *всѣмъ* гражданамъ *всѣмъ* гражданамъ». Переходя къ
дѣлаетъ тщет- *развитію* развитія юношей, авторъ говоритъ, что
родою пред- *развитію* развитія юношей, авторъ говоритъ, что
чайный у *развитію* развитія юношей, авторъ говоритъ, что
внуша *развитію* развитія юношей, авторъ говоритъ, что
преп- *развитію* развитія юношей, авторъ говоритъ, что
его д- *развитію* развитія юношей, авторъ говоритъ, что
дае- *развитію* развитія юношей, авторъ говоритъ, что
то- *развитію* развитія юношей, авторъ говоритъ, что
с- *развитію* развитія юношей, авторъ говоритъ, что
и какое правительство устраивали благоденствіе людей, какъ
распространялось въ государствахъ просвѣщеніе, какое направле-
ніе давало оно народу и само получало подъ вліяніемъ мѣстныхъ
условій? «Обыкновенный образъ писать исторію — прибавляетъ
онъ — весьма недостаточенъ и для преподаванія въ обществен-
ныхъ училищахъ совсѣмъ неспособенъ. Всѣ наши исторіи или
писаны весьма обширно, или весьма кратко; въ нихъ много вы-
пущено чертъ сильныхъ, много есть такого, что къ воспитанію
ни мало не служитъ, и, наконецъ, много даже такого, что можетъ
дать юношеству или худой примѣръ, или совратить съ истиннаго
пути. Исторія требуетъ для начертанія пера великаго, а, можетъ
быть, и героя. Надобно непременно, чтобъ историкъ чувствовалъ
совершенно всю цѣну великаго дѣла, надобно, чтобъ перо его
пылало сердечнымъ жаромъ, когда онъ описываетъ то, что слу-
жило къ возвышенію благоденствія народовъ, чтобъ онъ проли-
валъ слезы, описывая бѣдствія человѣческія. Нѣсколько
образцовъ для исторіи видимъ мы, въ концѣ древ-
нихъ народовъ, у Тацита и у нѣкоторыхъ изъ греческихъ
писателей. Изъ новѣйшихъ писателей можетъ быть упомянутъ
едва ли не одинъ Гиббонъ». Курсъ исторіи долженъ сообразо-
ваться съ тѣмъ родомъ занятій, которому намѣрены посвятить
себя ученики, но во всякомъ такомъ курсѣ, по словамъ автора,
«не должно быть забыто общее очертаніе всей цѣлости исторіи,

...хоть случится, что тотъ, кто назначаетъ себя быть
дѣйстви дѣлается воиномъ, министромъ; что тотъ,
...воиномъ, вступаетъ впоследствии въ состоя-
...воспитаніе должно его ко всему пригото-

...а свой запутанный слогъ и нѣсколько странную
(какъ, напр., «изученіе исторіи полезно для граж-
данскою нравственностью» и притомъ полезно только для
чрезвычайныхъ»), не смотря даже на шаткость надеждъ,
положенныхъ на изученіе законодательства въ томъ видѣ, въ
какомъ оно дѣйствовало въ нашей странѣ, статья эта, по своей
основной идеѣ — сдѣлать политическое развитіе общимъ досто-
яніемъ всѣхъ классовъ народа, — заслуживаетъ особеннаго вниманія
и выгодно отличается не только отъ англоманскихъ затѣй рус-
скихъ реформаторовъ, но даже и отъ книги Пнина, въ которой
авторъ удѣляетъ политическое образованіе одному высшему со-
словію въ государствѣ.

Нерасположеніе къ рабству выражается въ «Періодическомъ
изданіи» косвеннымъ образомъ — въ переводномъ очеркѣ того же
В. Попугаева подъ названіемъ: «Негръ». Здѣсь авторъ обра-
щается къ торгашамъ-неграмъ съ такимъ увѣщаніемъ: «Что дѣ-
лаете вы, продавая собратій вашихъ? увы! сіе путь къ вашему
уничтоженію. Скоро загремятъ оковы во всемъ отечествѣ вашемъ,
въ сей славной обители праотцевъ вашихъ, въ землѣ независи-
мости... Кто позволилъ вамъ дѣлать невольниками собратій ва-
шихъ? Негръ не можетъ принадлежать бѣлому ни по какимъ
правамъ. Воля не есть продажная; цѣна золота всего свѣта не
въ силахъ оной заплатить, и никакой тиранъ ея располагать не
долженъ». Замѣчательно также стихотвореніе А. Измайлова: «Со-
ветъ одного Ирокойца» (т. е. прокеза), въ которомъ, подъ ви-
домъ Канады, представлена очевидно другая, болѣе знакомая
намъ сторона.

Чтобы усилить намекъ, авторъ (назвавшій себя переводчикомъ
съ ирокезскаго) придѣлалъ къ своимъ стихамъ пояснительное
примѣчаніе: «Можетъ быть, карточная игра «бостонъ» получила
свое названіе отъ города сего имени, который находится въ сѣ-
верной Америкѣ, гдѣ и Канада; такъ мудрено ли, что она тамъ
имѣетъ великое уваженіе, когда и здѣсь безъ нея жить не
могутъ».

Почтеніе къ наукѣ, двинутой впередъ трудами Галилея, Нью-
тона, Лавуазье и др., высказано въ стихотвореніи Востокова:
«Къ строителямъ храма познаній», въ которомъ благодушный

писатель относился весьма патетически къ успѣхамъ просвѣщенія въ Россіи и воодушевлялъ нашихъ научныхъ дѣятелей, рисуя имъ въ заманчивой картинѣ результаты ихъ добросовѣстныхъ трудовъ:

Вы, коихъ дивный умъ, художнически руки
Полезнымъ на землѣ посвящены трудамъ,
Чтобъ оныя воздвигать великолѣпный храмъ,
Который начали отцы, достроить внуки.
До половины днесъ уже воздвигнуть оны,
Обширеннѣе и богатѣе, и свѣтлѣе совсѣхъ сторонъ.
И вы взираете веселыми очами
На то, что удалось къ концу вамъ привести;
Основа твердая положена подъ вами,
Вершину заданія осталось лишь взнести.
О сколь счастливы тѣ, которыя довершенныя,
И преукрашенные святить сей будутъ храмъ!
И мы, живущи днесъ, и мы стоюмъ блаженны,
Что столько удалось столповъ поставить намъ;
Въ два вѣка столько въ немъ переработать камней,
Всему удобную, простую форму дать! и пр.

Политическое направленіе господствовало, какъ мы сказали, въ тогдашней журналистикѣ и пробивалось во всѣхъ наиболѣе замѣчательныхъ журнальных статьяхъ, хотя бы онѣ помѣщены были подъ рубриками науки, критики или беллетристики. Но многіе журналы занимались, кромѣ того, и текущей политикой. Въ 1807 г. основалась въ Петербургѣ исключительно-политическая частная газета: «Геній времени», выходившая два раза въ недѣлю, сначала подъ редакціей Ѳ. Шредера и Ив. Делаacroa, а въ 1808 и 1809 гг. подъ редакціей того же Шредера и Н. Греча, впервые выступившаго на журнальное поприще. Въ этой газетѣ печатались связныя политическія обзорѣнія и сообщались разныя историческія свѣдѣнія о тѣхъ странахъ, которыя выдвигались, по ходу дѣлъ, въ политическомъ отношеніи и, слѣдовательно, могли возбуждать интересъ — какъ прошлымъ, такъ и настоящимъ своимъ государственнымъ устройствомъ. Стоитъ замѣтить первое политическое обзорѣніе въ «Геніи времени», въ которомъ доказывается, что французскій королевскій домъ палъ оттого, что не умѣлъ согласовать своихъ законодательныхъ мѣръ съ духомъ времени, съ требованіями общества. «Вся конституція французскаго королевства — разсуждаетъ авторъ — состояла, наконецъ, изъ такихъ узаконеній, которыя почитались священными и ненарушимыми, но которыя, бывъ изданы для предковъ, угнетали потомство. Человѣколюбивый и благодѣтельный король Людовигъ XVI старался сіе зло отвратить, ибо онъ въ самомъ дѣлѣ

желалъ блаженства своему народу; но, поддерживая одну сторону, онъ оскорблялъ чрезъ то чувствительнѣйшимъ образомъ другую». Возникаетъ затѣмъ революція, произведенная нѣкоторыми злодѣями; изъ нея рождается власть Наполеона, который, «поработивъ народъ, сдѣлался самовластнымъ его деспотомъ» и устремилъ силы Франціи на завоеваніе разныхъ государствъ. Успѣху его завоеваній способствовала застарѣлость учреждений, которою страдали сосѣднія державы. «Ни одно министерство оныхъ не было одушевляемо дѣятельностью или, такъ сказать, новою жизнью; ни одна изъ сихъ державъ не старалась преобразовать свое правленіе сообразно духу столѣтія... Лава революціи, далѣе и далѣе разливаясь, срѣтала на пути своемъ токмо ветхія стѣны, повсюду сокрушала оныя, но вдругъ достигла она подошвы того йстаго гранитнаго утеса, на которомъ покоится орелъ Россіи; здѣсь она, огустѣвъ, превратилась въ мертвую окалину. Если кто желаетъ на сіе доказательства, тотъ пусть обратитъ взоръ свой на поступки, сдѣланные Наполеономъ. Въ Швейцаріи возмутилъ онъ поселянъ Цюриха возстать противъ гражданъ, ихъ угнетавшихъ, онъ напомнилъ имъ давно уже забытыя распри нѣкоторыхъ кантоновъ; въ Германіи старался онъ возбудить мятежъ въ мелкихъ княжествахъ, обольщая ихъ тѣмъ, что собственная ихъ выгода требуетъ противостать своимъ сосѣдямъ; онъ приказалъ объявить себя мессією жидовъ, дабы повсюду имѣть своихъ лазутчиковъ; онъ возмутилъ въ южной Пруссіи поляковъ, а чтобы въ Берлинѣ возжечь пагубный пламennyкъ междоусобія и представить жителямъ сей столицы правосуднаго и человеколюбиваго ихъ монарха въ ненавистномъ видѣ, онъ составилъ изъ мѣщанъ сего города національную гвардію и чрезъ то внушилъ имъ, что они до сего времени лишены были способовъ къ пріобрѣтенію военныхъ чиновъ. Такимъ образомъ, онъ обращаетъ въ свою пользу малые и большіе недостатки государственныхъ постановленій, чтобы разсѣять повсюду сѣмена раздора и возмутить мирныхъ подданныхъ противъ законныхъ своихъ монарховъ. Наконецъ, встрѣченъ онъ былъ такимъ народомъ, который славится духомъ національнаго единомыслія, который, воодушевляясь твердымъ и геройскимъ мужествомъ, начинаетъ шествовать на вышнюю степень совершенства и, слѣдовательно, не томится еще зломъ, происходящимъ отъ застарѣлости». Высказывая мысль, что законы государствъ должны видоизмѣняться съ развитіемъ политической жизни и не доходить

до застарѣлости, — авторъ приближался ко взгляду Гольбаха, уже приведенному нами.

Что касается личности Наполеона и отношенія къ ней русской прессы, то мы замѣтимъ кстати, что тонъ нашихъ печатныхъ отзывовъ о знаменитомъ императорѣ часто измѣнялся, смотря по тому, находилась ли Россія въ дружбѣ, или во враждѣ съ Франціей. Въ «Вѣстникѣ Европы» 1805 г. (№ 3), въ отдѣлѣ политики, высказывалась мысль, что «власть Наполеона не утверждена на прочномъ основаніи, и низверженіе его многія государства почли бы однимъ изъ счастливейшихъ происшествій». Въ томъ же журналѣ, и въ томъ же году (№ 5) рѣчь французскаго министра внутреннихъ дѣлъ, произнесенная въ законодательномъ корпусѣ, удостоилась въ выноскѣ слѣдующаго примѣчанія: «Рѣчь сія, конечно, никого не введетъ въ заблужденіе: опыты доказали, благоденствуетъ ли государство, управляемое одними солдатами. У кого виситъ надъ головою обнаженный мечъ, къ волоску привязанный, тотъ не можетъ искренно радоваться». Въ № 7 «Генія времени» 1807 года напечатана даже цѣлая статья: «Тамерланъ и Бонапарте», въ которой Тамерланъ, по своему человѣколюбію, ставится выше Наполеона. Похвалы Наполеону считались даже, въ то время, предосудительными въ цензурномъ смыслѣ. Такъ, напримѣръ, въ началѣ 1807 года, во время войны съ Франціей, запрещена была цензурнымъ комитетомъ книга: «Histoire de Bonaparte», и запрещена именно за то, что «сочинитель ея отъ начала до конца превозноситъ Бонапарте, какъ нѣкое божество, расточаетъ ему самыя подлыя ласкательства, представляетъ его властолюбивыя дѣянія въ самомъ благовидномъ видѣ и вообще обнаруживаетъ себя попеременно то почитателемъ революціи и всѣхъ ея ужасовъ, то подлымъ обожателемъ хищниковъ трона». Кажется, мудрено было энергичнѣе заклеить всякую попытку восхваленія Бонапарта. Тѣмъ не менѣе, вскорѣ по заключеніи тильзитскаго мира, отъ нашей печати потребовалось полнѣйшее уваженіе къ особѣ Наполеона, и журналы, не догадавшіеся своевременно измѣнить сердитый тонъ на другой, прямо противоположный, немедленно получали внушеніе отъ цензурнаго комитета. Въ мартовской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» 1808 г. сказано было: «Въ продолженіе прошедшаго похода, Наполеонъ всегда былъ близокъ къ гибели, и чѣмъ далѣе заходилъ, тѣмъ опасность его становилась ужаснѣе, неизбѣжнѣе... Еслибы миролюбивый Александръ не пожертвовалъ невѣрной союзницей благоденствію своей имперіи, то по сихъ поръ Богъ знаетъ, гдѣ бы былъ непобѣ-

димый Наполеонъ и великая армія великой націи... Теперь поднялась завѣса, и всѣ узнали, что прусскимъ кабинетомъ управлялъ Талейранъ, что прусскими силами располагалъ Талейранъ, что онъ нарочно поссорилъ сіе королевство со всѣми державами: съ Австріей, Россіей, Швеціей, Англіей; такъ усыпилъ Фридриха Вильгельма надеждою на миръ, что онъ вступилъ въ сраженіе въ твердомъ увѣреніи, что все кончится дружески. Теперь извѣстно, что измѣна генераловъ и комендантовъ,—чего, благодаря Бога, въ Россіи еще не случилось и долго не случится,—не мѣтѣ героическаго мужества и быстроты Наполеона способствовала завоеванію Пруссіи». Этотъ отзывъ вызвалъ со стороны министерства просвѣщенія рѣзкое замѣчаніе: «Таковыя выраженія неприличны и предосудительны настоящему положенію, въ какомъ находится Россія съ Франціей. Почему строжайшимъ образомъ предписать цензурному комитету, дабы воздержался позволять въ періодическихъ и другихъ сочиненіяхъ оскорбительныя разсужденія и проходилъ бы изданія съ наибольшою строгостію по матеріямъ политическимъ, которыхъ близко видѣть не могутъ сочинители, и, увлекаясь одною мечтою своихъ воображеній, пишутъ всякую всячину въ терминахъ неприличныхъ». Всѣмъ учебнымъ округамъ предписано было, чтобы цензура не пропускала «никакихъ артикуловъ, содержащихъ извѣстія и разсужденія политическія».

Журналисты не заставили долго ждать своего исправленія: подъ вліяніемъ «обстоятельствъ, отъ редакцій независящихъ», они мгновенно убѣдились въ величій Наполеона и запѣли ему самыя трогательныя днєнрамы. Въ 1809 г., мы читаемъ уже въ «Геніи временъ» такой отзывъ о Франціи: «Исполинскими шагами приближается сіе государство къ неожиданной степени величія и силы. Руководимая благоразуміемъ великаго мужа, имѣющаго во власти своей судьбу многихъ мильоновъ людей, она перерождается и вводитъ совершенно новый порядокъ вещей» и пр. и пр.—Въ числѣ журналовъ либеральнаго направленія не послѣднее мѣсто занимаетъ «С.-Петербургскій Вѣстникъ», изданный на 1812 г. Обществомъ любителей словесности. Журналъ этотъ состоялъ изъ трехъ отдѣловъ: 1) словесность, 2) наука и художество и 3) критика. Литературный отдѣлъ не отличается въ немъ нисколько преднамѣренною группировкою статей, но въ отдѣлахъ науки и критики замѣтенъ однообразный подборъ предметовъ и мнѣній. За текущей политикой «Санктпетербургскій Вѣстникъ» не слѣдилъ вовсе, но въ статьяхъ историческихъ, которыхъ было довольно много, онъ высказывалъ стремленіе къ сво-

бодѣ и къ расширенію народныхъ правъ. Въ № 4 этого журнала помѣщенъ отрывокъ изъ «Историческихъ уроковъ Кондильяка герцогу пармскому», въ которыхъ проводится взглядъ на исторію, какъ на хранилищу полезныхъ уроковъ, какъ на политическій кодексъ, откуда мыслящій человѣкъ можетъ почерпнуть для себя мудрыя правила и образцы для подражанія. Замѣчательныя совѣты, данный Кондильякомъ своему царственному ученику: «Читайте чаще плутарховы житія великихъ людей. Плутарховы герои были большею частію простые граждане; но и самые сильные государи тогда только велики предъ судомъ истины и разума, когда они имѣли для себя образцами сихъ гражданъ. Изберите себѣ и вы кого нибудь изъ нихъ для подражанія». Кондильякъ совѣтовалъ также правителямъ не стѣснять народной свободы, дабы не вызвать революціи, которая «не должна быть почитаема игрою слѣпаго случая». Въ той же книжкѣ «Спб. Вѣстника» приведена глава изъ книги Лабрюйера (*Les caractères*): «О личномъ достоинствѣ», гдѣ много говорится о правахъ личности, независимо отъ богатства и знатности, которыя часто достаются въ удѣлъ лишь негоднымъ и мелкимъ людямъ. Въ статьѣ о римской краснорѣчии (№ 6) доказывается, что краснорѣчіе процвѣтаетъ только въ свободныхъ странахъ, и что оно упало въ Римѣ при водвореніи деспотизма. Римляне были сначала—«вмѣстѣ подданные и великіе правители; они повиновались начальникамъ и судили ихъ, или лучше: они были природные судьи правителей и повиновались только законамъ...» Какъ бы въ дополненіе къ этой статьѣ, появилась въ слѣдующей книжкѣ другая — о Юліѣ Цезарѣ, гдѣ мы находимъ такую мысль: «онъ погибъ и заслужилъ погибѣль; въ правленіи свободномъ тотъ есть величайшій изъ злодѣевъ, кто покушается даже на остатки свободы». Подобныя мысли объ отношеніяхъ правителей къ народамъ не казались тогдашней цензурѣ особенно рѣзкими или зловредными; безъ сомнѣнія, онѣ не показались бы такими, еслибы стали извѣстны самому императору Александру I. Въ юности своей государь привыкъ слышать отъ Лагарпа весьма строгую оцѣнку своихъ общественныхъ обязанностей. «Весьма было бы желательно для Рима»—писалъ великій князь въ одной учебной тетради, подъ диктовку своего учителя,—«чтобы Помпей отличался столько же гражданскими доблестями, сколько въ качествѣ великаго полководца и правителя. Объяснимъ подробнѣе нами сказанное. Хорошій гражданинъ уважаетъ законы и управленіе своей страны... чѣмъ болѣе онъ исполняется чувствами обязанностей, связывающихъ его съ родною страню, тѣмъ болѣе онъ достоинъ уваженія. Простителю

дикому, не имѣющему никакой пищи, кромѣ гнилой рыбы, выброшенной волнами на ужасные берега, имѣ обитаемые, равнодушіе къ своей родинѣ и къ своимъ соплеменникамъ; но тотъ, кто имѣлъ счастье родиться въ средѣ образованнаго народа, чье дѣтство сопровождалось заботами его близкихъ, у кого подъ рукою были всѣ средства образованіи умъ, усовершенствовать разсудокъ, тотъ, кого судьба покровительствуетъ законами и гражданскими учрежденіями, тотъ, кто осыпанъ дарами фортуны, не будетъ ли неблагодарнѣйшимъ изъ людей, если не возлюбитъ страны, давшей ему всѣ эти блага? Но недовольно того, чтобы любить свою страну; недовольно того, чтобы предпочитать ее всякой другой: необходимо дать тому доказательства. Хорошій гражданинъ не щадитъ ни своего времени, ни своихъ трудовъ, чтобы сдѣлаться полезнымъ сыномъ отечеству. То самое чувство, повинувшись которому великодушный человѣкъ жертвуетъ всѣмъ для спасенія уважаемой, любимой имъ особы, то самое чувство побуждаетъ патріота жертвовать охотно имуществомъ, жизнью и даже самолюбіемъ, какъ только идетъ дѣло о спасеніи его родины, либо о благѣ человѣчества. Какъ цѣлью всякаго добраго гражданина должно быть благоденствіе общества, къ которому онъ принадлежитъ, то люди себялюбивые, малодушные, либо увлекаемые тщеславіемъ за предѣлы благоразумія, никогда не могутъ ее достигнуть. Себялюбцевъ называютъ того, кто любитъ одного себя, кто считаетъ всѣхъ прочихъ людей созданными для него одного, кто смотритъ равнодушно на счастье и несчастье другихъ людей. Желательно было бы для образумленія себялюбцевъ, чтобы общество лишило ихъ своего покровительства; тогда они вполнѣ почувствовали бы необходимость трудиться въ его пользу; тогда выраженія: отечество, общественное благо для нихъ уже не были бы пустыми словами. Малодушіе, не менѣе себялюбія, противно любви къ отечеству. Малодушный не можетъ ни на что рѣшиться, ни что либо привести въ исполненіе. Такой человѣкъ не посмѣетъ, предпочитая общую пользу своей собственной, рѣшиться на поступокъ, указываемый ему долгомъ и честью, какъ только это угрожаетъ ему гибелью; не онъ осмѣлится сказать истину своему государю, либо министрамъ его; не онъ подвергнетъ опасности свою жизнь, подобно Горацію Коклесу, въ защиту отечества; не онъ уклонится отъ участія въ незаконнѣи и скажетъ кровожадному тирану то, что сказалъ Палиніанъ Каракаллѣ: «гораздо легче совершить братоубійство, нежели оправдать его». Малодушный пожертвуетъ своей безопасности

всѣмъ: истиною, долгомъ, справедливостью, честью, отечествомъ и—прежде всего—своимъ государемъ, какъ только онъ можетъ это сдѣлать безнаказанно. И потому остерегайтесь себялюбцевъ и малодушныхъ, которые будутъ окружать васъ. Они вамъ могутъ сказать, что государи имѣютъ происхожденіе, отличное отъ другихъ людей, что вы свободны отъ обязанностей, лежащихъ на каждомъ изъ людей въ отношеніи къ человѣчеству и къ родинѣ, и если вы поддадитесь такимъ внушеніямъ, то станете избѣгать труда столько же охотно, сколько теперь находите удовольствія въ часы вашего отдыха». Въ другой тетради, куда вносились, подъ диктовку Лагарпа, и переписывались по нѣскольку разъ самимъ великимъ княземъ замѣтки на счетъ его прилежанія и поведенія, попадаетъ такая выразительная страница: «Я лѣннвецъ» — писалъ самъ о себѣ великій князь—«преданный безопасности, неспособный думать, говорить, дѣйствовать. Каждый день на меня жалуются; каждый день я обещаю исправиться и нарушаю данное мною слово. Какъ во мнѣ нѣтъ соревнованія и усердія, ни доброй воли,—то изъ меня едва ли можно что либо сдѣлать. Я ничтоженъ (je suis nul), и еслибъ можно было спуститься ниже нуля, то я послужилъ бы тому примѣромъ. Впрочемъ; зачѣмъ же мнѣ трудиться? Зачѣмъ беспокоиться? Зачѣмъ выходить изъ блаженной лѣни, которая мнѣ такъ нравится? Готентоты проводятъ цѣлые дни, сидя на мѣстѣ; почему же и мнѣ не дѣлать того же и въ особенности будучи принцемъ? Зачѣмъ мнѣ отличаться отъ множества подобныхъ мнѣ? Я никогда не буду терпѣть недостатка ни въ чемъ; у меня будутъ великолѣпные экипажи, много денегъ и толпа наущниковъ (flattereurs), которые ежеминутно станутъ повторять мнѣ, какъ я достоинъ любви, какъ я выше всѣхъ прочихъ людей. И кто посмѣетъ сомнѣваться въ томъ? Какая мнѣ нужда въ общемъ мнѣніи? Я сдѣлаю, какъ страусъ, который, какъ говорятъ, спрятавъ свою голову, считаетъ себя совершенно безопаснымъ отъ преслѣдующаго его охотника»¹⁾. Эту безпощадную строгость въ сужденіи о нравственныхъ качествахъ великаго князя, Лагарпъ хотѣлъ внушить ему, что и онъ не смотря на свое высокое общественное положеніе, долженъ по-

¹⁾ См. Сборникъ русскаго историческаго общества. Т. I, сл. г. Богдановича: «Учебныя книги и тетради в. к. Александра Павловича».

ситъ въ своей душѣ сознаніе гражданскаго долга и моральной отвѣтственности передъ судомъ современниковъ и потомства. И Александръ цѣнилъ и понималъ заботливость честнаго воспитателя: прекрасныя мысли, усвоенныя имъ смолоду, долго служили для него теоретическимъ критеріемъ государственной дѣятельности, и хотя заглушались нашею практикою, но никогда не пропадали окончательно подъ наплывомъ противоположныхъ вліяній.

О нашихъ внутреннихъ вопросахъ «С.-Петербургскій Вѣстникъ» не говорилъ прямо, но въ 7 № есть большое извлеченіе изъ книги англичанина Вильсона, рекомендованной редакціи А. Н. Оленинымъ: «Краткія замѣчанія о свойствѣхъ и составѣ русской арміи». Въ этой книгѣ авторъ защищаетъ русское правитель-ство отъ обвиненій въ деспотизмъ и удостовѣряетъ, что оно «далеко отъ того, чтобы налагать новыя цѣпи рабства; но что, напротивъ того, оно всѣми мѣрами старается распространить благоразумную свободу». О русской арміи сказано, что офицеры «обходятся съ солдатами весьма ласково и не такъ, какъ съ машинами, а какъ съ разумными существами», что солдаты «хотя родились въ рабствѣ, но духъ ихъ не униженъ». Самое рабство (т. е. крѣпостное право), по мнѣнію автора, можно было бы и уничтожить, но только съ соблюденіемъ нѣкоторой осторожной постепенности. «Съ чувствами и съ правилами, совсѣмъ противными продавцу невольниковъ — пишетъ онъ — я утверждаю, что самое большое несчастіе, могущее постигнуть Россію (!) было бы внезапное и общее истребленіе крѣпостнаго права; никакое предпріятіе не могло бы возродить равныхъ бѣдствій и столь великаго негодованія. Что бы сдѣлалось съ хворыми и престарѣлыми, еслибъ они вдругъ лишились прокормленія (примѣч. переводчика: прокормленія, которое имъ нынѣ обязаны давать помѣщики)? Что бы сдѣлалось съ дворовымъ, который, не имѣя никакой собственности; нигдѣ въ скоромъ времени не нашелъ бы мѣста для своего промысла? Защитники революціи не утрущаются всѣхъ сихъ затрудненій; но человѣкъ государственный, добрый гражданинъ, разсматривая оныя, уважить послѣдствія прежде, нежели приметъ всѣ сіи умствованія. Отъ многихъ знатныхъ особъ въ Россіи можно удостовѣриться, сколько людей, отпущенныхъ на волю и пришедшихъ въ старость, просятъ убѣжища у ихъ прежнихъ помѣщиковъ».

Подобныя возраженія противъ окончательной и быстрой развязки крестьянскаго вопроса часто приводились въ то время — и притомъ не только людьми, завѣдомо враждебными всѣмъ либе-

ральнымъ реформамъ, но даже ближайшими совѣтниками государя, которые раздѣляли, повидимому, его образъ мыслей и выражали готовность работать въ указанномъ имъ направленіи. Въ числѣ препятствій къ скорѣйшему освобожденію крестьянъ особенно выставлялись на видъ: во-первыхъ, опасность революціи, которую могутъ произвести злонамѣренные люди, пользуясь всеобщимъ возбужденіемъ умовъ; во-вторыхъ, неудобство при выкупѣ дворовыхъ людей, которые, по общему мнѣнію, никакъ не могли даромъ получить свои отпускныя свидѣтельства, а въ базнѣ не находилось достаточныхъ средствъ для такой огромной финансовой операціи. Возраженія эти раздавались въ «интимномъ комитетѣ» 1801 г. и добросовѣстно записаны гр. Строгановымъ въ недавно опубликованныхъ протоколахъ. Но въ томъ же комитетѣ нашлись люди, не желавшіе откладывать дѣла въ долгій ящикъ, и такимъ образомъ, въ нашемъ образованномъ обществѣ, возникла интересная борьба мнѣній, изъ которой только слабые отголоски попадали въ печать. Мы воспользуемся этимъ случаемъ, чтобы познакомить читателей съ главными аргументами обѣихъ сторонъ.

«Съ нѣкотораго времени» — сообщаетъ г. Строгановъ въ своихъ запискахъ — «многія лица, и въ особенности гг. Лагарпъ и Мордвиновъ, а особенно послѣдній, говорили императору о необходимости сдѣлать что нибудь въ пользу крестьянъ, которые были доведены до самаго плачевнаго состоянія, не имѣя никакого гражданскаго существованія. Все это не могло быть сдѣлано иначе, какъ постепенно, нечувствительно, и первый шагъ, который предлагалъ Мордвиновъ, состоялъ въ томъ, чтобы позволить тѣмъ, которые не были крѣпостными, покупать земли. Императоръ былъ согласенъ съ ними, но онъ желалъ, чтобы эти люди, которые будутъ имѣть право покупать только одніе земли, могли бы въ то же время покупать и крестьянъ; и крестьяне, которыми будутъ владѣть не-дворяне, могутъ подчиняться правиламъ, болѣе умѣреннымъ, и не считаться ихъ рабами (*esclaves*), какъ у дворянъ:—все это будетъ первымъ шагомъ къ ихъ благоденствію. Такимъ образомъ, императоръ опережалъ (?) г. Мордвинова, дозволяя также мѣщанамъ покупать крестьянъ. Вотъ какія замѣчанія сдѣлали мы ему на все это. Прежде всего, намъ казалось, что нововведеніе будетъ слишкомъ велико—позволить вдругъ покупать и земли, и крестьянъ; съ другой стороны, крестьяне, купленные мѣщанами съ меньшею властью надъ ними, для новыхъ покупателей представлятъ естественно меньше выгодъ, и потому такія продажи будутъ рѣдки, особенно со стороны прода-

цовъ: послѣдніе не захотятъ никогда продавать по пониженной цѣнѣ, когда у нихъ будетъ надежда продать крестьянъ полноправнымъ лицамъ (т. е. дворянамъ) за лучшую цѣну, а потому вся эта мѣра останется призрачною. Мало этого, масса людей, сдѣлавшись поземельными собственниками безъ населенія, увеличатъ цѣну на землю и направятъ дѣятельность свою такимъ образомъ, что будетъ стараться извлекать выгоды изъ земли независимо отъ крѣпостныхъ, что будетъ очень хорошо для промышленности и возвыситъ много цѣну на землю. Повидимому, его величество довольно сочувствовалъ этимъ соображеніямъ; заговорили затѣмъ о личной продажѣ и о предстоящей необходимости уничтожить этотъ варварскій обычай. Императоръ обратился къ проекту Зубова по этому предмету и прочелъ сго въ цѣлости. Въ этомъ проектѣ Зубовъ отличаетъ дворовыхъ отъ настоящихъ крестьянъ и запрещаетъ продавать крестьянъ безъ земли (дворовыхъ онъ предлагалъ записать въ гильдіи и сдѣлать имъ расчисленіе); онъ предлагалъ, если собственникамъ угодно, чтобы казна выкупила ихъ (т. е. дворовыхъ), опредѣлять цѣну выкупа и способъ, которому должно слѣдовать при раздачѣ наслѣдства, чтобы не раздѣлять членовъ одной и той же семьи. Казалось, что для выкупа Зубовъ указалъ не слишкомъ достаточныя средства; такія средства потребовали бы со стороны казны огромнаго расхода, котораго она не могла бы сдѣлать безъ большаго стѣсненія для себя. Мѣра приписки въ гильдію показала намъ столь же неудобною и несогласною съ духомъ народа, который вслѣдствіе того получилъ бы слишкомъ ложныя идеи о повиновеніи, которымъ они обязаны своимъ господамъ; подумаютъ, что они ничѣмъ не обязаны, и это повлечетъ за собою, съ одной стороны, весьма опасныя крайности, а въ собственникахъ—слишкомъ большое неудовольствіе для перваго раза. Тѣмъ не менѣе, его величество принялъ начало запрещенія личной продажи и дозволенія мѣщанамъ и казеннымъ крестьянамъ покупать недвижимую собственность. Вообще онъ приказалъ графу Кочубею, на основаніи принциповъ проекта Зубова, за исключеніемъ неудобствъ, представляемыхъ имъ, составить проектъ указа на тѣ два предмета». Слѣдующее засѣданіе комитета было посвящено вопросу о выкупѣ дворовыхъ. Пренія сосредоточивались на одномъ пунктѣ: что дѣлать съ выкупленными дворовыми людьми, если даже дѣло не остановится за деньгами? не увеличатъ ли они толпы бродягъ? На предложеніе выселить ихъ отвѣчали: «такое переселеніе требуетъ слишкомъ большихъ средствъ, а, какъ извѣстно, въ нашей имперіи переселенія совер-

шаются весьма дурно по причинѣ худыхъ чиновниковъ, которыхъ вынуждены повѣрять такого рода предпріятія». Выслушавъ эти замѣчанія, государь выразилъ желаніе, чтобы Новосильцевъ посоветовался съ Лагарпомъ и Мордвиновымъ: слѣдуетъ ли объявить разомъ двѣ эти мѣры — выкупъ крестьянъ и дозволеніе мѣщанамъ приобрѣтать земли — или раздѣлить ихъ приличнымъ промежуткомъ времени? Лагарпъ и Мордвиновъ — оба нашли необходимымъ отдѣлить эти двѣ мѣры и послѣднюю выполнить сейчасъ же, а выкупъ крестьянъ отложить на неопредѣленное время во избѣжаніе неудовольствій дворянства и слишкомъ большихъ надеждъ со стороны крестьянъ. Императоръ согласился на это, но графъ Кочубей, Чарторижскій и Строгановъ были противоположнаго мнѣнія. Первый изъ нихъ доказывалъ, что было бы несправедливо и неблагоприятно дать новыя права свободнымъ людямъ и казеннымъ крестьянамъ, и ничего не сдѣлать въ пользу крѣпостныхъ, которые живутъ бокъ о бокъ съ государственными крестьянами и, видя новыя преимущества сосѣдей, еще болѣе почувствуютъ тягость своего положенія. «Дворяне, говорилъ Кочубей, будутъ также недовольны; убѣдившись, что всѣ отдѣльныя мѣры клонятся къ освобожденію крестьянъ, они будутъ находиться въ постоянномъ опасеніи новыхъ мѣръ, а потому лучше рѣшить этотъ вопросъ однимъ разомъ». Князь Чарторижскій замѣтилъ только, что право помѣщиковъ на крестьянъ такъ ужасно (*si horribile*), что не должно ничего опасаться при нарушеніи его. Горячѣе всѣхъ отстаивалъ свое мнѣніе графъ Павелъ Александровичъ Строгановъ, ревностный почитатель Мирабо, защитникъ конституціонныхъ началъ, назначенный, по учрежденіи министерствъ, товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ. Доводы графа Строганова противъ медленности и нерѣшительности преобразованія распадались на двѣ части: сначала онъ опровергалъ возможность опасныхъ волненій со стороны дворянства, потомъ перешелъ къ крестьянамъ и охарактеризовалъ ихъ отношенія къ правительству:

«Что можетъ причинить опасное волненіе?» спрашивалъ онъ: — или партіи, или недовольныя лица. Какіе у насъ къ тому элементы? Народъ и дворянство. Что такое это дворянство, изъ какихъ элементовъ оно составлено, каковъ его духъ? Дворянство составилось у насъ изъ множества людей, которые сдѣлались дворянами только по службѣ, которые не получили никакого воспитанія... ни право, ни законъ, ничто не можетъ породить въ нихъ идеи о самомалѣйшемъ сопротивленіи; это

классъ самый невѣжественный, самый ничтожный и въ своемъ духѣ болѣе всего неподвижный—вотъ приблизительная картина дворянства, населяющаго деревни. Получившіе воспитаніе, нѣсколько болѣе тщательное—во-первыхъ, они въ весьма небольшомъ числѣ и по большей части проникнуты духомъ, который ни малѣйше не склоненъ противоdѣйствовать ни одной мѣрѣ правительства. Тѣ же изъ дворянъ, которые имѣютъ настоящую идею о справедливости, должны рукоплескать подобной мѣрѣ; прочіе же, хотя они и въ большинствѣ, не подумаютъ ни о чемъ другомъ, какъ только поболтаютъ. Большая часть дворянства, состоящаго на службѣ, настроена въ одну сторону, и, къ несчастію, настроена такъ, чтобы видѣть въ исполненіи распоряженій правительства свои личныя выгоды... Вотъ приблизительная картина нашего дворянства: одна часть живетъ по деревнямъ и пребываетъ въ непроницаемомъ невѣжествѣ; а другая—на службѣ и проникнута духомъ вовсе не опаснымъ. Значительныхъ собственниковъ нечего бояться. Устранивъ первое возраженіе насчетъ опасныхъ элементовъ, таящихся будто бы въ русскомъ дворянствѣ, графъ Строгановъ изслѣдуетъ дальше и другую сторону вопроса.

«Эта другая сторона—по его мнѣнію—можетъ быть предполагается въ числѣ девяти милліоновъ людей, размѣщенныхъ въ разныхъ концахъ имперіи. По необходимости, они слѣдуютъ различнымъ обычаямъ и проникнуты въ различныхъ мѣстахъ различнымъ духомъ. А потому нельзя сказать, чтобы преобладающій духъ этого класса людей былъ повсюду одинъ и тотъ же. Тѣмъ не менѣе, они повсюду и одинаково чувствуютъ тяжесть своего рабства; повсюду мысль объ отсутствіи собственности давить ихъ способности и производить то, что промышленная дѣятельность этихъ 9 милліоновъ равняется, для народнаго благоденствія, нулю. Различіе одно:—въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ эти люди болѣе мягки, въ другихъ болѣе грубы, менѣе чувствуютъ потребности къ промышленности; въ иныхъ дѣятельность ихъ духа не позволяетъ имъ остановиться, но имъ приходится на каждомъ шагѣ встрѣчать препятствія, и ихъ способности не получаютъ того развитія, къ какому они рождены; они остаются подавленными и тѣмъ болѣе чувствуютъ свое положеніе. Всѣ они обладаютъ здравымъ смысломъ, который поражаетъ тѣхъ, которые видѣли ихъ вблизи. Они рано исполняются величайшею ненавистью къ классу помѣщиковъ, своихъ притѣснителей; между

этими классами господствует ненависть. Народъ всегда склоненъ къ правительству, ибо онъ вѣритъ, что императоръ постоянно стремится къ его защитѣ, такъ что, если является стѣснительная мѣра, ее никогда не приписываютъ императору, но его министрамъ, которые, по словамъ народа, злоупотребляютъ волею государя, потому что они изъ дворянъ и тянутъ въ пользу ихъ личныхъ интересовъ. Еслибы кто вздумалъ сдѣлать малѣйшее покушеніе на преимущества императорской власти, то они первые станутъ за нее, ибо видятъ въ этомъ увеличеніе власти, противной ихъ естественнымъ врагамъ. Во всѣ времена, у насъ именно классъ крестьянъ принималъ участіе во всѣхъ волненіяхъ, и никогда дворянство». Изъ послѣдняго факта графъ Строгановъ дѣлалъ правильный выводъ, что если можно бояться чьего нибудь неудовольствія, а затѣмъ возстанія, то, конечно, со стороны крестьянъ, а не дворянъ; что же касается до опасенія, что могутъ найтись предприимчивые люди, которые злоупотребятъ милостями правительства и будутъ подталкивать народъ, чтобы произвести смуты, то ораторъ сослался на ближайшее время, которое доказало, что нѣтъ возможности вооружить народъ противъ правительства. Рѣчь гр. Строганова заключилась обстоятельнымъ развитіемъ мысли, — прямо противоположной его оппонентамъ (т. е. Новосильцеву, Лагарпу и Мордвинову). — что если во всемъ этомъ вопросѣ есть опасность, то она заключается никакъ не въ освобожденіи крестьянъ, а въ удержаніи крѣпостнаго состоянія. «Таково было мое мнѣніе» — кончаетъ гр. Строгановъ. «Но, тѣмъ не менѣе, всѣ господа остались при своемъ и, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, перешли къ другому предмету: мнѣ показалось, что императоръ уже рѣшился раздѣлить тѣ двѣ мѣры» ¹⁾. Доводы гр. Строганова, основательно соображенные и горячо высказанные, разбились о боязливость партіи, къ которой примыкали даже личности передовыя во многихъ другихъ отношеніяхъ. Это осторожное мнѣніе тогдашнихъ умѣренныхъ либераловъ выражено мимоходомъ и въ «С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ».

Въ критическомъ отдѣлѣ «С.-Петербургскій Вѣстникъ» отстаивалъ реальный взглядъ на вещи и преслѣдовалъ «трансцендентальнаго богослова» Эккартсгаузена, котораго сочиненія и, главнымъ образомъ, «Ключъ къ тайнствамъ природы» считались, по словамъ рецензента (№ 8), какимъ-то оракуломъ просвѣщенія. За этотъ «ключъ», отпиравшій двери развѣ только въ сум-

¹⁾ «Вѣстн. Европы» 1866 г. т. I, ст. г. Богдановича.

сшедшій домъ, охотники платили даже по сту рублей. «Истинно жаль,—скорбятъ по этому случаю рецензентъ,—что сей писатель, по какому-то непонятному предубѣжденію, уважается многими соотечественниками нашими, не смотря на нелѣпости и даже на вредъ вздорныхъ сочиненій его, которыя, вмѣсто того, чтобы служить къ просвѣщенію читателей, подѣ маскою какого-то таинственнаго откровенія, водятъ только отъ заблужденія къ заблужденію и совращаютъ съ пути истины умъ, не твердый въ критикѣ». «С.-Петербургскій Вѣстникъ» не одобрялъ вообще умозрительнаго метода въ философіи, хотя бы этотъ методъ и не приводилъ къ такимъ очевиднымъ нелѣпостямъ, какъ болтовня Эккартсгаузена. Разбирая книгу Велланскаго: «Біологическое изслѣдованіе природы», написанное по умозрительной философской системѣ Шеллинга, рецензентъ замѣчаетъ: «Мы посовѣтуемъ нѣкоторымъ молодымъ людямъ, обыкновенно плѣняющимся умозрѣніями, никогда и ни для кого не отвергать правилъ здравой логики, всегда помнить способъ пріобрѣтенія познаній, чтобы умѣть отличить правильное умозрѣніе отъ пустыхъ мечтаній. Посовѣтуемъ имъ читать и знать исторію наукъ, особливо исторію философіи. Тамъ увидятъ они, что умозрительная философія не въ первый уже разъ является на земномъ шарѣ, что науки и самыя искусства, сколько получили они отъ наукъ, обязаны нынѣшнимъ состояніемъ ихъ способу опыта. Предположенія, пустыя умозрѣнія, вода умъ человѣческій, чрезъ нѣсколько вѣковъ, отъ однихъ заблужденій къ другимъ, не привели его ни къ одной истинѣ. Они, если принесли какую пользу, то развѣ только ту, что умъ человѣческій, предавшись имъ, узналъ, кажется, всѣ пути заблужденія. Это несчастная дань, какъ говоритъ одинъ философъ, которую предки наши невольно платили за драгоценную истину». Но роль умозрительной философіи, несмотря на эти нападки, уже начиналась въ русской литературѣ, и подѣ ея знаменемъ пришлось стоять не одному мыслящему человѣку въ Россіи. Вспомнивъ Веневитинова, Станкевича, Бѣлинскаго, которые сѣумѣли примѣнить эту философію къ потребностямъ нашей умственной жизни и извлечь изъ нея всю ту пользу, какую могла принести она, приучая людей къ систематическому мышленію и къ критикѣ фактовъ подѣ однимъ определеннымъ угломъ зрѣнія. Самый матеріализмъ, какъ отрицаніе прежнихъ умозрительныхъ пріемовъ философствованія, занесенъ къ намъ, такъ называемой, лѣвой фракціей гегелевской школы. Гегелевская діалектика обратилась, наконецъ, на себя самоѣ и разрушила величавое зданіе, построенное на воздухѣ...

Въ томъ же журналѣ мы встрѣчаемъ одинъ изъ первыхъ воинственныхъ отголосковъ 1812 г. По поводу высочайшаго манифеста о повсемѣстномъ вооруженіи противъ французовъ въ «С.-Петербургскомъ Вѣстникѣ» напечатано было стихотвореніе Милонова «Къ патріотамъ», въ которомъ авторъ восклицаетъ:

Цари въ плѣну, въ цѣпяхъ народы!
Часть рабства, гибели приспѣлъ!
Гдѣ вы, гдѣ вы, сыны свободы?
Иль нѣтъ мечей и острыхъ стрѣлъ?
.....
Воспрянь, героевъ русскихъ сила!
Кого и гдѣ, въ какихъ бояхъ,
Твоя десница не разила?
Днесъ ратуешь въ родныхъ краяхъ¹⁾ и пр.

Х.

Противодѣйствіе либеральнымъ идеямъ. — Шишковъ, какъ представитель реакціи подъ видомъ «старого слога» и любви къ отечеству. — Насмѣшки «Демокрита» надъ «философическими системами» новаго времени. — «Русскій Вѣстникъ» и его борьба за старинные русскіе идеалы. — Характеристика С. Глинки. — «Пантеонъ славныхъ російскихъ мужей». — «Сынъ Отечества» и его усердіе въ преслѣдованіи французскихъ идей. — Насмѣшки надъ Наполеономъ. — Русско-польскій патріотизмъ.

Мы представили читателямъ, въ подробномъ очеркѣ, характеристику либеральнаго движенія, овладѣвшаго русской прессой въ первую половину александровскаго царствованія. Не трудно замѣтить, что этотъ либерализмъ былъ весьма легальный и благонамѣренный: ничего похожаго на серьезную, организованную оппозицію не пробивалось въ немъ, и если надежды тогдашнихъ либераловъ превышали иногда мѣру правительственныхъ обѣщаній, то онѣ, во всякомъ случаѣ, были очень скромны и опирались единственно на благія побужденія самого правительства. Ни къ какой другой поддержкѣ не взывали наши либералы, никакихъ опасныхъ и неосуществимыхъ замысловъ не питали они. Уничтоженіе цензуры, освобожденіе крестьянъ со всѣми гарантіями порядка и общественнаго спокойствія, гласный судъ съ печатаніемъ судебныхъ рѣшеній; наконецъ, желаніе регулировать по европейски отправленія административной власти:—вотъ все, что высказывали и къ чему стремились наши передовые писатели въ сферѣ политической жизни. Большинство же образованныхъ

¹⁾ «С.-Петерб. Вѣстникъ» 1812 г., № 4 и 6.

людей довольствовалось и менѣе существенными реформами. Въ своихъ философскихъ взглядахъ журналисты наши тоже не доходили до крайнихъ предѣловъ логическаго развитія мысли, и, относясь съ уваженіемъ къ французскимъ писателямъ XVIII-го столѣтія, постоянно суживали и умѣряли ихъ воззрѣнія. Тотъ же «Сѣверный Вѣстникъ», который печаталъ цѣликомъ «La politique naturelle», — обличалъ по временамъ «заблужденія» Кондорсе, писателя одной школы съ Гольбахомъ, и находилъ непристойнымъ высокоуміе Дельфини, — героини романа г-жи Сталь, — пропущенной матеріалистическими понятіями французской философіи. Въ одномъ изъ номеровъ этого журнала за 1805 г. (№ 4), помѣщено даже стихотвореніе Н. Арцыбашева противъ матеріализма, гдѣ авторъ энергически вопрошаетъ: «ужель я тварь слѣпаго рока? ужели случая я сынъ?» Другіе журналы (какъ это, безъ сомнѣнія, замѣтили наши читатели) еще чаще ограничивали свои воззрѣнія и робко оговаривались даже при самыхъ невинныхъ размышленіяхъ. Но и этотъ сдержанный либерализмъ не нравился нашимъ близорукимъ консерваторамъ, которые, по своему всегдашнему обычаю, не погнушались ни косвенными намеками, ни прямыми доносами на политическую неблагонадежность своихъ литературныхъ противниковъ. Въ числѣ первыхъ лицъ, возставшихъ противъ новаго духа времени, мы находимъ знаменитаго поэта Державина, который, по словамъ барона Корфа, «очевидно увлекался старыми повѣрьями и идеями, ненавидѣлъ новизну и ея вводителѣй, и нерѣдко, со всею суровостью и строптивостью человѣка, избалованнаго почестями и славой, совершенно несправедливо клеймилъ тѣхъ, которые имѣли несчастье затронуть его самолюбіе». (Жизнь гр. Сперанскаго, т. I, стр. 103). Видя въ каждой новой мысли отраженіе ненавистнаго ему «польскаго и французскаго конституціоннаго духа» (ibid. стр. 93), пѣвецъ Фелицы и словесно, и письменно предостерегалъ начальство отъ ужасныхъ послѣдствій либеральнаго направленія. Но начальство долгое время пребывало глухо къ печатнымъ и устнымъ внушеніямъ сановнаго лирика, растерявшаго, въ хвалебныхъ потугахъ, весь свой замѣчательный литературный талантъ. Въ этой же фалангѣ стоялъ и другой вліятельный литераторъ Шишковъ.

Прежде всего, полемика противъ новыхъ нравственныхъ и политическихъ взглядовъ завязалась въ формѣ спора о языкѣ. Что полемика Шишкова имѣла преимущественно этотъ смыслъ и только пряталась подъ личину филологическихъ разсужденій — это видно изъ рѣзкихъ выходокъ, разбросанныхъ въ его отвѣтъ на крити-

ческія статьи «Сѣвернаго Вѣстника» и «Московского Меркурія». (См. Прибавленіе къ сочиненію: «Разсужденіе о старомъ и новомъ слоgѣ», 1804 г.) Шишковъ называетъ своихъ враговъ шайкою писателей, составившихъ заговоръ противъ славянскихъ книгъ въ пользу французскихъ, въ которыхъ можно, какъ «въ преисполненномъ опасностью морѣ, чистоту нравовъ преткнуть о камень». Онъ злобно нападаетъ на «развратныя нравы, которымъ новѣйшіе философы обучили родъ человѣческій, и которыхъ пагубныя плоды, послѣ толикаго проліянія крови, и нынѣ еще во Франціи гнѣздятся». По его мнѣнію, «первая искра стихотворческаго огня загорѣлась въ душѣ Ломоносова отъ чтенія псалтыря», и если онъ не утверждаетъ прямо, что бібліотека нравственнаго человѣка должна состоять только изъ псалтыря и четки-минеи, то весьма близко подходитъ къ этой мысли. О повѣсти Карамзина: «Наталья, боярская дочь» Шишковъ говоритъ, что онъ «вырвалъ бы ее изъ рукъ своей дочери, ибо тлѣтъ обычай благи бесѣды злы». «Московскій Меркурій» замѣтилъ Шишкову: «Неужели сочинитель, для удобнѣйшаго возстановленія стариннаго языка, хочетъ возвратитъ насъ къ обычаямъ и понятіямъ стариннымъ? Мы не смѣемъ остановиться на сей мысли...» Но Шишковъ отвѣчаетъ на это съ полнѣйшей откровенностью: «Государь мой! Если вы не смѣете, такъ я смѣю остановиться здѣсь и разсмотрѣть вашу мысль. Почему обычай и понятія предковъ нашихъ кажутся вамъ достойными такого презрѣнія, что вы не можете подумать объ нихъ безъ крайнаго отвращенія? Мы видимъ въ предкахъ нашихъ примѣры многихъ добродѣтелей: они любили отечество свое, тверды были въ вѣрѣ, почитали царей и законы (при этомъ подразумѣвалось, само собою, что защитники новаго слога не тверды въ вѣрѣ и не «почитаютъ» царей и законовъ); свидѣлствуютъ въ томъ Гермогены, Филареты, Пожарскіе, Трубецкіе и пр. и пр. Храбрость, твердость духа, терпѣливое повиновеніе законной власти, любовь къ ближнему, родственная связь, вѣрность, гостепріимство и ниня многія достоинства ихъ украшали». Тѣ же мысли, но еще съ болѣею опредѣлительностью, высказываетъ Шишковъ въ своей рѣчи: «О любви къ отечеству». Вѣра, воспитаніе въ реакціонномъ духѣ, славянскій языкъ—вотъ, по его словамъ, самыя сильныя средства для возбужденія любви къ отечеству. Тутъ не говорится ни о научной сторонѣ воспитанія, какъ, напр., въ журналѣ В. Измайлова «Патріотъ», ни о томъ преобразованіи отечественныхъ учреждений въ духѣ времени, которое могло бы, по мнѣнію «Сѣвернаго Вѣстника», вдохнуть въ русскихъ сознательный и честный

патріотизмъ. О политическомъ значеніи языка Шишковъ говоритъ: «Языкъ есть душа народа, зеркало нравовъ, вѣрный показатель просвѣщенія, неумолчный проповѣдникъ дѣлъ. Возвышается народъ, возвышается языкъ; благонравенъ народъ, благонравенъ и языкъ. Никогда безбожникъ не можетъ говорить языкомъ Давида: слава небесъ не открывается ползающему въ землѣ червю. Никогда развратный не можетъ говорить языкомъ Соломона; свѣтъ мудрости не озаряетъ утопающаго въ страстяхъ и порокахъ... Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, тамъ нѣтъ въ языкѣ благочестія; гдѣ нѣтъ любви къ отечеству, тамъ языкъ не изъясняетъ чувствъ отечественныхъ. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованія, тамъ въ языкѣ не возсіяетъ истина; тамъ въ наглыхъ и невѣжественныхъ писаніяхъ господствуетъ одинъ только развратъ и ложь. Однимъ словомъ, языкъ есть мѣрило ума, души и свойствъ народныхъ». Съ трудомъ вѣрится нынѣ, что все это нелѣпое, злобное разглагольствованіе о чувствахъ отечественныхъ, объ упадкѣ вѣры, о развратѣ и лжи новой литературы, — расточалось по поводу «Бѣдной Лизы», «Натальи, боярской дочери» и другихъ произведеній сентиментальной школы. Что касается нравственного и политическаго состоянія Россіи того времени, то Шишковъ считалъ вредными въ немъ какія бы то ни было измѣненія. «Эпоха послѣднихъ двадцати пяти лѣтъ — говоритъ онъ — слишкомъ ясно насъ вразумляетъ, что Франція въ тысячу разъ болѣе имѣетъ надобности въ нравственныхъ лекціяхъ, нежели мы, русскіе, всегда готовые отдать отчетъ въ сердечныхъ чувствованіяхъ Богу, вселюбивѣйшему нашему государю и великой отчизнѣ. Правда, есть у насъ и свои слабости; но въ послѣдніе два года россияне доказали, что самый модный русскій повѣса, даже никогда не бывшій въ военной службѣ, точно съ тѣмъ же духомъ маршируетъ на бранномъ полѣ, съ какимъ, за три передъ тѣмъ дня, вальсировалъ въ бальной залѣ. Мышца его столь же крѣпка и ужасна для враговъ, сколько объятія его пріятны и обольстительны для женщины! Не стыдно ли вамъ не чувствовать высокихъ вашихъ достоинствъ? Взгляните на торжествующую нынѣ Европу; благородный гласъ ея взываетъ къ вамъ: «Спасители наши, русскіе! Вамъ ли, обезьянствуя, подражать французамъ, которыхъ низложила рука ваша; вамъ ли, которые во всѣхъ вѣкахъ и между всѣми народами славились добродѣтью вашею нравственностью? На французскомъ ли языкѣ должно вспоминать и славить великіе ваши подвиги? Пусть бульварные повѣсы, вѣтряныя головы, Лаисамъ своимъ гнутъ на французскомъ языкѣ комплименты, но вы, именитые юноши, которыхъ

природа почтила высокими именами благородства, а заслуги обязали общество питать къ вамъ уваженіе, не мѣняйте русское слово: здравствуй, братъ! на французское: бонъ-журъ, монсье! не унижайте природнаго вашего языка, на которомъ потомство будетъ славить дѣла ваши». Наивный старецъ полагалъ, что стоитъ только внушить именитымъ юношамъ всю зазорность употребленія французскаго языка, какъ русская литература внезапно процвѣтетъ, и всѣ кинутся читать «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ». Увы! не однимъ обезьянствомъ объяснялось въ тѣ дни господство иностранныхъ языковъ и литературъ,—а сравнительной бѣдностью нашей собственной литературы и несовершенствомъ нашего книжнаго языка. Обезьянство, безъ сомнѣнія, существовало, какъ мода, какъ повѣтріе: но самая-то мода возникла потому, что, со временъ Петра I, изъ западной Европы шли къ намъ всѣ новыя, лучшія идеи. Чтобы уничтожить это господство, намъ нужно было обработать нашъ книжный языкъ, приблизивъ его къ разговорному (что и сдѣлалъ Карамзинъ) и выразить на немъ все богатство западныхъ идей,—о чемъ хлопотали умные и честные журналисты. Но противъ той и другой половины этой задачи всего болѣе возставалъ Шишковъ съ компаніей, совершенно не понимая, къ какому противоположному результату направляется ихъ quasi-патріотическая дѣятельность... Чтобы докончить характеристику этой консервативно-филологической партіи, мы прибавимъ, что журналъ, взявшій подъ свою особенную защиту разсужденіе Шишкова: «О любви къ отечеству», отличался самъ всѣми качествами ретрограднаго изданія. Этотъ журналъ—Демокритъ (1815 г.), о которомъ намъ случалось уже упоминать. Патріотизмъ этого журнала выражался единственно въ брани на Европу и въ особенности на французовъ; его беззубая сатира, между разными пустяками, пробовала осмѣивать и всѣ либеральныя идеи, заносимыя къ намъ съ Запада. Разсужденіе Шишкова «Демокритъ» считалъ «твореніемъ, увѣковѣчивающимъ имя сочинителя, поселяющимъ въ душѣ нашей тѣ же благороднѣйшія чувствованія, каковыми вдохновенъ великій геній его творца»; онъ нападалъ на всѣхъ «старыхъ и молодыхъ повѣсь, въ очкахъ и безъ очковъ, въ парикахъ и безъ париковъ», которые не читаютъ этого творенія, а гнутъ по французски и наслаждаются французскими книгами. Взамѣнъ всѣхъ иностранныхъ бредней, «Демокритъ» рекомендовалъ своимъ читателямъ,—въ статьѣ подъ названіемъ: «Надгробная рѣчь моей собакѣ, Балабаю» (Демокр. № 2),—слѣдующій, такъ сказать, домашній кодексъ понятій:

«Итакъ, я лишился тебя, вѣрный другъ мой Балабай! Завистливый рокъ, ревнуя маленькому моему утѣшенію, похитилъ тебя навсегда. Смѣйтесь, мудрецы просвѣщеннаго и вмѣстѣ развратнаго вѣка, порицайте привязанность мою къ собакамъ. Тщетно въ философіи вашей, блестящей мишурнымъ слогомъ, искалъ я истины; давно, съ душевною грустью, среди толпы безчувственныхъ людей, скитаюсь одинъ. О, вѣрный Балабай! сколько разъ ласки твои—знаки сердечной привязанности — давали мнѣ чувствовать превосходство твое передъ разумными, такъ называемыми, существами, стремящимися ежечасно на пагубу ближняго! Ты, въ воспитаніи котораго ни одинъ университетъ не принималъ никакого участія, — понятія твои машинально образовала мать всещедрая природа. Ты, который никогда не читалъ ни влюбленнаго Петрарка, ни отчаяннаго Вертера, ни сантиментальнаго р—го Стерна (т. е. русскаго Стерна — Карамзина), ни политическаго журнала—ты, безъ всѣхъ сихъ, столь необходимыхъ познаній, умѣлъ чувствовать мое къ тебѣ расположеніе и платить истинною, чистою, непритворною признательностью. Ты, при врожденной тихости и умѣренности въ желаніяхъ твоихъ, никогда не хотѣлъ быть ни эгоистомъ, ни софистомъ, ни якобинцемъ: слѣдствіе модной философіи. Ты любилъ душевно грязное твое отечество — Винницу. Ты ложными софизмами никогда не нарушалъ всеобщаго спокойствія. Ты зналъ, что власть единственная есть неопѣенное благо, съ небесъ Всевышнимъ намъ ниспосланное. Мечтательное умишлованіе твое никогда не дерзало судить законовъ, начертанныхъ мудрою рукою царей. Ты зналъ, что законы сіи суть цѣпь, связующая всеобщій порядокъ, гармонія, согласующая чувства единоплеменныхъ. Ты гнушался знакомства тѣхъ собакъ, которыя, бывъ назначены судьбою пресмыкаться у воротъ, хотѣли, противоборствуя неисповѣдимымъ предначертаніямъ, водвориться въ счастливыя спальни и знатные кабинеты. Ты вѣдалъ, что состояніе посредственное есть источникъ, изъ котораго можно почерпнуть душевное спокойствіе. Ты, въ цѣлый твой вѣкъ, не растерзалъ ни одной индѣйки, какъ дѣлаетъ нерѣдко товарищъ твой Орелка; худые примѣры его никогда не имѣли вліянія на безмятежную твою душу. Сіе гнусное революціонное право сильнаго (намекъ на Францію) было противно нѣжной твоей характеристикѣ... Ты не открылъ ни одного созвѣздія; ты не имѣлъ переписки ни съ одной академіей; ты не былъ знакомъ съ

де-Лаландомъ; ты не издавалъ журнала; ты не вояжировалъ; грязная Винница была твоимъ отечествомъ; предѣлы оной были предѣлами твоихъ познаній... Ты не придерживался ни одной философической системы: Лейбницъ, Спиноза, Сенека— всѣ для тебя были равны. Ты слѣдовалъ влеченію твоего инстинкта; но врожденный инстинктъ сей никогда не увлекалъ тебя за предѣлы предопредѣленной тебѣ участи. Ты не обогащалъ умъ твой политическими познаніями, единственно для того, чтобы судить кабинеты и дѣла министровъ, не понимая истинной ихъ цѣли и дѣйствія... Ты не читалъ Вольтера... Ты отъ роду не зналъ, что такое Сократъ, Платонъ, Діогенъ, Аристиппъ... Ты не имѣлъ понятія о древнемъ ареопагѣ, чтобы подчасъ, въ модномъ обществѣ полу-просвѣщенныхъ повѣсь, блеснуть своими познаніями. Ахъ, любезный Балабай! Я съ прискорбіемъ предчувствую, что парящая слава не дотащитъ драгоценной памяти твоей до позднѣйшихъ потомковъ. Утѣшься, дражайшая тѣнь! Стоны друга твоего на зарѣ утренней смѣшаются съ хоромъ пернатыхъ, витающихъ надъ мирною твоею могилою. Сребристая луна, свидѣтель горести моей, застанетъ меня бдящаго надъ прахомъ твоимъ». — Очевидно, что этотъ Балабай жилъ вполнѣ согласно съ совѣтами защитниковъ стараго русскаго слога, и что его «грязная Винница» (несовсѣмъ — то лестный эпитетъ!), въ прообразовательномъ смыслѣ, указывала на всю Россію. Можно бы даже принять эту похвалу за самую злую иронію (такъ похвалны качества, приписанныя Балабаю), еслибы тому не препятствовали всѣ другія статьи журнала...

Заговоривъ о патріотическомъ направленіи, на которое претендовали сторонники шишковскаго слога, мы должны указать на журналы, выступившіе прямо подъ этимъ знаменемъ на борьбу съ новымъ направленіемъ умовъ, не маскируясь уже никакой филологіей. Первымъ журналомъ, который, во имя патріотизма, проповѣдывалъ возвращеніе къ умственной жизни нашихъ предковъ, былъ «Русскій Вѣстникъ», выходившій ежемѣсячно въ Москвѣ съ 1808 г. Правда, патріотическій оттѣнокъ, въ томъ же смыслѣ, замѣтенъ былъ и въ «Московскомъ Зрителѣ» кн. Шаликова, но тамъ онъ былъ еще очень мягокъ и уступчивъ, и не входилъ въ открытую борьбу съ новымъ европейскимъ вліяніемъ. — Вотъ какъ объяснялъ издатель «Русскаго Вѣстника», С. Н. Глинка, цѣль изданія своего журнала: «Издавая «Русскій Вѣстникъ», намѣренъ я предлагать читателямъ все то, что непосредственно относится къ русскимъ. Всѣ наши упражненія, дѣянія, чувства и мысли должны имѣть цѣлью отечество; на семъ единодушномъ стремле-

ниі основано общее благо. Подражая иноземнымъ модамъ и обыкновеніямъ, для чего не перенимать у нихъ полезнаго и похвальнаго?.. Истинная добродѣтель не требуетъ похвалъ; но нужно напоминать о ней въ наставленіе другимъ. Издатель и участвующіе въ «Вѣстникѣ» его весьма будутъ признательны за извѣстія о благодѣяніяхъ, полезныхъ заведеніяхъ, словомъ, о всемъ томъ, что можетъ улаживать сердца русскія; увѣдомленія сіи составятъ новую отечественную исторію: исторію о добродѣтельныхъ дѣяніяхъ и благотворныхъ заведеніяхъ. Отцы и матери, напечатлѣвая въ сердцахъ дѣтей своихъ сохраненныя въ ней преданія, будутъ одушевлять ихъ рвеніемъ къ добродѣтели и къ общему благу. Въ сихъ листахъ найдутъ многія статьи о древнихъ временахъ Россіи. Бесѣда съ праотцами, бесѣда съ героями и друзьями отечества питаетъ душу и, сближая прошедшее съ настоящимъ, умножаетъ бытіе наше; настоящее объясняется прошедшимъ, будущее настоящимъ. Но быстрота мыслей человѣческихъ рѣдко на одной вещи останавливается; и такъ отъ древности будемъ возвращаться къ нашимъ временамъ... Одинъ иностранный писатель, обозрѣвая европейскія государства, говоритъ: «въ Австріи мнѣнія противорѣчатъ законамъ, въ Пруссіи чувства и мысли народныя несогласны съ чувствами и мыслями правительства, въ Россіи лучшіе умы заняты новизною или нововведеніями». Не объяснивъ, какую онъ примѣтилъ въ Россіи новизну, можно ли укорять (?) лучшіе умы?.. Философы XVIII столѣтія никогда не заботились о доказательствахъ: они писали политическіе, историческіе, правоучительные, метафизическіе, физическіе (?) романы; порицали все, все опровергали, общали безпредѣльное просвѣщеніе, неограниченную свободу (курсивъ въ подлин.), не говоря, что такое-то и другое, не показывая къ нимъ никакого слѣда; словомъ, они желали преобразить все по своему. Мы видѣли, къ чему привели сіи романы, сіи мечты воспаленнаго и тщеславнаго воображенія! Итакъ, заимѣвая нынѣшніе нравы, воспитаніе, обычаи, моды и проч., мы будемъ противопологать имъ—невымысли романтическіе, но нравы и добродѣтели праотцевъ нашихъ... Богъ поможетъ русскимъ! Все истинно полезное, приобщенное ими въ теченіе цѣлаго столѣтія, присовокупятъ они къ полезнымъ и похвальнымъ качествамъ предковъ, и не чужимъ, не заимствованнымъ, но своимъ роднымъ добромъ будутъ богаты... Въ нѣкоторыхъ статьяхъ «Русскаго Вѣстника» добрые и попечительные отцы семействъ найдутъ способы ученія для семейственнаго воспитанія, основанные на опытѣ и утвержденные друзьями

блага общаго» (№ 1). Выполняя свою программу, Глинка печаталъ статьи по русской исторіи: о бояринѣ Матвѣевѣ, Александрѣ Невскомѣ, Сусанинѣ и друг. (иногда съ приложеніемъ портретовъ), приводилъ мнѣнія русскихъ и иностранныхъ писателей о воспитаніи, и ревностно защищалъ Россію отъ обидныхъ отзывовъ европейской литературы. Воспитаніемъ въ патріотическомъ духѣ Глинка особенно дорожилъ, и въ 1816 г.,—удовлетворяя разомъ какъ этой потребности, такъ и желанію своихъ читателей слѣдить за политическими новостями,—открылъ въ своемъ журналѣ два постоянные отдѣла: 1) «Русскій Вѣстникъ», или отечественныя вѣдомости о достопамятныхъ европейскихъ происшествіяхъ и 2) «Русскій Вѣстникъ» въ пользу семейственнаго воспитанія. Случаи изъ современной жизни, долженствовавшіе составить, по мнѣнію Глинки, «исторію о добродѣтельныхъ дѣяніяхъ», были въ такомъ родѣ: «рѣшительность Россіянъ», «наслѣдственное мужество русскихъ», «братская любовь» и пр. За нравственностью издатель наблюдалъ строго и сдѣлалъ замѣчаніе Москвѣ за то, что въ ней умножается число кабаковъ. Охотно помѣщалъ онъ рассказы о военной храбрости, и къ одному изъ нихъ добавилъ примѣчаніе: «мечта о вѣчномъ мирѣ всегда будетъ мечтою, ибо страсти человѣческія всегда одинаково дѣйствуютъ» (1809 г. № 7). Журналъ съ такимъ направленіемъ встрѣтилъ много препятствій во вкусахъ и настроеніи тогдашней образованной публики; но у «Русскаго Вѣстника» нашлись съ перваго же разу и сторонники, которые поддерживали его своимъ сочувствіемъ и давали различные совѣты. Одинъ изъ этихъ сторонниковъ ¹⁾ писалъ къ издателю: «Хотя я имѣлъ, и самъ, человѣкъ съ десяткомъ заморскихъ учителей, звалъ на чужой землѣ и говорю на нѣсколькихъ иностранныхъ языкахъ, но со всѣмъ тѣмъ Богъ охранилъ меня отъ разы. И я, узнавъ свою отчизну, помня примѣры предковъ, поученія священника Петра и слова мамы Герасимовны, остался до сихъ поръ совершенно русскимъ... Увидѣлъ я обнародованіе ваше о Россійскомъ Вѣстникѣ: хвалю столько же благое намѣреніе, сколько дивлюся смѣлости духа вашего. Вы имѣете въ виду единственно пользу общую и хотите издавать одну русскую старину, ожидая отъ нея исцѣленія слѣпыхъ, глухихъ и сумасшедшихъ; позабыли, что неизмѣнное дѣйствіе истины есть—колоть глаза и приводить въ изступленіе. Конечно, васъ читать будутъ многіе: всѣ благомыслящіе и любящіе законы, отечество

¹⁾ Подъ именемъ этого сторонника скрывался извѣстный гр. О. В. Ростопчинъ.

и государя, отдадутъ справедливость подвигу вашему. Но для сихъ прошедшее не нужно; ибо они сами настоящимъ служатъ примѣромъ. А какъ заставить любить по русски отечество тѣхъ, кои его презираютъ, не знаютъ своего языка и по необходимости русскіе? Какъ привлечь вниманіе вольноопредѣляющихся въ иностраннѣе? Какъ сдѣлаться терпимымъ у разодрѣтыхъ по модѣ барынь и барышень? Упрашивайте, убѣждайте, стыдите—ничто не подѣйствуетъ. Для сихъ, отпадшихъ отъ своихъ, вы будете проповѣдникомъ, какъ посреди дикаго народа въ Африкѣ. До сего одни лишь иностраннѣе, за наше гостепріимство, терпѣніе и деньги, ругали насъ безъ пощады, а нынѣ уже и русскіе къ нимъ пристають. Я не удивлюсь, если со временемъ найдется какой нибудь безстыдный враль, который станетъ намъ доказывать, что мы не люди, и что Богъ создалъ одно наше тѣло, а души вкладываются иностранными (т. е. иностранцами) по ихъ благоусмотрѣнію... Мы съ перваго раза вытверживаемъ имя всякаго иностраннаго искидка (sic), а они до сихъ поръ не могутъ правильно писать: Суворовъ, а что еще лучше, что симъ великимъ именемъ называютъ въ Лондонѣ бѣлаго медвѣдя; а въ Парижѣ, въ 1785 г., показывали за деньги француза, одѣтаго въ звѣриную кожу, подъ вывѣской: «здѣсь можно видѣть страшное чудовище, которое говоритъ природнымъ своимъ московскимъ языкомъ». Принимая живое участіе въ успѣхѣхъ вашего сочиненія (т. е. изданія), совѣтую приучать слегка къ забытой русской быти тѣхъ изъ соотчичей нашихъ, кои тѣломъ на Руси, а духомъ за границей; совѣтую называть подлинныя сочиненія наши переводами, разжаловать всѣхъ нашихъ именитыхъ людей въ иностранныхъ, украсить каждую книжку французскимъ и англійскимъ эпиграфомъ и картинкой, представляющей невинную въ новомъ вкусѣ насмѣшку. Напримѣръ: представьте парикмахера, стригущаго русскаго съ надписью: подстриженный сѣверный Самсонъ; или обезьяну, которая учить медвѣдя танцевать, съ надписью: сержусь, но поклонюсь; или бѣса, раздѣвающаго русскаго съ надписью: облегчится и просвѣтится (курсивъ въ подлин.). Вотъ совѣты, кои русскій старикъ почитаетъ нужными для васъ». Другой поклонникъ сообщалъ Глинкѣ изъ Казани, что его журналъ читается многими съ большимъ удовольствіемъ. «Старики русскіе»—говоритъ онъ—«благодарятъ васъ, да и раскольниковы русскіе хвалятъ... только нѣкоторые молодые повѣсы читаютъ его со скукою, не находя картинокъ заграничныхъ модъ, маленькаго пустаго романа, для траты имъ неснаснаго времени, и острыхъ эпиграммъ и эпитафій для насмѣшекъ... Недавно съ чрезвычайнымъ

удовольствіемъ видѣлъ я, какъ одинъ старинный русскій маіоръ, читая о бояринѣ Матвѣевѣ («Р. В.» № 1), омочилъ слезами страницы «Русскаго Вѣстника»; я самъ плакалъ съ нимъ. Не повѣрите, какъ онъ благодарить васъ! «Слава Богу, говорилъ онъ, что еще вспоминають старину, а то дѣти съ французскимъ воспитаніемъ стали умиѣе отцовъ». Дѣти бранятъ отцовъ по французски, а батюшки, зѣвая на нихъ, удивляются; дѣти пренебрегаютъ родителями, кои не смѣютъ сказать имъ слова. Ахъ! смѣлъ ли бы сперва снѣтъ не послушаться родителя? смѣлъ ли быть его мудрѣе? Тогда во всемъ домѣ былъ порядокъ (по Домострою?) и во всемъ царствѣ. Царь былъ всѣхъ мудрѣе; а нынѣ молокососы не успѣютъ выучиться подписывать свое имя, то, зная уже давно болтать по французски и читать Вольтера, думаютъ быть мудрѣе... Нѣтъ, все пошло вверхъ дномъ съ заморскими учителями».

Но издатель «Русскаго Вѣстника», какъ человѣкъ честный, образованный и даже увлекавшійся сочиненіями Руссо,—по педагогической системѣ котораго онъ самъ былъ воспитанъ въ сухопутномъ кадетскомъ корпусѣ,—неспособенъ былъ къ назойливому, мелочному гоненію противъ всякой свѣжей мысли; у него замѣчалась нерѣдко наклонность къ оппозиціи, и произволъ, господствовавшій въ нашей жизни, находилъ въ немъ подъ часъ несговорчиваго и горячаго противника. Въ древней русской исторіи онъ видѣлъ скорѣе идиллическую картину, чѣмъ суровый, дисциплинарный бытъ, и стремился, отчасти, примирить требованія старины съ новыми европейскими понятіями. Только эти новыя понятія перепутывались у него самымъ курьезнымъ и оригинальнымъ образомъ съ неподвижными догматами, усвоенными по преданію, принятыми на вѣру. Вслѣдствіе этого, статьи его пестряты всевозможными цитатами: изъ Кормчей книги и изъ сочиненій Кондильяка; изъ поученія Владиміра Мономаха и изъ натуральной исторіи Бюффона. Такъ, напримѣръ, защищая допетровскую старину, Глинка приводитъ мнѣніе боярина Матвѣева о душѣ: «душа есть существо живущее, простое и безплотное. тѣлесными очами по свойственному естеству недвижимое, бессмертное, словесное и умное» и прибавляетъ къ этому: «бояринъ Матвѣевъ точно также (!) умствовалъ о душѣ, какъ Локкъ и Кондильякъ, хотя онъ не могъ читать ни того, ни другаго». Защищая Кормчую книгу (1808 г. № 8) противъ «умствованій, устремившихся къ осмѣянію сего хранилища божественныхъ и нравственныхъ преданій», Глинка сопоставляетъ правила этой книги съ мнѣніями Солона, Шатобріана, Монтескье и г-жи Жан-

лись. «Простирая вниманіе свое»—говорить издатель «Русскаго Вѣстника»—«на бѣдныхъ и неимущихъ, добродѣтельные наставники убѣждаютъ (въ Кормчей книгѣ), чтобы не мѣняли человѣколюбія и милосердія на лихоимство и постыдный прибытокъ, и правило сіе относятъ не только къ единоплеменнымъ, но ко всѣмъ людямъ вообще: «ибо,—вѣщаютъ они,—сребролюбіе есть недугъ душевный». Въ древнемъ Римѣ, во времена язычества, Катоны Бруты и прочіе прославляемые герои брали неограниченные проценты, заключали должниковъ своихъ въ темницы и пр. Итакъ, сколь отличествуется милосердіе евангелія отъ правоученія языческаго. Одинъ иноплеменный писатель (Шатобріанъ) очень справедливо сказалъ: «простая нравственность пресмыкается; добродѣтели христіанскія парятъ на крыліяхъ любви и надежды».— Въ концѣ концовъ, Глинка утверждаетъ въ мысли, что «всѣ правила, содержащіяся въ Кормчей книгѣ, согласны съ разсужденіемъ всѣхъ знаменитыхъ просвѣтителей всѣхъ странъ и всѣхъ вѣковъ». Эта способность Глинки — связывать между собою самыя разнообразныя и даже прямо противоположныя понятія и приурочивать ихъ къ русской старинѣ—ловко подмѣчена Воейковымъ въ его «Сумасшедшемъ домѣ»;

..... на лежанкѣ

Истый Глинка возсѣдѣть...

Книга Кормчая отверста

И уста отворены,

Сложены десной два перста,

Очи вверхъ устремлены!

О Расинъ! Откуда слава?

Я тебя, дружокъ, поймалъ:

Изъ русскаго Стоглава

Ты Гофолію укралъ.

Чувствъ возвышенныхъ сіянье,

Выраженій красота

Въ Андромакѣхъ—подражанье

Погребенію кота!

Честный, но смѣшной чудакъ,—Глинка хотѣлъ облагородить и реставрировать древнерусскіе идеалы: въ бояринѣ Матвѣевѣ ему грезился чуть ли не самъ маркизъ Поза; Наталья Кирилловна напоминала добродѣтельную мать Марка-Аврелія; какой нибудь малограмотный книжникъ равнялся по глубинѣ мыслей всѣмъ семи греческимъ мудрецамъ. Всю жизнь свою онъ мечталъ о безкорыстномъ служеніи родинѣ, о широкой дѣятельности общественной, изобличалъ лжецовъ, ссорился съ начальниками (см.

въ его запискахъ объясненіе съ кн. Ливеномъ), — и за все это получилъ только прозваніе и репутацію крайне «безпокойнаго» человека... Сподвижники же Глинки, дѣйствовавшіе по одной съ нимъ, узко-патріотической программѣ, не увлекались никакими мечтаніями, хотѣли прежде всего дисциплины, — и достоинство старины полагали не въ сходствѣ (хотя бы случайномъ и внѣшнемъ), но въ противорѣчій со всѣми новѣйшими умствованіями. Таковъ былъ «Пантеонъ славныхъ россійскихъ мужей», издававшійся въ 1815—18 гг. Въ этомъ «Пантеонѣ» доказывается съ неменьшею убѣдительною, чѣмъ въ филологической полемикѣ Шишкова, что «высокая мораль французской философіи была первою причиною двадцатипятилѣтняго во всемъ мірѣ кровопролитія». Издателемъ «Пантеона» былъ тотъ же А. Кропотовъ, который издавалъ «Демокрита».

Особеннымъ усердіемъ въ преслѣдованіи французскихъ идей отличался «Сынъ Отечества» — еженедѣльный журналъ, возникшій по инициативѣ г. Греча, въ эпоху грозной войны 1812 г. ¹⁾ Военно-патріотическій тонъ этого журнала объясняется обстоятельствами. «Въ то время» — говорится въ первомъ номерѣ — «когда злобный разрушитель царствъ и престоловъ занесъ дерзкую ногу въ предѣлы благословенной земли русской и тлетворнымъ дыханіемъ своимъ распространяетъ повсюду ужасъ, боязнь и недоумѣніе, каждый россіянинъ долженъ употреблять всѣ силы и способности свои для выщаго одобренія мужественныхъ, для возстановленія малодушныхъ, для изобличенія безстыднаго хищника во лжахъ и кощунствахъ его». Противъ Наполеона печатались филиппики въ такомъ родѣ: «Предчувствуй безсмертіе, тебя достойное! предчувствуй, какъ и когда потомки будутъ клясться твоимъ именемъ! Ты возсѣдишь на престолѣ своемъ посреди блеска и пламени, какъ сатана въ средоточіи ада, препоясанъ смертью, опустошеніемъ, яростью и пламенемъ»... «Тренещи! тренещи и блѣднѣй, да сокрушится желѣзное сердце твое, да изнеможеть ужасная твоя душа. Тренещи! встаютъ отъ гробовъ древнія, почившія фуріи, приближаются къ тебѣ стопами медленными; озираются грозными, дальновидными очами своими страшныя богини ада, мстительницы и карательницы всякаго злаго дѣла, всякаго мрачнаго преступленія, встаютъ, устрашаютъ, преслѣдуютъ, смущаютъ тебя, доколѣ не погибнешь, доколѣ не исчезнешь съ лица земли!» Сподвижники Наполеона называются «подлыми и малодушными», войска его — «разбойниками», самъ предводитель

¹⁾ Съ 1825 г. въ немъ принялъ участіе О. В. Булгаринъ.

ихъ «гнуснымъ тираномъ и убійцею». Сила этихъ выраженій соотвѣтствовала тогда общему гнѣвному энтузіазму. Извѣстно, что самая наружность Наполеона подвергалась въ народныхъ листкахъ осмѣянію нашихъ патріотовъ. Въ одномъ изъ этихъ листовъ (1814 г.),—который мы видѣли у П. А. Ефремова,— французскій императоръ живописуется, напр., такими красками:

«Представьте себѣ человека при маломъ ростѣ (въ 5 ф. и 2 дюйма), имѣющаго лицо большое, скуловатое, мрачное, цвѣта изжелта-оливковаго, съ навислымъ лбомъ, съ маленькими глазами, изподлобья коварно-злобнымъ огнемъ сверкающими, съ сухими, подъ длинно-покрыпымъ носомъ, втиснутыми губами, язвительно сжатыми и для улыбки вѣчно мертвыми, съ выдавшимся впередъ и вверху поднявшимся шарообразнымъ подбородкомъ, съ черными, подобно смолѣ, на головѣ и на бровяхъ волосами, безъ бакенбартовъ... Это будетъ настоящій подлинникъ малорослаго рыцаря, точный отпечатокъ великой головы, славной по великимъ своимъ злодѣяніямъ—это будетъ истинный портретъ Наполеона. И французы этого не примѣчаютъ...

Зла фурія его смятенно сердце гложетъ:

Злодѣйская душа спокойна быть не можетъ».—

Для возбужденія воинственнаго духа примѣромъ народовъ, «противоборствовавшихъ безпредѣльной власти и несмѣтнымъ силамъ своихъ враговъ», помѣщены были въ журналѣ: отрывокъ изъ исторіи освобожденія Нидерландовъ (Шиллера) и «Осада Сарагоссы» (№№ 3 и 7). Помѣщались также анекдоты о храбрости русскихъ солдатъ и вооруженныхъ крестьянъ. Дѣятельность Наполеона разбиралась по всѣмъ суставчикамъ: ему отказывали не только въ искусствѣ управленія, но даже въ искусствѣ вести войну («Сужденіе о Бонапартѣ», перев. съ англ.). Его упрекали въ томъ, что, укротивъ революцію, онъ не посадилъ на тронъ законнаго царя; въ томъ (№ 2), что онъ «сдѣлалъ самого себя государемъ, націей, народнымъ собраніемъ, войскомъ и полководцемъ», что онъ «приказываетъ министру своему читать передъ нимъ донесеніе, которое самъ диктовалъ ему, и, по окончаніи обряда, объявляетъ, что онъ доволенъ своимъ сочиненіемъ». Въ № 1-мъ разсказывается, какъ главнокомандующій въ Каталоніи, Ласси, приказалъ палачамъ носить ордена почетнаго легіона и желѣзной короны, но палачи отказались, находя это для себя позорнымъ и прося, чтобы впредь этими знаками «украшали ведомыхъ на казнь преступниковъ». «Намъ безчестно» — говорили они — «носить знаки, которыми Бонапарте награждаетъ людей, наиболѣе отличающихся злодѣяніями... Па-

лачь лишаетъ жизни только преступниковъ, избоченныхъ въ порочныхъ дѣлахъ законнымъ судомъ, а французы воруютъ, бьютъ, умерщвляютъ и съ торжествомъ показываютъ одежду свою, обогренную кровью невинныхъ жертвъ». Замѣчательно, что все это вѣчалось въ журналѣ г. Греча, который въ 1809 г., въ «Геніѣ премоень», называлъ Наполеона великимъ мужемъ, водворившимъ порядокъ въ странѣ «ужаснаго безначалія», Къ подкупленнымъ воплямъ Коцебу присоединялся въ «Сынѣ Отечества» и честный голосъ А. Куницына (№ 6), говорившаго о тирани Наполеона, его рабовладѣльческихъ замыслахъ на Россію. Словомъ, все было въ ажитаціи. Ненависть къ французскому войску, имѣвшая законное оправданіе, скоро перешла въ ненависть къ французскимъ принципамъ, — т. е. къ знакомымъ намъ принципамъ освободительной философіи XVIII-го вѣка, хотя эта философія была виновата не больше самого Н. И. Греча въ походѣ Наполеона на Россію. Но опытный журналистъ не дремалъ и старался подмѣнить одно чувство другимъ. «Сынъ Отечества», рядомъ съ воззваніемъ къ оружію, печаталъ и разные политическіе афоризмы, въ которыхъ ополчался на брань (въ смыслѣ ругательства) съ самой идеей свободы. Изъ этихъ афоризмовъ замѣчательны слѣдующіе: 1) «Платонъ говоритъ: легче постронть городъ на воздухѣ, нежели основать гражданство безъ религіи. Французская революція оправдала сію истину: якобинцы, положившіе разрушить правительство, начали тѣмъ, что изгнали религію. 2) Религія и добрая нравственность свойственны человѣку: нетлѣнный корень ихъ насажденъ въ сердцѣ людей отъ самого Творца. Но мудрованіе философіи прилечествуетъ только высокоумнымъ безумцамъ, основавшимъ оное на зыбкихъ пескахъ людскаго мнѣнія. 3) Правительства принимаютъ самыя строгія мѣры предосторожности въ разсужденіи продажныхъ ядовъ; а развратныя правила, сей ядъ душевный, даютъ намъ свободно глотать изъ книгъ, разговоровъ и школьнаго обученія. 4) Указываютъ на Англію, что тамъ свобода книгопечатанія не развращаетъ нравовъ и умовъ. Быть можетъ; и это верхъ похвалы для характера англичанъ. Но всѣ другіе народы, въ сравненіи съ ними, суть еще дѣти, отъ которыхъ сіе вредоносное орудіе удалять должно. Тотъ вѣкъ, въ который свобода мыслить и писать почиталась своевольствомъ, произвелъ Фенелоновъ, Боссюэтовъ, Корнелей, Расиновъ и другихъ свѣтилъ ума человѣческаго; но послѣдующій за нимъ, столь неправильный названный вѣкомъ просвѣщенія, покрылъ вселенную мракомъ ложной философіи, въ которомъ Вольтеры, Руссо, Монтескье. Дид-

менитыхъ русскихъ писателей — характеристика писателей польскихъ. Задачу своего изданія самъ издатель опредѣлялъ такимъ образомъ: «стараться утвердить въ вѣчномъ союзѣ непоколебимаго дружества умы и сердца славяно-россійскихъ и польскихъ народовъ чрезъ посредство ихъ просвѣщенія и добродѣтели». Восхваляя Александра за восстановление политическаго существованія Польши, онъ выражалъ желаніе: «да восчувствуютъ русское и польское племя счастливую нынѣ свою судьбу и Божіе благословеніе!» Въ подвигахъ Александра Оря-Ошменьца выдвигалъ на первый планъ: низверженіе тирана — Наполеона и восстановление законной власти; а въ его личности признавалъ наиболѣе симпатичными чертами: «быть человекомъ на самомъ неограниченномъ тронѣ... отвергать раболѣпство и убѣгать собственной своей славы».

Вслѣдъ за изгнаннымъ Наполеономъ полетѣли насмѣшки и глумленія прессы. Даже солидная «Сѣверная Почта» допустила на своихъ столбцахъ юмористическую замѣтку такого содержанія: «Въ рѣчахъ и представленіяхъ отъ разныхъ департаментовъ императору, съ одной стороны, изъясняется вынужденное отступление арміи, столь же непобѣдимой, какъ и ея вождь, съ другой — радуются чудесному спасенію сего самаго непобѣдимаго вождя, что онъ столь искусно унесъ свою единую особу отъ ужасныхъ бѣдъ, его окружавшихъ... Французскіе маршалы и генералы, одинъ за другимъ, скачутъ къ Рейну; кажется, у нихъ швейцарская болѣзнь: они, тоскуя по своей землѣ, опрометью туда кинулись». (См. «Сѣв. Почта» 1813 г.).

Вскорѣ послѣ того измѣнилось у насъ настроеніе высшаго правительства, и русская журналистика была поставлена въ по-
выя, менѣе выгодныя условія.

XI.

Характеристика второй половины царствования Александра Павловича.—Перемена въ личномъ настроеніи государя.—Причины этой перемены.—Лагарпъ и Н. И. Салтыковъ.—Участіе Радищева въ законодательной комисіи и столкновение его съ Завадовскимъ.—Тильзитское свиданіе.—Вліяніе г-жи Крюднеръ.—Распространеніе мистицизма.—Инструкція ученому комитету.—Дѣйствія этого учрежденія.—Гоненіе на университеты.—Протестъ Уварова и Паррота противъ обскурантизма.

Мы рассказали исторію русской журналистики въ первую половину царствования Александра Павловича. Это было время упоеній и надеждъ, болѣе или менѣе основательныхъ, болѣе или менѣе осуществлявшихся въ дѣйствительной жизни,—время едва ли не самое благоприятное для развитія русской мысли. Либеральные журналы, не только съ дозволенія правительства, но даже при денежномъ пособіи отъ него (какъ, напр., «Сѣверный Вѣстникъ») проводили въ публику новыя идеи о политическомъ устройствѣ, о свободѣ личности, о высокомъ значеніи науки и литературы. Снисходительная цензура, — созданная не для стѣсненія, но для покровительства и защиты мысли, по первоначальному смыслу устава, — не считала нужнымъ накладывать свою руку на всякое проявленіе того образа мыслей, который позже былъ охарактеризованъ именемъ «вольнодумства»: не препятствуя обсужденію въ печати основныхъ государственныхъ вопросовъ, она позволяла даже относиться критически къ самому принципу своего существованія. Мы видѣли, напр., что Пнинъ нападалъ въ «Журналѣ Россійской Словесности» на предварительную цензуру вообще, и предлагалъ, взявъ ея, личную отвѣтственность авторовъ за напечатанныя ими произведенія. Правда, нерѣшительность и двойственность цензуры, колебавшейся то въ ту, то въ другую сторону, проявлялись уже въ то время довольно рѣзкими примѣрами; видно было уже, что либерализмъ — очень плохая порука за самостоятельность и свободу печати; но общее настроеніе власти, наблюдавшей за литературою, далеко не имѣло характера прижимокъ, мелкаго давленія и систематической, организованной вражды къ смѣлому печатному слову. Реакція противъ либерализма обнаруживалась покуда въ нѣкоторыхъ слояхъ общества, въ извѣстныхъ органахъ самой журналистики, но еще не восходила въ высшія сферы правительства и не дѣлалась ихъ руководящею мыслью. Обстоятельства, въ скоромъ времени, сложились иначе, и журналистика должна была испытать на себѣ чув-

ствительную разницу въ свойствахъ и пріемахъ цензурнаго надзора.

Чѣмъ объяснить такую рѣзкую переměну въ направленіи Александра I-го? Почему государь, начавшій свою политическую жизнь открытымъ сочувствіемъ прогрессу, литературѣ, всѣмъ свободнымъ идеямъ, — окончилъ ее въ совершенно другомъ, прямо противоположномъ духѣ: военными поселеніями, дружбой Аракчеева и репрессивными мѣрами противъ литературы и науки? Причинъ этому было довольно много, но ближайшая причина кроется, конечно, въ первоначальномъ воспитаніи и въ обстановкѣ великаго князя, когда онъ еще только готовился занять русскій престолъ. Не одинъ Лагарпъ имѣлъ вліяніе на своего питомца; рядомъ съ умнымъ и просвѣщеннымъ швейцарцемъ, стоялъ, возлѣ великаго князя, графъ Н. И. Салтыковъ—человѣкъ, искушенный въ придворныхъ интригахъ и богатый тою житейскою оцѣнкою особаго рода, которая издревле выражаетъ претензію величать себя истинной, непреложной человѣческой мудростью. Мы не имѣемъ положительныхъ указаній на то, чтобы гр. Салтыковъ старался парализовать вліяніе пылкаго иностранца-педагога; но что онъ не раздѣлялъ всѣхъ мнѣній, высказываемыхъ Лагарпомъ, и чувствовалъ потребность ограничивать ихъ силу и вѣсь въ глазахъ великаго князя—въ этомъ, вриде ли, возможно сомнѣваться. Дѣло Салтыкова доканчивала вся обстановка, въ которой приходилось развиваться внуку Екатерины II-й. Идеи Лагарпа, проходя черезъ этотъ неизбѣжный холодильникъ, естественно утрачивали свое живое, практически-реальное значеніе, и получали характеръ какихъ-то отвлеченныхъ, недостижимыхъ идеаловъ, которымъ противорѣчила вся дѣйствительная жизнь. Въ этомъ видѣ онѣ сильно раздражали фантазію юноши, представляя ему возможность иной, лучшей жизни; но онѣ не становились прочнымъ, сознательно-выработаннымъ, достояніемъ его ума и—чуждыя практическаго осуществленія—не укрѣпляли слабой воли... Вступивъ на престолъ, Александръ вздумалъ исполнить, хотя отчасти, нѣкоторыя изъ своихъ благородныхъ юношескихъ мечтаній. Но тутъ явилась другая бѣда: молодые сотрудники государя питали такую же, какъ и онъ, платоническую любовь къ свободѣ; они, подобно ему, не знали, какъ приняться за практическое дѣло, смущались всякими возраженіями и безнадежно терялись, опуская руки при первой неудачѣ въ осуществленіи своихъ идеальныхъ замысловъ. Къ молодымъ государственнымъ дѣятелямъ, нерѣшительнымъ и мало-опытнымъ въ дѣлахъ высшаго управленія, сейчасъ же прикомандировались услужливые и опытные старики, возросшіе въ

другихъ понятійхъ и смотрѣвшіе совершенно иначе на потребности русской жизни. Они еще болѣе вредили всѣмъ новымъ преобразованиямъ, именно потому, что стояли въ самомъ центрѣ дѣйствующей силы, считались ея союзниками, агентами и, такимъ образомъ, имѣли полную возможность, подъ прикрытіемъ своего officialнаго положенія, тормозить и искажать намѣренія власти. Такъ, напр., изъ всей законодательной комисіи, собиравшейся подъ предсѣдательствомъ «опытнаго старца» Завадовскаго, только одинъ Радищевъ зналъ, дѣйствительно, отъ какихъ бѣдъ и золъ страдаетъ Россія, и могъ представить зрѣлую, практически-годную программу для обновленія нашего государственнаго строя; но прозектъ Радищева, заключавшій въ себѣ указаніе на необходимыя реформы, которыми только и можно было гарантировать осуществленіе политическаго идеала, столь любезнаго сердцу тогдашнихъ либеральныхъ идеалистовъ, —этотъ злосчастный прозектъ, уже выполненный нынѣ въ главныхъ своихъ частяхъ, показался Завадовскому такой необузданной, демагогической мечтою, что онъ счелъ своимъ долгомъ отечески напомнить Радищеву объ Илимскомъ острогѣ, откуда послѣдній только что возвратился по милости государя. Самъ государь, безъ сомнѣнія, взглянулъ бы иначе на радищевскій прозектъ, еслибы онъ былъ ему представленъ во время и безъ всякихъ псевдо-благонамѣренныхъ прелюдій; узнавъ, что перепуганный Радищевъ принялъ яду, Александръ былъ взволнованъ, огорченъ; онъ надѣялся еще сохранить для Россіи эту дорогую ей жизнь и послалъ къ больному своего лейбъ-медика. Но было уже поздно: умное и честное слово страдальца-гражданина не раздавалось болѣе въ законодательной комисіи; ни у кого не хватило настолько логики и смѣлости, чтобы принять и защищать программу, твердо выставившую свои основныя начала, безъ всякой утайки и недобросовѣстныхъ уступокъ ¹⁾. Между тѣмъ время шло; неудачныя попытки молодыхъ реформаторовъ, не добираясь до корня зла, не привели ни къ чему путному; старые рутинеры съ удовольствіемъ указывали на эти промахи.

¹⁾ Вотъ главныя основанія прозекта Радищева: 1) равенство передъ закономъ всѣхъ состояній и отміна тѣлеснаго наказанія, 2) уничтоженіе табели о рангахъ, 3) отміна въ уголовныхъ дѣлахъ пристрастныхъ допросовъ и введеніе гласнаго судопроизводства и суда присяжныхъ, 4) разрѣшеніе полной вѣротерпимости и устраненіе всего, что стѣсняетъ свободу совѣсти, 5) введеніе свободы книгопечатанія съ извѣстными ограниченіями и ясными постановленіями о степени ответственности, 6) освобожденіе крѣпостныхъ крестьянъ и прекращеніе продажи людей въ рекруты, 7) введеніе поземельной подати вмѣсто подушной.

какъ на доказательство безсилія и неприложимости самыхъ идей: наконецъ, государь утратилъ довѣріе къ своимъ прежнимъ любимцамъ и повемногу сталъ поддаваться другимъ вліяніямъ. Тутъ подоспѣло тильзитское свиданіе. «Ежедневныя бесѣды съ Наполеономъ, съ глазу на глазъ, продолжавшіяся далеко за полночь—говорить г. Ковалевскій—не остались безъ дѣйствія на впечатлительную душу Александра. Правда, онѣ расширили кругъ его воззрѣнія; представили съ другой точки предметы и людей, но зато окончательно подорвали вѣру въ людей и поколебали то уваженіе къ личности и законности, которое такъ рѣзко отличало его въ началѣ царствованія. Мы думаемъ, что безъ наполеоновскаго подготовленія Александръ I никогда не рѣшился бы осудить Сперанскаго однимъ своимъ лицомъ, въ стѣнахъ своего кабинета. Незадолго до того писалъ онъ къ княгинѣ Голицыной, просившей его о какомъ-то дѣлѣ, что онъ «въ цѣломъ мірѣ признаетъ только одну власть, — это ту, которая нисходитъ изъ закона,—и потому устраняетъ себя отъ участія въ рѣшеніи дѣла». Не забудемъ, что новое ученіе всемірнаго деспота гармонировало вполне съ тѣми преданіями, которыя сохранились въ памяти Александра отъ дней его юности; оно поддерживалось и тѣми недальновидными патріотами, которые рукоплескали ссылкѣ Сперанскаго, какъ мнимому освобожденію государя изъ подъ «французскаго вліянія». Война 1812 года, окончившаяся такъ неожиданно счастливо, и въ особенности знакомство съ баронессой Крюднеръ, извѣстной прозелиткой и фанатичкой мистицизма, развили въ характерѣ Александра новую черту: трезвость мысли замѣнилась въ немъ мистическими иллюзіями, посредствомъ которыхъ онъ сталъ объяснять себѣ всѣ явленія какъ своей частной, такъ и обще-европейской политической жизни. Случай способствовалъ успѣху г-жи Крюднеръ. Появившись неожиданно въ Гейдельбергѣ, среди глубокой ночи, въ минуту, когда государь съ трепетомъ размышлялъ о новой борьбѣ съ Наполеономъ, только что возвратившимся во Францію изъ своего краткаго изгнанія,—экзальтированная баронесса успѣла убѣдить Александра, что она предвидѣла это роковое событіе и, овладѣвъ вполне направленіемъ его мыслей, успѣла доказать ему, что возвращеніе Наполеона есть тяжкое искупительное наказаніе, постигшее Европу за упадокъ въ ней истинно-христіанскаго религіознаго чувства. «Крюднеръ—разсказывалъ впоследствии самъ государь—подняла передо мной завѣсу прошедшаго и представила жизнь мою со всѣми заблужденіями тщеславія и суетной гордости; она доказала, что минутное пробужденіе совѣсти, сознаніе своихъ слабостей

и временное раскаяніе не есть полное искупленіе грѣховъ; говорила, что сама она была великая грѣшница (баронесса, какъ видно, не пощадила себя и сказала на этотъ разъ совершенную правду: она, дѣйствительно, очень шумно провела свою молодость, а потомъ, какъ всегда бываетъ, вдалась въ противоположную крайность), но что у подножія креста она выстрадала себѣ прощеніе молитвою и горькими слезами». Баронесса Крюднеръ навела Александра на мысль—основать въ Европѣ такой политической союзъ, который согласовался бы въполнѣ съ началами евангелія и служилъ для нихъ убѣжищемъ и защитою. Братъ прусской королевы, знакомый хорошо со всѣми секретами придворной жизни, утверждалъ положительно, что священный союзъ долженъ считаться созданіемъ г-жи Крюднеръ; думаютъ даже, что самое названіе «священный союзъ» дано ею и заимствовано изъ какой-то книги пророка Даніила. Въ самомъ дѣлѣ, если сопоставить вышеприведенныя слова Крюднеръ, изъ ея гейдельбергской проповѣди, съ тѣми фразами трактата, которыя опредѣляютъ цѣль учрежденія священнаго союза, то нетрудно замѣтить въ нихъ полнѣйшее тожество: кажется, что они вышли изъ одной и той же головы, произнесены одними и тѣми же устами. Крюднеръ хлопотала о повсемѣстномъ водвореніи евангельскихъ истинъ, а европейскіе государи, подписавшіе знаменитый трактатъ, обязывались—«какъ въ управленіи собственными подданными, такъ и въ политическихъ отношеніяхъ къ другимъ правительствамъ, руководиться заповѣдями св. евангелія, которыя, не ограничиваясь приложеніемъ своимъ къ одной частной жизни, должны непосредственно управлять волею царей и ихъ дѣяніями». Пріобрѣтя личное вліяніе на государя, Крюднеръ скоро завербовала въ число своихъ послѣдователей князя А. Н. Голицына, сдѣлавшагося въ 1817 г. министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія; ея друзья и родственники заняли видныя мѣста въ центральномъ управленіи училищъ. Настало время библейскихъ обществъ, ма-сонскихъ ложъ и ревностнаго распространенія евангелія на всѣхъ возможныхъ языкахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ начали развиваться мистическія секты самаго безобразнаго свойства и направленія, а наука, которая могла бы поставить границы не въ мѣру экзальтированному чувству, подверглась различнымъ преслѣдованіямъ во всѣхъ своихъ отрасляхъ. Евангельскія начала, лишеныя своего внутреннего живительнаго смысла, скоро сдѣлались, въ рукахъ фанатиковъ и интригановъ, удобнымъ орудіемъ для подавленія мысли; выбирая съ предвзятою цѣлью священные тексты, подтасовывая ихъ, какъ шулера подтасовываютъ карты, враги умствен-

наго развитія желали остановить успѣхи просвѣщенія и съ апломбомъ невѣжества отрицали всѣ лучшія приобрѣтенія современной науки. Уже при самомъ основаніи библейскаго общества замѣтно было, какую узкую дорогу отводить оно для пытливости человеческого ума; дальнѣйшія событія показали, что и этотъ тѣсный путь могъ считаться еще очень широкимъ, — и вотъ его, въ видахъ мнимаго благочестія, стали сѣуживать болѣе и болѣе, закидывать камнями, усѣивать терніемъ. Инструкція ученому комитету, вновь образованному при министерствѣ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, дышетъ уже такимъ откровеннымъ обскурантизмомъ, что отсюда — до дѣятельности Магницкаго и Рунча оставался только одинъ небольшой шагъ. Комитету предписывалось одобрять только тѣ учебныя книги, въ которыхъ факты были избраны и изложены соотвѣтственно съ ретрограднымъ духомъ, господствовавшимъ въ то время. Историческія книги должны были, сколько возможно, «возвѣщать о единствѣ исторіи, столь поучительномъ для ума и сердца учащихся; частое указаніе на дивный и постепенный ходъ богопознанія въ человѣческомъ родѣ и вѣрная синхронистика съ священнымъ бытописаніемъ и эпохами церкви должны напоминать учащимся высокое значеніе и спасительную цѣль науки». Въ преподаваніи естественныхъ наукъ отстраняются «всѣ суетныя догадки о происхожденіи и переворотахъ земнаго шара». Физическія и химическія книги должны распространять полезныя свѣдѣнія «безъ всякой примѣси надменныхъ умствованій, порожденныхъ во вредъ истинамъ, не подлежащимъ опыту и раздробленію». Кромѣ того, комитетъ обязанъ былъ наблюдать, чтобы въ руководства по физиологіи, патологіи и сравнительной анатоміи «не вкрадывалось ученіе, низвергающее санъ человѣка, внутреннюю его свободу» и пр. и пр. Во всѣхъ этихъ наставленіяхъ наука явно приносится въ жертву постороннимъ для нея цѣлямъ. Что значитъ — «возвѣщать о единствѣ исторіи»; къ чему обязываетъ «частое указаніе на дивный и постепенный ходъ богопознанія»; что это за «надменное умствование» и что за «истины, не подлежащія опыту» въ естественныхъ наукахъ? Всѣ эти фразы такъ злобѣщи и такъ эластичны, что, при нѣкоторомъ усердіи исполнителей, можно не пропустить въ свѣтъ ни одной печатной книги, сколько нибудь удовлетворяющей научнымъ требованіямъ; благодаря имъ, политическая исторія утрачиваетъ всякое самостоятельное значеніе и обращается въ излишній придатокъ къ исторіи церкви; естественныя же науки подрываются въ самомъ корнѣ, такъ какъ изъ нихъ тщательно удалены сомнѣніе и опытъ. Можно было предвидѣти

къ какимъ послѣдствіямъ придуть члены ученаго комитета, взявъ подобную инструкцію за точку своего отправленія. И дѣйствительно, тутъ нечего было думать о томъ, чтобы въ исторіи группировались только тѣ факты, до которыхъ можно прослѣдить развитіе общественной мысли и измѣненіе къ лучшему политическихъ формъ (о чемъ заботился В. Попугаевъ въ приведенной нами статьѣ); нечего было стараться вывести естественныя науки на путь строго-логическихъ заключеній, безъ всякой примѣси метафизики (какъ мы видѣли это въ «С.-Петерб. Вѣстникѣ»); опасно было основать на требованіяхъ природы и указаніяхъ исторіи ту особенную науку—естественное право—которая не пугала умы и не возмущала ничьей совѣсти только въ тѣ счастливые дни, когда «*La politique naturelle*» Гольбаха могла появиться въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» почти въ буквальномъ переводѣ. Отъ согласованія исторіи съ «постепеннымъ ходомъ богопознанія», отъ враждебныхъ и рѣзкихъ выходокъ противъ человѣческаго мышленія вообще—легко уже было дойти до полного отверженія всѣхъ наукъ, которыя не могли примкнуть тѣснѣйшимъ образомъ къ церковной исторіи или къ догматическому богословію. И потому нельзя удивляться, что во времена Магницкаго проф. Никольскій, желая спасти математику отъ грознаго остракизма, навязывалъ ей чисто-богословскія цѣли. «Математику—писалъ этотъ перепуганный и слабоумный профессоръ—обвиняютъ (хорошо это выраженіе: обвиняютъ) въ томъ, что она, требуя на все доказательствъ самыхъ строгихъ, располагаетъ духъ человѣческій къ недовѣрчивости и пытливости... Причиною вольнодумства не математика, а господствующій духъ времени. Въ математикѣ содержатся превосходныя подобія священныхъ истинъ, христіанскою вѣрою возвѣщаемыхъ. Напр., какъ числа безъ единицы быть не можетъ, такъ и вселенная, яко множество, безъ еди на го владыки существовать не можетъ. Начальная аксіома въ математикѣ: всякая величина равна самой себѣ. Главный пунктъ вѣры состоитъ въ томъ, что Единный въ первоначальномъ словѣ своего всемогущества (?) равенъ самому себѣ! Въ геометріи треугольникъ есть первый самый простѣйшій видъ; святая церковь издревде употребляетъ треугольникъ символомъ Господа, яко верховнаго геометра. Двѣ линіи, крестообразно пересѣкающіяся подъ прямыми углами, могутъ быть прекраснѣйшимъ іероглифомъ любви и правосудія. Гипотенуза въ прямоугольномъ треугольникѣ есть символъ срѣтенія правды и мира, правосудія и любви чрезъ Ходатая Бога и человѣковъ, соединившаго горнее съ дольнымъ, небесное съ земнымъ». Въ то время какъ проф. Никольскій обращалъ чистую

математику въ «прекраснѣйшіе гіероглифы» или, лучше сказать, въ богословско-мистическое празднословіе, другой профессоръ—анатоміи—съ сокрушеннымъ сердцемъ говорилъ, что «превращеніе труповъ въ скелеты есть необходимость для науки, весьма жестокая въ отношеніи почтенія нашего къ умершимъ; но сія жестокость должна смягчаться въ благоустроенныхъ заведеніяхъ скрытнымъ производствомъ и благочестивымъ погребеніемъ частей тѣла, отъ костей отпадшихъ». («Матер. для истор. образованія въ Россіи» Сухомлинова, ч. II, стр. 60 и 64).

Если Магницкій водворялъ съ такимъ успѣхомъ новыя начала между профессорами казанскаго университета.—то члены ученаго комитета не меньше преуспѣвали въ сортировкѣ вредныхъ и полезныхъ учебныхъ книгъ. Въ особенности отличались по этой части камеръ-юнкеръ Стурдза и Руничъ (впослѣдствіи попечитель петербургскаго учебнаго округа). Члены комитета осудили даже многія учебныя прописи за помѣщенные въ нихъ нравственно-философскіе примѣры. Для новаго изданія прописей извлекались примѣры изъ книги: «О подражаніи Христу» и изъ «Чтенія четырехъ евангелистовъ»; изреченій же нравственно-философскихъ комитетъ не допускалъ вовсе, желая и въ прописяхъ ознакомить учащихся съ «единою на потребу, истинною нравственностью христіанскою». Вмѣстѣ съ нравственно-философскими прописями подверглись изгнанію и всѣ философскія книги, не подходившія подъ требованія инструкціи. Въ число этихъ книгъ попали: «Логическія наставленія» профессора петербургскаго университета Лодія, книга подъ названіемъ: «Всеобщая мораль, или должности человѣка, основанныя на его природѣ». «Естественное право» Куницына; даже сочиненіе, приписываемое Екатеринѣ II-й: «О должностяхъ гражданина и человѣка» найдено неудобнымъ для народныхъ училищъ (для которыхъ оно и было издано въ 1783 г.), такъ какъ въ немъ обязанности человѣка основывались на его отношеніяхъ къ обществу. Въ учебникѣ исторіи Кайданова отмѣчены два «сомнительныя мѣста», а именно: «отъ одной пары, Богомъ сотворенной, люди размножились» и во-вторыхъ: «гоненіе на христіанъ, бывшее въ Трояново время, должно, кажется, приписать болѣе тому, что послѣдователи ученія христова были смѣшиваемы тогда съ іудеями производившими вездѣ возмущенія». При осужденіи «Всеобщей морали» и «Естественнаго права», Руничъ высказалъ замѣчательныя мнѣнія. О «Всеобщей морали» онъ говорилъ, что «она составлена изъ мнѣній языческихъ и новѣйшихъ философовъ, и цѣль ея состоитъ въ томъ, чтобы научать мнимой добродѣтели, не при

чаго ея источника, и, общаѣ блаженство, вести книгѣ Куницына тотъ же неумолимый рецензиче: «Она есть ничто иное, какъ сборъ которыя, къ несчастію, довольно изи которыя волновали и еще волновъ правъ челоѣка и граждаи философізма во Франціи съидимъ только раскрытіе еяпорядку. Маратъ былъ ничтогическій послѣдователь сей науки.быть изъята изъ употребленія по всѣмъ, ибо публичное преподаваніе наукъ по безмъ (самъ Куницынъ былъ профессоромъ алеклицея и, при открытіи его, получилъ награду, личнодаря, за свою рѣчь) не можетъ имѣть мѣста въ царствовосударя, давшего торжественный обѣтъ предъ лицомъ всегоеловѣчества (намекъ на священный союзъ) управлять врученнымъ ему отъ Бога народомъ по духу слова Божія». Съ особеннымъ удовольствіемъ отвергалъ ученый комитетъ тѣ книги, которыя были уже одобрены къ употребленію прежнимъ министерствомъ. Это желаніе отличиться своею бдительностью и благонамѣренностью, сравнительно съ прежнимъ управленіемъ, было такъ велико въ ученомъ комитетѣ, что не только отдѣльныя изданія бывшаго главнаго правленія училищъ, но и его офиціальныи органъ (съ которымъ отчасти знакомы наши читатели), выходившій въ теченіе многихъ лѣтъ подъ названіемъ: «Періодическое сочиненіе о успѣхахъ народнаго просвѣщенія», предложено вывести изъ употребленія, какъ книгу «опасную по нѣкоторымъ ея мѣстамъ», и замѣнить ее собраніемъ законовъ и правилъ учебнаго управленія, изданныхъ по плану *Almanach de l'université de France*. Новое изданіе однако не состоялось, а въ прежнемъ не сочли нужнымъ уничтожать опасныя мѣста, находя, что они, по давности напечатанія и неважности своей, никѣмъ уже не читаются и, слѣдовательно, не могутъ внушить вольнодумныхъ мыслей юношеству. Стурдза, въ отпоръ зловреднымъ ученіямъ, въ родѣ тѣхъ, которыя были изложены въ учебномъ курсѣ Куницына, начерталъ свою собственную программу для преподаванія естественнаго права, такъ сказать, наизуворотъ. По этому начертанію, учебная книга естественнаго права раздѣлялась на двѣ части: обличительную и изложительную. Въ обличительную часть входили слѣдующія главы: 1) о первобытномъ состояніи челоѣка, б у д т о б ы естественномъ; 2) свидѣтельства историческія,

отвергающія эту гипотезу; 3) доводы умственные въ опроверженіе догадки о первобытномъ состояніи и пр. и пр., а въ заключеніе: «доказательства о томъ, что право естественное, по принятому о немъ понятію, недостаточно къ открытію всѣхъ общественныхъ истинъ и законовъ». Часть изложительную составляли, между прочимъ, слѣдующія главы: 1) о первобытномъ состояніи человѣка по свидѣтельству откровенія и бытописанія древнѣйшихъ народовъ; 2) о несомнѣнности грѣхопаденія; 3) семейство и государство, установленныя самимъ Богомъ чрезъ посредство власти отеческой и т. д. Изъ всѣхъ членовъ ученаго комитета только одинъ Фусъ, извѣстный составитель цензурнаго устава, сохранялъ еще старыя хорошія преданія и пробовалъ возставать, хотя въ робкой, нерѣшительной формѣ, противъ новаго ханжества и мракобѣсія; такъ, напр., онъ одобрилъ книгу Куницына и даже призналъ ее достойною поднесенія государю; но голосъ Фуса былъ слабъ, одинокъ и заглушался дружнымъ хоромъ противоположныхъ голосовъ. Вскорѣ началось у насъ и систематическое гоненіе на университеты.

Въ это время баронессы Крюднеръ уже не было въ Петербургѣ: какъ ревностная сторонница греческаго возстанія, вспыхнувшего въ 1821 г., она возбудила противъ себя подозрѣнія Австріи и, въ угоду всесильному тогда Меттерниху, была выслана изъ Петербурга. Съ этой минуты Александръ подчинился безраздѣльно совѣтамъ австрійскаго министра, и подчиненіе это было такъ сильно, что, вопреки собственному внутреннему чувству, склонявшему его на сторону грековъ, вопреки представленіямъ своего друга Каподистріи, русскій государь рѣшился оставить безъ всякой помощи «мятежный» народъ, возставшій противъ своего «законнаго» властелина—турецкаго султана. Въ университетскомъ вопросѣ, а по связи съ нимъ, и въ положеніи науки и литературы въ Россіи, сказалось особенно вредно вліяніе Меттерниха. — Было время (въ началѣ царствованія Александра), когда русское правительство признавало свободу ученаго изслѣдованія необходимымъ условіемъ не только для развитія просвѣщенія, но и для поднятія народной нравственности. М. Н. Муравьевъ, первый «попечитель» московскаго округа и товарищъ министра народнаго просвѣщенія, объяснял свободой научнаго мнѣнія умственное превосходство протестантской Германіи въ сравненіи съ католическою. «Протестантскія земли, — писалъ онъ, — гдѣ царствуетъ разумная свобода въ разбирательствѣ мнѣній, отличаются общимъ распространеніемъ просвѣщенія и благонравія. Въ сихъ послѣднихъ родились великіе писатели, кото-

рые возвысили нѣмецкій языкъ до соперничества съ французскимъ и англійскимъ. Австрія и Баварія не могутъ ничего противоположить славнымъ именамъ Лессинга, Виланда и Клопштока». Но съ перемѣной политическихъ условій, австрійскіе порядки, усовершенствованные Меттернихомъ, стали приниматься у насъ, какъ образецъ для подражанія.

Австрійское министерство обрушилось на университеты всею тяжестью различныхъ ограниченій, тайнаго и явнаго соглядатайства, послѣ извѣстнаго вартбургскаго праздника и послѣдовавшаго затѣмъ убійства Коцебу. На карлсбадскихъ конференціяхъ, созванныхъ въ виду всеобщаго потрясенія умовъ въ Германіи, нѣмецкія правительства, подъ руководствомъ Меттерниха, обратили особенное вниманіе на свободу университетскаго обученія, считая ее чуть ли не главнымъ источникомъ враждебнаго духа, который обнаружился, съ значительной силою, во всѣхъ образованныхъ слояхъ нѣмецкаго общества. На самомъ же дѣлѣ, конечно, не эта свобода была причиною антиправительственныхъ демонстрацій, а неисполненіе обѣщаній, торжественно данныхъ народу нѣмецкими государями въ эпоху, трудную для ихъ правительствъ. «Четыре года протекло со времени лейпцигской битвы—говорили прямо вартбургскіе патріоты,—въ продолженіе которыхъ нѣмецкій народъ жилъ самыми свѣтлыми надеждами, но всѣ онѣ оказались напрасными: многое пошло иначе, нежели мы ожидали; намѣренія великія и прекрасныя остались безъ исполненія; благородныя, святыя чувства попораны, осмѣяны, опозорены; обѣщанія, данныя въ годину горя, не сдержаны». Тѣмъ не менѣе, университеты признаны во всемъ виновными, и противъ профессоровъ приняты мѣры, какъ противъ государственныхъ преступниковъ. Малѣйшій оппозиціонный оттѣнокъ въ преподаваніи лишалъ профессора его кѣдры; изгнанный изъ одного университета преподаватель не могъ уже занимать кѣдры ни въ какомъ изъ союзныхъ государствъ. Карлсбадскія конференціи, подозрительность и осторожность нѣмецкихъ властей подѣйствовали и на Россію. И у насъ, при всемъ затишьѣ академической жизни, нашлись охотники утверждать, что университеты суть главные очаги революціи, которая уже готовится и не замедлитъ вспыхнуть, если государственные люди не предупредятъ ее своевременными «мѣропріятіями». Александра старались увѣрить, что ему угрожаетъ такая же опасность, какъ и нѣмецкимъ государямъ. Стурдза открыто выражалъ мнѣніе, что въ университетахъ «необузданная» молодежь отвергаетъ спасительную власть закона и предается всякаго рода крайностямъ и безнравственнымъ по-

рываю; профессора хлопочутъ только о популярности и враждуютъ съ религіей; медицина «думаетъ своимъ анатомическимъ ножомъ проникнуть въ святилище души», а юридическія науки проповѣдуютъ революцію и право сильного. «Доколѣ по окровавленной Европѣ — вопилъ союзникъ Стурдзы, Магницкій — какъ орды дикихъ, устремлялись народы просвѣщенные одинъ на другаго; доколѣ лилась кровь рѣками, и адская политика прикрывала именемъ мира только отдыхъ свой для новыхъ жесточайшихъ разрушеній, — духъ злобы оставался со всѣхъ другихъ сторонъ покойнымъ. Но когда водворился общій миръ, когда миръ сей запечатлѣнъ именемъ Иисуса, когда государи европейскіе сами поставили себя въ невозможность его нарушить, — взволновались университеты, являются изступленные безумцы, требующіе смерти, труповъ, ада! Что значить неслыханное сіе въ исторіи явленіе?.. Самъ князь тмы видимо подступилъ къ намъ; рѣдѣтъ завѣса, ея окружающая... Слово человѣческое есть проводникъ адской силы, книгопечатаніе — орудіе его; профессора безбожныхъ университетовъ передаютъ юношеству тонкій ядъ невѣрія и ненависти къ законнымъ властямъ, а тисненіе разливаетъ его по всей Европѣ». Такія подозрительныя замѣчанія, такіе тяжкіе извѣсты на науку случалось и прежде слышать русскому государю. При обсужденіи проекта александровскаго лица, Жозефъ-де-Местръ, бывшій тогда сардинскимъ посланникомъ при русскомъ дворѣ, опасливо предупреждалъ русское правительство, что оно напрасно вводитъ въ новоучреждаемомъ заведеніи преподаваніе естественныхъ и политическихъ наукъ. Сильно вооружался онъ противъ ученія о физическомъ образованіи земли. «Библія—писалъ де-Местръ—совершенно достаточно, чтобы знать, какимъ образомъ произошла вселенная; подѣ предлогомъ же различныхъ теорій о происхожденіи міра будутъ наполнять молодыя головы космогоническими бреднями новѣйшаго издѣлія». Отрицая пользу изученія правъ, де-Местръ утверждалъ, что въ первой юности надо знать только три вещи касательно общественнаго устройства: первое, — что Богъ сотворилъ человѣка для общества, второе, — что для общества необходимо правительство, — третье, что каждый обязанъ повиноваться властямъ и быть готовымъ запечатлѣть смертью вѣрность и преданность своему государю. Опасенія де-Местра не были, къ счастью, услышаны, и въ программѣ лицейскаго курса мы находимъ какъ различныя теоріи о происхожденіи земли, такъ и естественное право, столь пугавшее сердце больного сардинскаго мудреца. Но тѣ же мысли, высказанныя въ

другое время кн. Голицынымъ, Магницкимъ, Стурдзою и Руничемъ, произвели совершенно другой эффектъ,—и необходимость научнаго преподаванія, даже польза существованія университетовъ, какъ центровъ высшаго образованія, были подвергнуты тягостному сомнѣнію. Магницкій, открывъ бездну провинностей въ казанскомъ университетѣ, приговорилъ его къ «публичному разрушенію»; также строго осужденъ былъ Руничемъ петербургскій университетъ. Правда, не всѣ честные люди молчали при видѣ убійственныхъ ампутацій, совершаемыхъ подъ русскимъ просвѣщеніемъ:—Уваровъ, попечитель петербургскаго университета, обвиненный косвенно въ потворствѣ вреднымъ ученіямъ, Парротъ, профессоръ дерптскаго университета, пользовавшійся личной дружбой императора, старались разъяснить правительству настоящее значеніе всѣхъ принимаемыхъ мѣръ и указать гибельные ихъ результаты. Уваровъ говорилъ, что — «друзья мрака присвоиваютъ себѣ самыя священные имена, чтобы захватить власть и подкопать порядокъ въ самомъ основаніи; они утверждаютъ, что защищаютъ троны и алтари противъ нападеній несуществующихъ, и въ то же время набрасываютъ подозрѣніе на истинныя опоры алтаря и трона... они—искусные актеры, надѣвающие всевозможныя маски, чтобы смутить всѣ совѣсти, встревожить всѣ умы». Парротъ выражался еще энергичнѣе въ своей запискѣ (*Сoup d'œil moral sur les principes actuels de l'instruction publique*) о неизбѣжныхъ послѣдствіяхъ тѣхъ реформъ, которыя готовились казанскому университету: «по вѣншности—писалъ онъ государю—университетъ сохранить нѣкоторый порядокъ, но внутри это будетъ к лоака всякой безнравственности до тѣхъ поръ, пока наконецъ начальство не обратитъ на нее вниманія». При этомъ онъ припоминалъ Александру его собственныя слова («Я не хочу—говорилъ прежде государь—чтобы общественное воспитаніе лишило молодежь энергіи, точно также, какъ я не хочу имѣть слабодушныхъ въ государственной службѣ») и доказывалъ, что люди, прикрывающіеся религіей, поставили себѣ задачею сдѣлать русскихъ рабами, — рабами въ правленіе государя, который всегда желалъ царствовать «надъ людьми, а не надъ истуканами». Александръ выслушивалъ все это, пытался сбросить съ себя тяжелое иго, наложенное на него мнимо-преданными слугами, пробовалъ ограничить ихъ самозванное усердіе; но скоро ослабѣвалъ въ этой внутренней борьбѣ, впадалъ снова въ уныніе, настраиваясь на мистическія мысли,—и дѣло шло своимъ прежнимъ чередомъ...

XII.

Постепенное стѣсненіе правъ журналистики.—Роль министерства полиціи.—Обсужденіе вопроса о крѣпостномъ правѣ.—Столкновеніе Карамзина и Жуковского съ цензурою.—Литературныя поползновенія цензоровъ.—Цензоръ Красовскій, исправляющій слогъ кн. Вяземскому.—Критическія замѣчанія его на стихотвореніе Олина.—Недозволеніе журнала Александру Бестужеву.—Преслѣдованіе и запрещеніе „Духа Журналовъ“.

Всѣ обстоятельства, изложенныя нами, касались ближайшимъ образомъ судьбы прессы, какъ самаго чуткаго нерва въ общественномъ организмѣ. Настроеніе правительства выражалось всего опредѣленнѣе въ дѣятельности министерства народнаго просвѣщенія; гоненіе на университеты было, вмѣстѣ съ тѣмъ, гоненіемъ на литературу вообще—на книги и на журналы,—такъ какъ цензура сосредоточивалась въ университетахъ и подчинялась, въ высшей инстанціи, главному правленію училищъ. Составъ профессоровъ, которые были обыкновенно—хотя и не исключительно—цензорами; духъ, господствовавшій въ главномъ правленіи училищъ, между высшими судьями цензурнаго вѣдомства—всѣ эти вопросы были весьма существенны для развитія журналистики, которая, не имѣя за собой поддержки сильнаго общественнаго мнѣнія, была совершенно беззащитна предъ лицомъ строгой и придирчивой власти.

Первой попыткой стѣснить права журналистики — слѣдуетъ считать подчиненіе ея высшему надзору министерства полиціи¹⁾. Это министерство, учрежденное въ 1811 г., съ генераломъ Балашовымъ во главѣ, имѣло, между прочимъ, своею цѣлью «цензурную ревизію», которая и была отнесена къ обязанностямъ канцеляріи министерства полиціи. Министерство полиціи наблюдало за тѣмъ, чтобы не обращались въ публикѣ книги и журналы безъ правительственнаго дозволенія; оно разрѣшало къ напечатанію всѣ «афиши и объявленія» (подъ этотъ пунктъ подошли и объявленія объ изданіи журналовъ); кромѣ того, ему предоставлялся, до извѣстной степени, контроль надъ самой цензурою, и главный начальникъ полиціи, «усмотрѣвъ въ книгахъ, уже пропущенныхъ цензурою, поводъ къ превратнымъ толкованіямъ, общему порядку и спокойствію противнымъ», могъ сноситься объ этомъ съ министерствомъ народнаго просвѣщенія или же представлять все дѣло непосредственно на высочайшее усмотрѣніе.

¹⁾ «Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи», стр. 21—23.

Подчиненіе цензуры министерству полиціи вызвало, съ перваго же разу, недоразумѣнія между нимъ и министерствомъ народнаго просвѣщенія. Приступивъ къ организаціи новаго министерства, генераль Балашовъ задумалъ основать при своей канцеляріи особый комитетъ для «цензурной ревізій». Предположеніе это было внесено въ комитетъ министровъ, который отнесся къ нему вполне одобрительно. Но графъ Разумовскій, министръ народнаго просвѣщенія, почему-то не присутствовавшій въ этомъ засѣданіи комитета министровъ, сдѣлалъ письменныя замѣчанія на сообщенный ему проектъ полицейскаго цензурнаго комитета. Разумовскій не усматривалъ въ наказѣ министерству полиціи достаточнаго повода для подобнаго учрежденія. «По предложенію генерала Балашова—писалъ онъ въ своей официальной запискѣ—возлагается на комитетъ обязанность просматривать вновь всѣ выходящія на руссійскомъ языкѣ книги и сочиненія, хотя бы они и были одобрены цензурою. Сею статьею, состоящею въ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣщенія, цензурные комитеты совершенно лишаются сдѣланной имъ уставомъ о цензурѣ довѣренности, и дѣйствіе ихъ становится излишнимъ. Слова 2-й ст. § 84 высочайше утвержденнаго учрежденія министерства полиціи: «если министръ полиціи усмотритъ» и пр., не могли содержать въ себѣ ту мысль, чтобы всѣ сочиненія были вновь разсматриваемы въ министерствѣ полиціи, и означаютъ, по моему мнѣнію, только: «если дойдетъ до свѣдѣнія министра полиціи» и проч. Но всѣ эти «пререканія», всѣ заботы министерства народнаго просвѣщенія спасти свою самостоятельность по части цензурованія и пропуска книгъ, не повели ни къ чему; замѣчанія Разумовскаго были даже доложены государю статсъ-секретаремъ Молчановымъ не ранѣе, какъ черезъ три мѣсяца. Генераль Балашовъ былъ тогда въ большой силѣ, и министерство полиціи начало таки цензуровать самихъ цензоровъ. Въ судьбѣ «Духа Журналовъ», съ которой мы намѣрены познакомиться нашихъ читателей, министерство полиціи играло немаловажную роль. Подобное усиленіе цензурной бдительности показывало уже, что правительство начинаетъ колебаться въ своемъ сочувствіи къ литературѣ и перестаетъ раздѣлять нѣкогда высказанную имъ мысль: «строгость цензуры всегда влечетъ за собой пагубныя послѣдствія, истребляетъ искренность, подавляетъ умъ и, погашая священный огонь любви къ истинѣ, задерживаетъ развитіе просвѣщенія». Съ теченіемъ времени, правительство все дальше и дальше отходило отъ этой мысли, и количество цензурныхъ дѣлъ увеличивалось въ соотвѣтственной сте-

пени. При этомъ возникала нерѣдко полемика между цензурнымъ комитетомъ и авторами, не желавшими подвергаться безапелляционно цензурнымъ строгостямъ; цензоры, обвиняемые въ либерализмъ за пропускъ нѣкоторыхъ статей, тоже не отмалчивались, а старались оправдать свои дѣйствія, ссылаясь на либеральныя мѣры самого правительства и растолковывая цензурный уставъ въ выгодномъ для литературы смыслѣ. Приносить эти оправданія было тѣмъ удобнѣе, что правительство не отличалось послѣдовательностью, и, давая одною рукою либеральныя реформы (какъ, напримѣръ, конституцію въ Польшѣ), другою задерживало послѣдствія, естественно изъ нихъ вытекающія. Въ самомъ государѣ, какъ сказали мы, постоянно жили и боролись два противоположныя начала: преданія юности, мысли, внушенныя Лагарпомъ, и позднѣйшія вліянія, новые опыты государственной жизни. Сталкиваясь въ его душѣ, эти различныя теченія мыслей попеременно брали верхъ, но никогда не подавляли, не изглаживали окончательно одно другое. Шишковъ—стоявшій близко къ государю со времени назначенія своего государственнымъ секретаремъ и еще болѣе забравшій силу послѣ паденія министерства Голицына, когда предусмотрительный Аракчеевъ вручилъ ему вакантный министерскій портфель, — этотъ неуклюжій, но сметливый интриганъ замѣчалъ внутреннія боренія государя и старался оклеветать въ его глазахъ либеральныя идеи, называя ихъ прямо, на своемъ странномъ жаргонѣ, «порожденіями ада». Революція въ Испаніи и въ Неаполѣ (въ 20-хъ годахъ), казалось, помогала Шишкову дѣйствовать въ духѣ обскурантизма, и Александръ, по его словамъ, «пересталъ помышлять о дарованіи вольности народу, о соединеніи всѣхъ вѣръ, о новой философіи, подъ именемъ высокихъ таинствъ, разрушавшей всѣ связи обществъ, и другихъ подобныхъ сему мечтаніяхъ; случай, подавшій поводъ къ перемѣнѣ министерства народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, казалось, открылъ ему злонамѣренность тѣхъ правилъ, которымъ доселѣ послѣдовалъ онъ съ такою ревностью». Но и тутъ надежды Шишкова оказались преувеличенными. «Привязанность—говоритъ онъ съ грустью обманутыхъ упованій—или какъ бы нѣкая страсть государя къ прежнимъ своимъ дѣяніямъ и образу мыслей, не взирая на силу опытовъ и убѣжденій, не могла въ немъ истребиться, такъ что, казалось, онъ, самъ съ собою борясь, увлекался попеременно то тѣми, то другими мыслями. Очевидность (?) доказательствъ и сильныя мои настоянія принуждали его соглашаться на предприемлемыя мною мѣры но онъ разрушалъ ихъ тайнымъ образомъ. По дѣл

пастора Госнера, отдавъ Попова (директора департамента народного просвѣщенія) подъ судъ, уговаривалъ Милорадовича, чтобы онъ старался оправдать его». (См. Зап. Шишкова, стр. 110—11). Только этою непослѣдовательностью, этими колебаніями правительства, объясняется тотъ поразительный фактъ, что либеральныя идеи, гонимыя въ одномъ журналѣ, спокойно переселяются въ другой, высказываются устами высокопоставленныхъ лицъ, переходятъ даже въ officialные акты... Въ то время какъ двойственная цензура—министерства народного просвѣщенія и министерства полиціи—угнетаетъ «Духъ Журналовъ» за его конституціонное направленіе, Александръ въ Варшавѣ говоритъ польскимъ депутатамъ: «законно-свободныя постановленія, коихъ священныя начала смѣшиваютъ съ разрушительнымъ ученіемъ, угрожающимъ въ наше время бѣдственнымъ паденіемъ общественному устройству, не суть мечта опасная; напротивъ, таковыя постановленія, когда приводятся въ исполненіе по правотѣ сердца и направляются съ чистымъ намѣреніемъ къ достиженію полезной и спасительной для человѣчества цѣли, то совершенно согласуются съ порядкомъ, и общимъ содѣйствіемъ утверждаютъ истинное благоденствіе народовъ». (См. «Сынъ Отечества» 1818 г., № 18). Въ томъ же году графъ Уваровъ, президентъ академіи наукъ и попечитель петербургскаго учебнаго округа, въ торжественномъ собраніи главнаго педагогическаго института, произноситъ рѣчь, въ которой называетъ политическую свободу «последнимъ и прекраснѣйшимъ даромъ Бога»; опасности и бури, сопровождающія эту свободу, не должны, по мнѣнію оратора, устрашать людей: великій даръ природы «сопряженъ съ большими жертвами и съ большими утратами», онъ пріобрѣтается медленно и сохраняется лишь неуныною твердостью. Но тотъ же графъ Уваровъ, заботившійся о развитіи у насъ политической жизни, предписывалъ цензурному комитету «обратить вниманіе на выписки изъ листовъ (т. е. изъ иностранныхъ газетъ) и на рѣчи членовъ оппозиціи въ англійскомъ парламентѣ», помѣщаемыя въ нашихъ журналахъ,—между тѣмъ какъ эти выписки были для массы читателей единственнымъ средствомъ ознакомиться, хоть скольконибудь, съ движеніемъ политическихъ идей въ Западной Европѣ. Быть можетъ, графъ Уваровъ повиновался въ этомъ случаѣ какомунибудь постороннему внушенію; но можно также полагать, что онъ и самъ не замѣчалъ противорѣчія между своими словами и дѣйствіями. Такія противорѣчія встрѣчались ежеминутно, и если, въ началѣ царствованія, они помѣшали полному торжеству «либеральнаго направленія», то, съ перемѣною обстоятельствъ

они же спасли хоть частицу его отъ окончательнаго изгнанія изъ литературы и общества...

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ былъ всегда подводнымъ камнемъ для нашихъ авторовъ и цензоровъ. Слухъ о личномъ не-расположеніи государя къ крѣпостной зависимости крестьянъ не могъ не распространиться въ публикѣ; нѣкоторыя мѣры правительства, очевидно, подтверждали этотъ слухъ — и болѣе рѣшительные писатели, увлекаясь желаніемъ содѣйствовать хорошему намѣренію высшихъ властей, пытались затрогивать, въ той или другой формѣ, отживающій и уже осужденный принципъ. Но въ правительствѣ и въ цензурѣ мнѣнія на этотъ счетъ далеко не сходились, и то, что казалось одному цензору «благоразумнымъ изслѣдованіемъ» истины, то самое представлялось другому «неприличнымъ и неумѣстнымъ разсужденіемъ». Мы видѣли уже, что книга Пнина, осуждавшая въ прямыхъ выраженіяхъ крѣпостное право, была признана цензурою за опасную попытку «разгорячить умы и воспалить страсти». Подобная же судьба постигла и книгу Валеріана Стройновскаго: «Объ условіяхъ помѣщиковъ съ крестьянами», изданную въ 1780 г. въ Вильнѣ и переведенную Анастасевичемъ съ польскаго на русскій языкъ. Авторъ этой книги нападаетъ на поляковъ, своихъ соотечественниковъ, за то, что они отвергнули въ 1780 г. проектъ уничтоженія крѣпостнаго права и даже теперь, т. е. въ годъ изданія книги, не хотятъ согласиться съ простою мыслью, что человѣкъ не можетъ быть собственностью другаго человѣка, какъ быкъ или лошадь; но не смотря на это, Стройновскій, убѣжденный въ томъ, что помѣщики поймутъ рано или поздно необходимость освободить своихъ крестьянъ, разсматриваетъ условія, которыми должны будутъ опредѣляться новыя поземельныя отношенія. Къ переводу этой книги Анастасевичъ присоединилъ свое предисловіе, въ которомъ, вслѣдъ за историческими примѣрами, почерпнутыми изъ «Древней россійской Вивліюэки», было, между прочимъ, сказано: «знающій отечественную исторію удобно припомнить, что желаніе свободы крестьянамъ, еслибы оно когда либо исполнилось, было бы только возвращеніе имъ того блага, которымъ они наслаждались не въ слишкомъ давнія времена, т. е. менѣе двухсотъ лѣтъ». Книга эта не понравилась многимъ защитникамъ стараго порядка, и толки о ней сдѣлались такъ громки и такъ внушительны, что Сперанскій, который самъ не сочувствовалъ крѣпостному праву, приказалъ однако Анастасевичу, служившему подъ его начальствомъ въ комисіи составленія законовъ, подать просьбу объ отставкѣ; только внезапно ссылка Сперанскаго помѣшала увольненію Анастасевича. Меж

тѣмъ правительство продолжало высказываться въ пользу уничтоженія безчеловѣчнаго права. Въ 1816 году утверждено было новое положеніе для эстляндскихъ крестьянъ, которое вскорѣ было принято и въ Курляндіи. Черезъ два года новая мѣра была введена въ Лифляндіи и, по этому случаю, государь сказалъ лифляндскому дворянству: «Радуюсь, что вы оправдали мои желанія; вашъ примѣръ достоинъ подражанія. Вы дѣйствовали въ духѣ времени и поняли, что либеральныя начала одни могутъ служить основою счастія народовъ». Присоединеніе Псковской губерніи къ Остзейскому краю показало еще разъ, что государь не отказывался отъ своей любимой мысли—упразднить крѣпостное право въ русскихъ губерніяхъ—и хотѣлъ уже, повидимому, начать первый опытъ. Не смотря на все это, ближайшія къ литературѣ власти не одобряли печатнаго обсужденія щекотливаго вопроса и пользовались всякимъ случаемъ стѣснить его или устранить совсѣмъ. Удобный случай представился. Кочубей продалъ крестьянъ помѣщику Кырьякову, который перевелъ ихъ изъ Полтавской губерніи въ Херсонскую. Крестьяне не хотѣли повиноваться и не покорились даже и тогда, когда покупатель отъ нихъ отказался, и они остались за прежнимъ помѣщикомъ. Предписано было наказать виновныхъ при собраніи сосѣднихъ помѣщичьихъ крестьянъ. Но всѣ увѣщанія чиновниковъ, представлявшихъ крестьянамъ пагубныя послѣдствія своевольства, всѣ угрозы лицъ, совершавшихъ наказаніе, не произвели никакого дѣйствія: крестьяне сохраняли совершенное спокойствіе, не соглашались признать помѣщичью власть, и не приняли даже хлѣба и другихъ вспомоствованій, присланныхъ имъ отъ имени помѣщика. Изъ этого поступка крестьянъ, въ самомъ дѣлѣ довольно значительнаго, крѣпостники сочинили цѣлое пугало: сейчасъ же были отправлены циркуляры къ попечителямъ округовъ, чтобы цензура не пропускала, ни подъ какимъ видомъ, сочиненій, трактующихъ о состояніи крѣпостныхъ крестьянъ въ Россіи. Самое возмущеніе крестьянъ приписывалось мѣстнымъ губернаторомъ вліянію одной статьи (!) помѣщенной въ «Историческомъ, географическомъ и статистическомъ журналѣ», выходившемъ въ Москвѣ, хотя книжка спеціальнаго, мало читаемаго журнала могла развѣ чудомъ какимъ попасть въ хаты полтавскихъ крестьянъ, да и попавши туда, по такому чрезвычайному случаю, врядъ ли могла бы произвести то впечатлѣніе, на которое, совершенно бездоказательно, указывалъ губернаторъ. Дѣло въ томъ, что статья эта, переведенная съ нѣмецкаго и носящая названіе: «Взглядъ на успѣхи земледѣлія и благосостоянія въ Россійскомъ государствѣ»,

(«Истор. журналъ» на 1820 г. ч. 2, кн. 1, стр. 18—32) представляет сама по себѣ очень скромное и сдержанное разсужденіе на тему «постепенной» отмѣны рабства въ Россіи. Статьи такого характера проскальзывали не разъ въ русскихъ журналахъ и никогда не отражались, внезапно и непосредственно, на умственномъ настроеніи поголовно-безграмотныхъ людей; онѣ читались развѣ нѣкоторыми помѣщиками (тоже не отличавшимися особенной страстью къ литературному чтенію), читались съ злобой или неудовольствіемъ, и затѣмъ, какъ водится, прятались подальше отъ прислуги. Даже прочтенныя двумя-тремя грамотными крестьянами (а такіе крестьяне составляли, конечно, рѣдкое исключеніе), статьи эти, по своему умѣренному характеру, никакъ не могли бы воспламенить слишкомъ пылкихъ и преувеличенныхъ надеждъ. «Прочнымъ залогомъ благосостоянія Россіи—такъ разсуждаетъ авторъ помнутаго «Взгляда»—слѣдуетъ считать открытіе училищъ. Въ царствованіе императора Александра учреждено пять университетовъ, пятьдесятъ восемь гимназій и сто уѣздныхъ училищъ, кромѣ множества народныхъ школъ». Все это способствуетъ возведенію Россіи на высшую степень благосостоянія; но, вмѣстѣ съ открытіемъ училищъ, правительство также подумало и о томъ, чтобы «доставить крестьянамъ большую гражданскую свободу и даровать въ полной мѣрѣ права и преимущества, приличныя имъ, какъ существамъ разумнымъ». Многіе крѣпостные получили уже свободу, съ согласія своихъ господъ, за денежное вознагражденіе; государь «позволилъ имъ покупать свою свободу»; кромѣ того, «постепенное уничтоженіе крѣпостнаго права начато административными мѣрами на окраинахъ государства, откуда исподволь можетъ распространиться и во внутреннія области Россіи». За эту скромную статью, — которая только указывала на значеніе правительственной мѣры, уже принятой въ остзейскомъ краю и нигдѣ не взбунтовавшей крестьянъ, — профессоръ Черепановъ былъ удаленъ отъ званія цензора, а такъ какъ, по уставу, оно соединялось съ должностію декана, то запрещено было выбирать Черепанова и въ деканы.

Область литературнаго обсужденія стѣснялась мало по малу, и изъ нея произвольно исключались то тѣ, то другіе предметы, такъ что журналистамъ становилось, наконецъ, невообразимо трудно выбирать безобидныя матеріи для своихъ бесѣдъ съ публикою. Въ нѣкоторыхъ журналахъ печатались, напр., театральныя рецензіи. Но въ 1815 г. гр. Разумовскій, по поводу этихъ статей, далъ отзывъ, что сужденія о театрахъ и актерахъ позволительны только тогда, когда бы оныя зависѣли отъ частнаго содержания,

но сужденія объ императорскихъ театрахъ и актерахъ, находящихся въ службѣ его величества, онъ почитаетъ неумѣстными». Такимъ образомъ, актеры поставлены были на одну доску со всѣми коронными чиновниками, о дѣйствіяхъ которыхъ не допускалось никакихъ литературныхъ толковъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, т. е., при оцѣнкѣ дѣйствій различныхъ должностныхъ лицъ, цензура была особенно бдительна и видѣла непозволительную дерзость даже въ самыхъ невинныхъ замѣчаніяхъ литературы. Въ 1817 г., въ «Базанскихъ извѣстіяхъ», издававшихся при тамошнемъ университетѣ, помѣщены были слѣдующія строки о бывшемъ вице-губернаторѣ Гурьевѣ: «Ревностнымъ исправленіемъ трудныхъ обязанностей онъ снискалъ любовь и почтеніе людей благомыслящихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ навлекъ на себя недоброжелателей по естественному ходу вещей. Гдѣ достоинство, тамъ и зависть». Этотъ глухой намекъ на недоброжелателей вызвалъ неудовольствіе со стороны министра полиціи, который сообщилъ министру просвѣщенія, что онъ находитъ «неприличнымъ, чтобы въ вѣдомостяхъ помѣщаемы были сужденія о служащихъ или уволенныхъ отъ службы чиновникахъ». Два слова о недоброжелателяхъ, о достоинствѣ и зависти, изъ которыхъ даже и понять-то ничего нельзя было, признаны сужденіемъ, и притомъ «неприличнымъ». Журналы наши, въ первую половину царствованія Александра, помѣщали иногда извлеченія изъ тяжёбныхъ и вообще судебныхъ дѣлъ; но въ началѣ 1817 г. возбуждено сомнѣніе: вправѣ ли печать касаться этихъ вопросовъ, и гр. Разумовскій положилъ, по поводу его, такую резолюцію: «по уставу о цензурѣ, въ числѣ представляемыхъ къ разсмотрѣнію цензурнаго комитета книгъ и сочиненій, не упоминается нигдѣ о подобныхъ запискахъ по частнымъ дѣламъ», почему министръ просвѣщенія заключилъ, что «писать объ этихъ предметахъ не дозволено»—и заключилъ такъ вопреки основному юридическому правилу, что все, не запрещенное положительнымъ закономъ, дозволено имъ. Приказаніе, своевольно отданное гр. Разумовскимъ, было неоднократно подтверждаемо кн. Голицынымъ и сдѣлалось, наконецъ, руководящимъ постановленіемъ для цензуры. Исключеніе изъ этого правила составляли западныя губерніи, въ которыхъ судопроизводство совершалось на основаніи литовскаго статута, допускавшаго адвокатуру и опубликованіе процессовъ. Но по поводу одного дѣла, распукованнаго въ журналахъ въ 1818 г., два министра — полиціи и просвѣщенія—дѣйствуя сообща, потребовали объясненія отъ попечителя виленскаго округа, кн. Чарторижскаго. Послѣдній отвѣ-

тиль Голицыну, что запрещеніе печатать адвокатскія мнѣнія было бы противно дѣйствующему въ краѣ законодательству, а подчиненіе ихъ предварительной цензурѣ невозможно, потому что мнѣнія эти «должны быть предаваемы тисненію немедленно; часто ихъ печатають въ то время, когда на нихъ въ судѣ дѣлается возраженіе со стороны противной партіи, и измѣненіе такого порядка, съ цѣлью подвергать ихъ предварительному просмотру цензуры, произвело бы неблагопріятное впечатлѣніе». «Голоса адвокатовъ—писаль Чарторижскій—уважаются, какъ officialныя письма, за кои адвокаты отвѣтствуютъ передъ тѣмъ же судомъ, передъ коимъ ихъ читають». Объясненіе виленскаго попечителя было сообщено министру юстиціи, кн. Лобанову, который отзывался, что, по его мнѣнію, «нѣтъ достаточнаго основанія возбранять въ присоединенныхъ губерніяхъ печатаніе записокъ адвокатовъ». Впрочемъ право это, какъ несовмѣстное съ тогдашнимъ ходомъ дѣлъ, продержалось недолго: въ 1825 году, по представленію в. к. Константина Павловича, оно было уничтожено. Кромѣ того, во время управленія министерствомъ кн. Голицына, въ цензурной практикѣ возникла мысль о предварительномъ просмотрѣ статей тѣми вѣдомствами, до которыхъ онѣ касались. По поводу одной статьи ¹⁾ объ откупахъ, помѣщенной въ «Духъ Журналовъ» 1817 г., кн. Голицынъ предписалъ цензурнымъ комитетамъ — «не пропускать ничего, относящагося до правительства, не испросивъ прежде на то согласія отъ министерства, о предметѣ котораго въ книжкѣ разсуждается». Это распоряженіе повторялось потомъ неоднократно и породило, независимо отъ общей цензуры, множество специальныхъ цензуръ по разнымъ вѣдомствамъ: каждое государственное управленіе пожелало воспользоваться этимъ важнымъ правомъ, и цензурное дѣло подчинилось еще большому количеству постороннихъ вліяній. Но, не смотря на всѣ предосторожности, принятія противъ литературы, правительственныя лица постоянно находили, что журнальныя статьи все еще недостаточно исправляются бдительною рукою цензоровъ. Маркизь Паулуччи, бывшій въ двадцатыхъ годахъ рижскимъ

¹⁾ Въ статьѣ этой (№ 3) предлагалось, для сохраненія мильоновъ, рѣшаемыхъ у казны «откупщиками», замѣнить откупъ налогомъ на винокурениіе. «Можетъ быть, покажется—говоритъ авторъ—что не поставимъ въ семъ начертаніи никакой преграды чрезмѣрному размноженію винокурениіа. На сіе имѣю честь представить, что тѣмъ невидимѣе страшенъ тѣмъ сильнѣе его дѣйствіе, а этотъ страхъ есть интересъ и наблюденіе своихъ выгодъ, ибо, еслибы винокурениіе умножилось сверхъ нужной пропорціи на расходъ, то вино останется непроданнымъ».

военнымъ генераль-губернаторомъ, представлялъ самому государю, что «публичные листы и вѣдомости, присвоивъ себѣ право судить о политическихъ отношеніяхъ и пользуясь большимъ числомъ читателей во всѣхъ сословіяхъ, имѣютъ величайшее вліяніе на мысли и сужденія, и производятъ заблужденія, которыя весьма трудно истребить изъ общаго мнѣнія». Записка маркиза была читана въ комитетѣ министровъ и заслужила всеобщее одобреніе.

Невыгодное положеніе печатнаго слова вообще — отражалось даже на литературной дѣятельности такихъ лицъ, которыхъ, повидимому, трудно было бы заподозрить въ политической неблагонадежности. Карамзину, какъ извѣстно, было высочайше разрѣшено печатать свою исторію безъ цензуры, и она печаталась такимъ порядкомъ въ военной типографіи. Но въ 1816 г. дежурный генераль-А. А. Закревскій пріостановилъ печатаніе, требуя цензурнаго дозволенія. Карамзинъ жаловался на это министру народнаго просвѣщенія. «Академики и профессоры,—писалъ онъ,—не отдають своихъ сочиненій въ публичную цензуру; государственныи исторіографъ имѣетъ, кажется, право на такое же милостивое отличіе. Онъ долженъ разумѣть, что и какъ писать; надѣюсь, что въ моей книгѣ нѣтъ ничего противъ вѣры, государя и нравственности; но быть можетъ, что цензоры не позволятъ мнѣ, напр., говорить свободно о жестокости царя Іоанна Васильевича. Въ такомъ случаѣ, что будетъ исторія?»

Карамзинъ очень вѣрно предвидѣлъ пунктъ сомнѣнія для цензуры... Желаніе его было однако удовлетворено, и «Исторія государства русскаго» вышла въ свѣтъ только съ тѣми небольшими измѣненіями, которыя предложены были автору самимъ государемъ.

Новое, еще болѣе любопытное столкновеніе съ цензурою произошло у Жуковскаго въ 1822 году. Жуковскій отдалъ для напечатанія въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» къ «Русскому Инвалиду» свой переводъ баллады Вальтеръ-Скотта: «Ивановъ вечеръ». Содержаніе этой баллады извѣстно: смальгольмскій баронъ, увѣривъ свою жену, что онъ ѣдетъ сражаться съ врагами Шотландіи, на самомъ дѣлѣ преслѣдуетъ другую цѣль и, подстерегши любовника своей жены, рыцаря Кольдингама, нападаетъ на него измѣннически и убиваетъ. Похоронивъ убитаго, баронъ возвращается домой, но, къ удивленію своему, узнаетъ отъ молодаго пажа, что Кольдингамъ, во время его отсутствія, уже погребенный и отпѣтый, имѣлъ свиданіе съ его женою на отдаленныхъ скалахъ у маяка. Въ послѣдній разъ Кольдингамъ является къ своей любовницѣ ночью передъ Ивановымъ днемъ, въ самой ея

спальнѣ, при спящемъ подлѣ нея мужѣ; рассказываетъ ей о своей смерти и на прощаніе жметъ руку, причемъ обжигаетъ ей пальцы своимъ пламеннымъ прикосновеніемъ. Вся эта фантастическая исторія оканчивается стихами, которые наши дѣвы заучивали наизусть:

Есть монахиня въ древнихъ драйбургскихъ стѣнахъ—

И грустна, и на свѣтъ не глядитъ;

Есть въ мельрозской обители мрачный монахъ—

И дичится людей, и молчитъ.

Сей монахъ молчаливый и мрачный—кто онъ?

Та монахиня—кто же она?

То—убійца, суровый смальгольмскій баронъ,

То—его молодая жена.

Порокъ, какъ видно изъ этой развязки, наказывается добровольнымъ поступленіемъ въ монастырь обоихъ виновныхъ; но цензурѣ показалось этого мало, и она запретила цѣликомъ всю балладу. Тогда авторъ, приведенный въ негодованіе, написалъ письмо къ министру народнаго просвѣщенія. «Сія баллада—объяснилъ онъ по этому случаю—давно извѣстна; содержаніе оной заимствовано изъ древняго шотландскаго преданія; она переведена стихами и прозою на многіе языки, и до сихъ поръ ни въ Англіи,—гдѣ всѣ уважаютъ и нравственный характеръ В. Скотта, и цѣль, всегда моральную, его сочиненій,—ни въ остальной Европѣ, никому не приходило на мысль почитать его балладу неправственной или почему нибудь вредною для читателя. Нынѣ я узнаю съ удивленіемъ, что мой переводъ, въ коемъ соблюдена вся возможная вѣрность, не можетъ быть напечатанъ: слѣдовательно, цензура находитъ сіе стихотвореніе или неправственнымъ, или противнымъ религіи, или оскорбительнымъ для правительства (?!). Нужно ли увѣрять, что для меня ничего не стоить отказаться отъ напечатанія нѣсколькихъ стиховъ; очень равнодушно соглашаюсь признать эту балладу незаслуживающею вниманія бездѣлкою; но слышать, что ее не печатаютъ потому, что она можетъ быть вредна для читателей—это совсѣмъ иное! Съ такимъ грозно-несправедливымъ приговоромъ я не могу и не долженъ соглашаться. Я не въ состояніи даже вообразить, на чемъ гг. цензоры основываютъ свое мнѣніе; но слышалъ, что ихъ, между прочимъ, въ слѣдующемъ стихѣ:

И ужасное знаменье въ столѣ возжено!

пугаетъ слово знаменье; должно ли замѣчать, что слова: знаменье и знакъ одно и то же, и что ни въ томъ, ни въ дру

гомъ нѣтъ ничего предосудительнаго? Если же цензоры думаютъ, что слово «знаменье» исключительно принадлежитъ предметамъ священнымъ и не должно выражать ничего обыкновеннаго, то они ошибаются, и надобно отказаться отъ знанія русскаго языка, чтобы въ этомъ случаѣ съ ними согласиться». Далѣе разобиженный Жуковский, отвѣчая на упрекъ цензуры, что онъ своимъ описаніемъ роняетъ значеніе богослужебныхъ обрядовъ, пишетъ слѣдующее: «Смѣю думать, что я не менѣе цензоровъ знаю, сколь предосудительно представлять обряды церкви въ неприличномъ видѣ или съ намѣреніемъ ихъ унижить, сдѣлать смѣшными. Но есть ли что нибудь подобное въ переведенной мною балладѣ Вальтеръ-Скотта? Я позволяю себѣ утверждать, что цѣль оной правоучительная, и что въ разсказѣ и описаніяхъ соблюдено строгое уваженіе не только къ вѣрѣ и правамъ, но и къ малѣйшимъ приличіямъ». — Перчатка была брошена, и цензурному комитету пришлось, волей-неволей, поднять ее. Онъ, дѣйствительно, не отказался отъ полемики — и въ своемъ объясненіи или, лучше сказать, въ своемъ критическомъ разборѣ на балладу Жуковскаго, выставилъ шесть обвинительныхъ пунктовъ, по которымъ баллада эта признана неудобною для печати.

Во-первыхъ, по мнѣнію комитета, — «самое названіе стихотворенія: Ивановъ вечеръ можетъ показаться страннымъ по содержанію шотландской баллады, совершенно противоположному тому почтенію, какое сыны господствующей здѣсь греко-россійской церкви обыкли хранить къ дню сего праздника, между тѣмъ какъ читателямъ предлагается чтеніе о соблазнительныхъ дѣлахъ».

Во-вторыхъ — «описаніе соблазнительныхъ дѣйствій убитаго рыцаря Кольдингама принадлежитъ къ числу суевѣрныхъ повѣстей и можетъ болѣе разгорячать и пугать воображеніе, нежели наставлять простыхъ или малопросвѣщенныхъ читателей, особливо молодыхъ людей и женщинъ».

Въ третьихъ — цензурный комитетъ находилъ, что подобныя баллады нельзя переводить безъ историческихъ примѣчаній, которыя дали бы возможность отличать достоверную часть стихотворенія отъ вымысловъ и прикрасъ автора.

Въ четвертыхъ — «для многихъ читателей покажется удивительнымъ и даже неприличнымъ то, что въ шотландской простонародной пѣснѣ, въ суевѣрномъ разсказѣ о явленіи мертвеца, въ соблазнительномъ разговорѣ съ нимъ невѣрной жены, дѣлаются весьма некстати обращенія къ Творцу, кресту, великому Иванову дню; представляются священники, монахи, панихида,

поминки, часовня, съ такою малою разборчивостью, что русскій читатель, находя въ шотландской сказкѣ часовню, панихиду и чернецовъ, невольно подумаетъ, что ему хотятъ представить рассказываемое происшествіе случившимся или, по крайней мѣрѣ, могущимъ случиться и въ Россіи. У католиковъ, а тѣмъ менѣе у протестантовъ, нѣтъ ни часовень, ни панихидъ: названіе же иноковъ чернецами, т. е. употребляющими черную одежду, исключаетъ монаховъ, носящихъ бѣлую одежду, которые есть въ нѣкоторыхъ орденахъ римской церкви, но которыхъ вовсе нѣтъ въ греко-русской.

Въ пятихъ, цензурный комитетъ, слышавъ переводъ съ англійскимъ оригиналомъ, нашелъ, что переводчикъ во многомъ отступилъ отъ подлинника и при этомъ «затемнилъ» намереніе автора: касаться съ болѣею разборчивостью предметовъ, равно почитаемыхъ католиками и протестантами; и говорить, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, съ болѣею осторожностью и скромностью о не позволенной любви.

Но главное возраженіе приберегалось къ концу. «Въ шестыхъ—гласила эта пуританская рецензія—развязка всей пьесы не имѣетъ той силы, какую хотѣлъ бы найти въ ней читатель и какой дѣйствительно требуетъ великость пороковъ и преступленій, описываемыхъ здѣсь съ такою подробностью. Послѣ впечатлѣній, сдѣланныхъ на читателя представленною ему картиною соблазнительной жизни трехъ лицъ, выбранныхъ изъ людей высшаго состоянія (вѣроятно, намекъ на униженіе высшихъ классовъ), читатель не видитъ сокрушенія преступной жены, сдѣлавшей несчастными и своего мужа, и любовника, и себя; не находитъ сильнаго раскаянія въ мужѣ, который отъ ревности и свирѣпства сдѣлался убійцею одного врага и желалъ открыть другихъ подобныхъ враговъ. Изъ одного того, что баронъ и его молодая жена скрылись другъ отъ друга и отъ свѣта въ уединеніи монастырскомъ и, надѣвши монашеское платье, показывались: одинъ—мрачнымъ и дичащимся людей, а другая—грустною и необращающей глазъ на свѣтъ, читатель еще не увѣрится о сокрушеніи ихъ сердецъ и примиренія ихъ съ Богомъ и между собою посредствомъ истиннаго покаянія. Притомъ о состояніи ихъ въ монастырскихъ стѣнахъ упомянуто холодно, съ равнодушіемъ, даже съ нѣкоторымъ видомъ неуваженія къ сей перемѣнѣ, между тѣмъ какъ здѣсь-то особливо надлежало бы показать живое участіе христіанскаго человѣколюбія, чего имѣли право требовать если не несчастливцы, можетъ быть, вымышленные, то, по край-

ней мѣръ, читатели, желающіе увидѣть въ заключеніи наставительную развязку всей повѣсти».

Въ разсказанномъ нами случаѣ цензурный комитетъ, очевидно, выходилъ изъ круга своихъ прямыхъ обязанностей и, не ограничиваясь придирчивымъ указаніемъ на безнравственные и антирелигіозныя мѣста, пускался въ совсѣмъ непринлежащую ему оцѣнку литературной стороны произведенія, сличалъ переводъ съ подлинникомъ, требовалъ историческихъ примѣчаній, осуждалъ суевѣрный характеръ повѣсти, способный «разгорячать и пугать воображеніе». Все это не относилось нисколько къ чисто репрессивной дѣятельности, предоставленной цензурѣ; ~~кроме~~ того, въ самомъ цензурованіи пьесы, усиливаясь ~~идти~~ и перетолковать въ худую сторону всѣ неясныя и двусмысленныя мѣста, сближая для этой цѣли различныя части стихотворенія, комитетъ явно нарушалъ сохранявшійся еще въ цензурномъ уставѣ либеральный пунктъ: «когда мѣсто, подверженное сомнѣнію, имѣетъ двойкій смыслъ, въ такомъ случаѣ лучше истолковать оное выгоднѣйшимъ для сочинителя образомъ, нежели его преслѣдовать». Либеральный духъ, внушившій эти строки, давно исчезъ — и гибкій смыслъ цензурныхъ постановленій подался въ сторону, наименѣе благоприятную для литературы. Цензурная бдительность распространялась съ неимоверною быстротою: не довольствуясь вычеркиваніемъ сомнительныхъ мѣстъ, цензора скоро стали выправлять самый слогъ авторовъ, дѣлать свои собственныя вставки и писать критическія замѣчанія на цензуруемыя ими сочиненія. Этимъ литературными стремленіями въ особенности отличался цензоръ Красовскій, прославленный эпиграммами Пушкина. Въ 1823 г. князь Вяземскій приносилъ жалобу на Красовскаго за то, что этотъ послѣдній «принимаетъ обязанность рецензента и съ учительской заботливостію наставляетъ искусству писать по своему, замѣняя одни слова другими и выкидывая выраженія, по мнѣнію его, некрасивыя или неправильныя». Такъ, напр., въ одной строкѣ, вмѣсто за дѣваетъ, Красовскій поставилъ: у прекаетъ; въ другомъ мѣстѣ не позволилъ смазать, что Карамзинъ слѣдовалъ благоразумію; въ третьемъ, наконецъ, къ словамъ автора: строгимъ приговоромъ, прибавилъ: строгимъ, но справедливымъ и т. п. Нѣсколько позже Красовскій, по поводу одного ничтожнаго стихотворенія Олина, написалъ множество критическихъ примѣчаній въ самомъ курьезномъ родѣ. Олинъ пишетъ, напримѣръ:

Улыбку устъ твоихъ небесную ловить...

А Красовскій съ ехидствомъ замѣчаетъ: «Слишкомъ сильно сказано; женщина недостойна, чтобъ улыбку ея называть небесною». Стихъ Олина: «И на груди моей главу твою покоить» комментировался фразою: «стихъ чрезвычайно сладострастный!» Желаніе Олина, выраженное въ словахъ:

О какъ бы я желалъ пустынныхъ странъ въ тиши,
Безвѣстный, близъ тебя къ блаженству приучаться,—

это невинное желаніе привело Красовскаго окончательно въ гнѣвъ. «Это значить—пишетъ онъ въ примѣчаніи—что авторъ не хочетъ продолжать службы государю для того только, чтобъ быть всегда съ своей любовницей; сверхъ сего, къ блаженству можно только приучаться близъ евангелія, а не близъ женщины», и т. д.

Подобные «проницательные читатели», вооруженные притомъ красными чернилами, безъ сомнѣнія, мало способствовали развитію общественной мысли... Немудрено, что, послѣ продолжительнаго тяготѣнія ихъ надъ русской журналистикой, она попала, наконецъ, всецѣло въ руки Булгарина и компаніи.

Въ одно время съ развитіемъ литературныхъ пополюзованій цензоровъ, появляется желаніе ограничить, подъ разными предлогами, количество вновь разрѣшаемыхъ журналовъ. Однимъ изъ этихъ предлоговъ было, между прочимъ, требованіе, чтобы издатель журнала принадлежалъ къ «сословію ученыхъ» и приобрѣлъ себѣ извѣстность въ «ученой публикѣ». Такой взглядъ примѣненъ былъ къ Александру Бестужеву (Марлинскому), который ходатайствовалъ о разрѣшеніи издавать съ 1819 г. журналъ, подъ названіемъ «Зимцерла», но, получивъ отказъ, пространно мотивированный цензурнымъ комитетомъ въ пяти параграфахъ: «1) По содержанію программы, кругъ журнала, предполагаемаго Бестужевымъ, чрезвычайно обширенъ, заключаая въ себѣ не только всѣ части отечественной и иностранной словесности, но также критику и всѣ отрасли военныхъ и гражданскихъ наукъ. Къ выполненію такого обширнаго плана потребны и обширныя по всѣмъ частямъ свѣдѣнія, а также практическая опытность для правильнаго сужденія о предметахъ, относящихся до государственнаго управленія, чего въ Бестужевѣ, по его слишкомъ молодымъ лѣтамъ, нельзя ни предполагать, ни отрицать: ему всего двадцать лѣтъ отъ роду. 2) Хотя въ послужномъ спискѣ Бестужева значится, что онъ обучался многимъ языкамъ и наукамъ, однако, написанной имъ программѣ комитетъ не безъ удивленія замѣтилъ въ десяти не болѣе строкахъ три ошибки противъ правописанія, что доказываетъ, по меньшей мѣрѣ, его невнимательность и небрежность. 3) Помѣщенные

«Сынъ Отечества» переводы Бестужева, на которые онъ ссылается, именно «Духъ бури», стихами, изъ Лагарпа, и о состояніи эстонскихъ и ливонскихъ крестьянъ, похвальны только потому, что свидѣлствуютъ объ охотѣ его къ полезнымъ упражненіямъ. Впрочемъ, переводъ въ прозѣ о состояніи эстонскихъ и ливонскихъ крестьянъ не отличается ни чистотою слога, ни правильностію языка. 4) Для исправности въ изданіи періодическихъ сочиненій, издателю необходимо имѣть, кромѣ познаній, величайшее терпѣніе, непрерывную внимательность и навыкъ къ трудамъ. А какъ Бестужевъ въ прошеніи своемъ изъясняетъ, что онъ, будучи занятъ по службѣ, могъ быть извѣстенъ публикѣ только двумя названными статьями, то комитетъ имѣетъ причину думать, что самый родъ его службы будетъ часто отвлекать его отъ многотрудныхъ занятій журналиста, причемъ должно опасаться либо совершенной остановки, либо неисправности въ изданіи журнала. 5) Комитетъ неоднократно имѣлъ случай замѣтить, что многіе, особливо изъ молодыхъ людей, не принадлежащихъ къ сословію ученыхъ, предпринявъ изданіе какого либо журнала, прекращали его, отъ чего не только публика оставалась обманутою, ибо деньги собраны впередъ, но и цензура нѣкоторымъ образомъ терпѣла нареканіе. Мнѣніе цензурнаго комитета было принято и въ главномъ правленіи училищъ, не смотря на то, что попечитель учебнаго округа (онъ же и предсѣдатель комитета) увидѣлъ въ такомъ запрещеніи—«стѣсненіе охоты къ ученымъ и полезнымъ для общества занятіямъ». Еще меньшею основательностію отличался отказъ въ изданіи «Тульскихъ Вѣдомостей», не дозволенныхъ, между прочимъ, потому, что «академія наукъ и московскій университетъ, издающіе газеты въ Петербургѣ и Москвѣ, могутъ признать изданіе «Тульскихъ Вѣдомостей» подрывомъ и нарушеніемъ своихъ правъ».

При такихъ-то неблагоприятныхъ условіяхъ пришлось дѣйствовать «Духу Журналовъ», одному изъ лучшихъ періодическихъ изданій того времени, испытавшему на себѣ весь гнетъ двойственной цензуры—министерства полиціи и министерства народнаго просвѣщенія.

Главнымъ издателемъ «Духа Журналовъ», — по собственному его заявленію, ¹⁾—былъ Григорій Максимовичъ Яцен-

¹⁾ См. «Духъ Журн.» 1815 г., № 42, стат. «Заговоръ противъ «Духа Журналовъ». Въ этой статьѣ говорится, между прочимъ: «Главный издатель хотѣлъ было молчать, какъ онъ и прежде дѣлалъ, на всѣ критики.

ковъ; но въ изданіи участвовали, какъ видно, и другія лица, и притомъ участвовали не только матеріальными средствами, но и литературнымъ своимъ содѣйствіемъ. Яценковъ получилъ образованіе въ московскомъ университетѣ и былъ сначала учителемъ латинскаго и греческаго языковъ, а потомъ адъюнктомъ «философіи и свободныхъ наукъ» въ московскомъ университетѣ. Въ 1804 г. онъ былъ опредѣленъ цензоромъ въ петербургскій цензурный комитетъ и, продолжая занимать это мѣсто, началъ издавать съ 1815 г. свой журналъ, причемъ самъ же и пропускалъ въ печать многія статьи. Оставивъ, наконецъ, цензурную службу, Яценковъ, — какъ сообщалъ мнѣ покойный П. П. Пекарскій, — перешелъ на видную должность въ почтовомъ вѣдомствѣ.

Первое столкновеніе Яценкова съ цензурой министерства полиціи произошло еще при самомъ представленіи имъ программы журнала. Найдя въ этой программѣ отдѣлъ «внутреннихъ обозрѣній», въ которомъ издатель предполагалъ изслѣдовать «великіе способы Россіи и выгоды, нѣкоторые недостатки и злоупотребленія», министръ полиціи, генералъ С. К. Вязмитиновъ, писалъ министру народнаго просвѣщенія: «Нахожу сію статью совершенно неприличною, ибо упоминаемые въ ней предметы относятся до попеченія самого правительства и отнюдь не могутъ подлежать сужденію частныхъ лицъ публично». По этому случаю Яценковъ получилъ первый выговоръ, но изданіе было ему все таки разрѣшено.

«Духъ Журналовъ» выходилъ еженедѣльно (каждая книжка въ 50 страницъ и болѣе) и въ своей программѣ, «очищенной» министерствомъ полиціи, заключалъ 8 отдѣловъ, между которыми на первомъ мѣстѣ стояли: исторія и политика, государственное хозяйство и литература. Особый отдѣлъ составляли мысли и сужденія императрицы Екатерины II-ой о разныхъ частяхъ государственнаго управленія, и матеріалы для этого отдѣла доставляла въ журналъ какая-то «особа, въ кругу тогдашняго времени обращавшаяся». Эта же особа, вѣроятно, была центромъ того вліятельнаго общества «знатныхъ господъ», которое удостоивало «Духъ Журналовъ», по словамъ издателя, своимъ вниманіемъ и покровительствомъ. «Никогда не унижится «Духъ Журналовъ» — писалъ Яценковъ въ одной полемической замѣткѣ, направленной противъ «Сына Отечества», — «до малѣйшей нескромности. Онъ ни на одну минуту не упуститъ изъ виду, что почтеннѣйшія особы

Но онъ въ семь изданій не одинъ: общій голосъ перевѣсилъ его... и пр. и пр.

удостоили его своимъ вниманіемъ. Издатели не иначе выпускаютъ въ свѣтъ каждую книжку своего журнала, какъ будто сами предстаютъ предъ тѣхъ почтенныхъ особъ¹⁾.

Въ первой же книжкѣ «Духа Журналовъ» опредѣляется и цѣль этого изданія. Разказавъ анекдотъ о томъ, какъ Фонъ-Визинъ предложилъ князю Потемкину поручить умнымъ и ученымъ людямъ дѣлать, для его развлечения, интереснѣйшія выписки изъ журналовъ, издатель выражаетъ намѣреніе: соединить въ своемъ журналѣ все, что есть лучшаго и любопытнѣйшаго во всѣхъ журналахъ, и предоставить читателямъ «съ самыми малыми издержками» то же удобство, которое дорого обходилось Потемкину. Но чтобы журналъ, задавшійся такою цѣлью, не былъ обвиненъ въ простой перепечаткѣ и похищеніяхъ, авторъ статьи прибавляетъ: «Духъ Журналовъ» не есть сборъ журналовъ; онъ не коснется ничьей собственности, но подобно пчелѣ, извлекающей ароматные соки изъ тысячи цвѣтовъ, которые отъ того не теряютъ ни свѣжести, ни красоты своей,—онъ будетъ извлекать изъ всѣхъ цвѣтовъ литературы силу и, такъ сказать, душу ихъ;—или, подобно живописцу, рисующему прелестные виды картинныхъ мѣстоположеній, «Духъ Журналовъ» представитъ читателямъ панораму лучшихъ періодическихъ изданій, указывая только на тѣ въ нихъ точки, которыя болѣе другихъ достойны замѣчанія». Это прибавленіе уже обязывало «Духъ Журналовъ» нѣсколько систематизировать свои извлеченія изъ другихъ изданій и установить свой масштабъ для офѣйки большей или меньшей значительности разнообразныхъ фактовъ и взглядовъ, излагаемыхъ въ европейской прессѣ.

Издатель исполнилъ свое обѣщаніе—группировать съ толкомъ сообщаемыя свѣдѣнія, —и «ароматные соки», извлеченные имъ изъ «тысячи цвѣтовъ», обладали, дѣйствительно, такимъ сильнымъ букетомъ, что сразу поразили обоняніе цензурныхъ властей.

Прежде всего, цензура вооружилась на «Духъ Журналовъ» за его политическій либерализмъ, который высказывался весьма опредѣленно на первомъ году существованія журнала и въ особенности въ первыхъ нумерахъ его за 1815 годъ. Не только официальные наблюдатели, но и сотоварищи Яценкова по журналистикѣ, скоро запримѣтили въ его изданіи эту черту и, можетъ быть, по убѣжденію, а вѣрнѣе изъ видовъ конкуренціи,—кото-

¹⁾ «Духъ Журн.» 1815 г., № 8, статья: «къ читателямъ».

рая начинала уже свое дѣло при распространявшемся кругѣ читателей,—принялись кивать на его «правила, неприличные русскому», на «какой-то тонъ, вовсе непристойный русскому журналу и приносящій мало чести у людей благомыслящихъ» ¹⁾. Въ первомъ политическомъ обзорѣнн «Духа Журналовъ», подѣ названіемъ: «Эпоха обновленія европейскихъ государствъ») мы встрѣчаемъ уже восторженные отзывы о конституціонныхъ стремленіяхъ того времени, въ которыхъ авторъ статьи видѣлъ какъ бы новую эру политическаго развитія Европы. «Потрясенія утихли, потухъ вулканъ, закрылось страшное жерло, изрыгавшее смерть и опустошеніе, и грозный Энциладъ (т. е. Наполеонъ), подавляемый горою проклятій, прикованъ къ желѣзнымъ столбамъ острова Эльбы; недвижимъ и только въ безсильной ярости изрыгаетъ искры злобы, погасающія въ воздухѣ... Уже изъ пепла поднимаются города; на опустошенныхъ поляхъ умножаются селенія; со всѣхъ сторонъ стекаются жители; нужда научаетъ открывать новыя способы; промышленность напрягаетъ силы; заблужденія отцовъ служатъ урокомъ для сыновъ и внуковъ; народы подаютъ другъ другу руку помощи; цари и народы обнимаются, какъ братья, и заря будущаго блаженства занялась на горизонтѣ Европы. Наступаетъ новый порядокъ вещей; видъ государствъ обновляется... Отъ сей точки пойдутъ народы совершать путь бытія своего». Далѣе, переходя къ французскимъ дѣламъ, авторъ говоритъ: «Людовикъ далъ Франціи новый залогъ своего отеческаго о ней попеченія—свободную конституцію. Не присвоая себѣ иныхъ правъ, кромѣ тѣхъ, которыя съ достоинствомъ сана царскаго неразлучны, онъ добровольно ограничилъ власть свою и призвалъ избранныѣйшихъ изъ гражданъ себѣ въ совѣтники и въ соправители». Въ слѣдующихъ затѣмъ политическихъ обзорѣннхъ, «Духъ Журналовъ» оцѣнивалъ весьма внимательно, съ одной опредѣленной точки зрѣнія, всѣ крупнѣйшія событія въ Европѣ, всѣ перемѣны въ политическомъ составѣ государствъ, и, по прежнему, выражалъ сочувствіе къ свободному правленію, осуждая, въ то же время, реакціонныя попытки,—въ родѣ дѣйствій короля испанскаго,—которыя «распространяютъ ужасъ между всѣми состояніями народа, умножаютъ взаимные раздоры, изгоняютъ подданныхъ изъ отечества и угрожаютъ опасностью внутреннихъ смятеній» (№ 8). Конституціи Англіи и Америки, какъ обезпечивающія народамъ наиболѣе правъ и «законной свободы», вызывали къ себѣ

¹⁾ См. «Духъ Журн.» 1815 г. № 42 и «Вѣст. Евр.» того же года № 22.

особенное почтеніе со стороны «Духа Журналовъ». Въ «Письмѣ одного нѣмца изъ Филадельфіи» (№ 31) государственный бытъ Америки описывается подробно и притомъ въ самыхъ привлекательныхъ краскахъ. «Подлинно—нищеть этотъ нѣмецъ—какое-то особенное чувство проникаетъ тебя, когда подумаешь, что ступилъ на землю свободы, гдѣ, какъ свободный человѣкъ, между свободными людьми жить будешь. Какъ будто здѣсь свободнѣе дышешь, нежели въ иной землѣ; всѣ наслажденія жизни кажутся болѣе пріятны, всѣ общественныя удовольствія болѣе благородны... Здѣсь не увидишь гордаго барона, который измѣряетъ собственныя свои заслуги длиннымъ рядомъ предковъ, основывая на томъ права на высшія государственныя должности, не увидишь подлаго раба деспотовъ, который изъ своекорыстія ласкаетъ страстямъ государя, жертвуя благосостояніемъ отечества. Здѣсь нѣтъ ни титуловъ, ни чиновъ, ни орденовъ, и однако все идетъ своимъ ходомъ, въ величайшемъ порядкѣ и благоустройствѣ... Конституція американской республики Соединенныхъ Штатовъ имѣетъ всѣ преимущества англійской конституціи, не имѣя однако ея недостатковъ. Къ симъ преимуществамъ принадлежитъ, безъ сомнѣнія, неограниченная свобода мыслить, говорить и писать. Нигдѣ въ свѣтѣ такъ свободно не говорятъ, не судятъ и не пишутъ, какъ въ Великобританіи и въ Америкѣ. Всякій, не боясь никого, говорить публично свое мнѣніе, даже о важнѣйшихъ государственныхъ дѣлахъ, хвалить и осуждаетъ все по своей волѣ, не щадя даже тѣхъ, кои сидятъ у кормила правленія... Журналы и газеты, коихъ здѣсь великое множество и въ которыхъ каждый можетъ свободно изъяснять свои мысли, много способствуютъ тому, чтобы знать общественное мнѣніе и голосъ народа». Сравнивая издержки на государственное управленіе, въ Америкѣ и европейскихъ монархіяхъ, авторъ письма отдавалъ громадное преимущество первой, въ томъ отношеніи, что ей не приходится тратиться ни на придворный штатъ, ни на «стоячее (постоянное) войско — главнѣйшее препятствіе возвышенію народнаго благосостоянія», — ни на толпу чиновниковъ, которые привыкли думать въ Европѣ, что «безъ нихъ не могла бы двигаться государственная машина». Похваливъ далѣе гласный судъ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей и поставивъ высоко право каждого арестованнаго требовать допроса не позже, какъ чрезъ три дня по взятіи подъ стражу, вопреки европейскому порядку, при которомъ «часто заключенный въ тюрьму по одному подозрѣнію, еще недоказанному, пьетъ горькую чашу», — авторъ, въ концѣ своей характеристики,

говорить: «Американцы могут о себѣ похвалиться: «у насъ царствуетъ свобода и просвѣщеніе; деспотизмъ и своеволие не могутъ здѣсь укорениться; налоги маловажны и ни для кого не стѣснительны; намъ не нужно держать многочисленныхъ командъ для охраненія внутренней безопасности и тишины; арміи наши всѣмъ снабжены, всѣмъ довольны; онѣ съ гражданами неразрывны: солдаты суть граждане, а граждане — солдаты, и никогда арміи наши не будутъ орудіями властолюбія какового-нибудь тирана; тюрьмы наши пусты; на улицахъ не увидишь нищихъ, въ лѣсахъ нѣтъ разбойниковъ» и пр. (№ 37). Защищая права народовъ на вольность и участіе въ правленіи, «Духъ Журналовъ» относился скептически къ клерикальнымъ фантазіямъ извѣстнаго Бональда, мечтавшаго о созданіи въ Европѣ христіанской республики подъ сѣнію «святѣйшаго престола», и осуждалъ дѣятельность не менѣе извѣстнаго реакціонера и доносчика Коцебу. «Политика Бональда — говорится въ разборѣ его книги: *Réflexions sur l'intérêt général de l'Europe* — основана болѣе на великихъ воспоминаніяхъ прошедшихъ вѣковъ, нежели на приличіяхъ и потребностяхъ настоящаго времени. Онъ гремитъ именами Карла Великаго, Генриха IV, Боссюэта, Лейбница, и хочетъ приписать планамъ ихъ и предположеніямъ то безсмертіе, которое принадлежитъ именамъ ихъ... Пожелаемъ о христіанской республикѣ, но не оснуемъ на семъ сожалѣніи надеждъ нашихъ. Сіе стремленіе къ равенству, замѣчаемое Бональдомъ въ разныхъ религіяхъ, дѣйствительно ли обѣщаетъ намъ единство и не ведетъ ли оно, — чего не дай Богъ! — къ ничтожеству? (курсивъ въ подлинникѣ). Сей свѣтъ, исшедшій отъ святаго престола, и сей порядокъ и устройство, долженствующіе прійти отсюда же, не есть ли мечта воображенія? Всѣ сіи понятія такъ ли чисты, опредѣлительны, вѣрны и съ здоровою политикою согласны, а — что всего болѣе — приспособлены ли они къ настоящимъ обстоятельствамъ?» (№ 5).

Когда «новый Энциклэдъ», или Наполеонъ, убѣжалъ съ острова Эльбы и, враждуя съ европейскими государями, началъ воскрешать въ своихъ рѣчахъ и дѣйствіяхъ идеи французской революціи, имъ же прежде подавленные, то «Духъ Журналовъ» предостерегалъ своихъ читателей отъ этого ловкаго превращенія, не впадая впрочемъ — подобно другимъ изданіямъ того времени — въ ругательный тонъ, сопровождаемый множествомъ восклицательныхъ и вопросительныхъ знаковъ. Онъ нападалъ даже на иностранныхъ (преимущественно нѣмецкихъ) писателей, которые своею неистовою бранью раздражали 25-ти-миліонную націю, проповѣ-

дуя противъ нея «самую убійственную и опустошительную войну», имѣвшую своею конечною цѣлью—«разрушеніе Парижа» для блага, будто бы, всего свѣта ¹⁾. Увлечшись политическими событіями, дѣйствительно представлявшими тогда громаднѣйшій, всеобщій интересъ, издатель «Духа Журналовъ» призналъ за лучшее: «остановить на нѣкоторое время другія статьи, а статью «политика и исторія», какъ самую важную въ настоящее время, сдѣлать сколько возможно полною», причемъ онъ «поставилъ себѣ непремѣннымъ долгомъ — всѣ официальные иностранные акты сообщать съ величайшею точностью (т. е. безъ пропусковъ и искаженій) въ переводѣ» ²⁾.

Политическія тенденціи «Духа Журналовъ» не замедлили навлечь на него нареканіе со стороны министра народнаго просвѣщенія (А. К. Разумовскаго), который сообщилъ попечителю с.-петербургскаго учебнаго округа (Уварову),—что въ «Духѣ Журналовъ» печатаются «разныя неприличности» и «многія политическія статьи не въ духѣ нашего правительства». Какъ ни старался потомъ Яценковъ загладить дурное впечатлѣніе въ цензурѣ, помѣщая статьи въ родѣ: «Не въ конституціяхъ благо народа» или: «И конституціи бывають иногда гибельны народамъ» (№№ 46 и 50), раскаяніе его, повидимому, не признавалось искреннимъ, тѣмъ болѣе, что, забывая свои оговорки и отступленія, онъ, при первомъ же удобномъ случаѣ, снова начиналъ толковать о конституціи, какъ о «драгоцѣннѣйшемъ залогѣ отеческой попечительности правительства» (1817 г. № 1), какъ о «благотворной планетѣ, имѣющей свой путь теченія, указанный самимъ Создателемъ» (1820 г. № 3). Превосходный случай для выраженія своихъ конституціонныхъ симпатій нашелъ «Духъ Журналовъ» въ рѣчи императора Александра, произнесенной въ 1818 г., въ Варшавѣ ³⁾. Но всѣ эти новыя провинности опять ставились на видъ журналу, и довели его, наконецъ, до такой боязливой предусмотрительности, что въ 1820 г., возвращаясь къ описанію Сѣверной Америки, издатель, «для предупрежденія кривыхъ толковъ», счелъ необходимымъ присовокупить отъ себя примѣчаніе, что онъ помѣщаетъ эту статью «безъ всякаго сужденія объ оной и безъ приноровленія къ другимъ государствамъ».

¹⁾ См. «Духъ Журн.» 1815 г., №№ 17, 18, 19 и 41.

²⁾ См. «Духъ Журн.» 1815 г., № 24.

³⁾ О статьяхъ «Духа Журналовъ» по этому поводу, а также о полемикѣ его съ «Сыномъ Отечества» по крестьянскому вопросу, см. въ I части нашихъ монографій, въ статьѣ: «Наши классики» и пр.

Еще менѣе удачи имѣлъ «Духъ Журналовъ» въ обсужденіи нашихъ внутреннихъ, домашнихъ дѣлъ. Въ этой сферѣ,—на которую всегда устремлялось особенное вниманіе цензуры,—«Духъ Журналовъ» затронулъ въ 1815 г. (№ 16) вопросъ о дешевизнѣ жизненныхъ потребностей, вѣроятно, не безъ связи съ современными ему интересами большинства населенія. Статья начиналась изложеніемъ взглядовъ Екатерины II-й, которая, по словамъ автора, «всегда прилагала величайшее попеченіе о дешевизнѣ жизненныхъ припасовъ, особливо въ столицахъ... тщательно развѣдывала, какими способами удобнѣе водворить дешевизну... и была совершенно увѣрена, что въ такой обширной и хлѣбородной губерніи (sic), какова Россія, при той свободѣ, какую даровала она внутренней торговлѣ и промышленности, чрезвычайное возвышеніе цѣнъ на первыя потребности жизни не могло произойти ни отъ чего инаго, какъ только отъ непоумѣрной алчности къ прибытку и злоупотребленія власти». «Въ то время — иронически замѣчаетъ авторъ — еще неизвѣстно было правило финансовъ, будто дороговизна жизненныхъ припасовъ служить признакомъ умножающагося благосостоянія народнаго». Далѣе приводятся два письма Екатерины къ графу Я. А. Брюсу, въ которыхъ императрица выражаетъ желаніе, чтобы хлѣбный торгъ, въ отвращеніе дороговизны, былъ извлеченъ изъ рукъ нѣсколькихъ перекупщиковъ, «кои суть изъ плутовъ не послѣдніе»; а вслѣдъ за этими письмами авторъ приходитъ къ такому заключенію:

«Изъ сихъ писемъ усмотрѣть можно, какъ хорошо знала государыня духъ низкаго купечества и его козни. Извѣстно было ея величеству, что торгъ нѣкоторыхъ товаровъ бываетъ нерѣдко въ рукахъ малаго числа перекупщиковъ, которые легко могутъ сговориться поднять цѣну на товаръ по своему произволу. Для отвращенія сего злоупотребленія, она старалась открыть свободу торговли наибольшему числу купечеству, дабы тѣмъ болѣе было соискателей, а чрезъ то истребилась бы монополія, которую государыня ни въ чемъ не терпѣла. Сими же правилами свободы руководствовалась монархиня и въ биржевой внѣшней торговлѣ, всегда имѣя въ предметъ облегченіе народное, отъ дешевизны всѣхъ вещей произтекающее. А посему, въ царствованіе ея величества не могло того случиться, чтобы одинъ или двое богатыхъ купцовъ первой гильдіи, согласясь между собою, скупили въ свои руки весь какой либо товаръ—положимъ, апельсины—и наложили бы на оный какую захотѣли цѣну. Государыня, давая полную свободу торговлѣ, не терпѣла стѣсненія народнаго ради обогащенія част-

ныхъ корыстолюбцевъ, и такіе перекупщики скоро угодили бы въ Сибирь. Подобно сему, дѣйствительно случилось въ Москвѣ. Одинъ немаловажный откупщикъ скупилъ весь скотъ, который гнали въ ту столицу, и послѣ продавалъ его такъ дорого, что говядина вдругъ поднялась съ 2-хъ или 3-хъ коп. до 15 коп. за фунтъ. Нынѣ это не удивить, но тогда не то было. Дошло сіе до свѣдѣнія императрицы, и ея величество повелѣла главнокомандующему въ Москвѣ объявить тому безчестному перекупщику, что если онъ не уймется, то она пошлетъ его въ Сибирь — скупать быковъ».

Статья эта, заключавшая въ себѣ не болѣе, какъ скромные намеки на современныя экономическія условія, вызвала цѣлую бурю со стороны министерства полиціи, и разсужденія ея названы «не только самыми глупыми, безсмысленными, но и непозволительными, дерзкими, могущими имѣть вліяніе вредное на мнѣніе народное». «Какъ дерзнуть—восклицалъ генералъ Вязмитиновъ—человѣку, не имѣющему (что все сплетеніе недѣльныхъ его разсужденій доказуетъ) ни малѣйшаго понятія о первыхъ началахъ науки, дѣлать примѣненія и сравненія относительно мѣръ, принятыхъ или пріемлемыхъ правительствомъ въ разныя времена по части государственнаго хозяйства?» Графъ Разумовскій, которому жаловался генералъ Вязмитиновъ на статью «Духа Журналовъ», съ своей стороны, нашелъ ее неумѣстною и сдѣлалъ выговоръ петербургскому цензурному комитету, объяснивъ однакожъ, что подобныя разсужденія могли бы имѣть мѣсто только въ сочиненіи серьезнаго, ученаго содержанія, а не въ изданіи, доступномъ читателямъ различной степени образованія.

Затѣмъ «Духъ Журналовъ» подвергался осужденію за «статьи, содержащія въ себѣ разсужденіе о вольности и рабствѣ крестьянъ», хотя въ этихъ статьяхъ нѣкто Правдинъ (вѣроятно, изъ числа «знатныхъ господъ», которыхъ покровительства искалъ «Духъ Журналовъ») доказывалъ ненужность освобожденія русскихъ крестьянъ, на томъ основаніи, что они, имѣя земельную собственность, «живутъ, какъ у Христа за пазухой», не въ примѣръ счастливѣе западно-европейскихъ пролетаріевъ или арендаторовъ чужихъ земель. Въ противномъ случаѣ, Правдинъ рисовалъ ужасную картину:

«Но въ угодность любителей преобразованій сдѣлаемъ предположеніе, что наши крестьяне могли бы быть (освобождены) на томъ же основаніи, какъ иностранные, и посмотримъ: какія будутъ изъ этого послѣдствія? Во-первыхъ, существующая нынѣ, можно сказать, с е м е й н а я с в я зъ между помѣщиками и крестья-

нами совершенно пресѣчется; эгоизмъ помѣщиковъ возрастетъ до такой же высшей степени, какъ въ чужихъ краяхъ, и истребитъ старинную русскую хлѣбъ - соль. Первое и величайшее притѣсненіе, которое помѣщикъ можетъ сдѣлать мужикамъ, будетъ то, чтобы потребовать съ нихъ несоразмѣрную цѣну за наемъ земель его, и въ этомъ ему воспрепятствовать нельзя: ибо въ своемъ добрѣ всякъ воленъ. Если мужикъ не согласится на требуемую цѣну, то стоитъ только погрозить ему, что выгнать его изъ села. Куда же онъ, бѣдненькій, дѣнется съ семействомъ, домою и всѣмъ заведеніемъ? Перевозка чего будетъ стоить! Онъ же не привыкъ къ цыганской жизни, а ежели еще вдобавокъ согласится (помѣщики) между собою въ цѣнѣ, то совершенно мужику некуда дѣваться; тогда онъ принужденъ согласиться на все, хотя бы и увѣренъ былъ, что не въ силахъ будетъ, безъ крайняго разоренія, выполнить свое обязательство. Придетъ время платежа, и онъ долженъ все продать, хотя за безцѣное, дабы удовлетворить помѣщика за нанимаемую у него землю, чтобы еще хоть годокъ на одномъ мѣстѣ пожить. Во-вторыхъ, помѣщикъ захочетъ уже одинъ пользоваться всѣми выгодами, какія ему доставляетъ мѣстное положеніе его вотчины; прежде онъ безмездно раздѣлялъ ихъ съ своими крестьянами, почитая ихъ своими дѣтьми; но теперь онъ съ нихъ, какъ ему чуждыхъ, потребуетъ за всякую бездѣлицу немалую плату, зная, что имъ безъ того обойтись нельзя. Придетъ ли время внести казенныя повинности — кто велитъ помѣщику помогать въ томъ мужикамъ? Кто пособитъ имъ въ нуждахъ ихъ? Кто защититъ ихъ отъ постороннихъ обидъ? И гдѣ правительство ихъ найдетъ, ежели они будутъ въ разбродѣ. — Конечно, можетъ быть, помѣщики въ томъ своихъ выгодъ не теряютъ, хотя это весьма еще подлежитъ сомнѣнію; но мужики навѣрно будутъ разорены, какой бы оборотъ ни былъ въ этомъ дѣлѣ.

Авторъ статьи, какъ видно, и не предвидѣлъ такого «оборота дѣла», по которому крестьянинъ пріобрѣтаетъ бы въ собственность обрабатываемую имъ землю, съ выкупомъ отъ казны; но объ этомъ исходѣ думали въ то время только немногія личности, въ родѣ Н. И. Тургенева.

Въ отвѣтъ на замѣчанія и выговоры, объявляемые Яценкову, энергическій цензоръ - издатель ссылался на цензурный уставъ, позволяющій «скромное и благоразумное изслѣдованіе предметовъ управленія государственнаго», а въ доказательство пользы свободнаго книгопечатанія указывалъ на «многочисленные повторенія

о томъ» въ официальной «Сѣверной Почтѣ», издаваемой подъ руководствомъ самого министра народнаго просвѣщенія (А. Н. Голицына), который, дѣйствительно, исправлялъ въ 1817 г., въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, должность министра внутреннихъ дѣлъ, и слѣдовательно долженъ былъ отвѣчать, на ту пору, за направленіе «Сѣверной Почты».

Цензура, однако, продолжала болдрствовать надъ либеральнымъ журналомъ, и въ 1819 г., за статью о сохранныхъ кассахъ,—въ которой усмотрѣно было возбужденіе низшихъ сословій противъ высшихъ,—Яценковъ получилъ приказаніе закрыть свой журналъ ¹⁾. Но онъ и тутъ съумѣлъ какъ-то дотянуть свое изданіе до 1820 г., когда оно было окончательно запрещено.

Исторія «Духа Журналовъ» показываетъ, какъ нельзя ясно, ту разногласицу понятій, которая существовала въ самомъ цензурномъ управленіи, касательно правъ печати и общественной пользы, приносимой ею. Борьба одного цензора противъ цѣлаго вѣдомства цензуры заключаетъ въ себѣ, съ этой точки зрѣнія, многопоучительнаго...

¹⁾ Статья эта представляетъ, въ сущности, весьма невинныя размышленія о томъ, что «свободный работникъ», не обезпеченный въ своемъ существованіи ни поземельною собственностью, ни капиталомъ,—истинный рабъ системы наемничества, которая, какъ зараза, распространяется во всей Европѣ,—только въ правильномъ и повсемѣстномъ устройствѣ сохранныхъ банковъ можетъ найти для себя поддержку, выгодно помѣщая тамъ свои маленькія сбереженія. Но отъ этой частной темы авторъ дѣлаетъ отступленіе къ общему характеру нашихъ гражданскихъ уставовъ и говорить съ сожалѣніемъ: «Какъ часто мы винимъ людей въ томъ, въ чемъ виновны гражданскія наши учрежденія! Спрашивается, есть ли возможность ремесленнику или работнику быть бережливымъ?.. Подлинно, когда подумаешь, что богатый, положивши въ банкъ тысячи или сотни тысячъ, легкимъ трудомъ приобрѣтенныя, получаетъ на оныя безъ всякой заботы знатные проценты, а бѣднякъ не имѣетъ мѣста положить сохранно свою копѣйку, потому и кровью нажитую,—подлинно, говорю, нельзя не пожалѣть о нашихъ гражданскихъ учрежденіяхъ, которые наиболѣе благоприятствуютъ тѣмъ, кои и безъ того уже судьбою облагодѣтельствованы! У богатаго тысячи и миллионы растутъ сами собою, а у бѣднаго малая лепта пропадаетъ, какъ зѣрна, падшія на камень или на распутіи». («Духъ Журн.» 1819 г., № 2). Эти-то строки и возбудили негодованіе цензуры.

ЖУРНАЛЬНЫЙ ТРИУМВИРАТЪ.

(Очеркъ изъ исторіи русской журналистики тридцатыхъ годовъ).

I.

Въ исторіи русской журналистики, до сихъ поръ весьма мало разработанной, есть нѣсколько періодовъ, на которыхъ преимущественно должно остановиться вниманіе изслѣдователей. Мы говоримъ: нѣсколько періодовъ, потому что, при нашемъ повествованіи общественномъ развитіи, исторія журналистики, какъ вѣрнаго отраженія умственной жизни общества, — не представляетъ цѣльной, во всѣхъ своихъ частяхъ одинаково занимательной, картины. Наши журналы, какъ и вся общественная жизнь, ихъ породившая, шли болѣею частью кое-какъ, и, только въ немногіе моменты, или внезапно оживали подѣ влияніемъ сильной и талантливой личности, въ родѣ Новикова, Карамзина и Полеваго (до его переѣзда въ Петербургъ), или же мгновенно упадали до самой низкой степени подѣ давленіемъ обстоятельствъ. Словомъ, журналистика слишкомъ зависѣла отъ случайной даровитости одного какого нибудь редактора, почти безраздѣльно неспаго на своихъ плечахъ всю тяжесть журнальнаго дѣла, а также отъ разныхъ постороннихъ условій, прихотливо измѣнявшихъ ея теченіе... Но въ обоихъ случаяхъ — крайняго упадка и высшаго процвѣтанія — исторія журналистики становится дѣйствительно интересной: по этимъ выдающимся точкамъ можно смѣло судить о цѣльных періодахъ нашего общественнаго развитія. Однимъ изъ такихъ интересныхъ эпизодовъ было время между 1835—40 годами, когда вся русская литература находилась подѣ гнетомъ трехъ предпріимчивыхъ журналистовъ: Булгарина, Греча и Сенковского. Эти годы были особенно счастливы для «Сѣверной Пчелы», «Сынъ Отечества» и «Библіотеки для Чтенія» — трехъ дружныхъ органовъ, солидарныхъ между собой въ главныхъ чертахъ своей дѣятельности и влияния на публику. Возставать противъ такого деспотическаго господства было въ то время весьма неудобно; въ особенности сильна была «Сѣверная Пчела». Говорить о монопо-

ліи этой газеты на политическія новости и ежедневный выходъ считалось дѣломъ крайне предосудительнымъ; ниже мы представимъ образчикъ подобнаго намека, не попавшаго, по этому самому, въ печать. Ни цензоры, ни издатели не рѣшались допустить такой нападки: въ обществѣ говорили даже (справедливо или нѣтъ), что эта привилегія «Сѣверной Пчелы была закрѣплена за ней канцелярскимъ порядкомъ¹⁾. Самъ авторъ враждебной «Пчелѣ» статьи не могъ считать себя безопаснымъ отъ разныхъ непріятностей, потому что Булгаринъ (какъ это видно изъ одного документа, приведеннаго въ концѣ III-ей главы) имѣлъ обыкновеніе сопровождать свои печатныя статьи кое-какими письменными жалобами и кляузами. Воскурятъ еимъиамъ сильнымъ людямъ, «Сѣверная Пчела» въ то же время бросала грязью на людей въ опалѣ—за нихъ вѣдь некому было вступиться!—и творила это дѣло безнаказанно; ея критическія статьи вырѣзаны были почти всѣ по одной мѣркѣ: начинались толкованіями о безкорыстіи, непристрастіи, слѣпной преданности и другихъ добродѣтеляхъ, и въ эту рамку вставлялись самыя зазорныя обвиненія противъ нелюбимыхъ авторомъ личностей. Обвиненія казались какъ бы естественнымъ выводомъ изъ теоретическаго изложенія о добродѣтели; одно проходило въ печать по милости другаго, и читатель волей-неволей попадался въ эту грубо обтесанную, но хитро придуманную ловушку. Разоблачать эти продѣлки было трудно при тогдашнихъ условіяхъ, да и мало находилось охотниковъ брать на себя эту неблагодарную обязанность. Три названные журнала, братски соединенные между собою, помогали другъ другу держать въ блокадѣ все, что имъ не потворствовало, и всякое изданіе, осмѣливавшееся не принадлежать къ этой фалангѣ, систематически сживали со свѣту. Бѣдность и безсиліе остальной журналистики способствовали усиленію ихъ власти: «Прибавленія къ Инвалиду», въ которыхъ проскальзывали иногда протесты противъ «Сѣверной Пчелы», читались мало; «Московскія Вѣдомости» и не развертывались въ Петербургѣ (онѣ далеко не имѣли того значенія, какое приобрѣли въ послѣднее время); «Телеграфъ» прекратился (въ 1833 г.), вскорѣ послѣ него палъ и «Телескопъ» (въ 1836 г.); «Современникъ» же, возникшій въ 1836 г. по инициативѣ Пушкина, не былъ журналомъ въ строгомъ смыслѣ

¹⁾ Такое мнѣніе высказывалъ мнѣ покойный кн. Вл. Охл. Одоевскій, много воевавшій на своемъ вѣку противъ этой журнальной клики. Онъ же передалъ мнѣ и нѣкоторые другія свѣдѣнія объ этой интересной эпохѣ.

этого слова. Вообще оппозиція противъ литературнаго триумвирата была слаба, и борьба выходила неравная, ибо, — какъ мы сказали уже, — тогда считалось приеомъ позволительнымъ: наводить на противника подозрѣніе въ неблагонамѣренности, безвѣріи, вольнодумствѣ и тому подобныхъ вещахъ. Публика была въ то время довольно равнодушна ко всему, происходившему въ русской литературѣ; статьи противъ Пушкина, правда, возбуждали иногда негодованіе; но вообще ихъ вульгарное остроуміе приходилось какъ разъ по плечу большинству читателей. Такъ называемый высшій кругъ, имѣвшійъ прямое и непосредственное вліяніе на судьбы нашего просвѣщенія, и не зналъ, что творится въ русской литературѣ: — для него Булгаринъ и Александръ Анфиновичъ Орловъ были такими же литераторами, какъ Пушкинъ и Грибоѣдовъ. «Сѣверная Пчела», какъ единственная ежедневная газета, доходила иногда до гостининыхъ, и съ ней справлялись на высотѣ салоннаго величія, когда заговаривали о русской литературѣ.

Если «Сѣверная Пчела» проникала порой въ высшее общество, то «Библіотека для Чтенія» жадно читалась въ среднемъ кругу. «Сынъ Отечества», журналъ менѣе значительный, былъ всегда покорнымъ сателлитомъ своихъ сильнѣйшихъ собратьевъ. Вредъ, наносимый и литературѣ, и русскому просвѣщенію стачкою журналистовъ, этотъ параличъ, наложенный ихъ триумвиратомъ не на ту или другую мысль, но на самую способность мышленія, на всякое независимое понятіе, не принадлежавшее къ извѣстному приходу, — все это представлялось для салоновъ въ видѣ взаимной зависти между литераторами, которые непристойно бранятся и которыхъ слѣдовало бы унять. Руководящая мысль, высказанная тогда: «*Je veux, que la censure ne soit qu'un garde-fou*» (цензура должна быть лишь перилами¹⁾) узко понималась низшими исполнителями, и перила частенько обращались въ прямую преграду для всякаго живаго и свѣжаго слова. Люди съ высокими соображеніями толковали, что гораздо проще и удобнѣе имѣть одинъ или два журнала, и притомъ такихъ, съ которыми при случаѣ нечего церемониться, нежели возиться со многими и притомъ непокорными; одинъ изъ такихъ господъ даже громко-гласно говорилъ: «*Vaut mieux le monopole, que des journaux*». Таковъ былъ духъ времени.

¹⁾ Выраженія эти приписывались самому императору Николаю Павловичу.

II.

Начнемъ съ «Сѣверной Пчелы». Изданіе это возникло въ 1825 г. подъ редакціей гг. Греча и Булгарина. Въ то время, имя Булгарина еще не было синонимомъ тѣхъ журнальных качествъ и приемовъ, какіе сопряжены съ нимъ теперь, благодаря преимущественно остроумнымъ памфлетамъ Теофилакта Косичкина и желчнымъ нападкамъ В. Г. Бѣлинскаго. Булгаринъ, въ это время, сильно либеральничалъ, ухаживалъ за Рылѣвымъ и выхвалялъ его «Думы»; Рылѣвъ, въ свою очередь, посвящалъ ему свои произведенія. Журнальная дѣятельность была для Булгарина пробнымъ камнемъ, на которомъ онъ и высказался окончательно. Съ перемѣной вѣтра, измѣнилось мгновенно и литературное его направленіе, такъ что въ періодъ времени, разсматриваемый нами, Булгаринъ создалъ себѣ очень опредѣленную литературную фізіономію, въ которой ни одна черта не напоминала его, нѣсколько «скромпрометированное», прошлое. Во всѣхъ отдѣлахъ своей газеты Булгаринъ проводилъ, если не всегда умно и послѣдовательно, то заодно и настойчиво, извѣстную мысль, извѣстную тенденцію. Сохраненіе *statu quo* во всей его неприкосновенности и противодѣйствіе реформаторскимъ идеямъ, заносимымъ къ намъ съ Запада, составляли его задачу. Этому направленію соотвѣтствовали, прежде всего, политическій и внутренній отдѣлы «Сѣверной Пчелы». Мы полагаемъ, что читателямъ будетъ небезынтересно узнать какъ объемъ политическихъ вопросовъ, доступныхъ въ то время журнальному обсужденію, такъ и самый способъ обсуждать ихъ. Въ 1836 г., въ февралѣ мѣсяцѣ, отрядъ австрійскихъ войскъ, подъ начальствомъ генераль-маіора Кауфмана, занялъ вольный городъ Краковъ. Незадолго же до этого событія, три державы, подписавшія актъ раздѣленія Польши, представляли сенату краковской области строгій ультиматумъ, въ которомъ требовалось: «удалить всѣхъ польскихъ выходцевъ въ теченіе 8 дней, а равно и подданныхъ иностранныхъ государствъ, на которыхъ три державы укажутъ, какъ на лица подозрительныя». Неисполненіе этого требованія и было официальнымъ предлогомъ къ занятію области. Генераль Кауфманъ, вступивъ въ область, издалъ прокламацію, въ которой говорилъ, что «высокіе покровители вольнаго города Кракова нашлись вынужденными рѣшиться на исполненіе, собственными средствами, мѣры, признанной ими необходимою (это называлось на дипломатическомъ языкѣ «очищеніемъ предѣловъ области») для возвращенія мирнымъ жителямъ спокойствія и безопасности, коими они наслаждались до сего времени». При этомъ Кауфманъ обѣщалъ, что, «по освобож-

деніи города отъ опасныхъ людей, войска выйдутъ изъ предѣловъ республики». Фактъ занятія Бракова былъ сообщенъ со всею подробностью въ 46—48 №№ «Сѣверной Пчелы», но своего мнѣнія газета не высказала, — такой роскоши въ то время не полагалось, — ограничившись только перепечаткою передовой статьи изъ австрійскаго «Наблюдателя». Тонъ этой статьи былъ вполне враждебенъ краковской независимости и уже давалъ возможность предвидѣть извѣстный всѣмъ, дальнѣйшій исходъ этого дѣла. Вообще «Сѣверная Пчела» сильно благоволила къ Австріи. Въ «Очеркахъ Австріи» («С. Пч.» 1837 г., №№ 29—30), Тироль, Штирія, Иллирія и др. австрійскія земли являются чуть не земнымъ эльдорадо. «Штирія славится радушіемъ и гостепріимствомъ»; «Иллирія — прелестнѣйшая страна Европы, значительная въ торговомъ отношеніи» и т. д. Словомъ, довольство, счастье и невозмутимый покой господствуютъ въ этомъ углу Европы. Менѣе снисходителенъ становится нашъ публицистъ, когда рѣчь заходитъ объ Англіи и конституціонной Франціи. Тутъ онъ является неумолимымъ къ народу, присвоившему себѣ представительныя права, и къ власти, допустившей такое вмѣшательство въ свои дѣйствія. Разсуждая о заговорѣ Фіэски на жизнь французскаго короля, «Сѣверная Пчела» присовокупляетъ къ этому строгіе упреки своеволію французской націи и слабости власти. Самый процессъ Фіэски описывается весьма курьезно: «Получившій или купившій билетъ для входа въ залу судилища пэровъ былъ принужденъ явиться въ 10 часовъ утра у дверей люксембургскаго дворца и ждать впуска, какъ въ театрѣ... Достоинно замѣчанія легкомысліе, съ которымъ происходили сужденія. Пэры не обращали вниманія ни на какіе посторонніе пункты. Сколько ни старался королевскій прокуроръ доказывать, что въ заговорѣ участвовали члены «Общества правъ человѣчества», пэры не думали допрашивать свидѣтелей, сознавшихъ въ участіи въ этомъ тайномъ обществѣ. Какой-то студентъ назвался пріятелемъ Буаро (одинъ изъ заговорщиковъ) и поклонился ему по дружески; но на него не обратили вниманія, потому что не хотѣли знать никакихъ обстоятельствъ. Вообще пэры не показываютъ въ производствѣ процесса большой мудрости. Они могли бы завлечь (!) въ процессъ цѣлую партію, но теперь не могутъ ничего доказать и только раздражаютъ эту партію. Судьи, созданные для произнесенія важнаго приговора, дозволяютъ преступнику Фіэски разыгрывать свою дерзкую роль. (Фіэски, какъ видно изъ описанія, часто смѣялся, поворачивался къ галлереймъ, шутилъ съ адвокатами). Зрители смѣются, пэры имъ вторятъ. Та-

кимъ образомъ употребляется во зло хваленая гласность, и важное дѣйствіе правосудія превращается легкомысліемъ въ народное игрище».

Свободная печать,—какъ одно изъ важныхъ условій представительнаго правленія,—также подвергалась осужденію «Сѣверной Пчелы». Въ статьѣ Булгарина: «Бульверъ во Франціи» («Сѣверная Пчела» 1836 г., № 189), мы находимъ слѣдующія строки: «Франція до сихъ поръ не дошла еще до того, чтобы большинствомъ благонамѣренныхъ людей обуздать малое число изступленныхъ сумасбродовъ, наводящихъ безпокойство на всю Европу. Слава Богу, что уже въ самой Франціи ихъ презираютъ. Имъ осталось одно орудіе—книгопечатаніе.—Своеволіе, недостатокъ воспитанія, гордость, бѣдность, дѣнь образуютъ злодѣевъ, которыхъ можно было бы сдѣлать людьми полезными при сильныхъ мѣрахъ правительства. Воля ваша, но Алжиръ и вѣчная война съ бедуинами необходимы для Франціи. Куда дѣвать этихъ сумасбродовъ?» Здѣсь Булгаринъ съ насмѣшкой цитируетъ слова одного политическаго заговорщика, произнесенныя имъ передъ судомъ, въ которыхъ виновный жалуется на то, что, будучи сыномъ пролетарія, онъ не могъ получить порядочнаго образованія, такъ какъ за это образованіе некому было платить. Вопросъ о пролетаріатѣ, возникшій въ то время во Франціи, былъ непонятенъ для нашего публициста. Говоря о республиканцахъ, Булгаринъ называетъ ихъ не иначе, какъ сумасбродами, и формулируетъ ихъ желанія такимъ образомъ: «чтобъ никто не платилъ податей, никто не бралъ жалованья, чтобъ никто не повелѣвалъ и никто не повиновался». Но, изобразивъ мрачными красками положеніе дѣлъ во Франціи, Булгаринъ вооружается еще болѣе, когда рѣчь заходитъ объ Англіи и ея политической прессѣ. «Не взирая на нашихъ англомановъ,—злобствуется онъ,—мы говоримъ откровенно, что ни въ одной странѣ нѣтъ такого своеволія книгопечатанія, какъ въ Англіи. Въ Англіи противники литературной или политической партіи нападаютъ на своихъ враговъ не однимъ орудіемъ насмѣшки, но и самой гнусной клеветой, самой пошлой бранью. Въ англійскихъ журналахъ нападаютъ на жену, дѣтей, друзей, родныхъ врага, открываютъ тайны домашней жизни, разоблачаютъ характеры, чтобы только погубить человѣка въ общемъ мнѣніи. Вспомните, что писали въ англійскихъ газетахъ во время процесса королевы, во время преній о билѣ парламентской реформы; прочтите, что говорятъ въ журналахъ о Веллингтонѣ. Грубость, ложь и безстыдство въ преслѣдованіи журнальномъ дошли въ Англіи до высочайшей степени. Послѣ этого,

должно ли удивляться, что журнальные писатели не пользуются уваженіемъ и скрываютъ свои имена, а газета страшна, какъ чума или громовой ударъ. — Самныя гнусныя, самыя безбожныя правила проповѣдуются простому народу и продаются воровски за малую цѣну». Этотъ рѣзкій отзывъ объ англійской журналистикѣ повелъ къ маленькому, такъ сказать, семейному раздору въ редакціи «Сѣверной Пчелы». Въ 1837 г. И. И. Гречъ, съѣздивъ за границу, прислалъ оттуда свои «Путевыя Записки» («Сѣверная Пчела» 1837 г., № 154), въ которыхъ онъ нѣсколько вступается за честь Англіи. Въ одной главѣ этихъ «Записокъ», подъ названіемъ: «Англійскій парламентъ и французскія палаты», г. Гречъ хвалитъ представительныя учрежденія Англіи, а дальше защищаетъ, въ немногихъ словахъ, и ея прессу. «Англичане—говоритъ нашъ туристъ—достойны если не безусловнаго подражанія, то искренняго уваженія благомыслящихъ людей, хотя—прибавляетъ онъ въ ограниченіе своей похвалы—члены англійскаго парламента вообще не соблюдаютъ никакого приличія въ засѣданіи и сидятъ, избочениась или развалившись». Зато о французской палатѣ и о французской прессѣ Гречъ и Булгаринъ отзываются съ полнымъ единодушіемъ. «Личная выгода — пишетъ г. Гречъ въ той же главѣ—и тщеславіе суть главные двигатели всѣхъ здѣшнихъ дѣйствій. Общая польза, благо отечества вполетаются въ рѣчи только для округленія періодовъ. Въ палатѣ члены раздѣляются на 20 различныхъ партій, движимыхъ противными выгодами и личными отношеніями. Бѣдствіямъ и терзаніямъ конституціонной Франціи значительно содѣйствуетъ свобода тисненія. Журналы и газеты, издаваемые людьми жадными, безсовѣстными и развратными, сдѣлались орудіемъ и отголоскомъ лжи, клеветы, обмана и всѣхъ гнусныхъ страстей. Всѣ, безъ исключенія, всѣ порядочные люди предають проклятію эту бѣдственную свободу; всѣ предсказываютъ, что она повергнетъ Францію въ новую пучину золь. Говоря объ этомъ съ почтеннымъ Карломъ Нодде, я спросилъ у него: развѣ нѣтъ средствъ основать журналъ, въ которомъ говорили бы истину, излагали бы правила правды, чести, любви къ отечеству и религіознаго благочестія?—Нѣсколько разъ пытались, отвѣчалъ онъ. Честные люди составляли на то общества и капиталы, начинали изданіе, но оно скоро упало. Люди благонамѣренные обращаются къ разсудку и къ совѣсти читателей, негодяи потворствуютъ ихъ страстямъ. Толпа отвращается отъ лѣкарства и прибѣгаетъ къ нанитамъ, ошумляющимъ чувства». — «И въ Англіи—продолжаетъ г. Гречъ—

(«Сѣверная Пчела» 1837 г., № 156) господствуетъ свобода тисненія; но какъ пользуются тамъ этимъ правомъ? Благоговѣя предъ религіей, уважая права престола, окружая царей любовью, почтеніемъ и довѣренностью. Форма правленія не имѣетъ вліянія на величіе царствъ и народовъ. Дайте англичанамъ правленіе турецкое или персидское: оно сдѣлается источникомъ ихъ блага и богатства» (1). Отзывъ Греча объ англійской журналистикѣ прямо противорѣчитъ тому, что высказано было о ней же Булгаринымъ.

Подобныя непослѣдовательности и противорѣчія нерѣдко попадались въ «Сѣверной Пчелѣ». Въ особенности часто встрѣчались они въ ея литературно-критическомъ отдѣлѣ, гдѣ, напри- мѣръ, вслѣдъ за бранью на Гоголя («Сѣв. Пч.» 1836 г., № 12), появлялась хвалебная статья объ немъ (ibid. № 26), а о Пушкинѣ было высказано множество противоположныхъ одно другому мнѣній. Иногда — но очень рѣдко — появлялись въ «Сѣверной Пчелѣ» статьи и замѣтки, — или, лучше сказать, отдѣльныя мысли, — нисколько не согласовавшіяся съ общимъ тономъ этого журнала. Такъ, напр., въ статьѣ: «Настоящій моментъ и духъ нашей литературы» (ibid. № 10), Булгаринъ говорилъ: «Въ человѣкѣ мысль безпрестанно движется. Застой мысли есть нравственная смерть. Люди, которые не мыслятъ, не живутъ для человѣчества. Это машины». Въ другой статьѣ (ibid. № 97) онъ же толковалъ, что изящная литература должна, по мнѣнью возможности, «приближаться къ натурѣ, къ жизни, и оттуда черпать содержаніе для своихъ произведеній». Но ни то, ни другое нельзя брать въ расчетъ при общей оцѣнкѣ его газеты: говоря о движеніи мысли въ одномъ номерѣ своей газеты, Булгаринъ тормозилъ эту мысль въ сотнѣ другихъ номеровъ, а выставляя обязанностью для художника приближаться къ природѣ, онъ, въ той же статьѣ, осуждалъ Гоголя за цинизмъ и неприличіе «Ревизора». Также точно, похваливъ новый таможенный уставъ за сбавку пошлинъ съ нѣкоторыхъ предметовъ заграничной торговли и даже назвавъ снисходительно «поэтическою мечтою» принципъ свободной торговли, — «Сѣверная Пчела» настаивала на самой стѣснительной регламентаціи во всѣхъ другихъ отрасляхъ общественной жизни. Эти маневры и уклоненія въ сущности ничего не значили, никого не обманывали и нисколько не нарушали основной тенденціи «Сѣверной Пчелы». Въ самомъ противорѣчіи этой газеты объ англійской журналистикѣ виденъ все таки одинъ и тотъ же масштабъ для оцѣнки прессы, хотя, по оплошности редакціи, выводы оказались несогласными между собою.

Призывая громы на всю иностранную политическую прессу за

ея неблагомѣренное направленіе, Булгаринъ не оставлялъ безъ порицанія и беллетристику того времени, преимущественно произведенія Жоржъ-Зандъ, Виктора Гюго и друг. французскихъ авторовъ, которые, естественно, не нравились Булгарину, — такъ какъ они возставали противъ многихъ соціальныхъ явленій и облекали свои протесты въ живое, энергическое, сильно дѣйствующее слово. Между тѣмъ самая идея подобнаго протеста не допускалась «Сѣверною Пчелою». «Безвкусіе, неистовство и наглость французской школы — говорится въ № 182 «Сѣверной Пчелы» 1836 года — по справедливости обратили на себя негодованіе литераторовъ благонамѣренныхъ, благонравныхъ и добросовѣстныхъ. Особенное вниманіе обратила на себя, въ этомъ отношеніи, женщина, одаренная необыкновенными талантами, Аврора Дюдеванъ, издающая свои творенія подъ именемъ Жоржъ-Зандъ. Всѣ ея сочиненія написаны очень смѣло, безъ всякаго закрытія, отнюдь не женскою кистью; особенно отличается цинизмъ, безстыдствомъ и безнравственностью одинъ изъ ея романовъ — «Лелія».

Нападки Булгарина были, на этотъ разъ, вполне послѣдовательны съ его точки зрѣнія: всякая умственная тревога, всякое недовольство настоящимъ, разумно оправданное, весьма заразительны и, по самой силѣ вещей, легко сообщаются отъ одного человѣка къ другому, отъ писателя къ цѣлому обществу. Русскому же обществу, по понятію «Сѣверной Пчелы», нечего было желать въ данную минуту. Вотъ какими красками описывались постоянно въ «Сѣверной Пчелѣ» наша общественная жизнь и отношенія между сословіями въ Россіи: «Гдѣ на Руси, благоденствующей подъ сѣнью мира, отъ довольства и простора въ быту, не хлопотлива широкая масляница, съ незапамятныхъ временъ обратившаяся въ народный праздникъ! Въ сіи разгульные дни и знать и простолюдины спѣшать допить чашу земныхъ наслажденій; но веселости дѣлаются свѣтлы и берутъ нравственный характеръ, когда тѣ, коимъ судьба предоставила въ удѣлъ обиліе, не забываютъ, что есть и такіе, для которыхъ дорогъ кусокъ насущнаго хлѣба. Костромское общество дворянъ, изстари руководимое симъ возвышеннымъ чувствомъ, 7-го февраля назначило благородный спектакль въ пользу самыхъ бѣднѣйшихъ семействъ. Въ первый день наступленія поста, въ 33 хижинахъ, благодарными слезами убогихъ матерей оросились нежданныя подаванія». («Сѣверная Пчела» 1836 г., № 48).

Подобныя же извѣстія, вырѣзанныя какъ бы по одной мѣркѣ, доставлялись корреспондентами изъ Москвы, Кишинева, Екатери-

нославы и другихъ городовъ. Словомъ, всѣ эти благоухающія, безобидныя корреспонденціи еще не давали никакой возможности предвидѣть появленіе «литераторовъ-обывателей» съ ихъ обличительными замыслами.—Если состояніе нашего общества, построеннаго тогда на крѣпостномъ правѣ, вполнѣ удовлетворяло требованіямъ Булгарина, то онъ, конечно, оставался доволенъ и дѣятельностью нашихъ учебныхъ заведеній. Воспитаніемъ того времени «Пчела» не могла нахвалиться. «Въ Россіи—гласить письмо изъ Воронежа («Сѣверная Пчела» 1837 г., № 234)—издревле предупреждались нужды народныя. Мало того, что Петербургъ усѣянъ учебными заведеніями; мало того, что въ Москвѣ они годъ отъ году умножаются; не смотря на то, что на краяхъ имперіи, въ Тифлисѣ, Одессѣ, Варшавѣ, заведенія сіи процвѣтають,—не смотря на все это, почти въ каждомъ губернскомъ городѣ воздвигаются учебныя заведенія, и въ нашемъ счастливомъ Воронежѣ предназначено быть кадетскому корпусу на четыреста воспитанниковъ».

Защищая со всѣхъ сторонъ нашъ общественный бытъ того времени, «Сѣверная Пчела» весьма интересовалась дурными слухами, распускаемыми про насъ за границею въ печатныхъ книгахъ и брошюрахъ, и подвергала строгому нареканію всѣхъ авторовъ подобныхъ произведеній. Ея бдительность въ этомъ отношеніи заслуживаетъ замѣчанія. «Въ Берлинѣ—пишетъ заграничный корреспондентъ «Сѣверной Пчелы» (1836 г., №№ 1 и 2),—имѣли мы случай читать неукротимыя статьи иностранныхъ газетъ, въ которыхъ, на перехватъ, старались въ неблагопріятномъ видѣ представлять все, что происходило въ Калишѣ; въ 1813 г. Превеличеніемъ, искаженіемъ не ограничивалось желаніе подкупленныхъ издателей вредить намъ: нѣтъ! они начали позорно лгать, составлять (sic) происшествія, говорить за нашихъ солдатъ и пр., однимъ словомъ, писать все, что доступно лишь чувствамъ тщедушнаго газетчика, продающаго нафабрикованныя рѣчи и мысли, вѣсами порока, за плату той или другой стороны. Не стану терять времени въ вычисленіи всѣхъ бредней газеты аугсбургской и другихъ». Далѣе говорится, что, кромѣ газетныхъ статей, за границей появляются цѣлыя сочиненія, въ которыхъ «разбираются или, лучше сказать, раздираются наша новѣйшая исторія, указы императора и вообще внутреннее положеніе дѣлъ въ Россіи». Въ этихъ сочиненіяхъ, по словамъ той же статьи, «не довольствуются описаніемъ нашего отечества, но впускають зондъ въ предметы описанія, притомъ зондъ, налитанный ядомъ». «И кто могутъ быть ихъ авторы?» спрашивалъ самъ себя кор-

респондентъ. «Какой нибудь губернёръ, эмигрантъ, бѣжавшій изъ Россіи отъ долговъ, подкупленный космополитъ, кака нибудь нарумяненная, безнравственная герцогиня или, наконецъ, одинъ изъ тѣхъ недостойныхъ сыновъ Россіи, которые гонимы законами или совѣстью и скитаются по свѣту, какъ преступныя души, неприемлемыя нѣдрами земли». Изъ числа этихъ вредныхъ брошюръ корреспондентъ упоминаетъ объ одной, которая появилась въ Швейцаріи, по поводу указа 17 апрѣля 1835 г. насчетъ заграничныхъ поѣздокъ русскихъ. Авторъ этой брошюры, по словамъ корреспондента, предлагалъ Россіи уступить сосѣднимъ государствамъ свои пограничныя владѣнія (какъ-то: Финляндію, Польшу, Крымъ и др.), и «сосредоточиться на меньшемъ пространствѣ, гдѣ благосостояніе ея увеличится». Предлагалъ же онъ это, приводя въ примѣръ частнаго человѣка, который «охотно уступаетъ часть своего имѣнія, если не почитаетъ себя въ силахъ сносить трудность управленія имъ». Корреспондентъ «Сѣверной Пчелы» энергически возсталъ противъ этихъ, болѣе фантастическихъ, нежели сепаратистскихъ стремленій, и изъявилъ основательную надежду, что «никто изъ русскихъ не увлечется злодѣльными умствованіями такихъ книгъ, наполненныхъ парадоксами и софизмами». Въ другой разъ, въ статьѣ подъ названіемъ: «Опять вздоры объ Россіи» (1836 г. № 55), «Сѣверная Пчела» напала на какого-то нѣмца, напечатывающаго въ журналѣ «Ausland» статью, оскорбительную для Россіи. Оскорбленія эти состояли, между прочимъ, въ томъ, что «въ Россіи, по словамъ нѣмецкаго автора, строятъ безобразныя печи», тогда какъ, по увѣренію нашей газеты, «русскіе мастера дѣлаютъ прелестныя печи», и еще въ томъ, что нѣмцу не понравились русскія сани и войлочные сапоги, употребляемые крестьянами.

Принципы и сочувствія «Сѣверной Пчелы» отражались, съ нѣкоторыми уклоненіями, въ ея критическомъ и библиографическомъ отдѣлѣ, и изъ новыхъ книгъ похвалялись обыкновенно только тѣ, которыя, по своему направленію, подходили вполне подъ общій тонъ газеты. Ея отзывы о подобныхъ книгахъ имѣли, болѣею частью, такой стереотипный характеръ: «любовь къ отечеству, коей проникнуть этотъ романъ, даетъ ему право на вниманіе русскихъ» или: «это прелюбопытная памятная книжка для всякаго, преимущественно для воина» и т. п. Объ извѣстномъ учебникѣ русской исторіи г. Устрялова «Сѣверная Пчела» говоритъ: «Читайте введеніе г. Устрялова въ его исторію, статью о норманнахъ, о христіанской вѣрѣ и проч., читайте, однимъ сло-

вомъ, всю книгу: она доставитъ вамъ обильную пищу къ размышленію. Слогъ автора, какъ и всегда, отличается правильностью, ясностью и легкостью». (Литературный слогъ «Сѣверная Пчела» разсматривала съ точки зрѣнія старинныхъ риторикъ и дѣлила его на низкій, средній и высокій). Во всей русской исторіи Булгаринъ видѣлъ только любовь къ спокойствію: этого качества онъ и искалъ въ ея событіяхъ, отзываясь съ пренебреженіемъ или злобою обо всемъ, что не подходило подъ его мѣрку. Объ исторіи среднихъ вѣковъ г. И. Шульгина говорится: «не утѣшительно ли на скудномъ историческомъ поприщѣ встрѣтить отечественнаго историка мыслящаго?» Мнѣнія «Сѣверной Пчелы» объ изящной литературѣ того времени поражали своимъ безвкусіемъ и нелѣпостью, и съ этой стороны ея дѣятельности насъ достаточно познакомили Бѣлинскій въ своихъ меткихъ памфлетахъ противъ Булгарина. Вспомнимъ только, что «Сѣверная Пчела» ставила Соколовскаго (автора поэмы «Хеверъ», о которой говоритъ Панаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ»), Якубовича, Тимофеева чуть не въ уровень съ Пушкинымъ, и строго осуждала всю дѣятельность Гоголя за то, что онъ сознательно унижаетъ Россію, выводя на свѣтъ одну житейскую грязь и чиновничьи злоупотребленія ¹⁾). Отношенія «Пчелы» къ Пушкину имѣютъ особенный интересъ, потому что здѣсь замѣшивалась *jealousie du métier*, журнальная конкуренція съ «Современникомъ». Извѣстіе объ изданіи Пушкинымъ своего журнала (который и затѣвался-то въ отпоръ литературнымъ монополистамъ) было встрѣчено «Пчелою» хладнокровно, и она даже вступилась за «Современникъ» послѣ рьяныхъ нападокъ на него «Библіотеки для Чтенія» («Сѣверная Пчела» 1836 г., № 86); но скорѣе умѣренность была забыта, и «Пчела» стала съ умысломъ пошатывать литературную знаменитость Пушкина. Немного времени спустя, по поводу изданія «Полтавы» на малороссійскомъ языкѣ, «Сѣверная Пчела» (1836 г. № 162) обратилась къ Пушкину съ слѣдующею элегическою рѣчью: «Но отчего же муза поэта умолкла? Ужели поэтическія дарованія старѣютъ такъ рано? и пр. Видно, что такъ, потому что поэтъ сдѣлался журналистомъ. Печальная пере мѣна! Какъ не пожалѣть о ней! Поэтъ промѣнялъ золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журна-

¹⁾ Замѣчательно, что то же самое, и съ той же точки зрѣнія, говоритъ о Гоголѣ Вигель въ своихъ пресловутыхъ «Запискахъ». Вотъ какими инсинуаціями встрѣчено было у насъ новое направленіе, давшее могучій толчекъ всей русской литературѣ.

листа, князь мысли сталъ рабомъ толпы, орелъ спустился съ облаковъ. И для чего же онъ промѣнялъ свою блестящую, завидную судьбу на долю труженика? Для того, чтобы имѣть удовольствіе высказать нѣсколько горькихъ упрековъ своимъ врагамъ, т. е. людямъ, которые были несогласны съ нимъ въ литературныхъ мнѣніяхъ, которые требовали отъ его дремлющаго таланта новыхъ, совершеннѣйшихъ созданій, угрожая въ противномъ случаѣ свести съ престола (*détroner*) его значительность». Противъ этой-то полемической выходки возсталъ кн. Одоевскій въ особой статьѣ: «О нападкахъ петербургскихъ журналовъ на Пушкина», и въ ней коснулся, между прочимъ, привилегіи «Сѣверной Пчелы» на ежедневный выходъ, — привилегіи, которая, при отсутствіи равносильной конкуренціи, придавала большой вѣсъ въ обществѣ своекорыстнымъ стремленіямъ этой газеты, такъ какъ, благодаря ей, «Сѣверная Пчела» имѣла (по словамъ Шевырева въ «Московскомъ Наблюдателѣ») до 10,000 подписчиковъ ¹⁾. Еслибы кн. Одоевскій заговорилъ объ одномъ Пушкинѣ, не дѣлая прямыхъ и косвенныхъ нападокъ на монополистовъ-издателей, то его статья навѣрно нашла бы себѣ пріюти въ какомъ нибудь изъ тогдашнихъ журналовъ. Но въ своемъ настоящемъ видѣ, исполненная насмѣшекъ и справедливаго негодованія противъ литературнаго торгашества, она оказалась вполне неудобною для печати ²⁾... Выходка «Сѣверной Пчелы» такъ и прошла безъ отвѣта. Несравненно болѣе расположенія, чѣмъ къ Пушкину, оказывала «Сѣверная Пчела» къ барону Брамбеусу (Сенковскому) и къ его журналу. Въ произведеніяхъ Брамбеуса «Пчела» усматривала необыкновенный умъ и талантъ, и предсказывала ему такое высокое мѣсто въ литературѣ, что «до него не достигнуть ни московскія, ни петербургскія критическія стрѣлы». Дружескія отношенія «Пчелы» къ «Библіотекѣ для Чтенія» никогда не нарушались, и споры, иногда возникавшіе между ними, не пріобрѣтали характера важной и продолжительной размолвки. «Библіотека для Чтенія», богатая подписчиками — говорилось въ «Сѣверной Пчелѣ» — никогда не бранила Булгарина. Стало быть, брань журналистовъ, бѣдныхъ подписчиками, падаетъ не на Булгарина, а прямо на число его подписчиковъ.

Говорить ли, наконецъ, о знаменитомъ самовосхваленіи Булгарина? Приведемъ на выдержку нѣсколько строкъ о выходѣ

¹⁾ По другимъ свѣдѣніямъ, число это простиралось только до 5,000.

²⁾ Статья эта, вмѣстѣ съ прочими бумагами кн. Одоевскаго, напечатана въ № 4—8 «Русскаго Архива» за 1864 г.

въ свѣтъ первыхъ томовъ сочиненій Булгарина (изданія Лисенкова): «Мы увѣрены, что публика съ обыкновенною своею благосклонностью приметъ новую книгу своего любимаго писателя, и говоримъ это не потому только, что *Θ. В. Булгаринъ* — участникъ въ изданіи «Сѣверной Пчелы»; но потому что онъ, Булгаринъ, писатель съ умомъ наблюдательнымъ и острымъ, съ благородными правилами (*sic*), обладающій живымъ, бойкимъ и чистымъ слогомъ, говорящимъ уму и чувству ¹⁾». О самой себѣ «Сѣверная Пчела» выражалась такимъ образомъ: «безъ Пчелы ни одинъ порядочный человѣкъ не можетъ выпить утромъ чашки чаю». Своихъ литературныхъ противниковъ, между которыми главнѣйшую роль играли московскіе журналы, «Пчела» называла напередъ погибшими. Въ самомъ дѣлѣ, она прочтѣе другихъ изданій опиралась на массу тогдашней публики и на поддержку администраціи. Московскіе журналы, составлявшіе оппозицію, вносили, по увѣренію «Сѣверной Пчелы», духъ буйства и разврата въ нашу литературу: въ особенности не нравились этой газетѣ критическій отдѣлъ «Молвы», въ которомъ (съ 1834 г.) уже принималъ участіе Бѣлинскій. «На литературу—говорилось въ «Сѣверной Пчелѣ» ²⁾—находить школьный туманъ. Критика прежняя,—веселая, вострая хохотунья,—но справедливая критика заснула! Теперь въ литературѣ, по старой поговоркѣ: это раньше всталъ да палку взялъ, тотъ и капризъ и пр. и пр. Множество людей съ дарованіемъ и образованностью, которые могли бы служить украшеніемъ нашей словесности, отказываются отъ дѣятельнаго въ ней участія. Гдѣ великіе наши дѣятели, могучіе производители? Гдѣ литературный кругъ? Гдѣ дружескія бесѣды о любезной литературѣ?» Въ критикѣ «Молвы» Булгаринъ уже чувалъ инстинктивно ту силу, которой суждено было скоро прійти ему на смѣну...

III.

Мы недаромъ сдѣлали столько извлеченій изъ «Сѣверной Пчелы»: какъ органъ журналистики наиболѣе наивный и болтливый, эта газета высказывала прямо свои симпатіи и ничуть не маскировала своихъ стремленій. Она не пробовала даже защищать съ рациональной точки зрѣнія свою политическую и нравственную систему; ея импровизаціи имѣли характеръ непосредственный и

¹⁾ «Сѣверная Пчела» 1836 г., № 220.

²⁾ «Сѣверная Пчела» 1837 г., № 5.

не требовали доказательствъ или, пожалуй, эти доказательства существовали въ видѣ факта, а вовсе не въ видѣ отвѣченной теоріи. Выписки изъ «Сѣверной Пчелы» избавляютъ насъ отъ труда дѣлать извлеченія изъ другихъ изданій, менѣе рѣзкія и выразительныя. Опредѣливши въ главныхъ чертахъ образъ мыслей одного изъ журнальныхъ триумвировъ, мы можемъ теперь указывать менѣе пространно на солидарность съ «Пчелой» другихъ органовъ той же категоріи.

«Сынъ Отечества» (основанный въ 1812 году г. Гречемъ) шелъ, въ описываемое время, совершенно по одной дорогѣ съ «Сѣвѣрною Пчелою» и былъ одинаково друженъ съ «Библіотекой для Чтенія». Въ первыхъ же книжкахъ этого журнала за 1836 г. помѣщены три большія статьи («Русская критика въ 1835 г.»), въ которыхъ имѣлось въ виду защитить «Библіотеку для Чтенія» отъ нападокъ на нее московскихъ журналовъ. Приведемъ самыя интересныя отрывки изъ этихъ руководящихъ статей: «Съ нѣкотораго времени у насъ вошло въ моду жалѣть о нашей литературѣ, говорить объ ея несчастномъ состояніи. Никогда не было жалобъ болѣе несправедливыхъ и неосновательныхъ. Неужели намъ не достаетъ поощренія? Неужели намъ мало, что литераторы и художники награждаются пенсіями, чинами, крестами, подарками? Вспомните Карамзина и Гнѣдича; посмотрите на Крылова и Жуковского, на Брюлова, Тона и проч. Если литература и искусство не представляютъ замѣчательныхъ произведеній, то въ этомъ виновны не недостатокъ поощренія; виновны, можетъ быть, сами литераторы, сами художники. Теперь работаютъ не для науки, не для искусства, а для кармана. Критика занимается подкапываніемъ чужихъ репутацій. «Московский Наблюдатель» основался съ одной цѣлью—подкопать репутацію барона Брамбеуса; «Телескопъ» и «Молва» подкапываютъ всѣ возможныя репутаціи. Критика «Литературныхъ Прибавленій къ «Инвалиду» также имѣетъ свое благородное призваніе—хулить барона Брамбеуса». О Сенковскомъ въ этой статьѣ высказывалось самое лестное мнѣніе: «Брамбеусъ безспорно литературная знаменитость; онъ убьетъ кого угодно однимъ словомъ; сами его завистники и порицатели изранены его неподдѣльнымъ остроуміемъ, его тонкою, язвительною сатирою, его пронзительнымъ, ядовитымъ сарказмомъ». Правда, критика упрекаетъ Брамбеуса въ излишнемъ эгоизмѣ и злоупотребленіи своимъ остроуміемъ, доходящемъ даже до неприличныхъ выходокъ: «Брамбеусъ бьетъ авторовъ (въ своихъ рецензіяхъ) палками въ лобъ, жгу-

тами по спинѣ, отдастъ книги на разсмотрѣніе своему Ванькѣ—вѣроятно, кучеру или дворнику. Онъ, улыбаясь, говоритъ вамъ: это изданіе лакейское, особенно приспособленное къ салнымъ свѣчкамъ: ему съ намѣреніемъ дана форма рѣпы, чтобъ можно было просверлить книгу ножомъ и втыкать салную свѣчку. Въ другомъ мѣстѣ онъ женить себя на переводчицѣ очень хорошей книги, крестить дѣтей и ставить имъ памятникъ изъ сихъ и оныхъ. Гдѣ тутъ приличіе, уваженіе къ дамамъ? Г. Оедоровъ, за изданіе дѣтской книжки, получаетъ пять орѣховъ».

Но эти упреки, пересыпаемые самою подобострастною похвалою, имѣли совсѣмъ другой смыслъ, чѣмъ нападки на московскихъ литераторовъ, обвиняемыхъ скорѣе въ дерзости мнѣній, чѣмъ въ грубости словъ. Дальше говорится: «Не смотря на нападки, на безсильныя хулы ея враговъ, «Библіотека» —лучшій изъ настоящихъ журналовъ, и подобнаго у насъ никогда не было. Что «Библіотека» между журналами, то «Сѣверная Пчела» между газетами. Въ «Пчелѣ» никогда не бываетъ критики (это несовсѣмъ вѣрно), она ограничивается краткими извѣстіями о вновь выходящихъ книгахъ. Она вообще отличается безпристрастностью, и ее можно только укорить въ излишней добротѣ: она печатаетъ слишкомъ много похвалъ. Въ «Сынѣ Отечества» были напечатаны (въ 1835 г.) двѣ критики (на исторію Пугачевского бунта и на «Аббадонну» Полеваго), которыя, по своей умѣренности и по приличію тона, заставляютъ насъ искренно жалѣть (и это говоритъ журналъ самъ о себѣ!) что господа критики «Сына Отечества» были слишкомъ молчаливы. Намъ сказывали по секрету, что статьи этого рода будутъ писаны, въ нынѣшнемъ году, въ «Сынѣ Отечества» однимъ изъ извѣстныхъ нашихъ критиковъ, который болѣе года не является на критическомъ поприщѣ. Читатели «Сына Отечества» поблагодарятъ редактора за такой пріятный подарокъ».

Въ особенности доставалось «Молвѣ» и «Телескопу» ¹⁾ за ихъ критическій отдѣлъ. «Молва» и «Телескопъ», — инсинуируетъ «Сынъ Отечества», — для пользы современнаго просвѣщенія, съ особеннымъ усердіемъ и прилежаніемъ занимались порицаніемъ мертвыхъ и бранью живыхъ. Да, бранью! «Молва» называла нѣкоторыхъ литераторовъ чертями. Не вѣрите? (слѣдуетъ выписка). Вотъ какія статьи печатаетъ «Молва»: въ ней литера-

¹⁾ Впрочемъ, нападенія на «Телескопъ» продолжались недолго: въ скоромъ времени журналъ этотъ подвергнулся запрещенію за статью П. Я. Чаадаева.

тора величаютъ чортомъ, лжецомъ, Іудею Искаріотскимъ. Послѣ этого мы не можемъ говорить ни о «Молвѣ», ни о «Телескопѣ»¹⁾. Наша критика насмѣшлива, неуважительна, оскорбительна. Посмотрите, сколько теперь у насъ честныхъ, почтенныхъ именъ, замаранныхъ чернильнымъ пятномъ литературнаго безславія. Кто не осмѣянъ, не освистанъ, не оскорбленъ? Нѣкоторые были даже тронуты за нѣжнѣйшія струны, за жизнь семейную. То, чего нельзя вытерпѣть въ обществѣ безъ самыхъ горькихъ послѣдствій, то сносится на бумагѣ и остается безъ наказанія».

Нетрудно понять затаенный смыслъ всей этой журнальной діатрибы: правительство поощряетъ литературу, даетъ литераторамъ кресты и пенсіи, а младшая литературная братія не умѣетъ вести себя и относится съ презрѣніемъ къ заслуженнымъ людямъ, причемъ касается даже «нѣжнѣйшихъ струнъ ихъ сердца». Дозволяя себѣ такія вещи, молодые писатели приближаются къ свободной печати, которая рисовалась публикѣ, именно, какъ поруганіе первыхъ правилъ общежитія (см. выше отзывъ «Пчелы» о франц. и англ. прессѣ); ergo—ихъ надо унять, т. е. лишить возможности нарушать общественный порядокъ. Тогдашніе литераторы очень хорошо знали, куда метать, въ такихъ инсинуаціяхъ, дружные журналисты. Этихъ-то инсинуацій они и боялись, какъ огня. Въ pendant къ этимъ строкамъ пусть читатель припомнитъ вопли «Сѣверной Пчелы» объ упадкѣ русской литературы, объ удаленіи изъ нея самыхъ благонамѣренныхъ дѣятелей—и тогда станетъ ясно, до какой солидарности доходили на этомъ пунктѣ оба журнала. «Сѣверная Пчела» даже прямо говорила: «Наша литература, безъ званія писателей, есть не домъ, въ которомъ живутъ хозяева, а гостинница, въ которой каждый приказываетъ и кричитъ, кто заѣхалъ на ночлегъ и кто посмѣетъ. Отъ того неучи и шарлатаны кричали у насъ и приказывали впоотьмахъ» («Сѣверная Пчела» 1836 г., № 16). Не видно ли здѣсь ясное указаніе на то, что надо регламентировать литературныя занятія, отдать ихъ въ руки ограниченнаго числа «хозяевъ» и прикомандировать къ нимъ ограниченное же число сотрудниковъ, хорошо извѣстныхъ этимъ хозяевамъ? Въ «Сынѣ Отечества» дѣйствовалъ (съ 1825 года), вмѣстѣ съ Гречемъ, и Ѳ. В. Булгаринъ, также какъ въ «Сѣверной Пчелѣ»: понятно, что тен-

¹⁾ Напечатаніе такихъ статей въ «Молвѣ» критику «Сына Отечества» объясняетъ отсутствіемъ редактора Надеждина, который находился; въ то время, «въ чужихъ краяхъ».

денціи обоихъ журналовъ были совершенно одинаковы. Сюда заносилъ Бугаринъ и свое обычное самохвальство. Такъ, напр., открывъ подписку на свое сочиненіе: «Россія въ историческомъ, статистическомъ и проч. отношеніяхъ», Бугаринъ говорилъ, что «если у него будетъ много подписчиковъ, то онъ издастъ свой трудъ на нѣмецкомъ языкѣ» и что ему «предлагаютъ это съ двухъ сторонъ» и пр., и пр. Политическія воззрѣнія «Сына Отечества», равно какъ и его взглядъ на нашу внутреннюю жизнь, совершенно совпадали съ таковыми же воззрѣніями «Сѣверной Пчелы». «Политическія обзорѣнія» въ «Сынѣ Отечества» составлялись по двумъ-тремъ, самымъ благонамѣреннымъ, изъ иностранныхъ газетъ. То и дѣло попадаются фразы: «столица наслаждалась спокойствіемъ»... «въ Малагѣ спокойствіе восстановлено» и т. п. Изъ событій нашей внутренней жизни сообщались только одни утѣшительныя.

Съ 1838 года, въ изданіи «Сына Отечества» (а также и «Сѣверной Пчелы») произошла нѣкоторая перемѣна. Редакторы этихъ изданій, оставаясь полными хозяевами и распорядителями литературно-ученой части, передали хозяйственныя заботы А. Ф. Смирдину и тѣмъ «пріобрѣли, по ихъ словамъ, возможность удѣлить болѣе времени и стараній на литературное и собственно журнальное дѣло». Съ этого времени «Сынъ Отечества» сталъ издаваться опрятнѣе, книжки его сдѣлались толще, и ихъ содержаніе было раздѣлено на правильныя рубрики, числомъ пять. Но характеръ обоихъ изданій ничего не выигралъ отъ внѣшней перемѣны: и «Сынъ Отечества», и «Сѣверная Пчела» остались вѣрны своей прежней дѣятельности. На внутреннее преобразование «Сына Отечества» еще могла быть какая нибудь надежда: въ журналѣ принялъ постоянное участіе писатель весьма извѣстный въ свое время — Н. А. Полевой, переселившійся въ Петербургъ вскорѣ послѣ паденія «Московского Телеграфа». Тѣмъ не менѣе, Полевой — какъ сотрудникъ «Сына Отечества» — нисколько не походилъ уже на бывшаго редактора «Телеграфа»: напуганный своимъ прежнимъ либерализмомъ, имѣвшимъ такой печальный исходъ, даровитый писатель круто повернулъ на другую дорогу, оправдываясь горькой необходимостью и стыдясь встрѣчаться съ своими прежними знакомыми.

Чтобы читатели могли понять, въ какіе тиски попадали тогда люди, подобные Полевому, живя въ Петербургѣ, мы позаимствуемъ изъ «Воспоминаній» Панаева относящееся сюда мѣсто:

«Въ Петербургѣ Бѣлинскій не видался съ Полевымъ. Полевой избѣгалъ его, потому что, послѣ совершенной перемѣны въ сво-

ихъ убѣжденіяхъ, ему, кажется, неловко было взглянуть прямо въ глаза Бѣлинскому... «Бѣлинскій—прекраснѣйшій, благороднѣйшій человѣкъ, сказалъ мнѣ однажды Полевой, когда я нарочно завелъ рѣчь о Бѣлинскомъ:—горячая голова, энтузіастъ, но теперь намъ сходиться не для чего-съ. Я здѣсь уже совсѣмъ не тотъ-съ. Я вотъ долженъ хвалить романы какого нибудь Штевена, а вѣдь эти романы галиматья-съ».

— Да кто жъ васъ заставляетъ ихъ хвалить? спросилъ я съ удивленіемъ.

— Нельзя-съ, помилуйте, вѣдь онъ частный приставъ (!!!).

— Что жъ такое? Что вамъ за дѣло до этого?

— Какъ что за дѣло-съ? Разбери я его, какъ слѣдуетъ, онъ, пожалуй, подкинетъ ко мнѣ въ сарай какую нибудь вещь, да и обвинить меня въ кражѣ. Меня и поведутъ по улицамъ на веревкѣ-съ, а вѣдь я—отецъ семейства! («Соврем.» 1860 г., № 1, «Воспоминаніе о Бѣлинскомъ»).

Не мѣшаетъ припомнить, что Полевой, какъ купецъ 3-й гильдіи, могъ даже подвергнуться, по приговору суда, тѣлесному наказанію. Что мудренаго, еслибъ это и сдѣлали для «вящаго вразумленія» непокорнаго либерала? Въ словахъ Полеваго заключается горькій, отчаянный, но совершенно правдивый смыслъ...

Въ 1839 г., печатая свои критическіе «Очерки», куда вошли многія статьи изъ «Библіотеки для Чтенія», Полевой жаловался на самоуправство Сенковского, позволявшаго себѣ измѣнять и даже совсѣмъ передѣлывать его статьи; но въ «Сынѣ Отечества» 1838 года Полевой не нарушалъ еще ничѣмъ своихъ добрыхъ отношеній въ этому вліятельному журналисту. «Библіотека для Чтенія»—писалъ Полевой въ I-мъ томѣ обновленнаго «Сына Отечества»—«была толста и разнообразна въ прошедшемъ 1837 году и не могла не быть такою, заключаая въ себѣ почти всю нашу журналистику. Какъ тяжелая колесница, катилась она по тѣсному полю русской литературы, безжалостно давила встрѣчныхъ и брызгала грязью съ широкихъ колесъ своихъ. Какъ тяжкій млатъ, каждый мѣсяцъ упала она толстою книгою на головы читателей и рассыпалась стихами, прозою, науками и пр. Съ самаго почти начала «Библіотеки» въ русской литературѣ, завелась мода—у читателей покупать ее, у журналистовъ бранить, у издателей не отвѣчать на брань. Такъ шло дѣло и въ прошломъ году. Мы покажемъ первый примѣръ—не станемъ бранить «Библіотеки». Въ самомъ дѣлѣ, за что бранить ее?»

Кротость духа, навѣянная Петербургомъ на Полеваго, отразилась и въ этомъ приговорѣ,

Внутренняя и внѣшняя жизнь Россіи продолжали, — и съ перемѣнной редакціи, — внушать къ себѣ благоговѣніе въ «Сынѣ Отечества». «Исторію новую съ 1812 г. — говорилось въ I-мъ томѣ «Сына Отечества» за 1838 г., въ отдѣлѣ «Современной Исторіи» — не должно ли назвать исторіею возвеличенія, возвышенія Россіи, спасительницы Европы, умирительницы чуждыхъ народовъ? — И въ минувшемъ (1837 г.) первую ступень важности исторической являла Россія, твердая постоянствомъ политической системы своей. Какъ съ незыблемой скалы, спокойно смотрѣли мы, русскіе, на порывы бури, колеблющей другіе народы, и увѣривались познаніями, трудами промышленности, богатствами торговли, устройствомъ различныхъ частей государственнаго управленія».

Въ заключеніе приведемъ, для характеристики тогдашнихъ литературныхъ отношеній, жалобу Булгарина, выраженную имъ въ формѣ письма къ извѣстному генералу Дубельту. Жалоба эта возникла по очень забавному поводу. Въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургской городской полиціи», находившихся тогда подъ редакціей г. Межевича, въ отдѣлѣ «Смѣси» появилось извѣстіе: «Говорятъ, что А. А. Орловъ издаетъ полное собраніе своихъ сочиненій въ 2-хъ компактныхъ томахъ, въ большую осьмую долю листа, въ два столбца. Въ первомъ томѣ будутъ помѣщены: «Погребеніе Ивана Выжигина», «Родословная Ивана Выжигина. сына Ваньки Каина» и прочія напечатанныя нѣсколькими изданіями сочиненія и давно уже раскупленные многочисленными читателями и почитателями А. А. Орлова. Во 2-мъ томѣ будутъ напечатаны нѣкоторыя новыя произведенія знаменитаго романиста и между прочими: «Безпристрастное сужденіе автора о самомъ себѣ». Къ этому присоединится портретъ автора, гравированный на стали въ Лондонѣ. Изданіе будетъ богатое и дешевое («Вѣдомости городской полиціи» 1839 г., № 22). Нечего прибавлять, что извѣстіе было ироническое и имѣло цѣлью поддѣлаться подъ общій тонъ булгаринскихъ рекламъ. Въ томъ же номерѣ газеты помѣщено было и частное объявленіе книгопродавца Лисенкова, гласившее такъ: «издатель сочиненій Булгарина считаетъ обязанностью объявить, что замедленіе выхода 5-й части произошло вовсе не отъ него, а отъ самого автора, который по сіе время медленно доставляетъ рукописи; нынѣ же начальство обязываетъ автора, даващаго контрактъ, окончить свое сочиненіе какъ можно скорѣе, и потому нѣтъ сомнѣнія, что остальная часть скоро выйдетъ въ свѣтъ».

Напечатаніе рядомъ этихъ двухъ извѣстій крайне раздражило Булгарина, — и онъ, нимало не медля, настрочилъ цѣлый доносъ:

«М. Г. Всѣ газеты и журналы русскіе, до напечатанія, разсматриваются цензорами, облеченными правительствомъ въ сіе званіе. «Сѣверная Пчела» имѣетъ пять цензоровъ; напротивъ того, «Полицейская газета» не имѣетъ ни одного, и прибавленія къ сей газетѣ, заключающія въ себѣ литературныя статьи, издаются на отвѣтственности издателя, какъ въ Англіи и Франціи, гдѣ существуетъ неограниченная свобода книгопечатанія. Сомнѣваюсь ли это формѣ нашего правительства и справедливо ли въ отношеніи къ другимъ журналамъ—судить не мое дѣло, но, будучи жертвою этой свободы книгопечатанія въ русскомъ царствѣ, прибѣгаю подъ покровительство в. н.—ва и прошу обратить вниманіе ваше на злоупотребленія, которымъ не предвидится конца. Редакторъ «Полицейской газеты» есть юноша безъ литературнаго имени и безъ всякаго поручительства въ свѣтѣ. Можно ли на его отвѣтственности поручать изданіе официальной газеты и позволять наполнять газету полицейскую литературными сплетнями и оскорбленіями литераторовъ? Въ какомъ государствѣ officialныя газеты занимаются литературою, рецензіями и полемикою? Нигдѣ въ цѣломъ мірѣ! Хуже всего то, что г. Краевскій, другъ и покровитель редактора «Полицейской газеты» Межевича, безстыдно осмѣливается ссылаться на покровительство вашего превосходительства... «Полицейская газета» не имѣла права печатать объявленіе книжника Лисенкова въ томъ видѣ, какъ оно напечатано. Лисенковъ объявилъ ко мнѣ претензію, а я имѣю еще большія претензіи къ нему, и тяжба наша должна производиться на основаніи цензурнаго устава. До окончательнаго рѣшенія тяжбы формою суда никто не можетъ принудить меня исполнить требованія истца, и въ цѣломъ мірѣ не печатаютъ рѣшеній, пока они не наступятъ. Здѣсь, со стороны полиціи, явное нарушеніе законовъ! Что же касается до пародіи объявленія объ изданіи моихъ сочиненій, то, во-первыхъ, благопристойность и уваженіе къ нравственности публичной должны были воспретить печатаніе о Ванькѣ Канинѣ въ «Полицейской газетѣ», а, во-вторыхъ, сочетаніе Ваньки Канина съ названіемъ моего сочиненія—есть явное оскорбленіе чести гражданина. Цензурнымъ уставомъ запрещено давать новымъ сочиненіямъ заглавія, уже вышедшія въ свѣтъ, безъ согласія автора, а всѣмъ извѣстно, что «Иванъ Выжигинъ» написанъ мною. Я сидѣлъ на гауптвахтѣ не за личности, а за то только, что напечаталъ самую умѣренную критику, сочиненія Очкина, на романъ

Загоскина. За шутки надъ сочиненіемъ, а не надъ лицомъ автора, меня угрожали совершеннымъ истребленіемъ! Неужели вся строгость для меня одного, а противъ меня все позволено? На меня печатають пасквили за границей, наполняютъ эти пасквили самими якобинскими идеями и оскорбленіями противу правительства — и этотъ пасквиль, то есть книга Кёнига о русской литературѣ, допущена въ продажу въ Россіи, а другихъ отставляли отъ службы за напечатаніе невинныхъ статей о Россіи, тогда какъ Мельгуновъ, суфлеръ Кёнига, невредимъ! На меня пишутъ гнуснѣйшія вещи въ «Отечественныхъ Запискахъ», «Литературныхъ прибавленіяхъ къ «Русскому Инвалиду» и въ «Полицейской газетѣ», а я не могу нигдѣ найти суда и расправы. Что это значить, я не понимаю, а знаю только, что акціонеры «Отечественныхъ Записокъ» составили противъ меня заговоръ, и что они сильны, находясь на службѣ въ цензурѣ иностранной и въ министерствахъ. Но зная вашу душу и вашъ благородный характеръ, я твердо убѣжденъ, что в. п—во, для полезнаго примѣра, приметъ мѣры, чтобы Межевичъ, редакторъ «Полицейской газеты», былъ наказанъ явно, и чтобы у него отняты были средства къ распространенію слетней и пасквилей посредствомъ официальной газеты. Les mœurs publiques outrageés—есть повсюду преступленіе, а публиковать въ «Полицейской газетѣ» о Ванькѣ Каинѣ и къ этому гнусному титулу, и впрочемъ запрещенной книги, пришить заглавіе книги живущаго автора не позволено было бы и въ Англіи, и такой поступокъ былъ бы наказанъ тюремнымъ заключеніемъ. — Police correctionnelle и King's-Bench у насъ нѣтъ. Куда прибѣгнуть съ жалобой? Богъ, во благости Своей, далъ васъ и жандармскій корпусъ! Къ вамъ прибѣгаю и умоляю о защитѣ! Съ истиннымъ высокопочитаніемъ и безпредѣльною преданностью честь имѣю быть в. п—ва, милостиваго государя, покорнѣйшій слуга, —

Θ. Булгаринъ.

Сколько намъ извѣстно, изъ этой жалобы не возникло никакихъ дурныхъ послѣдствій для Межевича: — но только потому, что враги Булгарина оказались сами сильны, на этотъ разъ, своими связями — «въ цензурѣ и въ министерствахъ»...

IV.

Мы переходимъ къ «Библіотекѣ для Чтенія» и къ замѣчательной личности ея редактора, вызвавшей много противоположныхъ мнѣній ¹⁾).

Журнальная дѣятельность Сенковского продолжалась (собственно въ Петербургѣ) съ 1834 по 1858 годъ. Но еще раньше того, а именно въ концѣ 1816 г., Сенковский (по увѣренію Савельева) принималъ участіе въ юмористическомъ журналѣ «Уличныя Вѣдомости», издававшемся въ Вильнѣ подъ редакціей профессора Снядецкаго. Неизвѣстно, къ какому году относится разсужденіе Сенковского: «О происхожденіи польской шляхты», гдѣ авторъ доказывалъ, что польское дворянство—лехи—суть потомки варварскихъ ордъ, владычествовавшихъ надъ славянами, можетъ быть, аваровъ, имя которыхъ сохранилось на Кавказѣ въ формѣ: лехъ, лезги, лезгинны. Что побудило автора издать подобную брошюру—обычная ли парадоксальность его ума, или иная неблагоприятная цѣль—рѣшить довольно трудно; тѣмъ не менѣе, брошюра эта была рѣзко осуждена Лелевелемъ, и она же произвела окончательный разрывъ между Сенковскимъ и польскою патріотической партіей. Мы обращаемъ особенное вниманіе на это обстоятельство, потому что въ послѣднее время возникло новое обвиненіе противъ Сенковского—въ іезуитски-скрытномъ служеніи польскому національному дѣлу. Обвиненіе это, на нашъ взглядъ, не имѣетъ достаточной основательности, что подтверждается ниже злою шуткою Сенковского надъ краковскими волненіями 30-хъ годовъ.—Черезъ Булгарина (котораго зналъ еще въ Вильнѣ) Сенковский познакомился съ кружкомъ петербургскихъ литераторовъ и сошелся въ особенности съ Марлинскимъ. Въ 1832 г., въ бытность свою цензоромъ и профессоромъ восточнаго факультета въ здѣшнемъ университетѣ, задумалъ Сенковский планъ журнала «Библіотека для Чтенія», который былъ скопированъ имъ съ «Новоселья», сборника, изданнаго Смирдинымъ. (Въ этомъ сборникѣ напечатана извѣстная повѣсть Сенковского: «Большой выходъ у Сатаны»). Планъ журнала осуществился въ 1834 г.; издателемъ «Библіотеки для Чтенія» сдѣлался А. Ф. Смирдинъ;

¹⁾ При составленіи этой главы, мы имѣли въ виду брошюру П. Савельева: «О жизни и трудахъ О. И. Сенковского» (1858 г.) и статью гг. Дудышкина («Отеч. Зап.» 1859 г., № 2) и Дружинина («Библи. для Чт.» 1859 г., № 1).

редакторство же Сенковского было покуда негласное, но съ начала 1836 г. онъ явился уже официальнымъ редакторомъ, а о прежнихъ, подставныхъ редакторахъ (гг. Гречъ и Е. Коршъ) отозвался, что «они слишкомъ невинны въ недостаткахъ «Библиотеки», чтобъ отвѣчать за нихъ передъ публикой, и слишкомъ благородны, чтобъ требовать для себя похвалы за достоинства, въ которыхъ они не имѣли никакого участія, ибо весь кругъ ихъ редакторской дѣятельности ограничивался чтеніемъ третьей, послѣдней корректуры уже оттиснутыхъ листовъ, набранныхъ по рукописямъ, которыя никогда не сообщались имъ предварительно» («Библи. для Чт.» 1836 г., т. XVII, литер. лѣтос.). Г. Гречъ говорилъ, правда, что онъ «наблюдалъ въ «Библиотекѣ» за исправностію слога и чистотой языка статей, присылаемыхъ сотрудниками часто въ видѣ самомъ неблагообразномъ» («Сѣв. Пч.,» 1836 г. № 44); но такъ какъ, по удостовѣренію самого Сенковского, «рукописи никогда не сообщались прежнимъ редакторамъ», то дѣятельность г. Греча касалась, вѣроятно, только до разстановки знаковъ и соблюденія прочихъ правилъ его грамматики въ корректурныхъ листахъ. Однимъ словомъ, духъ и содержаніе «Библиотеки для Чтенія» того времени зависѣли вполнѣ отъ Сенковского и ни отъ кого другаго. Какую же является намъ «Библиотека» въ этотъ блистательный, золотой вѣкъ своего существованія? Справедливость требуетъ сказать, что, не смотря на свой неоспоримый публицистическій талантъ, на свой оригинальный умъ и разностороннія свѣдѣнія, между прочимъ, по естественнымъ наукамъ, Сенковский не поднялся выше уровня болгаринской клики, и въ своихъ политическихъ и общественныхъ тенденціяхъ тянулъ въ одну сторону съ «Сѣверной Пчелою» и «Сыномъ Отечества». Было тутъ, конечно, различіе, зависѣвшее именно отъ болѣе даровитости Сенковского: въ дѣятельности этого журналиста была и полезная сторона, на которую мы укажемъ въ своемъ мѣстѣ; но солидарность въ направленіи съ двумя названными изданіями слишкомъ явно бросается въ глаза. «Что «Сѣверная Пчела» между газетами, то «Библиотека» между журналами», говорилось въ «Сынѣ Отечества»; «Библиотека для Чтенія», богатая подписчиками, никогда не бранила Булгарина», утверждала сама «Сѣверная Пчела»; кромѣ того, и «Сынъ Отечества» осмыслился, при случаѣ, похвалами отъ Сенковского («Библи. для Чт.» 1836 г., т. XIX, см. отзывъ о первыхъ трехъ книжкахъ «Сына Отечества» за тотъ же годъ). «Записки Чухина» (романъ Ѳ. Булгарина) удостоились отъ «Библиотеки для Чтенія» чуть ли не болѣешихъ похвалъ, чѣмъ отъ самой «Сѣверной Пчелы».

«Романы Булгарина—сказано въ рецензіи—всегда чрезвычайно пріятная находка въ нашей словесности». Клеветать на нихъ можно, потому что клевета есть самое легкое и вѣрное средство отмщенія таланту за свою посредственность» («Библи. для Чт.» 1836 г., т. XIV).

Сходство воззрѣній всѣхъ трехъ журналовъ немудрено прослѣдить въ частности. Къ русской беллетристикѣ Сенковский относился съ такимъ же забавнымъ непониманіемъ, какъ и критикъ «Сѣверной Пчелы»: онъ хвалилъ Бенедиктова, Подолинскаго, Кукольника, Тимофеева, а съ другой стороны порицалъ Гоголя за цинизмъ и осуждалъ Грибоѣдова, котораго паче даже и «Сѣверная Пчела» ¹⁾. Проповѣдуя реализмъ и утилитаризмъ въ жизни, онъ бранилъ его наповалъ при первой встрѣчѣ съ нимъ въ литературѣ. Реализмъ Сенковского приводилъ его только къ грубому филистерству и сытому довольству самимъ собою; этотъ реализмъ вовсе не былъ прогрессивнымъ началомъ въ жизни и нимало не способствовалъ демократизаціи мысли. Напротивъ, неумный и грязный народъ, такъ реально выводимый у Гоголя, — «народъ, утирающій носъ полою своего балахона и жестоко пахнувшій дегтемъ», — возмущалъ благопристойный эникуренизмъ нашего критика, и онъ не могъ выносить его присутствія даже въ романѣ... Съ такой же злобой, какъ къ Гоголю, относился Сенковский къ В. Гюго, Ж. Зандъ, — вообще ко всему, что носило на себѣ слѣды «безнравственной французской философіи», — и сильно похвалялъ (подобно Гречу) англійскую, умѣренную и воздержную, литературу. Въ произведеніяхъ французскихъ писателей Сенковский нападалъ не на ихъ промахи и эксцентричность, но прямо на то, что составляетъ донинѣ ихъ неоспоримую заслугу. «Гюго—говорилось въ «Библіотекѣ» —поучаетъ богатаго дѣлиться своимъ избыткомъ съ бѣднымъ, стращаетъ его, въ случаѣ неоправданія, гнѣвомъ нищихъ. Лучше бы г. Гюго поучалъ бѣдняка трудиться, быть дѣятельнымъ и проч. Но это глупое благоговѣніе передъ бѣднымъ, передъ его неспособностью и лѣнью — въ большой модѣ у извѣстнаго класса французскихъ писателей: они всѣ добродѣтели зашиваютъ въ лохмотья» («Библіотека для Чтенія» 37 г., т. XXIII). Въ другомъ мѣстѣ говорится: «Во всемъ, что написалъ В. Гюго, не найдется ни одной честной, невинной и святой мысли. Грѣхъ—его муза, ужасъ—его

¹⁾ Полевой, въ своихъ критическихъ «Очеркахъ», жаловался на то, что Сенковский, перебивая его статьи, вставлялъ въ нихъ брань на Гоголя и Грибоѣдова.

спутникъ, стаи чудовищъ служатъ его оригиналами». («Библиотека для Чтенія» 1836 г., т. XIV, смѣсь). Высказывается даже мнѣніе, что противъ знатныхъ и богатыхъ людей пишутъ только тѣ писатели, которыхъ «знать не принимаетъ въ свой кругъ» («Библиотека для Чтенія» 1837 г., т. XXII, смѣсь).

Въ своемъ утилитарно-буржуазномъ направленіи (отчасти обвѣянномъ запахомъ естественныхъ наукъ) Сенковскій, повидимому, расходился съ Булгаринимъ, нападавшимъ на «раціонализмъ и грубую полезность»;—но въ сущности не все ли равно богатому классу: наслаждаться своимъ положеніемъ, преднамѣренно унижая его выгоды въ глазахъ нищей братіи (какъ это дѣлалъ Булгаринъ), или поражать, наоборотъ, эту нищую братію упреками въ бездѣльничествѣ, плутовствѣ и прочихъ качествахъ, которыя дѣлаютъ бѣдняковъ недостойными общества зажиточныхъ людей? Тутъ разница только въ пріемахъ, въ развитіи мысли.

Жоржъ-Зандъ была предметомъ постоянныхъ и ожесточенныхъ нападокъ «Библиотеки», и нападки эти, не въ мѣру утрированныя, вызвали даже разъ заступничество «Сѣверной Пчелы» (1836 г.). «Библиотека для Чтенія» просто на просто искажала слова Ж. Зандъ и приписывала ей, напримѣръ, такую мысль: *«une fille de joie est un être adorable»*. Противъ той же писательницы направлена слѣдующая, мало-опрятная насмѣшка: «У нея есть дѣти, обреченныя тащиться въ грязи убитыхъ дорогъ, окруженныя образами мыслей, противными ея понятіямъ, наущаемыя на каждомъ шагѣ тѣми, которые на нее нападаютъ, не вѣрять ея грезамъ,—свидѣтели ея страданій, средь этой вѣчной борьбы, ея растерзаннаго сердца, ея колѣни, разбитыхъ о преграды дѣйствительной жизни,—однимъ словомъ, пара несчастныхъ дѣтокъ, которымъ она не знаетъ, какое дать воспитаніе. Воспитывать ихъ такъ, какъ воспитываютъ всѣхъ дѣтей? Тогда они будутъ ходить, какъ скоты, въ ярмѣ предразсудковъ и приличій, и дочь ея, какъ дура, возьметъ себѣ мужа, обвиняется съ какимъ нибудь толстымъ предразсудкомъ, наплодитъ кучу маленькихъ предразсудковъ и, чего добраго, будетъ даже вѣрна своему деспоту» и т. д. и т. д. Одинъ изъ романовъ Жоржъ-Зандъ (Лелія) названъ просто *гниусомъ*, и тутъ же сказано съ претензіей на остроуміе: «Одинъ индѣйскій мудрецъ говоритъ: женщина никогда не можетъ быть независима; въ дѣтствѣ она должна зависѣть отъ отца, въ молодости отъ мужа, а въ старости отъ сыновей. Этотъ индѣйскій мудрецъ не читалъ ни г-жи Дюдеванъ, ни г. Бальзака». Было бы скучно и бесполезно приводить разныя выходки Сенковского противъ нелюбимыхъ имъ писателей французской «безнравственной

школы»: тут найдутся всевозможныя праяности, во вкусѣ приведенныхъ нами.

Что составляло главную журнальную силу «Библіотеки для Чтенія» и ея привлекательность для многихъ читателей—такъ это рецензіи о вновь выходящихъ книгахъ и разныя псевдо-ученыя статьи, въ которыхъ безразлично и безплодно осмѣивались всѣ научныя изысканія и открытія. Въ главѣ III-й мы показали уже образчикъ такихъ рецензій; на нихъ истощалъ баронъ Брамбеусъ свое дѣйствительно-замѣчательное остроуміе, и бездарные авторы, писавшіе для денегъ или изъ тщеславія, часто предавались тутъ заслуженному позору. Разбирая съ экономической стороны выгоды писательства, Сенковский говорилъ: «Съ 2,400 р. (которые, по его расчету, могъ получить въ годъ плодовитый писатель) можно нанимать премиленькую квартиру на Петербургской сторонѣ, водить жену въ чепчикѣ, имѣть на столѣ безпереводно бутылку пива и картузъ вакштафу Лапотникова, пить себѣ каждый годъ фракъ изъ русскаго сукна и т. д. Какъ не печатать того, что пишешь!» («Библіотека для Чтенія» 1836 г. т. XIX, литературная лѣтопись). Объ одной дѣтской книжонкѣ критикъ отзывался такъ: «Книга г. Грена написана въ пользу воспитанія дѣтей; авторъ весьма основательно предпочитаетъ нравственность юношества правописанію и грамматикѣ русскаго языка, въ пользу которыхъ онъ, кажется, ничего не намѣренъ дѣлать. «Въ прекрасный майскій день маленькій Николенька прогуливался въ прекрасномъ зеленѣющемъ лугу, принадлежащемъ къ дачѣ отца его.» Такъ начинается статья, которую авторъ называлъ «Эхо», и она была бы недурна, еслибъ можно было знать: кому собственно принадлежала дача—отцу ли прекраснаго зеленѣющаго луга, или отцу прекраснаго майскаго дня? Въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что она не принадлежала отцу Николенькину» и т. д. («Библіотека для Чтенія» 1836 г., т. XIV). Подобныя ироническіе разборы, вмѣстѣ съ повѣстями Брамбеуса, очень нравились въ свое время публикѣ. «Начальники отдѣленій и директоры департаментовъ—писалъ Гоголь по поводу выхода въ свѣтъ I-й книжки «Библіотеки» за 1834 г.—читаютъ (Сенковского) и надрываютъ бока отъ смѣха. Офицеры читаютъ и говорятъ: какъ хорошо пишетъ! Помѣщики покупаютъ, подписываютъ и вѣрно читать будутъ». Эти разборы приносили, пожалуй, и свою долю пользы, выметая за порогъ разный соръ русскаго словесности; но, къ сожалѣнію, Сенковский билъ только лежащихъ, которые никого не ввели бы въ заблужденіе; литературный же бурьянъ, въ родѣ произведеній Кукольника и др., не только не

вырывался имъ съ корнемъ, но пользовался вниманіемъ и заботливымъ уходомъ. Въ одной статьѣ Сенковскій называлъ даже Кукольника великимъ писателемъ и увѣрялъ, что «самъ Пушкинъ завидовалъ его славі». Серьезныхъ мыслей не западало въ голову отъ чтенія шутивыхъ и бойкихъ рецензій Сенковского; серьезныхъ мыслей и не могъ дать этотъ писатель—по той простой причинѣ, что онъ самъ не имѣлъ ихъ. Его скептицизмъ, поверхностный и малоосновательный, распространялся одинаково на всѣ предметы, на всѣ теоріи и убѣжденія; все сливалось передъ нимъ въ одинъ пестрый хаосъ, гдѣ тонули, рядомъ съ туманной нѣмецкой философіей ¹⁾, всѣ практическія попытки общественныхъ преобразованій, рядомъ съ Гоголемъ—Кузьмичовы и Орловы. Попадался подъ перо Кювье—доставалось и Кювье, заходила рѣчь о первыхъ попыткахъ сравнительной анатоміи — осмѣяны и онѣ. На расчищенной такимъ образомъ почвѣ могли устоять только тѣ кумиры, которые защищались Сенковскимъ купно съ Булгаринымъ. Критическій отдѣлъ «Библіотеки», всегда бранчивый, расхваливалъ «Дѣтскаго Карамзина»,—эту уродливѣйшую передѣлку пресловутой исторіи.—«Лѣтописи Россійской славы», романы въ родѣ «Скопина-Шуйскаго» и т. п. произведенія.

Собственно о политикѣ Сенковскій не говорилъ, потому что этого отдѣла не существовало тогда въ «Библіотекѣ для Чтенія», но онъ касался иногда и разныхъ политическихъ явленій подъ рубрикою «Смѣси», въ обзорѣ англійской или французской литературы. Политическіе взгляды Сенковского опредѣлились ясно, еще до начала изданія «Библіотеки», въ знаменитой повѣсти: «Большой выходъ у Сатаны». Тутъ является чортъ «грязный, отвратительный, съ всклокоченными волосами, съ однимъ выдолбленнымъ глазомъ, съ однимъ сломаннымъ рогомъ, съ когтями, какъ у гіены, съ зубами безъ губъ, какъ у трупа, и съ большимъ пластыремъ, прилѣпленнымъ сзади, пониже хвоста». (Эту послѣднюю рану нанесъ чорту одинъ казакъ близъ Кракова, во время польскихъ движеній). Безобразный чортъ служилъ символомъ всѣхъ политическихъ реформъ; даже парламентскій билль

¹⁾ Нѣмецкой философіи сильно доставалось отъ Сенковского. «Настоящее назначеніе г. Зеленецкаго—говорить онъ въ одной рецензіи—есть философія, самая мутная, самая глубокая философія, почерпнутая съ самаго дна умственного колодца, которая говоритъ о конечномъ въ безконечномъ, о безконечномъ въ конечномъ, о безконечномъ въ безконечномъ, элементахъ человѣческаго слова, абсолютномъ бытіи, объ я въ нея, о циркуференціи круга, котораго центръ вездѣ, а окружность н и г д ѣ, о великомъ Nichts» («Библ. для Чт.» 1837, т. XXII).

о реформѣ въ Англіи онъ считаетъ «своей выдумкой и предвѣстіемъ чудесной бури». Этотъ чортъ жалуется, что люди перестали ему вѣрить: «я слишкомъ долго, говоритъ онъ, обманывалъ людей обѣщаніями блистательной будущности, богатства, благоденствія, свободы, а изъ моихъ революцій, конституцій, камеръ и бюджетовъ вышли только гоненія, тюрьмы, нищета и разрушеніе».

Тѣ же самыя политическія воззрѣнія высказываются и въ «Библіотекѣ для Чтенія». Насчетъ восхваленія Австріи, наиболѣе враждовавшей въ то время со всякимъ либерализмомъ, «Библіотека» отнюдь не уступала «Сѣверной Пчелѣ». Разбирая книгу Валери «*Voyages historique et littéraires en Italie*», рецензентъ говоритъ: «наслушавшись французскихъ либераловъ и ихъ послѣдователей, которые приняли себѣ за правило представлять Австрію въ самомъ черномъ и ненавистномъ видѣ, многіе невольно могли увѣриться, что «прекрасная Італія» дѣйствительно стонетъ подъ игомъ самаго тяжкаго и завистливаго деспотизма». Затѣмъ почерпаются опроверженія изъ книги въ слѣдующемъ родѣ: «Австрія есть одно изъ немногихъ государствъ, гдѣ народное образованіе наиболѣе распространено. Общія наставленія въ школахъ ясны и благотворны. — Нѣкоторые профессора говорили мнѣ (т. е. Валери), что имъ предоставлена совершенная свобода въ чтеніи науки. Что касается вѣротерпимости, то я не знаю ни одной страны, гдѣ бы она была такъ велика. Нищенство прекращено, устроены дома для занятія бѣдныхъ работою, прививанье коровьей оспы распространено между всѣми классами» («Библ. для Чт.» 1836 г., т. XV, смѣсь) и пр. и пр. Коснувшись дѣятельности испанскаго министра Мендисавала, подъ рубрикою «Знаменитый жидъ-якобинецъ», «Библіотека для Чтенія» восклицаетъ: «Вотъ до чего дошла бѣдная Европа! сынъ Израиля производитъ въ ней, по своему произволѣнью, мятежи и революціи, свергаетъ королей съ престоловъ, перемѣняетъ династіи. Жидъ возвелъ молодую дочь дона Педра на португальскій престолъ, жидъ заварилъ кашу въ Испаніи и самъ же теперь управляетъ отечествомъ Альфонса и Изабеллы». (Ниже онъ названъ «безпокойнымъ жидкомъ»). Послѣ разсказа о томъ, какъ, «сидя въ Лондонѣ, этотъ израильтянинъ учреждалъ на цѣломъ полуостровѣ революціонныя юнты» и какъ затѣмъ попалъ въ первые министры, авторъ заключаетъ свою статью общей формулою: «впрочемъ, это исторія всѣхъ либеральныхъ революцій» («Библ. для Чт.» 1836 г., т. XIV, смѣсь). Однимъ словомъ, бѣдная Европа, волнуемая разными политическими идеями, предавалась огульному позору, не смотря даже и

то: сверху или снизу шла неправившаяся реформа. Осуждались вообще всѣ политическія преобразованія, хотя бы они были вынуждены существенной или уже вполне созрѣвшей народной потребностью, какъ, напр., парламентскій билль о реформѣ въ Англіи.

Итакъ проповѣдники застоя *quand même*, во всѣхъ отрасляхъ общественной жизни, шли дружно по одной и той же дорогѣ, сражаясь на пути и съ цѣлою Европою, и съ домашними зачатками противоположныхъ мыслей. Безспорный талантъ Сенковского не нашелъ себѣ болѣе полезной и благородной роли, и мы вполне понимаемъ ту сосредоточенную злобу, которую питалъ къ нему Бѣлинскій во все время своего журнальнаго подвижничества. Отъ сильнаго ума, конечно, можно было требовать большаго, чѣмъ отъ Фаддея Булгарина, и недюжинный умъ, ложно направленный, былъ вреднѣе самой вредной бездарности.

Тѣмъ не менѣе, отъ дѣятельности Сенковского нельзя отнять одной важной заслуги, которая можетъ быть безпристрастно оценена въ настоящее время. Эта заслуга есть форма изложенія, доставлявшая читателямъ даже самой спеціальной статьѣ Сенковского; благодаря бойкой манерѣ редактора «Библіотеки», всѣ отдѣлы его журнала стали доступны для публики, а это условіе, конечно, должно было содѣйствовать сближенію журналистики съ обществомъ. Читатели перестали, мало по малу, считать «ученость» какимъ-то пугаломъ и невольно втягивались въ такіе вопросы, которые прежде считались очень мудрыми и недоступными.

КНЯЗЬ В. О. ОДОЕВСКИЙ.

ЛИТЕРАТУРНО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ ВЪ СВЯЗИ СЪ ЛИЧНЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ.

I.

Нѣсколько словъ отъ автора. — Наше обидное равнодушіе къ жизни и дѣятельности замѣчательныхъ русскихъ людей. — Причины, замедлившія появленіе этой статьи.

Я въ долгу передъ памятью князя Одоевскаго... Его искреннее, сердечное расположеніе ко мнѣ, обнаруженное имъ съ первыхъ шаговъ моей литературной дѣятельности и затѣмъ не прерывавшееся въ теченіе многихъ лѣтъ, его откровенность въ бесѣдахъ со мною о разныхъ литературныхъ и общественныхъ вопросахъ, — откровенность, дополнявшая, такъ сказать, для меня нѣкоторые пробѣлы и умолчанія его публичной дѣятельности; наконецъ, имѣющіеся въ моихъ рукахъ ненапечатанные матеріалы для его біографіи, — все это давно уже обязывало меня присоединить и мой слабый голосъ къ хору добрыхъ воспоминаній, которыя съ различныхъ сторонъ стеклись на его дорогой могилѣ. Русский пантеонъ богатъ ложными святынями; громадное большинство нашего общества до сихъ поръ, сознательно или безсознательно, по преданію или въ силу ложнаго направленія своей собственной мысли, преклоняется предъ такими личностями, подвиги которыхъ не имѣютъ почти ничего, или очень мало общаго съ дѣйствительными интересами народной жизни, съ несомнѣнными пріобрѣтеніями умственного развитія; мы даже большіе охотники украшать этотъ отечественный пантеонъ все новыми и новыми прибавленіями, «числомъ побольше, цѣною подешевле», и наша щедрая неразборчивость въ этомъ отношеніи можетъ сравняться только съ нашей убійственной апатіей къ истиннымъ, кровавымъ жертвамъ на помрищѣ общественной жизни и научнаго труда. Не странно ли въ самомъ дѣлѣ, что въ то время, какъ каждая полковая исторія, каждая юбилейная хроника казеннаго учрежденія пытаются внести въ «передній уголокъ» нашихъ воспомина-

ній все новые и новые лики, предъ которыми должны пылать «неугасимыя лампы» общественнаго сочувствія,—въ то же самое время наиболѣе крупныя свѣтила нашей литературной и политической исторіи, безъ различія ихъ направленій, все еще ожидаютъ своихъ подробныхъ біографій, да едва ли когда нибудь и дождутся ихъ? Можно ли сказать, что мы имѣемъ біографіи Ломоносова, Посошкова, Бецкаго, Радищева, Мордвинова, Карамзина, Уварова, Гоголя, Полеваго и Бѣлинскаго? Многіе ли знаютъ даже имена Пнина и Куницына? Біографія Сперанскаго, написанная графомъ М. А. Корфомъ и имѣющая большія литературныя достоинства, не полна безъ разсмотрѣнія всѣхъ преобразовательныхъ плановъ знаменитаго реформатора, а этихъ-то плановъ, по крайней мѣрѣ, существенной ихъ части, и нѣтъ въ книгѣ графа Корфа, такъ что любознательному читателю придется отыскивать ихъ въ извѣстномъ сочиненіи Н. И. Тургенева, напечатанномъ за границею, и притомъ не на русскомъ языкѣ. Мышнія (или «голоса») Мордвинова, поданныя имъ въ государственномъ совѣтѣ, далеко не всѣ извѣстны были его біографу, г. Иконникову. Переписка Бецкаго, безъ знакомства съ которой нельзя и приступить къ оцѣнѣ дѣятельности этого замѣчательнаго человѣка, чуть не сто лѣтъ мирно покоилась въ архивныхъ подвалахъ, и счастье наше, что ея не коснулись за это время ни крысинныя набѣги, ни московскій пожаръ 12 года, ни истребительныя распоряженія безучастныхъ «псевдо-хранителей». Знаемъ ли мы вполнѣ настоящія, подлинныя отношенія Пушкина къ русскому двору и не слишкомъ ли мы преувеличиваемъ тѣ выгоды придворнаго званія, ради которыхъ, по ходячему мышнію, великій поэтъ пожертвовалъ будто бы всѣми убѣжденіями и симпатіями своей первой молодости? Между тѣмъ, благодаря нашей невнимательности къ судьбѣ дѣйствительныхъ подвижниковъ русской жизни,—невнимательности, соединенной еще съ какою то странной боязнью предъ разработкою данныхъ, получившихъ почти архаическое значеніе,—тускнѣютъ, мало по малу, свѣтлыя имена нашего прошлаго, исчезаютъ окончательно изъ памяти всѣ живые слѣды когда-то блестящей и плодотворной дѣятельности, и тѣмъ недоразумѣній, сомнѣній, наконецъ, просто равнодушія,—котораго намъ не занимать стать, — закутывается непроницаемой пеленою всѣ выдающіяся явленія нашей и безъ того небогатой исторіи. Но, принявъ на себя долю вины въ нашей общей невнимательности къ судьбѣ выдающихся русскихъ дѣятелей, я долженъ по справедливости указать и на то «смятчающее обстоятельство», которое сильно говоритъ въ мою пользу и сокращаетъ

до мінімуму мою нравственную отвѣтственность. Дѣло въ томъ, что въ послѣдніе годы своей жизни князь Одоевскій задумалъ было издать вновь свои прежнія сочиненія, и съ этою цѣлью вступалъ въ переговоры съ однимъ петербургскимъ книгопродавцемъ; г. Бартеневъ видѣлъ даже у покойнаго князя (см. «Русскій Архивъ» 1874 г., № 2, стр. 311) печатный экземпляръ стараго изданія его сочиненій съ проложенными въ немъ бѣлыми листами, на которыхъ авторъ началъ было писать дополненія и поправки. Въ бумагахъ князя Одоевскаго (см. тамъ же) сохранилось вполнѣ обработанное предисловіе, которое намѣревался онъ приложить къ новому изданію своихъ сочиненій и въ которомъ, съ обычнымъ умомъ и тактомъ, разъяснялъ многіе фазисы своей умственной жизни. Вотъ этого-то изданія и дожидался я съ большимъ нетерпѣніемъ, рассчитывая по поводу его поговорить о всей литературной и общественной дѣятельности человѣка, котораго счастливый случай помогъ мнѣ узнать ближе и лучше, чѣмъ могли знать его другіе цѣнители. Но ожиданіямъ моимъ едва ли суждено осуществиться въ скоромъ времени: со смертью князя Одоевскаго замолкли слухи и о новомъ изданіи его сочиненій; отпразднованная съ почетомъ его тризна въ засѣданіи «Общества любителей россійской словесности» принесла съ собою не это ожидаемое изданіе трудовъ покойнаго, а довольно тощую брошюрку подъ названіемъ: «Въ память о князѣ Владимірѣ Федоровичѣ Одоевскомъ»; нѣкоторые статьи и наброски, оставшіеся въ кабинетѣ умершаго писателя, переданы его вдовою (тоже скончавшеюся вскорѣ по смерти мужа) въ распоряженіе редакціи «Русскаго Архива», которая и начала уже знакомить съ ними публику. Значить, судя по всему, трудно и надѣяться на выходъ новаго изданія сочиненій князя Одоевскаго, тѣмъ болѣе, что вкусы современной читающей массы и стремленія угождающей имъ книжной торговли тянутъ вовсе не въ сторону серьезнаго размышленія надъ философскими вопросами, составляющими основную канву произведеній Одоевскаго. При господствующемъ теперь настроеніи, — камертонъ котораго звучитъ слишкомъ явственно, — намъ понадобится, можетъ быть, изъ прежней литературы вытащить на свѣтъ божій казенный патріотизмъ Кукольника, газрство барона Брамбеуса, пожалуй, даже «нравственную сатиру» Булгарина; но мы едва ли найдемъ много интереснаго въ томъ неустанномъ, глубоко анализѣ существующаго, въ тѣхъ широкихъ захватахъ всеиспытующей мысли и философскаго обобщенія, въ которыхъ обыкновенно выражалась авторская индивидуальность князя Одоевскаго. Такимъ образомъ, давнишнее желаніе мое — сказать свое

слово о высоко-цѣнномъ писателѣ и человѣкѣ—не можетъ уже болѣе разсчитывать на лучшія условія для своего выраженія и должно довольствоваться условіями наличными: то есть старымъ (далеко неполнымъ) изданіемъ сочиненій князя Одоевскаго, 1844 г., и разбросанными по разнымъ источникамъ біографическими матеріалами, съ которыми я постараюсь связать въ одно цѣлое мои личныя воспоминанія о покойномъ дѣятелѣ.

II.

Обученіе князя Одоевскаго въ московскомъ университетскомъ пансіонѣ.—Вліяніе профессоровъ М. Г. Павлова и А. Θ. Мерзлякова.—Какими вопросами увлекалась тогда университетская молодежь?—Кружокъ Веневитинова и его мнѣнія по вопросамъ искусства.

Князь Владиміръ Ѳеодоровичъ Одоевскій,—последній потомокъ древнѣйшаго на Руси княжескаго рода Рюриковичей, угасшаго съ его смертію,—родился 30 іюля 1803 г. и получилъ образованіе въ московскомъ университетскомъ пансіонѣ, гдѣ окончилъ курсъ съ золотою медалью въ 1821 г., оставивъ свое имя на почетной доскѣ этого заведенія, вмѣстѣ съ именами Жуковскаго, А. И. Тургенева, Дашкова и др. Направленіе учебнаго курса въ университетскомъ пансіонѣ было по преимуществу литературное, и развитіе изящнаго вкуса и хорошаго слога между учениками являлось главною задачею воспитателей. Съ точки зрѣнія современной педагогики, такое направленіе, конечно, должно быть признано одностороннимъ, ибо оно придавало слишкомъ мало цѣны положительнымъ знаніямъ, безъ которыхъ однако невозможна систематически-правильная культура умственныхъ способностей; но въ свое время это господство литературнаго элемента въ школѣ имѣло большое значеніе и сослужило свою долю службы русскому обществу, расширяя постепенно кругъ литературнаго вліянія и вырабатывая нашъ языкъ, какъ орудіе духовной жизни, нынѣ послушно передающее всѣ неисчислимые обороты мысли и оттѣнки чувства. На этой почвѣ, за отсутствіемъ всякой другой, выросло у насъ развитіе Фонъ-Визина, Карамзина, Пушкина, даже Бѣлинскаго, и всѣхъ вообще создателей русскаго слова, возведшихъ его на степенъ европейскаго діалекта, пригоднаго къ выраженію всѣхъ сложныхъ вопросовъ умственнаго развитія. Въ этой же школѣ получилъ свои первоначальныя возбужденія и замѣчательный талантъ князя Одоевскаго, Директоръ университетскаго пансіона, А. А. Прокоповичъ, былъ въ то же время пред-

сѣдателемъ «Общества любителей россійской словесности» засѣданія котораго происходили обыкновенно въ пансіонской залѣ и привлекали въ равной мѣрѣ какъ студентовъ университета, такъ и старыхъ воспитанниковъ пансіона. Эти послѣдніе часто исполняли, по назначенію директора, обязанности распорядителей въ засѣданіяхъ. «Какъ теперь—говорить по этому случаю г. Погодинъ—помню я Одоевскаго: стройненькій, тоненькій юноша, красивый собою, въ узенькомъ фракѣ темно-вишневаго цвѣта, съ сенаторскою важностью, которою и тогда уже отличалась привлекательная его наружность, разводилъ онъ дамъ, почтительно указывая имъ назначенныя мѣста, и потомъ оставался съ краю фланговымъ наблюдателемъ порядка во время чтенія». Благоговѣнно выслушивали юноши и эстетическія разсужденія профессора Мерзлякова (особенно цѣнимаго своими слушателями), и священные псалмы «въ преложеніи» Шатрова, трагически произносимые Кокосинымъ, и басни В. А. Пушкина, и сказки Жуковского, а по окончаніи чтенія много спорили и разсуждали о всемъ прослушанномъ. Нѣтъ сомнѣнія, что горячія бесѣды и діалектическія схватки по поводу различныхъ литературныхъ явленій,—которыя долгое время были у насъ единственнымъ полемъ, открытымъ для свободной критики,—приносили уже пользу молодымъ собесѣдникамъ и диспутантамъ; но съ одними этими спорами и толками, не систематизированными никакою опредѣленною точкою зрѣнія на задачи искусства, поэзіи и другіе вопросы отвлеченнаго мышленія, пансіонскіе юноши все таки не ушли бы далеко впередъ, еслибы не подхватило ихъ своею волною философское движеніе, зашедшее къ намъ на ту пору изъ Западной Европы. Профессоры московскаго университета М. Г. Павловъ и Ив. Ив. Давыдовъ (исправлявшій должность инспектора въ университетскомъ пансіонѣ) явились горячими приверженцами и проповѣдниками философской системы Шеллинга, и новое ученіе успѣло, благодаря имъ, взволновать умы всей университетской молодежи. Павловъ считался, собственно говоря, профессоромъ физики и сельскаго хозяйства, но и специальность его предмета не могла представить преграду силъ его философскихъ увлеченій. Хотя, по словамъ одного современника, еще заставшаго въ университетѣ слѣды вліянія Павлова, «физикѣ трудно было научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству — невозможно»; но Павловъ необыкновенно возбуждалъ теоретическую мысль своихъ слушателей и въ дверяхъ физико-математическаго факультета ставилъ передъ каждымъ входящимъ коренной вопросъ всякаго научнаго изученія:

«что значитъ познать природу? что значитъ познать самого себя?» Этотъ вопросъ, настойчиво поднимаемый на каждой лекціи даровитаго профессора и разрѣшаемый сообразно съ духомъ и діалектическими приѣмами новой философіи, заставлялъ волею-неволею задумываться молодыхъ искателей науки и ложился въ основу всего ихъ послѣдующаго философскаго развитія.

Въ то время какъ Павловъ двигалъ умы, увлекая ихъ возможностью такой широкой философской формулы, которая обнимала бы собой и жизнь духа, и явленія природы, совмѣщая ихъ въ одномъ цѣльномъ неразрывномъ представленіи,—Давыдовъ, ограничивая свою задачу болѣе тѣсными предѣлами, старался внести въ сферу изящнаго искусства новую систему взглядовъ и понятій, противоположную старой псевдо-классической теоріи, представителемъ и защитникомъ которой являлся тогда въ университетѣ извѣстный профессоръ Мерзляковъ. Псевдо-классическая теорія, опираясь на авторитеты Буало и Лагарпа, рассматривала искусство, какъ подражаніе природѣ, и слѣдовательно лишала его внутренней самостоятельности, сводя на степень простой копировки дѣйствительности, и притомъ копировки, не имѣющей даже достоинства точности, такъ какъ за копировщикомъ, или поэтомъ, оставалось право украшать (*embellir*) природу, т. е. копируемыя явленія. Наоборотъ, эстетическая теорія шеллинговъ, указывая для искусства глубокий внутренній источникъ въ душѣ человѣка, стремилась эмансипировать его отъ всякаго внѣшняго вліянія и найти для него законы въ томъ актѣ самовозрѣнія и самоуглубленія, который составлялъ отправную точку философіи Шеллинга и изъ котораго можно было, по ученію этой философіи, конструировать, т. е. возсоздать всѣ явленія внѣшняго міра. Такимъ образомъ, одно изъ крайнихъ этихъ воззрѣній поработало въ искусствѣ элементъ творчества, стѣсняя его въ узкія рамки подражательности и ставя въ непремѣнную зависимость отъ свойствъ предлагаемаго образца; другое же—лишало это творчество почти всякой реальной подкладки, въ видѣ наблюденія и изученія окружающаго міра, но зато отерывало ему полный просторъ во имя свободы и независимости человѣческаго духа. Крайности должны были столкнуться и вступить въ борьбу, которая извѣстна въ русской литературѣ подъ именемъ «борьбы классицизма и романтизма». Послѣдній, сражаясь въ этой битвѣ подъ знаменемъ освобожденія мысли и отрицанія старыхъ авторитетовъ, прослылъ, въ то же время, «парнаасскимъ атеизмомъ», по выраженію Пушкина, такъ что назваться романтикомъ значило—получить плохой аттестатъ по части литератур-

ной и всякой иной благонадежности. На этомъ же основаніи, къ слову «романтикъ» часто пристегивалась кличка «фармазона», что указывало уже, въ самомъ неопредѣленномъ и тагучемъ смыслѣ, на присутствіе въ человѣкѣ затаенныхъ общественныхъ стремленій не консервативнаго оттѣнка.

«Всѣ изящныя искусства—утверждалъ Мерзляковъ, сообразно съ своей основной точкой зрѣнія — обязаны своимъ началомъ болѣе случаю и обстоятельствамъ, нежели изобрѣтенію человѣческому. Мудрая учительница наша природа явила себя намъ во всемъ своемъ великолѣпіи, красотѣ и благахъ неисчетныхъ, возбудила подражательность и передала милое чадю свое на воспитаніе нашему размышленію, наблюденіямъ и опыту». А слушатель Мерзлякова, но послѣдователь романтизма, Веневитиновъ, возражалъ на это: «Поэтъ, безъ сомнѣнія, заимствуетъ изъ природы форму искусства, ибо нѣтъ формы внѣ природы; но и подражательность не могла породить искусства, которое пронстекаетъ отъ избытка чувствъ и мыслей въ человѣкѣ и отъ нравственной его дѣятельности».

Примѣняя свой теоретическій взглядъ къ развитію греческой трагедіи въ частности, Мерзляковъ приурочивалъ ея возникновеніе къ исторіи козла, убитаго Икаромъ, и получалъ отъ романтиковъ слѣдующее замѣчаніе: «Въ семъ разсказѣ не заключается ничего особеннаго. Онъ находится во всѣхъ теоріяхъ, которыя, не объясняя постепенности существеннаго развитія искусствъ, облачаютъ въ забавныя сказочки исторію ихъ происхожденія... Замѣтимъ, что при нынѣшнихъ успѣхахъ эстетики мы ожидали въ исторіи трагедіи болѣе занимательности. Для чего не показать намъ ея развитія изъ соединенія лирической поэзіи и эпоса? Для чего не намекнуть на общую колыбель сихъ родовъ поэзіи? Изъ подобныхъ замѣчаній внимательный читатель заключилъ бы, что они неотъемлемо принадлежать человѣку, какъ необходимыя формы, въ которыя выливаются его чувства. Мы бы объяснили себѣ, отчего находимъ слѣды ихъ у всѣхъ народовъ; увидѣли бы, что не стремленіе къ подражанію править умомъ человѣка, что онъ не есть въ природѣ существо, единственно страдательное».

Говоря о современномъ ему переворотѣ въ области поэзіи, Мерзляковъ писалъ, что «соблазняемые, къ несчастію, затѣйливымъ воображеніемъ нашихъ романтиковъ, мы теперь увлекаемся быстрымъ потокомъ весьма сомнительныхъ временныхъ мнѣній»,

и видѣлъ въ этомъ обстоятельствѣ «судьбу изящныхъ искусствъ, склоняющихся уже къ униженію».

Веневитиновъ же энергически протестовалъ противъ такого пессимизма въ блестящихъ словахъ: «Я осмѣлюсь вступить за честь нашего вѣка. Новѣйшія произведенія, безъ сомнѣнія, не могутъ сравниться съ древними въ разсужденіи полноты и подробнаго совершенства. Въ нихъ еще не опредѣлены отношенія частей къ цѣлому. Я съ этимъ согласенъ. Но законы частей не опредѣляются ли сами собою, когда цѣлое направлено къ извѣстной цѣли. Нашу поэзію можно сравнить съ сильнымъ голосомъ, который, съ высоты взывая къ небу, пробуждаетъ со всѣхъ сторонъ отголоски и усиливается въ своемъ порывѣ. Поэзія древнихъ плѣняетъ насъ, какъ гармоническое соединеніе многихъ голосовъ. Она превосходитъ новѣйшую въ совершенствѣ соразмѣрностей, но уступаетъ ей въ силѣ стремленія и въ обширности объема. Поэзія Гёте, Байрона есть плодъ глубокой мысли, раздробившейся на всѣ возможныя чувства. Поэзія Гомера есть вѣрная картина разнообразныхъ чувствъ, сливающихся какъ бы невольно въ мысль полную... Каждый вѣкъ имѣетъ свой отличительный характеръ, выражающійся во всѣхъ умственныхъ произведеніяхъ: на всѣхъ равно распространяется наблюденіе истиннаго философа, и замѣтимъ, что науки и искусства еще не близки къ своему паденію, когда умы находятся въ сильномъ броженіи, стремятся къ цѣли опредѣленной и дѣйствуютъ по врожденному побужденію къ дѣйствію. Гдѣ видны усилія, тамъ жизнь и надежда. Но тогда имъ угрожаетъ неминуемая опасность, когда всѣ порывы прекращаются, настоящее тянется раболопно по слѣдамъ минувшаго, когда холодное безстрастіе возсѣдаетъ на памятникахъ сильныхъ чувствъ и самостоятельности, и цѣлый вѣкъ представляетъ зрѣлище безнадежнаго однообразія» ¹⁾).

Самъ Одоевскій, разсуждая о живописи, какъ объ одномъ изъ видовъ изящнаго искусства, наиболѣе поддающемуся теоріи «подражательности», выражалъ такую мысль: «живописцы подвергаются оптическому обману, если думаютъ, что они въ своихъ картинахъ копируютъ природу: живописецъ, срисовывая съ натуры, лишь питается ею, какъ челоуѣческій организмъ питается грубыми произведеніями природы. Но какъ происходитъ этотъ процессъ? Вещества, принимаемыя нами въ пищу, подвергаются живому броженію; лишь тончайшія ихъ части остаются въ организмѣ и проходятъ чрезъ нѣсколько живыхъ превраще-

¹⁾ «Полн. собр. соч. Веневитинова», изд. подъ моею редакціею, тр. 184—5.

ній прежде, нежели обратятся въ нашу плоть; для больного, и еще менѣе для мертвого организма, пища бесполезна; живой организмъ долго можетъ обходиться безъ пищи и жить собственной силой, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ онъ совершенно могъ безъ нея обойтись. Все дѣло въ хорошей переварѣѣ, которой первое условіе—жизненная сила» ¹⁾).

Всѣ цитаты, приведенныя нами, относятся хронологически къ нѣсколько позднѣйшему періоду въ жизни кн. Одоевскаго, но идеи, въ нихъ выражаемыя, характеризуютъ именно то время, о которомъ говоримъ мы, и ту умственную атмосферу, въ которой вращались питомцы московскаго университета и университетскаго пансіона въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Не только между собою, въ своихъ дружескихъ кружкахъ, но и на литературныхъ бесѣдахъ, которыя приватно устраивалъ Мерзляковъ для всѣхъ слушателей, университетскіе юноши горячо занимались вопросомъ объ искусствѣ въ теоретической его постановкѣ и, сомнѣваясь уже въ положеніяхъ, защищаемыхъ краснорѣчивымъ профессоромъ, представляли свои доводы, свой возраженія въ пользу гонимаго романтизма. Въ свою очередь и Мерзляковъ не щадилъ «джеученій» ни съ теоретической стороны, ни въ лицѣ ихъ представителей въ русской литературѣ. Жуковскаго, напр., онъ сравнивалъ съ «арабскимъ конемъ, который ударился въ каменистую степь и хромаетъ на всѣ четыре ноги»,—хотя этотъ несовсѣмъ лестный отзывъ не мѣшалъ «арабскому коню» заѣзжать по временамъ и въ счастливый оазисъ Общества любителей російской словесности, подъ бокъ въ самому строгому критику. Произведенія Пушкина отражались двойственнымъ образомъ на Мерзляковѣ: какъ послѣдователь извѣстной доктрины, онъ долженъ былъ осуждать ихъ тѣмъ рѣшительнѣе, чѣмъ больше соблазна представляли они для литературныхъ неопитовъ, но, какъ человѣкъ съ развитымъ чувствомъ и вкусомъ къ изящному, онъ, говорятъ, втайнѣ, читалъ ихъ съ увлеченіемъ и даже проливалъ слезы непритворнаго восторга. «Онъ чувствовалъ,—объясняетъ намъ г. Шевыревъ,—что это прекрасно, но не могъ отдать себѣ отчета въ этой красотѣ, и безмолвствовалъ» ²⁾. Но покуда Мерзляковъ упорствовалъ въ своихъ традиціонныхъ критическихъ взглядахъ и только украдкой позволялъ себѣ предаться порыву свободного восхищенія,—значительная часть его слушателей и вся образованная публика открыто, предательски измѣ-

¹⁾ Сочин. Одоевскаго, т. I, стр. 202.

²⁾ Біографич. словарь профессоровъ московск. универс., ч. II.

нили Ломоносовской традиціи, чуя въ Пушкинѣ какую-то новую могучую силу, призванную совершить коренной переворотъ въ русской литературѣ, и заучивали наизусть его великолѣпныя строфы, не справляясь даже о томъ, законно или нѣтъ подобное увлеченіе по приговору тогдашнихъ аристарховъ. Непосредственное чувство предупредило рѣшеніе анализирующей мысли, и сколько въ этомъ фактѣ было выгоднаго для успѣховъ новой поэзіи, столько же было въ немъ огорчительнаго для тѣхъ немногихъ мыслителей, которые въ своемъ философскомъ увлеченіи желали только осмысленныхъ побѣдъ, а не раболѣпнаго слѣдованія толпы за «колесницей любимаго автора». Веневитиновъ былъ правъ, когда говорилъ: «...Освобожденіе Россіи отъ условныхъ оковъ (ложнаго классицизма) было бы торжествомъ ея, еслибы оно было дѣломъ свободного разсудка; но, къ несчастію, оно не произвело значительной пользы, ибо причина нашей слабости въ литературномъ отношеніи заключалась не столько въ образѣ мыслей, сколько въ бездѣйствіи мысли. Мы отбросили французскія правила не отъ того, чтобы могли ихъ опровергнуть какою нибудь положительною системою; но потому только, что не могли примѣнить ихъ къ нѣкоторымъ произведеніямъ новѣйшихъ писателей, которыми невольно наслаждаемся. Такимъ образомъ, правила невѣрныя замѣнились у насъ отсутствіемъ всякихъ правилъ. Однимъ изъ пагубныхъ послѣдствій сего недостатка нравственной дѣятельности была всеобщая страсть выражаться въ стихахъ. Многочисленность стихотворцевъ во всякомъ народѣ есть вѣрнѣйшій признакъ его легкомыслія; самыя поэтическія эпохи исторіи всегда представляютъ намъ самое малое число поэтовъ. Не трудно, кажется, объяснить причину сего явленія естественными законами ума; надобно только вникнуть въ начало всѣхъ искусствъ. Первое чувство никогда не творитъ и не можетъ творить, потому что оно всегда представляетъ согласіе. Чувство только порождаетъ мысль, которая развивается въ борьбѣ и тогда уже, снова обратившись въ чувство, является въ произведеніи. И потому истинные поэты всѣхъ народовъ, всѣхъ вѣковъ были глубокими мыслителями, были философами и, такъ сказать, вѣнцомъ просвѣщенія. У насъ языкъ поэзіи превращается въ механизмъ; онъ дѣлается орудіемъ безсилія, которое не можетъ дать себѣ отчета въ своихъ чувствахъ и потому чуждается опредѣлительнаго языка разсудка. Скажу болѣе: у насъ чувство нѣкоторымъ образомъ освобождаетъ отъ обязанности мыслить и, прельщая легкостью безотчетнаго наслажденія, отвлекаетъ отъ высокой цѣли усовершенствованія».

Такой строгій отзывъ о наплывѣ стихотворной болтовни, ознаменовавшемъ собой появленіе Пушкина,—отзывъ, подтвержденный психологическимъ анализомъ и указаніемъ на исторію поэзіи,—показываетъ достаточно убѣдительно, что въ кружкѣ лицъ, къ которому примыкалъ кн. Одоевскій, собственно стихотворная форма, независимо отъ силы чувства и достоинства мыслей, въ ней выражаемыхъ, не возбуждала къ себѣ ни малѣйшаго поклоненія, и въ этомъ обстоятельствѣ, кажется, слѣдуетъ искать объясненія того факта, что кн. Одоевскій, вопреки господствовавшему обычаю, не увлекся риемою и не началъ ею своего литературнаго поприща. То же критическое отношеніе къ умственному и нравственному содержанію поэзіи помогло нашимъ юношамъ «не сотворить себѣ кумира» и изъ Пушкина, но разглядѣть ту тѣсную связь, которая соединяла его съ Байрономъ,—этимъ законнымъ властелиномъ думъ своего вѣка,—и оцѣнить ту степень самостоятельности, которая могла быть признана за русскимъ поэтомъ. По крайней мѣрѣ, Веневитиновъ даже и по выходѣ первой пѣсни «Евгенія Онѣгина»,—когда идолопоклонствующая критика поспѣшила провозгласить Пушкина новымъ Байрономъ, а его поэму «честь своего вѣка»,—не измѣнилъ критическому безпристрастію и среди безусловныхъ похвалъ восторженной публики довольно храбро напомнилъ о дѣйствительномъ разстояніи, отдѣлявшемъ двухъ поэтовъ. «Всѣ произведенія Байрона,—писалъ онъ въ отвѣтъ Полевому,—носятъ отпечатокъ одной глубокой мысли,—мысли о человѣкѣ въ отношеніи къ окружающей его природѣ, въ борьбѣ съ самимъ собою, съ предразсудками, врѣзавшимися въ его сердцѣ, въ противорѣчій съ своими чувствами. Говорятъ: въ его поэмахъ мало дѣйствія. Правда, его цѣль не разсказъ; характеръ его героевъ не связь описаній; онъ описываетъ предметы не для предметовъ самихъ, не для того, чтобы представить рядъ картинъ, но съ намѣреніемъ выразить впечатлѣніе ихъ на лицо, выставленное имъ на сцену. Мысль истинно поэтическая, творческая!... Пѣвецъ «Руслана и Людмилы», «Кавказскаго плѣнника» и проч. имѣетъ неоспоримыя права на благодарность своихъ соотечественниковъ, обогативъ русскую словесность красотою, доселѣ ей неизвѣстными, но, признаюсь, что я не вижу въ его твореніяхъ приобрѣтеній, подобно Байроновымъ, «дѣлающихъ честь вѣку». Лира Альбіона познакомила насъ съ звуками для насъ совсѣмъ новыми. Конечно, въ вѣкѣ Людовика XIV нѣтъ бы не написалъ и поэмъ Пушкина; но это доказываетъ не то, что онъ подвинулъ вѣкъ, но то, что онъ отъ него не отсталъ. Мы не утверждаемъ такъ опредѣлительно, чтобы нашъ стихотвс

рець заимствовалъ изъ Байрона планы поэмъ, характеры лицъ, описанія; но скажемъ только что Байронъ оставляетъ въ его сердцѣ глубокія впечатлѣнія, которыя отражаются во всѣхъ его твореніяхъ». Мнѣнія эти, повторяемъ, не принадлежали одному Веневитинову, но вырабатывались, при его участіи, цѣлымъ кружкомъ избранной университетской молодежи, — какъ объ этомъ уже было говорено мною въ статьѣ, приложенной къ полному собранію сочиненій Веневитинова. Очень видное мѣсто въ этомъ кружкѣ, собиравшемся по вторникамъ въ домѣ Веневитиновыхъ, занималъ кн. Одоевскій, которому пришлось сблизиться съ молодымъ поэтомъ-философомъ, кажется, въ послѣдній годъ своего ученія въ университетскомъ пансіонѣ.

III.

Какъ отразилось вліяніе университетскаго кружка на всемъ нравственномъ характерѣ и на умственной дѣятельности кн. Одоевскаго? — Переходъ отъ метафизическихъ увлеченій къ положительному направленію. — Взглядъ Одоевскаго на авторитеты въ наукѣ. — Довѣріе къ прогрессивному движенію критической мысли въ человѣчествѣ. — Уваженіе и любовь къ литературѣ, какъ могущественному средству общественнаго развитія.

«Моя юность — писалъ кн. Одоевскій въ послѣдніе годы жизни, пробѣгая мысленно весь прошлый трудовой путь свой — протекла въ ту эпоху, когда метафизика была такою же общою атмосферою, какъ нынѣ политическія науки. Мы вѣрили въ возможность такой абсолютной теоріи, посредствомъ которой возможно было бы построить всѣ явленія, точно такъ, какъ теперь вѣрятъ въ возможность такой соціальной жизни, которая бы вполне удовлетворяла всѣмъ потребностямъ чело-
вѣка. Можетъ быть, дѣйствительно, и такая теорія, и такая форма будутъ когда нибудь найдены, но *ab posse ad esse consequentia non valet* ¹⁾. Какъ бы то ни было, но тогда вся природа, вся жизнь чело-
вѣка казалась намъ довольно ясною, и мы немножко свысока поглядывали на физиковъ, на химиковъ, на утилитаристовъ, которые рылись въ грубой матеріи ²⁾. Изъ естественныхъ наукъ лишь одна казалась намъ достойною вниманія любо-
мудра — анатомія, какъ наука чело-
вѣка, и въ особенности ана-

¹⁾ Т. е. непослѣдовательно заключать отъ возможнаго къ существующему.

²⁾ Курсивъ подлинникѣ.

томія мозга. Мы принялись за анатомію практически, подъ руководствомъ знаменитаго Лодера, у котораго многіе изъ насъ были любимыми учениками ¹⁾. Не одинъ ка даверъ мы искропили; но анатомія естественно натолкнула насъ на физиологію, — науку, тогда только что начинавшуюся и которой первый зародышъ появился, должно признаться, у Шеллинга, впоследствии у Окена и Баруса. Но въ физиологіи естественно встрѣтились намъ на каждомъ шагу вопросы, необъяснимые безъ физики и химіи, да и многія мѣста въ Шеллингѣ (особенно въ его «Veltseele») были темны безъ естественныхъ знаній. Вотъ какимъ образомъ гордые метафизики, даже для того, чтобы остаться вѣрными своему званію, были приведены къ необходимости запастись колбами, рецепентами и тому подобными снадобьями, нужными для грубой матеріи. Въ собственномъ смыслѣ, именно Шеллингъ, — можетъ быть, неожиданно для него самого, — былъ истиннымъ творцомъ положительнаго направленія въ нашемъ вѣѣ, по крайней мѣрѣ, въ Германіи и въ Россіи. Въ этихъ земляхъ, лишь по милости Шеллинга и Гете, сдѣлались поснисходительнѣе къ французской и англійской наукѣ, о которой прежде, какъ о грубомъ эмпиризмѣ, мы и слышать не хотѣли ²⁾.

Это замѣчательное автобіографическое показаніе заслуживаетъ всей нашей внимательности: изъ него наглядно выясняется, какъ органически-последовательно вырастаетъ въ однажды возбужденномъ умѣ потребность знанія и какъ далеко можетъ отвести дальнѣйшій мыслительный процессъ отъ первоначальной точки своего отправленія. Метафизика и анатомія мозга, невидимая «субстанція» и осязаемые мускулы и нервныя нити: какое сближеніе, казалось, могло найтись между этими разнородными сферами изученія, а между тѣмъ такое сближеніе, такой переходъ изъ одной сферы въ другую состоялись легко и просто, благодаря тому общему критическому настроенію мысли, которое не даетъ ей успокоиться на одной добытой формулѣ, побуждая все къ новымъ и новымъ изысканіямъ. Такимъ-то образомъ кн. Одоевскій началъ въ юности съ горячаго увлеченія абсолютными идеями, конечными цѣлями природы, превозносилъ «самобытное, свободное самовоззрѣніе души» надъ всякимъ чувственнымъ опытомъ ³⁾ и даже ставилъ въ особенную заслугу Шеллингу именно

¹⁾ Веневитиновъ былъ вмѣстѣ съ Одоевскимъ въ числѣ добровольныхъ слушателей Лодера.

²⁾ См. «Русск. Арх.» 1874 г., № 2, прозекъ предисловія къ новому изданію сочиненій кн. Одоевскаго, стр. 316—17.

³⁾ Сочин. кн. Одоевскаго, т. I, стр. 283—4.

то, что онъ «призналъ основу всей философіи во внутреннемъ чувствѣ и назвалъ первымъ знаніемъ — знаніе того акта нашей души, когда она обращается на саму себя и есть вмѣстѣ и предметъ, и зритель»; а въ зрѣлыхъ годахъ онъ же оцѣнилъ Шеллинга совершенно иначе и, посвятивъ себя съ любовью изученію опытныхъ наукъ, отрѣшился и отъ прежнихъ своихъ взглядовъ на конечныя цѣли и абсолюты. «Цѣль природы (пишетъ онъ въ своей памятной тетради, въ которую имѣлъ обыкновеніе заносить весь результатъ своей умственной работы) объясняется довольно трудно: съ одной стороны, мы видимъ чрезвычайную заботливость о сохраненіи породъ, о поддержаніи существованія каждаго индивидуума, съ другой—такую же заботливость о томъ, чтобы это существованіе было связано съ страданіемъ, смертью, вообще истребленіемъ другихъ породъ... (Замѣтимъ, что гораздо раньше появленія трудовъ Дарвина Одоевскій вполне самостоятельно указывалъ на существованіе въ природѣ «родового подбора» и «борьбы за существованіе»). Какъ объяснить это явное противорѣчіе между дѣйствіями природы? Поборники конечныхъ цѣлей отвѣчаютъ: что еслибы животныя не истребляли другъ друга, то они бы сжили человѣка съ земнаго шара... Справедливо, но не было ли бы простѣе и, такъ сказать, снисходительнѣе,—не усиливать способности размноженія животныхъ, питать ихъ не живыми системами чувствительныхъ и, слѣдовательно, страдающихъ нервъ, а образовать для нихъ пищу, если угодно, изъ тѣхъ же газовъ, но прямо, не проводя ихъ чрезъ лабораторію живаго тѣла. Эти вопросы идутъ въ бесконечность и приводятъ къ безднѣ: не знаю! Да умѣрится же наше нетерпѣніе, пока наука не разработаетъ подробнѣе этихъ вопросовъ... Не будемъ залетать въ область фантазій, не имѣя подъ рукою надежныхъ наблюденій, но не будемъ и малодушно ссылаться на ограниченность человѣческаго разума, чтобы имѣть право сложить руки».

Въ той же самой тетради, обсуждая метафизическое понятіе объ абсолютѣ, Одоевскій приносить въ жертву всѣ преданія своей юности и чрезвычайно остроумно, а съ тѣмъ вмѣстѣ и глубоко-мысленно (въ его дарованіи счастливо соединялись оба эти качества) распутываетъ Гордіевъ узелъ сложнаго вопроса.

«Найти абсолютъ въ наукѣ и искусствѣ—разсуждаетъ онъ,—т. е. абсолютную красоту, абсолютное равенство, абсолютное правосудіе, абсолютную истину и т. п., долго занимало умы людей, духъ которыхъ не могъ успокоиться, не имѣя въ своей власти абсолютной аксіомы, аксіомы аксіомъ. Языкъ математическій и такъ называемыя математическія аксіомы были въ этомъ слу-

чаѣ весьма обольстительны. Разсуждали: изъ того, что $2 \times 2 = 4$, можно вывести всю математику; если въ математикѣ есть такая общая формула, то почему ей не быть во всѣхъ наукахъ? Это логически вѣрно, но позабыто одно, что аксіома $2 \times 2 = 4$ отнюдь не упала съ потолка, и что эта аксіома есть не иное что, какъ сокращенная формула опытнаго наблюденія надъ тѣмъ, какъ образуется число четыре. Человѣкъ соединилъ два предмета по нуждамъ своего организма и это явленіе назвалъ числомъ два; повторилъ это соединеніе и полученный имъ результатъ назвалъ числомъ четыре; наконецъ, весь произведенный имъ опытъ выразилъ сокращенною формулою (кн. Одоевскій приводитъ для примѣра нѣсколько такихъ формулъ), такъ что знаменитая аксіома и всѣ выведенныя изъ нея слѣдствія суть не иное что, какъ родъ микроскопической фотографіи сдѣланнаго наблюденія, условное означеніе результата опыта, мнемотехническій знакъ, собирательное слово. Собирательныя слова играли и играютъ удивительную роль въ мірѣ. Весь Гегель состоитъ въ игрѣ такими словами. Такъ, напр., явленіе пересѣченія линій люди называли точкою, которая, по условію задачи, должна быть безтѣлесною, ибо какъ скоро мы придадимъ точкѣ какое либо пространство, она уже сдѣлается тѣломъ, а не мѣстомъ пересѣченія линій. Гегель же утверждаетъ, что математикою въ существованіи точки убѣдиться нельзя; что точка есть идея, которая осуществляется пересѣченіемъ линій, что математика не даетъ никакого понятія о сущности центра. Въ примѣръ, Верѣ, послѣдователь Гегеля, приводитъ то, что отъ относительнаго положенія Юпитера и Сатурна центръ тяготѣнія въ солнцѣ то находится внутри солнца, то внѣ его. Но что доказывается этимъ явленіемъ? Что слово центръ не есть что либо дѣйствительно существующее, какъ, напр., само солнце, но лишь условное выраженіе явленія, происходящаго въ данный моментъ,—не болѣе... Утвержденіе Канта о томъ, что идеи не имѣютъ реальной объективности, ибо не могутъ быть доказаны вполнѣ опытомъ, остается непоколебимымъ, не смотря на всѣ усилія Гегеля опровергнуть его. Иначе и быть не можетъ: въ насъ нѣтъ идей самобытныхъ или, лучше сказать, онѣ находятся въ насъ лишь въ возможности, какъ въ тѣлахъ скрытая теплота, какъ звукъ въ звучащемъ тѣлѣ. Нѣтъ толчка извнѣ—нѣтъ ни тепла, ни звука, ни идеи. То, что мы называемъ идеей, есть выводъ изъ понятій, которыя въ свою очередь суть выводъ (приведеніе къ одному знаменателю) изъ разныхъ ощущеній. Такимъ образомъ, всякая идея есть общая формула нѣсколькихъ величинъ въ количествѣ ограниченномъ. Хотѣть, чтобы

идея была вполне доказана объективно—тоже, что желать пуды измѣрять аршинами... Такъ и во всѣхъ отрасляхъ человѣческаго знанія: ряду наблюденій и опытовъ мы присвоиваемъ какое либо имя. Часто люди забываютъ, что это имя есть ничто иное, какъ условная формула замѣченного нами явленія и этому имени придаютъ произвольно такое значеніе, котораго въ немъ просто нѣтъ,—значеніе начала, принципа, того, что схоластики называли субстанціей. Все хорошо, пока мы не встрѣчаемся съ предметами несоизмѣримыми, бесконечно великими, бесконечно малыми. Здѣсь уже принятая нами за аксіому формула недостаточна: $\frac{1}{2}=2$, ибо $2 \times 2=4$; эти двѣ формулы служатъ другу другу повѣркой; — но $\frac{2}{3}$ представляетъ нѣчто совсѣмъ иное. Сколько бы мы ни дѣлили 2 на 3, всегда получимъ лишь 0,666... и, наоборотъ, сколько бы мы ни множили 0,666... на 3, мы никогда не получимъ числа 2, а лишь приближеніе къ нему (0,999...). Такъ что собственно мы не имѣемъ никакихъ средствъ повѣрить въ точности это дѣленіе умноженіемъ, ни умноженіе дѣленіемъ. Это явленіе мы назвали бесконечностью, несоизмѣримостью. То же самое встрѣчается во всемъ, гдѣ человѣкъ вмѣсто прямого опытнаго наблюденія долженъ прибѣгать къ теоріи наведенія и сопряженной съ нею теоріи вѣроятности. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что абсолютная истина можетъ находиться лишь въ опытномъ наблюденіи или, если угодно, въ формулѣ, которою это наблюденіе выражается. Все, что внѣ этой сферы, принадлежитъ къ явленію, которому мы дали имя приближенія, т. е. къ истинѣ неполной.. Мы бы назвали нелѣпымъ того, кто бы принялся отыскивать дѣйствительное частное, происходящее отъ дѣленія 2 на 3, а между тѣмъ сколько людей, которые требуютъ, чтобы имъ показали конечную причину вещей, отчего лѣто слѣдуетъ за зимою и пр. Человѣчество сдѣлаетъ великій шагъ, когда увѣрится во всѣхъ сферахъ своей дѣятельности, что формула $\frac{2}{3}$ есть лишь условный знакъ дѣленія 2 на 3, но не дѣйствительное искомое частное. Тогда, при убѣжденіи въ этой истинѣ, выведенной изъ разсмотрѣнія столь всѣмъ доступнаго явленія, рушатся безвозвратно всѣ схоластическія разглагольствованія объ абсолютныхъ идеяхъ, о врожденныхъ идеяхъ, а равно и ожиданія, что когда либо, напр., при большемъ усовершенствованіи человѣчества, эти абсолютныя идеи упадутъ къ намъ съ потолка и 0,666... вполне сольется съ $\frac{2}{3}$. Этого приближенія весьма достаточно во всѣхъ отрасляхъ человѣческаго быта; но не должно забывать, что приближеніе есть только приближеніе, и формулу, выражающую это приближеніе, не почитать

за выражение абсолютной истины. Вообразите, что бы случилось съ математикомъ, еслибы онъ убѣдился, принявъ на вѣру, что $2/3=0,666...$, т. е. $2/3=6/10$, и смѣло бы употребилъ эту формулу, забывая о ея невѣрности. Въ большихъ вычисленияхъ (напр., въ астрономическихъ) разница между $6/10$ и $2/3$ весьма чувствительна. А такъ мы поступаемъ почти на каждомъ шагу въ наукѣ. Въ томъ и ошибка схоластиковъ, что они несоизмѣримныя величины трактуютъ, какъ будто бы онѣ были соизмѣримны.

Но и поставивъ такъ высоко методъ опытнаго наблюденія, точный и подробный анализъ всѣхъ явленій природы, Одоевскій никогда не отрѣшался отъ своего обычнаго стремленія къ философскому синтезу, который долженъ былъ, по его мнѣнью, слѣдовать за опытомъ и возводить въ систему разбросанныя, частичныя приобрѣтенія мелкаго анализа. Раздробленность и разрозненность специальныхъ наукъ, отмежевавшихъ себѣ, въ одиночку, узенькія дорожки человѣческаго знанія,—эта умственная череполосица, искусственно разобщающая наиболѣе смежныя области мысли, не могла удовлетворить ни его философской пытливости, ни эстетическаго чувства, искавшаго въ наукѣ, какъ и въ жизни, стройности и гармоніи. За это многіе обвиняли Одоевского въ энциклопедизмѣ, или, другими словами, въ диллетанствѣ, въ поверхностномъ отношеніи къ наукѣ. Оправдываясь отъ этого упрека,—который въ его глазахъ былъ «напраслиной»,—Одоевскій объяснилъ весьма убѣдительно, что диллетантомъ можно называть только человѣка, котораго умственная дѣятельность разорвана и черезъ нее не прошло живой, органической связи, но что эта кличка не можетъ имѣть мѣста въ томъ случаѣ, когда одно дѣло, одно умственное занятіе вырастаетъ изъ другаго органическимъ путемъ, какъ изъ корня вырастаютъ листья и плоды. «Я хватаюсь—говоритъ онъ—за весьма немногое, но, правда, придерживаюсь за все, что попадется подъ руку. Этому искусству научила меня жизнь... Я оцѣнилъ вполне важность моей разносторонности знаній, когда, по обстоятельствамъ жизни, мнѣ пришлось заниматься съ дѣтьми. Дѣти были лучшими моими учителями и зато до сихъ поръ сохранилъ я къ нимъ глубокую привязанность и благодарность. Дѣти показали мнѣ всю скудость моей науки. Стоило поговорить съ ними нѣсколько дней сряду, вызвать ихъ вопросы, чтобы убѣдиться, какъ часто мы вовсе не знаемъ того, чему, какъ намъ кажется, мы выучились превосходно. Это наблюденіе поразило меня и заставило глубже проникнуть въ разныя отрасли наукъ, которыми, казалось, я обладалъ вполне. Это наблюденіе убѣдило меня въ новости тогда неожиданной,

именно—какъ искусственно, какъ произвольно, какъ ложно дѣленіе человѣческихъ знаній на такъ называемыя науки. Въ обширномъ каталогѣ наукъ собственно нѣтъ ни одной, которая бы давала намъ опредѣлительное понятіе о цѣльности предмета. Возьмите человѣка, животное, растеніе, малѣйшую пылинку; науки разорвали ихъ на части: кому досталось ихъ химическое значеніе, кому идеальное, кому математическое и пр., и эти искусственно-разорванные члены названы спеціальностями. Говорятъ, что у насъ были когда-то, въ незапамятныя времена, профессоры перваго тома, втораго. Для того чтобы составить цѣльное понятіе о каждомъ изъ сихъ предметовъ, необходимо собрать всѣ ихъ разорванные части, доставшіяся на долю разнымъ наукамъ. Для свѣжаго, неиспорченнаго никакою схоластикою дѣтскаго ума нѣтъ отдѣльно ни физики, ни химіи, ни антропологии, ни грамматики, ни исторіи и пр. и пр. Ребенокъ не будетъ васъ слушать, если вы заговорите самымъ систематическимъ путемъ отдѣльно объ анатоміи лошади, о механизмѣ ея мускуловъ, о химическомъ превращеніи сѣна въ кровь и тѣло, о лошади, какъ движущей силѣ, о лошади, какъ эстетическомъ предметѣ. Дитя.—отъявленный энциклопедистъ: подавайте ему лошадь всю, какъ она есть, не дробя предмета искусственно, но представляя его въ живой цѣльности,—въ томъ вся задача педагогій... Чтобы удовлетворить этому строгому, неумолимому требованію, мало отрывочныхъ, такъ сказать, литературныхъ, или неправильно называемыхъ общихъ знаній, а надобно, какъ говорятъ французы, *mettre la main à la pâte* ¹⁾ и только тогда можно говорить съ дѣтьми языкомъ, для нихъ понятнымъ. Вотъ вся разгадка моего мнимаго энциклопедизма, который, можетъ быть, невольно отразился въ моихъ сочиненіяхъ. Но здѣсь не моя вина: здѣсь вина вѣка, въ который мы живемъ, и который если не нашелъ, то, по крайней мѣрѣ, ищетъ воссоединенія всѣхъ разорванныхъ частей знанія. Если съ такимъ самоотверженіемъ нисходить въ подробности, творить особыя науки подъ названіемъ: энтомологіи, ихтіологій, то лишь для того, чтобы найти точку соединенія между венами и артеріями человѣческаго разумія. Пока еще не образовалась наука общечеловѣческая, необходимо, чтобы каждый человѣкъ, отбросивъ схоластическія пеленки, образовалъ для себя, для круга своей дѣятельности, соразмѣрно пространству своего разумія, свою особую науку

¹⁾ По русски это можно перевести такъ: «заняться тѣсто собственными руками».

безымянную, которую нельзя подвести ни подъ какую условную рубрику. Объ этой наукѣ, признаюсь, я позаботился¹⁾. Развивая ту же мысль о вредѣ научной односторонности, въ первомъ томѣ своихъ сочиненій²⁾, Одоевскій сравнивалъ всякую узкую специальность съ камеръ-обскурою, которая вѣчно наведена на одинъ и тотъ же предметъ и цѣлые годы отражаетъ его безъ всякаго сознанія о томъ, зачѣмъ, для чего существуетъ и въ какой связи находится этотъ предметъ съ другими? Сами же специалисты, вдавшіеся въ такую односторонность и упорно отказывающіеся отъ еретической солидарности съ иными отраслями знанія, напоминаютъ, по его мнѣнію, тѣхъ несчастныхъ фабричныхъ, которые всю жизнь свою дѣлаютъ одни винты и ничего, кромѣ этихъ винтовъ, не знаютъ, да и не желаютъ знать.

Понятно, что съ такимъ критическимъ настроеніемъ несомнѣнимо раболовство предъ научными авторитетами, предъ установившимися формулами, заграждающими путь дальнѣйшаго изслѣдованія въ силу старинной поговорки: *magister dixit*. «Какъ только наука—говоритъ по этому вопросу кн. Одоевскій—начинаетъ подчиняться какому либо авторитету, кромѣ авторитета фактовъ, выработанныхъ добросовѣстнымъ наблюденіемъ, такъ она становится бесплодною. Астрономія не сдѣлала ни шагу съ I-го столѣтія до начала XVI-го, пока во главу угла ставила авторитетъ Птолемея. Этимъ авторитетомъ было убито всякое изысканіе объ обращеніи планетъ вокругъ солнца, предчувствованное Пифагоромъ. Достигнуть отрицанія вообще: отрицанія ли голословнаго авторитета, авторитета ли недостаточно выясненныхъ фактовъ, есть дѣло великое, къ которому способны лишь гении, и есть первое условіе успѣховъ науки. Лишь смѣлымъ отрицаніемъ Коперника двинулась астрономія и достигла настоящаго своего предвѣдѣнія, предъ которымъ преклоняется всякій авторитетъ»³⁾.

Изъ того же глубокаго довѣрія къ прогрессивному и благотворительному для общества движенію критической мысли возникло у кн. Одоевскаго его неизмѣнное, искреннее уваженіе къ литературной дѣятельности вообще. Литературу онъ ставилъ чрезвычайно высоко, считая ее необходимымъ дополненіемъ и даже какъ бы коррективомъ и указателемъ для государственной практики, для законодательныхъ постановленій. «Законы — разсуждаетъ гр. Рельскій въ пьесѣ «Хорошее жалованье и проч.», оч

¹⁾ «Русск. Архивъ» 1874 г., № 2. Предисловіе къ сочиненіямъ.

²⁾ См. I томъ Сочин. кн. Одоевскаго, стр. 346.

³⁾ «Русск. Арх.» 1874 г., № 2, стр. 334.

видно выражая мнѣніе автора, — законы настигаютъ порока тогда, когда порокъ оплошалъ, когда съ него свалилась личина. О, тогда ему нѣтъ пощады! Но до того? У безстыднаго корсара множество флаговъ наготовѣ — подниметь какой угодно; въ трюмѣ за-прятаны пушки, топоры и живое мясо; спросите: куда онъ? за-чѣмъ? — за прѣсной водой. Не оскорбляйте почтеннаго негоціанта подозрѣніемъ: вѣдь онъ отецъ семейства; вы смутите его, вы ему помѣшаете; тамъ далеко, въ подводной части, еще не всѣ жертвы ограблены, еще не всѣ изуродованы... Честная литература точно брандвахта, аванпостная служба среди общественнаго коварства... Она смотритъ въ подозрную трубку, она говоритъ: «остерегайтесь, здѣсь корсары; не вѣрьте флагу»... Въ тиши домашняго крова, съ сладкою нрав-ственной рѣчью на устахъ, порокъ спокойно припадаетъ къ самому корню святости, подтачиваетъ, сосетъ его и заражаетъ юныя отрасли на нѣсколько поколѣній. Приходитъ время, предъ очи людей предстаютъ неожиданныя преступленія! Съ изумленіемъ спрашиваютъ: гдѣ былъ зародышъ зла? какъ скрылось оно подъ благовидной личиной? Кто научилъ человѣка худо-жеству лицемѣрія и притворства?.. Но когда порокъ предупрежденъ отважнымъ прорицаніемъ... тогда порокъ обезси-ленъ; онъ почувалъ, что завѣтная тайна его открыта, что всѣ силы, всѣ блага міра, всѣ живныя рѣчи не смыли съ него печати отвер-женія».

На ту же тему и въ «Русскихъ ночахъ» встрѣчается такое размышленіе: «Печать — дѣло великое; это оселокъ и весьма вѣр-ный! Сколько людей считались умными въ свѣтѣ, даже геніями; казалось, они проглотили всю земную мудрость, но ихъ личина спадала при первыхъ строкахъ, ими напечатанныхъ. Нежданно открывалось, что предполагаемая глубокія мысли нечто иное, какъ пара ребяческихъ фразъ, остроуміе — натянутый наборъ словъ, ученость ниже гимназическаго курса, а логика — хаосъ».

Всѣ эти разумныя взгляды и честныя сознательныя стремле-нія даны были въ зародышѣ тѣмъ философско-литературнымъ кружкомъ, въ которомъ получилъ кн. Одоевскій свой умственный закалъ и свои первыя эстетическія и нравственныя впечатлѣнія. Дальнѣйшее развитіе этихъ добрыхъ, плодотворныхъ задатковъ зависѣло уже отъ времени, отъ личной даровитости самого писа-теля и отъ большихъ или меньшихъ успѣховъ его на поприщѣ неустаннаго, систематически-направленнаго научнаго труда.

IV.

Начало литературной дѣятельности кн. Одоевскаго. — Статьи въ «Вѣстникѣ Европы». — Журналъ «Мнемозина». — Характеръ этого журнала. — «Старички острова Панхай». — Полемика съ Булгаринымъ. — Прекращеніе журнала. — Арестъ Кюхельбекера и подозрѣнія, павшія на кн. Одоевскаго. — Перевѣздъ въ Петербургъ и поступленіе на службу. — Участиѣ въ составленіи цензурнаго устава 1828 г. — Литературные вечера кн. Одоевскаго и ихъ общественное значеніе. — Сочувствіе Одоевскаго ко всѣмъ проявленіямъ ума и таланта. — Отношеніе его къ высшему петербургскому обществу.

Съ такими взглядами и склонностями, какіе вынесъ князь Одоевскій изъ университетскаго кружка, литературная дѣятельность естественно представлялась ему наилучшимъ исходомъ для всѣхъ его духовныхъ стремленій. Кромѣ того, занятіе литературою представляло въ то время единственный путь въ Россіи, на которомъ начинающій дѣятель могъ чувствовать себя сколько нибудь независимымъ въ выраженіи своихъ взглядовъ, своихъ симпатій и антипатій. Всѣ другія дороги въ жизни надо было уже проходить подъ такимъ постояннымъ и неослабнымъ наблюденіемъ чуждыхъ лицъ, что и скромная доля самостоятельности, предоставленная литературѣ, казалась тамъ неумѣстной и нежелательною.

Первые литературные опыты кн. Одоевскаго начали появляться въ 1822 г. въ «Вѣстникѣ Европы», который служилъ тогда въ Москвѣ единственнымъ пристанищемъ для новобранцевъ словесности. Въ этихъ опытахъ главною темою было обличеніе пустоты большаго свѣта, его воспитанія, образа мыслей, приличій, условій, его суеты или «дѣятельнаго бездѣйствія», какъ выразился молодой авторъ. Эти мысли, впослѣдствіи обратившіяся въ общія мѣста, тогда были еще довольно новы, хотя, конечно, едва ли кого исправили и навели на путь истинный. Но для насъ важенъ не успѣхъ проповѣди и даже не форма ея выраженія, а та струя недовольства и обличенія, которая пробивалась уже въ «Письмахъ къ лужницкому старцу». Тогда же вступилъ кн. Одоевскій въ одно частное литературное общество, которое собиралось у извѣстнаго переводчика Тассова «Іерусалима» — С. Е. Рачка. Тамъ прочелъ онъ переводъ первой главы изъ натуральной философіи Окена; тамъ же поднимался вопросъ объ изданіи новаго журнала, для котораго Одоевскій собирался написать повѣсть. Эта увѣренность, съ какою молодой писатель давалъ свое обѣщаніе, сильно подѣйствовала, по свидѣтельству очевидца, на всѣхъ е

сотоварищей: «каковъ Одоевскій!» подумали они: «такъ-таки прямо и говорить, что напишетъ повѣсть—стало быть, надѣется на себя». Журналъ этотъ, впрочемъ, не состоялся. Полевой, при сотрудничествѣ кн. Вяземскаго, задумалъ уже свой «Телеграфъ», а Одоевскій, познакомясь съ Вильгельмомъ Кюхельбекеромъ, предпринялъ изданіе «Мнемозины»,—альманаха въ 4-хъ книгахъ, изъ которыхъ первыя 3 вышли въ 1824, а послѣдняя (4-я книга)—въ 1825 г. Въ «Мнемозинѣ» было напечатано нѣсколько произведеній Пушкина, Языкова, Грибоѣдова, Дениса Давыдова, кн. Шаховскаго и др., но не въ беллетристическомъ отдѣлѣ заключалась вся сила этого любопытнаго изданія. «Мнемозина» была первымъ русскимъ журналомъ, въ которомъ серьезно трактовались различные философскіе и теоретическіе вопросы; въ ней впервые послышался голосъ научнаго изслѣдованія въ примѣненіи къ литературѣ и публицистикѣ. Князь Одоевскій выступилъ здѣсь не только съ аллегоріями и апологами, въ которыхъ выражались въ образной формѣ взгляды автора на явленія общественной жизни, доступныя литературному обсужденію, но помѣстилъ также нѣсколько статей о философіи, отличавшихся ясностью изложенія и полнымъ знакомствомъ съ избраннымъ предметомъ. Не ограничиваясь отвлеченною постановкою философскихъ вопросовъ, Одоевскій рѣшился открыто вооружиться противъ господствовавшихъ тогда въ литературной критикѣ теорій и взглядовъ Мерзлякова и противопоставилъ имъ свою систему понятій, заимствованную изъ философіи Шеллинга. Въ полемикѣ, возбужденной появленіемъ «Горя отъ ума», Одоевскій стоялъ на сторонѣ почитателей Грибоѣдова. Въ «Мнемозинѣ» же началась литературная война Москвы съ Петербургомъ, въ которой Булгарину и Гречу—представителямъ офиціозной журналистики—крѣпко доставалось отъ кн. Одоевскаго. Вообще весь этотъ журналъ составлялъ новое и необыкновенное явленіе въ нашей журналистикѣ, служа органомъ только что возникшаго философскаго направленія въ русской молодежи. Въ своихъ апологахъ Одоевскій отстаивалъ съ глубокимъ убѣжденіемъ права мысли и науки въ ихъ тяжелой борьбѣ съ господствующимъ обскурантизмомъ; онъ осмѣивалъ тѣхъ выжившихъ изъ ума старичковъ, которые, по своему невѣжеству или слабоумію, враждовали со всякою научной и общественной новизной. Между этими апологами особеннаго вниманія заслуживаетъ рассказъ: «Старики, или Островъ Панхай». Здѣсь идетъ рѣчь объ одномъ цвѣтущемъ аравійскомъ оазисѣ, о которомъ говоритъ Діодоръ Сицилійскій, гдѣ будто бы протекали чудотворныя воды, имѣвшія свойство молодить чело-

вѣка и дѣлать его безсмертнымъ въ возрастѣ юноши. Но тотъ, кто хотѣлъ сразу помолодѣть,—тотъ молодѣлъ постоянно и умиралъ младенцемъ. Вотъ этихъ-то старичковъ-младенцевъ и изображаетъ Одоевскій въ своемъ апологѣ. Старички занимаются свѣтскими разговорами, свѣтскимъ воспитаніемъ, искусствомъ «подавать совѣты»; они приобрѣтаютъ почести безъ заслугъ и скрываютъ подъ мишурою пышныхъ словъ вялое слабоуміе. «Теперь слышу-ль я старика, порицающаго ученость, потому что самъ не имѣетъ ея, порицающаго всякую новизну за то, что она новизна: ихъ невѣжество и слабоуміе не возмущаютъ меня болѣе; я вспоминаю о моемъ видѣніи и спокойно говорю себѣ: это старикъ-младенецъ». Такимъ старичкамъ-младенцамъ авторъ аполога противопоставляетъ вѣчно-юныхъ старцевъ, у которыхъ, наоборотъ, мысль никогда не дремлетъ и душевная дѣятельность пылаетъ во всѣхъ чертахъ лица. «Друзья!» такъ заключаетъ авторъ свой аллегорическій рассказъ: «улыбку старикамъ-младенцамъ и на колѣни предъ вѣчно-юными старцами!» Въ другомъ апологѣ рассказывается, какъ Алогіи хотѣлъ погасить въ храмѣ лампаду Эпименида, но пламя еще болѣе возгорѣлось, охватило всю храмину и въ прахъ обратило самого ничтожнаго гасителя. «Невѣжды-гасильщики!» восклицаетъ авторъ аполога: «ужели ваши незаконныя усилія погасятъ божественный пламень совершенствованія!» Полемическія статьи противъ Булгарина, въ которомъ Одоевскій справедливо видѣлъ одного изъ гасителей русскаго просвѣщенія, отличались, какъ мы уже сказали, даже рѣзкостью тона, совсѣмъ необычною въ литературныхъ приемахъ Одоевского, всегда сдержаннаго и изящнаго въ спорѣ. Одна изъ этихъ статей носитъ, напримѣръ, такой эпиграфъ: «хорошо тому на свѣтѣ жить, у кого ужъ нѣтъ стыда въ глазахъ». Въ другой статьѣ Одоевскій категорически объявляетъ Булгарину, что не нуждается въ его похвалахъ, не обижается его бранью и не намѣренъ болѣе вступать съ нимъ въ какія нибудь препирательства, такъ какъ Булгаринъ «разсуждать не въ состояніи, а шутокъ не понимаетъ и не стоитъ». Отвѣчая на задирательства своихъ журнальныхъ собратьевъ, подтрунивавшихъ надъ неизвѣстностью и посредственностью «Мнемозины», Одоевскій писалъ: «мы не имѣемъ понятія объ истинной знаменитости и о способахъ, которыми приобрѣтаютъ ее; мы стараемся болѣе учиться, нежели блистать ложными знаніями, объявляемъ свои мнѣнія безпристрастно о другѣхъ и недругѣхъ, объ извѣстномъ писателѣ и о неизвѣстномъ» и пр. Самыхъ же многоглаголивыхъ журналистовъ Одоевскій сравнивалъ со своимъ сѣ-

рымъ дядькою, который «хотя ничего не смыслить и не читаетъ, но о всемъ судить любить и почитаетъ себя весьма ученымъ, потому что много на своемъ вѣку разрѣзалъ листовъ въ чужихъ книгахъ». Понятно, что петербургскіе журналисты не влюбились въ «Мнемозину» и, не имѣя силъ бороться съ ея мнѣніями, старались, что называется, «замолчать» ее, убить своимъ пренебреженіемъ или дешевыми насмѣшками. Такимъ образомъ «Мнемозина», не встрѣчая ни поддержки въ журналистикѣ, ни сочувствія въ публикѣ, не привыкшей къ серьезному чтенію, должна была прекратиться на четвертой книжкѣ. Въ этой послѣдней книжкѣ, характеризуя цѣль и значеніе своего журнала, Одоевскій говорилъ на прощаніе съ читателями: «Наше изданіе расшевелило маленькое самолюбіе маленькихъ людей, почитающихъ себя великими; впослѣдствіи времени, объявивъ войну почти всѣмъ русскимъ журналамъ, почти всѣмъ старымъ предразсудкамъ, оно необходимо должно было навлечь на себя негодованіе... должно было испытать всю силу смѣшнаго журнальнаго мщенія; издатели предвидѣли это, знали участь, которая ожидаетъ всякаго, осмѣливающагося издѣваться надъ закоренѣлыми заблужденіями,—и заранѣе презирали ничтожный крикъ самолюбиваго невѣжества... «Литературные Листки», «Сынъ Отечества», «Сѣверный Архивъ», нападая на «Мнемозину», списывали и теперь еще списываютъ изъ нея сужденія о французской словесности, о необходимости народной поэзіи; даже въ «Литературныхъ Листкахъ» «Мнемозина» заставила толковать о Шеллингѣ и Окенѣ, хотя и на изворотъ; заставила журналистовъ говорить о нѣмецкихъ мыслителяхъ, такъ что иногда подумаешь, будто бы наши критики въ самомъ дѣлѣ читали сихъ послѣднихъ. Знакъ добрый! Можетъ быть, не далеко уже то время, когда сужденія, основанныя на законахъ непремѣняемыхъ, произведенія, блистающія порядкомъ и свѣтлостью мыслей, займутъ мѣсто нашихъ обыкновенныхъ, пустыхъ, сбивчивыхъ журнальныхъ теорій и литературныхъ уродовъ; когда истина восторжествуетъ надъ заблужденіями и умолкнутъ наши ничтожные судіи въ наукахъ..... Ни одно изъ нашихъ мнѣній не было опровергнуто, а вмѣсто того наши противники прибѣгли къ обыкновенному орудію безсилія: они стали толковать о вредѣ отъ излишней учености, стали укорять насъ въ хвастовствѣ знаніями; однимъ словомъ, отвѣчали намъ тономъ, который обыкновенно употребляютъ простолюдины, говоря: «мы люди неученые. Вѣримъ!» Въ концѣ этого объясненія, издатели «Мнемозины», сообщая о прекращеніи своего журнала, обѣщали возобновить его «при благоприятныхъ обстоятельствахъ». Но этимъ бла-

гопріятнымъ обстоятельствамъ не суждено было наступить, такъ какъ послѣдовавшія вскорѣ событія унесли изъ русской литературы и общества много живыхъ, дѣятельныхъ силъ. Событія 14 декабря, произведшія такое опустошеніе въ рядахъ тогдашней нашей интеллигенціи, отразились ближайшимъ образомъ на судьбѣ «Мнемозины». Сотоварищъ Одоевскаго по изданію, Вильгельмъ Кухельбекеръ, исчезъ съ литературной арены, и на самого Одоевскаго легла нѣкоторая тѣнь подозрѣнія, хотя онъ, сочувствуя многимъ идеямъ участниковъ декабрьскаго движенія, былъ чуждъ практической стороны ихъ замысловъ. Это былъ тяжелый моментъ въ жизни Одоевскаго: на его глазахъ, возлѣ него, разныгрывались тяжкія послѣдствія кровавой драмы, и въ дѣло запутаны были даже и такія личности, которыя провинились только частыми встрѣчами или дружескими связями съ признанными виновниками движенія. Событію постарались придать искусственно-широкіе размѣры; къ отвѣтственности за него хотѣли привлечь и елѣдышавшую журналистику, и мнимую «свободу преподаванія» въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Подняли голову всякіе Скалозубы, уже давно собиравшіеся замѣнить Вольтера фельдфебелемъ; громче заговорили они о вредныхъ результатахъ просвѣщенія, забывая, что просвѣщеніе только тогда и враждуетъ съ общественнымъ строемъ, когда этотъ строй не хочетъ подчиниться требованіямъ естественнаго развитія и своею неуступчивостью поддразниваетъ на битву критическую мысль..... Для Скалозубовъ все было просто; они не задумывались ни надъ какими сложными вопросами и готовы были смахнуть, какъ паутину, все то, что не укладывалось въ прямолинейныя рамки ихъ Аракчеевскихъ идеаловъ.

На Одоевскаго покосились,—и, по счастью, тѣмъ дѣло и кончилось; вѣроятно, молодому человѣку помогъ въ этомъ случаѣ и тотъ образъ жизни, который онъ велъ въ Москвѣ, погруженный въ свои философскія изслѣдованія. Въ это время онъ жилъ въ Газетномъ переулкѣ, противъ нынѣшней гостиницы Шевалье, въ домѣ своего родственника, князя Петра Ивановича Одоевскаго, извѣстнаго тѣмъ, что онъ большую часть своего состоянія пожертвовалъ на учрежденіе богадѣлни въ окрестностяхъ Москвы и устроилъ въ самой Москвѣ Дарыинскій пріютъ, въ память о своей дочери, бывшей замужемъ за графомъ Кенсона. Племянница же Одоевскаго, Варвара Ивановна, была замужемъ за Сергѣемъ Степановичемъ Ланскимъ (впослѣдствіи министромъ внутреннихъ дѣлъ), на сестрѣ котораго, Ольгѣ Степановнѣ, вскорѣ женился Владиміръ Федоровичъ. Помѣщеніе, отведенное молодому князю

въ домѣ его родственника, не отличалось большимъ просторомъ и вдобавокъ было завалено книгами—фоліантами, квартантами и всякими октавами, на столахъ, подъ столами, на стульяхъ, подъ стульями, во всѣхъ углахъ,—такъ что пробираться между ними было мудрено и опасно. На окошкахъ, на полкахъ, на скамейкахъ,—вездѣ красовались селянки, бутылки, банки, ступы, реторты и всякіе иные приборы и инструменты. Въ переднемъ углу помѣщался человѣческій скелетъ, съ надписью: *sapere aude*. «Къ какимъ ухищреніямъ должно было прибѣгнуть, чтобъ помѣстить въ этой тѣснотѣ еще фортепіано, хоть и очень маленькое,—говорить одинъ изъ старыхъ знакомыхъ Одоевскаго, посѣщавшій его въ этой квартирѣ,—теперь мудрено уже и вообразить! Это могъ сдѣлать только Одоевскій со своими изобрѣтательными способностями въ этомъ родѣ. Короче, каморка его была миниатюрою того послѣдняго кабинета, обширнаго, но еще болѣе загроможденнаго, въ которомъ мы всѣ проводили по пятницамъ, вечеромъ, столько пріятныхъ и добрыхъ часовъ въ гостяхъ у любезнаго хозяина, уже престарѣлаго».

Въ 1826 г. Одоевскій переѣхалъ на житье въ Петербургъ и, женившись тамъ, началъ свою служебную дѣятельность во II Отдѣленіи собственной его величества канцеляріи, подъ начальствомъ графа Блудова. Въ это время, во II Отдѣленіи вырабатывался новый цензурный уставъ взамѣнъ того «чугуннаго устава» (по выраженію С. Н. Глинки), который возникъ подъ вліяніемъ Магницкаго и другихъ подобныхъ ему радѣтелей просвѣщенія, и отличался такими свойствами, что строгое примѣненіе его равнялось положительному изгнанію литературы изъ государства. Такъ, напримѣръ, по силѣ этого устава, безусловно воспрещалось всякое участіе литературы въ обсужденіи правительственныхъ вопросовъ, а кромѣ взысканій съ цензоровъ за упущенія, узаконялось также взысканіе съ самихъ авторовъ, на томъ странномъ основаніи, что «цензурный уставъ имъ долженъ быть извѣстенъ»,—какъ будто бы положенія этого устава составляли какія нибудь неизбѣжныя нравственныя аксіомы, запечатлѣнныя въ сердцѣ каждого человѣка... Въ случаѣ отобранія вреднаго сочиненія, пропущеннаго по недосмотру цензуры, издателю предоставлено было право взыскивать убытки съ автора. Истолкованіе статей въ невыгодномъ для автора смыслѣ возводилось, такъ сказать, въ принципъ. «Не позволяется пропускать къ печатанію—гласилъ § 151 этого устава—мѣста въ сочиненіяхъ и переводахъ, имѣющія двоякій смыслъ, ежели одинъ изъ нихъ противенъ цензурнымъ правиламъ». Преслѣдованія устава простирались даже на

знаки препинанія: многоточія, посредствомъ которыхъ обнаруживались иногда цензурныя поправки, были прямо воспрещены. Отъ критики требовалось безпристрастіе, степень котораго опредѣлялась цензурою. Сочиненія, въ которыхъ была нарушена «чистота русскаго языка», не допускались къ печати; а подобнымъ нарушеніемъ въ глазахъ Шишкова, подъ редакціей котораго вышелъ этотъ уставъ, была какъ извѣстно, даже Карамзинская реформа литературнаго слога. Историческія изслѣдованія, трактаты по философіи и логикѣ должны были обращать на себя особенно строгое вниманіе цензуры ¹⁾. Однимъ словомъ, цензоръ Глинка былъ вполне правъ, когда говорилъ, что, руководствуясь этимъ уставомъ, «можно и «Отче наше» перетолковать яковинскимъ нарѣчіемъ». Въ передѣлѣ этого-то устава, съ цѣлью предоставить литературѣ хоть какую нибудь возможность дальнѣйшаго развитія, принялъ участіе, по официальному порученію, князь Одоевскій вмѣстѣ съ Дашковымъ. Результатомъ этихъ работъ, которыя впрочемъ подверглись измѣненію въ окончательной редакціи, было появленіе цензурнаго устава 1828 г., считавшагося въ свое время довольно льготнымъ для русской печати, въ особенности послѣ драконовскихъ постановленій въ духѣ Магницкаго. Въ своей дальнѣйшей служебной дѣятельности, князь Одоевскій, насколько было то возможно при нашемъ тогдашнемъ политическомъ направленіи, всегда избиралъ такіе пути, гдѣ онъ могъ бы принести хотя маленькую пользу развитію русскаго просвѣщенія. Въ такомъ направленіи дѣйствовалъ онъ, какъ членъ ученаго комитета въ министерствѣ государственныхъ имуществъ, только что образовавшемся подъ управленіемъ П. Д. Киселева; какъ помощникъ директора императорской публичной библіотеки, какъ директоръ Румянцевскаго музея и какъ завѣдывавшій, по особой довѣренности великой княгини Елены Павловны, нѣкоторыми изъ ея полезныхъ учреждений. Кромѣ того, близость Одоевскаго ко двору Елены Павловны, — высоко цѣнившей въ немъ и благородныя личныя качества, и возвышенный образъ мыслей, — давала ему возможность если не прямо, то посредственно, имѣть вліяніе въ тѣхъ высшихъ сферахъ, откуда исходили тѣ или другія административныя мѣры и предположенія. Нечего и говорить, что вліяніе это было всегда согласно съ интересами нашего общественнаго развитія. Можно сказать безъ преувеличенія, что

¹⁾ Подробности о возникновеніи этого устава можно найти въ I ч. нашихъ историческихъ монографій въ статьѣ: „Цензурный проектъ Магницкаго“.

участіе, которое обнаруживала Елена Павловна къ судьбамъ русской литературы и науки, во многомъ объяснялось этою близостью князя Одоевскаго, умѣвшаго заинтересовать великую княгиню всѣми наиболѣе выдающимися явленіями русской мысли и таланта. Ни одна серьезная книга, ни одно любопытное научное изслѣдованіе, ни одно талантливое беллетристическое произведеніе не проходили въ нашей литературѣ безъ вниманія со стороны князя Одоевскаго, спѣшившаго тотчасъ же познакомиться съ ихъ содержаніемъ весь кругъ своихъ великосвѣтскихъ знакомыхъ. Но, не смотря на свое аристократическое имя, на свои вліятельныя связи и знакомства въ высшемъ петербургскомъ обществѣ, князь Одоевскій до конца своей жизни не искалъ и не занималъ никакихъ важныхъ административныхъ мѣстъ, ограничиваясь любезною ему сферою ученой и благотворительной дѣятельности, хотя его сверстники и друзья могли бы, при его желаніи и при нѣкоторыхъ нравственныхъ уступкахъ съ его стороны, выдвинуть своего товарища на одинъ изъ такихъ вліятельныхъ постовъ. Но «ученный чудакъ» (какъ его величали въ нѣкоторыхъ придворныхъ кружкахъ) самъ не добивался такого возвышенія, не дорожилъ имъ, не стремился никого увѣрить въ своей способности «подтянуть», «укротить» и проч., и предпочелъ весь вѣкъ свой занимать второстепенныя должности, на которыхъ онъ могъ приносить дѣйствительную пользу, сообразную съ его взглядами и понятіями объ общественномъ благѣ. Только въ послѣдніе годы своей жизни онъ назначенъ былъ сенаторомъ, да и то поспѣшилъ сейчасъ же перебраться въ Москву, вопреки настояніямъ своихъ друзей и доброжелателей, сулившихъ ему въ Петербургѣ болѣе крупное назначеніе — членомъ государственнаго совѣта. Но престарѣлый уже «чудакъ» уперся на своемъ: въ его усталой душѣ заговорило желаніе успокоиться совершенно отъ житейскихъ тревоженій и провести мирно остатокъ своихъ дней въ томъ мѣстѣ, гдѣ протекла его первая молодость и куда влекли его старія, неугасшія симпатіи.

Не гонимая за служебными успѣхами и административной карьерой, не принося имъ въ жертву своихъ завѣтныхъ стремленій и сочувствій, Одоевскій тѣмъ свободнѣе могъ отдаваться своимъ научнымъ занятіямъ, тѣмъ независимѣе могъ выбирать себѣ кругъ ближайшихъ друзей и знакомыхъ. Его домъ составлялъ въ Петербургѣ совершенно особый центръ, въ которомъ сходились и сближались между собою самые разнообразныя элементы тогдашняго петербургскаго общества. Все талантливое, образованное и нравственно - порядочное, все, что выдвигалось

такъ или иначе надъ уровнемъ обыденной пошлости и мелкихъ страстишекъ,—все это охотно появлялось въ скромной квартирѣ князя Одоевскаго, блиставшей не роскошью, но необыкновенною симпатичностью и привѣтливостью своего хозяина. «Въ этомъ безмятежномъ святилищѣ знанія, мысли, согласія, радушія — говорить графъ В. А. Сологубъ—сходилса весь цвѣтъ петербургскаго населенія. Государственные сановники, просвѣщенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, журналисты, путешественники, молодые люди, свѣтскія образованныя красавицы встрѣчались тутъ безъ удивленія, и всѣмъ этимъ представителямъ столь разнородныхъ понятій было хорошо и ловко; всѣ смотрѣли другъ на друга привѣтливо, всѣ забывали, что за чертой этого дома жизнь идетъ совѣмъ другимъ порядкомъ. Я видѣлъ тутъ, какъ андреевскій кавалеръ бесѣдовалъ съ ученымъ, одѣтымъ въ гороховомъ сюртукѣ; я видѣлъ тутъ измученнаго Пушкина во время его кровавой драмы... Имъ нужно было имѣть тогда точку соединенія въ такомъ центрѣ, гдѣ бы андреевскій кавалеръ зналъ, что его не встрѣтитъ низкопоклонство, гдѣ бы гороховый сюртукъ чувствовалъ, что его не оскорбятъ пренебреженіемъ. Всѣ понимали, что хозяинъ, еще тогда молодой, не притворялся, что онъ ихъ любитъ,—что онъ ихъ дѣйствительно любитъ, любить во имя любви, согласія, взаимнаго уваженія, общей службы образованію, и что ему все равно, кто какой кличкой бы ни назывался и въ какомъ бы платьѣ ни ходилъ. Это прямое обращеніе къ челоувѣчности, а не къ обстановкѣ каждаго, образовало ту притягательную силу къ дому Одоевскихъ, которая не обусловливается ни роскошными угощеніями, ни краснорѣчіемъ лицемернаго сочувствія».

«Въ домѣ князя Одоевскаго,—говоритъ другой изъ посѣтителей этого дома,—и въ особенности въ его завѣтномъ кабинетѣ, всѣ были равны въ буквальномъ смыслѣ этого слова: вельможи и артисты, ученые и художники, старики и молодые — всѣ одинаково подпадали немедленно подъ безпристрастный уровень его радушія и доброжелательнаго вниманія. Всѣ чувствовали себя какъ дома, даже часто лучше, чѣмъ дома, потому что всѣ ихъ отличительныя свойства, ихъ таланты, познанія, дарованія вызывались наружу, оцѣнялись по достоинству и заслуживали одобреніе и нравственную поддержку. Преклоняясь самъ съ какимъ-то благоговѣніемъ, съ какимъ-то почти ребячески-восторженнымъ увлеченіемъ передъ всякимъ явленіемъ науки и творчества, передъ малѣйшимъ новымъ открытіемъ, къ какой бы области мышленія оно ни принадлежало, князь Владиміръ Федоровичъ съ та-

кимъ же чувствомъ чистой радости привѣтствовалъ подобное настроеніе и въ другихъ, къ какому бы сословію или слою общественному ни принадлежалъ этотъ собратъ его по мысли и чувству. Если еще можно было подчасъ уловить какой либо отгѣнокъ въ его обращеніи съ людьми, то онъ склонялся въ пользу тѣхъ, кто, по мнѣнію его, заслуживалъ большихъ правъ на званіе человека, какъ ученый или художникъ, или даже просто какъ специалистъ по какому бы то ни было особому занятію. Тогда онъ съ невинною и простодушною хитростью выпроваживалъ въ гостиную и безучастныхъ вельможъ, и свѣтскихъ знакомыхъ, съ наслажденіемъ возвращался въ свой кабинетъ, къ своимъ любимцамъ - труженикамъ, и съ юношескимъ жаромъ предавался съ ними наукамъ, искусствамъ, всякимъ опытамъ и наблюденіямъ. Пытливость его ума, жажда знанія, вѣра въ науку и во всеобъемлющую силу ума человѣческаго были по истинѣ непостижимы: все его интересовало, заботило и увлекало. Кабинетъ его носилъ рѣзкій отпечатокъ этой особенности его натуры; его можно было назвать скорѣе какимъ-то музеемъ, чѣмъ обыкновеннымъ пріютомъ отдохновенія и комфорта».

Самого же хозяина этого оригинальнаго пріюта, — пріюта, какихъ теперь нѣтъ уже и въ поминѣ, — всего лучше можно было охарактеризовать его же собственными словами изъ одной повѣсти. «Въ Москвѣ, — рассказываетъ князь Одоевскій въ своей повѣсти «Эльса», — жилъ былъ у меня дядюшка, человѣкъ не молодой, но съ умомъ, сердцемъ и образованностью, — а въ этихъ трехъ вещахъ, говорятъ, скрывается секретъ никогда не старѣться. Дядюшка не выживалъ изъ ума, потому что не выживалъ изъ людей; три поколѣнія прошли мимо его, и онъ понималъ языкъ cadaго; новизна его не пугала, потому что ничто не было для него ново; постоянно слѣдя за чудною жизнью науки, онъ привыкъ видѣть естественное развитіе этого огромнаго дерева, гдѣ безпрестанно изъ открытія являлось открытіе, изъ наблюденія — наблюденіе, изъ мысли вырастала другая мысль, которая, въ свою очередь, выводила изъ земли первоначальную. Оттого разговоръ его былъ привлекателенъ, хотя страненъ; въ немъ не было этихъ сужденій, давно вымоченныхъ и выдавленныхъ, какъ старая свекловица на сахарномъ заводѣ» ¹⁾. Этимъ драгоценнымъ качествомъ никогда не старѣть и чутко слѣдовать своимъ умомъ за движеніемъ времени, чутко отзываться на каждое новое требованіе

¹⁾ Соч. кн. Одоевскаго, ч. II, стр. 218—219.

общественной жизни, отличался кн. Одоевскій во всей своей дѣятельности и, благодаря этому качеству, ему ни разу не пришлось становиться въ разрѣзъ съ лучшими стремленіями какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и всего молодого поколѣнія.

Но зато ему нерѣдко приходилось идти въ разрѣзъ съ чувствами и поведеніями того великосвѣтскаго общества, къ которому примкнула его судьба. Въ своей повѣсти «Княжна Мими», Одоевскій съ большою силою и ѣдкостью выставилъ въ лицѣ героини повѣсти всю внутреннюю пустоту и ядовитое злорѣчіе нашихъ представительницъ свѣтскаго круга. Княжна Мими, по словамъ автора, принадлежала къ тому «безъименному обществу», которое держитъ въ своихъ рукахъ бразды свѣтскаго режима. «Оно ничего не боится: ни законовъ, ни правды, ни совѣсти. Оно судить на жизнь и смерть и никогда не перемѣняетъ своихъ приговоровъ... Членовъ сего общества вы легко можете узнать по слѣдующимъ примѣтамъ: другіе играютъ въ карты, а они смотрятъ на игру; другіе женятся, а они пріѣзжаютъ на свадьбу; другіе пишутъ книги, а они критикуютъ; другіе даютъ обѣды, а они судятъ о поварѣ».

Изобразивъ яркими красками всю духовную сущность этой великосвѣтской сплетницы и мегеры, готовой растерзать на части (конечно, въ моральномъ смыслѣ) всякую непріятную ей личность, всякую выходящую изъ ряда вонъ оригинальность, — князь Одоевскій говоритъ: «Смотря на нее, я рядилъ ее въ разныя платья, т. е. логически развивалъ ея мысли и чувства, представлялъ себѣ чѣмъ бы могла быть такая душа въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, и пріемхонько дошелъ... до костровъ инквизиціи». Великосвѣтскіе пересуды разныхъ княженъ Мими касались иногда и самого князя Одоевскаго, и ихъ уколы дѣйствовали раздражительно даже на его спокойную и самообладающую натуру. Его литературныя произведенія (какъ онъ не разъ говорилъ мнѣ) также подвергались въ этомъ ареопагѣ язвительной критикѣ и перетолкованію, отъ которыхъ ему приходилось защищаться...

V.

Общій характеръ литературной и общественной дѣятельности кн. Одоевскаго.—Основаніе „Общества посѣщенія бѣдныхъ“; его краткая исторія и роль кн. Одоевскаго.—Одоевскій отказывается отъ официальной награды за труды по этому „Обществу“.

Цвѣтушій періодъ литературной дѣятельности кн. Одоевскаго относится къ 1830—1840 годамъ; въ это время были написаны всѣ важнѣйшія его произведенія, вошедшія въ изданіе 1844 г. Мы опредѣлимъ точнѣе, вполнѣдствіи характеръ и значеніе этихъ произведеній въ исторіи русской литературы (важный этотъ предметъ требуетъ для себя подробной и обстоятельной монографіи); теперь же скажемъ только, что общій смыслъ литературной дѣятельности Одоевскаго тѣсно связывался съ характеромъ его дѣятельности общественной: какъ въ той, такъ и въ другой, мы встрѣчаемъ одинъ и тотъ же призывъ къ серьезнымъ умственнымъ занятіямъ, то же неизмѣнное стремленіе къ добру и правдѣ.

же горячую любовь къ человѣчеству и то же строгое осужденіе невѣжества, эгоизма и умственной косности. Съ половины 40-хъ годовъ литературная производительность кн. Одоевскаго значительно ослабѣваетъ, почти прекращается совсѣмъ; но не потому, чтобы онъ почувствовалъ охлажденіе къ умственной работѣ. Причину этого нужно искать въ его усилившейся практической дѣятельности, въ особенности по «Обществу посѣщенія бѣдныхъ», которое возникло главнымъ образомъ по его иниціативѣ и дѣйствовало подъ его руководствомъ во все время своего существованія. «Князь Одоевскій, — по словамъ Н. Путяты, — предался «Обществу» отъ души, и въ полномъ смыслѣ былъ его душою. Онъ посвятилъ ему все остававшееся отъ служебныхъ занятій время и всѣ средства, которыми могъ располагать при весьма ограниченномъ достаткѣ своемъ. Имъ держалась внутренняя связь «Общества», онъ соглашалъ мнѣнія, смягчалъ столкновенія, все примирялъ; онъ же боролся съ напоромъ внѣшнихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Существованіе «Общества посѣщенія бѣдныхъ» неразрывно связано съ именемъ кн. В. Θ. Одоевскаго». Мысль объ учрежденіи такого «Общества» зародилась на вечерахъ у кн. Одоевскаго и осуществленіе ея вызвано было практическою необходимостью. Получаемое почти каждымъ достаточнымъ человѣкомъ въ Петербургѣ, большее или меньшее количество просительныхъ писемъ отъ бѣдныхъ невольно приводило добросовѣстныхъ и мыслящихъ людей къ вопросу, какъ удовлетворить въ этихъ случаяхъ потребности сердца помочь ближнему: кого надѣлать по своимъ

средствамъ, кому отказать, какъ отличить истинную, горькую нужду отъ привычнаго попрошайства и дерзкаго нахальства. Чтобы выйти изъ этого тяжкаго недоумѣнія, представлялся одинъ способъ: удостовѣриться личнымъ посѣщеніемъ въ дѣйствительной бѣдности просителя и въ томъ, какой видъ помощи ему особенно нуженъ; но частнымъ лицамъ, получавшимъ передъ праздниками до сотни просительныхъ писемъ, затруднительно было прибѣгать къ подобнаго рода повѣркѣ. Разрѣшеніемъ этой задачи представилось раздѣленіе труда между тѣми самими лицами, къ которымъ обыкновенно адресуются бѣдные, и въ сосредоточеніи отдѣльныхъ благотвореній въ особомъ обществѣ. Нужно сказать, что вопросы о пролетаріатѣ, о положеніи рабочаго класса вообще, сильно занимавшіе въ то время Западную Европу, отражались и у насъ въ нѣкоторыхъ умственныхъ сферахъ. Литературныя произведенія, написанныя въ этомъ направленіи (какъ, напр., романы Эжена Сю), жадно читались многими и возбуждали живой интересъ; люди той эпохи, сохранившіе свѣжесть души, томительно искали хоть какой нибудь самостоятельной дѣятельности внѣ служебныхъ условій и казенной формалистики. Къ тому же кн. Одоевскій лично былъ весьма заинтересованъ экономическими вопросами, первый началъ затрогивать ихъ въ популярной формѣ въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ. Правила, составленныя кн. Одоевскимъ для «Общества посѣщенія бѣдныхъ», были высочайше утверждены 12 апрѣля 1848 г.; герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбергскій принялъ на себя званіе попечителя этого «Общества», а кн. Одоевскій былъ единогласно избранъ предсѣдателемъ его, что повторялось ежегодно въ теченіе девяти лѣтъ, т. е. всего существованія «Общества». Въ числѣ 25 членовъ, съ нѣсколькими стами рублей въ сборѣ, новое «Общество» тотчасъ же приступило къ своему дѣлу. Прямою цѣлью его, какъ уже сказано, было посѣщеніе бѣдныхъ, обращающихся съ просьбами о пособіи къ разнымъ благотворительнымъ лицамъ, и посредничество между этими лицами и нуждающимися бѣдняками, въ томъ разсчетѣ, чтобы благотвореніе всегда достигало своей цѣли. Пособія полагались самыя разнообразныя. Отъ каждаго члена требовалось, чтобы онъ жертвовалъ «Обществу» однимъ днемъ въ мѣсяцъ. По истеченіи полугодія, «Общество» могло уже представить довольно удовлетворительные результаты своихъ трудовъ. Князь Одоевскій посвятилъ своему излюбленному чаду и всѣ свои литературныя способности. Отчетъ за первое полугодіе, составленный имъ, сразу обратилъ на себя вниманіе публики и расположилъ ее въ пользу «Общества». Написанный живымъ, изящнымъ языкомъ (какимъ

всегда писалъ кн. Одоевскій) и наполненный любопытными подробностями, отчетъ этотъ отличался искренностью содержанія и отсутствіемъ всякаго officialнаго тона. Это было тогда большою новостью. Вообще кн. Одоевскій любилъ прибѣгать къ гласности, насколько было возможно, особенно въ отношеніи вѣряемыхъ «Обществу» и расходуемыхъ имъ суммъ. Въ два года «Общество» достигло быстраго развитія, и число его членовъ возвысилось до 300. Извѣщенія о бѣдныхъ семействахъ превысили въ эти два года цифру семи тысячъ; поступило же отъ благотворителей и отъ устроенныхъ «Обществомъ» разныхъ предпріятій болѣе 60 тысячъ рублей, изъ которыхъ на пособіе бѣднымъ и на заведенія для нихъ издержано свыше 40 тысячъ рублей. Съ самаго начала своихъ дѣйствій «Общество» убѣдилось въ необходимости не ограничиваться простою передачей пособій нуждающимся, но приступило къ устройству разныхъ благотворительныхъ заведеній. Оно устраивало ихъ временно, въ видѣ опыта, рассчитывая притомъ, чтобы нѣкоторые изъ нихъ доставляли отчасти и средства къ ихъ содержанію. Такъ, напр., «Общество» учредило нѣсколько женскихъ руководѣній, въ которыхъ задѣльная плата возрастала по мѣрѣ бесилія и степени бѣдности работающей. Для старыхъ одинокихъ женщинъ была устроена общая квартира, впредь до возможности помѣстить ихъ въ богадѣльни или другія общественныя заведенія. Семейныя квартиры были вызваны необходимостью извлекать бѣдныя семейства изъ сырыхъ, холодныхъ подваловъ и чердаковъ, и спасать ихъ отъ гибельной атмосферы. Въ двухъ дѣтскихъ ночлегахъ, для мальчиковъ и дѣвочекъ порознь, дѣти находили себѣ пристанище, откуда могли отправляться на уроки въ разные заведенія. Учрежденія «Общества» были вовсе неизвѣстны у насъ прежде или основаны на совершенно новыхъ началахъ, и соображенія учредителей оказались такъ вѣрны, что, напр., смотрительница одной руководѣльни и по закрытіи «Общества» продолжала содержать ее на свой счетъ, находя въ томъ для себя выгоду. Но успѣхи «Общества», свидѣтельствуя о довѣріи къ нему публики и благотворительныхъ лицъ, доставили ему также много недоброжелателей и возбудили какую-то странную, предосудительную зависть. Эти недоброжелатели, по свидѣтельству современниковъ и участниковъ въ дѣятельности «Общества», стали внушать, что подъ покровомъ благотворительности таились часто политическіе замыслы и заговоры; что трудно повѣрить, чтобы столько людей, большею частію занятыхъ службою или имѣющихъ инныя обязанности, употребляли свое свободное время на отысканіе бѣдныхъ по разнымъ трущобамъ единственно изъ человеколюбивой

цѣли, безъ всякой задней мысли; что значительныя средства, которыми располагаетъ «Общество», не имѣя никакихъ основныхъ капиталовъ, представляютъ также что-то загадочное (?) и проч. и проч. Февральская революція во Франціи и демократически-соціальныя движенія во многихъ столицахъ Европы еще болѣе усилили распускаемыя про «Общество» слухи. Видѣли нѣчто угрожающее даже въ томъ обстоятельствѣ, что «Общество» имѣло у себя нѣсколько тысячъ адресовъ бѣдныхъ; въ этихъ бѣднякахъ готовы были признать ядро будущей социалистической арміи, которая вотъ-вотъ наводнитъ собою петербургскія площади и провозгласитъ *droit de travail*... «Такіе слухи,—замѣчаетъ г. Путята,—какъ бы ни были они ложны и нелѣпы, не остались безъ послѣдствій. «Общество» было заподозрѣно; надъ нимъ собиралась туча, и оно ожидало своего закрытія». Такого удара однако не произошло. Но 19 марта 1848 года послѣдовалъ на имя герцога Лейхтенбергскаго высочайшій рескриптъ, въ которомъ было изображено: «Учрежденное при благопріятномъ попечительствѣ вашемъ, «Общество посѣщенія бѣдныхъ» сей столицы совершило многія дѣла, достойныя христіанскаго милосердія и истинной любви къ ближнему. Я вполне оцѣниваю таковыя подвиги и отдаю всю справедливость членамъ сего «Общества», посвятившимъ свои досуги и труды на вспомошествованіе страждущему чело-вѣку. Но дабы поставить «Общество посѣщенія бѣдныхъ» въ предѣлы одной общей благотворительности, столь изобильной уже въ сей столицѣ, и возвести его на степень, приличествующую словію, дѣйствующему отъ моего лица, я призналъ за благо: «Общество посѣщенія бѣдныхъ» въ цѣломъ его составѣ присоединить къ императорскому Человѣколюбивому Обществу, гдѣ оно, въ порядкѣ его установленія, и должно занять приличное мѣсто» и проч. Въмѣстѣ съ тѣмъ герцогъ Лейхтенбергскій ^уназначался членомъ совѣта императорскаго Человѣколюбиваго Общества.

«Сколь ни лестны были выраженія рескрипта для членовъ «Общества»—разсказываетъ г. Путята—содержаніе его поставило ихъ однако въ крайнее недоумѣніе. Представлялся вопросъ: ка-кимъ образомъ два общества, учрежденныя на началахъ совершенно противоположныхъ и притомъ съ нѣкотораго рода подчи-неніемъ одного изъ нихъ другому, могли дѣйствовать совокупно и согласно? Человѣколюбивое Общество имѣло опредѣленныя источники дохода, состояло изъ чиновниковъ на государствен-ной службѣ, получающихъ жалованье и награды, управляемое бюрократическимъ порядкомъ и дѣйствовало въ этомъ духѣ. Об-

щество же посѣщенія бѣдныхъ пользовалось только добровольнымъ содѣйствіемъ своихъ членовъ, не связанныхъ никакими формальными обязательствами. Принятая мѣра казалась «Обществу» его приговоромъ, и оно готово было разойтись. Князь Одоевскій удержалъ отъ этого. Онъ убѣдилъ ближайшихъ своихъ сотрудниковъ, а посредствомъ ихъ и другихъ членовъ, что, въ доказательство чистоты ихъ намѣреній и единственной открытой цѣли «Общества», они должны по прежнему неуклонно продолжать свое дѣло, руководствуясь тѣми же правилами, и при этомъ напряженными силами бороться до послѣдней крайности съ предстоящими затрудненіями и препятствіями. Значительная доля этой борьбы пала на него. Князь Одоевскій былъ назначенъ однимъ изъ членовъ комитета для опредѣленія отношеній «Общества посѣщенія бѣдныхъ» къ совѣту Человѣколюбиваго Общества, и долженъ былъ сперва разрѣшать эту сложную задачу, а потомъ испытывать и всю трудность примѣненія выработанныхъ началъ на практикѣ. Борьба эта стоила ему многихъ горькихъ часовъ и бессонныхъ ночей; но онъ выдерживалъ ее неустойчиво до конца.

Тѣмъ не менѣе, разрѣшить эту «сложную» задачу вполне удовлетворительнымъ образомъ—было уже положительно невозможно, и дѣятельность «Общества посѣщенія бѣдныхъ» понесла ничѣмъ не вознаградимый ущербъ. До какой степени оно было связано въ малѣйшихъ своихъ дѣйствіяхъ, какія неожиданныя препятствія встрѣчало оно на каждомъ шагу, сколько требовалось на всякую бездѣлицу объясненій и разрѣшеній, какъ трудно было отстаивать права «Общества» отъ наплыва бюрократическихъ формальностей,—всего этого надобно искать въ кипахъ бумагъ, исписанныхъ тогда княземъ Одоевскимъ. «Общество» считало гласность однимъ изъ главныхъ средствъ для поддержанія необходимаго ему довѣрія публики; теперь же, кромѣ тогдашней цензуры, обращеніе къ гласности затруднялось еще канцелярскою процедурою представленія отчетовъ. Отчеты свои «Общество посѣщенія бѣдныхъ» должно было вносить въ совѣтъ Человѣколюбиваго Общества для включенія ихъ, по надлежащемъ разсмотрѣніи, въ общій отчетъ; разрѣшеніе же на напечатаніе своего отчета отдѣльно «Общество» получало развѣ только годъ спустя, т. е. тогда, когда онъ оказывался уже несвоевременнымъ. Весною 1849 г. началась въ Петербургѣ холера, поражающая, конечно, по преимуществу бѣдныя семейства; это умножило число обращающихся въ «Общество» за пособіями и увеличило его затрудненія. Къ счастью, однако въ то же время разныя новыя приношенія доставили ему вспомогательныя средства. Го-

родское начальство прибѣгло къ «Обществу» для призрѣнія въ его заведеніяхъ значительнаго числа сиротъ за условленную отъ правительства плату. Петербургская дума ассигновала ежегодную субсидію. Статскій совѣтникъ Е. А. Кузнецовъ пожертвовалъ 40,000 руб. сер., что дало возможность преобразовать женскій дѣтскій ночлегъ въ женское училище на 180 воспитанницъ, названное Кузнецовскимъ. Въ то же время медикъ Фанъ-деръ-Флаасъ представилъ «Обществу» проектъ лѣчебницы для приходящихъ и пріисканными имъ средствами много способствовалъ къ устройству этого заведенія. Н. Θ. Аридтъ и Н. И. Пироговъ, какъ члены «Общества», отнеслись особенно сочувственно къ такому учрежденію, приняли званіе консультантовъ лѣчебницы и своими примѣромъ привлекли въ нее извѣстѣйшихъ столичныхъ врачей. Лѣчебница была учреждена собственно для больныхъ, состоящихъ на попеченіи «Общества», но вмѣстѣ съ тѣмъ она была открыта и для постороннихъ лицъ, съ платою по 30 коп. за посѣщеніе. Болѣе 8,000 человекъ посѣщали лѣчебницу въ годъ; а число сдѣланныхъ ими посѣщеній, за то же время, простиралось до 27,000. Ничтожная плата за посѣщенія покрывала большую часть расхода на содержаніе этого заведенія,—одного изъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ дѣятельности «Общества». Итакъ, «Общество», хотя и съ трудомъ, поднялось было опять на ноги и продолжало идти прежнимъ путемъ. Оно могло уже расходовать отъ 50 до 60 тысячъ рублей въ годъ, независимо отъ суммы, оставляемой въ запасъ, отъ одного года къ другому. Но, среди своихъ новыхъ успѣховъ, «Общество» понесло вдругъ чувствительную потерю. Въ половинѣ 1852 года скончался герцогъ Лейхтенбергскій, принимавшій живое, искреннее участіе въ превратныхъ судьбахъ «Общества» и лично раздѣлявшій труды его членовъ. За нѣсколько дней до своей кончины, герцогъ въ постели принималъ князя Одоевскаго, и одна изъ послѣднихъ его заботъ принадлежала «Обществу». Въ память его испрошено было разрѣшеніе назвать лѣчебницу для приходящихъ Максиміановскою, и подъ этимъ названіемъ она извѣстна до сихъ поръ всѣмъ петербургскимъ жителямъ.

Вскорѣ послѣ его кончины, «Общество» потерѣло другой ударъ. Приказомъ по военному вѣдомству запрещалось всѣмъ военно-служащимъ быть членами «Общества», такъ какъ это признавалось несовмѣстнымъ съ обязанностями ихъ службы. Вслѣдствіе этого, въ одинъ день, изъ «Общества» выбыло свыше 70 человекъ, изъ которыхъ многіе могли назваться самыми ревностными и полезными его членами. Надобно было замѣстить ихъ и удвоить

такимъ образомъ занятія оставшихся членовъ. 1853 годъ начался для «Общества» благопріятнымъ событіемъ: великій князь Константинъ Николаевичъ, по ходатайству «Общества», согласился принять на себя званіе его попечителя. Но наступившая вслѣдъ затѣмъ крымская война ограничила приливъ средствъ, которыми пользовалось «Общество»: благотворительныя приношенія стали обращаться преимущественно въ пользу раненныхъ и семействъ убитыхъ воиновъ. Въ то же время значительно сократился и личный составъ «Общества»: одни изъ членовъ оставили столицу; другіе были отвлечены усиленными служебными занятіями; нѣкоторые поступили въ ряды арміи; а прибыли новыхъ силъ нельзя было и ожидать въ тогдашнее тревожное время. «Общество» рѣшилось прекратить свои дѣйствія и было упразднено въ апрѣлѣ 1855 года. Князь В. Ѳ. Одоевскій остался на своемъ мѣстѣ, чтобы похоронить «Общество» съ честью. Учрежденная подъ его предсѣдательствомъ комисія ликвидировала вполнѣ удовлетворительно дѣла «Общества»; всѣ обязательныя платежи произведены въ точности, а оставшіяся суммы распределены такъ, что дряхлые и немощные пансіонеры «Общества» по возможности обезпечены въ дальнѣйшемъ своемъ содержаніи; дѣти же, принятыя на попеченіе, — въ окончательномъ воспитаніи. Заведенія отчасти закрыты, за исключеніемъ Кузнецовскаго женскаго училища и Максимиліановской лѣчебницы для приходящихъ, которую приняла подъ свое покровительство великая княгиня Елена Павловна, поручивъ ближайшее завѣдываніе князю Одоевскому. По закрытіи «Общества», великій князь Константинъ Николаевичъ, признавая, что это учрежденіе «обязано князю Одоевскому большею частію тѣхъ благотѣльныхъ результатовъ, которыхъ оно достигло», изъявилъ желаніе исходатайствовать ему особую высочайшую награду и съ этою цѣлью обратился по мѣсту службы князя Одоевскаго, къ директору публичной библіотеки барону М. А. Корфу, съ запросомъ о томъ: какую награду считаетъ баронъ Корфъ приличною для своего подчиненнаго? На этотъ запросъ директоръ публичной библіотеки отвѣчалъ, что «цѣня вполнѣ заслуги Одоевскаго по устроенію библіотеки», а также бывъ свидѣтелемъ того «совершеннаго самоотверженія», съ которымъ князь трудился на пользу бѣдныхъ въ «Обществѣ», имъ созданномъ и «въ немъ одномъ находившемъ главныя элементы своей жизни», онъ, баронъ Корфъ, считалъ бы достойнымъ наградить князя Одоевскаго чиномъ тайнаго совѣтника. Награду эту князь Одоевскій, конечно, и получилъ бы, еслибы не узналъ во время о своемъ представленіи. Но, узнавъ случайно о содер-

жаниі рескрипта великаго князя Константина Николаевича, князь, Одоевскій не счелъ себя вправе воспользоваться этою наградю и написалъ великому князю одно изъ такихъ писемъ которыя, по всей вѣроятности, не часто встрѣчаются въ исторіи нашихъ официальныхъ наградъ и повышеній. «Ваше императорское высочество—писалъ этотъ оригинальный проситель объ отказѣ—приучили меня къ полной передъ вами откровенности; позвольте и теперь высказать все, что у меня на душѣ. Мнѣ, русскому человѣку, дорогá всякая монаршая милость, и по моей дѣйствительной службѣ я не былъ ею оставленъ; но я всегда отклонялъ отъ себя всякую награду по благотворительнымъ учрежденіямъ; ибо въ моихъ глазахъ занятія сего рода въ сравненіи со службою—ничто иное, какъ всякое другое житейское занятіе: тамъ святой долгъ, здѣсь просто добрая воля и удовлетвореніе внутреннему влеченію. То, что я сдѣлалъ, сдѣлалъ бы всякій другой при тѣхъ обстоятельствахъ, въ которыя я былъ поставленъ. Не припишите, ваше высочество, этихъ словъ пустому суетумудрію или униженію паче гордости; я не прикрываю себя ложнымъ смиреніемъ, я знаю, что не одна случайность, но, можетъ быть, и нѣкоторая привычка къ дѣлу поставила меня неожиданно дѣйствующимъ лицомъ въ этомъ учрежденіи; но было бы несправедливо полагать, что оно своими невѣроятными успѣхами въ теченіе девяти лѣтъ было обязано лишь одному мнѣ. Вашему императорскому высочеству извѣстно многосложное устройство бывшаго «Общества»: что могла въ немъ значить дѣятельность одного лица?.. Милостивое намѣреніе ваше отличить мои труды уже ставитъ меня выше всѣхъ моихъ товарищей; горячее участіе, принятое по сему поводу моимъ начальникомъ по службѣ, вообще нерасточительнымъ на слова, отрадно моему сердцу и льститъ моему самолюбію; но всякая другая, отдѣльная мнѣ, награда будетъ имѣть совсѣмъ иное значеніе: сколь неоцѣнима для меня монаршая милость, но я не могу избавить себя отъ мысли, что, при особой мнѣ наградѣ, въ моемъ лицѣ будетъ соблазнительный примѣръ человѣка, который принялся за дѣло подъ видомъ безкорыстія и сроднаго всякому христіанину милосердія, а потомъ, тѣмъ или другимъ путемъ, а все достигъ награды, принадлежащей лишь за заслуги по дѣйствительной службѣ. Быть такимъ примѣромъ противно тѣмъ правиламъ, которыхъ я держался въ теченіе всей моей жизни; дозвоьте мнѣ, вступивъ на шестой десятокъ, не измѣнить имъ... Если ваше императорское высочество дозволите мнѣ въ семъ дѣлѣ выразить мое мнѣніе, то я полагаю бы, что ласковое цар-

ское слово всѣмъ членамъ комисіи для окончанія дѣлъ «Общества посвѣщенія бѣдныхъ», со внесеніемъ въ ихъ формулярные списки, было бы высокою и утѣшительною для насъ всѣхъ наградою, вмѣстѣ съ исполненіемъ извѣстныхъ ходатайствъ комисіи»¹⁾.

VI.

Какъ встрѣтилъ князь Одоевскій нашу «эпоху возрожденія» послѣ крымской войны?—Признаніе необходимости реформъ и возраженія обскурантамъ.—Моя первая встрѣча съ княземъ Одоевскимъ.—Его письмо ко мнѣ по поводу исторіи русской журналистики.

Крымская война, вмѣстѣ съ военными неудачами, принесла съ собою внутреннее обновленіе Россіи, возбудила цѣлый рядъ вопросовъ первостепенной общественной важности, разрѣшеніе которыхъ не заставило себя долго ждать. Россія, извѣдавъ тяжкимъ опытомъ печальныя послѣдствія старой правительственной системы, выступала на новый путь. Одна за другой готовились и обсуждались реформы, открывавшія свободный выходъ сдавленнымъ общественнымъ силамъ. Одоевскій, живо сохранявшій въ себѣ всѣ лучшія стремленія своей молодости, точно сбросилъ съ плечъ нѣсколько десятковъ лѣтъ... Отъ всей полноты души онъ привѣтствовалъ начинавшееся возрожденіе своего отечества, выражая горячее сочувствіе и оказывая нравственную поддержку всѣмъ добрымъ предположеніямъ въ правительственныхъ сферахъ. Его сохранившійся дневникъ за это время, въ который онъ заносилъ свои отрывочныя замѣтки по поводу разныхъ слуховъ и проектовъ, показываетъ ясно, на чьей сторонѣ стоялъ онъ и чьи интересы защищалъ тогда. Партію ретроградовъ и обскурантовъ, запугивавшихъ правительство опасными послѣдствіями реформъ, онъ называлъ стрѣлцкою партіей, которая тоскуетъ по старинѣ только потому, что не умѣетъ создать ничего лучшаго, и въ общественной неподвижности и мертвечинѣ видитъ единственно прочное политическое начало. Въ декабрѣ 1855 г. Одоевскій вноситъ въ свой дневникъ слѣдующую любознательную замѣтку: «Въ городѣ ходятъ сильныя толки о циркулярѣ ** (подъ этими звѣздочками подразумѣвается имя одного изъ тогдашнихъ министровъ,—если не ошибаемся, С. С. Ланскаго).

¹⁾ См. «Русскій Архивъ» 1870 г., № 4—5; мѣста, напечатанныя курсивомъ, подчеркнуты въ подлинникѣ письма князя Одоевскаго.

Я никакъ не могъ достать его, но вотъ какъ рассказываютъ его содержаніе: ** цитуетъ одно рукописное письмо, въ которомъ говорится, что многосложность формъ и привычная въ отчетахъ ложь привели насъ къ настоящему бѣдственному положенію; что, судя по отчетамъ, все, хотя постепенно, но идетъ къ совершенству, тогда какъ на дѣлѣ совершенно противное; подъ блистательною наружностью—гниль; что для того, чтобы угадать истину подъ канцелярскимъ многословіемъ, надобно читать между строкъ, на что немногіе способны. Засимъ ** рекомендуетъ это замѣчаніе своимъ подчиненнымъ, прибавляя, что требуетъ правды, даже непріятной, и если получить отчетъ съ междустрочіемъ, то возвратить его съ гласностью. Этотъ циркуляръ былъ нѣкоторыми людьми показанъ постороннимъ, говорятъ — читанъ въ англійскомъ клубѣ, говорятъ — тамъ при прочтеніи закричали: «ура!» По городу пошелъ говоръ, который весьма огорчаетъ **. Жаль, если эта болтовня смутитъ его на правдивомъ пути. Ложь, многословіе и взятки — вотъ тѣ три піявицы, которыя сосутъ Россію; взятки и воровство покрываются этою ложью, а ложь—многословіемъ. Этотъ циркуляръ есть истинный подвигъ, больше полезный для государя и отечества, нежели взятіе Карса. Всякій благонамѣренный человекъ душою пристрастится къ правительству, которое наконецъ положить предѣлъ канцелярской лжи. Можно отличить человека честнаго отъ негодяя по тому только: рго онъ или солга циркуляра. Правда, послѣдніе нападаютъ на него лишь стороною, говоря, напримѣръ: какъ можно назвать наше положеніе бѣдственнымъ? Это не политично: что скажутъ иностранцы? Какъ будто иностранцы не знаютъ всю суть лучше нашего! Напротивъ, признать опасность своего положенія есть дѣло ума и силы. Кто знаетъ свою рану, тотъ ее залѣчить, если можно, а бѣлилами ея не замажешь».

Въ другой замѣткѣ, написанной по другому поводу, князь Одоевскій говоритъ: «пожары и другіе разныя безпорядки въ Москвѣ даютъ поводъ неблагонамѣреннымъ людямъ толковать, что эти прискорбныя явленія суть слѣдствія мѣръ, принимаемыхъ правительствомъ для прекращенія крѣпостнаго состоянія. Здѣсь мы видимъ одно изъ самыхъ обыкновенныхъ средствъ, употребляемыхъ такими людьми для противодѣйствія или, по крайней мѣрѣ, для задержанія великаго отечественнаго дѣла. Ничего нѣтъ соблазнительнѣе, какъ при видѣ двухъ одновременныхъ явленій утверждать, что одно есть причина другаго. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ есть люди, думающіе, что правительство откажется отъ своего преднамѣренія, что все будетъ

по старому, что можно отложить въ долгій ящикъ; а если будутъ волненія, то тѣмъ лучше: на то есть штыки и пушки, а потомъ все пойдетъ по старому». Такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ у насъ всегда поднимаются толки о необходимости репрессивныхъ мѣръ, и «стрѣлечкая партія» очевидно хотѣла прибѣгнуть къ полицейскому террору, чтобы предотвратить всякія реформы, то Одоевскій заноситъ по этому поводу въ свой дневникъ новую замѣтку весьма любопытнаго и назидательнаго содержанія: «Полиція. Несостоятельность этого учрежденія въ политическомъ смыслѣ обнаруживалась неоднократно въ новѣйшей исторіи: при іюльской революціи, при паденіи Луи-Филиппа, въ 1848 г. во всей Европѣ, при паденіи новой республики, при покушеніи Орсини, наконецъ нынѣ (писано въ 1860 г.) въ Сициліи, гдѣ система тайной полиціи была развита въ высшей степени и гдѣ на нее ничего не жалѣли... Король неаполитанскій надѣялся увеличить въ войскѣ духъ единства и нравственности посредствомъ священниковъ, утреннихъ и вечернихъ молитвъ, исповѣди и проповѣди: въ результатѣ оказался духъ вольнодумства, а съ тѣмъ вмѣстѣ полное отсутствіе всякой жизненности, деревянный механизмъ, негодность каждаго солдата на всякое дѣло, кромѣ грабежа. Защитникъ неаполитанской камарилы (журналъ *le Monde*, гдѣ участвуетъ извѣстный *Veuillot* и который королевѣ-матѣ называетъ *la sainte*) признаетъ, что единственное войско, на которое король можетъ положиться, это—*les régiments égaugers*, состоящіе изъ смѣси швейцарцевъ, австрійцевъ, нѣмцевъ и другихъ разнородныхъ лицъ. Такъ іезуитская камарилья развѣла связи между властью и народомъ! Примѣръ назидательный, ибо іезуитская камарилья дѣйствуетъ вездѣ одинакимъ образомъ: грабя страну, устрашая власть непокорствомъ народа, народъ—собственнымъ своимъ коварствомъ, она развѣдаетъ всѣ связи общественныя, дабы самой дѣйствовать подъ шумокъ во всемъ раздольѣ самоуправства. Когда она, притѣсненіями и отсутствіемъ officialнаго правосудія и частной справедливости, выведетъ народъ изъ терпѣнія, тогда камарилья начинаетъ утверждать, что виновата не она, а книги и журналы, пропитанные революціоннымъ духомъ, противъ котораго всѣ средства позволени. Когда власть, прорвавъ завѣсу, посредствомъ которой камарилья скрывала отъ нея дѣйствительность, рѣшается на преобразование, т. е. на удовлетвореніе настоятельныхъ потребностей (какъ Карлъ X или нынѣшній король неаполитанскій), тогда камарилья старается исфальшивить эти преобразования и вмѣстѣ съ тѣмъ

обвинить ихъ въ томъ злѣ, которое она съ давнихъ поръ воспитала. Къ большому прискорбію, іезуитская камарилья развращаетъ народную нравственность, приучая народъ бояться не суда и закона, но случайности, и смѣшивая въ его понятіяхъ добродѣтель съ угодливостью и вывертливостью, а виновность съ несчастьемъ, отъ котораго можно отдѣлаться разными житейскими средствами. Народъ, потерявъ нравственное чувство совѣсти и слѣдуя въ этомъ примѣру высшихъ надъ нимъ лицъ, теряетъ вѣру въ добросовѣстность власти, и ея часто искреннее желаніе улучшеній, ея раскаяніе — принимаетъ за политическую хитрость и ввѣряется первому встрѣчному вожаку, который и самъ не знаетъ, куда онъ идетъ и куда ведетъ. Такова печальная исторія человѣчества».

Допущенная въ то время свобода литературнаго обсужденія разныхъ общественныхъ и политическихъ вопросовъ возбуждала противъ себя множество протестовъ со стороны завзятыхъ реакціонеровъ, готовыхъ придраться къ каждому неловкому шагу только что становившейся на ноги гласности. Прислушиваясь къ этимъ враждебнымъ и насмѣшливымъ толкамъ, Одоевскій записываетъ въ своемъ дневникѣ: «многіе требуютъ отъ гласности того же, что иные больные, которые хотятъ, чтобы принятое лѣкарство тотчасъ ихъ вылѣчило. Такъ, одинъ господинъ спрашивалъ: можно ли на гласность хоть пару сапоговъ купить? Это былъ господинъ, заправляющій довольно обширнымъ кругомъ дѣятельности. Его вопросъ значить, что онъ находится въ блаженномъ невѣдѣніи о томъ, что нѣтъ денегъ безъ довѣрія и нѣтъ довѣрія безъ гласности... Впрочемъ, и то сказать, наша гласность часто напоминаетъ анекдотъ, рассказанный въ Кургановскомъ «Письмовникѣ». Кривой, встрѣтивъ горбатаго, спросилъ его: «Такъ рано, а ты уже съ такою ношею на спинѣ». — «То правда, что рано, остроумно отвѣчалъ горбатый: — у тебя еще только одно окошко открыто».

Наши англomаны, которыхъ довольно много развелось въ то время и которые желали бы перенести къ намъ инныя, всего мѣнѣе свойственныя русской почвѣ, англійскія учрежденія, — вызвали у князя Одоевскаго очень мѣткое сатирическое замѣчаніе: «Дикость выражается преимущественно односторонностью. Дикарь, не знавшій огня и увидѣвшій свѣчку, необходимо долженъ возвести ее на степень Бога. Аракчеевъ былъ также дикарь, именно потому, что во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ видѣлъ одинъ элементъ: принужденіе, дѣятельность подъ страхомъ наказанія. Господинъ, никогда ничего порядочно не изучавшій и потому не-

развитый, ѣдетъ въ Англію. Видъ просвѣщенной страны поражаетъ дикаря: точно такъ, какъ прежде онъ ее знать не хотѣлъ, теперь одну ее только и видитъ, и не хочетъ знать ничего остальнаго. Не достигая до познанія Бога, онъ останавливается на фетишизмъ, который можетъ быть и религіознымъ, и нравственнымъ, и политическимъ. Все это—дикость на разныхъ ступеняхъ. Видѣлъ, напр., человекъ оксфордскій университетъ, узналъ, что онъ—родъ монастыря, и слѣпо вѣрить, что въ томъ вся и суть, и что всѣ университеты должны быть такъ образованы. Что оксфордскій университетъ основанъ на огромные капиталы англійской аристократіи, что тамъ всякій студентъ имѣетъ своего тьютора, платитъ и можетъ платить до 500 фунтовъ стерлинговъ, это не дошло до свѣдѣнія дикаря. Дикаремъ бываетъ и человекъ, который прочтетъ въ жизни одну лишь книжку и ничего не хочетъ знать, кромѣ этой книжки».

Въ этотъ періодъ нашего общественнаго движенія завязалось и мое личное знакомство съ кн. Одоевскимъ. Въ концѣ 50-хъ годовъ я задумалъ написать для Сборника, издаваемого студентами здѣшняго университета, критико-біографическую статью о Д. В. Вeneвитиновѣ. Разыскивая матеріалы для его біографіи и узнавъ, что у покойнаго поэта есть братъ, находившійся тогда еще въ живыхъ, я обратился съ просьбою къ И. Д. Делянову (тогдашнему попечителю петербургскаго учебнаго округа)—доставить мнѣ возможность познакомиться съ А. В. Вeneвитиновымъ, отъ котораго я и получилъ много интересныхъ для меня біографическихъ свѣдѣній. Статья моя, составленная по этимъ матеріаламъ, была напечатана въ II-мъ томѣ студенческаго Сборника. Только тогда уже, когда мой очеркъ появился въ печати, я узналъ отъ А. В. Вeneвитинова, что кн. Одоевскій очень заинтересовался имъ и желалъ бы лично побесѣдовать со мною объ этомъ предметѣ. Нельзя было обойти такой богатый источникъ новыхъ свѣдѣній о занимавшихъ меня вопросахъ, тѣмъ болѣе, что личность кн. Одоевскаго,—уже извѣстная мнѣ заочно по литературнымъ его произведеніямъ,—представлялась мнѣ весьма симпатичною, и я радъ былъ случаю увидѣть его и поговорить съ нимъ. Вооружившись рекомендательнымъ письмомъ отъ А. В. Вeneвитинова, я отправился, лѣтомъ 1860 г., на дачу къ кн. Одоевскому, въ Лѣсной корпусъ. Я не помню уже ни улицы, ни дома, въ которомъ жилъ тогда Владиміръ Ѳеодоровичъ (дача была его собственная); но впечатлѣнія первой встрѣчи живо сохраняются въ моей памяти. Одоевскій принялъ меня въ своемъ кабинетѣ, на верху, куда я долженъ былъ взобраться по узенькой

лѣсенкѣ. Изъ-за груды разныхъ книгъ, бумагъ и громоздкихъ фоліантовъ, на встрѣчу мнѣ поднялась небольшая фигура хозяина, одѣтаго въ какой-то оригинальный костюмъ, съ колпачкомъ на головѣ и въ большихъ старомодныхъ очкахъ, вздѣтыхъ на лобъ. Во всякомъ другомъ человѣкѣ такой нарядъ и обстановка могли бы показаться смѣшною претензіею на оригинальность; но первый же взглядъ, брошенный мною на страннаго по виду хозяина, совершенно расположилъ меня въ его пользу. И нарядъ, и обстановка какъ-то шли къ нему, гармонировали выполнѣ съ его дѣйствительно-самобытною личностію. Изъ-подъ высокаго, мыслящаго лба, на которомъ и лѣта, и долгій умственный трудъ оставили свой замѣтный отпечатокъ, — спокойно и вдумчиво смотрѣли выразительные глаза, какъ бы лаская и ободряя собесѣдника; пріятный, тихій голосъ, — съ какою-то особою интонаціею, придававшю каждому слову вѣсъ и значеніе, — довершалъ впечатлѣніе обстановки и фигуры хозяина. Мнѣ показалось, что я оторвалъ этого оригинальнаго старика отъ какихъ-то серьезныхъ размышленій, которымъ онъ предавался наединѣ со своими любимыми книгами. Но это не помѣшало ему сейчасъ же перейти къ другому предмету и быстро овладѣть имъ во время разговора. Рѣчь шла преимущественно о значеніи того философскаго кружка, къ которому принадлежалъ Дмитрій Веневитиновъ и о которомъ, по мнѣнію Одоевскаго, очень мало и плохо говорилось въ исторіи русской литературы. При этомъ Одоевскій высказывалъ мысль, что вообще исторія литературныхъ кружковъ съ такимъ серьезнымъ направленіемъ, какимъ отличался кружокъ Веневитинова, должна была бы входить значительнымъ элементомъ въ исторію русской мысли, которая всегда пробивалась у насъ этими узенькими дорожками, за неимѣніемъ другихъ, болѣе широкихъ и открытыхъ путей. Кромѣ того, Одоевскій обратилъ мое вниманіе на ту роль, которую игралъ нѣкогда въ русской журналистикѣ «Московский Вѣстникъ», задуманный Веневитиновымъ и его друзьями. Всѣми этими замѣчаніями я воспользовался впоследствии, когда передѣлывалъ и доканчивалъ мою статью для отдѣльнаго изданія сочиненій Веневитинова. Отдѣльный оттискъ моей статьи (изъ студенческаго Сборника), который я тогда же захватилъ съ собою, былъ удержанъ кн. Одоевскимъ и потомъ возвращенъ мнѣ, испещренный разными дополнительными замѣтками, которыя не пришли въ голову при бѣгомъ разговорѣ. Въ заключеніе этой первой бесѣды, Одоевскій просилъ меня навѣщать его въ городѣ, осенью, когда онъ вернется съ дачи (онъ жилъ тогда въ зданіи Румянцевскаго музея, на набережной, у

Николаевского моста). Я воспользовался его приглашеніемъ и тою же осенью успѣлъ побывать у него нѣсколько разъ, причемъ рамки нашихъ бесѣдъ постепенно раздвигались, захватывая въ себя не только прошлое, но и настоящее положеніе русской литературы, и не одни литературные вопросы, а также общественные и политическіе. Готовившаяся тогда крестьянская реформа поглощала все вниманіе кн. Одоевскаго, и онъ съ глубокимъ чувствомъ говорилъ о томъ обновленіи, которое внесетъ эта реформа въ русскую жизнь. Привѣтливость хозяина и его умѣнье найти въ каждомъ своемъ гостѣ хоть одну живую струну, съ тѣмъ чтобы эсплуатировать ее, такъ сказать, на пользу общую, оживляли вечера, проведенные мною въ кабинетѣ кн. Одоевскаго. Всѣхъ своихъ гостей онъ имѣлъ обыкновеніе знакомить другъ съ другомъ и, нивелируя ихъ общественныя положенія, всегда умѣлъ заинтересовать ихъ какимъ нибудь общимъ разговоромъ. Не смотря на всю мою провинціальную застѣнчивость, я ни разу не почувствовалъ себя неловко въ этомъ избранномъ кругу, въ которомъ генералы, статсъ-секретари и придворные люди мѣшались съ начинающими артистами и писателями. Помню, что на этихъ вечерахъ я познакомился съ покойнымъ М. И. Сарриотти, который только что вернулся изъ Италіи и искалъ дебюта въ русской оперѣ. Тутъ же я встрѣтилъ впервые нѣкоторыхъ московскихъ славянофиловъ, съ которыми у Одоевскаго происходили часто крупныя споры. Въ началѣ 1861 г., переработавъ мою статью о Веневитиновѣ, я отослалъ ее въ рукописи къ кн. Одоевскому и не позже, какъ черезъ двѣ недѣли, получилъ ее обратно при слѣдующемъ письмѣ, которое позволяю себѣ привести цѣликомъ: «Я передъ вами кругомъ виноватъ, почтеннѣйшій и любезнѣйшій Александръ Петровичъ. Но что прикажете дѣлать! Я не могъ вамъ посвятить часовъ моего раздолья, т. е. ночи; ибо, не смотря на мою способность читать всевозможныя почерки, я и днемъ останавливался надъ вашимъ, а при свѣчахъ онъ моимъ ослабѣвшимъ глазамъ былъ вовсе недоступенъ; а и мелкую печать я теперь по ночамъ уже съ трудомъ читаю; днемъ же вы знаете мою жизнь, которая, особенно въ январѣ и февралѣ, становится очень тяжка, по причинѣ отчетовъ разныхъ заведеній, находящихся въ моемъ завѣдываніи. Такъ, Бога ради, не взыщите за мою медленность, о которой впрочемъ я васъ предупреждалъ. Въ статьѣ вашей я сдѣлалъ кое-какія отмѣтки, что припомнилось; имѣлъ я поползновеніе придираиться иногда и къ вашему языку, но легонько, ибо уважаю всякую своеобытность, и не стать старику задерживать молодую прыть.

Знаете, что я вамъ скажу. Работа вамъ легко дается, языкомъ владѣете и рыться не лѣннѣтесь: что бы вамъ приняться за исторію русской литературы и, во-первыхъ, русской журналистики, именно со временъ «Телеграфа», съ котораго началась настоящая наша журналистика. Пишите по частямъ, печатайте въ журналахъ; пусть написанное пройдетъ черезъ критику, а вы между тѣмъ имѣйте задуманный предварительно планъ: составить изъ отдѣльныхъ частей нѣчто цѣлое. Хорошая рамка, для небольшой, разумѣется, книги, — у Баранта, въ «*Histoire de la littérature française*». Надѣюсь черезъ недѣлю нѣсколько освободиться отъ дѣлъ, и тогда выберемъ вечерокъ для толкованія объ этомъ, если хотите. Васъ душевно уважающій К. В. Одоевскій (19 февраля 1861 г.).

Если вспомнить ту разницу въ лѣтахъ и общественныхъ положеніяхъ, которая отдѣляла въ то время меня, начинающаго писателя-студента, отъ извѣстнаго литератора и человѣка, занимавшаго очень видное придворное положеніе, какимъ былъ князь Владиміръ Оеодоровичъ; если обратить далѣе вниманіе на простой, дружескій тонъ, господствующій въ этомъ письмѣ, а также на его историческую дату (день освобожденія крестьянъ), — то нельзя не признать, что, встрѣчая молодаго писателя, въ которомъ онъ видѣлъ нѣкоторую способность къ литературному труду, князь Одоевскій совершенно забывалъ всѣ внѣшнія условія и, какъ товарищъ товарища, старался ободрить и поддержать новичка, находя досугъ даже въ такой хлопотливый моментъ для всѣхъ лицъ высшаго круга, какъ 19-е февраля 1861 года. Тутъ не было ни малѣйшаго оттѣнка покровительственныхъ отношеній, никакого литературнаго меценатства, ни смѣшнаго самодовольства своими собственными успѣхами и значеніемъ, — самодовольства, которое нерѣдко проскальзываетъ, даже помимо ихъ воли, у заслуженныхъ и авторитетныхъ писателей. Это былъ довѣрчивый, открытый обменъ мыслей между работниками одного и того же дѣла, — и тѣмъ больше уваженія почувствовалъ я къ человѣку, способному держать такой тонъ въ сношеніяхъ съ молодежью. Замѣчанія, высказанныя мнѣ кн. Одоевскимъ въ письмѣ, дали намъ пищу для нѣсколькихъ вечернихъ бесѣдъ, послѣ которыхъ я рѣшился приступить къ очеркамъ изъ исторіи русской журналистики, начать ихъ съ первыхъ русскихъ вѣдомостей Петра Великаго. Князь Одоевскій согласился со мною, что появленіе «Московского Телеграфа» было подготовлено всѣмъ предъидущимъ развитіемъ нашей журналистики, и что для полноты картины слѣдовало остановиться и на изданіяхъ Миллера, и на сатирическихъ листкахъ Новикова, и на журналахъ Карамзина, освѣтивъ всѣ эти ли-

тературные факты указаніемъ общей, связывающей ихъ, нити развитія. При этомъ кн. Одоевскій сообщилъ мнѣ нѣсколько любопытныхъ свѣдѣній объ эпохѣ Булгарина съ братією, которыя и вошли въ мою статью: «Журнальный триумvirатъ».

VII.

Князь Одоевскій въ Москвѣ въ послѣдніе годы его жизни. — Служба въ сенатѣ въ званіи первоприсутствующаго. — Претензіи московскаго дворянства въ 1865 г. и записка князя Одоевскаго. — Заступничество за невинно-пострадавшихъ. — Взглядъ на тюремную реформу.

Вскорѣ послѣ того (лѣтомъ 1862 г.) кн. Одоевскій назначенъ былъ сенаторомъ въ московскіе департаменты сената. Незадолго до отъѣзда въ Москву, безъ всякой просьбы съ моей стороны, онъ успѣлъ таки замолвить обо мнѣ слово великой княгинѣ Еленѣ Павловнѣ, при опредѣленіи моемъ на службу въ Маріинскій институтъ преподавателемъ русской словесности. Великая княгиня возбудила было вопросъ о томъ, что я слишкомъ еще молодъ для преподаванія въ старшихъ классахъ института, гдѣ учились дѣвицы почти однихъ со мною лѣтъ; но князь Одоевскій энергически отстаивалъ меня, прибавляя шутливо, что «молодость — такой недостатокъ, который съ каждымъ днемъ проходить». Не ограничиваясь этою рекомендаціею, кн. Одоевскій убѣдилъ меня составить особую записку о преподаваніи русской литературы, которую онъ и прочелъ великой княгинѣ, какъ программу моей педагогической дѣятельности, — и великая княгиня отнеслась одобрительно ко всѣмъ взглядамъ, выраженнымъ мною въ этой запискѣ, хотя они далеко не согласовались съ господствовавшею тогда рутиною женскаго образованія. Въ послѣднее время, въ Петербургѣ Одоевскій жилъ въ Михайловскомъ дворцѣ, занимая тамъ часть флигеля, противъ Михайловскаго театра. Вечернія собранія у него продолжались и здѣсь вплоть до отъѣзда, хотя нерѣдко случалось, что любезный хозяинъ, внезапно вызванный къ великой княгинѣ, долженъ былъ на время разставаться съ своимъ обществомъ. Иногда же великая княгиня, не желая лично тревожить хозяина и отвлекать его отъ гостей, присылала къ нему за тою или другою книгою, или обращалась съ коротенькою запиской по интересовавшему ее дѣлу.

Въ Москвѣ, на службѣ въ сенатѣ, занимая постъ первоприсутствующаго въ 8-мъ департаментѣ, Одоевскій долженъ былъ посвятить себя юриспруденціи и изучать сводъ законовъ. Москов-

скіе друзья его не надѣялись на успѣхъ, но бывшій оберъ-прокуроръ этого департамента (нынѣ членъ государственнаго совѣта) К. П. Побѣдоносцевъ свидѣтельствуетъ, что Одоевскій работалъ усердно и былъ однимъ изъ самыхъ внимательныхъ и дѣятельныхъ сенаторовъ. М. П. Погодинъ рассказываетъ, что ему случилось однажды попросить Владимира Фёдоровича по дѣлу г. Фета о какой-то мельницѣ, которую у него отнималъ или на которой запрещалъ ему молоть привязчивый сосѣдъ,—и добросовѣстный сенаторъ, черезъ нѣсколько времени, на вопросъ о ходѣ дѣла, прочелъ цѣлую лекцію о паденіи воды и размѣрилъ вершиками, что жалоба на Фета была несправедлива. Также же точно поступалъ онъ и безъ всякихъ просьбъ, въ другихъ дѣлахъ: послѣ него осталось нѣсколько фоліантовъ съ собственноручными описаніями рѣшенныхъ при его участіи сенатскихъ дѣлъ, откуда видно, сколько труда полагалъ онъ на исполненіе своихъ судебныхъ обязанностей. «Каждое утро,—говоритъ г. Побѣдоносцевъ въ своихъ воспоминаніяхъ о кн. Одоевскомъ,—въ десять часовъ, раньше всѣхъ являлся онъ въ сенатъ, и вслѣдъ за нимъ являлся огромный портфель его, въ родѣ ларца или чемодана, съ дѣлами и съ записными книгами, которыя велъ онъ съ безпримѣрною акуратностью и терпѣніемъ, отмѣчая въ нихъ ходъ каждаго производства и всѣ его особенности. Надолго еще, по окончаніи присутствія, князь оставался въ сенатѣ, занимаясь чтеніемъ сенатскихъ журналовъ и объясненіями съ дѣлопроизводителями. Нерѣдко до вечеренъ просиживали мы съ нимъ въ присутственной комнатѣ, прерывая иногда дѣловыя занятія пріятною бесѣдою. Князь любилъ говорить особенно о философіи, о литературѣ, о естественныхъ наукахъ».

Съ горячимъ сочувствіемъ, съ юношескими надеждами встрѣтилъ Одоевскій первые зачатки судебной реформы и вѣрилъ безусловно въ благотворную силу основныхъ ея началъ. «Какъ онъ радовался—по свидѣтельству г. Побѣдоносцева,—когда въ сенатѣ допущена была гласность производства со словесными состязаніями тяжущихся! Какъ заботился приспособить внѣшнюю обстановку присутствія къ новому порядку! До послѣднихъ дней жизни, не смотря на ослабленіе силъ, оставался онъ первоприсутствующимъ въ сенатѣ и продолжалъ свою дѣятельность съ тѣмъ же неизмѣннымъ усердіемъ и постоянствомъ, въ такую пору когда у всякаго, кромѣ его, можетъ быть, опустились бы руки. Въ московскихъ департаментахъ сената, обреченныхъ уже на скорое упраздненіе, настала пора безлюдія и унынія, и князь не менѣе другихъ скорбѣлъ о томъ, что въ рукахъ послѣднихъ дѣяте-

лей распадается воспитавшее ихъ учрежденіе, но онъ не терялъ духа и работалъ по прежнему, одобряя усердно послѣднихъ работниковъ»...

Прѣздомъ черезъ Москву, въ 60-хъ годахъ, я не разъ видался съ кн. Одоевскимъ и, съ своей стороны, могу подтвердить все то, что сказано о немъ его ближайшимъ сотрудникомъ по сенату. Вообще всякая реформа, клонившаяся къ возбужденію у насъ общественнаго духа, къ сближенію сословій и уравниенію ихъ правъ передъ закономъ, возбуждала неизмѣнную симпатію кн. Одоевскаго, и эта черта была тѣмъ драгоцѣннѣе въ его характерѣ, что лично, по своему происхожденію, связямъ и кругу дѣятельности, онъ принадлежалъ къ высшему общественному слою въ Россіи. «Дѣла земскія, городскія, всякія общественныя, такъ живо занимали кн. Одоевскаго—сообщаетъ г. Кошелевъ,—что онъ съ особеннымъ удовольствіемъ читалъ журналы этихъ учреждений. Въ Петербургѣ онъ былъ гласнымъ общей думы (до введенія новыхъ городскихъ учреждений), и гласнымъ, весьма много трудившимся. Здѣсь (въ Москвѣ), по его просьбѣ, городской голова присылалъ ему доклады разныхъ комисій общей думы; онъ читалъ ихъ и даже дѣлалъ разныя замѣтки, которыя охотно сообщалъ здѣшнимъ гласнымъ. У меня онъ всегда бралъ журналы земскихъ собраній—рязанскаго губернскаго и сапожковскаго уѣзднаго—и никогда не возвращалъ ихъ безъ своихъ замѣтокъ». При такихъ симпатіяхъ кн. Одоевскаго, весьма понятно, что проявившееся въ 1865 г. въ московскомъ дворянскомъ собраніи стремленіе мѣстнаго дворянства навестать утраченное помѣщичье право приобрѣтеніемъ какого-то политическаго протектората надъ другими сословіями,—это стремленіе, сейчасъ же подхваченное и раздутое по-своему газетою «Вѣсть», возбудило противъ себя ожесточенную оппозицію со стороны кн. Одоевскаго. Не сочувствуя нисколько такому обособленію дворянства и видя въ этомъ опасный шагъ назадъ, кн. Одоевскій немедленно по прочтеніи статьи, помѣщенной въ «Вѣсти» (онъ пріѣзжалъ тогда на время въ Петербургъ), написалъ противъ нея сильное возраженіе, которое за многими подписями должно было появиться въ газетахъ. Вотъ дословное содержаніе этого протеста: «Въ № 4 (14 января) журнала «Вѣсть» помѣщена статья, содержащая въ себѣ будто бы предположеніе большинства московскаго дворянскаго собранія о разныхъ предметахъ, относящихся не до пользы и нужды одного московскаго дворянства, но до всего дворянства, и даже до всего нашего государственнаго устройства. Имѣя честь принадлежать къ русскому дворянству, мы, нижеподписавшіеся, опасаемся,

чтобы молчаніе съ нашей стороны не было сочтено знакомъ согласія на такое предположеніе, которое по его содержанію, а еще болѣе по рѣчамъ, высказаннымъ для истолкованія его смысла, мы находимъ и несвоевременнымъ, и несообразнымъ какъ съ настоящими потребностями Россіи, такъ равно съ ея исторіей, съ ея политическимъ и народнымъ бытомъ, и съ ея мѣстными и естественными условіями. Посему считаемъ долгомъ заявить, что, по нашему глубокому убѣжденію, дѣло дворянства, въ настоящую минуту, состоитъ въ слѣдующемъ: 1) Приложить всѣ силы ума и воли къ устраненію остальныхъ послѣдствій крѣпостнаго состоянія, нынѣ съ Божіею помощью уничтоженнаго, но бывшаго постояннымъ источникомъ бѣдствій для Россіи и позоромъ для всего ея дворянства. 2) Принять добросовѣстное и ревностное участіе въ дѣятельности новыхъ земскихъ учрежденій и новаго судопроизводства, и въ сей дѣятельности почерпать ту опытность и знаніе дѣлъ земскихъ и судебныхъ, безъ которыхъ всякое, какое бы ни было учрежденіе осталось бы безплоднымъ за недостаткомъ способныхъ исполнителей. 3) Не поставлять себѣ цѣлью себялюбивое охраненіе однихъ своихъ сословныхъ интересовъ исключительно, не искать розни съ другими сословіями предъ судомъ и закономъ, но дружно и совокупно со всѣми вѣрноподданными трудиться для славы государя и пользы всего отечества. 4) Пользуясь высшимъ образованіемъ и большимъ достаткомъ, употреблять имѣющіяся средства для распространенія полезныхъ знаній во всѣхъ слояхъ народа, съ цѣлью усвоить ему успѣхи наукъ и искусствъ, насколько то возможно для дворянства. Наконецъ, вообще содѣйствовать искренно и честно, съ довѣріемъ и любовью, тѣмъ благодатнымъ преобразованіямъ, которыя нынѣ уже предначертаны мудрымъ нашимъ государемъ, не нарушая ихъ естественнаго хода и постепеннаго развитія безвременнымъ и безправнымъ вмѣшательствомъ».

Когда Одоевскій вернулся въ Москву, то онъ былъ встрѣченъ цѣлымъ градомъ сплетенъ, распространившихся на его счетъ въ бѣлокаменной столицѣ: его выдавали чуть не за доносчика, который хотѣлъ подслужиться правительству и затормозить общественное развитіе. Понятно, что слухи эти всего усерднѣе распускались тѣми самыми крѣпостниками, которымъ пришлась не по сердцу честная оппозиція кн. Одоевскаго и которые видѣли въ немъ, въ его аристократическомъ имени, очень опаснаго врага для своихъ барскихъ затѣй. Князь Одоевскій былъ крайне раздраженъ этими сплетнями и написалъ по поводу ихъ слѣдующее

(нигдѣ не напечатанное) письмо къ одной дамѣ, которая пожелала узнать, изъ-за чего загорѣлся весь этотъ сырѣ-боръ?

«Вы хотите знать—писалъ Одоевскій—въ чемъ состоитъ мое преступленіе (подчеркнуто въ имѣющемся у меня экземплярѣ письма) противъ феодальности, верховначества и прочихъ тому подобныхъ вещей,—по просту сказать, противъ горькой нелѣпицы,—преступленіе, совершенное мною 15 января 1865 г., т. е. на другой день послѣ появленія невѣроятной статьи, помѣщенной въ № 4 журнала «Вѣсть», 14 января того же года. Вотъ вамъ мое преступленіе, какъ оно было и есть; въ немъ не перемѣнено ни запятой. Я съ трудомъ отыскалъ его въ моихъ бумагахъ,—такъ далеко былъ я отъ мысли, что когда либо это мое преступленіе послужитъ канвою для вышивки разной бессмысленной клеветы. Какъ видите, мое преступленіе — ничто иное, какъ журнальная статья, написанная, можетъ быть, немножко крѣпко, но за подписью моего имени, къ которому въ печати должно были присоединиться много другихъ именъ; статья, написанная въ отвѣтъ на журнальную же печатную статью, еще болѣе крѣпкую, ибо въ ней говорится не отъ имени того или другаго отдѣльнаго лица, а отъ имени всего русскаго дворянства.

«Я былъ тогда въ Петербургѣ; никакія письма, никакія извѣстія изъ Москвы,—какъ о томъ распускаютъ слухъ,—не могли мнѣ служить источникомъ для моей статьи, да это было и матеріально невозможно. № 4 «Вѣсти» вышелъ въ Петербургѣ 14 января, моя старческая кровь закипѣла при чтеніи этой хвастливой и опасной нелѣпицы; я тогда же написалъ мою статью, а 15 января она уже была отправлена по принадлежности для полученія позволенія ее напечатать. Вотъ и вся исторія.

«Весьма сожалѣю, что статья моя не была тогда же напечатана; но тому воспрепятствовали обстоятельства, отъ меня не зависѣвшія и которыхъ я не въ силахъ былъ преодолѣть. Впослѣдствіи характеръ всего дѣла измѣнился: «Вѣсть» была запрещена, и № 4 былъ отобранъ полиціею; я счелъ неприличнымъ съ моей стороны настаивать на напечатаніи моей статьи, ибо по пословицѣ: лежачаго не бьютъ. За это деликатство,—какъ то нерѣдко со мною уже случалось въ жизни,—я теперь и наказуюсь.

«Вѣдомо вамъ буди, что эта статья есть мое единственное преступленіе въ семъ случаѣ; инаго я не совершалъ, ни словомъ, ни дѣломъ, ни перомъ, ни карандашемъ; но скажите тѣмъ, кого

это можетъ интересовать, что я и напередъ не откажусь отъ моего преступнаго поведенія, если найду то нужнымъ; можетъ быть даже, что вторичное мое преступленіе будетъ покрѣпче, ибо я буду имѣть больше времени для его совершенія, а не то, что 24 часа спѣшной работы.

«Мои убѣжденія—не со вчерашняго дня; съ раннихъ лѣтъ я выражалъ ихъ всѣми доступными для меня способами: перомъ — насколько то позволялось тогда въ печати, а равно и въ правительственныхъ сношеніяхъ; изустною рѣчью — не только въ частныхъ бесѣдахъ, но и въ официальныхъ комитетахъ; вездѣ и всегда я утверждалъ необходимость уничтоженія крѣпостничества и указывалъ на гибельное вліяніе олигархіи въ Россіи болѣе 30 лѣтъ моей публичной жизни доставили мнѣ лишь новыя аргументы въ поддержаніе моихъ убѣжденій. Учившись смолоду логикѣ и постарѣвъ, я не считаю нужнымъ измѣнять моихъ убѣжденій въ угоду какой бы то ни было партіи. Никогда я не ходилъ ни подъ чьей вывѣской, никому я не навязывалъ моихъ убѣжденій, но зато выговаривалъ ихъ всегда во всеуслышаніе, весьма опредѣлительно и рѣчисто, а теперь уже поздно мнѣ переучиваться. Если враги мои, въ отмщеніе за мой честный и законный протестъ, прибѣгаютъ къ бессмысленной клеветѣ, — къ этому оружію маленькихъ душонозъ, — то ихъ лепетъ не возбуждаетъ во мнѣ даже презрѣнія; я и знать не хочу, что они тамъ болтаютъ. Они не остановятъ моихъ дѣйствій, когда я сочту нужнымъ дѣйствовать, какъ и когда мнѣ заблагоразсудится, ибо то, что я отстаиваю, считаю дѣломъ святымъ и разумнымъ, а всѣ продѣлки въ исключительную пользу какой либо касты — источникомъ неисчисленныхъ бѣдъ для Россіи, о коихъ, кажется, и не подумали люди, находящіеся подъ вліяніемъ блестящей надежды о какомъ-то столбовомъ верховничествѣ. Званіе русскаго дворянина, моя долгая, честная, чернорабочая жизнь, не запятанная ни происками, ни интригами, ни даже честолюбивыми замыслами; наконецъ, если угодно, и мое историческое имя — не только даютъ мнѣ право, но налагаютъ на меня обязанность не оставаться въ робкомъ безмолвіи, которое могло бы быть принято за знакъ согласія, въ дѣлѣ, которое я считаю высшимъ человѣческимъ началомъ и которое ежедневно примѣняю на практикѣ въ моей судейской должности, а именно: безсловное равенство предъ судомъ и закономъ, безразличія званій и состояній». (Письмо это помѣчено 18-мъ марта 1865 г.).

Переписанный экземпляр протеста, предназначавшагося для помѣщенія въ газетахъ, а также копія съ вышеприведеннаго письма, переданы мнѣ лично кн. Одоевскимъ при свиданіи нашемъ въ Москвѣ, лѣтомъ 1866 г. При этомъ Владиміръ Ѳедоровичъ сказалъ мнѣ, грустно улыбаясь и какъ бы предвидя уже свою близкую кончину: «Сплетни живучи, особенно въ нашемъ обществѣ, которое живетъ и питается ими, и то, что теперь говорится обо мнѣ втихомолку, быть можетъ, по смерти моей попадетъ и въ печать. Вы, вѣроятно, переживете меня, — и вотъ вамъ документы, которыми можно опровергнуть лгуновъ». Затѣмъ онъ продолжалъ, на словахъ, съ большимъ одушевленіемъ, развивать тѣ же мысли о нормальномъ развитіи русскаго общества, о необходимости уничтоженія сословной розни, которая выражалъ и въ своемъ письмѣ.

Помню я, что въ то же время, вслѣдствіе прискорбнаго событія 4-го апрѣля, для добраго сердца кн. Одоевскаго представилось новое поприще дѣятельности. Какъ всегда бываетъ у насъ въ подобныхъ тревожныхъ обстоятельствахъ, полицейская власть слишкомъ поусердствовала и начала забирать подъ арестъ, въ Москвѣ, не только лицъ, находившихся въ связи съ виновниками покушенія, но и совсѣмъ не причастныхъ къ дѣлу, которыя, только по чьему либо усмотрѣнію, могли казаться подозрительными. Нѣкоторые изъ арестованныхъ (въ ихъ числѣ былъ и одинъ знакомый князя Одоевскаго) обратились къ Владиміру Ѳедоровичу съ просьбою о заступничествѣ, въ которомъ онъ, убѣдившись въ ихъ невинности, конечно, и не отказалъ имъ. Не успѣлъ еще я выѣхать изъ Москвы, какъ этотъ знакомый князя, освобожденный по его ходатайству, появился у него за обѣдомъ, — и надо было видѣть, съ какою теплою и сердечностью встрѣтилъ его радушный хозяинъ! Въ томъ же 1866 г. князь Одоевскій, не упуская изъ виду ни одного серьезнаго государственнаго вопроса, весьма живо отнесся къ зарождавшейся тогда въ Москвѣ тюремной реформѣ. Бывшій рабочій домъ преобразовывался, подъ руководствомъ графа Соллогуба, въ исправительную тюрьму, въ которой примѣнялось уже начало исправленія арестантовъ посредствомъ правильно-организованнаго труда. Желая подвергнуть это дѣло публичному обсужденію, графъ Соллогубъ написалъ статью, которую предложилъ прочесть князю Одоевскому. Не смотря на свою обязательно-срочную, ежедневную работу, Одоевскій такъ заинтересовался этою статьею, что въ два дня успѣлъ уже прочитать ее и возвратитъ автору при письмѣ, содержаніе котораго остается любопытнымъ и въ настоящую ми-

нуту, когда тюремная реформа окончательно рассмотрѣна и утверждена, въ главныхъ основахъ, особою комисіею при государственномъ совѣтѣ.

«Твоя статья—писалъ князь Одоевскій графу Соллогубу—дѣлаетъ тебѣ честь, а мнѣ удовольствіе. Грустно подумать, что у насъ еще надобно доказывать необходимость труда, уничтоженіе нарѣ, раздѣленіе половъ и пр. т. п. Злоупотребленіе, дурной выборъ людей, это особая статья, вездѣ возможная,—но что меня бѣситъ, это—наша страстная лѣнь, которая мѣшаетъ думать о вещахъ, которыя сами на думанье напрашиваются. Еслибы Фурье пожилъ у насъ, то не написалъ бы своей системы гармонизаціи страстей, зане въ страсти лѣни, въ страсти ничего-недѣланія—онъ бы нашелъ такой элементъ, который уничтожаетъ всѣ другіе. Я сдѣлалъ нѣкоторыя замѣтки въ твоей статьѣ. Ты ужасно небрежно пишешь; зная превосходно языкъ, ты отъ лѣни предаешься галлюцинаціямъ, недодѣланію фразъ и прочему подобному разврату. Хорошая и сильная сторона въ твоей статьѣ—то, что она не вырождетъ какой-либо съ потолка падающей теоріи, а выжалась фактами. Слабая—устройство администраціи тюремъ. Ты слишкомъ доверяешься главному начальнику тюрьмы (графъ Соллогубъ предполагалъ назначить при тюрьмѣ особаго попечителя безъ жалованья), предполагая въ немъ какого-то ангела;—безмездность не спасеніе; черти служатъ сатанѣ безъ жалованья, и люди тоже. Нынѣшніе комитеты (тюремные)—вещь безобразная, но необходимъ надъ административною властью контроль; у насъ онъ можетъ быть изъ нѣсколькихъ лицъ по выбору отъ земства, а въ городахъ отъ думы, и съ тѣмъ, чтобы они были не ради филантропіи, какъ дамскіе комитеты, но ради препятствія администраціи: препятствія необходимы, они — нашъ лучший наставникъ, и въ этомъ дѣлѣ больше, нежели во всякомъ другомъ. Такой комитетъ не долженъ вмѣшиваться въ администрацію, но администрація должна ему отдавать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ, хоть разъ въ годъ; члены комитета должны имѣть право входа въ тюрьму и право сообщенія своихъ замѣчаній начальству тюрьмы,—и такіе замѣчанія, съ отвѣтами начальства, слѣдуетъ печатать во всеуслышаніе. Для плохаго начальства комитетъ будетъ плеткою, для хорошаго—колокольчикомъ въ обществѣ и нравственною опорою. Иногда — препятствіе, но, повторяю, это не бѣда. Въ концѣ статьи я бы сжалъ ее въ краткое заключеніе... Хочешь прочесть статью у меня, въ еді изъ пятницъ (только не въ эту, по причинѣ вечерняго молебст

наканунѣ открытія новыхъ судебныхъ мѣстъ),—я соберу нѣсколькихъ юристовъ въ моемъ кабинетѣ; только увѣдомъ и а в ѣ р н о е, ибо эти люди дорожатъ временемъ и нельзя ихъ таскать понапрасну. А главное, напечатай эту статью и разошли ее по всѣмъ губерніямъ. Если заведется полемика—тѣмъ лучше¹⁾. (Письмо помѣчено 19-мъ апрѣля 1866 года).

Мы думаемъ, по нашему собственному многолѣтнему опыту въ званіи директора петербургскаго тюремнаго комитета, что способъ преобразованія комитетовъ, предложенный княземъ Одоевскимъ, съ участіемъ городскихъ и земскихъ представителей, — едва ли не самый удобный и полезный изъ всѣхъ другихъ проектовъ преобразованія. «Довѣряться главнымъ начальникамъ тюремъ»,—какъ бы они ни назывались: попечителями или инспекторами,—и устранить при этомъ всякій общественный контроль, который все же допускался, хотя и въ слабой формѣ, уставомъ попечительнаго о тюрьмахъ общества—дѣйствительно не слѣдуетъ, и «плетка» надъ дѣйствіями администраціи, особенно въ такомъ щекотливомъ дѣлѣ, какъ тюремный надзоръ, безусловно необходима,—не въ видѣ начальническаго внушенія, которое можетъ и не воспослѣдовать по причинѣ отдаленности или небрежности высшаго начальства, но подѣ условіемъ гласности и участія общественнаго мнѣнія, о чемъ хлопоталъ князь Одоевскій. Безъ этого существеннаго условія, при одномъ офиціальномъ наблюденіи, смотрители тюремъ могутъ обратиться въ ужаснѣйшихъ деспотовъ, и въ тюрьмахъ будутъ разыгрываться самыя отвратительныя и даже кровавыя сцены...

VIII.

Житейскія заботы кн. Одоевскаго въ Москвѣ; его умственные занятія и „отдыхъ“.—Взглядъ кн. Одоевскаго на заслуги русской прессы въ дѣлѣ проведенія реформъ и на новый цензурный уставъ.—Послѣднее литературное слово кн. Одоевскаго: „отвѣтъ“ И. С. Тургеневу.—Кончина Владиміра Фёдоровича.

До отъѣзда своего въ Москву и живя тамъ, кн. Одоевскій уже не принималъ активнаго участія въ русской литературѣ, отвлекаемый отъ этого участія множествомъ офиціальныхъ и неофиціальныхъ дѣлъ и хлопотъ. Въ душѣ его таился такой обильный, неизсякаемый источникъ любви къ человѣчеству, къ наукѣ, къ искусству; такая страстная, съ годами не угасшая привязан-

¹⁾ Сообщеніемъ этого письма мы обязаны графу В. А. Соллогубу.

ность къ прогрессу общественной жизни; съ тѣмъ вмѣстѣ онъ былъ такъ нѣжно-добръ, такъ доступенъ всѣмъ и каждому, такъ отзывчивъ на вопль нужды, горя и обиды,—что, при всѣхъ этихъ качествахъ, онъ, понятно, не оставался празднымъ ни одной минуты, но, покончивъ со своими служебными обязанностями, прочитавъ интересовавшія его книги и статьи (причемъ нерѣдко демонстрировалась на опытѣ, въ его кабинетѣ, та или другая научная теорія),—переходилъ прямо къ исполненію своего человѣческаго долга, т. е. къ практическимъ заботамъ объ улучшеніи участи разныхъ лицъ, прибѣгнувшихъ къ нему со своими просьбами и жалобами. Сотни людей, которыхъ имена кн. Одоевскій тщательно скрывалъ, испытали на себѣ его личную доброту и готовность прійти на помощь въ критическій моментъ жизни; немало найдется и такихъ лицъ, которыя всею своею дальнѣйшею карьерою обязаны безкорыстному участию и рекомендаціи князя Владиміра Ѳеодоровича, обратившаго на нихъ вниманіе «высокопоставленныхъ» особъ. Извѣстно также, что онъ вмѣстѣ съ Жуковскимъ былъ самымъ ревностнымъ покровителемъ и защитникомъ Кольцова, весьма часто нуждавшагося въ сильной защитѣ¹⁾. Въ Москвѣ, какъ и въ Петербургѣ, продолжалась по прежнему эта дѣятельность кн. Одоевскаго на пользу ближняго. «Въ благоговѣйной памяти къ тому смиренію и той скромности, которыя всегда сопровождали его добрыя дѣла — говорить московскій знакомый Владиміра Ѳеодоровича, г. Тимирязевъ—мы не позволяемъ себѣ поднять завѣсу, скрывающую отъ всеобщаго вѣдѣнія всѣ многочисленныя проявленія его благотѣлній и истинно-христіанскаго милосердія. Всякое благотвореніе, въ какомъ бы видѣ оно ни высказывалось, находило въ немъ постоянно усерднаго поборника и щедраго участника». «Нужно ли было слово замолвить—подтверждаетъ ту же черту гр. Солмогубъ—поправить ошибку, поддержать передъ сильными міра сего, Одоевскій уже тамъ, забываетъ, что онъ слабъ и нездоровъ, хлопочетъ, объясняетъ, ѣздитъ, проситъ и добивается своего. И, добившись своего, онъ спѣшитъ домой отдохнуть, т. е. погрузиться въ законы акустики, опредѣлить археологическую постепенность музыкальной науки, сдѣлать наблюденіе надъ гальванизмомъ, вывести математическія таблицы, углубиться въ созерцаніе естественныхъ наукъ, медицины, физиологій, философій, педагогики и пр. Такъ отдыхалъ онъ! Затѣмъ, собственно музыка была для него лакомствомъ. Онъ

¹⁾ См. мою статью: «Кольцовъ въ Воронежѣ» («Сѣв. Пчела» 1862 г., № 39), въ которой напечатаны письма Кольцова къ кн. В.Ѳ. Одоевскому.

любилъ ее страстно, но любилъ не по одной нервной впечатлительности артиста, а какъ испытатель сочетанія звуковъ, какъ изыскатель точныхъ законовъ». Во время такого «отдыха», кн. Одоевскій усердно, не какъ диллетантъ, но какъ человѣкъ универсальнаго образованія, слѣдилъ за всѣми мало-мальски замѣтными произведеніями литературы и науки,—и не только слѣдилъ, но имѣлъ обыкновеніе заносить свои мысли и впечатлѣнія по поводу прочтеннаго въ особую памятную тетрадь; иногда же набрасывалъ ихъ вскользь, на поляхъ книги или газеты, подобно Евгенію Онѣгину, но, конечно, съ бѣльшимъ углубленіемъ въ сущность предмета. Этотъ рядъ «ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ» частію появился въ «Русскомъ Архивѣ» (откуда мы извлекли нѣсколько любопытныхъ мнѣній и взглядовъ); другая же часть сохраняется въ библіотекѣ покойнаго князя и еще ждетъ внимательнаго изученія.

Но и не принимая уже въ литературѣ дѣятельнаго участія (если не считать нѣсколькихъ газетныхъ статей, написанныхъ по разнымъ случаямъ), кн. Одоевскій, тѣмъ не менѣе, до конца дней своихъ видѣлъ въ себѣ, прежде всего, русскаго литератора и, конечно, имѣлъ не меньше права на этотъ почетный въ глазахъ его титулъ, чѣмъ любой присяжный дѣятель прессы, такъ какъ идеи, выраженные имъ въ литературныхъ произведеніяхъ, онъ проводилъ практически въ жизнь и такимъ образомъ не отдѣлялъ слова отъ дѣла,—чѣмъ далеко не всякій присяжный литераторъ можетъ похвастаться. Къ тому же, поставленный по своему положенію въ возможность вліять прямо или косвенно на судьбу русской печати вообще, на измѣненіе къ лучшему ея внѣшнихъ условій, онъ и съ этой стороны оказывалъ ей серьезную услугу, ратуя всегда за предоставленіе печати возможно-широкаго права обсужденія въ дѣлахъ государственныхъ и общественныхъ. Въ тридцатыхъ годахъ, кн. Одоевскій, и перомъ своимъ, и живымъ, убѣдительнымъ словомъ, воевалъ противъ Булгаринской клики, противъ газетной и журнальной монополіи, состоявшей на откупъ у нѣсколькихъ самозванныхъ «охранителей», въ сущности разрушавшихъ своей постыдной дѣятельностью всѣ основы цивилизованнаго общества. И все это онъ имѣлъ мужество говорить и писать тогда, когда справедливая оппозиція противъ журнальной клики,—забравшей въ свои руки печатное слово и распоряжавшейся имъ съ цинизмомъ торгашей и доносчиковъ,—казалась въ высшихъ сферахъ предосудительнымъ и неблагонамѣреннымъ дѣломъ, когда люди съ «государственными соображеніями» толковали, что гораздо проще и удобнѣе имѣть одинъ или два журнала, и при-

томъ такихъ, съ которыми при случаѣ нечего церемониться, не-
жели возиться со многими и вдобавокъ непокорными; когда, на-
конецъ, одинъ изъ представителей этого сорта возрѣній громко-
гласно говорилъ: *«vaut mieux le monopole, que des jougnaux!!»* Горя-
чій и искренній защитникъ свободы мысли и слова, свободы на-
учнаго изслѣдованія, князь Одоевскій съ одинаковымъ привѣтомъ
встрѣтилъ и новый университетскій уставъ, освобождавшій нашу
научную дѣятельность отъ канцелярской и департаментской опеки,
и новыя льготныя правила для печати, снимавшія съ нея отча-
сти иго предварительной цензуры. Князь Одоевскій любилъ срав-
нивать силу мысли съ силою пара: какъ паръ, не находя себѣ
правильнаго выхода или спасительнаго клапана, рветъ котлы и
портитъ машины, такъ точно и мысль, задержанная въ своемъ
нормальномъ ростѣ и развитіи, перестаетъ быть созидательнымъ
началомъ, но обращается на разрушеніе, на подпольную работу,
уклоняется отъ прямого прогрессивнаго пути, или—по выраже-
нію Одоевскаго—«даетъ задній ходъ машинѣ». Боязнь крайнихъ
направленій не должна, по мнѣнію кн. Одоевскаго, останавливать
и пугать истинно-государственного человѣка; крайнія теоріи—съ
одной стороны аракчеевщина, а съ другой насильственный радика-
лизмъ—всего удобнѣе коренятся и разрастаются на почвѣ безглас-
ности, нравственной приниженности и умственной апатіи, не встрѣ-
чая въ обществѣ ни дѣльной, правдивой критики, ни серьезнаго
отпора, такъ какъ ни то, ни другое невозможно за отсутствіемъ сво-
боды сужденія и авторитетныхъ органовъ общественнаго мнѣнія. По-
ловинчатая, не высказывающаяся до конца критика, свободная только
въ восхваленіи существующаго порядка, не приноситъ пользы, не ра-
зоблачаетъ иллюзій, которыя именно въ этой недосказанности, въ
этихъ вынужденныхъ умолчаніяхъ, и находятъ для себя точку
опоры, заподозривая искренность и честность опроверженій. «Вы,
дескать, говорите не то, что думаете, или, по крайней мѣрѣ, не
все то, что думаете» — подсмѣиваются приверженцы недозво-
ленныхъ теорій надъ своими противниками». И эта насмѣшка
попадаетъ въ цѣль, дискредитируетъ и задачу, и приемы критики.
Такимъ образомъ, положительное, разумно-политическое направле-
ніе, которое, вмѣстѣ съ критикою существующаго, указываетъ на
возможные идеалы будущаго, остается какъ бы въ загонѣ, а преміи
получаетъ огульное отрицаніе, которое ведетъ успѣшно свою пропо-
вѣдь полусловами и намеками, проскальзывающими сквозь самое час-
тое цензурное сито. По глубокому убѣжденію кн. Одоевскаго, иллю-
зій и скороспѣлыхъ теорій опровергаются вполне лишь открытымъ пу-
темъ, т. е. знаніями, фактами, болѣе обдуманнѣйшими теоріями. Тотъ и

любить и не уважаетъ своего народа, кто думаетъ, что весь онъ, въ массѣ, неспособенъ слушаться голоса добра и истины, но имѣетъ какое-то фантастическое предрасположеніе къ злу и фальши; а потому истинный патріотъ долженъ заботиться не объ изобрѣтеніи новыхъ тормозовъ для развитія просвѣщенія и политическаго смысла въ народѣ, не о лишеніи общества активнаго участія въ своихъ собственныхъ дѣлахъ, не о стѣсненіи свободы мнѣній, но, наоборотъ, о наиболѣе широкомъ распространеніи образованія, преимущественно въ массѣ народа (на этомъ поприщѣ кн. Одоевскій и самъ потрудился, какъ издатель «Сельскаго Чтенія», въ которомъ лучшія популярно-научныя статьи принадлежатъ его перу), о расширеніи гражданскихъ и общественныхъ правъ, независимо отъ различія сословій, объ уничтоженіи всякихъ олигархическихъ, исключительныхъ поползновеній, направленныхъ къ выгодѣ отдѣльныхъ лицъ и сословій. Свѣтъ свободной мысли, какъ свѣтъ солнца, истребляетъ гниль и плѣсень, гнѣздящуюся въ глухихъ и темныхъ закоулкахъ общественной жизни, лишенныхъ притока свѣжаго воздуха; этотъ Божій свѣтъ прогоняетъ призраки, страшные только въ сумеркахъ, подъ вліяніемъ разстроеннаго воображенія. Такою очистительною и въ основѣ своей живущею силою кн. Одоевскій считалъ свободу прессы, не смотря на случайныя уклоненія, ошибки и даже злонамѣренность нѣкоторыхъ ея дѣятелей. Злоупотребленія и профанція возможны въ самомъ святомъ дѣлѣ, но они нисколько не роняютъ достоинствъ общаго принципа; даже больше: злоупотребленія тѣмъ чаще встрѣчаются, чѣмъ ограниченнѣе кругъ дѣйствующихъ лицъ, чѣмъ больше проникнуть онъ духомъ кумовства и парціальности. Здравый общественный смыслъ только тогда вступаетъ въ свои права, когда каждый мыслящій человѣкъ можетъ вполне и открыто высказывать въ печати свои мнѣнія по всѣмъ интересующимъ его вопросамъ. При этомъ условіи, никакое кумовство, никакая злонамѣренность не собьютъ съ толку общества, достаточно вооруженнаго для борьбы съ ними. Подтверженіе этому кн. Одоевскій находилъ въ той долѣ свободы, которая была предоставлена русской печати съ началомъ реформъ нынѣшняго царствованія и благодаря которой наши журналы могли не только подготовить общество къ разумному воспріятію этихъ реформъ, но и установить почву для дальнѣйшихъ преобразованій. Эта важная, можно сказать, государственная заслуга, принадлежащая русской прессѣ, неизмѣримо превышала, по мнѣнію кн. Одоевскаго, всѣ ея слабыя стороны, ея промахи и увлеченія.

Придавая такое высокое значеніе прессѣ, кн. Одоевскій, какъ

мы сказали, сочувственно отнесся къ дарованію ей нѣкоторыхъ льготъ въ 1865 г., но онъ не одобрялъ системы «предостереженій», заимствованной изъ вовсе чуждой намъ обстановки Наполеоновскаго режима, и, вѣруя въ справедливость и безпристрастіе новаго суда, полагалъ, что этотъ судъ надежнѣе администраціи могъ бы гарантировать насъ отъ дѣйствительныхъ злоупотребленій печатнымъ словомъ. Судебный приговоръ, законнымъ образомъ мотивированный и гласно произнесенный, послѣ всѣхъ результатовъ состязательнаго процесса, произнесенный притомъ лицами, несмѣняемость которыхъ служить порукою ихъ нравственной независимости, — такой приговоръ, быть можетъ, окажется въ иныхъ случаяхъ снисходительнѣе административной кары, но зато всегда будетъ дѣйствительнѣе и правомѣрнѣе, а также и авторитетнѣе въ глазахъ общества. Съ судебными рѣшеніями легче было бы сообразоваться и прессѣ, которая нашла бы въ нихъ и законный просторъ, и твердо поставленныя ограниченія для своей дѣятельности. Только въ этомъ ясно-очерченномъ кругѣ и можетъ развиваться печать, какъ полезная общественная сила; только подъ охраною закона можетъ она цвѣсти и крѣпнуть, какъ со стороны внутренняго содержанія, такъ и матеріальнаго положенія, которое тоже представляетъ немаловажный интересъ. На изданіе, напримѣръ, ежедневной газеты или большаго литературно-политическаго журнала затрачиваются очень крупныя денежные средства, жертвуется иногда все состояніе издателя; а потому коренная справедливость требуетъ оградить издательскую собственность, по крайней мѣрѣ, не менѣе, чѣмъ всякое другое имущество, правильно приобрѣтенное или наслѣдованное законнымъ порядкомъ.

Я живо помню, какъ въ одинъ изъ моихъ пріѣздовъ въ Москву, вскорѣ по введеніи новаго устава по дѣламъ печати, князь Одоевскій, окончивъ обѣдъ у себя, въ обществѣ Н. А. Милютина, С. А. Соболевскаго, Н. П. Колюбакина ¹⁾ и другихъ лицъ, завелъ

¹⁾ Николай Петровичъ Колюбакинъ (бывшій кутаисскій генералъ-губернаторъ, а потомъ сенаторъ въ Москвѣ) принадлежалъ въ это время къ числу ближайшихъ друзей и постоянныхъ посѣтителей кн. Одоевскаго. Г. Тимирязевъ такъ рассказываетъ о ихъ сближеніи: «На первыхъ порахъ воинственная осанка Колюбакина, его громкій голосъ, рѣзкія манеры и подчасъ слишкомъ меткія и откровенныя искры его неистощимаго юмора, производили нѣкоторый диссонансъ съ обычнымъ серьезнымъ и мирнымъ настроеніемъ этого кружка, и женственно-нѣжная натура хозяина тревожно прислушивалась къ этому своеобразному явленію и нѣсколько озадачивалась этими выходками. Но вскорѣ двѣ столь раз-

одушевленную бесѣду о тѣхъ послѣдствіяхъ, которыя принесетъ съ собою новый уставъ для развитія русской публицистики. Поддерживая этотъ разговоръ, Н. А. Милютинъ замѣтилъ, между прочимъ, что административныя предостереженія, голословно даваемыя за «вредныя» статьи, не только не убавятъ ихъ вредоносности, но послужатъ какъ бы указательнымъ перстомъ для публики, которая уже навѣрное прочтетъ ихъ послѣ предостереженія, а, пожалуй, и слѣпо согласится съ мнѣніями авторовъ... Князь Одоевскій прибавлялъ къ этому, что подобный результатъ былъ бы немислимъ, еслибы дѣйствительно-злонамѣренныя, лживыя и безчестныя статьи подвергались судебному преслѣдованію и осуждались только послѣ полного раскрытія этой лжи и злонамѣренности. Что же касается до научныхъ, философскихъ системъ и теорій, то онѣ, по мнѣнію князя Одоевскаго, отнюдь не должны вызывать ни судебного, ни административнаго преслѣдованія, и большою ошибкою было бы со стороны наблюдающей за печатью власти — нарушать такимъ вмѣшательствомъ свободу научныхъ изслѣдованій и философскаго мышленія. Оправданіе судомъ явилось бы въ такихъ случаяхъ необходимымъ коррективомъ противъ административной безтактности и полезнымъ урокомъ для самой власти. Н. А. Милютинъ (котораго Одоевскій глубоко уважалъ, какъ «истинно-государственнаго человѣка») соглашался вполнѣ съ этими взглядами.

Въ послѣдній разъ В. Θ. Одоевскій взялся за перо въ концѣ 1866 года, побужденный къ тому появленіемъ поэтическаго эскиза И. С. Тургенева: «Довольно!» Глубоко уважая литературную дѣятельность знаменитаго писателя, Одоевскій былъ грустно пораженъ его рѣшимостью отказаться навсегда отъ этой дѣятельности, проститься со своимъ вліяніемъ на русское общество, — и, подъ первымъ впечатлѣніемъ, написалъ «родъ отвѣта» на поэтическую жалобу Тургенева, раздѣливъ свою статью на коротенькія главы, соответствующія до нѣкоторой степени главамъ Тур-

личныя по складу и темпераменту, но столь родственныя по духу личности вполнѣ уразумѣли другъ друга, и тихій, одобрительно-доброжелательный смѣхъ кн. Одоевскаго раздавался первымъ при малѣйшей удачной юмористической вспышкѣ нашего неистощимаго генерала. Княгиня Ольга Степановна Одоевская, умѣвшая очень тонко оцѣнивать знакомыхъ своего мужа, говорила о Колюбакинѣ: „c'est un homme de coeur et d'honneur“. Біографическія свѣдѣнія объ этой замѣчательной, рыцарски-благородной личности можно найти въ «Русскомъ Архивѣ» 1874 г., № 11, а также въ статьѣ гр. Соллогуба, напечатанной въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» 1868 г., вскорѣ по смерти Колюбакина († 15 окт. 1868 г.).

геновскаго эскиза¹⁾. Самая статья, какъ антитезисъ, носить название: «Недовольно».

Я съ трудомъ воздерживаюсь отъ соблазна перепечатать цѣликомъ этотъ изящный, тонкій, мастерской «отвѣтъ» стараго мыслителя-поэта новому художнику-романисту: до такой степени рельефно выразилъ Одоевскій, въ этой лебединой пѣснѣ, всѣ лучшія качества своего ума, таланта и своей высоко-нравственной личности. Какъ горячо вступается онъ за права жизни, развитія, за святыню и поэтическую красоту науки! Сколько умственной силы, душевной крѣпости и пламеннаго, неподдѣльнаго патріотизма слышится въ его призывахъ къ научному и житейскому труду на благо родины, а вмѣстѣ съ нею и всего человѣчества!.. Позволю себѣ (и, надѣюсь, читатель не посѣтуетъ на меня)—привести наиболѣе характеристическія мѣста изъ этого, мало извѣстнаго, отвѣта.

«Довольно, потому что все извѣдано, потому что «все было, было, повторялось, повторяется тысячу разъ: и соловей, и заря, и солнце». Что, еслибы какая чудодѣйственная сила потѣшила художника и, въ угоду уму, ничто бы въ мірѣ не повторялось? Соловей пропѣлъ бы въ послѣдній разъ, солнце не взошло бы завтра, кисть навсегда бы засохла на палитрѣ, порвалась бы послѣдняя струна, замолкъ бы человѣческій голосъ, наука выговорила бы свое послѣднее слово. Что же затѣмъ? Мракъ, холодъ, безконечное безмолвіе и ума, и чувства... О! тогда человѣкъ дѣйствительно получилъ бы право сказать: довольно! — то есть дайте мнѣ опять тепла, свѣта, рѣчи, пѣнія соловья, шелеста листьевъ въ полумракѣ лѣса; дайте мнѣ страданія, дайте просторъ моему духу, развяжите его дѣятельность, хотя бы въ ней была для меня отравя... Словомъ, воссоздайте неизмѣняемость законовъ природы! Пусть снова возникнутъ предо мною неразрѣшимые вопросы, сомнѣнія, пусть солнце будетъ равно отражаться и въ безбрежномъ морѣ, и въ каплѣ росы, повисшей на быліи»...

«Въ самомъ ли дѣлѣ мы когда нибудь старѣемся? Этотъ вопросъ подлежитъ еще большому сомнѣнію. То, что я думалъ, чувствовалъ, любилъ, выстрадалъ вчера, за 20, за 40 лѣтъ, не состарѣлось, не прошло безслѣдно, не умерло, но лишь преобра-

¹⁾ Статья кн. Одоевскаго помѣщена въ 1-й книгѣ «Бесѣды Общества любителей россійской словесности». У меня сохраняется отдѣльный оттискъ этой статьи съ надписью: «А. П. П—скому, на добрую память о пріязни сочинителя. Москва. 1867 г. Іюль».

зилось; старая мысль, старое чувство отзывается въ новыхъ чувствахъ; на мое новое слово, какъ сквозь призму, ложится разноцвѣтный отбѣнокъ былаго... Правда, послѣ дня настаетъ ночь, послѣ борьбы усталость. Какъ мягка, какъ отрадна эта метафизическая постель, которую мы стелемъ себѣ, собираясь на покой! какъ привольно протянуться на ней, убаюкивая себя мечтами о тщетѣ человѣческой жизни, о томъ, что все скоротечно, что все должно когда нибудь кончиться, и силы ума, и дѣятельность любви, и чувство истины,—все, все, и бѣненіе сердца, и наслажденіе искусствомъ, природою; что всему конецъ—могила. Не все ли равно—немного позже, немного раньше? Эти минуты сторожить злѣйшій изъ враговъ человѣка, хитрѣйшій изъ льстецовъ: духовная лѣнь. «Зачѣмъ же и вставать съ постели?» говорить она намъ, и очень логично... «Пусть тамъ встаетъ солнце, если ему такъ хочется, что тебѣ нужды до него?.. Посмотри, на что оно похоже, посмотри, какъ оно безправственно-равнодушно! Оно свѣтитъ сегодня, какъ вчера, и доброму, и злему, грѣетъ и горлинку, и тигра, улыбается и матери съ младенцемъ, и звѣроподобной битвѣ; сними же съ него поэтическую личину, погрузись, подобно солнцу, въ созерцательное равнодушіе; отъ него одинъ шагъ къ полному нетревожному бездѣйствію»... И злой духъ много напѣваетъ намъ такихъ пѣсенъ. Но, къ счастью, противъ злаго духа возстаетъ нашъ ангель-хранитель: любовь! Любовь всеобъемлющая, всецующая, всепрощающая, ищущая всезнанія, какъ подготовки къ своему дѣланію»...

«Прочь уныніе! прочь метафизическія пеленки! не одинъ я въ мірѣ и не безответенъ я предъ моими собратіями—кто бы они ни были: другъ, товарищъ, любимая женщина, соплеменникъ, чловѣкъ съ другаго полушарія. То, что я творю, волею или неволею, пріемлется ими; не умираетъ сотворенное мною, но живетъ въ другихъ жизнью безконечною. Мысль, которую я посѣялъ сегодня, взойдетъ завтра, черезъ годъ, черезъ тысячу лѣтъ; я привелъ въ колебаніе одну струну; оно не исчезнетъ, но отзовется въ другихъ струнахъ... Моя жизнь связана съ жизнью моихъ прапрадѣдовъ; мое потомство связано съ моею жизнью. Неужели что либо человѣческое можетъ быть мнѣ чуждо? Всѣ мы—круговая порука. Архимедовыми вычисленіями движутся смѣлыя механизмы нашего вѣка; мысль моего сосѣда, ученаго, переносится электрическимъ токомъ въ другое полушаріе; Пиеагоръ измѣрялъ струны и вычислялъ созвучія для Себастіана Баха; Бахъ работалъ для Моцарта и Бетховена; Бетховенъ для новыхъ дѣятелей гармоніи. Солнечный лучъ, призванный вчерашнею наукою къ

отвѣту о составѣ солнца, готовить новый міръ знаній для будущаго человѣчества, міръ нами неугадываемый; но мы теперь на каждомъ шагѣ уже можемъ прочувствовать то высокое наслажденіе, которое ощутятъ наши дальніе потомки, благодаря нашимъ трудамъ. Похорони мы эти труды въ могилѣ сознательнаго бездѣйствія, мы похоронимъ и дѣятельность, и наслажденія нашихъ будущихъ собратьевъ... Имѣемъ ли мы право на такое смертоубійство?»

«Какъ въ мірѣ науки, такъ и въ мірѣ чувства (какое бы оно ни было: сознательное или безсознательное) минуты любви, вдохновенія, слово науки, даже просто доброе дѣло не покидаютъ насъ и среди самой горькой душевной тревоги, но свѣтлою полосой ложатся между нашихъ мрачныхъ мечтаній! Благословимъ эти минуты, а не проклянемъ; онѣ не только были, онѣ намъ присущи; онѣ живутъ въ самомъ нашемъ отрицаніи».

«... Предположимъ невозможное: метафизики и схоластики добились до того, что всякая новая мысль, всякое ученое открытіе, всякое художественное произведеніе преслѣдуются, какъ уголовное преступленіе; новые инквизиторы жгутъ Гусса, терзаютъ Галилея, изгоняютъ Данта. Безусловный нигилизмъ торжествуетъ. Что же дѣлать? Можетъ быть, возвратятся свинцовые вѣка, можетъ быть, на время порвется нить, долженствовавшая связать будущаго Гиппарха съ будущимъ Ньютономъ, Пифагора съ Эйлеромъ, Шекспира съ Гёте, но ненадолго; живая электрическая сила соединить порванные концы — и законъ природы возьметъ свое. Мѣшайте росту растенія — оно все таки вырастетъ, хоть искривленное и больное, срѣжьте — пойдетъ отъ корня; вырвите съ корнемъ — появится другое и осѣменитъ запыльную почву».

«... Наукою раздвинулась область фантазій, и матеріалъ поэзіи приумножился такимъ богатствомъ, какое не могло и войти въ голову Юпитера, хотя бы въ ней сидѣла Минерва. Какъ блѣдны и ничтожны всѣ декораціи Фебовой колесницы съ ея Аврорами хоть, напр., предъ страницей Гумбольдта, гдѣ говорится о солнечныхъ системахъ, несущихся въ пространствѣ, какъ пыль, гонимая вѣтромъ! Что значить движеніе бровей Зевса передъ Гершелемъ, когда онъ, по его собственному живописному выраженію, вычерпывалъ звѣздныя пространства и достигалъ до звѣздъ, отъ которыхъ самый свѣтъ, на землѣ не подчиняющійся времени, доходить до насъ въ теченіе столѣтій, тысячелѣтій, такъ что звѣзда погасла тому уже сто, тысячу лѣтъ, а мы еще ее видимъ... Кто же виноватъ, если поэты не добываютъ своихъ сокровищъ изъ новыхъ рудниковъ?.. Мы не видимъ еще и при-

ступа къ этой новой художественной дѣятельности. Слѣдовательно, нечего пока печалиться о Гомерахъ и Софоклахъ. Поэзія еще впереди—и въ ея мірѣ нѣтъ для насъ права на отдыхъ и успокоеніе... Недовольно! Недовольно!»

«Еще разъ—не погибаетъ ничто, ни въ дѣлѣ науки, ни въ дѣлѣ искусства; проходятъ, сокрушаются временемъ ихъ вещественныя проявленія, но духъ ихъ живетъ и множится. Правда, не безъ борьбы достается ему эта жизнь, но самая эта борьба, записанная исторіею, есть для насъ назиданіе и одобреніе... Наука выросла въ борьбѣ и даже посредствомъ борьбы. Развѣтвленіе идей—какъ развѣтвленіе растений. Возлѣ здоровыхъ листьевъ есть какъ будто больные; возлѣ цвѣтка лиліи есть прицвѣтникъ—пожелтѣвшій свертокъ, который хотѣлось бы сорвать и бросить; предъ появленіемъ плода вянуть красивые лепестки, но эти, повидимому, ненужные придатки, эти какъ будто бы уклоненія природы суть охрана развитія»...

Далѣе, на двухъ-трехъ блестящихъ страницахъ Одоевскій набрасываетъ крупными штрихами исторію научнаго прогресса и разрѣшаетъ вопросъ: виновна ли наука въ человѣческихъ бѣдствіяхъ и страданіяхъ? «Будетъ время—говоритъ онъ, — когда силы ума и тѣла не будутъ тратиться на взаимоистребленіе, но на взаимосохраненіе; данныя, выработанныя наукою, проникнутъ во всѣ слои общества»...

Въ послѣднихъ главахъ своего «отвѣта» князь Одоевскій обращается спеціально къ нашему отечеству, на служеніе которому онъ самоотверженно принесъ всѣ свои силы, всѣ помыслы и желанія.

«... Оставимъ космополитическую сферу и приложимъ нашу мысль къ тому, чтó намъ ближе, къ дорогой намъ всѣмъ Россіи. Скажемъ ли мы ей слово: довольно! Можетъ ли выговориться это слово теперь, когда совершаются дѣла такого порядка, что мы, современники, не въ силахъ даже измѣрить ихъ величія... Говорить ли, что съ 19 февраля 1861 г. Россія пережила, по крайней мѣрѣ, два вѣка. Кто этого не чувствуетъ? Всѣ силы ея подвинулись: напряжены всѣ мышцы ея могучаго организма; новая, свѣжая кровь струится въ его жилахъ; стройно дышетъ онъ вольнымъ дыханіемъ жизни. Наука, правда, у насъ развивается медленно, но все шире и шире; поселянинъ, отдохнувшій отъ барщины, начинаетъ въ свободномъ трудѣ сознать самого себя, понимать свое невѣдѣніе и необходимость изъ него выйти. Земство, какъ бы ни были трудны первые шаги его, начинаетъ проявлять свою самобытность и прилагать здравый смыслъ русскаго

человѣка къ многоразличнымъ условіямъ общественнаго быта, осложненнаго вѣковыми недоразумѣніями. Наконецъ гласнымъ, независимымъ судомъ образуется опора не только для внутренняго и виѣшняго довѣрія, но и училище нравственности, всѣмъ доступное, всѣми чтимое».

«... Но солнце не безъ пятенъ и въ семьѣ не безъ уroda... Вокругъ великаго дѣла, свершающагося въ Россіи, стоятъ Митрофанушки, Простаковы, Скотинины; съ досаднымъ изумленіемъ смотрятъ они на тружениковъ и думаютъ думу крѣпкую... Было бы ошибочно предполагать, что Простаковы и Скотинины вымерли и духа ихъ не стало — они всѣ живехоньки, только умыли и принарядились. Митрофанушка съѣздитъ въ Парижъ, воротился въ пиджакъ и гнѣвается на мировыхъ, что заставляютъ его платить портному; Простакова, по прежнему, «мастерица толковать законы», зато она въ кринолинѣ и съ великолѣпнымъ шиньономъ; Скотининъ натянулъ макинтошъ и жестоко обижается внесеніемъ своего имени въ списокъ присяжныхъ; Вральманъ развиваетъ по Гегелю теорію олигархическаго нигилизма, — но они все тѣ же; тѣ же въ нихъ полубарскія затѣи и тѣ же разсужденія и поползновенія; они все ждутъ, поджидаютъ (а въ сторонкѣ и Правдинъ), ждутъ... новаго Фонтъ-Визина; ждутъ того, кто мимоходомъ, на завтракѣ у предводителя, но такъ вѣрно подмѣтилъ разные виды нашего феодальнаго безобразія. Какое безграничное поле для комика! — неужели онъ скажетъ: довольно!»

До послѣдняго дня своей жизни, до самаго, можно сказать, предсмертнаго вздоха, кн. Одоевскій продолжалъ горячо интересоваться литературой, наукою и общественною дѣятельностью. Недѣли за двѣ передъ кончиною, онъ хлопоталъ объ устройствѣ концерта въ пользу славянскаго комитета и самъ ѣздитъ на репетиціи; въ послѣднее воскресенье онъ былъ утромъ на публичной лекціи по физикѣ, а вечеромъ прослушалъ еще лекцію г. Безсонова о русскихъ пѣсняхъ, но почувствовалъ себя утомленнымъ. Воротясь домой, проспалъ онъ долго. На другой день появились первые признаки болѣзненнаго расстройства (воспаленія мозга), но еще не замѣтно было никакой опасности. «Во вторникъ и среду онъ бесѣдовалъ о любимомъ своемъ предметѣ, духовной музыкѣ», рассказываетъ г. Погодинъ. «Икота возобновлялась. Онъ обратился по обыкновенію къ медицинскому словарю, прочелъ статью объ этой болѣзни, легъ спать спокойно. Ночью вдругъ сдѣлался бредъ; слышалось какое-то разсужденіе о му-

зыкѣ; поутру въ четвергъ стало хуже, онъ не приходилъ
мать и въ 4 часа пополудни, 27-го февраля (1869 г.) скон

Такъ мирно, тихо окончилась, точно оборвалась и
словѣ, эта святая, труженическая жизнь, достойная вѣс
памяти въ лѣтописяхъ русскаго народа и общества,—ка
шее выраженіе завѣтныхъ думъ и стремленій своего період
достойный примѣръ грядущимъ поколѣніямъ...

О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ Д. В. ВЕНЕВИТИНОВА ¹⁾.

I.

Мѣсто рожденія поэта.—Первыя впечатлѣнія его дѣтства и первоначальное воспитаніе.—Дорѣръ и классическая словесность. Первые литературные опыты; занятія живописью и музыкой. — «Посланіе» къ друзьямъ; первое знакомство съ театромъ.—Вступленіе въ московскій университетъ и начало занятій философіей.—Философскій кружокъ; его значеніе и характеръ. — Рожалинъ и Кирѣевскій. — Первая любовь. — Знакомство съ Пушкинымъ.—Перѣздъ въ Петербургъ.—Разлука съ любимой женщиной и ея гибельное вліяніе.—Скептицизмъ, упадокъ силъ и признаки возрожденія.—Конечное пораженіе организма; смерть поэта.

Дмитрій Владиміровичъ Веневитиновъ родился въ Москвѣ 14 сентября 1805 года. Общественное положеніе, избытокъ матеріальныхъ средствъ благопріятствовали новорожденному съ первыхъ шаговъ его въ свѣтъ. Онъ принадлежалъ по роду къ одной изъ старинныхъ дворянскихъ фамилій, вышедшей изъ Запорожья, по предположенію брата покойнаго (въ родословной Дмитрія Владиміровича часто упоминаются есаулы), а по мнѣнію его племянника—выселившейся изъ города Венева; большое помѣстье въ Воронежской губерніи доставляло ему роскошную и изящную обстановку въ жизни, напередъ спасая отъ всѣхъ нравственныхъ искушеній бѣдности. Домъ его матери былъ однимъ изъ самыхъ извѣстныхъ и почтенныхъ домовъ въ Москвѣ, и составлялъ даже нѣчто въ родѣ салона артистовъ. Сюда охотно заглядывали всѣ мѣстные и заѣзжіе художники, пѣвцы, музыканты—и подъ ихъ-то благодатнымъ вліяніемъ раскрывались, мало по малу, поэтическіе инстинкты ребенка. Мы сказали: домъ ма-

¹⁾ Свѣдѣніями о жизни поэта мы обязаны его брату, Алексѣю Вл. Веневитинову, кн. В. О. Одоевскому и А. П. Виноградской (по первому мужу. Кернъ), познакомившейся съ Веневитиновымъ въ бытность его въ Петербургѣ. Ихъ немногосложныя, но драгоцѣнныя указанія много уяснили намъ личность поэта. Въ двухъ мѣстахъ мы воспользовались поправками и дополненіями, сдѣланными къ нашей статьѣ роднымъ племянникомъ поэта, М. А. Веневитиновымъ („Историч. Вѣстн.“ 1884 г., № 8). А. П.

тери, потому что въ раннемъ еще дѣтствѣ Веневитиновъ, потерявъ своего отца и остался на рукахъ нѣжно любившей его матери—Анны Николаевны (рожденной княжны Оболенской). Къ счастью Веневитинова, она не была похожа на классическихъ «матушекъ», пустившихъ въ свѣтъ цѣлую толпу забалованныхъ до отупленія сынковъ, но, избѣгая вреднаго потворства всевозможнымъ слабостямъ дитяти, она не желала также «учить» его нравственности съ помощью избитой морали и жесткаго обращенія съ дѣтскимъ возрастомъ. Вся проникнутая духомъ теплой, не педантической религіи, она, собственнымъ примѣромъ любви и кротости, вѣрнѣе всего настраивала къ добру первые помыслы дитяти, внося въ его воспитаніе этотъ неоцѣненный женственный элементъ, такъ счастливо развивающій наилучшія стороны дѣтской природы. Подъ ея-то вліяніемъ, чуждымъ мелкимъ стѣсненіямъ и родительской тираніи, освоился нашъ поэтъ съ тою «нравственной свободой», про которую часто говорилъ въ своихъ сочиненіяхъ. Когда ребенку минуло восемь лѣтъ, то мать, уже теряя возможность вести его впередъ одними собственными стараніями, съумѣла найти человѣка, который бы, съ такой же любовью и внимательностью, направлялъ его дальнѣйшее образованіе. Это былъ Дорѣръ, отставной капитанъ французской службы, человѣкъ умный и образованный, который могъ какъ нельзя лучше дѣйствовать на впечатлительнаго мальчика. Дорѣръ явился къ своему питомцу первымъ представителемъ науки и мысли—и нельзя не замѣтить, что многое и многое въ жизни поэта зависѣло отъ характера этой первой встрѣчи. Веневитиновъ искренно полюбилъ своего наставника, съ которымъ и началъ свои учебныя занятія. Лѣтнія поѣздки на дачу въ Кусково или Сокольники пріятно разнообразили учебную жизнь мальчика — и тамъ, на волѣ и просторѣ, рѣзвился онъ со всей неутомимостью своего возраста. Всевозможныя игры бывали имъ перепробованы; тамъ же, вѣроятно, одушевила его впервые та любовь къ природѣ, которую онъ постоянно сохранялъ въ себѣ. Часто доброму гувернеру приходилось отыскивать въ саду своего питомца—и звонкій голосокъ, а потомъ и книга, слетавшая съ какого нибудь высокаго дерева, давали знать о прихотливо избранномъ мѣстѣ. Книгой этой обыкновенно была латинская грамматика: съ нея началъ Дорѣръ, знатокъ римской литературы, классическое образованіе мальчика. Въ параллель съ изученіемъ древней литературы, Дорѣръ, какъ французъ, ставилъ, конечно, изученіе своей родной, французской, но ни въ дѣтствѣ, ни въ позднѣйшихъ лѣтахъ, у Веневитинова не лежало сердце къ французскимъ поэ-

тамъ. Впослѣдствіи, когда мальчикъ достигъ уже бѣльшей степени зрѣлости, занятія нѣмецкой поэзіей совершенно отвлекли его отъ литературы Корнеля и Расина.

Для греческаго языка былъ найденъ, по совѣту Дорѣра, особый преподаватель — грекъ Бейля. Замѣчательныя способности дитяти, его, почти недѣтская, вдумчивость и внимательность много помогали его успѣхамъ. Между греческими, классиками у него скоро оказались свои любимцы: — Софокль и Эсхиль — и, укрѣпившись въ познаніи языка, онъ пробовалъ даже перевести нѣсколько отрывковъ изъ «Прометея». Картина тяжелыхъ мученій этого мифическаго героя, прикованнаго къ скалѣ за соперничество съ богами въ тайнѣ созданія, сильно затронула его воспримчивую душу. Вѣроятно, съ этого же времени онъ полюбилъ и Платона, въ которомъ находилъ «столько же поэзіи, сколько глубокомыслия, столько же пищи для чувства, сколько для мысли». Вообще онъ скоро свылся съ древнимъ міромъ, гдѣ, по его словамъ, «мысли и чувства соединялись въ одной очаровательной области, заключающей въ себѣ вселенную, гдѣ философія и всѣ искусства, тѣсно связанныя между собою, изъ общаго источника разливали дары свои на смертныхъ». Этой чертой своего воспитанія, равно какъ и другими чертами своей кратковременной жизни, Веневитиновъ напоминаетъ намъ другаго, безвременно угасшаго поэта, Андрѣ Шенье. Извѣстно, что авторъ «La jeune captive» — произведенія, во многомъ напоминающаго нѣжно-зудумчивую музу нашего поэта — былъ сильно увлеченъ, въ ранней молодости, изученіемъ древнихъ классиковъ.

Классическая жизнь была такъ цѣльна и замкнута; ея бессмертныя памятники въ литературѣ и искусствѣ исполнены такой глубокой и звучащей гармоніи, что изученіе ихъ неотразимо дѣйствуетъ на молодую, впечатлительную душу и, не убивая въ ней ни одного изъ жизненныхъ элементовъ, придаетъ имъ всѣмъ гармоническое равновѣсіе. Намъ кажется, что только изъ подобнаго настроенія могли возникнуть эти, тысячу разъ повторенные, стихи:

Теперь гонись за жизнью дивной
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея призывный—
Отзывной пѣснью отвѣчай!

По другимъ предметамъ, нужнымъ для элементарнаго образованія, мать Веневитинова своевременно приглашала къ себѣ на домъ наставниковъ — и, такимъ образомъ, мальчикъ совершенно ускользнулъ отъ школьнаго воспитанія....

Изъ новыхъ учителей никто не имѣлъ замѣтнаго вліянія на мальчика, не исключая и учителей русской словесности. Русская литература, еще только расцвѣтавшая тогда, не могла имѣть много даровитыхъ цѣнителей, и Веневитиновъ самъ долженъ былъ позаботиться объ этой части своего образованія. Изъ русскихъ писателей, онъ познакомился прежде всего съ Карамзинымъ, и «Исторія Государства Россійскаго» была съ жадностью прочтена имъ.

Объ руку съ литературными занятіями Веневитинова, шли другія, столько же освѣжающія и увлекательныя — занятія живописью и музыкой. Его разнообразныя таланты и здѣсь выказали себя въ полномъ блескѣ. Позже, онъ такъ успѣлъ въ музыкѣ, что могъ свободно писать довольно трудныя композиціи, и постоянно слылъ въ кругу своихъ знакомыхъ за талантливаго музыканта. Заключительные стихи «Къ любителю музыки» показываютъ весьма ясно: какой глубокій, вдохновенный смыслъ имѣла для него поэзія звуковъ. Нѣсколько стихотвореній было въ ранней молодости переложено имъ на ноты; до насъ не дошли эти переложенія, но сохранились нѣкоторыя другія музыкальныя пьески ¹⁾. Мы видѣли также одну его художническую работу (эскизъ головы Медузы) и не могли не признать въ ней смѣлости и выразительности, весьма значительныхъ при томъ маломъ упражненіи, которымъ онъ пользовался. Особенно поразили насъ живо схваченные глаза Медузы....

Итакъ, классическая словесность, музыка, живопись и поэзія — вотъ тѣ первыя вліянія, подъ которыми слагалась нравственная натура поэта. Но любовь къ размышленію, мечтательности и серьезнымъ умственнымъ трудамъ, такъ рано замѣчавшаяся въ нашемъ дитяти, счастливо совмѣщалась въ немъ съ самой открытой и дружелюбной веселостью, иногда переходившей въ дѣтскую рѣзвость, но никогда — въ задорность и шаловливость. Позднѣе, подъ вліяніемъ многихъ печальныхъ событій въ жизни, Веневитиновъ утратилъ въ значительной степени это природное качество; но оно все таки нерѣдко слетало къ нему, оживляя и разсѣивая его тяжелыя думы.

Съ 14-ти лѣтъ, авторскія наклонности мальчика выразились еще полнѣе: Гораций не сходилъ съ его рабочаго стола, и плодомъ такой умственной дружбы были немногіе переводы въ стихахъ изъ римскаго корифея. До насъ не дошли эти первыя упраж-

¹⁾ Одну такую пьеску видѣли мы у А. В. В—ва. Князь В. О. Одоевскій, самъ любитель и знатокъ музыки, говорилъ намъ, что Веневитиновъ былъ отличный музыкантъ и читалъ всѣ теоретическія сочиненія о музыкѣ, что тогда, а особенно въ Москвѣ, было совершенною рѣдкостью.

ненія поэта; но зато уцѣлѣлъ другой переводъ—изъ Виргиліевыхъ Георгикъ, сдѣланный около того же времени. Какъ бы ни было мало безусловное достоинство этихъ переводовъ, но на нихъ поэтъ старательно упражнялъ свою руку, а подобные опыты никогда не пропадаютъ даромъ. Такимъ образомъ, 16-ти лѣтъ, Веневитиновъ былъ уже достаточно развитъ, чтобы написать гладкимъ и звучнымъ стихомъ маленькое оригинальное посланіе: «Къ друзьямъ». Здѣсь, подъ именемъ друзей, нужно разумѣть дѣйствительныхъ друзей юности поэта: подобно всякому юношѣ съ нѣжной и пылкой душою, онъ рано искалъ дружеской пріязни и первыя лица, раздѣлявшія ее, были: Скарятинъ, даровитый художникъ, умершій въ Италіи на мѣстѣ изученія искусства ¹⁾ и Ѳ. С. Хомяковъ братъ извѣстнаго славянофила.

Около того же времени, написана Веневитиновымъ и «Вѣточка», переводъ изъ Грессэ, единственное стихотвореніе, заимствованное имъ изъ французской литературы. Изъ «посланія» видно, что поэтъ успѣлъ уже полюбить свое поэтическое призваніе. «Пусть—говоритъ онъ—это хочеть, ищетъ славы, богатства, веселья; я и безъ нихъ счастливъ

Съ лирой, съ вѣрными друзьями».

Взглядъ, самъ по себѣ, конечно, идилическій и, со временемъ, онъ долженъ былъ значительно измѣниться отъ вліянія новыхъ жизненныхъ вопросовъ, новыхъ требованій живой природы; но и самый буколизмъ его уже нѣсколько указывалъ на ту норму понятій, въ которой позже утвердился поэтъ. Быть можетъ, раннее изученіе Байрона (во французскихъ переводахъ) помогало развиваться этому взгляду, но самая чуткость, съ которою нашъ поэтъ прислушивался къ голосу англійскаго лирика, уже показывала въ немъ значительную душевную зрѣлость и способность внимательно задумываться надъ своими собственными ощущеніями. Подобный взглядъ сильно развивалъ природную впечатлительность поэта, сосредоточивая внутри его все разнообразныя чувства, высказываемыя только въ половину, или переданныя одному дружескому сердцу. Въ примѣръ сильной впечатлительности поэта, мы сообщимъ слѣдующій интересный случай.

Мать Веневитинова имѣла свой особенный взглядъ на театръ. въ силу котораго она не хотѣла знакомить сына со сценою раньше достиженія имъ семнадцатилѣтняго возраста. Вѣроятно, она дѣлала это въ тѣхъ видахъ, чтобы доставить ему самому несрав-

¹⁾ Скарятинъ служилъ сначала въ военной службѣ, и въ посланіи, адресованномъ къ нему, Веневитиновъ называетъ его „драгуномъ“.

ненно большее наслаждение видѣть и понимать игру артистовъ, чѣмъ, видя, оставаться къ ней вполне равнодушнымъ или, что всего хуже, передразнивать нисколько не прожитыя чувства и положенія. Такимъ образомъ, только 17-ти лѣтъ Веневитиновъ переступилъ порогъ театра. Въ день его перваго знакомства со сценою была дана какая-то опера Россини. Пьеса необыкновенно подѣйствовала на поэта, и долго потомъ онъ твердилъ наизусть цѣлыя тирады и примѣнялъ къ себѣ различныя положенія дѣйствующихъ лицъ.

Семнадцати лѣтъ Веневитиновъ былъ уже достаточно подготовленъ къ слушанію лекцій въ своемъ родномъ университетѣ. Московскій университетъ, въ то время, вошелъ въ славу, представляя въ удостовѣреніе своей полезной дѣятельности имена Мерзлякова, Давыдова (И. И.), Павлова (М. Г.). Несомнѣнный талантъ перваго изъ нихъ составилъ даже эпоху въ исторіи этого университета. То поэтъ, то ученный, Мерзляковъ (А. Ѳ.) имѣлъ сильное вліяніе на слушателей: его горячая любовь къ успѣхамъ русскаго просвѣщенія, часто выражавшаяся въ увлекательной импровизаціи, много укрѣпила необходимую симпатическую связь между кафедрой и аудиторіей, а публичныя лекціи, читанныя имъ въ 1812—16 годахъ, обратили на университетъ особенное вниманіе общества. Къ тому же и сухой классицизмъ Баттѣ и Лагарпа, принятый Мерзляковымъ въ основу своей профессорской и критической дѣятельности, замѣтно смягчался въ немъ психологической теоріей Эшенбурга и, всего болѣе, тѣмъ природнымъ чувствомъ изящнаго, которое нерѣдко проглядывало изъ-за механическаго построения его ученыхъ приговоровъ. Такъ, напримѣръ, не смѣя открыто бранить Хераскова, Мерзляковъ находилъ иногда возможнымъ вставлять среди похвалъ ему такія замѣчанія, которыя позволяютъ сомнѣваться въ непринужденности хвалебнаго тона ¹⁾. Это странное противорѣчіе между природнымъ чувствомъ и вѣрой въ классическій догматъ приводило Мерзлякова къ фактамъ еще болѣе интереснымъ. «Чувство Мерзлякова при чтеніи произведеній Пушкина—говоритъ намъ г. Шевыревъ ²⁾—выражалось только слезами. Читая «Кавказскаго Плѣнника», онъ, говорятъ, плакалъ. Онъ чувствовалъ, что это пре-

¹⁾ «Многіе герои Хераскова — говорилъ Мерзляковъ въ своемъ журналѣ «Амфіонъ» (1815 г.) — суть эфемеры или, лучше сказать, блестящіе пылинки Санхоніатона, которыя сражаются между собою въ какомъ-то темномъ мірѣ, исчезаютъ и рождаются, но чрезъ это нисколько не показываютъ ни своего начала, ни сущности, ни качества».

²⁾ Біографическій Словарь Имп. Моск. Университета. М. 1855 г. Ч. II.

красно, но не могъ отдать себѣ отчета въ этой красотѣ—и безмолвствовалъ ¹⁾. Но ограниченность и отсталость его литературной теоріи уже вызывала противъ себя дѣятельность И. И. Давыдова, въ духѣ новыхъ, болѣе широкихъ взглядовъ на искусство. На долю М. Г. Павлова выпала та же роль—вести впередъ своихъ слушателей и современниковъ, обобщивъ между ними познанія естественныхъ наукъ, вывести эти науки изъ тины педантизма и мелкихъ опредѣленій на обширный путь всесторонняго развитія. Подобная роль была съ честью исполнена Павловымъ: онъ былъ одинъ изъ первыхъ шеллингистовъ въ Россіи и для него природа не была мертвой и безжизненной формулой, лишеной свѣта и теплоты. Эта замѣчательная черта профессора сельскаго домоводства очень ясно выразилась и въ его публичныхъ лекціяхъ (февр. 1825 г.), и въ разныхъ журнальныхъ статьяхъ, гдѣ, по привычкѣ объяснять каждый фактъ какимъ нибудь разумнымъ началомъ, онъ проводилъ «философическій взглядъ» даже на холеру, тогда еще мало разъясненную ²⁾. Но всего полнѣе міровоззрѣніе Павлова высказалось въ его извѣстной «Физикѣ» (Москва, 1836 г.). «Природа—говоритъ онъ—есть гармоническое цѣлое, слѣдовательно въ спискахъ ея, то есть въ наукахъ естественныхъ, должна господствовать та же гармонія: въ нихъ должно быть единство начала. Вотъ мысль, осуществленія которой я всегда желалъ. Но, между тѣмъ, въ современныхъ физикахъ, по господству въ нихъ понятій механическихъ, нѣтъ единства начала, нѣтъ даже плана науки». Сказавши это, московскій ученый сильно позаботился о планѣ въ своемъ учебникѣ и, задавъ себѣ разъ понятіе о «силахъ природы», мало останавливался на ихъ частичныхъ проявленіяхъ ³⁾. Бесѣды съ Павловымъ и слушаніе его лекцій, по всей вѣроятности, впервые навели Веневитинова на занятія философіей, плодомъ которыхъ были извѣстныя письма его къ княгинѣ А. И. Трубецкой—о философін ⁴⁾.

¹⁾ Веневитиновъ, быть можетъ, намекаетъ на это въ своемъ разборѣ «Разсужденія» Мерзлякова: «Тотъ, кто чувствуетъ — говоритъ онъ — не всегда можетъ дать себѣ отчетъ въ своихъ чувствахъ».

²⁾ «Философическій взглядъ на холеру». «Телескопъ» 1831 г.

³⁾ Ученымъ авторитетомъ онъ выставилъ въ этомъ случаѣ знаменитаго Ге-Люссакъ, сказавшаго въ 1828 г., въ своихъ «Лекціяхъ физики», что «силы природы, способныя производить безконечно разнообразныя явленія, составляютъ важнѣйшую часть въ изученіи физики». Но понятіе о цѣлостности природы, о стройной гармоніи между всѣми ея явленіями, нашъ ученый прямо черпалъ изъ Шеллинга и Окена.

⁴⁾ Они были напечатаны подъ именемъ «Писемъ къ графинѣ N. N».

Посѣщая университетъ, Веневитиновъ не записывался, впрочемъ, въ студенты и не обязывалъ себя къ постоянному, регулярному слушанію лекцій одного факультета. Но педагогическія бесѣды, устроенныя для всѣхъ желающихъ профессоромъ Мерзляковымъ, охотно посѣщались юношей и скоро развернули въ немъ тѣ качества хорошаго прозаика, которымъ суждено было проявиться только въ весьма немногихъ статьяхъ. Очевидцы говорили намъ, что на этихъ бесѣдахъ Веневитиновъ обращалъ на себя вниманіе, какъ своимъ яснымъ и глубокимъ умомъ, такъ и замѣчательной діалектикой своихъ доводовъ. Здѣсь же, возражая профессору, Веневитиновъ показалъ впервые ту самостоятельность взглядовъ, которую полнѣе обнаружилъ впослѣдствіи въ разборѣ разсужденія Мерзлякова: «о началѣ и духѣ древней трагедіи». Въ особенности трудно было нашему поэту согласиться съ тѣмъ, что «Жуковский—это арабскій конь, который бросился въ каменистую степь и хромаетъ на всѣ четыре ноги» ¹⁾. Года два продолжалось вольное слушаніе университетскихъ лекцій — и къ этому времени относятся нѣкоторыя произведенія Веневитинова: —переводъ изъ Макферсона (съ франц. текста), «Пѣснь Кольмы» и два отрывка изъ неконченной поэмы. Сюжетъ поэмы заимствованъ изъ исторіи г. Зарайска, жестоко пострадавшаго въ первое нашествіе монголовъ. Еще въ раннемъ дѣтствѣ, поэтъ былъ въ этомъ городѣ и воспользовался устнымъ преданіемъ. Говорятъ, что зарайскій князь Оедоръ получилъ отъ Батия предложеніе, достойное азіатца: отдать ему въ наложницы свою молодую, прекрасную жену Евпраксию. Въ случаѣ несогласія, Батій грозилъ ему окончательнымъ разореніемъ удѣла. Молодой князь не испугался, однако, угрозы и, въ порывѣ благороднаго мужества, рѣшился отстоять свои супружескія права. Онъ встрѣтилъ хана передъ стѣнами города и далъ ему роковую битву, имѣвшую одинъ конецъ со всѣми тогдашними битвами: Оедоръ былъ убитъ, Батій уже готовился исполнить свою ханскую прихоть. Но молодая жена не дождалась своего позора и, узнавъ о геройской смерти мужа, бросилась внизъ съ городской стѣны, вмѣстѣ съ своимъ младенцемъ. До сихъ поръ мѣстные жители показываютъ ея мнимую или дѣйствительную могилу, не привлекаятъ никакой ничѣмъ, кромѣ воспоминаній.

Одно лишь темное преданье
Вѣщаетъ о дѣлахъ вѣковъ
И вѣсть вокругъ нѣмыхъ гробовъ.... ²⁾.

¹⁾ Воспоминаніе одного изъ бывшихъ слушателей Мерзлякова.

²⁾ Событіе это разсказано въ исторіи Карамзина.

Это глубоко трагическое событіе было оцѣнено по достоинству поэтическимъ чутьемъ Веневитинова, но скоро начавшееся глубокое изученіе германской литературы отвлекло его отъ тщательной обработки этого сюжета, и дѣло окончилось двумя отрывками, случайно уцѣлѣвшими отъ истребленія. Впрочемъ, есть основаніе думать, что поэтъ нашъ и самъ почувствовалъ свое безсиліе предъ этой грандіозной темой, требовавшей не одного только внѣшняго изученія родной старины, но и глубокаго проникновенія въ духъ народа. А этотъ — то духъ народности былъ тогда совершенной terra incognita, и только смутное его предчувствіе бродило въ нѣкоторыхъ умахъ. Бросивъ свою поэму, Веневитиновъ не возвращался уже болѣе въ своихъ произведеніяхъ къ событіямъ отечественной исторіи ¹⁾. Сюда же прилегаютъ, по времени: «Къ друзьямъ на новый (1823) годъ», «Отрывки изъ пролога», «Смерть Байрона», «Пѣснь грека», «Любимый цвѣтъ» (посвященный сестрѣ поэта — Софѣ Вл. В.—вой) и первое посланіе къ Рожалину. Планъ «пролога» неизвѣстенъ, но самая мысль — заставить умереть Байрона въ борьбѣ за свободу чуждой націи показываетъ, что Веневитиновъ умѣлъ видѣть его въ самомъ поэтическомъ свѣтѣ, какъ бойца за угнетенное человѣчество. «Пѣснь грека» навѣяна тѣмъ же предметомъ. «Любимый цвѣтъ», не смотря на изящество своего замысла, никакъ не можетъ идти въ сравненіе съ предъидущей пьесой, донныя сохранившей свою красоту: — произведенію этому вредитъ отсутствіе внимательной отдѣлки, небрежность нѣкоторыхъ стиховъ, происходившая оттого, что нашъ поэтъ писалъ сразу, безъ вариантовъ.

Посланіе къ Рожалину составляетъ эпоху въ юности поэта, и на немъ слѣдовало бы остановиться долѣе, чѣмъ на другихъ произведеніяхъ того же времени. На первый взглядъ, оно носитъ на себѣ признаки какого-то насильственного байронизма, но объясняется однако тѣмъ, что поэтъ нашъ дѣйствительно былъ обманутъ однимъ близкимъ человѣкомъ, долго скрывавшимъ свой настоящій характеръ.

¹⁾ Позднѣе, въ разборѣ первой пѣсни «Онѣгина», нашъ поэтъ обнаружилъ плохое пониманіе русской народности, называя «Руслана и Людмилу» произведеніемъ на род н ы м ъ. Винить ли за это Веневитинова? Во-первыхъ, это могло быть имъ сказано, какъ комплиментъ Пушкину, въ родѣ тѣхъ, которые онъ говорилъ и Мерзлякову для смягченія рецензій; во-вторыхъ, и самъ Пушкинъ не выходилъ тогда въ пониманіи русской народности изъ подъ авторитета Карамзина.

Оно начинается собой, безъ преувеличенія, новый періодъ въ краткой жизни поэта — періодъ, о которомъ мы поговоримъ немного ниже, такъ какъ значеніе Рожалина составляло только одну дѣятельную частицу въ общемъ значеніи кружка, въ который скоро вошелъ Веневитиновъ.

Университетскія занятія Веневитинова шли въ уровень съ его умственнымъ развитіемъ—и, черезъ два года послѣ первой прослушанной имъ лекціи, онъ, безъ труда, выдержалъ экзаменъ, требовавшійся тогда по указу 1809 г. для пріобрѣтенія нѣкоторыхъ преимуществъ по гражданской службѣ. Недостатокъ реальныхъ познаній поэтъ нашъ восполнилъ нѣсколько позже изученіемъ анатоміи, подъ руководствомъ извѣстнаго Лодера ¹⁾. Впрочемъ, изученіе реальныхъ наукъ не освободило его отъ того невольнаго мистицизма, которому подчинялись въ то время весьма образованные люди, въ томъ числѣ и нашъ знаменитый Пушкинъ. Такъ, напр., Веневитиновъ, незадолго до своей смерти, въ разговорѣ съ одной молодой женщиной, мечталъ о томъ, въ какомъ видѣ предстанетъ онъ къ ней изъ-за гроба...

Съ окончаніемъ университетскихъ занятій, Веневитиновъ вступалъ уже въ болѣе широкую практическую жизнь. Но не шумными оргіями, не разгульнымъ самозабвеніемъ отпраздновалъ онъ свое вступленіе въ свѣтъ. Изъ всѣхъ, болѣе или менѣе блестящихъ карьеръ, открывавшихся ему по его имени и состоянію, онъ избралъ самую скромную, поступивъ на службу въ архивъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ ²⁾. Развитый юноша не плѣнился привольной жизнью военнаго человека, еще такъ заманчивой въ то время, и, безъ долгихъ колебаній, предпочелъ ей скромную архивскую службу, представлявшую возможность перейти, со временемъ, въ коллегію иностранныхъ дѣлъ. Возымѣвши разъ такую надежду, нашъ поэтъ мало мечталъ о служебныхъ отличіяхъ, но съ особеннымъ удовольствіемъ подумывалъ о своей будущей поездкѣ за границу въ русское посольствѣ, (полагая, вѣроятно, что «знающій одну свою родину прочелъ только первую страницу книги вселенной»).

Конечно, не безъ глубокаго сознанія, Веневитиновъ рѣшился на этотъ выборъ. Его «Жертвоприношеніе» говоритъ довольно убѣдительно, что, и сходясь весьма близко съ прелестями разсѣянной жизни, онъ всегда умѣлъ предпочесть ей другую жизнь—

¹⁾ Въ анатомическомъ театрѣ ему, вѣроятно, пришла впервые мысль того романа, гдѣ анатомическія занятія играютъ весьма важную роль.

²⁾ Тогда еще не было министерства иностранныхъ дѣлъ.

трудоую и разумную. Благодѣтельное воспитаніе, которое получилъ онъ, объясняетъ вполнѣ удовлетворительно такой образъ мыслей. Нестѣсненный никогда въ своемъ нормальномъ развитіи давленіемъ грубой власти, Веневитиновъ не могъ чувствовать и того желанія закружиться, хватить черезъ край всякаго рода удовольствій, которое овладѣваетъ иногда молодымъ человѣкомъ. только что вырвавшимся на волю, получившимъ, послѣ долгой и насильственной выдержки, хотя первые задатки личной свободы. Другаго рода страсти безпрепятственно овладѣли теперь юношей: онъ сдѣлался центромъ весьма замѣчательнаго литературнаго кружка, въ который вошли, между прочимъ, И. В. Кирѣевскій, А. И. Кошелевъ, П. С. Мальцевъ, князь Вл. О. Одоевскій, Н. М. Рожалинъ, В. П. Титовъ, С. П. Шевыревъ и О. С. Хомяковъ ¹⁾. Сюда же примкнулъ и нашъ извѣстный историкъ М. П. Погодинъ, получившій уже въ то время степень магистра исторіи. Каждый вторникъ, вся названная молодежь, состоявшая болѣею частью изъ питомцевъ московскаго университетскаго пансіона, собиралась на домъ къ Веневитинову — и здѣсь-то довершалось умственное развитіе поэта. Философское направленіе, только что возникавшее между образованнѣйшими москвичами, преобладало въ этомъ кружкѣ.

Медленно и робко пробиралась нѣмецкая философія въ наши родные края. Кантъ уже имѣлъ въ Россіи нѣсколькихъ, впрочемъ, мало замѣчательныхъ, послѣдователей, которыхъ имена сохранились, частью, въ «Словарѣ московскихъ профессоровъ» С. П. Шевырева. Въ русской журналистикѣ еще недавно возникъ вопросъ: можно ли считать Карамзина ученикомъ знаменитаго критическаго философа? Отвѣтъ, конечно, послѣдовалъ отрицательный. Вообще говоря, философія Канта едва мелькнула на русской почвѣ, не произведя въ умахъ особенно сильнаго и замѣтнаго движенія. Другое дѣло—философія Шеллинга, которой суждено было, въ первый разъ, создать въ Россіи довольно обширные, философско-литературные кружки. Мы не имѣемъ смѣлости писать здѣсь исторію возникновенія философскихъ кружковъ—предметъ, требующій отдѣльной монографіи—но должны замѣтить, что самое имя кружка, предполагая подъ нимъ достаточно сильную и хорошо организованную пропаганду, можетъ быть впервые присвоено только послѣдователямъ Шеллинга.

¹⁾ Мы рѣшительно не знаемъ: въ какихъ отношеніяхъ находился нашъ поэтъ къ А. С. Хомякову, младшему брату О—а Ст—ча. Этотъ пробѣлъ должны пополнить владѣющіе бумагами Ал. Ст—ча.

Въ Петербургѣ главнымъ представителемъ новаго ученія является извѣстный профессоръ Велланскій, въ Москвѣ—названный нами М. Г. Павловъ. Но такъ какъ Павловъ много превосходилъ Велланскаго по блеску и ясности своего изложенія, то и новое ученіе принялось успѣшнѣе въ Москвѣ, чѣмъ въ Петербургѣ. Впрочемъ, Москва какъ-то вообще склоннѣе Петербурга ко всякаго рода кружкамъ: славянская общительность и охота рѣшать всѣ дѣла міромъ нигдѣ такъ не развита, какъ въ нашей древней столицѣ. «При первой встрѣчѣ съ вами—говорилъ Бѣлинскій въ своей «Физиологіи Петербурга и Москвы»—москвичъ непремѣнно заспоритъ и только тогда начнетъ иронически улыбаться, когда увидитъ, что ваши мнѣнія не сходятся съ мнѣніями кружка, въ которомъ онъ ораторствуетъ или слушаетъ, какъ другіе ораторствуютъ». Хотя наблюденіе Бѣлинскаго и относится уже къ позднѣйшему періоду московской жизни, но оно все же указываетъ на тѣ особенныя условія, при которыхъ умственные вліянія принимаются въ Москвѣ особенно горячо и шумно.

Философія Шеллинга была какъ нельзя болѣе сподручна мыслящимъ членамъ русскаго, а слѣдовательно и московскаго общества. Не давая ни одного строго-опредѣленнаго вывода, но, взамѣнъ того, открывая необозримыя духовныя перспективы, сводя прямо всю философію къ одному внутреннему чувству, ученіе Шеллинга совершенно отвѣчало тому зачинавшемуся броженію русской мысли, которое еще не могло отлиться въ болѣе строгія и законченныя формы Гегелевой философіи ¹⁾. Веневитиновъ былъ однимъ изъ самыхъ видныхъ дѣятелей своего философскаго кружка. Кромѣ силы его ума, этому способствовали и

¹⁾ Эпоха Шеллинговой философіи въ Россіи прекрасно изображена въ извѣстномъ сочиненіи кн. В. О. Одоевскаго, которому онъ далъ одно общее названіе: «Русскія Ночи». (Эти «Русскія Ночи» составляютъ первую часть сочиненій кн. Одоевскаго). «Вы не можете себѣ представить—говоритъ авторъ—какое дѣйствіе произвела въ свое время Шеллингова философія, какой толчекъ дала она людямъ, заснувшимъ подъ монотонный напѣвъ Локковыхъ рапсодій. Въ началѣ XIX вѣка, Шеллингъ былъ тѣмъ же, чѣмъ Христофоръ Колумбъ въ XV-мъ: онъ открылъ человѣку извѣстную часть его міра, о которой существовали только какія-то баснословныя преданія—его душу. Какъ Христофоръ Колумбъ, онъ нашелъ не то, чего искалъ; какъ Христофоръ Колумбъ, онъ возбуждалъ надежды неисполнимыя—но, какъ Колумбъ, далъ новое направленіе дѣятельности человѣка! Всѣ бросились въ эту чудную, роскошную страну: кто ради науки, кто изъ любопытства, кто для поживы. Одни вынесли оттуда много сокровищъ, другіе лишь обезьянъ да поугаевъ; но многіе и потонули». („Русск. Ночи“, стр. 15. Спб. 1844 г.).

другія его качества, которые привлекали къ нему людей почти съ первой же встрѣчи. Его теплая, благородная душа была вполне цѣнима его друзьями, а блестящее остроуміе, не вездѣ одинаково настроенное, но всегда удачно разыгрывавшееся въ пріятельскомъ обществѣ, много оживляло ихъ систематическія заступанія. Съ любовью и великой грустью вспоминалъ нашъ поэтъ объ этомъ близкомъ своему сердцу кружкѣ, оторванный отъ него необходимостью.

Дружескія эти бесѣды имѣли самый разнообразный характеръ: тутъ выводились на сцену почти всѣ предметы человѣческаго вѣдѣнія, всѣ затаенныя движенія человѣческаго сердца. Мыслящіе юноши старались по всему провести свой философскій контроль:—подчинить разнородныя познанія одной стройной системѣ, свести различные чувства въ одну гармоническую группу. Въ такой сложной и трудной работѣ, конечно, не обходилось иногда безъ фразъ и излишнихъ разсужденій, но, во всякомъ случаѣ, общество молодыхъ, даровитыхъ людей, со всѣмъ жаромъ своего возраста привязанныхъ къ своимъ благороднымъ цѣлямъ, не могло вести безплодныхъ бесѣдъ и ни къ чему не ведущихъ преній. Такъ, напр., мы навѣрно знаемъ, что на этихъ дружескихъ сеймахъ весьма послѣдовательно выработалась идея о необходимости такого журнала, который выполнялъ бы всѣ условія русскаго періодическаго изданія. Условія эти съ большою ясностью высказаны въ статьѣ Веневитинова: «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала», которая, въ видѣ программы, была имъ прочтена на одномъ изъ литературныхъ вечеровъ. Въ ней высказывалось много свѣтлыхъ мыслей насчетъ характера русскаго просвѣщенія, русскіхъ журналовъ и возникшаго отсюда «чувства подражательности, которое самому таланту приносить въ дань не удивленіе, но работѣ». Здѣсь же были прочтены Веневитиновымъ и другіе прозаическіе отрывки: «Скульптура, живопись и музыка», «Утро, полдень, вечеръ и ночь» и «Анаксагоръ». Содержаніе отрывковъ само показываетъ многосторонность и живой интересъ этихъ дружескихъ бесѣдъ, запечатлѣнныхъ вполне юношескимъ характеромъ и придавшихъ этотъ характеръ и упомянутымъ отрывкамъ. Послѣдній изъ нихъ: «Платонъ и Анаксагоръ», гдѣ высшая поэзія полагается въ философію, для насъ интереснѣе другихъ, потому что въ немъ обнаруживаются разомъ и напряженность философскихъ занятій поэта, и сила поэтическаго дара, которымъ онъ могъ оживлять самыя отвлеченныя мысли.

Программу статьи: «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала»

взялся исполнить нѣсколько позже «Московскій Вѣстникъ» (изд. съ 1827 г.) ¹⁾.

Веневитиновъ, по многимъ причинамъ, не могъ быть редакторомъ «Московского Вѣстника», но постоянно принималъ въ немъ самое дѣятельное участіе ²⁾. Его содѣйствию обязанъ былъ этотъ журналъ постояннымъ сотрудничествомъ Пушкина. Уже изъ Петербурга, Веневитиновъ просилъ въ одномъ письмѣ: «сказать искренно, что говорить о «Московскомъ Вѣстникѣ». Въ другомъ мѣстѣ того же письма, онъ проситъ передать г. Погодину (редактору Вѣстника) что не худо было бы пригласить въ сотрудники журнала—«Мицкевича, слывущаго за знатока литовскихъ древностей, латышскаго и древне-славянскаго языковъ». Также предлагалъ онъ «сразить въ конецъ трехглавую петербургскую гидру: Пчелу, Архивъ и Сына Отечества», мира съ которыми, по его мнѣнію, не могло быть. Въ полемикѣ съ «Моск. Телегр.» онъ совѣтовалъ быть осторожнѣе, указывая на особенныя достоинства этого журнала ³⁾. «Скажи Погодину — писалъ онъ А. В. В.—нову въ письмѣ отъ 24 января 1827 г.—чтобъ онъ не скупился, прибавилъ листочекъ къ журналу, а то онъ точно въ чахоткѣ. Да что онъ не разнообразить его? Я объ нихъ больше забочусь, чѣмъ они о себѣ». Совѣты Веневитинова, большею частію, исполнялись—и современники оцѣнили прекрасное направленіе журнала. Даже «Телеграфъ», забывъ на время свою обычную строгость и сухость похвалъ, говорилъ, что—«Московскій Вѣстникъ» обращаетъ на себя вниманіе не одною исправностью выхода книжекъ (достоинство далеко не послѣднее въ то время), но и самымъ своимъ содержаніемъ, благонамѣренностью критики, свѣжестью ста-

¹⁾ Вотъ какъ говорилъ самъ редакторъ (М. Погодинъ) объ изданіи своего журнала: «Московскій Вѣстникъ» издается не однимъ мною, но многими, занимающимися русской литературою, кои, бывъ движимы чистымъ усердіемъ къ общему благу, рѣшились соединить свои усилія при этомъ изданіи и принести общую жертву на алтарь общественнаго просвѣщенія. Участвующіе въ изданіи журнала раздѣлили труды между собою: одни взяли на себя теорію изящныхъ искусствъ, другіе исторію и т. д. Мнѣ поручена редакція, т. е. я, отвѣчая за все изданіе, долженъ приводить въ порядокъ для помѣщенія въ книжкахъ доставляемыя и всѣми нами одобренныя статьи». Такимъ образомъ, редакція журнала приняла впервые на Руси коллегіальное устройство.

²⁾ Въ нѣсколькихъ строкахъ, присланныхъ изъ Петербурга при появленіи 2-й пѣсни Онѣгина («Моск. Вѣстн.», 1828, № 4), Веневитиновъ прямо называетъ себя однимъ изъ издателей этого журнала.

³⁾ По смерти его, съ 1828 г., уже завязались жаркія перестрѣлки между «Вѣстникомъ» и «Телеграфомъ».

тей». Итакъ, мы будемъ исполнѣ правы, если бросимъ впослѣдствіи бѣглый взглядъ на всю русскую журналистику и укажемъ въ ней мѣсто этому новому органу.

Изъ всѣхъ членовъ философскаго кружка, Веневитиновъ всего болѣе сблизился съ И. В. Кирѣевскимъ и Н. М. Рожалинымъ, а изъ этихъ двухъ былъ наиболѣе близокъ къ Рожалину ¹⁾. Мы имѣемъ очень мало свѣдѣній о Рожалинѣ, но, судя по немногимъ сохранившимся даннымъ, онъ имѣлъ, въ началѣ своего знакомства, большое нравственное вліяніе на Веневитинова, нѣсколько подобное вліянію П. И. Катенина, игравшаго важную роль въ умственной жизни Пушкина. Умный труженикъ, знатокъ нѣмецкой и древне-классической литературы и партизанъ новаго, болѣе жизненнаго направленія въ искусствѣ, Рожалинъ скоро сталъ необходимъ для поэта, который, конечно, быстро сравнивался съ нимъ въ умственномъ развитіи. Природные инстинкты Веневитинова, отвлекавшіе его отъ застоя въ литературѣ и ложно-классическихъ авторитетовъ, были закрѣплены тщательнымъ изученіемъ Шекспира ²⁾, на котораго Рожалинъ, первый, настойчиво указывалъ ему. Къ сожалѣнію, мы имѣемъ отъ Рожалина только одни кропотливые переводы изъ нѣмецкихъ писателей; но при всемъ усердномъ труженичествѣ, составлявшемъ отличительную черту этого характера, онъ не былъ лишенъ и того поэтическаго отбѣга, который привлекалъ къ нему Веневитинова. Полной взаимностью отвѣчалъ Рожалинъ нашему поэту и впослѣдствіи, умирая въ захотѣ, вспоминалъ о немъ ³⁾.

Еще меньше фактическихъ свѣдѣній имѣемъ мы о дружбѣ поэта съ И. В. Кирѣевскимъ, родоначальникомъ славянофильской школы, человѣкомъ обширнаго ума и блестящей эрудиціи. Въ первой своей юности, лѣтъ 18—19-ти, молодой Кирѣевскій считался отъявленнымъ скептикомъ и приверженцемъ французскихъ энциклопедистовъ, но вдругъ, въ душѣ его, произошла рѣшительная реакція. Эта замѣчательная психологическая черта невольно напоминаетъ намъ В. Г. Бѣлинскаго, представителя про-

¹⁾ Кромѣ того, поэтъ нашъ былъ съ дѣтства еще друженъ съ Ѳ. С. Хомяковымъ, но эта дружба, кажется, имѣла больше характеръ нѣжной привязанности, чѣмъ серьезнаго умственнаго сближенія.

²⁾ По переводамъ Авг. Шлегеля, такъ какъ Веневитиновъ не зналъ англійскаго языка.

³⁾ Смерть настигла его, когда онъ, больной, только что вернулся изъ-за границы, гдѣ занимался изученіемъ филологіи. Онъ умеръ уже послѣ Дм. Вл—ча и, умирая, съ любовью разспрашивалъ о немъ; но отъ него скрыли смерть его друга. Рукописи Рожалина сгорѣли на станціи.

тивоположнаго направленія въ литературѣ, котораго умственное развитіе шло совершенно обратнымъ путемъ... Отказавшись навсегда отъ своего шатеаго скептицизма, Кирѣевскій безпрепятственно ударился въ мистицизмъ, который и ступевалъ въ немъ самыя блестящія стороны литературнаго таланта. Но въ этомъ мистицизмѣ у него было много мысли и неподдѣльной поэзіи; его личная натура невольно очаровывала всѣхъ своею теплою, любящей стороною—и этими-то качествами, онъ, безъ сомнѣнія, привлекалъ къ себѣ и Веневитинова, всегда откликавшагося на зовъ открытой и благородной души.... Въ свою очередь, Кирѣевскій былъ сильно привязанъ къ своему другу и высоко цѣнилъ въ немъ какъ его личную, безупречно-чистую натуру, такъ и быстро мужавшій литературный и поэтический талантъ. Любопытно, въ высшей степени, прослѣдить отраженіе мыслей Кирѣевскаго въ теоріи позднѣйшихъ славянофиловъ. Философія Кирѣевскаго сильно страдала недостаткомъ осязательныхъ выводовъ, отсутствіемъ опредѣленныхъ очертаній—и, вслѣдствіе этого, легко сжималась въ самую тѣсную и ограниченную доктрину. Замѣчательна его статья въ первой книжкѣ журнала «Европеецъ» (1832 г.).

Покончивъ съ философскимъ кружкомъ, въ которомъ Веневитиновъ былъ такимъ сильнымъ и полезнымъ дѣятелемъ,—мы перейдемъ теперь къ важнѣйшему событію въ жизни поэта, къ его первой, юношеской любви. Ученые труды и философскія бесѣды, конечно, не могли поглотить всего Веневитинова: его живая, страстная душа не могла остаться при одной жизни ума безъ жизни сердца, чтобы наконецъ представить въ юношѣ одного изъ тѣхъ раннихъ старичковъ, надъ которыми недавно такъ зло и немного ухарски подсмѣялся современный поэтъ ¹⁾. Природная впечатлительность сердца не загасла въ этомъ раннемъ умственномъ развитіи—и вырвалась таки наружу въ горячей, страстной любви. Это случилось въ половинѣ 1825 г., т. е., когда Веневитинову было около 20 лѣтъ.

Справедливо говорить, что въ любви познается и раскрывается вся нравственная натура человѣка: деспотъ въ душѣ, какъ, напр., Пушкинскій Алеко, проявить весь свой грубый деспотизмъ, лѣнивый Обломовъ взглянетъ на свою страсть съ высоты своего дивана, дѣловой Штольцъ признаетъ въ любви одинъ изъ движущихъ жизненныхъ элементовъ, нѣжное и мягкое сердце потонетъ въ глубинѣ своихъ ощущеній. Въ любви, такъ пламенно, почти безумно, охватившей нашего юношу, невольно выразились

¹⁾ «Нов. стихотв. Бенедиктова», стр. 27.

какъ его собственная, изящно-благородная натура, такъ и вся нравственная подготовка, которую прошелъ онъ до встрѣчи съ любимой женщиной.

Княгиня Зинаида Волконская возбудила къ себѣ въ поэтѣ самую пылкую, но дѣтски-чистую страсть: Два стихотворенія: «Элегія» и «Италія» нѣсколько изображаютъ намъ личность любимой особы и характеръ любви къ ней Веневитинова. Изъ перваго мы узнаемъ, что она вернулась съ юга и «принесла въ очахъ цвѣтъ южнаго неба». Страсть, возбужденная ею, рисуется здѣсь уже во второмъ фазисѣ своего развитія, когда, омраченная разлукою, она приняла мучительный и развѣдающій характеръ. Самъ поэтъ называетъ свое чувство «мучительнымъ и мятежнымъ огнемъ».

Второе стихотвореніе, гдѣ поэтъ надѣется посѣтить «отчизну вдохновенья» («Италія»), позволяетъ думать, что рассказы молодой путешественницы о дальней сторонѣ были свѣжи и увлекательны...

Но любимая особа была много старше и зрѣлѣе нашего поэта, не могла отвѣчать его страсти съ одинаковой искренностью и теплотою, и, наконецъ, не могла приблизить его къ себѣ до той границы, гдѣ страсть регулируется чувствомъ обладанія и вообще принимаетъ болѣе нормальные размѣры: она была замужняя женщина... Впрочемъ, она оказывала большое вниманіе своему юному обожателю и даже подарила ему на память свой перстень, который и былъ сбереженъ Веневитиновымъ до самой смерти. Но при этомъ она тщательно полагала предѣлы его дальнѣйшимъ порывамъ и даже старалась внушить ему, что счастье, вообще, не благопріятствуетъ хорошимъ людямъ и что ихъ удѣлъ—молча покоряться злосчастной судьбѣ. Впрочемъ, нашъ поэтъ не былъ особенно настойчивъ въ своихъ исканіяхъ... и представилъ собой ужасный, хотя въ высшей степени симпатичный примѣръ сдержанно-молчаливаго, болѣзненно-выстраданнаго чувства. Говорятъ, что натура этой женщины, не даромъ прозванной въ высшемъ кругу сѣверной Коринной, была весьма даровита и привлекательна, а потому любовь къ ней Веневитинова продолжалась около двухъ лѣтъ; съ этой любовью Веневитиновъ сошелъ въ могилу, и, быть можетъ, она много ускорила его раннюю смерть.

Но, сверхъ этого сильнаго чувства, замыкавшаго собой всю нравственную жизнь поэта, московская жизнь подарила его знакомствомъ съ А. С. Пушкинымъ, который пріѣзжалъ въ 1826 г., по особымъ причинамъ, въ Москву. Еще живши въ Тригорскомъ, Пушкинъ узналъ Веневитинова по разбору первой пѣсни Онѣгина, написанному имъ въ претестъ противъ критики «Телеграфа». По

пріѣздѣ въ Москву, Пушкинъ съ живостью, такъ ему свойственной, объявилъ г. Соболевскому, у котораго на время остановился, свое желаніе познакомиться съ авторомъ. «Это единственная статья — говорилъ А. С. — которую я прочелъ съ любовью и вниманіемъ. Все остальное — или брань или переслащенная дичь» ¹⁾. (По поводу этой статьи, Веневитиновъ вступилъ въ довольно жаркую полемику съ Полевымъ). Въ домѣ Соболевскаго Пушкинъ познакомился съ Веневитиновымъ, устроивъ литературную вечеринку для прочтенія Бориса Годунова и пригласивъ къ ней нашего поэта. Въ домѣ Веневитиновыхъ происходило на другой день вторичное чтеніе той же пьесы. Геніальный поэтъ не могъ не замѣтить въ Веневитиновѣ тѣхъ особенныхъ достоинствъ, которыя такъ влекли къ нему всѣхъ людей, знавшихъ его, — и между ними весьма скоро началась довольно тѣсная дружба. Вотъ что говоритъ объ ихъ сближеніи извѣстный біографъ Пушкина, П. В. Анненковъ: «Веневитиновъ принадлежалъ къ тому кругу молодыхъ людей, которые искали въ наукѣ и въ строгихъ занятіяхъ удовлетворенія своему благородному стремленію къ идеалу, добру и красотѣ. Вся его литературная дѣятельность проникнута этимъ стремленіемъ, и онъ имѣлъ свою долю вліянія на Пушкина... Въ порывахъ Веневитинова къ истинѣ, въ его томительномъ желаніи полноты знанія, даже въ нравственномъ упадкѣ силъ, слѣдующемъ за напряженіемъ мысли и чувства, лежало много залоговъ будущности и развитія. За нѣсколько времени до смерти своей, Веневитиновъ написалъ «Посланіе Пушкину», въ которомъ призывалъ пѣвца Байрона и Шенье — воспѣть великаго германскаго старца Гёте, и Пушкинъ, въ то же время, создалъ превосходную сцену, названную имъ: «Новая сцена между Фаустомъ и Мефистофелемъ», гдѣ онъ измѣнилъ отчасти образы германскаго поэта». («Матер. для біогр. Пушкин.», стр. 184—5). Конечно, и для Веневитинова не осталось безплоднымъ это кратковременное знакомство. Изъ «Посланія къ Пушкину» видно, что нашъ поэтъ былъ сильно увлеченъ талантомъ своего новаго друга.

Вскорѣ, однако, приблизилось для Веневитинова время разлуки съ Москвой и милой особой, жившей тамъ. Въ канцеляріи коллегіи иностранныхъ дѣлъ (въ Петербургѣ) открылась вакансія — и въ началѣ октября 1826 г. нашъ поэтъ отправился туда съ прежней любовью и вновь начатымъ романомъ, отъ котораго сохранились нѣсколько отрывковъ и планъ этого произведенія, рассказанный

¹⁾ Слова эти переданы намъ А. В. В—мъ.

въ предисловіи къ первому изданію сочиненій Веневитинова. Бутеневъ становился въ Петербургѣ его ближайшимъ начальникомъ; О. С. Хомяковъ и французъ Вошэ, только что вернувшійся изъ Сибири, куда онъ сопровождалъ княгиню Трубецкую, были попутчиками Веневитинова въ дальней и скучной поѣздѣ—дальней потому, что тогда еще не было желѣзной дороги, такъ ускоряющей сообщеніе между двумя столицами. Компания Вошэ была причиною особенныхъ приключеній въ этомъ переѣздѣ: какъ человѣкъ, состоявшій въ близкихъ сношеніяхъ съ семействомъ ссыльнаго князя, онъ бросалъ подозрительную тѣнь на самого Веневитинова, который и былъ задержанъ подѣ арестомъ на цѣлую недѣлю. Черезчуръ прямой и рѣшительный отвѣтъ Веневитинова на нѣкоторые предложенные ему запросы усложнилъ было дѣло, но оно скоро окончилось по самой пустотѣ своего предлога. Проѣздомъ чрезъ Новгородъ, Веневитиновъ вдохновился его грустной судьбой и написалъ стихотвореніе, названное именемъ вольнаго города.

«Москву оставилъ я, какъ шальной—писалъ Веневитиновъ изъ Петербурга—не знаю, какъ не сошелъ съ ума». На просьбу своего корреспондента—описать ему Петербургъ, онъ отвѣчалъ, что «описывать Петербургъ не стоить. Хотя Москва и не даетъ объ немъ понятія, но онъ говоритъ болѣе глазамъ, чѣмъ сердцу»¹⁾. Любуясь Казанскимъ соборомъ, поэтъ находилъ въ себѣ склонность къ набожности: «я люблю,—говоритъ онъ,—церковь огромную и довольно величественную». Чувство изящнаго и необходимость сильнаго утѣшенія заодно развивали въ немъ эту склонность... Таврическій дворецъ, съ своей знаменитой залой и садомъ, скоро сдѣлался предметомъ частыхъ посѣщеній поэта; особенно нравилась ему группа Лаокоона. Нева плѣняла его, и это чувство онъ счлсилъ заявить въ стихотвореніи: «Къ моей богинѣ». Отсюда мы узнаемъ, что не разъ прогуливался нашъ поэтъ по берегамъ тихоструйной рѣки, вспоминая Москву и виновницу того чувства, которое теперь отравлялось разлукой. «Обѣдаю за общимъ столомъ у Andrieux»—писалъ онъ своему брату. «Тамъ собираются говоруны и умники Петербурга. Я, разумѣется, молчу, и нужно прибавить, что я сталъ очень молчаливъ, съ тѣхъ поръ какъ тебя оставилъ». Здѣсь поясняется одна коренная черта въ характерѣ Веневитинова: онъ не былъ «говорунѣмъ», не любилъ словесныхъ турнировъ, на которые иной боецъ задолго запасаетъ

¹⁾ Выписки эти мы дѣлаемъ изъ подлинныхъ писемъ Д. В. Веневитинова.

стрѣлы и копья, и только съ близкими людьми могъ вступать въ живой, одушевленный разговоръ. Въ этомъ случаѣ, онъ былъ всегда вѣренъ тому идеалу человѣка, который самъ начерталъ въ стихотвореніи: «Поэтъ». Ему трудно было насиловать себя въ разговорѣ и толковать о вещахъ, совершенно чуждыхъ; тѣмъ больше не позволялъ онъ себѣ ложныхъ и крикливыхъ восторговъ, которые строго осудилъ въ стихотвореніи: «Къ любителю музыки». Въ обществѣ дамъ, преимущественно такихъ, которыя могли сколько нибудь затронуть въ немъ поэтическое чувство, эта особенная черта его характера выражалась въ крайней несмѣлости и застѣнчивости обращенія. Одна дама, знавшая Веневитинова въ Петербургѣ, рассказывала намъ: какъ нелегко было усадить молодого поэта рядомъ съ красивой и симпатичной, но еще мало знакомой ему женщиной, какъ внезапно сказывалось это пріятное сосѣдство во всей фигурѣ юноши: въ робости его движеній, въ смягченныхъ звукахъ голоса, въ умныхъ и ласковыхъ глазахъ. Сюда примѣшивалось, впрочемъ, и другое свойство поэта—его почти-дѣтская стыдливость, которая доходила до того, что, посылая своему брату стихотвореніе «Домовой», гдѣ говорится только намекомъ о починныхъ похожденияхъ сельской красавицы, поэтъ убѣдительно просилъ его «не показывать этой пьески въ дамскомъ обществѣ».

Разставшись съ любимой женщиной, Веневитиновъ еще больше замкнулся въ самомъ себѣ, еще рѣже позволялъ себѣ обнаруживать свои чувства. Всѣ привязанности сердца, всѣ воспоминанія молодости, влекли его въ покинутый городъ, и онъ, съ полнымъ правомъ, указывалъ на себя Рожалину, какъ на жертву «многолюдной пустыни, не населенной ни единой душою». Въ письмахъ къ одному близкому лицу, онъ часто просилъ передать поклонъ любимой особѣ или нѣкоторые изъ своихъ стиховъ. Въ Петербургѣ онъ встрѣтилъ одну, тоже весьма привлекательную женщину, но сердце его уже не было свободно и онъ говорилъ, что «любуется ей, какъ Ифигеніей въ Тавридѣ, которая, мимоходомъ сказать, прекрасна». Спасаясь отъ горестныхъ воспоминаній, онъ думалъ развлечь себя петербургскими маскарадами, самъ ѣзжалъ замаскированный къ своимъ знакомымъ (причемъ всегда былъ узнаваемъ по необыкновенно-массивнымъ ступнямъ),—но все это нисколько не усыпляло его жгучей боли, и на него находили даже минуты полнѣйшаго отвращенія къ жизни. Изъ всѣхъ знакомствъ, заведенныхъ Веневитиновымъ въ новомъ мѣстѣ, знакомства съ гр. Л., Дельвигомъ и Козловымъ были для него пріятнѣйшими. Въ домѣ гр. Л. онъ чаще всего проводилъ время, свободное отъ службы и литературныхъ занятій. Дельвигъ, благодаря своей прѣ-

мой, честной натурѣ, «привлекавшей его къ возвышеннымъ пѣвцамъ», скоро сдѣлался любимымъ собесѣдникомъ Веневитинова, и нерѣдко проводили они вмѣстѣ цѣлыя вечера, «напѣвая пѣсни и швыряя другъ въ друга стихами». Здѣсь кстати замѣтить, что въ минуту увлеченія поэтъ нашъ былъ самымъ счастливымъ импровизаторомъ и часто даже сочинялъ цѣлую шутливую пьесу на того, кто затрогивалъ въ немъ сатирическую жилу.

Кромѣ Дельвига, нашлись и другіе претенденты на дружбу поэта. Два журналиста «увивались около него, какъ около липки» (по выраженію письма Веневитинова), но скоро, однако, потеряли надежду «добыть отъ него меду».

«Я дружусь съ моими дипломатическими занятіями» — писалъ Веневитиновъ въ декабрѣ 1826 г., пригоняемый къ нимъ горечью своей внутренней жизни. «Молю Бога, чтобы поскорѣ былъ миръ съ Персіей: хочу отправиться туда и на свободѣ пѣть съ восточными соловьями». Судьба не дала ему дожить до той печальной катастрофы, которой вскорѣ подверглось наше персидское посольство: она уже готовила ему болѣе раннюю, но мирную смерть. — Таланты молодого человѣка и его усердіе къ службѣ были скоро замѣчены гр. Лавалемъ, поручавшимъ его перу самыя важныя бумаги. По его же приглашенію, Веневитиновъ разбиралъ сцену изъ «Бориса Годунова», назначая свой разборъ въ *Journal de St.-Petersbourg* (*Analyse d'une scène détachée de la tragédie de Mr. Pouchkin*); но еще нерѣшенная въ то время участь Пушкина помѣшала этой статьѣ явиться въ полуофициальной газетѣ. Когда же пронесся слухъ, что г. Улыбышевъ собирается бранить эту сцену, то Веневитиновъ надѣялся опять приняться за перо. «Я очиню перышко — говорилъ онъ — и мы перевѣдаемся».

«Не смотря на множество занятій — сообщалъ онъ въ декабрьскомъ письмѣ — я все таки нахожу время писать». Время онъ дѣйствительно находилъ: большая и лучшая часть его произведеній написана имъ въ эту пору, что обѣщало въ немъ значительно-плодовитого писателя. Сюда относятся: «Поэтъ», первое стихотвореніе, присланное имъ изъ Петербурга, и всѣ стихотворенія, помѣщенные въ старомъ изданіи послѣ него. Характеръ этихъ произведеній весьма замѣчателенъ: въ нихъ вполнѣ выразились тѣ внутреннія боренія, тотъ невольный скептицизмъ и временная апатія къ жизни, которымъ суждено было вторгнуться въ мирную и невозмущаемую жизнь поэта. Къ «несчастной любви, какъ къ одному сборному пункту, присоединились всѣ прежнія, едва зачинавшіяся сомнѣнія, всѣ неудовлетворенныя вопросы ума, поднявшіеся, кажется, еще во время изученія анатоміи (сла-

бый наметъ на это мы находимъ въ программѣ неоконченнаго романа); словомъ, все то, что нарушаетъ дѣтски-чистыя вѣрованія, принося взаимно ихъ или вѣчную душевную пустоту, или новыя, уже болѣе строгія и закаленные убѣжденія. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, «Жизнь», Веневитиновъ прямо говорить, что жизнь опостылѣла ему, и что ея загадка уже становится ему скучна, какъ повторяемая сказка на сонъ грядущій. Въ другомъ, «Поэтъ и другъ», онъ влагаетъ въ уста друга скептическую рѣчь о ничтожествѣ загробной славы. «Что за гробомъ—то не наше» говоритъ другъ, встрѣчая впрочемъ возраженія со стороны поэта.

Но, рядомъ съ этими признаками нравственного упадка, мы встрѣчаемъ въ его произведеніяхъ другіе звучные и могучіе аккорды, которые ясно указывали: какой свѣтлый и сильный характеръ долженъ былъ выработаться въ поэтѣ изъ этого хаоса тревожныхъ сомнѣній. Всего замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи стихотвореніе, начинающееся такъ:

Я чувствую, во мнѣ горитъ
Святое пламя вдохновенья...

Въ немъ какъбы предчувствовалось освобожденіе поэта отъ всѣхъ исключительныхъ привязанностей, въ пользу свѣтлой, глубоко-поэтической созерцательности. Онъ уже недоволенъ однимъ узкимъ чувствомъ, стѣсняющимъ его нравственный горизонтъ, но хочетъ обнять всю природу и въ свободномъ вдохновеніи воспроизводить каждый ея фактъ, достойный творческаго воспроизведенія. Но эти полные и стройные звуки заглушались пока воплями растерзаннаго сердца, которые вылились особенно сильно въ двухъ пьесахъ: «Завѣщаніе» и «Къ моему перстню».

Стихотвореніе «Поэтъ и другъ», написанное Веневитиновымъ незадолго до своей смерти, подъ вліяніемъ какого-то пророческаго предчувствія, должно остановить на себѣ все вниманіе біографа. Здѣсь, въ лицѣ поэта, мы узнаемъ самого Веневитинова въ сокровѣннѣйшихъ движеніяхъ его сердца. Вспомнимъ строфу:

Душа сказала мнѣ давно:
Ты въ мірѣ молніей промчишься,
Тебѣ все чувствовать дано,
Но жизнью ты не насладишься!

Но поэтъ твердо вѣруетъ, что

Тому, кто жребій довершилъ,
Потеря жизни не утрата....

Пьеса: «Земная участь и апопееза художника» хотя заимствована у Гёте, но также рельефно рисуетъ душевное настроеніе

поэта. Въ ней замѣтно пробивается оттѣнокъ неудовлетвореннаго чувства. Въ концѣ пьесы, художникъ говоритъ музѣ, показывая на своего ученика:

Молю тебя, подруга неземная,
Здѣсь на землѣ не забывай его.
Пока уста дрожать еще лобзаньемъ,
Пока душа волнуется желаньемъ—
Да вкусить онъ исполнѣ твою любовь!
Вѣнокъ ему на небѣ уготовь,
Но здѣсь подай сосудъ очарованья,
Безъ ада слезъ, безъ примѣси страданья!

Въ февралѣ 1827 г. мы застаемъ Веневитинова за новой работой, которой, по словамъ его письма, рѣшался весьма важный вопросъ: «долженъ ли онъ слѣдовать влеченію къ поэзіи, или побороть въ себѣ эту страсть»? Къ сожалѣнію, мы рѣшительно не можемъ сказать: какому это произведенію выпадала такая важная роль въ жизни поэта? Романъ, начатый Веневитиновымъ въ Москвѣ, тоже подвигался впередъ. Изъ отрывка, уцѣлѣвшаго отъ этого романа, мы видимъ еще яснѣе, что для поэта проходила уже пора безотчетныхъ мученій любви. Усиленная работа мысли, укрѣпленной и направленной опытомъ, уже привела его къ рубежу юношеской страсти—строгой наблюдательности и безысключительному анализу всякаго чувства. Поэтъ уже не удовлетворялся «первымъ идеаломъ своимъ, тѣмъ образомъ, въ который выливалъ всю душу» и ясно провидѣлъ третью эпоху жизни, которую назвалъ «эпохой думъ». Но физическія силы поэта, какъ ни были значительны, не вынесли такой жгучей внутренней работы и сложились въ ожиданіи обновляющаго кризиса. За мѣсяцъ до кончины поэта, г. Стурдза замѣтилъ на его лицѣ признаки органическаго разрушенія: «я видѣлъ Веневитинова — говорилъ онъ въ послѣдствіи О. Хомякову — и съ первой же встрѣчи призналъ въ немъ необыкновенныя дарованія, но тутъ же замѣтилъ и на его лицѣ признаки скорой смерти». Еще бѣдный поэтъ мечталъ о поѣздкѣ въ маѣ мѣсяцѣ въ Ревель и Финляндію, какъ вдругъ неотразимая болѣзнь уложила его въ постель. Ближайшимъ поводомъ къ этой болѣзни было слѣдующее обстоятельство. Веневитиновъ жилъ въ домѣ В. С. Ланскаго (въ верхнемъ этажѣ надворнаго флигеля) и былъ хорошо принятъ въ семействѣ своего домохозяина. Разъ у Л—хъ устроился маленькій вечеръ съ танцами, на который приглашенъ былъ и Веневитиновъ. Послѣ танцевъ, въ которыхъ принималъ большое участіе,—поэтъ нашъ не поостерегся и, вспотѣвши, перебѣжалъ черезъ дворъ въ свою

квартиру, въ едва накинутаѣ шинели. Въ это время, ночью, стоялъ большой холодъ, съ примѣсю обычной въ Петербургѣ сырости — и балтійскій климатъ награждалъ жесточайшимъ тифомъ неосторожнаго новичка ¹⁾. Жестокая болѣзнь продолжалась, по показанію однихъ писемъ, до 5-и, а по другимъ даже до 9-и дней. Докторъ Раухъ, славный въ то время въ Петербургѣ, лѣчилъ больного, но безъ успѣха, и 15-го марта 1827 г. Веневитиновъ скончался на рукахъ Ѳ. Хомякова и другихъ близкихъ людей. Передъ смертью, Веневитинова всего болѣе мучило то, что онъ не могъ писать къ нѣжно-любимой имъ матери. «Ахъ, Боже мой! какъ я виноватъ передъ матушкой: не могу двухъ строкъ написать!» повторялъ онъ неоднократно.

Вѣсть о его смерти поразила ужасомъ всѣхъ его родныхъ и знакомыхъ. Просмотрѣвъ различныя письма, писанныя по этому печальному поводу и исполненныя почти одинаковой скорби и горечи, нельзя не убѣдиться, что только глубоко-честная, любящая и обаятельная душа могла возбудить такія сходныя чувства. Отъ матери долго скрывали ея потерю, Хомяковъ (Ѳ. С.) заболѣлъ отъ горести. Выражая свою любовь къ покойному, одна дама писала, что «это чувство невольно сообщалось всѣмъ знавшимъ его». «Душа разрывается—писалъ кн. Од.—я плачу, какъ ребенокъ!» Тѣло Веневитинова было перевезено въ Москву, и вотъ какой эпитафіей почтилъ его старикъ-Дмитріевъ:

Здѣсь юноша лежитъ подъ холодною доской,—
Надъ нею роза дышетъ —
А старость дряхлую рукой
Ему надгробье пишетъ!

На могильной плитѣ (въ Симоновомъ монастырѣ) вырѣзана краткая надпись: «Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ!»

«Comment donc l'avez vous laissé mourir?» (какъ вы допустили его умереть?) съ горестью говорилъ Пушкинъ друзьямъ покойнаго...

¹⁾ Свѣдѣніе это, а равно и предсмертныя слова Веневитинова, переданы намъ кн. Вл. Ѳ. Одоевскимъ, который часто навѣщалъ поэта во время болѣзни.

Отзывы о Веневитиновѣ послѣ его смерти.—Философское настроеніе поэта.—Участіе его въ основаніи «Московского Вѣстника». Значеніе «Вѣстника» въ исторіи русской журналистики.—Критическая теорія Веневитинова.—Полемика съ Мерзляковымъ и Полевымъ.—Общая характеристика поэзіи Веневитинова.

Смерть Веневитинова, уже привлекавшаго къ себѣ живое сочувствіе публики, была встрѣчена въ литературѣ самыми искренними и глубокими сожалѣніями. Въ «Московскомъ Вѣстникѣ» (1827 г. № VII), въ выноскѣ, слѣдовавшей за стихотвореніемъ: «Поэтъ и Другъ», было сказано отъ имени издателей журнала: «Горькими слезами омочили мы это стихотвореніе. Незабвенный другъ нашъ, чудеснымъ образомъ, предрекъ свою судьбу. Черезъ недѣлю послѣ отправленія изъ Петербурга этого стихотворенія, онъ (на 22-мъ году отъ роду) занемогъ нервическою горячкою, которая въ восемь дней свела его въ могилу ¹⁾. Оставшіяся его сочиненія показываютъ: чего должны были ожидать отъ него науки и отечество. Друзьямъ его не имѣть уже полного счастья».... Можно вполнѣ повѣрить искренности этихъ послѣднихъ словъ, подтверждающихъ только то вліяніе и значеніе Веневитинова въ своемъ кружкѣ, которое старались мы изобразить въ нашемъ біографическомъ очеркѣ. Два года спустя, это чувство горячей любви и уваженія къ усоншему поэту выразилось еще горячѣе и восторженнѣе въ статьѣ И. В. Кирѣевскаго («Денница» 1830 г. Обзор. слов. за 1829 г.).

«Среди молодыхъ русскихъ поэтовъ—говорилъ авторъ—напитанныхъ великими идеями германскихъ писателей, болѣе всѣхъ блестялъ и отличался покойный Д. В. Веневитиновъ, котораго стихотворенія вышли въ 1828 г. Его желаніе исполнилось: прочтя немногое, что осталось намъ послѣ него, кто не скажетъ съ чувствомъ восторга и печали:

Какъ я люблю его созданья!...

Веневитиновъ созданъ былъ дѣйствовать сильно на просвѣщеніе своего отечества, быть украшеніемъ его поэзіи и, можетъ быть, создателемъ его философіи. Кто вдумается съ любовью въ сочиненія Веневитинова, кто въ этихъ разнородныхъ отрывкахъ найдетъ слѣды общаго имъ происхожденія, кто постигнетъ глубину его мыслей, связанныхъ стройной жизнью души поэтической—

¹⁾ Свѣдѣнія эти несомнѣнно точны.

тотъ узнаеть философа, проникнутаго откровеніемъ своего вѣка, тотъ узнаеть поэта глубокаго и самобытнаго, котораго каждое слово освѣщено мыслью, каждая мысль согрѣта сердцемъ».

Но не одна только дружба бросила благодарственные цвѣты на эту раннюю могилу: почти всѣ современные журналы, не исключая и «Телеграфа», забывшаго на этотъ разъ свою личную ссору съ покойнымъ авторомъ, спѣшили выразить свое уваженіе къ необыкновеннымъ дарованіямъ Веневитинова. Одинъ изъ лучшихъ критиковъ своего времени, Н. И. Надеждинъ, такъ говорилъ о немъ въ «Телескопѣ», при выходѣ второй (прозаической) части его сочиненій («Телеск.» 1831 г.): «Незабвенный юноша былъ созданъ поэтомъ, и душа его, рано угадавшая свое призваніе, высказала себя мелодическими прелюдіями, которымъ судьба, по неисповѣдимымъ своимъ совѣтамъ, не дала разрѣшиться въ полную гармонию. Но и тѣхъ недоконченныхъ звуковъ, которые первенцами срывались съ его дѣвственной лиры, слишкомъ достаточно, чтобы дать почувствовать цѣну утраты, понесенной съ его преждевременной смертію. Веневитиновъ обѣщалъ въ себѣ то блаженное соединеніе свѣта и теплоты, ту гармонию красоты и истины, которая одна составляетъ печать истинной поэзіи».

Отзывъ Надеждина, какъ и всѣ современные ему и затѣмъ позднѣйшіе отзывы, составляетъ только слабое повтореніе мысли Кирѣевскаго, высказанной со всѣмъ искреннимъ увлеченіемъ любящаго сердца. Чтобы дать полную силу и стойкость такому отзыву, до сихъ поръ недоставало только одного—и самаго главнаго: желанія прослѣдить умственное развитіе поэта по тѣмъ немногимъ, но цѣннымъ отрывкамъ, которые сохранились въ изданіи его сочиненій, поставить на видъ тѣ малозамѣченныя красоты его поэтическихъ произведеній, которыя прошли безъ особаго вниманія по причинѣ своей немногочисленности и разрозненности. При внимательномъ изученіи немногочисленныхъ произведеній Веневитинова, намъ легко убѣдиться, что ихъ краткость и отрывочность не мѣшаютъ найти слѣды общаго, присущаго имъ духа, что этихъ необильныхъ матеріаловъ достаточно для спокойной и непреувеличенной оцѣнки одного изъ передовыхъ людей своего времени. Начнемъ съ прозы. Въ этомъ отдѣлѣ, кромѣ незначительныхъ отрывковъ, о которыхъ мы упоминали въ біографическомъ очеркѣ, мы находимъ: «Письмо о философіи», «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала», критическую статью о «Борисѣ Годуновѣ» (на франц. языкѣ), критическій разборъ «Разсужденія» Мерзлякова, приложеннаго къ его «Перевадамъ и Подражаніямъ» (Москва, 1825 г.), наконецъ, разборъ

1-й пѣсни «Евгенія Онѣгина», писанный по поводу мнѣнія о ней «Телеграфа» (Телегр. 1825 г. № 5), откуда и возникла весьма интересная полемика между Веневитиновымъ и Полевымъ—полемика, къ сожалѣнію, не вошедшая въ прежнее собраніе сочиненій Веневитинова («Телегр.» 1825 г. № XV и «Сынъ Отеч.» 1825 г., № XXIV). Въ нашемъ очеркѣ мы старались показать, что поэтъ нашъ былъ однимъ изъ сильныхъ двигателей философскаго образованія въ Россіи, что онъ составлялъ собой центръ перваго философскаго кружка въ Россіи, имѣвшаго немаловажное вліяніе на общество, и что, наконецъ, въ немъ самомъ философскія воззрѣнія совершенно лишились своей догматической отвлеченности, войдя, такъ сказать, въ самую ткань его жизни. Эта послѣдняя мысль, какъ нельзя лучше, подтверждается въ письмѣ о философіи и въ отрывкѣ, носящемъ названіе: «Платонъ и Анаксагоръ». «Письмо о философіи» представляетъ намъ замѣчательный примѣръ ясности изложенія: такъ могъ говорить только тотъ, кто, дѣйствительно, претворилъ въ свою плоть и кровь отвлеченныя воззрѣнія философіи.

«Начиная свои письма, говорить Веневитиновъ, я прошу васъ не забывать одного условія—и вотъ оно: если я на одну минуту перестану быть яснымъ, то изорвите мои письма, запретите мнѣ писать объ этомъ предметѣ.». Эта послѣдняя фраза рисуетъ намъ весь характеръ письма: она такъ рѣшительна, въ ней столько любви къ дѣлу и увѣренности въ силѣ и прозрачности философскаго ученія, что ею, по справедливости, можно начать новый періодъ философской пропаганды въ Россіи.

Въ этомъ «Письмѣ», конечно, далеко не исчерпана вся сущность философіи:—оно далеко не претендуетъ на такую громадную роль, но оно заслуживаетъ всего нашего вниманія, какъ первый удачный опытъ свести философію съ ходуль педантизма и нѣмецкой терминологіи. Изъ всѣхъ сложныхъ опредѣленій философіи, авторъ выбралъ одно, простѣйшее и наиболѣе доступное для пониманія тогдашняго общества, и изложилъ его такъ просто, логично и послѣдовательно, что мы, съ нѣкоторымъ удивленіемъ, вспоминаемъ годъ появленія статьи (она написана въ 1825 году), когда философія была еще у насъ совершенной Изидой, подъ самымъ непрозрачнымъ покрываломъ, и выражалась тяжелымъ языкомъ д-ра Велланскаго. Въ своихъ послѣдующихъ письмахъ, Веневитиновъ хотѣлъ представить весь сжатый курсъ философіи, хотѣлъ показать: «какъ всѣ науки сводятся на философію и изъ нея обратно выводятся»; при этомъ онъ, по всей вѣроятности, нечувствительно раздвигалъ бы и са-

мое опредѣленіе философіи. Судьба не дозволила ему окончить этотъ полезный трудъ популяризировапія философскихъ понятій, но его увѣренность въ ихъ несомнѣнномъ, хотя и отдаленномъ торжествѣ надъ всѣмъ нравственнымъ міромъ внушила ему слѣдующія строки: «Вѣрь мнѣ — говоритъ Платонъ въ названномъ нами отрывкѣ «Платонъ и Анаксагоръ» — она снова будетъ, эта эпоха счастья, о которой мечтаютъ смертные. Нравственная свобода будетъ общимъ удѣломъ: всѣ познанія человѣка сольются въ одну науку самопознанія. Что до времени! Намъ давно не станеть, но меня утѣшаетъ эта мысль. Умъ мой гордится тѣмъ, что ее предузнавалъ и, можетъ быть, ускорилъ будущее. Тогда пусть сбудется древнее египетское пророчество: пусть солнце поглотитъ нашу планету, пусть враждебныя стихіи расхитятъ разнородныя части, ее составляющія! Она исчезнетъ, но, совершивъ свое предназначеніе, исчезнетъ, какъ ясный звукъ въ гармоніи вселенной».

То же философское настроеніе, то же пылкое, юношеское желаніе — оживотворять идеей всякое человѣческое дѣло и начинаніе, видны въ журнальной и критической дѣятельности Д. В. Веневитинова. Мы уже говорили, что идея основанія «Московского Вѣстника» принадлежитъ нашему поэту, и что онъ положилъ огромную долю своего вліянія въ послѣдующее осуществленіе этой мысли. Еслибъ мы не знали навѣрное, что статья Веневитинова именно служила программой «Московского Вѣстника», то не трудно было бы убѣдиться въ этомъ, сличивъ ее съ характеромъ и содержаніемъ самаго журнала. Тѣ же попытки поставить критику на твердыя эстетическія основанія, изведя ее изъ хаоса романтическихъ бредней, то же намѣреніе основательно познакомить публику съ лучшими произведеніями иностранной, въ особенности нѣмецкой литературы, то же дѣленіе журнала на части: теоретическую и практическую (см. объявленіе о «Моск. Вѣстн.» въ «Сѣв. Пч.» 1826 г., въ концѣ года), наконецъ, то же постоянное стремленіе охватывать частные случаи одной всеобъемлющей идеей — вотъ существенныя принадлежности этого журнала. Явленіе же «Московского Вѣстника» мы считаемъ настолько серьезнымъ и многозначительнымъ въ русской литературѣ, что, для внимательной его оцѣнки, должны позволить себѣ нѣкоторое отступленіе и бросить бѣглый взглядъ на все развитіе журналистики въ Россіи.

Лирика и сатира — суть двѣ существенныя стороны нашей литературы XVIII-го вѣка, не считая здѣсь драмы, которая была тогда

явленіемъ вѣшнимъ и случайнымъ ¹⁾). Въ лирикѣ и сатирѣ видна уже разумность ихъ появленія въ русской литературѣ: ода выражала патріотическіе восторги Петровыхъ послѣдователей, славил побѣды русскаго оружія, отзывалась на успѣхи реформы; сатира помогала дѣлу преобразованія болѣе или менѣе рѣзкими нападками на пороки современнаго общества. Кантемиръ явился у насъ первымъ, по времени, представителемъ сатирическаго направления русской литературы, но всего полнѣе и многостороннѣе направленіе это выразилось въ дѣятельности другаго извѣстнаго писателя—А. П. Сумарокова. Плодовитый авторъ, Сумароковъ писалъ комедіи, сатиры, басни; думалъ соперничать съ Вольтеромъ въ силѣ и ѣдкости своей насмѣшки, и, наконецъ, много содѣйствовалъ развитію русской журналистики. Говоря фактически, русская журналистика началась еще изданіемъ Миллера: «Ежемѣсячныя сочиненія, къ пользѣ и увеселенію служащія», которое и продолжалось, мѣняя названія, съ 1755 по 1764 годъ. Уже по примѣру Миллера, Сумароковъ издавалъ въ 1759 г. свою «Трудолюбивую Пчелу»,—но здѣсь сатирическій элементъ, заключавшійся отчасти и въ «Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ», принялъ болѣе широкіе размѣры и сообщилъ нѣкоторое оживленіе журналу, ближе поставивъ его къ вопросамъ окружающей дѣйствительности. Въ подражаніе «Пчелѣ», возникли и въ Москвѣ различныя періодическія изданія, какъ, напр., «Полезное Увеселеніе» (съ 1760 г.), «Невинное Упражненіе» и др. Но вся эта журналистика еще не имѣла того рѣзко опредѣленнаго характера, который, съ 1769 г., выразился въ цѣломъ рядѣ сатирическихъ ²⁾ журналовъ. По своему основному характеру, журналы эти тѣсно примыкали къ тому направленію, которое Сумароковъ, всей своей дѣятельностью, поддерживалъ въ русской литературѣ, и, вслѣдствіе этого, при каждомъ удобномъ случаѣ, расточали большія похвалы своему патрону. По мнѣнію г. Булича ³⁾, Сумароковъ даже лично участвовалъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ изданій. «Трутенъ», издававшійся Н. И. Новиковымъ (съ мая 1769 года), названіе котораго чуть ли не составляетъ намекъ на «Трудолюбивую Пчелу» Сумарокова, былъ самымъ смѣлымъ и даровитымъ представителемъ сатирическаго направленія русской журналистики и, въ этомъ отношеніи, онъ далеко превосходилъ самого Сумарокова ⁴⁾.

¹⁾ «Сумароковъ и современная ему критика». Н. Булича. Спб. 1854 г.

²⁾ О сатирическихъ журналахъ см. прекрасное изслѣдованіе г. Аванасьева, Москва, 1859 г.

³⁾ «Сумароковъ и современная ему критика».

⁴⁾ Журналъ этотъ представляетъ весьма интересный предметъ для

Съ теченіемъ времени и съ измѣненіемъ общественныхъ потребностей, сатирическій элементъ въ журналахъ естественно долженъ былъ поблекнуть, хотя никогда не терялъ совершенно своего значенія. Дѣятельность типографщика Новикова не прошла безслѣдно въ нашей общественной жизни: до него, въ Москвѣ было двѣ книжныхъ лавки, продававшихъ въ годъ книгъ на сумму 10-ти тысячъ рублей — при немъ число ихъ возрасло до 20-ти, и всѣ вмѣстѣ онѣ уже выручали ежегодно до 200,000 р. («Вѣстн. Евр.» 1802 г., № 9). Новиковъ поднялъ число подписчиковъ на «Московскія Вѣдомости» отъ 600 до 4,000, выдавалъ безденежно при вѣдомостяхъ «Дѣтское Чтеніе» (ibid), словомъ, образовалъ уже нѣчто въ родѣ «публики», приготовивъ такимъ образомъ сферу для дѣятельности Карамзина.

Карамзину, преобразователю русскаго языка, выпало на долю преобразовать и русскую журналистику. Его «Московскій Журналъ» (съ 1791 г.), въ которомъ, съ первой же книжки, стали помѣщаться знаменитія въ свое время «Письма русскаго путешественника», уже совершенно отвѣчалъ всѣмъ умственнымъ потребностямъ общества, не вдаваясь притомъ въ одно исключительное направленіе. «Множество иностранныхъ журналовъ—пишетъ издатель въ своемъ «предувѣдомленіи» къ первой книжкѣ—лежитъ у меня передъ глазами: ни одинъ не возьму я за точный образецъ, но всѣмъ буду пользоваться». И, дѣйствительно, московскій журналъ представилъ, такимъ образомъ, смѣсь легкаго, пріятнаго и разнообразнаго чтенія, вполне приспособленнаго ко вкусу и потребностямъ начинающей читать публики. По этому самому, въ немъ не было и не могло быть того объединяющаго,

изученія. Можно думать, что рѣзкость его тона не понравилась Екатеринѣ II, а въ особенности нѣкоторымъ изъ ея приближенныхъ, потому что черезъ годъ (въ 1770 г.) «Трутень» значительно смягчилъ свою рѣзкость и ядовитость. Уже въ осьмомъ своемъ листѣ (іюня 16-го дня), т. е. черезъ мѣсяцъ по возникновеніи журнала, издатель жалуется, что многие замѣчанія бояре приняли его насмѣшки на свой счетъ. Вѣроятно, это были тѣ «большіе бояре, которые—по словамъ «Трутня»—угнетаютъ истину, правосудіе, честь, добродѣтель и человѣчество», и съ которыми «хуже имѣть дѣло, чѣмъ съ лютымъ тигромъ». «Трутень» не оставлялъ въ покоѣ и тѣхъ молодыхъ дворянъ, которые встаютъ рано, для того чтобы, просидѣвъ три или четыре часа надъ уборомъ головы и отягчивъ оную салономъ и пудрою, шататься по переднимъ знатныхъ баръ» («Трут». 1769 г., стр. 54). Кроме того, «Трутень» рассказывалъ цѣлыя событія со всѣми признаками достовѣрности (какъ, напр., рассказъ о барынѣ, укравшей «серебряныя сѣтки» изъ купеческой лавки («Трут». 1769 г., стр. 52), и вообще онъ далеко простиралъ свою личную критику.

критическаго начала, которое даетъ цвѣтъ и одно опредѣленное направленіе журналу, существенно отличая его отъ простаго сборника, или литературнаго tutti-frutti. Карамзинъ былъ у насъ первымъ миссіонеромъ европейскаго просвѣщенія, въ самомъ тѣсномъ и азбучномъ смыслѣ, и, скользя въ «Письмахъ русскаго путешественника» по одной только поверхности европейской жизни, онъ, естественно, не могъ дать много воли критическому элементу и быть очень разборчивымъ въ выборѣ матеріаловъ для своего журнала. Переводъ изъ Мармонтеля, исповѣдь бѣдной Лизы, вызывавшая на нѣжныя ощущенія, были для него дороже всякаго строгаго анализа литературныхъ и общественныхъ явленій. Рѣдко заговаривалъ Карамзинъ о русскихъ книгахъ, издававшихся «во градѣ св. Петра», говорилъ чаще объ иностранныхъ; но ни здѣсь, ни тамъ не обнаруживалъ критическаго взгляда, придираясь къ словамъ и останавливаясь преимущественно на мелочахъ. Эклектизмъ былъ въ духѣ несложившагося общества—и онъ-то объясняетъ собой характеръ и назначеніе «Московского Журнала». Наскучивъ срочнымъ изданіемъ, интересовавшимъ публику больше статьями самого издателя, Карамзинъ началъ издавать литературные альманахи (Аглая, Аониды), которые могли бы, въ болѣе тѣсномъ объемѣ, производить то же вліяніе на общество. Выйдя снова на арену журналистики (въ 1802 г.), Карамзинъ добавилъ уже въ свой «Вѣстникъ Европы» новый отдѣлъ «политики», по прежнему обращая мало вниманія на критическій элементъ въ журналѣ.

Примѣръ Карамзина вызвалъ много подражателей, и къ 1813 году въ русской литературѣ появилось уже изрядное количество разныхъ журналовъ, болѣе или менѣе близкихъ по духу къ своему первообразу—«Московскому Журналу». Только «Цвѣтникъ» Бенитцкаго оказалъ болѣе настойчивыя, но все же очень слабыя попытки литературной критики...

Между тѣмъ, мирная жизнь русской публики нарушилась новыми, неожиданными волненіями: въ 1813—14 годахъ, въ русскую журналистику начали пробиваться темные слухи о какомъ-то романтизмѣ, а въ 1815 г., въ «Россійскомъ Музеумѣ» В. Измайлова, начали уже печататься лицейскія стихотворенія А. С. Пушкина. Критика становилась необходимой, и классицизмъ, взявъ въ руки оружіе, уже помѣстилъ въ «Духѣ Журналовъ» грозную статью противъ Августа Шлегеля. Вторженіе романтизма совпало со многими счастливыми для Россіи событіями: въ немъ выразился косвенно прогрессъ общественной жизни, который долгое время выражался у насъ въ сферѣ чисто-литературныхъ мнѣній, не имѣя

возможности захватить болѣе живые и практическіе вопросы. Двѣнадцатый годъ столкнулъ насъ лицомъ къ лицу съ Европою, а начало царствованія Александра I благотѣльно отозвалось въ нашей внутренней жизни. Общество заговорило, задвигалось; въ литературѣ послышались новыя, свѣжіе голоса, и въ 1820 году была уже напечатана первая поэма Пушкина — «Русланъ и Людмила» — боевая перчатка, брошенная классицизму новымъ литературнымъ поколѣніемъ... Публика приняла поэму съ восторгомъ, но большинство журналовъ не раздѣляло ея увлеченій, и «Вѣстникъ Европы», уже перешедшій подъ редакцію Каченовскаго, прямо объявлялъ всю поэму «грубой и отвратительной шуткой, не одобряемой просвѣщеннымъ вкусомъ» (В. Евр., 1820 г., т. СХІ, стр. 216—220). Здѣсь началась та горячая, необдуманная, продолжительная полемика между классицизмомъ и романтизмомъ, въ которой, не отдавая себѣ отчета, долго принимали участіе всѣ современные журналы. Прежде всего, въ этой борьбѣ, обнаружилось крайнее безсиліе и даже омертвѣніе тогдашней наличной журналистики, не умѣвшей не только вызывать общественныя потребности, но даже удовлетворять ихъ и регулировать. Наша журналистика, очевидно, позволяла обогнать себя текущимъ интересамъ общества и становилась какимъ-то онѣмѣлымъ членомъ на его тѣлѣ. Нужна была личность, котовая бы лучше сѣумѣла воспользоваться этимъ органомъ общественнаго развитія, ввести его въ нужды и стремленія общества и тѣмъ закрѣпить его право на существованіе и болѣшій объемъ дѣйствія. Этой потребности удовлетворилъ Н. А. Полевой, когда началъ въ 1825 г. издавать свой «Московскій Телеграфъ». Вотъ какъ понималъ самъ издатель цѣль своего изданія: «Для изображенія совершеннаго журнала — говорилъ Полевой въ своемъ письмѣ къ N. N., въ первой книжкѣ «Телеграфа» — вообразите зеркало, въ которомъ отражается весь міръ нравственный, политическій и физическій. Такой журналъ едва ли не болѣе многихъ книгъ принесетъ пользы. Не всѣ могутъ удѣлять время на чтеніе огромныхъ томовъ: многіе ли привыкли къ обдуманному, систематическому чтенію? Здѣсь преимущество на сторонѣ журналовъ: истинно-полезное, истинно-изящное предлагаетъ вамъ журналистъ, не пугая обширными опредѣленіями, пестротой выписокъ, толщиной книги. Журналистика должна пользоваться важнымъ преимуществомъ своимъ — представлять отчетныя извлеченія изъ всѣхъ книгъ любопытныхъ и важныхъ, и увѣдомлять читателей обо всемъ, что слышно новаго. Журналистъ — разнощикъ вѣстей: встрѣчаясь съ нимъ, не спрашиваютъ, что вы знаете, но — нѣтъ ли чего нибудь

новаго? Вотъ почему я полагаю критику однимъ изъ важнѣйшихъ отдѣленій журнала—пустъ только она будетъ умна, правдива, дѣльна. Присовокупите къ этому избранныя новости литературныя, важнѣйшія новости въ наукахъ, искусствахъ и художествахъ, обзоръ всеобщаго просвѣщенія—и умѣйте предлагать это не односторонно, разнообразно». Въ этихъ словахъ высказывается вся журнальная исповѣдь Полеваго, весь взглядъ его на то дѣло, которому онъ, съ такой пользою, обрекъ свои умственные силы. Намъ нечего долго распространяться про то огромное вліяніе, какое возымѣлъ «Телеграфъ» на всю русскую журналистику: до сихъ поръ, русскимъ журналамъ слѣдуетъ съ благодарностью вспоминать имя того дѣятельнаго журналиста, который развилъ личныя мнѣнія въ Россіи, далъ намъ первый образецъ европейскаго журнала и со всѣмъ блескомъ и энергіей дарованія явился защитникомъ возникавшихъ стремленій русскаго общества.... Появленіе «Телеграфа» надѣлало много шуму въ нашей журналистикѣ и произвело въ ней рѣшительный переворотъ. Публика, съ своимъ вѣрнымъ чутьемъ, и здѣсь поддержала благое предпріятіе Полеваго, открывъ на его журналъ большую подписку. «Числомъ подписчиковъ «Телеграфъ» превзошелъ почти всѣ русскіе журналы—писалъ Полевой въ первый же годъ своего изданія (№ XIII, Особен. Приб. къ Моск. Телегр.),—такъ что, по причинѣ распродажи всѣхъ экземпляровъ, я принужденъ уже отказывать въ требованіяхъ многимъ подписчикамъ»¹⁾. Но не таковъ былъ пріемъ «Телеграфу» со стороны устарѣвшихъ журналовъ и литераторовъ. Нашъ первый «обозрѣватель» литературы, Марлинскій, отозвался весьма иронически о «Телеграфѣ». «Въ Москвѣ—говорилъ онъ—явился двухнедѣльный журналъ «Телеграфъ», издаваемый г. Полевымъ. Онъ заключаетъ въ себѣ все, извѣщаетъ и судить обо всемъ, начиная отъ безконечно малыхъ въ математикѣ до пѣтушьихъ гребешковъ въ соусѣ или до бантиковъ на новомодныхъ башмачкахъ («Телеграфъ» издавался съ модами). Неровный слогъ, самоувѣренность въ сужденіяхъ—вотъ знаки сего «Телеграфа», «а смѣлымъ Богъ владѣетъ»—его девизъ». (Взглядъ на рус. слов. 24 и нач. 25 годовъ). Но деликатный денди, Марлинскій, только поострилъ надъ непонятнымъ ему журналомъ: другіе, болѣе сердитые и болѣе опытные въ бояхъ литераторы стали дѣлать личныя и существенныя оскорбленія самому Полевому. «Противники мои—говорилъ изда-

*) Мы слышали, что въ этомъ году у «Телеграфа» было уже около 2,000 подписчиковъ—цифра почти невѣроятная въ то время.

тель «Телеграфа» (1825 г. № XVII Особ. Приб.)—употребляют нелитературные способы унижать меня. Г. Булгаринъ говорилъ, что я перепечаталъ подъ своимъ именемъ Предисловіе къ Шлецеру Нестору и Разсужденіе г. Строева. Также говорятъ, что «Телеграфъ» издается двумя книгопродавцами, а я только читаю корректуру». Позже, издатель «Молвы» до того увлекся полемикой противъ Полевого, что бранилъ не только его самого, его журналъ и его сочиненія, но и самую улицу Дмитрову, на которой жилъ Полевой. (Телегр. 1831 г., № 9). Конечно, были на «Телеграфъ» и другія болѣе дѣльныя и серьезныя нападенія, но они тонули, на первыхъ порахъ, въ массѣ журнальныхъ криковъ, личной брани и пустыхъ привязокъ. «Полгода—говорилъ Полевой въ 1825 г. (Телегр. ч. V, Еще особ. приб.)—устремлялись на «Телеграфъ», съ разныхъ сторонъ, нападенія журналовъ и нѣкоторыхъ литераторовъ, которымъ открыто говорилъ я правду, и полгода я не дорожилъ ихъ претензіями».

Много нужно было силы и самонадѣянности со стороны «Телеграфа», чтобъ возбудить противъ себя такое, почти всеобщее ожесточеніе журналистовъ. Дѣйствительно, въ немъ было много и того и другаго. Хорошо наполненный литературный отдѣлъ, равнообразныя свѣдѣнія по части наукъ и политики, наконецъ, самая выѣшняя опрятность изданія уже не располагали въ его пользу многихъ журналистовъ. Но что всего важнѣе: Полевой осмѣлился угадать потребности современнаго общества, оживить его дремлющія силы, создать контроль надъ журнальной дѣятельностью. Полевой говорилъ о богатствѣ западной науки, еще въ согую долю не усвоенной нами, говорилъ о критическомъ элементѣ въ журналѣ, о необходимости строгой оцѣнки всѣхъ литературныхъ явленій. Какъ ни выполни онъ эту обязанность, но самое признаніе ея заставляло уже современныхъ издателей оглядывать съ робостью и недовѣріемъ свои книжныя издѣлія. Полевой съ гордостью говорилъ впослѣдствіи, что онъ «сдѣлалъ критику постоянной принадлежностью журнала, первый обратилъ ее на всѣ важнѣйшіе современные вопросы». («Очерки рус. слов.», ч. I, Предисл.) Итакъ, заслуга его была безспорно велика. Но, не смотря на большой успѣхъ «Телеграфа», не смотря на множество новыхъ силъ, вызванныхъ имъ къ борьбѣ и организаціи—не всѣ его обѣщанія и не всѣ надежды на него осуществились въ должномъ объемѣ. Отложивъ въ сторону публицистическія достоинства журнала, мы взглянемъ на то, какъ отнесся онъ къ вопросу о романтизмѣ, разрѣшеніемъ котораго такъ старательно занимался? Безпристрастіе требуетъ сказать, что на этомъ полѣ «Телеграфъ»

далеко не одержалъ тѣхъ прочныхъ и блистательныхъ побѣдъ, на которыя рассчитывалъ. Правда, онъ дѣйствительно поразилъ классиковъ, онъ осмѣялъ ихъ и заставилъ замолчать, но его собственныя понятія объ искусствѣ были весьма сбивчивы и запутаны и не могли привести публику къ серьезному и окончательному рѣшенію вопроса. Веневитиновъ былъ совершенно правъ, когда говорилъ: «Мы отбросили французскія правила въ искусствѣ не потому, чтобы могли ихъ опровергнуть какой нибудь положительной литературной системой, но потому только, что не могли примѣнить ихъ къ нѣкоторымъ произведеніямъ новѣйшихъ писателей, которыми невольно наслаждаемся. Такимъ образомъ, правила невѣрныя замѣнились у насъ отсутствіемъ всякихъ правилъ». Если Полевой и одолевалъ своихъ противниковъ въ спорахъ объ искусствѣ, то не въ силу какой нибудь «положительной системы», а благодаря естественной бойкости и живости своего ума и нѣсколько большому развитію эстетическаго вкуса. Но источникъ его понятій объ этомъ предметѣ далеко не отличался особенной глубиной, чему лучшимъ доказательствомъ служить то, что, браня въ классикахъ слѣпое подражаніе и заимствованіе, онъ самъ не отказался въ послѣдствіи воспроизводить свои драматическія издѣлія по такому же точно способу. Вообще, его теоретическія понятія о предметѣ спора не возвышались особенно высоко надъ мнѣніями г. Ореста Сомова, который въ своей книжкѣ: «О романтической поэзіи» (Спб. 1823 г.) объясняетъ себѣ романтизмъ только какъ прихоть «своенравной поэзіи, которая отвергаетъ все обыкновенное, требуя новаго и небывалаго» (стр. 2). Но изящный вкусъ и большая широта умственного развитія, конечно, не позволили бы Полевому отозваться о «Фаустѣ» Гёте, какъ объ ярмарочномъ фарсѣ и твореньѣ изступленнаго ума. («О ром. поэз.», стр. 52 и 57), или находить въ Шекспирѣ излишнее паренье и даже надутость (ibid. стр. 26).

Въ спорѣ съ Веневитиновымъ, по поводу первой пѣсни «Онѣгина», Полевой прямо говоритъ: «Я очень понималъ, что говорю, когда неопредѣленнымъ, неизъяснимымъ состояніемъ сердца человѣческаго хотѣлъ означить сущность и причину романтической поэзіи» ¹⁾—на что его противникъ замѣтилъ весьма основательно, что «такое опредѣленіе ничего не опредѣляетъ и не изъясняетъ» ²⁾, удѣляя романтической поэзіи только весьма темный и сомнительный уголокъ человѣческаго сердца.

¹⁾ «Телегр.» 1825 г., № XV, Особен. Приб., стр. 4.

²⁾ «Сынъ Отеч.» 1825 г., № XXIV, Приб., стр. 32.

Въ другихъ сферахъ научной дѣятельности, Полевой тоже не оказалъ большихъ успѣховъ, и отъ его «Исторіи русскаго народа», по справедливому замѣчанію одного даровитаго историка, только слово на родъ сохранилось на знамени современной науки.... Намъ кажется, что важнѣйшая заслуга Полеваго, какъ журналиста, состояла именно въ томъ, быть можетъ, мало сознаннымъ стремленіи къ прогрессу, которое дышало въ каждой его строкѣ, давало толчокъ дремавшему сознанію другихъ. «Телеграфъ» напоминаетъ собой тѣ острыя медицинскія средства, которыя вызываютъ къ жизни всѣ наличныя силы субъекта, но требуютъ за собой другихъ средствъ, которыя бы давали этимъ силамъ болѣе правильное и болѣе организующее направленіе. Такимъ-то вторичнымъ, необходимымъ агентомъ явилось въ русской литературѣ то философское направленіе, которое проявилось въ «Московскомъ Вѣстникѣ». Дѣятельность Полеваго много оживила журнальную рѣчь въ Россіи, много помогла развитію общества, но съ одними элементами «Телеграфа» русская литература не могла бы уйти далеко впередъ.... Полевой говорилъ: «Встрѣчаясь съ журналистомъ, не спрашиваютъ, что вы знаете, но—нѣтъ ли чего нибудь новаго?» При этомъ онъ прибавлялъ, что журнальная критика литературныхъ и общественныхъ явленій должна быть умна, правдива, дѣльна. Она, дѣйствительно, можетъ быть очень умна, но какъ она будетъ правдивой и дѣльной, когда журналистъ не имѣетъ познаній въ томъ, о чемъ онъ взялся судить?

Тверже помня то богатство западной науки, про которое говорилъ Полевой, «Московский Вѣстникъ» представилъ прекрасные переводы изъ иностранныхъ, преимущественно нѣмецкихъ, писателей, съ которыми намъ необходимо было познакомиться, чтобы скорѣе выйти изъ того страннаго, фальшиваго положенія, въ которое поставила насъ крикливая борьба романтизма и классицизма. Тамъ же, между переводами изъ Жанъ-Поля Рихтера, Гёте и др., встрѣчаемъ мы прекрасную статью Авг. Шлегеля: «О трехъ единствахъ въ драмѣ» ¹⁾, служившую какъ бы знаменемъ журнала въ борьбѣ съ усталымъ классицизмомъ. Владѣя болѣе ясными началами въ своихъ критическихъ сужденіяхъ и удерживая какъ въ критикѣ, такъ и въ неразлучной съ ней полемикѣ большее благородство и хладнокровіе, «Московский Вѣстникъ» избѣжалъ тѣхъ промаховъ, которые часто мелькаютъ въ критическихъ приговорахъ Полеваго

¹⁾ Статья эта почерпнута изъ «Теоріи драматич. искусства» Авг. Шлегеля и напечатана въ первыхъ книжкахъ «Моск. Вѣстника».

и не протягивалъ въ безконечность литературныхъ тяжбъ о томъ, что г. Булгаринъ не умѣетъ опредѣлить тройнаго правила и смѣшиваетъ Казбекъ съ Эльбурсомъ ¹⁾. Въ воззрѣніяхъ Шлегеля, въ мысляхъ Гёте объ искусствѣ искалъ «Московскій Вѣстникъ» прочныхъ основъ для своей литературной критики,—но стремленіе объединять частные случаи, возводя ихъ въ общія понятія, отражалось и на всѣхъ другихъ сторонахъ его дѣятельности, преимущественно въ историческихъ изысканіяхъ и отдѣльныхъ мысляхъ объ этомъ предметѣ. «Исторія — говорится въ одной статьѣ «Московского Вѣстника» ²⁾—должна изъ всего рода человѣческаго сотворить одну единицу, одного человѣка и представить сего человѣка. Многочисленные народы, жившіе и дѣйствовавшіе въ продолженіе тысячелѣтій, доставятъ въ сію біографію, можетъ быть, по одной чертѣ. Черту сію узнаютъ великіе историки». Мысль эта, слишкомъ общая и отвлеченная, ограничивалась и пояснялась другой, высказанной И. Кирѣевскимъ («Моск. Вѣстн.» 1827 г. № 5, Критика, стр. 68): «образование народа, во всѣхъ отношеніяхъ, требуетъ органическаго, своего развитія, и должно, по возможности, чуждаться вліянія со стороны иноземныхъ народовъ» ³⁾.

По части литературной критики «Московскій Вѣстникъ», въ первой же своей книжкѣ, помѣстилъ статью г. Шевырева: «О возможности найти единый законъ для изящнаго», гдѣ, въ формѣ діалога, изображается столкновеніе двухъ различныхъ критическихъ взглядовъ. «Вы хотите измѣрить неизмѣримое — говорить одинъ изъ собесѣдниковъ—хотите объять то, чего не вмѣститъ вашъ разумъ. Вамъ ли узами опредѣленныхъ понятій сковать то, что презираетъ всѣ узы и любитъ одну свободу? къ чему ваши правила, ваши законы? Пусть душа предается наслажденіямъ изящнаго, зачѣмъ ей теряться въ бесполезныхъ умствованіяхъ?» ⁴⁾

¹⁾ «Телегр.» 1825 г., № XX, Особ. Прибавленіе. «Прибавленія» эти назначались Полевымъ собственно для полемики.

²⁾ «Моск. Вѣст.» 1827 г., № 2. «Историческіе афоризмы и вопросы».

³⁾ Мысль эту не слѣдуетъ принимать въ слишкомъ узкомъ значеніи, такъ какъ этому противорѣчили бы другія мысли Кирѣевского, нападавшаго только на легкомысленное подражаніе иноземцамъ.

⁴⁾ То же или почти то же говорилъ Полевой слѣдующими словами: «Воображеніе поэта летаетъ, не спрашиваясь пѣнтякъ (подъ пѣнтякой онъ разумѣлъ, вообще, всѣ внутренніе законы творчества); падаетъ поэтъ — тогда торжествуйте побѣду швольныхъ правилъ; если же полетъ его изумляетъ, очаровываетъ, то дайте намъ наслаждаться» («Телегр.» 1825 г., № 5, стр. 45).

Но другой собесѣдникъ твердо стоитъ на необходимости такого закона и, въ отвѣтъ на то, гдѣ искать его? даетъ слѣдующее наставленіе: «Ищи въ душѣ своей законы сін, наслаждайся разнообразными предметами красоты, но потомъ повѣрай свои чувства, вопрошай чаще душу, короче,—знакомься съ нею, узнай ее, и тогда увидишь въ ея внутреннемъ святилищѣ богиню красоты безъ покрова». Взглядъ этотъ составляетъ весьма близкое повтореніе мысли Шлегеля. По Шлегелю, понятіе объ искусствѣ не извлекается изъ опыта, но только въ немъ развивается: его должно искать въ первоначальной, свободной дѣятельности нашего духа. Вышнее чувство видитъ въ предметахъ одно неопредѣленное множество частей, но сужденіе, посредствомъ котораго мы соединяемъ эти части въ одно стройное цѣлое, относится уже къ высшей сферѣ понятій. «Органическое единство растенія или животнаго—говоритъ Шлегель въ своей «Теоріи драматическаго искусства»—заключается въ понятіи о жизни, но внутреннее созерцаніе жизни примѣняемъ уже мы къ отдѣльному, оживленному предмету и, такимъ образомъ, въ немъ узнаемъ эту жизнь. То же самое слѣдуетъ примѣнить къ искусству и къ тому процессу, которымъ мы создаемъ себѣ понятіе объ изящномъ произведеніи. Отсюда выводилось прямое слѣдствіе, что романтизмъ не есть случайное и мимолетное явленіе человѣческаго духа, но коренится въ самой глубинѣ его, какъ часть и сила этого духа, и, слѣдовательно, имѣетъ свои внутренніе законы, которые можно постичь изученіемъ собственной души и изящныхъ созданій искусства.

Первыя статьи «Московского Вѣстника» имѣютъ свою особенную, литературную фیزیономію, по которой ихъ всего приличнѣе назвать лирической прозою. Что-то порывистое и юношеское замѣтно въ этихъ попыткахъ подвести всѣ познанія подъ одинъ философскій уровень, какая-то живая и теплая струя пробѣгаетъ по всѣмъ этимъ разнообразнымъ изслѣдованіямъ, какъ бы писаннымъ одною и тою же рукою. Этотъ характеръ, въ особенности, замѣтенъ въ первый годъ существованія «Московского Вѣстника», когда этотъ журналъ не удѣлялъ еще слишкомъ много мѣста для полемики съ «Телеграфомъ» (слѣдуя письменнымъ совѣтамъ Веневитинова), не давалъ слишкомъ большаго перевѣса статьямъ историческимъ надъ всѣми прочими и, наконецъ, выражалъ свои эстетическія теоріи языкомъ, хотя нѣсколько восторженнымъ и лирическимъ, но все же болѣе простымъ и понятнымъ для публики ¹⁾).

¹⁾ Съ 1828 г., въ литературѣ появляются уже жалобы на «Московскій Вѣстникъ».

Но, не смотря на участіе Пушкина, не смотря на соединеніе въ немъ значительныхъ умственныхъ силъ, «Моск. Вѣстникъ» не имѣлъ того успѣха, который, съ перваго же года, увѣнчалъ собой журнальную дѣятельность Полеваго. Причинъ этому было довольно много. Самая главная заключалась, конечно, въ томъ, что редакціи не доставало тѣхъ журнальныхъ способностей, той литературной сноровки, которыми безспорно обладалъ Полевой. Такъ, напр., редакторъ «Моск. Вѣстника», не прилагая модъ къ своему изданію (одно это уже губило его въ глазахъ многихъ читателей), не разнообразилъ его достаточно и не усиливалъ въ немъ отдѣла повѣстей, которыя, по справедливому замѣчанію Пушкина ¹⁾, могли быть для «Вѣстника» тѣмъ же, чѣмъ были моды для Телеграфа. Кромѣ того, редакція взглянула слишкомъ свысока на свою публику, которая вообще не любитъ, чтобъ ее третировали по дѣтски: такъ, въ первыхъ же нумерахъ «Московского Вѣстника», была затѣяна самимъ редакторомъ интересная «переписка о разныхъ предметахъ», гдѣ, желая пріохотить публику къ размышленію, авторъ съ умысломъ писалъ парадоксы, причемъ прямо высказывалъ эту цѣль, обращая такимъ образомъ свои статьи въ школьныя упражненія, на подобіе тѣхъ извѣстныхъ «экзерцицій», гдѣ нарочно дѣлаются орфографическія ошибки... Но, какъ бы то ни было, значеніе и польза «Московского Вѣстника» для русской литературы уже видны изъ нашего краткаго очерка. Здѣсь впервые выходили на журнальную арену люди съ долгою и серьезною подготовкой, быть можетъ, не слишкомъ чуткіе къ дневнымъ интересамъ массы, но съ запасомъ силъ и свѣдѣній, съ готовностью всѣмъ жертвовать для блага идеи и просвѣщенія. Въ объявленіи о «Моск. Вѣстникѣ» говорилось, что его издають лица, «кои, бывъ подвижны чистымъ усердіемъ къ общему благу, рѣшились соединить свои усилія и принести общую жертву на алтарь просвѣщенія» — и чистота этого усердія, дѣйствительно, благородна и безукоризненна. «Московский Вѣстникъ» былъ у насъ первымъ серьезнымъ журналомъ, гдѣ успѣхъ дѣла зависѣлъ не отъ индивидуальныхъ силъ одной какой либо личности, но отъ соединенныхъ, дружныхъ усилій цѣлаго общества молодыхъ и даровитыхъ людей. Если успѣхъ журнала и литературной пропаганды во многомъ зависитъ отъ личныхъ дарованій своего главнаго двигателя, то и совокупность усилій, значеніе кружка, служащаго живымъ доказательствомъ общественнаго саморазвитія, тоже не лишены своей огромной важ-

¹⁾ «Москвитининъ» 1842 г. Письма Пушкина (№ 10).

ности, и безъ ихъ поддержки дѣло одной даровитой личности не можетъ принести столько прочной и надежной пользы.

Критическіе взгляды Веневитинова имѣютъ много общаго съ приведенными нами воззрѣніями «Московского Вѣстника». Эти взгляды нигдѣ не выразились въ стройной и вполнѣ округленной системѣ, но, если мы сблизимъ между собой нѣкоторыя отрывочныя мысли Дмитрія Владиміровича, его немногія замѣчанія, высказанныя имъ въ разборѣ «Разсужденія» Мерзлякова, въ полемикѣ съ Полевымъ, въ статьѣ о Борисѣ Годуновѣ — то мы можемъ, такимъ образомъ, составить себѣ понятіе и о всей критической системѣ Веневитинова.

Мы сказали уже нѣсколько словъ о критической дѣятельности Мерзлякова, но теперь, приступая къ разбору его «Разсужденія», должны снова напомнить читателямъ, что нашъ извѣстный профессоръ, принадлежа къ псевдо-классической школѣ, былъ прямымъ литературнымъ врагомъ Веневитинова. Заслуги Мерзлякова въ русской критикѣ и мѣсто въ ея исторіи опредѣляются, главнѣйшимъ образомъ, тѣмъ, что онъ былъ у насъ первымъ критикомъ, который цѣнилъ литературныя произведенія въ силу какихъ нибудь точныхъ и опредѣленныхъ правилъ. Постоянно вооружался онъ противъ легкихъ и поверхностныхъ занятій словесностью, постоянно призывалъ русскихъ писателей къ изученію науки изящнаго. «Уважимъ самихъ себя—говаривалъ часто профессоръ—уважимъ науку и талантъ стихотворца изъ любви къ самимъ себѣ и тѣмъ очистимъ наши собственныя наслажденія» (Біогр. слов. моск. универс. ч. 2, стр. 95) Но самыя его воззрѣнія въ этомъ дѣлѣ не выходили—выражаясь скромнымъ языкомъ Веневитинова—«изъ сферы, очерченной предубѣжденіемъ». «Трагедія и комедія — писалъ Мерзляковъ въ своей статьѣ: «О началѣ и духѣ древней трагедіи», — также какъ и всѣ изящныя искусства, обязаны своимъ началомъ болѣе случаю и обстоятельствамъ, нежели изобрѣтенію человѣческому. Мудрая учительница наша, природа—продолжалъ онъ—явила себя намъ во всемъ своемъ великолѣпіи, красотѣ и благахъ неисчетныхъ, возбудила подражательность и передала милое чадо свое на воспитаніе нашему размышленію, наблюденіямъ и опыту». Эта-то подражательность, по мнѣнію Мерзлякова, и произвела собой изящныя искусства. Придавъ искусству такое случайное происхожденіе и стѣснивъ его однимъ подражаніемъ природѣ, почерпнутымъ изъ пѣнныя Буало и Лагарпа, Мерзляковъ, въ приложеніи своихъ мыслей, не затруднился уже объяснить усовершенствованіе греческой трагедіи «мудрымъ покровительствомъ правителей обще-

ства», которые приобѣгнули къ трагедіи, какъ «къ рѣшительному средству обузданія пылкихъ страстей». Веневитиновъ не согласился съ такимъ ограниченнымъ толкованіемъ, въ которомъ цѣликомъ забывалась вся внутренняя, эстетическая сторона вопроса, и въ своемъ разборѣ «Разсужденія» Мерзлякова сдѣлалъ автору слѣдующее возраженіе: «Нужно ли доказывать неосновательность софизма, что трагедія обязана своимъ началомъ болѣе случаю, нежели изобрѣтенію, когда самъ авторъ опровергаетъ его на слѣдующей страницѣ? Вѣроятно, — говоритъ г. Мерзляковъ, — трагедія не принадлежитъ однимъ грекамъ, но всѣмъ народамъ и всѣмъ вѣкамъ». Оно болѣе, нежели вѣроятно; оно неоспоримо, если мы, подъ словомъ трагедія, будемъ разумѣть драматическую поэзію. То, что принадлежитъ всѣмъ народамъ, всѣмъ вѣкамъ — не принадлежитъ ли, однимъ словомъ, человѣку, его природѣ, и можетъ ли быть обязано своимъ началомъ случаю? И что значитъ человѣческое изобрѣтеніе? Кто изобрѣлъ языкъ? Кто первый открылъ движенія тѣла, выражающія состояніе духа и сердца?»

Противъ мысли о подражательности въ искусствѣ, нашъ рецензентъ замѣчаетъ: «Поэтъ, безъ сомнѣнія, заимствуетъ изъ природы форму искусства, ибо нѣтъ формы внѣ природы; но и подражательность не могла породить искусства, которое происходитъ отъ избытка чувствъ и мыслей въ человѣкѣ и отъ нравственной его дѣятельности».

Въ защиту романтизма, въ которомъ Мерзляковъ видѣлъ «униженіе изящныхъ искусствъ», Веневитиновъ написалъ слѣдующія прекрасныя строки: «Я осмѣливаюсь вступить за честь нашего вѣка. Новѣйшія произведенія, безъ сомнѣнія, не могутъ сравниться съ древними въ разсужденіи полноты и подробнаго совершенства. Въ нихъ еще не опредѣлены отношенія частей къ цѣлому. Но законы частей не опредѣляются ли сами собою, когда цѣлое направлено къ одной извѣстной цѣли? Поэзія древнихъ превосходитъ новѣйшую въ совершенствѣ соразмѣрностей, но уступаетъ ей въ силѣ стремленія и въ обширности объема. Науки и искусства — продолжаетъ онъ — еще не близки къ своему паденію, когда умы находятся въ сильномъ броженіи, стремятся къ цѣли опредѣленной и дѣйствуютъ по врожденному побужденію къ дѣйствию. Гдѣ видны усилія, тамъ жизнь и надежда».

Заключая свои мысли о началѣ искусства, Веневитиновъ говоритъ: «При нынѣшнихъ условіяхъ эстетики, мы ожидали въ исторіи трагедіи болѣе занимательности. Для чего не показать

намъ ея развитія изъ соединенія лирической поэзіи и эпоса? Для чего не наметнуть на общую колыбель сихъ родовъ поэзіи? Изъ подобныхъ замѣчаній внимательный читатель заключилъ бы, что они (эти роды поэзіи) неотъемлемо принадлежать человѣку, какъ необходимыя формы, въ которыя выливаются его чувства. Мы бы объяснили себѣ: отчего находимъ слѣды ихъ у всѣхъ народовъ; увидѣли бы, что не стремленіе къ подражанію править умомъ человѣческимъ, что человѣкъ не есть въ природѣ существо единственно страдательное».

Въ полемикѣ съ Полевымъ, Веневитинову пришлось примѣнить свои общія критическія воззрѣнія къ частнымъ явленіямъ новѣйшей литературы. Полемика эта возникла по поводу 1-й главы Онѣгина, напечатанной въ 1825 году. Полевой написалъ на эту главу краткую рецензію въ «Телеграфѣ» («Телегр.» 1825 г., № 5), одну изъ самыхъ неудачныхъ своихъ рецензій, писанную на-скоро, безъ всякаго желанія вникнуть въ смыслъ разбираемаго произведенія. Сбивчивость сужденій въ этой рецензіи поразительна; но сущность ея заключается, кажется, въ томъ, что Пушкинъ, написавъ первую главу своего романа, выказалъ уже не талантъ, а что-то гораздо выше. Заразясь неожиданно страстью къ сравненіямъ, Полевой называетъ эту главу и литературнымъ *cariccio*, и шуточною поэмою съ новыми и смѣлыми тонами, и произведеніемъ близкимъ къ Донъ-Жуану и поэмамъ Гёте (!) Въ промежуткахъ статьи разбросаны довольно удачныя насмѣшки надъ классиками, но вся статья написана въ такомъ неровномъ и неопредѣленномъ тонѣ, что въ ней ясно проглядывало только одно намѣреніе журналиста—наговорить, во что бы то ни стало, похвалъ знаменитому писателю. Это желаніе, а также и сбивчивость понятій, заявленная въ весьма распространенномъ журналѣ, бросились въ глаза Веневитинову, который никакъ не могъ извинять такихъ запальчивыхъ и неосмотрительныхъ сужденій. Руководясь внутреннимъ тактомъ и болѣею твердостью своихъ эстетическихъ правилъ, Веневитиновъ напечаталъ въ «Сынѣ Отечества» (1825 г. № 8) краткую замѣтку на рецензію Полеваго, гдѣ весьма дѣльно и основательно замѣтилъ издателю «Телеграфа», что, прочтя только одну первую главу «Онѣгина», которая не составляетъ самостоятельнаго цѣлаго и по которой еще нельзя судить напередъ о всемъ произведеніи, не слѣдовало торопиться въ печать съ своими восторгами. «Въ музыкальныхъ сочиненіяхъ, называемыхъ *cariccio* — говорилъ Веневитиновъ, воспользовавшись сравненіемъ Полеваго — должна заключаться полная мысль, безъ чего и искусства существо-

вать не могутъ. Таковъ ли «Онѣгинъ»? Не знаю—и повторяю вамъ: мы не имѣемъ права судить о немъ, не прочитавши всего романа».

Но эта рецензія оскорбила издателя «Телеграфа» и онъ, хотя не скоро (черезъ четыре мѣсяца), отвѣчалъ на нее антикритикой, помѣщенной въ № XV «Телеграфа» за 1825 г. Въ этой антикритикѣ Полевой, пойманный врасплохъ, пробовалъ побѣдить своего противника полемической ловкостью и несовсѣмъ рыцарской добросовѣстностью въ толкованіи чужихъ словъ,—но оказалось, что и такими орудіями нельзя сразить одинаково остроумнаго, но болѣе стойкаго на своемъ полѣ противника. Веневитиновъ умно и ловко формулировалъ сущность спора, упрямо сводилъ вопросъ къ тому: имѣлъ ли право Полевой произносить, по одной только первой главѣ романа, рѣшительный приговоръ надъ цѣлымъ произведеніемъ, и былъ ли онъ вправѣ, назвавши Онѣгина шалуномъ и вѣтряникомъ, ставить его рядомъ съ героями Байрона? При этомъ Веневитиновъ говорилъ, что, не смотря на свою любовь къ русскому поэту, онъ не рѣшится признать въ напечатанныхъ дотогѣ его произведеніяхъ—твореній, дѣлающихъ, подобно Байроновымъ, честь своему вѣку. «Лица Байрона—говорилъ онъ—познакомила насъ съ звуками совершенно новыми, между тѣмъ какъ Пушкинъ, если не заимствовалъ у англійскаго поэта планы поэмъ, характеры лицъ, частныя описанія, то все же носилъ въ своемъ сердцѣ глубокое впечатлѣніе, внушенное поэзіей Байрона». Позже, при разборѣ сцены изъ Бориса Годунова, въ которой видѣлъ художественное и вполне законченное цѣлое, Веневитиновъ объяснилъ полнѣе и оригинальнѣе, какъ понимаетъ онъ отношенія Пушкина къ Байрону ¹⁾.

Но въ глазахъ Полеваго отказъ Веневитинова поставить Пуш-

¹⁾ «Многіе—говоритъ онъ—упрекали Пушкина за то, что онъ слѣдовалъ до сихъ поръ чужеземному вліянію и, преклоняясь предъ англійскимъ бардомъ, въ которомъ видѣлъ поэтическій геній своего времени, забывалъ призваніе оригинальнаго поэта. Упрекъ этотъ несовсѣмъ справедливъ. При развитіи поэта, какъ и вообще при всякомъ нравственномъ развитіи, нужно, чтобы вліяніе зрѣлой силы дало сознать человѣку всѣ нравственныя возбужденія, къ какимъ онъ только способенъ, привело въ движеніе его душевныя силы и разбудило въ немъ собственную энергію. Первый толчокъ не всегда рѣшаетъ направленіе духа, но ему обязанъ онъ своимъ полетомъ, и въ этомъ случаѣ Байронъ былъ для Пушкина тѣмъ же, чѣмъ были для самого Байрона приключенія его бурной жизни». (Analyse d'une scène etc.).

кина на одну высоту съ Байрономъ принялъ видъ «скрытаго предубѣжденія» противъ русскаго поэта—то струнѣ Полевой хотѣлъ разыграть свою музыку... примѣромъ, Веневитиновъ и самъ не уберется въ сво («Сынъ От.» 1825 г., № 24, Приб.) отъ нѣсколькихъ тѣльных замѣчаній и довольно рѣзко окончилъ свои

Въ спорѣ съ Мерзляковымъ, Веневитиновъ горячо на ложный классицизмъ, но, мѣняя оружіе съ про онъ гораздо спокойнѣе отзывался о немъ въ своей по Полевымъ.

«Въ статьѣ о словесности, какъ не задѣтъ Баттѣ? душно ли пользоваться превосходствомъ своего вѣщенія старыхъ аристарховъ? Не лучше ли не наруш усопшихъ? Мы всѣ знаемъ, что они имѣютъ достоинств относительное, но если вооружаться противъ предразсуд не полезнѣе ли преслѣдовать ихъ въ живыхъ? Нынче о стихотворцѣ по пѣтикѣ, но отсутствіе правилъ въ (не есть ли также предразсудокъ? Не забываемъ ли м критикѣ должно быть основаніе положительное, что всѣ заимствуетъ свою силу изъ философіи, что и поэзія и съ философіей? Если мы съ такой точки зрѣнія, безнчнымъ взглядомъ, окинемъ ходъ просвѣщенія у всѣхъ (отдѣляя словесность каждаго въ цѣломъ—степень времени, а въ частяхъ—по отношенію мыслей каждаго къ современнымъ понятіямъ о философіи); то все, мнѣ пояснится. Аристотель не потеряетъ своихъ правъ на мысліе, и мы не будемъ уливляться, что французы, иписъ его правиламъ, не имѣютъ литературы самосто Тогда мы будемъ судить по вѣрнымъ правиламъ и о сл новѣйшихъ временъ; тогда причина романтической поэдетъ заключаться въ одномъ неопредѣленномъ состояніи

По этимъ немногимъ чертамъ, читатель уже можетъ себѣ приблизительное понятіе о критической системѣ нова. Поэзія не была для него смутнымъ бредомъ, горя а потому онъ и не смотрѣлъ на романтическую поэзію, залетную гостью, случайно и какъ бы безъ всякихъ слетѣвшую на землю. Поэзія вѣчна и присуща челондуху, но временныя ея проявленія много зависятъ отъ временной философіи, понимая подъ ней различныя общества къ тѣмъ или другимъ вопросамъ. Последнее ніе значительно измѣняло мысль Шлегеля, значительно ра рамки эстетической теоріи, допуская въ нихъ различны

ственные вліянія. Веневитиновъ даже прямо говорилъ, что «для общества бесполезенъ поэтъ, который наслаждается въ собственномъ своемъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не ищетъ и, слѣдовательно, уклоняется отъ цѣли всеобщаго усовершенствованія». Но въ главной эстетической основѣ своихъ сужденій, которой онъ, какъ поэтъ, отводилъ почетное мѣсто, Веневитиновъ сближался съ «Московскимъ Вѣстникомъ», превосходя его тѣмъ поэтическимъ чутьемъ и критическимъ тактомъ, изъ которыхъ первое указало ему на капитальныя достоинства Бориса Годунова, а, благодаря второму, онъ никогда бы не дошелъ до крайностей въ своихъ воззрѣніяхъ.

Намъ нечего доказывать, что эстетическій взглядъ, не только такой, какого держался Веневитиновъ, но даже и немного крайній, какой обнаруживается въ наиболѣе восторженныхъ статьяхъ «Московского Вѣстника», принесъ въ свое время большую пользу русской критикѣ. Онъ заставлялъ вчитываться и изучать цѣнныхъ писателей не слегка, не à vol d'oiseau, но съ болѣе серьезнымъ взглядомъ на дѣло, потому что, по этой теоріи, изящное произведеніе искусства есть цѣльный и въ самомъ себѣ замкнутый міръ, на который, прежде всего, пужно взглянуть глазами самого автора ¹⁾. «Я вообще—говорилъ Веневитиновъ въ спорѣ съ Полевымъ—раздѣляю поэтовъ на два класса—на дурныхъ и хорошихъ (выражаясь языкомъ не ученыхъ, но понятнымъ для всякаго); дурныхъ кладу въ сторону, хорошихъ читаю, перечитываю и стараюсь опредѣлить себѣ ихъ характеръ». Въ этомъ-то стремленіи—изучить поэта и затѣмъ опредѣлить себѣ его характеръ, не принося съ собой въ минуту изученія никакихъ заранѣе за-

¹⁾ Бѣлинскій прекрасно опредѣлялъ достоинства и недостатки чисто-эстетическаго воззрѣнія слѣдующими словами: «Гёте сказалъ гдѣ-то: какого читателя желаю я? такого, который бы меня, себя и цѣлый міръ забылъ и жилъ бы только въ книгѣ моей.» Нѣмецкіе аристархи оперлись на это, какъ на основной камень эстетической критики. И однакожъ односторонность Гётевой мысли очевидна. Подобное требованіе очень выгодно для всякаго поэта, ибо такъ какъ все имѣетъ свою причину и основаніе—даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невѣжество поэта,—то если критикъ будетъ смотрѣть на произведеніе автора безъ всякаго отношенія къ его личности, забывъ о самомъ себѣ и о цѣломъ мірѣ—естественно, что творенія этого поэта явятся непогрѣзительными. Но, съ другой стороны мысль Гёте имѣетъ глубокій смыслъ, если ее принимать не безусловно, но какъ первый, необходимый актъ въ процессѣ критики. Чтобъ разбирать критически писателя, прежде всего должно изучать его, то есть войти въ міръ его творчества не иначе, какъ забывъ его, себя и все на свѣтѣ». (Соч. Бѣл., т. IX, стр. 343—344).

готовленныхъ взглядовъ — и состоялъ дѣйствительный прогрессъ той критики, которую проповѣдывалъ «Московскій Вѣстникъ». Этой черты мы не находимъ въ скользкихъ и поверхностныхъ разборахъ Полеваго, который смотрѣлъ на Пушкина просто какъ на даровитаго врага современныхъ пѣтикъ, всегда путался въ опредѣленіи его характера и, чтобы объяснить себѣ своеравныя вдохновенія поэта, прибѣгалъ даже къ мнимо-эстетическому правилу, что «поэтъ неволенъ въ направленіи своего восторга: чтó ему поется, то онъ и поетъ». Но это правило, случайно вырванное изъ цѣлой системы понятій, еще болѣе сбивало и запутывало издателя «Телеграфа», и Веневитиновъ недаромъ внушалъ ему, что «поэты не летаютъ безъ цѣли и только на зло пѣтикамъ, но что поэзія, подобно предметамъ своимъ — природѣ и сердцу человѣческому, въ себѣ самой имѣетъ свои постоянныя правила».

Мы подошли, такимъ образомъ, къ чисто-поэтической дѣятельности Веневитинова и должны объяснить: почему мы не слишкомъ торопились въ оцѣнѣ этой, наиболѣе видной, стороны въ значеніи Веневитинова. Изученіе философіи, въ которой Веневитиновъ былъ столько же мыслителемъ, сколько поэтомъ, положило существенную и неизгладимую печать на весь духъ его многихъ поэтическихъ произведеній. Этотъ-то сознательный элементъ прожитаго и, если можно такъ выразиться, продуманнаго чувства и составляетъ отличительную черту изящной и задушевной музы нашего поэта. Мы сказали уже, что Веневитиновъ не считалъ поэзію бредомъ ума или случайной экзальтаціей чувства, съ неуваженіемъ отзывался о стихотворцахъ, «обратившихъ ее въ орудіе нравственнаго безсилія», и никакъ не хотѣлъ допустить, чтобы «чувство освобождало поэта отъ обязанности мыслить, отвлекая его отъ высокой цѣли самоусовершенствованія». Въ чувствѣ онъ не останавливался на одномъ внѣшнемъ, поверхностномъ впечатлѣніи, но долго и часто съ мучительными волненіями выносилъ его въ себѣ, прежде чѣмъ изливался на бумагу. Оттого всѣ почти стихотворенія его носятъ на себѣ черты, могущія смѣло войти въ біографію поэта по своей искренности и полному соотвѣтствію съ внутренней жизнью автора. Вотъ какъ понималъ самъ Веневитиновъ процессъ поэтического творчества. «Самыя поэтическія эпохи исторіи—говорилъ онъ—представляютъ намъ самое малое число поэтовъ, и это не трудно объяснить естественными законами ума. Первое чувство никогда не творить и не можетъ творить; потому что оно всегда представляетъ согласіе. Чувство только порождаетъ мысль, которая развивается въ борьбѣ и тогда уже, снова обратившись въ

чувство, является въ произведеніи. И потому, истинные поэты всѣхъ народовъ, всѣхъ вѣковъ, были глубокими мыслителями и, такъ сказать, вѣнцомъ просвѣщенія». Поэтъ еще яснѣе и нагляднѣе выражалъ свою мысль слѣдующимъ примѣромъ: «представимъ себѣ Фидіаса, пораженнаго идеею Аполлона. Въ душѣ его совершенное спокойствіе, совершенная тишина. Но доволенъ ли онъ этимъ чувствомъ? Еслибъ наслажденіе его было полное—для чего бы онъ взялъ рѣзецъ? Еслибъ идеалъ его былъ ясенъ — для чего старался бы онъ его выразить? Нѣтъ, эта тишина—предвѣстница бури... Но когда вдохновенный художникъ, побѣдивъ всѣ трудности искусства, передалъ свою мысль безчувственному мрамору, тогда только истинное спокойствіе водворяется въ его душу: онъ позналъ свою силу и наслаждается въ мірѣ ему уже знакомомъ».

Такимъ образомъ, чувство, по мнѣнію Веневитинова, тогда только можетъ стать достойнымъ предметомъ творчества, когда оно укрѣпится въ долгой внутренней борьбѣ и пройдетъ всѣ сложныя фазы своего развитія. По этому особенному характеру своего поэтическаго таланта, Веневитиновъ чувствовалъ большое влеченіе къ поэзіи Гёте, въ которой мысль наиболѣе подружилась съ чувствомъ. Но, по неизъяснимой тайнѣ творчества, это мыслящее направленіе нимало не скрадывало въ немъ тѣхъ нѣжныхъ отблѣсковъ чувства, той граціи и теплоты созданія, которыми, къ сожалѣнію, суждено было проявиться только въ весьма немногихъ произведеніяхъ... Но въ какихъ же именно? вотъ вопросъ, на который я долженъ отвѣчать нѣсколько подробнѣе, приступивъ къ пересмотру того, что осталось отъ Веневитинова въ полномъ собраніи его сочиненій.

Прежде всего, я долженъ замѣтить, что нѣкоторая часть напечатанныхъ произведеній Веневитинова, весьма интересная для біографа, не носитъ на себѣ той окончательной внѣшней отдѣлки которая бы вполне удовлетворила строгаго цѣнителя—не носитъ уже потому, что многія изъ этихъ произведеній напечатаны по смерти автора и, по всей вѣроятности, не были бы имъ самимъ, одобрены къ печати. Впрочемъ, изъ нѣкоторыхъ, болѣе или менѣе обработанныхъ стихотвореній, какъ, напр., «Три розы», «Поэтъ», «Пѣснь грека», «Къ любителю музыки», «Поэтъ и другъ», «Жертвоприношеніе» и др., мы можемъ видѣть: до какой изящной гибкости и мелодичности могъ доходить стихъ нашего поэта. Что же касается до «Пѣсни грека», написанной Веневитиновымъ 18-ти лѣтъ, и «Поэта»,—то мы можемъ сказать, безъ преувеличенія, что только у одного Пушкина русскій языкъ укладывался

въ то время въ такіа звучныя, текучія строфы. Въ сценѣ: «Поэтъ и другъ», въ стихотвореніи: «Я чувствую, во мнѣ горитъ...» строгій вкусъ можетъ отмѣтить нѣкоторыя погрѣшности стиха,—но если мы вспомнимъ время ихъ появленія и прибавимъ къ этому, что нынѣ стихъ самого Пушкина начинаетъ уже старѣть для нашего уха, то безъ труда оцѣнимъ все достоинство ихъ стройной фактуры¹⁾. Чтобы хорошо оцѣнить поэзію Веневитинова, необходимо вчитаться въ его стихотвореніе:

«Я чувствую, во мнѣ горитъ
Святое пламя вдохновенья...»

Оно написано поэтомъ въ одну изъ самыхъ свѣтлыхъ минутъ его творчества и представляетъ какъ бы программу той поэзіи будущаго. для которой онъ считалъ себя призваннымъ. Стихотвореніе прекрасно и какъ будто навѣяно поэту воспоминаніями его первой юности, но имъ однимъ еще не опредѣляется вполне характеръ поэзіи Веневитинова. По широтѣ своей натуры, поэтъ дѣйствительно отзывался на всякое человѣческое стремленіе, на всякій призывъ природы и чувства, а потому и не могъ бы никогда заботиться въ какое нибудь одностороннее увлеченіе,—но всѣ эти разнообразныя впечатлѣнія слагались въ его душѣ по одному особенному закону, который составляетъ тайну творчества и придаетъ извѣстный характеръ всей музы поэта. Характеръ нашего поэта былъ элегическій въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Читатель могъ уже убѣдиться изъ нашего «біографическаго очерка» въ томъ, что самая натура Веневитинова, его рано-развитый умъ, его скрытно-работавшее чувство сильно располагали его къ тихой грусти по несбывшимся идеаламъ,—но не къ той грусти, которая бѣжитъ отъ жизни и враждуетъ съ нею; мы знаемъ также стихотвореніе: «Поэтъ», гдѣ Веневитиновъ беретъ за идеалъ—человѣка, живущаго внутри себя, съ запасомъ силъ и тихихъ вдохновеній... Но чтобы глубже понять тотъ элегическій характеръ, который проникалъ собой лучшія произведенія Веневитинова, и ту всегдашнюю сочувственную ноту, которой замыкалась его свѣтлая, примиряющая грусть,—слѣдуетъ обратить вниманіе на стихотвореніе: «Къ любителю музыки», гдѣ поэтъ самъ обнаруживаетъ тайный процессъ своихъ задушевныхъ ощущеній.

Да, люди были, дѣйствительно, братья нашему поэту, и

¹⁾ Въ переводахъ Веневитинова изъ Гёте, гдѣ близость къ подлиннику часто равняется красотѣ передачи, мы можемъ найти цѣлыя строфы, и донинѣ безукоризненныя со стороны внѣшней отдѣлки.

много слезъ о нихъ пролилъ онъ въ своихъ жаркихъ, юношескихъ мечтаніяхъ!...

Когда же муки чувства, какъ бы притупляя на мгновеніе душевную воспримчивость поэта, повергали его въ полнѣйшую апатію къ жизни—тогда онъ, однимъ почеркомъ пера, писалъ свои скептическія, но душевные строфы въ стихотвореніи: «Жизнь» и др. Но это временное настроеніе недолго удерживалось въ душѣ поэта, снова разрѣшаясь въ тихую и свѣтлую гармонію:

Не такъ природы строгъ завѣтъ:
Не презирай ея дарами;
Она, на радость юныхъ лѣтъ,
Даетъ надежды намъ съ мечтами—
Ты гордо слышалъ ихъ привѣтъ.
Она желаніе святое
Сама зажгла въ твоей крови
И въ грудь, для пламенной любви,
Вложила сердце молодое.

Что сказать о частномъ значеніи этой поэзіи, о ея мѣстѣ въ исторіи русской литературы, о томъ вліяніи, которое могла имѣть она на современныхъ или послѣдующихъ поэтовъ?

Въ исторіи литературы Веневитиновъ составляетъ чисто-исключительное явленіе, и мы, при всѣхъ усиліяхъ, не могли бы подвести ему никакой генеалогіи... Быть можетъ, по причинѣ этой разорванности съ прошлымъ, этой странной, но симпатичной одинокости,—поэзія Веневитинова промелькнула у насъ такимъ блестящимъ, но далекимъ метеоромъ. Былъ у насъ и другой поэтъ-мыслитель—Е. А. Баратынскій, личность котораго тоже, къ сожалѣнію, весьма мало знакома русской публикѣ. Но Баратынскій былъ воспитанъ на французской литературѣ и, по своему направленію, не имѣлъ ничего общаго съ Веневитиновымъ. Притомъ же, значительный перевѣсъ мысли надъ чувствомъ, замѣчаемый въ Баратынскомъ,—перевѣсъ, нарушавшій ихъ свѣтлую гармонію и часто выражавшійся въ блѣдныхъ и безцвѣтныхъ образахъ,—составляетъ совершенную противоположность той слитной полнотѣ мысли и чувства, которая отмѣчала собой поэзію Веневитинова.

Основными чертами своей поэзіи Веневитиновъ также существенно разнится и отъ Пушкина: тамъ страшная сила непосредственнаго творчества, тутъ глубокая внутренняя работа, въ которой талантъ не вдругъ обнаруживаетъ свои скрытыя силы. Одишь владѣть всѣмъ широкимъ и разнообразнымъ полемъ искусства: и чувство, и фантазія, и лирическій жаръ, и объективное воззрѣніе находятся въ его власти; другой избралъ себѣ ме-

нѣе широкій, но завидный уголокъ чувства, быть можетъ, развито на счетъ фантазіи, но проникнутаго мыслью и согрѣтаго всею теплотой сознательной жизни. Мы не сравниваемъ заслугъ этихъ двухъ поэтовъ, изъ которыхъ одинъ составилъ собой эру въ исторіи русской литературы, другой же умеръ въ началѣ своего развитія, а хотимъ только уяснить отличительныя черты неполнѣе развившейся, но въ высшей степени симпатичной музы... Къ тому же, съ этими именно чертами, поэзія Веневитинова уже перешла въ исторію нашей литературы и, безъ сомнѣнія, оказала свое вліяніе на многихъ поэтовъ. У Веневитинова не было прямыхъ подражателей и послѣдователей въ литературѣ, но нравственное вліяніе тонко и неуловимо: оно не всегда сказывается однимъ, опредѣленнымъ образомъ, одною рѣзкою и очевидною чертою; довольно того, что идея сознательнаго творчества, полного согласія ума и чувства, которой представителемъ является Веневитиновъ, была постоянно жива въ русской литературѣ и часто напоминалась лучшими критиками. Что сталося бы впослѣдствіи съ нашимъ поэтомъ, еслибъ ранняя смерть не окончила дней его, какихъ созданій мы были бы вправѣ ожидать отъ его таланта? Это отнесется уже къ области критическихъ гаданій.

Заключая статью нашу, мы должны напомнить читателямъ то общественное значеніе, какое имѣетъ для насъ личность Веневитинова. Главный двигатель перваго философскаго кружка въ Россіи, человѣкъ, стремившійся внести сознательные принципы не только въ науку, но и въ самую жизнь; основатель журнала, честно служившаго философской пропагандѣ въ Россіи—онъ, конечно, заслуживаетъ за это нашего полного вниманія. Въ своемъ кружкѣ, въ сферѣ людей, изъ которыхъ многіе составили себѣ имя на различныхъ путяхъ дѣятельности, между которыми самъ Пушкинъ стоитъ не въ далекой перспективѣ, значеніе Веневитинова не подлежитъ никакому сомнѣнію. Мало такихъ свѣтлыхъ и безупречныхъ личностей найдемъ мы въ исторіи русскаго общества. Мы встрѣчали изъ этого кружка людей, уже пожившихъ и испытанныхъ жизнью, много видѣвшихъ и многое позабывшихъ—но, при одномъ словѣ объ ихъ юномъ другѣ, при одномъ звукѣ этого незабвеннаго имени, рой свѣтлыхъ и чистыхъ воспоминаній внезапно поднимался въ нихъ изъ тумана прошлаго. Много было нужно душевной силы, много теплоты и неизъяснимой привлекательности, чтобъ въ 20 съ небольшимъ лѣтъ созрѣть вполне для такого прочнаго, глубокаго дѣйствія на человѣческое сердце!

Въ ряду многихъ современныхъ ему дѣятелей, не знавшихъ, куда дѣвать избытокъ душевныхъ силъ или выгоды своей обще-

ственной обстановки, мыслящая и трудящаяся личность Веневитинова, до сихъ поръ, является намъ какинъ-то чуднымъ и загадочнымъ призракомъ...

Мы должны сказать еще нѣсколько словъ касательно редакціонной части изданія ¹⁾. Порядокъ размѣщенія стихотвореній мы значительно измѣнили противъ прежняго, Смирдинскаго изданія, руководствуясь преимущественно тѣми хронологическими указаніями, которыя удалось намъ собрать отъ родныхъ и знакомыхъ Веневитинова. Подъ нѣкоторыми стихотвореніями мы выставили одинъ годъ, подъ другими два смежныхъ года, когда не знали точно времени ихъ появленія; есть и такія, которыя совсѣмъ лишены хронологической цифры и помѣщены на томъ или другомъ мѣстѣ по нашимъ собственнымъ соображеніямъ и догадкамъ. Переводы изъ Гёте (Земная участь, Апоееоза художника и Отрывки изъ Фауста) мы оставили по прежнему въ концѣ стихотворнаго отдѣла, такъ какъ они представляютъ особый цикл произведеній нашего поэта. Въ прозаической части мы сгруппировали въ началѣ отдѣла всѣ мелкіе отрывки, которые прежде были разбросаны въ разныхъ мѣстахъ, и отнесли къ концу его болѣе серьезныя статьи, какъ-то: Письмо о философіи, Разборъ «Разсужденія» Мерзлякова и полемику съ Полевымъ, не вошедшую, какъ мы сказали, въ прежнее собраніе сочиненій Веневитинова.

Нынѣшнее изданіе составляетъ, по счету, третье — со смерти автора.

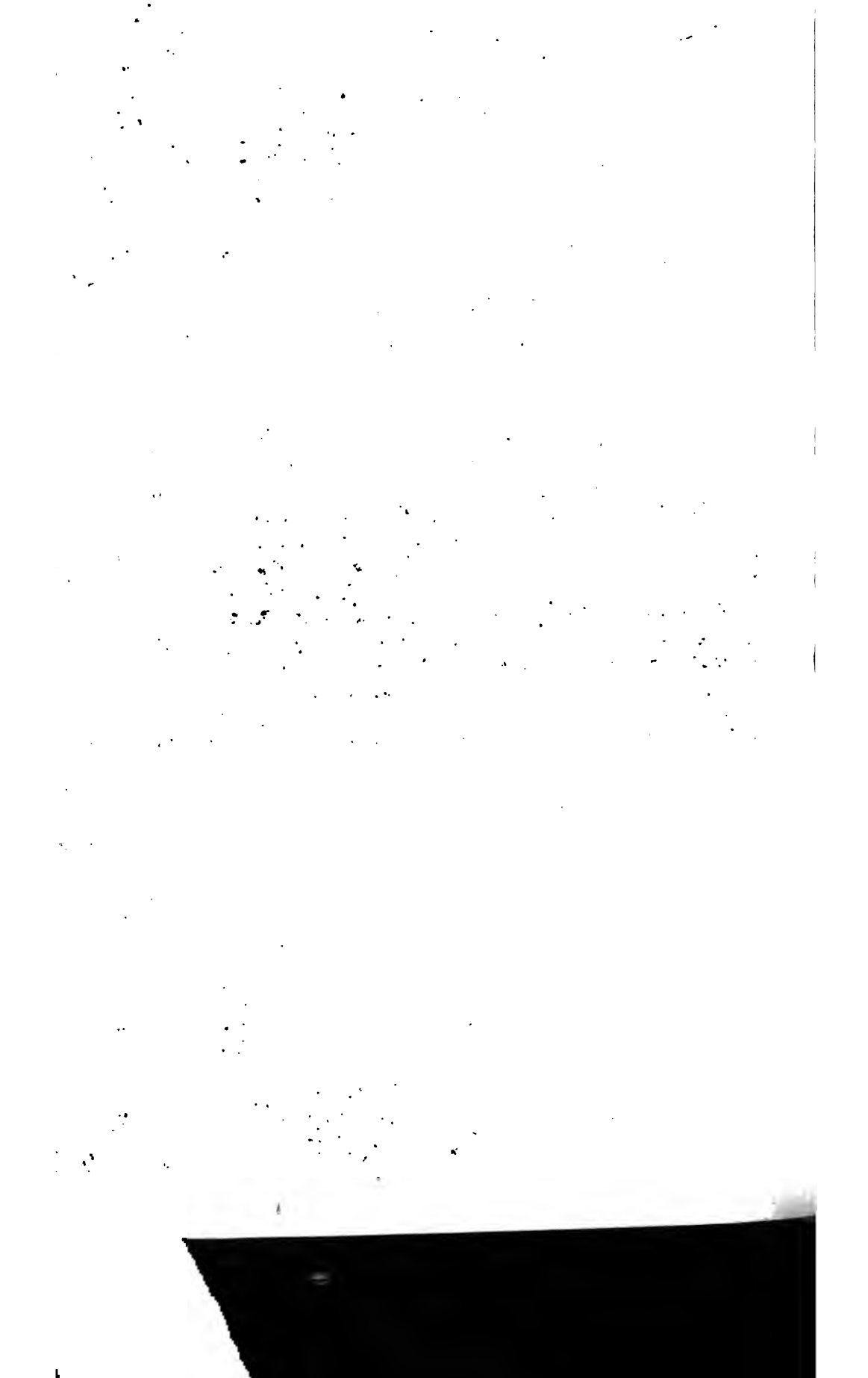


¹⁾ Статья эта была приложена къ 3-му (полному) изданію сочиненій Л. В. Веневитинова (С.-Петербургъ, 1862 г.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВТОРОЙ ЧАСТИ.

	СТРАН.
1. Очерки изъ исторіи русской журналистики. Главы I—II (отъ Петра I до Александра I; 1703—1801 гг.)	1—48
Главы III—X (первая половина царствованія Александра I; 1801—12 гг.)	48—166
Гл. XI—XII (вторая половина того же царствованія; 1812—20 гг.)	167—205
2) Журнальный триумvirатъ (изъ исторіи русской журналистики 30-хъ годовъ).	206—235
3) Князь В. Ө. Одоевскій. Литературно-біографическій очеркъ въ связи съ личными воспоминаніями.	236—303
4) О жизни и сочиненіяхъ Д. В. Веневитинова.	304—354





A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS
NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON
OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED
BELOW.

727069	
JUN 30 1975 H	
OCT 1975 H	
JUL 4 1975	

